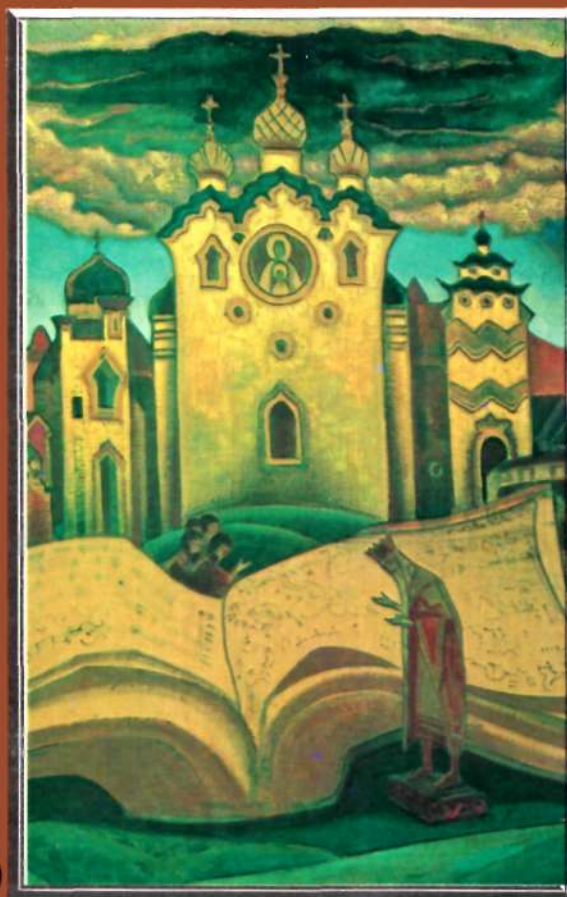


ЧЕЛОВЕК

ЧИТАЮЩИЙ

НОМО

LEGENS



ПИСАТЕЛИ
XX ВЕКА
О РОЛИ
КНИГИ
В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
И
ОБЩЕСТВА

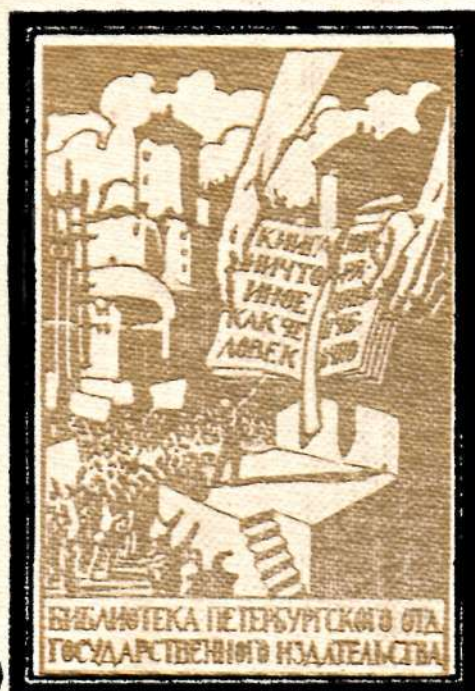
НОМО

LEGENS

ЧЕЛОВЕК

ЧИТАЮЩИЙ

ЧЕЛОВЕК
ЧИТАЮЩИЙ
НОМО
LEGENS



НОМО
LEGENS
ЧЕЛОВЕК
ЧИТАЮЩИЙ

ПИСАТЕЛИ
XX ВЕКА
О РОЛИ

КНИГИ В ЖИЗНИ
ЧЕЛОВЕКА
И
ОБЩЕСТВА



МОСКВА ПРОГРЕСС
1989

ЧЕЛО ЧИТАЮЩИЙ

Популярный писатель не предполагает не думающего, не желающего или не умеющего думать читателя, — напротив, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать головой и помогает ему делать эту серьезную и трудную работу, ведет его, помогая ему делать первые шаги и уча идти дальше самостоятельно.

Владимир Ленин

НОМО
LEGENS

ЧИТА

ВЕК

НОМО

LEGENS

*Книга — это духовное завещание
одного поколения другому...*

*Но в книге не одно прошедшее;
она составляет документ, по которому
мы вводимся во владение настоящего,
во владение всей суммы истин и усилий,
найденных страданиями,
облитых иногда кровавым потом;
она — программа будущего.*

Александр Герцен

ЧЕЛОВЕК

ЮЩИЙ

ББК 76.11

Составитель и автор предисловия С. И. Бэлза

Художник В. А. Корольков

Автор комментариев С. Л. Сухарев

Редактор Т. В. Чугунова

ISBN 5-01-001750-4

© Составление, предисловие, перевод на русский язык произведений, отмеченных *, художественное оформление издательство «Прогресс», 1990.

Человек пишущий и человек читающий

Вначале было Слово. Но свою подлинную мощь обрело оно лишь с появлением Книги.

Книга сыграла и продолжает играть основополагающую роль в развитии нашей цивилизации. Гигантская, накопленная за века библиотека – надежная память человечества, где запечатлены его свершения и мечты, прозрения и заблуждения. Эта библиотека создавалась на камне и металле, глиняных табличках и деревянных дощечках, свитках папируса и пергаментных кодексах, пальмовых листьях и бересте, шелке и бумаге – менялся материал и способ изготовления книги, но неизменным оставалось ее назначение: служить сохранению и передаче знания, опыта, художественных ценностей. В этом отношении история книги – как неотъемлемая часть истории культуры – едина от уникальных древнейших манускриптов до современных массовых изданий.

За тысячелетия своего пути человечество сделало множество открытий и изобретений. К числу самых великих из них относится появление печатного станка. В высочайшей оценке роли книгопечатания сходятся во мнении ученые и поэты. «Изобретение книгопечатания – это величайшее историческое событие. В нем зародыш всех революций», – сказал Виктор Гюго. Пушкин указывал на могучую силу действия «типографического снаряда». А прославленный немецкий писатель и мыслитель XVIII столетия Георг Кристоф Лихтенберг, почетный член Российской Академии наук, оставил после себя такой афоризм: «Более, чем золото, изменил мир свинец, и более – тот, что в типографских литерях, нежели тот, что в пулях».

В печатном слове поистине заключены неисчерпаемые запасы энергии, и, как все другие ее виды, она может быть направлена на созидание или разрушение, служение добру или злу. Сознание этого повышает ответственность перед обществом не только художника, но и издателя, потому что, обрстая плотью на книжных страницах, слово приобретает огромную власть над человеческими мыслями и чувствами. Книги меняют людей, меняют их представления о мире, а в конечном итоге – и сам мир. Слово становится Делом.

Цель искусства, цель книги – служить человеку, способствовать его счастью, помогать совершенствованию человека и человеческих отношений, содействовать сплочению, а не разобщению людей. Это известная истина, но ее приходится повторять, ибо, бывая на Западе, с прискорбием видишь там немало печатной продукции, не имеющей никакого отноше-

*История ума
представляет две
главные тохи:
изобретение букв
и типографии; все
другие были их
следствием. Чтение
и письмо
открывают человеку
новый
мир – особенно
в наше время, при
нынешних успехах
разума.*

Николай Карамзин

СВЯТОСЛАВ
БЭЛЗА

*А. Дюфер. «Мальчик
Иисус среди книжников».
1526. Деталь картины.*

ния к литературе, проповедующей жестокость и насилие, расовые предрассудки и порнографию – причем зачастую «порнографию духа», как точно выразился поэт.

Если уподобить книги ступеням, то попадают среди них и такие, что ведут вниз, в темные подземелья; однако неизмеримо больше тех, которые ведут вверх, и по ним совершает человечество свое победное восхождение через тернии к звездам.

В чудодейственные свойства книги верили даже те, кто



ПРЕДИСЛОВИЕ

не верил уже почти ни во что. Так, Франц Кафка, которого окружавшая его действительность утвердила в безысходной мысли об извечной дисгармонии человеческого бытия, о непреодолимом взаимном отчуждении людей, занес в свой дневник: «Книга должна быть топором, пригодным для того, чтобы вырубить море льда, которое застыло внутри нас...»

Книга может быть товаром и наркотиком, а может быть святыней и оружием. Есть книги-бойцы, пробитые пулями,





9 как солдатская грудь; есть книги – страдальцы за веру и книги-ссылные, которые когда-то казались крамольными и их заточали в «спецхраны», а потом торжественно реабилитировали, сняв шоры с читательских глаз; есть книги, которые, как провозвестников правды, сжигали на кострах, – но от пламени этих костров не рассеивался, а, наоборот, сгущался мрак. Мрак невежества и человеконенавистничества. Бытует выражение: «Бумага все стерпит». Но кажется, будто буквы хотят разбежаться и бумага коробится от стыда, когда на ней печатают такие тексты, как «Молот ведьм» или «Майн кампф». Каждая же книга, что может быть названа Книгой с большой буквы, несет прометеев огонь своего создателя и похожа на факел, который этот мрак разгоняет, приближая час торжества разума и справедливости.

*Искусство
читать – это
искусство мыслить
с некоторой
помощью другого;
читать – значит
мыслить с другим,
продумывать мысль
другого,
продумывать мысль,
сходную или
противоположную
нашей.*

Эмиль Фагэ

За то, что книги суть «реки, напояющие вселенную», издавна почитались они на Руси. В одном из наиболее ранних памятников русской письменности – «Изборнике Святослава» 1076 года – содержится специальное «Слово о четьи книг», где говорится: «Добро есть, братие, почитание книжное... Когда читаешь книгу, не тщишь торопливо дочитать до другой главы, но уразумей, о чем говорит книга и словеса те, и трижды возвращайся к одной главе... Красота воину – оружие, кораблю – ветрила, так и праведнику – почитание книжное...»

Русские летописи донесли до нас не только «земли родной минувшую судьбу», но и сведения о библиотеке Ярослава Мудрого, о том, как исстари «прилежали к книгам» образованнейшие люди нашего Отечества. Подвижническая деятельность Ивана Федорова – «друкаря книг, пред тем невиданных» – открыла новую эпоху в истории русской книги. Учительное слово становилось отныне доступным для все более широкого круга читателей.

Многовековая традиция любовного отношения к книге продолжала развиваться в условиях социализма. Знаменательно, что уже буквально в первые часы после Великой Октябрьской революции В. И. Ленин обсуждал с наркомом просвещения А. В. Луначарским проблемы издательского, библиотечного дела и произнес тогда: «Книга – огромная сила. Тяга к ней в результате революции очень увеличится...» Ясно сознавал «кремлевский мечтатель» необходимость не только электрификации, но и книгофикации всей страны. Увидевший воочию в 1920 году «Россию во мгле» Герберт Уэллс констатировал: «В умирающей с голоду России сотни людей работают над переводами; книги, переведенные ими, печатаются и смогут дать новой России такое знакомство с мировой литературой, какое недоступно ни одному другому народу». Давно канули в прошлое те времена, когда значительная часть граждан бывшей Российской империи не знала грамоты, и советская власть вложила им в руки букварь, научила читать и писать. Только при социализме обрели письменность некоторые народы нашей Отчизны, а ныне богатая талантами и достижениями советская многонациональная литература развивается более чем на семидесяти языках.

*В. ван Орлей. «Портрет
медика Георга». 1519.
Деталь картины.*

Советской литературе, советской книге изначально присуш пафос активного участия в строительстве жизни. Поэтому так велика их не только просветительская (что было особенно важно в первые годы советской власти), но и воспитательная функция, их роль в формировании морали человека, новой общественной и индивидуальной психологии, в отстаивании тех высоких нравственных идеалов, которые веками вынашивались человечеством.

Мы по праву гордимся тем, что ныне наша держава –



В. Фаворский,
«Натюрморт». 1919.

ПРЕДИСЛОВИЕ

II самая читающая и самая переводящая в мире (хотя вплоть до недавнего времени существовали немалые пробелы в том, что мы читали и что переводили). Гордимся тем, что у нас создана широчайшая сеть государственных издательств и библиотек, что существует объединяющее миллионы людей Всесоюзное общество «Книга» – Союз читателей. Наконец, гордимся тем, что именно по предложению СССР XVI сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО объявила 1972 год Международным годом книги. Он проводился впер-



вые, и его задачами было повышение роли книги в жизни современного человека; расширение книгоиздательства и библиотечного обслуживания населения во всех странах, особенно в развивающихся; воспитание навыков чтения у людей; более эффективное использование книги как средства образования, научного и технического прогресса, как орудия борьбы за мир, сотрудничество и взаимопонимание между народами. Этим же благородным целям призвана служить и регулярно проводимая начиная с 1977



В. Ван Гог. «Человек, читающий у огня». 1881.

года Московская международная книжная выставка-ярмарка.

Существует различное отношение к книге — от утилитарного подхода до того трепетного чувства, с каким истинный библиофил, ощущая сердцебиение, раскрывает старинный, давно разыскиваемый фолиант. Привычной стала аналогия: книги — друзья. Вспомним слова: «Прощайте, друзья!», с которыми обратил свой предсмертный взор к книжным полкам Пушкин.

Когда человек берет в руки книгу, между ним и автором происходит доверительный разговор наедине, какой может быть только между самыми близкими людьми. В ходе этой неторопливой беседы рождаются новые идеи и образы. А герои полюбившихся романов, вызванные к жизни могучим во-

*И представляю себе
однокрылую птицу,
и тотчас
открывается мне, ее
трагедия: она не
в состоянии
исполнить
предназначение, какое
с божественной
суровостью вложила
в нее природа. И
я представляю себе
поэзию без
аудитории — та же
трагедия.
Величайшее
стихотворение, если
некому его
слушать, —
всего-навсего
однокрылая птица:
она не может
выполнить
предназначение
своего...
Поэзия —
однокрылая
птица, если нет
у нее аудитории.
Я говорю это со
смирением, но
утверждаю также
убедительно и
с вызовом, что без
поэзии не достичь
человеку того
идеального будущего,
о котором мечтают
не только поэты.
Без поэзии
человечество, увы,
оказалось бы
однокрылым.*

Ласло Надь

ображением художников, становятся столь же реальны, как личности, существовавшие в действительности. Таким героям — наравне с их создателями — воздвигают памятники; с ними делятся в вечерней тиши сокровенными думами; их страсти и переживания не перестают волновать все новые и новые поколения читателей, помогая «воспитанию чувств».

В дневнике Льва Толстого (яснополянское собрание которого насчитывает двадцать две тысячи томов) имеются такие строки: «Написать в жизни одну хорошую книгу слишком достаточно. И прочесть тоже». Вот это добавление весьма показательно, хотя и не следует, вероятно, понимать его буквально. Оно отражает требовательность и серьезность толстовского взгляда на творчество, на печатное слово.

Верно говорят, что одни заполняют книгами жизнь, а другие — только стеллажи. Но вместе с тем пустота в душе — часто следствие пустоты на домашних книжных полках (если не отсутствия их вообще) или чтения пустых книг. Книги, которые помогают читателю лишь убить время, это книги-убийцы. А «глотатели пустот» — самоубийцы.

Каждый сам определяет свой «круг чтения», как и круг друзей, подбирает собственную «золотую полку». Но для этого необходима изрядная подготовка. «Попробуйте мысленно окинуть нынешнее книжное море — тревожно за молодых пловцов. Ах, как нужна помощь старшего, умного! — воскликнул однажды страстный книголюб Василий Шукш и н. — Книги выстраивают целые судьбы... или не выстраивают».

В плавании по безбрежному морю книг доверяться надлежит надежным маякам. Прав был Белинский: читать дурно выбранные книги хуже и вреднее, чем ничего не читать. Мы формируем свои библиотеки, а книги формируют нас. Не прочитав «Илиады» и «Божественной комедии», «Гамлета» и «Дон Кихота», «Фауста» и «Трех мушкетеров», «Евгения Онегина» и «Войны и мира», «Братьев Карамазовых» и «Мастера и Маргариты», мы были бы иными. Следует еще прислушаться к мнению Грэма Грина, который полагает, что только в детстве книги действительно влияют на нашу жизнь. Позже мы можем восхищаться книгой, получать от нее удовольствие, даже менять благодаря ей некоторые свои взгляды, но главным образом находим в книге лишь подтверждение тому, что уже в нас заложено... Поэтому особую важность приобретает «рацион» детского чтения.

По имени европейского первопечатника всю совокупность изготовленных типографским способом книг называют иногда «галактикой Гутенберга». Ориентироваться в этой галактике несведущему наблюдателю совсем непросто: здесь есть бесчисленные созвездия, состоящие из звезд разной величины, и давно погасшие светила, сияние которых еще доходит до нас; есть пугающие туманности и незаконные кометы, врывающиеся на горизонт; здесь действуют всевозможные поля притяжения и излучения — трудно очертить орбиту своего внимания и выбрать объекты, достойные стать постоянными спутниками. Не случайно поэтому Оскар Уайльд делил книги на три категории: те, что следует читать; те,

*С книгами у нас
обстоит дело так
же, как и с людьми.
Хотя мы со
многими
знакомимся, но
лишь некоторых
избираем себе
в друзья, в сердечные
спутники жизни.*

Людвиг Фейербах

*Скажи, что ты
читаешь, и
я скажу, кто ты.
Можно составить
верное понятие об
уме и характере
человека,
осмотревши его
библиотеку.*

Шарль Блан

*После удовольствия
иметь библиотеку
нет ничего
приятнее, как
говорить о ней
и делиться
с другими
невинными
богатствами мысли,
приобретаемыми
в занятиях
словесностью.*

Шарль Нодье

что следует перечитывать, и те, что вовсе читать не надо. Отнюдь не только склонностью к парадоксам автора «Портрета Дориана Грея» объясняется тот факт, что последний разряд он провозгласил наиболее важным с точки зрения интеллекта публики – ведь ей необходимо знать, что из необозримого книжного репертуара не заслуживает внимания: «В самом деле, именно это крайне необходимо в наш век, который читает так много, что не успевает восхищаться, и пишет так много, что не успевает задуматься». Высказанное более столетия назад, суждение это приобрело, пожалуй, еще большую значимость в век двадцатый, когда неизмеримо вырос «Монблан» книг, перед которым находится современный человек, и лишь тот, кто обладает должными «альпинистскими» навыками, способен взойти на его вершину.

Немало исследований посвящено писательскому искусству. Однако существует также читательское искусство, которое тоже предполагает и врожденный талант, и истовое трудолюбие, вознаграждаемое сторицею. Особых навыков требует восприятие поэзии – далеко не всякий поймет «наставленья, сокрытые под странными стихами», которое оставили нам Данте и другие корифеи прошлых эпох. Стихи требуют особо чуткого читателя, душа которого способна резонировать на звуки струн, затронутых поэтом. Но насколько богаче делается кругозор того, кто овладел тонким искусством «беседы» с великими мастерами слова! Их творения учат постижению той книги, которая испокон веку именуется книгой жизни.

Отношения между автором и аудиторией никак не могут строиться по той формуле, против которой восставал еще М. Е. Салтыков-Щедрин: «Писатель пописывает, читатель почитывает». Настоящий писатель не пописывает, а исторгает в родовых муках из глубины души, из своего измученного естества произведение, и оно всегда создается с мыслью о читателе (не только о сегодняшнем, но нередко и о грядущем). Всякая книга – результат большого труда автора, а также редактора, художника, наборщика и людей многих иных профессий, но, чтобы она до конца раскрыла вложенное в нее содержание, засияла полным спектром, зазвучала «во весь голос», читатель тоже должен проделать определенную умственную работу, мобилизовав свои способности, эмоции, жизненный опыт и вслушавшись как следует в музыку слов. «Книга должна быть исполнена читателем, как соната, – подчеркивала Марина Цветаева. – Знаки – ноты. В воле читателя – оусуществить или исказить».

Как не все люди способны погрузиться в мир музыки или живописи, постичь их образы, точно так же далеко не каждый умест читать. Ибо быть грамотным и уметь читать – совсем не одно и то же. Чтение художественной литературы – своего рода творчество или по крайней мере сотворчество. Оно требует навыка и затрат внутренней энергии, но только творческое чтение доставляет истинное наслаждение, способствует духовному развитию человека. Недаром Владимир Набоков считал, что «хороший читатель, большой читатель, активный и творческий читатель – это перечитыва-

тель». Каждый большой писатель заслуживает такого большого читателя. В их диалоге раскрывается истина о человеке и мире.

15 И Шекспир, и Овидий
Для того, кто их слышит,
Для того, кто их видит...

(Н. Гумилев)

*Из всех проявлений
человеческого
творчества самое
удивительное
и достойное
внимания — это
книги. В книгах
живут думы
прошедших времен;
внятно и отчетливо
раздаются голоса
людей, прах которых
давно разлетелся,
как сон. Все, что
человечество
совершило,
передумало, все, чего
оно достигло, — все
это сохранилось, как
бы волшебством, на
страницах книг.*

Томас Карлейль

Чтение стало настоятельной потребностью, необходимым условием роста Человека разумного, и потому принятое определение «венца творенья» как биологического вида — *Homo sapiens* — правомерно, пожалуй, дополнить еще одним: *Homo legens* — Человек читающий.

Род людской бесконечно многим обязан тому университету, имя которому — Книга. В этом университете приобретаем мы необходимые знания и получаем уроки нравственности, духовности, без которых оскудели бы разумом и очерствели бы сердцем.

Вот уже более пятисот лет сопутствует человеку печатная книга, сохраняя в принципе свой внешний вид, хотя полиграфия не стоит на месте, а непрерывно совершенствуется. Бурное развитие науки и техники в современную эпоху породило ряд пессимистических теорий относительно будущего книги. Проблемой этой занимаются не только фантасты — от Жюль Верна и Герберта Уэллса до Айзека Азимова и Рэя Брэдбери, — но также ученые, в том числе социологи.

На одной из конференций специалистов по ЭВМ Айзек Азимов сказал: «Я хочу попытаться описать идеальную информационно-поисковую систему. Пользование ею должно быть доступно каждому, в том числе тем, кто не имеет для этого специальной подготовки; она должна быть портативной; для нее не должен требоваться никакой внешний источник питания; информация должна храниться в ней постоянно и не исчезать при отключении питания...» К этому моменту аудитория была уже весьма озадачена. И тут писатель, выдержав эффектную паузу, произнес: «Надеюсь, вы понимаете, что речь идет просто о книге».

Впервые голоса, предсказывающие скорый закат «галактики Гутенберга», раздались еще в конце прошлого века. Серьезное подкрепление, казалось бы, получила такая точка зрения с появлением телевидения и других средств массовой информации, микрокопирования и электронных хранилищ памяти. Однако фотография, как мы убедились, не заменила живописи, а кино и телевидение не вытеснили театр. Точно так же, думается, и книге в обозримой перспективе не грозит гибель от возникшей «конкуренции» со стороны компьютерных дисплеев и «аудиобуков». Несмотря на все технические новшества, она сохранит свое социальное значение и своих «старомодных» поклонников. Звезды «галактики Гутенберга» будут по-прежнему манить с неба грядущего, будоража людскую мысль и мечту.

СВЯТОСЛАВ
БЭЛЗА

Часто цитируемый латинский афоризм «Книги имеют свою судьбу» приводится обычно в усеченном виде, тогда как продолжение его гласит: «...в зависимости от восприятия (буквально: «головы») читателя». Никто столь напряженно не размышлял о взаимоотношениях автора и читателя, о судьбах книг, как их творцы, люди пишущие. Из таких раздумий известнейших мастеров литературы XX столетия и сложился этот сборник – еще одна «книга о книге».

Святослав БЭЛЗА

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

ЧИТАТЕЛЬ КНИГ

Читатель книг, и я хотел найти
Мой тихий рай в покорности сознания,
Я их любил, те странные пути,
Где нет надежд и нет воспоминанья.

Неутомимо плыть ручьями строк,
В проливы глав вступать нетерпеливо
И наблюдать, как пенится поток,
И слушать гул идущего прилива!

Но вечером... О, как она страшна,
Ночная тень за шкафом, за кинотом,
И маятник, недвижимый как луна,
Что светит над мерцающим болотом!

ВЛАДИМИР

1853–1921

КОРОЛЕНКО

*И теперь
многое из
прочитанного
тогда
представляется
мне, точно
пейзаж под
пльвущими
туманами.*

МОЕ ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С ДИККЕНСОМ

Первая книга, которую я начал читать по складам, а дочитал до конца уже довольно бегло, был роман польского писателя Корженевского * – произведение талантливое и написанное в хорошем литературном тоне. Никто после этого не руководил выбором моего чтения, и одно время оно приняло пестрый, случайный, можно даже сказать, авантюристский характер.

Я следовал в этом за моим старшим братом.

Он был года на 2 1/2 старше меня. В детстве эта разница значительная, а брат был в этом отношении честолюбив. Стремясь отгородиться всячески от «детей», он присвоил себе разные привилегии. Во-первых, завел тросточку, с которой расхаживал по улицам, размахивая ею особенным образом. Эта привилегия была за ним признана. Старшие смеялись, но тросточки не отнимали. Было несколько хуже, что он запасся также табаком и стал приучаться курить тайком от родителей, но при нас, младших. Из этого, положим, ничего не вышло: его тошнило, и табак он хранил больше из тщеславия. Но когда отец как-то узнал об этом, то сначала очень рассердился, а потом решил: «Пусть малый лучше читает книги». Брат получил «два золотых» (30 коп.) и подписался на месяц в библиотеке пана Буткевича, торговавшего на Киевской улице бумагой, картинками, нотами, учебниками, тетрадами, а также дававшего за плату книги для чтения. Книг было не очень много и больше все товар по тому времени ходкий: Дюма, Евгений Сю, Купер, Тайны разных дворов * и, кажется, уже тогда знаменитый Рокамболь *... Брат и этому своему новому праву придавал характер привилегии. Когда я однажды попытался заглянуть в книгу, оставленную им на столе, он вырвал ее у меня из рук и сказал:

– Пошел! Тебе еще рано читать романы.

После этого я лишь тайком, в его отсутствие, брал книги и, весь настороже, глотал страницу за страницей.

Это было странное, пестрое и очень приятное чтение. Некогда было читать сплошь, приходилось знакомиться с завязкой и потом следить за нею вразбивку. И теперь многое из прочитанного тогда представляется мне, точно пейзаж под плывущими туманами. Появляются, точно в прогалинах, ярко светящиеся островки и исчезают... Д'Артаньян, выезжающий из маленького городка на смешной кляче, фигуры его друзей-мушкетеров, убийство королевы Марго, некоторые злодейства иезуитов из Сю... Все эти образы появлялись и исчезали, вспугнутые шагами брата, чтобы затем возникнуть уже в другом месте (в следующем томе), без связи, в действии, без определившихся характеров. Поединки, на-

падения, засады, любовные интриги, злодейства и неизбежное их наказание. Порой мне приходилось расставаться с героем в самый критический момент, когда его насквозь пронзали шпагой, а между тем роман еще не был кончен и, значит, оставалось место для самых мучительных предположений. На мои робкие вопросы – ожил ли герой и что стало с его возлюбленной в то время, когда он влачил жалкое существование со шпагой в груди, – брат отвечал с суровой важностью:



И. Ретин. «Лев Толстой».

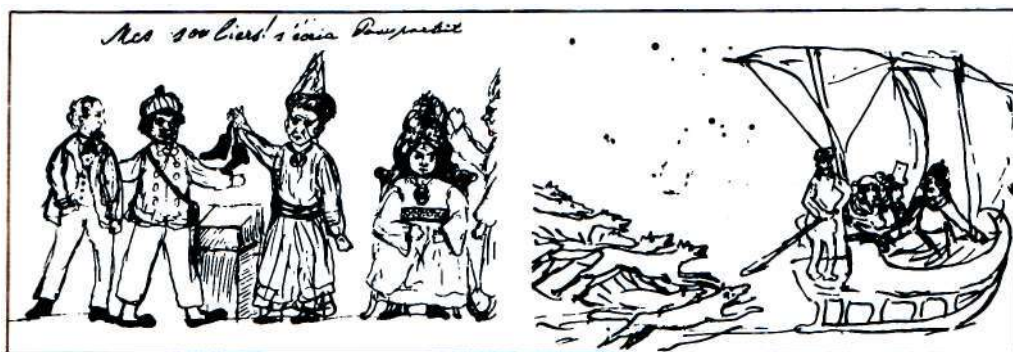
– Не трогай моих книг! Тебе еще рано читать романы. И прятал книги в другое место.

Через некоторое время, однако, ему надоело бегать в библиотеку, и он воспользовался еще одной привилегией своего возраста: стал посылать меня менять ему книги...

Я был этому очень рад. Библиотека была довольно дале-

ко от нашего дома, и книга была в моем распоряжении на всем этом пространстве. Я стал читать на ходу...

Эта манера придавала самому процессу чтения характер своеобразный и, так сказать, азартный. Сначала я не умел применяться как следует к уличному движению, рисковал попасть под извозчиков, натыкался на прохожих. До сих пор помню солидную фигуру какого-то поляка с седыми подстриженными усами и широким лицом, который, когда я ткнулся в него, взял меня за воротник и с насмешливым лю-



*Иллюстрации
Л. Толстого к роману
Ж. Верна «Вокруг света
в 80 дней».*

бопытством рассматривал некоторое время, а потом отпустил с какой-то подходящей сентенцией. Но со временем я отлично выучился лавировать среди опасностей, издали замечая через обрез книги ноги встречных... Шел я медленно, порой останавливаясь за углами, жадно следя за событиями, пока не подходил к книжному магазину. Тут я наскоро смотрел развязку и со вздохом входил к Буткевичу. Конечно, пробелов оставалось много. Рыцари, разбойники, защитники невинности, прекрасные дамы — все это каким-то вихрем, точно на шабаше, мчалось в моей голове под грохот уличного движения и обрывалось бессвязно, странно, загадочно, дразня, распаляя, но не удовлетворяя воображение. Из всего «Кавалера de Maison rouge» * я помнил лишь то, как он, переодетый яacobинцем, отсчитывает шагами плиты в каком-то зале и в конце выходит из-под эшафота, на котором казнили прекраснейшую из королев, с платком, обогранным ее кровью. К чему он стремился и каким образом попал под эшафот, я не знал очень долго.

Думаю, что это чтение принесло мне много вреда, пролагая в голове странные и ни с чем не сообразные извилины приключений, затушевывая лица, характеры, приучая к поверхности...

II Однажды я принес брату книгу, кажется сброшюрованную из журнала *, в которой, перелистывая дорогой, я не мог привычным взглядом разыскать обычную нить приключений. Характеристика какого-то высокого человека, сурового, неприятного. Купец. У него контора, в которой «привыкли торговать кожами, но никогда не вели дел с женскими

*Г. Г. Мясоедов. «Чтение
«Крейцеровой сонаты»».
1893.*

сердцами»... Мимо! Что мне за дело до этого неинтересного человека! Потом какой-то дядя Смоль ведет странные разговоры с племянником в лавке морских принадлежностей. Вот наконец... старуха похищает девочку, дочь купца. Но и тут все дело ограничивается тем, что нищенка снимает с нее платье и заменяет лохмотьями. Она приходит домой, ее поят тепленьким и укладывают в постель. Жалкое и неинтересное приключение, к которому я отнесся очень пренебрежительно: такие приключения бывают на свете. Книга внушила мне



*Книга — истинное
благодеяние: через ее
прямое посредство
осуществляется
контакт
с древнейшей,
корневой культурой
человечества.*

*Книга — кладь
духа, того свободного
и проникновенного
духа, что от века
проклинаем
и казим, гоним
и терзаем всеми
тифанами
и человеконена-
вистиками.*

*По-видимому, книга
не только атрибу-
культуры, но и ее
символ. А символы
на редкость живучи,
и пытка для них
костром или
цензурой, кажется,
не существует
вовсе...*

Арсений Тарковский

решительное предубеждение, я не пользовался случаями, когда брат оставлял ее.

Но вот однажды я увидел, что брат, читая, расхохотался, как сумасшедший, и потом часто откидывался, смеясь, на спинку раскачиваемого стула. Когда к нему пришли товарищи, я завладел книгой, чтобы узнать, что же такого смешного могло случиться с этим купцом, торговавшим кожами?

Некоторое время я бродил ощупью по книге, натываясь, точно на улице, на целые вереницы персонажей, на их разговоры, но еще не схватывая главного: струи диккенсовского юмора. Передо мной промелькнула фигурка маленького Павла, его сестры Флоренсы, дяди Смоля, капитана Тудля с железным крючком вместо рук... Нет, все еще не интересно... Тут с его любовью к жилетам... Дурак... Стоило ли описывать такого болвана?..

Но вот, перелистав смерть Павла (я не любил описания смертей вообще), я вдруг остановил свой стремительный бег по страницам и застыл, точно заколдованный:

«— Завтра поутру, мисс Флой, папа уезжает..»

— Вы знаете, Сусанна, куда он едет? — спросила Флоренса, опустив глаза в землю..»

Читатель, вероятно, помнит дальше: Флоренса тоскует о смерти брата. Мистер Домби тоскует о сыне.. Мокрая ночь. Мелкий дождь печально дребезжал в заплаканные окна. Зловещий ветер пронзительно дул и стонал вокруг дома, как будто ночная тоска обуяла его. Флоренса сидела одна в своей траурной спальне и заливалась слезами. На часах башни пробило полночь..»

Я не знаю, как это случилось, но только с первых строк этой картины вся она встала передо мной, как живая, бросая яркий свет на все, прочитанное урывками до тех пор.

Я вдруг живо почувствовал и смерть незнакомого мальчишка, и эту ночь, и эту тоску одиночества и мрака, и уединение в этом месте, обвешанном грустью недавней смерти.. И тоскливое падение дождевых капель, и стон, и завывание ветра, и болезненную дрожь чахоточных деревьев.. И страшную тоску одиночества бедной девочки и сурового отца. И ее любовь к этому сухому, жесткому человеку, и его страшное равнодушие..»

Дверь в кабинет отворена... не более, чем на ширину во- лоса, но все же отворена... а всегда он запирался. Дочь с за- мирающим сердцем подходит к щели. В глубине мерцает лампа, бросающая тусклый свет на окружающие предметы. Девочка стоит у двери. Войти или не войти? Она тихонько отходит. Но луч света, падающий тонкой нитью на мрамор- ный пол, светит для нее лучом небесной надежды. Она вер- нулась, почти не зная, что делает, ухватилась руками за по- ловинки притворенной двери и... вошла.

Мой брат зачем-то вернулся в комнату, и я едва успел выйти до его прихода. Я остановился и ждал. Возьмет книгу? И я не узнаю сейчас, что будет дальше. Что сделает этот су- ровый человек с бедной девочкой, которая идет вымалывать у него капли отцовской любви. Оттолкнет? Нет, не может быть. Сердце у меня билось болезненно и сильно. Да, не мо-

жет быть. Нет на свете таких жестоких людей. Наконец, ведь это же зависит от автора, и он не решится оттолкнуть бедную девочку опять в одиночество этой жуткой и страшной ночи... Я чувствовал страшную потребность, чтобы она встретила наконец любовь и ласку. Было бы так хорошо...
А если? Брат выбежал в шапке, и вскоре вся его компания прошла по двору. Они шли куда-то, вероятно, надолго. Я кинулся опять в комнату и схватил книгу.

«...Ее отец сидел за столом в углублении кабинета и приводил в порядок бумаги... Пронзительный ветер завывал вокруг дома... Но ничего не слышал мистер Домби. Он сидел, погруженный в свою думу, и дума эта была тяжелее, чем легкая поступь робкой девушки. Однако лицо его обратилось на нее, суровое, мрачное лицо, которому догорающая лампа сообщила какой-то дикий отпечаток. Угрюмый взгляд его принял вопросительное выражение.

– Папа! Папа! Поговори со мной...

Он вздрогнул и быстро вскочил со стула.

– Что тебе надо? Зачем ты пришла сюда?..

Флоренса видела, он знал зачем. Яркими буквами пламенила его мысль на диком лице... Жгучею стрелой впилась она в отверженную грудь и вырвала из нее протяжный замирающий крик страшного отчаяния.

Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы. Крик его дочери исчез и замер в воздухе, но не исчезнет и не замрет в тайниках его души. Да припомнит это мистер Домби в грядущие годы!..»

Я стоял с книгой в руках, ошеломленный и потрясенный и этим замирающим криком девушки, и вспышкой гнева и отчаяния самого автора... Зачем же, зачем он написал это?.. Такое ужасное и такое жестокое. Ведь он мог написать иначе... Но нет. Я почувствовал, что он *не мог*, что *было именно так*, и он только видит этот ужас и сам так же потрясен, как и я... И вот к замирающему крику бедной одинокой девочки присоединяется отчаяние, боль и гнев его собственного сердца... И я повторял за ним, с ненавистью и жаждой мщения: да, да, да! Он припомнит, непременно, непременно припомнит это в грядущие годы...

Эта картина сразу осветила для меня, точно молния, все обрывки, так безразлично мелькавшие при поверхностном чтении. Я с грустью вспомнил, что пропустил столько времени... Теперь я решил использовать остальное: я жадно читал еще часа два, уже не отрываясь до прихода брата... Познакомился с милой Полли, кормилицей, ласкавшей бедную Флоренсу, с больным мальчиком, спрашивавшим на берегу, о чем говорит море, с его ранней больной детской мудростью... И даже влюбленный Тутс показался мне уже не таким болваном... Чувствуя, что скоро вернется брат, я нервно глотал страницу за страницей, знакомясь ближе с друзьями и врагами Флоренсы... И на заднем фоне все время стояла фигура мистера Домби, уже значительная потому, что обреченная ужасному наказанию. Завтра на дороге я прочту о том, как он наконец «вспомнит в грядущие годы»... Вспомнит, но, конечно, будет поздно... Так и надо!

Брат ночью дочитывал роман, и я слышал опять, как он то хохотал, то в порыве гнева ударял по столу кулаком...

23

Наутро он мне сказал:

– На вот, снеси. Да смотри у меня: недолго.

III

– Слушай, – решил я спросить, – над чем ты так смеялся вчера?..

– Ты еще глуп и все равно не поймешь... Ты не знаешь, что такое юмор... Впрочем, прочти вот тут... Мистер Тутс объясняется с Флоренсой и то и дело погружается в кладезь молчания...

И он опять захохотал заразительно и звонко.

– Ну, иди. Я знаю: ты читаешь на улицах, и евреи называют тебя уже мешигинер! Притом же тебе еще рано читать романы. Только все-таки смотри, не ходи долго. Через полчаса быть здесь! Смотри, я записываю время...

Брат был для меня большой авторитет, но все же я знал твердо, что не вернусь ни через полчаса, ни через час. Я не предвидел только, что в первый раз в жизни устрою нечто вроде публичного скандала...

Привычным шагом, но медленнее обыкновенного, отправился я вдоль улицы, весь погруженный в чтение, но тем не менее искусно лавируя по привычке среди встречаемых. Я останавливался на углах, садился на скамейки, где они были у ворот, машинально поднимался и опять брел дальше, уткнувшись в книгу. Мне уже трудно было по-прежнему следить только за действием по одной ниточке, не оглядываясь по сторонам и не останавливаясь на второстепенных лицах. Все стало необыкновенно интересно, каждое лицо зажило своею жизнью, каждое движение, слово, жест врезывались в память. Я невольно захохотал, когда мудрый капитан Бенсби, при посещении его корабля изящной Флоренсой, спрашивает у капитана Тудля: «Товарищ, чего хотела бы хлебнуть эта дама?» Потом разыскал объяснение влюбленного Тутса, выпаливающего залпом: «Здравствуйте, мисс Домби, здравствуйте. Как ваше здоровье, мисс Домби? Я здоров, слава богу, мисс Домби, а как ваше здоровье?..»

После этого, как известно, юный джентльмен сделал веселую гримасу, но, найдя, что радоваться нечему, испустил глубокий вздох, а рассудив, что печалиться не следовало, сделал опять веселую гримасу и наконец опустился в кладезь молчания, на самое дно...

Я, как и брат, расхохотался над бедным Тутсом, обратив на себя внимание прохожих. Оказалось, что провидение, руководству которого я вручал свои беспечные шаги на довольно людных улицах, привело меня почти к концу пути. Впереди виднелась Киевская улица, где была библиотека. А я в увлечении отдельными сценами еще далеко не дошел до тех «грядущих годов», когда мистер Домби должен вспомнить свою жестокость к дочери...

¹ Вероятно, еще и теперь недалеко от Киевской улицы, в Житомире, стоит церковь св. Пантелеймона (кажется, так). В то время между каким-то выступом этой церкви и со-
Мешигинер – сумасшедший.

седним домом было углубление вроде ниши. Увидя этот затишный уголок, я зашел туда, прислонился к стене и... время побежало над моей головой... Я не замечал уже ни уличного грохота, ни тихого полета минут. Как зачарованный, я глотал сцену за сценой без надежды дочитать сплошь до конца и не в силах оторваться. В церкви ударили к вечерне. Прохожие порой останавливались и с удивлением смотрели на меня в моем убежище... Их фигуры досадливыми неопределенными пятнами рисовались в поле моего зрения, напоминая об улице. Молодые евреи – народ живой, юркий и насмешливый – кидали иронические замечания и о чем-то насмешливо спрашивали. Одни проходили, другие останавливались... Кучка росла.

Один раз я вздрогнул. Мне показалось, что прошел брат торопливой походкой и размахивая тросточкой... «Не может быть», – утешил я себя, но все-таки стал быстрее перелистывать страницы... Вторая женитьба мистера Домби... Гордая Эдифь... Она любит Флоренсу и презирает мистера Домби. Вот, вот сейчас начнется... Да, вспомнит мистер Домби...

Но тут мое очарование было неожиданно прервано: брат, успевший сходить в библиотеку и возвращавшийся оттуда в недоумении, не найдя меня, обратил внимание на кучку еврейской молодежи, столпившейся около моего убежища. Еще не зная предмета их любопытства, он протолкался сквозь них и... Брат был вспыльчив и считал нарушенными свои привилегии... Поэтому он только вошел в мой приют и схватил книгу. Инстинктивно я старался удержать ее, не выпуская из рук и не отрывая глаз... Зрители шумно ликовали, оглушая улицу хохотом и криками...

– Дурак! Сейчас закроют библиотеку, – крикнул брат и, выдернув книгу, побежал по улице. Я в смущении и со стыдом последовал за ним, еще весь во власти прочитанного, провожаемый гурьбой еврейских мальчишек. На последних, торопливо переброшенных страницах передо мной мелькнула идиллическая картина: Флоренса замужем. У нее мальчик и девочка, и... какой-то седой старик гуляет с детьми и смотрит на внучку с нежностью и печалью...

– Неужели... они помирились? – спросил я у брата, которого встретил на обратном пути из библиотеки, довольно того, что еще успел взять новый роман и, значит, не остался без чтения в праздничный день. Он был отходчив и уже только смеялся надо мной.

– Теперь ты уже окончательно мешигинер... Приобрел прочную известность... Ты спрашиваешь: простила ли Флоренса? Да, да... Простила... У Диккенса всегда кончается торжеством добродетели и примирением.

Диккенс... Детство неблагоприятно: я не смотрел фамилию авторов книг, которые доставляли мне удовольствие, но эта фамилия, такая серебристо-звонкая и приятная, сразу запала мне в память...

Так вот, как я впервые – можно сказать на ходу, – познакомился с Диккенсом...

МАКСИМ

1868–1936

ГОРЬКИЙ

*Я люблю книги:
каждая из них
кажется мне
чудом...*

Вы просили меня написать предисловие к этому труду. Я не умею писать предисловий, но не хочу отклонить столь лестное предложение и, воспользовавшись случаем, позволю себе сказать в нескольких словах, что я думаю о книгах вообще.

О КНИГЕ

Всем хорошим во мне я обязан книгам: еще в молодости я понял уже, что искусство более великодушно, чем люди. Я люблю книги: каждая из них кажется мне чудом, а писатель – магом. Я не могу говорить о книгах иначе, как с глубочайшим волнением, с радостным энтузиазмом. Быть может, это смешно, но это так. Вероятно, скажут, что это энтузиазм дикаря; пусть говорят – я неисцелим.

Когда у меня в руках новая книга, предмет, изготовленный в типографии руками наборщика, этого своего рода героя, с помощью машины, изобретенной каким-то другим героем, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное. Это Новый завет, написанный человеком о самом себе, о существе самом сложном, что ни на есть на свете, о самом загадочном, о наиболее достойном лю б в и , – о существе, труд и воображение которого создали все, что есть на земле великого и прекрасного.

Книга проводит меня сквозь жизнь, с которой я знаком, однако, довольно хорошо, и всегда учит чему-нибудь новому, чего я не знал и не замечал в человеке. Иногда в целом произведении не находишь ничего, кроме одной-единственной фразы, но как раз она и приближает вас к человеку, показывая новую улыбку или новую гримасу.

Величие звездного мира, гармонический механизм вселенной, все, о чем с таким красноречием говорят астрономия и космология, не трогают меня, не вызывают во мне энтузиазма. У меня такое впечатление, что вселенная совсем не так удивительна, как представляет ее астрономия, и что в рождении и смерти миров несравненно больше бессмысленного хаоса, чем божественной гармонии.

Где-то в глубине Млечного пути потухает солнце, и вся система планет навсегда погружается во мрак; это меня совсем не трогает, в то время как смерть Камила Фламмарiona, человека с изумительным воображением *, меня опечалила.

Все, что мы находим прекрасного, было вымышлено и рассказано человеком. К сожалению, ему нередко случается создавать также страдания и обострять их, как это делал Достоевский, Бодлер и другие. Но даже в этом я вижу же-

*Прошло всего
четыреста лет — и
сейчас мы уже
любим книги не
меньше, а иной раз
и больше, чем другие
великие ценности
нашего
существования, — не
меньше самой
жизни, природы
и людей. Без книг
мы теперь не
можем ни жить, ни
бороться, ни
страдать, ни
радоваться
и побеждать, ни
уверенно идти
к тому разумному
и прекрасному
будущему, в какое
мы непоколебимо
верим, как верил
Чехов в небо
будущего, сияющее
радостями
и невиданными
алмазами.*

Константин Паустовский

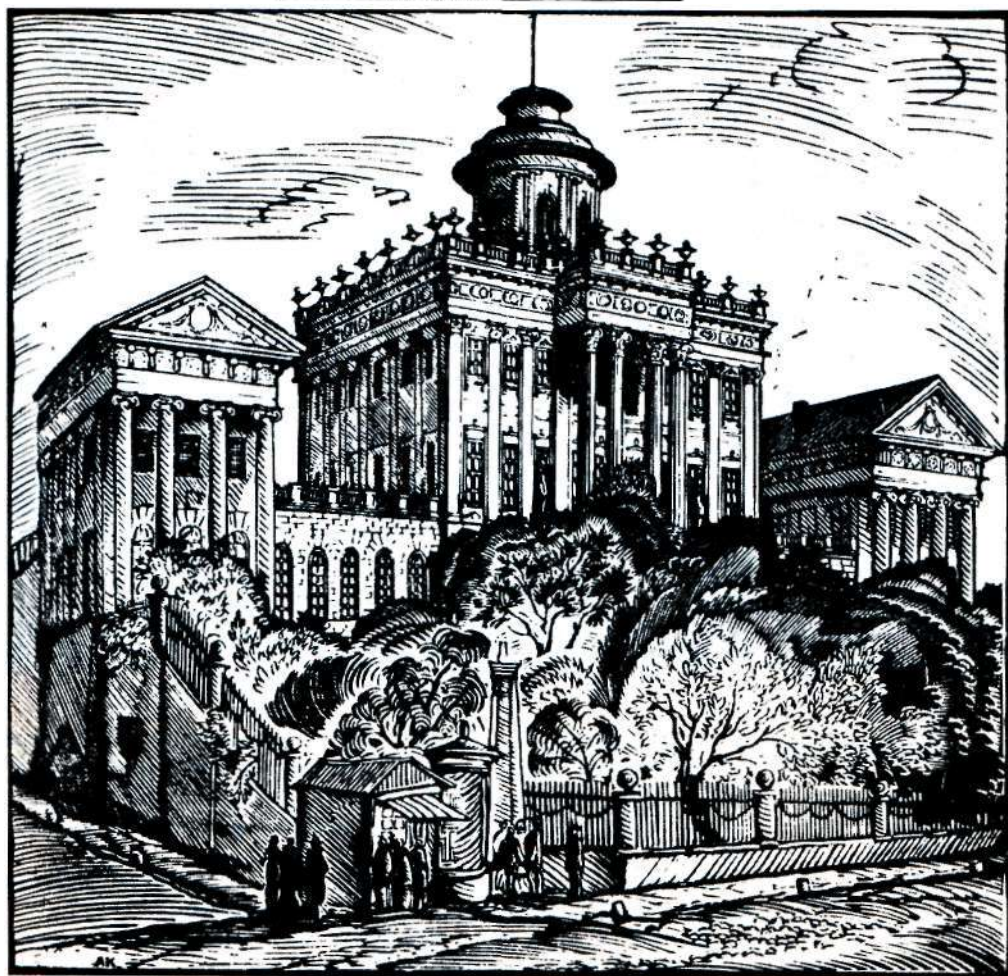
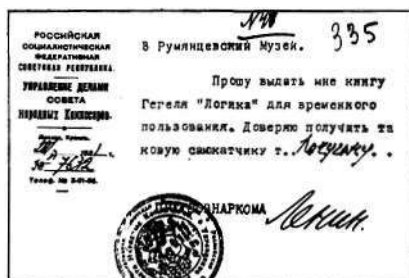
ление расцветить, украсить то, что есть в нашей жизни тягостного и ненавистного.

В природе, которая окружает нас и враждебна нам, красоты нет, красоту человек создает сам из глубин своей души: так финн преображает свои болота, свои леса и рыжий гранит, где растет чахлый кустарник, так араб убеждает себя, что пустыня прекрасна. Красота рождается из стремления человека ее созерцать. Меня поражает не безобразное нагромождение в горных пейзажах, а величие, которое



*Е. Кибрик. «В. И. Ленин
в подполье. Июль 1917».*

придает им человеческое воображение. Меня восхищает, с какой легкостью и с каким великодушием человек преображает природу, великодушием тем более удивительным, что земля, если хорошенько разобраться, уж не такое комфортабельное место. Вспомним о землетрясениях, ураганах, метелях, наводнениях, о жаре и о холоде, о вредных насекомых и микробах и о тысяче других вещей, которые сделали бы нашу жизнь совершенно невыносимой, если бы человек был менее героичен, чем он есть.



*А. Кравченко.
«Библиотека им
В. И. Ленина». 1924.*

Наше существование всегда и всюду трагично, но человек превращает эти бесчисленные трагедии в произведения искусства; я не знаю ничего более удивительного, более чудесного, чем это превращение. Вот почему в тонике стихов Пушкина или в романе Флобера я нахожу больше мудрости и живой красоты, чем в холодном мерцании звезд или в механическом ритме океанов, в шепоте леса или в молчании пустыни.

Молчание пустыни? Оно очень красноречиво выражено русским композитором Бородиным в одном из его произведений *. Северное сияние? Я предпочитаю ему картины Унслера. И Джон Рёскин возвестил глубокую истину, сказав, что закаты в Англии стали прекраснее после картин Тернера.

Я сильнее любил бы наше небо, если бы звезды были ярче, крупнее и ближе к нам. И они стали прекраснее с тех пор, как астрономы рассказали нам о них.



П. Шиллинговский. 1925.

*Государственная
библиотека СССР им.
В. И. Ленина.*



Мир, в котором я живу, — это мир маленьких Гамлетов и Отелло, мир Ромео и Горио, Карамазовых и мистера Домби, Давида Копперфильда, мадам Бовари, Манон Леско, Анны Карениной, мир маленьких Дон-Кихотов и Дон-Жуанов.

Из этих незначительных существ, из нас, поэты создали величественные образы и дали им бессмертие.

Я живу в мире, где совершенно невозможно понять человека, если не читать книг, которые о нем написаны нашими учеными и нашими мастерами слова: «Простое сердце» Флобера ценно для меня, как Евангелие; «Соки земли» Кнута Гамсуна поражают меня так, как поражает «Одиссея» *. Я уверен, что мои внуки прочтут «Жан-Кристофа» Ромэна Роллана и будут почтительно восхищаться величием сердца и ума автора и его непоколебимой любовью к человечеству.

Я хорошо знаю, что эта любовь считается теперь «немодной», но что делать? Она существует, не ослабевает, и мы продолжаем жить ее радостями и печальями.

Кажется даже, что эта любовь делается все более уверенной и осмысленной, а это, хотя и придает практический и несколько сухой характер ее внешним проявлениям, ни в какой мере не уменьшает иррациональности этого чувства в нашу эпоху, когда борьба за жизнь особенно обострена.

Я не хочу ничего знать, кроме людей. При подходе к ним книга всегда является дружеским и великодушным проводником. И я питаю все более и более глубокое уважение



к скромным героям, создавшим все, что есть на земле прекрасного и великого.

1925

ИВАН

1870–1953

БУНИН

*И вечная
мука — вечно
молчать, не
говорить как раз
о том, что есть
истинно твое
и единственно
настоящее,
требующее
наиболее законно
выражения, то
есть следа,
воплощения
и сохранения
хотя бы в слове!*

КНИГА

Лежа на гумне в омете, долго читал — и вдруг возмутило. Опять с раннего утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей никогда не бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалью, как своими собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой! И как теперь разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня?

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю кругом, остро вижу, слышу, обо- н я ю , — главное, чувствую что-то необыкновенно простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как следует в книгах.

Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и тучки, кое-где, — особенно к югу — еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым дождем. В саду поет одна иволга.

По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба.

— На своей девочке куст жасмину посадил! — бодро говорит он. — Доброго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает нечто самое непостижимое в мире.

В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже пестухов не слышно. Одна она поет — не спеша выводит игристые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, это усадьба живет для ее флейтового пения?

«На своей девочке куст жасмину посадил». А разве девочка об этом знает? Мужик кажется, что знает, и может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об этом кусте, — для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, что недаром, а для кого-то и для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачем выдумывать? Зачем геронни и герон? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены!



Б. Кустодиев. Деталь картины «Групповой портрет художника. Мир искусства». 1910–1916. (И. Э. Грабарь, Н. К. Рерих, Е. Е. Лансере).

И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!

1924

НИКОЛАЙ

1874–1947

РЕРИХ

*Если мы мыслим
о Культуре, это
уже значит, мы
мыслим и
о Красоте, и
о книге как
о создании
прекрасном.*

ЛЮБИТЕ КНИГУ

*Книга — это вещь,
«кирпичик»,
лежащий у меня на
столе,
и книга — это
изображенный мир.
Мы держим книгу
в руках, обнимая ее
пальцами и касаясь
рукой обеих корок
переплета, а между
этими корками
заклочен месяц
чтения и годы
переживаемой нами
жизни.*

*Книга — и мир
и предмет;
и скульптурные,
архитектурные,
графические
и живописные
моменты
соединяются, с тем
чтобы дать этот
сложный синтез
и тем самым
вести сложный
пространственный*

Среди искусств, украшающих и тем улучшающих жизнь нашу, одним из самых древних и выразительных является искусство книги. Что заставляло с самых древних времен начертаний придавать клинописи, иероглифам, магическим китайским знакам и всем многоцветным манускриптам такой изысканный, заботливый вид? Это бережное, любовное отношение, конечно, возникало из сознания важности запечатления. Лучшее знание, лучшие силы полагались на творение этих замечательных памятников, которые справедливо занимают место наряду с высшими творческими произведениями. По сущности и по внешности манускриптов, книг мы можем судить и о самой эпохе, создавшей их. Не только потому, что люди имели больше времени на рукописание, но одухотворение поучительных памятников давало неповторяемое высокое качество этим запечатлениям человеческих стремлений и достижений.

Но не только рукописность давала высокое качество книге. Пришло книгопечатание, и разве можем мы сказать, что и этот массовый способ не дал множество памятников высокого искусства, послужившего к развитию народов?

Не только в утонченных изданиях XVII и XVIII веков, но и во многих современных нам были охранены высокие традиции утонченного вкуса.

И качество бумаги, и изысканная внушительность шрифтов, привлекательное расположение предложений, ценность заставок, наконец, фундаментальный, крепкий доспех украшенного переплета делали книгу настоящим сокровищем дома. Таким же прочным достоянием, как и твердь, был переплет книги, не гнувшийся ни от каких житейских бурь.

Говорят, что современное производство бумаги не сохранит ее более века. Это прискорбно, и, конечно, ученые вместо изобретения «человечности» войны посредством газов должны бы лучше заняться изобретением действительно прочной бумаги для охраны лучших человеческих начертаний. Но если даже такая бумага опять будет найдена, мы опять должны будем вернуться к утонченности создания самой книги. Поистине самые лучшие заветы могут быть отпечатаны даже в отталкивающем виде. Глаз и сердце человеческое ищут красоту. Будет ли эта красота в черте, в расположении пятен, текста, в зовущих заставках и в утверждающих концовках — весь этот сложный, требующий вдумчивости комплекс книги является истинным творчеством.

Только невежды могут думать, что напечатать книгу легко... Хорошую книгу, конечно, создать нелегко. Имя редактора и издателя хорошей книги является действительно по-

*и временной мир
литературного
произведения, вести
его в наше
комнатное
пространство как
вещь этого
пространства, как
оформленную
шкапулку, как
кирпич.
...Книга — это,
с одной
стороны,
техническое
приспособление для
чтения
литературного
произведения;
с другой стороны,
она есть
пространственное
изображение
литературного
произведения.
В этом книга очень
похожа на
архитектуру — и
здание строится для
жизля, для
практического
использования, но
тем не менее
становится
искусством,
а верней — не тем
не менее, а тем
более, так как и
в книге и
в архитектуре
функция не мешает,
а помогает, дает
стимул для
пространственного*

читаемым именем. Это он, вдумчивый работник, дает нам возможности не только ознакомиться, но и сохранить как истинную драгоценность искры духа человеческого.

Книга остается как бы живым организмом. Ее внешность скажет нам всю сущность редактора и прочих участников. Вот перед нами суровая книга неизменных заветов. Вот книга-неряха. Вот поверхностный резонер. Вот щеголь, знающий только поверхность. Вот витиеватый пустослов. Вот углубленный познаватель. Зная эти тончайшие рефлексы книжного дела, как особенно чутко и внимательно мы должны отнестись ко всему окружающему книгу — это зеркало души человеческой.

Но все создается лишь истинной кооперацией. Мы будем глубоко почитать издателя — художника своего дела. Но и он может ждать от нас, чтобы мы любили книгу. Иногда, под руководством современных декораторов, не находится места для книжных шкафов. В некоторых очень зажиточных домах нам приходилось видеть вделанные в стену полки с фальшивыми книгами. Можете себе представить все потрясающее лицемерие владельца этих пустых переплетов. Не являются ли они красноречивым символом пустоты сердца и духа? А сколько неразрезанных книг загадочно лежат на столиках будуаров! И хозяйка их с восторгом говорит о знаменитом имени, напечатанном на обложке. Как часто среди оставленных наследий прежде всего уничтожаются именно книги, выбрасываемые как домашний сор, на вес, на толкучку. Каждому приходилось видеть груды прекрасных книг, сваленных, как тягостный хлам. Причем невежды, выбросившие их, часто даже не давали себе труда открыть и посмотреть, что именно они изгоняют.

Что же должен чувствовать издатель, художник, зная и видя эту трагическую судьбу истинных домашних сокровищ? Но и здесь не будем пессимистами. Правда, знаки безобразия существуют как со стороны читателей, так и со стороны издателей. Но ведь существуют же и поныне издания прекрасные, даже недорогие, но чудесные своею простотою, своею продуманною внушительностью. Существуют и нарождаются и прирожденные библиофилы, которые самоотверженно собирают лучшие запечатленные знаки человеческих восхождений. Может быть, именно сейчас нужно особенно подчеркивать необходимость сотрудничества между читателем и издателем... Даже среди стесненного нашего обихода нужно найти место, достойное истинным сокровищам каждого дома. Нужно найти и лучшую улыбку тем, кто собирает лучшие книги, утончая качеством их сознание свое. Неотложно нужно ободрить истинное сотрудничество вокруг книги и опять внести ее в красный-прекрасный угол жилища нашего. Как же сделать это? Как же достучаться до сердец остеклившихся или замасленных? Но если мы мыслим о Культуре, это уже значит, мы мыслим и о Красоте, и о книге как о создании прекрасном.

В далеких тибетских домах, в углу священном, хранятся резные доски для печатания книг. Хозяин дома, показав вам драгоценности свои, непременно поведет вас и к этому почи-

*пластического
оформления.
Сходство между
архитектурой
и книжным
искусством находим
мы и в том, что
и архитектурный
памятник и книгу
мы воспринимаем во
времени.*

Владимир Фаворский



*Н. Рерих. «Голубиная
книга». 1923.*



таемому углу и со справедливой гордостью будет показывать вам и эти откровения духа. Он согласится с досок этих и сделать оттиски для вас, если видит, что вы сорадуетесь его благородному собирательству. Я уже как-то писал Вам, что на Востоке самым благородным подарком считается книга. Не ободряет ли это? Если мы скажем друзьям нашим: «Любите книгу», «Любите книгу всем сердцем вашим и почитайте сокровищем в а ш и м», — то в этом древнем завете мы выразим и то, что действительно нужно в наши дни, когда ум человеческий обращается так ревностно к поискам о культуре.

Любите книгу!

...Книга, как в древности говорили, — река мудрости, напояющая мир! Книга, выхода которой еще недавно с трепетом ожидали и берегли наилучшее ее издание. Все это священное рвение библиофилов, оно не есть фанатизм и суеверие, нет, в нем выражается одно из самых ценнейших стремлений человечества, объединяющее Красоту и Знание. О достоинстве книги именно сейчас пробил час подумать. Не излишне, не по догме, но по неотложной надобности твердим сейчас:

Любите книгу!

АЛЕКСЕЙ

1877–1957

РЕМИЗОВ

*Только среди
книг я нахожу
себе место, и
в комнате без
книг... я
пропадаю...*

КНИГА

Я не «библиофил» – и в том смысле, как это здесь понимается, я не раз слышал среди русских, охотников до чтения: я не собираю книг, чтобы за чтение брать деньги; и в настоящем значении, по Осоргину *: мне совершенно не важно, в скольких экземплярах издана книга, и чтобы непременно иметь номер первый и, если можно, а пожалуй, и желательно, единственный.

Книга – чтение, люблю читать, а самые отчаянные библиофилы, как известно, только любят и завидуют: всегда ведь найдется, имя его произносится с ненавистью, у кого экземпляр первее. Книга – святыня, исповедую «Вопрошания Кирика», нашу древнюю русскую память и завет *, а подлинный библиофил готов сжечь книгу, чтобы хранить у себя «бесспорно» единственный экземпляр. Для меня книга – наука прежде всего, «источник знания»: не научит ли она меня уму-разуму? – ну, конечно, я не безразличен и к ее «явлению»: к буквам, строчкам и типографским находкам – буквенному искусству. Для меня книга – и обстановка: только среди книг я нахожу себе место, и в комнате без книг, как и посреди живой природы «под ветром», я пропадаю – трудно сосредоточиться; правда, в саду я никогда и не пытался писать, но в тюрьме – какие же там книги! – или на кухне, под блестящими глазами кастрюль на кухне, всякое бывало! И я прекрасно справлялся; выходило: слова шли за мыслью и мысли бежали за словами; но должен сказать: «положить душу на книгу»!.. подумаю, но для библиофила – и думать нечего: без книги библиофил как не существует и ради книги библиофил готов на все.

Начал я собирать с первой прочитанной, когда, не находя места от переполнявших меня чувств – итог семилетия моей ж и з н и, – я победил в себе какой-то непонятный страх перед печатным словом, а затем и сам написал, как пишется в книге, мой первый рассказ: «Убийца».

Первая книга, положившая основание нашему книжному собранию: «Рассказы» Андрея Печерского, первое издание, в переплете и большой сохранности; книгу купили на Сухаревке за двугривенный – цена корнет-а-пистона, погубившего своим неожиданным вылетающим неприличным звуком мою музыкальную карьеру. И это знаменательно: Андрей Печерский!

П. И. Мельников-Печерский, ученик Гоголя, не «оркестровый», как Аксаков, Достоевский, Тургенев, Писемский, Щедрин, а «копиист», а между тем от него я веду мое литературное родословие («Посолонь»), считаю его своим учителем при всем моем несозвучии с его искусственным «русским

стилем», и Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), едва ли даже прочитавший «В лесах» и «На горах», сам блестящий «копиист» Гоголя («Серебряный голубь»), и, наконец, Горький – в своем лучшем, что не может не остаться в русском слове: «Фома Гордеев».

Второй книгой, тоже купленной на Сухаревке, оказался (ведь все «случайно») Горбунов – за гривенник – цена турмана, из-за которого однажды меня колотили – упустил! – смертным боем, норвя «под душку», и навсегда

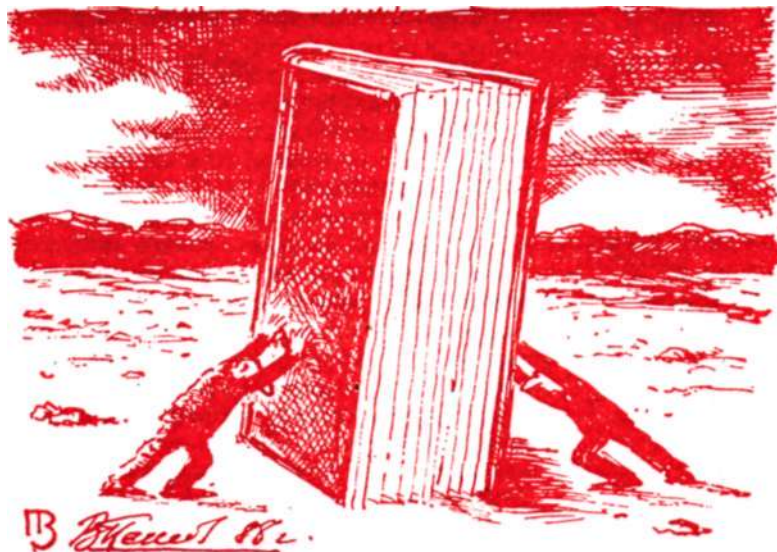


Рисунок В. Пескова.

вычеркнули из голубятников. И. И. Горбунов – и это тоже знаменательно!

Сцены Горбунова – репертуар нашего театра, я знал его наизусть, но литературно он меня никак не тронул, оттолкнул: мне вообще чужда манера «рассказчика»; у Горбунова она общая с «народным», прославившим Писемского («Питерщик» и «Леший»); этот рассказчик всегда кого-то представляет и «коверкает» (имитирует) – неловко слушать. От Горбунова пошел тот легко усвояемый «русский стиль», который можно назвать «анекдотическим»; любители на такое всегда найдутся, но «русской» литературе ни тепло, ни холодно.

Все мои братья тянулись к книге. Я не знаю, в чем было больше соревнования: в голубях, в бабках или в книгах. Как себя помню, помню книгу в нашей бывшей красильне. И скоро всем стала известна наша книжная страсть, и первый подарок на рождество: анненковский Пушкин в синем переплете * от тетки Капустиной и иллюстрированные «Вечера» и «Миргород» Гоголя – от Найденовых.

Роскошного семитомного Пушкина страшно было тронуть – вот откуда «библиофил!» – мы только, любясь, смотрели на книги, ревниво следя, чтобы кто-нибудь из нас не замусолил пальцами. К нашему счастью, брат, который

писал стихи и вел аккуратно дневник, достал «по случаю» однотомного Пушкина и уж не расставался, читая вслух, и плакал над «Капитанской дочкой». Так мы узнали Пушкина.

А Гоголь мне пришлось не по зубам: и то, что не по-русски», чего-то не привычно... тоже говорили, что очень смешно и страшно, но ничего смешного и страшного я не почувствовал, а рисунки слепые – для моих глаз ничего не вырисовывалось. Потом я понял, что Гоголя надо изучать; но



С. Иванов. Плакат «Книга не что иное, как человек, говорящий публично». 1920.

как и в первое чтение, так и теперь, зная наизусть, ничего смешного не нахожу и отзыв Пушкина о смехаче Гоголе не понимаю, а что до страха... я беру лучшее, а может быть, и единственное произведение Леонида Андреева «Вор»

и спрашиваю свое чувство: что страшнее, то ли, когда тебя ловят, преследуя по вагонам, или во сне хватающая руками ведьма-панночка в «Вии»?

Всякую новую книгу, появляющуюся у нас – источник один: голуби на Трубе, книга на Сухаревке, а насчет денег «история умалчивает», ну, спекуляция с голубями, тоже всякие «находки»... и книгу, и разрозненные журналы мы регистрировали. Составлялся каталог нашей библиотеки, чем мы очень гордились.

И когда здесь, в Париже, русская инfirmьерша * Нина Александровна Попович, появившаяся у нас по беде со жгучими «банками», оглядев наше берлинское и парижское книжное собрание, объявила, что она тоже собирает, и у нее уже двести книг, я ее очень хорошо понял, ее чувство гордости обладательницы таким, ни с чем не сравнимым сокровищем: книга. И когда Шаповалов, рассыльный гастрономического магазина «Рами», тоже не сказал, а объявил, и это очень важно: интонация! – что у него пятьсот книг, не считая разрозненных журналов, я ему от всего сердца посочувствовал и пожелал собрать тысячу, а разрозненные дополнить недостающими, чтобы хранить комплекты.

И всякий раз меня радует, когда встречаю человека, который хоть как-нибудь, боком тянется к книге. И как я могу себя чувствовать среди спортсменов! И мое сиротство, не покидающее меня в домах с теесефом *, но без книг! Любви своей никому не навяжешь, знаю, но и свое сожаление, а часто досаду тоже не вытравишь и не скроешь.

Никогда не забыть, как после России, где остались все наши книги, мы очутились в Берлине среди голых стен, и какое счастье это было – «Мертвые души», первая купленная книга за границей, положившая основание нашей бедной библиотеке. Но и при всех бедовых случаях нашей жизни, и при бедствиях общечеловеческих, мы никогда с ней не расстаемся, храня и разрозненные, и перевозим с собой при перемене квартиры: так за эти годы пропутешествовали наши тяжелые драгоценные ящики – с авеню Мозар на бульвар Порт-Рояль, с Порт-Рояля в Булонь, и опять в Отэй, на рю Буало; очень это чувствительно, но и неизбежно, как покупка лекарства.

А сколько раз слышали: «бросьте!» Это говорили те, «благожелатели», которым всегда есть дело до другого, у них особенные вынюхивающие носы, и которые всегда осуждают нас и особенно интересуются, сколько у нас комнат, и они правы: книгам надо место, а стало быть, поселиться в норе никак невозможно! А ведь именно «нора», по их убеждению, и есть наше место... и они правы, скажу больше, нам место – и нора чересчур!

И сколько раз я слышал и слышу: «Почему вы не пишете?» И это говорили благожелатели, но у которых язык не повернется сказать «бросьте ваши книги!». Обыкновенно я или отмалчивался, или говорил невпопад, очень мне это надоело. Но наконец, нашел формулу и уж не смущаясь и без раздражения повторяю попугаем отнюдь не попугаям: «Не я не пишу, а меня не печатают». – «Как? почему?» – «Нет

*Если бы знать, что
читатель твой друг
и дорога к другу
есть дорога
к читателю, то как
бы просто было
решить труднейшие
вопросы творчества.*

*Но читатель
может быть
зависимым, и как
птицы спят на
деревьях непременно
так, чтобы ветер
не поддувал перья
сзади, а обтекал бы
их спереди, так
и массовый
читатель
в отношении ветра
современности.*

Михаил Пришвин

места». И плакат, заготовленный для посетителей, чтобы на стенку повесить, украшенный моими маленькими рисунками: «Не спрашивайте: почему я не пишу?» – я бережно сложил и спрятал в архив, в отдел, называемый: «День зарубежной русской культуры».

С каждым годом превращаюсь из «писателя» (я подразумеваю профессиональное звание человека, реализующего свое ремесло) в пишущего, но не печатающегося и не выпускающего своих книг, завитушатаго «книгописца» и иллюстратора* – в Париже, городе художников, «самодельно» рисую картинки с расчеркивающимися подписями в своих рукописных единственных экземплярах, – для России попадаю в – «несуществующие», а для зарубежья, в большинстве далекого от всякой литературы, – в «бывшего»... вы меня поймете – ведь мы существуем милостыней, подаванием или, говоря словами «Живых мощей»: «А добрые люди здесь есть тоже»... вы понимаете мое чувство: нет у меня никакой возможности и даже не могу мечтать (стало быть, и с мечтой, как будто независимой и наперекор прущей, можно расстаться – погасить или вырвать!), да, я давно уже не мечтаю купить книгу.

Часами готов, и под дождем, – и терпеливо выстаиваю перед витринами книжных магазинов, любуюсь – и как приятно мне тогда: «библиофил» – его, чуждая мне, читателю, природа: библиофил есть только ревнивый и страстный обозреватель книги! Иногда же я решаюсь и, набравшись смелости, вхожу в магазин. Приказчики все это хорошо понимают: присмотрелись, ведь такой, как я, не один перебивает за день бесполезно – не спрашивают и отходят в сторону... потом я ухожу, кивая и глазами так – и за все благодарен! – в глаза, которые, щадя меня, не замечают.

Не однажды видел я, но раз особенно запомнилось: человек перед витриной с деликатесами – и как стоял он и высматриваясь до осязания, я понял, что это голодный. А что, если бы вдруг все это вкусное и соблазнительное нагромождение взлетело бы на воздух? – да этот голодный, пожалуй, и не заметил бы, ведь все равно не для него оно заготовлено! а если бы и спохватился, то непременно позлорадствовал бы, что так и надо, и: «что? – съели?!» Я понимаю. Но какая разница: паштет с заливным, который до засоса тянет к себе и никогда не попадет тебе в рот, или вот как я тарашусь? И что, если снаряд упадет не в деликатесы, а в книги? Не могу без горечи читать о пожарах библиотек и возмущаюсь, слыша о расхищении книжных сокровищ... и пусть с витрин книжного магазина ни одна книга не попадет в мои руки – не согласен!

Только из авторских подарков пополняется наше собрание. И я могу похвалиться перед Шаповаловым, что у нас теперь куда больше тысячи и есть старинные рукописи: четыре грамоты, один «столбец», шестьдесят семь петровских рапортов (подарок С. Л. Полякова-Литовцева); и редкая

грамматика Ломоносова, по-немецки. Читаю я неторопливо: только глазами, как это принято, не умею; наостря уши я переговариваю строчки, разлагая слова. Больше всего люблю сказки, потом исследования; люблю философию и историю, не пропущу ни одного алдановского рассказа и, конечно, люблю «поэзию», но больше там, где поменьше стихов. Равнодушен к «юмористике»: просто мне ничуть не смешно; не умею читать «театра» и всегда раздражаюсь от проповедей: мне всегда казалось, что беспредметные рассуждения о добродетелях пишутся людьми, которым нечего делать или у которых на настоящее доброе дело не хватает ни воли, ни сердца, ни умения – и вот размазывают, и как будто не возразишь, а уши вянут. И редко за чтением не рисую. Вы, наверно, слышали, есть такой инфрит из породы маридов*: семиротый, горбатый, с четырьмя пряжами до самых пяток, руки – вилы, а ноги – копыта дикого осла с когтями льва, а зовут его «Кашкаш». Видел его однажды Ала-ад-дин, и мне он небезызвестен, ну как же пропустить, не нарисовать такую «симпатичную личность»!

БОРИС

1881–1972

ЗАЙЦЕВ

*...Ещё годы
жить, чтобы
воистину родной
литературой
возгордиться, ни
на какую ее не
променять.*

- Что особенно близко человеку?
- В детстве мать.
- Позже?
- Жена.
- А вообще кто сопровождает? Чуть ли не с пеленок, чуть ли не до могилы?
- Книга.
- Не всякая, но согласен. И действительно, с ранних лет.

ПОХВАЛА КНИГЕ

Вечер. Столовая в барском доме, в деревне. Висячая лампа над обеденным столом, сейчас еще не накрытым. В узком конце его отец, веселый, причесанный на боковой пробор, читает детям вслух. По временам, когда очень смешно (ему), останавливается, вытирает платком негорькие слезы, увеселяющие, читает, читает дальше. Мы, дети, тоже хохочем. Из-за чего, собственно? Но веселый ток идет от книги и от отца. Написал все это какой-то Диккенс. В допотопном рыдване (у нас тоже есть в этом роде), неведомый мистер Пиквик, с товарищами-учениками – разные Топманы, Снодгра-сы, – куда-то едут, чего-то ищут. Собственно, трудно понять, почему это так забавляет нас (милый, смешной и забавный мир приоткрывается). Благодушный фантазмагорист Пиквик, чрез любимого отца, входит в дом наш, разливает свое приветное веяние.

Смех наш детский, но зажег его Диккенс с полудетской своей душой. А проводником оказался отец, подходящего внутреннего склада.

Много позже, когда никого из тогдашних слушателей, кроме меня, не осталось в живых (не говоря уже об отце), взрослым попал я в Лондон. Русский приятель повел в ресторан, где-то в Сити, по виду неказистый и скучноватый. Но не в биржевых дельцах, не в ростбифе и джине превосходных оказалось тут для меня дело. Над входной дверью, на притолоке маленькая фигурка-скульптурка: полный благодушный человек, старомодный по виду, будто приглашает:

- Милости просим!
- Это ресторан, – сказал приятель, – где бывал часто Диккенс. А фигурка над дверью – мистер Пиквик.

Вот где встретились! После Устов, захолустья калужского конца прошлого века...

Выпили джину за Диккенса. Но не в последний еще раз встретился он. Еще через годы – совсем в другом роде. В Париже, у постели тяжело больного близкого человека. Тут

уже не до смеху. Но по странному совпадению, Диккенс пришел и в начале жизни, и в конце. Без детского смеха теперь и без Пиквика.

За два года прочел я вслух жене всех Копперфильдов, Твистов и другое разное, очень много. Диккенс был для меня уже не тот, веселый устовский, а замечательный английский писатель, простодушный и чистый, во многом «для юношества» (но не теперешнего), очень изобразительный и трогательный – на больную действовал хорошо. И я почувствовал



в нем союзника – пусть Толстой пренебрежительно морщится*.

А Жюль Верн? Для детей, конечно, царство ему небесное («Смелее, – кричал лорд Гленарван». – «Смелее, – повторяла его молчаливая супруга», и все они, на борту своего парохода, ищут какого-то Айртона, заброшенного на пустынный остров кораблекрушением. И милый Паганель, рассеянный французский географ с ними...).

Капитана Немо («Таинственный остров») ждешь, как подарка, каждую субботу (приложение к «Задушевному слову» – какое название!) *. Бежишь встречать почтальона со всех четырех ног. Это власть. Над ребенком, но и над взрослыми не остыть ей, только в иные края литературы перемещается она.

Тургенев раньше других приходит: «Первая любовь» дает первые опьянения и отроку, и позже взрослому. А там

«Дворянское гнездо» (Лиза Калитина жила в Орле напротив дома моего дяди).

Толстой распространяет свой шатер огромный позже, туда вмещаются и Пьеры и Болконские, Наполеоны и Кутузовы, Багратионы и Ростовы со своей Наташей. Это уж демиургическое, не «для детей и юношества». И под кровом своим держит тебя этот гигант, сколько хочет. Спротивляться бесполезно, да и нет желания. Напротив, обаяние непрерывно.



Достоевский «настоящий» приходит всех позже. Конечно, и во втором классе калужской гимназии, таща хмурым утром ранец в унылые арестантские роты по имени «классическая гимназия» (ante, apud, ad, adversus... собьешься, можно двойку получить), вспоминаешь «Бедных людей», «Униженных и оскорбленных», вчера вечером читанных... но до «Идиота», «Бесов», «Братьев Карамазовых» еще далеко, еще годы жить, чтобы воистину родной литературой возгордиться, ни на какую ее не променять. Можно быть великим почитателем и Данте, Гёте, но своего не отдашь.

И вот еще имя, только всплывшее по-настоящему – в какие поздние годы! Ребенком держал в руках книжечку в переплете – перелистаешь, там какие-то мельницы ветряные, рыцарь на коне с копьем летит на них (непонятно почему, но забавно), этот же рыцарь этим же копьем угрожает стаду баранов – на обложке надпись: «Дон Кихот»*. Любопытно, конечно, но что-то странное, полусмешное. Полюмный рыцарь все твердит о какой-то Дульцинее Тобос-

*Книги — это
общество. Хорошая
книга, как хорошее
общество,
просвещает
и облагораживает
чувства и нравы.*

Николай Пирогов

ской, куда-то стремится, чего-то ищет, кому-то хочет помочь, защитить, и ничего, кроме смешного, неприятного у него не выходит. Все же в детской душе вызывает он некое сочувствие. От взрослых слышишь «Дон Кихот», «Дон Кихот», тоже смесь улыбки с одобрением.

Из ребенка человек взрослым становится, и «Дон Кихота» знает только по переложению, сокращенному для детей.

Но, оказалось, есть перевод и для взрослых, г-жи Ватсон. Начинается чтение... да ведь это просто скучно!

Не могу теперь судить, то ли это был неполный перевод, то ли сам не дорос, только «Дон Кихот» так и остался под замком. Кроме всемирного имени, ничего.

И вот жизнь проходит, без «Дон Кихота». Краешек остался еще, и на книжной полке таинственно появляется «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Два тома по пятисот страниц. Так и не понял, откуда появились. Подарок? Но чей, когда?

Все равно, решил попробовать. Не без опасения. Вдруг опять застрянешь. Издание советское, 56-го года. Перевод Любимова.

Тут идальго за себя постоял. Написано более трехсот лет назад, а держит, не отпускает. Смесь великого с детским, все воплощено, да, это Испания XVII века, все живое, начиная со священного безумца, всем жаждущего помочь, прикрыть любовью, найти Дульцинею для преклонения перед н е й , — пусть смеются над ним, он себе шествует, ни на кого не глядя, да и на трудности не обращая внимания. Важен подвиг, важна Дульцинея. Великая жизнь — в ней почти что всегда неудача, а пред Высшим сплошная заслуга.

И милый оруженосец, этот с детства знаком, Санчо Панса, ловкач и стяжатель, но и фантазмагорист, верит в остров какой-то и свое там губернаторство (обещанное хозяином!), рыцаря своего обожает, несмотря на все бесчисленные нелепости его (говорит чуть не сплошь пословицами. Переводчик отлично со всем этим справился).

Сервантес писал «Дон Кихота» долго, с большим перерывом между первой и второй частью. Первый том сильно отличается от второго. Почувствовал ли, что пишет мировую вещь? Не казалось ли поначалу, что выйдет просто забавное, для развлечения кардиналов, герцогов и герцогинь — покровителей? Не знаю. И недостаточно знаю жизнь этого Сервантеса Сааведра. Знаю, что в морском бою при Лепанто потерял он руку, попал в плен к маврам, годы прожил почти рабом в Африке. Сколько видел людей! И какой опыт жизненный! Это все в книге сказалось. И страдания пережитые сказались. Вторая часть сдержаннее, глубже, мудрее. Меньше смешного в Дон Кихоте, он грустнее, задумчивей, тише. И как-то еще значительнее. Возвращается в дом свой деревенский внешне неудачником, внутренне победителем, ибо не жалел себя, все делал для других — сырых, слабых и беззащитных, а если жизненно ничего не вышло, то это уж часть натур орлиных.

Книга «Дон Кихот» обладает таким свойством: незамет-

но, но чем дальше, тем больше, подымает она, просветляет и облагораживает. Прочитав несколько страниц, закрываешь ее с улыбкой чистой, выше обыденного. Будто ребенок тебя приласкал, но ребенок особенный, в нем чистота, музыкальность и нечто не от мира сего. Да, почти всегда улыбаешься, именно этой улыбкой, о которой, наверно, не думал автор.

Хвала книге, от смиренной, «для юношества», но настоящей, до великой, для всего человечества. Так или иначе и та, и другая владеет в мечте, фантазии, вводит в мир свой, особый, и чем выше он, тем след навечней. Хвала тем, кто выводит из обыденности, раздвигает жизнь и по-истинному обольщает.

1970

АЛЕКСЕЙ

1883–1945

ТОЛСТОЙ

*Читатель —
составная часть
искусства.*

О ЧИТАТЕЛЕ

Вас, писателя, выбросило на необитаемый остров. Вы, предположим, уверены, что до конца дней не увидите человеческого существа и то, что вы оставите миру, никогда не увидит света.

Стали бы вы писать романы, драмы, стихи?
Конечно, — нет.

Ваши переживания, ваши волнения, мысли претворялись бы в напряженное молчание. Если бы у вас был темперамент Пушкина, он взорвал бы вас. Вы тосковали бы по собеседнику, сопереживателю, — второму полюсу, необходимому для возникновения магнитного поля, тех, еще таинственных, токов, которые появляются между оратором и толпой, между сценой и зрительным залом, между поэтом и его слушателями.

Предположим, на острове появился бы Пятница или просто говорящий попугай и вы, поэт, сочинили бы на людоедском языке людоедскую песенку и еще что-нибудь экзотическое для попугая. Это тоже несомненно. Художник заряжен лишь однополюсной силой. Для потока творчества нужен второй полюс — вниматель, сопереживатель: круг читателей, класс, народ, человечество.

Из своего писательского опыта я знаю, что напряжение и качество той вещи, которую я пишу, зависят от моего первоначального заданного представления о читателе.

Читатель как некое общее существо, постигаемое моим воображением, опытом и знанием, возникает одновременно с темой моего произведения.

Нельзя представить себе презираемого читателя. Он должен быть близок и любим. Густав Флобер был в отчаянии от современников. Его письма наполнены мукой этого чувства. Он писал для избранных друзей или для будущих поколений. Это наложило на него отпечаток изысканности, пренебрежительной величавости и меланхолии.

Характер читателя и отношение к нему решают форму и удельный вес творчества художника. *Читатель — составная часть искусства.*

Читатель в представлении художника может быть конкретным и персональным: это — читающая публика данного сезона. Сотворчество с таким натуральным читателем дает низшую форму искусства — злободневный натурализм.

Читатель в представлении художника может быть *идеальным, умозрительным*: это — класс, народ, человечество со всеми особенностями времени, задач, борьбы, национальности и пр.

Общение с таким призраком, возникшим в воображении

художника, рождает искусство высшего порядка: от героической трагедии до бурь романтизма и монументов реализма.

Величина искусства пропорциональна вместимости художественного духа, где возникает этот призрак.

Утверждение, будто искусство возможно только для самого себя, — противоестественная ложь.

Я вспоминаю, какое место лет десять тому назад в литературной жизни занимал читатель.



Е. Кацман. «Калядинские кружевницы». 1928.

Читатель — это был тот, кто покупал книги.

Читатель — это бульон, в котором можно было развести любую культуру литературных микробов.

Читатель — стадо, которое с октября в столице обрабатывали литературным сезоном.

Веселое время был петербургский сезон.

Начинался он спорами за единственную, подлинную художественность того или иного литературного направления.

Страсти разгорались. Критика пожирала без остатка очередного попавшего впросак писателя. К рождеству обычно рождался новый гений. Вокруг него поднимались вихрь, ссоры, свалка, летела шерсть клоками.

Рычал львом знаменитый критик. Другой знаменитый критик рвал в клочки беллетриста. Щелкали зубами изо всех газетных подвалов. Пороли друг друга перьями.

В грозовой атмосфере модные писатели писали шедевры, швыряли их в общую свалку. Каждый хотел написать неслыханное, по-особенному.

Шумели ротационные машины. Шумно торговали книжные лавки. Девы бросались с четвертых этажей, начитавшись модных романов. Молодые люди принципиально отдавались извращениям. Выпивалось море вина и крепкого чая. Публика ломилась в рестораны, где можно было поглядеть на писателей. Колесом шел литературный сезон.

Иные, желая прославиться, мазали лицо углем, одевались чучелой и в публичном месте ругали публику сволочью. Это тоже называлось литературой.



Б. Иогансон. «Рабфак идет. Вузовцы». 1928.

Читатель веселился, на писателя поплевывал. Писатель веселился, на читателя поплевывал.

Разумеется, не в этом одном была литература. Серьезная литература сердито отгораживалась от шума *заветными бровями* Льва Толстого. Художники силились проникнуть за вековую стену — из жизни праздной и призрачной — в подлинное бытие России.

Но тут обнаруживался кризис читателя. Он был загадкой... «Он», разумеется, был не тот, кто ходил в рестораны

*Чтение есть создание
собственных мыслей
при помощи мыслей
других людей.*

Николай Рубакин

*Пути читателя
к книге и книги
к читателю — не
всегда гладкие,
протофренетские пути.*

*Николай
Смирнов-Сокольский*

смотреть, как писатели едят столовое стекло. «Он» был и не тот уже, кто, как священные тексты, читал толстые журналы. Думаю, не было бы ошибкой сказать, что последний из дореволюционных писателей — Чехов — знал, презрительно любил и носил в себе своего читателя.

«...Когда этот либерал, пообедав без сюртука, шел к себе в спальню и я увидел на его спине помочи, то так было понятно, что этот либерал — обыватель, безнадежный мешанин...»

После революции 1905 года лицо читателя сделалось зыбким, совсем расплывчатым. Приходится его начисто *выдумывать*.

Так, Леонид Андреев придумал себе читателя — крайне нервное, мистически-мрачное существо с расширенными зрачками. Он, Андреев, шептал ему на ухо страхи и страсти.

Так, Иван Бунин представлял себе русского читателя брезгливым, разочарованным скептиком (из разорившихся помещиков), злобно ненавидящим расейские грязи и будни.

Писатели помельче недолго держались за суровые брови Льва Толстого. Все шумнее становился город, сильнее заманивал пленительными туманами, все выше огораживался от жизни стенами Фата-Морганы.

Махнули рукой: все равно ничего за стенами не увидишь, Лев Толстой написал Каратаева, на этом и успокоился: там, за стеной, все — Каратаевы.

Сразу стало легко. В конце концов не Каратаевы же книжки читают.

Извозчик, скажи-ка, братец мой, читал ты Метерлинка?
— Чего?

Какой же это читатель! Народники и те на нем зубы сломали. А вот одна барышня спрашивает — жить ей или отравиться?

Вот это — читатель! Тут вопросы поставлены остро.

«Милая барышня, расточайте, расточайте жизнь, она пуста».

Шумел, гремел литературный сезон. А у черты уже стояли война и революция, глядели в лицо кровавыми, огненными глазами.

Десятый год республики. Налицо молодые писатели, критики, издательства, журналы, литературные школы. Залежи небывалого материала для искусства — не залежи, а Гималаи.

И все же — продукция не отвечает спросу... Рынок требует нового романа, театр — новой пьесы. Их мало, слишком мало еще. Но зато сколько споров: в чьих руках должна быть литература — у ВАППа, у ЛЕФа, у попугачиков? * И прочее и прочее... Споры, скандалы, громовые статьи... А читатель спокойно посматривает на эти битвы, на эти группы и спрашивает настойчиво и терпеливо: «А когда же книжечку напишете? Ведь читать нечего».

Я еще ни разу ни от кого не услышал ни слова о новом читателе.
Новый, неведомый читатель десятого года республики.

Он стоит у черты, глядит в лицо молодыми, смеющимися, жадными глазами.

Новый читатель — это тот, кто почувствовал себя хозяином Земли и Города.

Тот, кто за последнее десятилетие прожил десять жизней.

Это тот, у кого воля к жизни.

Это тот, кто разрушил старые устои и ищет новых.

Это тот, кого обманула старая культура.

Это тот, кто не знает еще никакой культуры.

Это новый, разнородный, но спаянный одной годиною революции, уверенностью в грядущем, — этот новый читатель, который не покупает книг, потому что у него нет денег, — должен появиться стомиллионноголовым призраком в новой литературе, в тайнике каждого писателя и, возникнув, сказать:

«Ты хочешь перекинуть ко мне волшебную дугу искусства а, — узнай, полюби меня. Пиши

честно,

ясно,

просто,

величаво.

Искусство — это моя радость».

1923

НИКОЛАЙ

1886–1921

ГУМИЛЕВ

*Неисчислимы
руководства для
поэтов, но
руководств для
читателей не
существует.*

ЧИТАТЕЛЬ

Поэзия для человека – один из способов выражения своей личности и проявляется при посредстве слова, единственного орудия, удовлетворяющего ее потребностям. Все, что говорится о поэтичности какого-нибудь пейзажа или явления природы, указывает только на пригодность их в качестве поэтического материала или намекает на очень отдаленную аналогию в анимистическом духе между поэтом и природой. То же относится и к поступкам или чувствам человека, не воплощенным в слове. Они могут быть прекрасными, как впечатление, даваемое поэзией, но не станут ею, потому что поэзия заключает в себе далеко не все прекрасное, что доступно человеку. Никакими средствами стихотворной фонетики не передать подлинного голоса скрипки или флейты, никакими стилистическими приемами не воплотить блеска солнца, веяния ветра.

Поэзия и религия – две стороны одной и той же монеты. И та и другая требуют от человека духовной работы. Но не во имя практической цели, как этика или эстетика, а во имя высшей, неизвестной им самим. Этика приспособляет человека к жизни в обществе, эстетика стремится увеличить его способность наслаждаться. Руководство же в перерождении человека в высший тип принадлежит религии и поэзии. Религия обращается к коллективу. Для ее целей, будь то построение небесного Иерусалима, повсеместное прославление Аллаха, очищение материи в Нирване, необходимы совместные усилия, своего рода работа полипов, образующая коралловый риф. Поэзия всегда обращается к личности. Даже там, где поэт говорит с толпой, – он говорит отдельно с каждым из толпы. От личности поэзия требует того же, чего религия от коллектива. Во-первых, признания своей единственности и всемогущества, во-вторых, усовершенствования своей природы. Поэт, понявший «трав неясный запах», хочет, чтобы то же стал чувствовать и читатель. Ему надо, чтобы всем «была звездная книга ясна» и «с ним говорила морская волна» *. Поэтому поэт в минуты творчества должен быть обладателем какого-нибудь ощущения, до него не осознанного и ценного. Это рождает в нем чувство катастрофичности, ему кажется, что он говорит свое последнее и самое главное, без познания чего не стоило [на] земле и рождаться. Это совсем особенное чувство, иногда наполняющее таким трепетом, что оно мешало бы говорить, если бы не сопутствующее ему чувство победности, сознание того, что творишь совершенные сочетания слов, подобные тем, которые некогда воскрешали мертвых, разрушали стены. Эти два чувства бывают и у плохих поэтов. Изучение техники за-

ставляет их являться реже, но давать большие результаты.

Поэзия всегда желала отмежеваться от прозы. И типографским (прежде каллиграфическим) путем, начиная каждую строку с большой буквы, и звуковым ясно слышимым ритмом, рифмой, аллитерацией, и стилистически, создавая особый «поэтический» язык (трубадуры, Ронсар, Ломоносов), и композиционно, достигая особой краткости мысли и эйдологически в выборе образов. И повсюду проза следовала за ней, утверждая, что между ними, собственно, нет

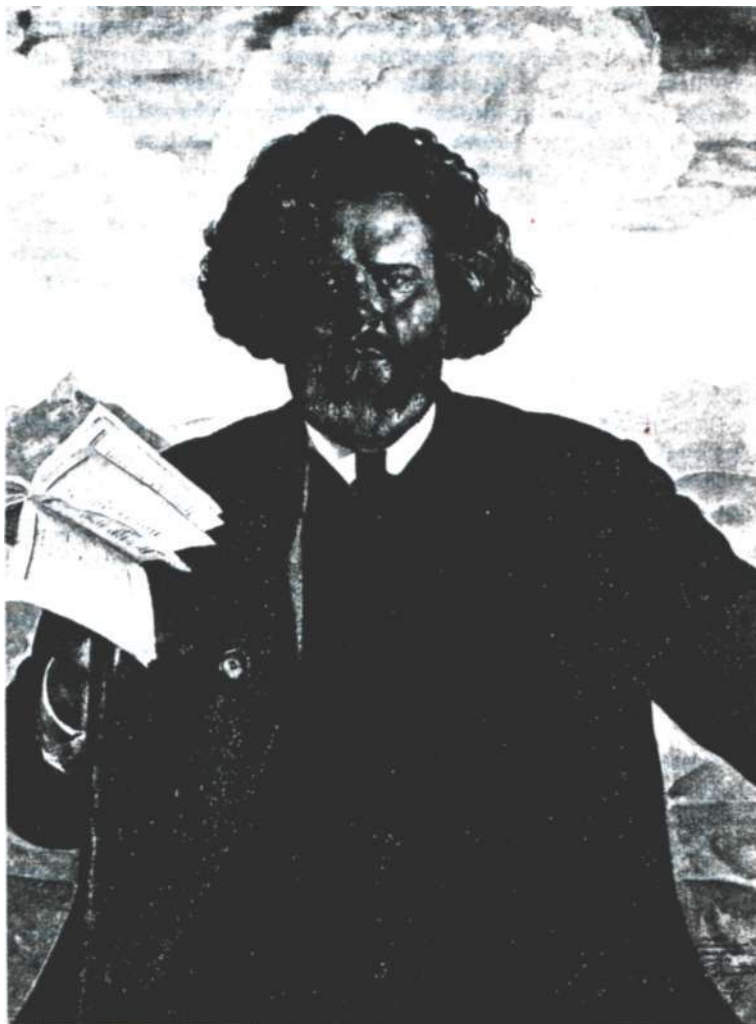


М. Шафнер. «Мадонна с младенцем».

разницы, подобно бедняку, преследующему своей дружбой богатого родственника. За последнее время ее старания как будто увенчались успехом. С одной стороны, она под пером Флобера, Бодлера, Рембо приобрела манеры избранницы судьбы, с другой, поэзия, помня, что повитка — неперемненное условие ее существования, неустанно ищет но-

вых и новых средств воздействия и подошла к запретной области в стиле Вордсворда, композиции Байрона *, свободном стихе и др. и даже в начертании, раз Поль Фор печатает свои стихи в строку, как прозу.

55 Я думаю, и невозможно найти точной границы между прозой и поэзией, как не найдем ее между растениями и минералами, животными и растениями. Однако существование гибридных особей не унижает чистого типа. И относительно поэзии ее новейшие исследователи пришли к согласию.



*Б. Кустодиев.
«М. А. Волошин». 1924.*

В Англии продолжает царить аксиома Кольриджа, определяющая поэзию как «лучшие слова в лучшем порядке». Во Франции мнение Т. де Банвиля: поэма — то, что уже сотворено и не может быть исправлено. А к этим двум мнениям примкнул и Малларме, сказавший: «Поэзия везде, где есть внешнее усилие стиля».

Выражая себя в слове, поэт всегда обращается к кому-то, к какому-то слушателю. Часто этот слушатель — он сам, и здесь мы имеем дело с естественным раздвоением личности. Иногда некий мистический собеседник, еще не явившийся друг или возлюбленная, иногда это Бог, Природа, Народ...

Это — в минуту творчества. Однако ни для кого, а для поэта тем более, не тайна, что каждое стихотворение находит себе живого реального читателя среди современников, порой потомков. Этот читатель отнюдь не достоин того презрения, которым так часто обливали его поэты. Это благодаря ему печатаются книги, создаются репутации, это он дал нам возможность читать Гомера, Данте и Шекспира. Кроме того, никакой поэт и не должен забывать, что он сам, по отношению к другим поэтам, тоже только читатель. Однако все мы подобны человеку, выучившемуся иностранному языку по учебникам. Мы можем говорить, но не понимаем, когда говорят с нами. Ненасчитаны руководства для поэтов, но руководств для читателей не существует. Поэзия развивается, направления в ней сменяются направлениями, читатель остается все тем же, и никто не пытается фонарем познания осветить закоулки его темной читательской души. Этим мы сейчас и займемся.

Многое зависит от того, как и кто читает; но и самые превосходные книги могут быть пагубны, когда поймешь их криво.

Вильгельм Кюхельбекер

Прежде всего каждый читатель глубоко убежден, что он авторитет; один — потому, что дослужился до чина полковника, другой — потому, что написал книгу о минералогии, третий — потому, что знает, что тут и хитрости никакой нет: «Нравится — значит хорошо, не нравится — значит плохо; ведь поэзия — язык богов, ergo я могу о ней судить совершенно свободно». Таково общее правило, но в дальнейшем своем отношении читатели разделяются на три основных типа: наивный, сноб и экзальтированный. Наивный ищет в поэзии приятных воспоминаний: если он любит природу — он порицает поэтов, не говорящих о ней, если он социалист, Дон-Жуан или мистик — он ищет стихов по своей специальности. Он хочет находить в стихах привычные ему образы и мысли, упоминания о вещах, которые ему нравятся. О своих впечатлениях он говорит мало и обыкновенно ничем не мотивирует своих мнений. В общем, довольно добродушный, хотя и подвержен припадкам слепой ярости, как всякое травоядное. Распространен среди критиков старого закала.

Сноб считает себя просвещенным читателем: он любит говорить об искусстве поэта. Обыкновенно он знает о существовании какого-нибудь технического приема и следит за ним при чтении стихотворения. Это от него вы услышите, что X — великий поэт потому, что вводит сложные ритмы, Y — потому, что создает новые слова, Z — потому, что волнуется путем повторений. Он выражает свои мнения странно и порой интересно, но, учитывая только один, редко два или три приема, неизбежно ошибается самым плачевным образом. Встречается исключительно среди критиков новой школы.

Значит (лат.).

Экзальтированный любит поэзию и ненавидит поэтику.

В прежнее время он встречался и в других областях человеческого духа. Это он требовал сожжения первых врачей, анастомов, держающих раскрыть тайну Божьего создания. Был он и среди моряков, освистывавших первый пароход, потому что мореплавателю должен молиться Деве Марии о даровании благоприятного ветра, а не жечь какие-то дрова, чтобы заставить вертеться какие-то колеса. Вытесненный отовсюду, он сохранился только среди читателей стихов. Он говорит о духе, цвете и вкусе стихотворения, о его чудесной силе или, наоборот, дряблости, о холодности или теплоте поэта. Встречается редко, вытесняемый все больше и больше двумя первыми типами, и то среди самих поэтов.

Картина безотрадная, не правда ли? И если поэтическое творчество есть оплодотворение одного духа другим посредством слова, подобное оплодотворению естественному, то это напоминает любовь ангелов к канниткам *, или, что то же самое, – простое скотоложество. Однако может быть иной читатель, читатель-друг. Этот читатель думает только о том, о чем ему говорит поэт, становится как бы написавшим данное стихотворение, напоминает его интонациями, движениями. Он переживает творческий миг во всей его сложности и остроте, он прекрасно знает, как связаны техники все достижения поэта и как лишь ее совершенства являются знаком, что поэт отмечен милостью Божией. Для него стихотворение дорого во всей его материальной прелесть, как для псалмопевца слюни его возлюбленной и покрытое волосами лоно. Его не обманешь частичными достижениями, не подкупишь симпатичным образом. Прекрасное стихотворение входит в его сознание, как непреложный факт, меняет его, определяет его чувства и поступки. Только при условии его существования поэзия выполняет свое мировое назначение облагораживать людскую породу. Такой читатель есть, я по крайней мере видел одного. И я думаю, если бы не человеческое упрямство и нерадивость, многие могли бы стать такими.

Если бы я был Беллами, я бы написал роман из жизни читателя грядущего *. Я бы рассказал о читательских направлениях и их борьбе, о читателях-врагах, обличающих недостаточную божественность поэтов, о читателях, подобных д'аннунциевской Джиоконде *, о читателях Елены Спартанской, для завоевания которых надо превзойти Гомера. По счастью, я не Беллами, и одним плохим романом будет меньше.

То, чего читатель вправе и поэтому должен требовать от поэта, и составит предмет этой книги. Но поэтов она не научит писать стихи, подобно тому как учебник астрономии не научит создавать небесные светила. Однако и для поэтов она может служить для проверки своих уже написанных вещей и в момент, предшествующий творчеству, даст возможность взвесить, достаточно ли насыщено чувство, созрел образ и сильно волнение, или лучше не давать себе воли и приберечь силы для лучшего момента. Писать следует не тогда, когда можно, а когда должно. Слово «можно» следует выкинуть из всех областей исследования поэзии.

Делакруа говорил: «Надо неустанно изучать технику своего искусства, чтобы не думать о ней в минуты творчества». Действительно, надо или совсем ничего не знать о технике, или знать ее хорошо. Шестнадцатилетний Лермонтов написал «Ангела» и только через десять лет мог написать равное ему стихотворение. Но зато «Ангел» был один, а все стихи Лермонтова 40-го и 41 года прекрасны. Стихотворение, как Афина Паллада, явившаяся из головы Зевеса, возникая из духа поэта, становится особым организмом. И, как всякий живой организм, оно имеет свою анатомию и физиологию. Прежде всего мы видим сочетание слов, этого мяса стихотворения. Их свойство и качество составляют предмет стилистики. Затем мы видим, что эти сочетания слов, дополняя одно другое, ведут к определенному впечатлению, и замечаем костяк стихотворения, его композицию. Затем мы выясняем себе всю природу образа, то ощущение, которое побудило поэта к творчеству, нервную систему стихотворения и таким образом овладеваем эйдологией. Наконец (хотя все это делается одновременно), наше внимание привлекает звуковая сторона стиха (ритм, рифма, сочетание гласных и согласных), которая, подобно крови, переливается в его жилах, и мы уясняем себе его фонетику. Все эти качества присущи каждому стихотворению, самому гениальному и самому дилетантскому, подобно тому как можно анатомировать живого и мертвеца. Но физиологические процессы в организме происходят лишь при условии его некоторого совершенства, и, подробно анатомировав стихотворение, мы можем только сказать — есть ли в нем все, что надо и в достаточной мере, чтобы оно жило.

Законы же его жизни, то есть взаимодействие его частей, надо изучать особо, и путь к этому еще почти не проложен.

АРКАДИЙ

1889–1937

БУХОВ

*В моем
представлении
книги — те же
люди.*

КНИГИ

Когда на улице, особенно в сумерки, встречаешь красивую женщину, как-то робко сжимается и падает сердце. Я не понимаю, почему это происходит, но от этого внезапно и короткого ощущения чужой красоты сам начинаешь казаться себе каким-то забитым, незаметным и обиженным.

Пройдет полчаса, душа заполнится другим, о чем думал раньше. Но, когда придешь домой и останешься один в комнате, промелькнувшее лицо вспыхнет и затеплится где-то внутри, как колебанье от лампадки.

Во мне оставляют такой же след, заставляют переживать то же самое некоторые книги. Часто перед какой-нибудь очередной, надоевшей работой возьмешься за такую книгу, вчитаешься и вдруг почувствуешь такую силу таланта в ней, такой красивый ум и радостный, как трава на городском дворе, язык, что откладываешь ее в сторону и по-ребячьи начинаешь грустить, как гимназист, которого не взяли на пикник.

И, когда садишься писать, каждое свое слово кажется таким сухим, деревянным, повторным — до полного отчаяния... Может быть, без таких минут каждый из нас очерствел бы и заглох, но они очень тяжелы...

Сотни умных людей не могут так перевернуть душу, как одна нежная и умная книга.

В моем представлении книги — те же люди.

Вот книга-инженер, с мягким голосом и хорошим заработком. В волосах его приятная седина; он чисто одевается, у него жена полная красивая брюнетка, которая заботится о нем и его двух детях. Когда-то он бродил по улицам и искал случайных встреч, потому что бурлила душа от одиночества; потом писал рефераты, горячо спорил. Теперь все это ушло. Он сделался добрым человеком, хорошо обращается со служащими, спорит в кабинете правления о прибавке мелким конторщикам и учит семилетнего братишку горничной.

Но инженер забыл что-то. Он забыл цветы, забыл малиновую кофточку, мелькнувшую в зелени сада; забыл, как он вскакивал с постели и долго ходил по комнате только потому, что невдалеке играл какой-то провинциальный оркестр вальс. Он забыл, как он смотрел через окно в небо и, сжимая кулаки, клялся отказаться от бога за то, что он голоден; над ним смеялась в глаза девушка с длинными и нежными паль-

цами и розовой шеей, а потом бежал к церкви и в мучительном страхе крестился на старую потемневшую икону.

Такая книга-инженер – большой бытовой роман. Кто-то неглупый и умеющий писать сел и описал жизнь шести человек, спаянных одним помещением и стремлением сойтись в этом помещении или убежать из него. Все умело, правдоподобно и похоже на жизнь. Каждый человек из романа – налицо. Говорит что нужно. Делает что нужно...

И все это точно рассказ о неблизких родных, который



К. А. Сомов. «Дама в голубом». 1897–1900.

выслушиваешь без напряжения, но только для того, чтобы забыть его через неделю. Это не паутина, плавающая по воздуху и сплетающаяся в небывалые узоры, а нитка на бумагопрядильной фабрике, идущая по желобкам и челнокам... Паутину разовьет ветер: полюбуйся ее узором и запомни.

А нитка не перервется – пущенная опытными руками по желобкам новейшей конструкции машины, она тянется, тянется, длинная, робкая, уверенная в своем приходе до стальной вертелки, сматывающей ее в катушку.

Меня не волнуют эти книги-инженеры. Я рекомендую их знакомым, когда у меня просят почитать.

– Только мне не ерунду, а так что-нибудь.

– Возьмите эту книгу! Хорошая.

И странно, что такую книгу даже возвращают. Не как ту, которую вы любите и которую, унося от вас, не читают, а, продержав у себя полгода, передают по ошибке другому.

Меня эти книги не заставляют что-нибудь переживать. Неоплодотворяющие книги.

Такую книгу можно написать... Если бы у меня не болела спина, не было бы головных болей и можно бы месяца три отдохнуть, я написал бы такую.

Это так же обидно, как сказать какому-нибудь любителю о его хрустальной вазочке:

– Ах, эта... А у меня было несколько штук таких, да я раздарил... Вид очень дешевый...

Есть книги, которые на меня производят такое же впечатление, как прилично одетый и выдержанный в разговоре сутенер, случайно приведенный кем-нибудь из знакомых к вам домой на именины или на дачу.

Вы чувствуете, именно чувствуете, а не догадываетесь, что его золотой портсигар куплен какой-нибудь пудреной старой женщиной, у которой запах крепких духов не может отбить отвратительного запаха дряблого и толстого женского тела. Костюм шит портным под поручительство какого-нибудь деликатного человека, которому неловко было отказать в этом, и теперь он ежемесячно выплачивает из двухсотрублевого жалованья за право наглого человека быть в хорошем сером костюме. И в каждом слове его, в каждом жесте его мне слышится что-то оскорбительное, как хрипая торговля проститутки под окном у чахоточного. С мужчинами он разговаривает подчеркнуто вежливее, чем с женщинами. Я хорошо знаю, что, если всем уйти и оставить его наедине с той гимназисточкой с черной бархоткой в волосах, которая пришла ко мне проверить свое сочинение и сейчас с детским конфузливим удовольствием вылавливает цукаты из торта, он скажет ей что-нибудь такое нехорошее, от чего гимназисточка сразу заплачет и, уходя сейчас же домой, посмотрит на меня грустными, обиженными глазами.

Я много видел, многих знал, и такой человек мне понятен сразу. Но все сидящие у меня слушают его наглухо болтовню, хамский пафос и мелкую ложь, по-видимому, с удовольствием. Особенно женщины.

И я не могу ничего сделать. Как я могу объяснить каждому, что это за человек? А если я, когда все станут расходиться, остановлю кого-нибудь и сухо попрошу: «Вы бы уж лучше не приводили этого типа...» – все неохотно улыбнется.



Неужели мог я, которого они почему-то считают неглупым, — мог приревновать постороннего молодого человека за то внимание, какое ему было оказано...

И книги такие есть. Это те повести и сборники рассказов, о которых сначала узнаешь по газетам, по большим объявлениям: готовится «к печати» — и по тем разговорам о них, которые шумны и противны мне почему-то, как кухарочья сплетня о новом дворнике. В такой наглой книге все вопросы дня. Здесь неестественная любовь, ренегатствующие политики, проблемы детской невозмужалости и старческого бессилия... Здесь все, что заставляет говорить о себе, как заметка городской хроники вечерней газеты.

— Читали?

— Читал. И что администрация смотрит...

Это романы писательниц, рассказывающие о мужчинах с низкими лбами и крепкими мускулами, насилующих и оболыщающих. Это романы писателей о демонических женщинах, говорящих о жизни по кратким учебникам философии для экстернов и покоряющих сердца гениев местного района.

Здесь все украдено, бито в приторную пену и запаковано в пестрые коробочки с лаковыми картинками. И чем наглее такая книга-сутенер, тем больше о ней говорят, спорят и пишут, и тем противнее она мне... В ней что-то площадное, как в больших плакатах о новых десятикопеечных папиросах.

Такая книга может лежать у меня на столе по месяцам. Я беспомощно буду бороться с ней и не смогу ее прочесть. А если и прочту, то никогда не заговорю о ней ни с кем. Разве можно говорить о такой книге, когда ее только что освеживали, как свиную тушу, десять газетных обозревателей и пять фельетонистов...

— Читали эту самую книжку?

— Читал.

— Занятная. В ней даже что-то новенькое в темках есть...

Нет. Даже великосветский роман восьмидесятых годов, напоминающий старого приживала в блестящем от времени сюртуке и грязном, всегда съехавшем набок и вылезающем в сторону галстук, — лучше.

Все уехали... Праздничный день; на улице солнце, тепло.

— И великолепно, что никого нет. По крайней мере поработаю, почитаю, полежу — поленюсь...

Два часа это доставляет полное удовольствие. И вдруг становится скучно. Так скучно, что высовываешься из окна и начинаешь смотреть вниз — кто идет по двору, куда бежит кошка и удастся ли воробью стащить кусочек булки с кухонного окна. Потом начинаешь звонить по телефону. В это время никого нет дома — как будто все знакомые сговорились уехать на этот день из города или пойти по театрам и гостям.



Звонишь к людям, которых просто недолюбливаешь. Все равно – придет, посидит, живой человек рядом будет. И даже заранее чувствуешь, как он, разогнав обидную тоску, уйдет, и это будет приятно.

И вдруг звонок у дверей. Отворяешь с недоверием – наверное, кто-нибудь ошибся квартирой. Кто же может приехать сейчас?

– Ты дома? Вот не думал, что застану...

– Боже мой, да это ты... Вот хорошо-то сделал, что пришел...

Милый старый приятель. Вас почему-то отделила от него жизнь; вы переехали на другой конец города, ездить друг к другу далеко. Даже не встречались на улице... Но прежняя дружба осталась. И вот сейчас начнутся разговоры о каких-то общих Мишках и Николаях Ивановичах, о знаменитой ступеньке, о которую все спотыкались, о привычках старой квартирной хозяйки...

Все настроение разом меняется. День уже не кажется таким, требующим выхода на улицу. Шлепая туфлями, вы сами бегаєте на кухню подогреть чай, роетесь в буфете, разыскивая что-нибудь сладкое к чаю... Долго тянется мягкая беседа, и вам почему-то бесконечно милыми кажутся лицо, и каждое слово, и шутка человека, пришедшего посидеть и вспомнить старое...

Таких старых товарищей-книг немного. Чаще всего такую книгу можно купить у букиниста. Роешься в сваленных грудях бесплатных приложений или полуоборванных книжонок без переплетов, в крайнем случае с одной корочкой, покупаешь ее на всякий случай, приносишь домой и почти забываешь ее в ежедневной сутолоке. А когда становится мутно на душе, возьмешь ее из шкафа и долго еще не решишься читать.

– Стоит ли?

Начнешь читать, вчитываешься и не оторвешься три-четыре часа.

Такие книги у Диккенса, у старого рубахи-парня Твена и немного сентиментального от усталости ума Джерома. На каждой странице какая-нибудь строчка заставляет на секунду оторваться от книги и улыбнуться ласковой улыбкой. И когда дочитаешь книгу, кажется, что закрыл дверь за кем-то, с кем сжился и кто уезжает, может быть, навсегда.

Есть книги – как дворовый скандал. Нет ничего интересного в том, что дворник завел драку и крупную ругань с возчиком, выкладывающим у забора дрова. Изо всех окон высовываются горничные, по черным лестницам шепот любопытных. И сам почему-то высовываешься из окна. Забываешь об этом через две минуты, но все-таки остаются в памяти фигуры двух освирепевших людей – с поленьями в руках.

Такие книги – разоблачения. Выгнанный жулик разоблачает тайны цирковой борьбы. Неудачный журналист

разоблачает конторские тайны газеты, в которой он не смог устроиться работать. Обозленный, не отдохнувший летом чиновник под псевдонимом разоблачает свой департамент. Кажется, нет никакого дела до всего этого, а хватаешь книжку и читаешь... Разве легко не прислушаться к тому крику на дворе, по поводу которого такой топот по черной лестнице?

Есть книги – старые девы из богатых семейств, начинающие подчитываться и эксцентриничать от безнадежности в области брака. Это книги новелл, лирических миниатюр и символических пьес. Их никто не читает целиком. Обидно разрезают в середине и забывают вместе с разрезным ножом на ночном столике.

– Где это у меня нож?.. Вы не видели? Кажется, что я оставил его в какой-то книге, а какой – не помню.

Совсем как о тех старых девах:

– Да, и Стеблицкая была, кажется, неглупая, только манерная уж очень. У ней, между прочим, такие же серьги, как у Нины. Вы давно Нину не видели?

По-моему, каждому типу человека есть параллельная книга.

Вот родственник, приехавший погостить и которого не только нельзя выжить, но еще надо с ним возиться, – толстый роман классика, о котором было кем-то с укором сказано: такую книгу надо знать, батенька...

Надоедливый юноша, сын бывшего квартирного хозяина, робкий, но упорный в своих разговорах о красоте природы и необходимости одиночества, – томик лирических стихов неудачного, но грамотного поэта...

Но книги лучше людей. Их можно захлопнуть и бросить. Ах, если бы можно было подходить к разным умным циникам и веселым тупицам и захлопывать их, как книги, для того чтобы, втиснув среди других книг в шкаф, забыть их. Этого нельзя. Люди мало дают, но много требуют. Книги дают много и требуют так мало: способности думать и чувствовать.

БОРИС

1890–1960

ПАСТЕРНАК

*Книга есть
кубический кусок
горячей,
дымящейся
совести...*

НЕСКОЛЬКО ПОЛОЖЕНИЙ

Когда я говорю о мистике, или о живописи, или о театре, я говорю с той миролюбивой необязательностью, с какой рассуждает обо всем свободомыслящий любитель.

Когда речь заходит о литературе, я вспоминаю о книге и теряю способность рассуждать. Меня надо растолкать и вывести насильно, как из обморока, из состояния физической мечты о книге, и только тогда, и очень неохотно, превозмогая легкое отвращение, я разделю чужую беседу на любую другую литературную тему, где речь будет идти не о книге, но о чем угодно ином, об эстраде, скажем, или о поэтах, о школах, о новом творчестве и т. д.

1 По собственной же воле, без принуждения, я никогда и ни за что из мира своей заботы в этот мир любительской беззаботности не перейду.

2 Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно – губка *.

Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться.

Они сочли, что оно может быть разложено на средства изобразительности, тогда как оно складывается из органов восприятия.

Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборную и показывается с эстрады; как будто на свете есть два искусства и одно из них, при наличии резерва, может позволить себе роскошь самоизвращения, равную самоубийству. Оно показывается, а оно должно тонуть в райке, в безвестности, почти не ведая, что на нем шапка горит и что, забившееся в угол, оно поражено светопрозрачностью и фосфоресценцией, как некоторой болезнью.

3 Книга есть кубический кусок горячей, дымящейся совести – и больше ничего.

Токование – забота природы о сохранении пернатых, ее вешний звон в ушах. Книга – как глухарь на току. Она никого и ничего не слышит, оглушенная собой, себя заслушавшаяся.

Без нее духовный род не имел бы продолжения. Он перевелся бы. Ее не было у обезьян.

Ее писали. Она росла, набиралась ума, видала в и ды, – и вот она выросла и – такова. В том, что ее видно насквозь, виновата не она. Таков уклад духовной вселенной.

А недавно думали, что сцены в книге – инсценировки. Это – заблуждение. Зачем они ей? Забыли, что единственное, что в нашей власти, это суметь не исказить голоса жизни, звучащего в нас.

66

Неумение найти и сказать правду – недостаток, которого никаким умением говорить неправду не покрыть. Книга – живое существо. Она в памяти и в полном рассудке: картины и сцены – это то, что она вынесла из прошлого, запомнила и не согласна забыть.



*А. Кравченко.
Иллюстрация к повелле
С. Цвейга
«Мендель-букинист».
1934.*



4 Жизнь пошла не сейчас. Искусство никогда не начиналось. Оно бывало постоянно налицо до того, как становилось.

Оно бесконечно. И здесь, в этот миг за мной и во мне, оно – таково, что как из внезапно раскрывшегося актового зала меня обдаёт его свежей и стремительной повсеместностью и повсевременностью, будто это: приводят мгновение к присяге.

67 Ни у какой истинной книги нет первой страницы. Как лесной шум, она зарождается Бог весть где, и растёт, и катится, будя заповедные дебри, и вдруг, в самый темный, ошеломительный и панический миг, заговаривает всеми вершинами сразу, докатившись.

5 В чем чудо? В том, что жила раз на свете семнадцатилетняя девочка по имени Мэри Стюарт и как-то в октябре у окошка, за которым улюлюкали пуритане, написала французское стихотворение, кончавшееся словами:

Car mon pis et mon mieux
Sont les plus dйserts lieux.

В том, во-вторых, что однажды в юности у окна, за которым кутежничал и бесновался октябрь, английский поэт Чарльз Альджернон Суинберн закончил «Chastelard'a», в котором тихая жалоба пяти Мариинных строф вздулась жутким гуденьем пяти трагических актов*.

В-третьих, в том, наконец, что, когда как-то раз, тому назад лет пять, переводчик взглянул в окно, он не знал, чему ему удивляться больше.

Тому ли, что елабужская вьюга знает по-шотландски* и, как и в оный день, все еще тревожится о семнадцатилетней девочке, или же тому, что девочка и ее печальник, английский поэт, так хорошо, так задушевно хорошо сумели рассказать ему по-русски про то, что по-прежнему продолжает волновать их обоих и не оставило преследовать.

Что это значит? – задался переводчик вопросом. Что там делается?

Отчего сегодня так тихо (и ведь вместе так вьюжно!) там? Казалось бы, по тому, что мы туда посылаем, там должны бы истекать кровью. Между тем – там улыбаются.

Вот в чем чудо. В единстве и тождественности жизни этих троих и целого множества прочих (свидетелей и очевидцев трех эпох, лиц биографии, читателей) – в заправдашнем октябре неизвестно какого года, который гудит, слепнет и сипнет там, за окном, под горой, в... искусстве.

Вот в чем оно.

6 Существуют недоразуменья. Их надо избежать. Здесь место дани скуке.

Говорят – писатель, поэт...

1 Эстетики не существует. Мне кажется, эстетики не существует в наказанье за то, что она лжет, прощает, потворствует и снисходит. Что, не ведая ничего про человека, она плетет сплетню о специальностях.

Ибо «плохое» и «хорошее» – пустыни моей души (фр).

Портретист, пейзажист, жанрист, натюрмортист? Символист, акмеист, футурист? Что за убийственный жаргон!

Ясно, что это — наука, которая классифицирует воздушные шары по тому признаку, где и как располагаются в них дыры, мешающие им летать.

Не отделимые друг от друга поэзия и проза — полюса. По врожденному слуху поэзия подыскивает мелодию природы среди шума словаря и, подобрав ее, как подбирают мотив, предается затем импровизации на эту тему.

Чутьем, по своей одухотворенности, проза ищет и находит человека в категории речи, а если век его лишен, то на память воссоздает его, и подкидывает, и потом, для блага человечества, делает вид, что нашла его среди современности. Начала эти не существуют отдельно.

Фантазируя, наталкивается поэзия на природу. Живой, действительный мир — это единственный, однажды удавшийся и все еще без конца удачный замысел воображения. Вот он длится, ежемгновенно успешный. Он все еще — действителен, глубок, неотрывно увлекателен. В нем не разочаровываешься на другое утро. Он служит поэту примером в большей еще степени, нежели — натурой и моделью.

7 Безумье — доверяться здравому смыслу. Безумье — сомневаться в нем. Безумье — глядеть вперед. Безумье — жить не глядячи. Но заводить порою глаза и при быстро подымающейся температуре крови слышать, как мах за махом, напоминая конвульсии молний на пыльных потолках и гипсах, начинает ширять и шуметь по сознанию отраженная стенопись какой-то нездешней, несущейся мимо и вечно весенней грозы, это уж чистое, это во всяком случае — чистейшее безумье!

Естественно стремиться к чистоте.

Так мы вплотную подходим к чистой сущности поэзии. Она тревожна, как зловещее кружение десятка мельниц на краю голого поля в черный, голодный год.

МИХАИЛ

1891–1940

БУЛГАКОВ

*Нам переплеты
ни к чему. Нам
главное, чтоб
бумага была
скверная.*

СКОЛЬКО БРОКГАУЗА МОЖЕТ ВЫНЕСТИ ОРГАНИЗМ

В провинциальном городишке В. лентяй-библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами.

Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отравлял библиотекарю существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. Библиотечная крыса, чтобы отвязаться, заявила, что сведения «обо всем решительно» имеются в словаре Брокгауза *.

Тогда рабочий начал читать Брокгауза. С первой буквы – А.

Чудовищно было то, что он дошел до пятой книги (Банки – Бергер).

Правда, уже со второго тома слесарь стал плохо есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культотдельской гримзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, «много ли осталось?». В пятой книге с ним стали происходить странные вещи. Так, среди бела дня он увидел на улице В., у входа в мастерские, Бана Абуль Абас-Ахмет-Ибн-Магомет-Отман-Ибн-Аль, знаменитого арабского математика в белой чалме.

Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего «Тальме-Амаль-Аль-Хасоп», догадался, что нужно сделать антракт, и до вечера не читал. Это, однако, не спасло его от 2-х визитов в молчании бессонной ночи – сперва развязного синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банкаса, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Димитрия Николаевича Бантыш-Каменского.

День болела голова. Не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Баньювангис, Баньюмас, Боньер де-Бигир и через два Боньякавало – человека и город.

Крах произошел на самом простом слове «Барановские». Их было 9: Владимир, Войцех, Игнатий, Степан, 2 Яна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав.

Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекаря.

– Читаю, читаю, – рассказывал слесарь корреспонденту, – слова легкие: Мечислав, Богуслав и, хоть у б е й, – не помню – какой кто. Закрою книгу – все вылетело! Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.

У него на глазах были слезы.

Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив попытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиотекаре фельетон, в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обругал его безголовым моллюском и барсучьей шкурой.

1923

НОВЫЙ
СПОСОБ
РАСПРО-
СТРАНЕНИЯ
КНИГИ

МАЛЕНЬКИЙ
ФЕЛЬЕТОН

Книгостилка (книжный союз) в Харькове продала на обертку 182 пуда 6 ф. книг, изданных Наркомземом для распространения на селе. Кроме того, по 4 руб. за пуд продавали лавочникам издания украинских писателей «Плуг».

Рабкор

В книжном складе не было ни одного покупателя, и приказчики уныло стояли за прилавками. Звякнул звонок, и появился гражданин с рыжей бородой веером. Он сказал:

– Драсьте...

– Чем могу служить? – обрадованно спросил его приказчик.

– Нам бы гражданина Лермонтова сочинение, – сказал гражданин, легонько икнув.

– Полное собрание прикажете?

Гражданин подумал и ответил:

– Полное. Пудиков на пятнадцать-двадцать.

У приказчика встали волосы дыбом.

– Помилте, оно и все-то весит фунтов пять, не более!

– Нам известно, – ответил гражданин, – постоянно его покупаем. Заверните экземплярчиков пятьдесят. Пушай ваши мальчики вынесут, у меня тут ломовик дожидается.

Приказчик брызнул по деревянной лестнице вверх и с самой крайней полки доложил почтительно:

– К сожалению, всего пять экземпляров осталось.

– Экая жалость, – огорчился покупатель. – Ну, давайте хучь пять. Тогда, милый человек, соорудите мне еще «Всемирную историю» *.

– Сколько экземпляров? – радостно спросил приказчик.

– Да отвесь полсотенки...

– Экземплярчиков?

– Пудиков.

Все приказчики вылезли из книжных нор, и сам заведующий подал покупателю стул. Приказчики забегали по лестницам, как матросы по реям.

– Вася! Полка 15-я. Скидай «Всемирную», всю как есть. Не прикажете ли в переплетах? Папка, тисненая золотом...

– Не требуется, – ответил покупатель. – Нам переплеты ни к чему. Нам главное, чтоб бумага была скверная.

Приказчики опять ошалели.

– Ежели скверная, – нашелся наконец один из них, –

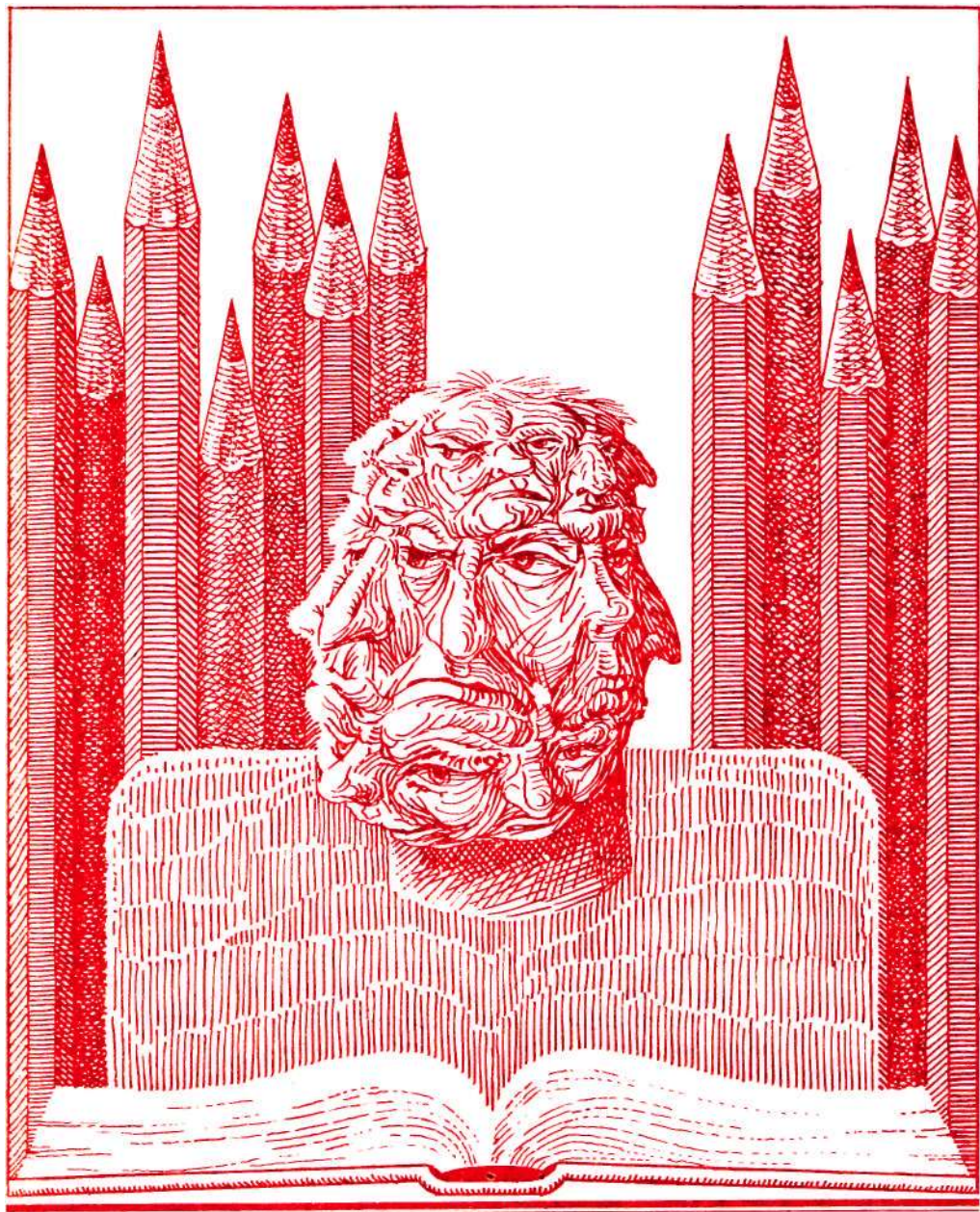
тогда могу предложить сочинения Пушкина* и издание Наркомзема.

– Пушкина не потребуется, – ответил гражданин, – он с картинками, картинки твердые. А Наркомзема заверни пудов пять на пробу.

71

Через некоторое время полки опустели, и сам заведующий вежливо выписывал покупателю чек. Мальчики, кряхтя, выносили на улицу книжные пачки. Покупатель заплатил шуршащими белыми червонцами и сказал:

В. Корольков. «Цензура».
1988.



– До приятного свидания.
– Позвольте узнать, – почтительно спросил заведующий,
– вы, вероятно, представитель крупного склада?
– Крупного, – ответил с достоинством покупатель, –
селедками торгуем. Наше вам.

72 И удалился.

1924

МАКСИМИЛИАН ВОЛОШИН

Теперь я мертв. Я стал строками книги
В твоих руках...
И сняты с плеч твоих любви вериги,
Но жгуч мой прах.
Меня отныне можно в час тревоги
Перелистать,
Но сохранят всегда твои дороги
Мою печать.
Похоронил я сам себя в гробницы
Стихов моих,
Но вслушайся – ты слышишь пенье птицы?
Он жив – мой стих!
Не отходи смущенной Магдалиной
Мой гроб не пуст...
Коснись единый раз на миг единый
Устами уст.

*Читателя нужно
поставить на
место...*

ВЫПАД

1

«В поэзии нужен классицизм, в поэзии нужен конструктивизм, в поэзии нужно повышенное чувство образности, машинный ритм, городской коллективизм...» Бедная поэзия шарахается под множеством наведенных на нее револьверных дул, неукоснительных требований. Какой должна быть поэзия? Да, может, она совсем ничего не должна. Никому она не должна, кредиторы у нее все фальшивые! Нет ничего легче, как говорить о том, что нужно, необходимо в искусстве: во-первых, это всегда произвольно и ни к чему не обязывает; во-вторых, это неиссякаемая тема для философствования; в-третьих, это избавляет от очень неприятной вещи, на которую далеко не все способны, а именно – благодарности к тому, что есть, самой обыкновенной благодарности к тому, что в данное время является поэзией.

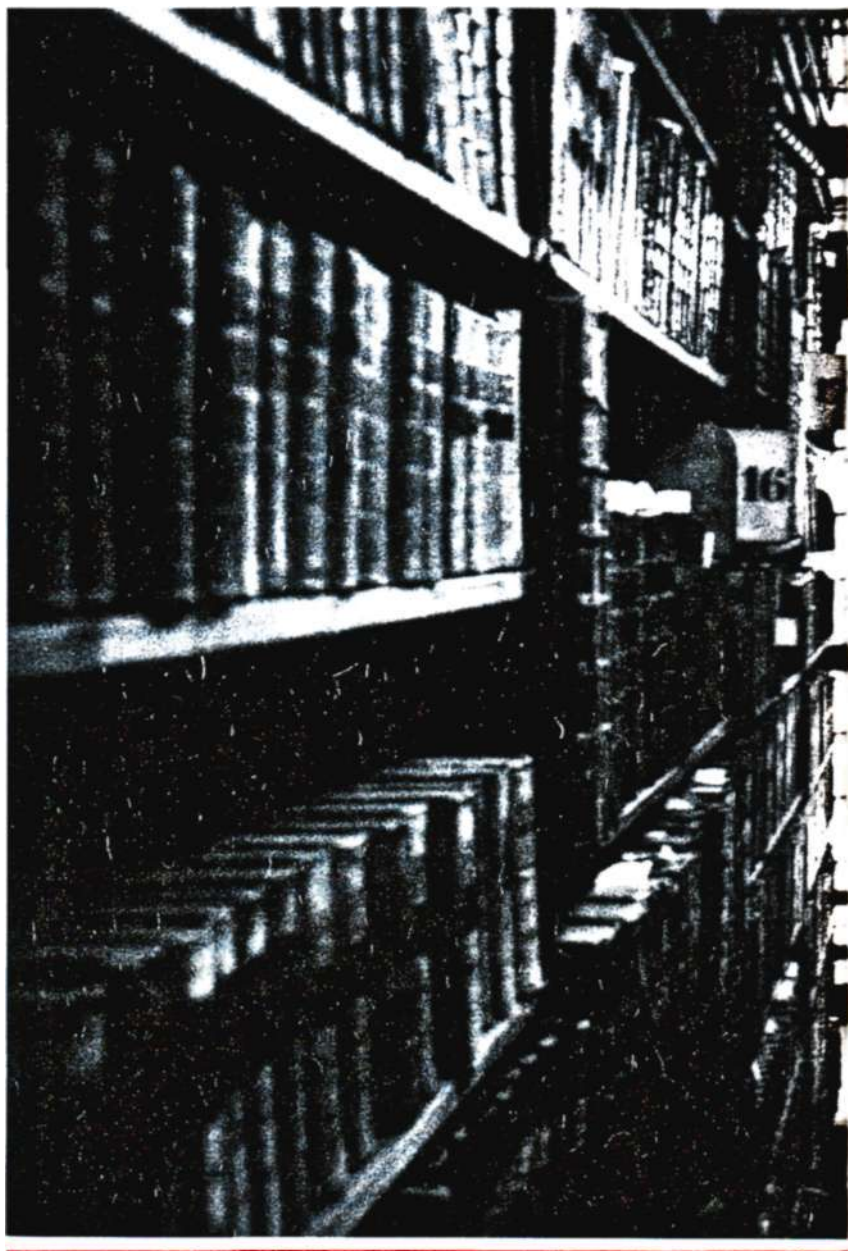
О, чудовищная неблагодарность: Маяковскому, Хлебникову, Асееву, Вячеславу Иванову, Сологубу, Ахматовой, Пастернаку, Гумилеву, Ходасевичу, уж на что они не похожи друг на друга, из разной глины. Ведь они все русские поэты не на вчера, не на сегодня, а навсегда. Такими нас «обидел бог». Народ не выбирает своих поэтов, точно так же, как никто не выбирает своих родителей. Народ, который не умеет чтить своих поэтов, заслуживает... Да ничего он не заслуживает – пожалуй, просто ему не до них. Но какая разница между чистым незнанием народа и полужнанием невежественного шеголя! Готтентоты, испытывая своих стариков, заставляют их карабкаться на дерево и потом трясут дерево: если старик настолько одряхлел, что свалится, значит, нужно его убить. Сноб копирует готтентота, его излюбленный критический прием напоминает только что описанный. Я думаю, что на это занятие нужно ответить презрением. Кому – поэзия, кому – готтентотская забава.

Ничто так не способствует укреплению снобизма, как частая смена поэтических поколений – при одном и том же поколении читателей. Читатель приучается чувствовать себя зрителем в партере: перед ним дефилируют сменяющиеся школы. Он морщится, гримасничает. Наконец, у него появляется совсем уже необоснованное сознание превосходства – постоянного перед переменным, неподвижного перед движущимся. Бурная смена поэтических школ в России, от символистов до наших дней, свалилась на голову одного и того же читателя.

Читательское поколение девяностых годов выпадает, как несостоятельное, совершенно некомпетентное в поэзии.

Поэтому символисты долго ждали своего читателя и, силою вещей, по уму, образованию и зрелости, оказались гораздо старше той зеленой молодежи, к которой они обращались. Девятисотые годы, по упадочности общественного вкуса, были не многим выше девяностых, и наряду с «Весами» — боевой цитаделью новой школы — существовала безграмотная традиция «Шиповников», чудовищная по аляповатости и невежественной претенциозности альманашная литература.

БИБЛИОТЕКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИЗДАТЕЛЬСТВА



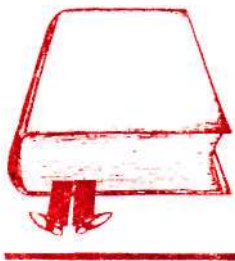
Когда из широкого лоно символизма вышли индивидуально-законченные поэтические явления, когда род распался и наступило царство личности, поэтической особи, читатель, воспитанный на родовой поэзии, — каковой был символизм, лоно всей новой русской поэзии, — читатель растерялся в мире цветущего разнообразия, где все уже не было покрыто шапкой рода, а каждая особь стояла отдельно с обнаженной головой. После родовой эпохи, влившей новую кровь, провозгласившей канон необычайной емкости, насту-



пило время особи, личности, но вся современная русская поэзия вышла из родового символического лона. У читателя короткая память – он этого не хочет знать. О желуду, желуду, зачем дуб, когда есть желуду!

76

2 Однажды удалось сфотографировать глаз рыбы. Снимок запечатлел железнодорожный мост и некоторые детали пейзажа, но оптический закон рыбьего зрения показал все это



*А. Мальро за чтением
книги воспоминаний об
О. Мандельштаме.*



в невероятно искаженном виде. Если бы удалось сфотографировать поэтический глаз профессора N или одного из ценителей поэта NN, как они видят, например, «своего» Пушкина, получилась бы картина не менее неожиданная, нежели зрительный мир рыбы.

Искажение поэтического произведения в восприятии читателя – совершенно необходимое социальное явление, бо-

*Только детские
книги читать,
Только детские
думы лелеять...*

Осип Мандельштам

роться с ним трудно и бесполезно: легче провести в СССР электрификацию, чем научить всех грамотных читать Пушкина, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности.

Шутка сказать – прочесть стихи! Выходите, охотники: кто умеет?

Ведь в отличие от грамоты музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо зияет отсутствием множества знаков, значков, указателей, подразумеваемых, делающих текст понятным и закономерным. Но все эти пропущенные знаки не менее точны, нежели нотные или иероглифы танца; поэтически грамотный читатель расставляет их от себя, как бы извлекая их из самого текста.

Поэтическая грамотность ни в коем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, то есть умением читать буквы, ни даже с литературной начитанностью. Если литературная неграмотность в России велика, то поэтическая неграмотность чудовищна, и тем хуже, что ее смешивают с общей, и всякий, умеющий читать, считается поэтически грамотным. Сказанное сугубо относится к полуобразованной интеллигентской массе, зараженной снобизмом, потерявшей коренное чувство языка, щекочущей давно притупившиеся языковые нервы легкими и дешевыми возбудителями, сомнительными лиризмами и неологизмами, нередко чуждыми и враждебными русской речевой стихии. Вот потребности этой деклассированной в языковом отношении среды должна удовлетворять текущая русская поэзия.

Слово, рожденное в глубочайших недрах речевого сознания, обслуживает глухонемых и косноязычных, кретинов и дегенератов слова.

Великая заслуга символизма, его правильная позиция в отношении к русскому читательскому обществу была в его учительстве, в его врожденной авторитетности, в патриархальной вескости и законодательной тяжести, которой он воспитывал читателя.

Читателя нужно поставить на место, а вместе с ним и вскормленного им критика. Критики, как произвольного истолкования поэзии, не должно существовать, она должна уступить объективному научному исследованию – науке о поэзии.

Быть может, самое утешительное во всем положении русской поэзии – это глубокое и чистое неведение, незнание народа о своей поэзии.

Массы, сохранившие здоровое языковое чутье, – те слои, где произрастает, крепнет и развивается морфология языка, – еще не вошли в соприкосновение с русской лирикой. Она еще не дошла до своих читателей и, может быть, дойдет до них только тогда, когда погаснут поэтические светила, пославшие свои лучи к этой отдаленной и пока недостижимой цели.

Илья

1891–1967

ЭРЕНБУРГ

*Сотворчество
читателя —
залог его
дальнейшего
развития.*

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ЧИТАТЕЛЯ

*Чтение —
неотъемлемая
часть любой
литературной
работы. Это не
только мир
литературного
сознания, не менее
важный, чем опыт
реальной жизни.
Это сопутствующее
всей жизни писателя
явление резонанса,
без которого серьезно
работать почти
невозможно.
Войдите в комнату,
где стоит фортепьяно с
откинутой крышкой,
и хлопните
в ладоши.
Отзовется та
струна, частота
колебаний которой
совпадает
с колебаниями,
возникшими
в результате вашего
движения. Так
отзываются
в опыте чтения те
струны, которые*

Книга для писателя — это бутылка, которую он бросает в море. В бутылке записка, но прочтет ли кто-нибудь ее и что подумает прочитавший, автор об этом не знает. Встреча читателя с книгой происходит не на людях, и, пожалуй, некоторые библиотекари бывают если не свидетелями, то людьми, которым доверяют тайну свидания. Доверенные люди могут развить любовь или ее погасить (конечно, не всегда, но часто). Кроме того, для многих читателей, еще не нашедших своего читательского пути, ответ библиотекаря на наивный вопрос: «Что мне почитать?» — зачастую играет решающую роль в формировке характера, в развитии культуры эмоций. Все это заставляет писателя с особым вниманием относиться к труду библиотекаря, и я хочу поделиться некоторыми мыслями о чтении.

Когда ребенок учит таблицу умножения, он не проверяет, действительно ли шестью восемь — сорок восемь. Школьнику объясняют, что Земля круглая, и он не повторяет исканий Коперника, он попросту заучивает изложенную аргументацию. Художественное произведение — не страницы учебника, и чтение «Анны Карениной» не похоже на усвоение научной книги. Восприятие художественного произведения — творческий процесс. Читатель (разумеется, в менее напряженной форме) проделывает то же, что сделал писатель: сочиняет, пополняет текст книги своими ассоциациями, воспоминаниями, догадками, чувствами и мыслями.

Всем известно, насколько меняется отношение к произведениям искусства прошлого. В XVIII веке презрительно относились к литературе и к искусству средневековья. В XIX веке началось охлаждение к произведениям искусства XVIII века. Но дело не только в различии социальном и в смене идеологий. Люди одной и той же эпохи по-разному воспринимают симфонию, картину, роман.

Нет одного образа Гамлета, нет одного образа Анны Карениной, нет одного образа Жюльена Сореля — их столько же, сколько читателей. Писатель старается понять людей; от его жизненного опыта, от его характера, от направленности его воображения зависит выбор героев романа — не всех людей он может понять. Так и читатель ограничен в своем понимании героев художественного произведения — он остается на тех, к сердцам которых у него имеется ключ, он как бы дополняет текст романа, исходя из своего внутреннего опыта. Говорят, что о вкусах не спорят, но мне кажется, что когда порой читателю не нравится хороший роман, то дело здесь не только в разнообразии вкусов. Вкус — это резу-

льтат культуры, в частности эстетической, культуры эмоций. Вкус можно воспитать, и тогда из произведений одного душевного строя читатель выберет добротное, отвергнет плохое. Однако порой равнодушие читателя к прекрасному произведению объясняется не его дурным вкусом, а его природой, его душевным состоянием, его биографией.

Далеко не все люди чувствительны к поэзии, и это тоже не вопрос культурного развития. Один вид искусства больше подходит до такого-то человека, чем другой. Стендаль, на-



Фото В. Богданова.

Фото В. Стигнеева.

совпадают с кругом ваших намерений и профессиональных интересов. Так образуется литературный вкус, и важно еще в юности позаботиться о его шифре.

Виталин Каверин

пример, любил музыку и живопись и был равнодушен к поэзии. Маяковский любил и понимал живопись, а с музыкой был, скорее, не в ладах. Толстой в старости высмеивал поэзию, но при этом часто читал на память любимые стихи Тютчева.

Разнообразие читательских восприятий как разнообразие человеческих натур естественно, и не нужно его искоренять. Романтическое восприятие мира свойственно молодости (легко понять, почему «Овод», книга, написанная для взрослых, читается предпочтительно подростками). Сотворчество читателя — залог его дальнейшего развития, и библиотекарь, который часто является доверенным лицом читателя, не должен насильствовать его пристрастиями или отталкиваниями; он должен помочь углублению и расширению восприятия книги, не навязывая своих художественных предпочтений, — ведь библиотекарь тоже читатель, его отноше-



ние к книге порой окрашено его характером и биографией.

Поясню личным примером: я люблю Стендаля и равнодушен к Бальзаку, я могу сто раз с первоначальным интересом перечитывать рассказы Чехова, но никогда Тургенев меня глубоко не потрясал. Из этого не следует, что я посоветую молодым читателям читать Стендаля и Чехова, а не Бальзака и Тургенева.

Наши издательства часто просят читателей дать отзыв о прочитанной ими книге. Неточность слов всегда вредна. Отзыв — это суждение, оценка, а не все читатели склонны заниматься критической самодеятельностью, и, чем читатель духовно зреее, тем труднее рассчитывать, что он станет ставить отметки роману или книге стихов. Важно, чтобы читатель мог поделиться теми мыслями и чувствами, которые породила в нем книга, чтобы его читательское творчество дошло до других.

Нигде в мире не существует прекрасного обычая, который называется у нас читательской конференцией. Я сотни раз присутствовал на обсуждении моих книг читателями, и всякий раз, когда библиотекарь правильно понимал назначение читательских конференций, такие обсуждения бывали глубоко интересными и для меня, и для всех присутствующих. Бывал я и на неудачных читательских конференциях: библиотекарь их тщательно «подготавливал» — снабжал читателей литературой о литературе, направлял оценки, советовал написать предварительно текст выступления; бывало, даже исправлял этот текст, — такие обсуждения сводились к монотонному пересказу журнальных статей, не было в них живых чувств, собственных мыслей. К счастью, за последние годы все меньше и меньше таких неудачных конференций, все с большей страстью читатели говорят о том, что пробудила в их сердцах полюбившаяся им книга.

Библиотекарь в нашей стране не регистратор, не служащий, который смотрит, все ли книги на полках, — он участвует в формировании человека, его труд сродни труду педагога и писателя. Много, очень многое зависит от него, и каждый писатель смотрит на библиотекарей с надеждой, с ревностью, с любовью.

ВИКТОР

1893–1984

ШКЛОВСКИЙ

*Не надо пугаться,
что написано уже
столько книг.*

В ДОРОГУ ЗОВУЩИЕ

Последняя квартира Пушкина в Ленинграде на Мойке – бедная квартира. Сейчас она обогащена музейными вещами, картинами, но видно, как неудобно и неустроенно жили в ней.

Однако Александр Пушкин в этой квартире жил как писатель и читатель разумно.

Простые полки из простого дерева, но полок много, книг много; простой стол с шутовой чернильницей, украшенной изображением негритенка.

Но у стола есть приспособление: вбок выдвигаются широкие полки, можно не убирать со стола начатой работы, а выдвинуть из-под столешницы доску с открытыми книгами, со сделанными выписками.

Книг много, и книги хорошо прочитаны. В них найдено главное.

Не все книги разрезаны до конца, но все они увидены, просмотрены; понятен путь от книги к книге.

Книги далеко не все сохранились, но по записям видно, сколько на них потрачено денег, как тщательно они искались, подбирались.

Пушкин был великим читателем, умеющим выбрать из книги главное и оставлять книгу для себя.

Книги нельзя удалять со своих полок, как нельзя вырубать леса целиком, они должны расти у тебя. Раз прочитанная книга еще драгоценнее, чем книга непрочитанная.

Редких книг собирать не надо, надо собирать нужные книги.

Книги надо подбирать так, как в старину ювелиры подбирали камни для украшения. Библиотека – это не сумма книг, а система книг.

Толстой в начале жизни, в молодости, жил разбросанно, жил с широтой, мыкался по родственникам, поехал на Кавказ, с плохо выправленными документами, но книги не оставляли его.

Книги ехали с ним на телеге, плыли с ним по Волге в лодке. Он читал книги над Тереком.

Книги и охота заняли его кавказскую жизнь. Они не мешали друг другу; он читал внимательно, конспектировал книги, потом подводил итоги конспектов. Он учился. Он создавал сам себя, как будто уже предвидя далекую цель – стать всеобъемлющим писателем, знающим народ и его историю.

Он учился, уча в школе; он как будто несколько раз создавал для себя школу и считал, что крестьянские дети учат его писать. И когда в лесу зимой спросили его дети, для чего

надо учиться петь, он вспомнил историю Хаджи-Мурата, который умирал с песней. Ученики вернули его к теме крестьянина – воина из отрядов Шамиля, мечущегося между двумя тиранами – Николаем и Шамилем. И эта тема опять его вернула к книгам – к сотням книг о Кавказе, к книгам, которые не помешались уже на столе, сползали на пол.

Он сталкивал книги, перекрещивал их и из всем известного делал новое, известное только ему, заново открытое, но такое, которое надо сообщить всем.



*В. Шкловский. Фото
В. Богданова.*

Книги собираются в стаи, библиотеки, как птицы; книги собираются, как леса – из деревьев, травы и грибов: они живут в сознании человека. И для большого человека нет даром прочтенной книги. Она находит место в его сознании.

Ленин был постоянным посетителем библиотек. Но книги жили у него дома, в квартире. Он конспектировал их, пересоздавал их.

Книги были для него дорогой в мир.

Горький рассказывал, как Ленин в Швеции в случайном вагонном разговоре с немцами убедился, что они ничего не знают о великом художнике, рисовальщике и гравере Дюрере. Разговор начался случайно: соседи спросили, что за книгу читает их спутник. Это была как раз монография о Дюрере.

Незнание людей удивило Ленина и как бы обрадовало его, он сказал:

– Они своих не знают, а мы знаем.

А Дюрера надо знать, потому что он – путь к пониманию Германии, к ее мировоззрению, к ее психологии.

Получив письмо из Африки от молодого Ганди, письмо о том, как англичане обижают индусов, Толстой сел за ответное письмо, читал три месяца книги об Индии и ответил целой программой * – как может народ сопротивляться захватчикам, противопоставляя им свою культуру.

Художники говорят, что если ты имеешь мастерство, ко-



А. Ф. Смирдин. торое можно оценить во много тысяч рублей или франков, то при случае прикупи хотя бы еще на несколько копеек.

Количество знаний перерастает в умение пользоваться этими знаниями. Перебрасывать мосты от одного случая в жизни к другому.

Библиотеки – это лаборатории, в которых проектируется мир.

Читаем мы часто поспешно и невнимательно.

Хороших книжек, таких, которые непременно нужно прочесть, немного, а мы прочитываем их наспех, и потому у нас возникает ошибочное ощущение, что мы их уже знаем. Мы этим портим себе чтение.

Книгу должно рассматривать так же внимательно, как часовщик рассматривает часы и шофер – машину.

Не надо пугаться, что написано уже столько книг. Все равно, мол, не прочтешь. Если вы верите в себя, то количество вещей, которые вы запомните, будет вам неоднократно вспоминаться. Вы будете идти все дальше по жизни, а книги будут идти с вами вместе и будут с вами разговаривать.

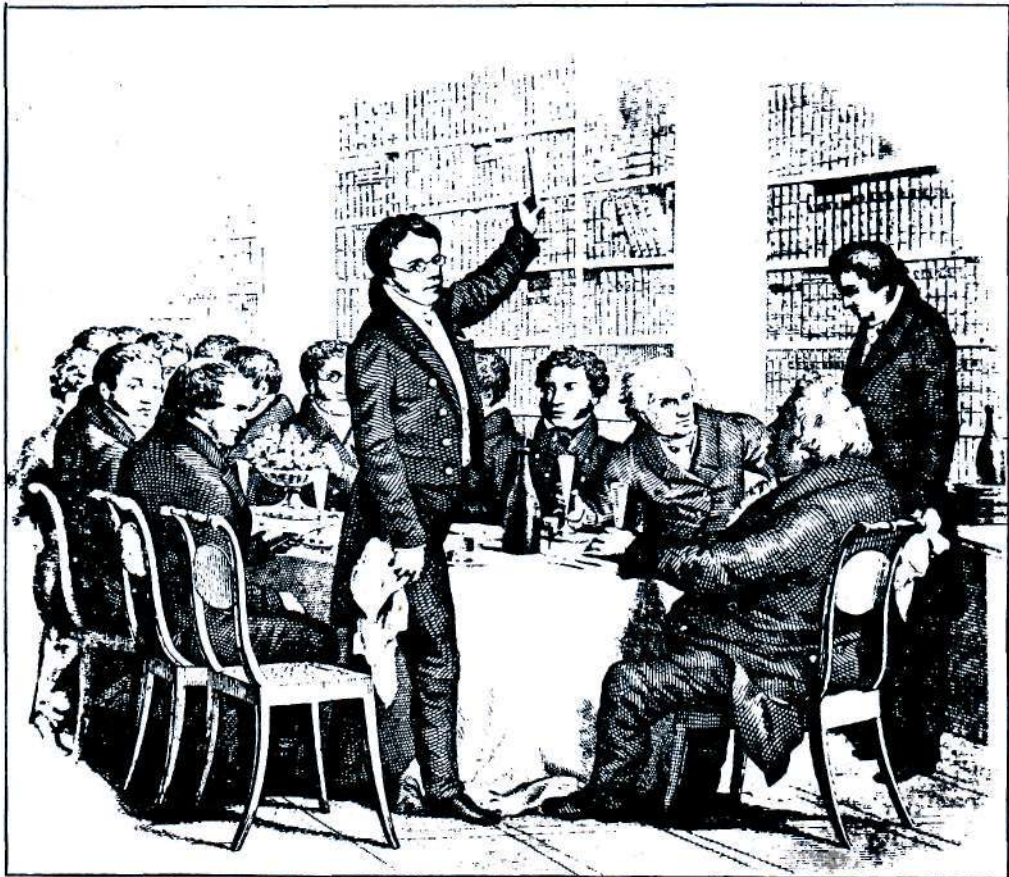
Поэтому надо запастись книгами в эту дорогу.

Пушкин в начале своей жизни считался ленивым и не много знающим человеком. Но он прекрасно знал русский язык и, как многие люди его круга, хорошо знал французский язык. Читал на этих двух языках. Читал много. К концу своей жизни он знал уже более десяти языков. Его пометки

на книгах показывают, как он все время учился. Говорят, что Пушкин делал ошибки в английском языке. Значит, учил его самоучкой. Он пытался делать записи и по-персидски.

Книжные покупки Пушкина составляли расходы, доходившие до четверти его бюджета.

Доказывают, что Пушкин всю жизнь писал историю Петра и свою автобиографию. Но все время понятие литературы факта, понятие того, что ему нужно, изменялось. Когда он писал, не только книги шли рядом с ним. Он шел вперед



«Новоселье у А. Ф. Смирдина». своих книг. И заново их переваривал. Он все время шел в кругу политических, экономических, исторических вопросов, в кругу мирового искусства.

Гравюра С. Ф. Галактионова (1833) с оригинала А. П. Брюллова.

Он, например, заметил появление Гейне *. Спорил с Гюго *. Долго (и по-разному) понимал Шекспира.

За день до дуэли Пушкин разговаривал с Козловским о теории вероятности * — о новой тогда математической дисциплине!

Самое важное — не остановиться в чтении. Было такое понятие — «освежить корабль». Плыл, скажем, во времена Гончарова какой-нибудь корабль, стояли в нем бочки с соло-

ниной, сухари, вода. Он заходил в какой-нибудь порт и менял недоенное. Выносил бочки, продавал. И все заводил заново.

Надо периодически менять свой «груз». И никогда не следует думать, что вы уже знаете достаточно. Уверуйте в то, что вы всегда знаете мало. Важно иметь свое собственное отношение к прочитанному, видеть вещи как неописанные и ставить их в не описанное прежде отношение.

Часто в литературных произведениях рассказывается о том, как иностранец или наивный человек приехал в город и ничего в нем не понимает. Читатель не должен быть этим наивным человеком, но он должен быть человеком, видящим вещи всегда заново.

Не принимайте море по чужой описи. Делайтесь сознательным читателем, в котором нуждается литература. Умейте оценить вещь и понять ее устройство.

Пушкин умер молодым. Но он много читал и все время изменялся. И когда вы попадаете в мир Пушкина, вы удивляетесь тому большому количеству вещей, которое он знает. Широке его интересов. Его как будто иной раз странному любопытству. И именно умению читать. Серьезному отношению к чтению. Вот он начинает писать «Историю Пугачева» и карандашом делает карту. Карты пугачевского восстания не было, и он ее рисует. Для себя. И про Пугачева он не только много знает. Он по-своему знает.

У Пушкина, как у всех нас, есть прямое зрение и боковое зрение. И он все хорошо помнил.

Если взять отзывы Пушкина о его современниках, то у вас создается впечатление, что он их переоценивает. Он хвалит не только Вяземского и Гоголя, которого сразу заметил. Но наряду с ними хвалит Туманского и Бегичева. Восхищается Дельвигом и Кюхельбекером. Почему? Они ему больше давали, чем нам. Способность усваивать, его внимательность к книге больше, чем у нас. И он умел от всякого взять полезное. Он даже к Хвостову относится не иронически. Он понимает, что это плохой писатель, как и Бобров. Но и их книги – материал для мысли.

Мне часто приходилось видеть книги Льва Николаевича Толстого. Он не закончил среднего учебного заведения. Но знал немецкий язык как немец. Хорошо знал французский язык. Немножко говорил даже по-цыгански.

И вот такой «недоучившийся» человек, – который занимался в Казанском университете, обратил на себя внимание академика Лобачевского, хорошо сдал экзамены по арабскому языку, – бросил все, уехал на Кавказ и там много читал в казачьей станице. С ним были книги и люди, его окружавшие. Он читал книги, конспектировал их, а в конце месяца переписывал конспект – подытожить: что же он узнал? Он относился к книгам своим как к людям, которые будут ему нужны всю жизнь.

Старый казак Ерошка, с которым Толстой охотился, был для него явлением русской истории. Явлением «мужичьим». И вот этот двор около Льва Николаевича, люди – это были первые его книги.

Есть книги, которые постоянно поминаются в нашей литературной полемике, в критических обзорах. Большой частью книги эти действительно хорошие, но прежде всего нужные критикам лишь для примеров. Книги этого рода помогают критику доказывать свою мысль или опровергать мысли другого критика.

Такую книгу вместе с ее автором перекидывают из статьи в статью, ею забивают голы, набивают очки, пасуют друг другу. Они крепко упакованы в «подарочные наборы», хотя все эти книги несовместны и тем и дороги. Они так и коцуют наборами из доклада в доклад, из обзора в обзор. А рядом существует мир книг, которые читают. Их просто читают, более того — перечитывают. Книжки не однодневки, а многолетние спутники, книги, которые составляют «круг чтения» уже не одного поколения наших читателей. Этот круг чтения составляется годами, вне школьных программ, составляется в недрах семьи, среди друзей, читающей публики, любителей литературы. Конечно, оба эти круга в какой-то своей части совпадают, однако

И рядом со всем этим он переводил Стерна и начинал первые свои вещи.

Читателем Лев Николаевич был замечательным. И постоянно возвращался к старым книгам. Составлял списки книг, которые производили на него впечатление. Толстой ставил им «отметки». В этом списке есть книги о завоевании Мексики, Аристотель.

Там были такие книги, как «Семейство Холмских» Бегичева (мы его забыли, а Толстой упоминал его много раз). И какие-то отзвуки этого «семейного» романа есть в «Войне и мире»...

Толстой читал Погорельского, Марлинского. И все время записывал. Постепенно выращивая себя.

Он не останавливался. Он, например, внимательно относился к Карлу Марксу. И одновременно записывал сведения по физике.

Есть справочный аппарат к собраниям сочинений Толстого. И, просматривая его, даже трудно себе представить, какое число людей он знал и сколько читал. И держал в памяти.

Он читает Жюль Верна для детей, а размышляет, что такое тяготение, что такое невесомость в космическом пространстве. Он умеет брать из книги больше, чем в ней написано. Книга для Пушкина и для него — предмет для мысли, материал для мысли. Они на ней не останавливаются, она их как бы толкает вперед и дальше. И дальше от нее уходят.

Лев Николаевич говорил, что самый важный человек — это тот человек, который с тобой говорит вот сейчас. А самое важное время — это сейчас. И книга, которую читаешь сейчас, — самая важная.

Мне рассказывал Горький: «Знаете, Толстой нас читал, как копейную книгу. С ним разговаривают, а он берет человека и сразу его «читает». Он его уже знает. Иногда его дослушивает, а иногда старается не дослушать». Так он поступал и с книгами.

Я помню библиотеки Маяковского, Хлебникова, Блока. Все они читали по-разному. Блок знал много. И все время совершенствовал свое знание. Он знал античность. Он умел готовиться к поездке. Перед тем, как куда-нибудь поехать, скажем в Италию, в Равенну, он читал, что же он там увидит.

Маяковский читал неожиданных для себя писателей, например, он знал Сумарокова. И читал из него строки. Я даже запомнил: «Стихотворенья дух, высокий дух...» Здесь стихотворение — не в смысле написанное в стихах, а сотворение стиха. И Маяковский, открывший книгу у меня в библиотеке, узнал строку Сумарокова и начал читать. Для него это было интересно. Конечно, он знал многих писателей и поэтов, он знал почти всех. И тоже многих переоценивал. Люди для него были весомее, чем для других.

Горький говорил, что он ждет — вот откроется дверь и войдет новый гениальный писатель. Что он только и ждет — когда, когда же! И тоже порой переоценивал моло-

*живут совершенно
раздельно. И если
первый круг,
постоянно
фигурирующий
в печати, известен,
то второй — никак
не высвечен. Порой
кажется, что его
даже не хотят
освещивать. То ли
сами исследователи
избегают, то ли
книги не
привлекают.
Круг чтения
у разных категорий
читателей с годами
меняется, в нем
что-то замещается,
что-то уходит. Но
есть в нем
устойчивая
сердцевина, некий
цифр тяжести.
Медленно и он
тоже перемещается.
И вот эта
траектория его
движения
чрезвычайно
лободытна и во
многом
характеризует
нравственные
изменения, этические
потребности нашего
общества.
Чтиво,
развлекательное,
сиюминутное, оно
всегда было и будет.
Оно цеголяет
огромными цифрами*

дежь. Читая раннего Всеволода Иванова, как будто завидовал: «Я так не начинал».

Давайте подытожим.

Первое дело — не бойтесь читать много. Не бойтесь разбрасываться в чтении. Каждая книга пригодится.

Когда вы что-нибудь строите, шьете, вам надо иметь материал, нитки. Если вы что-нибудь сколачиваете, нужен инструмент, гвозди, дерево. Для того чтобы жить и развиваться, надо знать необыкновенное количество книг.

У Гоголя есть изумительные записи. Он читал и составлял свои словари. Он, например, записывал посуду, какая есть в России.

Литература открывает мир! Мне говорил казахский писатель Нурпенсов: «Ну, что я знал раньше? Свою деревню и на два дня конского бега кругом нее. А книги открыли мне мир».

Надо, читая газету, записывать: а что вам надо узнать? Что надо знать и читать, чтобы знать свой город, свою страну, мир.

Что надо знать, когда вы смотрите на телебашню, что надо знать, когда вы видите космический корабль.

И вот это заполнение мира, включение себя в мир, это и есть чтение. Все пригодится. Причем пригодится вам. Потому что вы для себя точка пересечения мира. И вот это пересечение — ваша судьба, быть может, судьба вашего завтрашнего открытия.

Надо знать даже как будто ненужное. И к ненужному относиться всерьез. Нужно его дочитывать. А к нужному надо относиться еще более серьезно.

Когда вас на улице спрашивают, как пройти куда-то, а вы не знаете, это значит, что вы не знаете города. Если вас спросят, какой масти эта лошадь, а вы не знаете, это плохо.

Иногда думают, что Сергей Есенин мало знал. Это неверно. Он знал много. Когда я с ним познакомился, ему было что-то около девятнадцати лет. Такой красавец из деревни. Он знал не только русских писателей, он знал французскую поэзию. Он читал и Верлена, и Верхарна, и Бодлера.

У Есенина была большая корзина из лыка. В нее в старину старики продевали полотенце, полотенце надевали на шею, насыпали в корзину зерно и сеяли. Старики не спеша, широким размахом засевали поле.

Есенин клал туда выписанные им на куски картона слова. Складывал их, как в библиотеку. Когда придется «сеять», когда придется писать, они пригодятся! Он их раскладывал в разные комбинации, как пасьянс, как драгоценность.

И когда Маяковский писал: «У народа, у языкотворца умер забулдыга-подмастерье», — это правильно было. Этот подмастерье непременно учился. Надо учиться гвозди забивать. Надо учиться знать. Переходить от одной книги к другой. Пользоваться справочниками, энциклопедическими словарями.

Память надо упражнять. А для того, чтобы ее упражнять, ей надо... не верить.

*тиражей,
читателей,
очередями
в библиотеках, это
другой успех, тоже
характерный,
заслуживающий
обсуждения, но
это — за пределами
круга чтения.
Важны ли
в литературе
количественные
показатели? Важны,
они тоже многое
определяют. Но еще
важнее устойчивость
спроса, жизнь
произведения во
времени, его
художественная
ценность, которая
не податлива моде.*

Даниил Гранин

К книге надо относиться как к жизни. Ее надо читать собственными глазами. Недоверчиво. Рассматривать. Выискивать в ней точное знание. И идти от книги к книге. Ведь книга — это только дорожка.

Вот вы идете по тропинке, но если хотите пересчитать деревья, узнать, какой же это лес, то надо уходить с тропинки. И вот этот переход — углубление ваших знаний, составление примечаний, проверка.

У меня был такой случай. Я писал книгу о старинных мастерах *. Пришел к одному ученому посоветоваться и показываю ему «Описание Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении», составленное И. Гамелем и изданное в Москве в 1826 году. Этот старый человек ее просматривает и говорит: «Вы не знаете самого изумительного. Я эту книгу держал в руках множество раз. А сейчас смотрю ее и вижу, что в ней Батищев изобразил цилиндрическую передачу. А ведь она получила патент в наши дни! Если бы я обратил внимание на это раньше, я был бы знаменитый человек».

Надо уметь видеть вещи в их сущности. Не так, как они разложены, а так, как они есть в мире. Книга приучает к разглядыванию вещей.

Полезно читать даже устаревшие книги. Мне приходилось видеть труды Вольного императорского экономического общества. Там описано много прожектерских опытов. Но неудачные опыты тоже надо знать. Чтобы их не повторять. История нужна.

Когда вы будете много читать, у вас появится способность читать быстро. Вы будете видеть сразу всю страницу. Так читал Ленин. Это от способности, от тренировки. Но это нужно. Особенно теперь, когда следует много знать не только по своей специальности, но и по смежной, боковой.

Вся литература — это умение видеть, это умение знать. И не надо, чтобы ваша специальность вытесняла из головы все.

ИСААК

1894–1941

БАБЕЛЬ

*Люди,
обслуживающие
библиотеку,
прикоснулись
к книге,
к отраженной
жизни, и сами
как бы сделали
лишь
отражением
живых,
настоящих
людей.*

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

То, что это царство книги, чувствуешь сразу. Люди, обслуживающие библиотеку, прикоснулись к книге, к отраженной жизни, и сами как бы сделали лишь отражением живых, настоящих людей.

Даже служители в раздевальной загадочно тихи, исполнены созерцательного спокойствия, не брюнеты и не блондины, а так – нечто среднее.

Дома они, может быть, под воскресенье пьют денатурат и долго бьют жену, но в библиотеке характер их не шумлив, не приметен и завуалированно сумрачен.

Есть и такой служитель: рисует. В глазах у него ласковая грусть. Раз в две недели, снимая пальто с толстого человека в черном пиджаке, он негромко говорит о том, что «Николай Сергеевич мои рисунки одобрили и Константин Васильевич также одобрили, первоначальное я превзошел, но куда податься, между прочим, совсем неизвестно».

Толстый человек слушает. Он репортер, женат, обжорлив и заработался. Раз в две недели ходит в библиотеку отдыхать – читает об уголовных процессах, старательно рисует на бумажке план помещения, где происходило убийство, очень доволен и забывает о том, что женат и заработался.

Репортер слушает служителя с испуганным недоумением и думает о том – вот ведь как поступить с таким человеком? Дать гривенник, когда уйдешь, – может обидеться: художник; не дать – тоже может обидеться: все-таки служитель.

В читальном зале – служащие повыше: библиотекари. Одни из них – «замечательные» – обладают каким-нибудь ярко выраженным физическим недостатком: у этого пальцы скрючены, у того съехала набок голова и так и осталась. Они плохо одеты, тощи до крайности. Похоже на то, что ими фанатически владеет какая-то мысль, миру не известная.

Хорошо бы их описал Гоголь!

У библиотекарей «незамечательных» – начинающаяся нежная лысина, серые чистые костюмы, корректность во взорах и тягостная медлительность в движениях. Они постоянно что-то жуют и двигают челюстями, хотя ничего у них во рту нет, говорят привычным шепотом; вообще испорчены книгой, тем, что нельзя сочно зевнуть.

Публика теперь, во время войны, изменилась. Меньше студентов. Совсем мало студентов. В кои-то веки увидишь студента, безбольно погибающего в уголку. Это – «белобилетник». Он в роговом пенсне или деликатно под-

храмывается. Есть, впрочем, еще государственники. Государственный — это человек рыхловатый, с обвисающими усами, уставший от жизни и большой созерцатель: что-то почитает, о чем-то подумает, посмотрит на узоры ламп и поникнет к книге. Ему надо кончать университет, надо идти в солдаты, а, в общем, зачем торопиться? Успеется.

Прежний студент вернулся в библиотеку в обличье раненого офицера, с черной повязкой. Рана его заживает. Он молод и румян. Пообедал, прошелся по Невскому. На Невском уже огни. Совершает победное шествие. Вечерняя Биржевка *. У Елисеева выставлен виноград в просе. В гости еще рано. Офицер идет по старой памяти в Публичку, вытягивает под столом, за которым сидит, длинные ноги и читает «Аполлон». Скучновато. Напротив сидит курсистка. Учат анатомию и срисовывает желудок в тетрадочку. Происхождения она приблизительно калужского — широколица, ширококостна, румяна, добросовестна и вынослива. Если у нее есть возлюбленный, то это лучшее решение вопроса — добротный материал для любви.

Возле нее живописное tableau — неизменная принадлежность каждой публичной библиотеки в Российской империи — спит еврей. Он изможден. Волос его пламенно-черен. Щеки впали. Лоб в шишках, рот полуоткрыт. Он посапывает. Откуда он — неизвестно. Есть ли право на жительство — неизвестно. Читает каждый день. Спит тоже каждый день. На лице ужасная неистребимая усталость и почти безумие. Мученик книги, особенный, еврейский неугасимый мученик.

*Первая, ударившая
по сердцу
книга, — что первая
любовь. Это призма,
через которую
впоследствии
преломится
бессознательно все
мироощущение
человека.*

Ольга Форти

Вблизи стойки библиотекарей с выдающимся интересом читает большая женщина в серой кофте и с широкой грудной клеткой. Она из тех, кто говорит в библиотеке неожиданно громко, откровенно, и восторженно удивляется книжным словесам и, исполненная восхищения, заговаривает с соседями. Читает она вот почему — ищет способ домашнего приготовления мыла. Лет ей приблизительно — сорок пять. Нормальна ли она? Этим вопросом задаются многие.

Есть еще один постоянный посетитель. Жиденский полковник в просторном кителе, в широких штанах и очень хорошо вычищенных сапожках. Ножки у него маленькие, усы — цвета пепла сигары. Мажет их фиксатуаром, отчего получается гамма темно-серых цветов. Во дни оны он был настолько бездарен, что не мог дослужиться до полковника, чтобы выйти в отставку генерал-майором. Будучи в отставке, весьма надоедал садовнику, прислуге и внуку. 73-х лет от роду проникся мыслью написать историю своего полка.

Пишет. Обложен тремя пудами материалов. Любим библиотекарями. Здоровается с ними с отменной вежливостью. Домашним больше не надоедает. Прислуга с удовольствием доводит сапожки до предельного блеска.

1
Изображение, картина (фр.). Много еще бывает в Публичке всякого народу. Всех не опишешь. Вот столь измызанный субъект, что ему под стать только писать роскошную монографию о балете. Физионо-

мия – трагическое издание лица Гауптмана, корпус незначителен.

Есть, конечно, чиновники, вонзающиеся в груды «Русского инвалида» * и «Правительственного вестника». Есть провинциальные юноши – во время чтения пламенеющие.

Вечер. В зале полумрак. У столов неподвижные фигуры – собрание усталости, любознательности, честолюбия...

За широкими окнами вьется мягкий снег. Недалеко – на Невском – кипит жизнь. Далеко – на Карпатах – льется кровь. C'est la vie!

1916

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ БИБЛИОТЕКИ

Власть, времени сильней, затаена
В рядах страниц, на полках библиотек:
Пылая факелом во мгле, она
Порой язвит, как ядовитый дротик.

В былых столетях чей-то ум зажег
Сверканье, – и оно доныне светит!
Иль жилы тетивы напрячь возмог, –
И в ту же цель стрела поныне метит!

Мы дышим светом отжитых веков,
Вскрывающих пред нами даль дороги,
Повсюду отблеск вдохновенных слов, –
То солнце дня, то месяц сребророгий!

Но нам дороже золотой колчан
Певучих стрел, завешанных в страницах,
Оружие для всех времен и стран,
На всех путях, на всех земных границах.

Во мгле, куда суд жизни не достиг,
Где тени лжи извилисты и зыбки, –
Там дротик мстительный бессмертных книг,
Веками изощрен, бьет без ошибки.

ВЛАДИМИР

1894–1979

ЛИДИН

*Человек, который
любит книгу,
встречает и ее
ответную
любовь.*

ДРУЗЬЯ МОИ – КНИГИ

Много раз друзья побуждали меня: напишите о книгах, напишите об этом сложном и увлекательном мире; напишите о встречах с книгами – иногда таинственными, как самые необычные приключения, иногда простодушными, когда неожиданно книга, которую искал годами, сама дается в руки, словно никогда ее и не искал; напишите, наконец, о том, что лежит в основе собирательства книг, как приходит к человеку эта любовь, что она приносит ему и что требует взамен.

Что ж, может быть, это и правильно; следует написать о своих давних друзьях, книгах, не с тем, чтобы дать какие-либо библиографические сведения о них: для этого существуют специальные справочники, украшенные именами В. Сопикова, Г. Геннади, И. Остроглазова *, наконец, отличная книга недавно умершего Н. Смирнова-Сокольского «Рассказы о книгах». Я расскажу просто о встречах с книгами – моих личных встречах, иногда радовавших, иногда разочаровывавших, но всегда в той или иной степени приоткрывавших многое, о чем не знает ни один библиограф в мире, потому что это твоя личная встреча, то есть так или иначе неповторимая. Надо рассказать и о том, как рождается страсть к собиранию книг, рассказать о людях, влюбленных в книгу, о книжных редкостях не в библиографическом понимании, а редкостных именно для меня в силу глубоких, сердечных бесед или длительной дружбы с той или другой книгой, которая в ряде случаев может быть уподоблена живому собеседнику. Конечно, если пишешь о книге, надо рассказать и о чувстве, какое она порождает; чувство это испытали все, кому знакомо собирательство, – это очень тонкая, очень глубокая любовь, и странно, иногда кажется, что человек, который любит книгу, встречает и ее ответную любовь. <...>

Есть книги, с которыми ждешь встречи десятилетиями. Это не библиофильская страсть и не одно лишь желание пополнить свое собрание. Это своего рода заочная влюбленность в книгу, судьбу которой знаешь, история которой тебе близка и встреча с которой представляется подлинной радостью. Радость книголюбца всегда добрая и достойная уважения, ибо в ее основе лежит глубокая вера в назначение книги.

Однажды в маленьком городке Одоеве Тульской области я остановился в воскресный день на базаре возле какой-то старушки, перед которой лежало на разостланной рядинке несколько потрепанных книжек. Две из них оказались разрозненными томиками сочинений Шеллера-Михайлова в приложении к журналу «Нива», остальные были учебниками, но среди учебников я увидел узкую продол-

говатую книжечку, похожую скорее на брошюрку, в лиловой, выцветшей от времени обложке. Я купил эту книжечку, вернее, схватил ее, уплатив старушке чуть ли не втрое больше, чем она просила: я нашел книжку, с которой ждал встречи десятилетиями.

Удивительны судьбы первых изданий некоторых русских поэтов. Впервые четыре стихотворения А. В. Кольцова были напечатаны в 1830 году случайным знакомцем поэта В. Сухачевым в книжке под названием «Листки из записной



Обложка «Мертвых душ», выполненная Н. В. Гоголем.



книжки Василия Сухачева». Следует, к слову, сказать, что, несмотря на все мои поиски, я эту книгу Сухачева никогда не встретил; она, наверное, просто канула, как книжка безвестного поэта.

94 Но в 1835 году вышла первая книжка стихов и самого Кольцова *, горячо привеченная Белинским, чрезвычайно быстро разошедшаяся, да и напечатанная, наверное, в ничтожно малом количестве экземпляров.

Много лет я искал встречи с этой книжкой Кольцова.



*Издательская марка
И. Фуста
и Н. Шеффера. 1457.*

*Экслибрис работы
Л. Крахаха
с изображением Св.
Петра, изготовленный им
для города Обрингена.
1509.*



Книги всегда так или иначе несут на себе отблеск писательской судьбы. Отбирая стихотворения Кольцова для этой

первой его книжки, Н. В. Станкевич, одна из самых светлых личностей в русской литературе, материально способствовал выходу книжки. Белинский хотел в предисловии упомянуть о материальной поддержке Станкевича, но в письме от 31 июля 1835 года получил от него суровую отповедь:

«Я писал к тебе в дом Чудиной, и письмо мое, верно, тебя не застало там. Оно содержало в себе строжайший выговор за распоряжение о Кольцове и поручение вырезать позорную страницу. Нельзя ли исполнить этого хоть теперь.»

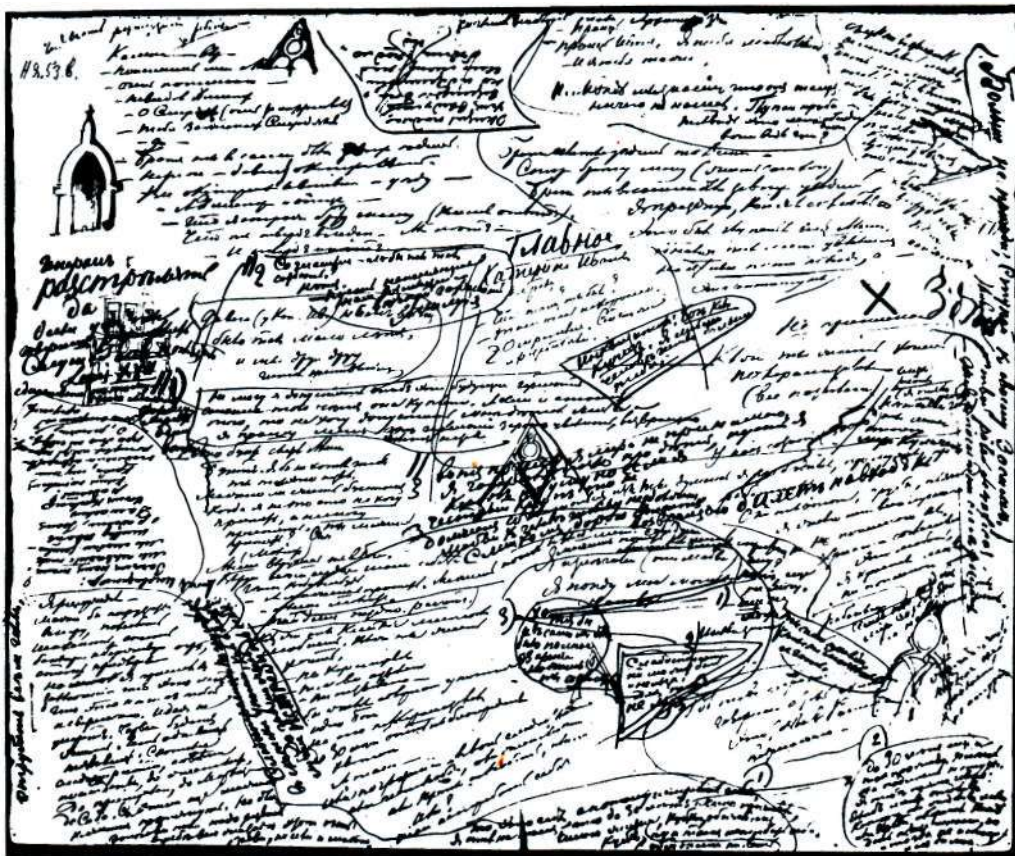


*В. Фаворский. «Портрет
Ф. М. Достоевского». 1929*

Книжка стихотворений Кольцова вышла без всякого предисловия. Но она заключает в себе не только след первых

шагов поэта в литературе, но и след высокой, целомудренной деятельности Станкевича и Белинского, помогавших Кольцову, выдвигавших его, пожелав при этом остаться в неизвестности. Только одиннадцать лет спустя, уже после смерти поэта, вышло второе издание стихотворений Кольцова * – со статьей Белинского о его жизни и творчестве...

Я бережно привез из Одоева столь случайно найденную книжку, и мне, естественно, захотелось присоединить к ней



*Рукопись «Братьев
Карамзовых»
Ф. М. Достоевского.*

и второе издание стихотворений Кольцова, выпущенное Н. Некрасовым и Н. Прокоповичем со вступительной статьей Белинского, захотелось разыскать и редкие брошюры о друге Кольцова А. Серебрянском *, оказавшем влияние на его творчество, а к этому присоединились впоследствии и Полное собрание сочинений Кольцова *, изданное Академией наук в 1911 году, и томик малой серии «Библиотеки поэта» *, выпускаемой в наши дни.

Конечно, не обязательно иметь в своей библиотеке все издания того или другого поэта, тем более прижизненные, но деятельность писателей отражена все-таки в их книгах, и эта живая летопись помогает нам не только глубже познать

судьбу писателя, но и расширяет наше представление о литературе.

Сияние пушкинской славы не затмило других поэтов его времени. Напротив, имя Пушкина в ряде случаев выдвинуло эти имена, и голоса многих поэтов звучат и поныне как раз потому, что рядом с ними был Пушкин. Год за годом росло на моих книжных полках собрание стихов поэтов пушкинской поры, к ним закономерно присоединилось и последующее поколение поэтов от Некрасова с его современниками – Тютчевым, Фетом, Полонским, Плещеевым – до Блока и Брюсова и далее до наших дней. Так, рядом с прижизненными изданиями русских поэтов стоят у меня на полке томики «Библиотеки поэта», основанной М. Горьким, и, глядя на эти книги, обретшие миллионы читателей, нельзя не вспомнить кое-что из прошлого.

Первая книжка стихов Аполлона Григорьева * была выпущена в 1846 году в количестве 50 экземпляров, а первая книжка стихов Ф. Тютчева представляла собой приложение к одному из номеров журнала «Современник» за 1854 год. Первый сборник стихов Н. Некрасова «Мечты и Звуки» (1840) был уничтожен автором как не удовлетворявший его; по той же причине были уничтожены И. Лажечниковым «Первые опыты в прозе и стихах» и А. Фетом его первая книжка «Лирический пантеон», вышедшая в 1840 году... Можно ли не вспомнить судьбы этих книг, когда томики «Библиотеки поэта» выходят пятидесяти тысячным тиражом, причем книги многих поэтов давно уже распроданы, и молодые книголюбцы усердно ищут их для пополнения своих собраний.

Они стоят на моих книжных полках, поэты от Ломоносова и Тредиаковского до наших дней, я дорожу дружбой с ними, мне помогает жить их глубокая поэтическая мысль.

С особым чувством открываю я и маленькую книжечку стихотворений М. Лермонтова *, вышедшую в 1840 году, с типографской рамочкой на каждой странице, скромную заявку на великое будущее поэта. С таким же чувством открываю и книжку Е. Баратынского «Наложница», на обороте титула которой напечатано: «Все экземпляры сей книги, не подписанные мною, суть поддельные, и продаватели оных будут преследуемы по законам», – и за этим следует собственноручная подпись поэта. Перелистывая прижизненные издания А. Полежаева * «Кальян» или «Эрпели» и «Чир-Юрт», перелистываешь как бы и страницы его жизни, такой короткой, оборванной жестокой рукой Николая I.

Но есть, однако, у некоторых книг и их авторов и последующие удивительные судьбы. В томик стихотворений Дениса Давыдова *, изданный в 1832 году, я вклеил как-то такую газетную заметку: «Ульяновск. В селе Верхняя Маза Радищевского района, где жил последние годы поэт, партизан Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов, состоялось собрание колхозников, посвященное его памяти. По предложению кузнеца Алексея Нюсинова собрание решило присвоить колхозу имя поэта-партизана».

*Просматривать,
перелистывать
книгу – это не
чтение. Читать
надо так, как
слушаешь исповедь
человека. Углубляясь
в книгу. Тогда она
раскроет себя, и ты
постигнешь ее
прелесть.*

Константин Федин

К тому же стихов А. Дельвига *, изданному в 1829 году, я приложил в свое время такое письмо, напечатанное в газете: «Один из талантливых поэтов 19-го века, друг А. С. Пушкина, Антон Антонович Дельвиг был поклонником русского народного творчества. Наша молодежь знает и любит его песни «Не осенний мелкий дождичек», «Соловей мой, соловей»... Мы предлагаем издать сочинения А. А. Дельвига массовым тиражом, и притом в ближайшее время я», — заключает работник завода имени Лихачева И. Коротан.

А к книжке Тараса Шевченко «Кобзарь», выпущенной «коштом Платона Семеренка» в 1860 году, я приложил газетную вырезку с рассказом о старой ветвистой вербе, посаженной поэтом в городском саду Александровского форта (ныне форт Шевченко) на полуострове Мангышлак, и о том, что каждый колхоз вокруг, разбивая новый сад, берет от шевченковской вербы веточку...

Так разрастается поэтическая история некоторых книг. Жители Калининграда сетуют на то, что до сих пор не установлена мемориальная доска на доме основоположника русского исторического романа И. И. Лажечникова, сетуют книголюбы и на то, что в Ленинграде нет мемориальной доски на доме, где помещалась книжная лавка А. Ф. Смирдина *, а одна из читательниц настоятельно требует привести в порядок могилу А. П. Керн близ Торжка — ведь именно Керн посвятил Пушкин стихотворение «Я помню чудное мгновение», положенное на музыку Глинкой.

Хорошие книги никогда не умирают. Они живут и в первых изданиях — пусть их собирают книголюбы, они живут и в современных изданиях, которые собирает широкий круг новых читателей, плененных и музыкой стиха, и историей жизни замечательных людей, и судьбами изобретателей и умельцев, и мужественной русской прозой, покорившей мир со времен «Повестей Белкина» Пушкина, «Героя нашего времени» Лермонтова, «Мертвых душ» Гоголя, «Записок охотника» Тургенева, «Войны и мира» Льва Толстого, рассказов Чехова...

Повесть о редких изданиях не уходит непременно в прошлое; повесть эта пишется каждый день, ибо многие издания, какие соберет молодой книголюб сегодня, станут со временем редкостью, голосом эпохи, свидетелями ее дел. Номера газет с сообщениями о запуске первого искусственного спутника Земли стали уже редкостью, станут редкостью и номера газет с сообщениями о полете первого человека в космос.

Время идет, движется, с ним вместе движется и летопись времени — книги: одни становятся вечными, никогда не стареющими спутниками новых и новых поколений читателей; другие не остаются в широком обиходе, но и они не уходят совсем, а прочерчивают свой след в звездном небе литературы. Астрономы с одинаковым вниманием относятся и к крупным светилам, и к звездам третьей или пятой величины, ибо без звездной осыпи не было бы и звездного мира.

Классическое произведение — то, которое выдержало испытание временем. С ним вы не потеряете своего времени. Но классика не может ответить на все вопросы сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и современную литературу. Не бросайтесь только на каждую модную книгу. Не будьте суетны. Суетность заставляет человека безрассудно тратить самый большой и самый драгоценный капитал, каким он обладает, — свое время.

Дмитрий Лихачев

С книгами, которые стоят на моих книжных полках, у меня душевная внутренняя связь. Я знаю судьбу и историю почти каждой из них, и мне кажется, что, когда я беру в руки ту или другую книгу, она тоже знает меня и нам ничего не нужно объяснять друг другу. <...>

У меня, как и у многих читателей, есть свои любимые книги. Они не в футлярах и не в дорогих переплетах, они не значатся в справочниках как «редкость» или «редчайшая». Они просто близки мне, сердечны по своей чистоте и необходимы по внутренней значимости.

Много лет встречался я мимоходом с одним тихим, молчаливым человеком, мы раскланивались с ним и расходились в разные стороны. Я его близко не знал; знал, что это писатель, некоторые его рассказы читал, они мне нравились. А потом этот писатель умер, умер как-то незаметно, в 1951 году, и вот вышел том его избранных рассказов *, и Андрей Платонов глубоко проник мне в душу каким-то своим сердечным, необычайно нежным и мудрым отношением к людям, которые стали героями его рассказов. С опозданием, как это нередко случается, я с горечью подумал, что недостаточно знал этого отличного писателя. Но у писателя остаются книги, и им нередко дано стать друзьями читателя уже на вечные времена. Не помню, от кого я слышал, что Эрнест Хемингуэй назвал имя Платонова среди имен тех писателей, у которых он научился писать *, и порадовался признанию Платонова, ставшего близким не мне одному... Почти то же самое мог бы сказать я и о рассказах молодой, рано умершей английской писательницы Кэтрин Мэнсфилд, рассказах трогательных и глубоких, написанных под влиянием Чехова.

С книгой М. Горького «Рассказы 1922–1924 гг.» для меня связано воспоминание о ветреном вечере в Сорренто, о большой тревожной душе старого писателя, подарившего мне эту книгу в своем пустынном большом кабинете, за окнами которого уже несколько дней подряд сирокко ожесточенно раскачивал ветки деревьев... Книга, однако, близка мне не только благодаря этому воспоминанию и не только потому, что на ней есть надпись Горького: в ней помещен один из его лучших рассказов – «Отшельник», который я впервые прочел именно в Сорренто, радуясь силе и богатству русского языка.

«Стефан Цвейг, находящийся в настоящее время в путешествии, просит извинить его, что в этот раз он не может послать свою книгу лично».

Так звучит по-русски текст, напечатанный на карточке, вложенной в одну из книг Цвейга и присланной из Вены издательством, выпустившим эту книгу.

Я берегу эту книгу не меньше, чем другие книги Цвейга, присланные им лично. Книга эта вышла в ту пору, когда в Австрии уже слышался стук сапог гитлеровских солдат, когда Цвейг в последний раз прошел по дорожкам своего сада на горе Капуцинов в Зальцбурге и простился с ним на-

всегда, отправившись в последнее странствие, завершившееся трагическим финалом его жизни... Книги иногда раскрывают большее, чем в них написано: они хранят в себе смятение чувств и жгучую тайну самого автора; перифраз названий книг Цвейга * в данном случае не только уместен, но и напрашивается сам собой.

Мне дороги и другие книги Цвейга не только потому, что они связаны с личностью этого большого писателя и глубоко сердечного и нежного человека, которого я знал. Они дороги мне тем, что дарили меня читательскими радостями; я не преувеличу, сказав, что, например, рассказ Цвейга «Лепорелла» стоит в одном ряду с «Простым сердцем» Флобера.

Неизменно ощущаю я, как взволнованных собеседников, книги Александра Малышкина «Севастополь» и «Люди из захолустья». Тот, кто захочет прочесть одни из самых правдивых страниц о первых днях революции, о становлении нового мира, пусть обратится к книгам Малышкина: их искренний голос встревожит не одно молодое воображение, и книги Малышкина станут надежными спутниками многих читателей.

Есть книга, похожая на сгусток человеческих страданий и вместе с тем на сгусток воли и мужества: «Репортаж с петель на шее» Юлиуса Фучика. Эта книга – страдальница, но она и победительница. Она продолжает историю книг, замученных и загубленных, просиявших, однако, из стен заточения, презревших насилие и указывающих человеку его путь.

Так, к вечным спутникам – книгам классиков – присоединяются и книги современников, и чем шире по внутреннему ощущению этот круг, тем богаче и библиотека собирателя. Именно любимые книги определяют путь собирательства, они и составляют его ценность.

После смерти Белинского И. С. Тургенев приобрел его библиотеку не только с целью помочь вдове Белинского, но и потому, что хотел сберечь круг самых заветных друзей Белинского – его книги. В тишине Тургеневского музея в Орле, где ныне находится библиотека Белинского, читаешь не только повесть о дружбе Тургенева и Белинского, запечатленную в книгах с золотыми буквами «В. Б.» на корешке, но и повесть о сохраненном в материальном выражении духовном мире великого критика...

Чехов год за годом посылал книги в городскую библиотеку Таганрога, уверенный, что дружба с книгой является основой внутреннего роста человека. Книголюб А. М. Горький всего за несколько дней до смерти прислал в Книжную лавку писателей список нужных ему книг, в их числе были «Вогульские сказки» * и «Наполеон» Е. Тарле. В Самаре, в Публичной библиотеке Петербурга, в библиотеке Румянцевского музея в Москве, в Берлинской императорской библиотеке, в библиотеке Вольно-экономического общества, в книжном хранилище Юдина в Красноярске *, в библиотеке Британского музея в Лондоне, в библиотеке имени Куклина в Женеве, в Национальной библиотеке в Париже, в библиотеках

Кракова, Берна, Цюриха – всюду побывал неутомимый читатель В. И. Ленин.

Даже из ссылки в Шушенском Ленин пишет в 1897 году сестре Анне Ильиничне Елизаровой:

«Если поедешь за границу, то сообщи, и я тебе подробно напишу насчет книг оттуда. Посылай мне побольше всяких каталогов от букинистов и т. п. (библиотек, книжных магазинов)». В воспоминаниях Н. К. Крупской проникновенно рассказано о пристрастии к книге В. И. Ленина, учившего любить, ценить и уважать книгу как неперемennого спутника каждого просвещенного человека.

Собирать книги не означает собирать непременно редкие, особенные книги. Ведь можно составить отличное собрание книг наиболее полюбившихся советских писателей, или собрание путешествий, или собрание «Жизни замечательных людей»; и тогда развернется целая галерея страстных, благородных судеб – от Коперника, Леонардо да Винчи, Ломоносова до Юлиуса Фучика, Мусы Джалиля и Патриса Лумумбы, о котором, конечно, в свое время будет написана книга. Можно собирать книги о научных открытиях, и тогда ряд великих первооткрывателей завершат имена Сеченова, Павлова, Мичурина, Циолковского до наших современников – Иоффе, Курчатова, Чаплыгина, Прянишникова, Павловского. Необъятен мир собирательства книг, необъятна их тематика, и необъятны открытия, которые предстоит сделать молодым книголюбам на пути их странствий по книжному морю, полному неведомых островов, неразведанных глубин, необследованных земель... Ведь даже в обследованном, кажется, до конца географическом мире и поныне происходят удивительные открытия наших полярных исследователей в Антарктиде, или на дрейфующих льдинах вблизи Северного полюса, или на острове Пасхи, о котором так увлекательно рассказал Тур Хейердал в своих книгах «Путешествие на "Кон-Тики"» и «Аку-Аку».

Все труды и дела человека, все его открытия, всю его пытлиую мысль и искания отражает прежде всего книга, и это побудило меня написать о книгах, о малых открытиях собирателя, его встречах с книгой и его находках.

От первых дней книгопечатания книга волнует человека. Ее судьбы богаты, величественны, иногда трагичны и горестны, но на всех своих путях и при всех обстоятельствах книга служила и служит человеку – от восковых дощечек, папирусов и древних свитков на пергаменте...

«Прощайте, друзья! – сказал он, глядя на библиотеку» – так записал доктор Шольц слова умирающего Пушкина. Книги для Пушкина были одушевленными существами: он и прощался с ними, как с живыми спутниками своей жизни, дарившими ему наибольшие радости.

Вспомним обращенные к книге и слова М. Горького:

«Когда у меня в руках новая книга, предмет, изготовленный в типографии руками наборщика, этого своего рода героя, с помощью машины, изобретенной каким-то другим ге-

роем, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное...»

«Книга дороже мне престола», — лаконически возвестил великий Шекспир. Он был прав: престолы рухнули и ушли в небытие вместе с теми, кто восседал на них; книги Шекспира остались. Хорошие книги никогда не стареют, им даны вечная молодость и обновление во времени, они — живой организм, воздух, без которого не может жить и развиваться человек.

1962

ЭЛИСАВЕТА БАГРЯНА

КНИГА

Ты с болью влагаешь в нее все, чем дышишь,
Ей в жертву приносишь счастливый покой,
В ней жизнь и мечтанья скрестились навеки,
Сияя твоею последней свечой.

Так бодрствуешь ты, осужденный невинно,
И пламя твой опалило черты,
И так же над нею заснешь без возврата,
Все сердце отдав человечеству, ты.

А люди лениво ее полистают,
Пред тем как в постели спокойно заснуть,
И в дреме, быть может, промолвят, вздыхая:
«Вот это судьба — вот блистательный путь!..»

(Перевод А. Ахматовой)

МИХАИЛ

1894–1958

ЗОЩЕНКО

*Эх, долго нам
еще, товарищи,
ждать
культурного
обращения
с книгой...*

ПРАЗДНИК КНИГИ

4 мая тов. Сытников пригласил своих друзей на пирог.

Пирог был с капустой. Хороший пирог. Сочный. Гости, приятно удивленные, со вкусом жевали, слушая хозяйские разговоры.

– Я все-таки передовой человек, – говорил тов. Сытников, польщенный общим вниманием. – Вот, иные люди гостей приглашают на пасху или в день своего рождения, а мне, знаете ли, эти дни вроде как и не праздники. Мне подавай-ка что-нибудь этакое значительное, культурное. Например, день всероссийской печати 4 мая*. Так сказать, торжественный день книги. Праздник книги и науки...

Гости с огорчением поглядывали на хозяина. Он явно мешал им кушать и плохо действовал на пищеварение.

– Ей-богу, – говорил хозяин. – Тысячи людей проходят мимо этого праздника шутя, не замечая даже, а мне этот праздник выше всего. Мне, товарищи, даже не сам праздник дорог, мне, товарищи, книга дорога...

Помню я – мамаша еще покойная спрашивала: отчего же ты, дескать, Вася, книгу так обожаешь... А я, представьте себе, мальчишка, щенок, от горшка два вершка, отвечаю: книгу, дескать, я, мамаша, обожаю оттого, что книга – это печать.

– Да, уж чего говорить, – сказал кто-то из гостей, – большой праздник – день печати.

– Еще бы не большой! – воскликнул хозяин. – Книга! Что может быть драгоценнее книги, товарищи? Конечно, малокультурный человек книгу спокойно бросит куда попало, стакан на нее поставит, тарелку, окурку о нее потушит...

Один из гостей, прожевывая пирог, сказал:

– Это верно... Я вот одного знал, родственник... комод у него, значит, тово... без ножки... Он книгу, тово... подложил заместо ножки...

– Видали?! – с болью воскликнул хозяин. – Видали, какое чучело! Книгу под комод! И ведь, наверное, сукин сын, хорошую книгу подложил. Ну, подложи словарь французского или немецкого, так ведь нет... Таких людей, прямо, расстреливать нужно... Эх, долго нам еще, товарищи, ждать культурного обращения с книгой... Не понимает еще масса... Я вот вспоминаю одну историю насчет книги. Спас я замечательную книжку. На фронте дело было. Пришли мы, знаете ли, в один фольварк, библиотека там была. Ну, гляжу, на крыльце солдаты рассматривают одну книгу. Этакую огромную книжищу с картинками – «Вселенная и человечество»*.

МИХАИЛ
ЗОЩЕНКО

104

*Е. Кругликова. Плакат
«Женщина! Учись
грамоте.». 1923.*

– Братцы, – говорю я солдатам, – уступите мне эту книжку. Куда вам ее? На завертку – толста, а я вам за нее осьмушку махорки дам. Ну, уступили солдаты. Взял я эту книжку, спрятал ее в мешок и, понимаете, всю войну берег ее пуще глаза...

– Ну, и что же? – спросили гости.

– Ну, и ничего, – сказал хозяин, – привез эту книгу домой. Книжке цены нет. Замечательная книжка. Какие картины в красках, какая бумага! Да вот, я вам покажу сейчас...



Хозяин встал из-за стола и пошел в соседнюю комнату. Гости нехотя пошли за хозяином, дожевывая по пути.

— Вот, — сказал хозяин, — некоторые картины я даже вырезал и вставил в рамки.

Хозяин показал рукой на стены.

Действительно, вся комната была увешана иллюстрациями из книги «Вселенная и человечество». Некоторые иллюстрации были вставлены в черные скромные рамки и придавали всей комнате уютный и интеллигентный вид.

Восхищенные гости; осмотрев картины, пошли в столовую докушивать пирог с капустой.

1924

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Есть в литографиях забытых мастеров
Неизъяснимое, но явное дыханье,
Напев суровых волн и шорохи дубов,
И разноцветных птиц на ветках колыханье.

Ты в лупу светлую внимательно смотри
На шпаги и плащи у старомодных франтов,
На пристань, где луна роняет янтари
И стрелки серебрят готических курантов.

Созданья легкие искусства и ума,
Труд англичанина, и немца, и француза!
С желтеющих листов глядит на нас сама
Беспечной старины улыбчивая муза.

Илья

1897–1937

Ильф

*Людей, уносящих
наши книги, надо
наказывать.*

БЛАГООБРАЗ- НЫЙ ВОР

Скажи мне, что ты
читаешь, и я ска-
жу, у кого ты украл
эту книгу.

Старинная поговорка

Обычно кража сурово наказывается, или, как говорят, законом наказуется.

Закон энергично преследует людей, крадущих деньги, носильное платье, примусы или белье с чердаков. Таких людей закон, как говорится, наказует.

Кроме судебной кары, вору достаётся и от общественности. Человеку, имеющему за собой семь приводов, надо прямо сказать, трудно вращаться в обществе. Такого человека общественность клеймит и довольно метко называет уголовным элементом.

Но есть множество людей, самых настоящих воругов, типичных домушников, а между тем ни закон, ни общественность и не пытается обуздать их преступные порывы.

Это книжные воры. Они опаснее всех.

Настоящий вор старается пробраться в квартиру ночью, в отсутствие хозяев. Торопясь и нервничая, он хватается, что попадет под руку, и убегает.

Исследуя свою добычу в безопасном месте, вор падает духом. Ложечки, показавшиеся ему серебряными, оказываются алюминиевыми. Скатерть весьма рваная и рыночной стоимости не имеет. Захваченное впопыхах пальто почти полностью амортизировалось, воротник осыпался, а суконце поиздержалось. От продажи оказавшегося в кармане пальто фотографического портрета какой-то девушки тоже особенных доходов не предвидится.

Кроме того, предстоят преследования по закону, возможно, заключение месяца на три в исправительное заведение.

Таков тяжелый труд профессионального вора.

Книжный вор держится иначе. Он приходит только в тот час, когда уверен, что застанет хозяина дома. Пробирается он в квартиру не ночью, а вечером.

Внешний вид книжного вора весьма благообразен. Он одет с приличествующей своему служебному положению роскошью. На нем шестидесятирублевый костюм и зеленые суконные гетры. Он хорошо знаком с хозяином квартиры и крадет не сразу.

Сначала он заводит культурный разговор. Он чувствует себя гостем. Его надо поить чаем. Он не прочь полакомиться дальневосточными сардинками, которые хозяин приберегал себе на завтрак. В конце концов гость съедает эти сардинки и приступает к тому, зачем пришел.

Не обращая внимания на тревожный блеск в глазах

хозяина, он подходит к книжным полкам и развязно говорит:

– Да у вас чудная библиотека.

– Да, – говорит хозяин беспокойным голосом.

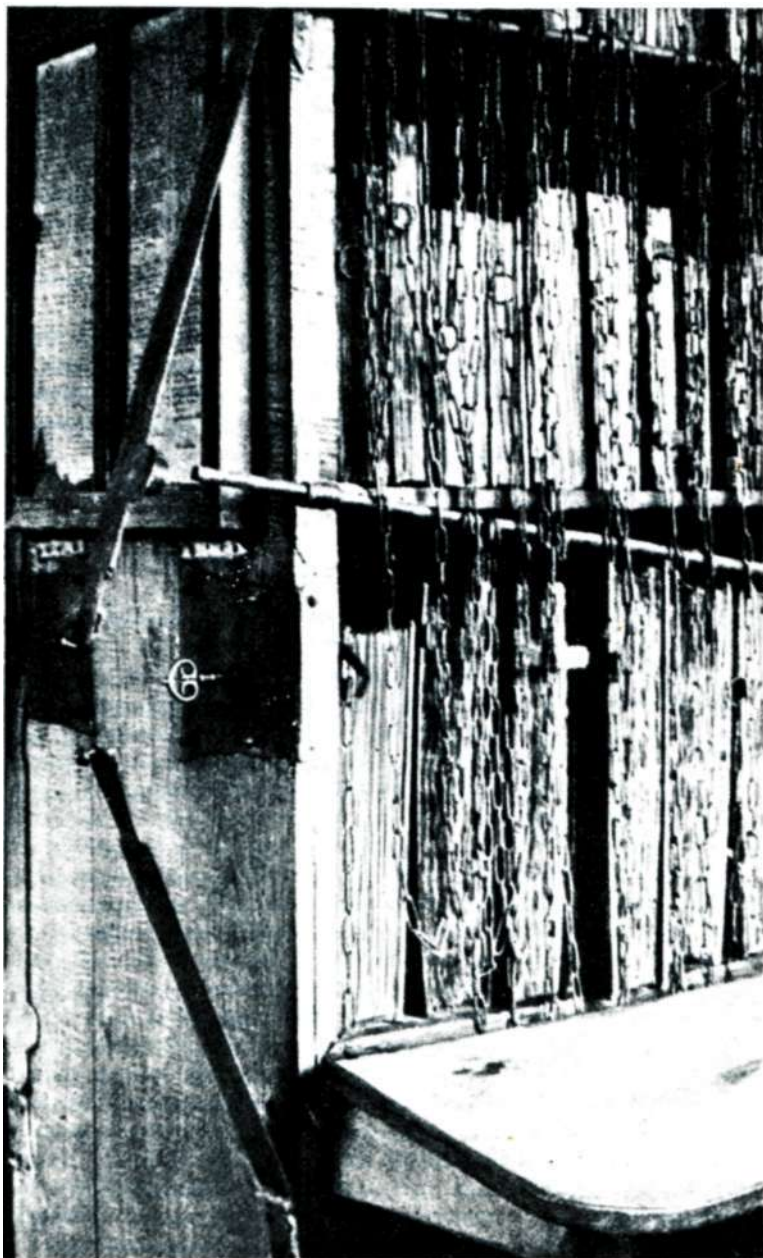
– Прекрасные книги, – продолжает вор, – обязательно нужно взять у вас чего-нибудь почитать.

– Да, – говорит хозяин, хотя ему очень хочется сказать «нет».

– Давно мне хочется прочесть что-нибудь интересное.



*Кафедральная библиотека
в Херефорде. XVI в.
Средневековый способ
хранения книг.*



С этими словами гость снимает с полки три лучшие на его взгляд книги и бормочет:

– Почитаем, почитаем!

На взгляд хозяина, эти три книги тоже лучшие. Поэтому он испуганно лепечет:

– Видите ли...

Но вор неумолим.

– Через неделю вы их получите назад. Вот я даже в книжечку запишу. Взял у Милона Нероновича «Записки Пиквикского клуба», потом...

И он действительно заносит в книжечку какие-то каракули. Потом прощается с Милоном Нероновичем и уходит. Книг он, конечно, не отдаст никогда.

Настоящий вор покидает ограбленную квартиру поспешно. На улице за ним иногда гонятся милиционеры, и вор, задыхаясь, дает стрекача.

Книжный вор движется медленно и уверенно. За ним никто не погонится. Его никто не остановит на улице, никто не спросит сурово:

– Ты где взял эти книги? Немедленно неси назад, не то убью.

И это величайшая несправедливость. Людей, выпивающих наш чай, людей, похищающих наши сардинки и уносящих наши книги, надо наказывать. Нужен закон против книжных воров, закон, как говорится, сурово наказующий.

МИХАИЛ

1898–1940

КОЛЬЦОВ

Это такая публика, что пальца в рот не клади...

ИВАН
ВАДИМОВИЧ
ЛЮБИТ
ЛИТЕРАТУРУ



Рисунок В. Дубова.

– Шолохов? Конечно, читал. Не все, но читал. Что именно – не помню, но читал. «Тихий Дон» – это разве его? Как же, читал. Собственно, просматривал. Перелистывал... Времени, знаете, не хватает читать каждую строчку. Да, по-моему, и не нужно. Лично я могу только глянуть на страницу и уже ухватываю основную суть. У меня это от чтения докладных записок выработалось... Но, в общем, до чего все-таки слабо пишут! Нет, знаете, задора. Глубины нет... Не понимаю, в чем тут дело. Ведь в какие условия их ставят, если бы вы знали! Гонорары, путевки, творческие отпуска, командировки. При этом никакой ответственности, никакого промфинплана. Если бы меня хоть на полгода устроили – чего бы я понаписал! Данные? Что значит – данные! Если тебя партия поставила на определенный участок, на литературу, если тебе дают возможность работать без Эркаи *, без обследований, без этой трепки нервов, скажи спасибо – пиши роман! Беспартийный – тот должен, конечно, иметь талант. Но ведь и ему партия помогает... Фадеев? Это какой, ленинградский? Есть только один? Мне казалось, их было двое... Вообще чудаковатый народ. Совершенно какие-то неорганизованные... Я, когда еще Маяковский был, решил заказать стихи к годовщине слияния Главфаянсфарфора с Союзглинопродуктсбытом. Звоню, спрашиваю Маяковско-

го. «Уехал на шесть недель». Спрашиваю, кто заменяет. Говорят – никто. Что значит – никто?! Человек уехал на шесть недель и никого вместо себя не оставил... Или он думает, что незаменим? У нас незаменимых нет! Потом я еще раза два звонил – середь бела дня телефон не отвечает. Ну, в общем, застрелился. Это такая публика, что пальца в рот не клади... На днях был я в Моссовете – представьте, кто-то из них заявляется, просит устроить на дачу. И как это с ним разговаривали! «К сожалению, сейчас дачи нет! К сожалению, вам придется обратиться в дачный трест...» Я потом, когда он ушел, спрашиваю: почему «к сожалению»? Что он – через Торгсин не может себе дачи купить? Ведь они кучи золота загребают!.. Издания «Академии» *? Я их все подбираю – какая культура! Все сплошь в сатиновых переплетах, с золотом... Говорят, есть еще особые нумерованные экземпляры – шевро или шагрень, что-то в этом роде. Чудесные книжки! «Золотой козел Апулея» * или что-то в этом роде, какая прелесть! Или Боккаччо возьмите. Что за мастер слова! Умели же люди подавать похабщину, и как тонко, как культурно – не придерешься... «Железный поток»? Конечно. Я его еще до революции, в гимназии, читал. Одна из вещей, на которых я политически воспитывался.

ЛЕОНИД

1899

ЛЕОНОВ

*Книга есть
кратчайший
отчет
о пройденном
пути
человечества...*

**БЕСКОРЫСТ-
НЫЙ И
СВЕДУЩИЙ
ДРУГ**

Среди великих изобретений былых времен, окончательно выдливших род людской из приниженого состояния, наибольшую роль сыграла письменность. Дату рождения алфавита можно считать эпохой в человеческом самосознании, откуда открылся прямой путь к появлению книгопечатного станка. Именно по книгам, как по ступенькам, поднимался человек на свою нынешнюю высоту. Таким образом, не только великолепную материальную часть современного мира, даже не святыни искусств (хотя не только они, на мой взгляд, скрепляют разнообразные на всех поприщах человеческие достижения в единую культуру), а книгу надо считать опорным камнем фундамента цивилизации.

Книга – это кристаллический, плотно упакованный в страницы наш многовековой опыт, делающий бессмертным род людской на земле. Только благодаря книге накопленные знания обретают могущество лавины, способной с тысячелетнего разгона преодолеть любое препятствие на столбовой дороге человеческого прогресса. Недаром грозные завоеватели древности и наиболее выдающиеся подлецы недавнего прошлого начали свою разбойничью деятельность порабощения уничтожением библиотек, кострами неблагонадежных, так называемых опасных книг. И верно, нередко в истории ту или иную страну или нацию вслед за этим поражала как бы слепота – наиболее подходящее состояние человека для безропотного ношения цепей.

Словом, нет ничего дороже книги у мыслящего человека! Сегодня, когда на наших глазах некоторые люди вопреки здравому смыслу размахивают чадной атомной головней с риском пустить по континентам огненного петуха, страшны становятся порой, что величайшие сокровища мысли вверены беспомощно хрупкой бумаге.

Книге человечество доверило свои священные прозрения, открытия, рецептуру осмысленного существования на планете Земля. Книга есть кратчайший отчет о пройденном пути человечества и, следовательно, наметка его завтрашних маршрутов.

Если бы беспримерная геологическая катастрофа отрезала у человека весь его громадный обоз неопенимых материальных орудий, книга еще внушила бы ему надежду и силы на возрождение. Без нее человек сразу бы стал затерявшимся путником в огромной безвестной ночной пустыне. Только книга может научить, как и в какой последовательности двигаться вперед, как избегать бездн и взбираться на вершины, как почетнее людям следует вести себя на земле согласно своему человеческому з в а н и ю , – словом, указать

*Читать всего совсем
не нужно, читать
нужно только то,
что отвечает на
возникшие в душе
вопросы.*

Лев Толстой

ЛЕОНИД
ЛЕОНОВ

112

*«Пророк Даниил». Деталь
иконы «Пророки Даниил, Да-
вид и Соломон». Новгород, XV в.*

дорогу если не к немеркнущему счастью, то хотя бы к устойчи-
вому благополучию.

Книга поэтому есть верный, бескорыстный и наиболее
сведущий друг. Она самый терпеливый учитель, готовый де-
сятки раз повторять недоступную сразу мысль, прежде чем
ее освоит неопытный или ленивый разум. Не всякая пачка
исписанной второпях бумаги достойна стать книгой. Люди
бывают пристрастны, бесчестны, несовершенны в своих ув-
лечениях, и опять только книга может научить нас безоши-



бочно распознавать добро и зло, истину и ложь, красоту и безобразия.

Старшее поколение, вручая своей юной смене страну, мир и вечные идеи справедливости на земле, оставляет ей единственное, наиболее полное завещание – книгу. Поэтому любите книгу, храните ее выше всякого другого достоинства. Учитесь у старших преданности книге, знанию. Пусть каждый образованный и знающий человек не пожалует времени и досуга, чтобы разъяснить все это тем, кто не умеет пока пользоваться книгой.

1960

ПАБЛО НЕРУДА

ОДА КНИГЕ

...В чем заключалась наша
победа?
Книга –
вместилище
людских союзов,
ремесел,
книга,
без одиночества, с людьми
и инструментами,
книга
была для нас победой.
Как все плоды,
она живет и падает,
содержит не только свет,
не только темень,
порою гаснет,
роняет листву,
петляет по городу
и рушится на землю.

(Перевод П. Грушко)

ВЛАДИМИР

1899–1977

НАБОКОВ

*Слову дано
высокое право из
случайности
создавать
необычайность,
необычайное
делать
неслучайным.*

ПАССАЖИР

– Да, жизнь талантливее нас, – вздохнул писатель, постукивая картонным концом папиросы о крышку портсигара. – Иногда она придумывает такие темы... Куда нам до нее! Ее произведения непередаваемы, непередаваемы...

– Все права закреплены за автором, – улыбнувшись, подсказал критик, скромный близорукий человек с тонкими, подвижными пальцами.

– Нам остается только жулить, – продолжал писатель, рассеянно бросив спичку в пустую рюмку критика. – Нам остается делать с ее творениями то, что делает фильм режиссер с известным романом. Режиссеру нужно, чтобы горничным в субботний вечер было нескучно, и потому он этот роман меняет до неузнаваемости, крошит его, выворачивает, выбрасывает тысячу эпизодов, вводит придуманные им самим происшествия, новых персонажей – и все это для того, чтобы получился занимательный фильм, развивающийся без всяких помех, карающий в начале добродетель, а в конце – порок, совершенно естественный в своей условности и, главное, снабженный неожиданной, но все разрешающей развязкой. Вот точно так же и темы жизни мы меняем по-своему, стремясь к какой-то условной гармонии, к художественной сжатости. Приправляем наш пресный плагиат собственными выдумками. Нам кажется, что жизнь творит слишком размашисто и неровно, что ее гений слишком неряшлив, мы в угоду нашим читателям выкраиваем из ее свободных романов наши аккуратные рассказы – *ad usum delphini* *. Позвольте же по этому поводу вам сообщить следующий случай.

Ехал я в экспрессе, в спальном вагоне. Я очень люблю дорожное новоселье – холодноватое белье на койке, фонари станции, которые, тронувшись, медленно проходят за черным стеклом вагона. Было мне приятно, помнится, что надо мной, на верхней койке, никого нет. Раздевшись, я лег навзничь, подложил под затылок руки, – и легкость узкого казенного одеяла была прямо-таки сладостна после пухлости отельных перин. Помечтав кое-что, – мне в ту пору хотелось писать повесть из жизни вагонных уборщиц, – я выключил свет и очень скоро уснул. И тут разрешите мне употребить прием, частенько встречающийся в таких именно рассказах, каким обещает быть мой. Вот он, – этот старый, хорошо вам известный прием. «Среди ночи я внезапно проснулся». Впрочем, дальше следует кое-что посвежее. Я проснулся и увидел ногу.

– Виноват? – переспросил скромный критик, подавшись вперед и подняв указательный палец.

– Я увидел ногу, – повторил писатель. – Отделение было освещено, и поезд стоял на какой-то станции. Нога была мужская, крупная, в грубом пестром носке, продырявленном синеватым ногтем большого пальца. Она плотно стояла на лесенке у самого моего лица, и ее обладатель, скрытый от меня навесом верхней койки, как раз собирался сделать последнее усилие, чтобы взобраться на свою галерку. Я успел хорошенько рассмотреть эту ногу, серый в черную клетку носок, фиолетовую ижицу подвязки сбоку на толстой икре.



А. Л. Дейкека. «Девушка с книгой».

Сквозь трико длинного подштанника неприятно торчали волоски. Вообще нога была препротивная. Пока я на нее смотрел, она напряглась, пошевелила раза два цепким большим пальцем, наконец сильно оттолкнулась и взвилась вверх. Там, наверху, послышалось кряхтение, посапывание – все звуки, по которым я мог судить о том, что человек укладывается спать. Затем свет погас, и через несколько мгновений поезд тронулся.

Я не знаю, как вам объяснить, — эта нога произвела на меня впечатление гнетущее. Пестрая, мягкая гадина. И меня тревожило то, что из всего человека я знал только эту недобрую ногу, а фигуры, лица так и не увидал. Его койка, которая образовывала надо мной низкий темный потолок, теперь казалась ниже, я словно ощущал ее тяжесть. Как я ни старался представить себе облик моего ночного спутника, все у меня торчал перед глазами тот крупный ноготь, блестящий синеватым перламутром сквозь дырку шерстяного носка. Вообще странно, конечно, что такие пустяки могли меня волновать, но ведь, с другой стороны, не есть ли всякий писатель именно человек, волнующийся по пустякам? Как бы то ни было, сон ко мне не шел. Я прислушивался — не храпит ли мой неведомый пассажир? Мне показалось, что он не храпит, а стонет, — но, как известно, ночной колесный стук поощряет галлюцинации слуха. Однако я не мог отделаться от впечатления, что там, надо мной, раздаются какие-то необыкновенные звуки. Я слегка приподнялся. Звуки стали яснее. Человек на верхней койке рыдал.

— Как вы сказали? — прервал критик. — Рыдал? Так, так. Простите, я не расслышал. — И, снова уронив руки на колени и склонив набок голову, он продолжал слушать рассказчика.

— Да, он рыдал, и его рыдания были ужасны. Рыдания душили его, он шумно выпускал воздух, как будто выпив залпом литр воды, и за этим следовало быстрое всхлипывание с закрытым ртом, какая-то страшная пародия на кудахта и нье, — и опять вдохание, и опять мелкие рыдающие выдохи, но уже с открытым ртом — судя по хахакающему звуку. И все это на шатком фоне колесной стукотни, ставшей тем самым как бы движущейся лестницей, по которой восходили и спускались его рыдания. Я лежал не шевелясь и слушал — и при этом чувствовал, что у меня в темноте преглуное лицо: всегда становится неловко, когда рыдает чужой человек. А тут еще я был невольно связан с ним тем, что мы лежим на двух полках, в одном и том же отделении, в одном и том же безучастно мчавшемся поезде. И он не унимался — это ужасное трудное всхлипывание не отставало от меня: мы оба, я — внизу — слушающий, он — наверху — рыдающий, летели боком в ночную даль со скоростью восьмидесяти километров в час, и только железнодорожная катастрофа могла бы рассечь нашу невольную связь. Потом он как будто перестал — но только я собрался уснуть, снова заклокотали его рыдания, и мне казалось даже, что вперемежку со всхлипывающими вздохами он произносит какие-то слова, нутряным голосом, животом. Он снова замолк, только посапывал; и я лежал с закрытыми глазами и видел в воображении его отвратительную ногу в клетчатом носке. Я все-таки уснул, а в половине шестого утра проводник рванул дверь, разбудил меня, и, сидя на койке, поминутно стучаясь головой о край верхней койки, я стал поспешно одеваться. Перед тем, как выйти с чемоданами в коридор, я оглянулся на верхнюю койку, но он лежал ко мне спиной, накрывшись с головой одеялом. В коридоре было светло, солнце только что встало, си-

няя, свежая тень поезда бежала по траве, по кустам, изгибаясь, взлетала на скаты, рябила по стволам мелькающих берез, — и ослепительно просиял удлиненный прудок посреди не поля, медленно сузился, превратился в серебряную шель, и с быстрым грохотом проскочил домик, шлагбаум, хлестнула хвостом дорога, — и опять замелькали пятнистым частоколом, от которого кружилась голова, бесчисленные, солнцем испещренные березы. Кроме меня, в коридоре стояли две заспанные, наскоро покрашенные дамы и старичок в замшевых перчатках и дорожном картузе. Я ненавижу вставать рано — упоительнейший рассвет в мире не может мне замечать часы сладкого утреннего сна, — и поэтому я только хмуро кивнул, когда старичок обратился ко мне: «Вы тоже выезжаете в...?» И он назвал большой город, куда мы должны были приехать через десять-пятнадцать минут.

Березы вдруг рассеялись, полдюжины домишек посыпались с холма, едва второпаях не попав под поезд, затем прошагала, блистая стеклами, огромная багровая фабрика, чей-то шоколад окликнул нас с пятисаженного объявления, опять фабричный корпус, стекла, трубы, одним словом, происходило все то, что происходит, когда подъезжаешь к большому городу. Но вот, к нашему удивлению, поезд судорожно затормозил и остановился на пустынном полустанке, где, казалось бы, экспрессу нечего делать. Меня удивило и то, что на платформе стоят несколько полицейских. Я опустил оконную раму и высунулся. «Закройте окно», — вежливо сказал один из них. Люди в коридоре заволновались. Прошел кондуктор; я спросил, в чем дело. «В поезде находится преступник», — ответил он и кратко объяснил на ходу, что в городе, через который мы проезжали ночью, случилось накануне убийство — муж застрелил жену и ее любовника. Дамы ахнули, старичок покачал головой. В коридор вошли двое полицейских и краснощекий кругленький сыщик в котелке, похожий на букмекера. Меня попросили вернуться в купе. Полицейские остались стоять в коридоре, а сыщик принялся обходить отделения. Я показал ему паспорт. Он скользнул рыжими глазами по моему лицу и отдал мне бумаги. Мы стояли в тесном купе, на верхней койке неподвижно лежала темная, завернутая с головой фигура. «Вы можете выйти», — сказал мне сыщик и протянул руку наверх на койку. «Ваши бумаги, пожалуйста». Фигура в одеяле храпела. Стоя у открытой двери, я слушал этот храп, и мне казалось, что в нем еще посвистывают отзвуки ночных рыданий. «Пожалуйста, проснитесь», — громче сказал сыщик и каким-то профессиональным жестом дернул за край серого одеяла, у шеи спящего. Тот шевельнулся, но продолжал храпеть. Сыщик потряс его за плечо. Мне стало не по себе, я отвернулся и принялся глядеть в коридорное окно, но ничего не видел, а всем существом слушал, что происходит в купе.

И представьте себе, я не услышал ровно ничего особенного. Сонно заворчал человек на верхней койке, сыщик отчетливо потребовал документы, отчетливо поблагодарил, вышел из купе, вошел в следующее. Вот и все. А ведь казалось, как вышло бы великолепно — с точки зрения писателя,

*Жизнь иногда
обещает нам
праздники, которые
никогда не
состоятся, или
дарит нам
готовых
персонажей для
книг, которых мы
никогда не
напишем.*

Владимир Набоков

конечно, — если бы рыдающий пассажир с недобрыми ногами оказался убийцей, как великолепно можно было бы объяснить его ночные слезы, — и, главное, как великолепно все бы это уложилось в рамки моего ночного путешествия, в рамки короткого рассказа. Но, по-видимому, замысел автора, замысел жизни, был и в этом случае, как и всегда, стократ великолепнее.

Писатель вздохнул и замолк, посасывая давно потухшую, вконец разжеванную и замусоленную папиросу. Критик глядел на него добрыми глазами.

— Признайтесь, — опять заговорил писатель, — вы были уверены, начиная с той минуты, когда я упомянул о полицейских на полустанке, что мой рыдающий пассажир — преступник?

— Я знаю вашу манеру, — сказал критик, кончиками пальцев коснувшись плеча собеседника и, свойственным ему жестом, сразу отдернув руку... — Если бы вы писали детективный рассказ, вы бы сделали искомым злодеем не того, кого никто из героев не подозревает, а того, кого с самого начала подозревают все, и тем самым провели бы опытного читателя, привыкшего к тому, что ларчик открывается непросто. Я знаю, что впечатление неожиданности вы любите давать путем самой естественной развязки. Но не слишком увлекайтесь этим. В жизни много случайного, но и много необычайного. Слову дано высокое право из случайности создавать необычайность, необычайное делать неслучайным. Из данного случая, из данных случайностей вы могли бы сделать вполне законченный рассказ, если бы превратили вашего пассажира в убийцу.

Писатель опять вздохнул:

— Да-да, я об этом думал. Я прибавил бы несколько деталей. Я намекнул бы на то, что убийца страстно любил жену. Мало ли что можно придумать. Но горе в том, что неизвестно, может быть, жизнь имела в виду нечто совсем другое, нечто куда более тонкое, глубокое. Горе в том, что я не узнал, почему рыдал пассажир, и никогда этого не узнаю...

— Я заступаюсь за слово, — мягко сказал критик. — Вы, писатель, по крайней мере, создали бы яркое разрешение. Ваш герой, может статься, плакал потому, что потерял бумажник на вокзале. У меня был знакомый, — взрослый мужчина необычайно воинственной наружности, — который плакал в голос, когда у него болели зубы. Нет-нет, спасибо. Больше мне не наливайте. Достаточно, вполне достаточно.

1927

ХОРОШИЕ ЧИТАТЕЛИ И ХОРОШИЕ ПИСАТЕЛИ

«Как быть хорошим читателем» или «Доброта к авторам» — что-то в этом роде могло бы послужить подзаголовком для этих разнообразных суждений о разнообразных авторах, для моего намерения любовно ведать полюбившимися и томительными деталями нескольких европейских шедевров. Сто лет назад Флобер в письме к своей возлюбленной сделал следующее замечание: «Каким знатоком можно

стать, если хорошо изучить всего каких-то полдюжины книг».

При чтении нужно замечать и лелеять детали. Нет ничего плохого в лунном свете вздорного обобщения, когда оно проходит после того, как любовно собраны солнечные пустички книги. Начинать же с готового обобщения – начинать не с того конца и уходить от книги прежде, чем стал ее понимать. Нет ничего более скучного и более пристрастного по отношению к автору, чем пускаться в чтение, скажем, «Мадам Бовари», с предубеждения, что это не что иное, как обличение буржуазии. Мы должны всегда помнить, что произведение искусства – это создание нового мира, так что первое, что мы должны сделать, – это изучить этот новый мир как можно более замкнуто, приближаясь к нему, как к чему-то совершенно новому, не имеющему явных связей с мирами, уже нам известными. Когда этот новый мир изучен сам по себе, тогда и только тогда давайте будем искать его связи с другими мирами, с другими отраслями знания.

Другой вопрос: можем ли мы надеяться извлечь из романа информацию о местах и временах? Может ли кто-либо быть настолько наивным, чтобы думать, что он или она сумеют узнать что-нибудь о прошлом из тех пухлых бестселлеров, которые распродают книжные клубы под названием исторических романов? Ну а что относительно шедевров? Можем ли мы положиться на картину землевладельческой Англии с баронетами и пейзажными фонами, нарисованную Джейн Остин, если все, что она знала, – это гостиная священника? А «Холодный дом»? Эта фантастическая любовная история в пределах фантастического Лондона, можем ли мы назвать ее исследованием Лондона сто лет назад? Конечно, нет. И то же самое остается в силе и для других подобных романов этого ряда. Правда в том, что великие романы – это великие сказки, а романы подобного ряда – это величайшие сказки.

Время и пространство, краски и времена года, движение мышц и мыслей – все это для гениальных писателей (насколько мы можем полагать, а я верю, что мы полагаем правильно) не традиционные наблюдения, которые можно позаниматься в расхожей библиотеке общедоступных истин, а ряд исключительных сюрпризов, которые художники-мастера научились выражать исключительно по-своему. Менее значительным авторам остается орнаментовка общих мест: эти не заботятся о каком-либо воссоздании мира; они просто пытаются выжать все, что могут, из данного порядка вещей, из традиционных шаблонов беллетристики. Различные сочетания этих незначительных авторов в пределах этих установленных норм умеренным преходящим образом в состоянии создать что-то весьма занятное, потому что несовершенные читатели любят узнавать под приятной маскировкой свои собственные идеи. Но истинный писатель, малый, который заставляет вращаться планеты и лепит спящего человека, и нетерпеливо своевольничает с ребром спящего, автор такого рода не имеет в своем распоряжении заданных оце-

нок: он должен сделать их сам. Писательское искусство очень несерьезное занятие, если оно не подразумевает прежде всего искусства видения мира в качестве потенциала художественной литературы. Материальность этого мира может быть достаточно реальной (насколько простирается реальность), но существует вовсе не как признанная всецелостность: это хаос, и этому хаосу автор говорит «иди!», позволяя миру мерцать и растворяться. Он теперь воссоздан в самых своих атомах, а не только в очевидных и поверхностных частях. Писатель – первый человек, кто создал его карту и назвал естественные составляющие его объекты. Те ягоды там съедобны. Это пятнистое существо, что пронеслось через мою тропу, могло бы быть приручено. Озеро между теми деревьями назовется Опаловым озером или, более артистично, Помойным озером. Тот туман – гора, и эта гора должна быть покорена. Художник-мастер взбирается по склону без тропок, и на вершине, на ветреном краю, кого, вы думаете, он встретит? Запыхавшегося и счастливого читателя, и там они вдруг обнимутся и будут связаны навеки, если книжка останется навеки.

Однажды вечером в отдаленном провинциальном колледже, через который мне пришлось двигаться в затяжном лекционном курсе, я предложил небольшую контрольную – десять определений читателя, и из этой десятки студенты должны были выбрать четыре определения, которые в сочетании определяют хорошего читателя. Я потерял перечень, но, насколько я помню, определения были примерно таковы. Выберите четыре ответа на вопрос, каким должен быть читатель, чтобы быть хорошим читателем:

1. Читатель должен состоять в книжном клубе.
2. Читатель должен отождествлять себя с героем или героиней.
3. Читатель должен сосредоточиться на социально-экономической точке зрения.
4. Читатель должен предпочесть произведение с действием и диалогом тому, что без всего этого.
5. Читатель должен познакомиться с книгой в кино.
6. Читатель должен подавать надежду стать автором.
7. Читатель должен иметь воображение.
8. Читатель должен иметь память.
9. У читателя должен быть словарь.
10. У читателя должно быть художественное чувство.

Студенты сильно напирала на эмоциональное отождествление, действие и социально-экономическую или историческую точку зрения. Конечно, как вы угадали, хороший читатель тот, кто имеет воображение, память, словарь и некоторое художественное чувство – чувство, которое я предполагаю развивать в себе и других, как только выпадает случай.

¹ Хороший читатель, большой читатель, активный и творческий читатель – это перечитыватель. – *Прим. автора.*

Между прочим, я использую слово **«читатель»** очень свободно. Довольно любопытно, что книгу нельзя **«читать»**: ее можно только перечитывать¹. И я объясню вам почему. Когда мы читаем книгу впервые, то сам процесс утомительного движения глаз слева направо, строка за строкой, страница

за страницей, эта сложная физическая работа над книгой, сам процесс изучения знаков в пространстве и времени, содержание книги стоят между нами и художественным восприятием. Когда мы любимся живописью, мы не должны двигать глазами определенным образом, даже если, как в книге, картина содержит элементы глубины и развития. Элемент времени фактически не проявляется при первом контакте с картиной. Читая книгу, мы должны иметь время, чтобы ознакомиться с ней. У нас нет физического органа (как глаз в отношении живописи), который воспринимает картину в целом, а затем любуется ее деталями. Но при втором, или третьем, или четвертом прочтении мы, по сути, ведем себя с книгой, как с живописью. Однако не будем смешивать физический глаз, этот чудовищный шедевр эволюции, с мыслью, еще более чудовищным достижением. Книга, неважно какая – труд художественный или научный (разграничительная линия между ними не так ясна, как обычно думали) – книга художественной литературы прежде всего обращается к сознанию. Сознание, мозг, вершина трепещущего позвоночника и есть или должны быть единственным инструментом, применимым к книге.

Теперь, если это так, нам следует обдумать вопрос, как работает сознание, когда мрачному читателю противостоит солнечная книга. Во-первых, мрачное настроение истает, и к лучшему, к худшему ли, читатель входит в настроение игры. Усилие начать книгу, особенно, если ее хвалят люди, которых молодой читатель втайне относит к старомодным или слишком серьезным, это усилие часто бывает трудно сделать; но как только оно сделано, награды разнообразны и обильны. Поскольку художник-мастер, создавая книгу, использовал воображение, то естественно и справедливо, чтобы и потребитель книги использовал свое воображение.

Однако в читательском случае имеется по крайней мере две разновидности воображения. Так что давайте посмотрим, которое из двух будет правильно использовать при чтении книг. Во-первых, имеется относительно низкий род, который поддерживает простые эмоции и имеет определенную личностную природу. (Здесь, в этом первом срезе эмоционального чтения, имеются подразновидности). Ситуация в книге интенсивно чувствуется потому, что она напоминает нам о чем-то, что случилось с нами или с кем-то, кого мы знали или знаем. Или, опять-таки, читатель дорожит книгой, главным образом, потому, что она напоминает ему страну, пейзаж, образ жизни, которые он ностальгически вспоминает как часть своего собственного прошлого. Или, и это худшее, что может сделать читатель, он отождествляет себя с персонажем в книге. Это низшая разновидность, не тот род воображения, которым я бы пожелал пользоваться читателям.

Итак, что же является подлинным инструментом, которым должен пользоваться читатель? Это безличное воображение и художественное наслаждение. Что следовало бы, я думаю, установить, так это гармоническое равновесие между созна-

*...Пошлость
особенно сильна
и зловредна, когда
фальшь не лезет
в глаза и когда те
сущности, которые
подделываются,
законно или
незаконно относятся
к высочайшим
достижениям
искусства, мысли
или чувства. Это
те книги,
о которых так
пошло
рассказывают
в литературных
приложениях
к газетам,
«волнующие,
глубокие
и прекрасные»
романы; это те
«возвышенные
и впечатляющие»
книги, которые
содержат
и выделяют
квинтэссенцию
пошлости.
...Пошлость — это
не только
откровенная
макулатура, но
и мнимо
значительная,
мнимо красивая,
мнимо
глубокомысленная,
мнимо
увлекательная
литература.*

Владимир Набоков

нием читателя и сознанием автора. Мы должны оставаться несколько в стороне и получать удовольствие от этой отстраненности, причем в то же самое время мы остро наслаждаемся — страстно наслаждаемся, наслаждаемся со слезами и трепетом — внутренней тканью данного шедевра. Быть совершенно объективным в этих вопросах, конечно, невозможно. Все, что чего-то стоит, в какой-то степени субъективно. Например, вы, сидящий там, можете просто быть моим сновидением, а я могу быть вашим кошмаром. Но что я имею в виду, это то, что читатель должен знать, когда и где обуздать свое воображение, и это он делает, пытаясь уяснить особый мир авторских мест, предоставленных в его распоряжение. Мы должны видеть предметы и слышать предметы, мы должны отчетливо представить себе комнаты, одежды, манеры изображаемых автором персонажей. Важны и цвет глаз Фанни Прайс в «Мансфилд Парк», и обстановка ее холодной комнатухи.

У всех у нас различные темпераменты, и я могу сказать вам прямо сейчас, что лучший темперамент, который читателю следовало бы иметь или развивать, это сочетание художественного и научного. Художник-энтузиаст единственный, кто склонен быть субъективным в своем отношении к книге, и таким образом, научная холодность суждения будет сдерживать жар интуиции. Если, однако, предполагаемый читатель лишен страсти и терпения — страсти художника и терпения ученого, — он едва ли будет наслаждаться великой литературой.

Литература родилась не в тот день, когда мальчик кричал «волк, волк», выбегая из Неандертальской долины, преследуемый по пятам большим серым волком; литература родилась, когда мальчик притворно кричал «волк, волк», а волка за ним не было. Что бедняжка, из-за того, что лгал, был в конце концов съеден настоящим зверем, совершенная случайность. Но здесь вот что важно. Между волком в небывало высокой траве и волком в небывало есть мерцающий посредник. Этот посредник, эта призма и есть искусство литературы.

Литература — это измышление. Художественная литература есть художественная литература. Назвать рассказ правдивым рассказом — обида обоим, искусству и правде. Каждый великий писатель — это великий обманщик. Но такова же и архибманщица Природа. Природа всегда обманывает. От простого обмана размножения до чрезвычайно изощренной иллюзии защитных окрасок у бабочек и птиц, такова в природе изумительная система чар и уловок. Автор художественной литературы всего лишь идет на поводу у природы.

Возвращаясь на мгновение к нашему шерстистому малому из лесного края, кричащему «волк», мы можем взглянуть на это таким образом: магия искусства была в тени волка, которого он преднамеренно выдумал, его греза о волке; после этого рассказ о его фокусах получился хорошим рассказом. Когда он наконец погиб, история, рассказанная о нем, у окруженного темнотой костра, превратилась в хороший

урок. Но он был маленьким волшебником, он был выдумщиком.

Имеется три точки зрения, с которых писатель может быть рассмотрен: он может быть рассмотрен как рассказчик, как учитель и как чародей. Большой писатель – комбинация этих трех – рассказчика, учителя, чародея, – но чародей в нем преобладает и делает его большим писателем.

К рассказчику мы обращаемся за развлечением, за умственным возбуждением простейшего рода, ради эмоционального соучастия, ради удовольствия постранствовать в какой-то отдаленной области пространства и времени. Несколько иное, однако не обязательно более высокое сознание ищет в писателе учителя. Пропагандист, моралист, проповедник – вот нарастающая последовательность. Мы можем идти к учителю не только за нравственным воспитанием, но также за непосредственным знанием, за простыми фактами. Увы, я знал людей, чьей целью при чтении французских и русских романистов было узнать что-нибудь о жизни в веселом Париже или в грустной России. В конечном счете, и главным образом, великий писатель всегда великий чародей, и здесь мы подходим к действительно волнующему, когда мы пытаемся уловить индивидуальное очарование его гения и изучить стиль, образность, узор его романов и поэм.

Три грани великого писателя – волшебство, рассказ, урок – склонны смешиваться в одно впечатление единого и единственного сияния, так как очарование искусства может присутствовать в самих костях рассказа, в самом костном мозге мысли. Есть шедевры сухой, прозрачной, организованной мысли, которые вызывают у нас художественный трепет совсем такой же силы, как роман типа «Мансфилд Парк» или как любой богатый поток чувствительной образности Диккенса. Мне кажется, что хорошей формулой для определения качества романа является, по большому счету, слияние точности поэзии и интуиции науки. Чтобы погрузиться в это очарование, мудрый читатель читает книгу гения не сердцем своим, не мозгом, но позвоночником. Это там возникает предательский трепет, хотя мы и должны держаться, когда читаем, несколько поодаль, несколько отстраненно. Тогда с удовольствием, которое одновременно и чувственно, и интеллектуально, мы наблюдаем, как художник строит свой карточный замок, и видим, как карточный замок становится замком из прекрасной стали и стекла.

ВАРЛАМ

1907–1982

ШАЛАМОВ

*Книги Бутырской
тюрьмы для
многих из нас
были последними
читанными
в жизни книгами.*

СЛИШКОМ КНИЖНОЕ

Я не помню себя неграмотным и смело думаю, что никогда не был таковым. В три года – время, с какого я вижу себя, – у меня была первая и последняя в жизни библиотека... Она состояла из двух книг: «Ай-ду-ду!» и «Азбуки» Толстого*. Обе эти книжки я помню отлично и зрением, и осязанием: полотняный переплет «Азбуки», форму букв, рисунки... ворона, трубившего в серебряную трубу с черного дуба в другой книжке...

Много позднее была школа, учительница Марья Ивановна – я ничего не запомнил об учительнице, кроме огромной муфты из черного плюша, вытертого до дыр. В школе не было КНИГ – там были только У Ч Е Б Н И К И, – пока в 1918 году в городе не открыли Первой рабочей библиотеки.

Библиотека эта была собрана из книг, реквизированных в помещичьих усадьбах. Разместили ее в бывшей пересыльной тюрьме, распахнутой в октябре семнадцатого года.

Место было выбрано не очень удачно, но все искупалось прямой и простой символикой: «Раньше тюрьма – теперь очаг культуры». Однако решались на посещения такого экстравагантного очага только энтузиасты. Чтобы добраться до книг, надо было войти под темные своды глубоких тюремных ворот и долго шагать по огромному захламленному двору, выбирая дорогу среди множества странных вещей, сваленных в беспорядочные груды. Там был огромный чугунный двуглавый орел, сорванный с фронтона мужской гимназии еще в феврале семнадцатого года: ржавые кладбищенские решетки и обломанный гранитный памятник какой-то «Капитолины Парменовны, вдовы подъясаула Левицкого». Среди всего этого добра была протоптана горбатая узенькая тропочка к верхнему крылечку, сверкающему стругаными деревянными заплатами в углу одного из пересыльных корпусов. Там вечером мерцал свет керосиновой лампы – «семилинейки» и хлопала в ладоши и притоптывала по-извозщичьи, чтобы согреться, библиотекарьша Маруся Петрова – донельзя краснощекая, в овчинной шубе, туго подпоясанной ярким цветным кушаком. Маруся выдавала заиндевшие книги в золотых переплетах.

Свежеструганые толстые некрашенные доски книжных полок Первой городской рабочей библиотеки пахли смолой, живым лесом, и запах этот смешивался с тонким запахом бумажного тления, книжной пыли. Полки прогибались под тяжестью книг в затейливых блестящих узорных переплетах: полное собрание сочинений Александра Дюма; полное собрание сочинений Фенимора Купера! * Что за блаженство!

Школьники, мы уносили домой из бывшей тюрьмы наши

золотые сокровища. Именно там встретился я впервые – и навсегда! – с Ламолем, с д'Артаньяном и Кожаным Чулком!

Совсем недавно я прочел статью какого-то критика о «Зеленых холмах Африки» Хемингуэя *. Критик поражается – как мог Хемингуэй включить в число любимых своих литературных героев Ламоля из «Королевы Марго». Критик пишет «Конконаса», а Хемингуэй пишет о Ламоле, но, по существу, это все равно.

Небрежного критика обидело соседство Дюма с Толстым, Достоевским и Стендалем. Ханжа-критик не хочет почитать величайшего воспитательного значения лучших романов Дюма. Романы эти читались, читаются и будут читаться молодежью всего мира. Это – на всю жизнь – так, как читался у нас «Овод» Войнич. Герои Дюма – смелые, остроумные, героические, **праздничные** люди. Мир героев Дюма – это мир подвига, деяния, энергии.

В том крупном провинциальном городе, о котором идет речь, была еще с первой революции большая Публичная библиотека – гордость города, – с большим читальным залом и абонементом выдачи книг на дом. Но нас, школьников, она отпугивала своей таинственностью, сложностью, официальной деловой лакировкой выше нашего роста оберегала от нас книги. Книги прятались где-то глубоко внутри, их к нам выводили, выносили по каким-то секретным зашифрованным запискам – ключами шифров мы не владели, – обращаться всякий раз за помощью к библиотекарше было слишком мучительно, читать надо было за столом, рядом с незнакомыми, чужими людьми. Неизбежный ровный шум, который всегда стоит в любом библиотечном зале, – шум библиотечной тишины, звуковой конгломерат из откашливаний, перевертывания страниц, стука отодвигаемых и придвигаемых стульев – мешал нам неустраимо. Зрительных помех тоже было больше, чем нужно. Каждое движение соседа – читателя, дежурного библиотекаря мешало, отвлекало. Мешали даже овалы портретов на стенах – Менделеев, Пирогов.

Много лет подряд я учился работе в читальном зале библиотек и так и не научился. Уйти в книгу до конца, до самозабвения – нетрудно. Но так можно делать с романом, с повестью, но не тогда, когда читаемое – предмет изучения, разбора, обсуждения. Вниманию особого рода, которое тут требуется, библиотечная публичная обстановка мешает. Ленинская библиотека в Москве, ее научные залы – не исключение. Лучше всего, надежней всего – читать дома, без людей, один на один с книгой. Чтение в присутствии других всегда было для меня неприятно, даже стыдно – еще хуже, чем писать душевное письмо на почте, – все хочется загордиться и боишься зазеваться – вдруг кто-нибудь прочтет то, что ты написал.

Страшно подумать – будто чтение – это тайный порок – впрочем, в какой семье в нашем городе не считали чтение тайным пороком?

В Москве есть библиотечный зал, где я читал тринадцать лет кряду. Дважды у меня был читательский билет № I.

Я начал здесь читать еще тогда, когда работал на кожевенном заводе, по вечерам. Я готовился в этой библиотеке к поступлению в университет и много позднее был в ней членом «актива» – готовил читателей. Переписка с читателями на огромной доске была весьма оживленной. Я вырос в этой библиотеке. Библиотекарши старились вместе со мной.

Давно уже овладел я премудростями каталога, Кеттеровскими таблицами *, хорошо разбирался в них. Но разрыв между читальным залом и книгохранилищем – библиотечный барьер оставался, и это был разрыв между книгами и мной. Я не мог автоматически выписывать книги, терпеливо их ждать. Ожидание выписанных к н и г , – пусть на это уходили м и н у т ы , – обязательно вносило некий холодок.

Я понимал, конечно, что книги – вода, которой поят по очереди уставших от жары пешеходов, что библиотекарь – это ковш для воды.

Я всегда покупал книги, хоть немножко, хоть одну в месяц, в два месяца. Когда я женился, я подумал, что смогу собрать немного к н и г , – своих, которые можно метить, завертывать страницы, тискать и мять, и гладить по переплету, прислушиваясь к лучшему, чем шелест лесной листвы, – шелесту книжных страниц. Я покупал книги при каждой получке – немного – и только знакомое, любимое, близкое, важное.

Недолго я собирал книги. В Туле, на базаре, в книжном «развале» купил я редкость – тридцать шесть томов Лескова в издании Маркса * – ценнейшее приобретение по тем временам. Через несколько дней в коридоре меня остановил шурин мой – его семья жила с нами в одной квартире. Это был подающий надежды чиновник НКВД, бывавший на заграничной работе, – человек тридцатых годов нынешнего столетия. Люди двадцатых годов отличны от людей тридцатых, а люди тридцатых отличны от людей сороковых годов – от нашего военного племени. Тридцатые годы – время сплошной коллективизации и сплошных лагерей, время доноса, возводимого в доблесть, жестокости и вероломства, как признаков человеческой мудрости.

Мой «родственник» время от времени обыскивал комнаты своего отца, матери и сестры в «профилактических» цехах.

– Это ваши книжки?

– ?

– Лесков-то?

– Да.

– Это ведь, согласитесь, подозрительная литература.

Я захлопнул дверь перед его носом.

Библиотека Бутырской тюрьмы была удивительной библиотекой. По необъяснимым причинам библиотека эта избежала бесконечных проверок и «изъятий», которым систематически подвергались все библиотеки России.

В ней были издания вроде эренбурговского «Рвача» или «Нового мира» с пильняковской «Повестью непогашенной луны» *, журнал «Россия», «Новая Россия» с неоконченным

романом Булгакова «Белая гвардия» * и стихами Валентина Катаева о современности, о которых редактор «Юности» * предпочтет, конечно, не вспоминать. Впрочем, «Белую гвардию» я читал в библиотеке Москвы – когда был в «активе», – она была, как и «Ленин» Маяковского, в то время снята с полок и не выдавалась. Позднее она была уничтожена, сожжена – сожжения книг происходили при Берии регулярно и без всякой публичности.

Труды Икова об Интернационале, «Записки Казановы» *, «Воспоминания Массона», голландского посла при дворе Екатерины Второй * – все такое имелось в библиотеке Бутырской тюрьмы.

Казалось, что начальство решило дать арестантам некое утешение на дальнюю дорогу, на скорбный путь. Казалось, начальство рассуждало – «к чему контроль над чтением людей обреченных?»

Книги – одна на каждого жителя камеры – давались на десять дней. В камере на двадцать пять мест было восемьдесят человек. Прочсть восемьдесят книг в десять дней невозможно.

У тюремного чтения есть свои особенности. Там ничего не запоминается – все внимание, вся сила мозга направлены на допросы, на следственное «дело», на психологическое привыкание к тюрьме, ее быту, ее жителям, ее хозяевам.

Заниматься серьезно в общей камере тюрьмы было невозможно. Впрочем, говорят, что Ефим Рубин написал свои «Очерки по теории стоимости Маркса» в Бутырской тюрьме. Мы знаем, что Чернышевский писал «Что делать?» в каземате Петропавловской крепости. Морозов и Фигнер работали над собой десятками лет – в отдельных камерах. В следственной же тюрьме никто никогда книг не писал, никто никогда не занимался серьезно. Чтение книг могло только отвлечь, притом чуть-чуть, совсем немного – недостаточно для того, чтобы внести покой в смятенную душу арестанта.

Все, читанное в Бутырской тюрьме, – забыто тогда же – при выходе из тюрьмы «на этап».

Возможно, что крайняя «неустойчивость» тюремного чтения известна начальству, и, может быть, потому и не беспокоилось оно о «криминале» книжных полок тюремной библиотеки. Ведь существуют же какие-то «научные кабинеты» по изучению психологии заключенного, и, если таких работ не ведется в лагерях, то в столичной следственной тюрьме они должны бы вестись. Возможно, впрочем, что интерес власти к психологии арестанта ограничивается уголовным миром.

Книги Бутырской тюрьмы для многих из нас были последними читанными в жизни книгами.

Был прииск, «золотой» забой, четыре страшных года, когда люди убеждались ежедневно, ежечасно, как непрочно держится на человеке шелуха цивилизации. Нам не хотелось думать о завтрашнем дне и не приходилось «убивать время». Наоборот, время, как в великолепном английском четверостишии, переведенном Маршаком *, расправлялось со всеми

нами, всех убивало нас. Мы забыли о книгах. Книге не было места в нашем мышлении, в нашем двадцатисловном лексиконе: «подъем», «работа», «обед», «кайло», «лопата», «конвой», «нарядчик», «смотритель» и т. д. Слово «книга» казалось нам незнакомым, может быть, не бывшим, а слово «газета» содержало что-то бесконечно важное, но недоступное для нас. Всякие радиоприемники, конечно, были запрещены в наших бараках, так же, как книги, газеты. Однажды я нашел кусок газеты, обрезок газеты, запачканный мылом, близ палатки парикмахера. Я бережно вытер мыло и прочел шепотом странные слова:

«Леон Блюм составил кабинет», — писал корреспондент ТАССа. На обороте этого газетного обрывка было сообщение о каком-то очередном «процессе».

Радиоприемники, а также газеты и книги были у вольнонаемных — «на поселке». Рисковать рассказать что-либо нам — хотя бы о Леоне Блюме и составленном им кабинете — никто, конечно, не решался. За такие рассказы не отделаться служебным выговором или лишением партбилета. Тут дадут, обязательно дадут «срок». Конечно, выдадут этот срок не «весом», не «сухим пайком» в виде семи граммов свинца, но «срок» дадут наверняка. А «срок», — отбываемый в забое на севере, — все вольнонаемные знали это очень хорошо — это смерть в девяноста случаях из ста. Идти на такой риск из-за рассказа о тысячной речи Вышинского на Генеральной Ассамблее ООН или о беседе Молотова с Гитлером — не было, конечно, никакого смысла. Это понимали и мы — остатками нашего иссушенного, обессиленного мозга.

Героическим выглядит неожиданный поступок одного невысокого хозяйственного начальника, у которого я работал по ночам после трудового дня на морозе — за хлеб, за суп переписывал негнушимися пальцами какие-то ведомости, списки, карточки «категорий питания». Применение слова «категория» в групповом питании лишь повторяло язык газет, язык «больших» людей.

Однажды ночью хозяйственный начальник этот, бывший заключенный, вошел в избушку — контору МХЧ, где я работал ночью. Он открыл дверцу тумбочки и показал втиснутую туда пачку газет, полную «подшивку» рывковского процесса.

— Сегодня ночью поменьше работай и побольше читай. — И вышел в ночь.

Я прочел весь этот «процесс» тогда и до сих пор поражаюсь его смелости, благородству его поступка. Вскоре я перестал работать в МХЧ ночами, уехал и никогда больше не встречал этого человека, этого хозяйственника, — Владимира Михайловича Смирнова.

Первую книгу я встретил на пятом году после Бутырок. Я хорошо помню эту встречу. Я был освобожден от работы в этот день по болезни — редчайшая удача.

В приземистом арестантском бараке были голые, закопченные нары в два этажа из бревен, разрубленных клиньями в длину. И верхние, и нижние нары при уборке прометались метлой, связанной из тонких прутьев, вроде русского «голика». Нары были пусты, на них не было ни одной тряпки, ни

*Книга должна
быть дорога. Книга
не кабак, не водка
и не гулящая
девушка на улице.
Книга беседует.
Книга наставляет.*

*Книга
рассказывает.
Книга должна
быть дорога.
Она не должна
быть навязчива,
она должна быть
целомудренна.
Она ни за кем не
бежит, никому не
предлагает себя.*

*Она лежит
и даже «не
ожидает себе
покутателя»,
а просто лежит.
Книгу нужно
уметь находить; ее
надо отыскивать;
и, найдя — беречь,
хранить.*

*Книг не надо
«давать читать».
Книга, которую
«давали
читать», — разорванная.*

*Она нечто
потеряла от духа
своего, от
невинности
и чистоты своей.
«Читальни
и «публичные
библиотеки»*

*(кроме
императорских, на
всю империю,
книгохранниц)*

одной вещи — вся одежда надевалась рабочими на себя перед работой. Гарантия от краж, да и теплее. Хлеба, конечно, никто оставить дома не мог.

По традиции освобожденные от работы по болезни помогали дневальному в уборке барака. Повышенная температура не была препятствием для такой работы. Отдых по болезни превращался в проклятие — арестант отдыхал только тогда, когда ложился в больницу, а туда попадали только будущие мертвецы.

Голый пустой черный барак с земляным утрамбованным полом, с железной бочкой-печкой с неугасимым огнем, темный барак без окон, освещенный только светом, падающим, входящим в раскрытую настежь дверь...

Я вывел верхние нары и опустился по зарубке-ступеньке на нижние. На углу нижних нар лежало нечто необычное, неестественное, не подходящее для барака, некое «инородное тело».

Это была толстая книга. Я не бросился, нет. Нет, я кончил мести нары, принес ведро воды, где стучали льдинки, по ночам ближайший ручей уже затягивало льдом, сел рядом с книгой и неуверенно, неумело взял ее в руки.

Это было «Падение Парижа» Эренбурга. Я раскрыл книгу, отгибая обеими руками страницу, взгляделся и сразу понял, что я потерял свою прежнюю способность чтения. Я читал всегда очень быстро — пятнадцать — семнадцать строк книжной страницы одновременно охватывались глазами и попадали в сознание, в память. Сейчас я глядел на строки — и ничего не понимал. Было еще светло, я стал шептать, выговаривать слово за словом, но никакого удовольствия от такого чтения не получил. Книга перестала быть моим другом. Я отвык от книги, и книга отвыкла от меня. Я был встревожен и усилием воли заставил себя читать и читать. Болела, шумела голова, но мне удалось принудить себя к чтению. Я стал разбираться в сюжете, в отношениях героев между собой. Поступки были непонятны. Какое-то пустое убийство, вызывающее столько волнений!

Через несколько месяцев я увидел в руках блатарей томик Гюго «Собор Парижской Богоматери». Из него кроили игральные карты — бумага была плотная, блестяще-белая — сдвигать, склеивать листы было не нужно.

Я спокойно отнесся к этому кощунству и даже, рассматривая край одной из карт, успел прочесть несколько строк о Клоде Фролло, который летел в пропасть, — на каменные плиты площади. Но кто такой был Клод Фролло, — я так и не мог вспомнить.

Снова был ряд лет, когда я даже издали не видел книги. Я уже был ветераном Дальнего Севера и не думал, что когда-нибудь стану читать. Голодным, больным зверем я был, когда ложился в больницу для людей на поселке «Белчья».

Главным врачом была молодая женщина. Покровительница моя велела не спешить с перепиской и принесла мне книгу Генриха Манна «Юность короля Генриха Четвертого». «Юность короля Генриха» я прочел внимательно, несколько раз, и читательское чувство увлеченности книгой, без-

*и суть «публичные
места»,
развращающие
города, как и дома
тефтимости.*

Василий Розанов

оглядного перехода в авторский мир, – вернулось ко мне. Вот почему мне важно запомнить эту книгу. Книга могла вернуться ко мне раньше, чем женщина, книга была сильнее женщины.

Сжалившийся надо мной фельдшер – заключенный Борис Лесняк приносил мне хлеб, селедку, табак и обещал сделать в тысячу раз больше.

Я был вымыт, одет в чистое, не вшивое белье, когда получил работу, – переписку каких-то историй болезни. Каждое утро на меня надевали чистый крепкий халат, шапку-ушанку, обували в огромные валенки и приводили в дом, где жил главный врач, – один в целом доме. Там было тепло, много еды – жирные остывшие борщи, холодные котлеты, молоко, белый хлеб. Я доедал все остатки с барского стола. Всего съесть было невозможно, и я набивал кусками хлеба карманы больничного халата, узкие, как нахло, карманы стеганых ватных брюк и уносил куски «домой», в больничную палату, где поедал все это ночью, – лишь малую часть отдавая своим соседям по палате, – я был бесконечно голоден. Это было чертовское везение. Переписке не было конца, и я скоро понял, что работа моя лишь предлог помочь мне, оживить меня. Но мне было не до тонкостей – самое главное было воскреснуть из мертвых.

Больничное блаженство скоро кончилось. Новые мучения ждали меня на приисках, вечно одинаковых в своей жестокости. И снова проходили годы, когда вблизи меня не было никаких книг.

Пришла и кончилась война, а книги все не появлялись. Война была выиграна, и именно поэтому «бдительность» достигла довоенного уровня. Но у меня появились надежды на жизнь – я работал уже не в забое, а фельдшером в большой больнице. Вслед за сытостью, за укреплением физической силы моей явилось вновь желание обладания книгой.

Фельдшера получали жалование около пятнадцати рублей в месяц – из общей суммы заработка их ставки вычитались «коммунальные услуги» в виде конвоя, надзирателей, колючей проволоки, немецких овчарок. Остаток выдавался заключенному на руки.

Скопив шестьдесят рублей и приложив к этим деньгам две пайки хлеба, я купил у бывшего актера Мейерхольдовского театра Португалова томик Хемингуэя с «Пятой колонной»*, ту самую книжку, которую в рассказе «Посвящается Хемингуэю» украл во время войны Виктор Некрасов.

Книга эта вновь вернула меня в мир читателей.

Через два года пришла новая удача. На «вольнонаемном поселке» была библиотека, тысячи две томов. Заведовал этой библиотекой – бесплатно, в порядке не то комсомольской, не то профсоюзной нагрузки – мой прямой начальник – заведующий приемным покоем, – я работал фельдшером этого покоя. Младший лейтенант мед службы Корженевский был хороший парень, но лентяй и трус, а работа в приемном покое огромной больницы для заключенных на тысячу коек – была горячей и опасной из-за постоянных столкновений с блатарями, которые хотели подчинить себе больницу

*Книга живет
независимо от ее
содержания;
она — самостоятельная
ценность. Если бы
в основе любви
к книге лежал
только «интерес
к чтению», — что
приходилось бы
делать с книгой,
дважды и трижды
прочитанной?
Раздирать ее на
цигарки и вешать
на гвоздик
в уборной?
Настоящая
любовь — чувство
постоянное,
которое не тухнет
от трех поцелуев;
в
нем — привязанность,
благодарность,
желание
постоянного
общения.
А
страсть — жажда
непрерывного
и исключительного
обладания,
потребность иметь
только для себя.
Чувство, конечно,
эгоистическое, но
целное высокой
напряженности.
Тепленьких
и благогазменных
чувств много (и
к людям, и
к предметам), но
тут уж вопрос*

и ее работников. Конечно, блатные бы не решились на убийство Корженевского в качестве одного из аргументов спора. Жизнь вольнонаемного работника лагерей, притом «договорника», а не бывшего заключенного — одно, а жизнь арестанта-раба — вовсе другое. Если бы блатные убили меня — никто из высшего начальства пальцем бы не двинул ни для мщения, ни для осуждения — и я это знал превосходно. Но блатарей я не боялся, имел с ними кое-какие счета за убийства 1938 года. Я, фельдшер приемного покоя из заключенных, взял на себя всю работу и всю ответственность по приему больных. Помощников у меня не было, но я справлялся — сном я дорожил мало.

Моему официальному начальнику лейтенанту Корженевскому оставалось только получать свои три тысячи рублей в месяц и не мешаться в мои дела. Корженевский был парень хороший, все это понимал и придумал, как меня отблагодарить. Я пользовался свободным бесконвойным хождением по поселку — это было незаконно, не положено «по статье», но без этого в приемном покое нельзя было бы работать. Я мог бывать в поселке «кратковременно и по делу».

Корженевский вручал мне ключ от библиотеки и лучшего подарка сделать мне не мог. Я набирал десятки книг и совсем перестал спать. Я читал, читал, читал. В библиотеке этой было много дряни — тридцатые годы наложили свою печать на литературу тех времен. В новых изданиях было мало хорошего. Но в библиотеке было много книг изданий двадцатых годов — «Академии» и «ЗИФ». Были книги и дореволюционных лет. Именно тогда впервые в жизни прочел я Писарева — не Писарева — литературного критика, а Писарева — великого популяризатора знаний * — на это ведь тоже нужен талант.

Я читал по ночам неутомимо, при перемежающемся свете электричества местного производства — глаза мои были всегда воспаленными.

Способность к скоростному чтению вернулась ко мне. Этой библиотеке и Корженевскому я обязан хоть частичной заделкой тех огромных многолетних провалов в чтении, в знании, в работе мозга, провалов, которые и составляют истинную цель всякого лагерного срока, всякой тюремной политики.

Уехал Корженевский — другие врачи продолжали мне приносить книги. Это не осталось секретом для лагерных надзирателей. Их служебное рвение не позволило смотреть сквозь пальцы на такие явные нарушения лагерного режима. Начальником больницы был в это время старик Люцарев, подполковник медицинской службы, бывший начальник Баумановской больницы в Москве. Он приехал на север за пенсией, чтоб оклад при расчете пенсии был достаточно высоким.

Мужик он был неглупый и быстро разглядел, что окружающие его вольнонаемные много хуже по своим человеческим качествам, чем арестанты.

На первый утренний прием к нему в кабинет явился боль-

*вкус: в лобой
области лобого
страстного
и искреннего
сумасброда
я предпочту
аккуратному
чиновнику
и двуногой таблице
умножения.*

Михаил Осоргин

ничный надзиратель – один из трех дежурных надзирателей – Мелешко.

– Докладаю вам, товарищ начальник, – что фельдшер приемного покоя читает книги, – развязно доложил надзиратель.

– Ну, и что?

Неопытный Люцарев попытался уловить криминал.

– Врачи вольнонаемные те книги носят, а фельдшер заключенный читает...

– Ну, и что?

– Врачи вольнонаемные носят.

– Вон! – загремел Люцарев, и Мелешко выскочил из кабинета. На дежурство он не возвратился. Так, совершенно случайно, больница избавилась от самого отвратительного надзирателя.

Маяковский считал библиотекарей воинствующими агентами бескультурья и неграмотности. По Маяковскому, библиотекари – люди, которые ничего не читают, не любят книг, не любят стихов.

В этих простеньких парадоксах есть кое-что истинное. Подобно тому, как «активисты», неспособные на партийную или хозяйственную работу, становились профсоюзными функционерами, как наименее талантливая молодежь заполняла педагогические институты, в библиотекари шли действительно люди ниже среднего культурного уровня. Библиотечный институт не поправлял дела, да в северных библиотеках и не найдешь работников с высшим специальным образованием. Тамошние библиотечарши – жены лагерных начальников – тупицы на чудовищных окладах. Такая, в высшей степени любезная дама ждала меня в библиотеке Дорожного управления в поселке Адыгалах. У нас любят слова значительные. Так, больница с врачихой-южанкой называлась «Центральная районная больница». Таковы были официальные: штамп, печать и вывеска учреждения. Библиотека Дорожного Управления тоже называлась «Центральная районная библиотека».

В это время я кончил срок заключения и ехал на фельдшерскую работу на отдаленный дорожный участок – попробовать свои силы в новой для меня специальности.

Заплывшая жиром библиотечная дама, прищутив подведенные глаза, пригласила меня сделать доклад о каком-нибудь романе, например, о «Белой березе» Бубеннова. Мое замечание, что Бубеннов – не писатель, не смутило даму. Тогда я вынужден был обратить ее светлейшее внимание на собственную общественную неполноценность – «бывший заключенный да еще с поражением в правах».

Тон разговора изменился мгновенно. Никаких просьб о романе Бубеннова больше не было. И даже разрешение на занятия в углу зала на маленьком библиотечном столике, заваленном газетами, было взято обратно.

Я поехал на участок в глушь за триста километров от Адыгалаха. Там ждала меня «передвижка» Центральной

районной библиотеки, организованная жирной дамой, двадцать книг на три месяца для восьмидесяти шести жителей поселка. Девятнадцать из двадцати книг не поддавались чтению – это были романы Аркадия Первенцева и кого-то еще. Только одна книга, на тонкой газетной бумаге, с оборванной обложкой оказалась книгой. Это была «Бегущая по волнам» – лучшая книга Грина. Я знаю ее хорошо, люблю за трогательную поэтичность, за важность для людей всего сказанного на ее страницах, за светлый образ Фрэзи Грант – творческого начала жизни.

Я захватил «Бегущую» на самолет, когда прощался с Кольмой. «Бегущая» была моим единственным талисманом в пути за тринадцать тысяч километров.

«Бегущая» была со мной и тогда, когда, скитаясь в поисках работы по Калининской области, я нашел работу после месяца, проведенного в вагонах пригородных, местных и дальних поездов, грохота электровозов, паровиков и дизелей – остановиться мне не давали мои колымские документы. Шел пятьдесят третий год – все в Москве еще дышало тем, что было до пятьдесят третьего года, – страхом.

Место, которое мне «вышло», было место агента по техническому снабжению на небольших торфоразработках. Четыреста пятьдесят рублей в месяц жалованья, сто рублей налоги и квартирная плата за койку в общежитии, обязательный «займ»... Но у меня был огромный опыт в экономном расходовании денег – на такой зарплате я проголодал более двух лет.

В этом крошечном поселке на торфодобыче годами не было в продаже масла, сахару, колбасы, разве что на «праздники», дважды в год; за всем этим каждое воскресенье ездили в Москву – вместе с жителями города Калинин – они были в таком же положении.

Но зато в поселке встретил я, к своей радости, замечательную, богатейшую библиотеку. Библиотека была загадкой. Культурный уровень библиотечарши – а она работала тут более десяти лет, не давал права думать, что книги собраны ее трудами. Она была только сторожем этих книжных сокровищ. Библиотека была подобрана, составлена чьей-то умелой и уверенной рукой из книг, купленных в букинистических магазинах столичного города. Здесь были все классики русской и мировой литературы, богатейший мемуарный отдел. Жихарев, Кони, Фигнер, Кропоткин – вот, кто давал тон в мемуарном отделе.

Ибсен, Гамсун, Андреев, Блок, Ростан, Метерлинк, весь Достоевский с «Бесами» и «Дневником писателя» теснились на полках. Даже прижизненное четырехтомное издание Державина * стояло все.

Не было ничего лишнего, ничего случайного, ничего, не имевшего права стоять на книжных полках.

Вскоре я разгадал загадку. Главным инженером этого торфопредприятия был целых шесть лет ссыльный Караев. По его настоянию деньги, ассигнованные на книги, были деньгами, а не «средствами» и тратились в Москве, в книжных магазинах столицы. Никаких «перечислений», ника-

*Читая некоторые
книги, я как на
оселке правлю свой
язык. На иных
книгах я правлю
свою гражданскую
совесть.*

Владимир Солоухин

*Людам,
прошедшим
революции, войны
и
концентрационные
лагеря, нет дела до
романа.
Авторская воля,
направленная на
описание
придуманной
жизни,
искусственные
коллизии
и конфликты
(малый личный
опыт писателя,
который
в искусстве нельзя
скрыть)
раздражают
читателя, и он
откладывает
в сторону пухлый
роман.
Потребность
в искусстве
писателя
сохранилась, но
доверие
к беллетристике
подорвано. (...)
Читатель ищет,
как и искал
раньше, ответа на
«вечные» вопросы,
но он потерял
надежду найти на
них ответ
в беллетристике.*

кого принудительного ассортимента. Дорогу настоящей книге! Караев сам ездил с библиотекаршей в московские букинистические магазины – езды от торфопредприятия до Москвы пять часов. Караев сам паковал и сам отправлял драгоценные свои находки в тверскую, калининскую глушь.

Только после его отъезда библиотека вернулась на торный путь снабжения через Книготорг и областком профсоюза и стала наполняться печатным хламом.

Караев сумел внушить библиотекарше понимание ценности тех книг, которые были им приобретены. Это сказывалось в той оригинальной системе абонирования, которая применялась в этой библиотеке. Книги были поделены на три части – часть наиболее дорогая по цене, что не всегда совпадало с духовной ценностью, была заперта на ключ в особый шкаф и выдавалась только «особо заслуженным» читателям. Для этого нужно было добросовестно возвращать книги, интересоваться ими – «привилегированности» мог добиться любой. Вторая, наибольшая часть – все сокровища Караева – стояла на полках, и читателям второй группы разрешалось самостоятельно рыться в книгах, что на этих полках стояли. Наконец, третья группа читателей читала то, что лежало на столе около библиотекаря.

Не всякому можно было пользоваться книгами свободно. Но мне было можно – по тем же самым причинам, по которым в Адыгалахе было нельзя участвовать в читательской конференции.

Калининская область, «Большая земля» – не Колыма. С тридцать восьмого по пятьдесят третий год в России не осталось ни одной семьи, не затронутой арестами. Буквально у всех жителей торфяного поселка были родственники или близкие знакомые в лагерях и тюрьмах. «Преступность» этих родственников не была секретом для жителей поселка.

Я нашел в поселке самый сердечный, самый теплый, самый дружеский прием – такой, какого я не встречал ни на Колыме, ни в Москве.

Великолепная караевская библиотека – там не было ни единой книги, которой не стоило бы прочесть, – воскресила меня, вооружила меня – сколько могла. Бывая в любимой этой библиотеке чуть не каждый день, я часто был свидетелем одной и той же сцены. Большая часть читателей толкалась у барьера – и здесь был барьер! – у стола, за которым работала библиотекарша. К полкам их не пускали. По правую и по левую руку от нее были сложены стопки книг, изрядно изношенных, по преимуществу изданий последних лет. Это были «вторые экземпляры» или малоценные в денежном смысле книги. Библиотекарша наугад отобрала сотни две книг и пустила их в ускоренный оборот.

Рекомендации ее касались всегда только этой «ходовой» груды ничтожной духовной ценности по сравнению с остальным книжным фондом.

Приходилось мне и позже, и раньше видеть подобную «упрощенную» организацию библиотечного дела. Так работают почти все работники маленьких библиотечных «точек».

Когда несколько лет назад один из московских журналов

*Читатель не хочет
читать пустяков.
Он требует
решения жизненно
важных вопросов,
ищет ответов
о смысле жизни,
и связях искусства
и жизни.
Но задает этот
вопрос не
писателям-беллетристам,
не Короленко
и Толстому, как
это было в XIX
веке, а ищет
ответа
в мемуарной
литературе.*

Варлам Шаламов

хотел проверить популярность писателей по данным библиотек – вопреки официальной критике, – соображение о возможности организации дела, подобной рассказанной, сняло попытку журнала.

Библиотечная статистика – это не только вопрос культурности библиотекаря, но и его совести, его трудолюбия, его книголюбия.

В статистике моей библиотекарши с торфопредприятия самым питательным, самым популярным писателем был забытый мной автор документальной повести «Генерал Доватор». У книги был крепкий переплет, и библиотекарша энергично совала его каждому посетителю. Будучи лицом, «материально ответственным», библиотекарша предпочитала книги в надежных переплетах.

Цвейг называет книги «пестрым и опасным миром». В меткости определения Цвейгу нельзя отказать.

Но вместе с тем книги – это тот мир, который не изменяет нам. Возраст наш диктует нам наши вкусы и ограничивает, локализует восприятие. В разные годы жизни разное мы ищем и разное находим в одном и том же романе – я отчетливо знаю, чего я искал в мопассановском «Монт-Ориоле» в десять, в пятнадцать, в двадцать, в сорок, в пятьдесят лет.

Мы становимся взрослыми, признавая несравненное величие Пушкина. Подлинное небольшое место Золя и Бальзака определяется нами только в зрелые годы. Мы ошибаемся в книгах. Мы читаем тысячи печатных страниц, на которые не нужно было тратить время.

Книги – люди. Они могут нас разочаровать, увлечь. В жизни каждого грамотного человека есть книга, сыгравшая большое значение в его судьбе. Зачастую это вовсе не роман гения, это – рядовая книга скромного автора. Для двух поколений русских людей таковой книгой был «Овод» Войнич. Для меня такой книгой-судьбой был прочтенный мной в 1918 году роман В. Ропшина «То, чего не было»*. И сейчас я помню наизусть, сам не знаю почему, многие, очень многие места из этой книги. Книги – это наше лучшее в жизни, наше бессмертие.

СЕРГЕЙ

1913

ЗАЛЫГИН

*...Пока по
«прямой связи»
читаются
тексты Чехова,
до тех пор войны
не будет!*

ЧЕХОВ В НАШИ ДНИ

Удивительное дело: чем сложнее становится наша жизнь, чем больше возникает в ней нечеловечески трудных проблем – экономических, экологических, международных и самых повседневных, таких, как пустые прилавки в магазинах, как злобные очереди к этим прилавкам и к ящикам с водкой, как бездарные, но до беспамятства упорные бюрократы, укоренившиеся повсюду, начиная от швейных и сапожных ателье и кончая высокими министерствами, – чем больше всего этого, тем мы хуже, тем бесчувственнее относимся друг к другу.

Казалось бы, наоборот: если уж нам так трудно – мы должны быть дружнее, но нет, мы просто враги какие-то, ничего, кроме вражества, между нами нет, как не бывало.

А ведь это же не так, ведь мы все вместе создали великую культуру и в недавнюю войну тоже все вместе отстояли свою жизнь, свое Отечество.

Почему же тогда где-нибудь в очереди никого особенно не удивит и такое: «Ты куда прешь, старик?! Ему подышать пора, а он – прет!»

И если бы не везде так, а то – везде. Даже в любви.

Любим кое-как, через пень-колоду, подчиняясь необходимости любить, но не самой любви. Руководствуемся и не любовью даже, а страхом – страхом, что ее так и не будет. Потом разводимся, подчиняясь опять-таки отнюдь не здравому смыслу, а чувству озлобления, желанию отомстить друг другу любыми средствами, одно из которых – развод.

Ну вот муж и жена, теперь уже бывшие муж и жена Прядкины – такая милая, такая сердечная была еще недавно пара, просто прелесть, просто загляденье! У Ниночки даже собственная теория любви и семейной жизни была, и она с уверенностью говорила:

– Совсем не обязательно быть красивой от природы. И чтобы быть красивой, тоже не обязательно быть красивой – достаточно быть привлекательной – вот что! Быть привлекательной – секрет и девушки, и женщины. Но вот что смешно и странно: если девушки об этом помнят ежедневно и даже ежечасно, то женщины забывают суть дела очень скоро. Отсюда, от этой забывчивости, все семейные беды. Нужно быть привлекательной всегда и везде, и всё, и какого рожна от тебя кому-то еще понадобится? Никому – никакого!

Не бог вещь такая теория, но ведь для любви и не нужна бог вещь такая.

И потому новоиспеченный муж Ниночки, Толя, Анатолий Александрович Прядкин, вытаращив на Ниночку синие-синие глаза, не раздумывая, соглашался с ней:

– Никакого рожна больше не надо! Совершенно никого!

Итак, чем не основание для очень долгой семейной жизни?

Основание! Серьезное! Но, должно быть, не единственное, потому что стоило Ниночке не так уж и много потерять



Рисунок С. Тюнина. в своей привлекательности, как синие-синие Толины глаза уже обратились в другую сторону, куда-то мимо, и Ниночка была этим взбешена, и вот от любви не осталось ничего. Вернее, осталось лишь кое-что – антилюбовь осталась, энтузиазм неприязни остался.

Ну, бывает, ну, расходятся люди, нас этим не удивить, по численности разводов Советский Союз занимает одно из первых, если не первое место в мире, это, должно быть, потому, что у нас быт очень трудный, но такую неприязнь друг к другу, которая возникла между Ниной и Толей Прядкиными, нельзя себе представить. Это что-то немислимое.

Я пробовал было вмешиваться, примирить их, но и от того, и от другого только что не получил по физиономии. И я отступил.

Отступил от таких дел раз и навсегда.

И Прядкины долго, мелочно и зло делили между собой все: детей, квартиру, кухонные предметы, столы и стулья, абажуры и электрические лампочки, не говоря уж о книгах.

Каждая книга стала предметом их нескончаемых споров, упреков и невероятных обвинений, особенно когда дело подходило к дележу собраний сочинений того или иного классика.

Каждое собрание сочинений они делили по-разному, чаще всего так: одному – четные тома, другому – нечетные, но вот Чехова никак не могли поделить, и дело кончилось тем, что они разорвали один из томов пополам.

Ниночка при этом кричала, что собрание Чехова нельзя

делить пополам, потому что один том ее бывший муженек утащил какой-то шлюхе.

– Ну да, всегда так б ы л о , – кричала о н а , – шлюха скажет «принеси!», а это тебе закон, ты и тащишь ей книжку на полусогнутых!

Толя же наливался кровью, закрывал свои синие-синие глаза и отвечал, никого и ничего не видя:

– Сама ты...

Дети во время этих дележей играли на кухне в кубики,



В. Ван Гог. «Библия».
1885.

ели кашу геркулес и читали книжку про крокодила Гену, а еще они слушали все то, что говорят друг другу родители.

– Во папа Толя, во дает так дает! – не без восторга и очень серьезно произносил одиннадцатилетний Сашка своей шестилетней сестренке Тоньке.

– Ничего! – отвечала Т о н ь к а . – Мама Нина сейчас тоже выдаст. А не то – съездит папке по морде. А когда мы разменяемся на квартиры, я буду к тебе в гости ходить. Каждый д е н ь , – еще сказала Тонька.

– Не будешь.

– Почему?

– Не пушу.

– А я спрашиваться не буду. Приду, и все. И все тут. У тебя квартира будет коммунальная – на замок не запирается.

– И в коммунальную не пушу.

– Ты непустишь – папа Толя пустит. Он меня любит.

В тот день, когда родители делили собрание сочинений Чехова, в большой комнате, где стояли полки с книгами, был такой крик, такие там произносились взаимные обвинения, что дети на кухне притихли, испугались. Им казалось, они уже ко всему привыкли, все научились воспринимать как нечто обычное и повседневное и даже в какой-то мере интересное, но тут они притихли, слушая молча, в кубики не играли, кашу не ели, про крокодила Гену не читали.

Они испугались еще больше, когда родители вдруг, в одну какую-то минуту умолкли и наступила долгая-долгая тишина. Страшная тишина.

Тонька тихо заплакала. Сашка предупредил ее:

– Будешь реветь – смажу...

Потом раздались шаги в прихожей и хлопнула дверь – папа Толя куда-то вышел из дома.

Спустила чуть – снова шаги, снова хлопнула дверь – вышла мама Нина, и Тоня сказала братишке:

– Пойдем, посмотрим, а?

В большой комнате были навалены самые разные вещи: шубы, пальто, фарфоровые тарелки, еще не ношенные детские ботинки – все это на диване, а на полу в двух кучах лежали книги, как раз посередине между ними валялись две половинки одной книги, разрезанной вдоль по корешку.

– Вот эт да! – сказал не без восхищения С а ш к а . – Ты посмотри, Тонька, что делается: целую книгу располосовали напополам! Она же крепкая! Как только ухитрились?

– Потому что взрослые! – догадалась Т о н ь к а . – Взрослые всё могут.

– Ну, всё не всё, а могут... – почти согласился с сестренкой Сашка, поднял с полу одну половину книги и повертел ее в руках, рассматривая со всех сторон.

Тонька спросила:

– Что написано? Вот тут? – И ткнула пальчиком в страничку. Это была страница сто восемьдесят восьмая.

– Тут? Тут вот что: «Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль моя была о том, как я теперь покраснею и растеряюсь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу?» – отбарабанил Сашка б о д р о... – Вот что здесь написано.

– А еще?

– Еще так: «Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно: надо поскорее укладывать свой багаж и уходить. До посещения старика мое лакейство имело еще смысл, теперь же оно было смешно. Слезы капали у меня в рас...» – еще бойчее и еще громче прочел Сашка и бросил половину книжки на пол. – Все!

– Как это все? – не согласилась Тонька. – Читай даль-

*Классической книга
становится не
потому, что ее
хвалят критики,
разбирают
профессора
и проходят в школе,
а потому, что
большие массы
читателей из
поколения
в поколение
получают, читая ее,
удовольствие
и духовную пользу.*

Уильям Сомерсет Моэм

ше!.. – И она стала поудобнее устраиваться на диване с ногами – чтобы слушать.

– Дальше нельзя!

– Почему нельзя? Разучился читать, да?

– Не разучился, а дальше нету... Страничка кончилась.

Вырастешь – тогда и дочитаешь следующую страничку.

– Она же не совсем кончилась! – догадалась Тонька. – Она на другой половинке. Вон на той!

Другая половина томика валялась тут же, рядом с правой ногой Сашки, и Сашка поднял ее с пола.

– Угадай: какая половинка папы Толи, а какая – мамы Нины?

– После угадаю. Ты сначала прочитай дальше. «Слезы капали у меня в рас...» Прочитай – куда капали слезы? У меня?

– Не у тебя, а у того человека, который не знал, для чего он теперь живёт. – Все-таки Сашка приладил к рукам и эту половинку книги и на странице сто восемьдесят девятой прочел: – «...крытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить! Я готов был обнять и вместить в свою короткую жизнь все, доступное человеку. Мне хотелось и говорить, и читать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на вахте, и пахать»*.

– Мало ли что ему хотелось... – заметила Тонька. – Мне вот тоже хочется, а я молчу...

– А чего тебе хочется? Такого, что и сказать нельзя? Например?

– Например... – Тонька встрепенулась: – Мне хочется узнать: это какой такой старик пришел к тому человеку, который заплакал в чемодан?

– Какой-нибудь.

– Может, этот старик вообще по домам ходит. И к нам придет. Чтобы я заплакала. В чемодан. В раскрытый?

Но Санька решил по-своему.

– Хватит с тебя. Говорю же: сама дочитаешь! – решил он.

Тонька поканючила, повздыхала, но тут же убедилась, что брат читать больше не будет, и пошла на кухню.

Еще через минуту оба снова были заняты своим делом: играли в кубики, ели кашу геркулес, читали про крокодила Гену, а изредка прислушивались к тишине всех трех комнат квартиры...

А теперь несколько слов о себе – авторе этого рассказа.

Я, Гаврилов Николай Семенович, когда-то был большим приятелем, а может быть, и самым близким другом Анатолия Прядкина.

Я даже был у него шафером на свадьбе и свидетелем в загсе.

Я, признаться, завидовал, тайно завидовал своему другу – так привлекательна была в то время Ниночка. Она, вот именно, не столь уж была и красива, как привлекательна –

весела, мила и смело-остроумна, на какой-то грани с вульгарностью. Эта грань сама по себе многих и многих привлекает, но она же и опасна, ее ни в коем случае нельзя переступать.

Как жаль, как и сейчас все еще жаль, что Ниночка черту переступила сначала раз, потом другой, а потом попросту забыла о ее существовании. Она о многом забыла и в то же время откуда-то, неизвестно откуда, будто бы вспомнила множество самых непривлекательных вещей: грубые слова, вспомнила, глупую ревность, недобрые чувства. Ей казалось, она все это уже и раньше знала, а теперь все это обязательно нужно вспомнить. Обязательно!

Кто виноват?

И вправду, может быть, Толя Прядкин?

Он, вместо того чтобы поначалу хотя бы ничего этого не замечать, как будто только и ждал момента, когда Ниночка перешагнет свою черту, он с вождением этого ждал и этим упивался.

Я, Гаврилов Николай Семенович, по специальности психолог, работаю в области криминалистики – представляете, сколько передо мной проходит ситуаций, подобных той, о которой я только что рассказал?

Это конвейер какой-то, по которому с утра до вечера двигаются факты всяческой подлости и нелепости, и теперь мне кажется, что я давно уже стал мастером-монтажником при этом конвейере – там подкрутить, здесь подклеить, в третьем месте подсветить, и вот уже все эти случаи убийств, насилий, взяток, краж со взломом, преступных связей, а того больше – использования служебного положения сходят с конвейера, становясь версиями.

Именно так, именно такой «версификацией» и занимаюсь я, Гаврилов Николай Семенович. Я не сразу, но привык к своему, прямо скажем, не совсем обычному труду, и он для меня стал обычным, как и всякий другой труд. Такая же повседневность, как амбарные книги для кладовщика, как уроки музыки для учителя музыки, как трахома или катаракта для окулиста. Мой конвейер работает бесперебойно, поставщики не только никогда не срывают графика поставок, они всегда работают с опережением этого графика.

Вот так: у меня с поставщиками, можно сказать, прекрасные отношения, и я не сомневаюсь в том, что они всегда обеспечат меня работой.

Несмотря на все это, развод Толи и Нины Прядкиных произвел на меня ужасное впечатление.

Не знаю почему.

Или потому, что долгие годы мы были с Толей друзьями? Или потому, что когда-то мне нравилась Ниночка? Потому, что «Слезы капали у меня в рас...

...крытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить!»?

Разорванный томик Чехова я видел собственными глазами.

Вот я и стал вдруг ощущать повседневное присутствие

Антон Павлович Чехов рядом со мной. Я был в этом присутствии уверен, и, должно быть, в силу этой уверенности он и являлся ко мне в неожиданных местах, в неожиданное время и в неожиданном для меня виде.

«Ты куда прешь, старик? Ему подыхать пора, а он – прет!» – это я в очереди, сдавая в стирку белье, услышал. Почему-то я подумал: «Уж не тот ли это старик, которого во что бы то ни стало хотела увидеть, хотела что-нибудь узнать о нем Тонечка Прядкина?» – думал я. – В тот самый раз, когда братец Сашка читал ей со страниц сто восемьдесят восьмой и сто восемьдесят девятой разорванного надвое томика – томика собрания сочинений А. П. Чехова? А что? Чеховский старик мог ведь преобразиться, эволюционировать и вот пришел в наши дни. В наши дни все может быть...»

Между тем старик, о котором зашла такого вот рода речь, был действительно очень стар, был худ, высок, плохо одет, он в самом деле «пер», ни на кого не обращая внимания. А этот окрик был ему не в диковинку, он его не раз слышал и не раз не слышал. Что окрик был, что не было – ему все равно, он был очень стар и за свою жизнь наслушался всяческих окриков.

В очереди поднялся шум и гвалт. Сначала гвалт подняли женщины, их тут семь-восемь было, потом и мужчины к ним присоединились – человека три-четыре.

В словесном выражении я все это повторить не могу, не в силах, да это и ни к чему – вы и сами прекрасно знаете, что и как в этих случаях говорится, что произносится, – сами произносили... Старик же ни на кого не обращал никакого внимания, он только сказал:

– Имею право... – И, оттолкнув двух женщин, бросил охапку белья в окошко приемщицы.

И вот тут-то – этого представить себе невозможно! – приоткрылись двери, а из дверей появился Чехов.

Несколько секунд он молчал, потом обратился к нашей очереди.

– Господа! – обратился он. – Я очень сожалею, и все вы тоже, конечно, искренне сожалеете обо всем том, что здесь только что произошло, но что поделаешь – что было, то было, а что же нам теперь остается? Как нам освободиться от жуткого впечатления, которому мы сами же оказались виновной? Как? Господа! Я не вижу другого выхода из создавшегося положения, как только вызвать всех присутствующих здесь мужчин на дуэль. Кто первый пожелает со мной стреляться, господа?

Тут я должен сказать, что Антон Павлович Чехов был в невысоком цилиндре, даже и не знаю, как головной убор такого вида в чеховские времена называли – полуцилиндр, четвертьцилиндр, котелок или еще по-другому, он был в кожаном пальто, и вот из кармана этого пальто он и вынул револьвер, подержал его на ладони левой руки и еще сказал:

– К сожалению, у нас только один револьвер, но, я думаю, господа, мы условимся так: каждый из моих противни-

ков будет стрелять первым, а в случае, если он промахнется, я буду стрелять в него. Мы будем стреляться в дворовом сквере, который расположен против входа в этот подвал. Место, в общем-то, отвратительное – консервные банки, битое стекло, грязные клочки бумаги, но что поделаешь? Конечно, дуэль должна быть обставлена совсем не так, должна происходить в каком-нибудь очень красивом месте, так было принято всегда, во все времена, но опять-таки – что поделаешь? Обстоятельства то и дело действительно бывают сильнее нас, и ради того, чтобы оградить себя от неприличия, нам придется стреляться в совершенно неприличном месте. Так я жду вас, господа, в этом сквере. Кто выйдет ко мне первым?

И Чехов удалился. Он был очень похож на дядю Ваню. Никто из очереди не вышел. Я тоже не вышел.

Читатель скажет, что никогда не видел фотографий Чехова с револьвером в руках.

Мало ли что, а я докажу, что такого рода сцена вполне могла иметь место.

Лет двадцать пять назад в Ялте я подружился с директором дома-музея Чехова, фамилия директора была Брагин. Брагин Сергей Георгиевич. Теперь его уже нет в живых, он умер в раковом корпусе Боткинской больницы, я не раз навещал его там, мы с ним и там говорили о Чехове, но это позже, а тогда, в Ялте, Сергей Георгиевич много раз водил меня по всем комнатам чеховского дома (или – Дома?), причем в такие часы, когда посетителей уже не было, но солнце еще светило во второй этаж, а отчасти и в столовую на первом этаже. Не знаю, чем я был обязан Сергею Георгиевичу, может быть, его заинтересовало мое намерение написать о Чехове психологический очерк, но так или иначе, а мы вдвоем ходили по тихим комнатам, и Сергей Георгиевич, заметно полевевший, пополнившийся и, кажется, немало пострадавший человек, тоже тихо, но с тем непоколебимым убеждением в правоте и необходимости каждого своего слова, которым обладают только коллекционеры и хранители музеев, пояснял мне:

– Гостиная... Обедали у Чеховых ровно в два часа. Мария Павловна как хозяйка всегда сидела вот здесь, на этом стуле. За обедом часто бывали гости. Если в доме гостил Горький, он садился вот сюда, на это место, на этот стул. Левитан – вот сюда. Бунин – сюда. В отношении Льва Толстого, к сожалению, ничего не могу сказать. Ну, а сам Антон Павлович неизменно садился вот сюда. Мария Павловна говорила мне, что никогда, ни разу Антон Павлович не сидел на каком-нибудь другом стуле. Он был немножко педант. Ну да, такой, знаете ли, красивый и не очень приметный педантизм, а все-таки он. Тот педантизм, который – порядок, тот порядок, которого нам нигде и ни в чем не хватает. А теперь сядьте-ка на стул Антона Павловича...

– Наверное, не надо...

– Нет уж, нет уж... Я вас прошу.

И в кабинете Чехова я тоже сажился за его письменный стол, в его кресло, а в спальне ложился на его кровать.

Тут, в спальне, на тумбочке рядом с кроватью лежал револьвер Чехова, и я спросил у Сергея Георгиевича:

– А револьвер-то зачем? Чехову – зачем?

– Чтобы в случае необходимости защищаться. Не для нападения же на кого-нибудь?! Револьвер остался у Антона Павловича со времен его сахалинской поездки. И вот еще – кожаное пальто.

Сергей Георгиевич достал из шкапа пальто и невысокий цилиндр, подержал и то, и другое в руках, а потом вдруг сказал:

– Наденьте все это на себя.

– Ну, что вы, право...

– Я прошу вас... Вот так... Возьмите в правую руку револьвер... Вот так. Теперь вы можете представить себе вооруженного Чехова?

Нет, я этого все еще не мог и сказал Сергею Георгиевичу:

– Не могу...

А тот вполне серьезно рассудил:

– Пальто вам длинновато, вот в чем дело. У вас какой рост? В сантиметрах?

– В сантиметрах – сто шестьдесят восемь.

– Вот видите, а Чехов имел сто восемьдесят шесть. Разница – восемнадцать сантиметров. Почти двадцать. И это очень заметно.

Ну вот, а спустя двадцать пять лет вооруженный Чехов вдруг появился передо мной. И снова, и снова стал появляться всякий раз, как, по его собственному разумению, возникала необходимость с кем-то стреляться.

Она, эта необходимость, возникала повсюду и то и дело. Подумайте – сколько раз на день он мог быть и рядом с вами тоже?

Подумайте об этом, вспомните и Василия Шукшина: «Что с нами происходит?»

Уже совсем недавно по делам опять-таки криминалистического характера мне пришлось быть в одном из наших министерств, в здании с зашарпанными многими поколениями служащих коридорами. По сторонам коридоров – комнаты, комнаты, в комнатах – столы, столы, за столами – служащие, служащие и бумаги, бумаги...

Бумаги посвящены делу как улучшения, так и истязания нашей земли, надругательству над нею. Что-то там, конечно, брезжило, среди этого бумажного океана – какие-то подлинные достижения, но вот вопрос: откуда мы взяли, что некая величина или факт со знаком плюс может компенсировать другую некую величину со знаком минус? Это в математике так, но жизнь не только математика, у нее собственные

законы и правила, для нее такое сложение и такое тождество нелепы. Поэтому один негодяй не перестает существовать только потому, что рядом с ним находятся два честных человека, и одного больного не вылечат и не спасут своим присутствием трое других, пышущих здоровьем. И погибшая земля никогда не будет спасена другими, даже самыми плодородными землями. Вот и меня интересовали «списанные» в никуда и еще недавно плодороднейшие миллионы гектаров земли, интересовал иск, предъявленный министерству одним из дальневосточных исполкомов на сумму три с половиной миллиарда рублей, интересовали люди, в какой-то момент вдруг исчезнувшие из министерства и тоже вдруг ставшие его сотрудниками и высоконаучными наставниками, тоже интересовали...

Так или иначе, а я пытался разобраться в этой системе многих и многих тайных и явных подсистем, но вскоре понял свое полное бессилие и почувствовал ту боль во всем организме, которая охватывает человека всякий раз, когда он держит истину в собственных руках, и все понимают, что это истина, но никто не может опровергнуть ложь, и тут-то именно ложь и торжествует, она и берет верх. Ах, как она умеет торжествовать, ложь!

В поисках хоть какой-то поддержки в этом прозатратном мире, неизменно и прочно покоящемся на одном-единственном ките – «истратил – значит, выполнил» (истратил деньги, истратил землю, истратил воду, истратил доверие общества и доверчивость людей, истратил собственную совесть и, значит, выполнил план), я оглянулся на дверь.

И что же?

Дверь приоткрылась, и в комнату – один стол, один человек среднего возраста, наловчившийся виртуозно крутить-вертеть своими престарелыми начальниками, – и в эту комнату вошел... вошла растерянная улыбка человека в старомодном кожаном пальто и с револьвером в руках.

Она вошла одна-одинешенька, растерянная, смущенная и как бы сама по себе в чем-то бесконечно и безнадежно виноватая. Может быть, в своем бессилии? Как в том тексте: «Вспомнил я своих товарищей и знакомых, и первая мысль моя была о том, как я теперь покраснею и растеряюсь, когда встречу кого-нибудь из них. Кто же я теперь такой? О чем мне думать и что делать? Куда идти? Для чего я живу?»

Вот такую улыбку я и увидел в тот раз в министерстве. Ее же я видел всякий раз, когда позже входил и выходил из огромного здания этого министерства. А я входил туда и выходил оттуда не один раз, и все – без малейшей пользы для дела, для земли и вод, для людей и для истины. Вот так...

Иск на три с половиной миллиарда рублей – он по поводу чего мог быть предъявлен? Разумеется, такой ущерб мог быть нанесен только природе – кому же еще другому? Других столь же пострадавших в природе быть не может – только она сама. Ну, а она молчит. И молча погибает. И раз так, я был уверен, что по поводу иска размером в 3,5 млрд. руб. не упадет ни один волосок ни с одной головы ни одного

служащего. Будучи в этом уверен, я все-таки ходил в министерство.

Я ходил туда, наверное, для того, чтобы убедиться: этот иск еще не самый большой, есть иски и побольше, и поопаснее, еще более бесчеловечные, еще более антиприродные. Ну в самом деле, если министерство сумело вывести из строя земли целого народа – каракалпакского народа, обречь его на беды и страдания, но и после этого ни один служащий, ни один инженер, ни один министерский руководитель не пострадал ни на йоту – значит...

Что это значит? Неужели так и надо? Так и надо, а дальше что? Или чернобылям не будет конца до самого Конца?

А буквально на днях я узнал еще об одной роли Антона Павловича Чехова, исполняемой им в наши дни.

Дело в том, что у меня состоялось знакомство с одним высокопоставленным американцем, который неплохо знает русский язык и еще лучше русскую классическую литературу – когда-то это было его специальностью.

*Книги делают
человека лучше,
а это одно из
основных условий
и даже основная,
чуть ли не
единственная цель
искусства.*

Иван Гончаров

Разговорились... Я, конечно, и раньше знал, что между Кремлем и Белым домом существует прямая связь на случай «горячих событий». На тот случай, если мы вздумаем бросить какую-нибудь ядерную игрушку на более чем благородную Америку, а более чем благородная Америка, закусив новгородней индейкой (или гусем), решит первой шарахнуть по «империи зла».

Вот в эти-то последние минуты и секунды мира и должна сработать «прямая связь», чтобы руководители двух государств имели возможность сказать друг другу: «Обождите еще несколько минут и не давайте команды на пульт! Обождите – за несколько минут мы, может быть, еще сумеем поверить друг другу?!»

Само собой разумеется, «прямая связь» включается – и слава богу! – далеко не каждый день, но каждый день – и, может быть, не один раз – должна проверяться ее исправность, а для этого в обе стороны передаются какие-нибудь тексты.

Мой новый знакомый сказал мне, что чаще всего передаются тексты из произведений Чехова. Открывается какой-нибудь том его произведений на какой-нибудь странице и прочитывается раздельно, наверное, даже с актерским выражением тот или иной текст.

Например: «Ничего я не понимал и ясно сознавал только одно: надо поскорее укладывать свой багаж и уходить. До посещения старика мое лакейство имело еще смысл, теперь же оно было смешно. Слезы падали у меня в раскрытый чемодан, было нестерпимо грустно, но как хотелось жить!»

И т. д., и т. д.

– И, значит, – сказал мне мой американский знакомый, – значит, пока по «прямой связи» читаются тексты Чехова, до тех пор войны не будет!

Может быть, он и прав. Наверное, он прав.
Но будет ли мир в человеческих сердцах? Будет ли мир
между людьми и природой? Научимся ли мы удовлетворять
ее иски к нам?

Вот что тревожит и заставляет, заставляет тосковать
меня, автора этого рассказа, психолога Гаврилова Николая
Семеновича, пятидесяти пяти лет, отца троих детей (двое –
от первого брака, один – одна – от второго).

Обращаюсь к Чехову, но не знаю – разве это обращение
правомерно?

Почему, право, мы, такие могущественные, такие цивилизованные жители двадцатого века, обращаемся за помощью к беспощадному герою Чехова, который плакал в
«раскрытый»
чемодан?

1988

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

СОЖЖЕНИЕ КНИГ

После приказа властей о публичном сожжении
Книг вредного содержания,
Когда повсеместно понукали волов, тащивших
Телеги с книгами на костер,
Один гонимый автор, один из самых лучших,
Штудируя список сожженных, внезапно
Ужаснулся, обнаружив, что его книги
Забыты. Он поспешил к письменному столу,
Окрыленный гневом, и написал письмо власть имущим.
«Сожгите меня! – писало его крылатое перо. –
Сожгите меня!
Не пропускайте меня! Не делайте этого! Разве я
Не писал в своих книгах только правду? А вы
Обращаетесь со мной, как со лжецом.
Я приказываю вам:
Сожгите меня!»

(Перевод Б. Слуцкого)

ВИКТОР

1924

АСТАФЬЕВ

*Вечна загадка
поэта,
и вечно наше
желание
отгадать ее...*

ЧУВСТВО ЗВУКА И СЛОВА

Мы привыкли к расхожим понятиям, они становятся для нас не только обыденны, но и удобны. Вот привыкли говорить: «Сначала было слово». Однако слово-то происходит из звуков, стало быть, сперва был звук, и звук этот растворен в природе, и никому не подвластно услышать его, перенять у природы и передать людям, кроме поэта и музыканта. А может быть, прежде звука было чувство? Может быть, всем, что есть вокруг нас и в нас, и прежде всего мыслью, движет чувство. Оно-то и есть первородство звука и самого слова и, стало быть, вытекающего из них вечно святого и светлого истока поэзии, который, набирая мощи, полнозвучия, а в наше время широты и шума, вот уже много веков мчится, не иссякая, будоража человеческое сердце, наполняя его восторгом и печалью, подымая бури страстей и улаждая тихой музыкой.

Вечна загадка поэта, и вечно наше желание отгадать ее, пробиться сквозь какую-то невидимую преграду или пелену и постичь то, что за строкой, то есть душу поэта, но когда это произойдет, поэзия утратит смысл и «секрет», стихи станут возможно изготавливать каждому мало-мальски грамотному человеку, как сейчас учащиеся средней школы на станциях юных техников с помощью простых инструментов, из обыкновенных материалов могут выточить и собрать электромузыкальный прибор, радиоприемник и даже ракету и любые вещи, так недавно еще поражавшие воображение и повергавшие нас в изумление своей непонятностью и недоступностью.

Верую, с поэзией этого не произойдет, во всяком разе, не произойдет до тех пор, пока не отформуются человеческая душа, не сделается стандартной, подобно кирпичу, хотя по-полнозвония, и явные, к этому имеются, и есть люди, стремящиеся к тому, чтобы все было одинаково – дома, леса, дороги, одежда и человеческая мысль.

Поэзия всегда восставала против бездушия и стандарта, она всегда стремилась возвысить человека, и в этом ее непреходящее величие и – воспользуюсь бытовым словом – постоянная польза для всех нас, а привораживать человека, околдовывать его словом, точно старинным складным наговороком, – это ее милая игра с уставшим человеком, которая, с букваря начавшись, открыв глаза ребенку на мир, постепенно втягивает его в серьезный разговор, становится строгим и взыскательным собеседником. Как это необходимо в наш суетный век, когда все «секретное» вроде бы рассекречено, когда после «прелестей» общежития человека все чаще и чаще тянет побыть наедине с собой, предаться

созерцанию и осмыслению своей, а значит, и всей нашей жизни.

Женщина плачет в вагонном
окне

149 Или смеется – не видно
в вагоне.

Поезд ушел. И осталось во мне
Это смешение счастья
и горя... *

Писатель должен уметь почувствовать то, что особенно заботит и тревожит людей, нащупать, если так можно выразиться, «болевы́е точки» читателя, которые существуют и требуют выражения, разрешения.

Валентин Распутин

Чем увлекают меня, читателя, эти бесхитростные и совсем «простые» строки? Отчего так защемило мое сердце при звуке их? И сам сделался какой-то незащищенный, открытый сладкой печалью? Почему повторяются и повторяются во мне эти строки, хотя, может быть, я не запомнил их наизусть?

Кабы я знал?! Но кабы я знал, то, стало быть, и написал бы их сам.

Если поэт начинает говорить о вещах вечных – это не всегда от дерзости, чаще от наступившей зрелости, житейской заряженности и душевного груза, а то и перегрузок. И если он часть своей тяжести перекладывает на читателя, это не значит, что у него есть стремление облегчить себя, нагрузить нас своими страданиями, чтоб не страдать самому.

Нет, не для того горит и мучается сердце поэта! Оно всегда бескорыстно, всегда устремлено к свету разума и добра, и в непосильной работе оно часто сгорает или разрывается, отдавая все, что в нем есть, до последней горячей капли крови людям и искусству.

Поэзия всегда стремилась открыть в мире прекрасное, и своими муками доказали поэты, как долог и тяжок путь к красоте и постижению смысла жизни.

Поклонимся же низко за эту благородную работу стихотворцу и пожелаем ему того, что желали странники Востока друг другу: «Торопись обрадовать добрым словом встречного, может быть, в жизни не придется больше повстречаться».

ЮРИЙ

1924

БОНДАРЕВ

*Величайшего
сожаления
достойн тот,
кто не был
в плену серьезной
книги...*

КНИГА

Можно ли без ощущения трагической утраты представить современный мир, лишенный печатного знака?

На мой взгляд, эта утрата была бы более невосполнимой, чем исчезновение из нашей жизни электрического света, ибо потерян был бы важнейший механизм в передаче и научных знаний, и накопленных всеми эпохами чувств, а человеческий разум погрузился бы в пучину темноты и нравственного застоя. Мир стал бы удручающе обеднен, прервались бы нити от одного человека к другому, и, надо полагать, наступило бы время невежества, подозрительности и отчуждения.

В самом деле, что значит в жизни человека книга?

Подобно разговорному языку, книга не только средство общения людей, не только проводник информации, но самое главное – это инструмент проникновения в окружающую действительность, взгляд человека на самого себя как на разумную частицу природы.

Вместе с тем книга – это и констатация вех истории, и одновременно верная память человечества даже в том случае, если в ней рассказано не о мировых катаклизмах, решающих судьбу народов, а о проказах молодых людей эпохи Ренессанса, о похождениях рыцаря Печального Образа Дон Кихота Ламанчского, о судьбе чиновника Башмачкина или о страданиях бедного станционного смотрителя, о смерти Ивана Ильича, о маленькой беспомощной Мисюсь или о несбывшихся удовольствиях господина из Сан-Франциско на живописных берегах Капри.

Что знали бы мы о быте, нравах, умонастроении и характерах людей давно и не так давно ушедших эпох, если бы это прошлое не было сохранено в печатном знаке, способном волшебным образом восстановить биографию человечества во всех ее сложностях, поисках, заблуждениях, открытиях и попытках найти и утвердить смысл бытия.

Будущее рождается не только из непосредственного настоящего, оно рождается и из прошлого, ведь наше современное сознание и наше отношение к настоящему – это результат всего опыта миллионов живших до нас, предельно сжатая и трансформированная сумма их чувств.

Не будь возможности разумом и эмоциями пройти по дальним и ближним дорогам истории, скажем по трагическому пути Спартака, по задымленной равнине Бородинского поля, по пропитанным кровью полям сорок первого года, мы оглядывались бы назад, будто в туман и пустоту, утратив начала, а стало быть, и концы, ибо ничего нет и ничего не может быть без великих точек отсчета.

Книга – это душеприказчик, безупречный хранитель духовных ценностей всех веков и всех народов и это негаснущий источник света, посланный еще из детства человечества к нам, это сигнал и предупреждение, боль и страдание, смех и радость, жизнеутверждение и надежда, это символ превосходства силы духовной над силой материальной, что является высшим достижением сознания.

Книга – это познание развития мысли, философских течений, национально-исторических условий общества, поро-



*Книжная заставка
петровских времен.*

*Книжная лавка времен
Петра I.*



дивших на разных этапах веру в добро, разум, просветительство, революционную борьбу под знаменами свободы, равенства и справедливости социальных отношений.

Многое, неизмеримо многое может объяснить, открыть и подчинить наука, мыслящая категориями понятий, создающая вещи, системы и формулы, но по своей сути она все-таки неспособна исследовать одно – чувства людей, творить образы людей во времени, что делает в силу предназначенной ей судьбы литература.

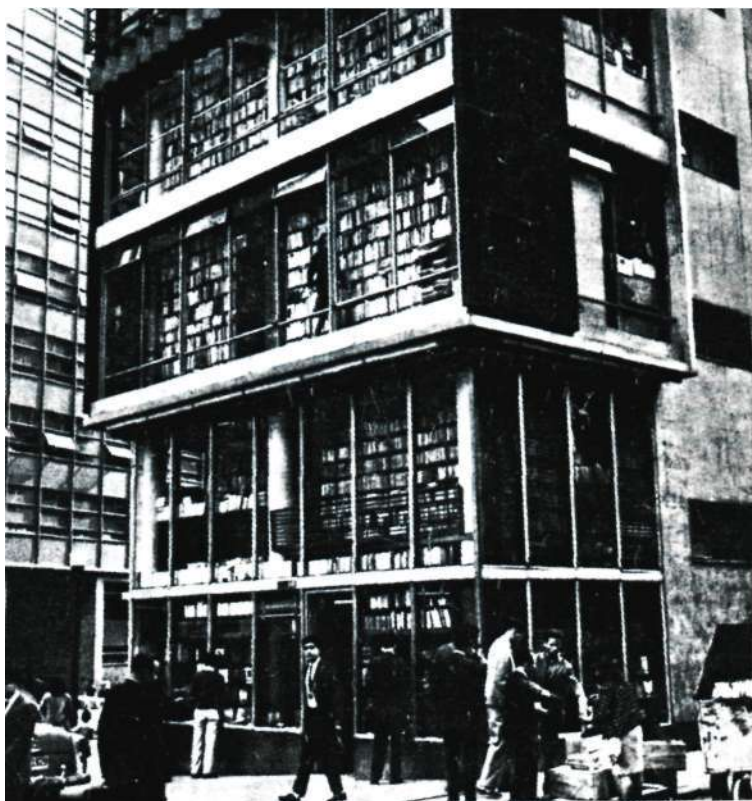
Они близки, наука и искусство, они познают даже близкие сферы – возможности человека в этом мире, – и вместе с тем инструмент познания различен, и, конечно же, «Одиссею» Гомера, русскую одиссею Льва Толстого «Война и мир» или наши современные одиссеи «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Хождение по мукам» Алексея Толстого немисливо заключить в формулу, подобно тому как это можно сделать в науке после открытия какого-либо закона Вселенной. Искусство – это историческая энциклопедия человеческих ощущений, противоречивых страстей, желаний, взлетов и падений духа, самоотверженности и мужества, поражений и побед.

*Книга – великая
вещь, пока человек
умеет ею
пользоваться.*

Александр Блок

Человек, раскрывающий книгу, всматривается во вторую жизнь, как в глубинную сферу зеркала, ища собственного героя, ответы на собственные мысли, невольно примеряя, скажем, чужую судьбу и чужое мужество к личным чертам характера, сожалея, сомневаясь, досадуя, смеясь, плача, сочувствуя и соучаствуя, — и здесь начинается воздействие книги. Все это и есть «заражение чувствами», по выражению Льва Толстого.

В судьбе почти каждого печатное слово сыграло неповто-



Книжный магазин.

римуую роль, и величайшего сожаления достоин тот, кто не был в плену серьезной книги, — тем самым он оградил себя и укоротил дни своей жизни, отринув вторую действительность, второй опыт, наконец.

*Общение
с книгой — высшая
и незаменимая
форма
интеллектуального
развития человека.*

Александр Твардовский

Я с удовольствием могу сказать, что наша страна — самая читающая. В весеннем Париже мне приходилось видеть знаменитую набережную Сены со знаменитыми лавочками букинистов, окруженных молчаливыми библиофилами, трепетно ласкающими пальцами страницы книг — так ласкают только детей. Глядя на них, я вспомнил дальний поселок в Сибири, на Нижней Тунгуске, и новый промышленный центр Тольятти, где жадность и любовь к книге поражали меня необыкновенно.

Всякая книга – результат писательских усилий, а духовные ценности неоднородны. Мы должны бояться девальвации читательского вкуса, предлагая и выдавая ему вещь непервосортной пробы за жемчужину изящной словесности. Есть книги, подчас возведенные по разным стечениям обстоятельств в высокий ранг безупречности, книги, увешанные лаврами, но не выдерживающие строгой проверки правдой, этим единственным безотказным мерилom художества. И есть книги скромные, то есть не возведенные в чины, однако предельно искренние, чистые, мудрые, насквозь пронизанные благородной силой.

Заботясь о вкусе читателя, мы, а не время должны делать выбор и отбор, ибо время хоть и справедливый судья, но судья нескорый. Мы должны думать о выборе книги еще и потому, что уравнение малохудожественной читательской беллетристики и произведений эстетического достоинства смещает критерии истинные и в конце концов подтачивает веру в полновесное слово.

1977

ИСИКАВА ТАКУБОКУ

Наконец-то
Я новую книгу купил.
Читал, читал
Далеко за полночь...
Эту радость трудно забыть!

(Перевод В. Марковой)

ЮРИЙ

1925–1981

ТРИФОНОВ

*Появился некий
странный тип
«любителя
книги»...*

**КНИГИ,
КОТОРЫЕ
ВЫБИРАЮТ
НАС**

Действительно, это так, книги порой немало могут рассказать о своем владельце. Думаю об этом, рассматривая книжные полки Юрия Валентиновича Трифонова. Словари, справочники, энциклопедии – первое, что бросается в глаза...

Аккуратно переплетенные сборники «Былого» – все 57 томов, тщательно подобранные по номерам журналы «Каторга и ссылка», «Голос минувшего», «Красный архив». Уникальные теперь издания Общества политических каторжан и ссыльнопоселенцев – мемуары Прибылевой-Корбы, Фигнер, Морозова, Фроленко, Аптекмана, Попова, Лопатина, библиографический словарь «Деятели революционного движения в России» *...

– Во время работы над романом «Нетерпение» мне почти не приходилось ходить в Ленинскую библиотеку. Причем знаете, что интересно, первые номера «Былого» я приобрел, наверное, лет двадцать назад. У меня часто так бывало, что я покупал книги как бы впрок, как бы предчувствуя, что когда-нибудь напишу об этом... Так получилось и с Желябовым, фигура которого да и вся история народовольчества интересовали меня очень давно.

Или вот очень редкая книжка: «Московская охранка и ее секретные сотрудники. По данным комиссии по обеспечению нового строя. С приложением списков сотрудников, опубликованных комиссией. 1919 год. Москва». Купил я ее много лет назад в уверенности, что и она когда-нибудь пригодится. И пригодилась. Помните «Другую жизнь»? Сергей интересуется этим вопросом, даже пишет о нем.

Вот и сейчас – я работаю над повестью, связанной с гражданской войной, и такие книги, как воспоминания Антонова-Овсеенко 1924 года издания, «Разгром Деникина» Егорова и некоторые другие, оказываются для меня крайне необходимыми. Раньше я к ним не притрагивался, хотя и приобрел в свое время, тоже как бы предчувствуя, что писать об этой эпохе буду. А вот эту книгу, изданную в конце прошлого века, – «Французская революция в показаниях и мемуарах современников» виконта де Брока – читают герои моей новой повести.

Как видите, библиотека моя собиралась довольно беспрядочно, сумбурно, даже порой как бы и неосознанно, по какому-то наитию, что ли.

– *Напротив, мне кажется, вполне осознанно...*

– Теперь выходит, что так. Целесообразность задним числом.

– Наверное, так и должна собираться библиотека – по внутренней потребности.

– Сейчас произошло что-то удивительное – какой-то небывалый книжный бум. Словно волной цунами, все сметается с книжных прилавков. В чем дело? Правда, это уже особая проблема – не нам ее здесь решать. Но вот что интересно: появился некий странный тип «любителя книги», ко-



*О. Филатчев. Фрагмент
ростиси «Студенцы».
1975.*

торый покупает все подряд, без разбора. Я и сам с ним не раз сталкивался. Получаю, к примеру, такое письмо: «Дорогой Юрий Валентинович! Пришлите мне, пожалуйста, любую вашу книгу. Мне уже прислали книги такие-то авторы, и такие, и сякие...» Все перемешано. Ну скажите, зачем подобному «любителю книги» что-то посылать? Он под копирку пишет всем. Не может он вызвать у меня ни уважения, ни

интереса. Глубоко убежден: собирать книги надо выборочно, всех подряд любить нельзя.

— Что же, с этим нельзя не согласиться. Вопрос в другом: как выбирать? Как воспитать в себе те самые качества — вкус, чувство художественности, своеобразное эстетическое чутье, которые и будут руководить твоим выбором? Эти вопросы волнуют очень многих наших читателей.

— Здесь есть один, самый простой способ. Если читатель ищет в книгах какое-то средство самовоспитания, то



*Публичная библиотека
им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде.*

пусть он попробует осилить, например, Достоевского и Тютчева. Сумеет, будет ему интересно — значит, он Читатель. Настоящий.

— То есть вы хотите сказать, что «учиться» нужно на книгах, отобранных временем...

— Именно так. Только тогда мы сможем и все остальное и читать, и воспринимать, и понимать.

— Юрий Валентинович, а на каких книгах «воспитывались» вы? Кто из писателей особенно вам дорог и интересен?

— Всегда любил Чехова и Бунина...

— Кстати, а стихи Бунина вы любите?

— К стихам отношусь спокойно. Мне кажется, они слишком описательны, чересчур живописны. Нет, это не стихи прозаика, это, скорее, стихи живописца.

Если же говорить о Чехове и Бунине, то на первый взгляд они как будто очень близки. Но все-таки это писатели очень разные, я бы сказал даже, диаметрально разные, несмотря на кажущуюся внешнюю общность. Чехов весь направлен в сторону внутреннего мира человека, здесь он достигает необыкновенной точности. Этому не устаешь поражаться, перечитывая его во второй, в десятый, в сотый раз... А Бунин удивляет прежде всего изображением внешнего мира, пластикой, живописностью. Нет, «нутро» у него тоже, конечно, есть, но это всегда его собственный, бунинский мир. Чехов же всегда умел проникать во внутренний мир другого, и так глубоко, что ему совершенно не нужно было описывать внешние приметы человека — благодаря точности изображения «нутра» читатель как бы угадывал все остальное. У Бунина наоборот. Он настолько точно живописал внешний мир, воссоздавая его в мельчайших деталях — в цвете, в звуках, в красках, — что воображение читателя дорисовывало мир внутренний. У таких художников не перестаешь учиться.

— Вот вы сказали, что Чехова перечитываете постоянно. Наверное, в жизни каждого человека наступает такой момент, когда действительно хочется больше перечитывать, чем читать новое, когда хочется вновь и вновь обращаться к тому, что когда-то взволновало, потрясло, стало твоим.

— Да, это верно. Основной «задел» в чтении происходит в юности. Сейчас, например, читаю меньше. Если перефразировать Экклезиаста, можно сказать: есть время собирать книги, и есть время разбрасывать книги. Есть время читать, и есть время думать. Теперь мне совсем почти не нужны книги для удовольствия, для развлечения, как раньше, а нужны для работы, для того, чтобы писать и чтобы думать. Я бы сравнил эти «метаморфозы» чтения с тем, что происходит с друзьями. В юности друзей много, потом их круг начинает уменьшаться, уже нет времени, да и охоты, с кем-то встречаться...

— Но те, которые остаются, становятся необходимыми...

— Да... Как ни горько признаться, потребность в чтении уменьшилась. Вернее, так: она уменьшилась количественно. Теперь читаешь выборочно. А перечитывание — словно встреча с друзьями — необходимыми, как вы сказали.

— Очень интересно было бы услышать, как происходил у вас этот процесс «отбора» книг необходимых, как менялись с годами ваши читательские привязанности.

— Вы знаете, было какое-то время, когда я очень любил писателей 20-х годов, бесконечно любил. Я и теперь их ценю — Бабея, Платонова... Хотя сейчас пришло какое-то другое зрение, другой счет. Я, допустим, поражался расска-

Книга — чудо еще и потому, что в самой невзрачной обложке, в самом мизерном виде она может аккумулировать в себе энергию, перед которой меркнут все адовы силы плутона или стронция. Книга движет историю, направляет общественную жизнь и народное чувство, формирует человека. И когда книга — в силу тех или иных причин — перестает играть положенную ей судьбоносную роль, а нечто подобное уже случилось на Западе и отдаленно грозит нам, становится очень тревожно за будущее. ...Лукавое око телевизора все увереннее превращает читателей в зрителей, а это плохо, очень плохо, ибо поп-культура никогда не замечит истинной культуры, носителем которой является книга. Вот что сказал Олдос Хаксли: «Всякий умеющий читать способен

зам Бабеля, их сочности, их необыкновенной остроте, краткости. Сейчас мне кажется, что все-таки этого мало. Бабель изобразил только частицу того, что было, что он знал, что обязан был изобразить. Так же вот изменилось у меня и отношение к Олеше, которого я когда-то очень высоко ставил. Или Платонов. Очень мне нравился... Теперь же ловлю себя на том, что в некоторых рассказах раздражает — пожалуй, «раздражает» сказано слишком сильно, не раздражает, а нужно останавливает внимание — какая-то ненатуральность в языке, желание непременно сказать фразу вычурно, таким винтом, чтобы она врезалась в читателя. Я понимаю, лицо слов невыносимо истерлось, хочется новизны, свежести тона — хотя бы перелицовки. Но, по-моему, если каждую фразу выворачивать наизнанку — это утомительно. Сейчас действует много платоновских копиистов, но копируют не глубинную напряженность повествования — что копировать невозможно, — а вот эту фразовую вычурность. Разумеется, Платонов — прекрасный писатель, но я просто хочу сказать: слепое восхищение прошло. Видишь иногда и слабости. Впрочем, есть абсолютные шедевры: помните рассказ «Третий сын»?

— *И все-таки ваша сильная в свое время привязанность к этим писателям — вы сказали, «бесконечно любил» — не могла, наверное, не отразиться на вас как на художнике?*

— Безусловно, и Платонов, и Алексей Толстой, и Бабель, и Зощенко, над рассказами которого я когда-то хохотал, а теперь вот смеюсь почему-то меньше, оказывали какое-то влияние, я бы назвал его транзиторным. Вроде транзиторной гипертонии. То оно чувствуется, то нет. А вот Чехов, Толстой — под их воздействием, под их обаянием находишься постоянно. А в общем-то, мне кажется, на писателя действует «пучок» разных влияний, как правило неосознанных. Скажу даже больше: каждая книга оставляет свой отпечаток. Он может быть совершенно ничтожный, может быть сильный, и в конце концов накладывается столько разных отпечатков, что разобраться трудно, когда отложилось, почему. Нужно произвести сложнейшие раскопки, чтобы определить, что и как повлияло.

— *Конечно, это занятие, скорее, для литературоведа — проводить такие «раскопки». Но я думаю, что любой литературовед будет вам только благодарен, если вы «расставите» для него какие-то «ориентиры».*

— Не уверен. Скорее, я его только запутаю... Однажды (это было на Варшавской книжной ярмарке) меня спросили, повлияла ли на меня польская литература. Признаться, поначалу я был несколько смущен. Конечно, я читал польских писателей, но влияние... Ответить надо было не сразу (вопрос поставил один краковский журнал), и вечером я стал размышлять. И вдруг подумал: черт возьми, я же так страстно читал в детстве Генрика Сенкевича! Я перечитал тогда все его романы — «Крестоносцы», «Камо грядеши», «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский». Исторические романы я вообще очень любил, и, может быть, поэтому, когда стал писателем, у самого возникло желание написать исто-

*возвыситься над
самим собой,
многократно
умножить
собственное
существование,
сделать
захватывающим
и полным смысла».*
*Об умеющем
смотреть телевизор
великий английский
романист этого не
сказал бы.*

Юрий Нагибин

рический роман. То есть почти наверняка – ведь в детстве это была настоящая читательская страсть. Особенно, помню, поражало в романах Сенкевича то, что там действуют реальные люди, исторические лица. Появляется в романе какой-нибудь гетман или король, я сразу же к Брокгаузу и Ефрону (у отца был этот словарь). Найду там нужную фамилию, радуюсь – мне это страшно нравилось. Кроме того, помню, у Сенкевича же с удовольствием читал повесть «В пустыне и пуще». Действие в ней происходит в Египте в конце прошлого века, изображена борьба против английских колонизаторов, много приключений. Когда вспомнил и об этой книге, подумал: а ведь и пустыня меня тогда очень занимала, очень интересовала... И, может быть, именно мои детские чтения, каким-то удивительным образом преломившись в сознании, потом уже, спустя двадцать лет, властно повлекли в пустыню Каракумы, в Туркмению... Потом, после Сенкевича, я читал и Паустовского, его «Кара-Бугаз». Это тоже было для меня чтением притягательным – такое вечное изображение мира, страны, путешествий... Но еще раньше Паустовского была вот эта книга Сенкевича. Потом, конечно, я о ней забыл, было столько крупных писателей, которые, казалось, действительно влияли на меня серьезно, – они как бы затмили это мое детское чтение... И вот вдруг вспомнилось! На другой день я мог, не кривя душой, ответить польскому журналисту: да, польская литература действительно оказала на меня влияние, причем такое, о котором я сам, может быть, даже и не догадывался. Мне кажется, подумать, что и как из прочитанного на тебя повлияло, – интересное занятие и для писателя, и просто для людей, любящих книгу. Ведь, может быть, чтение даже в какой-то степени меняет нашу жизнь...

– *Меняет жизнь?*

– Конечно. Ведь интерес к Каракумам как-то изменил мою жизнь... Я поехал туда в первый раз в 1952 году, сразу после «Студентов», и потом летал еще восемь раз в течение восьми лет, потратил на это много сил, времени – целое десятилетие. Там написал роман «Утоление жажды», рассказы...

– *А стихи – их воздействие вы когда-нибудь ощущали так сильно?*

– Вы знаете, может быть, такое признание прозвучит несколько странно, но порой, когда пишу, чувствую на себе влияние каких-то фраз Пастернака, Цветаевой... Вот Цветаева. У нее необыкновенная упругость во фразе, динамичность. А ведь для прозы очень важно, чтобы фраза была упругой, чтобы ничего лишнего, чтобы «суставы» не выпирали. Чтобы все была одна плоть, суть.

– *А сами стихов никогда не писали?*

– В юности писал, даже в Литинститут поступал со стихами*. Но потом никогда уже этим не занимался.

– *А самые любимые ваши поэты – кто?*

– Я не могу сказать: самые любимые. В разные времена были разные увлечения...

– *Но кого хочется перечитывать чаще других?*

– Всегда – Пушкина, Тютчева, Блока...

– Юрий Валентинович, а можно «коварный» вопрос? Вот мы сейчас говорим с вами о том, как много значит книга в нашей жизни, сколь многое отделяет в ней. Почему же тогда ваши герои почти ничего не читают, во всяком случае, мы, читатели, об этом ничего не знаем?

– Читатели не знают – это другое дело. Но что герои мои не читают?.. Как можно это утверждать? По-моему, они читают, и читают немало. Это видно по тому, как они размышляют, как говорят...

– Я знаю, Юрий Валентинович, что нынешним летом вы с Валентином Распутиным по приглашению западногерманского издательства «Бертельсмана» побывали на международной книжной ярмарке во Франкфурте-на-Майне, а до этого были на Варшавской ярмарке и Лейпцигской. Вот где, наверное, реально ощущаешь, что такое книга в современном мире...

– Да, книжные ярмарки производят на писателя сокрушительное впечатление. Нет, по-моему, лучшего способа отбить у писателя охоту писать, чем заставить его окунуться в это книжное море. Представьте себе бесконечные лабиринты книг, «вавилонны» книжной продукции... Невольно подумаешь: куда это, кому, зачем? И как твой собственный «писк» может быть здесь услышан? На Франкфуртской ярмарке один репортер спросил у меня: «Когда вы начали писать?» Я ответил: «В ранней юности». – «А ваши любимые писатели?» – «Чехов, Толстой, Достоевский», – сказал я. «Когда вы их прочитали?» – «Тоже в ранней юности». Тогда он посмотрел на меня лукаво: «И все-таки после этого не оставили мысль писать?» Кажется, ирония вполне уместна... И, однако, есть один фактор, оправдывающий всех нас, пытающихся соревноваться с великими. Это Время, которое мы обязаны – худо-бедно, в меру своих сил – как-то выразить в книгах. К сожалению, Толстой и Чехов сделать этого уже не могут. Это возложено на нас...

ЧИНГИЗ

1928

АЙТМАТОВ

*Мечтаю, чтобы
не было плохих
книг...*

КНИГИ, ОТКРЫВАЮ- ЩИЕ НАС

Я писал в одной из своих статей, что литературное творчество предопределяют люди и книги. Может быть, даже сначала книги. Я не думаю, что это преувеличение. Вспоминаю, каким ярким озарением на всю жизнь явилась для меня в ранние годы встреча с книгами Мухтара Ауэзова, помню потрясение от шолоховских романов: тогда я впервые понял, ощутил, что у слова есть свои недра; магия писательского слова была для меня настолько сильна, что у меня невольно возникало желание как бы приподнять с бумаги каждое слово и заглянуть: что за чудодейственная сила таится в нем?

Я убежден, что у слова есть свои недра...

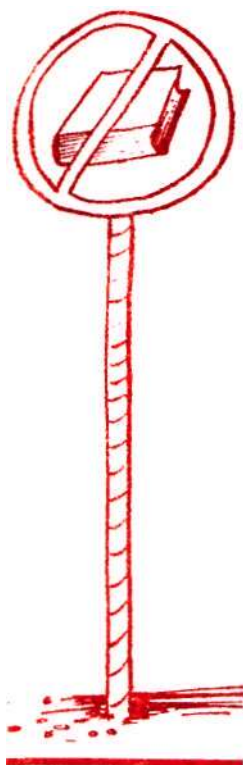
Человек по-разному приходит к пониманию этой извечной истины. Многое зависит от того, как сложилась судьба, жизнь человека.

Моей первой фундаментальной «библиотекой», доставшейся мне по наследству от моих многочисленных сородичей, была напоенная песнями, легендами, сказаниями Таласская долина, край, где я родился и вырос. Здесь я впервые услышал голос манасчи – сказителя эпоса «Манас». А было мне в ту пору лет тринадцать. Но еще прежде я слышал «растворенный», «рассыпанный» в народе эпос; в повседневной речи часто приходилось слышать такую поговорку: «Победу одержали мы, а слава досталась "Манасу"». <...>

Книга выступает одним из звеньев в духовной связи людей, она заставляет их возвращаться к своим истокам, проникать в сокровенные глубины духа, контактировать с настоящим, прошлым и будущим. Книга связывает людей. Однако объединяет людей и телевидение; это понятно, но для того, чтобы одолеть огромное количество литературы, накопленной человечеством за века, творения Гомера, Данте, Вергилия, Толстого, Хемингуэя, Фолкнера и других гениев человечества, хотя бы часть этого богатства, а его можно осваивать без конца, следует от чего-то отказаться... Восемь часов у человека уходит на сон, восемь на работу, если он будет просиживать часами у телевизора, ему некогда будет читать.

Одну и ту же книгу нельзя перечитывать бесконечное количество раз, интереснее читать новую книгу, произведение современного автора.

К книгам относиться так же, как и к друзьям, – в юношеском возрасте их много, но отношения с ними более поверхностные, некритические, легковесные; нравится, допустим, кому-то то же, что и тебе, ты и его уже считаешь другом, единомышленником, хотя, может, и общего-то между вами разве



что одна полюбившаяся книжка... С годами круг знакомств сужается, может быть, остаются один-два человека, которых называешь друзьями, но зато уж это подлинные, испытанные друзья. Так и с книгами. К каким-то авторам, которыми увлекался в юности, уже нет особенного желания возвращаться — эти книги ты навсегда прочитал. С другими писателями наоборот. Вот Достоевский, он не только остается для меня тем же, кем и был, но и день ото дня укрупняется, вырастает в моих глазах. Эпоха его миновала, исчез, канул в Лету



Фото В. Богданова. мрачный, призрачный Петербург, но творения Достоевского, дух его прозы, слово его продолжают меня волновать, не дают мне покоя. Достоевский — беспокойный писатель, будоражащий нашу совесть, его читать — нелегкое, а порой и не всегда приятное занятие, но его читаешь, ибо он возвращает тебя к себе самому, к сути твоей, к совести; ему невозможно подражать, но учиться у него нужно. Чему же? Мне думаться, в первую очередь — неподдельной любви к людям, состраданию к униженным и оскорбленным.

Круг друзей неизбежно сужается, но так же неотвратимо углубляется и любовь к ним. Есть тут определенная взаимосвязь. <...>

Каждая книга требует полной отрешенности от суетных дел, полной погруженности в тему, в систему образов — вся душа должна быть там. Иначе ничего не получится. Не знаю, но, наверное, во мне осталось испытанное некогда,

еще в самом раннем детстве, благоговейное отношение к книге, к печатному слову.

Я всегда с трепетом брал в руки книгу, как нечто действительно святое. Для меня в ту пору не было плохих книг, я восхищался каждой буквой, а человек, написавший книгу, мне неизменно представлялся таким, как Пушкин и Толстой. Увы, позднее пришлось узнать, что могут быть и плохие книги, равнодушные, написанные без искорки святости. Пусть это будет несколько наивно, но я и по сей день все же мечтаю, чтобы не было плохих книг, чтобы мы не разрушали того представления о книге и писателе, которое зарождается у человека в детстве. <...>

1979

АЛЕКСЕЙ СИДОРОВ

БИБЛИОФИЛ

Как греческий эфеб – свои квадриги,
Как мореход – плеск моря голубой,
Как часовщик – неутомный бой
Часов, считающих немые миги;

Как юноша – любовные вериги,
Как девушка – желание стать рабой,
Как гордый – столкновение с судьбой, –
Так навсегда я полюбил вас, книги!

В библиотеку приходя к вам в гости,
Люблю ножом из пожелтевшей кости
Делить страниц нетронутых ряды;

Снимать обертки, словно с рук перчатки,
И в старых книгах – надписей следы,
И вас – «замеченные опечатки».

НОДАР

1928–1984

ДУМБАДЗЕ

*Без читателя
писатель не
существует.*

ЭТУ КНИГУ
Я ГОТОВ
ЧИТАТЬ
БЕСКОНЕЧНО

Сегодня нельзя отрицать, что телевидение оказывает огромное влияние на каждого человека. И писатель здесь не исключение. Благодаря телевидению писатель получает невиданные доселе возможности осуществлять свой профессиональный долг. Ведь внутренне каждый писатель должен быть готов говорить со своим народом, говорить от имени своего народа. А телевидение – это такая трибуна, о которой люди, пишущие четверть века назад, даже и не мечтали.

<...> Первый раз я шел на телестудию с паническим страхом в душе: не мог привыкнуть к мысли, что меня увидят и услышат миллионы. Но вдруг подумал: а что (более или менее постоянно) испытывает писатель? В чем его, так сказать, профессиональная болезнь? И сам себе ответил: писатель испытывает страх перед читателем. Вероятно, мои слова покажутся кому-то странными, наверно, это мое личное ощущение, но я убежден, что, когда у писателя исчезнет страх перед читателем, можно считать, что он умер. Ведь писатель живет одобрением своих читателей, их мнением и пожеланиями. Без читателя писатель не существует. Поэтому телевизионные встречи, и в первую очередь останкинские вечера, дают нам бесценную возможность непосредственно, из первых рук узнать, какие чувства и мысли рождают у людей наши произведения.

<...> Иногда тот или иной вопрос заставлял меня задуматься над тем, над чем я никогда прежде не задумывался, и делать для себя потрясающие открытия. Помню такую забавную ситуацию. Во время одной из встреч меня спросили: «Какую книгу вы не устаёте читать, откуда черпаете сюжеты?» Этот вопрос прозвучал из уст девушки, и меня, человека пожилого, он, по правде сказать, поставил в тупик. Я долго думал, молчал. А потом сказал так: «Эта книга – камин». Девушка спросила: «А кто автор этой книги, в какой стране он жил или живет?» Я ответил: «Не знаю, кто автор, наверно, народ, и тогда, вероятно, еще не было стран. Это обыкновенный камин с огнем, в который я могу бесконечно смотреть и черпать идеи».

Сегодня, вспоминая об этом случае, я хочу сказать, что, возможно, мы стали свидетелями рождения еще одной вечной книги: рядом со старинным камином зажегся электронный огонек телеэкрана, и в него, кажется, тоже могу смотреть бесконечно, узнавать о все новых событиях и героях.

Телекамера – великий документалист и летописец.

<...> И я уверен, что недалеко то будущее, когда теле-

ЭТУ КНИГУ
Я ГОТОВ ЧИТАТЬ
БЕСКОНЕЧНО

видение станет для каждого прекрасной и поучительной
книгой, которую не устает читать бесконечно.

1983

165



*С. С. Кобуладзе. «Шота
Руставели». 1937.*

ЕВГЕНИЙ

1933

ЕВТУШЕНКО

*Я резко отделяю
читателей от
почитателей.*

ВОСПИТАНИЕ ПОЭЗИЕЙ

Главный воспитатель любого человека – его жизненный опыт. Но в это понятие мы должны включать не только биографию «внешнюю», а и биографию «внутреннюю», неотделимую от усвоения нами опыта человечества через книги.

Событиями в жизни Горького было не только то, что происходило в красильне Кашириных, но и каждая прочитанная им книга. Человек, не любящий книгу, несчастен, хотя и не всегда догадывается об этом. Жизнь его может быть наполнена интереснейшими событиями, но он будет лишен не менее важного события – сопереживания и осмысления прочитанного.

Есть люди, которые говорят: «Я читать люблю... только не стихи». Тут кроется неправда – человек, не любящий поэзию, не может по-настоящему любить и прозу, воспитание поэзией – это воспитание вкуса к литературе вообще.

Поэт Сельвинский когда-то справедливо сказал: «Читатель стиха – артист». Конечно, и читатель прозы должен обладать артистизмом восприятия. Но обаяние поэзии более, чем прозы, скрывается не только в мысли и в построении сюжета, но и в самой музыке слова, в интонационных переливах, в метафорах, в тонкости эпитетов. Строчку Пушкина «Глядим на бледный снег прилежными глазами» почувствует во всей ее свежести только читатель высокой квалификации. Подлинное прочтение художественного слова (в поэзии или в прозе) подразумевает не бегло почерпнутую информацию, а наслаждение словом, впитывание его всеми нервными клетками, умение чувствовать это слово кожей...

Однажды мне посчастливилось читать композитору Стравинскому стихотворение «Граждане, послушайте меня...». Стравинский слушал, казалось, вполслуха и вдруг на строчке «пальцами растерянно мудря» воскликнул, даже зажмурившись от удовольствия: «Какая вкусная строчка!»

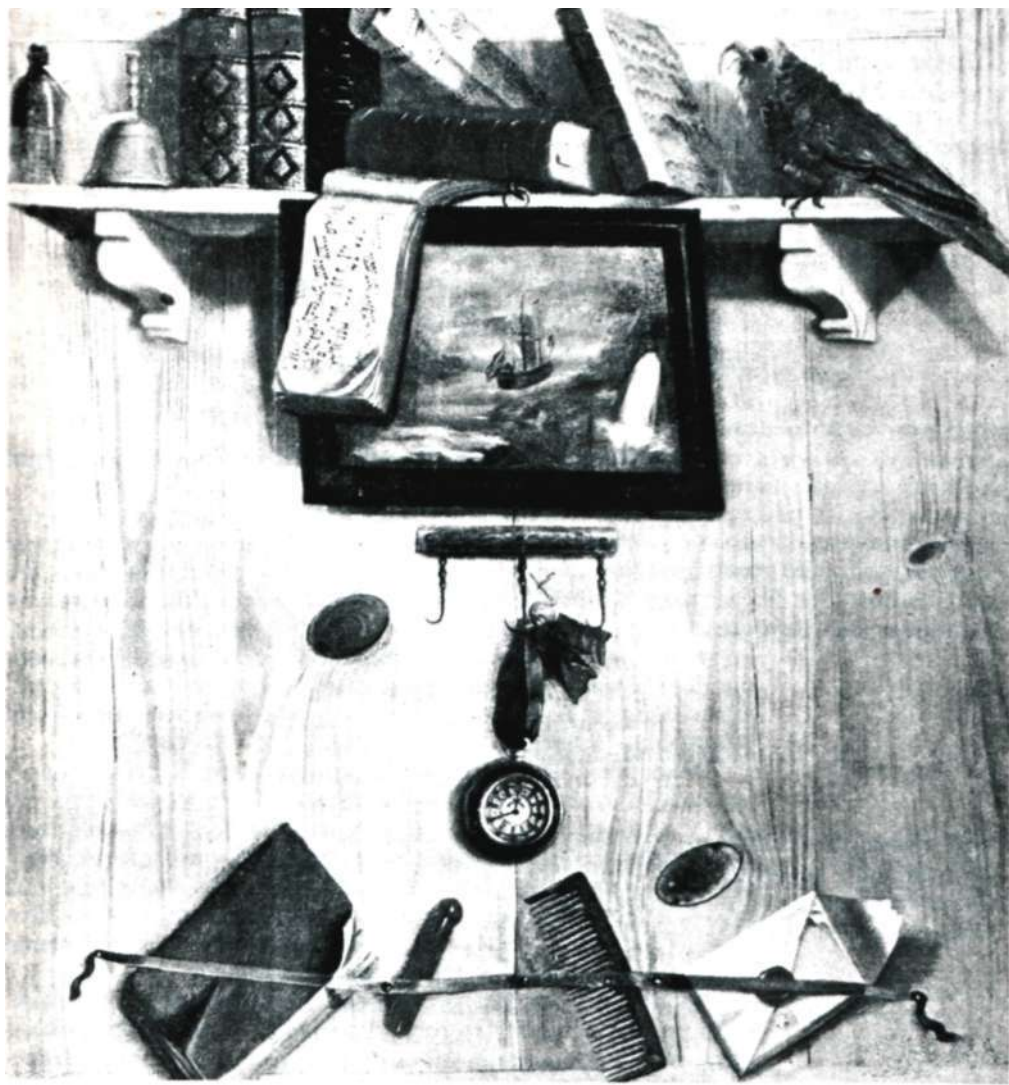
Я был поражен, потому что такую неброскую строчку мог отметить далеко не каждый профессиональный поэт. Я не уверен в том, что существует врожденный поэтический слух, но в том, что такой слух можно воспитать, – убежден.

И я хотел бы, пусть запоздало и не всеобъемлюще, выразить мою глубокую благодарность всем людям в моей жизни, которые воспитывали меня в любви к поэзии. Если бы я не стал профессиональным поэтом, то все равно до конца моих дней оставался бы преданным читателем поэзии.

Мой отец, геолог, писал стихи, мне кажется, что талант-
ливые:

Отстреливаясь от тоски,
Я убежать хотел куда-то,
Но звезды слишком высоки,
И высока за звезды плата...

Он любил поэзию и свою любовь к ней передал мне. Пре-
красно читал на память и, если я что-то не понимал, объяс-



*Г. Теплов. "Натюрморт
с котами и попугаем".
1937.*

нял, но не рационально, а именно красотой чтения, подчер-
киванием ритмической, образной силы строк, и не только
Пушкина и Лермонтова, но и современных поэтов, упиваясь
стихом, особенно понравившимся ему:

Жеребец под ним сверкает белым рафинадом.

ЕВГЕНИЙ (Э. Багрицкий)
ЕВТУШЕНКО

168

Крутит свадьба серебряным подолом,
А в ушах у нее не серьги – подковы.

(П. Васильев)

От Махачкалы до Баку
Луны плавают на боку.

(Б. Корцилов)

Брови из-под кивера дворцам грозят.

(Н. Асеев)

Гвозди бы делать из этих людей,
Крепче бы не было в мире гвоздей.

(Н. Тихонов)

Тегуантепек, Тегуантепек, страна чужая,
Три тысячи рек, три тысячи рек тебя окружают.

(С. Кирсанов)

Из иностранных поэтов отец чаще всего читал мне Бёрнса и Киплинга.

В военные годы на станции Зима я был предоставлен попечению бабушки, которая не знала поэзию так хорошо, как мой отец, зато любила Шевченко и часто вспоминала его стихи, читая их по-украински. Бывая в таежных селах, я слушал и даже записывал частушки, народные песни, а иногда кое-что и присочинял. Наверное, воспитание поэзией вообще неотделимо от воспитания фольклором, и сможет ли почувствовать красоту поэзии человек, не чувствующий красоту народных песен?

Человеком, любящим и народные песни, и стихи современных поэтов, оказался мой отчим, аккордеонист. Из его уст я впервые услышал «Сергею Есенину» Маяковского. Особенно поразило: «Собственных костей качаете мешок». Помню, я спросил: «А кто такой Есенин?» – и впервые услышал есенинские стихи, которые тогда было почти невозможно достать. Стихи Есенина были для меня одновременно и народной песней, и современной поэзией.

Вернувшись в Москву, я жадно набросился на стихи. Страницы выходящих тогда поэтических сборников были, казалось, пересыпаны пеплом пожарищ Великой Отечественной. «Сын» Антокольского, «Зоя» Алигер, «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Симонова, «Горе вам, матери Одера, Эльбы и Рейна...» * Суркова, «Не зря мы дружбу берегли, как пехотинцы берегут метр окровавленной земли, когда его в боях берут...» * Гудзенко, «Госпиталь. Все в белом. Стены пахнут сыроватым мелом...» * Луконина,

«Мальчик жил на окраине города Колпино...» * Межирова, «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться...» Львова, «Ребята, передайте Поле, у нас сегодня пели соловьи...» * Дудина; все это входило в меня, наполняло радостью сопереживания, хотя я еще был мальчишкой. Но во время войны и мальчишки чувствовали себя частью великого борющегося народа.

Нравилась мне книга Шефнера «Пригород» с ее остранными образами: «И, медленно вращая изумруды зеленых глаз, бездумных, как всегда, лягушки, словно маленькие будды, на бревнышках сидели у пруда». Твардовский казался мне тогда чересчур простоватым, Пастернак слишком сложным. Таких поэтов, как Тютчев и Баратынский, я почти не читал – они выглядели в моих глазах скучными, далекими от той жизни, которой мы все жили во время войны.

Однажды я прочитал отцу свои стихи о советском парламенте, убитом фашистами в Будапеште:

Огромный город помрачнел,
Там затаился враг.
Цветком нечаянным белел
Парламентерский флаг.

Отец вдруг сказал: «В этом слове "нечаянный" и есть поэзия».

В сорок седьмом я занимался в поэтической студии Дома пионеров Дзержинского района. Наша руководительница Л. Попова была человеком своеобразным – она не только не осуждала увлечение некоторых студийцев формальным экспериментаторством, но даже всячески поддерживала это, считая, что в определенном возрасте поэт обязан переболеть формализмом. Строчка моего товарища «И вот убегает осень, мелькая желтыми пятнами листьев» приводилась в пример. Я писал тогда так:

Хозяева – герои Киплинга –
Бутылкой виски день встречают.
И кажется, что кровь средь кип легла
Печатью на пакеты чая.

Однажды к нам приехали в гости поэты – студенты Литинститута Винокуров, Ваншенкин, Солоухин, Ганабин, Кафанов, еще совсем молодые, но уже прошедшие фронтовую школу. Нечего и говорить, как я был горд выступать со своими стихами вместе с настоящими поэтами.

Второе военное поколение, которое они представляли, внесло много нового в нашу поэзию и отстояло лиризм, от которого некоторые более старшие поэты начали уходить в сторону риторики. Написанные впоследствии негромкие лирические стихи «Мальчишка» Ваншенкина и «Гамлет» Винокурова произвели на меня впечатление разорвавшейся бомбы.

«Багрицкого любишь?» – спросил меня после выступления в Доме пионеров Винокуров. Я ему сразу стал читать: «Мы ржавые листья на ржавых дубах...» Левая бровь юного

*Парадоксально, но
наиболее
заманчивые
книги, которые мы
в течение жизни
постоянно
перечитываем,
забываются, не
удерживаются
в памяти. Казалось
бы, должно быть
наоборот: книга,
произведшая на нас
впечатление да еще
читанная не
однажды, должна
была бы
запомниться во всех
подробностях. Нет,
этого не происходит.
Разумеется, мы
знаем, о чем
в основном идет
в этой книге речь,
но как раз
подробности для нас
неожиданны,
новы — не только
подробности, но
и целые куски общей
конструкции.
Безусловно, так:
замечательную книгу
мы читаем каждый
раз как бы заново,
и в этом
удивительная судьба
авторов
замечательных книг:
они не ушли, не
умерли, они сидят
за своими
письменными*

мэтра удивленно полезла вверх. Мы подружились, несмотря на заметную тогда разницу в возрасте и опыте.

На всю жизнь благодарен я поэту Андрею Достаю. Более трех лет он почти ежедневно занимался со мной в литературной консультации издательства «Молодая гвардия». Андрей Досталь открыл для меня Леонида Мартынова, в чью неповторимую интонацию — «Вы ночевали на цветочных клумбах?» — я сразу влюбился.

В 1949 году мне снова повезло, когда в газете «Советский спорт» я встретился с журналистом и поэтом Николаем Тарасовым. Он не только напечатал мои первые стихи, но и просиживал со мной долгие часы, терпеливо объясняя, какая строчка хорошая, какая плохая и почему. Его друзья — тогда геофизик, а ныне литературный критик В. Барлас и журналист Л. Филатов, ныне редактор еженедельника «футбол — хоккей», — тоже многому научили меня в поэзии, давая почитать из своих библиотек редкие сборники. Теперь Твардовский уже не казался мне простоватым, а Пастернак чрезмерно усложненным.

Мне удалось познакомиться с творчеством Ахматовой, Цветаевой, Мандельштама. Однако на стихах, которые я в то время печатал, мое расширявшееся «поэтическое образование» совсем не сказывалось. Как читатель я опередил себя, поэта. Я в основном подражал Кирсанову и, когда познакомился с ним, ожидал его похвал, но Кирсанов справедливо осудил мое подражательство.

Неоценимое влияние на меня оказала дружба с Владимиром Соколовым, который, кстати, помог мне поступить в Литературный институт, несмотря на отсутствие аттестата зрелости. Соколов был, безусловно, первым поэтом послевоенного поколения, нашедшим лирическое выражение своего таланта. Для меня было ясно, что Соколов блестяще знает поэзию и вкус его не страдает групповой ограниченностью — он никогда не делит поэтов на «традиционалистов» и «новаторов», а только на хороших и плохих. Этому он навсегда научил меня.

В Литературном институте моя студенческая жизнь также дала мне многое для понимания поэзии. На семинарах и в коридорах суждения о стихах друг друга были иногда безжалостны, но всегда искренни. Именно эта безжалостная искренность моих товарищей и помогла мне спрыгнуть с ходуль. Я написал стихи «Вагон», «Перед встречей», и, очевидно, это было началом моей серьезной работы.

Я познакомился с замечательным, к сожалению, до сих пор недооцененным поэтом Николаем Глазковым, писавшим тогда так:

Я сам себе корежу жизнь,
валяя дурака.
От моря лжи до поля ржи
дорога далека.

У Глазкова я учился расвобожденности интонации. Ошарашивающее впечатление на меня произвело открытие

*столами или стоят
за коттофками, они
вне времени.*

Юрий Олеши

стихов Слуцкого. Они были, казалось, антипоэтичны, и вместе с тем в них звучала поэзия беспощадно обнаженной жизни. Если раньше я стремился бороться в своих стихах с «прозаизмами», то после стихов Слуцкого старался избегать чрезмерно возвышенных «поэтизмов».

Учась в Литинституте, мы, молодые поэты, не были свободны и от взаимовлияний. Некоторые стихи Роберта Рождественского и мои, написанные в 1953–1955 годах, были похожи как две капли воды. Сейчас, я надеюсь, их не спутаешь: мы выбрали разные дороги, и это естественно, как сама жизнь.

Появилась целая плеяда женщин-поэтов, среди которых, пожалуй, самыми интересными были Ахмадулина, Мориц, Матвеева. Вернувшийся с Севера Смеляков привез полную целомудренного романтизма поэму «Строгая любовь». С возвращением Смелякова в поэзии стало как-то прочнее, надежнее. Начал печататься Самойлов. Его стихи о царе Иване, «Чайная» сразу создали ему устойчивую репутацию высококультурного мастера. Были опубликованы «Кёльнская яма», «Лошади в океане», «Давайте после драки помашем кулаками...» Бориса Слуцкого, стихи новаторские по форме и содержанию. По всей стране запелись выдохнутые временем песни Окуджавы. Выйдя из долгого кризиса, Луговской написал: «Ведь та, которую я знал, не существует...»*, у Светлова снова пробилась его очаровательная чистая интонация. Появилось такое масштабное произведение, как «За далью – даль» Твардовского. Все зачитывались новой книжкой Мартынова, «Некрасивой девочкой» Заболоцкого. Как фейерверк возник Вознесенский. Тиражи поэтических книг стали расти, поэзия вышла на площади. Это был период расцвета интереса к поэзии, невиданный доселе ни у нас и нигде в мире. Я горд, что мне пришлось быть свидетелем того времени, когда стихи становились народным событием. Справедливо было сказано: «Удивительно мощное эхо, – очевидно, такая эпоха!»*

Мощное эхо, однако, не только дает поэту большие права, но и налагает на него большие обязанности. Воспитание поэта начинается с воспитания поэзией. Но впоследствии, если поэт не поднимается до самовоспитания собственными обязанностями, он катится вниз, даже несмотря на профессиональную искушенность. Существует такая мнимо красивая фраза: «Никто никому ничего не должен». Все должны всем, но поэт особенно.

Стать поэтом – это мужество объявить себя должником.

Поэт в долгу перед теми, кто научил его любить поэзию, ибо они дали ему чувство смысла жизни.

Поэт в долгу перед теми поэтами, кто были до него, ибо они дали ему силу слова.

Поэт в долгу перед сегодняшними поэтами, своими товарищами по цеху, ибо их дыхание – тот воздух, которым он дышит, и его дыхание – частица того воздуха, которым дышат они.

Поэт в долгу перед своими читателями, современниками, ибо они надеются его голосом сказать о времени и о себе.

Поэт в долгу перед потомками, ибо его глазами они когда-нибудь увидят нас.

Ощущение этой тяжелой и одновременно счастливой за долженности никогда не покидало меня и, надеюсь, не покинет.

После Пушкина поэт вне гражданственности невозможен. Но в XIX веке так называемый «простой народ» был далек от поэзии, хотя бы в силу своей неграмотности. Сейчас, когда поэзию читают не только интеллигенты, но и рабочие, и крестьяне, понятие гражданственности расширилось – оно как никогда подразумевает духовные связи поэта с народом. Когда я пишу стихи лирического плана, мне всегда хочется, чтобы они были близки многим людям, как если бы они сами написали их. Когда работаю над вещами эпического характера, то стараюсь находить себя в тех людях, о которых пишу. Флобер когда-то сказал: «Мадам Бовари – это я». Мог ли он это сказать о работнице какой-нибудь французской фабрики? Конечно, нет. А я надеюсь, что могу сказать то же самое, например, о Нюшке из моей «Братской ГЭС» и о многих героях моих поэм и стихов: «Нюшка – это я». Гражданственность девятнадцатого века не могла быть такой интернационалистской, как сейчас, когда судьбы всех стран так тесно связаны друг с другом. Поэтому я старался находить близких мне по духу людей не только среди строителей Братска или рыбаков Севера, но и везде, где происходит борьба за будущее человечества, – в США, в Латинской Америке и во многих других странах. Без любви к родине нет поэта. Но сегодня поэта нет и без участия в борьбе, происходящей на всем земном шаре.

Быть поэтом первой в мире социалистической страны, на собственном историческом опыте проверяющей надежность выстраданных человечеством идеалов, – это налагает особую ответственность. Исторический опыт нашей страны изучается и будет изучаться и по нашей литературе, по нашей поэзии, ибо никакой документ сам по себе не обладает психологическим проникновением в сущность факта. Таким образом, лучшее в советской литературе приобретает высокое значение нравственного документа, запечатляющего не только внешние, но и внутренние черты становления нового, социалистического общества. Наша поэзия, если она не сбивается ни в сторону бодряческого приукрашивания, ни в сторону скептического искажения, а обладает гармонией реалистического отображения действительности в ее развитии, может быть живым, дышащим, звучащим учебником истории. И если этот учебник будет правдив, то он по праву станет достойной данью нашего уважения к народу, вскрывшему нас.

Переломный момент в жизни поэта наступает тогда, когда, воспитанный на поэзии других, он уже начинает воспитывать своей поэзией читателей. «Мощное эхо», вернувшись, может силой возвратной волны сбить поэта с ног, если он недостаточно стоек, или так контузить, что он потеряет слух и к поэзии, и ко времени. Но такое эхо может и воспи-

тать. Таким образом, поэт будет воспитываться возвратной волной собственной поэзии.

Я резко отделяю читателей от почитателей. Читатель при всей любви к поэту добр, но взыскателен. Таких читателей я находил и в своей профессиональной среде, и среди людей самых различных профессий в разных концах страны. Именно они и были всегда тайными соавторами моих стихов. Я по-прежнему стараюсь воспитывать себя поэзией и теперь часто повторяю строки Тютчева, которого полюбил в последние годы.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется, —
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...

Я чувствую себя счастливым, потому что не был обделен этим сочувствием, но иногда мне грустно потому, что я не знаю — сумею ли за него отблагодарить в полной мере.

Мне часто пишут письма начинающие поэты и спрашивают: «Какими качествами нужно обладать, чтобы сделаться настоящим поэтом?» Я никогда не отвечал на этот, как я считал, наивный вопрос, но сейчас попытаюсь, хотя это, может быть, тоже наивно.

Таких качеств, пожалуй, пять.

Первое: надо, чтобы у тебя была совесть, но этого мало, чтобы стать поэтом.

Второе: надо, чтобы у тебя был ум, но этого мало, чтобы стать поэтом.

Третье: надо, чтобы у тебя была смелость, но этого мало, чтобы стать поэтом.

Четвертое: надо любить не только свои стихи, но и чу- жие, однако и этого мало, чтобы стать поэтом.

Пятое: надо хорошо писать стихи, но, если у тебя не будет всех предыдущих качеств, этого тоже мало, чтобы стать поэтом, ибо

Поэта вне народа нет,
Как сына нет без отчей тени.

Поэзия, по известному выражению, — это самосознание народа. «Чтобы понять себя, народ и создает своих поэтов».

БЕЛЛА

1937

АХМАДУЛИНА

*Между пишущим
человеком
и читающим,
вообще между
человеком
и человеком не
должно быть ни
подобострастия,
ни
фамильярности.*

СЛОВО,
РАВНОЕ
ПОСТУПКУ



*Джорджоне. Мадонна
с младенцем.
1504–1505(?). Деталь
картины.*

Спросили: каким представляете вы себе вашего читателя?
И я, пригасив зрение веками и ладонью, стала вглядываться в милый отвлеченный образ, творимый зрачком по моему усмотрению. Уже под веками и ладонью брезжил свет предполагаемой лампы, затевались в окне приметы неизвестного города, прояснялось чье-то дорогое лицо. Когда это лицо, с пристрастием и обожанием составленное мною из прекрасных черт и выражений, сбилось во всем великолепии, картина, видимо, изображала идеального в моем представлении читателя, и оставалось врисовать в нее том Пушкина или другую великую книгу, я в ней не была обозначена.

С присущей мне витиеватостью я прямолинейно клоню к тому, что из читателей мне наиболее близки те, которые со мною как с читателем совпадают в главном выборе, — а я не из тех, кто зачитывается собственными строками. Совершенная правда, что чрезмерная похвала, выдвижение меня на недолжное место если и льстили моему грешному самолюбию, то все же внушали уму скуку и отчуждение. Также трогала и пугала меня излишняя пылкость взволнованных чтением незнакомок и незнакомцев, ищущих немедленного



*Жерар Ду (1613–1675).
«Портрет матери
Рембрандта».*

и тесного житейского общения, — я как читатель этого не понимаю. Почему-то это совершенно не противоречит тому, что среди иных взволнованных чтением незнакомок и незнакомцев я обрела близких, необходимых соучастников жизни — как-то не насильно, само собою случилось. Впрочем,

все это просто: между пишущим человеком и читающим, вообще между человеком и человеком не должно быть ни подобострастия, ни фамильярности.

Если и была у меня нужда измышлять остранный образ читателя, то лишь затем, чтобы полюбоваться лицом человека, склоненным над книгой, обращенным к тому, что в нашем сознании может быть озаглавлено именем Пушкина или соответствует смыслу этого имени в другом языке, в другой географии. Я, подобно всем, кому прихожусь собратом и коллегой, не только кровно и зависимо соотношусь с читателем даже без явных сигналов его внимания и участия, но получаю письма и едва ли не каждый день вижу его воочию во время выступлений или других, преднамеренных или случайных, встреч. Среди неисчислимых любителей поэзии есть, — пусть немного, пусть сколько-то, — тех, кого я имею дерзость и нежность назвать моими читателями. Это значит лишь, что я разделяю с кем-то особенную страсть к родимой речи, к ее усугублению по мере жизни и к невредимой сохранности и что кто-то одобряет способ труда и жизни, которым я намеревалась этому послужить и не имела другой корысти. Способов столько, сколько поэтов, и покуда я не преуспела в том, чтобы мой показался мне совершенным. Но я знаю, что тот читатель, о котором я говорю, полагает, как и я, что слово равно поступку, и сознает его нравственное значение. Та любовь к поэзии, которая оборачивалась благосклонностью ко мне, бодрит и укоряет меня и держит мою совесть в надобном напряжении. И вовсе безотносительно ко мне, особенно во время дальних путешествий, меня не раз поражала высокая просвещенность современного читателя.

И еще я видела множество людей, никогда не читавших моих книг и не слышавших моего имени, но это их язык был дарован мне при рождении и был краше и больше моего, с ними связана я всею жизнью до последней кровинки.

Я надеюсь отслужить жизни, что знала ее благо, была читателем прекрасных книг и видела доброту людей, которым сейчас, на рассвете, я так сильно, так сосредоточенно желаю счастья в Новом году и всегда.

АНДРЕЙ

1937 **БИТОВ**

*Никаких скидок
читателю быть
не может.*

ПИСАТЕЛЬ И ЧИТАТЕЛЬ

Пытаясь ответить на подобные вопросы, сразу чувствуешь, что попал в ложное положение. Читатель у нас, как известно, самый. Во всех отношениях. Не дай бог его задеть или не воздать ему должное. Между тем он сам, в своей личной, неконтролируемой практике, куда менее обходителен, обеспеченный неотъемлемым правом читать или не читать, раскрыть или захлопнуть. «Тоска», «заумь», «вранье», «халтура», «чушь» – вполне достаточные и исчерпывающие определения его отношения, то есть он, читатель, вполне своими правами пользуется. Каковы же права писателя перед читателем? По-видимому, «не любо – не слушай, а врать не мешай».

Писатель здесь находится как бы в неравном положении: каждый может ему сказать, потому что, написав, он все сказал, высказался. Теперь наша очередь. Каждый может ему сказать, не каждого стоит слушать. Обсуждения, на которых всем дадут высказаться, характеризуются прежде всего тем, что, если сложить все мнения по принципу математического сложения сил, результирующий вектор окажется равным нулю. Мечущийся вслед за каждым мнением автор, впадающий из отчаяния в сладостное размягчение, окажется сидящим ровно в той же точке, на своем месте, только несколько распаренный и опустошенный.

Читатель хамящий и читатель лстящий взаимно сокращаются, находясь на полюсах трезвого отношения. Значительная середина в этом диапазоне – читатель, самовыражающийся в своем мнении. Тут можно встретить очень много интересных людей, которым следует рекомендовать самим написать то, чего они у вас прочли или не прочли. И где-то там, в глубине, на задних сиденьях, скромно мерцающий и возмущенный всеобщим непониманием, так и не высказывающийся *ваш* читатель, тот самый, сокровенный, понявший вас ровно в том смысле, в каком вы все это написали, не больше и не меньше, а – точно.

Не знаю, так ли уж надо его любить, вернее, надо ли его так уж любить, читателя, но уважать его надо. К этому я вижу лишь один путь: верить в его умственные, душевные и прочие возможности, ни в коем случае не снижая уровня требований к себе за его счет. В вопросах актуальной ныне проблемы качества никаких скидок читателю быть не может. Про человека известно, что он ищет, где лучше, с той же ответственностью, как рыба – где глубже. Однако, оказывается, тому, что чего лучше, еще обучиться надо; всю жизнь мы этому и учимся на примерах теперь уже более сложных, чем очевидное предпочтение тушенки баланде и отдельной

квартиры коммунальной. В тонкости предпочтения и заключена сама возможность качества как такового – качество качества.

Один умница так сказал (за точность цитаты не поручусь): «Принято считать, что родители должны любить детей, а дети – уважать родителей. Как раз наоборот. Родители должны уважать детей, и тогда детям ничего не останется, как любить родителей».

Мне всегда казалось, что писатель – это такой человек,



*Памятник И. Федорову
в Москве.*

для которого писать есть наиболее эффективный способ постижения жизни, то есть он познает на бумаге гораздо точнее, сильнее и глубже, чем в повседневной практике жизни, как бы он много ни «изучал» жизнь. Отсюда и сама потребность в письме. В жизни он не способен вызвать в себе того же напряжения духа, как за столом. В жизни он если и не глупее, то ординарнее. В этом и только в этом смысле писатель пишет «для себя». При этом (один больше, другие меньше) он и способен выразить нечто более ценное для всех, чем обычный речевой обмен опытом.

Конечно, в меру таланта и в силу накопленного опыта писатель становится способен и впрямую адресовать свое произведение читателю, уже без той жгучей личной необхо-



Типографский знак
И. Федорова.

Страница из «Апостола»
И. Федорова. 1564.

димости самому попытаться постичь им не познанное (не до конца познанное). Для честного писателя — это область «чистого» заказа. Когда его *требуют*. В моей практике, за исключением редких внутренних «посвящений» (страниц, адресованных конкретному человеку, с мысленным представлением его как читателя), таким заказом были «Уроки Армении», многое и в других «путешествиях». И все-таки удача при наличии такого «заказа» таится в проникновенности и личном открытии, своей пораженности целью.



Литературе так же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели. Именно на них, на этих талантливых, чутких, обладающих творческим воображением читателей, и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные силы в поисках образа, верного поворота действия, верного слова. Художник-автор берет на себя только часть работы. Остальное должен дополнить своим воображением художник-читатель.

Самуил Маршак

Итак, именно с личной заинтересованностью в постижении той или иной проблемы жизни, с неясным образом прекрасного, своего читателя за гранью стола пишется вещь, и в этом смысле она никогда не предназначена тому конкретному существу, которое, пользуясь своим неотъемлемым правом принадлежности себе, станет произведением «обладать». Успех же писателя волнует (конечно, волнует!), но волнение это вне пределов самой работы, когда полезное, а когда и просто суетное.

Однако долгое время может подвергнуть сомнению любое убеждение, любой опыт. Раз или два мне удалось лично столкнуться с тем идеальным читателем, которого могло рисовать лишь воображение. (Я не имею в виду читателя восторженного или льстящего, как бы приятна или неприятна ни была встреча с ним.) С одним из них меня связала личная дружба, длившаяся почти десять лет. Неоценима та помощь, которую на протяжении этих лет оказывала мне Елена Самсоновна Ральбе. Она старше меня более чем вдвое; ее читательский вкус и опыт многократно превосходили мой. Знакомство наше завязалось по переписке (опыт, никогда не бывающий удачным...), очень вскоре она оказалась первым читателем всех моих вещей. Когда в этом году ее не стало, я понял, что потерял вполне биографического человека. Она была не один из, а единственный читатель, которого мне послала судьба, замены которому не будет.

На практике приходится вооружаться наименее разоряющим творческую энергию цинизмом в отношении читательского восприятия: за тебя или против... Вывод из этого может быть только один: поскольку ты свое слово высказываешь первым, а потом отдаешь его на безответный суд, слово твое должно быть максимально полным, ты должен потребовать от себя все за столом, с тем чтобы быть уверенным, что сделал все, что мог, и вполне выразился.

Но тихий образ незримого читателя, воспринимающего тебя в твоём смысле, остается. В самом начале своей работы я разработал для себя следующую утешительную теорию: одного точного понимания со стороны достаточно для того, чтобы убедиться, что ты и был точен, ибо идентичное толкование может встречаться лишь в пределах истины, — двух одинаковых безумий не бывает, они не могут встретиться или встречаются с той же вероятностью, как столкновение в мировом пространстве двух астральных тел. Тебя поняли — ты не безумен. Тебя поняли — вот доказательство твоей нормы.

Читатель и писатель или писатель и читатель? Из тьмы ускользающих в глубине и тающих на поверхности смыслов этого соотношения я считаю необходимым для начала остановиться на порядке этих двух слов и предпочесть вторую комбинацию, поставив писателя первым. Хотя бы потому, что книга сначала пишется, а потом читается. Хотя бы и потому, что писатель сначала был читателем до него написанных книг.

Проблемы здесь никакой нет, потому что читатель и писатель есть реальное, действительное и действующее соотно-

шение производителя и потребителя, при котором контакт практически равен нулю. Мы не знаем лично того человека, который нам испек и сшил, и он не знает нас. Знакомство, мягко говоря, необязательно. Мы можем уважать чужой труд, лишь добросовестно исполняя свой, плодами которого сами пользуемся минимально. Возможность перечитывать собственные произведения приблизительно такова. Однако разница есть, и принципиальная, в этом личном незнании: человек, прочитавший твою книгу, лично знаком с тобой, поскольку всякое художественное произведение несет, как известно, отпечаток личности автора. И это одностороннее знакомство опять же ставит читателя на второе место. Поскольку он не представлен. Вместо него перед автором некое симпатичное, положительное, разумное, расплывчатое существо, увидеть которое во плоти грозит острым чувством неловкости.

Помнится, выпустив первую книгу, я очень хотел встретить человека в метро или автобусе, читающего ее. Этот случай мне выпал лишь лет через десять, когда книжек у меня было выпущено уже несколько, а читателя своего я так еще ни разу не видел (читателя, то есть читающего меня, а не кого-нибудь или что-нибудь, человека). Он ехал в метро, точно так, несложно, я это себе когда-то и представлял... Он читал и смеялся (приятно!). Но читал он не последнюю (лучшую) и не предпоследнюю (тоже ничего), а вот ту самую мою первую детскую книжку*. И мне показалось, что смеялся он над тем моим ожиданием его, живого, встретить.

Что и говорить, писатель и издатель казались мне к тому времени куда более реальным соотношением. Но издатель как читатель – это уже что-то другое. Критик как читатель тем более. Читатель из коллег, читатель-литературовед или трепетный читатель, сам пробующий свои силы в том же, простите, деле... Все это наши реальные до личного знакомства читатели – они-то и заслоняют тот первый и нежный образ читателя вообще, живого читателя, читателя *тебя*. Такой читатель, по-видимому, есть. Но он тайна. Обнаружив себя, он, как правило, переходит в одну из вышеперечисленных, более частных категорий, то есть исчезает, сохраняя, слава богу, соотношение писатель и читатель неизменным, то есть неизвестным.

Это сокращение ведомого мне читателя и сохранение таинственного, неведомого кажутся истинно благословением, оставляющим писателя наедине с собственной совестью, супротив самого себя.

*Я с первого
взгляда узнаю
настоящего
библиофила по
тому, как он
дотрагивается до
книги.*

**ЛЮБОВЬ
К КНИГАМ**

На своем веку я знавал множество библиофилов и убежден, что любовь к книгам делает сносной жизнь иных людей. Без некоторой доли чувственности настоящей любви не бывает. Книги приносят счастье лишь тому, кто испытывает наслаждение, лаская их. Я с первого взгляда узнаю настоящего библиофила по тому, как он дотрагивается до книги. Тот, кто, положив руку на какую-нибудь ценную, редкую, приятную на вид или хотя бы заслуживающую почтения старую книгу, не сжимает ее нежной и в то же время твердой рукой, не поглаживает ласково и сладострастно ее корешок, ее обрез, тот никогда не обладал тем инстинктом, который создает Гролье или Дублей *. Он может сколько угодно твердить, что любит книги, – мы ему не поверим. Мы ответим ему: вы любите их потому, что они приносят пользу. Но разве это значит любить? Разве может любить тот, кто равнодушен? Нет! В вас нет ни пыла, ни радости, и вы никогда не узнаете, как приятно гладить трепетной рукой прелестные ворсинки сафьяна.

Мне вспомнились два старичка священника *, которые в этом мире любили только книги и больше ничего. Один из них – каноник – жил недалеко от собора Парижской богородицы; в его тшедушном теле жила нежная душа. Это маленькое кругленькое тельце было создано для того, чтобы в нем укрывалась и пряталась душа каноника. Он задумал написать «Жития бретонских святых» и жил счастливо. Другой, викарий одного бедного прихода, был выше его, красивее и печальнее. Окна его комнаты выходили на набережные, и каждый божий день он видел лавки букинистов.

Миссия этих священников на земле заключалась в том, чтобы засовывать в карманы своих сутан старинные книги в переплетах из телячьей кожи и с красными обрезами. Занятие, несомненно, невинное, скромное и вполне соответствующее образу жизни служителей алтаря. Я сказал бы даже, что рыться в книгах, выставленных на парапетах, менее опасно, нежели созерцать природу в полях и лесах. Что бы там ни говорил Фенелон *, в природе назидательного мало. Ей недостает целомудрия, она провозглашает борьбу и любовь; она втайне сладострастна; она опьяняет нас множеством тончайших запахов: мы чувствуем, что нас осыпают поцелуями, обдают горячим дыханием. Даже в ее покое – вождедение. У некоего поэта, остро чувствующего атмосферу сладострастия, были все основания сказать:

Беги лесов, их тишины глубокой *.

Прогулка по набережным от одной распродажи к другой не таит в себе ни малейшей опасности такого рода: старинные книги не смущают сердце. Если иные из них и поведают о любви, то делают это языком былых времен, вышедшим из употребления шрифтом и одновременно наводят на мысли и о любви, и о смерти. Мой каноник и мой викарий совершенно правильно делали, проводя большую часть нашей скоропреходящей жизни между Королевским мостом и мостом Сен-Мишель. Их взору чаще всего представлялись



*Рукотисный молитвенник
(ок. 1454),
приспособленный для
пошения на поясе.*

*Книга в форме сердца.
Германия. 1590.*

Рисунок А. Филонова.

*«Парижская книжная
лавка». Гравюра XVII в.*



золотые цветочки, которыми переплетчики XVIII века украшали корешки переплетов из телячьей кожи, помещая их между полукольцами корешка. И несомненно, это более невинно, нежели лилии полевые: они не трудятся и не прядут, но они любят, и мотыльки заставляют трепетать их прелестные, таинственные венчики. О да, каноник и викарий были святыми людьми! Я думаю, что ни у того, ни у другого никогда не промелькнуло ни единой дурной мысли.

За каноника я отдал бы руку на отсечение: он был жизне-

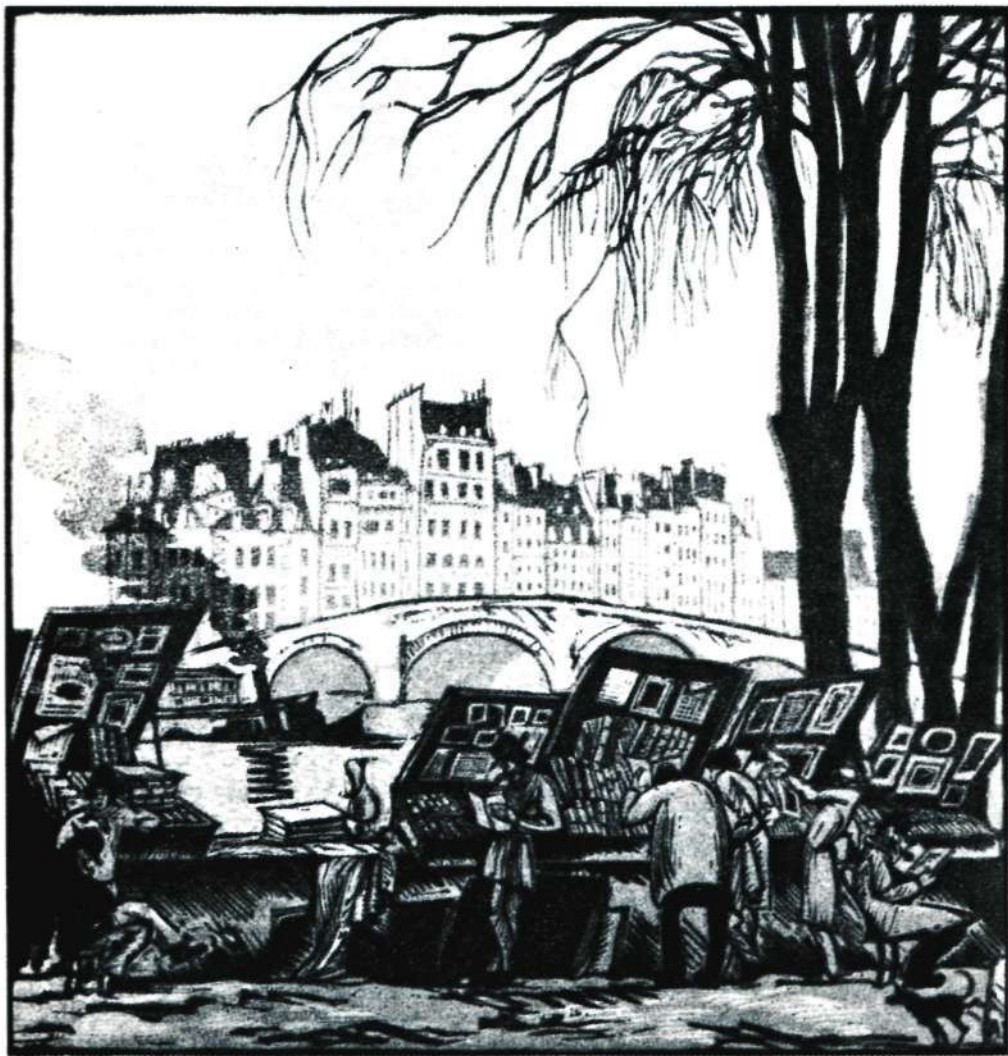


*"Смерть библиофага".
Гравюра XVIII в.*



радостен. В семьдесят лет у него были и душа, и щеки маленького ребенка. Золотые очки никогда не сидели на более бесхитроном носу и не помогали видеть более чистым глазам. Викарий, с его длинным носом и впалыми щеками, пожалуй, был святым; каноник же, конечно, был праведником.

185 Однако и этот святой, и этот праведник не были лишены чувственности. Они смотрели на свиную кожу переплетов с вождением, они ощупывали желтую телячью кожу со сладострастием. Это не значит, что радость и гордость они находили в том, чтобы оспаривать у владык в мире библиофилов первые издания французских поэтов, переплеты, изготовленные для Мазарини или для Каневари *, иллюстрированные издания в двух-трех частях. Нет, они были счастливы в своей бедности, веселы в своем смирении. Даже в свое



*А. Кравченко. «Париж.
Букшисть». 1926.*

пристрастие к книгам они вносили суровую простоту своей жизни. Они покупали только скромные издания в скромных переплетах. Они охотно собирали сочинения старых богословов, уже никому не нужные. Они с наивной радостью отбирали для себя те раритеты, к которым обычно относятся

*Люди перестают
мыслить, когда
перестают читать.*

Деши Дидро

пренебрежительно, — ими набиты лавки опытных букинистов, и цена им десять су. Они были довольны, когда им удавалось отыскать «Историю париков» Тьера или «Шедевр неведомого человека» доктора наук Кризоостома Матаназюса *. Сафьян они оставляли сильным мира сего. Их желания утоляли зернистая телячья кожа, желтая телячья кожа, баранья кожа и пергамент, однако это были горячие желания — в них были и пламя, и острота: это были те самые желания, которые христианская символика средних веков изображала в церквах в виде бесенят с птичьими головами, с козлиными копытами и с крыльями летучей мыши. Я видел, видел, как г-н каноник любовно поглаживает прекрасный экземпляр книги «Жития отцов-пустынников» в переплете из зернистой телячьей кожи. Это грех. И усугубляет вину каноника то, что книга эта янсенистская *. Что же касается викария, то в один прекрасный день он получил в подарок от некой старой девы экземпляр эльзевировского издания «Подражания Христу» *, переплетенный в пурпурное сукно, на котором благочестивая дарительница собственноручно вышила золотую церковную чашу. Он покраснел от гордости и от удовольствия и воскликнул: «Это подарок, который оказал бы честь самому господину де Боссюэ!» Мне хочется думать, что и мой викарий, и мой каноник обрели спасение и пребывают ныне одесную Отца. Но за все приходится расплачиваться, и в Книге Ангела *,

In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur¹,

записаны и грехи викария, и грехи каноника. И кажется мне, что я читаю в этой Книге книг:

«Такого-то числа на набережной Вольтера г-н каноник получил наслаждение от ласковых прикосновений. Такого-то числа вдыхал ароматы в книжной лавке на набережной Великих Августинцев... Г-н викарий — «Подражание», Эльзевир, малое издание in octavo: гордыня и вожделение».

Вот что, вне всякого сомнения, написано в Книге Ангела, которая будет прочитана в день Страшного суда.

Ах, добрый викарий! Ах, чудесный каноник! Сколько раз видел я, как они рыскали по лавкам на набережных! Если вам попадался один из них, вы могли быть уверены, что вскоре набредете и на другого. А между тем они отнюдь не искали встреч, скорее они избегали друг друга. Приходится признаться, что они чуточку друг друга ревновали.

Да и как могло быть иначе, коль скоро охотились они на одних и тех же землях? Каждый раз, как они встречались — иными словами, ежедневно, — они обменивались длинными и чрезвычайно ласковыми приветствиями, а сами в это время зорко следили друг за другом, и каждый пронизывал взглядом карман другого, набитый книгами. Да и по натуре это были совсем разные люди. Благостное и простодушное мировоззрение каноника не могло удовлетворить викария, чью душу раздирали противоречия и ученые споры. Каноник уже здесь, на земле, вкушал мир, обещанный тем, кто

¹ В которой записано все, в чем должен покаяться м и р. — Строки из Ревиема (лат.).

Книга, в которой впервые познакомился с каким-то произведением, как платье, в котором впервые увидел любимую: оно напоминает нам, чем она была тогда для нас и мы для нее. Отыскивать подобные книги — единственный для меня способ быть библиофилом. Издания, в которых я впервые прочел какие-то произведения, в которых они впервые тронули мое воображение, — вот единственные «первые» издания, «оригинальные издания», любимцем которых я являюсь.

Марсель Пруст

чист сердцем. Викарий же, подобно Блаженному Августину и великому Арно, подставлял чело свое бурям. Он столь свободно высказывался о его высокопреосвященстве, что доброго каноника, несмотря на теплый жилет, мороз подирал по коже.

Каноник не был создан для трудностей. Однажды я встретил его очень удрученным. Дело было перед зданием Института Франции; шел короткий мартовский дождь со снегом. В мгновение ока налетел шквал, и порыв ветра снес в Сену брошюры и карты, разложенные на параштах. Кроме того, он унес и большой красный зонт каноника. Мы видели, что он взлетел на воздух, потом упал в реку. Каноник никак не мог успокоиться. Он призывал всех бретонских святых и обещал десять су тому, кто вернет ему зонтик. А зонт тем временем мирно плыл по направлению к Сен-Клу. Через четверть часа прояснилось, и под лучами солнышка этот милейший служитель алтаря, с еще не высохшими глазами, но с улыбкой на устах, покушал у папаша Мароле старинное издание Лактанция и радовался, читая фразу, набранную красивым альдовским курсивом *: *Pulcher hymnus Dei homo immortalis* ! Альдовский курсив заставил его забыть об утрате зонтика.

В ту же пору мне доводилось встречать на набережных одного еще более странного библиомана. Он взял себе за правило вырывать из книг те страницы, которые ему не нравились, и, так как он обладал тонким вкусом, в его библиотеке не осталось ни единого целого волюма. Его собрание книг состояло из клочков и обрывков, для которых он заказывал великолепные переплеты. У меня есть основания ни в коем случае не называть его имени, хотя он давно уже умер. Те, кто знал его, поймут, о ком речь, если я скажу, что сам он был автором роскошно изданных, хотя и странных книг по нумизматике, которые выходили отдельными изданиями. Подписчиков было немного; к их числу принадлежал одержимый собиратель книг — полковник Морен, имя которого пользуется громкой известностью среди знатоков. Он подписался первым и весьма аккуратно являлся за каждой книгой, как только она выходила из печати. Но однажды он должен был отправиться в какое-то довольно долгое путешествие. Вышеупомянутый книголюб узнал об этом. Он тотчас выпустил следующее издание и разослал подписчикам такое уведомление: «Все экземпляры последнего издания, не выкупленные подписчиками в двухнедельный срок, будут уничтожены». Он очень рассчитывал, что полковник Морен не сумеет вернуться к этому времени и выкупить свой экземпляр. В самом деле, это было невозможно. Однако полковник совершил невозможное и на шестнадцатый день явился к автору-издателю в ту самую минуту, когда тот бросил этот экземпляр в огонь. Между двумя собирателями книг завязалась борьба. Победителем, вышел полковник: он вытащил листки из пламени и торжественно принес их на улицу Буланже к себе домой — там он нагромождал всевозможные обломки прошлых веков. У полковника были саркофаги, лестница Латюда *, камни Бастилии. Он принадлежал к тем

Бессмертный человек — это прекрасный гимн богу (лат.).

людям, которые не прочь засунуть вселенную в шкаф. Это мечта любого коллекционера. А так как мечта эта неосуществима, то настоящие коллекционеры, подобно влюбленным, даже в счастье обретают бесконечные страдания. Они прекрасно понимают, что им никогда не удастся запереть земной шар на ключ. Отсюда их глубокая меланхолия.

Я был знаком также и с крупными библиофилами – с теми, кто собирает инкунабулы *, скромные памятники ксилографии * XV века и для кого «Библия бедных» с ее аляповатыми картинками таит в себе большее очарование, нежели все красоты природы и все чудеса искусства, вместе взятые; с теми, кто коллекционирует книги в царски роскошных переплетах, изготовленных для Генриха II, Дианы де Пуатье и Генриха III, штемпеля и ролики для тиснения XVI и XVII веков, которые в наше время Мариус воспроизводит, придавая им правильные линии, не свойственные оригиналам; с теми, кто стремится стать обладателем сафьянных переплетов с гербами принцев и королей; с теми, наконец, кто охотится за прижизненными изданиями наших классиков. Я мог бы нарисовать вам портреты некоторых из них, но, думаю, они были бы для вас не так заняты, как портреты моего бедного викария и моего бедного каноника. С книголюбями дело обстоит точно так же, как и со всеми людьми на свете. Нас интересуют отнюдь не самые одаренные и ученые из них, а смиренные и чистые сердцем.

И потом – сколь бы ни были красивы и изящно изданы тома, которыми наслаждаются книголюбы, сколь бы ни возторгались они какой-то книгой, будь это даже «Гирлянда Жюли» *, искусно переписанная Ж а р р и , – все же есть нечто такое, что я ставлю выше этого, а именно бочку Диогена. В ней вы свободны, тогда как книголюб – раб своих собраний.

Мы сейчас создаем слишком много библиотек и музеев. Наши отцы меньше нас занимались подобными делами и лучше нас чувствовали природу. Бисмарк имел обыкновенные подкреплять свои аргументы такими словами: «Господа, я высказал вам соображения, которые внушают мне не зеленым сукном моего стола, а зеленой природой». Этот образ, несколько странный и примитивный, полон силы и сочности. Я, во всяком случае, бесконечно высоко ценю его. Хорошие мысли – это мысли, которые внушает нам живая природа. Собирать коллекции – хорошее занятие, но прогулки еще лучше.

Со всем тем я признаю, что пристрастие к хорошим изданиям и красивым переплетам – это пристрастие человека порядочного. Я чту людей, которые хранят прижизненные издания наших классиков – Мольера, Лафонтена, Расина , – столь благородные ценности составляют славу дома.

Но за неимением этих редкостных и превосходных изданий вы можете довольствоваться великолепной книгой, в которой Жюль Ле Пти весьма подробно их описывает * и помещает факсимиле их титульных листов. Здесь представлены первые издания всей нашей литературы, начиная с «Романа о Розе» и кончая «Подем и Виргинией». Этот сборник

нельзя перелистывать без волнения. «Так вот какими впервые представились взору современников «Письма провинциала» и «Басни» Лафонтена! – говорите вы. – А этот томик in quarto с широкой виньеткой в стиле эпохи Возрождения, изображающей пальму в рамке, – это «Сид» – такой, каким он появился в 1637 году у парижского книгопродавца Огюстена Курбе в маленьком зале Пале-Рояля под вывеской, на которой красовалась пальма, и с девизом: *curvata resurgo*. А эти шесть волюмов in duodecimo, заглавие которых, разделенное гербом в стиле Людовика XV, составлено таким образом: «Письма двух влюбленных, живших в городке у подножия Альп, собранные и напечатанные Ж. Ж. Руссо в Амстердаме у книгоиздателя Марка Мишеля Рэ, 1761», – это «Новая Элоиза» в том виде, в каком она заставляла плакать наших прабабушек. Вот что видели, вот что держали в руках современники Жана Жака!» Такие книги – это реликвии, и есть нечто волнующее в их облике, который показывает нам Жюль Ле Пти. Этот почтенный человек совершенно примирил меня с библиофилами. Признаем же, что любви без фетишизма не бывает, и отдадим справедливость влюбленным в старую, испещренную типографскими знаками бумагу: они точно такие же безумцы, как и все влюбленные.

1888

1
Выпрямляю согбенное
(лат.).

2
В двенадцатую долю
листа (лат.).

ФРАНЦИЯ

ПОЛЬ

1868–1955

КЛОДЕЛЬ

*Библиотека —
это гербарий
чувств
и страстей,
сосуд, где
хранятся
засушенные
образцы всех
цивилизаций.*

Дамы и господа!

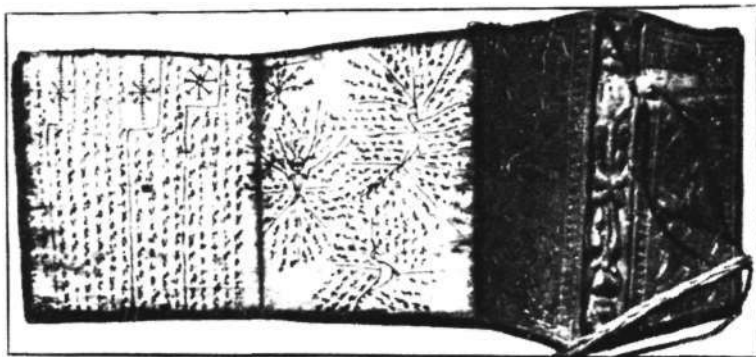
Архивы человеческой памяти похожи на дальневосточные книги: их читают с конца, и страницы постепенно угасают и блекнут по мере того, как через многочисленные слои погружаешься в них до самого названия, так и остающегося не постижимым. Заглядывая в рассыпающийся том моей жизни, жизни путешественника *, в самых ближних слоях я нахожу японские гравюры, слегка закопченные дымом землетрясений и пожаров, и среди них — несколько прекрасных работ. Затем я вижу скандинавские тексты цвета гагачьего пуха и воды. И наконец, под бразильскими напластованиями с бьющимся сердцем, как мелодию, не заглушенную, но очищенную временем, я обретаю нескончаемую Италию, где прошли мои лучшие годы, вечный горизонт моего воображения, имя, постоянно звучащее в глубине моей души.

ФИЛОСОФИЯ КНИГИ

Вслед за столькими паломниками, первым из которых был древний Эней *, я восхищенно повторял это имя, когда в 1915 году, оказавшись по ту сторону Альп, разорвал круг старой зимы и, как и сегодня, собираясь выступить с публичными лекциями, спускался к Лаго-Маджоре, к Милану, к впервые представшей моему ослепленному взору Флоренции, к Риму! И мне открылась совершенно подлинная, совершенно нагая Италия; она была лишена малейшей примеси чуждого духа и трепетала от строк поэта, звавших на бой *, которому суждено было продлиться целых три года. В июне, когда я покинул Рим, война была только что объявлена; а когда я вновь возвратился туда в октябре, собираясь пробыть там несколько месяцев, уже была в разгаре тяжелая битва — целый народ совершал огромное усилие, стараясь, чтобы Альпы затрещали под его плечом! В тот раз на меня была возложена экономическая миссия, и для ее выполнения мне пришлось исколесить Апеннинский полуостров вдоль и поперек. Таким образом, я могу сказать, что познакомился с вашей страной не как турист, дилетант, искатель острых ощущений, любитель мертвых вещей и праздных удовольствий, но как товарищ, коллега, которому открыты глубинные силы и вечные источники, разбуженные неслыханным кризисом. И должен признаться, что больше, чем памятники былого величия, которым обстоятельства не позволяли мне без угрозы совести уделять должного внимания, меня, не только как дипломата, но и как поэта, заинтересовали живые люди, живая Италия в решающий миг своей судьбы, народ — один из самых здравомыслящих, самых доброжелательных в полном смысле этого великолепного слова, самых си-

льных и, быть может, несмотря на долгое прошлое, самых молодых и многообещающих народов из всех, какие когда-либо видел путешественник, имеющий право на многочисленные сравнения.

Сегодня французское правительство, памятуя о моем двойном призвании – экономиста и писателя, – оказало мне большую честь, вновь доверив, на сей раз в более мирное время, держать речь от его имени в этой столице искусств. Я смог, испытывая, если позволительно так выразиться, чув-



*Шумерские глиняные
таблички (2700 г. до
н. э.).*

*Древняя лубяная книга
с острова Суматра.*

ство шелковичного червя, который присутствовал бы при разматывании собственного кокона, окинуть взглядом профессионала эти прекрасные залы и огромные витрины, где на всех языках мира тихо шелестят книги. А поскольку длительное пребывание на Дальнем Востоке сделало меня созер-

пателем буквы и сверхчувственного вечного знака, я хотел бы сейчас вместе с вами поразмышлять над тем, что я, с вашего позволения, назову физиологией книги, а также об историческом разнообразии форм этого вместилища едва устоявшейся мысли, этого сосуда, на дне которого кристаллизуются и вырисовываются образы Прошлого, картины Настоящего и ростки Будущего, этого камня, который каждый автор, даже не ведая о целях Странительства, вкладывает в огромное здание человеческого Взаимопонимания.



*Фестский диск (ок.
1700 г. до н.э.),
найденный на острове
Крит; до сих пор не
расшифрован.*

Книга состоит из страниц, а страница – из слов. Мне хочется доставить себе удовольствие и повнимательней приглядеться к слову, странице и книге.

Слово, это значащее пятно на белом фоне, достигло зенита своей славы, обрело свой лучезарный и непреходящий смысл не в западных рукописях, где оно – всего лишь суетливая часть фразы, отрезок пути к смыслу, след уходящей мысли. Такое слово – призыв не останавливаться и продолжать движение взгляда и мысли до конечной точки. Китайское слово, на п р о т и в, – абстрактный образ вещи, ключ к постижению смысла; оно остается недвижимо под взором читателя, словно светящаяся пентаграмма перед глазами доктора Фауста на гравюре Рембрандта. Я подкреплю мою мысль маленьким примером. Иероглиф, обозначающий по-китайски *воду*, – условная закорючка, символизирующая движение жидкости. Кисть писца добавляет сбоку точку: это

означает *лед*. Он ставит точку сверху: получается *всегда, вечность*. Таким образом, то, что было движением по преимуществу, застывает в своего рода абстрактной неизменности, как водопад, издали кажущийся неподвижным. Нет ни одного китайского иероглифа, не оставляющего места для подобной точки.

<...> Но я не прав, говоря, что наука и искусство слова существуют только на Дальнем Востоке. Мне следовало бы вспомнить, что краткая надпись всегда была и поныне остае-



*Ацтекский бог
Кецалькоатль. XVI в.*

*Образец хеттского
письма (ок. XV в. до н. э.)*

тся характерной для Италии, унаследовавшей в этом отношении древнейшие традиции человечества. Ваша история полна великих страниц; ваши папы, князья и республики украсили памятники архитектуры памятниками словесны-

ми, столь же величественными, что и искупительные заклинания, высеченные паломниками-буддистами на стенах тибетских акрополей. И древней, и новой латыни всегда подобало быть высеченной в камне.

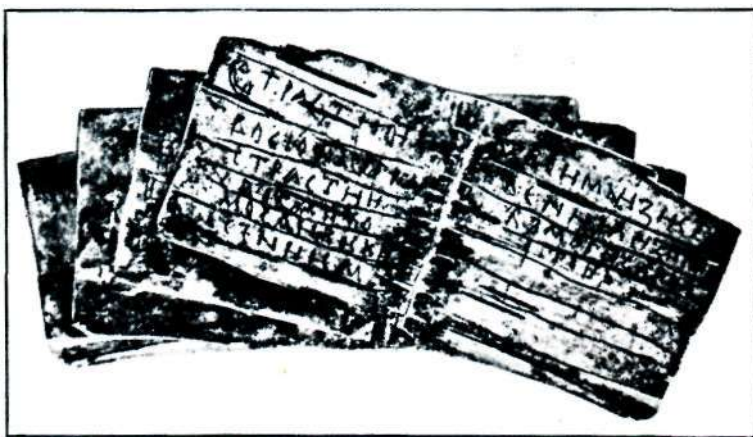
Но надпись уже не есть чистое и простое слово, единственная, вневременная и самодостаточная вокабула. Речь уже идет о том, что я называю *страницей*, – об архитектуре строк, замкнутых в рамку и определяемых ею. Титульные листы прекрасных итальянских ин-фолио XVI и XVII веков



Письменность древней цивилизации долины Инда.

Египетский папирус (ок. 2000 г. до н.э.).

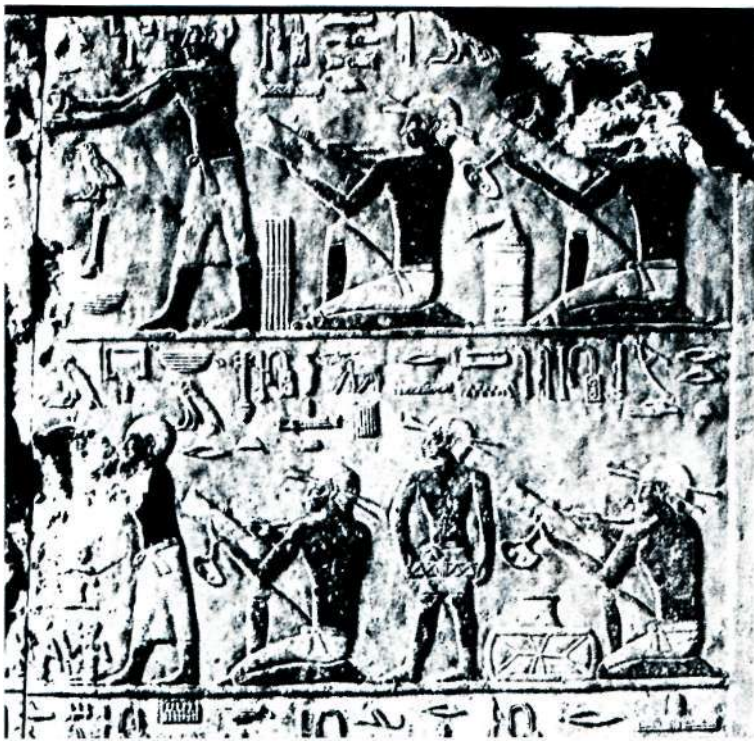
Берестяная книга из древнего Новгорода.



с их совершенным расположением букв, я чуть не сказал «различных архитектурных ордеров», с их блистательным и чистым сочетанием черного и красного цветов, нежно оттененным восхитительной гравюрой-заставкой, являют нам законченные образцы такой архитектуры. Эти типографские здания прекрасны, словно фасады Палладио и Борромини. А сами тексты старых рукописей – это шествие прописных букв романского алфавита, где каждая буква похожа на статую, на часть акведука или колоннады, и цепь их образует фриз на столь же величественных стенах. Мне вспоминаются старые каролингские евангелия, золотые буквы унциального шрифта *, подобные мозаике на пурпурных византийских

грамотах. Сегодня это искусство заголовка, заслуживающее названия типографской картины, переживает своего рода возрождение в прессе и рекламе. Стефан Малларме часто восхищался расположением текста на некоторых афишах, первой страницей газет, в ту пору еще не испорченных фотографиями. Он почерпнул в них замысел одной из самых любопытных своих поэм, которой я вскоре еще коснусь: «Удача никогда не упразднит случая».

Однако с течением времени ум человеческий становится



Древнеегипетские пись.

подвижнее, поле деятельности его расширяется, строчки сжимаются, почерк делается округлее и мельче. Вскоре полиграфия ловит и клиширует эту влажную трепетную пелену, вылетевшую из крохотного клюва пера и застилающую страницу, и делает из нее матрицу, с которой можно напечатать бесчисленное количество экземпляров. И вот, не подвластный отныне капризам хрупкой тростниковой палочки, человеческий почерк в каком-то смысле стилизуется, упрощается, как механический орган, как дырявая пленка музыкальной шкатулки, текст же утверждается в своей безличности, окончательности, всеобщности и абстрактности.

С тех пор как на смену свитку, разворачивающемуся некогда в руках читателя, как река, пришла книга, текст выстраивается в строчки, в наслаивающиеся одна на другую линии, складывается в страницы – прямоугольные массы, последовательно открывающиеся нашему взору в портике

бумаги. Страница в первую очередь определяется соотношением печатного текста, или *выключенных строк*, и полей, или *марзана*. Соотношение это не только материально, оно — образ всего того невыразимого, но не бездеятельного, не бес- телесного, что окружает всякое движение мысли, облеченной в слово; образ близлежащей тишины, из которой родился этот голос, в свою очередь пропитанный ею; нечто подобное магнитному полю. Это соотношение слова и безмолвия, текста и пустоты является источником особой поэзии, поэтому



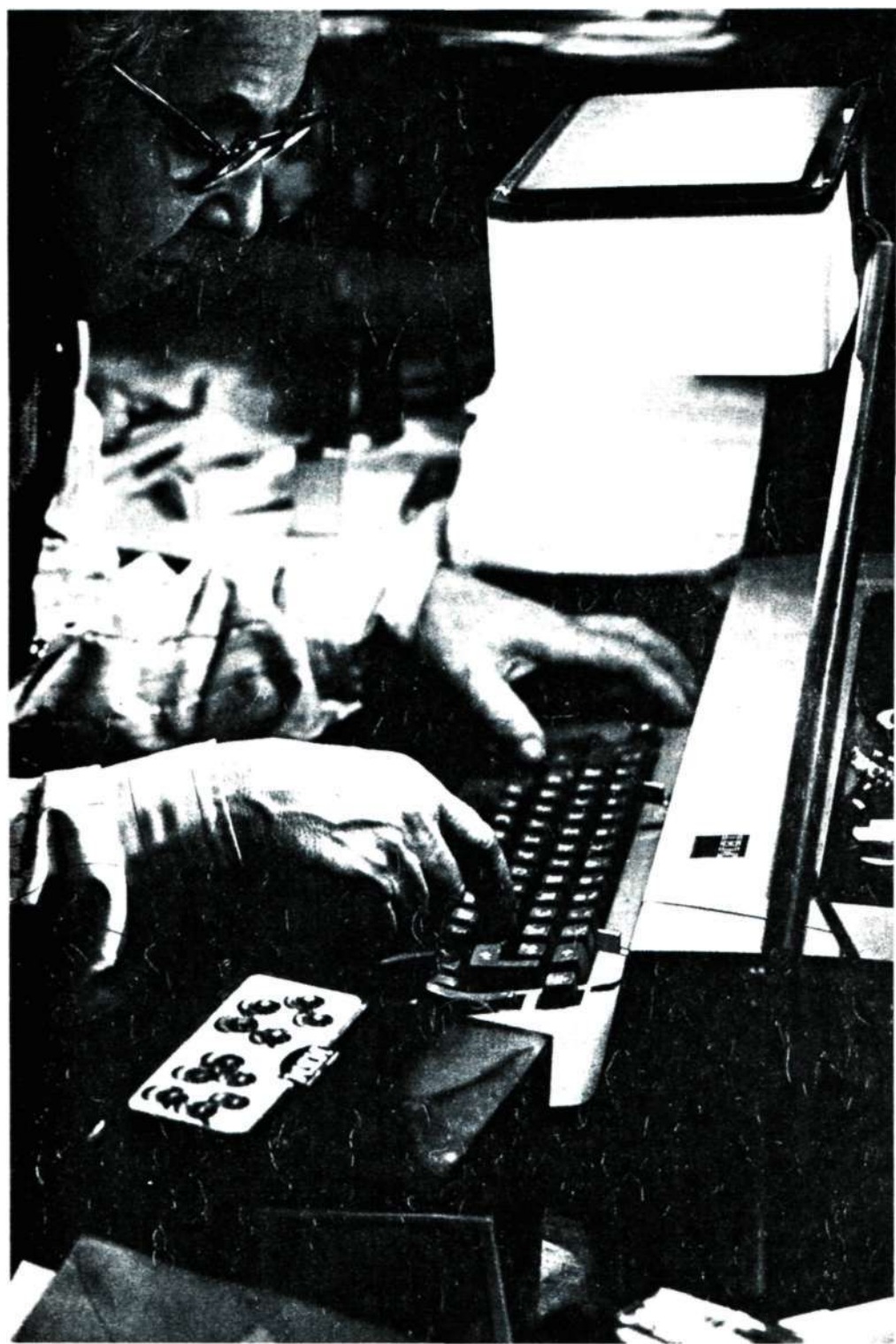
Самый древний латинский текст.

А. Дюрер. «Эразм Роттердамский». 1526.



страница — вотчина поэзии, как книга — по преимуществу вотчина прозы.

И в самом деле, пробелы в стихах — не только материальная необходимость, навязанная извне. Они — условие существования поэзии, ее жизни и дыхания. Стихотворная строка останавливается не оттого, что подступила к материальной границе и ей не хватает пространства, но оттого, что выпол-



нила свое предназначение и ей нечего больше сказать. Отношение между стихами и страницей, на которой они расположены, подносом, на котором они нам поданы, словно японские жардильерки, заключающие в миниатюре целый пейзаж, можно назвать в каком-то смысле музыкальным. Каждая страница открывается нам, как одна из многочисленных террас большого сада; взор, мгновенно пожирающий их одну за другой, отмечает как моментальные ориентиры то слово, наполовину заслоненное *заглавной буквой*, то группу слов, подобную пряному цветку или тису. Любителю, листавшему страницы толстого веленевого тома, где, например, разворачиваются и следуют одна за другой, словно колесницы, нагруженные сокровищами и трофеями, строфы коммуса * и октавы Тассо или Ариосто, нет нужды читать поэму, чтобы впитать ее. Он не читает, он прогуливается, как в цветнике, он предпочитает не разглядывать отдельные элементы, но охватить целое. Как человеку достаточно порой двух-трех слов, обстановки и тона беседы, чтобы насладиться общением, так посреди просторных газонов, избородивших своим ненасытным шрифтом всю страницу, глаз восхищенно и как бы боковым зрением наслаждается каким-нибудь прилагательным, которое внезапно взрывается в пустоте, подобно алому огненному сполоху. Каждое стихотворение замкнуто в себе и должно было бы иметь свою собственную форму. Поэтому в поэтических сборниках всегда есть нечто вымученное и несвязное, разве что, как в «Цветах зла», атмосфера их столь неповторима, что членение на части кажется только необходимым следствием расположения ярусами и законов перспективы *.

Это значение страницы, эта мысль о необходимом соотношении поэтического содержания с его материальной формой, полноты с пустотой подсказали Стефану Малларме идею его последнего творения, большой типографской поэмы, о которой я уже упоминал, «Удача никогда не упразднит случая». Малларме считал, что не все части поэмы одинаково значительны, не все звучат с равной силой. Есть утверждения, которые нужно как бы выкрикивать, которые необходимо запечатлеть огромными буквами, независимо от того, могут ли последовать за ними в относительно ясных или бессвязных, скромных или дерзких строках резкие выпады. Есть, напротив, слова сокровенные и совсем крошечные, тайные частички, прячущиеся среди страниц, которые мы листаем трепещущими пальцами, или в толстом томе, куда можно проникнуть лишь с помощью ножа. И я вспоминаю одинокое слово «*непо*», набранное курсивом наверху большой пустой страницы, подобное снежинке или пушинке, оброненной вспорхнувшей голубкой. Малларме эта работа представлялась лишь первым наброском большой поэмы, где он, по образцу древнегреческих философов, хотел дать обоснование всему сущему; страница ее должна была стать не просто равнодушным вместилищем, но самим инструментом, как скрипка – инструмент музыканта.

вернее, небольшой кирпичик, еще не утративший сходства с халдейскими таблетками – хранилищем Архивов человечества. Именно эта совершенно готовая поверхность удерживает осадок прошлого – разнородные события и двухмерные образы, которые течение Истории оставляет на своем пути. Большая библиотека всегда напоминает мне пласты угольной шахты, полной окаменелостей, отпечатков, загадок. Здесь, во мраке, современная Наука, наследница колдунов и алхимиков, хранит секреты, знание которых дает власть над природой. Это гербарий чувств и страстей, сосуд, где хранятся засушенные образы всех цивилизаций. Это, наконец, лаборатория воображения, экран для лучей волшебного фонаря, где дух, не удовлетворенный грубым скоплением живых существ и событий в повседневной жизни, пытается с помощью вымысла упорядочить мир, установить ясные и гармоничные соотношения, дабы дать волю чувствам, которые в окружающей нас будничной жизни выражаются лишь неполно и искаженно. История, наука, нравственность, вымысел – область прозы. Здесь содержание не умещается на одной странице. Ему необходима целая книга, сборник, не просто лист для тиснения, но глубокий сосуд, способный вместить и сохранить часть реальности или, вернее, той живительной духовной силы, которой она пропитана.

Любопытно проследить историю Книги в разные эпохи, начиная с изобретения книгопечатания. Все началось с больших страниц массивных ин-фолио, испещренных тесно набранными строчками. Они свидетельствуют о тех простодушных временах, когда философы и ученые воображали, что строят нерушимые памятники на все времена. Но бумага, на которую ложилась эта вечная истина, никогда не была достаточно прочной, кожаные и деревянные ограды – достаточно надежными. Всему этому требовался глубокий покой Хранилища рукописей и тех долгих дней, когда благочестивый взор школяра неустанно вглядывался в эти канонические тексты. Затем книга становится легче, пропорциональнее, современнее. Но она все еще остается кладезем вечной мудрости; украшенные фамильным гербом книги аккуратно располагаются на полках, как белье в шкафу, как бутылки в погребе, как апельсиновые деревья в оранжерее. Наконец, начиная с XIX века книга постепенно перестает быть недвижимым имуществом, частью приданого или наследства. С одной стороны, у нее есть владелец, который часто переезжает с места на место и живет в тесноте; с другой стороны, из предмета роскоши она превращается в предмет первой необходимости. В конце концов читатели, выросшие в огромный народ, замечают, что ученые расходятся во мнениях, что мода меняется. Их все более взыскательные и утонченные вкусы и жажда информации требуют все новой и новой пищи для насыщения и развлечения. Книга теряет свои доспехи, защищавшие ее от власти времени, и становится преходящей; теперь это не более чем собранная под одной яркой и непрочной обложкой стопка листов грубой бумаги, сшитая белыми нитками.

*Книга жизнеспособна
лишь в том случае,
если дух ее
устремлен в будущее.*

Отюфе де Бальзак

Сегодня перед писателем – публика, которую можно сравнить с вращающимися решетками, сортирующими по весу попадающий в них материал. На первом месте стоит *Ежедневная Газета*, любопытнейшее устройство, которое заслуживало бы отдельного подробного изучения, она подвергает сырую мысль первичной обработке. Затем следует *Журнал*, иллюстрированный или нет, общий или технический, еженедельный, ежемесячный, ежегодный – весь огромный репертуар периодической печати. Дальше идет собственно *Книга*, в первую очередь книга, едва отличная от журнала, существующая, чтобы ее взяли в руки раз, другой, бросили, измяли, изорвали, вещь, которую покупают в вокзальном киоске одновременно с коробкой шоколадных конфет. Еще дальше книга – пособие по работе, неизменный источник справок, наставник в науке, технике, юриспруденции, зажатый в своей утилитарной униформе, как бухгалтер в своем сюртуке или рабочий в своей спецовке. Движение мысли и прогресс науки делают ее недолговечной. Наконец, после войны во Франции появилось нечто новое – книга как *предмет роскоши*. Постоянное колебание бесконечного полотна, которое в непрекращающемся движении взад-вперед взвешивает, отсеивает и просеивает литературный материал, выделило в бесконечно возросшей куче Старого и Нового подделки мысли, кажущиеся ему достойными более пристального внимания, и возвело их в ранг безделушек, способных более изысканно украсить интерьер по образцу ваз и тканей.

Многие издатели, под стать ловким портным, заботливо наряжают книги, чтобы соблазнить покупателей, чей взор чувствительнее, нежели ум, так что они рады заменить настоящее овладение книгой обладанием ею. Как бы то ни было, благодаря двум могучим инстинктам: любви к редкостям и страсти коллекционера – книги, на мгновение оказавшиеся в опасности, нашли сегодня убежище, охраняющее их не только от тления и червей, но даже от более изощренного врага – читателя. Отныне они смогут, как лакированная позолота в темноте, как шкатулка, шелковый платок или бутылка вина, постепенно достигать на полках библиофила той зрелости, подспудного и тайного наступления которой наверняка не спугнет никакой мимолетный взгляд и чей пленительный аромат глубоко спрятан.

Я кончил и не без сожаления вынужден обойти молча некоторые аспекты моей темы, заслуживающие более внимательного рассмотрения. Например, вопрос об иллюстрации, какой бы мы ее себе ни представляли: может быть, она будет закладкой, ориентиром в пустыне текста, отдыхом и подкреплением для бедного странника; может, незаметно расширив свое поле деятельности, место ее займет сама типографская литера, которая примется строить гримасы всеми своими черточками, а может, сама книга естественно приоткроется и внешняя реальность войдет в ее отвлеченные описания, словно луч света в темную комнату, и таким образом глаз получит возможность помочь воображению. Сочетание рисунка и типографского дела осуществляется разными

ИОАННЕС Р. БЕХЕР

ЧИТАЮЩИЙ

В купе экспресса, мчащегося в ночь,
Он книгу спутницей ближайшей избирает.
Не в силах нетерпенья превозмочь,
Страницу первую с волнением открывает
И перед ней послушно замирает...
И вот стихи, дождавшись диалога,
В глазах чтеца уже отражены,
Вспорхнут сейчас... Но тою же дорогой.
Что поезд мчит, они сопряжены.

То мысль чтеца прикована к странице,
То вдаль быстрее поезда летит,
Но лишь страница соскользнуть стремится
С единственного своего пути,
Кладет читающий ладонь на книгу-птицу,
Чтоб задержать еще на миг страницу
И в память ее образ занести.

(Перевод А. Найды)

ФРАНЦИЯ

МАРСЕЛЬ

1871–1922

ПРУСТ

*Есть люди,
с которых
довольно
насладиться
очаровавшей
их книгой, как
цветком...*

ВЛАСТЬ РОМАНИСТА

Все мы пред романистом – как рабы пред императором: одно его слово, и мы свободны. Благодаря ему мы переходим в иное состояние, влезаем в шкуру генерала, ткача, певицы, сельского помещика, познаем деревенскую жизнь и походную, игру и охоту, ненависть и любовь. Благодаря ему становимся Наполеоном, Савонаролой, крестьянином и сверх того – состояние, которое мы могли бы так никогда и не познать, – самими собой. Он – глас толпы, одиночества, старого священника, скульптора, ребенка, лошади, нашей души. Благодаря ему мы превращаемся в настоящих Протеев, поочередно примеряющих все формы существования. Меняя их, мы ощущаем, что для нашего существа, обретшего такую ловкость и силу, формы эти не более чем игра, жалкая либо забавная личина, лишенная какой бы то ни было реальности. Наши невзгоды или успехи на мгновение перестают нас травмировать, мы играем ими, как и невзгодами и успехами других.

Вот отчего, перевернув последнюю страницу прекрасного романа, пусть даже и грустного, мы чувствуем себя такими счастливыми.

1895–1900

ИСТИННАЯ КРАСОТА

Есть люди, с которых довольно наслаждаться очаровавшей их книгой, как цветком, ясным днем, женщиной. Другие, боясь обмануться в себе, отравляют собственное удовольствие желанием проверить, насколько оно глубоко, обоснованно.

Их неотвязно мучает вопрос: а в самом ли деле книга доставляет наслаждение моему уму или все это только дань моде, только инстинкт подражания, благодаря которому вкусы поколения так единообразны, или еще какая-либо недостойная склонность? Вот их и бросает от книги к книге, носит по волнам безжалостным ветром тревоги, так что они не в силах ни остановиться, ни кусить невинное счастье. Настает, однако, день, когда они как будто обретают свою заветную пристань, тихую благодатную гавань, где их со всех сторон окружают недвижные зеркала красоты. Их привел в этот мирный край Флобер или Леконт де Лиль, и красота, которая им открылась, столь очевидна, ее источники столь ясны, что, уверившись на сей раз в истинности пленившей их красоты, они долго ею наслаждаются. Но потом ими вновь овладевает сомнение, вызванное, по-видимому, бледным воспоминанием об истинной красоте, которую они, возможно, со-

зеркали, прежде чем душа их обрела плоть: ведь не может же быть истинная красота до такой степени внешней — человеку присуще скорее предощущать и любить ее как душу, просвечивающую в несчетных тенях, нежели схватить ее материальный облик так непосредственно, так совершенно, что ему удастся воссоздать поистине равноценные подобия. И снова яростный ветер тревоги касается их своим беспощадным крылом. Они покидают Гавань, уже не отвечающую их грезам о божественном покое, и, возобновив свое



*Г. Терборх. «Читающий
молодой человек».*

плавание, мятущиеся и истерзанные, вновь пускаются на поиск красоты, вызывая насмешки тех, кто наслаждается книгой, как цветком, ясным днем, женщиной, и видит в этих беспокойных странниках безумцев, одержимых манией пре-

следования. Беспокойство – и впрямь томительное, как бред, как болезненная мнительность, отталкивающая художников, словно они обманщики, прельстительные отравители и , – тяготящее эти души, которые жаждут чего-то, чем одаряет, возможно, одно небо и что здесь, на земле, человек получает взаимы, на срок, только благодаря наивной непосредственности.

1890-е гг.

К. Коро. «Читающая женщина».



ФРАНЦИЯ

ЖОРЖ

1884–1966

ДЮАМЕЛЬ

*Переворачивая
страницы, мы
совершаем
открытие за
открытием.*

[ДОСТАВИТЬ
ЧИТАТЕЛЮ
УДОВОЛЬ-
СТВИЕ]

«Горе роману, если читатель не спешит узнать, чем он кончается», – восклицает Д'Аламбер в «Похвальном слове Мариво». Шутка, поистине полная смысла. Главное достоинство романа – не наводить скуку.

Этот важный вопрос о занимательности отнюдь не из тех, которыми можно пренебречь или решить их с ходу. Никто не станет спорить, что сочинения, написанные только для развлечения, чтобы помочь убить время, немного стоят. И мы не слишком признательны этим спутникам на час. С небрежной и пресыщенной торопливостью мы вырываем их тайны и, получив то поверхностное удовольствие, на которое рассчитывали, спешим забыть о них, бросив на скамейке вагона. Им нет места в нашей библиотеке. Мы даже слегка досадуем на них за это развлечение, которое они нам так охотно доставили и которого мы немного стыдимся, когда все позади.

Это все верно. Однако это не означает, что серьезная критика не должна принимать в расчет вопрос о занимательности; это не означает, что в противовес дурному вкусу мы должны высказывать высокомерное презрение к тому, что нас развлекало. Классики, создатели совершенных образцов литературы, всегда критиковали и высмеивали холодных, скучных авторов, тех, что «в томительных стихах своих неутомимы». Наши великие писатели неоднократно признавали, что стремятся доставить читателю удовольствие – разумеется, читателю идеальному, – стараясь его заинтересовать и взволновать.

Было бы неуместно с нашей стороны выставлять себя менее терпимыми и более заносчивыми, чем наши учителя.

Первая задача всякого писателя, в особенности романиста, – увлечь читателя своими героями. Самое малое, что мы вправе требовать от романа, – это быть не скучнее, чем жизнь, которую он берется изображать.

Но спешу тут же добавить – это лишь ничтожная часть миссии писателя. Если он на этом остановится, пусть не рассчитывает, что мы отнесемся к нему с большим вниманием, чем к акробатам и дрессированным собачкам.

Один драматург, которого я не назвал бы знаменитым, принимая во внимание то, о чем я расскажу вам дальше, сделал мне как-то любопытное признание. «Я написал сто восемь пьес, – пожаловался он, – они идут по всему Парижу, и публика, которая их смотрит, веселится вовсю, но, что вы думаете, – придя домой, никто даже не вспоминает моего имени».

*В той мере, в какой
чтение есть
посвящение,
волшебный ключ,
открывающий нам
в глубине нас самих
дверь обитателей, куда
мы иначе не сумели
бы проникнуть, оно
играет целительную*

У этой истории есть своя мораль. Незвестная знаменитость, чьи жалобы я вам передал, по сути дела, только забавник. Зрители заплатили и считают, что они квиты. И мы спокойно думаем: «Это справедливо».

Но есть чтение другого рода. Случается, что занимательность, оставаясь столь же острой, приобретает совершенно новый характер. Точно подул свежий ветер, который не просто касается нашей души, но волнует ее, пронизывая до самых глубин. Это уже не развлечение, а инте-

роль в нашей жизни. И, напротив, чтение становится опасным, когда вместо того, чтобы пробудить нас к самостоятельной духовной жизни, оно пытается подменить ее собой; когда истина представляется нам уже не идеалом, которого мы можем достичь только внутренним развитием нашей мысли и усилиями нашего сердца, но неким материальным предметом, вложенным между страницами книг, подобно меду, изготовленному другими, так что нам остается лишь дать себе труд достать его с полки и лениво смаковать в полном бездействии тела и духа.

Марсель Пруст



*Ж. О. Фрагонар.
«Портрет Д. Дидро».
1768–1769.*

рес. Интерес! Словно звучит внушительно и заслуживает рассмотрения. Значит ли это, что мы интересуемся повествованием? Без сомнения. Больше того, мы в нем заинтересованы; мы сами в какой-то мере в него втянуты, я бы сказал даже, что мы зависим от него. Мы хотели развлечься, но вместо этого испытываем сложное чувство: здесь

и наши желания, и страх, и гнев, и жалость, и, возможно, даже тоска. Мы хотели забыться, ускользнуть от самих себя, но странное дело – резкий, неожиданный поворот возвращает нас к себе. Однако наше ненавистное «я», которым мы, кажется, сыты по горло, предстает в непривычном виде. До какой же степени мы не знаем самих себя! Переворачивая страницы, мы совершаем открытие за открытием. Нам, конечно, не рассказывают историю из нашей собственной жизни: речь идет о принцессах, героях, грабителях, может быть, даже о диких животных, как у Киплинга; тем не менее эта чужая история отбрасывает на наше существование необычный свет. Мы наблюдаем, как действуют персонажи, как бы выхваченные непосредственно из нашей жизни; мы знаем их, мы их узнаем, мы ощущаем подчас их присутствие рядом, хотя погружены в чтение. В самой авторской манере изображать этих людей нам открывается много такого, что раньше было лишь смутной, неясной догадкой. Казалось, род человеческий ничем больше не способен нас удивить, но здесь неожиданность следует за неожиданностью. Мы учимся, то есть что-то схватываем; наше естественное стремление к познанию находит удовлетворение. От тревоги мы переходим к удивлению, от удивления – к душевной полноте. Закончив чтение, мы замечаем, что как будто выросли. Такие книги наполняют нашу жизнь своим ароматом, и время от времени мы ощущаем потребность снова вдохнуть его. Поэтому мы всегда держим при себе эту книгу. Эту книгу мы не бросим на скамейке вагона, мы заботливо поставим ее на полку и достанем, когда почувствуем, что нуждаемся в ней: не ради сюжета, который нам известен, а ради тех ценностей, которые она хранит для нас.

Итак, роман, подлинно достойный интереса, – это тот, который не просто забавляет нас, но еще и – главным образом – помогает нам в познании жизни, истолковании мира.

Настоящий роман — тот, куда мне хочется вернуться...

**РОМАНЫ,
КОТОРЫМ
СУЖДЕНА
ДОЛГАЯ
ЖИЗНЬ**

Журналисты и теперь, случается, спрашивают меня, что я думаю о «кризисе романа» *, но уже не так часто, как раньше. Наверное, они поняли, что кризис романа — не мой конек. В самом деле, если что и тревожит меня сегодня, то не судьба французского романа.

Так называемый «ангажированный» писатель изумляет и шокирует своих коллег. Но и он сам с удивлением и возмущением смотрит на многое — например, на то, что Паскаль назвал «чувствительностью к мелочам, сочетающейся с поразительной бесчувственностью к великому». Не будем кричать душой: говоря о великом, Паскаль имел в виду не политику.

Каким бы «ангажированным» я ни был, я все еще испытываю интерес к тому литературному жанру, в котором столько лет работал или по крайней мере думал, что работаю, предаваясь на этот счет множеству иллюзий, — ведь если верить некоторым моим собратьям по перу, принадлежащим к более молодому поколению, мои романы — вовсе не романы *, а помесь исповеди с дневником, притчи с классической трагедией.

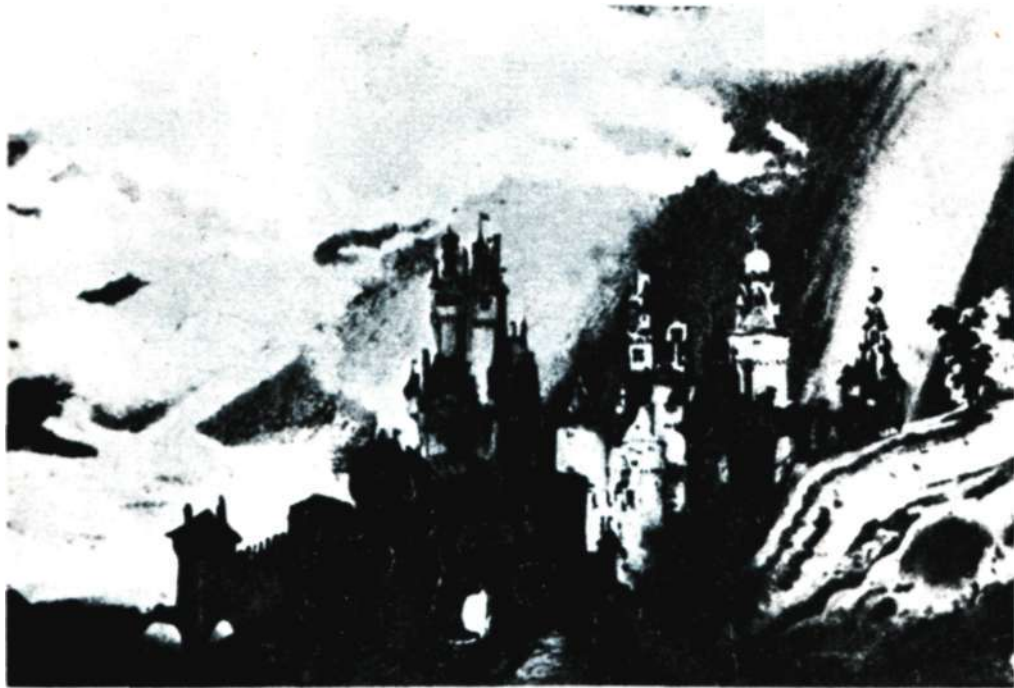
Но если я не написал за свою жизнь ни одного романа, хотя мне казалось, что я только этим и занимался, то, следовательно, я — последний человек, с которым стоит обсуждать кризис — истинный ли, мнимый ли — этого опального жанра. Не будем мудрить, прислушаемся к мнению тех, кто знает, что такое настоящий роман — роман, которого не существовало до появления кинематографа, поскольку, по мнению этих знатоков, именно кинематограф подскажет роману, каким ему надлежит быть.

Вечерами я часто перечитываю Бальзака. На днях я, как обычно, взял с полки один из томов и раскрыл его наугад. Это оказалась «Провинциальная муза», сцена, где Лусто и Бьяншон пренебрежительно отзываются о романах времен Империи: «...литература эпохи Империи шла прямо к фактам, — говорит Лусто, — минуя всякие детали... У нее были идеи, но эта горячка не развивала их! Она наблюдала, но эта скряга ни с кем не делилась своими наблюдениями... Нынче, — продолжал Лусто, — романисты рисуют характеры... они открывают вам человеческое сердце» *.

Сегодняшние Лусто (ибо Лусто бессмертен) убеждены, что настоящие романисты больше не рисуют характеры, ибо характеры существуют только в нашем воображении, и больше не открывают нам человеческое сердце, ибо в жизни мы не видим ничего хотя бы отдаленно напоминающего то сердце, которое выдумали для своего удобства авторы трагедий

и психологических романов. Роман — это не «таблицы по анатомии морали» *, как полагал Поль Бурже, а сама жизнь.

Здесь я согласен с сегодняшними Лусто. Но мне приходит в голову одно соображение. Я взял том Бальзака наугад, машинально. И, начав читать, сразу почувствовал себя как дома. В этом доме я знаю каждую комнату. В юности я провел там немало ночей. Если я спущусь в сад, я сумею отыскать липу, на коре которой еще сохранились инициалы, нацарапанные много лет назад моей рукой.



*Рисунок В. Гюго
«Городок на козогоре».*

*Чтение — это беседа
с людьми, гораздо
более мудрыми
и интересными, чем
те, с которыми нас
сводит случай.*

Марсель Пруст

И вот я спрашиваю себя, можно ли сказать, что романы Кафки или Джойса — возьмем этих двух великих учителей наших младших коллег, — можно ли сказать, что эти романы так же пригодны для жилья, как те, которым отдавало предпочтение наше поколение, что они так же замечательно гостеприимны и мы можем возвращаться к ним в любом возрасте, хотя нас ждет всего-навсего выдуманный мир, созданный романистом, чье присутствие ощутимо в каждом слове, — если говорить о Бальзаке, то это присутствие грузного добряка, который со слоновьей грацией пытается посвятить нас в свои грандиозные идеи и то и дело заслоняет своими комментариями изображаемый им мир, не давая нам возможности самим увидеть и пережить происходящее и разрушая таким образом стройную логику повествования.

Что же касается меня, то, признаюсь, для меня настоящий роман — тот, куда мне хочется вернуться, а не тот, сквозь который я продираюсь, как сквозь кошмарный сон. По правде говоря, пожалуй, только Пруст позволяет мне до

такой же степени, что и Бальзак, сродниться с автором и созданным им миром. Романы Бальзака и Пруста можно читать с любого места, даже с середины главы. Кроме них, я могу так читать только «Войну и мир» — войти в любую дверь и сразу почувствовать себя дома.

Большинство других великих романов нуждаются в том, чтобы их перечитывали с самого начала. Есть целый ряд романов, к которым я не раз возвращался за свою долгую жизнь. Думаю, что молодое поколение их не перечитывает.



*Э. Мане. «Портрет
Эмиля Золя». 1868.*

Да и что они вообще перечитывают? Мы снова и снова открывали «Адольфа», «Госпожу Бовари», «Воспитание чувств», «Мельницу на Флоссе», «Миддлмарч», «Доминика» и многие другие книги. А молодое поколение — любят ли оно всерьез то, что ему нравится? Я хочу сказать, возвращается ли оно к своим любимым романам снова и снова, жи-

вет ли оно ими так, как жили мы романами нравов и характеров, написанными по тем законам, которые оно осуждает или считает устаревшими?

Вот вопрос, который меня волнует. Я готов поверить, что сегодняшним писателям удастся так крепко ухватить реальность, как это не удавалось еще никому с тех пор, как люди появились на земле и начали рассказывать истории. Но я хотел бы знать, не ускользает ли эта непокорная реальность по мере того, как ею пытается овладеть читатель. Пожалуй, четко очерченные характеры традиционного романа и не всегда бесспорные психологические выкладки знатоков человеческого сердца, живших в доброе старое время, имеют больше шансов – в лучших своих образцах – навечно остаться в памяти и сердцах людей.

1956

РАЙНЕР МАРИЯ РИЛЬКЕ

ЧИТАТЕЛЬ

Свое существованье прекратив,
В чужую жизнь он вторгнуться стремится,
И только следующая страница
Иной раз означает перерыв...

И матери родной бы не узнать
Его, склоненного и всею тенью
Припавшего к листам... Мы по теченью
Привычностей плывем нам не понять,

Что взгляд его таит, со дна идущий,
Еще дрожащий дрожью тех вещей,
Из недр повествования несущий
В наш вещный мир призыв из глубины, —

Совсем как у задумчивых детей,
Не до конца расставшихся с игрою...
Черты его, нам кажется порою,
С тех пор навек изменены...

(Перевод Т. Сильман)

ФРАНЦИЯ

АНДРЕ

1885–1967

МОРУА

*Книга дает
человеку
возможность
подняться над
самим собой.*

О ВЫБОРЕ КНИГ

Вы спрашиваете меня, незнакомка души моей, что вам надлежит читать. Мои советы вас, наверно, удивят. И все же следуйте им. Мой учитель Ален * говорил, что каждому из нас нужно прочесть не так уж много книг, и собственным примером подтверждал бесспорные преимущества этого принципа. Его библиотека состояла главным образом из сочинений нескольких выдающихся авторов: Гомера, Горация, Тацита, Сен-Симона, Реца, Руссо, Наполеона (его беседы с Лас Казом *), Стендаля, Бальзака, Жорж Санд, Виктора Гюго и, разумеется, философов: Платона, Аристотеля, Декарта, Спинозы, Канта, Гегеля, Огюста Конта. На протяжении своей жизни он прибавил к ним Ромена Роллана, Валери, Клоделя, Пруста, а также Киплинга.

Выбор предельно строгий; но уж эти великие произведения он знал превосходно. Постоянно перечитывая их, он всякий раз открывал в них новые красоты. Он полагал, что тот, кто не способен сразу же отыскать нужную страницу, не знает автора. В каком романе Бальзака описана первая встреча Вотрена и Рюбампре? В каком романе читатель вновь встречается с Феликсом де Ванденесом, когда тот уже женат? В каком томе Пруста в первый раз упоминается септет Вентейля? Того, кто не может ответить на эти и им подобные вопросы, истинным читателем не назовешь. «Важно не найти, а сделать найденное своим достоянием», — говорил Валери. Та женщина, что прочла и усвоила несколько бессмертных произведений, может считать себя более образованной, чем та, что рассеянно и бегло просматривает в день по три новинки.

Следует ли из этого, что не надо уделять внимания современным авторам? Разумеется, нет; к тому же не забывайте, что некоторые из них завтра станут знаменитыми. Но ни к чему и слишком разбрасываться. Как же поступать? Прежде всего надо дать отстояться литературному урожаю года. Сколько книг, провозглашенных издателем или литературным кружком шедеврами, через полгода уже забыты! К чему напрасно перегружать память? Обождем. Внимательно наблюдая за происходящим в мире книг, выберем себе друзей. У любого из нас среди современных авторов есть свои любимцы. Пусть же каждый следит за их творчеством! Я прочитываю все, что исходит от нескольких молодых авторов, в которых я верю. Я не прочь открыть для себя и других, но не хочу, чтобы их было слишком много. Еще захлебнусь.

Как только мы убедились в духовной или художественной ценности книги, следует ее приобрести. Близкое и все-

стороннее ознакомление возможно только с теми произведениями, которые у нас всегда под рукой. Для первого же знакомства с автором вполне уместно и даже разумно одолжить книгу на время. Коль скоро мы решили «усыновить» ее, нужно даровать ей права гражданства. Жениться следует на той и книги те купить, с которыми тебе всю жизнь хотелось бы прожить.

А как следует читать? Если книга нас захватывает, то в первый раз мы читаем ее быстро и увлеченно. Мы просто



Женевская библиотека.

глотаем страницы. Но в дальнейшем (а хорошую книгу читают и перечитывают много раз) нужно читать с карандашом или пером в руке. Ничто так не формирует хороший вкус и верность суждений, как привычка выписывать понравившийся отрывок или отмечать глубокую мысль. Нужно дать себе слово ничего не пропускать при чтении писателей, которых по-настоящему ценишь. Тот, кто в книгах Бальзака пропускает длинные описания улиц или домов, не может считаться его истинным ценителем.

*Произведение,
которое читают,
имеет настоящее;
произведение, которое
перечитывают, —
имеет будущее.*

Александр Дюма-сын

Весьма эффективный метод чтения — «звездообразный»: читатель расширяет круг интересов, двигаясь в разных направлениях, как бы по лучам звезды — от основной книги или сюжета. Пример: я читаю Пруста и восторгаюсь им. Углубляясь в его книги, узнаю, что сам Пруст восторгался Рёскином, Жорж Санд. Приступаю к Рёскину и Санд: то, что такой читатель, как Пруст, находил хорошим, не может оставить равнодушным и меня. Благодаря Шатобриану я познакомился с Жубером. А Шарль дю Бо натолкнул меня на «Дважды потерянную Эвридику»*. Морис Баринг в свое время приобщил меня к Чехову, к Гоголю*. Таким образом и возникают узы духовной дружбы. Пора и вам определиться. Прощайте.

Право на чтение является одним из неотъемлемых прав человека.

**КНИГА —
ОТКРЫТАЯ
ДВЕРЬ
К ДРУГИМ
НАРОДАМ**

Наша цивилизация представляет собой совокупность знаний и опыта, накопленных предшествующими поколениями. Мы можем приобщиться к ней, только проникнув в духовный мир этих поколений. Для того чтобы осуществить это и стать культурным человеком, есть лишь один путь — чтение.

Заменить чтение ничто не может. Ни воспринятая на слух лекция, ни увиденное на экране изображение не обладают такой просветительной силой. Изображение весьма



А. Мофуа в своем рабочем кабинете.

ценно как иллюстрация текста, но оно не способствует формированию общих понятий. И фильм, и живая речь переходящи. Трудно и даже невозможно вернуться к ним за справкой или советом. Книга же остается спутником всей нашей жизни.

Монтень говорил, что ему необходимы три вида общения: любовь, дружба и чтение книг *. И все они по природе своей почти одинаковы. Книги можно любить, они всегда будут верны друзьям. Я сказал бы, что часто они оказываются остроумнее и мудрее, чем их авторы. Писатель вкладывает в свои произведения все лучшее, что в нем есть.

Живая его речь, как бы блестяща она ни была, не остается с нами, но тайны книги можно постигать без конца. И главное, дружеское отношение к книге будет без ревности разделяться миллионами людей во всех странах мира. Бальзак, Диккенс, Толстой, Сервантес, Гёте, Данте, Мелвилл чудесным образом объединяют людей, казалось бы во всем противоположных.

С незнакомыми мне японцем, русским, американцем у меня есть общие друзья – Наташа из «Войны и мира», Фа-

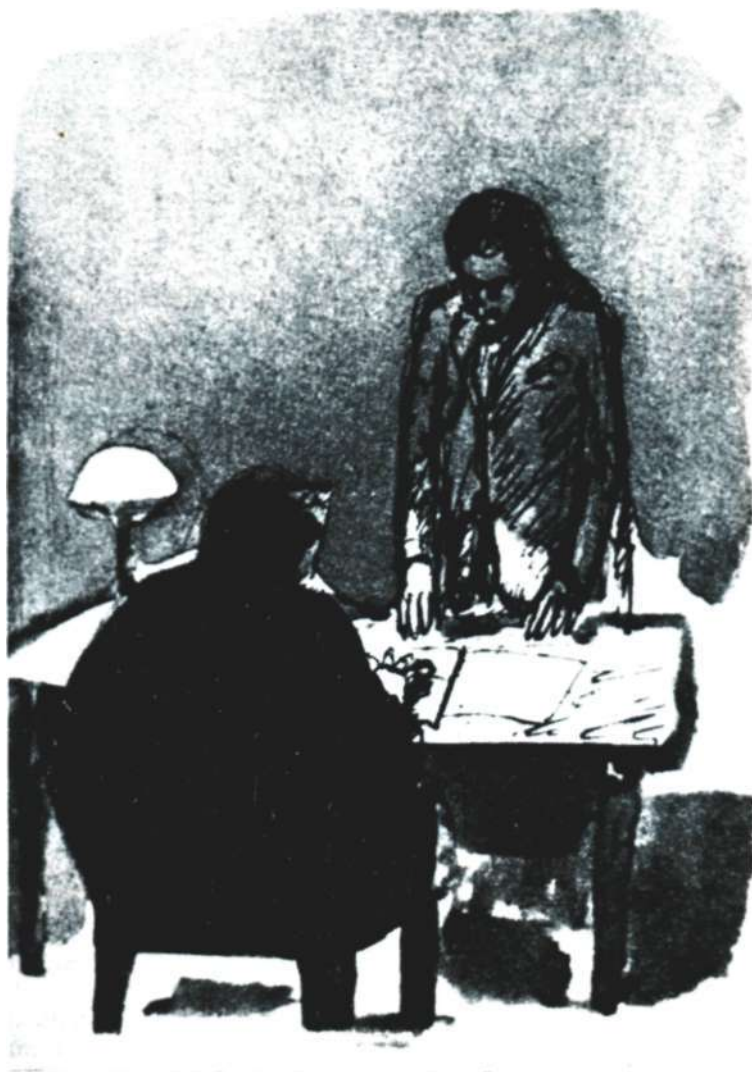


брицю из «Пармской обители», Микобер из «Дэвида Копперфилда».

Книга дает человеку возможность подняться над самим собой. Ведь ни у кого из нас нет такого личного опыта, который позволял бы хорошо понимать не только других, но даже и самого себя. Все мы чувствуем себя одинокими в этом огромном, равнодушном мире. Мы страдаем от этого, нас ранят несправедливость и трудности жизни. Из книг мы узнаем, что и другие, в том числе великие люди, так же страдали и искали, как и мы. Книги – это открытые двери к другим душам и другим народам.

Благодаря книгам мы можем вырваться из нашего личного, ограниченного мирка; благодаря книгам мы можем избежать бесплодного копания в своей душе. Вечер, проведенный за чтением книг великих авторов, для нашего ума то же, что для тела – прогулка в горах. Человек спускается с этих вершин более сильным, его легкие и мозг очищены от всякой грязи, он успешнее и лучше подготовлен к тем битвам, которые ждут его на равнинах повседневной жизни.

Книги – единственная возможность изучения прошлых эпох и лучшее средство для понимания тех общественных слоев, с которыми нам не приходится сталкиваться. Чтение пьес Федерико Гарсиа Лорки скорее раскроет передо мной душу Испании, чем двадцать туристических путешествий в эту страну. То, что рассказали мне о некоторых сторонах русской души Чехов и Толстой, остается верным и по сей день. Мемуары Сен-Симона возродили для меня Францию, которой давно уже нет, а романы Готорна или Марка



*Иллюстрация П. Валери к
книге «Вечер с г-ном Тестом».*

Твена дали мне возможность мысленно представить себе исчезнувшую Америку. Чтение подобных книг открывает нам удивительное сходство между нами и людьми, удаленными

*Настоящая любовь
к книге – это
любовь
к исследованию
мира – знанию
о мире. Это книга
великого
путешествия.*

Виктор Шкловский

от нас в пространстве и времени. Ведь все представители семьи человеческой одарены сходными чертами.

Когда я читал лекции о Марселе Прусте в Канзас-Сити, американские студенты, сыновья фермеров Среднего Запада, узнавали себя в персонажах книг французского писателя. В конце концов, существует только одна раса: человечество. Великий человек отличается от нас только своим масштабом, а не своей природой; вот почему жизнь великого человека всегда интересна для всех нас.

Итак, мы читаем частью для того, чтобы подняться над собственной жизнью и понять жизнь других. Но это не единственная причина тех радостей, которые дает нам чтение книг. В нашей повседневной жизни мы так тесно сталкиваемся с происходящими событиями, что не можем рассмотреть их достаточно хорошо, мы слишком подчинены нашим переживаниям, чтобы полностью их ощутить. Жизнь многих из нас – роман, достойный пера Диккенса или Бальзака, но это далеко не всегда приносит нам удовлетворение. Задача писателя в том и состоит, чтобы дать правдивую картину жизни, но показать эту картину на таком расстоянии от нас, чтобы зрелище ее не порождало в нас чувство страха или смятения.

Читая знаменитый роман или жизнеописание, человек переживает большие события, происходящие с героем, не утрачивая спокойствия духа. По словам Сантаяны, искусство раскрывает перед нашим взором то, чего мы не видим в действительности: единство жизни и покоя.

Чтение исторической книги очень полезно для ума. Оно учит читателя умеренности и терпимости; оно показывает ему, что распри, некогда бывшие причиной гражданских или мировых войн, представляются нам теперь всего лишь давними и мелкими недоразумениями. Вот урок мудрости и относительности оценок. Прекрасная книга никогда не оставляет читателя таким, каким он был до ознакомления с ней, – она делает его лучше.

Значит, нет ничего более важного для человечества, чем попытка сделать всеобщим достоянием эти средства расширения умственного горизонта, поисков и открытий, которые буквально преображают жизнь и увеличивают общественную ценность личности. Единственный путь для осуществления этого – создание публичных библиотек.

Мы живем в такое время, когда во все большем числе стран все граждане получают равные права, принимают участие в управлении государством и создают общественное мнение, которое своим влиянием на власти определяет в конечном итоге – быть ли миру или войне, справедливости или несправедливости, короче говоря, определяет жизнь данной нации и жизнь всего человечества. Эта сила народа – то есть демократия – требует, чтобы народные массы, ставшие источником власти, были осведомлены о всех важнейших проблемах.

Я согласен с тем, что такие сведения люди все больше и больше начинают получать в школах, но работа школы не

может быть полноценной, если ей на помощь не придет библиотека. Для формирования ума недостаточно выслушать учителя, пусть даже самого превосходного. Нужно и самому подумать и поразмыслить. Роль учителя заключается в том, чтобы дать ученику хорошо построенный основной каркас, который тот должен будет оснастить самостоятельно. Эта самостоятельная работа и будет заключаться главным образом в чтении книг.

Ни один школьник, ни один студент, как бы талантлив он ни был, не может постичь в одиночку все то, что создавалось тысячелетиями. Всякое серьезное размышление прежде всего должно быть размышлением над идеями великих авторов. Мы мало почерпнем из истории человечества, если все ее изучение будет сведено к тому беглому изложению фактов, которое может позволить себе учитель в отведенное ему ограниченное число часов. Но она станет жизненным примером для того учащегося, который обратится по совету учителя к мемуарам, историческим документам, статистическим данным.

Чтение – это не только полезная гимнастика для ума; оно раскрывает молодежи тайны познания, которые никогда не преподносятся готовыми ищущему, а должны быть постигнуты им самим в результате методичной и добросовестной работы. Библиотека – необходимое дополнение к школе или университету. Больше того, я сказал бы, что обучение – только ключ, который отпирает двери библиотеки.

Это тем более справедливо в отношении самообразования. Гражданин демократической страны, который хочет добросовестно выполнять свои обязанности, должен учиться всю свою жизнь. Развитие мира не завершается тем днем, когда мы кончаем школу. История продолжается, она выдвигает проблемы, от которых зависит судьба рода человеческого.

Как принять решение, как защитить разумное, как противостоять преступному безрассудству, если ты не разбираешься в существе вопроса? То, что является правильным для истории, так же верно и для политической экономии, и для всех отраслей науки и техники.

За пятьдесят лет человеческие знания обновились и даже резко изменились. Кто же расскажет об этих великих изменениях людям, жизнь и счастье которых зависят от этих изменений? Кто поможет им, скромным труженикам, быть в курсе новейших открытий?

Книги, одни только книги.

Публичная библиотека должна давать детям, молодежи, мужчинам и женщинам возможность идти в ногу со временем во всех областях, нелицеприятно предоставляя в их распоряжение труды, выражающие различные точки зрения; таким образом, она помогает им составить собственное мнение и играть в обществе критическую и конструктивную роль, без чего нет свободы.

Чтение помогает также определить призвание. Читая произведения знаменитых деятелей, люди, не нашедшие еще своего призвания, будут направлены к науке, литературе

и искусству и смогут затем внести свой вклад в общую сокровищницу человеческой культуры.

Наконец – и это главное, – хорошо подобранная и доступная всем библиотека обогатит личность читателя. В нашу эпоху, когда машины частично заменяют человека, у людей увеличивается досуг, и надо, чтобы этот досуг был использован с максимальной выгодой как для отдельной личности, так и для всего общества. Конечно, свою роль сыграют в этом игры, спорт и путешествия, но ничто так не обогатит умы, не сделает их человечнее и благороднее, как чтение.

Если исторические и научные труды формируют ум, то романы и пьесы развивают чувства. Читатель, хорошо знакомый с произведениями великих авторов какой-либо страны, не чужд ей даже в том случае, если он в ней никогда не был и не знает ее языка. Каждая библиотека становится центром международного взаимопонимания. Даже без пропаганды, без предвзятости, без заранее поставленных перед собой задач, самим своим существованием публичная библиотека служит делу мира и демократии.

Таким образом, современная публичная библиотека является активным, действенным организмом. Она идет навстречу читателю, стремясь узнать и удовлетворить его запросы, предоставить ему возможность получить все интересующие его сведения, расширить кругозор, развлечься.

Фонды библиотеки должны отвечать этим задачам. В них непременно следует иметь как можно больше справочных изданий: словарей, энциклопедий, библиографических справочников, атласов.

В разделе истории следует иметь как работы общего характера (всеобщая история, история крупнейших стран мира и, конечно, данной страны, история искусств и литературы), так и специальные монографии по истории данного района.

Что касается художественной литературы, то здесь нужно собирать произведения классиков всех времен и народов. В отношении поэзии это довольно просто – хороших поэтов не так уж много. Проза и драматургия представляют несколько более трудную задачу.

В фондах библиотеки обязательно должна быть также литература по различным отраслям науки и техники, учебники, руководства по видам промышленности и ремесла, особенно развитым в данной местности.

Библиотека учитывает нужды своих читателей и отражает местную экономическую структуру. Читателям открыт свободный доступ к книгам. Предоставленные в распоряжение читателя картотеки помогают ему благодаря четкой системе классификации быстро найти все издания, которые имеет библиотека по данному вопросу.

В работу современной публичной библиотеки входит также культурно-просветительская деятельность: организация лекций, диспутов по литературно-художественным и социальным вопросам, выставок, театральных и кино постановок,

концертов. Разными путями эти мероприятия приводят к книге и стимулируют необходимость чтения.

Таким образом, публичная библиотека является подлинным очагом культуры, пропагандирующим знания и приносящим человеку радость. Она служит средством распространения идей и культурного использования досуга. Она не ограничивает свое влияние тем кварталом, где находится, а распространяет его и на сельских жителей, которые долгое время были лишены библиотечного обслуживания.

Бывает так, что в деревне существует школьная библиотека, но взрослые не всегда могут получить в ней книги. Вдобавок к этому количество книг в ней весьма ограничено, и пытливым ум быстро исчерпает все ее возможности.

В некоторых местностях основное внимание уделяется созданию прекрасно организованных крупных публичных библиотек. В других – используется иной метод, имеющий, пожалуй, большое будущее. В областном (или районном) центре создаются библиотеки, которые снабжают книгами передвижные библиотеки, обслуживающие села.

В каждом селе книги хранятся в определенном месте; это обычная местная библиотека, школьная библиотека или мэрия. Выбирается ответственный за книги (чаще всего учитель), который должен руководить чтением и по возможности привлекать новых читателей. Директор центральной библиотеки руководит местными ответственными лицами, они же в свою очередь проводят работу среди читателей. Сельская публичная библиотека основана на кооперативных началах.

Это один из видов организации библиотек. Есть и другие их типы, но можно сказать лишь одно: что повсюду, где существуют публичные библиотеки в сельской местности, они пользуются огромным успехом у населения. И организация подобных библиотек во всем мире – самое важное дело. Это не роскошь. Библиотека не только средство для заполнения досуга сельских жителей (что тоже очень ценно); она необходима потому, что только книга и чтение могут обеспечить широкое распространение культуры.

Справедливо говорят, что теперь право на чтение является одним из неотъемлемых прав человека. Все люди должны иметь свободный доступ к книгам. И если это будет так, то книги перевоспитают людей, сделав их наследниками опыта, накопленного предыдущими поколениями.

Вкус и привычка к чтению легче всего приобретаются в раннем возрасте. Публичная библиотека должна иметь «детский уголок». Большинство детей не имеет денег на покупку книг, да и родители не всегда могут дать им эти деньги. Только в библиотеке дети найдут хорошие книги, которые отвлекут их от чтения вредной и посредственной литературы. Школьная библиотека, безусловно необходимая, часто бывает недостаточно укомплектованной из-за отсутствия средств. А ведь смышленому ребенку полки, уставленные книгами, открывают истинный рай.

Наибольшее удовольствие доставит ребенку чтение дома, длинными летними вечерами, в саду. Любопытный и одаренный ребенок всегда с жадностью набрасывается на книгу. Занимаясь, готовить уроки он придет в библиотеку, где найдет нужные ему книги и учебники. Там же он сможет отдохнуть, послушать сказку, вместе с товарищами разыграть пьесу, а позднее принять участие в обсуждении прочитанной книги.

Очень важно, чтобы библиотекарь знал каждого своего читателя. И того, который предпочитает в одиночестве углубиться в книгу, и того, кому нужно общение и дружеский совет. Обстановка в библиотеке должна быть нарядной, создавать у детей хорошее настроение. Всегда приятно видеть, как хорошо ведут себя в библиотеке маленькие читатели. Ведь чтение развивает уважение к окружающим.

Детская библиотека, естественно, работает в тесном сотрудничестве с окрестными школами и с родителями своих читателей. Учитель всегда может попросить организовать выставку по тому или иному разделу учебного плана. Он участвует в комплектовании фондов библиотеки, учитывая при этом интересы своих учеников. Наконец, матери, приходящие в библиотеку со своими малышами, могут и сами потянуться к чтению.

Но детская библиотека не должна ограничивать себя узкими рамками. Она является преддверием библиотеки для взрослых. Нет ничего интереснее для библиотекаря, который любит свое дело, чем переход его читателя от детства к юности.

В один прекрасный день детские книги перестают интересовать юного читателя. Он созрел для чтения произведений великих писателей. Это именно тот момент, когда его надо направить в библиотеку для взрослых и руководить выбором его первых книг. Детский библиотекарь, если он захочет этого, может лучше, чем кто-либо другой, пробудить юный ум.

Роль библиотекаря в обществе поистине огромна. Библиотекарь – это хранитель всей культуры человечества, посредник между накопленным веками культурным наследием и деятельностью современников. Количество книг и темпы их выпуска в наши дни так велики, что ни один человек не может знать не только обо всех книгах, но даже и о тех, которые ему необходимы. И подчас человек рискует потратить всю жизнь на то, что уже давно сделано другими.

Здесь-то на помощь и приходит библиотекарь. Хорошо составленная библиография, правильно подобранный каталог помогут читателю проложить путь в джунглях человеческих знаний. Колоссальная книжная продукция, выпускаемая ежегодно, быстро переваривается библиотеками, но требует постоянного совершенствования систем классификации литературы. Это, а также сохранение для будущих поколений всех лучших творений человеческого разума является задачей крупных библиотек.

Писатели, которыми мы восхищаемся, не могут служить нам проводниками, поскольку в нас самих заложено нечто вроде магнитной стрелки или почтового голубя — нечто ориентирующее нас. Влекомые этим внутренним инстинктивным указанием, мы летим вперед своим путем, порой оглядываясь по сторонам, бросая взгляд на новое произведение Франсиса Жамма или Метерлинка, на незнакомую нам доселе страницу Жюбера или Эмерсона, и, находя их мысли, оцущения, попытки выразить их средствами искусства созвучными тому, чем мы заняты в данный момент сами, испытываем наслаждение: они — указательные столбы, по которым видно, что мы не сбились с дороги, они — дикие голуби,

Не менее важна роль библиотекаря, работающего в самой маленькой библиотеке. В условиях нашей цивилизации с ее массовым характером и общественный, и технический прогресс может быть достигнут лишь тогда, когда он станет достоянием всех слоев населения.

Библиотекарь всегда советчик. Именно он руководит читателями, он учит их обращаться с каталогом, пользоваться библиотечным фондом. Профессия библиотекаря требует, помимо деловых качеств, страстного увлечения своей прекрасной специальностью, желания в любую минуту прийти на помощь тем, кто стремится к знанию. <...>

Публичные библиотеки уже играют важную роль в жизни современного общества. По многим причинам роль эта в последующие десятилетия очень возрастет. С каждым годом все больше увеличивается и будет увеличиваться число людей, умеющих читать. Во всем мире идет энергичная борьба с неграмотностью. И борьба эта жизненно необходима. В наши дни не умеющий читать человек оказывается выброшенным за рамки жизни, отстает от своего времени. Образование перестало быть привилегией одного класса; оно стало всеобщим и обязательным. Повсеместно появляются все новые когорты читателей. Это для них увеличивается выпуск карманных изданий, дешевых книг и популярных изданий классиков.

Эти издания повсюду имеют большой успех, из чего можно заключить, что они отвечают нуждам населения. Приятно отметить, что качество выбора книг становится все лучше и лучше. Новый читатель требует книги, имеющие моральную, просветительную и художественную ценность.

Однако огромное большинство человечества лишено средств для покупки даже самых дешевых изданий. Для масс единственным путем к книге остается публичная библиотека. Такие библиотеки должны быть обязательны для каждой деревни так же, как обязательной стала школа, дополнением которой и является библиотека.

Экономический и технический прогресс усиливает необходимость образования. Необходимость эта имеет два аспекта. Во-первых, она позволяет людям подняться над повседневными заботами. Если человек не уверен в завтрашнем дне, ему не до чтения. Но чем выше становится уровень жизни, тем больше тяга людей к образованию и культуре. Во-вторых, возрастающая сложность машин и технологии заставляет квалифицированного рабочего получить определенную подготовку для того, чтобы иметь возможность справиться со своей работой. Машина заменяет разнорабочего, который пользовался для работы только своими мускулами; сегодня этот рабочий становится техником, который должен пользоваться своим мозгом. Мы видим, какое множество молодых рабочих, жаждущих образования, устремляется в книжные магазины и библиотеки.

Даже сельское хозяйство, ставшее наукой, требует от земледельца знаний, которые он может получить только при помощи книг. Необходимость учиться влечет за собой необходимость читать.

*пронесишься над
нашей головой и не
заметившие нас, но
убедившие нас
в правильности
пути.*

Марсель Пруст

Многие страны обретают сейчас независимость, право на самоуправление. Одновременно с этим возникает потребность знать не только прошлое своей страны, ее традиции, этнический состав и историю ее населения, ее хозяйственные возможности и, следовательно, пути ее экономического развития, но и историю, характер и место на международной арене других стран мира, всего того, что обеспечивает разумные и справедливые взаимоотношения между народами.

Молодое государство, начинающее свое независимое существование, должно обладать национальным самосознанием. Однако нередко граждане новой страны прежде жили разобщенно, в условиях иной политической системы и не могли иметь глубокого, подлинного самосознания, которое дается знанием прошлого и анализом настоящего своей страны. Откуда же могут они почерпнуть его? Только из книг, в которых собраны воедино все разрозненные прежде традиции. Библиотека не только полезное орудие, используемое нацией; она способствует формированию самой нации.

Развитие цивилизации создает новые потребности. Человек не хочет больше быть пешкой в руках сил, более могущественных, чем он сам. Всегда, когда к этому представляется возможность, человек хочет познавать и учиться. Некогда только философ или поэт мог сказать: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». А сейчас каждый человек хотел бы иметь возможность произнести эти слова, так как он знает, что судьба далеких и неизвестных ему народов может изменить его собственную судьбу, и так как его восприятие окружающего стало глубже. Сейчас его задевает несправедливость, совершенная даже где-то на другом конце мира. Библиотека является самым главным и самым богатым источником сведений о проблемах, волнующих все человечество.

Наконец, благодаря обильным запасам энергии, прогрессу в области автоматике наша цивилизация, хотим мы этого или нет, все больше и больше становится цивилизацией досуга. Нельзя не порадоваться сокращению рабочего дня и облегчению человеческого труда. Тем не менее избыток досуга в конце концов может стать опасным, если он не будет сопровождаться развитием вкусов и интересов.

Спорт, игры, зрелища, телевидение будут, конечно, способствовать заполнению досуга, но все это лишь кратковременные занятия, и, кроме того, человеку, достойному этого имени, быстро надоест быть только безучастным зрителем. Библиотека предоставит человеку пространство и время для бесконечного зрелища, создателем которого будет он сам.

«Каждый умеющий читать, – сказал Олдос Хаксли, – обладает могущественной силой, позволяющей ему развиваться, разнообразить свое существование, делать свою жизнь полной, интересной и значительной». Вот именно такую жизнь, полную, обогащенную жизнями всех других людей, мы хотели бы раскрыть для каждого.

Другие средства общения (кино, телевидение, радио,

грамзаписи) примут новые формы, получат широкое распространение и помогут людям наслаждаться искусствами. Но ничто не может оказать такого глубокого и длительного воздействия, как чтение; ничто не даст такого обилия чувств и знаний.

Открывая в 1833 году Итонскую публичную библиотеку, сэр Джон Хэршел говорил: «...привейте человеку вкус к чтению и предоставьте ему возможность читать, и вы неизбежно сделаете его счастливым... Таким образом вы сблизите его с лучшими представителями любой исторической эпохи, с мудрейшими, остроумнейшими, самыми нежными, самыми смелыми и самыми чистыми людьми, которые когда-либо украшали человечество. Вы сделаете из него гражданина всех наций, современника всех эпох».

Любому человеческому обществу можно справедливо сказать: «Скажи мне, что ты даешь читать твоему народу, и я скажу, кто ты».

1961

БОРИС ПАСТЕРНАК

* * * * *
Люблю вас, далекие пристани
В провинции или деревне.
Чем книга чернее и листанней,
Тем прелесть ее задушевней.

Обозы тяжелые двигая,
Раскинувши нив алфавиты,
Россия волшебною книгою
Как бы на середке открыта.

И вдруг она пишется заново
Ближайшею первой метелью,
Вся в росчерках полоза санного
И белая, как рукоделье.

Октябрь серебристо-ореховый,
Блеск заморозков оловянный.
Осенние сумерки Чехова,
Чайковского и Левитана.

ФРАНЦИЯ

ЖАН

1889–1963

КОКТО

*Читать самого
себя — вот чего
хочет читатель.*

[ЧЕГО
ХОЧЕТ
ЧИТАТЕЛЬ]

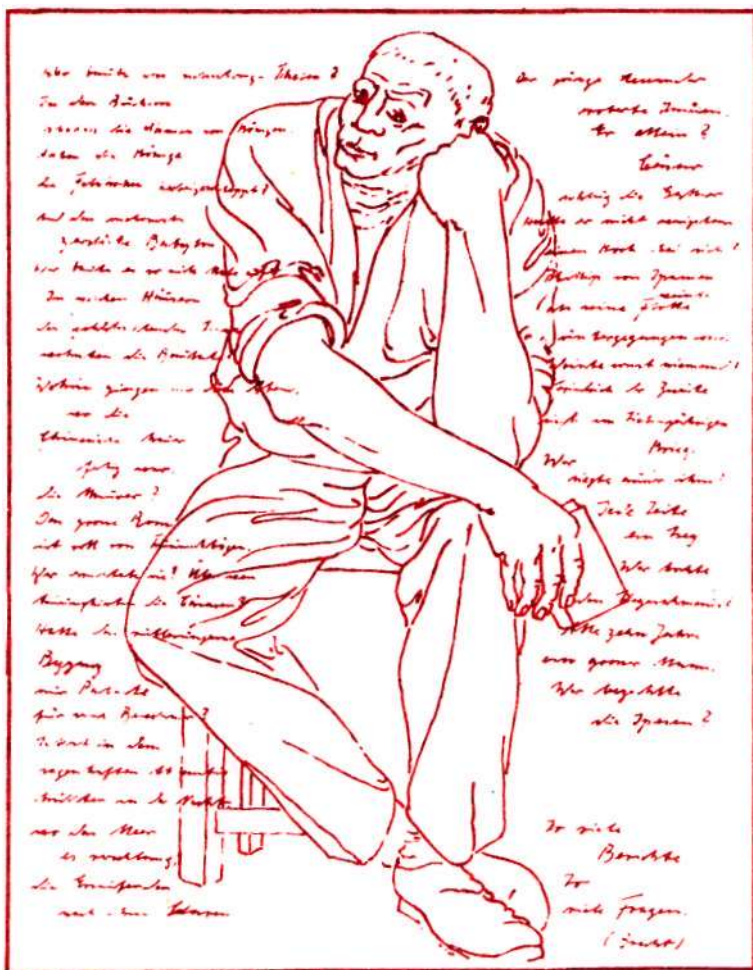


Рисунок Ж. Кокто (с автографом).

Когда анкета переписи населения интересуется, умею ли я читать и писать, меня подмывает ответить «нет».

А кто вообще умеет писать? Писать — значит воевать с бумагой и чернилами, добиваясь, чтобы тебя услышали.

Одни корпят слишком много, другие слишком мало. Золотая середина, совмещающая хромоту и изящество, встречается редко.

Читать — другое дело. Я читаю. Мне кажется, что чи-

таю. Но всякий раз, когда перечитываю, оказывается, что я этого не читал. С письмами вечно такая история. Читаешь письмо, вычитываешь из него, что тебе нужно. Отлично. Откладываешь его. А когда натыкаешься на него снова и перечитываешь, видишь другое письмо, которого ты никогда не читал.

Такие же штучки выдвывают с нами и книги. Если они не подходят к нашему настроению, мы не находим в них ничего хорошего. Если они нарушают наш покой, мы браним их, и эта хула заслоняет их, мешает нам прочесть их непредвзято.

*Мне кажется,
хороша та книга,
которая
расточительно
употребляет
вопросительные
знаки.*

Жан Кокто

Читать самого себя – вот чего хочет читатель. Если ему что-то нравится, он читает и думает, что сам написал бы то же самое. Он может даже обидеться на книгу, если она сказала вместо него то, до чего он не додумался, но что он, уж конечно, сказал бы лучше.

Чем больше книга задевает нас за живое, тем хуже мы читаем ее. Мы сливаемся с ней и переделываем ее на свой лад. Поэтому, когда мне хочется убедить себя, что я умею читать, я выбираю книги, чуждые моей натуре. В больницах, где я подолгу лежал, я читал то, что мне приносила сиделка или случайно попадалось под руку. Книги Поля Феваля, Мориса Леблана, Ксавье Леру, всякие приключенческие романы и детективы превращали меня в скромного и внимательного читателя. Рокамболь *, Лекок *, преступления Оранвиля, Фантомас *, Шери-Биби * убеждали меня: «Ты умеешь читать», – но все-таки говорили на слишком близком мне языке, чтобы я невольно за что-то в них не зацепился и не перекроил их по своей мерке. Это бесспорная истина; вот, например, что скажет туберкулезный больной о «Волшебной горе» Томаса Манна: «Кто сам не болел туберкулезом, тот никогда не поймет эту книгу». Между тем Томас Манн, не страдая этим недугом, написал ее, и написал как раз для того, чтобы здоровые поняли, что такое туберкулез.

Мы все – больные и умеем читать только те книги, которые рассказывают нам о наших болезнях.

*В поездках я не
расстаюсь
с несколькими
книгами...*

ВОСПО- МИНАНИЯ О НЕКОТОРЫХ КНИГАХ

Первой книгой, которую я по-настоящему полюбил, был сборник сказок Ханса Кристиана Андерсена. Но это была уже вторая из прочитанных мною книг. В четыре с половиной года я сторал от желания прочитать настоящую книгу. На дне старого деревянного сундука, набитого пожелтевшими каталогами и проспектами, я наткнулся на брошюру по виноделию; она была совершенно недоступна моему пониманию, но я прочел ее всю от корки до корки, пленяясь каждым словом. Это и была моя самая первая книжка.

Через несколько лет я открыл для себя Жюль Верна. Мне уже было около десяти. «Черная Индия», одна из его наименее известных книг, которая вообще-то считается скучноватой, ослепила меня блеском великолепия и тайны. Я и теперь остаюсь при своем мнении, потому что этому роману суждено было сыграть важную роль в моей жизни. Действие его разыгрывается в подземных галереях, прорытых на глубине нескольких тысяч футов, куда от века не проникает свет. Вполне возможно, что фантастическая атмосфера этой книги, запечатлевшаяся у меня в памяти, лежала у истоков моего «Ночного полета», который тоже есть не что иное, как исследование тьмы.

Я никогда не питал пристрастия к романам и читал их не так уж много. Первыми привлекли меня романы Бальзака, особенно «Отец Горио». В пятнадцать лет я попал на Достоевского, и это было для меня истинным откровением: я сразу почувствовал, что прикоснулся к чему-то огромному, и бросился читать все, что он написал, книгу за книгой, как до того читал Бальзака.

В шестнадцать я открыл для себя поэтов. Естественно, я был уверен, что сам к ним принадлежу, и два года кряду, подобно всем подросткам, лихорадочно кропал стихи. Я боготворил Бодлера и, к стыду своему, должен сознаться, что затвердил наизусть всего Леконта де Лиля и Эредиа, а также Малларме. От любви к Малларме не отрекаюсь и поныне.

Из современных романистов первым мне полюбился Жан Жироду. «Школа равнодушных» и «Симон патетический», прочитанные в школе, очаровали меня: мне показалось, что я нашел в них человека, занятого в жизни какими-то единственно важными вещами. Помню, например, из «Симона патетического», что для Симона было жизненно необходимо знать, придвинута его кровать к стене или нет. Для ребенка это вправду необычайно важный вопрос: темная пустота между ним и стеной – это таинственная страна, принадлежащая ему одному...

В поездках я не расстаюсь с несколькими книгами, но мне не хотелось бы сейчас перечислять их названия; ведь признайся я, что повсюду вожу с собой труды Паскаля, Декарта, современных философов, математиков и биологов, — это покажется претенциозным, бьющим на эффект. Однако эти книги — вот они, при мне, у меня на столе. На войне верными моими спутниками были Паскаль, «Заметки Мальте Лауридса Бригге» Рильке да потрепанный том Бодлера...



Рисунок А. Паикова.

Рисунок В. Розанцева.

Любитель чтения или всегдашней кино и театров похож на соглядатая, который подсматривает в замочную скважину, что делается у соседа. Ему хочется знать, так же ли, как он, устроен его сосед, так ли слаба его плоть, свойственны ли ему те же недостатки, та же глупость, те же мелкие грешки, и, когда человек убеждается, что

Размышляя об этих книгах, которые, бесспорно, оказали глубокое влияние на мою жизнь, я вспоминаю о волшебной истории, которая приключилась со мной самим. Она родилась не из книги, а из воспоминания о прочитанном, в самом механическом смысле слова: это воспоминание детства, проснувшееся при необычайных обстоятельствах у человека, который оказался на самом краю света.

Несколько лет назад мой самолет потерпел аварию в Гватемале. Я долго пробыл в коме — ощущение более чем неприятное, потому что к жизни возвращаешься не сразу: приходишь в себя медленно, и кажется, что поднимаешь, всплываешь сквозь какую-то густую, вязкую массу на поверхность внешнего мира. Я делал мучительные физические и умственные усилия, но не мог вырваться из власти забвения. Помню, как проснулся ночью потому, что с меня сползли простыни и одеяла. В Гватемале из-за большой высоты над уровнем моря ночи очень холодные. У меня было восемь переломов, и до одеял мне было не дотянуться. Поэтому я позвал сиделку и стал просить, чтобы она завернула меня в «несравненную ткань», уверенный, что, если она не выполнит сразу же мою просьбу, я умру.

— Но у нас этого нет, — сказала сиделка. — Нет у нас никакой «несравненной ткани».

В голове у меня все перемешалось. Я пытался вспомнить, каким образом стелют постель. Я рассуждал сам с собой: «Постой, в армии я стелил себе сам, как же я это делал? Простыня внизу, другая наверху... Нет, третьей простыни не бы-

*у соседа все так же,
он говорит себе:
«Значит, я не
такой скверный, как
мне думалось».
И это дает ему
силы
и поддерживает весь
остаток жизни...*

Жорж Сименон

ло. Сиделка права». Мне было трудно и жалко расстаться с мыслью о «несравненной ткани».

Со временем я и думать забыл об этом случае. Потом в один прекрасный день приехал в Лион, где прожил год еще ребенком. По воскресеньям родные возили меня к мессе в Фурвьере, в собор, высившийся на холме над городом; поднимались туда на фуникулере. Мне захотелось совершить сентиментальную прогулку. Добравшись, я увидел, что билеты по-прежнему продаются у входа из туннеля, перед автоматическим турникетом. Я пристроился к очереди, где было человек двадцать. Мы продвигались медленно, и мой взгляд упал на стену слева, оклеенную афишами. Это были все те же рекламы, лишь бумага за сорок лет почернела от дыма да буквы наполовину стерлись. Я рассеянно разбирал надписи, и вдруг у меня екнуло сердце. Вот он что! «Обезболивающая ткань – несравненное средство от ран и ожогов». Вот они – простыни, которые могут утишить, облегчить боль, вот о чем я вспоминал на госпитальной койке в Гватемале! Несомненно, когда мне было пять лет, эта «несравненная ткань для ран и ожогов» произвела на меня глубокое впечатление. Из той же рекламы, по-моему, родилась одна фраза в «Планете людей», обращенная к Гийоме: «В тот же вечер я доставил тебя самолетом в Мендосу, там тебя, словно бальзам, омыла белизна простынь»¹. Воспоминание о волшебных простынях, которые умеют лечить раны... Воспоминание о старой рекламной афише в маленьком туннеле в Фурвьере, почти тридцать лет прятавшееся в темном закоулке моего сознания.

1941

1
А. де Сент-Экзюпери. Избранное.
Л., Лениздат, 1977,
с. 171. Пер. Н. Галь. –
Прим. перев.

ФРАНЦИЯ

ЖОРЖ

1903–1989

СИМЕНОН

*Человек читает,
чтобы
встретить себя
в героях книги...*

[ОБУЧАТЬ
ИСКУССТВУ
ЧТЕНИЯ]



*Иллюстрация из
«Букваря»
Ф. П. Поликартова. 1701.*

Что заставляет человека читать? Я часто задаю себе этот вопрос. Чисто эстетические запросы? Сомневаюсь.

Человек глубоко ощущает свое одиночество. Он знает свои достоинства и недостатки, свои возможности и пороки.

Не для того ли он читает, чтобы встретить себя в героях книги, пусть придуманных, но похожих на него? И не оправдывает ли – хотя бы частично – их пороками свои?

Кто-то – забыл кто, – память у меня скверная – сказал:
– Все мы – зеваки.

Быть Читателем – не значит ли это играть роль зеваки?
<...>

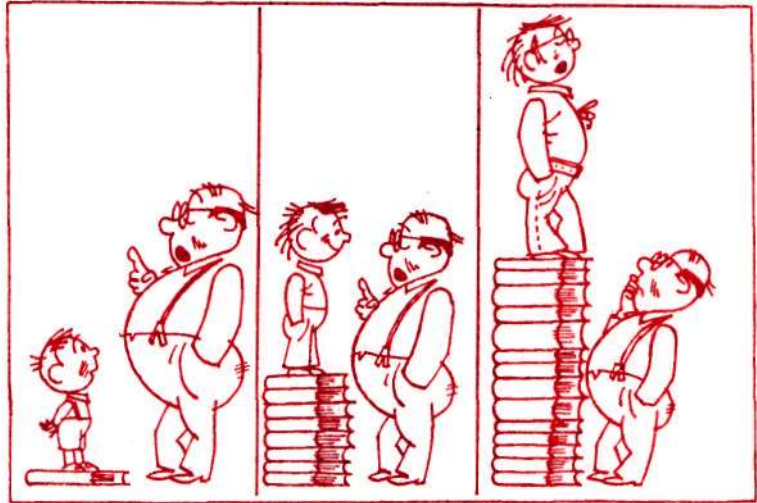
Нашу цивилизацию винят в том, что она создала мир, где человек не находит себе места. Какой человек? Я слушаю, что говорит мой сын. Знаю, что думают его друзья. Уже не существует того, что я назвал бы культом самообуздания. Верней, он уже почти сошел на нет.

Сейчас главное – не сидеть на месте, нестись в никуда, вскочить в машину или на мотоцикл, которые ждут у дверей, примчаться на танцуйки, «подклеить», то есть найти себе девушку, переспать с ней и уже на следующее утро забыть, как она выглядит. Мой сын, когда я упрекаю его за чтение комиксов, отвечает, что его учителя тоже их читают и даже берут у учеников.

И вот я думаю, а не лучше ли, если бы вместо алгебры и древнегреческого в школе обучали искусству чтения?

Журналисты и телевизионщики, входя в мою библиотеку, удивленно вскрикивали и тут же задавали вопрос, испытываю ли я гордость оттого, что меня читают и понимают почти во всем мире.

Я категорически отвечал: нет.



И только сейчас во мне начинает появляться своеобразная гордость: то, что меня переводят, понимают в Японии, Чехословакии или Южной Америке, кажется мне естественным...

Приезжая в какую-нибудь страну, я никогда не впадал в восторг и никогда не поносил ее.

Мой квартал в Лозанне для меня не менее живописен, чем Таити, где я бывал, чем Индия, где я тоже бывал, чем Флорида или север Соединенных Штатов.

Я уже говорил, что меня всегда интересовал только человек. А я убедился, что человек везде одинаков. И я всегда писал только о нем, всегда отбрасывал живописное и экзотическое.

Так почему же людям, раз они похожи, хоть и зовутся русскими, африканцами или латиноамериканцами, не читать мои книги?

У меня нет никаких оснований гордиться. Я старался делать свое дело как можно лучше, строже, беспощадней. И мои воспоминания – вовсе не книги. Это кабинет с опущенными шторами и с «Do not disturb»¹ на дверях; это пишущая машинка, за которую я усаживался, хотелось мне этого или нет.

¹ Машинка эта была свидетельницей, как – чаще всего на Не беспокоить (англ.). середине главы – меня охватывали ужас и отчаяние, как

я собирал всю свою волю, чтобы довести задуманное до конца. Разве не естественно, что в конце концов я возненавидел машинку?

Но к книгам у меня нет ненависти. Единственное, чего я не выношу, — видеть, как они стоят рядами, корешок к корешку; эта картина напоминает мне о том, каких усилий они мне стоили.

Впрочем, я ведь писал их для других, не для себя. И мне приятно, если мои книги стоят в чьих-то библиотеках; лишь



Библиоман. Рисунок. бы только они не торчали все время у меня перед глазами.
Франция. XIX в. Поэтому-то в моей квартире на Судейской улице их нет.

ФРАНЦИЯ

ЖАН ПОЛЬ

1905–1980

САТР

*Мир впервые
открылся мне
через книги...*

ЧИТАТЬ

Я начал свою жизнь, как, по всей вероятности, и кончу ее, – среди книг. Кабинет деда был заставлен книгами*; пыль с них разрешалось стирать только раз в году – в октябре, накануне возвращения в город. Еще не научившись читать, я благоговел перед этими священными камнями: они располагались на полках стоймя и полулежа, кое-где точно сплошная кирпичная кладка, кое-где в благородном отдалении друг от друга, словно ряды менгиров*. Я чувствовал, что от них зависит процветание нашей семьи. Они походили одна на другую как две капли воды, и я резвился в этом крохотном святилище среди приземистых памятников древности, которые были свидетелями моего рождения, должны были стать свидетелями моей смерти и незыблемость которых сулила мне в будущем жизнь столь же безоблачную, как и в прошлом. Я украдкой дотрагивался до них, чтобы причаститься их пылью, но не представлял себе, на что они, собственно, нужны, и каждый день приглядывался к ритуалу, смысл которого от меня ускользал: дед, в повседневном обиходе до того неумелый, что моей матери самой приходилось застегивать ему перчатки, манипулировал этой духовной утварью с ловкостью служителя алтаря. Сотни раз я наблюдал, как он с отсутствующим видом поднимается, выходит из-за стола, в мгновение ока оказывается у противоположной стены, решительно, не раздумывая, снимает с полки какой-нибудь том, на ходу перелистывает его привычным движением большого и указательного пальцев, вновь садится в кресло и разом открывает книгу на нужной странице, чуть хрустнув кожаным корешком, как новым ботинком. Иногда я подходил ближе, чтобы разглядеть эти ларцы, которые распахивались, точно створки раковины, и обнажали передо мной свои внутренности: блеклые заплесневелые листки, слегка покоробленные и покрытые черными прожилками, они впитывали чернила и пахли грибами.

В комнате бабушки книги не стояли, а лежали на столе; Луиза брала их в библиотеке – не больше двух зараз. Эти безделушки напоминали мне новогодние лакомства, потому что их тонкие глянцевиые страницы казались вырезанными из глазированной бумаги. Кокетливые, белые, почти новые, они вызывали к жизни таинства более легковесные. Каждую пятницу бабушка, надев пальто, уходила со словами: «Пойду верну их». Возвратившись, она снимала черную шляпу с вуалеткой и извлекала их из своей муфты, а я недоумевал: «Опять те же?» Бабушка тщательно обертывала книги, потом, выбрав одну, усаживалась у окна в глубокое мягкое кресло, водружала на нос очки и со счастливым, усталым вздо-



← А. Дюрер. Фрагмент картины «Четыре апостола». 1526.

хом прикрывала глаза, улыбаясь той тонкой сладострастной улыбкой, которую впоследствии я обнаружил на губах Джонды: Анн-Мари умолкала, делала и мне знак молчать, а я представлял себе богослужение, смерть, сон и проникался священным безмолвием. Время от времени Луиза, издав короткий смешок, подзывала дочь, проводила пальцем по какой-то строке, и обе женщины обменивались понимающим взглядом. Но мне все-таки не нравились слишком уж изящные бабушкины книжицы: это были самозванки, да и дед не скрывал, что они божества второстепенные, предмет специфически женского культа. По воскресеньям от нечего делать он заходил в комнату жены и, не зная, что сказать, останавливался возле ее кресла. Все взгляды устремлялись к нему, а он, побарабанив пальцем по стеклу и так ничего и не придумав, поворачивался к Луизе и отнимал у нее книгу, которую она читала. «Шарль! – в ярости кричала она. – Я потом не найду, на чем я остановилась!» Но дед, подняв брови, уже погружался в чтение, затем, постучав вдруг по книжице согнутым пальцем, объявлял: «Ничего не понимаю». «Да как ты можешь понять, когда читаешь с середины?» – возражала бабушка. Дело кончалось тем, что дед швырял роман на стол и удалялся, пожав плечами.

Спорить с дедом не приходилось: ведь он был того же цеха. Я это знал – он показал мне на одной из полок толстые тома, обтянутые коричневым коленкором. «Вот эти книги, малыш, написал дедушка». Как тут было не возгордиться! Я внук умельца, искусного в изготовлении священных предметов – ремесле не менее почтенном, чем ремесло органного мастера или церковного портного. Я видел деда за работой: "Deutsches Lesebuch" переиздавался каждый год. На каникулах вся семья с нетерпением ждала корректуру; Шарль не выносил праздности, чтобы убить время, он не давал никому житья. Наконец почтальон приносил пухлые, мягкие бандероли, веревки разрезали ножницами, дед разворачивал гранки, расстилал их на столе в столовой и начинал черкать красным карандашом: при каждой опечатке он сквозь зубы бормотал проклятья, но уже не поднимал крика, разве когда служанка приходила накрывать на стол. Все члены семьи были довольны. Стоя на стуле, я в упоении созерцал черные строчки, испещренные кровавыми пометами. Шарль Швейцер разъяснил мне, что у него есть смертельный враг – его издатель. Дед никогда не был силен в арифметике: расточительный из беспечности, щедрый из упрямства, он лишь к концу жизни впал в старческую болезнь – скупость, результат бессилия и страха перед смертью. Но в ту пору она проявлялась еще только в странной подозрительности: когда деду приходил почтовым переводом авторский гонорар, он, воздев руки к небу, кричал, что его режут без ножа, или, войдя в комнату к бабушке, мрачно заявлял: «Мой издатель обдирает меня как липку». Так моему изумленному взору открылась эксплуатация человека человеком. Если бы не эта гнусность, по счастью ограниченного свойства, мир был бы устроен превосходно: хозяева – каждый по своим возможностям – воздавали труженикам – каждому по его заслу-

*Есть у книги
и тонкий ум,
и чуткое сердце; она
узнает подлинную
мудрость и чует
сердце друга; книга
отличает друга от
врага; она не любит
одиночества
и замкнутости; она
не ведает страха
и предрассудков; ей
не важны черты
лица и цвет кожи;
она не признает
материков
и океанов; подобно
длинным вереницам
перелетных птиц
странствуют книги
по усеянному
звездами поднебесью
и на радужных
крыльях несут
дружбу — словно
солнце.*

Эдуардас Межелайтис

гам. И ведь надо же было, чтоб вампиры-издатели оскверняли справедливость, высасывая кровь из моего бедного деда. Но мое уважение к этому праведнику, который не получал награды за свою самоотверженность, возросло: с молодых ногтей я был подготовлен к тому, чтобы видеть в педагогической деятельности священнодействие, а в литературной — подвижничество.

Я еще не умел читать, но был уже настолько заражен снобизмом, что пожелал иметь собственные книги. Дед отправился к своему мошеннику-издателю и раздобыл там «Сказки» поэта Мориса Бушора — фольклорные сюжеты, обработанные для детей человеком, который, по словам деда, глядел на мир детскими глазами. Я пожелал немедленно и по всей форме вступить во владение книгами. Взяв два маленьких томика, я их обнюхал, ощупал, небрежно, с предусмотренным по этикету хрустом открыл «на нужной странице». Тщетно: у меня не было чувства, что книги мои. Не увенчалась успехом и попытка поиграть с ними: баюкать, целовать, шлепать, как кукол. Еле удерживаясь, чтобы не разревевшись, я в конце концов положил их на колени матери. Она подняла глаза от шитья: «Что тебе почитать, мой родной? Про фей?» Я недоверчиво спросил: «Про фей? А разве они там?» Сказка про фей была мне давным-давно известна: мать часто рассказывала ее, умывая меня по утрам и поминутно отвлекаясь, чтобы растереть меня одеколоном или поднять кусок мыла, выскользнувший у нее из рук под умывальник, а я рассеянно слушал хорошо знакомый рассказ. Я видел при этом только Анн-Мари, юную подружку моих утренних пробуждений, слышал только ее голос, робкий голос служанки. Мне нравилось, как она не договаривает фразы, запинаясь на каждом слове, неожиданно обретает уверенность, опять теряет ее, расплескивая в мелодичном журчании, и вновь приободряется после паузы. А сама сказка была как бы фоном, она скрепляла этот монолог. Пока Анн-Мари рассказывала, мы были с ней наедине, скрытые от глаз людей, богов и священнослужителей, две лесные лани, и с нами другие лани — феи. Но я не мог поверить, что кто-то сочинил целую книгу, чтобы включить туда частицу нашей мирской жизни, от которой пахло мылом и одеколоном.

Анн-Мари усадила меня перед собой на детский стульчик, сама склонилась, опустила веки, задремала. И вдруг эта маска заговорила гипсовым голосом. Я растерялся: кто это говорит, о чем и кому? Моя мать отсутствовала: ни улыбки, ни понимающего взгляда, я перестал для нее существовать. Вдобавок я не узнавал ее речи. Откуда взялась в ней эта уверенность? И тут меня осенило: да ведь это говорит книга. Из нее выходили фразы, наводившие на меня страх; это были форменные сороконожки, они мельтешили слогами и буквами, растягивали дифтонги, звенели удвоенными согласными; напевные, звучные, прерываемые паузами и вздохами, полные незнакомых слов, они упивались сами собой и собственными извивами, нимало не заботясь обо мне; иногда они обрывались, прежде чем я успевал что-нибудь понять, иногда мне уже все было ясно, а они продолжали величаво

струиться к своему концу, не жертвуя ради меня ни единой запятой.

Сомнений не было, эти слова предназначались не мне. Да и сама сказка принарядилась – дровосек, его жена, их дочери, фея – все эти простые, похожие на нас существа взгромоздились на пьедестал: их лохмотья описывались высокопарным слогом, а слова налагали на все свой отпечаток, преображая поступки в обряды и события – в церемонии. И вдруг пошли вопросы: издатель деда, набивший руку на учебных пособиях, никогда не упустил случая дать пищу юным умам своих читателей. «Что бы ты сделал на месте дровосека? Какая из двух сестер тебе больше нравится? Почему? Поделом ли наказана Бабетта?» Казалось, эти вопросы задают ребенку. Но мне ли – я не был уверен и побаивался отвечать. Наконец я все же собрался с духом, но мой робкий голос замер, и мне померещилось, будто я уже не я и Анн-Мари больше не Анн-Мари, а какая-то слепая ясно-видящая: мне чудилось, будто я стал сыном всех матерей, а она – матерью всех сыновей. Когда она кончила читать, я проворно выхватил у нее книги и унес их под мышкой, не сказав «спасибо».

Мало-помалу я полюбил эти минуты: что-то щелкало, отключая меня от меня с а м о г о, – Морис Бушор склонился к детям с той универсальной предупредительностью, какую выказывают покупателям приказчики в больших магазинах, мне это льстило. Сказкам-импровизациям я стал предчитать стандартную продукцию: я вошел во вкус строгой последовательности слов – при каждом новом чтении они повторялись, неизменные, в неизменном порядке – я их ждал. В сказках Анн-Мари герои жили наудачу, как она сама, теперь они обрели судьбу. Я присутствовал на литургии: я был свидетелем того, как имена и события возвращались на круги своя.

Я проникся завистью к матери и решил отбить у нее роль. Завладев книжкой под названием «Злоключения китайца в Китае», я уволок ее в кладовую; там, взгромоздившись на раскладушку, я стал представлять, будто читаю: я водил глазами по черным строчкам, не пропуская ни одной, и рассказывал себе вслух какую-то сказку, старательно выговаривая все слоги. Меня застигли врасплох – а может, я подстроил так, чтобы меня застигли, – начались охи, и было решено, что пора меня учить грамоте. Я был прилежен, как оглашенный язычник; в пылу усердия я сам себе давал частные уроки: взобравшись на раскладушку с романом Гектора Мало «Без семьи», который я знал наизусть, я прочел его от доски до доски, наполовину рассказывая, наполовину разбирая по складам; когда я перевернул последнюю страницу, я умел читать.

Я ошалел от счастья: теперь они мои – все эти голоса, засушенные в маленьких гербариях, голоса, которые дед оживлял одним своим взглядом, которые он слышал, а я – нет! Теперь и я их услышу, и я приобщусь к языку священнодействий, буду знать все! Мне позволили рыться на книжных полках, и я устремился на приступ человеческой мудрости!

Это решило мою судьбу. Впоследствии мне сотни раз приходилось слышать, как антисемиты попрекают евреев за то, что им чужды уроки природы и ее немой язык; я отвечал на это: «В таком случае я более еврей, чем сами евреи». Напрасно я стал бы искать в своем прошлом пестрые воспоминания, радостную бесшабашность деревенского детства. Я не ковырялся в земле, не разорял гнезд, не собирал растений, не стрелял из рогатки в птиц. Книги были для меня птицами и гнездами, домашними животными, конюшней и полями. Книги – это был мир, отраженный в зеркале; они обладали его бесконечной плотностью, многообразием и непредугаданностью. Я совершал отчаянные вылазки: карабкался на стулья и столы, рискуя вызвать обвалы и погибнуть под ними. Книги с верхней полки долгое время оставались вне пределов моей досягаемости: другие – не успел я их открыть – у меня отбирали; были и такие, что сами прятались от меня: я их начал читать, поставил, как мне казалось, на место, а потом целую неделю не мог найти. У меня были жуткие встречи: открываю альбом, вижу цветную наклейку – передо мной копошатся гнусные насекомые. Растянувшись на ковре, я пускался в бесплодные путешествия по Фонтенелю, Аристофану, Рабле; фразы оказывали мне физическое сопротивление: их приходилось рассматривать со всех сторон, кружить вокруг да около, делать вид, будто уходишь, и внезапно возвращаться, чтобы захватить их врасплох, – чаще всего они так и не выдавали своей тайны. Я был Лаперузом, Магелланом, Васко да Гамой, я открыл диковинные племена: «хеатонтиморуменос» в комедии Теренция, переведенной александрийским стихом, «идиосинкразию» в труде по сравнительному литературоведению. «Апокопа», «хиазм», «парангон» и тысячи других загадочных и недоступных готтентотов возникали вдруг где-нибудь в конце страницы, мгновенно внося путаницу в целый абзац. Смысл этих неподатливых и темных слов мне пришлось узнать только лет через десять–пятнадцать, но они и поныне сохранили для меня свою непрозрачность: это перегной моей памяти.

Библиотека состояла главным образом из французских и немецких классиков. Были в ней также учебники грамматики, несколько прославленных романов. «Избранные рассказы» Мопассана, монографии о художниках: Рубенсе, Ван Дейке, Дюрере, Рембрандте – новогодние подношения деду от его учеников. Скучный мир. Но большой энциклопедический словарь Ларусса заменял мне все*; я брал наугад один из томов с предпоследней полки за письменным столом: А–Бу, Бу–До, Меле–Пре или Тро–Ун (эти сочетания слогов превратились для меня в собственные имена, обозначающие определенные области человеческого познания: тут был, например, район Бу–До или район Меле–Пре с их флорой и фауной, с их городами, великими людьми и историческими битвами). Не без труда водрузив на дедов бювар очередной том, я открывал его и пускался на поиски настоящих птиц, охотился на настоящих бабочек, которые сидели на живых цветах. Люди и звери жили под этими переплетами, гравюры были их плотью, текст – душой, их

неповторимой сущностью; за стенами моего дома бродили только бледные копии, более или менее приближавшиеся к прототипу, но никогда не достигавшие его совершенства: в обезьянах зоологического сада было куда меньше обезьяньего, в людях из Люксембургского сада – куда меньше человеческого. Платоник в силу обстоятельств, я шел от знания к предмету: идея казалась мне материальной самой вещи, потому что первой давалась мне в руки и давалась, как сама вещь. Мир впервые открылся мне через книги, разжеванный, классифицированный, разграфленный, осмысленный, но все-таки опасный, и хаотичность моего книжного опыта я путал с прихотливым течением реальных событий. Вот откуда взялся во мне тот идеализм, на борьбу с которым я ухлопал три десятилетия.

1964

ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

Стареют книги... Нет, не переплет,
Не тронутые плесенью страницы,
А то, что там, за буквами, живет
И никому уж больше не приснится.

Остановило время свой полет,
Иссохла старых сказок медуница,
И до конца никто уж не поймет,
Что озаряло наших предков лица.

Но мы должны спускаться в этот мир,
Как водолазы в сумрак Атлантиды, –
Былых веков надежды и обиды

Не только стертый начисто пунктир:
Века в своей развернутой поэме
Из тьмы выходят к Свету, к вечной теме.

*Если я читаю,
значит,
я ответствен
за мое чтение...*

**ЧТЕНИЕ И
ПЕРСОНАЖ**

Хвала автору, который не церемонится со своими персонажами или попросту помыкает ими и, вручив им план города, набросок пейзажа или детальную схему улицы, затем ухитряется покинуть их незаметно, чувствуя себя вправе безвозмездно уступить их читателю, чьи чувства преобладают над разумом.

Эти персонажи тают, как снег на солнце; они высыхают — эти мумии глубин души; они словно рассасываются в действительности — эти персонажи, выпитые, как влага, песком происходящего и воскрешенные глотком из фляги путешественника, когда автор, весь во власти охвативших его чувств, пользуется чужими тайнами, чужими признаниями, бросает их в огонь действительности, рискуя тем, что они от этого погибнут.

В персонажах, склеенных искусственно, — чего в них только нет: ластики, высохшие чернила, затупившиеся карандаши, конверты — все эти остатки вымысла, который не успел развернуться в полную меру.

Персонажей бросают в воду, как будто они умеют плавать. Разбирайся сам со своим читателем! Вода попадает им в рот, они захлебываются и неуклюже плывут.

Доплывут ли они до корабля? Сколько их, затерявшихся в открытом море сумерек! Мы ждали от них не заученных слов, а слов неизвестного языка: так потерпевший кораблекрушение, прежде чем исчезнуть, бормочет что-то нечленораздельное.

Персонаж без знаний и опыта, который доверяется своему читателю (приятно видеть, как он при этом расцветает: ведь он, читатель, получил какую-то власть!), просит не посягать на его всегда сомнительную свободу, а вернуть ему уверенность в себе.

Ему приписывают какую-то историю, наделяют памятью, наряжают во все новое, на него надевают наручники, и все разыгрывается в рамках интриги или того подобия интриги, которой он подчинен в большей степени, чем она ему. Он должен сам разобраться в тех чувствах, которыми его наделяют, постараться восполнить пробелы; он должен спасти целое, если там начнется сумятица или если мысли творца слишком поддаются его возбуждению. Это персонаж, целиком подвластный воображению, возбудимый, предающий остальных лишь ради развития повествования...



Рисунок С. Тюпина.

Дружеский шарж на
Ф. Сазан.

А мы *холодно* вторгаемся в интимный мир другого существа. Чем мы рискуем, веря ему? Быть может, мы свидетели кризиса, быть может, перед нами часть самого себя, отданная на растерзание? А если он на меня похож? А если с ним произошло то же, что и со мной? Сделав усилие, я могу поверить, что герой – это я, но у происходящего всегда есть варианты, даже если оно и сходно.

Я хочу верить в то, что он говорит за меня. Он может подавать мне идеи, может обогнать меня, торопясь к двухсотой



странице. Он не оборачивается: откуда ему взять время, чтобы и меня развлекать, и двигаться дальше? Но я не так безумен, как ты ожидаешь. Удачи тебе, мой братец, сколько тебе выпадет несчастий! Я все же более свободен, чем ты, бегущий навстречу своим невзгодам.

Если же ты оборачиваешься, то видишь автора, который рассказывает свою жизнь – свою, а не мою, – который обдумывает, что тебе предложить; таким образом смешиваются три истории: моя, история героя и история автора. То, что возможно, не всегда правдоподобно. Можно верить одному или другому, вспоминать самого себя или принимать за чистую монету переплетение сюжетов, ибо правила литературной игры могут меняться – а наша жизнь никому не кажется убедительной. О, эти прекрасные дни, когда мы втроем жили в рассказе! Но воображаемому всегда приходит конец, когда действительность уже никак не контролируется...

Я, читатель, защищаюсь лучше, и я никогда никого не повлек к какой-либо развязке. Я умею закрывать глаза, позволяю плести интригу и ни во что не вмешиваюсь.

Я существо особое, единственное в своем роде: ежедневно я творю свою историю, то огорчительную, то радостную. Книга так легко превращается в видимость. Выдуманные сцены сливаются с моим собственным существованием; воз-

*Читатель, мой друг,
каждая книга
пишется для тебя.
Я могу убедить
издателя, могу
спорить
с редактором,
с критиками. Но
только твой
приговор — настоящий
и последний. Он, как
говорят судьи,
обжалованию не
подлежит.*

Расул Гамзатов

любленная, белый автомобиль, пустыня, прерия или море: я придаю большое значение своим выдумкам.

Вы спросите, кто я. Никто не видел, как я дал пощечину этой рыжей женщине или бежал к ресторану безлунной ночью.

Мне недостает изобретательности, для того чтобы продолжить начатое, моя жизнь идет своим чередом, и все-таки я воображаю — только на свой лад: мой разум предвидит, а сердце наполняется жалостью.

У меня нет никакой канвы, никакого плана, который надо развить, и все-таки я умею делать то, что мне необходимо: творить, чтобы жить. Был ли мой отец этим странствующим неудачником, а моя мать неосторожной путешественницей? Здесь автор допустил ошибку, но по отношению к кому? Ко мне? Но разве от меня зависит фантастическая активность автора и пассивность его героя? Нас трое в одном лице, это своеобразная троица — отец растворяется в сыне, сын в отце, а творец, пытаясь вдохнуть в нас жизнь, задыхается сам. Я воображаю себе реальное, а другой — истинное. Быть может, я только случай из жизни другого?

И если я приду в восхищение, может быть, я и скопирую эту историю (в которой меня поддержит идеальная, утопическая фантазия) или возьму с кого-то пример (но тот, другой, восстанавливает, а я придумываю): основа моей уверенности — чистая случайность.

ОН ПРЕДВИДИТ, МЕНЯ ЖЕ ПРЕДВИДЕТЬ НЕВОЗМОЖНО.

На последней странице автор кончает, в то время как я продолжаю — не резюме прочитанного, а все шаги, которые мне предстоит сделать, слова, которые надо сказать. Я ничего не нарушил, продолжая идти дальше автора, влюбленного в своего героя. Он кончил, он продумал за меня все.

Раз я читаю — я заключаю сделку; я прихожу к открытию, что способен на все, я делаю самому себе знак: легкое приветствие, улыбка; я освобождаюсь от всех своих забот, я могу смеяться над ними — ведь ничего не теряешь, когда отдаешь только самого себя.

В детективном романе я убиваю только с помощью посредника, я привожу в беспорядок цепь событий, присваиваю улики — я очень беспечный статист. Меня невозможно уничтожить, уподобив кому-либо, — я неприкосновенен. Меня проецируют в пространстве и во времени, сфабрикованных для определенной цели. Все это разворачивается вне меня; образы, находящиеся под повышенным напряжением, оставляют во мне следы, которые быстро стираются самой моей жизнью; это как в вестернах — труп меня не интересует, кровь не течет; главное — это научиться хорошо падать, разбивая при этом стол или делая вид, что убит наповал.

А когда я прочел в тюрьме * «Красное и черное», я действительно подумал, что умру, как Жюльен Сорель. Погруженный в горестное одиночество, я полностью отождествлял себя с этим героем, он волновал меня, мешал мне жить мелко, в тесноте моей одиночной камеры; я слышал его шаги в конце коридора, я шел вместе с ним в душ. Книга приобретала новое значение; мне казалось, что я читаю о моем собственном осуждении. Меня томило предчувствие; уходящие дни были днями Жюльена, оставалось прожить несколько недель – и все. Выйдя из «уст оракула», иллюзия превращалась в правду. Автор вовлекал меня в свою историю, которая становилась моей. Стендаль казался едва ли не причиной моего заключения, и мне не хватало юмора, чтобы понять: в этот момент его утонченная игра была отвратительной ложью, поводом для описания невероятных чувств; но ведь при всякой чрезмерности мы оказываемся во власти скрытой игры воображения. Мы твердо верим в предвестия.

Если я читаю, значит, я ответствен за мое чтение, я подтверждаю его подлинность, я оказываюсь среди привилегированных. Ради меня кто-то работал, кто-то взвешивал, что может и что не может доставить мне удовольствие, а я разрушаю книгу, потому что я отбираю у нее сущность, потому что я делю с другими эту вечно обновляющую книгу? Но если я читаю так, можно ли назвать меня просто читателем?

Смогу ли я как-то прояснить книгу с помощью своих поступков и согласовать свою жизнь с вымыслом, еще более неясным, чем она? Сумею ли ввести сказанное в неожиданно широкое русло того, что я чувствую? Угадывая при этом свое предназначение, предчувствуя то, что я сделаю, что скажу, как поступлю? Достаточно ли я вовлечен во все это той суммой, которую я заплатил под влиянием критики?

Читатель удаляется – я же озабочен внезапными откровениями. Должен ли я торопить время или, напротив, оттягивать то, что еще не произошло, хотя знаю и продолжение, и вероятный конец?

А герой по-прежнему томится от скуки, скованный рабской зависимостью от всемогущего автора.

Это своеобразный поединок между героем и мной. Я защищаю собственное существование, я доказываю определенную истину, и мое счастье, что в этом я не дохожу до поражения, подобно герою. У меня есть доказательства, целая реальная документация о моем прошлом, которая, будучи вначале несколько туманной и нетвердой, помогает обнаружить в этом прошлом тюрьму без всякой скорби. Герой дает мне больше времени, чем было у меня, потому что он умеет жить и осуществлять свои замыслы лишь в замкнутом пространстве книжных страниц и ситуаций.

Он избегает опасности лишь с нашей помощью и находит себе пропитание лишь ценою наших повседневных забот. Так как же не устать от такого лица, если оно утратило

свои черты (очень часто автор схематизирует его), а я могу потрогать кончик носа, свой подбородок или лоб? Может быть, герой всегда завершается только в нас самих?

А что бы делал он на моем месте? Мог ли бы он повторить свои слова и свои обвинения, мог бы искушать меня? Этот герой, который держится нашей плотью и только так вращается на нашей орбите?

Это «бумажный тигр»; его страшатся лишь слабые и угнетенные. Его мыслей и его поступков боятся лишь в том обществе, которое взяло его за образец.

В большинстве случаев мы ищем в словах героя фразы, которые сами не осмелились произнести, возвышенные реплики; если его слабость придает нам смелости, тогда мы позволяем ему поступать, как ему заблагорассудится, мы освобождаем его от ответственности по отношению к нам, мы принимаем его за одиночку, не способного вынести ни обязательств, ни удовольствий в этом мире, который мы хотели бы видеть доступным нашему пониманию. Мы всегда в выигрыше, ибо целью всякого чтения является стремление к тому, чтобы наше собственное непостоянство никогда не было разоблачено.

Станем же той античной статуей, которая вдруг, ко всеобщему удивлению, появляется из-за олеандров.

Быть может, я говорю о книге, которой не существует, а мы являемся лишь ее беглыми набросками? О книге, в которой мы снова выздоравливаем или заболеваем, о книге незавершенной, у которой есть единственная возможность выразить себя – наше существование, потому что в ней мы видим движение персонажей, ограниченное пределами нашей личности.

Сегодня нет больше персонажей, а есть неприятные существа, которые держатся лишь с помощью комментария, есть вдохновители вымысла, который поддерживается сумятицей и беспорядком, есть движущиеся фрагменты, подобные обломкам стиха, реликтовые приметы общества, которое подвергается опасности, но сохраняет эти образцы в испытанном романтическом ковчеге.

Подобное распыление, огорчая нас, одновременно и успокаивает. Мы с доверием относимся к различным изгибам в недрах нашего сознания, которое довольствуется израненной и изломанной мыслью, проявляя бесконечное терпение к поворотам.

«В разбитые окна дует северный ветер и залетают ночные птицы», – пишет Нерваль. Он добавляет: «Портрет, затуманенный временем, приобретает в своих полутонах причудливый характер, это своего рода мертвая жизнь, тревожащая взор».

Мы, как говорит тот же Нерваль, «очень красивые призраки». Мы неотступно возвращаемся на места, связанные с загадкой нашего существования, мы страшимся слишком яркого света рассказа, который внезапно освещает фигуру «безумца, ждущего ответа».

Те, на кого снисходит вдохновение, недолговечны. И догадываемся ли мы, что, отражаясь в осколках зеркал, рас-

ставленных по всему нашему жизненному пути, мы мечтаем предстать перед зеркалом без амальгамы, которое откроет нам другой мир и нас самих – тени, безразличные к нашему теперешнему существованию?

Когда зеркала разбиваются, на выручку всегда приходит автор, более или менее удачно склеивающий кусочки; из наших черт получается коллаж, в котором просматриваются вполне человеческие трещины, получается чуть-чуть дисгармоничная реконструкция, но ничто не нарушает торжественной и величавой позы, которая вызывает наши аплодисменты.

Чтение становится тогда сейсмическим, наполняется толчками, которые обнаруживают неустойчивость нашей мысли, наших чувств, нашей судьбы, бедность и тленность которой уже не страшит больше: плохо ли, хорошо ли, но все как-то держится, несмотря на все неожиданности такого чтения.

Пожинать плоды нашего существования, принимать то, что мы угадываем, осаждать то, что с трудом поддается защите, наносить ответные удары в пустоту – вот к чему мы стремимся с той тоской по единению, которая приводит к тому, что с каждого из нас по семь шкур дерут.

К счастью, у нас есть забвение, в котором можно укрыться от этого чрезмерного преувеличения значения нашей жизни, от прочитанной книги и персонажей «в духе времени». Но забвение ли это – или исчезновение самого себя?

1973

ГЕОРГИЙ ИВАНОВ

Поэзия: искусственная поза,
Условное сиянье звездных чар,
Где, улыбаясь, произносят – «Роза»

И с содроганьем думают: «Анчар».
Где, говоря о рае, дышат адом
Мучительных ночей и страшных дней,
Пропитанных насквозь блаженным ядом
Просоших в мироздание корней.

*Да здравствует
чтение
творческое!*

УМЕЕТЕ ЛИ
ВЫ
ЧИТАТЬ?

Что за странный вопрос! Во Франции читают поголовно все. Во всяком случае, проблема неграмотности разрешена. Светская школа играет тут немаловажную роль. Хотя, если хорошенько изучить данные переписи, то еще можно обнаружить людей, которые не сумели или не смогли приобщиться к чуду из чудес, каким является умение читать. Разве же не сродни чуду умение переводить эти значки, нацарапанные черным по белому, в мысли, чувства, эмоции?

Но речь идет о другом. Все умеют читать. Все умеют по меньшей мере расшифровать написанное. Но разве этого достаточно? Конечно же, нет. Помимо первой расшифровки текста – я назвал бы ее звуковой, даже если читаешь про с е б я , – существуют другие расшифровки, ведущие к полному его пониманию. Слова нередко подобны фруктам: у них горькая кожура, которую нужно очистить, чтобы добраться до питательной мякоти.

С помощью словарей, грамматики и работы ума на уроках литературы занимаются важным упражнением, так называемой интерпретацией текста. Берут отрывок, который сначала прочитывают, затем в него вчитываются, его разбирают по косточкам, выжимают как лимон, чтобы получить сок, ощутить всю его прелесть, не упустить ничего из того, что хотел сказать автор. Кое-кто выступает против такого чтения, называя его кромсанием текста. По их словам, оно подобно тому, как оторвать грубыми пальцами крылышки бабочки. Или навязывать автору мысли, каких у него вовсе нет.

Ничего подобного! Интерпретировать текст – упражнение хорошее, даже очень, но проделывать его нужно осмысленно, с умом. Тогда оно отучит нас от беглого, поверхностного чтения и приведет к чтению углубленному, настоящему.

Конечно, надо, чтобы эта «интерпретация текста» была живой, а не начетнической. Чтобы она шла на пользу и автору и читателю, а не отбивала всякую охоту к чтению, наскучив. И тут на помощь читателю должна прийти литературная критика. По этому поводу я хотел бы высказать несколько соображений. Разве каждый читатель не является сам своего рода литературным критиком? Но мы не всегда осведомлены по поводу книги или статьи, которые попали нам в руки. Я не без хитрого умысла пишу «попали», поскольку мы не всегда выбираем, что читать. Зачастую выбор делают за нас другие, с более или менее похвальными намерениями. Итак, если мы не осведомлены, нам приходится полагаться

УМЕЕТЕ ЛИ
ВЫ
ЧИТАТЬ?

247

на свой критический ум. А это не дается само по себе. Этому надо учиться.

Вы скажете мне: я читаю не для того, чтобы взвалить на себя дополнительные проблемы, я читаю, чтобы передохнуть, насладиться простым и спокойным счастьем чтения, помечтать, совершить путешествие во времени и пространстве.

И я отвечу: полностью согласен. Но небольшое усилие, осуществляемое время от времени, позволит вам



Фото В. Богданова. больше насладиться огромным богатством, какое приносит чтение книг. Вы ведь не станете есть апельсины с кожурой и раскалываете орех, прежде чем вкусить его ядро.

Мне часто случается возвращаться домой по вечерам вместе с другом-металлургом. Мы болтаем о том о сем. Он рассказал мне, что недавно прочел книгу Е. Тарле «Наполеон» и несколько статей на ту же тему. Поскольку в это

ПЬЕР
ГАМАРРА

время отмечалось пятидесятилетие со дня смерти Льва Толстого, я задал ему вопрос:

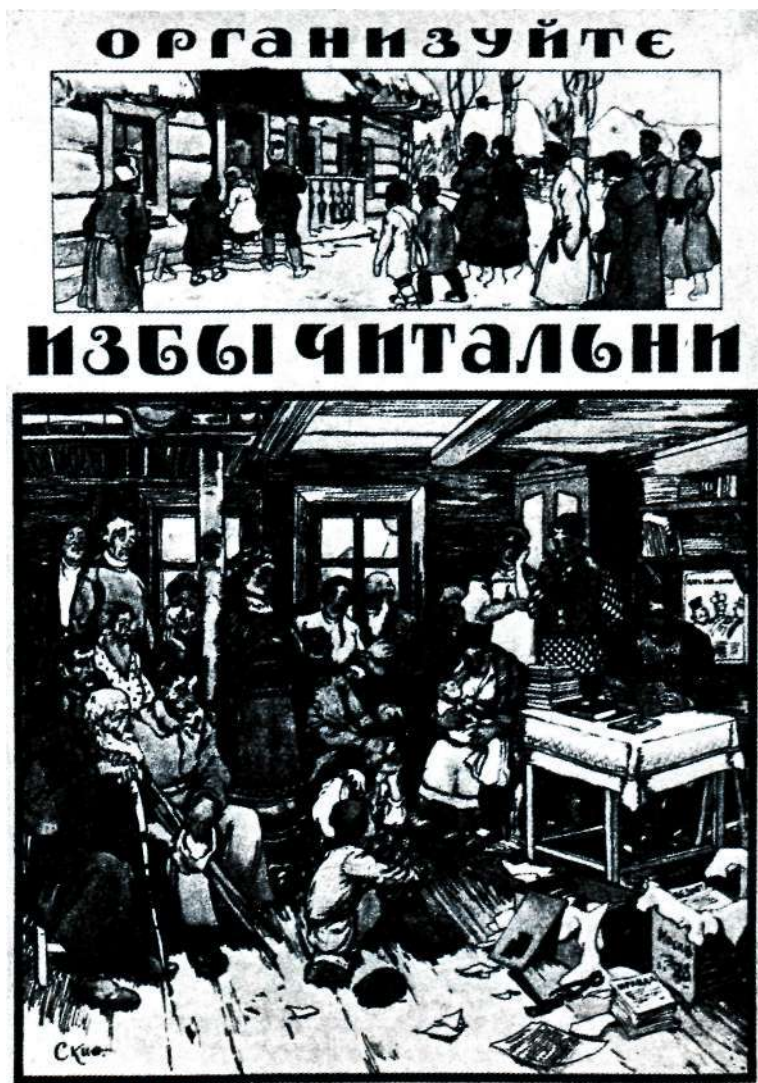
– Ну а «Войну и мир» ты прочел?

– Нет. Это ведь толстая книжища, правда?

– Да. Книга большая, но начни читать, окупись в нее.

248 И посмотришь.

Мой друг достал «Войну и мир». Он «зацепился» за нее, по его словам, с первых же строк и уже не может оторваться. Наташа, князь Андрей, Пьер Безухов и многие



*А. Ансит. Плакат
«Организируйте
избы-читальни». 1919.*

другие герои Толстого стали его друзьями. Он плакал и смеялся вместе с ними.

Книги охватывают многие сферы жизни – разнообразно и увлекательно. И народ достоин того, чтобы по-

Читатель, сам того не ведая, является соавтором книги еще задолго до того, как она до него дойдет. Он находится рядом с автором в часы колебаний, борьбы и решений. Автор ощущает на себе его взгляд, ждет его смеха или слез, готов отступить, если заметит у него на лице гримасу нетерпения, недовольства, гнева, а иногда эти самые симптомы вдохновляют автора, и тогда он начинает дразнить и возмущать читателя...

Ян Парандовский

лучить к ним доступ. Бывало, школьные учителя говорили: «Народ велик тогда, когда он умеет читать». Чтение требует привычки, желания. Надо приучить себя к вдумчивому чтению.

Надо постигать умение читать.

Собираясь в путешествие, вы продумываете маршрут, вы готовитесь в путь. Почему бы вам не подготовить – о! не осложняя себе жизнь – свое путешествие в страну книг? Почему бы не сказать себе: не прочесть ли мне что-нибудь Бальзака, или Чехова, или Золя, или Гюго?.. В 1962-м отмечалось столетие со дня выхода «Отверженных». Так проведите же несколько часов с Жаном Вальжаном! А Стендаль – это имя вам ничего не говорит? А Мопассан? Я развлекаюсь, напоминая вам имена великих классиков. Нет, я не собираюсь составлять рекомендательный список. Сегодня я просто хочу сказать: не читайте всего, что только попадет под руку, не покупайте книгу без разбора, как покупают банку горошка.

На днях я просматривал иллюстрированный журнал, какие выходят у нас большим тиражом. Там я наткнулся на фразу, которую переписал себе в блокнот специально для вас.

«Чтобы преуспеть, – заявляет журналисту издатель серии детективов, книг о шпионах, – достаточно производить и продавать эти книжки, как изготавливают и продают любой другой товар».

Вот мы и подошли к сути проблемы! Книги приравниваются к носкам, консервированному горошку или средству для чистки посуды. Очаровательное признание! Я уважаю, дорогие друзья, я очень уважаю тех, кто изготавливает носки, консервы или стиральный порошок. Однако извините меня, книга – это далеко не то же самое.

«Мать», «Жерминаль», «Мадам Бовари» или «Орельен» не изготавливают как пакет стирального порошка. «Семья Тибо», позволяю себе заметить, – это вам не сосиски, сошедшие с конвейера колбасной фабрики.

Нет, нет и нет! Книга – нечто совсем иное. И даже произведение, не претендующее на большую литературную ценность – развлекательный рассказ, – тоже нечто совсем иное. Остерегайтесь того, что я назвал литературой-консервированным горошком. Она опасна. Я мог бы назвать ее также литературой-хлороформом или литературой-мышьяком. Такие книги принижают, притупляют, растлевают душу. И это тем более опасно, что по прошествии некоторого времени их читатель перестает отдавать себе в этом отчет. Он уже испортил свой вкус. Он утратил свою свободу критического суждения. Эта так называемая литература, сфабрикованная по шаблону, его усыпила, притупила его восприятие.

Он перестал быть активным читателем, перестал воспринимать книгу творчески. Он превратился в механизм, заглатывающий пережеванную пищу.

Подумайте о себе, подумайте о своих детях, о молодых людях, юношах и девушках, которым может попасться на

глаза всякое глупое, а порой вредное чтиво. Не читайте книг, просто попавших вам под руку!

Речь идет о приобретении культурных навыков. В доме, где есть книги и любят читать, ребенок быстрее учится чтению. Ребенку, который рано начинает листать книги, рано приобщается к книге, будет легче даваться учение в школе.

Это надо повторять неустанно. Многие книги доступны, и не все книги скучны. Продавщицы и модистки способны зачитываться не только сентиментальными романами. Среднему читателю по плечу и мировые шедевры.

Одна молодая женщина призналась мне, что читает полный текст «Исповеди» Жана Жака Руссо, знакомый ей ранее только в отрывках. Она говорила об этом с восторгом, считая «Исповедь» книгой необыкновенно увлекательной, волнующей, современной.

Действительно, существует мнение, что великие произведения классиков скучны и давно покрылись пылью, что они предназначены для преподавателей, которые в них разбираются, и школьников, которые, запинаясь, читают их, поскольку они входят в программу.

Это и верно, и неверно.

Верно, если подходить к чтению этих произведений – или только некоторых из них – как к однообразному, нудному упражнению. Неверно, если искать на их страницах глубины жизни, живой урок, которым крупные мыслители и крупные писатели насытили свои сочинения. Монтень выразил это намного лучше меня, говоря об учителе и ученике: «Пусть он не спрашивает с ученика только слова заданного урока, но их смысл и суть; и пусть судит о пользе своего урока не по тому, что сохранила память ученика, а по тому, какова будет его дальнейшая жизнь».

Да здравствует страсть к книгам, к чтению! Да здравствует чтение активное! Да здравствует чтение творческое!

1961

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Мое мнение о роли литературы в современном обществе? Мне кажется, что следовало бы прежде всего определить, что мы понимаем под словом «литература». Возможно, попытка точного определения смысла этого столь широко распространенного и столь смутного понятия помогла бы нам осознать, чего же мы, собственно, хотим от литературы. Ждем ли мы от нее описания (посредством романов или же стихов – впрочем, и эти понятия тоже нуждаются в определении...) нашего мира? Его прошлого и будущего? Я полагаю, что дело обстоит именно так. Из тысячи картин, слившихся воедино, слагается единое восприятие.

Если верно то, что литературные произведения часто становились зеркалом общества и как таковые – зеркалом социального неравенства, то при этом надо помнить: великие писатели оставили нам не просто верные, рабски точные копии мира, который их окружал. Нет, они сказали в своих книгах еще и нечто другое. Что же именно? Рабле, к приме-

ру, ввел понятие гуманистической приключенческой литературы, а Сервантес – плутовского реалистического романа. Великие писатели, заимствуя традиционные формы, взрывают их изнутри. Только в рамках общепринятого и общепризнанного остаются одни лишь эпигоны.

В общем, я полагаю, что литераторы, достойные этого названия (чье творчество останется жить, переживет века), выражают свое время и вместе с тем как бы отрицают его, подготавливая времена грядущие. Толстой выразил существенные стороны жизни крестьянской России, и им восхищался Ленин. Потому что в творчестве Толстого уже угадывалась иная страна, иные люди.

Вот почему, рассуждая о творчестве выдающихся писателей, следует учитывать не только категории прошлого и настоящего, но и такую важнейшую категорию, как категория будущего. Даже и тогда, когда на первый взгляд эти авторы отнюдь не ставят себе целью изображать будущее.

Интересным примером в этом смысле служит нам литературный язык. Если писатель остается жить в веках, это значит, что его язык понят и воспринят потомками. У Корнеля, как и у Мольера, было много современников-писателей, наслаждавшихся в ту пору громкой славой. Но остались жить в веках Корнель и Мольер. Писатели и поэты изобретают язык будущего. Можно, на мой взгляд, даже сказать больше: они изобретают будущее. Они не застревают на уровне временного и преходящего, а идут вперед, дальше, увлекая нас за собой... Чехов обращался не только к своим современникам, но и к нам. Он пытался увлечь своих читателей, своих современников навстречу новому, современному миру. Посмотрите на себя, понимаете ли вы, как вы несчастны? – говорил он. Далеко не все это понимали. Они не видели своего несчастья. Но Чехов упорно возвещал грядущие счастливые времена. Еще и сегодня есть люди, которые не хотят, не могут понять Чехова.

Да, в конечном счете в творениях всякого большого художника сокрыта идея счастья. Это не означает, разумеется, что поэты и романисты преподнесут нам счастье в готовом виде, на серебряном блюде. Счастье – оно в руках людей. Литераторы помогают нам зорче видеть то, что творится вокруг, и лучше активнее мечтать, активнее критиковать, зная, что мы можем, что мы могли бы быть счастливы.

Жизнь человека быстротечна. Романы и стихи обогащают его знанием сотен других жизней, многовековых пейзажей, несчетных страданий, радостей, страстей. Мы – это мы, но в каждом из нас вместе с тем живут Анна Каренина и Эмма Бовари, Дон Жуан и Квизимодо, Жан Вальжан и Жавер... Мы – люди всех рас, всех времен... Но и это еще не все. Чтение – еще не деяние, но это уже начало мечты, начало деяния. Вот почему чтение не есть пассивное занятие. «Пармская обитель» обязана своим существованием и Стендалю и читателям.

В слова «мечта» и «волшебство» я вкладываю смысл истинно динамический. А не тот, что навеивает мысли о кол-

довстве, о гороскопах, о лжеволшебниках. Истинные волшебники – это поэты, вот почему они собратья ученых.

Будущее литературы в нашем изменяющемся мире. Литература погибнет, если – по вине людей, охваченных смертоносным безумием, – погибнет мир. Это просто и ясно, и мы обязаны это знать. Писатель должен это знать, потому что он – гражданин и человек.

Ко мне часто обращаются с вопросом о том, не грозит ли гибель письменности и литературе в условиях быстрого развития и распространения аудиовизуальных форм искусства. Что ж, аудиовизуальные формы информации и искусства играют важную роль и могут представить для нас большую ценность. Но, насколько мне известно, они не удушили литературу и письменность. Мы по-прежнему – отчасти это хорошо, отчасти плохо! – живем в мире бумажном, в мире печатного слова.

На мой взгляд, между формами подлинной культуры нет конкуренции, напротив, они взаимно обогащают друг друга. Экранизация какой-нибудь книги на телевидении способствует быстрой распродаже этой книги в книжных магазинах и т. п.

Наконец, я считаю – я уже говорил об этом выше, – что в нашем современном мире, где господствуют техника и наука, писателям и поэтам особенно надлежит играть важную роль. Они – ферменты истинной, плодотворной мечты.

Задача писателя? Мне кажется, она ясно вытекает из всего сказанного выше.

Поэзия творит будущее – язык будущего, мир будущего. Таким образом, поэт – в этом нет никакого чуда – помогает создавать завтрашний мир. Человеческое бесправие, смерть не создают – от того и другого только погибают...

Мы должны стать творцами человечности, жизни. Под этим подразумевается не примитивный дидактизм, а истинно динамическое видение, конструирование и движение вперед. Жюль Верн не потому остался с нами как живой среди живых, что он предугадал то или иное техническое изобретение (наука уже обогнала его, как, впрочем, обогнала и многие волшебные сказки). Жюль Верн потому навсегда остался с нами, что он верил в светлое будущее человечества. Поэт – полная противоположность вакууму, бесчеловечности, тлену.

Никто не пишет для самого себя. Никто не пишет для нескольких людей. Писатели всегда мечтают о широком круге читателей, и они правы. Они мечтают быть услышанными своими братьями-современниками. Они мечтают о том, чтобы их услышали также сыновья и внуки – люди будущего.

Но для этого необходимы активное воображение и дальновидность. Эти качества не обеспечивают гениальности, но даже гениям без них не обойтись.

*Мы
присутствуем
при закате
определенной
формы книги,
но не чтения...*

**К ВОПРОСУ
О СОВРЕ-
МЕННОЙ
КНИГЕ**

*Джорджу
Лэмбричу*

**I.
КНИГА И
ЕЕ ВЕС**

Книга, это основное орудие нашей цивилизации (какой крупный современный город может обойтись без телефонного справочника?), меняет свой облик; развитие аудиовизуальных средств коммуникации начинает сказываться на ней и вскоре изменит ее до неузнаваемости, так что мы, можно сказать, присутствуем при закате этого столь привычного для нас предмета, этих стопок прямоугольных листов бумаги с напечатанным на них текстом, которые выстроились у нас на книжных полках.

Мы присутствуем при закате определенной формы книги, но не чтения; напротив, новый предмет, контуры которого уже вырисовываются на горизонте, с таким успехом заменит старый, что мы пойдем наконец, что такое настоящая книга.

Главное неудобство современной книги – ее вес, ее громоздкость. Разумеется, месопотамские таблицы были шагом вперед по сравнению с надписями на гранитных глыбах, а каким достижением стал переход к папирусным и пергаментным свиткам – ведь они еще удобнее в обращении! Изобретение книгопечатания позволило увеличить количество экземпляров и, как казалось, сделать текст вездесущим; но как ни велики тиражи, количество экземпляров не может быть бесконечным; ни одна библиотека не располагает достаточным количеством томов, чтобы удовлетворить спрос, которым вдруг начинает пользоваться та или иная книга, ни один читальный зал не способен вместить всех желающих. Чтобы остановить этот непрерывный поток читателей, приходится прибегать к самым разнообразным ухищрениям.

Как ни легка современная книга по сравнению со своими предшественницами, она все же слишком тяжела; как ни велики тиражи, книг все равно не хватает; как ни мелок шрифт, книга все-таки слишком объемиста.

Тут-то и приходит на выручку новая техника. В самом деле, чем рисковать, отдавая редкую книгу в чужие руки, проще сделать с нее микрофильм; тогда пользоваться книгой смогут сразу несколько исследователей, находящихся в разных концах света. По сравнению с традиционной книгой микрофильм имеет то неудобство, что является в каком-то смысле шагом назад – возвращением к древнему свитку; он не считается с введением третьего измерения в чтении, которым явился переход от *volumen* к *codex*, и почти полностью исключает перелистывание; но нет ничего невозможного в том, чтобы с помощью телекамеры заснять на пленку все страницы, воспроизведя их последовательность, напечатанный на них текст, их фактуру так, чтобы аппарат для чтения

мог регулировать скорость смены кадров, плотность бумаги и таким образом воссоздавать все истинные качества книги. Оставим пока в стороне осознание бумаги, ее запах; наступит и их черед; их тоже можно воспроизвести.

254

Успехи миниатюризации в этих областях таковы, что теоретически вполне возможно собрать все тексты, хранящиеся во всех библиотеках земного шара, в скромных размерах спутнике. С помощью *читателя*, отчасти похожего на телевизор, любой желающий смог бы в любой момент получить до-



Молитвенник. XIII в.

ступ к любому произведению. Вопрос о тираже был бы раз и навсегда решен. Читателям больше не приходилось бы, выстояв длинную очередь перед окошком библиотекаря, слышать в ответ на свою просьбу, что книга занята.

Только если все это будет сделано, текст окажется наконец подлинно вездесущим. И тогда станет заметно, что рево-

люция, начатая Гутенбергом, уже четыре столетия топчется на одном месте.

Можно представить себе, какие новшества сулит этот переворот. Если сейчас книгу о кино иллюстрируют только стоп-кадры, то в будущем мы при желании сможем увидеть целые эпизоды; читая книгу о музыке, мы сможем услышать любую часть музыкального произведения; в книге по истории искусства можно будет разглядеть каждую репродукцию во всех деталях; при чтении книги на иностранном язы-



*Перепищик. Париж.
1526.*

ке мы получим в свое распоряжение целую кучу словарей, которые будут автоматически раскрываться на нужном месте; читая книгу о творчестве того или иного писателя, мы увидим контекст каждой цитаты.

Наряду с точно воспроизведенными страницами старых классиков, Рабле или Малларме, у которых каждое слово твердо знало свое место, мы прочтем удивительные стихи: их строчки будут прерывистыми, зыбкими, расплывчатыми, потому что разные части стихотворения аппарат будет листать с разной скоростью.

В результате, конечно, произойдет полный переворот в книжном деле, изменится его экономика, и, следовательно, возникнут новые типы финансирования. Авторский гонорар будет зависеть не от количества проданных экземпляров (за исключением таковых), но единственно от того, насколько часто к книге обращаются – а это еще предстоит научиться определять. Впрочем, опубликовать можно будет все, потому что спутник сможет вместить все имеющиеся рукописи (каким бы способом они ни были написаны).

II.
КНИГА И
УЛИЦА

Отчего в таком случае не подождать, пока произойдут все эти перемены? К чему лезть вон из кожи, издавая толстые бумажные тома, такие неудобные в обращении, такие труднодоступные? Отчего бы литературе не впасть в зимнюю спячку и не подождать, пока для нее будет изобретено достойное воплощение? Иными словами: отдадим все силы борьбе с тем, что отдаляет будущее, а эта борьба в первую очередь – борьба политическая. Перенесем сражение на улицу. Только коренной переворот в обществе позволит осуществить прыжок в новое измерение. Начнем же кричать, произносить речи, писать статьи в газеты, выступать по радио и телевидению; как только изменится устройство общества, литература во всеоружии новой техники сможет наконец выйти из донсторической эпохи своего развития и вновь пойти своим путем.

Но как – увы! – ни необходимо порой брожение масс, как ни ценен опыт аудиовизуальных средств коммуникации, телевидения и кино, изменить ту грубую заготовку, которую мы сейчас зовем книгой, может только собственно литературная работа. Политическая деятельность приносит ощутимые результаты, только когда она опирается на теорию, когда она создает тексты. В свою очередь управлять аудиовизуальными средствами коммуникации тоже можно научиться лишь с помощью учебников. Как ни длинна цепь опосредующих звеньев, в конце концов всегда приходишь к книге, к этой кипе страниц с текстом и картинками.

Пруст в своем очерке «О стиле Флобера», отвечая Альберу Тибоду, пишет, что был поражен, узнав, что «писателя, который благодаря индивидуальной, абсолютно новой манере употребления совершенного и несовершенного видов прошедшего времени, причастий настоящего времени и некоторых местоимений, а также необычному синтаксису оказал почти такое же влияние на наше представление о вещах, как Кант своими категориями – на теорию познания и понятие реальности внешнего мира, – этого писателя называют плохим стилистом».

Речь идет не только о теории, но о практике и о точке зрения. Эксперименты в области личных местоимений и расположения абзацев, орфографические новшества, выбор прилагательных и множество других языковых тонкостей, столь далеких на первый взгляд от злобы дня, не менее важны, чем изобретение электронного микроскопа, ракеты или циклотрона. И мы прекрасно знаем, что как техника,

бывает, подводит, так и неологизмы могут оказаться самого дурного вкуса.

Книга настолько важна для нашей цивилизации, что коль скоро изменить цивилизацию можно, только изменив постепенно все ее части, то все стараются в первую очередь обновить книгу. Для развития физики мало переоборудовать лаборатории, необходимо обновить стиль научных трудов и популярных брошюр.

Нам надоела книга в ее теперешнем виде, но если мы будем сидеть сложа руки и ждать, чтобы произошла желанная метаморфоза, то она может не произойти никогда. Таким образом, речь идет о том, чтобы использовать все те возможности, которые в скрытом виде существуют уже сейчас, но до сих пор не были осознаны и использованы. Только неустанно стараясь понять, что представляет собой книга сегодня, мы можем приблизить ее завтра.

Писать – это и значит действовать.

III. КНИГА И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЖАНРЫ

Литературная деятельность во все времена была разнообразной благодаря многочисленным функциям, которые она выполняла в обществе. Традиционные жанры, будь то девять жанров, которым греки придали облик девяти муз:

Клио – муза эпической и исторической поэзии,

Эвтерпа – муза лирической поэзии,

Талия – муза комедии,

Мельпомена – муза трагедии,

Терпсихора – муза танцев,

Эрато – муза любовной поэзии,

Полигимния – муза гимнов,

Уrania – муза дидактической поэзии и астрономии,

Каллиопа – муза политической поэзии,

или жанры, о которых столько спорили наши предки накануне Великой французской революции, играли совершенно определенную роль в организации общества и были одной из его опор; законы общества определяли законы литературы. Появление буржуазной драмы было равносильно подрыву общественных устоев. Такой подход правомерен по отношению ко всем жанрам, как получившим, так и не получившим в свое время официальное признание, вплоть до имеющих жесткую структуру жанров западноевропейской поэзии: сонета, баллады... Да и не только европейской, конечно, но надо признать, что у нас маловато возможностей их изучить. Мы до сих пор почти не знаем литературы дальних стран, и это становится все менее простительно. Лишь время от времени до нас доходят какие-то обманчивые тени. Несомненно, потребуется не один десяток лет на то, чтобы ликвидировать этот пробел.

Традиционные жанры – призраки, и весьма опасные. Их ставят в пример. Их канонизируют в поэтиках, издательских сериях, университетских лекциях, библиотечных рубриках. Делайте что хотите, говорит критик, но я должен знать, как это назвать. Конечно, непроходимой границы между траге-

дней и комедией больше нет, но если вы вдруг дерзнете разрушить границы между очерком и романом, пьесой и стихотворением – какой поднимется шум!

Однако, если различия между традиционными жанрами понемногу стираются, это не значит, что жанры исчезают, ибо это предполагало бы, что исчезает строгое соответствие между различными сферами нашей общественной деятельности и литературой. У нас не меньше жанров, чем у наших предков, и жанры эти так же резко отграничены один от другого, просто мы их не так хорошо изучили.

Если границы жанра романа в некотором смысле размываются, он все-таки не теряет при этом своей поразительной устойчивости; достаточно взглянуть на полки в книжном магазине, чтобы увидеть, что романы делятся на поджанры со своими строгими законами: детектив с его разновидностями, среди которых, например, «черная серия», сама в свою очередь подразделяющаяся, согласно рекламе на обложке, на разные типы: вестерн, книги «про шпионов» и т. д., научно-фантастические романы, медицинские романы, «дамские» романы, романы для детей того или иного возраста, эротические романы, католические романы...

И, конечно, литературные романы.

Еще более глубокие изменения аудиовизуальные средства коммуникации произвели в древнем драматическом роде: появились сценарии, радио- и телефьесы, которые зачастую не имеют ничего общего с традиционной драматургией.

Очерк, нередко являющийся переработанной лекцией, зависит от того, где его собираются опубликовать. Иной журнал – сам по себе уже жанр. То же и с курсом лекций, с учебником... Можно говорить о жанре плаката, проспекта, подарочного издания....

И писатель прекрасно знает, что для разных изданий надо писать совершенно по-разному.

Что же касается того, что сегодня принято называть «письмом», оно, отнюдь не отменяя все другие жанры, является одним из них, несомненно самым благородным; для него характерны отсутствие посредника и количественных ограничений (которые, как известно, так сильно угнетают сочинителей романов с продолжением, радиопьес, газетных статей) и, следовательно, одиночество писателя перед чистой страницей, рассматриваемой как бесконечно растяжимая поверхность. Это театр со своей режиссурой, своими декорациями («кабинет», «книжный магазин», «камин», «кресло»), с «отсутствующей» публикой, спрятанной за немислимо плотным занавесом всего механизма современного книгоиздательского дела, со своей формой оплаты, механизм которой особенно трудно понять и проконтролировать (благодаря этому «письмо», даже имеющее острую политическую направленность, часто не чувствует себя связанным, считает себя уже свободным), со своими жестами, своей мифологией, своим стилем.

Его поджанры: дневник, записки, афоризмы, «тексты»...

Между тем сложившийся жанр неизбежно консервативен, в чем нет ничего дурного, ибо есть завоевания, которые необходимо сохранить, чтобы не отступить назад; но истинным новаторством является создание нового жанра, нарушение равновесия жанров.

IV. Нам кажется, что все жанры греческого происхождения принадлежат «греческой литературе», все жанры китайского происхождения – «китайской литературе», а ведь все мы прекрасно знаем, что жанры могут переходить из одного языка в другой.

Однако в силу того, что истории европейских народов развиваются параллельно и постоянно взаимодействуют, на то родство, которое объединяет все жанры английской литературы, накладывается родство французского, английского, немецкого и других романов.

Кроме того, какое-нибудь древнее или современное общество может быть принято за образец другим обществом; и тогда старая литература возродится в новой.

У Монтеня и Рабле ссылок на итальянскую, латинскую и греческую истории не меньше, если не больше, чем на французскую. Позже проявятся испанское, английское влияния... Французская книга находится на скрещении многоязычных путей.

Всякий образованный человек из наших предков читал по-латыни и по-гречески; исходя из этого, может показаться, что у них не было особой необходимости переводить классические тексты. Тем не менее классиков никогда не переводили так много; дело в том, что перевод рассматривался как созидательная деятельность, способствующая становлению нового языка. Изучить все современные языки невозможно, поэтому нам приходится полагаться на переводы.

Развитие средств сообщения и, что там ни говори, политического сотрудничества сильно увеличило количество и скорость перемещений, так что мы постоянно оказываемся в обществе людей, говорящих на разных языках. Нам нужны переводчики. Ни одна страна уже не может жить изолированно в языковом отношении.

Первая реакция на такое положение вещей – постараться навязать другим свой язык. К чему нам учить варварские языки соседей, говорили французы, когда соседи скоро заговорят на нашем языке? Этого, однако, не произошло. Точно так же сейчас многие англосаксы спят и видят, что весь мир одумается и начнет говорить по-английски, только по-английски. Как бы это все упростило! Что же касается шедевров литературы, то их можно перевести.

Но те, кого англичане собираются переводить, не могут согласиться с таким решением – ведь язык крайне важен для самосознания личности. Забвение или запрещение того или иного языка равносильно массовому убийству. Поэтому писатель страны, подвергающейся языковой колонизации, будет защищать и прославлять свой родной язык, всеми силами

стараясь продемонстрировать невозможность адекватного перевода на язык «колонизаторов».

Таким образом, становясь все более и более необходимым, процесс перевода в то же время все более и более усложняется, и, поскольку знание языка, во всяком случае у специалистов, постоянно совершенствуется, вскоре станет невозможно переводить с французского на английский, не изменяя английского, не работая над ним. Таким образом, перевод вновь обретает созидательную роль, какую он играл в эпоху Возрождения, но речь идет уже не о том, чтобы прилизить свой язык к древнему образцу, а о том, чтобы коренным образом обновить его.

Даже в том случае, если писатель не владеет в совершенстве ни одним из иностранных языков, он все равно не свободен от их влияния и должен хоть сколько-то разбираться в них. Совершенно естественно, что лингвистика сегодня в моде, и все возлагают на нее большие надежды.

А если писатель владеет иностранным языком и регулярно говорит на нем, язык этот, хотя он для говорящего и не родной, отчасти повлияет на него. Предположим, писатель ведет дневник; разве не станет он, путешествуя по Англии, записывать по-английски свои разговоры с англичанами? А Монтень цитировал по-латыни.

Можно было бы привести массу других примеров вторжения иностранных слов и отрывков в литературу той или иной страны, но и так ясно: настало время поставить вопрос о создании наднациональных жанров: двуязычных, трехязычных и многоязычных романов и радиопьес. А как быть с теми, кто не понимает этих языков? Для них сделают частичные переводы, которые будут ничуть не хуже полных. Но не приведет ли эта работа к единообразию языков? Ничуть! Она поможет им вступить в общение во всем их многообразии, даст им возможность оценить друг друга. Но как человеку, не знающему тот или иной язык с детства, овладеть им настолько, чтобы соперничать с писателями, для которых этот язык родной? Есть немало способов изучения языков, кроме того, в этом деле всегда можно найти себе помощников.

Произведение будет сочиняться на нескольких языках. В идеале всякая книга будет написана на своем собственном интернациональном языке и иметь свою собственную национальность. Никто не сможет прочитать ее всю целиком в оригинале; каждый будет воспринимать ее по-своему.

Нас часто пугают тем, что технический прогресс несет с собой угнетающее однообразие; размышление о книге показывает нам, что при разумном использовании техника может привести нас к такому разнообразию, о каком прежде нельзя было и мечтать.

Давно вошло в обычай поручать иллюстративную часть книги одному автору, а текст – другому. Если книгу эту издают за границей, переводят только текст. Так поступают всегда, но пригоден этот вариант, только когда эти две части книги соединены друг с другом довольно топорно. Там, где они связаны более тесно, звуковой или зрительный аспект текста приобретает такую важность, что перевод требует перестройки всего произведения в целом.

Частое употребление слова «язык» применительно к музыке, живописи или кино нередко заставляет рассматривать эти искусства как разновидности литературных жанров или особые языки. В этом случае проиллюстрировать текст или положить его на музыку значило бы осуществить своего рода перевод, а словарь, помогающий совершить переход с языка одного искусства на язык другого, способствовал бы созданию общей теории соответствий.

Но эта теория, как бы подробно она ни была разработана, сможет охватить лишь малую часть отношений между литературой и другими искусствами, книгой и другими эстетическими объектами. Поскольку написанный текст есть уже рисунок (по-латыни *textum* – ткань), нотная запись звучащего слова уже партитура, а последовательность страниц уже кинематограф, невозможно ограничиться обычной констатацией параллелизма между искусствами, подобного тому, какой существует между современными индоевропейскими языками. Тем более что в разных языках распределение обязанностей между писателем, художником и музыкантом происходит по-разному (все зависит от типа письма: идеографического, слогового или алфавитного). Точнее всего было бы сказать, что музыка и живопись играют сейчас такую же роль, какую играли в эпоху Возрождения латынь и греческий: музыкальные и живописные произведения могут быть переведены на язык слов, так же как произведения античных авторов переводились на новые языки.

Однако в нашем случае «оригинал» не только не предшествует «переводу», но, наоборот, часто создается позже: как правило, изначально существует текст, а потом уже к нему делают иллюстрации или кладут его на музыку. Настоящий «оригинал» – это, наверно, чистый лист бумаги, тишина, вернее, пространство и время, сама белизна страницы (ведь тишина – условие, без которого невозможно дальнейшее развертывание событий), почва, на которой живопись, музыка, текст и т. д. распределили бы между собой задачи; вариантов здесь может быть множество: сгибание страницы пополам, покрытие части страницы следующей, гравюра перед стихотворением, нотные линейки над строчкой куплета – все это лишь некоторые частные случаи.

Итак, не просто перевод, неизбежно включающий в себя эстетический анализ, ибо всякий перевод неполон и точно воспроизводит лишь избранные места, но диалог. Однако несмотря на то, что наличие нескольких голосов внутри одной книги существенно обогащает этот диалог (партия живописи вводит репродукции, гравюры и в особенности фото-

Независимо от того, является человек писателем или читателем, задача его состоит прежде всего в том, чтоб прожить свою собственную, а не навязанную или предписанную жизнь, даже самым благородным образом выглядящую жизнь.

Носиф Бродский

графини, зачастую изменяя формат; музыкальная партия, а отчасти и партия текста, рассчитанные не столько на зрение, сколько на слух, несут с собой трансформации, свойственные их области) и позволяет нам более непосредственно наслаждаться книгой, сказать, что без этого многоголосия внутри книги невозможно обойтись, никак нельзя.

Текст может вступить (и всегда до какой-то степени вступает) в диалог не только с тем, что находится внутри книги, но и с тем, что находится вне ее. Репродукции в книге по искусству – в первую очередь знаки, отсылающие нас к произведениям, которые нам смогли показать лишь в деталях.

Вступив в диалог с самого начала, я могу вместе с музыкантом или художником создать книгу. Но, взяв творчество Бетховена или Рембрандта, я могу вступить в диалог и с ним, создать новое произведение, включив в него фрагменты их произведений, но отнюдь не воспроизводя все их полотна или партитуры полностью, не говоря уж о звукозаписи. Прибегнув к разделению труда, книга может сохранить в той или иной степени независимость от других искусств.

Развитие книги, о котором я говорил вначале, позволит нам использовать всю гамму возможностей, открывающихся перед нами в этой области, меж тем как сейчас мы пользуемся ими лишь выборочно. В книге о творчестве художника почти непроходимая граница отделяет то, что в ней воспроизведено, от того, что не воспроизведено, что надо смотреть в оригинале, ибо репродукции и другие произведения дают о живописных произведениях лишь слабое представление. Когда у нас в распоряжении будет космическая библиотека, отпадет необходимость делать для каждой книги специальные репродукции: они и так всегда будут под рукой; автор будет заранее программировать появление тех или иных деталей у нас перед глазами, причем эти отсылки могут быть разной интенсивности, от чего будет зависеть продолжительность и объем наших экскурсий по этому музею гармонии. Впрочем, уже сейчас из нашей несовершенной клавиатуры можно извлечь массу новых звучаний.

VI. КНИГА И КНИГИ

Книга, как правило, существует в ряду каких-то предметов (строго говоря, она и становится книгой постольку, поскольку является частью целой системы предметов), но есть область, с которой она связана особенно тесно, – это язык. Книга всегда существует в атмосфере языка, устного или письменного, и в частности языка других книг.

Работать над альбомом вместе с художником, над франко-английской книгой – вместе с английским писателем, но еще и работать вместе с одним или несколькими французскими коллегами над французской книгой; вступить в диалог с музыкой или архитектурой, создать книгу, которая будет входить в общее целое наравне с кантатой, базиликой, пейзажем, но еще и с другими книгами.

Литературоведческое произведение «выходит» на литературное произведение, и его ценность зависит от этого «выхода». Если интерпретирующее произведение не пробу-

ждает в нас интереса, желания перечитать интерпретируемое произведение, если оно стремится, как это часто случается, заменить его, тогда то самое произведение, о котором оно не сумело нам рассказать, очень быстро вытесняет, заглушает его.

263

И поскольку всякая книга «имеет выход» на систему предметов, среди которых есть и книги, всякий автор при всей своей изолированности является всего лишь движущей силой письма (не обязательно «письма» как жанра, но писательской деятельности в целом), представителем – как правило, весьма слабо сознающим это – целой системы авторов, в том числе других писателей.

Обращение к цитате есть выражение этого движения *авторитета* (забавно, что во французском языке нет более удачного слова для перевода английского *authorship*), и всякий новый текст можно рассматривать как видоизмененную цитату из неопределенного множества предшествующих текстов. Упражнения в многоголосом творчестве наподобие тех, о которых мы только что говорили, или использование готового языка, воспроизведение того, что можно услышать и увидеть на улице: бесед, надписей на стенах, сорванных или несорванных объявлений, разговоров с незнакомыми людьми, – позволяет нам контролировать эти течения и, следовательно, плыть по океану литературы с большей легкостью, безопасностью и пользой.

Но в самом своем квазиодиочестве писатель может преодолевать свою единственность, рассматривая себя как множество, разрушая границы между одной и несколькими книгами (набросок этого см. в «Я пишу полное собрание сочинений»): создавать произведения, состоящие из нескольких произведений, пусть в первую очередь собственных, которые существовали и могут существовать по отдельности, но не просто стоят рядом, как в обычных сборниках, а вступают в общение, в игру, разговаривают друг с другом, как люди, – создавать тома открытых дверей, чтобы всем было видно, как в них входят и из них выходят другие книги.

1974

*Всегда и всюду
он делал лишь
одно: читал,
читал, читал.*

БУМАЖНЫЙ МИР

Шум и толкотня на виа Национале, в самом начале проспекта; в центре толпы – двое спорящих: мальчишка лет пятнадцати и синьор со щетинистой желтой, словно дыня, физиономией, на которой поблескивали стекла очков для дали, толстые, как бутылочные донышки.

Сей последний, напрягая надтреснутый фальцет, пытался доказать свою правоту и непрестанно размахивал руками, в одной из которых сжимал эбеновую трость с набалдашником слоновой кости, а в другой – книжку, судя по шрифту старинную.

Мальчишка орал и топал ногами, пиная осколки пошлейшей терракотовой статуэтки, валявшиеся на тротуаре вперемешку с обломками столбика из крашеного под бронзу алебаstra, служившего статуэтке цоколем.

Из зрителей некоторые хохотали, некоторые строили постную мину, некоторые – сострадательную; а из малолетних сорванцов, забравшихся на фонари, кто лаял, кто свистел, кто гудел в кулак.

– Это уже третья! Это уже третья! – вопил синьор. – Я читаю на ходу, а он нарочно подставляет мне под ноги свои мерзкие статуэтки, чтобы я их опрокинул. Это уже третья! Он охотится за мной! Подстерегает! Один раз на Корсо Витторио, потом на виа Вольтурно, теперь вот здесь...

Торговец статуэтками в свой черед сыпал клятвами и оправданиями, пытаясь заверить близстоящих в своей невиновности:

– Да нет же! Он сам виноват! Не читает он вовсе! Наступает прямо на мой товар! То ли не видит, то ли в облаках витает, как бы то ни было, вот что вышло...

– Но трижды? – со смехом переспрашивали слушатели.

Наконец сквозь толпу удалось пробиться двум полицейским, вспотевшим и запыхавшимся; поскольку при их появлении тяжущиеся стороны принялись выкрикивать обвинения и оправдания еще громче, стражи порядка решили, дабы прекратить представление, отвезти обоих в наемном экипаже в ближайший полицейский участок.

Но едва синьор в очках сел в экипаж, как, выпрямившись, изо всех сил вытянул шею и стал судорожно вертеть и встряхивать головой; затем, устав от этого занятия, раскрыл книгу и сунулся в нее лицом, коснувшись носом страниц; отвел лицо, весь передернувшись, поднял очки на лоб и снова уткнулся в книгу, пытаясь читать невооруженным глазом; после этой пантомимы впал в сильнейшее волнение,

лицо его страшно перекосилось в гримасе ужаса, даже отчаяния.

— О господи!.. Глаза... не вижу... ничего не вижу!

Кучер резко остановил экипаж. Полицейские и торговцы статутками так растерялись, что не могли даже понять, все-



*Д. Арчимбольдо.
«Библиотекарь». XVI в.*

рвез ли все это или синьор сошел с ума; они недоумевающе приоткрыли рты в почти недоверчивой ухмылке.

Неподалеку от того места, где остановился экипаж, была аптека; у дверей уже толпились люди – одни пришли сюда, следуя за экипажем, другие остановились поглазеть; и синьор в очках, мертвенно бледный, совершенно подавленный, был под руки проведен сквозь толпу в помещение.

Он постанывал. Его усадили на стул, он сидел, покачивая головой, поглаживая ладонями ноги, дрожь которых не мог унять, и не обращая внимания ни на аптекаря, который хотел осмотреть его глаза, ни на зрителей, которые утешали его, подбадривали и не скупилась на советы: он должен успокоиться, ничего страшного, временное нарушение, от приступа гнева в глазах потемнело... Вдруг он перестал покачивать головой, поднял руки, стал сжимать и разжимать пальцы.

– Книга, книга! Где моя книга?

Присутствующие недоуменно переглянулись, затем рассмеялись. Ах, так у него была с собой книга? И у него хватало мужества читать ее на ходу с такими-то глазами? Как?... Три статуэтки? Вот как, и кто же, кто?... Вон тот? Вот как, нарочно подставлял ему под ноги? Ну и ну! Ну и ну!

– Я хочу заявить на него! – вскричал тут синьор, встав со стула, выставив вперед руки и выпучив глаза, отчего подергивавшаяся его физиономия казалась и смешной и жалкой одновременно. – Перед лицом всех присутствующих я хочу заявить на него! Он заплатит за мои глаза! Убийца! Здесь двое полицейских – живо, запишите фамилии, мою и его. Вы все свидетели. Полицейский, пишите: Баличчи... Да, Баличчи, это моя фамилия. Валериано, да; виа Номентано, дом 112, последний этаж. И фамилию этого мерзавца... Где он, здесь? Не выпускайте его! Трижды, пользуясь моим слабым зрением, моей рассеянностью... да, господа, три мерзкие статуэтки... А, превосходно, благодарю, моя книга, весьма признателен! Мне нужен экипаж, окажите милость... Домой, домой, я хочу домой! Заявление сделано.

И он двинулся к выходу, вытянув вперед руки, пошатнулся, его поддержали, усадили в экипаж, и двое сердобольных из числа зрителей проводили его до самого дома.

Таков был шумный и балаганный финал истории тихого помешательства, длившегося долгие годы! Бессчетное число раз врач-окулист твердил Баличчи, что есть лишь одно лекарство от его недуга, неотвратно грозящего слепотой, – отказаться от чтения. Но каждый раз Баличчи выслушивал врача с той неопределенной улыбкой, какую отвечают на явную шутку.

– Вы не согласны? – сказал врач. – Что же, читайте, читайте, потом оплатите! Вы теряете зрение, повторяю вам. Потом не говорите: «Ах, если бы мне знать!» Я вас предупредил.

Милое предупреждение! Да ведь жить для Баличчи значило читать. Чем отказаться от чтения, лучше умереть.

Эта маниакальная страсть овладела им с тех пор, как он выучился азбуке. Доверившись с давних-предавних пор по-

*Слава достигается
добродетелью, но
сохраняется для
потомства книгами.*

Франческо Петфаржа

печениям своей служанки, любившей его как сына, он мог бы жить более обеспеченно, если бы не влез в долги ради приобретения бесчисленных книг, загромождавших в величайшем беспорядке его жилище. Лишившись возможности покупать новые книги, он уже дважды перечитал старые, промаковав каждую от первой до последней страницы. И подобно тому, как иные животные принимают, по законам природной самозащиты, окраску и внешние признаки той местности, той растительности, среди которой обитают, так и он постепенно стал каким-то бумажным: руки и лицо – как бумага, волосы и борода – цвета бумаги. Близорукость его усилилась за эти годы до предела, и теперь казалось, что книги действительно пожирают его в прямом смысле слова – настолько близко подносил он их к лицу при чтении.

После этой ужасной истории он по предписанию врача сорок дней провел в темной комнате, хотя вовсе не уповал на целительное действие такого средства; и как только срок заключения кончился, Баличчи велел отвести себя в кабинет. Остановившись возле первого же шкафа, он нащупал какую-то книгу, взял ее, раскрыл, уткнулся в нее лицом – сначала в очках, потом без них, как тогда, в э к и п а ж е, – и беззвучно заплакал, вжавшись лицом в страницы. Потом тихонько обошел просторное помещение, ощупывая пальцами книжные полки: вот он, весь его мир! А ему в нем больше не жить, разве что в той степени, в какой поможет память!

Реальной жизнью он никогда не жил: можно сказать, он нигде и никогда толком ничего не видел: за столом, в постели, на улице, на скамье в общественном саду – всегда и всюду он делал лишь одно: читал, читал, читал. А теперь ему, слепому, никогда не увидеть живой действительности, которой он так и не изведал, и не увидеть действительности, изображенной в книгах, потому что читать он больше не мог.

Книги свои он всегда оставлял в величайшем беспорядке, сваливая кучами или разбрасывая как попало по стульям, на полу, по столам, по шкафам, и теперь это приводило его в отчаяние. Он столько раз намеревался навести хоть какой-то порядок в этом содоме, расставить все книги по их содержанию, но так и не навел – жалко было времени. А сделай он это, мог бы теперь подойти к одному шкафу, к другому, и не было бы такого чувства растерянности, мысли не разбежались бы так, стали бы яснее.

В поисках опытного библиотекаря, который взялся бы за такую работу, он поместил объявление в газетах. Через два дня к нему явился некий премудрый юнец, каковой весьма удивился тому, что слепой хочет привести в порядок свою библиотеку да вдобавок еще притязает на то, чтобы давать ему указания. Но юнец этот сразу же понял, что бедняга, скорее всего, помешался – в этом все дело; ведь, слыша название книги – вот она, т у т, – он каждый раз подпрыгивал от радости, плакал, просил передать ему книгу, ласково поглаживал страницы и прижимал ее к сердцу, словно друга после разлуки.

– Профессор, – фыркнул юнец, – ведь так мы никогда не кончим, подумайте сами!

– Да, да, верно, – соглашался тотчас же Баличчи. – Но эту книгу вы поставьте сюда... Погодите, приложите мою руку к тому месту, куда вы ее поставили... Хорошо, хорошо, вот тут... Чтобы я мог разобраться.

По большей части это были книги о путешествиях, о нравах и обычаях разных народов, книги по естественной истории и беллетристика, книги по истории и философии.

Когда работа была наконец завершена, Баличчи показалось, что обступившая его тьма уже не так непроглядна, он почти извлек свой мир из хаоса. И на некоторое время словно замер, заново вживаясь в него.

Теперь он просиживал целые дни у себя в библиотеке, прижимаясь лбом к корешкам выстроившихся на полках книг, словно надеялся, что от соприкосновения с ними ему в голову перельется то, что в них напечатано. Сцены, эпизоды, обрывки описаний воскресали в его памяти со всей очевидностью, четкой и выразительной; более того, он снова обрел способность видеть – видеть в этом мире какие-то подробности, особенно хорошо ему запомнившиеся в ту пору, когда он перечитывал свои книги: красные огни четырех маяков, горящих на ранней заре в порту, пустынное море с одним только что отшвартовавшимся кораблем, рангоут которого со всеми вантами силуэтом вырисовывается на пепельной бледности предрассветного неба; на вершине поросшего деревьями холма на огненном фоне осеннего заката две громадные вороные лошади, уткнувшиеся мордами в мешки с сеном.

Но он не смог долго выдержать в этом гнетущем безмолвии. Он захотел, чтобы мир его вновь обрел голос и голос этот, коснувшись его слуха, поведал бы, каков его мир на самом деле, а не в смутных воспоминаниях. Он снова поместил объявление в газетах, на этот раз в поисках чтеца или чтицы; и случай послал ему некую юную синьорину, всю трепещущую в постоянной лихорадке непоседливости. Эта беспокойная особа исколесила полсвета и своей суетливостью, чувствовавшейся даже в манере говорить, напоминала ошалевшего жаворонка, который то вспорхнет, сам не зная, куда лететь, то вдруг опустится на землю и, неистово захлопав крыльями, примется скакать, вертеться во все стороны.

Ворвавшись в кабинет, она выпалила:

– Тильде Пальоккини. А вы?.. Ах да, я же... ну, конечно, Баличчи, в газете было... и на двери тоже... О, ради бога, профессор, не надо! Послушайте, не делайте так глазами, мне страшно... Ничего, ничего, извините, я уйду...

Таково было ее первое появление. Она не ушла. Старая служанка со слезами на глазах объяснила ей, что местечко самое что ни на есть для нее подходящее.

– А он не опасен?

Да какое там – опасен! Ничего подобного! Только странноват немного из-за этих книг. Да-да, из-за этих книжонок, будь они прокляты, и сама она, несчастная старуха, уже не знает, кто она такая – женщина или тряпка, чтобы пыль вытирать.

– Лишь бы вы ему хорошо читали...

Синьорина Тильде Пальбоккини поглядела на нее и, ткнув себя указательным пальчиком в грудь, спросила:

— Кто, я?

Таким голосом — в раю не сыщешь благозвучнее.

Но когда она в первый раз продемонстрировала свое искусство Баличчи, играя интонациями, меняя регистры, то шепча, то переходя на крик, то замирая, то держась на одной ноте, и все это в сопровождении мимики, столь же неистовой, сколь ненужной, бедняга обхватил голову руками и весь сжался, съезжился, словно пытаясь отбиться от множества псов, скалящих на него клыки.

— Нет! Не надо так! Ради бога, не надо так! — закричал Баличчи.

— Я плохо читаю? — удивилась синьорина Пальбоккини с самым простодушным видом на свете.

— Да нет! Но, ради бога, не так громко! Как можно тише, синьорина, почти без голоса! Поймите, я ведь читал одними только глазами!

— И очень плохо, профессор! Читать вслух полезно. Если не читать вслух, лучше уж не читать совсем. Но, простите, почему вы так реагируете? Пожалуйста. — Она постучала костяшками пальцев по книге. — Звук слабый... Глухой... А предположите, профессор, что я вас поцелую...

Баличчи оцепенел, побледнев:

— Я запрещаю...

— Да нет же, простите! Вы что, боитесь, что я вас и вправду поцелую? Не буду, не буду! Я только привела пример, чтобы вы сразу поняли разницу. Ну вот, я попробую читать почти без голоса. Но, заметьте, когда я так читаю, у меня «эс» получается почти свистящее, профессор!

При новой попытке Баличчи сжался еще больше. Но он понял, что отныне то же самое произойдет с ним при какой угодно чтении, при каком угодно чтении. От любого чужого голоса его мир представится ему совсем иным.

— Синьорина, послушайте... Сделайте одолжение, попробуйте читать только глазами, без голоса...

Синьорина Тильде Пальбоккини снова поглядела на него, широко раскрыв глаза.

— Как вы сказали? Без голоса? Но тогда как же? Про себя?

— Вот именно... для себя самой...

— Благодарю покорно! — взвилась синьорина. — Вы что, смеетесь надо мною? Что мне прикажете делать с вашими книгами, если вы не можете их слышать?

— Сейчас объясню, синьорина... — отвечал Баличчи спокойно, с горькой улыбкой. — Я испытываю радость оттого, что кто-то читает их здесь вместо меня... Вам, пожалуй, и не понять этой радости. Но я уже сказал: это мой мир, мне становится легче при мысли, что он обитаем, вот так... Я буду слышать, как вы перевертываете страницы, буду ощущать ваше сосредоточенное молчание и спрашивать время от времени, какое место вы читаете, а вы будете говорить... О, достаточно только намека... А я буду следовать за вами по памяти... Ваш голос, синьорина, мне все портит!

– Но я прошу вас верить, профессор, что у меня красивейший голос! – негодуяще запротестовала синьорина.

– Верно... з н а ю ... – поспешно отвечал Б а л и ч ч и . – Я не хотел вас обидеть. Но вы мне все окрашиваете по-другому, понимаете? А мне нужно, чтобы в моем мире ничто не менялось, чтобы все оставалось как есть... Читайте, читайте... Я скажу вам, что читать. Согласны?

– Ну, согласна, согласна. Давайте книгу.

Едва только Баличчи показывал, какую книгу читать, синьорина Тильде Пальюккини на цыпочках выскальзывала из кабинета и отправлялась поболтать со старухой служанкой. Баличчи меж тем жил в мире книги, выбранной им для нее, и наслаждался тем наслаждением, которое, по его представлениям, она должна была испытывать. И время от времени спрашивал:

– Прекрасно, не правда ли?

Либо:

– Вы уже перевернули страницу?

Не слыша даже ее дыхания, он воображал, что она углубилась в чтение и не отвечает, чтобы не отвлекаться.

– Да, читайте, читайте... – поощрял он ее полусшепотом, почти сладострастно.

Иной раз, возвратившись в кабинет, синьорина Пальюккини заставляла Баличчи в раздумье: он сидел в кресле, опершись локтями о подлокотники и закрыв лицо руками.

– О чем вы задумались, профессор?

– Я в и ж у ... – отвечал он голосом, доносившимся, казалось, из дальней дали. И добавлял со вздохом, словно пробудаясь: – А все-таки я помню, они были рожковые.

– Что именно, профессор?

– Деревья, деревья на холме... В том месте, посмотрите... в третьем шкафу, на второй полке... кажется, третья книга от конца...

– И вы бы хотели, чтобы я вам их отыскала, эти рожковые деревья? – вопрошала синьорина с испугом, но фыркая.

Если она соглашалась доставить ему это удовольствие, то во время поисков чуть не вырывала страницы, раздражаясь при просьбе переворачивать их медленнее. Все это ей уже осточертело. Она привыкла жить в движении, мчаться, мчаться – на поезде, в автомобиле, на велосипеде, на пароходе... Мчаться, жить! Она чувствовала, что уже задыхается в этом бумажном мире. И однажды, когда Баличчи выбрал ей для чтения чьи-то путевые заметки о Норвегии, она уже не смогла сдержаться. В ответ на его вопрос, как ей нравится то место, где описывается Тронхеймский собор *, близости от которого за деревьями раскинулось кладбище и субботними вечерами набожные родичи усопших приносят на могилы свежие венки из живых цветов, синьорина пришла в величайшую ярость.

– Да нет же! Нет же! Нет! – закричала она . – Ничего подобного! Я была там, понятно? Я могу сказать вам, что все там совсем не так, как сказано в книжке!

Баличчи встал, трясаясь от гнева, лицо его перекошилось.

– Я запрещаю вам говорить, что все там совсем не так,

как в этой книжке! – закричал он, воздев руки кверху. – Мне наплевать, были вы там или нет! Там все так, как сказано в этой книжке, и точка! Должно быть так, и точка! Вы хотите меня погубить! Уходите! Уходите! Здесь вам больше ничего делать! Прочь отсюда! Уходите!

Оставшись один, Валериано Баличчи ошущью отыскал книгу – синьорина, уходя, швырнула ее на пол – и упал в кресло; раскрыл книгу, дрожащими пальцами любовно разгладил помятые страницы, затем уткнулся в нее лицом и надолго замер так, вглядываясь мысленно в картину Тронхейма с его мраморным собором, с кладбищем неподалеку – богобоязненные родичи усопших субботними вечерами приносят туда венки из живых цветов, – все так, в точности так, как сказано в книге. И нельзя менять... Холод, снег, эти живые цветы и синяя тень собора... Нельзя ничего менять. Там все именно так, и точка... Это его мир... его бумажный мир... весь его мир...

1909

ДАВИД КУТУЛЬТИНОВ

КНИГОГРАД

В моем шкафу теснится к тому том.
И каждый том на полке – словно дом.
Обложку-дверь откроешь второпях –
И ты вошел, и ты уже в гостях...
Как переулок – каждый книжный ряд.
А весь мой шкаф – чудесный Книгоград.
Когда ты будешь в этот город вхож –
Из Прошлого в Грядущее пройдешь,
Заглянешь в страны и во времена:
Любая книга – время и страна...
Здесь, в комнате моей, из года в год
Все человечество в ладу живет.

(Перевод Ю. Нейман)

*Книга должна
быть
выстрадана...*

ЗРИМЫЙ ОБРАЗ И ПЕЧАТНОЕ СЛОВО

Идея, возглашающая неизбежный и быстрый закат книги и печатного слова, возникла и распространилась под воздействием той огромной роли, которую играют в наши дни зримый образ и средства зрительной коммуникации вообще – кино, телевидение, различные виды рекламы, дорожные знаки и т. д.

Однако лишь немногие, кажется, понимают, что эта особая роль зримого образа объясняется в свою очередь тем, что на историческую арену выступили сейчас огромные массы людей, которые лишь недавно овладели грамотой или вообще неграмотны.

В жизни неграмотного человека зримые образы имеют, несомненно, особо важное значение. Для него весь мир – это обширная система различных зрительных сигналов и символов, нуждающихся в толковании и расшифровке. Возникновение самой письменности, медленно развивавшейся от изображения конкретных предметов к различным символическим изображениям, говорит о том, что первобытный человек именно с помощью глаз решал те задачи, которые человек цивилизованный передоверил позднее своим ушам.

Поэтому то, с чем мы сталкиваемся сейчас, есть прежде всего не столько закат книги, сколько торжество зримого образа, – торжество, обусловленное отнюдь не читателями, а прежде всего теми, кто еще вчера не умел читать.

Но если это так – а мне это представляется несомненным, – то мы вправе в любое время ожидать, что роль зримого образа начнет постепенно сокращаться, а книга – возрождать свое былое значение. Другими словами, по мере того как миллионы неграмотных будут овладевать искусством чтения и письма, они все в большей мере будут отказываться от примитивного, «непосредственного» языка зримых образов и обращаться к более сложному, более изощренному языку печатного слова.

Однако дело не только в этом; современный человек пользуется «картинным языком» совсем не так, как человек первобытный. В первобытном мире этот язык знаменовал собой первые, самые начальные этапы общения между людьми. Сегодня это всего лишь временное возвращение к тому, что уже давно пройдено. Современный мир – мир отнюдь не примитивный, а лишь временно «примитивизированный» вступлением в него масс, слабо или совсем незнакомых с книжной культурой. Другими словами, даже в самом продвижении от «картинного языка» к языку печатного слова мы можем наблюдать как явление онтогенеза (развития лич-

*Можно ли вообще
назвать читателем
человека,
прочитывающего
страницу Гёте, не
давая себе труда
вникнуть
в намерения
и мнения Гёте,
словно это
какое-нибудь
объявление или
случайный набор
букв?*

Герман Гессе

ности), так и явление филогенеза (развития всего человеческого рода).

Уместность такой гипотезы подтверждается и фактом популярности массовых изданий, так называемых «книжек в бумажных обложках». Между книгой традиционной и книгой «карманной» разница не только в качестве, не только в цене. Фактически это два разных типа книг, глубоко отличных друг от друга по самому своему характеру.

Традиционная книга всеми своими корнями была связа-



Фото В. Стигнеева.

на – и связана до сих пор – с глубокими пластами культуры, с той культурной средой, которая складывалась столетиями. «Карманная» же книжка несет семена культуры всех веков и всех народов на почти целиком девственную почву. Так в немногие, считанные годы на огромное большинство населения нашей планеты, только-только выбирающееся из неграмотности, обрушилось без всякой подготовки целое половежье культуры – все, что скапливалось в ней целых тридцать столетий.

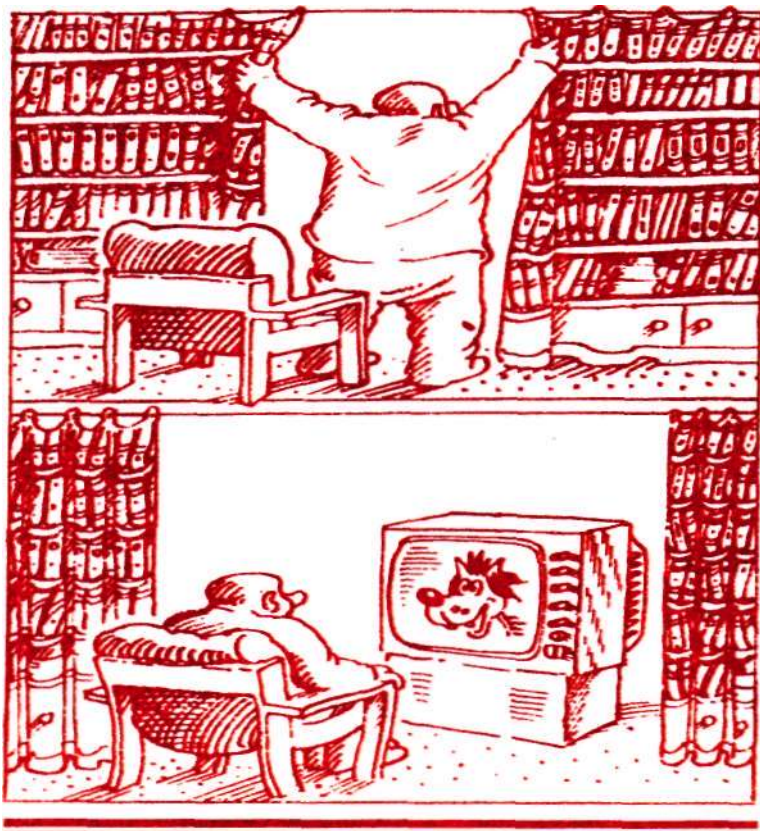
Опасность тут состоит в том, что культура эта может остаться невоспринятой, неувоенной, что ее в ходе широких и разрушительных по своему характеру операций сведут к своего рода выжимкам, к набору готовых формул. А после этого массам, очевидно, не останется ничего другого, как снова обратиться к зримому образу, который станет тогда единственным средством коммуникации.

Фактически именно в таком направлении развивается, вероятно, «марксизм» в Китае, который отвергает культуру прошлого как культуру «буржуазную». Мао Цзэдун как-то сказал, что китайский народ — это лист чистой бумаги, на котором можно писать что угодно. Что именно будет написано на этом листе, мы пока еще не знаем.

Однако значение зримого образа в последнее время достигает, кажется, своего предела. Тот факт, что зритель воспринимает «картинку» пассивно, не пытаясь как-то ее ин-



Рисунок С. Тюшина.



терпретировать, в конечном счете сказывается на ней самой — «картинка» утрачивает силу своего воздействия, сама становится жертвой такой пассивности. Люди смотрят телевизор или кино и просто не видят того, что происходит на экране перед их глазами, или, вернее, видят, но по-настоящему не понимают. Пассивность настолько подавляет их способность к концентрации внимания, что невнимательность превращается фактически в слепоту.

Они, конечно, «видят» дорожный знак, обозначающий «Осторожно, дети!», или ковбоя в седле, палящего из револьвера. Но их восприятие есть на деле всего лишь условный рефлекс, лишенный какого-либо духовного начала и, следовательно, всякой коммуникативности.

Поэтому закат книги ни в коем случае нельзя считать

фактом несомненным и установленным. Даже если мы оставляем в стороне самое главное – что книга является порождением самой природы человека, то есть присущей каждому человеческому существу природной способности изъясняться словами и складывать эти слова в «организованную» речь, – то и тогда мы не должны забывать, что книга делается из слов, которые при определенных условиях (творческой одаренности) представляют собой художественный образ. Следовательно, не существует коренного различия между образом «книжным» и образом «экранным». Различие между ними только одно (правда, весьма важное): «экранный» образ однозначен, он не дает воображению разыграться. Он таков, каков е с т ь , – и не более того.

Но нужно и проводить различие между типами чтения, между типами книг. Чтение некоторых книг – это всего лишь простое физическое упражнение, не больше. Такие книги, написанные для массового потребления, шаблонные и по содержанию, и по стилю, читатель не столько «читает», сколько проглядывает: когда глаза его скользят от одной шаблонной фразы к другой, читатель, может быть, и считает это «чтением», но на самом деле он просто регистрирует символы некоего словесного механизма, фактически не воспринимаемого именно в силу своей ничтожности.

Ибо для того, чтобы книга по-настоящему читалась, она прежде всего должна быть действительно «написана». И если можно говорить о каком-то упадке книги, то упадок этот вызывается не тем, что люди вообще не читают, а тем, что они читают не «написанное», а просто напечатанное.

Следовательно, книга должна быть выстрадана, осознана, рождена в акте творчества – иначе это совсем не книга. Да, будущее книги неразрывно связано с поэтическим даром писателя, с его творческим, изобразительным мастерством, с силой его воображения. Будущее его будет обеспечено, если мы действительно сможем «писать» книги; книге будет грозить опасность, если мы удовлетворимся простым механическим процессом «печатания».

1972

*Писатель должен
рассчитывать на
такого
читателя,
которого еще не
существует
сегодня...*

ДЛЯ КОГО ПИШУТСЯ КНИГИ?

*(ПРЕДПО-
ЛАГАЕМЫЙ
КНИЖНЫЙ
ШКАФ)*

Для кого пишется роман? Для кого пишется стихотворение? Для тех, кто читал какие-то другие романы, какие-то другие стихотворения. Книга пишется для того, чтобы ее можно было поставить рядом с другими книгами. Чтобы она вошла в предполагаемый книжный шкаф и, войдя, каким-то образом преобразовала его: согнала с «насиженных» мест одни тома или передвинула их во второй ряд и побудила к продвижению в первый ряд другие.

Что делает книготорговец, который «умеет торговать»? Он говорит: «Вы читали эту книгу? Превосходно, тогда вам нужно взять и эту». Немало схожего и в действиях писателя – воображаемых и не осознанных – по отношению к невидимому читателю. С той лишь разницей, что писатель не может довольствоваться только тем, что у него есть читатель (впрочем, и стоящий книготорговец обязан, по идее, заглядывать немного вперед). Писатель должен рассчитывать на такого читателя, которого еще не существует сегодня, или же на изменение того читателя, каким он является сегодня. Что происходит далеко не всегда: во все времена и во всяком обществе, после установления определенного эстетического канона, определенного способа мироистолкования, определенной шкалы моральных и общественных ценностей, литература может увековечивать самое себя, находя этому дальнейшие обоснования, ограниченно совершенствуясь и углубляясь. Нас же интересует иная возможность литературы – возможность подвергнуть обсуждению шкалу ценностей и кодекс установленных значений.

Операция, проделываемая писателем, тем важнее, чем несбыточнее пока еще идеальный книжный шкаф, в котором он хотел бы разместиться. Шкаф с книгами, которые мы не привыкли ставить «бок о бок», чье соприкосновение способно вызывать электрические разряды, короткие замыкания. Так что мой первый ответ сразу же нуждается в уточнении: литературная ситуация становится интересной тогда, когда романы пишутся не для читателей романов; когда литература создается с мыслью о книжном шкафе, содержащем не только литературные произведения.

Несколько примеров из нашего итальянского опыта. В 1945–1950-х годах романы намеренно ставились в книжный шкаф, носивший преимущественно политический или историко-политический характер. Эти романы были обращены к читателю, интересовавшемуся в основном политической культурой и современной историей. Казалось, нужно срочно удовлетворить его «спрос» (или голод) на литературу. Задуманная таким образом операция не могла не прова-

литься: политическая культура не являла собой некую данность, к критериям которой литература должна была применять или подгонять собственные критерии (воспринимаемые – за редким исключением – как узаконенные и «классические»). Политическая культура находилась еще в процессе становления. Более того, она постоянно нуждается в том, чтобы ее выстраивали заново, ставили на обсуждение и сравнивали (одновременно ставя на обсуждение) со всей работой, которую проделывает остальная культура.



*Л. Сильофелли.
«Портрет Данте».
1499–1504.*

В течение десятилетия, с 1950 по 1960 год, была предпринята попытка соединить в книжном шкафу одного и того же предполагаемого читателя произведения, отражавшие проблематику европейского литературного декаданса в период между первой и второй мировыми войнами, а также «моральное и гражданское» значение итальянского историзма. Эта операция вполне соответствовала состоянию среднего итальянского читателя тех лет (робкое обуржуазивание интеллектуала, робкая проблематизация буржуа). Однако в более широком плане она уже изначально была анахроничной и соответствовала тому ограниченному объему, в который заключили нашу культуру различные гегемонии и карантинны. В конечном счете библиотека среднего итальянского интеллектуала, при всем ее последующем расшире-

нии, почти никак не помогала разобраться в том, что происходило в мире и что творилось у нас самих. Крах такой библиотеки был неизбежен.

Что и произошло в шестидесятых годах. Обилие информации, выпавшей на долю тех, кто учился в последние пятнадцать лет, неизмеримо богаче по сравнению с тем, каким оно было в наше время, в довоенной, военной и послевоенной Италии. Теперь отправной момент состоит не в пристегивании к той или иной традиции, а в определении



Рисунок Стано.

открытых проблем. За исходную точку принимается уже не совместимость с некой испытанной системой, а состояние вопроса в мировом масштабе. (А всякие разговоры, стремящиеся доказать, что мы были лучше, даже в тех случаях, когда они правомерны, настолько бесполезны, что вполне могут служить доказательством обратного.)

В литературе писатель соображает теперь с таким книжным шкафом, в котором на первом месте стоят дисциплины, способные расчлнить литературный факт на его первичные составляющие и на его обоснования. Это дисциплины анализа и диссекции (лингвистика, теория информации, аналитическая философия, социология, антропология, обновленный психоанализ, обновленный марксизм). К этой широкоспециализированной библиотеке мы стремимся не столько *добавить* литературный книжный шкаф, сколько оспорить его право на размещение в ней: литература живет

сегодня прежде всего за счет самоотрицания. И тогда ответ на поставленный вначале вопрос становится следующим: романы будут писаться для читателя, который наконец поймет, что не должен больше читать романов.

Слабость этой позиции кроется не во внелитературных влияниях – как многие говорят, – а наоборот, в том, что внелитературная библиотека, предполагаемая новыми писателями, пока еще слишком ограничена и специальна. Антилитература – это слишком сугубо литературное пристрастие, чтобы быть на высоте современных культурных запросов. Читатель, которого мы должны предвидеть для наших книг, будет предъявлять к ним требования эпистемологического, семантического, практико-методологического характера. Он будет непрерывно сопоставлять их на литературном уровне, в качестве примеров знаковых систем, или для построения логических моделей. (Я говорю также – а может, и главным образом – о *политическом* читателе.)

Дойдя до этого места, я уже больше не могу обходиться молчанием два вопроса, которые наверняка представляют важность для анкеты журнала «Ринашита». Первый вопрос: не вытекает ли представление о все более образованном читателе из насущной необходимости покончить с различиями в культурном уровне. Сегодня эта проблема весьма драматично встает и в развитых капиталистических обществах, и в бывших колониальных и полуколониальных, и в социалистических обществах: различия культурных уровней грозят увековечить породившие их классовые различия. Именно с этим препятствием сталкивается ныне во всем мире педагогика, а затем и политика. Вклад литературы в этот вопрос может быть лишь косвенным: он может, например, выразиться в решительном отказе от роли наставника. Если мы допускаем, что читатель менее образован, чем писатель, и занимаем по отношению к нему воспитательную, популяризаторскую, заверительно-ободряющую позицию, то тем самым мы лишний раз подтверждаем различие в культурном уровне. Любая попытка смягчить ситуацию разными болеутоляющими средствами («народная» литература) представляет собой шаг назад, а не шаг вперед. Литература – это не школа. Литература должна рассчитывать на более образованных читателей, *более образованных, чем писатель*. И неважно, существуют такие читатели или нет. Писатель обращается к читателю, который знает больше его. Он воображает, что знает больше, чем он *з н а е т*, – чтобы обращаться к кому-то, кто знает еще больше. Литературе не остается ничего другого, как играть на повышение, ставить на подорожание, увеличивать ставку, следовать логике неизбежно обостряющейся ситуации: и пусть уже общество во всей его совокупности находит правильное решение. (Общество, в которое, само собой разумеется, входит и писатель, что налагает на него особую ответственность, противоречащую, быть может, внутренней логике его работы.) Конечно, следуя этим путем, литература должна осознавать всю степень риска, которому она подвергается. Ведь для создания равноправной исходной платформы революция объявит литерату-

*На самом деле
единственный совет,
который можно
дать в отношении
чтения, – это не
прислушиваться
к чужим советам,
а следовать
собственным
наклонностям,
думать своим умом
и приходить
к собственным
выводам.*

Вирджиния Вулф

ру вне закона (а заодно и философию, чистую науку и т. д.). Решение призрачное и безнадежно самоубийственное. Но у него есть своя логика, поэтому оно принимается и не раз еще будет приниматься в этом столетии, равно как и в следующих, по крайней мере до тех пор, пока не найдется лучшего и такого же простого решения.

Второй вопрос (изложу его упрощенно): коль скоро мир разделен на лагерь капитала и лагерь пролетариата, лагерь империализма и лагерь революции, то для кого пишет писатель? Ответ: он пишет и для тех и для других. Любую книгу — не только литературную и не только «адресованную» кому-то — читают как адресаты, так и враги. Но это не значит, что враги не почерпнут из нее больше, чем адресаты. (Строго говоря, это относится и к книгам по начальной революционной подготовке, от «Капитала» до пособий по партизанской войне.) Что касается литературы, то вопрос о том, каким образом «революционное» литературное произведение за короткий срок прибирается к рукам и «нейтрализуется» буржуазией, неоднократно обсуждался за последние годы в левой итальянской публицистике, с весьма пессимистическими и трудно опровержимыми выводами. Разговор на эту тему можно продолжить, но под иным углом зрения. Прежде всего литературе следует признать, насколько невелик ее политический удельный вес: исход борьбы зависит от стратегической линии, генеральной тактики и соотношения сил. Книга на этом фоне — всего лишь песчинка, в особенности литературная книга. Воздействие, которое может оказать значительное произведение (научное или литературное) на общий ход борьбы, заключается в том, чтобы поднять эту борьбу на более сознательный уровень, дать ей больше «инструментов» познания, предвидения, воображения, сосредоточения и т. д. Новый уровень может оказаться более благоприятным как для революции, так и для реакции; это зависит от того, сумеет ли приноровиться к нему революция и захотят ли, сумеют ли приноровиться к нему другие. И лишь в минимальной степени зависит это от намерений автора произведения. Книга (научное открытие) реакционера может сыграть решающую роль в продвижении вперед революции, но может оказать на нее и обратное воздействие. В политическом смысле революционным является не столько произведение, сколько то, каким образом его можно использовать. Даже произведение, рожденное как политически революционное, становится таковым лишь в процессе применения; нередко оно производит запоздалый и побочный эффект. Поэтому решающим критерием в оценке произведения, имеющего отношение к борьбе, является уровень, на котором оно находится, шаг вперед, который благодаря ему совершает сознание. В то время как принадлежность к тому или другому лагерю, побудительные причины или намерения — все эти моменты могут представлять генетический или эмоциональный интерес, имеющий отношение главным образом к автору и весьма незначительно отражающийся на ходе борьбы. Явное или скрытое «обращение» почти всегда прослеживается в произведении, и писатель, считающий се-

бя участником борьбы, естественно, испытывает потребность обращаться к товарищам по борьбе. Однако в первую очередь он должен учитывать тот общий контекст, в котором находится производство. Он должен осознавать, что линия фронта проходит и через его производство, что она пребывает в постоянном движении и постоянно перемещает знамена, водруженные, казалось, более чем неизбежно. Безопасных территорий не существует. Само производство является и должно являться ареной борьбы.

1967

ДМИТРО ПАВЛЫЧКО

Собрали в книги, словно пчелы в соты,
Чудесные умы чудесный мед.
Глаза слепого им потри – и вот
Он видит солнце и души высоты.

Теперь он мыслей ощутит полет,
Поймет людские беды и заботы.
И спросит сам слепца другого – кто ты?!
С очей повязку он ему сорвет.

Благословенное да будет время,
Когда в тревожном счастье откровенья
С Тарасом плачешь ты над «Кобзарем»,

Когда Франко «Огромные сонеты»
Возносят дух... Когда приходит Гёте...
Когда ты светом книги озарен.

(Перевод С. Ботвинника)

В той или иной степени все мы относимся к Не-Читателям.

ПРИЗРАК ПО ИМЕНИ НЕ-ЧИТАТЕЛЬ

С недавнего времени в местах литературных собраний замелькал беспокойный призрак. Напрасно пытается он привлечь внимание знатоков, поднявшихся на кафедру, чтобы оценить, систематизировать и как можно точнее определить с помощью имен, цифр и подходящих эпитетов самый неопределенный в этом мире предмет – беллетристику. На волне «карманного памфлета» Джана Карло Ферретти о бестселлере по-итальянски хранители литературного огня используют всяческие доводы, чтобы доказать, будто и «качественная» литература мало чем отличается от товаров широкого потребления: произведению литературы, мол, также присуща своя вещественность (вес, объем, цена), оно также обречено на неизбежный цикл «производственный цех – рынок сбыта». Словом, они обнаружили, что и «качественные» книги (при этом кавычки следовало бы по крайней мере удвоить, если под таковыми понимать книги Кальвино и Эко, с одной стороны, и Витторио Сальтини – с другой) пишутся, печатаются, продаются и читаются. Иногда сотнями тысяч экземпляров.

ФОСФОР И СЕРА

Вернемся, однако, к упомянутому нами призраку. Не по себе ему оттого, что несправедливо забыт знатоками, колдующими над нелегкой алхимией производства и потребления в надежде раскрыть формулу и секрет успеха «качественного» романа. И хотя имя призрака никогда и никем не называется, он давно и незримо стоит за всеми издательскими успехами: это Не-Читатель.

Кому-то может показаться, что категория Не-Читателей столь обширна, что объемлет и те десятки миллионов обитателей Апеннинского полуострова, которые отродясь не прочли и не прочтут ни одной книги, а стало быть, и говорить здесь о них не имеет смысла. Но эти десятки миллионов мужчин, женщин и детей, вообще обходящихся в жизни без книги, с таким же успехом обходятся и без литературных собраний, так что они-то как раз не в претензии. Наш Не-Читатель, наоборот, поддерживает с книгой тесную и неслучайную связь. Он даже претендует на посредническую, но не второстепенную роль в процессе «производство – потребление» и молча внедряется в него, не будучи при этом ни производителем, ни потребителем, а всего лишь покупателем. Не-Читатель – это тот, кто покупает книги, чтобы не читать их.

Речь здесь не идет о тех, кто приобретает книги в роскошных золоченых переплетах ради украшения собствен-

ной квартиры. Эта ветхая категория уже отмирает у нас столь же неумолимо, сколь неумолимо обостряется жилищный кризис. Новоявленный Не-Читатель – совершенно другое лицо. Он вполне на уровне современных знаний, отлично осведомлен о названиях книг и их авторах. Входя в книжный магазин, он прекрасно «знает», что он хочет и может купить. И неважно, будет ли это книга в твердом переплете или просто брошюра, ведь от этого капиталовложения Не-Читатель рассчитывает получить гораздо больше, чем стенку



Рисунок С. Тюшина.

в гостиной, заставленную престижными книгами. Он твердо убежден, что стоит ему только купить книгу, повернуть ее в руках, просмотреть и подержать какое-то время дома, как пропитанный серой и фосфором флюид, именуемый культурой, войдет и в него. Короче говоря, такой вот Не-Читатель метит в Почти-Интеллигенты.

Часть в поведении Не-Читателя проскальзывает чувство некоторой вины по отношению к культуре. Тогда он пытается разрешить свои интеллектуальные муки с помощью денег, которые тратит на культуру. Правда, для успокоения совести он должен тратить свой капитал «с умом», а это значит уметь выбирать нужную книгу в нужный момент, иначе говоря, выбирать «высококачественную» книгу. Не-Читатель вовсе не обязательно являет собой тип неискушенного читателя; перед тем, как купить книгу, он наводит о ней всевозможные справки, точь-в-точь как при покупке часов или машины. Он выбирает книги, которые «у всех на языке» и о которых вдобавок положительно отзывался снискавший его доверие критик.

Чтение рецензии составляет двойное преимущество в сравнении с чтением собственно книги. В самом деле, рецензия ведь намного короче, и налицо явный выигрыш во времени (в сознании Не-Читателя чтение – это в любом случае «потерянное время»). Кроме того, из подробного разбора книги Не-Читатель извлекает факты и оценки, тут же прикидывая, во сколько все это ему обойдется; чтение же сотен страниц самого произведения может ввергнуть его в опасное состояние неуверенности и смятения. Прочитав

толковую рецензию, Не-Читатель уже в состоянии в разговоре со знакомыми и друзьями отзываться о книге более или менее глубоко, не роняя при этом своего достоинства, а иногда и пускаться в отчаянные споры с другими Не-Читателями (ему хорошо известно, что в большинстве своем все эти «пересуды» ведутся не конкретно по данной вещи, а на основании мнения вторых или третьих лиц). Наконец в какой-то момент Не-Читатель начинает искренне верить в то, что действительно прочел купленную им книгу. Со временем эта вера перерастает в уверенность с налетом интеллектуального щегольства – очередного проявления «культуры, почерпнутой из невежества».

Не-Читатель знает, что зачастую играет решающую роль в судьбе бестселлера, хотя знатоки по-прежнему этого не признают. Конечно, не у всех книг, снискавших читательское признание, одинаковое количество Не-Читателей. Сколько Не-Читателей у Кальвино? А сколько у Фруттеро и Лучентини? Отношение между «качеством» и количеством Не-Читателей подразумевает престиж автора, его авторитет, умение создать манящий, привлекательный образ. Сейчас повсюду пишут об издании «Улисса» Джойса, вышедшего тиражом шестьдесят тысяч экземпляров. Многие усомнились в том, что эта цифра соответствует действительности, но, увы, никому не пришло в голову провести по этому поводу исследование. Суть отношений между «качеством» книги и количеством ее Не-Читателей еще предстоит выявить. А пока что здесь царит полный мрак: ни одного конкретного факта. Поэтому на сегодняшний день Не-Читатель остается призраком; его условный портрет даже еще не обозначен. Знатоки по этому поводу хранят молчание, но сейчас подобное замалчивание только во вред. Быть может, цикл «производство – потребление» следовало бы дополнить еще одной переменной: «производство – приобретение – потребление».

Самым тонким социологом литературы среди всех наших записных говорунов и публицистов является, пожалуй, старик Лукиан из Самосаты, который еще во втором веке нашей эры открыл категорию Не-Читателей и посвятил этому несколько страниц, по правде говоря, излишне суровых: «Ты полагаешь сойти за человека ученого, накупая множество книг самых известных авторов, но оказывается, это-то и есть первейший признак твоего невежества». И тут же поправляется: «Не лучшие книги ты покупаешь, но слепо доверяешься любому, кто тебе их нахваливает». За этими словами встает образ тогдашних советчиков по части книг. И в ту пору они суетились вокруг книжных базаров, которым было еще так далеко до сегодняшних.

чтение на потом, и тот, кто из всей книги читает только первую и последнюю страницы. Это тот, кто ограничивается одним предисловием или аннотацией, и тот, кто, подобно автору этих строк, являет собой тип своего рода раздвоенного Не-Читателя, в некоторых книгах он читает только нечетные страницы. Категория чрезвычайно смутная и расплывчатая, по-разному проявляющаяся и объясняемая, обреченная на неприятие и забвение – все это тот самый Не-Читатель, который в большинстве случаев деятельно способствует переизданию наиболее читаемых книг, обогащая тем самым «качественного» издателя и упрочивая позицию «качественного» автора.

Обычный читатель может испытывать разочарование, а иногда и злобу по отношению к книге, которую пришлось купить (и прочесть), потому что «все о ней говорят». Совсем иначе ведет себя Не-Читатель. По отношению к приобретенной (и непрочитанной) книге он испытывает чувство признательности, вспоминая о ней с благодарностью. Это признание, достойный внимания и уважения. И не смотря на всяческое замалчивание его существования, Не-Читателя можно обнаружить невооруженным глазом в самых неожиданных местах. К примеру, на тех же литературных ристалищах, среди тамошних знатоков, упорно не желающих его признавать.

Любая великая книга одновременно описывает фигуру образцового читателя, которого она хочет создать.

ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПОИСК И ОБРАЗЦОВЫЙ ЧИТАТЕЛЬ



Монах с бамбуковой книгой. III в. до н.э.

Прежде чем определить, что такое потребление, видимо, будет уместно установить, что мы понимаем под литературным и художественным поиском. В самом деле, часто в это понятие включают две весьма различные категории: категорию экспериментального искусства и литературы – и искусства и литературы авангарда. Я не стал бы подробно останавливаться на разнице между ними, тем более что об этом достаточно уже было сказано в начале 60-х годов. Но поскольку в ходе совсем недавних дискуссий разница эта, похоже, стала стираться, верная идее исторических приливов и отливов не только на протяжении истории истины (если бы таковая когда-нибудь и была), но и на протяжении истории заблуждений, не худо будет отметить здесь некоторые основные положения.

Экспериментализм. Если экспериментировать означает проявлять новаторство по отношению к установившейся традиции, то всякое произведение искусства, которое мы относим к числу значительных, было по-своему экспериментальным.

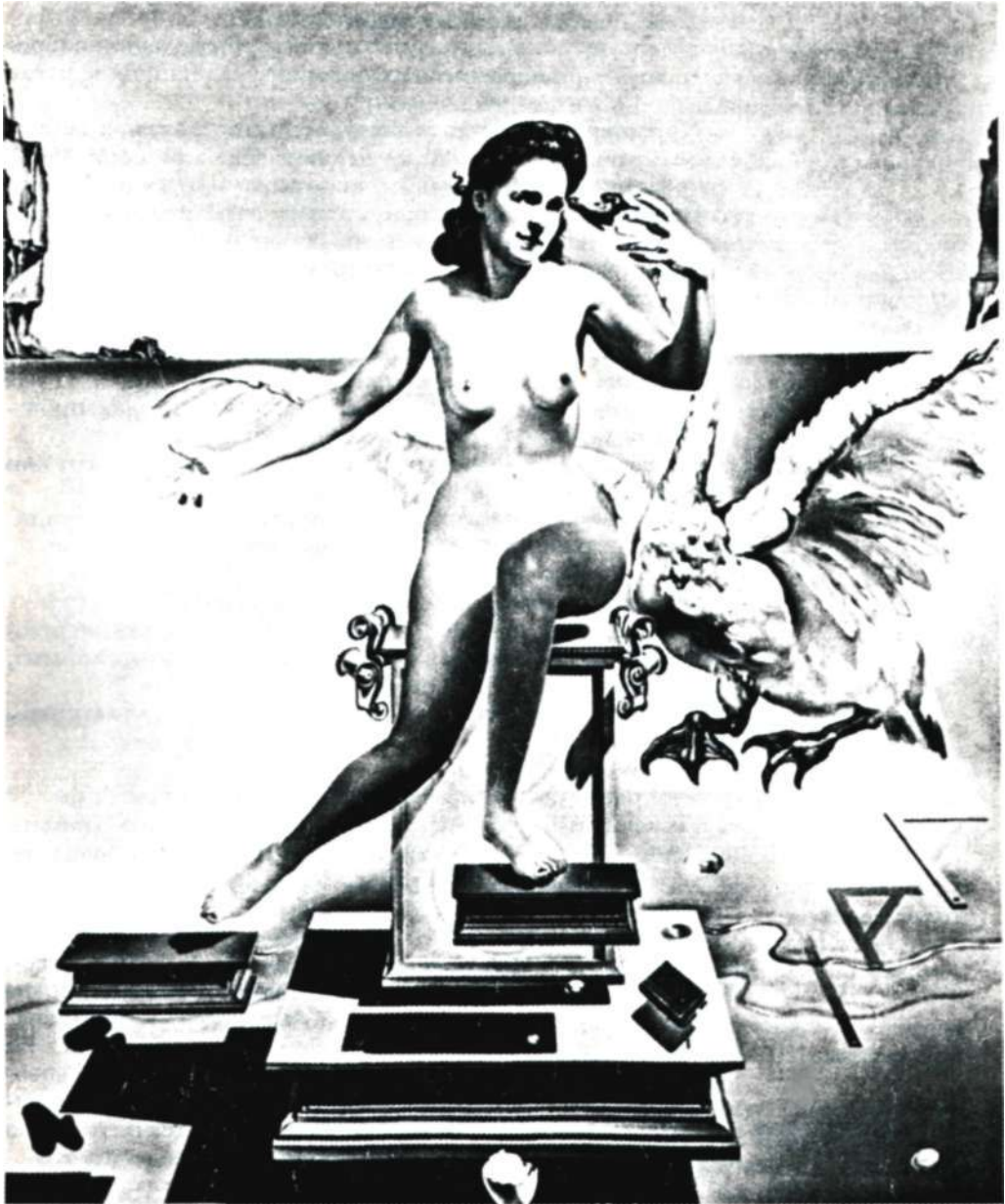
Для Манτζони было экспериментальным описать историю, происходящую в семнадцатом веке – эпоху национального унижения, именно в самый разгар горделивых порывов Рисорджименто *, когда превозносились средние века, как эпоха национального подъема и славы. Для Рабле экспериментальным было насмешливо играть с наследием сорбоннствующей и сорбоннизирующей культуры * точно так же, как сегодня экспериментальным было бы своим писанием подвергать сомнению имплицитную семиотику «Практической школы высших исследований». Позвольте мне считать экспериментальными Конрада (ведь Марлоу * говорит как никто другой до него, по крайней мере на страницах романа), а также игры в точки зрения, воплощенные в произведении (и теоретизированные) Генри Джеймсом *.

Я допускаю, что как на своего рода «Скотном дворе» литературы существуют писатели и художники, являющиеся более «экспериментальными», чем другие. Даже чисто интуитивно можно признать, что Джойс экспериментировал больше, чем Джеймс. Одним из надежных показателей экспериментальности художника – интуитивным и социологическим – является ответ на вопрос: «Можно ли в этом что-то понять?» Допускаю, что ответ «ничего» не гарантирует экспериментальности художника, ведь в конечном счете может оказаться, что мы имеем дело всего лишь с беспомощной стряпней. Но ответ «ничего» или «совсем немного» подталкивает нас

*С. Дали. «Атомная
Леда». 1949.*

к тому, чтобы завести, так сказать, дело о предполагаемой экспериментальности данного художника. Писатель может показаться непонятным, потому что не знает грамматики или потому что намеренно оскорбляет (и косвенным образом преобразует) правила традиционной грамматики.

В любом случае социологически – если не текстуально – «экспериментального» автора (а мы видели, что каждый великий автор в той или иной степени экспериментален) характеризует желание быть признанным. Да, он оскорбляет,



но оскорбляет из соображений, я бы сказал, педагогических, с целью получить признание. Мечта экспериментального автора в том, чтобы со временем его эксперименты стали нормой. Добавлю, что судить об экспериментальном авторе следует или по его отдельным произведениям, или сквозь них, во всяком случае, на основе его произведений, а не поэтики, ибо хороша бывает проповедь, да мало проку в ней.

Авангардизм. По-иному обстоит дело с авангардом. Прежде всего никогда не следует говорить об авангардистском произведении, но о произведении (или не-произведении, наброске поэтики, манифесте, декларации), созданном в русле авангардистского движения.

Характерной чертой авангардистского движения является вызывающая решимость, желание нанести социальное оскорбление культурным (литературным или художественным) институтам через произведения, нарочито неприемлемые. Возможно, я покажусь неоригинальным, однако пронительнее всего обо всех авангардистских движениях этого века, на мой взгляд, сказано у Ренато Поджоли в его «Теории искусства авангардизма».

Для любого авангардистского движения Поджоли выделял следующие характеристики:

- активность: энтузиазм, обаяние авангарда, произвольность цели;
- непримиримость: действовать против чего-то или против кого-то;
- нигилизм: без колебаний стирать с лица земли традиционные преграды, презирать общепринятые ценности;
- культ молодости;
- блистательность: искусство как игра;
- агония: в смысле агонизирующего чувства жертвоприношения, способность к самоубийству в нужный момент, предвкушение собственного краха;
- революционность и террористичность (в культурном смысле);
- самопропаганда;
- преобладание поэтики над произведением.

Думаю, что эти признаки можно обнаружить (*mutatis mutandis*) во всех авангардистских движениях нашего века – от футуристов до «Группы 63»*.

Экспериментализм versus авангардизм. Все это позволяет нам противопоставить экспериментализм и авангардизм. Экспериментализм играет на отдельном произведении, из которого кто угодно может извлечь поэтику, но которое значимо прежде всего как произведение. Авангард играет на ряде произведений или не-произведений, некоторые из которых являются не чем иным, как простыми примерами поэтики. В первом случае из произведения извлекается поэтика; во втором случае из поэтики извлекается произведение.

¹ Внося соответствующие изменения (*лат.*).

² Против; в противовес (*лат.*).

Экспериментализм стремится спровоцировать изнутри историю данного литературного института (роман как ан-

тироман, стихотворение как не-стихотворение), в то время как авангард тяготеет к внешней провокации, то есть стремится к тому, чтобы общество в своей совокупности признало его предложение как оскорбительный способ восприятия культурных, художественных и литературных институтов. «Битва при Адрианополе» Маринетти, появившаяся в малотиражном журнальчике, явилась бы не чем иным, как экспериментальным предложением. Прорекламированная перед публикой, собравшейся в данном зале, чтобы услышать то, что в общественном понимании считалось «поэзией», она вызвала возмущение и неприятие.

Когда Пьеро Манцони изображает белое полотно – это еще экспериментальная живопись. Когда же он выставляет в музее герметически закупоренную банку и объявляет, что она содержит «дерьмо художника», – это авангардизм. В первом случае он оспаривает сами возможности живописи; во втором – саму идею искусства и музеефикации.

Для упрощения можно прибегнуть к схематическому изображению, принятому в семиотиках текста. Если, с одной стороны, мы возьмем диалектическое соотношение между эмпирическим автором и читателем какого-то текста, а с другой – соотношение между образцовым автором и читателем (и тот и другой понимаемые в качестве текстуальных стратегий), то мы могли бы сказать, что авангардизм рассматривает отношения между эмпирическими авторами и читателями, а экспериментализм – между образцовыми писателями и читателями данного, отдельно взятого текста (или определенного корпуса текстов):



[...] «Что», «как» и два типа образцового читателя. Потребление, успех, наслаждение чтением представляют собой целый сгусток явлений, которые не так-то легко различить. В данном случае нас интересует то, что все эти явления составляют альтернативу не экспериментализму, но авангардизму.

Прежде всего я хотел бы выделить некоторые положения, которые в силу своей очевидности рискуют показаться парадоксальными.

1. Каждый художник стремится к тому, чтобы его читали. Не существует частной переписки настоящего художника, считающегося нами «экспериментальным» (от Джойса до Монтале), которая не показывала бы, как этот автор, зная, что он идет вразрез с горизонтом ожиданий своего обычно-

го, фактического читателя, стремится создать своего будущего читателя, способного понять и прочувствовать его – признак того, что автор оркестровал свое произведение как наставление для Образцового Читателя, который был бы в состоянии понять, оценить и полюбить его. Не существует автора, который желал бы, чтобы его не читали и не смотрели. В крайнем случае, подобно Джойсу, он стремится воспитать некоего «ideal reader affected by an ideal insomnia»¹. При этом он всей душой надеется и прилагает все свое старание, чтобы в один прекрасный день этот читатель мог существовать эмпирически.

2. Каждый текст рассчитан на то, чтобы доставлять удовольствие при его надлежащем прочтении. Фельетонист, должно быть, лелеет мечту о читателе, который обладал бы способностью испускать вздохи и ронять слезу; Роб-Грийе – о читателе, способном «распробовать» будущий роман. И тот и другой мечтают о ком-то, кому «нравилось бы» читать (смотреть или слушать) его произведение.

3. Создается впечатление, что некоторые авторы чисто нарративной прозы не заботятся о стиле, надеясь на такого читателя, который будет ценить только *истории*, рассказанные ими. Здесь можно было бы провести разграничение между стремлением к наслаждению от высказывания-результата и от акта высказывания*. Или же, выражаясь более классически, – между наслаждением от *что* и наслаждением от *как*. То есть между наслаждением от Возможного Мира, который описан в истории, рассказанной в тексте, и наслаждением от стратегии рассказа. Однако я не стал бы рассматривать это разграничение как простое разграничение, общее для традиционной эстетики, между наслаждением формой и наслаждением содержанием. Современная нарратология говорит нам, что история, независимо от того, к какой семиотической системе она относится, может иметь собственную форму; и никому не заказано вообразить автора, который предвидит в собственном Образцовом Читателе наслаждение, получаемое от восприятия возможного, высокоорганизованного мира.

4. Каждое произведение предполагает по крайней мере *два типа читателя*. Первый тип является заранее уготованной жертвой собственных стратегий высказывания; второй представляет собой критического читателя, который получает наслаждение от того, каким образом он оказался заранее уготованной жертвой. Возьмем в качестве примера вещь, которую никто не станет называть выдающимся произведением искусства; в лучшем случае ее можно назвать вещичей тонкой и занимательной – это «Убийство Роджера Экройда» или «С девяти до десяти» Агаты Кристи. Роман ведет своего читателя через целый ряд уловок к неожиданной финальной развязке (убийцей оказывается сам рассказчик). Однако в конце читателя недвусмысленно просят перечитать книгу с начала, дабы убедиться, что на самом деле рассказчик вовсе не обманывал его, а (так или иначе) сказал все, точнее, дал читателю возможность догадаться. Данное произведение (впрочем, это присуще любому детективу) предусматри-

¹ Идеального читателя, страдающего идеальной бессонницей (англ.).

вает два типа читателя: читателя первого уровня и читателя второго уровня. Читатель второго уровня должен получать наслаждение не от рассказанной истории, а от того, как она рассказана. Каждое произведение искусства, если это не кустарная поделка, обращается к читателю с таким же вопросом. Мы не рассматриваем здесь случаи более сложных произведений, для которых требуются и предполагаются читатели третьего, четвертого, энного уровня. Поэтому приемлемый эстетический критерий, не противоречащий принципам современной эстетики, будет заключаться в разграничении между произведениями, нацеленными главным образом на то, чтобы вызвать наслаждение у читателя первого уровня, и произведениями, нацеленными на то, чтобы вызвать наслаждение у читателей уровня п. Первые можно было бы определить как произведения «гастрономические»; вторые – как произведения, преследующие эстетические цели.

О некоторых крайних случаях. Наконец, существуют произведения, в которых данное разграничение выглядит не столь отчетливо. Несомненно, любое произведение – от рассказа писака-ремесленника до детского рисунка, от «Обрученных» до «Критики чистого разума» – взывает (часто патетически) к своему читателю: «Посмотри, как я ладно сделано!» Несомненно, однако, и то, что некоторые произведения, так сказать, обходят этот пассаж и преследуют иную цель. Характерный пример такого произведения (позвольте и мне внести свою лепту в проходящие сейчас юбилейные торжества) – это «1984» Оруэлла. С точки зрения литературных канонов роман написан слабо; с точки зрения идеологической он немало позаимствовал у других произведений, которые в предшествующие годы, возможно, более решительно вынесли свой приговор диктатуре и участи мира, основанного на технократии: от «Слепящей тьмы» до «О дивного нового мира». В этом романе нет ничего полностью оригинального, включая фигуру Старшего Брата, летучки ненависти, перекройку «Таймс», садомазохистские отношения между мучителем и жертвой, слияние декаданса и морализма libetal, идею (общую для всех инквизиций), что убивать можно только после раскаяния, иначе вообще не стоит приносить в жертву жизнь еретика.

И все же этот роман с лихвой осиливает собственную вереницу цитат и внушает некий мифологический трепет. Он обнажает страхи и тайные наклонности своих читателей, поражает коллективное воображение и уходит своими корнями в символику бессознательного, играет на архетипах.

Он не покоряет яркостью стиля, не очень удачно рассказывает новую историю и тем не менее становится важным по тем же причинам, по которым для нас знаменательны и памятные мифы и великие откровения мистиков.

Если традиционная эстетическая диалектика развивается между наслаждением от *что* и наслаждением от *как*, то такие книги, как роман Оруэлла, представляют для нас пример весьма скромного *как* и уже заранее известного *что*.

Но природа *что* не позволяет нам ограничиваться эстети-

ческой диалектикой. Она заставляет нас с трепетом замереть перед лицом тайны (как хотелось когда-то замереть перед лицом возвышенного – другой ипостаси прекрасного).

В действительности роман «1984» поражает нас не тем, что эта книга могла быть написана, а тем, что нечто в этом роде может произойти и с нами. Поэтому, как писал Кант о наслаждении возвышенным, мы наслаждаемся не произвольной упорядоченностью, не беспечной целенаправленностью, не безыдейной всеобщностью и безразличным удовольствием, но несоответствием между рассудком и воображением, чем-то, что (трепетно) принадлежит глубинам нашей души, а не поверхности или глубине предмета.

Утешение, наслаждение, новаторство, успех. Действены ли еще, в свете этих замечаний, некоторые категориальные аппараты, которые социология литературы (внешне «демократическая») одолжила у более аристократических эстетик, рожденных от брачного союза романтизма и исторических авангардов?

Можем ли мы еще отождествлять приятное с нехудожественным? Можем ли еще ставить знак равенства между утешительным и тем, что насыщает горизонт ожиданий потребителя и что, следовательно, не обновляет и не возбуждает? Или же: можем ли мы еще ставить с одной стороны утешительное, не-новаторское, ожидаемое, а с другой – неожиданное, созидательное, вызывающее, короче говоря, то, что доставляло бы наслаждение более высокого, а не тривиального порядка? И что такое насыщать или пробуждать горизонт ожиданий?

Я думаю, что здесь следует учитывать фундаментальную относительность этих понятий и манипулировать ими (в соответствии с тем, чем они являются) как понятиями, относящимися к области знания, к энциклопедии определенной части публики, а не к «объективным» аспектам текста (иначе говоря, объективность рождается из соотношения между коллективно отождествляемыми аспектами текста и энциклопедией его читателей).

Следует соединить визуальную эстетику с эстетикой культурно-антропологической.

Оправдывает ли роман «Обрученные» ожидания своих читателей или обманывает их? И становится ли он в этом смысле легким чтением или предполагает, что читатель должен полностью переустроить собственный аппарат чтения? А может, Мандзони бросал вызов светским либералам и утешал католиков или наоборот? А Бальзак? Маркс и Энгельс не уверены, является ли он хвалителем или хулителем легитимистского мира. И был ли этот легитимист дерзким хулителем усиливающейся буржуазии. Будучи легитимистом, он все же бросает вызов традиции, в которую верит, и выдвигает в качестве реально приемлемых лишь суровые условия капиталистического соревнования. При том, что (об этом говорил еще Пруст) пишет он плохо. Зато рассказывает хорошо. Какая же разница?

Что такое экспериментальный роман? Таковым, несом-

*...Книги как живые
существа. Наше
отношение к ним
изменяется
с годами, бегущее
время окрашивает
его всякий раз
по-иному,
а случается — вдруг
озаряет
неожиданным
светом
произведения,
которые вовсе этого
не заслуживают.*

Ярослав Ивашкевич

ненно, является «Тристрам Шенди», сотканный из актов высказывания как процесса, готовый подвергнуть критике саму форму романа. Однако в свое время он становится бестселлером и, следовательно, пользуется всеобщим успехом, как отмечает Ливис в своей книге о читателях англосаксонской прозы *. Ливис задается вопросом, почему Вирджиния Вулф, будучи столь же экспериментальной, не стала столь же популярной. Но восемнадцатый век очарован новой формой романа. Он без стеснения использует ее и даже с наслаждением рассуждает о ее природе. Двадцатый век эту форму уже мифологизировал. Он или использует ее, или критикует, но связи между двумя этими возможностями больше нет. «Робинзон Крузо» — великая книга: я принимаю это утверждение не как критическую данность, а как данность статистическую, снискавшую всеобщее согласие. Эта книга утешает своего буржуазного читателя восемнадцатого века, подкрепляет его убеждения и его надежды. Она побуждает проводить сравнения, воздействует как небольшое нравоучительное сочинение, утверждает педагогическое начало. У нее есть все необходимое, если принимать буквально высказанные мною только что утверждения, чтобы напоминать (с социологической точки зрения) «Руку покойницы» Каролины Инверницио. Однако «Робинзон Крузо» представляет собой великую книгу той эпохи, когда развлекательное чтение и чтение романов с целью нахождения в них моделей для сравнения является новаторским жестом со стороны читателя, принадлежащего к новоявленному классу. Что же нам еще понятно в «Робинзоне» сегодня? Многое. И стоило бы постоянно и основательно задавать вопросы: почему произведения, соответствующие запросам читателя прошлого, все еще продолжают очаровывать читателей будущего. Вопрос, который ставил перед собой еще Маркс, говоря об очаровании классиков. Думаю, что в качестве ответа можно было бы объяснить, что любая книга содержит в себе указания для понимания кода, на который она ссылается; то есть любая великая книга одновременно описывает фигуру Образцового Читателя, которого она хочет создать. Поэтому, читая «Робинзона», все мы становимся английскими буржуа XVIII века. Но есть и вероятность того, что сегодня эту книгу читают благодаря описанным в ней приключениям, чтобы получить от нее легкое удовольствие, лишаясь при этом всего того наслаждения, которое было уготовано для избранного читателя. В самом деле, сегодня этот роман можно читать двояко: критически — такое чтение показало бы нам его таким, каким он предстал перед читателем своего времени, и это чтение для немногих; и гастрономически — в этом случае книга, в которой рассказывается о хорошо уже всем известной истории, в действительности не имеет никакого успеха у массового читателя. И хотя «Робинзон» исправно переиздается и наверняка в обязательном порядке покупается, все же сегодня это не бестселлер. Он, видимо, рискует стать тем, что у американцев называется GUB — «great unread book»¹, как Библия и как Пруст.

¹ Великая нечитаемая книга (англ.).

Я бы не хотел, чтобы это выглядело низкопробным ре-

лятивизмом. Это, конечно, релятивизм, но «высокопробный». Повторяю, на мой взгляд, еще возможно анализировать «Робинзона» и показать, что сложность и органичность романа, безусловно, позволяют нам воссоздать в самих себе его избранного читателя. В то же время этого не произошло бы с вещами, состряпанными на предмет сиюминутного ублажения вполне определенной и ограниченной публики (это является лишь более схематичным выражением мысли о том, что великий автор в конечном счете всегда стремится к всеобщности, а не к собственной частной выгоде).

Непременным остается, однако, тот факт, что если мы не способны улавливать относительность используемых нами категорий, то мы рискуем не выиграть ничего, а потерять многое.

Обратимся к явлению «успеха». Книга имеет успех лишь в двух случаях: если дает читателям то, чего они ждут, или если создает читателей, которые решают ждать того, что дает им книга. Иными словами, каждое «малое» произведение удовлетворяет спрос выявленных им читателей; меж тем как каждое «большое» произведение порождает спрос тех читателей, которых оно решает создать. Не так-то просто определить, удовлетворяли ли «Обрученные» или «Робинзон Крузо» уже существовавший читательский спрос или создавали будущих читателей. Но если это нелегко по отношению к произведениям прошлого, то становится ли это легче по отношению к произведениям настоящего? Пожалуй, я не смогу ответить на этот вопрос со всей определенностью. Поэтому с категориями успеха и удовлетворения спроса я бы обращался весьма осторожно.

Рассмотрим случай с признанным автором – Джозуэ Кардуччи. По некоторым данным, любезно предоставленным мне отделом печати «Дзаникелли», я узнаю, что «Варварские оды» вышли в 1877 году и за десять дней разошлись в количестве тысячи экземпляров. В 1878 году выходит второе издание, в 1880 – третье, в 1883 – четвертое и в 1887 – пятое. Если за десять дней продана тысяча экземпляров, а в ожидании второго издания проходит год, то, значит, тираж первого издания уже достигал нескольких тысяч экземпляров. Следовательно, можно подсчитать, что примерно за десять лет, после пяти изданий, количество проданных экземпляров «Варварских од» составило порядка сорока или пятидесяти тысяч.

Далее. Кардуччи пользовался успехом потому, что воспевал Третью Италию, как того ожидали читатели эпохи пост-Рисорджименто. Тем не менее мы не можем отрицать, что, потакая их запросам, Кардуччи, с другой стороны, «творил» собственных читателей не иначе, как прививая им вкус к «варварским» стопам, которые он возрождал властью своих текстов.

Обратимся теперь к другому автору. В свое время он считался популярным. Это Лоренцо Стеккетти. Стеккетти преподносил своему читателю «проклятушего» поэта*: в пост-романтическую эпоху он уже являл собой потребительский товар. Поэтому нет ничего удивительного в том, что его

«Посмертные стихи» (опять же по данным «Дзаникелли») за четыре месяца 1878 года разошлись в количестве пяти тысяч экземпляров, а с 1878 по 1883 год были переизданы еще десять (я повторяю: десять) раз. В двенадцатом издании мы находим уведомление, предостерегающее читателей от подделок, а в 1905 году становимся свидетелями двадцать пятого издания.

Значит, Стеккетти можно приравнять к Кену Фоллету или Гарольду Роббинсу? Или, если не выходить за пределы его времени, – к Да Верона?

И все же успех объясняет не все. На мой взгляд, уместно было бы обратиться и к тексту. Итак, обратимся хотя бы к *одному* тексту и перечитаем то самое «Первое мая 1895 года», что появилось в «Стихотворениях Арджии Зболенфи»:

Шагают медленно. Под дугами бровей –
блеск лихорадочный огня.
Плечом к плечу смыкаются тесней,
ни слова меж собой не пророня.
Иной руки соседа вдруг коснется,
чтобы узнать, кто он.
Мозолей нет – в нем сразу мысль проснется,
что тот – шпион.
Уж пали многие, судьбой обречены
и тяжестью труда.
Другие изгнаны, в острог заточены,
но воля их тверда.
Вот у подъездов вьется черный змей –
богатая толпа.
И ужас смерти царствует над ней –
поработив, поправ.
Но вот безмолвные ряды прошли;
зловещий день
С шагами гаснет, в сумрачной дали
густеет тень.

Стеккетти – «модно» проклятый поэт, тем не менее здесь мы видим, что он идет вразрез как с кардуччианской риторикой Третьей Италии, так и с риторикой социалистических манифестов своего времени. Он изображает трудящихся такими же проклятыми, как и денди, и это уже новация. Он продает не то, чего ждет от него читатель, он предлагает нечто новое, что его читатель лишь смутно предчувствовал. Его набросок не имеет ничего общего с величественной фреской Четвертого сословия. Он разве что напоминает нам пролетариев Пазолини, а это далеко не пустячное предвосхищение. Он рождает ответ, потому что упреждает (но в то же время и учреждает) горизонт ожиданий.

Возможно, этот пример покажется незначительным, но он помогает нам, как мне кажется, выделить два момента:

– ни в коем случае нельзя говорить об успехе как о социологическом и статистическом факте, не соотнося его с культурной ситуацией, в которой появляется произведение (появись то же самое стихотворение сегодня, его наверняка сочли бы просто манерным);

— нельзя говорить об успехе как о социологическом и статистическом факте, не выверив по тексту причины взаимодействия между горизонтом ожиданий (актуальным или виртуальным) и стратегией текста.

Другими словами, рассматривая какое-либо произведение, мы должны соотносить его с *эциклопедией* той эпохи, в которой оно появилось.

Новое прочтение: между литературой и паралитературой. Но этого еще недостаточно. Произведение следует также рассматривать в соотношении с энциклопедией его последующих читателей. И в этом случае текстовое сопоставление может объяснить нам, почему произведение, созданное из потребительских соображений, становится впоследствии стимулом для более изысканного и углубленного чтения.

Возьмем, к примеру, «Фантомаса» П. Сувестра и М. Аллена. Нет никаких сомнений в том (и это подтверждает сопоставление тем и стилей французской литературы того времени), что серия романов о Фантомасе написана «плохо», наспех и кое-как и что история противоборства гения зла с силами добра сама по себе не нова и не поразительна. В лучшем случае — это пример ловкого кустарного сколачивания непрерывно чередующихся, избитых общих мест (*topoi*) и умения пустить их в оборот в нужный момент. Тем не менее мы знаем, что сюрреалисты предложили настолько сногшибательное прочтение «Фантомаса», что это произведение стало восприниматься совершенно в другом ключе и теперь его читают лишь *haru few*¹ (при этом значительно сократились и его тиражи — вспомнить хотя бы весьма скромный успех, которым пользовалось новое издание «Фантомаса», выпущенное «Мондадори» лет двадцать назад в Италии).

Почему сюрреалистам не удастся совершить ту же операцию с Монтепеном или Морисом Лебланом? Наверное, стоило бы перечитать «Фантомаса», чтобы обнаружить следующую вещь: то, что мы назвали ловким кустарным манипулированием общими местами, в конечном счете является еще и недюжинной провидческой силой в ускоренной оркестровке своего рода потока архетипов, пусть даже и выродившихся. Нечто подобное происходит в таком фильме, как «Касабланка»*. Этот фильм будто соткан из «уже сказанного» (причем в низких коммерческих пределах). Но вместе с тем он настолько головокружительно повторяется, что вызывает подозрение в проницании, в сознательном цитировании, в межтекстовом *mise-en-abîme*², а значит, и в эстетическом успехе (независимо от первоначального замысла и коммерческих условий, предварявших создание произведения).

Осмелюсь даже сказать, что паралитературой не рождаются, паралитературой становятся. И для некоторых произведений, в свое время выдающихся, а затем прочно вошедших в репертуар, пользующийся лишь самым поверхностным интересом, это вполне справедливо. Мне думается, что сегодня многие используют мелодраму девятнадцатого века в парамузыкальном ключе и в паралитературном клю-

¹ Немногие счастливицы;
избранные (*англ.*).

² Текст в тексте (*фр.*).

че – даже самого Боккаччо. Впрочем, я понимаю, что такого рода *boutade* можно и перевернуть. Паралитература возникает в тот момент, когда произведение создано для насыщения четко определенного горизонта ожиданий, лишненно-всяческих сюрпризов. Литература же возникает в момент, когда некое новое прочтение выявляет такие черты текста, которые нельзя свести к чисто гастрономической упаковке. Эти черты сохраняются, даже если автор их не осознавал (в конце концов, можно быть великим писателем, вовсе того не подозревая, и изобрести новую форму наслаждения текстом точно так же, как могут быть и очень часто бывают никуда-дышные писатели, уверенные в обратном). По отношению к собственному рынку, к своекорыстному расчету, который ими движет, к неутолимой жажде обогащения, Бальзак и Дюма начинают на равных. Анализ текста (сумеете ли вы написать о «Графине де Монсоро» так же, как Барт сумел написать о «Сараззине» *) сможет показать нам, в чем состоит итоговое неравенство и почему сегодня Дюма очаровывает нас, а Бальзак обескураживает.

Кавычки. Перипетии новых прочтений многочисленны. Одни новые прочтения возвеличивают потенциальные возможности текста, другие преуменьшают их. В эти дни Р. Барилли говорил о методе закавычивания как о весьма характерном для новейшей литературы, которая выставляет на всеобщее обозрение собственную игру в цитирование и подкрепляющую ее иронию. Впрочем, затем он заметил, что опасность, подстерегающая такого рода произведения, заключается в том, что у них может оказаться читатель, не замечающий кавычек и читающий произведение простодушно. Хорошо, но можем ли мы сводить наше рассуждение всего лишь к простейшему уровню потенциальной диалектики между «хитрым» чтением и чтением простодушным, то есть уже выродившимся?

В последнее время в области средств массовой информации получил широкое распространение характерный для новейшей прозы метод: речь идет об *ироническом цитировании общего места (топоса)*.

Вспомним сцену убийства арабского исполина в черном из «Искателей потерянного ковчега» *. Или цитату Потемкинской лестницы в «Бананах» Вуди Аллена *. Что объединяет две эти цитаты? В обоих случаях, чтобы насладиться аллюзией, зритель должен знать оригинальные «места» (в случае с исполином – жанровый *топос*; в случае с «Бананами» – идиолектальный *топос*: первый и единственный раз он появляется в каком-то одном произведении, а впоследствии становится обязательной цитатой, а значит, – *топосом* кинокритики и кинолюбительского дискурса).

В обоих случаях *топос* уже зафиксирован в энциклопедии зрителя. Он является частью коллективного воображения и как таковой привлекается. Разница между обеими цитатами в том, что в «Искателях» *топос* цитируется для того, чтобы его можно было опровергнуть (происходит не то, чего ждешь в подобных случаях); меж тем как в «Бананах» *топос*

¹ Острота, каламбур (фр.).

вводится, с необходимыми вариациями, только в силу своей несообразности. Сообразный в первом случае – и именно поэтому действенный, когда его опровергают, – и несообразный во втором случае.

Первый случай напоминает серию комиксов, публиковавшихся много лет назад в журнале «Мэд». Каждый раз в них рассказывалось о фильме, который «мы хотели бы увидеть». Например, где-то на Диком Западе бандиты привязывают героиню к рельсам. Затем чередующиеся изображения в духе драматического монтажа а-ля Гриффит показывают с одной стороны приближающийся поезд, а с другой – бешеную скачку спасителей, пытающихся обогнать паровоз. Кончается все тем, что (вопреки всем ожиданиям, подсказанным привлеченным *топосом*) поезд наезжает на девушку. Здесь мы сталкиваемся с комической игрой, в которой предполагается (справедливо), что зритель узнает оригинальное место, соотносит с цитатой комплекс ожиданий, которые оно призвано вызывать по определению (то есть по определению кадра – frame – или сценария, так, как это уже зафиксировано в энциклопедии), а затем получит удовольствие оттого, что обманулся в своих ожиданиях. С этого момента наивный зритель, как только его опровергли, преодолевает свое разочарование и превращается в зрителя критического, который отдает должное тому, как «здорово его надули».

В случае с фильмом «Бананы» мы оказываемся уже на другом уровне. Зритель, с которым текст заключает соглашение и е, – это не наивный зритель (его самое большее может поразить возникновение несообразного события), но зритель критический; он отдает должное иронической игре цитаты и именно ее намеренной несообразности.

Тем не менее в обоих случаях мы получаем побочный критический эффект: заметив цитату, зритель склоняется к ироническому размышлению о «топической» природе процитированного события и к признанию игры, в которую его вовлекли, как игры в избивание энциклопедии.

Прочитываемые случаи вводят в игру межтекстовую энциклопедию: то есть в одних текстах цитируются другие тексты и знание предшествующих текстов является необходимой предпосылкой для оценивания данного текста.

Более интересным для анализа новой межтекстуальности и диалогизма средств массовой информации является пример с фильмом «Инопланетянин» *. Космическое существо (детище Спилберга) ведут в город накануне праздника Всех Святых. По дороге ему встречается персонаж в костюме гнома из фильма «Империя наносит ответный удар» *. Инопланетянин подскакивает и кидается обнять гнома, будто перед ним старый приятель. Здесь зритель должен многое знать: разумеется, он должен знать о существовании другого фильма (межтекстовое знание); помимо этого, он должен знать и то, что оба чудовища сделаны Рамбальди *, что режиссеры этих фильмов связаны между собой по разным причинам, не последняя из которых – в том, что это два самых удачливых режиссера десятилетия. Короче говоря, зритель должен

обладать не только *знанием текстов*, но и *знанием мира* или же внетекстовых обстоятельств. Важно, разумеется, помнить, что и знание текстов, и знание мира есть не что иное, как два раздела энциклопедического знания. Поэтому в известной степени текст, как бы то ни было, все еще соотносится с одним и тем же культурным достоянием.

Подобное явление было характерно в свое время для экспериментального искусства, которое предполагало весьма изощренное в культурном отношении Образцового Читателя. То, что схожие методы становятся теперь все более привычными в мире средств массовой информации, наводит нас на некоторые соображения: средства массовой информации берут на вооружение информацию, предполагая, что она уже пропущена через другие средства массовой информации.

Так, «Инопланетянин» «знает», что публика проинформирована из газет или телепередач об отношениях между Рамбальди, Лукасом и Спилбергом. Кажется, будто в игре межтекстовых цитат средства массовой информации ссылаются на внешний мир. На самом деле они ссылаются на содержание других сообщений других средств массовой информации. Эта партия разыгрывается, так сказать, по правилам «расширенной» межтекстуальности, по отношению к которой знание мира (понимаемое наивным образом, как знание, полученное в результате внетекстового опыта) практически исчерпало себя.

Приведенные нами примеры были вызывающе восприняты универсумом средств массовой информации с целью показать, что и формы межтекстового диалогизма перенеслись теперь в сферу массовой продукции.

В эстетическом отношении типология различных форм межтекстового цитирования дает возможность для размышления, интересного эстетически и критически, об иронической роли кавычек. Одна из опасностей этого метода (по словам Барилли) – не суметь *выделить* кавычки. Поэтому то, что цитируется – а довольно часто цитируется не искусство, а к и ч, – воспринимается простодушным читателем первого уровня как оригинал, а не как эффект иронической уловки.

Обратимся сразу к третьему случаю: зритель, не имеющий никакого представления об истоках создания обоих фильмов (один из которых цитирует другой), не смог бы понять, почему происходит то, что происходит. Допустим, что успешное срабатывание *эга* * есть условие эстетического наслаждения (если понимать под *эгам* конструкцию, тяготеющую к саморефлексии). В какой-то степени, пусть даже минимальной, оно таковым и является, как является им удачная реплика, анекдот, вызывающий восхищение за счет экономии средств, благодаря которой он достигает комического эффекта. Тогда эпизод с «Инопланетянином» держится на необходимости кавычек. Однако его можно было бы упрекнуть в том, что он доверяет чувство кавычек внетекстовому знанию: фильм никак не помогает зрителю понять, что в этом месте надо бы поставить кавычки. Фильм доверяет внетекстовому знанию зрителя. Ну а если зритель не знает? Ниче-

го страшного, фильм знает, что у него есть другие средства, чтобы заслужить его признание.

Эти неощутимые кавычки являются даже не столько эстетической уловкой, сколько уловкой социальной. Они отбирают *harpu few* (полагая, что их миллионы). Простодушному зрителю первого уровня фильм и так уже дал слишком много: это тайное наслаждение уготовано на сей раз критическому зрителю второго уровня.

Иначе обстоит дело с «Искателями потерянного ковчега». Если здесь критический зритель терпит неудачу (и не узнает затасканного *toposa*), широкие возможности для наслаждения остаются у простодушного зрителя. Он наслаждается хотя бы тем, что герой в конце концов берет-таки верх над противником. Перед нами не столь тонкая конструкция, как в предыдущем случае. Она скорее удовлетворяет потребности продюсера, которому при любом раскладе нужно сбыть свою продукцию кому бы то ни было. Конечно, трудно представить себе зрителя, который смотрел бы «Искателей» и получал бы от фильма удовольствие, не улавливая его цитаторского пароксизма. И все же такое вполне допустимо. Произведение открыто и для такой возможности. Я не склонен сейчас уточнять, какой из двух процитированных текстов преследует «эстетически более благородные» цели. Мне достаточно (и на данный момент это уже дает мне много пищи для размышления) отметить функциональную и текстуально-стратегическую разницу, которая может подтолкнуть к иному критическому подходу.

Перейдем теперь к случаю с фильмом «Бананы». По лестнице, несомненно Потемкинской, спускаются не только коляска, но и толпы раввинов, и точно уже не припомню, кто еще. Что происходит со зрителем, который не улавливает цитату из «Потемкина»? Думаю, что благодаря оргиастической силе, с которой представлены лестница и ее несообразное население, даже наивный зритель улавливает ошелмляющий симфонический смысл этой брейгелевской ярмарки. Даже самый наивный из зрителей «чувствует» ритм, находку, он не может не заострить своего внимания на том, как это сделано.

На крайнем полюсе эстетического интереса мы наконец поместим произведение, которому я не в состоянии подыскать эквивалент в современных средствах массовой информации. Это один из шедевров не только межтекстового диалогизма, но и высокого металингвистического искусства вестни разговор как о собственном построении, так и о собственном жанре. Таким образом, в завершение я постараюсь заодно внести ясность в последние пункты моей типологии. Я говорю о «Тристрате Шенди».

Невозможно читать роман-антироман Стерна и получать от него наслаждение, не отдавая себе отчет в том, что он иронизирует над формой романа. И текст знает это до такой степени, что, думаю, невозможно найти в нем хотя бы одно ироническое место, где бы он со всей очевидностью не обнаруживал собственного метода закавычивания, тем самым выдвигая эстетическое решение риторической техники про-

nuntiatio¹ – основополагающей для успеха иронической уловки.

Я полагаю, что наметил восходящий ряд уловок закавычивания, который так или иначе должен иметь значение для феноменологии эстетических ценностей и получаемого от них наслаждения. Отмечу еще раз, что стратегия неожиданности и новизны в повторении, хоть это и семиотические стратегии и сами по себе являются эстетически нейтральными, могут привести к различным результатам, по-разному оцениваемым в эстетическом плане.

Итак, с помощью одного и того же метода можно получить как совершенство, так и банальность. У того, кто им пользуется, он может вызвать разлад с самим собой и с межтекстовой традицией в целом, а затем припасти для него легкие утешения, проекции и сравнения; он может заключить соглашение только с простодушным потребителем или только с потребителем критическим или же и с тем и с другим, но на разных уровнях и с бесконечным числом трудно типологизируемых результатов.

Таковы некоторые разрозненные замечания, которые не намерены предложить новую модель – семиотическую, эстетическую или социологическую – для анализа отношений между потреблением и новаторством, между авангардом, экспериментализмом и средствами массовой информации. Эти замечания преследовали лишь одну цель: показать, насколько ущербны такие категории, если их использовать как *rassepartout*² и с их помощью пытаться объяснить явления, которые – и нам кажется, мы это показали, – представляются куда более тонкими и запутанными.

Если прежних теорий нам недостаточно, то это не значит, что нужно поставить под вопрос само понятие теории. Дело в том, что рост всевозможных явлений, взаимоотношения между производством и потреблением в области искусства, углубление знаний, которые мы приобретаем на основе этих фактов, обязывают нас двигаться вперед с большей осторожностью и собирать материал для будущих теорий – более гибких и прозорливых.

И может статься, как это бывает в естествознании, мы поймем, что одно и то же явление можно рассматривать до бесконечности с позиций нескольких взаимодополняющих, но не взаимоисключающих теорий. Теперь уже общезвестно, что грубых «предметов» на свете не бывает. Именно наше исследование постепенно определяет облик предмета. И если это знает физик-ядерщик, то об этом тем более должен помнить ученый-гуманитарий, давным-давно это уже знавший, хотя порой он и склонен об этом забывать.

1984

1

Речь; декламация
(лат.).

2

Ключ, отмычку (фр.).

*Несерьезный
читатель — это
тот, кто
читает не те
книги, которые
читаю я.*

**КАК
СЛЕДУЕТ
СОСТАВЛЯТЬ
БИБЛИОТЕКУ**

Вы хотите, сеньор, составить себе библиотеку и просите у меня совета. Дать такой совет куда труднее, чем вы получаете.

Прежде всего мне надобно знать, что вы подразумеваете под словами «составить библиотеку», вернее даже — с какой целью вы ее составляете и какое применение найдете вы книгам из вашей библиотеки. Ведь не могу же я заподозрить вас в вульгарном заблуждении, что книга якобы существует прежде всего для того, чтобы ее читали, а уж потом — чтобы ее бережно хранили.

Как-то раз я хвалил одному своему приятелю, художнику, работы другого художника, на что он, скривившись презрительно, сказал: «Да этим картинам место только на стенке в музее!» Все равно, как если бы мы, желая выказать пренебрежение какой-либо книге, сказали: «Да этой книге место только на полке в библиотеке!» И ведь факт, что есть люди, которые верят, будто лучшая книга — это зачитанная до дыр. Мне даже известно, что один писатель — умнейший, талантливейший человек, немного, правда, свихнувшийся на библиофильстве, — рассказывая о чудовищных глупостях, которые содержатся в некой старинной книге, очень редкой, и цитируя кое-что, добавлял: «Ну да хватит об этих глупостях, они не перестают быть глупостями от того, что мы обнаружили их в такой редкой книге». Большинство же смертных, не таких умных, как этот библиофил, сочтут, что именно перечисленные глупости и делают книгу столь редкой; ну и понятно, такие люди никогда не потеряют подобную книгу, не разорвут, в ней для них словно бы заключено нечто жизненно важное, представляющее особую ценность. Следует, однако, уважать душевные порывы людей, одержимых любой манией, лишь бы эта мания не представляла опасности для общества, а среди маний, особенно достойных уважения, — библиомания, она не только из самых невинных, но бывает даже и благотворной. Вот вам уже и ясна разница между теми, кто презирает книгу, которая коротает свой век на библиотечной полке, и теми, кто ценит ее именно за то, что она — книга редкостная и место ей — на библиотечной полке.

Ну коли вы уж решили составить себе солидную библиотеку, то советую вам приобретать только полные собрания сочинений, по возможности — на языке оригинала, особенно если речь идет о философских сочинениях; покупайте и отдельные издания, подготовленные самим автором. Я хочу подчеркнуть, что вам не следует брать интересующие вас книги в серийных изданиях, в этих так называемых коллек-

циях, библиотеках, циклах... Любая книга обесценивается оттого, что входит в любую из этих серий. Только несерьезный читатель может читать изданную таким образом книгу.

Надеюсь, нет необходимости разъяснять вам, что такое «несерьезный читатель», но на всякий случай – извольте. Несерьезный читатель – это тот, кто читает не те книги, которые читаю я; ну а если он их и читает или я предполагаю, что он их читает, то читает он их иначе, нежели я, и уж, конечно, понимает их не так, как понимаю я, и они не убе-



*Ф. Сурбаран. «Видение
Св. Педро Ноласко»
(1629–1630).*

ждают его так, как убеждают они меня. Кроме того, если он не упоминает о том, о чем упоминаю я, или не принимает этого в расчет, то я должен, следуя простой логике, считать, что он этого и не знает. Ведь невозможно, чтобы, читая то же, что и я, он не думал бы так же, как я.

Покончив сразу с этим важнейшим методологическим отступлением, возвращаюсь к вашему намерению составить библиотеку.

Настоящий читатель должен одновременно читать три, четыре, а то и пять книг, отдыхая от каждой из них в остальных.

Мигель де Унамуно

Если вы хотите заняться этим всерьез, то начинать вам следует с каталога. Библиотеки, составленные прежде, чем составлен их каталог, бывают обычно несколько сумбурными. Если, просматривая книги какой-нибудь частной библиотеки, вы обнаружите там всего понемножку – кое-что из философии, кое-что из богословия, из литературных сочинений, из естественных наук и тому подобное, – но все это с большими лакунами и если там на полках рядом с творениями классиков стоят те общедоступные учебники, излагающие науки в сокращенном виде, которые один несостоявшийся преподаватель как-то назвал водопойнными колодами, то вы можете смело утверждать, что это – библиотека *dilettante*. А *dilettante*, как, полагаю, вы не можете не знать, чуднее исключительно опасное и зловерное для святейшего и высочайшего дела гуманитарной культуры.

Вижу, вижу, как вы встревожились и хотите спросить у меня, что же такое *dilettante* и дилетантизм. Но мне, кому так прекрасно удалось определить понятие «несерьезный читатель», тем самым подразумевая и определение понятия «несерьезность», не удастся дать четкого определения понятию «*dilettante*» по той простой причине, что я тоже не из тех, кто это знает. Знаю лишь, что это нечто гнусное и отвратительное, нечто, говоря кратко, исключительно зловерное для святейшего и высочайшего дела гуманитарной культуры. Культуры, которой я тоже не могу дать определения и едва ли когда-нибудь сумею это сделать.

Постарайтесь, значит, избежать соблазна составить себе такую дилетантскую библиотеку, позаботьтесь изо всех сил о каталоге. Надобно, чтобы библиотека ваша была по возможности монолитной, единой, основательной, по-настоящему классической, составленной из новых книг и из тех авторов, которых можно всегда процитировать, не боясь опозориться.

Как я полагаю, вы отлично осведомлены, что если книги и пишутся, то ради того, чтобы из них делали выдержки и щеголяли цитатами, и что те, кто их писал и пишет, родились, дабы их имя упоминалось рядом с цитируемым пассажем из написанных ими книг. Если же мы почти никого не цитируем, значит, мы хотим, чтобы думали, будто все, что мы говорим, нам самим пришло в голову, а это знак гордыни, осуждаемой испокон веков. В таком случае – уж лучше бы никто не знал, что мы вообще умеем читать.

Итак, прежде всего составьте каталог. Без каталога нет библиотеки. С тех самых пор, как этот вопрос исследовал и опубликовал результаты своих изысканий великий ученый дон Фульхенсио* – я подробно рассказал о нем в книге «Любовь и педагогика», но в вашей библиотеке эта книга не должна числиться, – с тех самых пор вы знаете, что цель науки – это нечто иное, чем каталогизация вселенной, необходимая, чтобы иметь возможность вернуть ее господу богу в полном порядке.

Любителя, дилетанта
(ит.).

2
На основании опыта
(лат.).

Грустное зрелище представляют частные библиотеки в наших испанских городах, в местечках, деревнях. Если бы можно было обследовать их и создать – уж конечно, а *posteriori* – генеральный каталог этих разношерстных библио-

тек с указанием количества имеющихся в них экземпляров той или иной книги, а затем вообразить себе как бы среднеарифметическую библиотеку – она вырисуетя из сопоставлений наличия или отсутствия тех или иных книг, – мы получили бы вполне адекватное представление о нашем интеллектуальном упадке. А он таков, что внушает ужас. Тогда бы и увидели, что составлением большинства библиотек руководит случайность или прихоть. Элемент объективный при их составлении – случайность; элемент субъективный – прихоть; то есть в том и другом аспекте иррациональное начало.

По-моему, я все ясно сказал.

А происходит это – не сомневайтесь! – из-за того, что начали не с каталога, он ведь все равно что меню для хорошего стола. Рациональное же меню в особенности должно быть рекомендовано врачом-диетологом. Почти все виды диспепсий и разные другие, куда более серьезные, расстройства организма проистекают из бессистемного питания. Вам хорошо известно, что существуют хронические желудочно-кишечные заболевания, трудно диагностируемые, плохо поддающиеся лечению, от которых можно мгновенно избавиться, стоит только взамен выпавших собственных зубов вставить искусственные. И вот как раз этот момент, связанный с вставными зубами, очень-очень важен; пожалуй, я должен как-нибудь поговорить с вами об этом гораздо более подробно. Но в другой раз, а сейчас с вас достаточно знать, что вставные зубы – важнейший, иной раз и незаменимый орган или инструмент для методичного разжевывания или пережевывания. Ведь некоторые люди, жалея деньги на вставные зубы, глотают, не разжевывая, все, что кладут в рот, и потом не переваривают или переваривают плохо, нанося тем самым непоправимый ущерб своему организму.

Так вот, начинайте с тщательного изучения каталога библиотеки, которую намереваетесь собрать, изучайте его не торопясь, а после того, как дело будет сделано, отнесите ваш каталог нашему общему другу дону Фульхенсио – после того, что я вам о нем рассказал, полагаю, он стал и вашим другом; вот он-то и есть тот самый человек, который раскритикует ваш каталог. В первый раз составленный каталог не может ему понравиться.

Возможно, вам понадобится гораздо больше времени, чем вы поначалу себе представляете, и даже – ради бога, не пугайтесь! – вся ваша жизнь; ведь если вы, умирая, оставите порядочный каталог, то поверьте мне – вы прожили жизнь не напрасно. Ваши потомки завершат ваш труд. Потому что я не могу, не желаю, не должен предполагать, что вы хотите составить библиотеку ради низменной и ничтожной эгоистической цели – отдохнуть, почитывая произведения из собственной библиотеки. Это недостойно вас. Не надо давать побрякки искушающему нас бесу.

Недавно в книге одного англичанина по имени Shadworth H. Hodgson *, посвященной проблемам метафизики, – книга эта отнюдь не стоит у меня дома на полке – я прочитал, что «метафизика, в собственном смысле слова, не наука,

а философия, то есть это наука, цель которой заключена в себе самой, в вознаграждении и воспитании умов, которые ею занимаются». И я подумал, что если цель ее – это «вознаграждение» умов, которые ею занимаются, то она уже не заключена в себе самой. И что самый коварный бес на земле – бес метафизический.

Вы знаете, что предмет наших собственных стремлений – это устройство гигантских библиотек, изумительных музеев, прекрасно оснащенных лабораторий; мы должны хранить в них наши теории, гипотезы, аксиомы; мы должны перекидывать мосты через реки, осушать болотные топи, развивать науку, мораль – хотя я толком не знаю, что это такое, искусство... а потом, когда Земля наша разлетится на тысячи осколков, или оледенеет, или превратится в некую туманность, мы преподнесем эти библиотеки, музеи, лаборатории, теории, гипотезы, идеи, нашу мораль и искусство Высшему Творцу, дабы вознаградить его. Но прежде всего – каталог. Без программы нет курса наук.

P.S. Человек блестящего таланта, но немного свихнувшийся на почве библиофильства, о котором я рассказал в самом начале своего наикратчайшего эссе, – это дон Марселино Менендес-и-Пелайо, мой учитель и председатель ученого совета, доверивший мне кафедру; процитированная же мною фраза * (прозвучавшая на самом деле несколько иначе, нежели я ее цитирую: «Но хватит об этой чепухе, ведь она не перестает быть чепухой оттого, что мы нашли ее в столь редкостной книге») относится к сочинению «Счастье Любви, в десяти частях, составленных Антонио де Лофрассо etc.» и находится на с. CDXCV (то есть 495 – привычка нумеровать страницы римскими цифрами – куда более дьявольская штука, чем сочинения самого Лофрассо) первого тома «Пронсхождения романа».

Неправильность, вкравшаяся в цитату, – это еще одно доказательство того, как мало даровал мне господь способностей, дабы идти по пути эрудита, а к *P.S.* мне пришлось прибегнуть потому, что эссе это я написал уже более двух лет назад, когда Испанию еще не постигло несчастье – смерть дона Марселино, и я хранил его все это время по старинному обыкновению у себя в столе, чтобы оно дошло в темноте, как доходит вино.

*Началась
фабрикация
неподлинной
книги, печатных
предметов,
только внешне
напоминающих
настоящую
книгу.*

МИССИЯ БИБЛИО- ТЕКАРЯ

ИСТОРИЯ БИБЛИОТЕКАРЯ, XV ВЕК

Всем вам лучше меня известно прошлое вашей профессии. Если вы внимательно взглянете в него, то ясно увидите, что задача библиотекаря изменялась в строгой зависимости от того, что означала книга как социальная потребность.

Если бы восстановить это прошлое должным образом, то обнаружилось бы, что история библиотекаря позволяет раскрыть самые глубокие стороны эволюции, которую пережил западный мир. Это свидетельствовало бы о том, что мы взяли этот вопрос, на первый взгляд столь своеобразный и специфический, – профессию библиотекаря – должным образом, иными словами, в его подлинной и радикальной реальности. Когда мы берем нечто, даже самое незначительное и второстепенное явление, в его реальности, оно связывает нас со всеми остальными реальностями, оно помещает нас как бы в центр мира, открывая перед нами во всех направлениях бескрайние патетические перспективы Мироздания. Но, повторяю, сейчас мы не в состоянии даже приступить к написанию этой скрытой истории вашей профессии.

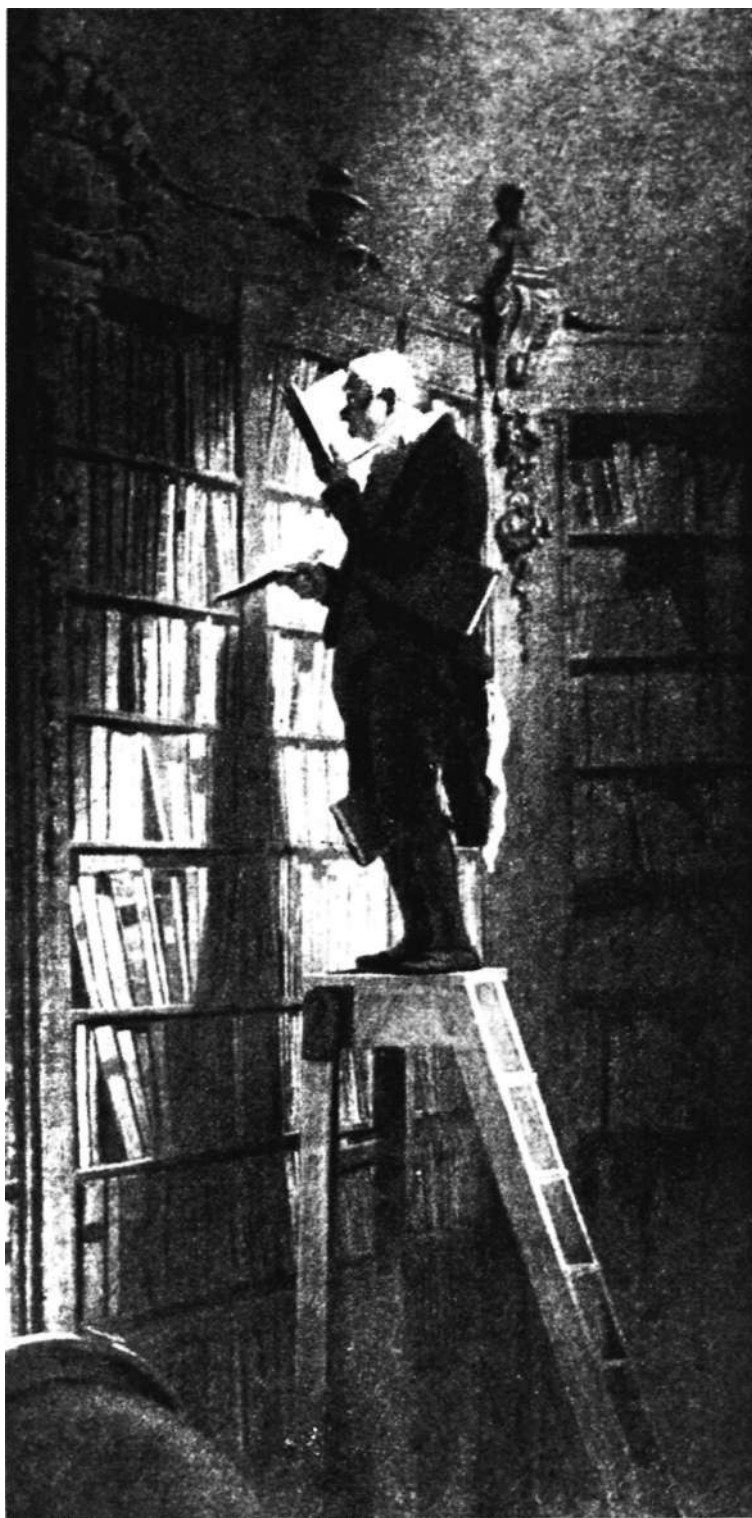
Здесь эта проблема поставлена лишь как *desideratum*¹, только как задача, которую кто-то из вас, более способный, чем я, должен будет решить.

Однако сама отмеченная функциональная зависимость между тем, что делал библиотекарь в каждую эпоху, и тем, чем становилась книга как потребность западных обществ, представляется мне несомненной.

Для экономии времени оставим в стороне Грецию и Рим, ибо точности ради необходимо признать, что в этих культурах книга была чем-то весьма для нас непонятным. Будем говорить только о новых народах, которые поднялись из развалин Греции и Рима. Итак, когда же впервые мы видим фигуру библиотекаря, возвышающуюся на горизонте социального пейзажа, – я хочу сказать, когда современник, взгляды ваясь в свое окружение, мог обнаружить всеми признанный, четкий профиль библиотекаря? Вне всяких сомнений, на заре Возрождения. Заметьте, незадолго до появления печатной книги!

В средние века забота о книгах еще находится на досоциальном уровне, она не всплывает на поверхность общества; это занятие незаметное, тайное, как бы интимное, укрытое глубоко в укромных помещениях монастырей. Даже в университетах забота о книгах не составляет особого занятия.

¹ Пожелание (*лат.*). В университетах книги, необходимые для обучения и передаваемые из рук в руки, хранились наряду со многими дру-



гими предметами, используемыми для уборки помещений, не более и не менее. Хранитель книг не был каким-то особым лицом. И только на заре Возрождения над социальным горизонтом начинает формироваться, выделяясь среди других обобщенных жизненных типов, фигура библиотекаря. Какое совпадение! Ведь именно тогда настала пора, когда впервые в истории книга в строгом смысле этого слова – книга не религиозная и не юридическая, но книга, написанная писателем, а потому претендующая только на то, чтобы быть кни-

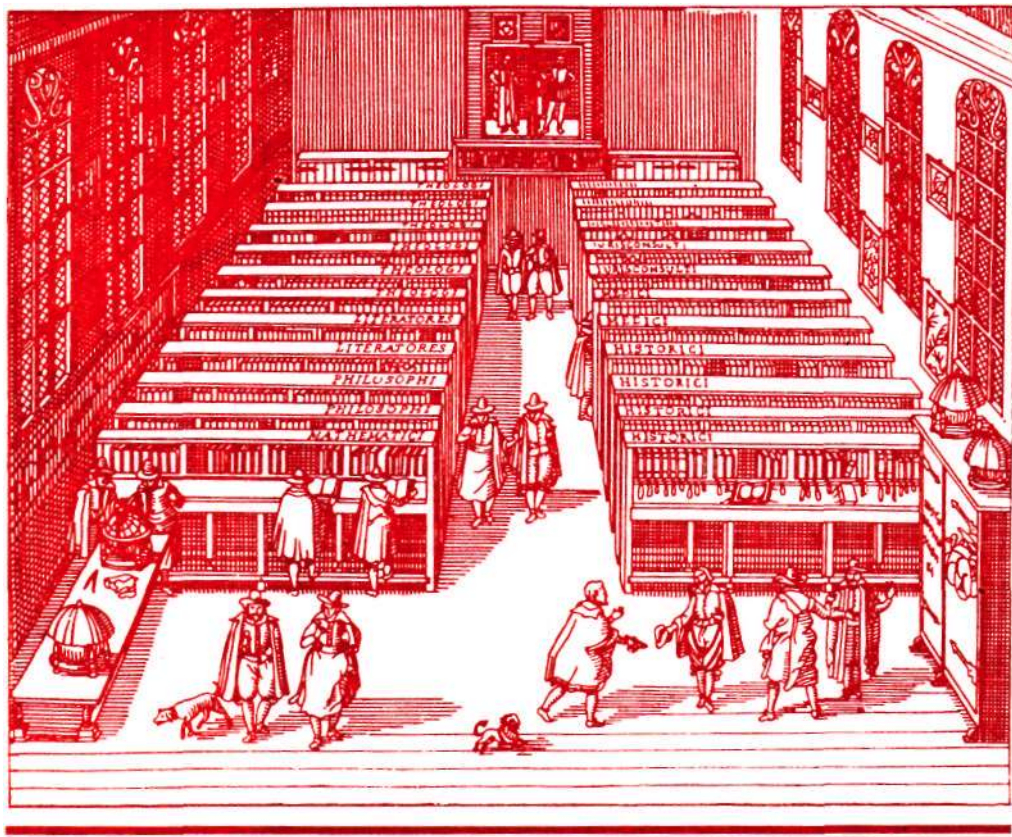


*Публичная библиотека
в Петербурге (ныне
Государственная
Публичная библиотека им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина).*

гой, а не откровением или кодексом, – именно тогда книга социально ощущается как потребность. Тот или иной человек испытывал эту потребность много ранее, но он испытывал ее, как испытывают желание или боль, иными словами, всякий ощущал эту потребность по-своему. Отныне человек обнаружил: вовсе не обязательно именно ему изначально испытывать эту потребность; он находил ее как бы висящей в воздухе, в самой окружающей атмосфере, открывал ее как нечто признанное, и, скорее всего, было невозможно сказать, кем именно, ибо ту же потребность испытывали и «другие», эти загадочные «другие» – таинственный субстрат всего социального.

Мечта о книге, надежда на книгу уже более не составляли содержания той или иной индивидуальной жизни, но имели анонимный, безличный характер, свойственный любой социальной реальности. История, господа, – это прежде всего история возникновения, развития и исчезновения социальных реальностей. А они в свою очередь не что иное, как мнения, нормы, предпочтения, договоры, опасе-

ния, которые каждый индивид обнаруживает в составе своего социального окружения и с которыми он, помимо своей воли, должен считаться, как должен считаться со своей телесной природой. То, что человек не согласен с ними, не имеет ровно никакого значения: реальность подобных установлений не зависит от того, согласен с ними ты или я, — напротив, мы гораздо явственнее ощущаем реальность социального, когда наше несогласие разбивается о его гранитную твердость.

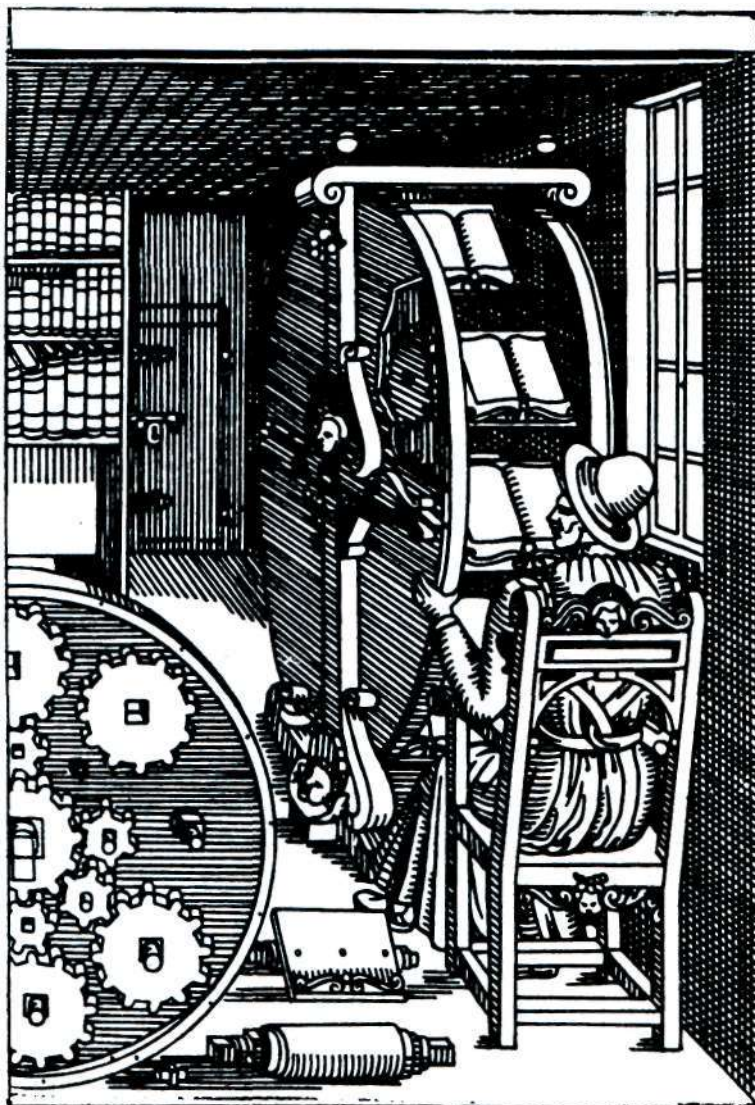


*Библиотека Лейденского
университета. 1610.*

В этом смысле я утверждаю, что до эпохи Возрождения потребность в книге не была социальной реальностью, и, поскольку именно в эпоху Возрождения эта потребность стала социальной, тогда мы и обнаруживаем незамедлительное появление библиотекаря как профессии. Однако здесь следует внести еще одно уточнение. Потребность в книге приобретает в эту эпоху характер веры в нее. Откровение, иными словами, все сказанное и продиктованное человеку Богом, теряет свою действенность, и все надежды возлагаются на то, что думает человек только с помощью своего разума, а посему и на то, что он пишет. Странное и радикальное по своим последствиям приключение западного общества *! Видите, стоило нам лишь затронуть историю вашей профессии,

как мы коснулись самых сокровенных процессов европейской эволюции!

Социальная потребность в книге в эту эпоху проявляется как потребность иметь книги, поскольку их еще мало. Этому модусу потребности отвечает фигура гениальных библиотекарей Возрождения – великих, упорных и хитрых охотников на книги. Составление каталогов еще не стало насущной необходимостью. Приобретение и производство книг, напротив, достигают исполинских масштабов. Мы в XV веке.



*Машина для чтения книг
Агостино Рамелли. 1588.*

И не случайно именно в эту эпоху, столь живо обнаруживающую потребность в большом количестве книг, возникает книгопечатание.

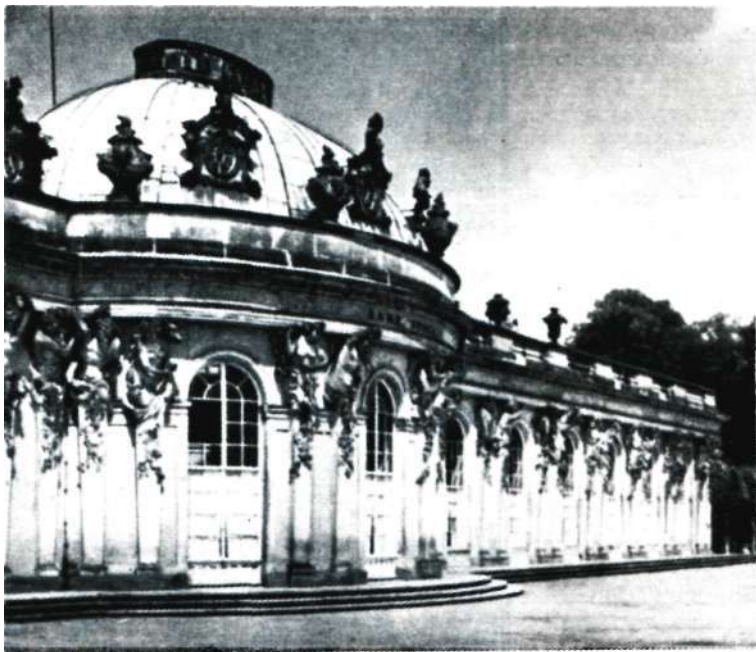
Давайте с ловкостью настоящих спортсменов перепрыгнем через три века и очутимся в 1800 году. Что произошло за этот период времени с книгами? Их было выпущено много, печать стала дешевле. Теперь уже никто не считает, что книг мало, напротив, теперь их так много, что возникает потребность в каталогизации. Прежде всего это касается материального аспекта книг. Что же касается их содержания, то и здесь общественная потребность изменилась. Большая часть возлагаемых на книгу надежд, по-видимому, сбы-



*Средневековый замок
Нериттейн в Моравии,
с богатой библиотекой.*

лась. В мире уже есть то, чего не было раньше: науки о природе и прошлом, технические знания. Теперь уже нет нужды искать книги – это перестало быть настоящей проблемой, – нужно развивать чтение, искать читателей. И действительно, на этом этапе умножается количество библиотек, и с ними ширятся ряды библиотекарей. Теперь библиотекарь – профессия многих людей, но это все еще стихийная социальная профессия. Государство еще не сделало ее офи-

пиальной. Этот решительный поворот в эволюции вашей карьеры начинается несколько десятилетий спустя, приблизительно в 1850-х годах. Итак, как официальное занятие ваша профессия отнюдь не древняя; и эта деталь, касающаяся возраста вашего дела, очень существенна, поскольку история и все историческое, или все человеческое, – живое время, а живое время – это всегда возраст, благодаря чему все человеческое всегда находится в детстве, в юности, в зрелости и старости.



*Потсдам. Библиотека
замка Сан-Суси. XVIII в.*

Меня слегка беспокоит, что я, в числе прочего, открыл перед вами как бы через слуховое окно моего выступления эту перспективу и теперь боюсь, что вы станете от меня допытываться, в каком, по моему мнению, возрасте находится ваша профессия, иначе говоря, в какой степени исторически молодо, зрело или старо «быть библиотекарем». Посмотрим, удастся ли мне в конце концов затронуть и этот вопрос!

Однако сначала давайте вернемся к исходной точке эволюции, к моменту, когда около века назад профессия библиотекаря была официально учреждена. Вместе со мной вы, разумеется, можете сделать вывод, что профессия претерпевает одно из важнейших своих изменений, когда она из стихийно развиваемого обществом занятия превращается в государственно-бюрократическую должность. Но почему происходит или по крайней мере о чем свидетельствует всегда столь важная перемена? Государство – тоже общество, только не все, а его модус или же часть. А общество, в той мере, в какой оно не есть государство, действует посредством

своих обычаев, нравов, общественного мнения, языка, свободного рынка и т.д. и т.п., иными словами, посредством различных образований, довольно неопределенного порядка. Напротив, в государстве характер действенной регуляции возводится в свой наивысший ранг, приобретая оттенок чего-то неизбежного, ясного, четкого. Государство функционирует посредством законов, которые имеют в высшей степени ограничительный смысл и обладают почти математической строгостью. Вот почему ранее я указывал, что государ-



Гравюра XVIII в.

ственный порядок – высшая форма коллективного, так сказать, превосходная степень социального порядка. Применительно к нашей проблеме некая профессия становится официальной, государственной только тогда, когда коллективная потребность, которой она отвечает, становится в высшей



Кристоф Платтен
(1514–1589).
Нидерланды.

Издательская марка
К. Платтена.

степени острой, когда она ощущается не просто как механическая необходимость, но как нечто в буквальном смысле безотлагательное и неизбежное. Государство никогда не потерпит в сфере своего влияния каких-либо избыточных действий. В каждый момент своего существования общество испытывает потребность делать множество разных дел, но государство старается участвовать лишь в тех из них, которые должны быть выполнены с наивысшей степенью обязательности. Было время, когда для блага общества считалось необходимым прибегать к ауспициям * и изучать другие магические знаки, которые боги посылали народам. По этой причине превратилась в учреждение и официальное занятие церемония инаугурации * <...>

В результате впервые в истории Запада культура превращается в *ragione di Stato*¹. Государство официализирует науки и литературу. Оно признает книгу как общественную функцию и важнейший государственный орган. В силу этого профессия библиотекаря превращается в бюрократию: из государственных соображений².

Таким образом, в процессе истории, в процессе европейской человеческой жизни мы приблизились к такой стадии, когда книга стала неотложной потребностью. Данные общества, характеризующиеся столь плотным населением и столь высоким уровнем жизни, не могут существовать материально без науки и техники. Еще менее они могут существовать морально без широкого репертуара идей. Единственную слабую надежду на то, чтобы сделать демократию эффективной, можно сформулировать так: массы должны были перестать быть массами путем усвоения огромных доз культуры, причем подлинной культуры, которая дала бы свои всходы в душе каждого человека, а не просто культуры полученной, услышанной или прочитанной. XIX век видит эту задачу с самого начала, и видит ее со всей ясностью. Ошибочно полагать, что этот век попытался бы установить демократию заранее, *a priori*, не отдав себе отчета в ее невероятности. Он отлично знал, что нужно было сделать, – перечитайте Сен-Симона, Огюста Конта, Токвиля, Маколея – и постарался сделать именно это. Однако необходимо признать, что попытка была весьма слабой сначала и весьма не серьезной потом. Однако оставим эту тему и перейдем к тому, что представляет для нас больший интерес. Мы приближаемся к конечному пункту – я говорю это, чтобы как-то оживить ваше утомленное внимание, – к конечному пункту, требующему от нас наибольшей сосредоточенности, поскольку тема книги и библиотекаря, до сих пор столь безмятежная и идиллическая, неожиданно превращается в драму. И эта драма, с моей точки зрения, определяет подлинную миссию библиотекаря. До сей поры мы касались лишь того, чем эта миссия была, мы изучали фигуры ее прошлого. Теперь перед нами внезапно возникают очертания новой задачи, более высокой, серьезной, существенной. Можно сказать, что до сих пор ваша профессия переживала период прелюдии – *Tanz und Vorspiel*. Теперь начинается основная, серьезная часть – начинается драма.

1 Государственное со-
ображение (*шт.*).
2

Тот же процесс в Китае, где не было сильного правления или сильной Идеи Бога, породил власть мандаринов в. – *Прим. автора.*

До середины XIX века наши западные общества ошущали книгу как некую потребность, но потребность с положительным знаком. Постараюсь объяснить, что я имею в виду.

Как я уже говорил, эта жизнь, с которой мы встречаемся и которая была нам дана, не была дана нам сделанной. И сделать ее должны мы. Это значит, что жизнь состоит из ряда сложных проблем, которые необходимо решить, одни из них – телесные, например как не умереть с голоду, другие – так называемые духовные, например как не умереть от скуки. Человек реагирует на эти проблемы, изобретая телесные и духовные орудия, облегчающие его борьбу с ними. Вся сумма подобных средств, созданных человеком, и есть культура.

Идеи, которыми мы окружаем вещи, – лучший пример того инструментария, который мы помещаем между собой и окружающими нас трудностями. Ясная идея о некоей проблеме есть как бы чудесный аппарат, превращающий ее безысходную трудность в свободное и легкое удобство. Но идея стремительна, какое-то мгновение она горит, словно волшебное сияние, перед нашим взором, поражая своей очевидностью, но вскоре угасает. Необходимо, чтобы память постаралась ее сохранить. Однако память не в состоянии хранить даже собственные идеи, а нам нужно хранить идеи других. Это и составляет наиболее характерную черту человеческого. Современный тигр должен быть тигром, как если бы до него никогда не существовало никаких других тигров; он не использует тысячелетний опыт, который накопили ему подобные в наполненной звериными голосами чаще. Всякий тигр – первый, он с самого начала должен осуществлять профессиональную линию тигра. Но современный человек не начинает быть человеком; он наследует формы существования, идеи, жизненный опыт предков и, таким образом, начинает с уровня, который представляет человеческое прошлое, насловившееся у него под ногами. С любой проблемой человек сталкивается не только в форме личной реакции, он противостоит ей не только тем, что пришло в голову именно ему, но всем множеством реакций, идей, изобретений, которые были у его предков. Вот почему его жизнь создана с накоплением других жизней; вот почему его жизнь по сути своей – прогресс (не будем сейчас обсуждать, направлен ли он к лучшему, худшему или вообще никуда не ведет).

Из этого следует, сколь важно было добавить к инструменту, называемому идеей, инструмент, который разрешил бы проблему сохранения всех идей. Этот инструмент – книга. Очевидно, чем больше накоплено из опыта прошлого, тем больший достигнут прогресс. Так и было – едва с изобретением книгопечатания была решена техническая задача производства большего числа книг, начинает ускоряться *tempo* истории, расти скорость прогресса, достигаемая в наши дни величин, которые кажутся головокружительными* даже нам, не говоря уже о людях других эпох, привыкших к более неторопливой жизни. Ибо, господа, речь идет не то-

лько о том, что наши машины производят товары с чудовищной быстротой, не только о том, что наши транспортные средства перемещают наши тела с мифической скоростью; речь идет о том, что тотальная реальность, называемая нашей жизнью, общий объем истории в невероятной степени увеличили частоту своих изменений и, как следствие, свое абсолютное продвижение, свой прогресс. И все это произошло в основном благодаря тому средству, которое представляет собой книга.

Вот почему наши общества ощутили книгу как потребность; это была потребность в средстве, в полезном орудии. Но представьте себе, что орудие, изобретенное человеком для облегчения известной стороны его жизни, превращается в свою очередь в новую помеху, в некую трудность, которая оборачивается против человека, что оно делается непокорным и строптивым, влечет за собой тяжелые, ранее не предвиденные последствия. От этого оно не перестает быть необходимым в смысле разрешения той проблемы, для которой оно было изобретено. Все дело в том, что, помимо своей необходимости и именно в силу ее, оно добавляет к нашей жизни новую, неожиданную заботу. Ранее это орудие было для нас только удобством и поэтому играло в нашей жизни роль фактора исключительно с положительным знаком. Ныне его связь с нами усложняется, и оно приобретает отрицательный знак.

Однако, господа, это далеко не гипотетический случай. Все, что человек изобретает и создает для облегчения собственной жизни, все, называемое цивилизацией и культурой, на определенном этапе оборачивается против него самого.

Именно потому, что нечто было создано, оно остается здесь, в мире, вне субъекта, его создавшего, то есть наслаждается собственным бытием, превращается в вещь, в мир, противостоящий человеку. И тем самым, будучи предоставлено своей частной, неминуемой судьбе, оно отделяется от намерения, с которым его человек создавал, чтобы выйти из конкретного затруднения. Быть творцом в высшей степени трудно. Христианскому Богу довелось испытать это на себе: он создал ангела с большими, таинственными крыльями, и этот ангел восстал против него. Он создал человека, у которого не было каких-либо иных крыльев, кроме крыльев фантазии, и человек тоже восстал против него, стал с ним бороться, воздвигая препятствия у него на пути. Кардинал Кузанский замечательно сказал, что человек, будучи свободным, творит, но он свободен и творит, помещенный во временной миг, под влиянием обстоятельств – вот почему он достоин звания *Deus occasionatus* – «Бог обстоятельств». Вот почему его творения также восстают против своего творца.

Ныне мы переживаем в высшей степени характерную пору этого практического приключения. Экономика, техника, иными словами, все средства, изобретаемые человеком, бьют его в осаду и грозят его задушить. Науки, множась в числе, чудесно обогащаясь и специализируясь, превосходят предел усвоения, имеющийся у человека, дают и угне-

тают его, как некое стихийное бедствие. Человеку угрожает превращение в раба собственных наук. Учение уже не *otium*, не *scholè* (школа), коей оно было в Греции, — учение переполняет жизнь человека, выходит за ее пределы. Восстание человеческих творений против собственного творца достигло вершины — вместо того чтобы учиться ради жизни, человек должен будет жить ради учебы.

В той или иной степени такое уже не раз бывало в истории. Человек теряется в созданном им богатстве: культура человека, с тропическим буйством произрастая вокруг него, кончила тем, что удушила его самого. Так называемые исторические кризисы в конце концов заключаются в этом. Человек не может быть чрезмерно богат: если избыток его способностей или возможностей подлежит его выбору, он тонет в них и из-за их огромного числа теряет чувство необходимости. Именно такова извечная трагическая судьба аристократий: все они в конце концов вырождаются, поскольку избыток средств и удобств атрофирует их энергию.

Предлагаю вам задать себе следующий вопрос: не стал ли Запад ощущать книгу как восставшее против человека орудие и новую трудность? В Германии читают книгу господина Юнгера *, где встречаются фразы типа: «Жаль, что мы пришли к этому этапу истории, не имея достаточного количества неграмотных!» Скажут, что это преувеличение. Не будем строить иллюзий: преувеличение — всегда преувеличение чего-то, что само по себе преувеличением не является.

По всей Европе распространено мнение, что имеется слишком много книг в противовес ситуации, существовавшей в эпоху Возрождения. Книга перестала быть иллюзией и ощущается как тяжелое бремя! Даже ученый приходит к выводу, что одна из наибольших трудностей его работы состоит в подборе библиографии по интересующей его теме.

Нельзя забывать: всякий раз, когда орудие, созданное человеком, восстает против него, общество в свою очередь восстает против собственного создания, сомневается в его эффективности, испытывает к нему антипатию и требует, чтобы оно выполняло свою примитивную миссию простого удобства.

Итак, на данном историческом этапе книга необходима, но книга находится в опасности, потому что сама стала опасной для человека.

Можно сказать, что человеческая потребность перестает быть чисто положительной и начинает получать отрицательный знак именно тогда, когда она начинает казаться необходимой. Действительно, плохо, когда что-то делается в строгом смысле слова необходимым, хотя мы и имеем его в изобилии, хотя его использование, употребление не ставит перед нами какой-либо новой проблемы. Сам характер необходимого заставляет нас чувствовать себя его пленниками. В этом смысле нужно сказать, что социальные потребности становятся государственным делом, как раз когда они уже приобретают отрицательную характеристику. Вот почему все

¹ Уже Шатобриан, более талантливый и глубокий, чем полагала глупая литературная критика последних восьмидесяти лет, говорил: "L'invasion des idées a succédé à l'invasion des barbares; la civilisation actuelle décomposée se perd en elle-même". — *Mémoires d'Outre-mer*, VI, 450. — *Прим. автора.* («Нашествию варваров предшествовало нашествие идей; современная распавшаяся цивилизация теряется в самой себе». — *Замогильные записки*, VI, 450)

государственное столь грустно и столь печально, и нет никакой возможности полностью лишить его гнетущего оттенка больницы, казармы, тюрьмы.

Тем не менее отрицательный характер орудия в полном смысле этого слова возникает, когда оно, созданное как некое удобство, неожиданно порождает трудность и осуществляет агрессию против человека. Именно это начинает происходить ныне с книгой, и следствием этого было то, что почти во всей Европе исчезла былая радость по поводу чего-либо напечатанного.

Для меня это означает, что ваша профессия достигла зрелости. Если жизнь – дело, значит, каждый возраст отличается преобладающим стилем человеческого дела. То, что делает молодость, она обычно делает не потому, что считает это нужным или обязательным к исполнению. Наоборот, как только она замечает, что нечто имеет принудительный и обязательный характер, она старается избежать этого и, потерпев неудачу, делает свое дело тоскливо и неохотно. Отсутствие логики, которая содержится в такой установке, принадлежит к замечательному сокровищу тех непоследовательностей, из которых, к счастью, и состоит юность. Только юноша с иллюзией устремляется к тем занятиям, которые представляются ему как нечто легкоустранимое, необязательное, как то, что можно спокойно заменить на другое, ничуть не более и не менее предпочтительное. Юноше совершенно необходима уверенность, что в любое мгновение в его власти оставить одно занятие и приступить к другому; тем самым юность избегает ощущать себя пленницей какого-либо одного дела. Итак, юноша не приписывает себя к тому, что он делает, или, что то же самое, с каким бы старанием или героизмом ни делал он свое дело, он почти никогда не делает его до конца серьезно, но в глубине души не желает чувствовать себя целиком и полностью ему подчиненным, предпочитая оставаться в постоянной готовности делать что-либо другое или даже противоположное. Таким образом, его конкретное занятие кажется ему простым примером других бесчисленных дел, которым он мог бы предаться в тот же миг. Благодаря этой тайной уловке он виртуально достигает цели собственного стремления: делать все сразу, быть одновременно всеми типами человеческого бытия. Пытаться отрицать это бесполезно; юноша, по существу, мало верен себе самому и дразнит свою миссию, как тореро – быка. Его дело сохраняет нечто от детской игры, и оно почти всегда – чистое испытание, проба, *échantillon sans valeur*¹.

Зрелость осуществляет прямо противоположный стиль поведения. Она чувствует наслаждение от реальности, а реальность, реальное дело – это именно то, что не является прихотью; реальность – это не безразличие к выполнению дела, а необходимость его выполнить срочно и обязательно. В этом возрасте жизнь открывает правду о самой себе, главную прописную истину: нельзя прожить все жизни, но, наоборот, каждая жизнь состоит в отказе от всех остальных, чтобы остаться наедине только с собой. Это живое сознание того, чем мы не можем быть, того, что мы не можем в каждый

¹ Незначительный набросок (фр.).

момент делать больше одного какого-то дела, обостряет требования, которые мы к нему предъявляем. Нам претит юношеский нарциссизм, с которым любому занятию предаются именно потому, что оно – любимое. В глазах зрелости достойно осуществить только то, чего избежать иллюзорно, ибо оно имеет обязательный характер. Отсюда – предпочтение этого возраста к проблемам в превосходной степени, к проблемам, которые являются уже конфликтами, к потребностям с отрицательным знаком.

Перенеся это разделение между возрастными сферами личной жизни на коллективную «жизнь» и внутри нее на профессии, мы обнаружим, что ваша профессия достигла периода, когда она вступает с книгой в жесткие отношения, свойственные конфликту.

И здесь я наблюдаю возникновение новой миссии библиотекаря, которая несравненно выше всех предыдущих. До сих пор с книгой в основном обращались как с некой вещью, как с материальным предметом. Отныне мы должны обращаться с книгой как с жизненной функцией: нужно учредить над книгой полицию и стать укротителем разъяренной книги.

КНИГА КАК КОНФЛИКТ

Самые серьезные отрицательные качества, которые ныне мы начинаем наблюдать в книге, таковы:

I. Становится слишком много книг. Даже сокращая в значительной степени число тем, привлекающих внимание каждого отдельного читателя, количество книг, которые он должен переварить, настолько несоразмерно, что далеко превышает пределы его времени и способностей усвоения. Простое изучение библиографии по определенному вопросу требует ныне от каждого автора усилия столь значительного, что оно оборачивается чистой тратой энергии. Однако, сделав это усилие, он обнаруживает, что не в состоянии прочесть все, что должен прочесть. Это и заставляет его читать быстро, плохо и, кроме того, оставляет у него печальное чувство потерпевшего крушение, вызывает скептическое отношение к собственному труду.

Если каждое новое поколение будет продолжать накапливать печатную бумагу в той же пропорции, что и предыдущие, проблема, которую порождает избыток книг, приобретет угрожающий характер. Культура, освободившая человека из лесной первобытной чащи, ввергла его в чащу книжную, не менее опасную и глухую.

И напрасно мы будем стремиться уладить конфликт, рассуждая в том смысле, что потребности в чтении книг, накопленных прошлым, не существует, что речь идет об одном из бессмысленных общих мест ханжеского преклонения перед «культурой», которое несколько лет назад было еще живо в людских душах. Истина как раз в обратном. В почве нашего времени зреет (причем люди еще не отдают себе в этом отчета) новый и радикальный императив понимания, императив исторического сознания. Очень скоро станет вполне очевидным, что, если человек действительно хочет объяснить

себя самого, свое бытие и свою судьбу, ему нужно выработать историческое сознание себя самого, то есть он должен серьезно начать делать историю, как в 1600 году он начал серьезно делать физику. И эта история не будет уже той утопией науки, которой была она до сих пор, но подлинным знанием. И чтобы так было, необходимо соблюсти целый ряд требований, по крайней мере одно из них, самое очевидное: точность. Подобное качество точности, на первый взгляд внешнее и формальное, – первое, которое появляется в науке, когда настает пора ее подлинности. История будущего уже не будет заниматься занятой болтовней о столетиях и эпохах, но свяжет прошлое в относительно краткие этапы органического порядка, или поколения, и попытается со всей строгостью определить структуру человеческой жизни в каждом из них. Для этого нельзя довольствоваться выделением тех или иных произведений, которые случайно характеризуются как «представительные», но нужно реально и по-настоящему прочесть все книги известного периода, тщательно соотнестя их друг с другом так, чтобы учредить то, что я назвал бы «статистикой идей», с целью самого строгого выяснения момента, в который рождается идея процесса ее распространения, точного периода, в который она длится как коллективная сила, а затем и часа ее упадка, ее превращения в общее место, ее заката на горизонте исторического времени.

Все это героическое предприятие не может увенчаться успехом, если библиотекарь не будет стремиться свести к минимуму свои трудности, освобождая по мере возможности от ненужных усилий тех, чья печальная миссия состоит и будет состоять в том, чтобы читать как можно больше книг: естествоиспытателей, врачей, филологов, историков. Необходимо, чтобы вопрос о составлении продуманной и рациональной библиографии по теме перестал представлять трудность для автора. И это – уже веление времени. Экономия умственных сил настоятельно этого требует. Итак, нужно создать новую библиографическую технику, обладающую строгим автоматизмом. В ней найдет свое окончательное воплощение предприятие, которое началось в вашей профессии несколько веков назад в форме составления каталогов.

II. Но дело не только в том, что есть уже слишком много книг; дело в том, что они постоянно производятся в угрожающем количестве. Многие из них бесполезны или глухи, и их наличие представляет собой для человечества очередное бремя, которое легло тяжким грузом на его и без того согбенные плечи. В то же время, однако, часто недооценивают те книги, нехватка которых тормозит поступательное развитие исследований. Последнее обстоятельство таит в себе гораздо большую опасность, чем можно представить себе на первый взгляд. Нет числа важным решениям самых различных вопросов, которые так и не достигли своей зрелости из-за пробелов в предварительных исследованиях. И избы-

ток, и недостаток книг имеют один источник: книжное производство осуществляется без контроля и почти полностью зависит от стихийных и случайных факторов.

Неужели утопия – полагать, что в ближайшем времени люди вашей профессии будут нести ответственность перед обществом за регуляцию книжного производства, с одной стороны, не допуская издания ненужных книг, а с другой – делая все возможное для издания книг, требуемых системой живых проблем в каждую эпоху? Все человеческие предприятия начинаются в стихийной и неуправляемой форме, но все они, делаясь трудными и сложными в силу своей полноты, вступают в период, когда они неизбежно должны подчиниться организации. Думается, настала пора коллективно организовать производство книг. Для самой книги как модуля человеческого это жизненно важный вопрос.

И не говорите мне, что подобная организация поставит под угрозу свободу. Свобода возникла на нашей планете не для того, чтобы бросить вызов здравому рассудку. Именно потому, что ее пытались заставить служить этой цели, что из нее пытались сделать могучее орудие глупости, свобода на планете переживает свою трудную пору. Коллективная организация книжного производства не имеет ничего общего с вопросом о свободе, как не имеют с ним ничего общего правила уличного движения в больших городах. Особенно потому, что подобная организация дела, цель которой – препятствовать публикации ненужных и бессмысленных книг и способствовать появлению книг, отсутствие которых наносит вред обществу, не может иметь авторитарного характера, как его не имеет внутренняя организация труда в хорошей академии наук.

III. Важно и то, что библиотекарь будущего будет обязан направлять читателя-неспециалиста по *selva selvaggia*¹ книг, становясь тем самым врачом, гигиенистом его чтения. И здесь мы также сталкиваемся с ситуацией, обратной той, которая существовала в 1800 году. В настоящее время читают слишком много: удобная возможность получить без особого, точнее, почти без всякого труда со своей стороны бесчисленные мысли, содержащиеся в книгах или газетах, приучает человека, даже уже почти приучила среднего человека не мыслить самостоятельно, не продумывать вновь и вновь то, что он читает, а это как раз и есть единственный способ действительно усвоить прочитанное. Таково самое вредное, самое отрицательное качество книги. Вот почему оставшееся у нас время мы должны посвятить этой проблеме, что я и сделаю. Существенная часть серьезных социальных проблем, возникающих в настоящее время, обусловлена тем, что люди среднего ума забили себе головы полученными по инерции мыслями, которые они поняли только наполовину, то есть забили себе голову псевдомыслями. В этой связи я представляю себе будущего библиотекаря в виде фильтра, который должен встать между бурным потоком книг и человеком.

¹ В целом, господа, миссия библиотекаря, на мой взгляд, Дикая сельва (*um.*). должна состоять не в простой манипуляции книгой – вещью,

ЧТО ТАКОЕ
КНИГА¹

как это было до сих пор, но в настройке, в *mise au point*¹ той жизненной функции, которой является книга.

Много говорят – и я сейчас скажу несколько слов – о миссии библиотекаря, о том, что он делает или должен делать с книгами. В высшей степени интересно, что, когда об этом заходит речь, обыкновенно ничего не говорится о самой книге, о той сущности, в обращении с которой состоит профессия библиотекаря. По-видимому, считается чем-то вполне очевидным, что слушатели отлично знают, что такое книга, и учитывают подобное обстоятельство. Однако не является ли это утопией? Более того, имеют ли право те, кто слушает подобные рассуждения, в данном случае вы, быть вполне уверенными, что сам выступающий это знает и учитывает? Весьма вероятно, что и он сам, готовя свое выступление, считал вопрос окончательно ясным, а посему вообще никогда не задумывался о книге, полагая, что это всегда было с незапамятных времен всем известно.

Со многими интеллектуальными явлениями это случается сплошь и рядом: представляя сущностное, существенное как очевидное и само собой разумеющееся, мы оставляем без объяснения бесчисленное множество фактов. Вот одна из самых серьезных болезней мышления, прежде всего современного.

Действительно, любые рассуждения, например о книге, если в них не участвует самое глубокое понимание того, что есть книга, неизбежно окажутся чем-то бессмысленным и нелепым – предложениями с неизвестным подлежащим и потому чистым недоразумением.

Разумеется, всякий раз, когда речь заходит о книге, нет нужды пускаться в пространные рассуждения на тему о том, что это такое. Мне безразлично, мало или много слов сказано по этому поводу: я требую достаточных – умный поймет с полуслова.

По этой причине – не потому, что вы не знаете этого, а потому, что на конгрессе такого ранга необходимо исходить из ясного понимания сущности книги – а авторитет вашего собрания является как бы официальным подтверждением важности подобного подхода, – я считаю своим долгом напомнить вам то, что вам известно лучше меня: что такое книга?

Выяснение главного
(фр).²

Эти страницы при чтении доклада были сведены к нескольким строчкам для того, чтобы не утомлять слушателей, и потому, что само содержание, будучи довольно сложным, не предназначено для простого слушания.

Прим. автора.

¹ Двадцать три века назад Платон сделал попытку ответить на этот вопрос в диалоге «Федр», где он открывает и ведет дело о книге *. Перечитайте этот чудесный диалог, где определяются крыло, ангел, душа, книга! Дополнив платоновский текст некоторыми соображениями, мы придем к следующему.

Книги – записанные высказывания – **λόγουσ γέγραμμένουσ**, а высказывание – только одно из человеческих дел. Но все, что делается, делается зачем-то и почему-то. Именно этими двумя составляющими определяется дело, и только благодаря им существует такая реальность. Глубоко, ошибочно смешивать дело с тем, что обыкновенно называют дея-

История литературы — это также история побед книги над цензором, поэта над властелином. Иными словами, литература была уверена, что у нее есть надежный союзник; как ни скверно ей приходилось, будущее оставалось на ее стороне. Литература могла делать ставку на время. Она не теряла веры, не отклик на слова и фразы, стихи и мысли, выраженные в прозе, возникнет через десятки, а может быть, и через сотни лет. И благодаря этому даже самые бедные поэты чувствовали себя богачами. Тех, чья рента называлась «бессмертие», не могла одолеть даже самая гнусная действительность: их можно было бросать в тюрьмы, убивать, отправлять в изгнание, но в конечном счете всегда побеждала книга, побеждало слово. Так было до

тельностью: атом, который колеблется, камень, который падает, клетка, которая размножается, действуют, но не «делают». Даже мышление и воля, взятые в строгом качестве психических функций, являются деятельностями, а не делами. Когда мы мобилизуем для чего-то и почему-то нашу мыслительную деятельность или деятельность наших мускулов, тогда мы как раз что-то «делаем».

Мы говорим: «Где ключи?», «Поверните налево!», «Любовь моя!» Во всех подобных случаях цель нашего высказывания, его оправдание находятся вне самого высказывания, по ту его сторону. Мы говорим именно для того, чтобы определенные события произошли, чтобы можно было открыть шкаф, чтобы движение следовало известному направлению, чтобы любимая женщина узнала о нашем чувстве или чтобы последнее могло наслаждаться собой в своем выражении.

Но когда геометр доказывает недавно открытую им теорему, он не предполагает сказать что-либо выходящее за его рамки; наоборот, он намерен только сказать — не более и не менее. Высказывание имеет здесь цель и оправдание в самом себе. То же самое происходит и с сонетом о розе. Поэт делает сонет, который есть высказывание, именно для того, чтобы его сделать, для того, чтобы сонет существовал, чтобы его поэтическое высказывание было.

Итак, в этом, втором, классе высказываний возникает существенно иная богатая своим собственным значением манера речи. Чем вызвано столь радикальное различие с вышеописанными случаями? Вне всяких сомнений, геометр считает: он сказал о треугольнике не то, что ему следовало сказать для достижения той или иной цели, но именно то, что нужно о нем сказать, и так же считал поэт, полагая, будто сказал о розе именно то, что должно быть сказано. В предыдущих случаях высказывание употреблялось как средство, поставленное на службу чуждых утилитарных соображений, в то время как здесь высказывание — цель самого высказывания, которое удовлетворяется и оправдывается своим простым исполнением. Это, однако, в то же время заставляет нас заподозрить, что жизненное дело, чья функция и есть говорение, достигает кульминации в том своем модусе, который состоит в говорении того, что нужно сказать о чем-либо, а все остальные модусы вторичны и подчинены ему.

Только такое высказывание существенно, требует сохранения и потому оказывается записанным. Нет смысла сохранять нашу повседневную фразу «Где ключи?», рожденную нашей преходящей потребностью. Немногим более смысла в том, чтобы написать на плакате «Поверните налево», тем самым выполнив императив городских властей, и вообще записывать законы, чтобы они соблюдались всеми и порождали свои социальные последствия. Но это не означает, что сказанное в законе само по себе, как именно сказанное, заслуживает сохранения.

Таким образом, книга — образцовое высказывание, которое поэтому содержит в себе существенный императив быть записанным, зафиксированным, ибо, будучи записанным, зафиксированным, это высказывание как бы всегда вир-

*сегодняшнего,
а точнее — до
вчерашнего дня.
Ведь угроза утраты
будущего, нависшая
над человечеством,
свела непоколебимую
доселе уверенность
литературы в своем
бессмертии
к беспочвенным
притязаниям.
Книга, этот товар
длительного
употребления,
начинает походить
на банку консервов.
Еще не решено, есть
ли у нас будущее, но
мы на будущее уже
не рассчитываем.*

Гюнтер Грасс

туально произносится анонимным голосом так же, как молитвенные барабаны в Тибете вверяют ветру свою вековую мольбу. Это первый момент книги как подлинной, живой функции: потенциально она вечно говорит то, что говорить следует, *τά δέοντα ειρηότος*

Вот почему мы наблюдаем существенное злоупотребление такой формой человеческой жизни, как книга, всегда, когда кто-либо садится писать, не имея заранее, что сказать из того, что сказать действительно нужно и что еще никем не было сказано в письменной форме. Пока книга была индивидуальным делом, ее подлинный смысл сохранялся относительно чистым. Но едва лишь книга превратилась в социальный интерес, в результате чего писать книги стало делом выгодным или престижным, началась фабрикация неподлинной книги, печатных предметов, только внешне напоминающих настоящую книгу. Это явление не должно удивлять нас, поскольку оно подчиняется основному закону социального. По сравнению с личной жизнью все коллективное есть, в той или иной степени, неподлинное и обманчивое. Только нынешнее непонимание того, что такое коллективная «жизнь», общество и т. д., препятствует ясному взгляду на этот счет.

Но сказанного недостаточно для того, чтобы знать, что такое книга. Вполне естественно любопытствовать, что происходит с высказыванием, когда его фиксируют, то есть записывают. Очевидно, тем самым ему стараются сообщить некое качество, которого само по себе оно не имело: постоянство. Иными словами, как все живущее, слово преходяще. Родиться для него — значит начать умирать. Оно — время, а время — великий самоубийца. Благодаря памяти человек может в незначительной степени уберечь свои слова или речь собеседника от молниеносной порчи, свойственной всему временному. До появления рукописной книги действительно не было какой-либо другой формы, в которой могло бы сохраняться и накапливаться предыдущее знание о прошлом, своем или чужом, кроме памяти. Культивирование памяти с этой конкретной целью, например, в Индии достигло почти невероятных успехов. Но память не передается другому лицу, она приписана к определенному человеку <...>

1873–1967

Братся за чтение надо только тогда, когда абсолютно уверен, что эту книгу нельзя не читать.

МОИ БИБЛИО- ФИЛЬСКИЕ ПОРЫВЫ

Стоит учителю (а человек он злой и держит нас в узде) выйти из класса, как наступает краткая и сладостная передышка. Куда девается наша принужденная скованность, благовоспитанность, чинность – почуяв волю, мы скачем как сумасшедшие, глаза горят. Стихия жизни сметает летаргический сон и парит в залитом солнцем классе все время, пока учитель отсутствует: мы швыряемся тетрадками, влезаем на парты, носимся сломя голову, упиваясь беззаконием содеянного.

И только я не ношусь, не кричу, не хлопаю партой, потому что у меня своя – и немалая – забота. Я утыкаюсь в книжечку, с которой никогда не расстаюсь. Не помню уже, ни от кого она мне досталась, ни когда впервые я раскрыл ее, помню одно: книжка эта сильно притягивала меня, а говорилось в ней о ведьмах, о колдовстве, о черной и белой магии. Маленькая такая книжка в желтой обложке. Да, именно в желтой... Я и сейчас помню этот потрепанный переплет.

И вот я раскрываю книгу, начинаю читать, а вокруг все орут, визжат, ходят на голове; никогда больше я не ощущал такого глубокого, такого полного счастья, как в эти минуты... Но моему упоению приходит конец: кто-то вырывает у меня из рук книгу, и только тут я замечаю, что шум стих, а учитель вернулся и завладел моим сокровищем.

Сколько бы ни искал, я все равно не найду слов для того безысходного горя и не сумею рассказать, как глубоко и жестоко – на всю жизнь – ранит детскую душу внезапное крушение счастья. С тех пор я многое пережил и много прочел, но не забуду, как рвалась моя душа к той книге и как горька была утрата.

1904

КАК НУЖНО ЧИТАТЬ

Сейчас в Испании читают больше, чем когда бы то ни было, и книжный рынок разросся как никогда. Публикуются многочисленные беллетристические книги, а также исторические произведения, очерки, доподлинные или романизированные биографии, поэтические сборники и собрания рассказов, научные книги... Автор этих строк, постоянный и усердный читатель, силы которого уже явно на исходе, тонет в море книжной продукции. Он неистово жаждет прочесть все то прекрасное, что издается, но читательские возможности его уже не те, что в годы безоблачной юности. С тем же неистовством ему хочется еще и перечитать читанное в молодости, а потому естественно, что недостает времени, чтобы прочитать и новые книги, и те, что любезно присы-

лают авторы. Французский поэт, автор «Смерти волка», Альфред де Виньи, баллотировавшийся в Академию *, попросил знаменитого философа Руайе-Коллара подать за него свой голос. Поэт сказал ему: «Полагаю, вы прочитали книги, которые я вам посылал?» На что философ довольно пренебрежительно ответил: «Я не читаю, я только перечитываю». Не станем уподобляться Руайе-Коллару, но все же, достигнув моего возраста, поневоле задумаешься над тем, что же читать. На то есть веские причины – остается так мало времени, что жаль тратить его на чтение без разбора. Кроме того, есть еще и другая, тоже серьезная причина – совсем не одно и то же читать известнейшее произведение в двадцать лет или в семьдесят. В двадцать видишь в этой книге одно, в семьдесят – другое. Изменилось восприятие читателя, и поневоле меняется сама книга. В молодые годы ты не замечал в книге ее скрытого света и смысла, которые открылись тебе в семьдесят. А раз так, то почему мы должны отказывать себе в удовольствии перечитать и иначе, чем в молодости, понять знаменитые произведения – «Дон Кихот», «Гамлет» или «Фауст»? Нельзя требовать от нас такой жертвы. Вероятно, ее и не требуют начинающие авторы, которые присылают на мой суд свои творения. Но ведь, несмотря ни на что, нужно всегда быть в курсе современной литературной ситуации, нельзя отставать от последних эстетических открытий. Иначе ты покажешься неугомонной творческой молодежи каким-то пугалом, привидением или анахроническим персонажем. Потому-то и читаешь те книги, которые в знак уважения тебе посылают молодые авторы.

Так как же следует читать? Без сомнения, нет единого способа чтения, их множество. А выбор какого-либо из них зависит и от того, каков читатель, и от того, каковы обстоятельства чтения, и от того, каков возраст читающего, и, наконец, какова собственно книга, которую собираются читать. Притом нельзя забывать – и это очень существенно, – что необходимо не только твердо знать, какую книгу следует прочитать, но важно также определить, какую читать *не следует*.

Вот это последнее наверняка важнее, чем первое. Прежде всего усвоим: *нельзя читать* только для того, чтобы убедиться, что данную книгу следует прочесть. Браться за чтение надо только тогда, когда абсолютно уверен, что эту книгу нельзя не читать. Читайте медленно, для себя, получая от этого удовольствие, а вовсе не для того, чтобы написать о ней, если ты критик, и не для того, чтобы просто-напросто узнать, о чем в ней говорится, а потом рассказывать об этом в кругу друзей. Таким образом, в чтение нельзя привносить никаких посторонних интересов. Только тогда можно понять, что представляет собой книга, когда читаешь ее не утилитарно. Читайте не спеша, никогда не доводите себя до усталости: утомленному человеку чтение не приносит того наслаждения, которое получаешь, читая на свежую голову и по доброй воле. Опытному читателю стоит прочитать несколько страниц, как он уже ясно видит, что собой представляет новая книга: как написаны первые страницы, такими

будут и все остальные. У каждого писателя есть свой неповторимый ритм, и, уловив этот ритм, поймешь и прочувствуешь всю книгу. Тогда можно продолжить чтение или с досадой отложить книгу, коль скоро она показалась весьма посредственной. В последнем случае я, вероятно, буду сожалеть о потраченном времени, которого осталось так мало. А берясь за новую книгу, уж постараюсь быть более осмотрительным и менее доверчивым. Но страсть к чтению неистощима, и потому ты все равно вновь набросишься на присланный тебе по почте том, рискуя потерять время.

Смена настроений оказывает большое влияние на восприятие прочитанного. Есть и другие обстоятельства, которые воздействуют на читателя. Разве не будут «Дон Кихот» или «Гамлет» прочитаны совершенно по-разному в зависимости от того, огорчен или воодушевлен читатель? Разве нет разницы в чтении после бессонной ночи или на свежую голову? Не следует читать, когда ты в глубоком горе или когда переполнен радостью. В подобных случаях в человеке просыпается как бы инстинкт самозащиты от всего, что не касается его горя или радости. Не надо читать, когда ты взволнован. Не верьте тем, кто говорит, что писатель должен творить, находясь в плену у эмоций. Взволнованное состояние – и это общеизвестно – в большей или меньшей мере затормаживает мысль. Нам тогда не хватит слов, чтобы выразить свои чувства. Что-то бормочешь в пылу чувств, а толком ничего сказать не можешь. Значит, не сможешь и понять, о чем читаешь. А уж тем паче – писать.

1944

ЧТЕНИЕ

Размышления о чтении начинаются, как только мы беремся за книгу. В чем состоит проблема чтения? Может, сейчас читают больше, чем в старину? Или раньше читали больше? Окинем мысленным взором историю письменности, а затем взглянем и на живописные полотна. Вот здесь мы найдем множество квалифицированных средневековых читателей. В XVI веке один весьма достойный человек задумал поздравить своего друга, поздравить по случаю получения им сана кардинала. Этот дворянин решил написать небольшую поэму в честь кардинала. Что же он придумал, дабы вдохновиться? «Пять дней напролет не отрывался от чтения Пиндара». Безусловно, тот, кто способен на это, – прилежный читатель. Я говорю о Диего Уртадо де Мендосе и о его поздравлении кардиналу Эспиносе. Столетие спустя один странник, неутомимый путешественник, без отдыха шагавший по дорогам, завсегдатай постоялых дворов и трактиров, рассказывает нам, что он так страстно любит читать, что не пропускает ни единой бумажки, даже найденной на улице. Это наш Сервантес. Книги можно увидеть и на картинах, причем чаще на полотнах религиозного, а не светского содержания. В музее Прадо есть картина Рибальты, изображающая распростертого святого Франциска, а рядом на ничем не покрытом столе лежит большая толстая книга и стоит светильник. В Лувре много произведений и церковной и светской

живописи; примером церковной живописи могут служить «Четыре евангелиста» Йорданса, а светской – «Философ с открытой книгой» Рембрандта. На картине Йорданса перед евангелистами лежит на столе большой раскрытый фолиант, один из евангелистов, уперев локоть в бок, с трудом удерживает в руках другой фолиант. Запомним этого евангелиста. На полотне Рембрандта перед нами в мрачном помещении со сводчатым потолком и каменными стенами предстает философ. Он стоит у окна, к которому придвинут стол, а на столе – большая раскрытая книга. Философ в длиннополой одежде с пелериной, в шляпе, чуть отодвинувшись от стола, что-то обдумывает, подперев рукой щеку. Печать глубокой тишины лежит на всем в этом мрачном помещении, ничто не отвлекает нашего внимания, ибо, кроме описанного, на полотне ничего больше нет.

*Когда умирает
старый человек,
с ним умирает
целая библиотека.*

Амаду-Амате Ба

Но разве не найдутся в литературных произведениях и на живописных полотнах другие читатели, о которых стоило бы рассказать? Конечно же, найдутся, но это нисколько не повлияло бы на наш вывод, а заключается он в следующем: в старину читали гораздо меньше, чем теперь. Тогда чтение – на этом хотелось бы заострить ваше внимание – было делом случайным, редким; в наши дни чтение, можно сказать, – «органическая потребность». И да простит меня читатель за выражение, которым хочется еще острее подчеркнуть мою мысль, – чтение стало просто физиологической потребностью. К тому же не следует забывать, что население Испании в XVI и последующих веках составляло не более восьми–десяти миллионов жителей. Для современного человека чтение – жизненная необходимость. Мы все походим на философа, стоящего перед раскрытой книгой. Всем нам, как советует Грасиан, ежедневно нужна новая книга. Ну, а коль скоро мы столько читаем, то, вероятно, все прочитанное идет нам на пользу? Вот это как раз и волнует всех, кто имеет отношение к книге. Разве можно беспорядочное и бесконечное чтение всерьез называть настоящим чтением? Какая может быть польза от чтения вторых? Иногда читают просто, чтобы о чем-то узнать, а иногда и ради удовольствия. Это занятие всякому по душе. Каждый читатель, вероятно, может провести следующий эксперимент: попробуйте несколько дней не читать, а потом начните понемногу, время от времени, частями, и только когда вы будете совершенно свободны. Тогда-то вы и поймете, как много теряется при беглом чтении, а то и чтении нескольких книг одновременно и сколь выигрышно основательное, вдумчивое чтение. От такого чтения мы получим необычайное удовольствие, удовольствие, которого не знали ранее, и в книге найдем то, что прежде было сокрыто от нас. Прибавим к сказанному мысли одного из великих читателей – Артура Шопенгауэра. Он советует нам не расстраиваться, коль скоро в нашей памяти отложилась лишь малая часть из того, что прочитано. Пусть нас утешит, что прочитанное – раньше, чем о нем позабудешь, – оставит след свой в душе, умиротворяя и питая ее, меж тем как просто задержавшееся в памяти не пронизывает душу, а лишь наби-

вает и засоряет ее непереваренной материей. На понимание прочитанного работает время.

Но время уходит и многое с собой уносит, в том числе и часы, которые можно уделить чтению. В старости уже нельзя читать столько, сколько в юные годы, но есть свое преимущество – перечитывать, ибо это все равно что читать заново. Мы понемногу, вовсе не задаваясь этой целью, сокращаем количество читаемых книг; принуждаем себя сокращать, и постепенно число их все больше сужается. В конце концов вынужденно соглашаемся с Лопе де Вегой, который сказал в своем «Исидро», что «успеха достигает тот студент, который учится по одной книге». И добавил, что, когда было мало книг, «люди знали больше, потому что учились на меньшем».

Завершая нашу беседу, давайте оглянемся назад и обратим свой взор к старинным фолиантам. Думается, от этих старинных тяжелых фолиантов общество прошло долгий путь, путь становления культуры. От тех самых томов, которые раскладывали на столах или ставили на полки библиотек. Их трудно было держать в руках – посмотрите на евангелиста с полотна Йорданса. Путь от фолианта привел к небольшому томику форматом в одну восьмую, который легко удержать и в одной руке. Стремительность, переменчивость, многогранность современной жизни – а также и легковесность этой жизни – очень хорошо прослеживаются в переменах, свершившихся с книгой.

1946

БУКИНИСТИЧЕСКИЕ ЛАВКИ

Почему книжные магазины с новейшей литературой мы любим больше, чем букинистические лавки? В Мадриде много и тех, и других. Но предпочитаем мы все же магазины, где продаются современные книги. Всем хорошо известно, что именно там можно найти, ничего неожиданного для нас в этих магазинах не предлагают. И когда нужна новая книга, там мы ее и отыщем. У каждого дома есть каталог, естественно внимательно просмотренный, в газетах тоже публикуются объявления о новых книгах. Большого и желать нельзя. Беспокоиться не о чем, и, если возникает потребность прочитать новинку, следует всего-навсего отправиться в книжный магазин и купить нужную книгу. Идешь туда – так по крайней мере случается со мной – не столь уж и охотно, ибо более или менее представляешь себе, о чем та или иная книга. Какие сюрпризы я могу ожидать от новой книги, столько уже на своем веку прочитав? Итак, заходишь в большой, а может, и в маленький магазин и покупаешь книгу. Возможно, прочитав несколько страниц, сразу отложишь ее в сторону. А может, будешь читать урывками, откроешь в середине, потом начало, опять вернешься в середину и полюбопытствуешь, что же в конце? Ну, а что происходит в букинистической лавке? Разве можно предсказать, что там найдешь! Если часто посещаешь букиниста, то все книги у него на полках будут тебе знакомы. Но ведь букинист изо дня в день приобретает новые тома, и вот они-то и оказываются для нас

настоящим открытием. Я уже состарился и достаточно в этом преуспел, а потому мне нельзя терять время. Любая новинка вызывает у меня недоверие. Так и кажется, разрезая страницы новой книги, что придется читать что-то уже давно читанное. В моей библиотеке собрано множество книг – и испанских, и иностранных. Классика и современные произведения мне хорошо известны. Я вкусил прелесть всех литературных жанров. Так что же заставляет меня с неизменным интересом браться за книгу?

Вот тут-то и вступает в силу чарующее предназначение букинистической лавки. Я не собираюсь ничего покупать, я купил у этого букиниста уже много книг. Просто присяду здесь ненадолго и побеседую с другими постоянными посетителями. Ничем не занятые руки поневоле листают старинные тома, книги и в роскошных, и в бумажных переплетах, книги и большие, и маленькие. Но вдруг наталкиваешься на ту, которую не видел и автор которой тебе не известен (всех знаменитостей ты, конечно, знаешь). Вот и сейчас мое внимание привлекла книга, так сказать, среднего автора. Есть такая категория писателей, которые, не хватая звезд с неба, по-своему обаятельны и часто помогают отыскать недостающую подробность, столь необходимую, чтобы закончить роман или пьесу. Кроме того, в таких книгах непременно найдешь что-нибудь такое, о чем и подозревать не мог. Разве все дома должны быть дворцами? Ведь порог обыкновенного дома мы переступаем с тем же любопытством, с каким входим в богатый особняк. Вот и оказывается в наших руках незнакомая книга, хотя, казалось, все на здешних полках давно знакомо. Эту радость – найти ранее неизвестную книгу – и дарит нам букинистическая лавка. Вполне возможно, да так оно часто и случается, что интерес к незнакомой книге пройдет мгновенно, но, как говорится, «хоть миг, да мой». Хотя, в конце концов отложишь в сторону и эту достойную книгу, с такой надеждой принесенную домой.

Что и говорить, я – старый книжник, но не раз мне случалось находить у букиниста редчайшие издания. Бывало такое и много лет назад. За опубликованную за границей книгу – редкую книгу, которая может стать, попадет тебе в руки, – букинист не запросит ту цену, что стоит она в стране, где издавалась. Испанские книгопродавцы, простые книгопродавцы, вовсе не обязаны знать тайн, скрытых в глубинах французской, английской или итальянской библиографии. Как же не рассказать вам, что в одной из букинистических лавок я однажды отыскал вторую часть посмертного издания книги Жана Расина «Краткая история Пор-Рояля»? Самые осведомленные расинисты сказали мне, что этот том, изданный в Кёльне, является исключительным稀珍. Живя в Париже, я попросил посредника по книжной торговле найти эту книгу. Разумеется, не для того, чтобы купить, а просто, чтобы узнать цену, да и можно ли ее вообще отыскать. Длительные поиски ни к чему не привели, книгу невозможно было найти. А если бы она и нашлась, то обладатель такого сокровища запросил бы, конечно, невероятно высокую цену.

Мы с вами, дорогой читатель, находимся в лавке со старыми книгами, в мадридской букинистической лавке. Две лавки, которые я чаще всего посещаю, расположены одна в конце улицы Дель-Принсипе, а другая в конце улицы Анча-де-Сан-Бернардо. От одной до другой немногим более трех километров. Да, но ведь существует метро! Что ждет нас на этот раз в букинистической лавке? Так вот, недавно я нашел там книжечку в меховом переплете, издана она в Мадриде в 1817 году. Ее название: «Искусный охотник, или Безукоризненный стрелок». Автор обозначен только инициалами на обложке. Эта книжка преподносит нам хороший урок, и в особенности мне, раз я интересуюсь стилистикой. Урок состоит в следующем. Наш охотник, и в самом деле искусный охотник, рассказывает, что однажды «перестрелял целый лес зверей». Да, да, «целый лес». Этот охотник перестрелял целый лес, да еще несколько рощ. Стало быть, можно изъясняться таким образом, и это правильно. Кто после этого возьмет на себя смелость утверждать, что изучил все оттенки испанской разговорной речи? Разве можно, к примеру, рассказать о смысловых тонкостях, которые зависят от применения предлогов? Или просто об использовании редко употребляемых слов? Прятаться *во* Франции или бежать *в* Францию? Так никто не напишет, но можно и так. А кто умеет управляться с согласованием предлогов? Я заметил, что многие ораторы и некоторые литераторы спотыкаются, когда пользуются предлогами. Совсем недавно я прочитал следующее: «Я был дружен *к* Имярек!» Что же касается редко употребляемых слов, то об этом можно говорить долго. Говорить *об* деле? Писать *об* чем-то? Вот я сам и впал в ошибку, против которой выступаю. Я должен бы сказать «говорить *о*», и писать следует тоже *о* чем-то. Ел ли читатель когда-нибудь гранаты? Наверняка наслаждался ими и видел, конечно, тончайшую перегородку между зернышками. Такая же тонкая ткань обволакивает зерно грецкого ореха и миндаля. Как она называется? Святой отец Луис де Гранада, описывая плод граната, говорит о «ткани, нежнее сендаля». А ведь он мог воспользоваться ее собственным именем – *tástana*?¹ И разве тонкая кожица под яичной скорлупой не имеет своего имени – редко употребляемого слова «*fárfaga*»?² Сядем под оливковым деревом, под свисающими ветвями оливы испанского Леванта. Разве мы помним, что такие склоненные к земле ветви называются «*áлабе*»? Но здесь возникает опасная путаница: в старых словарях говорится, что «*алабе*» – это только свисающие ветви оливковых деревьев, а в современных словарях этим словом определяют пригнутые к земле ветви вообще любых деревьев. Что же делать? Смело встать на защиту старины или спокойно согласиться с современным употреблением? О, *алабе*, *алабе*! И я в растерянности колеблюсь между стариной и современностью. Читатель, дорогой читатель, помоги мне найти выход из этого ужасного положения!

¹ Перегородка в орехе
(исп.).

² 1946
Яичная кожица (исп.).

ИСПАНИЯ

ХОСЕ МАРИА

1873–1940

САЛАВЕРРИА

*Человек в конце
концов утонет
в море книг.*

ТРАГЕДИЯ В БИБЛИОТЕКЕ

Не приходилось ли вам, читатель, когда-нибудь в библиотеке внимательно рассматривать полки, в строгом порядке уставленные книгами? Если да, то вы наверняка знаете, сколь грустный конец предreshен этим плодам ума человеческого. Они так и остаются забытыми на огромных пространных библиотечных стеллажах или гибнут под беспощадными зубами грызунов.

А не доводилось ли вам, читатель, когда-нибудь принимать участие в расстановке книг в библиотеке? Если да, то вы вспомните, что книги казались вам предназначенными на долгую сознательную жизнь. Книги выглядят живыми существами, полными энтузиазма и самодовольства. Они стоят перед нами так, чтобы хорошо были видны корешки и можно было прочесть фамилии авторов и названия. На страницах каждой книги сокрыта немалая доля тщеславия, каждая книга считает, что она обладает достоинствами, которые непременно стяжают ей бессмертие! Бессмертие!.. Острые зубки мышей прекрасно знают, какое же это нелепое слово – «бессмертие»!

Между тем все сказанное выше – сушая правда. Книги пишутся с расчетом на бессмертие. Каким бы скромным ни был автор, в тот момент, когда начинает писать книгу и когда ставит последнюю точку, он забывает о законах истребления и смерти. Ему кажется, что книга его будет вечно плыть по веселому морю на гребне счастливой волны.

Но книги подчиняются всеобщим законам. Все в этом мире преходяще – новый цветок нарождается из праха отцветшего, новое время возникает на руинах прошлого. И книги также должны уступать место. Сколько же книг, вероятно, убила «Илиада» Гомера! И сама эта «Илиада», которую мы считаем бессмертной, когда-нибудь тоже будет забыта. Чтобы удержалась на поверхности книга Сервантеса, были вытеснены горы других. Каждая сохранившаяся книга – это свидетельство смерти сотен других.

Вот почему при лицезрении библиотеки нас охватывает грусть. В книгах на библиотечных полках есть какая-то трагическая печаль; печаль от того, что им еще хочется существовать, а между тем уже ясно, что придется потесниться. Но с каким жаром эти книги были написаны! В славный день они увидели свет и смело ринулись навстречу счастью. Они появились, робко оглядываясь, не поднимая шума, как сквозь туман прошли через руки нескольких читателей и осели на стеллажах. Другие родились под счастливой звездой, вокруг них разгорелись шумные споры, и они заняли свое место на столе у какой-нибудь светской дамы или уче-

ного, у молодого или пожилого человека. Но эти книги малопомалу оказались в тени и наконец затерялись на библиотечных полках.

Библиотеки – это кладбища книг. Ежедневно туда приходят читатели и просят какую-либо книгу. Ее снимают с насиженного места, и она молодеет, овеянная свежим воздухом. Старые страницы, перелистываемые читателем, вновь словно оживают и, как в прежние времена, гордятся собой, точь-в-точь как пожилые дамы, с ликованием вздрагивают, когда проходящий мимо молодой человек одаривает их внимательным взглядом.

Жгучими тайными страстями охвачены книги, стоящие на полках. Они исходят завистью, страдают старческим тщеславием, убиваются от неудачи. Когда книгу снимают с места и отдают читателю, он и представить себе не может, какая трагедия разыгрывается при одном лишь его появлении на пороге библиотеки: «Может, он пришел за мной?»

Все книги видят, когда входит читатель, и настораживаются. Наконец читатель просит нужную книгу, ее снимают с полки, и она становится надменной, хвастливой, вызывающей и как бы восклицает: «Как видите, предпочли меня!» И все остальные молчат, умирая от зависти. Одни книги спрашивают часто, другие же совершенно забыты, сам библиотекарь не помнит о них. У этих книг осталась с жизнью одна-единственная связь – название, занесенное в каталог, так же как имена усопших, сохранившиеся лишь в списках похоронной конторы.

Как листья, падают книги с древа мудрости, и осенний ветер уносит их в забвение. Вначале они хранят свежесть весенних побегов, потом сохнут, стареют, теряют свой аромат и уже не согревают наше воображение. Мы берем книгу в руки, многие ее страницы кажутся нам нелепыми. Устаревшие истины и вымыслы напоминают тех самоуверенных старцев, которые хотят навсегда остаться обходительными и деятельными. Время, о котором говорится в этих книгах, уже сокрыто от нас далекой дымкой. Мы не можем как следует понять, что вдохновляло тогдашние деяния. Нам хочется быть снисходительными, хочется извинить эту наивность, но при всем нашем великодушии мы вынуждены отложить книгу в сторону и водрузить ее на прежнее надежное место.

Вот там-то, в больших библиотеках, назревают и возникают необычные трагедии. В наше время книги уже и не пытаются остаться в сердцах людей, им все больше хочется осесть в библиотеке, их последняя надежда на бессмертие – жить на стеллажах. Пусть их никто не читает. Лишь бы существовать!.. Ведь ежегодно, и с каждым годом все больше и больше, появляется несметное число книг. Согласно простой теории о пространстве, через какие-нибудь сто лет в мире накопятся огромные книжные горы. Книги, этот издательский бич, обрушатся с силой на все библиотеки, и библиотеки начнут раздуваться до неслыханных размеров. Человек в конце концов утонет в море книг. И волей-неволей наступит час расплаты. Дабы не оказаться погребенными под бесчисленными книгами, люди вынуждены будут рас-

правиться с ними. По логике вещей в библиотеках наступит час очищения, и огонь позаботится о том, чтобы поглотить ненужные и испорченные книги.

Разве люди не говорят о борьбе за существование! Так вот, есть нечто более трагическое – борьба книг за вечную жизнь.

1919

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Есть книги волею приличий
Они у века не в тени.
Из них цитаты брать обычай –
Во все положенные дни.

В библиотеке иль читальне
Любой – уж так заведено –
Они на полке персональной
Как бы на пенсии давно.

Они в чести.
И не жалея
Немалых праздничных затрат,
Им обновляют в юбилей
Шрифты, бумагу и формат.

Поправки вносят в предисловья
Иль пишут наново, спеша.
И – сохраняйтесь на здоровье, –
Куда как доля хороша.

На них печать почтенной скуки
И давность пройденных наук;
Но, взяв одну такую в руки,
Ты, время,
Обожжешься вдруг...

Случайно вникнув с середины,
Неволью всю пройдешь насквозь,
Все вместе строки до единой,
Что ты вытаскивало врозь.

ИСПАНИЯ

РАМОН ГОМЕС

1888–1963

ДЕ ЛА СЕРНА

*Сваленные в кучу,
книги почти не
отличимы друг
от друга...*

КНИЖНАЯ СВАЛКА

Не тоску, но подлинный ужас – волосы шевелятся – наводят книжные развалы на рынке. Новичок, конечно, любопытствует, а завсегда так поскорее свернет в сторону – до того безысходно зрелище и нестерпимо зловоние – трупный запах застоявшейся, перебродившей, тухлой мысли. Есть в этих книжных горах какое-то вялое домогательство, унылая, при последнем издыхании настырность. В этом параде мумий здесь, на рынке, среди жадных водоворотов жизни, истлевает сама смерть. Едва дохнет ветерок, рожденный здешней стремниной, едва пустится он шарить по углам и бередить душу, как погребальная когорта книг выступает навстречу – поймать! задушить! закопать! Не одолим застарелый разлад между останками книг и круговертью рынка.

Здешние книжные развалы не похожи на лавки букинистов. Там книги в едином порыве пускают пыль в глаза, кокетничают и обольщают, а здесь, в темном чулане, в тесной гряде себе подобных они теряют всякое подобие человеческого облика и ожесточаются. Горько глядеть на эту свалку опорков духа человеческого, на его погребальную обувь. И уже не сама книга, а лишь обложка возбуждает интерес, ведь порой это все, что осталось.

Сваленные в кучу, книги почти не отличимы друг от друга – от тесноты они болеют, заражая соседей, сплющиваются, гибнут, и над грудой повисает удушающий, яростный, подвальный смрад. Здесь все книги против тебя, даже те, которые сам написал: вот их останки, ошметки, клочья – некая высшая сила с завидной беспристрастностью всем раздала поровну.

Однако в этом болотном мареве есть свои ароматические ареалы. Да вот хотя бы этот букет – с женскими именами на обложке: «Каролина», «Шарлотта Гросс», «Бедная Матильда» – сколько цветков невинности, сорванных в незапамятные времена! А издательские грифы – претенциозные, жалкие грифы, оттиснутые в забытой богом печатне! А суетная роскошь малиновых переплетов! Страницы, словно мухами, засиженные шрифтами! А как разит хлоркой от медицинских справочников, кишасших микробами, вирусами и прочей заразой, набитых опухолями, язвами, маниями! Латинские фоллянты, греческие тома, арабская вязь, иероглифы, санскрит – сколько пыли пушено в глаза, сколько помпы – и ради таких простых слов!.. Путеводители по дальним странам – прививки против разочарования, повальной болезни туристов... И карты – улики наших детских потуг объять мир, который и знать нас не хочет!.. Виньетки, рамоч-

ки, птички, галочки, орнаменты под старину, выведенные неумелой рукой. Старые журналы, погруженные в летаргический сон, — они все еще зазывают, с вековым запозданием, на дешевую распродажу! Сборники пьес — потасканы, встрепаны, расхристаны, но до чего ж заносчивы!.. А бедолаги, которых и не разглядишь, — только краешек переплета торчит в самом низу... И эта злосчастная книжица — старьевщик ради барыша налепил на нее порнографическую картинку, а ведь она не из таких!

Или эти, пестрящие опечатками и прописями, — плагиаты в пятом колене... Сколько сил потрачено — и ни единого проблеска! Ох, эти злополучные груды — стыд Природы! Это от них раскалывается голова и портится здоровье, это они отбивают вкус к жизни.

Только возле них и постигаешь горькую истину: книги смертны: сегодняшние живут сегодня, завтрашние — завтра, а вчерашние — мертвы.

И все-таки старики и очкарики, похожие на манекенов со старинных портновских витрин, роятся в книжной свалке: вытаскают книжку, осторожно и ласково отряхнут, полистают и бережно — чтобы никто не заметил, что ее трогали — положат на место.

ГРЕГЕРИИ Думать легко. Писать трудно.

Пусть сочинитель пишет — смеется и плачет в одиночку.

Хоккуа — поэтические телеграммы.

Карандаш пишет тени слов.

Кажется, что панегирик питателен, но только кажется.

Каталог — напоминание о том, что забудешь.

Муха села на лист, прочла и улетела, презирая написанное. Строгий критик!

Если тебе кажется, что ты уже написал когда-то статью, которую пишешь, значит, пришла старость.

Ножницы на редакторском столе — лорнет критики.

Первым делом солнце клеит на стену афишу дня.

Филателист переписывается с прошлым.

Почтовые ящики также должны ходить на демонстрации по случаю государственных праздников!

Нахмурил брови и ухватил ими, как пинцетом, гениальную мысль.

Телеграфистка, когда считает слова в телеграмме, похожа на учительницу, которая ищет ошибку и ставит отметку.

Алфавит пляшет хоту на пишущей машинке.

338 Консьержка читает газету так, словно это сводка местных сплетен.

Пишущая машинка – алфавит улыбается, сияя вставными челюстями.

Библиоман – книжная разновидность клептомана.

Как неудобно книге, когда ее вешают раскрытой на ручку кресла!

Кипарис – кладбищенское перо в чернильнице могилы.

Две буквы пишущей машинки обнялись и замерли – они любят друг друга и не хотят печатать.

Старая пишущая машинка лучше новой – она опытней и грамотней.

Память умерла бы с голоду, если бы не подбирала все, что мы забываем.

У жабы мания величия – она посвящает свои песни звездам.

Телеграммы печальны – ведь телеграфные провода всегда в слезинках дождя.

Есть фонари-соглядатаи. Прочтешь под ним записку, а он уже бежит доносить.

Фраза с многоточием на конце – блюдо с гарниром из горошка.

Скомканые бумаги на дне корзины потихоньку расправляются, начиная новую, подводную жизнь.

Марка – знамя письма.

Авторучки непослушны, как дети, – то не могут, то не хотят писать.

Только в ботаническом саду у деревьев есть визитные карточки.

Писатель сочиняет ложь, а пишет правду.

Поэт – и больше никто – живет по лунным часам.

В комнате густо пахло графоманством.

Книга – тысячекрылая птица.

ГРЕГЕРИИ Китайцы пишут сверху вниз – как будто собираются складывать столбики и подводить итог.

339 Дерево дает нам бумагу, но не читает наших книг, а только свою – ту, что в сердцевине.

Последняя бомба атомного словаря пробьет в небе дыру, заткнуть которую будет некому и нечем.

Оказывается, лучшие киносценарии уже написаны в XVI веке – Шекспиром!

Сонет – бархатный жилетик Поэзии.

Осенью листы книг должны бы осыпаться.

*Из всех
неодушевленных
предметов,
созданных
человеком, книги
к нам ближе
всего...*

КНИГИ

«Я не читал книг этого автора, но если и читал их, то забыл, о чем они».

Слова эти, говорят, прозвучали во всеуслышание менее ста лет назад в зале суда и произнесены были одним из представителей городских властей. Слова, произносимые нашими официальными лицами, обладают силой и значением несравненно большими, чем слова простых смертных, ибо городские власти более, чем какие-либо другие из наших правителей, выражают общепринятую истину, отвечают духу, сути и нормам всего общества. Это обобщение, надо тут же оговориться в интересах истинной справедливости (и нашего нынешнего доброго отношения), не распространяется на США. Там, если судить по давней и бессильной ярости их газет, большинство городских властей являет особый, совершенно неуязвимый тип проходимцев. Но это между прочим. Я касаюсь только заявления, в котором проявились темперамент и благоразумие большого и богатого общества и которое было сделано судьей, очевидно, без страха и упрека.

Признаюсь, мне нравится его характер, отличающийся предусмотрительностью. «Я не читал этих книг, – говорит он и сразу же добавляет: – Но если и читал их, то забыл, о чем они». Очаровательная предосторожность. Нравится мне и его стиль: он не вычурен и носит отпечаток мужественной искренности. Рассматриваемое с точки зрения прозы, это заявление легко читается, в него нетрудно поверить. Огромное количество книг вообще не читается, еще большее – забывается. С точки зрения ораторского искусства заявление производит поразительное впечатление. Рассчитанное воздействовать на человеческий разум, столь подверженный различным формам забывчивости, оно обладает также и способностью возбудить утонченные эмоции, как следствие зарождения целого потока мыслей, а человеческая речь обладает огромной силой воздействия! Но это заявление особенно восхитительно своей естественностью, так как нет ничего более естественного, чем сам факт, что Отец Города забыл, о чем были книги, которые он читал когда-то – очень давно, – может быть, в дни своей легкомысленной юности.

А книги, о которых идет речь, – это романы, или по крайней мере они были задуманы как романы. Я продолжаю очень осторожно (следуя приведенному мной выше красноречивому примеру), так как, ничего не страшась и желая по возможности избежать упрека, признаюсь сразу же, что я не читал этих книг.

Да, не читал, и из миллиона, а то и более тех, которые, по их словам, их читали, я не встретил еще ни одного, который настолько обладал бы способностью ярко выражать свои мысли, чтобы связно пересказать их содержание. И это — о книгах, неотъемлемой части человечества, а ведь как таковые, при огромном и постоянно растущем их количестве, они достойны внимания, восхищения и сочувствия.

Особенно сочувствия. Уже давно было отмечено, что книги имеют свою судьбу. Да, судьбу, и она во многом по-



*О. Бёрсли. Проект
обложки для журнала.*

добна человеческой судьбе. Книги разделяют с нами великую неопределенность чувства позора и славы, жестокой справедливости и бессмысленного преследования, клеветы и непонимания, постыдности незаслуженного успеха. Из всех неодушевленных предметов, созданных человеком, книги к нам ближе всего, так как в них заключены наши мысли, наше честолюбие, наше негодование, наши иллюзии, наша верность правде и наша постоянная предрасположенность к совершению ошибок. Но больше всего они похожи на нас недолговечной связью с жизнью. Строительство моста в соответствии с законами искусства мостостроения является, безусловно, давним, почетным и полезным занятием. Но книга, по-своему добротная, как и мост, может безвозвратно погибнуть сразу же в день своего рождения. Однако искусства ее создателя недостаточно, чтобы жизнь книги не составила од-

но мгновение. Книги, рожденные нетерпеливостью, вдохновением и тщеславием человеческого ума, те, которые Музы особенно любят, больше других подвержены угрозе ранней смерти, хотя порой книги и живут за счет своих недостатков. Бывает, что книга, казалось бы, хорошая, не имеет – выражаясь высокопарно – собственной души. Очевидно, что такая книга не может умереть. Она может только обратиться в прах. Но лучшие из книг, черпающие жизненную силу в сочувствии и памяти людской, живут на грани гибели,



так как человеческая память коротка, а сочувствие – мы должны это допустить – слишком изменчивое и беспринципное состояние.

Секрет бессмертия книги отнюдь не кроется в канонах искусства, подобно тому как секрет бессмертия человека – в каких бы то ни было сочетаниях лекарств. Часто книги гибнут не потому, что не заслуживают более продолжительной жизни, – просто законы искусства зависят от разнообразных, непостоянных и ненадежных факторов, от человеческих симпатий и предрассудков, от любви и неприязни, от чувства добродетели и чувства уместности, от убеждений и теорий. Сами по себе эти факторы вечны, но постоянно видоизменяются – часто на протяжении жизни одного поколения.

II

Из всех книг романы наиболее любимы Музами и серьезно претендуют на наше сочувствие. Искусство романиста не сложно. В то же время оно самое неуловимое из всех видов художественного творчества, наиболее подвержено невидимым колебаниям и разным сомнениям его служителей и поборников и способно уже заранее доставить разуму и душе художника бездну неприятностей. В конечном счете сотворение мира – занятие не из простых, исключение составляют лишь божественно одаренные. В действительности каждый романист должен начинать с сотворения собственного мира, большого или маленького, в который сам он искренне верит. Этот мир существует только в его воображении: пусть не всегда его назначение – остаться индивидуальным, слегка окутанным тайной, в то же время он должен быть в какой-то степени знакомым опыту, мыслям и чувствам читателей. Сердце художественного произведения, даже менее всего достойного так называться, должна составлять правда, пусть выраженная в такой наивной театрализованности, парящей на сцене жизни, как в романах Дюма-отца. Подлинную правду утонченности человеческой природы можно найти в романах Генри Джеймса, а жестокая трагикомическая правда человеческой алчности, присущая натурам испорченным, живет в чудовищном мире, созданном Бальзаком. Достижение счастья с помощью законных и незаконных средств, смиренным либо бунтарством, путем умелых манипуляций условностями или использованием последних достижений в развитии научных теорий – единственная тема, которая с полным правом может быть разумно раскрыта романистом – летописцем развития человеческого общества, живущего среди многочисленных опасностей земного царства. И само это земное царство, земля, на которой люди стоят, падают или умирают, должна быть также заключена в рамки правдивого описания. Объединение всего этого в единую гармоническую концепцию является величайшей задачей, и даже попытка взяться за такое дело с серьезным намерением, не под воздействием импульса несведущего сердца, – заслуживающее похвалы стремление, потому что нужна смелость, чтобы осторожно ступить там, где глуше будет громко топтать. Как заметил один известный и добившийся успеха французский романист, «это – слишком трудное искусство».

*Книги для
человечества – то
же, что память
для человека.
В них – наша
история,
в них – открытие
истины,
в них – накопленные
знания и вековой
опыт; они
животисуют
диковины земли
и прекрасные
создания природы;
они вырывают из
беды, утешают
в печали
и утешают боль,
превращая часы
тоски в мгновения
восторга, наполяя
разум добрыми
и глубокими
мыслями
и возвышая душу.
Джон Леббок*

Совершенно естественно, что романисту свойственно сомневаться в собственной способности справиться с этой задачей. Она представляется ему более гигантской, чем есть на самом деле.

И тем не менее создание литературных произведений, являющееся только одной из узаконенных форм человеческой деятельности, имеет ценность лишь при условии, что оно не исключает полного признания всех остальных важнейших форм выражения человеческой деятельности. Об этом условии писатели порой забывают, особенно в юности, когда склонны претендовать на исключительное превосходство собственной деятельности над всем остальным, что присуще человеческому разуму. Многие стихи, а также проза способны сверкать божественным блеском, но в сумме всех человеческих устремлений могут не иметь большого значения. Нет такой доктрины, которая бы больше оправдывала право на существование одних произведений, чем других. Все остальное оставит после себя в лучшем случае лишь слабый след или обречено на забвение. В чем романист имеет преимущество перед другими работниками умственного труда, так это привилегия свободы – свободы выражения мыслей и свободы выражения своих самых сокровенных убеждений, – привилегия, осознание которой должно способствовать облегчению его тяжелого, рабского труда.

III Самым ценным даром романиста должна быть свобода воображения. Добровольная попытка раскрыть запутанные догмы некоторых концепций романтизма, реализма и натурализма в момент порыва собственного вдохновения достойна человеческой настойчивости, которая вслед за выявлением абсурдности старается оправдать ее целой родословной заслуженных предшественников. Слабые способности объясняют и отсутствие искусного метода у тех, кто, будучи не уверен в своем таланте, стремится придать ему блеск за счет авторитетности школы. Таковыми, например, являются высокие жрецы, которые объявили Стендаля пророком натурализма. Но сам Стендаль никогда бы не смирился с ограничением своей свободы. Талант Стендаля – талант первой величины. Его душа преисполнилась бы особым стендалевским презрением и возмущением, так как правда состоит в том, что за литературными формулами прячутся многочисленные разновидности интеллектуальной трусости. Стендаль же был преждевременно смел. Он написал два самых своих больших романа – уввы, прочитанных немногими – в духе бесстрашной раскрепощенности*.

Не следует полагать, что я требую от писателя свободы нигилизма в плане морали. Я требую от него разного рода проявлений веры, из которых на первом месте должна быть неуываемая надежда, а надежда, бесспорно, подразумевает как преданность активной деятельности, так и способность отказаться от нее. Это богом посланная вера в магическую силу и вдохновение, составляющие неотъемлемую часть жизни на нашей планете. Мы склонны забывать, что выдаю-

шее мастерство предполагает высокую интеллектуальность, а не только эмоциональное воздействие. Даже при явном пессимизме только самонадеянность может быть безнадежно бесплодной. Может показаться, будто сделанное разными людьми и в разные времена открытие, что в мире существует слишком много зла, стало источником гордости и сверхъестественной радости некоторых современных писателей. Такой способ мышления не является правильным в попытке серьезно приблизиться к искусству создания произведений художественной литературы. Он дает его автору — одному богу известно почему — возвышенное чувство собственного превосходства. И нет ничего более опасного, чем поддаться влиянию собственных чувств и переживаний, которые владеют автором в кульминационные моменты работы.

Многообещающий художник — это не обязательно художник, который считает, что мир прекрасен. Ему достаточно верить в то, что существует возможность сделать мир таким. Если же позволить воображению подняться выше других аспектов нравственности, свойственных человеческому обществу, то романист, который возвышает себя над другими людьми, может лишиться первого условия своего призвания. Владеть искусством слова — это еще не все. Человек, имеющий в руках ружье, не становится охотником или воином только от того, что он вооружен, требуется еще много прочих черт в его характере и темпераменте. От человека, владеющего арсеналом фраз, из которых только одна из сотни тысяч может поразить находящуюся на большом расстоянии и постоянно движущуюся мишень искусства, я могу потребовать и того, чтобы, имея дело с живыми людьми, он допускал наличие и некоторых теневых сторон, свойственных человеческой натуре. Я не буду требовать от писателя нетерпимости к маленьким человеческим промахам или насмешливого отношения к его ошибкам.

Я не буду требовать от него, чтобы он ждал большой благодарности от человечества, чью судьбу, на примере судеб отдельных людей, он изобразит как комическую или внушающую страх. Мне хотелось бы, чтобы, изучая людей, он прощал им многие их взгляды и предубеждения, которые ни в коей мере не являются выражением недоброжелательности, но лишь следствием воспитания, социального положения и профессии. Подлинный художник не должен искать признания своего труда и восхищения своим гением, ибо его труд нелегко оценить, а его гений ничего не значит для непосвященного, который, даже унаследовав мудрость своих предков, остается во многом примитивным и банальным. Мне хотелось бы, чтобы его сочувствие укреплялось путем терпеливых и постоянных наблюдений, в то время как он будет совершенствовать силу своего разума. Лишь в самой правде жизни, а не в абсурдных формулах, якобы раскрывающих техническое мастерство или разного рода концепции, можно найти возможность для совершенствования своего искусства. Дайте укрепиться силе воображения в самой гуще жизни, которую он обязан знать и почитать, и не да-

вайте укрепляться чувству вдохновения – готового совершенства, о котором он и понятия не имеет, и я не стану выражать неудовольствия относительно гордой иллюзии, которая иногда приходит к писателю: иллюзия того, что его работа почти равнозначна величию его мечты. Ибо что же еще может дать ему ясное представление и силу отогреть на своей груди добродетели, прямоту и пронзительность собственных сограждан, с простым красноречием заявивших устами Отца Города: «Я не читал книг этого автора, но если и читал их, то забыл...»

1905

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

В БИБЛИОТЕКЕ

М. Кузмину

О пожелтевшие листы
В стенах вечерних библиотек,
Когда раздумья так чисты,
А пыль пьянее, чем наркотик!

Мне нынче труден мой урок,
Куда от странной грезы деться?
Я отыскал сейчас цветок
В процессе древнем Жиль де Реца.

Изрезан сетью бледных жил,
Сухой, но тайно благовонный...
Его, наверно, положил
Сюда какой-нибудь влюбленный.

Еще от алых женских губ
Его пылали жарко щеки,
Но взор очей уже был туп
И мысли холодно-жестоки.

И, верно, дьявольская страсть
В душе вставала, словно пенье,
Что дар любви, цветок, увясть
Был брошен в книге преступленья.

* * * * *
Так много тайн хранит любовь,
Так мучат старые гробницы!
Мне ясно кажется, что кровь
Пятнает многие страницы.

И терн сопутствует венцу,
И время жизни – злое время...
Но что до этого чтецу,
Неутомимому, как время!

* * * * *

ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ

АРТУР

1859–1930

КОНАН Д
ОЙЛ

*За переплетом
любой настоящей
книги скрывается
как бы эссенция
живого человека.*

ЗА ВОЛШЕБНОЙ ДВЕРЬЮ

Пусть бедна ваша книжная полка, пусть украшает она скромное жилище. Затворите изнутри дверь комнаты, оставьте внешнему миру все его заботы, отрешитесь от тревог в обществе Великих Мертвецов – и, миновав волшебный портал, вы окажетесь в прекрасной стране, куда не дано проникнуть беспокойству и раздражению. Все низкое, все пошлое вы оставили позади. Здесь, ожидая вас, стоят рядами ваши благородные молчаливые друзья. Обведите взглядом их строй. Выберите того, который сейчас всех ближе душе вашей. Теперь остается только протянуть к нему руку и отправиться вместе с ним в страну мечты. Право же, есть нечто жуткое в книжных шеренгах, и лишь привычка притупляет в нас это ощущение. Каждая книга – мумия души, облаченная в погребальные одежды из кожи и типографской краски. За переплетом любой настоящей книги скрывается как бы эссенция живого человека. Авторы обратились в бесплотные тени, плоть их – в летучий прах, но самое сокровенное, оставшееся от каждого из них, – здесь, в вашем распоряжении.

И снова лишь привычка не позволяет нам вполне оценить то удивительное счастье, которым мы имеем возможность наслаждаться. Представьте, что мы вдруг узнали: Шекспир воскрес и готов уделить любому из нас час своей мудрости и своего воображения. О, как бы мы стремились к встрече с ним! А ведь здесь он – все лучшее, что в нем было, – каждый день рядом с нами, но мы даже не всегда даем себе труд познать его. В каком бы настроении человек ни переступил порог волшебной двери, величайшие люди мира разделяют с ним это настроение. Если он задумчив – к нему придут короли мысли, если он грезит – короли мечты. А может быть, ему хочется развлечений? Тогда он волен обратиться к любому из величайших рассказчиков мира, и давно ушедший из жизни гений займет его воображение. Общество мертвых может оказаться настолько притягательным, что человек станет слишком редко думать о живых. Многим из нас следует всерьез опасаться, что, погруженные в наследие мертвецов, мы никогда не узнаем собственных мыслей и чувств. И все же романтика и переживания, полученные из вторых рук, безусловно, достойнее той иссушающей скуки, на которую обрекает жизнь большую часть рода человеческого. Но прекраснее всего, когда мудрость мертвых и их пример дают нам силу и терпение, чтобы пережить тяжкие дни нашей собственной жизни.

Пойдемте со мною за волшебную дверь, сядьте на зеленый диван, отсюда вам будет виден старый дубовый шкаф

*О, мир
книг — вселенная
бесконечная!*

Египте Чарлеи

с неровной линией томов. Можете курить. Согласитесь ли выслушать мой рассказ о книгах? Нет для меня ничего приятнее, ибо каждый том здесь — мой близкий друг, а о чем, если не о друге, можно говорить с большим удовольствием? Прочие книги стоят там, выше, а здесь — мои любимцы, те, которых я всегда держу под рукой и перечитываю. Здесь каждый потрепанный переплет навеивает мне приятные воспоминания.

Покупка многих из них потребовала жертвы, от которой обладание делается еще слаще. Видите ряд старых коричневых томов внизу? Каждый из них — мой завтрак. Я покупал их в студенческие годы, в не очень изобильные времена. Три пенса — такова была скромная сумма, ассигнованная мною в полдень на сэндвич и стакан пива; но судьбе было угодно, чтобы по пути на занятия я проходил мимо самого замечательного книжного магазина на свете. На улице у двери в магазин стоял большой бочонок, наполненный постоянно меняющимися потрепанными книгами; объявление над ним гласило, что любую из них можно приобрести за те самые три пенса, что были у меня в кармане. Когда я подходил к магазину, разыгрывалась отчаянная битва между голодом полного сил юного тела и жаждой пытливого всепожирающего ума. В пяти случаях из шести побеждали животные инстинкты.

Но когда я все же отдавал предпочтение духовным потребностям, наступали прекрасные минуты: я рылся в старых альманахах, томах шотландских теологов и таблицах логарифмов до тех пор, пока не находил нечто такое, что с лихвой оправдывало потраченное время. Просмотрите корешки на этих полках, и вы увидите, что мой выбор был не столь уж плох. Четыре тома гордоновского Тацита * (жизнь слишком коротка, чтобы читать в оригинале, если есть хороший перевод), эссе сэра Уильяма Темпла, произведения Аддисона, свифтовская «Сказка о бочке», «История» Кларендона *, «Жиль Блаз» *, стихотворения Бекингэма и Черчилля, «Жизнь Бэкона» *... Не правда ли, недурно для старого бочонка с трехпенсовыми книгами?

Эти книги не всегда были в столь убогой обстановке. Взгляните на плотную кожу переплетов, на потускневшее золото заглавий. Когда-то они украшали полки какой-нибудь славной библиотеки и даже здесь, среди случайных альманахов и проповедей, сохраняют следы бывшего величия, словно поношенное шелковое платье бывшей светской дамы, ныне опустившейся, но прежде великолепной. В наше время благодаря дешевым изданиям в бумажных обложках и публичным библиотекам стало слишком легко читать. Человеку свойственно недооценивать то, что достается ему без усилий.

Кто теперь чувствует ту лихорадку, которая терзала Карлейля, когда он мчался домой с шестью томами «Истории» Гиббона в руках *? Его мучимый жаждой разум готов был проглотить эти тома по одному в день. Теперь иные времена: книга становится вашей раньше, чем вы можете по настоящему оценить ее; если же человек не потрудился как

следует, чтобы добыть желаемое, он не почувствует радости обладания.

349 ...А теперь, мой терпеливый друг, настало время нам расставаться, и я надеюсь, что мои короткие проповеди не слишком вам наскучили. Если я привел вас туда, где вы раньше не бывали, то убедитесь в правильности пути и двигайтесь дальше. Но быть может, моя попытка была тщетной? И в этом нет ничего страшного, пусть даже мои усилия и ваше время были потрачены зря. Возможно, я допустил великое множество ошибок, однако разве неточное цитирование не есть привилегия рассказчика? Мои суждения могут резко отличаться от ваших, и то, что нравится мне, может быть вам не по сердцу; однако думать и говорить о книгах всегда прекрасно, к чему бы это ни привело. Пока что волшебная дверь все еще закрыта за нами. Вы еще в чудесной стране. Но, увы, хотя мы и заперли эту дверь, мы не можем ее запечатать. Раздается удар дверного колокольчика, телефонный звонок, зовущий вас назад, в убогий мир тяжкого труда, людской суеты и повседневной борьбы. Что ж, это реальный мир, а книги – только имитация жизни. И все же теперь, когда дверь распахнута и мы вместе выходим наружу, разве не смелее встретим мы нашу судьбу, храня в сердце все то спокойствие, мир и доброту, какие нашли за Волшебной Дверью?

*Благодаря бумаге
стало
возможным
возрождение
Европы.*

РОЛЬ КНИГО- ПЕЧАТАНИЯ В РАЗВИТИИ СОЗНАНИЯ

*Слово, книга,
автор — все это не
что иное, как
отдельные капли
воды. А взятые
вместе они
составляют поток,
который все
сметает на пути,
и нет такой силы,
которая могла бы
заставить его течь
назад.*

Адальберт Шамиссо

В годы европейского духовного возрождения огромный стимул к развитию свободной мысли дало книгопечатание. Сам по себе принцип печати был известен уже давно, но на практике его стали использовать только после того, как в Европу проник найденный на Востоке способ производства бумаги. Однако даже сегодня мы не можем с уверенностью сказать, кто же первым применил этот столь простой метод к печатанию книг. Уже много лет по этому, казалось бы, несущественному вопросу ведутся нелепые споры. Несомненно, что пальма первенства, какая она ни есть, принадлежала Голландии. Уже в 1446 году в Гарлеме некий Костер печатал с наборного шрифта. Тогда же в Майнце работал Гутенберг. К 1465 году печатники появились в Италии, а в 1477 году Кэкстон основал Вестминстерское издательство. 1473 год стоит на первой печатной книге Венгрии. Однако сам принцип печати изредка применяли задолго до этого. Уже на рукописях XII века заглавные буквы печатались с деревянных клише.

Но для нас еще более важен вопрос производства бумаги. Не будет преувеличением сказать, что именно благодаря бумаге стало возможным возрождение Европы *. Изобрели ее в Китае, примерно во II веке до н. э. В 751 году китайцы напали на Самарканд и потерпели крупное поражение. Среди пленных оказалось несколько искусных мастеров по изготовлению бумаги, от которых арабы и переняли это ремесло. Арабские письменные документы на бумаге IX века дошли до наших дней. В Европу же она проникла или из Греции, или после отвоевания Испании у мавров, когда были захвачены бумажные фабрики. Однако после возвращения Испании в лоно лютеранской церкви качество бумаги заметно ухудшилось. В Европе перестали делать хорошую бумагу, и только к концу XIII века Испания заняла в этом деле ведущее положение. Лишь к XIV веку ее производство достигло Германии, а в конце дешевой бумаги наконец стало достаточно столетия для того, чтобы печатание книг приносило доход, а не убыток. Естественным да и неизбежным следствием из этого и явилось изобретение книгопечатания, и в мировой культуре началось новое, бурное время. Духовная жизнь стала достойным не единиц, как раньше, а тысяч и сотен тысяч людей.

Вслед за изобретением книгопечатания в мире появилось буквально изобилие бумаги. Кроме того, стали много дешевле учебники, и огромное число людей научилось читать. И дело не только в том, что книг было больше. Их стало проще читать и потому проще понимать. Уже не надо было му-

чаться, разбирая витиеватые буквы и пытаюсь понять их смысл. Читателям уже ничто не мешало. Круг их становился все шире, благо читать стало проще. Книга уже не была раскрашенной игрушкой или загадочной привилегией ученого. Теперь книги создавались так, чтобы простой люд не только разглядывал, но и читал их.

С XIV века, собственно, и начинается история развития европейских литератур. Мы видим, как на смену местным диалектам приходят единый итальянский, английский,



*Автопортрет Г. Дж.
Уэллса. 1892.*

*Рисунок
Э. Т. А. Гофмана.*

французский, испанский и – позднее – единый немецкий. Тогда в целом ряде стран национальные языки становятся языками литературными. Их разносторонне используют, всячески обрабатывают, делают их точными и выразительными. Эти языки обретают способность, подобно греческому и латыни, нести все богатство философской мысли.

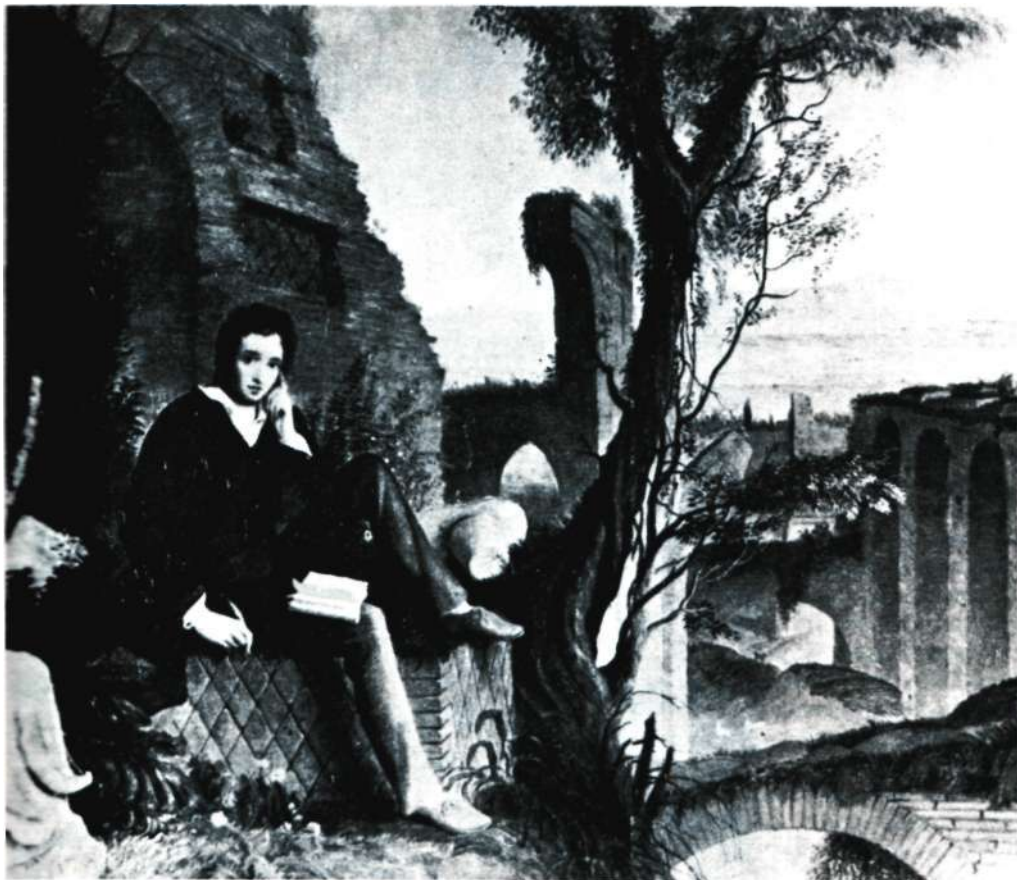
*Лучше читать
расписание
поездов или
каталог, чем
ничего не
читать.*

ПОДВОДЯ ИТОГИ

В восемнадцать лет я знал французский, немецкий и немножко итальянский, но образования не имел никакого и остро сознавал свое невежество. Я читал все, что попадалось под руку. Любознателен я был до того, что с одинаковой жадностью мог читать историю Перу и мемуары ковбоя, трактат о провансальской поэзии и «Исповедь святого Августина». Такое чтение дало мне некоторые знания, что для писателя лишние. Любые сведения рано или поздно могут пригодиться. Я составлял списки прочитанных книг, и один такой список у меня случайно сохранился. Если бы я не составлял его для себя и ни для кого больше, я бы не поверил, что за два месяца можно прочесть три пьесы Шекспира, два тома «Истории Рима» Моммзена, больше половины «Истории французской литературы» Лансона, два или три романа, несколько произведений французских классиков, два научных труда и пьесу Ибсена. Поистине я был прилежным подмастерьем. За те годы, что я занимался медициной, я систематически проштудировал английскую, французскую, итальянскую и латинскую литературу. Я прочел множество книг по истории, кое-что по философии и, разумеется, по естествознанию и медицине. Любопытство не давало мне подумать о том, что я читал: я едва мог дожидаться, когда кончу одну книгу, — до того мне не терпелось начать следующую. Это всегда сулило новые переживания, и я брался за очередной памятник литературы с таким же волнением, с каким нормальный молодой человек бьет по крикетному мячу или девушка из хорошей семьи едет на бал. Время от времени репортеры, за неимением лучшего материала, спрашивают меня, какой момент в моей жизни был самый захватывающий. Если б мне не было стыдно, я мог бы ответить: тот момент, когда я приступил к чтению «Фауста» Гёте. В какой-то мере это ощущение у меня сохранилось — даже теперь от первых страниц книги меня иногда пронизывает дрожь. Чтение для меня отдых, как для других — разговор или игра в карты. Более того, это потребность, и если на какое-то время я остаюсь без чтения, то выхожу из себя, как морфинист, оказавшийся без морфия. По мне лучше читать расписание поездов или каталог, чем ничего не читать. Да что там, я провел немало восхитительных часов, изучая прейскурант магазина Армии и Флота, списки букинистических лавок и железнодорожные справочники. Они полны романтики. Они куда интереснее, чем половина современных романов.

Я отрывался от книг только из тех соображений, что время уходит, а мне нужно жить. И я шел к людям, потому

что считал это необходимым для приобретения опыта, без которого я не мог бы писать, но опыт мне был нужен и сам по себе. Быть только писателем — этого мне казалось мало. В программе, которую я себе наметил, значилось, что я должен максимально участвовать в таинственном действе, именуемом «жизнь». Я хотел приблизиться к горестям и радостям, составляющим всеобщий удел. Я не видел оснований подчинять требования чувств заманчивому зову духа и был твердо намерен извлечь все возможное из встреч и отноше-



*П. Б. Шелли. Портрет
работы Дж. Северна.*

ний с людьми, из еды, питья и распутства, из роскоши, спорта, искусства, путешествий — словом, из всего на свете. Но это требовало усилий, и я всегда с облегчением возвращался к книгам и собственному обществу.

И все же, несмотря на то, что я столько прочел, читать я не научился. Я читаю медленно и не умею бегло проглядывать книги. Даже плохую и нудную книгу мне трудно бросить на середине. Я могу по пальцам пересчитать книги, которые не прочел от корки до корки. С другой стороны, я очень редко что-нибудь перечитываю. Я отлично знаю, что многие книги я не мог до конца оценить с первого раза, но

в свое время я взял от них все, что успел, и, хотя подробно, вероятно, забылись, каждая из них как-то обогатила меня. Есть люди, которые перечитывают книги по многу раз. Я объясняю это только тем, что они читают глазами, а не всем своим существом. Это – механическое упражнение, так тибетцы вертят молитвенное колесо. Я допускаю, что занятие это вполне безобидное, но не следует считать его интеллектуальным.

В молодости, когда мое непосредственное впечатление от



*Экслибрис работы
У. Грейна для
Уайтченелской публичной
библиотеки.*

*Библиотека Британского
музея.*



какой-нибудь книги расходилось с мнением авторитетных критиков, я не задумываясь признавал себя неправым. Я еще не знал, как часто критики вторят обывателю, и мне даже в голову не приходило, что нередко они с уверенностью рассуждают о том, чего, в сущности, не знают. Лишь годы спустя я понял, что в произведении искусства для меня важно одно: как я сам отношусь к нему. Теперь я больше полагаюсь на свое суждение, так как не раз замечал, что мнение о том или ином писателе, которое инстинктивно сложилось у меня сорок лет назад и которое я отбросил, потому что оно каза-

лось ересью, ныне стало почти всеобщим. Несмотря на это, я до сих пор читаю много критики, потому что этот литературный жанр мне нравится. Не всегда хочется читать что-нибудь возвышающее душу, а провести час-другой за чтением критических статей – что может быть приятнее? Интересно соглашаться с автором; интересно с ним спорить; и всегда интересно узнать, что думает умный человек о каком-нибудь писателе, которого тебе не довелось прочесть, например о Генри Муре или о Ричардсоне.

Но по-настоящему важно в книге только то, что она значит для меня; критик может дать ей и другое, более глубокое толкование, но из вторых рук оно мне уже не нужно. Я читаю книгу не ради книги, а ради себя. Мое дело не судить о ней, но вобрать из нее все, что я могу, как амеба вбирает частичку инородного тела, а то, чего я не могу усвоить, меня не касается. Я не ученый, не литературовед, не критик; я – профессиональный писатель, и теперь я читаю только то, что мне нужно как профессионалу. Пусть кто угодно напишет книгу, которая совершит переворот в вопросе о династии Птолемеев, – я все равно не стану ее читать; пусть появится захватывающее описание экспедиции в глубь Патагонии, – я к нему не притронусь. Писателю-беллетристу нет нужды быть специалистом в какой бы то ни было области, кроме своей собственной; это ему даже вредно: человек слаб, и едва ли он устоит перед соблазном шеголять своими специальными познаниями к месту и не к месту. Романисту лучше избегать языка техники. Неумеренное употребление специальных терминов, вошедшее в моду в девяностых годах, утомительно. Достоверности нужно добиваться другими средствами, а скука – слишком дорогая цена за достоверный фон. Писатель должен разбираться в основных проблемах, занимающих людей, о которых он пишет, но, как правило, ему достаточно очень скромных познаний. Пуше всего ему следует опасаться педантизма. Но и при этих оговорках выбор велик, и я стараюсь выбирать только такие книги, которые непосредственно служат моим целям. О своих персонажах сколько ни знаешь – все мало. В биографиях, в мемуарах, даже в специальных трудах часто находишь какую-то интимную деталь, выразительную черточку, красноречивый намек, какого нипочем не подметил бы в живой натуре. Людей трудно постичь. Нужно долго дожидаться, пока они расскажут вам о себе именно то, что вы сможете использовать. Неудобно также, что их нельзя в любое время отложить в сторону, как книгу, и часто приходится, выражаясь фигурально, прочесть весь том, прежде чем убедиться, что ничего интересного для тебя он не содержит.

*Книги просвещают
душу, поднимают
и укрепляют
человека,
пробуждают в нем
лучшие стремления,
остряют его ум
и смягчают сердце.*

*Уильям Мейкпис
Теккерей*

Молодые люди, мечтающие о писательстве, порой оказывают мне честь спрашивать моего совета, какие книги им нужно прочитать. Но они редко следуют моим советам; они, как видно, нелюбознательны. Им кажется, что для постижения литературного мастерства достаточно прочесть два-три романа миссис Вулф, один – Э. М. Форстера, несколько –

Д. Г. Лоренса и, как ни странно, «Сагу о Форсайтах». Правда, современная литература вызывает непосредственный, живой интерес, чего нельзя ожидать от классиков, и к тому же молодому писателю полезно знать, о чем и как пишут его современники. Но в литературе то и дело возникают модные течения, и нелегко сказать, в чем непреходящая ценность того или иного стиля, который в данную минуту пользуется успехом.

Прекрасным мерилom служит знакомство с великими произведениями прошлого. Иногда я спрашиваю себя, почему многие молодые писатели при всей своей ловкости, легкости и технической сноровке так быстро выдыхаются – не происходит ли это от их невежества? Они выпускают две или три книги не только блестящих, но даже зрелых, а потом – конец. Но так литература не обогащается. Для этого нужны писатели, способные дать не две или три книги, а целую совокупность произведений. Разумеется, они будут неравноценны, ведь для рождения шедевра нужно сочетание очень многих счастливых обстоятельств; но шедевр – это чаще всего долгих трудов, чем случайная находка неученого гения. Писатель может быть плодовит, только если он обновляется, обновляться же он может, только если душа его будет непрестанно обогащаться новым опытом. А для этого нет лучшего средства, чем увлекательные путешествия в великие литературы минувших эпох. Ибо произведение искусства возникает не чудом. Оно требует подготовки. Почву, даже самую богатую, нужно удобрять. Путем размышлений, путем сознательных усилий художник должен добиваться большей широты, глубины, многосторонности. Потом земля какое-то время остается под паром. Как Христова невеста, художник ждет озарения, от которого родится новая духовная жизнь. Он терпеливо занимается повседневными делами; подсознание между тем ведет свою таинственную работу; и вот, как будто бы из ничего, возникает идея. Но, подобно зерну, брошенному на каменистую почву, она легко может засохнуть; ее нужно заботливо растить. Всю силу своего ума, все свое умение, весь свой опыт, все характерное и индивидуальное, что у него есть, должен отдать ей художник для того, чтобы с бесконечным трудом показать ее наконец людям в подобающем ей воплощении.

Но я не сержусь на молодых людей, когда они, услышав от меня совет читать Шекспира и Свифта, – совет, повторяю, преподанный по их же просьбе, отвечают, что «Путешествия Гулливера» они читали в детстве, а «Генриха IV» проходили в школе; и если «Ярмарка тщеславия» кажется им невыносимо скучной, а «Анна Каренина» – пошленькой чепухой, что ж, это их дело. Читать имеет смысл, только если это доставляет удовольствие. Зато их нельзя упрекнуть в высокомерии, свойственном многим эрудитам. Никакие рогадки высокой культуры не препятствуют им близко и с полным сочувствием подойти к заурядным людям, которые, между прочим, и являют собой их материал. Их искусство – не таинство, а ремесло, как всякое другое. Они пишут романы и пьесы так же скромно, как другие люди делают автомоби-

ли. И это очень хорошо. Потому что художник, и в особенности писатель, в духовном одиночестве строит себе мир, отличный от мира других людей; особенность, благодаря которой он стал писателем, отгораживает его от них, и возникает парадокс: хотя цель его — правдиво изображать людей, самое его дарование мешает ему видеть их такими, какие они есть. Он оказывается в положении человека, который, силясь разглядеть какой-то предмет, сам же протягивает между ним и собой темную завесу. Писатель стоит вне той жизни, которую он создает. Это комик, неспособный раствориться в своей роли, потому что он одновременно и зритель и актер. Хорошо говорить, что поэзия — это чувство, которое вспоминается в минуту душевного покоя, но у поэта чувство особого порядка, присущее больше поэту, нежели человеку. Недаром женщины с их инстинктивным здравомыслием так часто не находят удовлетворения в любви поэта. Возможно, что писатели наших дней, которые находятся настолько ближе к своему сырью, — обыкновенные люди среди обыкновенных людей, а не художники в чуждой им толпе — сломают барьер, неизбежно воздвигаемый их дарованием, и подойдут ближе, чем когда-либо раньше, к правде жизни.

ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ

ГИЛБЕРТ КИТ

1874–1936

ЧЕСТЕРТОН

*Если детективы
читают чаще,
чем справочники,
значит, они
интересней.*

В ЗАЩИТУ ДЕТЕК- ТИВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Если вы хотите понять, почему так популярны детективы, вам придется прежде всего отказаться от нескольких штампов. Например, не следует считать, что народ предпочитает плохую литературу и любит детективы за то, что они плохо написаны. Не всякая плохая книжка становится популярной. В железнодорожном справочнике нет ни психологии, ни юмора, однако его не принято читать вслух у камина. Если детективы читают чаще, чем справочники, значит, они интересней. По счастливой случайности многие хорошие книги стали популярными; по еще более счастливой случайности еще больше плохих книг популярности не снискало. Вероятно, хороший детектив читали бы ничуть не меньше, чем плохой. К сожалению, многие вообще не представляют себе, что может быть хороший детектив; для них это так же бессмысленно, как хороший черт. По-видимому, они считают, что написать о преступлении – так же дурно, как и его совершить. Этим нервных людей, в сущности, можно понять – действительно, в детективах не меньше крови, чем в шекспировских драмах.

Однако на самом деле между хорошим и плохим детективом такая же разница, как между хорошим и плохим эпосом. Детектив не только совершенно законный жанр – он играет немалую роль в сохранении нормальной жизни общества. Прежде всего детективы – единственный и первый вид литературы, в котором как-то отразилась поэзия современной жизни. Люди жили веками среди гор и дремучих лесов, пока не поняли, как много в них поэзии. Может быть, наши потомки увидят фабричные трубы алыми, как горные вершины, а уличные фонари – естественными, как деревья. В детективном романе нам открывается большой город, дикий и независимый от нас, – и в этом, без сомнения, детектив подобен «Илиаде». Вы замечали, надеюсь, что герой и сыщик ходят по Лондону свободно, как сказочный принц в царстве фей: омнибус сверкает перед ними чистыми красками волшебной колесницы, городские огни светятся, как бесчисленные глаза гномов, – ведь они хранят тайну, быть может, зловещую, которую писатель знает, а читатель нет. Каждый поворот улицы указывает на нее, словно палец; странные силуэты домов на фоне темного неба говорят о ней.

Открыть поэзию Лондона – немалое дело. Ведь, в сущности, город поэтичней деревни; природа – хаос бессмысленных сил, город – сознательных. Форма цветка и рисунок лишайника, может быть, что-то значат, а может быть, не значат ничего. Но каждый камень на улице, каждый кирпич в стене – несомненный, явный знак: кто-то послал его нам,

как телеграмму или открытку. Самая узенькая улочка в каждом своем повороте хранит душу человека, построившего ее. Каждый кирпич – документ, как клинописная табличка Вавилона; каждая черепица учит, как грифельная доска, покрытая столбцами цифр. И все это – даже фантастическая кропотливость Шерлока Холмса – напоминает нам о романтике городской детали, все, что подчеркивает предельную значимость наличников и карнизов, – благо. Хорошо приучить обыкновенного человека смотреть внимательно на



*И. Босх. Фрагмент
картины «Искушение
Св. Антония».*

десяток встречных людей хотя бы для того, чтобы выяснить, не окажется ли одиннадцатый знаменитым вором. Конечно, можно мечтать о другой, высшей романтике Лондона; можно думать о том, что приключения душ человеческих поинтересней, чем приключения тел, и что охотиться за добродетелью труднее и важнее, чем за пороком. Но с тех пор, как все наши великие, кроме Стивенсона, отказываются писать о том вгоняющем в дрожь ощущении, когда глаза большого города по-кошачьи светятся в темноте, мы должны по достоинству ценить народную литературу, которая при всем ее косноязычии и вульгарности не соглашается видеть в современности прозу, а в обычном – обыденное. Искусство всех веков любило современный ему быт и костюм; художники одевали группы вокруг креста в камзолы флорентийских дворян и фламандских бюргеров. В XVIII веке выдающиеся

актеры любили играть Макбета в пудреном парике. Как далеки мы сами от этой убежденности в поэзии нашей жизни, вы легко поймете, если представите себе Альфреда Великого в гольфах или Гамлета во фраке с траурной повязкой. Но нельзя, обернувшись назад, застыть, уподобясь Лотовой жене. Не могла не появиться народная литература о романтике современного города; и возникли популярные детективы, такие же грубые и освежающие, как баллады о Робин Гуде.

И еще одно хорошее дело сделали детективы. С тех пор



Р. Гуттузо. «Человек, читающий газету». 1966.

как человек, бунтуя против автоматизма цивилизации, проповедует развал и мятеж, полицейский роман, роман о полицейских, в какой-то мере напоминает нам, что нет приключений романтичней и мятежней, чем сама цивилизация. Рассказ о недремлющих стражах, охраняющих бастионы общества, пытается напомнить нам, что мы живем в вооруженном лагере, в осажденной крепости, а преступники, дети хаоса, — лазутчики в нашем стане. Когда сыщик из детектива несколько фатовато стоит один против ножей и револьверов воровского притона, мы должны помнить, что поэтичен тут и мятежен посланник общественной справедливости, а взломщики и громилы — просто старые добрые консерваторы, поборники древней свободы волков и обезьян. Да, романтика детектива человечна. Она основана на том, что

В ЗАЩИТУ
«ДЕШЕВОГО
ЧТИВА»

добродетель – самый отважный и тайный из заговоров. Она напоминает нам, что бесшумные и незаметные люди, защищающие нас, – просто удачливые странствующие рыцари.

1901

Одним из наиболее наглядных примеров того, насколько мы недооцениваем жизнь простых людей, может служить наше пренебрежение к «вульгарному чтиву». Обвинять приключенческий жанр в литературной несостоятельности – все равно что обвинять современный роман в химической или астрономической несостоятельности. «Вульгарная» литература не вульгарна уже хотя бы потому, что захватывает пылкое воображение миллионов читателей.

В свое время образованный класс игнорировал близкую массу развлекательной литературы. Но игнорировать вовсе не значит презирать. Равнодушие, безразличие несовместимы с чванством. Ведь не станет же человек, лихо подкручивая ус, кичиться своим превосходством над неведомой ему морской тварью. Точно так же и ученые мужи прошлого попросту опускались до сточных вод популярного сочинительства.

Сейчас мы изменили этому принципу. Мы в прямом смысле слова презираем подобные сочинения. Издеваясь над ограниченностью, мы сами подвергаемся серьезной опасности сделаться ограниченными... Из всех жанров развлекательного чтива более всего, на мой взгляд, достается приключенческой литературе. Этот жанр подвергается особенно едким нападкам, между тем юношеская приключенческая литература стара как мир – и никогда не устареет. Справедливости ради скажем, что авантюрный роман претендует на литературность не больше, чем застольная беседа его читателей претендует на ораторское искусство; не больше, чем дома, в которых они ютятся, претендуют на право считаться архитектурными памятниками. Отказывать людям в возможности упиваться развлекательными сериями – все равно что отказывать им в праве разговаривать на бытовые темы или иметь крышу над головой. Естественная человеческая потребность в идеальном мире, в котором беспрепятственно действуют вымышленные персонажи, неизмеримо глубже и древнее, чем выверенные постулаты литературного мастерства. В детстве нам всем было свойственно разыгрывать выдуманные ситуации, но нашим няням почему-то никогда не приходило в голову сравнивать наше «творчество» с творчеством Бальзака. На Востоке профессиональный сказитель ходит из селения в селение с ковриком под мышкой, и мне бы очень хотелось, чтобы всякий рассказчик нашел в себе моральное мужество расстелить этот коврик и усесться на него в самом центре Лондона. При этом маловероятно, чтобы все без исключения истории бродячего сказителя переливались драгоценными камнями истинного искусства. Литература и беллетристика – вещи совершенно разные. Литература – лишь роскошь; беллетристика – необходимость. Произведение искусства может быть сколь угодно коротким, ибо все

*Если бы Иоганна
Гутенберга,
изобретателя
книгопечатания,
привести теперь
в самую
ординарную
типографию,
печатальную
свадебные
приглашения
и меню,
и показать ему
обыкновенную
типографскую
машину — он
ничего бы в ней не
понял и, пожалуй,
выразил бы
желание
«покататься» на
маховом колесе.
...Вся заслуга
Гутенберга
заключалась
в том, что он
напал на мысль
вырезывать
каждую букву
отдельно и уже из
этих подвижных
букв складывать
слова для печати.
Кажется — мысль
пустяковая, а не
приди она
Гутенбергу
в голову,
книгопечатание
застряло бы на
деревянных досках,
и человечество до
сих пор сидело бы
в каком-нибудь*

его достоинство — в кульминации. Приключенческий роман может быть сколь угодно длинным — расставаться с ним так же жалко, как с последним пенни или с последней спичкой. А потому в той же мере, в какой современное высокое искусство в своих наиболее изощренных опытах стремится к предельной краткости и импрессионизму, «вульгарное» искусство в своих наиболее коммерческих проявлениях тяготеет к сюжетной непрерывности. Балладам о Робин Гуде не было конца, как нет конца похождениям Дика Мертвой Головы или Девяти Мстителей. Бессмертие — непременное условие существования этих персонажей.

Отказываясь открыто признать тот общеизвестный факт, что непритязательная молодежь всегда увлекалась и будет увлекаться бесформенными и бесконечными романтическими похождениями, мы пускаемся в пространные рассуждения о пагубном влиянии «дешевого чтива» на непорочные юные души; мы потрясены до глубины души, когда узнаем, что наш посылный променял «Эгонста» или «Стройтеля Солтнеса» на детектив. Существует обычай, в особенности у судей, приписывать добрую половину преступлений, совершаемых в столицах, пагубному воздействию дешевых романов. Если какой-нибудь чумазый отрок украл с лотка яблоко, судья глубокомысленно заключит, что сведения ворихи о том, что яблоки утоляют голод, получены в результате тщательных литературных штудий. Сами мальчишки, раскаявшись, часто обвиняют во всем прочитанные романы, что, впрочем, только делает честь их недуженной природной сообразительности. Если бы, подделав завещание, я сумел вызвать к себе сочувствие, сославшись на романы мистера Джорджа Мура, я был бы собой весьма доволен. И все же большинство людей твердо убеждены, что уличные мальчишки в отличие от всех остальных членов общества сообразуют свое поведение с печатным словом.

Между тем совершенно очевидно, что та неприязнь, которую питают судьи к дешевым сочинениям, не имеет равным счетом ничего общего с их литературными достоинствами. Плохая литература — еще не преступление. Мистер Холл Кейн открыто ходит по улицам, не боясь, что его посадят в тюрьму за бездарность. Наша неприязнь основывается на убеждении, будто всякий роман, рассчитанный на подростков, преступен и низок по духу, что он взывает к корыстолюбию и жестокости. Такова судейская теория — бред от начала до конца.

Насколько я могу судить, проблема дешевой литературы, распродаваемой с грязных книжных лотков в бедных районах, сводится, собственно, к следующему. Непрерывным потоком поступающее развлекательное чтиво примечательно тем, что даже в виртуозно описанных похождениях напрочь отсутствуют характеры, а стало быть, напрочь отсутствует страсть. Авторы этих неприхотливых сочинений пускаются по проторенной дорожке, придав сюжету немного местного или исторического колорита, и создают раз и навсегда закрепленный тип искателя приключений: средневековый рыцарь, бретер XVIII века, современный ковбой, по сути дела,

*семнадцатом веке,
не догадываясь
о причине своей
отсталости.
Ужас!*

Аркадий Аверченко

одно и то же лицо, изображенное наспех и лишенное каких бы то ни было индивидуальных черт. Такое безликое поведение способно вызвать не большее потрясение, чем созерцание условного узора на турецком ковре.

Среди этих историй есть и такие, которые с сочувствием описывают приключения разбойников, грабителей, пиратов; в них воры и убийцы предстают в возвышенном, романтическом ореоле. Иными словами, эти истории построены точно так же, как и «Айвенго», «Роб Рой» и «Дева озера» Скотта, «Корсар» Байрона, «Могила Роб Роя» Вордсворта, «Маркхейм» Стивенсона, «Железный пират» мистера Макса Пембертора и еще тысячи произведений, которые постоянно раскупаются на призы и рождественские подарки. При этом никому не придет в голову, что мальчик, который восхищается Локсли в «Айвенго» *, примется стрелять из лука по оленям в Ричмонд-парке. Мы знаем по себе, что бурная жизнь героев приключенческой литературы вызывает восторг у молодых людей не потому, что эта жизнь сродни их собственной, а потому, что она отлична от нее. Мы могли бы сообразить, что, чем бы ни руководствовался посыльный, упивающийся «Кровавой мезью», он читает этот роман вовсе не потому, что жаждет крови своих друзей и близких.

В этом случае, как и во всех подобных случаях, мы совершенно теряем ориентацию, рассуждая о «низших классах», в то время как речь идет о всем человечестве, за исключением нас самих. Эта тривиальная романтическая литература вовсе не является уделом плебеев – она удел всякого нормального человека. Филантроп всегда помнит о существовании классов и иерархий. «Я пригласил поужинать двадцать пять рабочих», – скажет он, скромно любясь своим человеком. Если бы он вместо этого сказал: «Я пригласил поужинать двадцать пять аудиторов», то выдал бы себя с головой. Точно так же поступаем и мы: мы исследуем развлекательную литературу как некое смертоносное заболевание, между тем как это всего лишь легкий недуг, которому подвержено всякое безрассудное и отважное сердце. Простые люди всегда будут сентиментальны – сентиментален тот, кто не скрывает свои сокровенные чувства, кто не пытается изобрести новый способ их выражения. В такого рода литературе нет, в сущности, ничего дурного. Она воплощает в себе привычное сочетание героини и оптимизма, тот трюизм, без которого невозможна человеческая жизнь. Совершенно ясно, что никакое общество не сможет чувствовать себя в безопасности, если юридический трюизм, гласящий, что совершать преступление преступно, будет восприниматься членами этого общества как оригинальная и острая эпиграмма.

Если издателям и авторам «Дика Мертвой Головы» вдруг пришло бы в голову нагрянуть к нам в библиотеки и читальные залы, конфисковать книги, которые мы пишем и читаем, и прочесть нам лекцию о том, как надо жить, что читать и писать, нам бы это вряд ли понравилось. А между тем у них к тому гораздо больше оснований, чем у нас, ибо они при всем своем идиотизме нормальны, а мы, привыкшие ки-

читаться своим высоким интеллектом, безумны. В наше время именно «высокая» литература, а никак не развлекательная, откровенно преступна и нагло развязна. В самом деле, на наших солидных письменных столах лежат солидные издания, проповедующие распутство и пессимизм, от которых содрогнулся бы всякий неискuschenный читатель. Если бы неразборчивый торговец осмелился выложить на свой грязный лоток книги, воспевающие полигамию и самоубийство, его ничего не стоило бы привлечь к судебной ответственности. Мы же открыто упиваемся такими книгами. С невиданным доселе лицемерием мы честим уличных мальчишек за безнравственность, а сами в важной беседе (с каким-нибудь сомнительным немецким профессором) ставим под сомнение само понятие нравственности. Мы поносим дешевое чтиво за то, что оно взывает к преступным инстинктам, а сами выдвигаем концепции инстинктивной преступности. Мы обвиняем (и совершенно напрасно) развлекательную литературу в нечистоплотности и беспринципности, а сами штудлируем философов, возводящих беспринципность в жизненный принцип. Мы сетуем на то, что комиксы учат молодежь хладнокровно убивать, а сами прекраснодушно рассуждаем о бессмысленности бытия.

Главная угроза обществу кроется не в читателях комиксов, а в нас. Больны мы, а не они. Преступный класс мы, а не они. Мы – патологическое исключение. Большая же часть человечества остается верна своим неприхотливым потрепанным книжкам, своим затасканным героям. У заурядного читателя, быть может, весьма непритязательные вкусы, зато он на всю жизнь уяснил себе, что отвага – это высшая добродетель, что верность – удел благородных и сильных духом, что спасти женщину – долг каждого мужчины и что поверженного врага не убивают. Эти простые истины не по плечу литературным снобам – для них этих истин не существует, как не существует никого, кроме них самих. В самом захудалом и наивном грошовом романе заложены прочные нравственные устои, по сравнению с которыми изысканно-утонченные этические построения лишь эфемерный блеск и мишура. Знаток модной литературы слишком легко и виртуозно жонглирует этими этическими принципами, чтобы по-настоящему проникнуть в их суть. Коварного и жестокого врага следует убивать – мораль, прямо скажем, не самая глубокая, но и эта мораль лучше прославления коварства и жестокости, к которому зывают Д'Аннунцио и его последователи. До тех пор пока разлагающее влияние светской культуры не коснется здоровой и грубой плоти «дешевого чтива», его нравственные принципы не будут поколеблены. Грошовое чтиво всегда проникнуто жизненным оптимизмом. Бедняки, даже рабы, сгибающиеся под непосильным бременем жизни, бывали легкомысленными, сумасшедшими, жестокими, но не теряли надежды. И в этом их преимущество перед нами. Их несурзная, с нашей точки зрения, литература всегда будет литературой «крови и грома», столь же естественной, как гром небесный и человеческая кровь.

*Истинный
читатель
непрерменно
молод.*

ЧАСЫ,
ПРОВЕ-
ДЕННЫЕ
В БИБ-
ЛИОТЕКЕ

Давайте сначала оговорим разницу между теми, кто любит читать, и теми, кто стремится получить знания. Любитель знаний – это одинокий фанатик, который прилежно и усидчиво роется в книгах ради искомой крупинки правды. Если им вдруг завладеет страсть к чтению, плоды его усилий сразу сведутся к нулю. Любитель чтения (не считая, конечно, тех, кто учится играючи), напротив, должен подавить в себе тягу к знаниям, так как упорядоченные занятия определенным вопросом, ведущие к превращению в знатока, обычно губительны для чистой страсти к бескорыстному чтению.

Любителя чтения часто представляют себе как нелепого, бледного и истощенного человека, неспособного налить себе чаю или непринужденно поздороваться с дамой, погруженного в размышления и неосведомленного о событиях дня, несведущего в каталогах букинистов, в чьих темных лавках он скрывается от солнца. Этот очаровательный отшельник, однако, ничуть не похож на истинного читателя. Хотя бы потому, что истинный читатель непременно молод. Он любознателен и общителен, он восприимчив и способен мыслить, и для него чтение сродни не кабинетным занятиям, а прогулкам на свежем воздухе: отправляясь в путь по горной дороге, он взбирается все выше и выше, туда, где воздух так прекрасен, что им трудно дышать.

Каждому ясно, что лучшая пора для чтения – возраст с восемнадцати до двадцати четырех. Позже наводит грусть даже сам список прочитанного в ту пору. Тогда мы успели прочесть множество книг, но, главное, тогда мы читали совсем другие книги. Чтобы освежить в памяти их названия, откроем старую записную книжку – в молодости все рьяно обзаводятся ими. Правда, большая часть книжки осталась пустой, зато первые странички очень красиво покрыты удивительно разборчивым почерком. Здесь мы распределяли по рангам имена великих писателей, сюда переписывали прекрасные отрывки из классики, здесь списки книг, которые надо прочесть, а здесь – самое интересное – списки прочитанных книг, с молодым тщеславием торжественно подчеркнутые красным.

Улыбаясь и вздыхая над старыми списками, каждый мечтает вернуть атмосферу тогдашнего пиршества чтения. Записная книжка, которую мы открыли, принадлежит ничем не выдающемуся читателю и дает поэтому возможность припомнить ступени собственного приобщения к литературе. Книги, прочитанные в детстве, украдкой снятые со считавшихся недоступными полок, обладали нереальностью и ве-

личественностью тайком подсмотренного рассвета, встающего над спокойными полями, когда в доме все еще спят. Подглядывая сквозь занавески, едва различаешь в тумане странные очертания деревьев, но запоминаешь их на всю жизнь – потому что у детей есть странное предчувствие грядущего.

Однако позже чтение приняло другой характер. Впервые сняты все ограничения, можешь читать что хочешь, в твоём распоряжении целые библиотеки, и – какое счастье – есть



Рисунок Ш. Бодлера.

Иллюстрация
Л. Керролла к книге
«Алиса в стране чудес».

друзья, с которыми обсуждаешь прочитанное. В радостном возбуждении читаешь запоем целыми днями. Как будто спешишь узнать всех героев. А потом со смешным высокомерием демонстрируешь свою близость с величайшими писателями мира, которая самому тебе кажется чудом. В это время невероятно обостряется жажда знаний, и в силу присущей молодости самоуверенности кажется, что ее возможно утолить. А в юной категоричности взглядов нам потворствуют великие писатели, делая вид, что в своих оценках жизни они с нами заодно.

Будучи вынужден отстаивать свое мнение перед тем, кто выбрал себе в герои Попа вместо, скажем, сэра Томаса Брауна, по-человечески привязываешься к великим писателям, как бы вступая с ними в личные отношения. Ради них и под их руководством разыгрываются настоящие сражения. И мы мечемся по букинистическим магазинам и тащим до-

*Я иногда мечтаю
о том, что
в Судный день, когда
великие мира сего
придут получить
свои
награды — венцы,
лавры, имена,
запечатленные
в мраморе
навечно, — Всевышний
увидев, как мы
шагаем с книгами
под мышками,
повернется
к апостолу Петру
и скажет не без
зависти:
«Посмотри-ка,
этим не нужны
награды. Нам нечего
им предложить.
Они любили
чтение».*

Вирджиния Вулф

мой издания ин-фоллио и ин-кварто. Еврипид в плотном картоне и Вольтер в восьмидесяти девяти томах форматом в одну восьмую.

Замечено, что списки прочитанного почти не включают в себя книги современных писателей. Конечно, Мередит, Харди и Генри Джеймс были еще живы, когда до них добрался наш читатель, но они были уже зачислены в классики. А в его поколении не нашлось писателя, имеющего на него такое влияние, каким обладали в свое время Карлейль, Теннисон или Рёскин. Видимо, это особенность молодого человека: раз в его поколении нет признанного гения, он обратится не к современникам помельче, хоть они и описывают мир, в котором он живет, а к классике, предпочитая полностью согласиться лишь с умами высшего порядка. Потому что в молодости человек держится в стороне от житейских проблем и, глядя на них с большого расстояния, судит с максимальной строгостью.

Одним из признаков того, что юность проходит, является зарождение чувства общности с другими людьми, в чьи ряды ты вступаешь. Еще хочется думать, что твой мерки по-прежнему высоки, но ты уже, конечно, заинтересовался творчеством современников и за их близость готов простить им недостаток вдохновения. На самом деле живые, как бы они ни уступали мертвым, дают нам больше. Прежде всего, при чтении современников не испытываешь тайного самодовольства и восхищаешься ими теплее и искреннее, потому что, поверив в них, ты уже отказался от своих вполне уважаемых предрассудков. Когда читаешь книги современников, вынужден сам искать обоснования своим оценкам, и это подстегивает внимание и доказывает, что ты не зря читал классику.

Поэтому в большом магазине, набитом новыми книгами с неразрезанными страницами, пахнущими краской, волнуешься и радуешься не меньше, чем когда-то в букинистическом. Быть может, не столь возвышенно. Но на смену былой нестерпимой жажде узнать мысли великих пришло естественное любопытство к мыслям собственного поколения. Что чувствуют живые мужчины и женщины, какие у них дома, как они одеваются, сколько у них денег, что они едят, что любят и что ненавидят, что они знают об окружающем мире и какой мечтой заполняют пустоты в своих обремененных заботами жизнях?

И когда тебя полностью захватит этот дух любопытства к жизни, ты будешь обращаться к классикам только в случае необходимости, и они скоро покроются толстым слоем пыли. Потому что лучше всего понятны живые голоса. С ними можно общаться на равных, они отгадывают наши загадки, и — пожалуй, самое важное — мы понимаем их шутки. И вскоре у тебя разовьется другой вкус, не удовлетворимый великими, не имеющий ценности, но очень приятный в обиходе, — вкус к плохим книгам. Не стоит бестактно называть имена, и так известно, кто из писателей (к счастью, они плодovitы) ежегодно радует нас романом, сборником стихов или статей. Мы многим обязаны плохим книгам, чьи авторы

и герои играют большую роль в нашем внутреннем мире.

Примерно так же сближаешься с авторами мемуаров и автобиографий, которые создали почти что новую отрасль в литературе нашего времени. Как ни странно, по-настоящему скучны только самые важные из них: герцоги или государственные деятели. А мужчины и женщины, которые без всякого повода или лишь потому, что видели раз в жизни герцога Веллингтонского, берутся рассказывать о своих взглядах, ссорах, надеждах и болезнях, обычно становятся действующими лицами тех частных драм, что помогают нам коротать одинокие прогулки или часы бессонницы. Если изъять их из нашего сознания, мы обеднеем. А потом еще документальные и исторические книги, книги о пчелах и осах, о золотых принсках и о развитии промышленности, об императрицах и дипломатических интригах, о реках и дикарях, о профсоюзах и парламентских актах, которые мы вечно читаем и (увы!) тут же забываем.

Быть может, признаваясь, что в книжном магазине мы удовлетворяем столько желаний, не имеющих прямого отношения к литературе, мы вредим его репутации. Но давайте вспомним, как создается литература. Из груды новых книг наши дети выберут одну или две, по которым мы станем навсегда известны. Здесь, если нам удастся разглядеть их, лежат стихотворения, повесть или исторический роман, которые сумеют рассказать другим векам о нашем, когда мы будем лежать молча и недвижно, — ведь и толпа времен Шекспира оживает для нас только на страницах его произведений.

В новых книгах трудно разобраться: настоящие они или пустые, научат они важному или забудутся бесследно. Сейчас выходит множество книг, и говорят, что написать книгу сейчас способен каждый. Возможно, это верно, но все-таки в сердце неудержимого пенящегося потока языка, с его несдержанностью, грубостью и банальностью, без сомнения, лежит страсть большого накала, которая нуждается лишь в более удачном повороте мысли для придания ей формы, которая выдержит века. Надо уметь получать удовольствие от этой бури, участвовать в битве идей и мнений своего времени, выуживать полезное, убивать ненужное, а главное, быть великодушнее к тем, кто старается облечь свои мысли в форму.

Наш литературный век, в отличие от предыдущих, не склонен подчиняться власти великих, он своенравнее в выборе кумиров и отважнее в своих исканиях. Многим, даже серьезным критикам произведения наших прозаиков и поэтов представляются беспечельными. Но пессимисты, которые существуют всегда, не убедят нас в мертвенности нашей литературы — мы все равно заметим красоту, вспыхивающую живо и ярко, когда молодые писатели выстраивают древние слова лучшего из живых языков, чтобы выразить новые представления о мире. Все, что мы узнали из классики, понадобилось теперь для чтения современников, потому что лучшие из них закидывают свои сети в неизведанные пространства и вылавливают там новые формы, а мы должны бросать за

ними вслед свое воображение, если хотим по достоинству оценить их странные дары.

Итак, нужно знать старых писателей, чтобы постичь новых. Однако приключения среди новых книг способствуют пониманию старых. Теперь, узнав, как создаются новые книги, легче, кажется, разгадать тайны старых, пристальней заглянуть в них и разобрать их строение и, лишившись предрассудков, трезво решить, что в них хорошо и что плохо. Возможно, окажется, что некоторые из великих не так уж безупречны, что им не хватает основательности и совершенства некоторых наших современников. Но даже если это и верно по отношению к двум-трем классикам, пред всеми остальными я готова радостно упасть на колени. Возьмем Шекспира, Мильтона или Томаса Брауна. Скромные познания в том, как делается литература, не особенно пригождаются здесь, хотя и усиливают восхищение. Разве в молодости способен так изумляться успехам этих писателей, как сейчас, когда сам просеял мириады слов и прошел не отмеченными на картах путями в поисках новых средств передачи своих ощущений? Новые книги иногда дают больший толчок мыслям, но с ними не наслаждаешься непобедимым восторгом, который вдыхаешь при возвращении к «Комусу», «Люсидасу», «Захоронению урны» или «Антонию и Клеопатре».

Мы не претендуем на выдвижение теории искусства. Быть может, мы никогда не узнаем об искусстве больше, чем знали от рождения, и долгий опыт сводится лишь к одному: главное удовольствие в жизни получаешь от великих художников, — а больше нам знать не дано. Но, и не вдаваясь в теорию, в старых книгах замечаешь те особенности, которых нет в произведениях нашего времени. Возможно, у каждого века своя алхимия. Однако старые книги перечитываешь множество раз, а они не теряют своих достоинств, не превращаются в шелуху пустых слов. И в них есть полная завершенность. Вокруг них не висит облако намеков, дразнящее нас множеством необязательных мыслей. Напротив, все наши способности, как бывает в решающую минуту, призваны к исполнению одной задачи: словно из их рук мы получаем благословение на более острое и глубокое восприятие жизни.

1916

ВЕЛИКО-
БРИТАНИЯ

РИЧАРД

1892–1962

ОЛДИНГТОН

*Невозможно
отрицать, что
художник
ощущает
на себе
влияние
читающей
публики.*

ПОЭТ И
ЕГО
ЭПОХА

Можно с достаточной уверенностью утверждать, что отношение поэта к его эпохе не должно быть его собственным изображением, что он не должен ни сознательно отвергать действительность, ее открытия, дух своей эпохи, ни объявлять себя их истолкователем. В первой ошибке были сильнейшим образом повинны романтики, во второй – футуристы, а также другие школы и отдельные писатели, теперь уже забытые или впавшие в безвестность. Однако позиция романтиков, даже в крайних ее проявлениях, более терпима и менее вредна, потому что материал поэзии остается примерно одним и тем же во все эпохи и еще потому, что человек все-таки не может оставаться совсем уж в стороне от новых идей, присущих его времени. Итак, поэт не должен объявлять себя «истолкователем своей эпохи», он может брать темы и, пожалуй, формы из давних времен, но, поскольку он не может укрыться – и не должен этого желать – от «духа своего времени», его творчество будет выражением духа его эпохи в той мере, в какой он способен его постигнуть и усвоить. Это вовсе не значит, что сейчас он возьмется излагать в стихах идеи Эйнштейна в меру своей в них осведомленности и сочинять «поэмы относительности», но сам факт, что ему об этом что-то известно, уже отличает его от всех предшественников, и лишь в такой – и только в такой! – мере он оказывается «истолкователем своей эпохи».

Нынешняя эпоха – эпоха брожения и неясности, – однако вовсе не гнетущая и жуткая невятица, как воображают некоторые, а скорее симптом, обнадеживающий симптом того, что мы восстаем против духовных врагов человечества, имя которым – загнивание и упадок, и что мы пытаемся ассимилировать много новых идей, придать им порядок и гармонию. Но если эпоха и смутна (возможно, все эпохи представляются неясными живущим в них, и требуется перспектива времени, чтобы озарить их скрытую от глаза упорядоченность), это еще не причина, чтобы смутными были искусство и та его ветвь, которую мы называем поэзией. Какая-то часть современной английской поэзии, значительная часть французской и (если меня не ввели в заблуждение) еще более значительная часть немецкой отличаются несомненной смутностью. С другой стороны, очень значительная часть современной поэзии, и в частности английской, застойна и перепевает в ухудшенном варианте то, что гораздо лучше уже было исполнено раньше. И в том и в другом случае читатель испытывает разочарование. Он чувствует, что в поэзии, которую я назвал смутной, есть много энергии, проникновенности, таланта, но она не поднимается до высот искусства, поскольку

ку лишена упорядоченности. В то же время он чувствует, что упорядоченность поэзии, которую я называл застойной, произвольна, фальшива и тупа. Поэзия, которую ищет этот гипотетический читатель, которая, по его убеждению, может быть создана и будет создана, пока еще не вырвалась на простор. Возможно, во многом это объясняется тем, что поэты делят неверные представления об искусстве, тем, что они не пришли к решению, каким должен быть их путь, а если и пришли, то к неверному. Несомненно, нынешнее



Рембрандт. «Любители музыки».

время богато разнообразными поэтическими талантами, но поэты словно не умеют правильно распорядиться своими дарованиями. Им словно не удастся вложить в свои стихи пре-

красные мысли и идеи, так что гораздо интереснее слушать современных поэтов (с глазу на глаз, а не в большом обществе!), чем читать их стихи. Наверное, многие и многие удивлялись не меньше меня, что такие умные, тонкие, чуткие, знающие люди создают произведения столь незначительные, неряшливые и робкие, хотя, как мне кажется (возможно, я излишне оптимистичен), сейчас в области поэзии у нас работает почти столько же талантливых и тонких людей, как в первой четверти XVII века (если исключить Шекспира и Донна).

У наших современников несравненно больший запас идей и представлений, чем у драматургов той эпохи; они много ближе к истинной утонченности и более чутки, чем тогдашние лирические поэты, и тем не менее они совершенно неспособны превзойти ни буйную, щедрую плодовитость тех драматургов, ни пленительное изящество и беззаботное благородство стихотворцев. Или «язык у них связан властью»¹? Ибо языки у них, несомненно, связаны – и у них, и у нас одинаково. Я хочу сказать вовсе не то, что стихов пишут слишком мало (уж скорее наоборот!), но то, что поэты не вкладывают в свои произведения и сотой доли присущих им духовного богатства и глубины мыслей. Будущие эпохи, оглядываясь на нас, решат, что мы были либо чересчур покладисты и услужливы, либо пусты и несобранны, что наша поэзия была, возможно, упорядоченной, но слабосильной, возможно, энергичной, но бесформенной. Вину за это мне хочется возложить не только на слабости самих поэтов, но в равной мере и на невежество, самодовольство и снобизм читателей. Суть в том, что наша эпоха могла бы и должна была бы не уступать в богатстве хорошей, если не великой, поэзии XVII века, а на деле, несмотря на внушительный объем поэтической продукции, она по качеству значительно беднее того, что создавалось в периоды между 1600 и 1622, 1700 и 1722, 1800 и 1822 годами, и превосходит лишь скудную в поэтическом отношении эпоху 1500–1522 годов.

Пора положить конец этому длинному отступлению и вернуться к проблеме связи между поэтом и его временем. Этот довольно неопределенный термин открывает возможности для множества самых разных изысканий. Можно, например, спросить, почему одни эпохи более благоприятны для создания поэзии, чем другие; или почему в век Елизаветы джентльмену было стыдно не уметь написать сонета или сочинить песню и спеть ее самому, аккомпанируя себе на лютне, тогда как в эпоху Георга V ни один джентльмен ничего подобного себе не позволит, а на поэта смотрят как на довольно комичного, если не вовсе темного субъекта. Можно еще исследовать отношения между искусством и наукой, их аналогии и различия и явную взаимную враждебность. Или же можно противопоставить понятие о поэзии у писателей эпохи Данте (когда «благородными» темами для поэта считались Война, Любовь и Бог) вероятному понятию о ней наших современников, учитывая, что мы считаем войну омерзительным варварством, что наши теории любви в основном сводятся к физиологии (все мы читали Фрейда и господина

¹ Утверждение это, безусловно, рискованное, но я его оставляю как свидетельство если не большей проникательности, то благожелательности. – *Прим. автора.*

Элиса) и что в подавляющем большинстве мы верим, что не люди созданы Богом, а Бог — людьми. Таким образом, написанные теперь «героические» поэмы, или любовные стихи в духе Петрарки, или религиозные медитации рискуют показаться образованным читателям надуманными и нелепыми. Ретроспективно Гомер, Петрарка и Данте доставляют нам наслаждение, но у нас нет ни малейшей надежды воскресить героическую эпопею и канцоны, воспевающие мистическую любовь или видения ада, чистилища и рая. Современное воображение вовсе не уступает в живописности воображению XIII века, но оно, несомненно, работает в иных направлениях, опирается на иные предпосылки и действует в иных условиях. Пошлые представления, будто наука уничтожила поэзию, а эксперимент низложил фантазию, не выдерживают критики, так как сама наука всегда окружена тайнами (дважды два, как нас уверяют, всегда равно четырем, и зрелище звездных небес, прежде считавшееся порождающим благоговение доказательством раз навсегда установленного порядка, теперь иллюстрирует видимость связей, в действительности никогда не существовавших). Но если поэт не может и не должен брать темой предмет науки, ему следует иметь представление о последних научных открытиях. Одно из характерных свойств науки заключается в том, что старое в ней непрерывно вытесняется новым, тогда как в искусстве ничто не вытесняет предшествующего. Передо мной лежит французская песенка XIII века, автор которой неизвестен. Но он, несомненно, верил в троицу, в первопричину всего сущего, в то, что Солнце вращается вокруг Земли, а возможно, и в то, что единорога может изловить только непорочная девственница. Большинство из нас ни во что подобное не верит, и, однако, такие строки доставляют нам лишь удовольствие:

Губок милых нет милее —
Сколь их сладостен привет!
Розы нету их алее —
Обойди хоть целый свет.
Щечек этих белый цвет
Даже ландыша нежнее.
Но когда сказала: «Нет», —
Я простился сразу с нею,
И прекрасный взор
Стал мне скучен с этих пор.

Какой мы делаем из этого вывод? Очень простой: хотя с 1300 года наши научные представления изменились полностью, искусство просто развилось. Наука 1300 года кажется нам скучной и нелепой, но тогдашнее искусство все еще дарит радость. Однако не стоит думать, будто современный поэт относится к своему искусству так же, как средневековый певец; он может испытать те же чувства, но они подействуют на него иначе и будут выражены иначе. Вот пример того, как современный певец раскрывает ту же тему:

Тебя любить – нешуточное дело:
Проблема пола. Роль души и тела,
Души и тела, тела и ду... Но –
О женщины, вам все осточертело!
Любовь моя, не любишь ты давно.

Я не возьму на себя смелость утверждать, что маленькое стихотворение месье Пеллерена будет доставлять читателям в 2522 году такое же удовольствие, как средневековая песенка в 1922 г о д у , – ведь его отличает та злополучная неясность и смутность, о которой я говорил с таким сожалением, однако эти две цитаты свидетельствуют и о том, что материал поэзии остается прежним и что позиция поэта, а следовательно, и воплощение этого материала должны меняться. Боже избави, чтобы я приписал пустячку месье Пеллерена глубину, о которой он и не думал, но тем не менее я не слишком отступлю от истины, сказав, что его позиция вполне гармонирует с высказанной им в другом месте идеей, что человечество – «ничтожная пылинка в космической необъятности», – абсолютно современной идеей, невозможной для средневекового поэта. Я чувствую (хотя, быть может, и гиперболизированно), что первому поэту живется гораздо уютнее и спокойнее в его вселенной, напоминающей часы, которые заводит и смазывает человекообразный Бог, нежели поэту современному, терзающемуся ничтожеством человека, зыбкостью, и преходящим характером всех дел человеческих и ошеломленному колоссальными тайнами, связанными с нашими понятиями о вселенной. Так, и только так, наука влияет на искусство, и только так можем мы признавать поэзию «современной».

В этом смысле инстинкт, помешавший большинству английских поэтов нашей эпохи приняться вслед за Маринетти восхвалять автомобили или впадать в истерику по поводу аэропланов *, мне кажется здравым и похвальным. Стоит вспомнить, что в горячке поклонения механике, которая сопровождала развитие железных дорог, Французская академия предлагала поэтам сходные темы, но все эти произведения давно и полностью забыты.

Есть много спорного в предисловии Арнольда к вышедшему в 1853 году сборнику его стихов и особенно в той настойчивости, с которой он утверждает, что в основе поэзии лежит чисто классическая идея «благородных деяний». Тем не менее в его словах заключена для нас большая мудрость, и нам следует тщательно их взвесить. Я вспоминаю об этом предисловии, в частности, когда читаю современных американских поэтов и критиков, а также, хотя и в меньшей степени, современную французскую и итальянскую поэзию, и особенно стихи так называемых унанимистов – Аполлинера и его учеников, Маринетти и его учеников. Я имею в виду следующий абзац из предисловия Арнольда:

«Они не говорят о своей миссии, об истолковании своей эпохи или о поэтах будущего – все это, как они убеждены, лишь тщеславный бред. Их задача заключается не в восхвалении своей эпохи, но в том, чтобы доставлять людям, в ней

¹ Тем самым он отрицает «личную поэзию», занимавшую такое большое место в творчестве, например, Гейне, Донна и Верлена. – *Прим. автора.*

живущим, высочайшее наслаждение, какое они способны испытывать. Если их призывают использовать для этого темы, присущие самой эпохе, они спрашивают, почему именно она считается для этого подходящей. Им отвечают: это эра прогресса, эпоха, которой должно воплотить великие идеи промышленного развития и смягчения общественных бедствий. Они отвечают, что все это их не трогает, что пишей для искусства служат великие деяния, властно и торжественно задевающие вечные струны человеческой души. В той мере, в какой нынешняя эпоха может предложить им подобные деяния, они с радостью на них откликнутся, но эпохе, лишенной нравственного величия, подобные деяния мало свойственны, и они вряд ли способны властно и торжественно воздействовать на эпоху духовного смятения».

По-моему, этого достаточно, чтобы перечеркнуть теории поклонников американского Дикого Запада и аэропланов. Однако я не хочу создавать впечатление, будто одобряю идеи, заключенные в этом отрывке, я тем самым поддерживаю писателей, ущербных иначе, а потому я должен подчеркнуть следующее: мы не можем давать людям нашей эпохи «высочайшее наслаждение, какое они способны испытывать», если будем пользоваться, говоря словами Джонсона, «описаниями, скопированными с описаний, подражаниями, заимствованными из подражаний, традиционными образами и наследственными метафорами, готовностью рифмовать и склонностью к многословию».

Чтение — лучшее средство от стандартизации и упрощения, свойственных нашему высоко машинизированному веку. Чтение расширяет наши представления о жизни, нравах и нуждах других людей; книга удивительно помогает человеку выйти за пределы своего «я».

Джон Голсуорси

Раздумывая над еще одним затронутым тут моментом — над взаимоотношениями поэта и его читателя, — я, повторяю, склонен винить в относительном бессилии нашей современной поэзии читателей не меньше, чем поэтов. Невозможно отрицать, что художник ощущает на себе влияние читающей публики. Даже самый взыскательный к себе, наиболее самодостаточный художник не может остаться совершенно равнодушным к приему, который встречают его произведения. Я не могу полностью согласиться с утверждением, будто поэт должен писать «для одного гипотетического интеллигентного читателя», потому что такой цинизм меня больно ранит и еще потому что поэзия, создаваемая по такому рецепту, подвергается серьезному риску стать слишком уж аллюзивной и утонченной, непонятной и неинтересной ни для кого, кроме автора и тесного кружка его друзей. Это классовая, а не общенациональная поэзия, но насколько ограничен класс, состоящий из одного гипотетического индивида! Равным образом я не принимаю романтическую идею «непонятого поэта», который приносит себя в жертву столь же гипотетическому потомству и утешается мечтами о своем посмертном бессмертии. Классические примеры «непонятых поэтов» — это либо люди, умершие совсем молодыми, либо те, кто вызывал непреодолимое предубеждение против себя чрезмерной надменностью, эксцентричностью или порочностью. Я не знаю ни одного более или менее талантливого поэта, который, дожив до сорока лет, не получил бы хоть какого-нибудь признания и поощрения от компетентных знатоков. И в вину нынешним английским любите-

лям поэзии, к которым, естественно, современный поэт в первую очередь обращается за порицанием или одобрением, я вменяю именно то, что как читатели они в лучшем случае малокомпетентны и приветствуют в новой поэзии как раз те пороки подражательности и многословия, которые с такой энергией обличал Джонсон. Другими словами, автор, искусно подражающий наиболее популярным нашим поэтам, например Китсу или Вордсворту, имеет больше шансов заслужить успех и одобрение, чем куда более талантливый и взыскательный поэт, описанный Арнольдом. Пользующиеся успехом писатели иногда жалуются, что публика вынуждает их ограничиваться произведениями только одного типа. «Не обращайтесь на публику!» – так откликаются на это и романтик, и гордый интеллектуал, но мне кажется (хотя я могу ошибаться), что поэт вредит себе, если «не обращает внимания на публику» слишком уж подчеркнуто и высокомерно. Во мне живет убеждение, что назначение поэзии – доставлять радость; если же она не доставляет радости никому, за исключением, быть может, одного-единственного гипотетического индивида, то я не вижу, зачем ее надо публиковать. Пожалуй, было бы неплохо, если бы поэты для начала печатали свои произведения только в периодических изданиях (что совсем нетрудно) и не торопились выпускать их отдельным сборником, не уверившись, что этот сборник найдет достаточное число читателей, оправдывающее его опубликование. (Надеюсь, я не покажусь чересчур циничным, если скажу, что критические отзывы в прессе на поэтический сборник обычно бывают настолько поверхностными и неумными, что не приносят автору ни малейшей пользы.) Но, убеждая поэтов прилагать все усилия, чтобы дарить своим читателям «высочайшее наслаждение», я готов призывать и читателей требовать от современных поэтов того подлинно оригинального, что действительно дарит «высочайшее наслаждение», а не мелкое удовольствие от искусной подделки. «Утомительно говорить сквозь в а т у», – замечает Клодель, имея в виду гробовое молчание, каким были встречены его первые книги. Но я не верю, что среди современных английских поэтов, даже не очень талантливых, найдется хоть один, которого не подбодрили бы – и, возможно, более, чем он того заслуживал. Вероятно, скорее следует опасаться того, что недурного поэта-подражателя перехвалят, чем вовсе не заметят, хотя сказать то же об истинно талантливом и оригинальном поэте никак нельзя. Сколько времени оставалась в безвестности поэзия Даути? И разве были бы «Династы» так хорошо приняты, если бы Харди уже не приобрел имени своими романами? Другими словами, мне кажется, что английские любители поэзии, подобно читателям многих других стран с богатым литературным прошлым, склонны больше приветствовать умелые вариации на старые темы, чем подлинно новые творения. Возможно, так было всегда – во всяком случае, я знаю, что не раз ловил себя на желании предпочесть хорошую подражательную новую поэзию более оригинальным и, следовательно, более трудным для восприятия произведениям. К тому же почти не-

истощимый запас уже апробированных прекрасных поэтических произведений так и соблазняет не искать того менее гарантированного удовольствия, какое может подарить самая новая поэзия. Очень легко убедиться, что пока не следует читать мистера Бландена, поскольку ты еще не знаком с Клэром и Блумфилдом *. Тем не менее хорошая современная поэзия представляет для нас интерес, какого уже не представит для следующих поколений, и мы поступаем неверно и глупо, если беремся опрометчиво утверждать, будто хорошей современной поэзии не существует. Она существует. Однако разве мы не вправе призывать поэтов к попыткам сделать свои произведения еще более способными дарить «высокое наслаждение»? И, как читатели поэзии, разве мы не должны остерегаться поставить менее совершенное выше более совершенного?

Не знаю, возможно ли извлечь из всех этих отступлений от темы какие-либо принципы или рецепты совершенства. Я возвращаюсь к моему утверждению, а вернее, чувству, что поэты нынешнего поколения, хотя и достаточно богаты талантом, хотя высоко одарены духовно и интеллектуально, тем не менее пока сумели развить свои потенциальные поэтические возможности лишь в ничтожной степени. Словно они согласились с пошлым взглядом, взглядом модного романиста, будто поэзия – это своего рода милая, но пустяковая традиционная игра, в которую надлежит играть только обаятельным дилетантам. Поэтому словно бы сознательно заморили свое искусство голодом, обрекли его на скудную диету постоянного подражания – но не жизни, а себе самому.

Однако можно с полной уверенностью утверждать, что поэзия составляет самую вечную, самую ценную и доставляющую радость часть литературы, что тот, кто глух к поэзии, лишен вкуса и не способен испытать величайшее наслаждение, какое может доставить литература. Достижения английских поэтов прошлого столь разнообразны и значительны, что нас можно извинить, если мы как нация перестали создавать новую первоклассную поэзию или хотя бы добротную поэзию классом ниже. Последние два-три десятилетия нам представляются относительно бесплодными, но не исключено, что при взгляде из будущего они такими не покажутся. В любом случае ни одна нация не способна создавать неиссякающий поток шедевров. Периоды продуктивности должны сменяться периодами покоя. Английская литература богата неожиданностями, и (кто знает), возможно, следующее поколение увидит новый поэтический взрыв, равный по силе взрывам первой четверти XVII и XIX веков. Но в любом случае отчаиваться нет нужды: нынешнее поколение все же передало светоч дальше, и, возможно, поэтам потребуется чуть больше пыла и дерзаний, а их читателям – чуть больше энтузиазма и взыскательности, чтобы наступил новый богатейший период, в природе которого мы не столь уверены, сколь в надежде его увидеть.

*Здесь я,
казалось, был
свободен от
власти вещей...*

КНИЖНАЯ ЛАВКА

Встретить в таком месте книжный магазин казалось невероятным. Все другие торговые заведения вокруг предназначались для того, чтобы обеспечивать самым необходимым убогий и густонаселенный квартал. На этой магистральной улице оживленное движение создавало обманчивое впечатление блеска и жизни. Улица была почти красивая, почти веселая. Но со всех сторон ее обступили мрачные сырые трущобы. Их обитатели делали покупки на главной улице. Они проходили, держа куски мяса, и сквозь бумагу, в которую оно было завернуто, проступали липкие пятна. Они торговались у дверей лавки обойщика из-за куска линолеума. Женщины в маленьких черных шляпках и черных шалях шли, шаркая ногами, за покупками с ветхими, плетеными из соломки сумками. Как могут они, подумал я, покупать книги? И тем не менее вот она – маленькая книжная лавка: полки в витрине, коричневые корешки книг... Справа большой магазин выкатил на улицу свою баснословно дешевую мебель. Слева занавешенные, скромные окна ресторанчика извещали неровными белыми буквами о достоинствах шестипенсовых обедов. Между ними – такая узкая, что почти не отделяла пищу от мебели, – эта маленькая лавка. Дверь и четыре фута темного окна – вот и вся ширина ее фасада. Видно было, что литература здесь – это роскошь, и в этом царстве нужды она заняла соответствующее место. И все же утешало то, что она выжила, несомненно выжила.

Владелец лавки стоял в дверях – невысокий человек с седеющей бородой и очень живыми глазами, которые внимательно смотрели из-за стекол очков, оседлавших его длинный острый нос.

– Хорошо идет торговля? – поинтересовался я.

– Во времена моего дедушки была лучше, – ответил он, печально покачав головой.

– Мы постепенно становимся мещанами, – высказал я предположение.

– Это все наша дешевая пресса. Преходящее вытесняет вечное, классическое.

– Эти газеты, – согласился я, – или, лучше сказать, эти ежедневные дозы банальнейших слов – проклятье нашего века.

– Годаются только для... – Он сделал жест сжатыми руками, словно подбирал нужное слово.

– Для растопки.

Старик торжествующе и выразительно ответил:

– Нет, для канализации.

Я сочувственно засмеялся.



— Приятно, что мы сходимся во взглядах, — сказал я. —
Разрешите немного покопаться в ваших сокровищах.

Внутри лавки стоял полумрак, насыщенный запахом старой кожи и той удивительной, едва видимой пыли, которая оседает на страницах забытых книг, словно оберегая их тайны, точно сухой песок азиатских пустынь, под которым — до сих пор поразительно сохранившиеся — лежат сокровища и хлам тысячелетий. Я открыл первый попавшийся том. Это был альбом мод, тщательно раскрашенный от руки в красно-



Разнощица Календарей и Журналовъ
Une femme vendant des Calendriers et des Journaux
Ein Weib welches Kalender und Journale herumträgt

Разнощица календарей
и журналов. «Волшебный
фонарь» — ежемесячное
издание в 1817 г.
в Санкт-Петербурге.

вато-лиловые и фиолетовые, темно-бордовые, пурпурно-красные, красновато-коричневые цвета и в те нежные оттенки зеленого, которые поколение, жившее еще раньше, называло «Страдания Вертера». Красавицы в кринолинах плыли

по страницам, словно корабли с поднятыми парусами. Их туфельки – тонкие, плоские, черные, как листочки чайного куста, – стыдливо выглядывали из-под юбок. Овальные лица, обрамленные черными блестящими волосами, выражали незапятнанную чистоту. Я вспомнил наших нынешних манекенщиц с их высокими каблуками и крутым подъемом ноги, с их разглаженными лицами и вытянутыми в приглашающей улыбке губами. Трудно отказаться от впечатления, что все меняется к худшему.



Рисунок Р. Сифла.

Мое воображение легко разжигают символы: во мне есть что-то от Куорлза *. Не обладая философским складом ума, я предпочитаю воплощать мои абстрактные выводы в конкретные образы. И мне пришла в голову мысль, что если бы я захотел найти образ, чтобы передать святость брака и прочность семейных уз, то не смог бы выбрать ничего лучше, чем две маленькие черные туфельки, благопристойно выглядывающие, как чайные листья, из-под кромки широких, закрывающих ноги юбок. А высокие каблуки и крутой подъем символизируют – ну, в общем, нечто противоположное.

Течение моих мыслей прервал голос старика.

– Вы, я полагаю, интересуетесь музыкой? – сказал он.

– О да, немного. – И он протянул мне объемистый фолиант.

– Слышали это когда-нибудь? – спросил он.

– «Роберт-Дьявол» *. Нет, никогда не слышал. Это, без сомнения, пробел в моем музыкальном образовании.

Старик взял книгу и вытащил стул из темных таинственных глубин лавки. Только тогда я осознал удивительный факт: то, что я с первого взгляда принял за обычный прилавок, оказалось небольшим пианино какой-то прямоугольной, странной формы. Старик сел за инструмент.

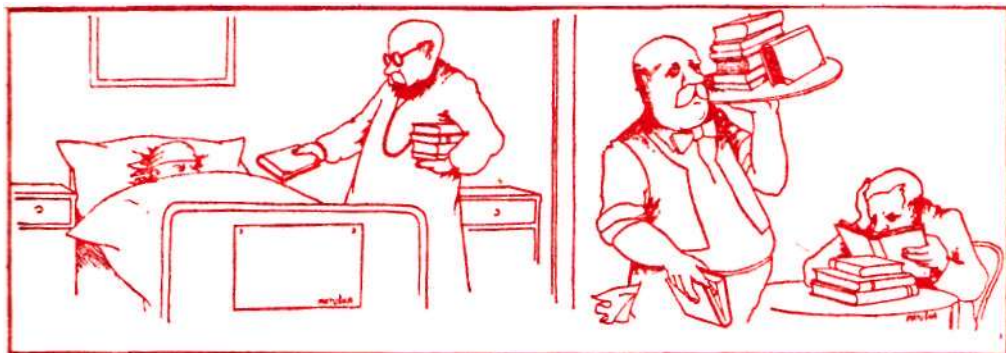
– Вы должны простить, что оно не очень хорошо настроено, – сказал он, поворачиваясь ко мне. – Это один из

первых «бродвудов», георгианской эпохи *, и, конечно, немало послужил за сто лет.

Он поднял крышку, и на меня оскалились желтые клавиши, словно зубы старой лошади.

Старик шелестел страницами, отыскивая нужное место.
– Балетная музыка, – сказал о н . – Отличная. Послушайте-ка вот это.

Его костлявые, немного трясущиеся руки вдруг начали двигаться с удивительной живостью, и полилась дрожащая



Рисунки П. Матушкин.
1983.

и слабая на фоне уличного грохота веселая танцевальная музыка. Инструмент заметно дребезжал, звук из него лился, как высыхающий ручеек, но все же он держал строй, и мелодия была слышна – легкая, словно окутанная дымкой.

– А теперь – застольную! – вскричал старик, все больше увлекаясь. Он взял несколько аккордов, которые, модулируя, поднимались все выше и выше до критической точки – настолько по-оперному, что это звучало пародией того напряженного момента, когда певцы собираются с духом, готовясь к взрыву чувств. И вот он грянул, хор гуляк. И перед глазами возникли воины в плащах, предающиеся необузданному веселью над пустыми картонными флягами.

Versiam'a tazza piena
Il generoso umor...!

Голос у старика был хриплый и резкий, но его энтузиазм восполнял этот недостаток. Никогда в жизни не видел я такого настоящего бражника.

Он перевернул еще несколько страниц.

– А, «Дьявольский вальс»! Это хорошо.

Последовало небольшое грустное вступление, а затем мелодия, не такая, быть может, дьявольская, как можно было ожидать, но все же достаточно приятная. Глядя через его плечо на слова, я запел под его аккомпанемент:

Наполняя чаши до	1	Роковые демоны,
краев		Ужасные призраки,
Благородным зельем...		Из преисподнего цар-
(ит.).		ства
2		Аплодируйте синьору
		(ит.).

Demoni fatali
Fantasmi d'orror,
Dei regni infernali
Plaudite al signor'.

Не хотел бы показаться нескромным, но, думается, в моих фильмах есть то, что характерно для произведений Эдгара Аллана По: мы оба рассказываем совершенно невероятные истории с такой завораживающей логикой, что у читателя или зрителя возникает ощущение, будто нечто подобное буквально завтра может случиться с ним самим. Это ключевой момент, ведь просто необходимо заставить читателя или зрителя поставить себя на место персонажа, поскольку людям в конце концов интересны только они сами или то, что с ними самими может произойти.

Альфред Хичкок

Огромный грузовик с паровым двигателем, везущий цистерну пива, с шумом проехал мимо и своим убийственным громом совершенно заглушил последнюю строчку. Пальцы старика продолжали бегать по желтым клавишам, я открывал рот и выкрикивал что-то, но ни слов, ни музыки не было слышно, словно роковые демоны, ужасные призраки внезапно вторглись в этот мирный, уединенный уголок.

Я посмотрел сквозь узкую стеклянную дверь. По улице безостановочно шел поток автомобилей. Прохожие торопливо двигались с застывшими лицами – ужасные призраки, все, обитающие в царстве дьявола. Там, снаружи, люди жили под игом вещей. Все их действия определялись чисто материальными соображениями, деньгами, а также инструментами их ремесла и бездумными законами обычаев и условностей. Но здесь я, казалось, был свободен от власти вещей, пребывал в некотором отдалении от действительности – здесь, где бородатый старик, невероятный пережиток каких-то иных времен, наперекор всему исполнял романтическую музыку, несмотря даже на тот факт, что ужасные призраки время от времени заглушали ее звуки своим воем.

– Ну как? Возьмете? – Голос старика прервал мои мысли. – Отдам вам за пять шиллингов.

Он протягивал толстый ветхий том, глядя на меня с тревожным ожиданием. Видно было, как хотел он получить мои пять шиллингов, как они нужны были ему, бедняге. Он просто, подумал я с несправедливым упреком, – он просто, словно ученая собака, разыгрывал передо мной спектакль, чтобы потешить меня. Его непохожесть на окружающих, его культура – все это лишь прием торговца. Он всего лишь один из ужасных призраков, надевший на себя маскарадный костюм ангела в этом несколько комичном созерцательном рае. Я дал ему две полукроны, и он начал завертывать книгу в бумагу.

– Признаюсь в а м , – сказал о н , – мне жаль с ней расставаться. Я, знаете ли, привязываюсь к моим книгам. Но их всегда приходится отдавать.

Он вздохнул с таким неподдельным чувством, что я раскаялся в приговоре, который только что ему вынес. Он был невольным обитателем царства дьявола, как, впрочем, и я сам.

На улице уже начали выкрикивать заголовки вечерних газет: потоплен корабль, захвачены траншеи противника, кто-то произнес волнующую речь... Мы молча взглянули друг на друга – старый торговец книгами и я. Мы понимали друг друга без слов. Он и я в частности и человечество в целом – все мы жили в век торжества вещей. В этой продолжающейся бойне, где погибали люди, в этой вынужденной жертве, которую принес с т а р и к , – в том и другом случае одинаково торжествовала материальность. И, шагая домой через Риджентс-парк, я тоже обнаружил, что не могу избавиться от власти материальности.

Книга, которую я купил, оказалась чрезмерно тяжелой, да и что я буду делать с клавиром «Роберта-Дьявола», когда принесу его домой? Это будет лишь еще одна вещь, отяго-

шающая меня и мешающая мне. А пока что она была очень – о, ужасно – тяжелой. Я перегнулся через перила, ограждавшие декоративный пруд, и, стараясь не привлекать к себе внимания, бросил книгу в кусты.

Я часто думаю о том, что лучше не пытаться решать проблемы бытия. Жизнь достаточно трудна и без того, чтобы еще усложнять ее, думая о ней. Самое мудрое, быть может, принимать безропотно «печальную судьбу людей, рожденных под знаком одного закона, но обязанных жить по другому» *, и на этом оставить все, не пытаясь примирить непримиримое. О нелепые проблемы! А я, кроме того, понапрасну истратил пять шиллингов – серьезное, конечно, дело в наши тяжелые времена.

1920

ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

Жеманницы былых годов,
Читательницы Ричардсона!
Я посетил ваш ветхий кров,
Взглянув с высокого балкона.

На дальние луга, на лес,
И сладко было мне сознание,
Что мир ваш навсегда исчез
И с ним его очарование.

Что больше нет в саду цветов,
В гостиной – нот на клавишине,
И вечных вздохов стариков
О матушке-Екатерине.

Рукой не прикоснулся я
К томам библиотеки пыльной,
Но радостен был для меня
Их запах, затхлый и могильный.

Я думал: в грустном сем краю
Уже полвека всё пустует.
О, пусть отныне жизнь мою
Одно грядущее волнует!

Блажен, кто средь разбитых урн,
На невозделанной куртине,
Прославит твой полет, Сатурн,
Сквозь многозвездные пустыни!

*Разве
в сегодняшних
книгах кипят
страсти или
угадываются
истины книг
первых
четырнадцати
лет нашей
жизни?*

ПОТЕРЯННОЕ ДЕТСТВО

Наверное, только в детстве книги производят на нас неизгладимое впечатление. Потом мы приходим в восторг, развлекаемся, можем изменить взгляды, которых придерживались, но чаще находим в книгах всего лишь подтверждение тому, что уже знаем. В них, как в любви, нам льстит наше отражение в чужих чертах.

В детстве же все книги – откровения, и, подобно гадалке, читающей в картах дальнюю дорогу или смерть от воды, они предсказывают наше будущее. Потому, вероятно, они нас так и волнуют. Разве в сегодняшних книгах кипят страсти или угадываются истины книг первых четырнадцати лет нашей жизни? Меня, конечно, не оставит равнодушным известие о том, что скоро напечатают новый роман Э. М. Форстера, но это спокойное предвкушение цивилизованного удовольствия не идет ни в какое сравнение с замиранием сердца и исступленной радостью, которую я испытывал, снимая с библиотечной полки новый, еще не читанный мною роман Райдера Хаггарда, Перси Вестермана, Капитана Бреретона или Стэнли Веймана. И когда я вспоминаю решающий миг, который определил весь мой последующий путь к смерти, то переношусь в те далекие годы.

Я отчетливо помню, словно ключ внезапно повернулся в замке, как я понял, что умею читать – не слова из букваря, разбитые на слоги, как железнодорожный состав на вагоны, а настоящую книгу. С бумажного переплета на меня смотрел связанный, с кляпом во рту юноша. Он висел на веревке в колодце, и вода доходила ему до пояса. Это был сыщик Диксон Бретт.

Я хранил свое открытие в тайне все лето, мне не хотелось, чтобы кто-нибудь узнал о нем. Наверное, уже тогда я догадывался, что это опасный момент. Пока я не умел читать, мне ничто не угрожало: колеса еще не пришли в движение. А теперь будущее обступило меня со всех сторон книгами на полках, ожидая, когда я его выберу. Мне предстояло вытянуть жизнь бухгалтера или колониального чиновника, плантатора в Китае или банковского клерка, счастье, горе и, наконец, уготованную мне смерть, ибо ее, как и работу, мы выбираем сами. Она складывается из наших поступков и маленьких хитростей, из страха и мгновений мужества. Вероятно, моя мать догадывалась о моем открытии, потому что, когда мы сели в поезд, которым возвращались домой после летнего отдыха, она положила мне на колени «Коралловый остров» Баллантайна, где была всего одна картинка, правда, цветная, на фронтиспise. Я не выдал себя. Всю дорогу я смотрел на картинку и ни разу не открыл книгу.

Однако дома на полках (их было очень много, потому что семья наша была большой) меня ждали книги, особенно одна, но, прежде чем я достану ее вон оттуда, снизу, позвольте мне наугад вытащить несколько других. Каждая из них была магическим кристаллом, в котором очарованный ребенок видел движение жизни. Вот здесь, под раскрашенной в яркие цвета обложкой летает «Пиратский аэроплан» Капитана Гилсона. Я читал эту книгу раз шесть, не меньше. Это была история о затерянной цивилизации в Сахаре и



У. Даис. Мадонна с ребенком.

о злом янки-пирате, у которого был аэроплан, не отличавшийся от воздушного змея, и бомбы величиной с теннисный мяч. Янки потребовал огромный выкуп, но золотой го-

род был спасен героем, молодым офицером, который пробрался в лагерь противника и сломал аэроплан. Героя поймали, и он смотрел, как враги копают ему могилу. Его должны были расстрелять на рассвете, и, чтобы скоротать время и отвлечь героя от тяжелых мыслей, добродушный янки-пират сел играть с ним в карты. Воспоминание об этой ночной игре на краю могилы преследовало меня долгие годы, пока я не избавился от него, вставив в один из своих романов сцену игры в покер в отдаленно похожей ситуации.



*Рисунок
М. Златковского.*

*М. да Караваджо.
«Апостол Матфей
с ангелом». 1602.*



А вот «Софья Кравонская» Энтони Хоупа – история судомойки, ставшей королевой. Один из первых увиденных мною фильмов (кажется, в 1911 году) был сделан по этой книге, и я до сих пор слышу гроыхание пушек, вкатываемых на Кравонский перевал, обозначенное гулками фортепьянными аккордами. За «Софьей» последовала «История Фрэнсиса Кладда» Стэнли Веймана и только потом – «Копи царя Соломона», главная книга тех лет.

Возможно, миг, когда я снял ее с полки, и не был решаю-

Способность читать по-настоящему встречается нечасто, и далеко не всем ясно, в чем она состоит. Состоит же она прежде всего в шифре ума — в том, я бы сказал, счастливом умении, которое позволяет человеку легко признать, что он не во всем прав или что тот, с кем он не согласен, не во всем не прав. Он может исповедовать определенные взгляды, исповедовать их страстно, и может при этом понять, что другие тоже исповедуют эти взгляды, но отнюдь не столь горячо, или по-иному, или вовсе их не разделяют. Так вот, если он наделен читательским даром, иные взгляды окажутся для него полны значения. ...Как раз на том, что вновь для нас, что кажется нам оскорбительно фальшивым либо

щим, но он, вне всякого сомнения, повлиял на мое будущее. Если бы не романтическое повествование об Алане Квотермейне, сэре Генри Куртисе, капитане Гуде и, наконец, старой ведьме Гагуле, разве обратился бы я, девятнадцатилетний, в Министерство колоний с просьбой взять меня на службу в Нигерийский флот? Да и позже, когда я уже все понимал, выдуманная Африка поманила меня снова, и в 1935 году я очнулся от приступа лихорадки на походной кровати в либерийской деревне. Передо мной в бутылке из-под виски догорала свеча, в темноте возилась крыса. Если бы не этот неизлечимый восторг перед Гагулой и ее лысым, желтым черепом, на котором кожа сжималась и растягивалась, как капюшон у кобры, я не проторчал бы весь 1942 год в крошечном душном офисе во Фритауне, Сьерра-Леоне. Не так уж много общего между Страной Кукуанов, лежащей позади пустыни и Гор царицы Савской, и крытым жестью домиком, сидящим посреди топкой лужи, где гуляли, словно индюки во дворе, ястребы и собаки, будившие меня по ночам своим воем, и который белые женщины, пожелтевшие от атебрина, объезжали по дороге в клуб. Но все-таки оба эти места располагались на одном континенте и даже, хотя и отдаленно, в одном отрезке воображения — там, где вслепую идешь по чужой земле. Однажды ночью в Зигите, на границе Либерии с Французской Гвинеей, я подошел к Гагуле и ее преследователям немного ближе: мои слуги убежали в дом и отвернулись от окон, заслонив глаза ладонями, где-то стучал барабан, и весь город сидел взаперти, пока по нему расхаживал злой дух, взглянуть на которого значило ослепнуть.

Но эта книга не могла помочь по-настоящему. В ней не было нужного ответа. Ключ плохо входил в замок. Гагулу я представлял ясно, ведь она каждую ночь поджидала меня во сне — между комодом и дверью в детскую. Она и теперь ждет, пока я устану или заболею, только сегодня на ней теологические одежды Отчаяния и изъясняется она словами Спенсера:

Я дольше жил и ведал больший грех,
За больший грех достоин злейшей кары*.

Да, Гагула по-прежнему живет в моем воображении, а вот Квотермейн и Куртис... Даже в десять лет эти герои казались мне чересчур хорошими. Они были настолько цельными и неуязвимыми, что и ошибки-то делали лишь затем, чтобы показать, как их можно преодолеть. Неуверенный в себе ребенок не мог надежно прислониться к их монументальным плечам. В конце концов ребенок знает почти все, у него только нет своей позиции. Ему ведомы и трусость, и стыд, и обман, и разочарование. Сэр Генри Куртис, который, истекая кровью, отбивает с остатками Серых атаки бесчисленных войск Твалы, был слишком храбрым героем. Такие люди напоминают мне идеи Платона: они не годятся для той жизни, которой мы живем.

Но когда я — не знаю, на счастье или на беду — снял в четырнадцать лет с библиотечной полки «Миланскую гадуку» мисс Марджори Боуэн, участь моя была решена.

*весьма опасным,
и испытывается
наш читательский
дар. Если человек
пытается
разобраться в этом
новом, понять,
какие истины в нем
заклочены, значит,
он наделен
читательским даром
и пусть его читает
и дальше. А вот
если он только
обижен в своих
чувствах, оскорблен,
негодует,
возмущается
глупостью автора,
тогда ему лучше
обратиться
к ежедневным
газетам —
читателя
из него не выйдет.*

Роберт Луис Стивенсон

С этого момента я начал писать, а будущий чиновник, преподаватель или клерк отправились искать себе другую оболочку. Подражая автору этого великолепного романа, я сочинил множество историй, невероятно жестоких и безудержно романтических, действие которых происходило в Италии шестнадцатого века или в Англии двенадцатого. Мои тетради разбухли от них. Может показаться, что меня раз и навсегда снабдили замыслом для работы.

Почему? На первый взгляд «Миланская гадюка» — это история вражды миланского герцога Джана Галеаццо Висконти и Мاستино делла Скала, герцога Веронского, изложенная энергично, живо и на удивление осязаемо. Почему же она, прокравшись в ужасный школьный мир каменных ступенек и никогда не затихавшей спальни, расцветила и объяснила его? В этом реальном мире не хотелось воображать себя сэром Генри Куртисом, ребенку легче было спрятаться за маской делла Скала, отбросившего бесполезное благородство, изменившего дружбе и умершего обесчещенным, неудачником даже в предательстве. А Висконти, прекрасного и терпеливого гения зла, я видел каждый день. Он ходил мимо меня, и от его черного костюма пахло нафталином. Звали его Картер. Он излучал ужас, как туча с градом, плывущая на молодые побегги. Добро только однажды нашло идеальное воплощение в человеческом теле, это больше не повторится, а зло всегда находит себе в нем пристанище. Человеческая природа не черно-белая, а черно-серая. Я прочел это в «Миланской гадюке», посмотрел вокруг и увидел, что так оно и есть.

Там же я нашел еще одну тему. В конце «Миланской гадюки» (вы ее наверняка помните, если хоть раз прочли книгу) есть грандиозная сцена. Полный успех, делла Скала мертв, Феррара, Верона, Новара, Мантуя пали, каждую минуту прибывают гонцы с вестями о новых победах, мир рушится, а Висконти сидит себе и посмеивается, освещенный багровым светом. Я не был силен в классической литературе, и поэтому сознание обреченности успеха, чувство, что маятник вот-вот качнется в обратную сторону, пришло ко мне, когда я читал мисс Боуэн, а не древнегреческих авторов. Это тоже было очевидно. Я посмотрел вокруг и везде увидел обреченных: чемпиона по бегу, который однажды осядет на землю у самой финишной ленты, директора школы, который расплачивается за свое место сорока годами унылой, однообразной жизни, ученого... И если на горизонте, пусть смутно, брезжил успех, то следовало молиться, чтобы неудача не заставила ждать себя слишком долго.

Четырнадцать лет я жил в джунглях без карты, и когда увидел дорогу, то, естественно, пошел по ней. И все-таки мне кажется, что желание писать возникло у меня в конечном итоге под влиянием той чудесной живости, которой пронизана книга мисс Боуэн. Читая ее, вы не сомневаетесь, что писать — значит радоваться, а о том, что ошиблись, узнаете слишком поздно — первая книга действительно радует. В общем, свою формулу я вычитал у мисс Боуэн (позднее религия объяснила мне ее иначе, но формулу-то я уже знал):

идеальное зло ходит по земле, на которую никогда больше не ступит идеальное добро, и только маятник дает надежду, что когда-нибудь, в конце, справедливость восторжествует. Человек всегда недоволен, и я часто жалею, что моя рука не успокоилась на «Копях царя Соломона» и что я не снял с полки в детской будущее колониального чиновника в Сьерра-Леоне – двенадцать малярийных сроков службы с черной лихорадкой под занавес, чтобы не было страшно выходить на пенсию. Но что толку в мечтах? Книги всегда рядом, решающий миг не за горами, и теперь уже наши дети снимают с полок свое будущее и листают его страницы. А. Е. сказал в «Жерминале»:

Как много из сумрачных далей
Во взрослую жизнь ты принес:
Там зрели картины геройства,
Трагедий и слез.
В потерянном детстве Иуды
Был предан Христос`.

1947

ГЕРМАНИЯ

ГЕНРИХ

1871–1950

МАНН

*Книги требуют
действий.*

КНИГИ
И ДЕЛА



*«Кабинет Фауста»
в Государственной
Публичной библиотеке им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина
в Ленинграде.*

Эти годы, когда обогатились, по-видимому, лишь немногие, все же многим принесли непреходящую ценность, большую, чем военные прибыли. Они, эти годы, приучили людей к чтению. Теперь книги покупают, книжная торговля процветает. Большинство впервые нашло для книг и деньги и время. Увеселения стали редкими и короткими, их сразу же оплачиваешь, раньше возвращаешься домой и тут замечаешь: работа, которая прежде служила отговоркой и оправданием, никогда не была истинной помехой для чтения, развлечение – вот что мешало.

Теперь люди начали задумываться, и тот, кто хочет разобраться в себе самом, охотно находит путь к книгам. Вскоре он начинает понимать: в каждой книге человек идет своим путем, от одной жизненной цели к другой. И читатель, сле-

дящий за его судьбой, как бы дает себе обет: он также должен познать мир и затем жить в соответствии с приобретенным опытом.

Книги требуют действий.

На фронте многие читали «Волю к власти». Понимали ли они эту книгу?

Молодые солдаты Бонапарта носили в своих ранцах томик Вольтера. Они понимали: этот человек не может быть другом ненавистных им тиранов, ибо он учит их, солдат,



*Экслибрис работы
И. Гёте.*

*«Доктор Иоганн Фауст
и Мефистофель».
Гравюра XVIII в.*



разуму. Правильно понять — это все. Вас могут увековечить лишь те дела, которые соответствуют глубоким мыслям ваших великих книг. Велики же те книги, которые повествуют о делах подлинных.

В прошлом году мы праздновали трехсотлетний юбилей со дня смерти Сервантеса. «Дон Кихот» — роман о вымышленных людях и событиях, и все же каждый день можно наблюдать подобные же события и характеры; уже целых триста лет во всех странах мира почти для всех, кто когда-нибудь прочел хоть одну книгу, этот роман стал сокровищницей опыта. Почему именно «Дон Кихот»? Почему этот роман помнят даже старики, а дети переживают вместе с Дон Кихотом?

Ребенок держит в руках первую книгу, которую он читает: сам «Дон Кихот» с иллюстрациями Доре. На одной из иллюстраций изображен рыцарь в рубахе, пробивающийся с поднятым мечом в руках через погребок, в котором лежат бурдюки с вином. Эти бурдюки и есть враг: толстые, перекрученные, красные, как вино, и злые, словно чьи-то морды, они не похожи на обычные. Ребенку, который читает книгу,

они кажутся такими же страшными и опасными врагами, как и самому рыцарю. Ребенок этот на стороне Дон Кихота, и приключения рыцаря меньше всего кажутся ему смешными. Дон Кихот вовсе не смешон, он и в прошлом совсем не был смешон для детей, а современники, когда они узнавали себя, тоже, наверное, смеялись, только смеялись тихо и немного печально. Король Испании, вероятно, ошибся, и студент, который так смеялся, сидя на скамье перед замком, читал не «Дон Кихота» *, или он был уж очень глупый юнец. Ребенок, чьей первой книгой был «Дон Кихот», несколькими годами позже узнает, что автор книги тоже был воином, больше того, воином особого склада; ведь трудно себе представить, что человек, написавший такую книгу, действительно участвовал в войне. И если Сервантес жил, поступал и действовал с полной серьезностью, то как мог он сохранить душевные силы, чтобы вместе с Рыцарем Печального Образа стремиться духовно облагородить жизнь? Читатель, который еще недавно был ребенком, понимает теперь, что война, из-за которой Сервантес стал калекой и даже попал в рабство *, была войной ради денег и богатства, как и все другие войны, но для Дон Кихота эта война все же была чем-то большим: война с Турцией, крестовые походы казались ему войнами за спасение нашей европейской совести, которая тогда называлась католицизмом. Поэтому Дон Кихот и в страсти, и в разочаровании был лишь таким же, как сам автор; они были достойны друг друга, и Сервантес создал свое великое творение, еще участвуя в войне и переживая ее. Так появляется великая книга. Бывают такие войны и такая жизнь, которые становятся непрерывной войной духа, и тогда, как плод этой войны и жизни, рождается великая книга. Что в конце концов остается, так это книга.

Только духовную жизнь и войны духа мы и должны вести.

Одно из самых прекрасных воспоминаний собирателя — миг, когда он поспешил на помощь книге...

Я РАСПАКОВЫВАЮ СВОЮ БИБЛИОТЕКУ

(РЕЧЬ СОБИРАТЕЛЯ КНИГ)

Я распаковываю свою библиотеку. Да. Так что она еще не стоит на полках, ее еще не обволокла тихая скука порядка. Я еще не могу шагать вдоль рядов ее полок, чтобы в присутствии дружелюбных слушателей принимать у нее парад. Всего этого вам нечего опасаться. Я должен просить вас вместе со мной устроиться в насыщенной древесной пылью комнате, среди беспорядочно вскрытых ящиков, на покрытом обрывками бумаги полу, перед грудями только что извлеченных на свет божий из двухлетней темноты томов, чтобы вы могли с самого начала немножко проникнуться отнюдь не элегическим, а скорее нетерпеливым настроением, которое они вызывают у истинного собирателя. Ибо именно таковой говорит с вами, и говорит, в общем-то, главным образом о себе. Не будет ли это нахальством, если, прикрываясь мнимой объективностью и деловитостью, я стану перечислять вам главные книги или главные разделы библиотеки, излагать историю их приобретения, а то и доказывать их полезность для писателя? Я, во всяком случае, отважился на нечто более откровенное, убедительное со следующими словами: мне очень хочется дать вам представление об отношении собирателя к своему собранию, дать представление скорее о собирателе, чем о его собрании. Совершенно произвольно я делаю это на основе рассуждения о различных способах приобретения книг. Подобная установка или любая другая — это лишь плотина, укрощающая океанский прилив воспоминаний, который накатывается на каждого собирателя, занимающегося дорогим его сердцу делом. Ведь всякая страсть граничит с хаосом, страсть же собирателя граничит с хаосом воспоминаний. Скажу больше: случай, судьба, окрашивающие перед моим взором прошлое, явственно ощутимы в мешанине этих книг. А чем иным является это имущество, как не беспорядком, настолько входящим в привычку, что может восприниматься как порядок? Вы уже слышали о людях, которые при потере своих книг заболевают, или о людях, которые идут на преступление, лишь бы добыть ту или иную книгу. Любой порядок именно в этой области есть не что иное, как неустойчивое балансирование над пропастью. «Единственно достоверные сведения, — сказал Анатолий Франс, — это сведения о годе издания и формате книги». В самом деле, если есть нечто противоположное беспорядочности библиотеки, то это упорядоченность ее каталога.

Таким образом, существование собирателя диалектично протекает между полюсами беспорядка и порядка. Оно, естественно, связано еще и со многими другими обстоятельствами. С очень таинственным отношением к обладанию,

о чем в дальнейшем еще будет сказано. Затем — с отношением к вещам, которое определяется не функциональной ценностью, то есть их полезностью, практической пригодностью, а любовным изучением их как арены действия, театра судьбы. Величайшее наслаждение для собирателя — включить единичное во всеобщую сферу, в которой оно, содрогнувшись в последнем трепете, трепете приобщения, и застывает. Все, о чем оно напоминает, какие мысли, чувства вызывает, — все это становится цоколем, обрамлением,



«Издатель у пазорного столба». Гравюра XVIII в.

постаментом, затвором для приобретенного. Эпоха, ландшафт, профессия, владелец, от которого оно перешло, — все это для истинного собирателя делает каждый предмет обла-

дания магической энциклопедией, чье содержание составляет судьба его экспоната. Здесь, на этом маленьком поле, можно строить догадки о том, каким образом великие физиономисты – а собиратели и есть физиономисты вещного мира – превращаются в толкователей судеб. Стоит понаблюдать, как обращается собиратель с экспонатами своей витрины. Едва он берет их в руки, он словно вдохновенно проникает взором раскрывшиеся перед ним дали. Это все, что я могу сказать о магическом свойстве собирателя, об исконно



*Памятник в Брауншвейге
И. Ф. Пальму,
книгопродавцу, казнённому
по распоряжению
Наполеона I.*

У книг своя судьба
(лат.).

присущем ему облике старца. *Habent sua fata libelli* – видимо, эта фраза относится к книгам вообще. Книги, то есть «Божественная комедия», или «Этика» Спинозы, или «Происхождение видов», имеют свою судьбу. Собиратель же по-другому толкует эту поговорку. Для него судьбу имеют не книги, а экземпляры. И важнейшее в судьбе каждого экземпляра для него – это столкновение с ним самим

и собранием его книг. Я не преувеличиваю: для истинного собирателя приобретение старой книги означает ее второе рождение. Это и есть то детское восприятие, которое свойственно старческому характеру собирателя. Для детей обновление бытия – стократное, само собою разумеющееся дело. Для детей собирать предметы – лишь *одни* из способов обновления, другой – раскрашивать их, вырезать, переводить картинки, у них целая шкала детских способов присваивания, начиная с осознания и наименования предметов. Обновить старый мир – это глубочайший мотив, движущий собирателем в раздобывании нового, и потому собиратель старинных книг стоит ближе к роднику собирания, нежели покупатель библиофильских переизданий.

Несколько слов о том, как книги переступают порог собирания, как они становятся собственностью собирателя, короче говоря – об истории их приобретения.

Из всех способов добывания книг наиболее славный – самому их писать. Многие из вас на этом месте с удовольствием вспомнят большую библиотеку, которую составил себе бедный учительишка Вуц Жана Поля *: он выписывал из каталогов интересующие его заглавия книг, которых не мог купить, и под этими заглавиями сам их писал. Писатели – это, собственно говоря, люди, пишущие книги не потому, что бедны, а потому, что их не удовлетворяют книги, которые они купили и тут же отвергли. Это определение писателя вы, уважаемые дамы и господа, сочтете чудачеством, но ведь все, что говорится с точки зрения истинного собирателя, является чудачеством.

Из распространенных способов собирания наиболее приятный – одолжить книгу и не вернуть ее. Завзятый собиратель одолженных книг отличается не столько одержимостью, с которой он охраняет свое собранное таким способом сокровище, оставаясь глухим ко всем неустанным напоминаниям и предупреждениям, сколько тем, что не читает этих книг. Поверьте моему опыту: такой собиратель скорее вернет одолженную книгу, чем прочитает ее. Так, значит, спросите вы, характерная черта собирателя – не читать книг? Вот так новость! Вовсе нет. Компетентные люди вам подтвердят, что это старая истина, и я приведу здесь ответ, который Франс держал наготове для невежды, восхищавшегося его библиотекой и неизменно кончавшего вопросом: «И все это вы прочитали, господин Франс?» «Даже и десятой доли не прочел. Разве вы каждый день пользуетесь своим севрским сервизом?»

Кстати, я проверил это на себе. В течение многих лет – не менее трети ее существования – моя библиотека состояла из двух-трех рядов, которые ежегодно увеличивались лишь на несколько сантиметров. Это была эпоха ее боеготовности, ни одна книга не могла преступить ее порог без пароля, не будучи прочитанной мною. И я, вероятно, никогда не стал бы обладателем того, что заслуживало бы наименования библиотеки, не будь инфляции, которая одним махом перенесла акцент на вещи, превратила книги в ценность, по меньшей мере в труднодоступные предметы. Так, во всяком слу-

чае, казалось в Швейцарии. Оттуда я действительно в последний момент сделал свои первые крупные заказы на книги и смог подобрать такие незаменимые вещи, как «Голубой всадник» или «Сагу о Танаквиле» Бахофена, которые тогда еще можно было достать у издателя.

Ну, теперь, думаете вы, после стольких зигзагов, пора наконец выйти на широкую дорогу приобретения книг, каковой является их покупка. Да, конечно, это широкая дорога, но отнюдь не удобная. Собирателю покупает книгу совсем не так, как покупает студент в книжной лавке учебник или светский человек, намеренный сократить себе очередную железнодорожную поездку. Самые свои замечательные покупки я сделал в поездках, мимоходом. Обладание и овладение сопряжены с тактикой. Собиратели – люди с тактическим инстинктом; они по опыту знают, что при завоевании чужого города самая маленькая антикварная лавка может оказаться фортом, самый дальний писчебумажный магазинчик – ключевой позицией. Сколько городов открылось мне вовсе не в тех походах, в которые я отправился на завоевание книг!

*Сегодняшние книги
являются
завтрашними
поступками.*

Генрих Манн

Конечно, лишь часть важных покупок совершается при посещении книжных лавок. Гораздо большую роль играют каталоги. И как бы хорошо ни знал покупатель книгу, которую он заказывает по каталогу, она всегда окажется для него сюрпризом, а заказ ее – азартной игрой. Наряду с печальными разочарованиями здесь бывают и счастливые находки. Помню, например, как я однажды заказал книгу с красочными иллюстрациями для своего старого собрания детских книг только потому, что в ней были сказки Альберта Людвига Гримма, а место издания ее – Гримм в Тюрингии. Но в Гримме вышла только книга басен, которую издал как раз этот Альберт Гримм. И экземпляр этой книги басен, которым я овладел, с ее шестнадцатью иллюстрациями – единственное, что сохранилось от начала творчества великого немецкого иллюстратора Лизера, который жил в середине прошлого века в Гамбурге. Таким образом, моя реакция на созвучие имен была точной. Здесь я снова обнаружил работы Лизера – его произведение «Книга сказок Лины», которое было неизвестно всем его библиографам и заслуживает более подробного комментария, чем эта моя первая ссылка.

При добывании книг дело никоим образом не заключается только в деньгах или только в компетентности. Того и другого, даже вместе взятых, недостаточно для создания настоящей библиотеки, которая всегда содержит в себе нечто таинственное и неповторимое. Тот, кто покупает по каталогам, должен, кроме всего прочего, обладать тонким чутьем. Даты, названия местностей, форматы, прежние владельцы, переплеты и т. д. – все это должно ему что-то говорить, и не просто в тощей самосущности, а в совместном созвучии, и по гармоничности и остроте этого созвучия он должен уметь распознать, «его» это книга или нет.

Совсем иных способностей требует от собирателя аукцион. Читающему каталог многое говорит сама книга и, во

всяком случае, имя прежнего владельца, если известно происхождение экземпляра. Участник аукциона должен сосредоточить свое внимание в равной мере и на книге, и на конкуренте, а кроме того, еще и сохранять достаточно трезвую голову, чтобы не увлечься, как это все-таки повседневно происходит, конкурентной борьбой и не оказаться последним с высокой закупочной ценой, названной больше во имя престижа, чем ради самой книги. Одно из самых прекрасных воспоминаний собирателя – миг, когда он поспешил на помощь книге, которую, может быть, никогда в жизни не только не желал, но о которой и не думал, – только потому, что она стояла на открытом базаре и выглядела такой покинутой и брошенной, и приобрел ее, подобно принцу из сказок тысячи и одной ночи, выкупившему прекрасную рабыню и выпустившему ее на свободу. Ведь для каждого собирателя истинная свобода книг – где-то на его книжных полках.

Еще и сегодня в моей библиотеке над длинными рядами французских томов высятся как памятник моим самым волнующим аукционным переживаниям «Шагреновая кожа» Бальзака. Это было в 1915 году на аукционе Рюманна у Эмиля Хирша, одного из величайших знатоков книги и благороднейшего торговца. Книга, о которой идет речь, вышла в 1838 году в Париже. Взяв ее в руки, я увидел не только номер рюманновского собрания, но и ярлычок книжной лавки, свидетельствующий, что девяносто с лишним лет назад первый покупатель приобрел ее примерно за восьмидесятью частью нынешней цены. На нем обозначено: магазин канцелярских товаров Фланно. Прекрасное время, когда подобные шедевры – ведь гравюры на металле в этой книге начертаны величайшим французским графиком * и выполнены величайшими гравировщиками, – когда подобную книгу можно еще было купить в магазине канцелярских товаров!

Но я хочу рассказать историю покупки. Я пришел к Эмилю Хиршу на предварительный осмотр, подержал в руках сорок или пятьдесят томов, этот же том – с пламенным желанием никогда не выпускать из рук. Настал день аукциона. Случаю угодно было, чтобы по порядку распродажи экземпляру «Шагреновой кожи» предшествовал полный комплект иллюстраций к ней в отдельных оттисках на китайской бумаге. Покупатели сидели за длинным столом; напротив меня – человек, на которого при каждом назначении цены устремлялись все взгляды: это был знаменитый мюнхенский собиратель, барон фон Симолин. Его интересовал этот комплект, у него были конкуренты, короче говоря, разгорелась борьба, завершившаяся самой высокой ценой аукциона – далеко за три тысячи марок. Никто не ожидал такой высокой цены, присутствующие заволновались. Эмиль Хирш не обратил на это внимания и то ли ради экономии времени, то ли по каким-то иным соображениям при полном невнимании участников перешел к следующему номеру. Он объявил цену; с бьющимся у самого горла сердцем и ясным пониманием, что ни с кем из присутствующих крупных собирателей я не могу вступить в состязание, я немного увеличил ее. Аукционист, не добиваясь внимания собравшихся, после обыч-

ной формулы «никто больше» и трех ударов – мне казалось, их разделяла вечность – в последний раз ударил молотком. Для меня, студента, сумма все равно была большая. Но оставим в стороне последующее утро в ломбарде, лучше расскажу о случае, который я назвал бы негативным свойством аукционов. Он произошел на торгах в Берлине в прошлом году. Распродавались очень разнородные по качеству и составу книги, среди которых внимания заслуживало лишь небольшое количество оккультных и натурфилософских сочинений. Я претендовал на некоторые из них, но заметил, что, как только я включаюсь в торг, какой-то господин в передних рядах словно только и ждет моего предложения, чтобы повысить цену. Убедившись в этом, я отказался от надежды завладеть книгой, которая в тот день меня больше всего интересовала. Это были «Фрагменты из наследия молодого физика», которые Иоганн Вильгельм Риттер выпустил двухтомником в Гейдельберге в 1810 году. Больше они никогда не переиздавались, но предисловие, в котором издатель в виде некролога своему якобы покойному неназванному другу (то был не кто иной, как он сам) дает собственное жизнеописание, – предисловие это с давних пор представлялось мне одним из значительнейших творений субъективной прозы немецкого романтизма. В тот момент, когда выкрикнули номер, меня осенило. Очень просто: раз мое предложение непременно вызовет к книге интерес конкурента, я должен промолчать. И я заставил себя промолчать. Моя надежда оправдалась: никакого интереса, никакого предложения, книга отложена в сторону. Я счел разумным переждать несколько дней. И действительно, когда спустя неделю я зашел к антиквару, книга все еще лежала там, а отсутствие интереса к ней пришлось мне кстати при покупке.

Что только не всплывает в памяти, когда стоишь перед горами ящиков и извлекаешь из них книги. Волшебное занятие, от него не оторваться. Я начал в полдень, а полночь наступила раньше, чем я добрался до последних ящиков. Но тут мне в руки попали два выцветших цельнокартонных переплета, которым, строго говоря, совсем не место в книжных ящиках: два альбома с облатками, которые моя мать наклеивала ребенку, – они достались мне по наследству. Это те семена собрания детских книг, которые еще и сегодня прорастают, хотя и не в моем саду.

Не существует живой библиотеки, которая не дала бы приют нескольким книжным существам из смежных областей знаний. Это не обязательно альбомы с облатками, или книги для памятных записей, или автографы, или переплеты с пандектами * и назидательными текстами внутри – одни увлекаются листовками или проспектами, другие – рукописными факсимиле или машинописными копиями потерявшихся книг; особенно хороши для спектрального обрамления библиотеки журналы. Возвращаясь же к тем альбомам, надо сказать, что наследство – собственно говоря, важнейший стимул жизни собрания. Ибо отношение собирателя к своему имуществу диктуется чувством долга к своему владению. Это отношение наследника в лучшем смысле сло-

ва. Поэтому самое благородное имя собранию дает родовая — оно получено по наследству. Говоря это, я — да будет вам известно — очень хорошо отдаю себе отчет в том, насколько присущие собирателю подобные представления отвратят многих из вас от этой страсти, посеют подозрительность по отношению к собирателю. Я далек от желания поколебать эту вашу точку зрения или подозрительность. Замечу лишь одно: теряя своего носителя, феномен собирания теряет свой смысл. Хотя общественные собрания с социальной точки зрения более пристойны, а с научной — более полезны, чем частные, лишь в последних объекты обретают свою подлинную значимость. Впрочем, я знаю, что для типа, о котором я здесь говорю и который я сам немножко *ex officio* вам представляю, надвигается ночь. Но, как говорил Гегель, лишь с темнотой сова Минервы начинает свой полет. Лишь вымирая, собиратель найдет понимание.

Далеко за полночь, а я все еще перед последним, наполовину разобранным ящиком. Меня уже занимают другие мысли. Не мысли — картины, воспоминания о городах, которые дали мне так много: Рига, Неаполь, Мюнхен, Данциг, Москва, Флоренция, Базель, Париж; воспоминания о мюнхенских роскошных хоробах Розенталя, о данцигской многоэтажной башне, где обитал ныне покойный Ганс Рауэ, о затхлом книжном погребке Зюсенгута, в северной части Берлина; воспоминания о закутках, где стояли эти книги, о моей студенческой каморке в Мюнхене, о моей комнате в Берне, об одиночестве в Изельтвальде у Бриенцского озера и, наконец, о моей детской комнате, откуда лишь четыре или пять книг приютились среди этих многих тысяч громоздящихся вокруг меня томов. Вот счастье собирателя, счастье частного лица! Ни о ком так мало не заботились, как о нем, и никто не чувствовал себя при этом лучше, чем он, продолжая под разными кличками свое бесславное существование; ведь в нем поселились духи, пусть и маленькие, и они придают отношению собирателя — я имею в виду истинного собирателя — к его собственности тот глубочайший смысл, который только и должен характеризовать отношение к вещам: не они в нем обретают жизнь, а он сам живет в них. Одно из таких обиталищ, возведенных из книг, я и соорудил здесь перед вами, и вот он исчезает в нем, как и следовало ожидать. Счастье собирателя — счастье одиночки. Разве не тем осчастливливают нас воспоминания, что в них мы остаемся наедине с бытием — оно молча располагается вокруг нас, и даже люди, возникающие в нем, хранят это надежное, союзническое молчание. Собиратель лелеет свою судьбу...

1931

*Мы хотим после
чтения книги
стать другими...*

[ЧЕГО
ХОТИМ
МЫ ПРИ
ЧТЕНИИ
КАКОЙ-
НИБУДЬ
КНИГИ?]

Чтению нужно учиться – об этом мы уже говорили; чтение – искусство, которому нужно обучать не только читателя, но и писателя, и самого себя. Кто овладел этим искусством, тому при чтении одной книги вспоминаются многие другие, и образы, которые он находит в читаемой книге, побудят его обратиться к образам из других книг и сравнить их. При чтении какого-либо сонета, например, *поэтически образованный человек* вспомнит сонеты Шекспира и начнет сравнивать, задумается над многообразием построения сонета и, возможно, даже откроет звучание нового тона в мировом оркестре. Но как можно услышать этот новый тон, если не знаешь голосов, объединенных в мировом оркестре? Как легко удастся ловкому кропателю стихов сбить с толку необразованного читателя и ввести его в заблуждение, выдав свою писанину за искусство. Мы сами, писатели, зачастую становимся плохими читателями, невнимательными, нетерпеливыми; в той мере, в какой мы становимся такими плохими, невнимательными, нетерпеливыми читателями, мы причиняем себе как поэтам значительный вред. Как много прекрасного, чудесного, волшебного мы отняли у себя. Более того, само наше искусство теряет в глубине и многообразии.

Сегодня читатель не такой, каким он был вчера и каким будет завтра, а тем более послезавтра, в будущем. Нужно учитывать это изменение, чтобы правильно судить о литературных произведениях. Кто относится к читательской массе как к величине постоянной, тот легко удовлетворится дешевыми и неумелыми поделками, считая, что это соответствует вкусу читателя и достаточно хорошо для него. Какая ошибка, какой самообман, как это вводит в заблуждение писателей и самих читателей! То, чем читатель еще удовлетворился сегодня, он – разумеется, при определенных общественных предпосылках – не примет больше завтра, а послезавтра найдет подобные поделки плохими и даже отвратительными. Мы живем в этих определенных общественных условиях, которые изменяют читателя и при которых уровень его развития постоянно повышается. Конечно, это не означает, что больше нет отсталых читателей, чьи потребности тоже должны быть удовлетворены. Если говорят, что нужно «смотреть народу в рот», это значит также, что нужно знать, как образуется и преобразуется вкус читателя. Наибольшие шансы устоять при этом постоянном росте образованности имеют те произведения, которые мы можем считать мастерскими и совершенными. Они останутся и войдут в произведения потомков. Другие же могут еще какое-то время сохра-

ниться, если они представляют собой ценность как музейные экспонаты, но жизнь с шумом несется дальше, дальше, дальше.

Каждый писатель, описывая свое прошлое, делает из него легенду, и этот прием, думается мне, вполне реалистичен, ибо если попытаться описать детство таким, каким оно было, то обесцвеченное таким образом детство будет прежде всего скучным и затея эта потерпит неудачу. Когда писатель пи-

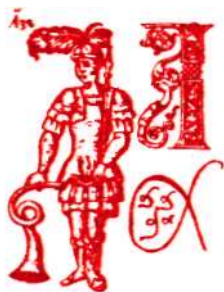


Рисунок из букваря
Карфона Истомина.
XVII в.

Русский лубок.



шет о своем детстве, мы прежде всего хотим знать, какими глазами писатель, прошедший с тех пор «испытание жизнью», видит собственное детство и какие уроки он извлек из него. Таким образом, мы ожидаем от писателя особого изображения детства, и, давая нам возможность по-особенному пережить его детство, он показывает нам и наше детство в новом свете, неназойливо учит нас видеть его другими глазами.

Чего хотим мы при чтении какой-нибудь книги? Мы хо-

ЧЕГО ХОТИМ МЫ
ПРИ ЧТЕНИИ
КАКОЙ-НИБУДЬ
КНИГИ?

403

тим после чтения книги стать другими, чем были до этого. Мы хотим преобразиться, духовно обогатиться, хотим почувствовать, что выросли, поумнели, или, проще говоря, что *книга нам что-то дала*. Да, книга должна что-то дать. Книга может также дать что-то, лишая чего-то. Если она лишает нас предубеждений, она уже что-то дала нам, а именно: больше ясности, больше знаний, чем у нас было прежде. Есть книги, которые не только лишают нас чего-то, но и захватывают в такой степени, что мы чувствуем себя потрясенными и думаем, что после этого мы уже не сможем больше жить или не сможем жить по-прежнему. Такие произведения меняют наши представления о людях, в которых мы твердо верили и которые, как мы думали, составляют неотъемлемую часть нашей жизни. Каждый писатель, каждый поэт, в котором жив дух поэзии, в неустанном труде стремится создать творения, потрясающие душу, и в той мере, в какой его стихи, его образы исполнены жизни, он сам подвергается силе воздействия, исходящей из его творения. Жаль поэтов, чьи произведения оставляют нас неудовлетворенными. Жаль их еще и потому, что они наносят ущерб поэзии и обескураживают читателя в его попытках приобщиться к поэзии.

1957

*Стихотворение
лишь тогда
доставляет
истинную
радость, когда
его внимательно
читают.*

ИСКУССТВО ИЛИ ПОЛИТИКА?

Я понимаю ваш вопрос. Вы видите меня сидящим здесь и глядящим на Зунд, где не происходит никаких военных действий. Итак, почему мне пришло в голову заниматься борьбой испанского народа против его генералов? Но подумайте, почему я сижу здесь. Как могу я выключить из моего творчества то, что так воздействует на мою жизнь? И на мое творчество? Ведь я сижу здесь как изгнанник, у меня отняли прежде всего моих читателей и слушателей, на чьем языке я пишу, и это не только люди, которым я вручаю свои произведения, но люди, представляющие для меня глубочайший интерес. Я могу писать лишь для людей, которые меня интересуют; в этом смысле произведения то же, что письма. И теперь этих людей подвергают несказанным страданиям. Как могу я выключить это из моего творчества? И куда бы я ни смотрел, когда я смотрю несколько дальше того, где кончается Зунд, я вижу людей, подвергнутых страданиям. Но когда уничтожена человечность, нет больше искусства. Соединять красивые слова — это не искусство. Как может искусство волновать людей, если его само не волнуют судьбы людей? Если я сам отвернусь от людских страданий, могут ли человеческие сердца раскрыться моим сочинениям? И если я не стараюсь найти для них дорогу, выводящую из страданий, как им найти дорогу к моим сочинениям? В небольшой пьесе, о которой мы говорим, речь идет о борьбе андалузской рыбацки против генералов. Я стремлюсь показать, с каким трудом она решается на эту борьбу, как она только в величайшей беде берется за оружие. Это призыв к угнетенным восстать против угнетателей, во имя человечности. Ибо в такие времена человечность должна стать воинственной, чтобы не быть уничтоженной. И вместе с тем это письмо к рыбацке, заверяющее ее, что не все, кто говорит на немецком языке, держат сторону генералов и посылают в ее страну бомбы и танки.

И письмо это я пишу от имени многих немцев по обе стороны немецких границ, от имени большинства немцев. В этом я уверен.

1938

КАК НАДО ЧИТАТЬ СТИХИ

Дорогие пионеры, вы занимаетесь моими стихами. Поскольку время от времени меня спрашивают о стихах и с юности я знаю, как мало удовольствия нам, детям, доставляло большинство стихотворений в наших хрестоматиях, я хочу написать несколько строк о том, как, на мой взгляд,

надо читать стихи, для того чтобы они доставляли удовольствие.

Со стихами ведь не всегда получается, как со щебетом канарейки, который звучит приятно и ладно. Стихами надо немножко заняться и иной раз сперва поискать, что в них прекрасного.

В качестве примера я возьму одну строфу из песни И. Р. Бехера «Германия», которую иные из вас, вероятно, уже пели на музыку Ханса Эйслера.



Фото В. Богданова.

Heimat, meine Trauer,
Land im Dämmerchein,
Himmel, du mein blauer,
Du, mein Fröhlichsein.

Родина, печаль моя,
Край в сумеречном свете,
Небо ты мое синее,
Ты, мое веселье.

Что в ней прекрасно?

Поэт воспевает свою родину как «Край в сумеречном свете». Сумерки – это время дня между днем и ночью или между ночью и днем, когда свет отступает перед тьмой или тьма – перед светом. Это серое время дня, время, которое французы называют *entre chien et loup*, то есть «между собакой и волком», – время, когда толком не отличить доброе от злого. Поэт пережил такие сумерки над своей страной, то

были сумерки фашизма, бесчеловечности, и были сумерки после разгрома фашизма, когда занялось утро социализма. Поэтому для него страна и «Родина, печаль моя», и «Ты, мое веселье». И всегда у него в памяти живо «Небо ты мое синее», то есть красота его страны, неизбывная и тогда, когда властвуют волки.

Таково содержание, и оно прекрасно, потому что чувства поэта глубоки и благородны, потому что он любит свою родину с печалью, когда в ней властвует зло, и с радостью, когда в ней правит добро.

Но прекрасна и манера, то, *как* он говорит. «Родина, печаль моя» – прекраснее не скажешь, или «Ты, мое веселье». Словно человек идет в трауре, одетый в черное, среди людей в обычных одеждах, и на вопрос, почему он скорбит, отвечает: моя страна попала в руки убийц. И вот человек весел и поет и на вопрос «почему» отвечает: моя страна мирно строится. Это человек, все счастье которого зависит от счастья других (выражение "Fröhlichsein" – «мое веселье» – особенно прекрасно, в нем есть что-то новое, будто оно никогда еще не произносилось, и все же давно знакомое). «Небо ты мое синее» – это прекрасно, потому что звучит так нежно; поэту нужно одно только слово – «синее», и свет уже сияет.

Очень красив и ритм стихотворения. В нем царствует покой. Когда вы будете произносить его вслух, вы поймете, что я имею в виду, особенно когда будете петь его на прекрасную музыку Эйслера. Я не думаю, что стихотворению повредит то, что я немножко поковырялся в нем. Роза прекрасна вся, но и каждый лепесток ее прекрасен. И, поверьте мне, стихотворение лишь тогда доставляет истинную радость, когда его внимательно читают. Правда, оно должно быть написано так, чтобы это можно было сделать.

*Я без книг —
не я.*

TABULA
RASA

Проза — ведь это не что иное, как идея, представление, абстракция. Ее воплощение поставляется на рынок в виде товара — книги. Нам следовало бы больше изумляться этому процессу, протекающему почти бесперебойно, — мы уже давно привыкли к тому, что нам предлагают покупать изобретения, практическое применение которых весьма сомнительно, если не полностью исключено. У некоторых людей хватает смелости строить свое существование на столь несерьезных манипуляциях: к этим храбрецам принадлежат не только издатели, полиграфисты, книготорговцы и пропагандисты, но даже и авторы.

Давайте проведем мысленно такой эксперимент. Предположим, что какая-то сила — не станем ее точно обозначать — одним взмахом волшебной палочки стирает все следы, которые оставило в моей голове чтение книг.

Чего мне будет тогда не хватать?

Ответ оказался бы убийственным, да только сформулировать его невозможно. Но ежели все-таки кто-то сумел бы ответить на этот вопрос, мы узнали бы много нового о воздействии литературы на человека.

Если я убиваю в себе чистую, безвинно страдающую Снегурочку и злую мачеху, которой в конце концов приходится плясать в докрасна раскаленных железных туфлях, то я тем самым уничтожаю столь важный для жизни прообраз, твердую веру в неизбежность победы Добра над Злом.

Итак, мне неведомы никакие легенды, я никогда не мечтала вместе с Роговым Зигфридом выйти на бой с драконом *, никогда не вздрагивала от шелеста в дремучем лесу: «Это Рюбецаль, дух Исполиновых гор!» * И басен я тоже не читала и не понимаю, что значит «хитрый как лиса» и «храбрый как лев». Эйденшигеля * я не знаю и никогда не хохотала, читая о хитрых уловках слабых, побеждающих сильных. Семеро швабов, шильдбюргеры *, Дон Кихот, Гулливер, прекрасная Магелона * — прочь, прочь! Сгиньте и вы, Зевс, в бессильной злобе извергающий гром, священный ясеня Игдразил *, Адам и Ева и рай небесный! Никогда из-за женщины не осаждали и не брали города по имени Троя. И доктор Фаустус никогда не сражался за свою душу с чертом.

Обедненная, ограбленная, оголенная и неочарованная, вступаю я в десятый год своей жизни. Невыплаканными остались горючие слезы, невыцарапанными — глаза ведьмы в книжке; я не испытала торжествующего облегчения, которое приносит с собою спасение героя; ничто не побуждало меня рассказывать себе самой в ночной тьме фантастические

видения. Мне неведомо, что народы столь различны меж собой и все-таки столь похожи друг на друга. Моя нравственность не развита, я страдаю духовным истощением, фантазия у меня чахлая. Мне трудно сравнивать, трудно выносить суждения. Прекрасное и безобразное, доброе и злое — это какие-то расплывчатые понятия.

Дела мои плохи.

Откуда мне знать, что мир, в котором я живу, густ, красочен, пышен? Что его населяют примечательнейшие фигуры?



*Типография-мастерская
XVI в.*

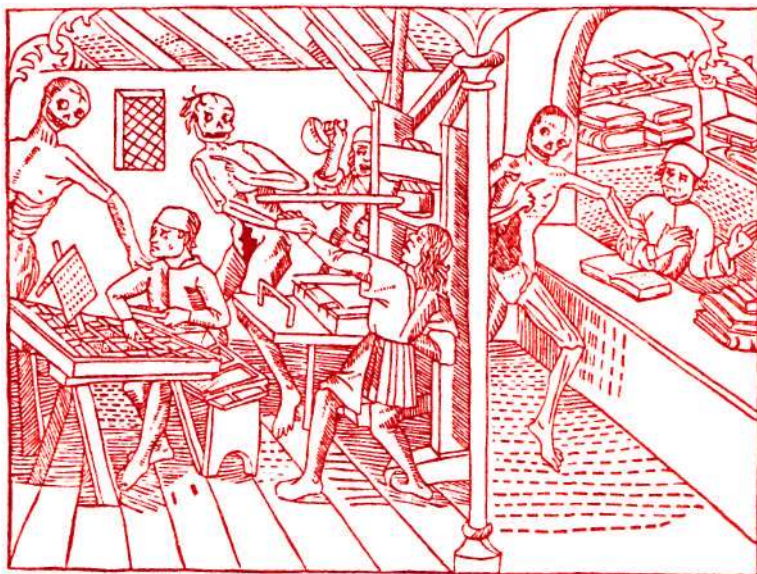
Что в нем на каждом шагу таятся приключения, ждущие именно меня?

Словом, паломничество к истокам не состоялось, не пришлось припасть губами к чистым родникам, меры для людей и вещей найдено не было. Упущенных потрясений не наверстаешь. Мир, который не был вовремя зачарован и затемнен, с обретением знаний не прояснится, а высохнет. Чудеса, уверовать в которые ты еще не успел, анатомический скальпель сделает безвкусными и бесплодными.

Наш опыт подсказывает нам чрезвычайно ценный вывод, что жизненное изобилие не исчерпывается теми немногими действиями, совершать которые нам случайно дано.

Любая жизнь, которая не обнаружит в себе ничего, на чем могли бы научиться другие жизни, и которая не найдет своего места в беспримерном походе человечества из диких зарослей к долгожданному порядку — назовем его добрым дедовским словом «благонаравие», — станет унылой, опустошенной.

Вот такой необразованной в самом глубоком смысле этого слова я вижу себя, когда вспоминаю о *том* особом этапе нашей истории. Вымышленному эксперименту, от которого мы с вами с полным основанием в ужасе отшатнулись, мое поколение было подвергнуто в действительности. Трудно представить себе более полное отлучение от литературы, чем то, жертвой которого были мы вплоть до шестнадцатилетнего возраста. Очень возможно, что этим не в последнюю очередь объясняется явно запоздалое созревание моих сверстни-



М. Хус. Гравюра
«Типография» из цикла
«Пляска смерти». 1499.

ков. Ибо в том, что нам давали читать и что мы проглатывали в лошадиных дозах, – в «прозаических произведениях», которые, кстати, не сохранились в моей памяти, словно они погасли во мне, хоть это и не отрицает их подспудного действия, – во всем этом снаружи были шовинизм, воспевание войны и извращенные картины прошлого (в школьной библиотеке я брала главным образом чудовищные исторические книги), а то, что находилось внутри, тормозило взросление, созревание критического мышления и здоровых чувств, не изувеченных злобой и вреднейшими предрассудками. Что было когда-то – прошлое, – окутывали кровавым туманом, что происходило в наше время – настоящее, – показывали сквозь очки с крайне деформирующими стеклами. Такие времена не знают трезвого взгляда рассказчика. Не было никого, кому мы могли бы внимать. Страшное одиночество этих молодых людей еще никем не описано. Одиночество, хотя с ними возились маги, находившиеся на государственной службе и все время потчевавшие их небольшими порциями дурмана собственного изготовления. На первом месте был дурман смерти: один человек не стоит ничего; *народ* – так именовали книги нашей юности свой бессмертный миф.

Я часто спрашиваю себя, что же все-таки убергло нас от самого дурного исхода, — ведь моральные инстинкты врожденными не являются, а контактов с высокоразвитой нравственностью нас лишили полностью. Почему же им не удалось истребить в наших душах все проявления человеческих чувств? Откуда брались силы для сопротивления в тех немногих врезавшихся в память случаях, которые я теперь считаю решающими? Как объяснить, что, несмотря на полную немоту моего окружения, раз пять какой-то внутренний, не



Рисунок С. Тюшина.

*Карл Штильп.
Скульптура «Критик» из
библиотеки XVIII в.
Германия.*



совсем понятный голос бросал три предупреждающих слова: «Только не это!»

Так было, например, когда я читала одну книгу: о Кристине Торстенсен. Эта девушка, полноценная представите-

*Люди добрые даже
не знают, сколько
нужно употребить
времени и сил,
чтобы научиться
чтению и извлекать
из прочитанного
пользу: мне для
этого нужно было
восемьдесят лет.*

Гёте

льница нордической расы, фанатичка времен Тридцатилетней войны, целует и обнимает трупы своих соотечественников, погибших от чумы, а затем пробирается в стан врагов и отдается им, убивая их губами и телом. Геронния, какой полагалось быть. А я читала и думала: «Только не это!»

Наверное, все-таки истории и сказки моего детства, которых я только что лишила себя в экспериментальном порядке, сделали свое дело. И пусть развеются в прах те, другие книги, все эти Биндинги, и Елузики, и Йосты, и Гансы Гриммы, как они того заслуживают. Но медаль имеет и другую сторону: у того, кто не погиб от яда, выработался иммунитет, спасающий его даже от самого слабого раствора этого зелья.

Куда тяжелее жертвовать Штормом и Фонтане! А как неохотно расстанусь я с книжкой в заплесневелом картонном переплете, которая, долгое время оставаясь для меня загадкой, лежала на комодке моей бабушки, никогда ничего не читавшей! Она называлась «На Западном фронте без перемен» и, как и все интересное, была «не для ребенка». Я читала ее, сидя на бабушкином диване, и до сих пор ощущаю шершавость потертой плюшевой обивки, в которую упиралась вспотевшей рукой. Я узнала из книжки, что на войне немец тоже может умереть жалкой смертью от пулевого ранения в живот. Наверно, это был первый покойник в моей жизни, чья судьба вызвала у меня невольный протест... Но пусть сгинет и он, как это ни грустно.

Нет, не могу я продолжать поименный перечень жертв; нет сил заявить, что Зеленый Генрих *, Вертер, Вильгельм Мейстер не встретились мне на пути, что с Жюльеном Сорелем, госпожой Бовари и Анной Карениной я так и не познакомилась. Но когда-нибудь ее все-таки придется написать, эту диковинную, скачкообразную историю книг, которые читало мое поколение; быть может, она поможет разрешить загадку нашей неуравновешенности и неуверенности.

И впоследствии у меня не появилось потребности наверстать упущенное. Меня, «не-читателя», не оглушали списки имен и заглавий, о которых я никогда ничего не слышала. Я не вгрызалась в неприглядно оформленные книжки послевоенных лет. Так чему же я отдавала тысячи часов свободного времени, внезапно появившегося у меня, раз книги для меня не существовали? Раз не существовало тех озарений и встрясок, к которым, собственно говоря, и сводилось в те времена *чтение* (может быть, отсюда и наша нынешняя серьезность в общении с книгами), раз не было вокзальной скамейки, сидя на которой я так неохотно читала одну из тех страшных книг, а потом поняла: то, что там описано, не может не быть *правдой*.

Исчезла и вся ранняя советская литература, огромная куча книг, беспримерный сигнал к свершениям, которые покорили бы меня на всю жизнь, если бы... если бы я их прочла. Пусть исчезнут и книги-мертвецы, балласт некоего отрезка истории, тома, начиненные уступками дурному вкусу и нечестности. А вслед за ними пусть отправится груда пособий из семинара по германистике: книги для экзаменов, книги для жизни – отличать всегда было трудно.

Tabula rasa. Со мной все кончено. Из меня вытравлено, вырвано с корнем одно из самых важных переживаний, доступных нам: возможность постепенно – сравнивая, испытывая, отграничивая свою личность – учиться видеть самого себя. Примерять себя к самым заметным фигурам всех времен. Ничего подобного нет. Поблекло чувство времени, ибо его никогда по-настоящему не пробуждали. Собственные очертания не проступили более четко, а, напротив, стерлись окончательно; сознание не прояснилось, а расплылось.

Одичание усилится.

Ибо теперь мы пойдем дальше по тому же пути – постараемся уничтожить тончайшие, едва доказуемые последствия длительного общения с книгами: тренировку и дифференциацию психического аппарата, обострение чувств, пробуждение интереса к наблюдениям, появление способности видеть комические и трагические стороны ситуаций, извлекать радость из сравнения с прошлым, ценить героическое как исключение, каким оно является, а обычное, постоянно повторяющееся спокойно принимать к сведению, но если удастся, то и любить. И прежде всего – удивляться, беспрестанно удивляться себе подобным и собственной личности.

Но я не читала.

Не только мое прошлое изменилось в мгновение ока – мое настоящее уже тоже не то. Осталось сделать последний шаг – пожертвовать и будущим. Я никогда не прочту ни одной книги. Ужас, которым веет от этих слов, меня, «нечитателя», не охватывает.

Ибо я без книг – не я.

*Бодо прекрасно
знал, какие книги
она читает, но
это нисколько не
уменьшало его
любви.*

БЕС- СМЕРТНАЯ ТЕОДОРА

Всякий раз, когда я попадаю на улицу Бенгельмана, я вспоминаю Бодо Бенгельмана, который ныне возведен Академией в ранг бессмертных. Впрочем, я думаю о нем, даже если я не иду по улице Бенгельмана, которая тянется от дома № 1 до дома № 678, из центра, мимо святящихся реклам баров, вплоть до окраины, до лугов, где мычат по вечерам коровы, требуя, чтобы их погнали на водопой. Эта улица проносит имя Бодо через весь город, тут находятся и ломбард, и магазин «Дешевая распродажа Беккера», а я частенько заглядываю и в ломбард, и в «Дешевую распродажу», во всяком случае, достаточно часто, чтобы никогда не забывать Бодо.

Когда я пододвигаю мои часы по прилавку ломбарда оценщику, а он, вставив в глаз лупу, разглядывает механизм и, пренебрежительно буркнув: «Четыре марки», возвращает их мне и я со стесненным сердцем подписываю квитанцию, мчусь к кассе и жду там, пока пневматическая почта не выкинет мой залоговый билет, у меня хватает времени подумать о Бодо Бенгельмане, с которым мы не раз стояли вместе у самого окошечка.

У Бодо была старая пишущая машинка фирмы «Ремингтон», на которой он перепечатывал свои стихи – всегда по четыре экземпляра в закладке. Раз пять мы тщетно пытались получить под эту машинку хоть какую-нибудь ссуду, но машинка была такая старая, она так стучала и скрипела, что администрация ломбарда в согласии с инструкциями оставалась непреклонной. И *дед* Бодо – владелец лавки скобяных товаров, и отец – налоговый инспектор, и сам Бодо – поэт-лирик, столько барабанили на этом «ремингтоне», что под него уже не давали даже самой мизерной ссуды.

Теперь, конечно, есть музей Бенгельмана, где в одной из витрин с надписью «Перо, которым писал Бодо Бенгельман», хранится красная ручка с искусанным концом.

Но на самом деле этой ручкой, которую Бодо стянул у своей сестры Лотты, он написал всего два стихотворения, остальные – около пятисот штук – химическим карандашом, а некоторые отстукал прямо на машинке. Эту машинку мы все же в один прекрасный день загнули, как лом, за шесть марок восемь пфеннигов старику по имени Хайзинг, который и слыхом не слыхал о бессмертных лирических строках, созданных на этой рухляди. Старьевщик Хайзинг жил на улице Гумбольдта и был увековечен Бодо в стихотворении под названием «Чулан скупердяя». Поэтому в музее Бенгельмана нет подлинных предметов, которыми поэт пользовался, сочиняя свои стихи, а вместо них в витрине кра-

*Первая же
страница Шекспира,
которую я прочел,
покорила меня на
всю жизнь, а одолев
первую его вещь,
я стоял как
слепорожденный,
которому
чудотворная рука
вдруг даровала
зрение. Я познавал,
я живо чувствовал,
что мое
существование
умножилось на
бесконечность; все
было мне новым,
неведомым,
и непривычный свет
причинял боль моим
глазам.*

Гёте

суется деревянная ручка со следами зубов Лотты. Сама же Лотта, давно забыв, что эта штука принадлежала ей, теперь способна часами проливать слезы, вспоминая о событиях, которых в действительности никогда не было. Однажды Лотта писала какое-то жалкое сочинение, а Бодо – я помню это абсолютно точно, – расправившись с двумя котлетами, целой горой салата, большим ванильным пудингом и двумя кусками сыра, схватил эту красную ручку и накатал в один присест «Осеннее сердце тонет во мгле» и «Плачь, плачь, волна». Лучшие стихи Бодо писал, наевшись до отвала; как и многие меланхолики, он вообще был здоров пожрать. Красная ручка находилась в его руках не более восемнадцати минут, в то время как вся его поэтическая деятельность длилась восемь лет.

Теперь Лотта пожинает славу брата и, хотя носит фамилию Хоссе по мужу, называет себя не иначе как «сестра Бодо Бенгельмана». Она всегда была дрянью, доносила отцу, когда Бодо сочинял, потому что писание стихов относилось в семье Бенгельманов к занятиям пустейшим и, следовательно, заторным.

В общем, Бодо настрадался как следует; в нем жила неистребимая потребность создавать высокую поэзию, это было просто каким-то проклятием. Но стоило ему взять лист бумаги, как Лотта, пронзительно вереща, немедленно мчалась со всех ног в прихожую или на кухню. А если там никого из домашних не оказывалось, она с воплем «Бодо опять сочиняет!» врывается в кабинет Бенгельмана-старшего, и господин Бенгельман, человек весьма энергичный, рыча: «Где этот балбес?», выскакивал в коридор. (В семье Бенгельманов все выражалось не слишком изысканно.) Немедленно следовала взбучка: отец хватал Бодо за шиворот, тащил его по лестнице во двор и дупцевал чувствительного, как все лирики, поэта стальной линейкой, при помощи которой обычно проводил черту перед словом «Итого» на счетах своих клиентов.

Когда Бодо стал постарше, он частенько сочинял у нас дома, и я являюсь владельцем семнадцати рукописей неизданных стихотворений Бодо Бенгельмана, которые я пока намерен утаить, чтоб обеспечить себе безбедную старость. Одно из этих стихотворений начинается строчкой:

Лотта, лживая подлюга!..

(Говорят, именно Бодо возродил в нашей поэзии прием звукописи.)

В трудах и муках, непризнанный и битый, Бодо вкусил наконец радость совершеннолетия: ему стукнуло восемнадцать, и его отдали в ученики в обойный магазин. Обстоятельства благоприятствовали творчеству: хозяин целые дни напролет валялся пьяный под прилавком, а Бодо писал стихи на изнанке обоев.

Новый творческий подъем он пережил, когда влюбился в девчонку, которую воспел в цикле «Песни Теодоре», хотя ее вовсе не звали Теодорой. Бодо исполнилось девятнадцать

лет, и первого декабря он накопил на все свое ученическое жалованье – пятьдесят марок – конвертов с марками и разослал триста своих стихотворений в триста различных редакций, не позаботившись при этом оплатить почтовые расходы по пересылке рукописей н а з а д, – смелость, не знающая себе равных в истории литературы. Четыре месяца спустя, Бодо тогда не было и двадцати, он стал знаменитым поэтом.

Сто пятьдесят два стихотворения тут же напечатали, и взмокший от пота почтальон, доставляющий денежные переводы, ежедневно подкатывал на своем велосипеде к дому Бенгельманов. Дальнейшая история Бодо напоминает арифметическую задачку, для решения которой нужно перемножить число стихотворений Бодо на число немецких газет, а полученное произведение еще раз помножить на сорок марок.

Увы, славой своей Бодо наслаждался всего два года. Он умер от спазм, вызванных приступом хохота. Помню, он сказал мне: «Знаешь, слава в конечном счете – это вопрос почтовых расходов», – добавил шепотом: «Честно говоря, у меня вовсе не было таких серьезных намерений» – и расхохотался. Он хохотал все громче, не в силах сдержать безудержно нарастающий смех, и умер. Эти предсмертные слова – единственный прозаический текст в творческом наследии поэта – я делаю достоянием потомков.

Бодо Бенгельман знаменит главным образом циклом «Песни Теодоре» – двумястами любовными стихотворениями, не имеющими себе равных по накалу страсти. Сонм критиков безуспешно пытался раскрыть тайну Теодоры. Один из них бесстыдно утверждал, что так названа известная, ныне здравствующая поэтесса, и доказывал это весьма обстоятельно и весьма оскорбительно для поэтессы, которую Бодо никогда и в глаза не видел, но которая вынуждена теперь признать, что она и есть та самая Теодора. Однако это неправда! Я заявляю об этом со всей ответственностью, потому что лично знаком с настоящей Теодорой. Ее зовут Кэте Боручки, и ее можно увидеть в шестом отделе магазина «Дешевая распродажа Беккера», где она торгует писчебумажными принадлежностями. Именно на бумаге, купленной у Беккера, Бодо переписал начисто большинство своих произведений. Я частенько стоял рядом с Бодо у прилавка Кэте Боручки – к слову сказать, очаровательной девушки, – она мило шепелявит, ни черта не смыслит в художественной литературе и зачитывается по вечерам, когда возвращается домой в трамвае, книжками из серии «Дешевые издания Беккера», которые продаются служащим магазина со скидкой.

Бодо прекрасно знал, какие книги она читает, но это несколько не уменьшало его любви. Не раз я стоял с ним перед магазином, ожидая Кэте, а потом мы молча шли за ней следом, сперва летними вечерами, потом и в осеннем тумане, шли за ней по пятам, ни на секунду не упуская ее из виду, до самого пригорода, где, впрочем, она живет и сейчас. Как жаль, что Бодо был слишком робок и ни разу с ней не заговорил! Он никак не мог заставить себя это сделать, хотя

*Удивительнее всего
то, что непохожие
друг на друга
авторы пользуются
популярностью
у одних и тех же
читателей.*

Генрих Бёльль

страсть так и бурлила в нем. Даже когда он стал знаменитым поэтом и мог швыряться деньгами, он по-прежнему покупал бумагу в шестом отделе «Дешевой распродажи Беккера», только чтобы увидеть Кэте Боруцки – эту хорошенькую девочку, которая очаровательно улыбалась и шепелявила, как богиня. Вот почему в «Песнях Теодоре» так часто встречается фраза:

Твой язычок мелькает, словно пламя,
Чем погасить его?..

Бодо часто посылал ей стихи без подписи, но надо полагать, что вся эта высокая лирика шла прямехонько на растопку печки в доме Боруцки и была, как говорится, «не в коня корм», если мне, скромному летописцу, будет дозволено употребить это скромное сравнение.

Я и теперь нередко заглядываю в «Дешевую распродажу Беккера»; мне удалось установить, что за Кэте с недавних пор стал заходить молодой человек, по всем признакам менее застенчивый, чем Бодо Бенгельман; судя по одежде, он, должно быть, автомеханик.

Я мог бы выступить на любом историко-литературном симпозиуме и в два счета доказать, что именно Кэте Боруцки является таинственной Теодорой, но я никогда этого не сделаю, ибо для блага Кэте охраняю душевный покой автомеханика. Я часто захожу к ней в магазин, глажу ладошкой стопы писчей бумаги, роюсь в «Дешевых изданиях Беккера», долго выбираю ластик для простого карандаша и чувствую на себе дыхание истории.

АВСТРИЯ

РОБЕРТ

1880–1942

МУЗИЛЬ

*Гении
отличаются
тем, что редко
признают
достижения
других гениев.*

КНИГИ И ЛИТЕРАТУРА

Критики-стрелки на страже рубежей литературы! Заранее предупреждаю, что в данном вопросе я ничего не смыслю, и чтобы сказать еще что-нибудь о моей пригодности как критика: я не люблю читать книги.

Припоминаю, что уже много лет я редко дочитывал до конца книги, за исключением разве чего-нибудь научного или совсем плохих романов, от которых невозможно оторваться, словно от большой тарелки макарон в шнапсе – глотаешь, пока не кончатся. Если же книга и в самом деле литература, то редко прочитываешь больше половины; с количеством прочитанного растет в геометрической прогрессии и сопротивление, никем еще поныне не объясненное. Будто ворота, через которые должна войти книга, сведенные судорогой, плотно смыкаются. При чтении такой книги быстро утрачивается естественное состояние, и возникает ощущение, что тебя подвергают какой-то операции. Вставляют в голову нюрнбергскую воронку *, и совершенно посторонний тип пытается перелить в тебя истины, присущие только его чувствам и мыслям; неудивительно, что как можешь стараешься избежать этого насилия!

Американцы другие люди. Такой человек, как Джек Лондон, очень живой и умный человек, не гнушается идти на выучку к покойному капитану Маррнету *, радовавшему нас в детстве, и пряхти нить прямо из шкуры дикой овцы, которую он справедливо считает нутром своих читателей. И он очень доволен, если при этом ему удастся протащить одну-другую глубокую мысль или эффектную сцену, потому что на литературу он смотрит как на мужской бизнес, который должен что-то давать и покупателю и продавцу. А мы, немцы, настаиваем на гениальной литературе вплоть до бульварщины на моральные темы. Сочинитель у нас всегда человек необычный; он чувствует либо необычно смело, либо необычно обычно; он неизменно разворачивает перед нами свою так или иначе упорядоченную психическую систему для того, чтобы мы ей подражали. Он редко бывает человеком, который считает своим долгом ведение беседы, а если и делает это, то, как правило, без сопротивления скатывается до безгранично пошлой беседы, подобно душе общества – возбудителю веселья и слезной чувствительности. (Позднее, возможно, представится повод рассказать об этом побольше.) Впрочем, вероятно, мало что можно возразить против стремления к гениальному в литературе. Разумеется, только одно: даже самый большой народ не в состоянии произвести достаточное количество гениев для такой литературы.

МОГУТ ЛИ
ПИСАТЕЛИ
НЕ ПИСАТЬ
ИЛИ
ЧИТАТЕЛИ
НЕ ЧИТАТЬ?

Говорят, что виноваты книги и немецкие писатели могли бы не писать. Это очень привлекательная и убедительная гипотеза для объяснения того своеобразного неудовольствия, в которое впадаешь при чтении книг. Но ни на мгновение нельзя забывать, что это только гипотеза! Как и всякая гипотеза, она раздувает факт до избыточности, и если уж придерживаться голой истины, которая заключается в утверждении, что писатели могут не писать, то можно напрямую заключить, что немецкие читатели могут больше не читать. Это



единственная определенность, пригодная для опоры. Мы, немецкие читатели, испытываем ныне необъяснимое, принципиальное сопротивление по отношению к нашим книгам. Все прочее в высшей степени неясно. Неясно также, кого и что обвинят в этом сопротивлении. А значит, нам надо прежде как следует или не как следует разобраться в том, как, собственно, читает ныне человек, который не испытывает от чтения никакой радости и тем не менее отдает книгам свое

время. К этому вопросу хотелось бы подойти очень осторожно, чтобы не сложилось впечатление, будто нам известен исчерпывающий ответ, от чего бы наших издателей охватила золотая лихорадка.

Нам бы хотелось также усматривать в человеке не блаженную жертву романов с продолжениями, вокруг которых еще свирепствуют истинно читательские страсти, а читателя, который выбирает книгу столь же серьезно, как представительство церковной общины или имя для новорожденного сына.

НЕТ
ГЕНИЕВ
В НАШИ
ДНИ

Общение с ними сразу же указывает на феномен, явно относящийся к нашему рассмотрению: когда два таких ответственных лица, встретившись где-нибудь, заговаривают на возвышенные темы, то не проходит и пяти минут, как они обнаруживают, что у них есть общее убеждение, которое можно передать примерно такими словами: нет уже в наши дни великих творений и нет гениев!

При этом они разумеют отнюдь не ту область, которую представляют сами. Нет также речи и о какой-нибудь особой форме ссылки на старые лучшие времена. Так так выясняется, что времена Бильрота хирурги вовсе не считают хирургически более великими, чем свои собственные; пианисты же абсолютно убеждены, что со времени Листа фортепьянная игра усовершенствовалась, и даже теологи лелеют мнение, что какие-то богословские вопросы изучены ныне все же лучше, чем во времена Христовы. Но вот когда у теологов заходит разговор о музыке, литературе или естествознании, у естествоиспытателей – о музыке, литературе и религии, у литераторов – о естествознании и т.д., каждый оказывается уверен, что другие создают не совсем то; что при всем таланте этих других важнейшей, высшей и невыплаченной частью их долга перед человечеством является именно гениальность.

Этот культурный пессимизм всякий раз за счет других – феномен, широко распространенный в наши дни. И он странным образом противоречит тем силам и умениям, которые повсеместно развиты в каждом отдельном человеке. Складывается впечатление, что великан, который необыкновенно много ест, пьет и создает, не желает об этом знать и, подобно юной девице, утомленной малокровием, апатично заявляет о своем бессилии. Есть очень много гипотез, объясняющих это явление: от взгляда на него как на последний этап обездушивания человечества и вплоть до того, что оно – начальный этап чего-то нового. Хорошо бы без нужды не умножать эти гипотезы очередной, новой, а обозреть еще несколько других явлений.

ЕСТЬ ЕЩЕ
ТОЛЬКО
ГЕНИИ...

...Ибо кажется, что обрисованная страсть к критиканству противоречит той легкости, с которой в наши дни сыплют высшими похвалами в адрес тех, кому они в этот момент

подходят, и что изнутри, по-видимому, составляет с критиканством единое целое.

Если взять на себя труд и собрать наши книжные рецензии и статьи за длительный период, сделать это целенаправленно и методично, с тем чтобы извлечь из них образ духовных движений нашего времени, то несколько лет спустя мы будем сильно удивлены количеством потрясающих душепровидцев, мастеров изображения, величайших, лучших, глубочайших писателей, совсем великих писателей и, наконец, еще одним великим писателем, которыми была одарена нация за данный период, будем удивлены тем, как часто пишется лучшая история о животных, лучший роман последних десяти лет и самая прекрасная книга. Пролыстывая такие собрания неоднократно, всякий раз будешь вновь и вновь удивляться силе мгновенных воздействий, от которых в большинстве случаев несколько лет спустя не остается и следа.

Можно провести второе наблюдение. Еще в большей мере, чем отдельные критические высказывания, герметически непроницаемы друг для друга целые круги, образованные определенными типами издательств, к которым относятся определенные типы авторов, критиков, читателей, гениев и успехов. Ибо характерно, что в каждой из этих групп можно стать гением, достигая определенного количества изданий, при том что в других группах это едва замечается. Несмотря на то что в совсем крупных случаях часть публики, вероятно, дезертирует от одного знамени к другому, вокруг наиболее читаемых писателей обязательно складывается собственная публика из всех лагерей; но если составить список сочинителей, пользующихся успехом, по количеству их изданий сверху донизу, то из сопоставления тотчас же станет ясно, как мало способна пара светлых фигур, которая среди них обнаружится, влиять на формирование общественного вкуса и с тем же энтузиазмом, с каким этот вкус увлечен ими в данный момент, удерживать его от обращения к мракобесной посредственности; отдельные светлые фигуры выходят из предначертанных им берегов, но, когда их влияние падает, им оказывается в пору любое из русл наличной системы каналов.

Эта разобщенность становится еще более впечатляющей, если не ограничиваться рассмотрением только художественной литературы. Просто не перечислить Римов, в каждом из которых есть свой папа. Ничтожная группа вокруг Георге, коалиция вокруг Блюера, школа вокруг Клагеса * по сравнению с тьмой сект, уповающих на освобождение духа посредством вишнеедения, театральное обставленное увлечения дачами, ритмической гимнастики, устройства собственной квартиры, зубиотики *, чтения Нагорной проповеди или какой-нибудь другой частности, которых тысячи. И в центре каждой из этих сект восседает великий имярек, чье имя непосвященные еще никогда не слышали, но который в кругу своих адептов пользуется славой спасителя человечества. Такими духовными землячествами кишит вся Германия; в большой Германии, где из десяти значительных писа-

телей девять не знают, на что им жить, неисчислимые полудиоты вкладывают материальные средства в печатание книг и основание журналов ради собственной рекламы. У меня нет под руками нынешних данных, но перед войной в Германии выходило ежегодно свыше тысячи новых журналов и свыше тридцати тысяч новых книг, и мы, конечно же, вообразили себя духовным маяком, свет которого заметен издалека.

Однако, вероятно, с тем же успехом можно предположить, что этот избыток является неучтенным признаком роста атрибутомании, коей одержимые группки на всю жизнь связывают себя с каким-нибудь идефиксом, да так, что в этом состязании любителей настоящему параноику утвердиться у нас действительно трудно.

ТОЛЬКО
ЛИТЕРАТУРА

Человек, который имеет профессию и желание читать так же естественно, как он глубоко дышит, выходя из конторы, от затрудняющего дыхание смрадного воздуха спасается тем, что в порядке самообороны заявляет: это, мол, все «только литература». Если более ранние времена породили такие слова, как «щелкопер», «критикан», чтобы отмежеваться от определенных злоупотреблений литературой, то в наши дни стало ругательным само слово «литератор». «Только литературой» называют нечто подобное призрачным мотылькам, которые порхают вокруг искусственных источников света, когда снаружи белый день. Деятельному человеку в тягость причиняемое ею беспокойство, и кто не слышал его кратких и решительных заявлений о том, что в сообщениях из зала суда, в описаниях путешествий, биографиях, политических речах, во впечатлениях у постели больного, в поездках по горам он находит поэзии и душевных потрясений больше, чем в современной художественной литературе? Отсюда недалеко до убеждения, что в наше «скоротечное и сотрясаемое катаклизмами время» подлинно живым искусством являются маленькие газетные заметки или фельетоны. Он утверждает, что величайшее стихотворение – это сама жизнь, и тем получает возможность возвести себя самого в ранг поэтического гения. Но тогда устраняется последний читатель и остаются одни гении.

Так что нам нужно исследовать только один вопрос: как читают гении?

Но это известно. Гении отличаются тем, что редко признают достижения других гениев. Они читают лишь для подтверждения собственных взглядов, а это их томит. Туристов томят взгляды туристов, психоаналитиков – взгляды психоаналитиков. Они сами все знают лучше (что в таком случае действительно правда). Поэтому они читают с карандашом в руке, из-под которого вырываются восклицательные знаки и пометки на полях. А в художественной литературе, по их мнению несколько отставшей, они любят прежде всего не обстоятельство – им достаточно импульса. Поэтому они читают, в сущности, одни только заголовки, которые можно пробежать глазами так же прекрасно, как и в газете; бывает,

что у них вырывается и признание — это когда они прочтывают довольно много заголовков, — и тогда они говорят, что духовно растроганны; бывает, что к ним подкрадывается и чувство одиночества, и тогда они называют все это «только литературой». Словом: гении читают так, как читают в наши дни.

Что они делают, когда пишут, остается при этом вне поля зрения.

НЕБОЛЬШАЯ ТЕОРИЯ

Настало время изложить небольшую теорию. Не нужно, чтобы она была большой и объясняла эти явления как нечто историческое, она должна быть лишь продуктом повседневного опыта. Наши головы и сердца перерабатывают воспринимаемые ими впечатления тем лучше, чем более взаимосвязаны или менее обособлены эти впечатления; мы добиваемся максимума в тех случаях, когда у нас или у вещей имеется система. Этот факт известен. Он начинается с ритмичного труда, пролегает через познание того, что всякий труд совершается совсем иначе, если известен его смысл, если он не распадается на отдельные безрадостные фрагменты и если он наполняет нас силой, оплодотворяющей великие научные теории, вследствие которых и делаются в изобилии неожиданные открытия; и сама живительная сила духовных движений — это особое психическое пробуждение в гуще совершенно неподходяще устроенных времен — кажется не чем иным, как ростом творческих успехов и достижений, которые возможны лишь посредством волшебного облегчения личного творчества, удовлетворяющего некоему великому, общему для всех, единственно представимому порядку вещей.

Не случайно история духа, преимущественно история искусства, складывается в «направления» и «течения». Но эта неслучайность, естественно, неравнозначна тенденции к формированию категорически самого прекрасного искусства, она — всего лишь психотехнический трюк, облегчающий всякое формирование вообще.

Ограничиваясь чтением, можно сказать, что огромная разница заключается в том, как читают: руководствуясь всеобщими убеждениями или нет. Сейчас удивляются, узнавая о том, что в преисполненные надежд времена около 1900 года количество мякины считалось показателем столь же важным, как и количество произведенного тогда отборного зерна; позднее точно так же будут удивляться некоторым писателям, которые в наши дни стоят на переднем плане. Однако подобные недоразумения производят в определенном смысле тот же эффект, что и разумения, — они помогают читателю обрести самого себя или составить представление о реальном положении дел, они усиливают то воздействие на психику, посредством которого впечатления читателя складываются в систему взаимного облегчения жизни в обществе и умножения энергии, и польза от этого эффекта большая, чем от эгоцентризма «личного образования» или «гуманизма нравственной личности», унаследованных нами, хотя и в не-

сколько парализованном виде, от XVIII столетия. Но если в одной и той же временной точке сходятся несколько духовных течений, то это, естественно, не что иное, как отсутствие всякого течения, и возникает странная картина: движение только что было, более того – при внимательном рассмотрении оно, кажется, еще есть, и даже сверх меры, однако в целом ощущается быстрый упадок сил.

ГОДЫ
БЕЗ
СИНТЕЗА

Нынешние годы можно бы охарактеризовать как интерференцию волн, которые гасят друг друга, что с некоторым удивлением и отмечается заинтересованными лицами. Но было бы чудовищным заблуждением – нашим собственным или других людей – считать, что в современности нет достаточно высокой литературы; напротив – можно бы легко насчитать две дюжины имен, служащих в совокупности таким мерилом мастерства, смелости, свободы и прочих решающих качеств, что с ними не сравнится никакой другой период в нашей литературе; но они не являют никакого синтеза, ни подлинного, ни мнимого. Грубо и буквально выражаясь, с ними нечего делать как с целым, и этим в немалой степени объясняется чувство обескураженности и разочарования, которым охвачена современность. Подобный упадок литературных сил, начавшийся в определенной мере повсеместно, выражается прежде всего не в том, что стало меньше хороших произведений, и не в том, что среди хороших затесалось больше плохих, а в определенном чувстве беспокойства, в обморочности и даже в либеральности вкуса; вкус держится еще крепко, но встречается все реже; через разнообразные щели и пазы хлынула всякая всячина, что ранее было бы невозможно; начало теряться чувство классовых различий между произведениями, и на одном дыхании выпаливаются, например, такие имена, как Гамсун и Гангхофер *. Этот пример кажется ныне пока несуразным, но ведь не считается же, что долог был путь от значимости Геббеля до значимости Вильденбруха! *

В такие времена можно напомнить, что существует система, синтез поважнее любых писателей, всеохватнее и долговечнее любых течений, а именно: литература.

Каким бы разумеющимся это ни представлялось и ни проговаривалось по обыкновению вполсмысла, нельзя упускать из виду, что литература – это прежде всего переворот прочно укоренившихся традиций, и не менее. Опрокидывается не только само собою разумеющееся, что литература важнее, чем ее направления, но и убеждения типа того, что искусство – это дар свыше, блаженство от причащения к отдельным великим, отдых и, во всяком случае, человеческое исключение. Но поставить литературу всерьез на первое место – то же, что на обетованном острове ввести понятие о коллективном труде или, зло выражаясь, переработать на консервы фауну этого счастливого острова, что, без сомнения, такое предприятие, которое, следует признать, легко может выродиться одинаковым образом и в слишком многое, и в слишком малое.

Литература, нужная в этом смысле, призвана направлять интересы не на сумму, не на музейное скопление произведений, а на функцию, воздействие, жизнь и резюмирование книг ради продолжительности и роста их влияния. Старание как отдельного человека, так и многих тысяч людей, среди которых очень немало и чрезвычайно одаренных, написать стихотворение или роман не может исчерпываться желанием пофартить некоему количеству читателей, выбросить возбуждающий движенье ступок рабочего пара, который, повисев, какое-то время на месте, рассеивается затем всевозможными воздушными потоками. Но как бы наши чувства и некий еще не дошедший до сознания опыт ни противились, сталкиваясь всякий раз один на один с конкретным произведением или конкретным писателем, мы вновь оказываемся ими задеты, выбиты из колеи и вслед за тем вновь покинуты, что, собственно, и является началом всякой литературы. А то, что мы называем историей литературы, – всего лишь тенденция к закреплению; но даже если представить ее завершившейся, объясняя произведения условиями времени, а также причинным, более или менее достоверным анализом творчества великих писателей, она помогает понять и пережить прочитанное отнюдь не окольными, путями или не только ими; если она не выходит за свои рамки, то задача ее не просто упорядочение собственно переживаний и впечатлений, а анализ и систематизация творческих личностей, времен, стилей, влияний, то есть нечто совсем иное.

Но с тем же успехом, с каким произведение искусства во всей его неповторимости может быть встроено в некий исторический ряд – ряд не только хронологический, – оно может быть встроено и в другие ряды. Уже сам инстинктивный акт чтения сориентирован не на что иное, как на непосредственное восприятие значимости, ценности книги, то есть цель его – личное усвоение эмоционального заряда, послания, этического и эстетического смысла книги, и он должен быть таким, чтобы все это не пропало даром. Если задаться вопросом о процессах, происходящих при чтении, то даже самый беглый взгляд позволит распознать их в себе самом. При чтении перенимаются элементы мышления, которые откладываются незамедлительно; сам переживаешь находки, уяснения, открываешь новое, и все это остается в тебе даже тогда, когда повод давно забыт; тебя охватывает волнение, и чувства, которыми тебя заразили, резюмируешь в твердую установку либо в виде опыта, выраженного словами, либо в виде намерения, а то и просто предоставляешь эти чувства самим себе, чтобы затем, медленно и по частицам отдавая свою энергию, они слились бы с прочими чувствами; запечатлеваешь в себе и то неопределенное и неопишное, что присуще литературным произведениям, – ритм, форму, ход, физиогномию целого, делая это какое-то время чисто миметически, подобно тому как, заражаясь какой-нибудь впечатляющей личностью, начинаешь подражать ей, внутренне перенимать ее образ, либо пытаешься сформулировать это в словах; очень трудно перечислить все процессы, проис-

ходящие при чтении, но траектория, на которой расположена их цель, распознается быстро. И непроизвольные движения восприятия остаются лишь осознать как единое целое.

Но, понимая под литературой только сумму произведений, мы получим не единое целое, а чудовищное собрание примеров, которые все разные и тем не менее уже известны, которые воспринимаются читателем по-разному и все же в определенном смысле одинаково – как нечто неопишимо пространное, без конца и начала, как сплетение великолепных нитей, не образующих, однако, ткани. Агрегат из читателей и книг становится литературой только тогда, когда сумма произведений начинает воплощать собою переработанный читательский опыт. Или другими словами: критику.

КРИТИКА
С ТАКОЙ
ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ

Есть много людей, вообще отрицающих возможность критики в этом смысле, который ведь все же предполагает наличие какого-то верха и низа, выбор каких-то направлений, при коих поступательное движение считается прогрессом. От предыдущего поколения наша эпоха унаследовала страх перед эстетическим тройным правилом *, с помощью которого стремились регулировать искусство по образцу классических гипсовых бюстов. Импрессионизм полагался на гуморальные токи, считая, что искусство доходит до сердца человека непосредственно, хотя физиологически и не совсем понятно как. Неоидеализм и экспрессионизм оперировали каким-то не менее непосредственным «созерцанием» мыслей, не совсем совпадающим с раздумьем, которым это «созерцание» определяется. И, обновленная несколькими именитыми головами, даже сама эстетика отрицает ныне свою применимость к практике; обжегшись на молоке, она не желает больше быть нормативной. Следствием стала критика-как-мне-кажется и критика словесных шрапнелей, критика-раз-два-взяли и критика-эй-ухнем, у которых на совести так много от духовной неразберихи наших дней.

Положение критики при этом отнюдь не тяжелее, чем положение морали. Нам абсолютно не дано понять божественные и неизменные нравственные законы; мораль в своей переменчивости создана людьми, которые предпосылают ее своей жизни и навязывают другим людям; но все же нельзя отрицать, что у нее есть система, которая одновременно изменчива и постоянна. Критика же в этом смысле ничего не значит в положении над литературой, ибо переплетена с нею. Она вносит в литературу идеологические производные, образуя тем самым традицию, – причем в идеологическом плане у нее широчайший диапазон, охватывающий также и выразительные ценности «форм», – и она не допускает повторения одного и того же без нового смысла. Критика является и растолкованием литературы, переходящим в растолкование жизни, и ревностным стражем достигнутого уровня. Такой перевод частично иррационального в рациональное никогда не удается полностью; и то, что при этом

является недостатком – упрощением, фрагментированием и даже выщелачиванием, – имеет и положительные стороны – всестороннюю мобильность и большой охват отношений, подвластных разуму. Критика, таким образом, есть и плюс и минус, и, как всякая идеологическая структура, оставаясь в долгу перед жизнью многими частностями, она дает взамен нечто всеобщее. Улучшению знаний такая критика способствует мало; она может заблуждаться, ибо складывается всегда не в одном человеке, а в сложных скрещенных, в усилиях многих людей, в бесконечном процессе пересмотров, она порождается в конечном счете самими книгами, которые служат ее объектом, ибо каждое значительное произведение обладает способностью опрокидывать все мнения, существовавшие до его появления.

АВСТРИЯ

СТЕФАН

1881–1942

ЦВЕЙГ

*Каким
ограниченным
должен казаться
мир человеку,
лишенному
возможности
читать.*

КНИГА
КАК
ВРАТА
В МИР

Два открытия ума человеческого – вот первооснова всякого движения на земле; движение в пространстве стало возможно благодаря изобретению круглого, вращающегося вокруг своей оси колеса, движение духовное – благодаря изобретению письменности.

Некто безымянный, где-то, когда-то согнувший в обод непокорное дерево, научил человечество преодолевать расстояния между странами и народами. Возок сделал доступными связи, перевозки, путешествия, он стер границы, которые возникли по воле природы и удерживали плоды, камни, изделия и руды в узких рамках климатической родины. Каждая страна жила теперь не сама по себе, а в тесном общении с остальным миром; Север и Юг, Запад и Восток, Старый Свет и Новый Свет с помощью этого открытия приблизились друг к другу. И, подобно тому как колесо в последовательно усовершенствованных формах – в беге паровоза, рывке автомобиля, бешеном вращении пропеллера – преодолело земное тяготение, так и письменность, тоже проделавшая долгий путь от папирусного свитка, от листа к книге, преодолевает трагическую ограниченность жизненного опыта, отпущенного душе человеческой: там, где есть книга, человек уже не остается наедине с самим собой, в четырех стенах своего кругозора, он приобретает ко всем свершениям прошлого и настоящего, к мыслям и чувствам целого человечества. Все или почти все движение нашего духовного мира связано ныне с книгой, и та вознесенная над материальным миром форма проявления жизни, которую мы именуем культурой, была бы немыслима без книги.

Но лишь изредка, лишь в считанные мгновения нашей частной и личной жизни сознаем мы эту одухотворяющую мирозозидающую силу книги. Ибо книга давным-давно сделалась неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и мы утратили способность всякий раз снова и снова благоговейно восхищаться чудом, в ней явленным. Как, сами того не ведая, мы с каждым вдохом поглощаем кислород и этим незримым химическим веществом таинственно питаем и освежаем нашу кровь, так не замечаем мы и того, что наш устремленный в книгу взор непрерывно поглощает духовную пищу, которая либо освежает, либо утомляет наш ум.

Для нас, питомцев многовекового царства письменности, чтение стало почти мускульной функцией, почти автоматическим действием, а книга, сопутствующая нам с первого класса школы, стала чем-то до такой степени при нас и подле нас сущим, что мы по большей части берем ее в руки небрежно, без всякого трепета, как берем свой пиджак, перчат-

ку или сигарету, как берем любой из продуктов массового производства. Доступность сокровища всегда лишает нас почтения к нему, и только в истинно творческие, раздумчивые, созерцательные мгновения нашего бытия привычное и обычное снова оборачивается чудом. Единственно в эти редкие часы углубленного созерцания мы благоговейно приемлем разумом ту магическую, облагораживающую силу, которой книга наполняет нашу жизнь и которая делает книгу столь необходимой для нас, что мы, дети двадцатого века,



Рисунок И. Вотрубы. уже не мыслим свой внутренний мир без ее чудесного присутствия.
1982.

Редки, очень редки эти мгновения, но именно потому каждое из них долго, иногда годами живет в памяти. Так я, например, до сих пор точно помню день, место и час, когда мне до конца открылось, как глубоко творчески связан наш личный, наш внутренний мир с миром книг, зримым и в то

же время незримым. Я считаю себя вправе поведать об этой минуте прозрения и познания, не рискуя показаться нескромным, ибо при всем узколичном характере этой минуты значение ее выходит далеко за пределы моей случайной личности.

Мне было тогда лет двадцать шесть, я уже сам писал книги, то есть знал кое-что о таинственных превращениях туманной мечты, идеи, фантазии, знал о фазах, проходимых замыслом, прежде чем обратиться после ряда удивительных сгущений и сублимаций в тот крытый картоном прямоугольник, который мы называем книгой, в тот предмет, который продается и покупается, имеет цену, лежит за стеклом витрины, как безвольный товар, и все же хранит живую душу, — каждый отдельный экземпляр хоть и продается, но принадлежит самому себе — самому себе и кому-то другому, тому, кто с любопытством перелистывает страницы, и еще больше тому, кто читает, но окончательно — лишь тому, кто не просто читает, а наслаждается чтением. Короче, я сам уже познал некоторые тайны не передаваемого словами процесса переливания, когда твоя личная субстанция капля по капле переливается в чужие артерии, судьба в судьбу, чувство в чувство, мысль в мысль; но все волшебство, вся глубина, вся сила, вся суть действия печатного слова еще не открылась мне, я лишь смутно размышлял о ней, смутно и не до конца. Открытие пришло ко мне в тот день и в тот час, о которых я и хочу рассказать.

Я ехал на пароходе, на итальянском пароходе по Средиземному морю, от Генуи, до Неаполя, от Неаполя до Туниса, от Туниса до Алжира. Путешествие должно было занять несколько дней, а пароход шел почти пустой. Так получилось, что я часто разговаривал с одним молодым итальянцем из пароходной команды. Он был кем-то вроде помощника стюарда, подметал каюты, драил палубу, словом, выполнял ту работу, которая по общечеловеческой табели о рангах считается черной. Я с искренним удовольствием смотрел на цветущего, черноглазого, смуглого паренька, обнажавшего в улыбке великолепные зубы. А улыбался он часто, он любил свой певучий и гибкий язык и никогда не забывал дополнить музыку итальянской речи выразительной жестикуляцией. Одаренный незаурядным мимическим талантом, он схватывал повадки любого человека и передразнивал их: как шамкает беззубый капитан, как вышагивает по палубе старый англичанин, выдвинув вперед левое плечо, как важно прогуливается после обеда кок, взглядом знатока окидывая животы пассажиров, сытых его стараниями. Мне было очень забавно болтать с моим смуглым дичком, ибо этот паренек с ясным лбом и татуировкой на руках, много лет, по его рассказам, пасший овец у себя на родине — на Липарских островах, — отличался добродушной доверчивостью молодого звереныша. Он сразу почувял, что я к нему расположен и охотнее всего разговариваю именно с ним. Поэтому он без обиняков выложил мне решительно все, что он знал о себе, и не прошло и двух дней, как мы стали почти друзьями или товарищами.

И вдруг между нами воздвиглась незримая преграда. Мы стали на якорь в Неаполе, приняли на борт уголь, пассажиров, овощи и почту, словом, обычный пароходный рацион, и вышли в море. Уже гордый Позилип обратился в крохотный холмик, уже и облачка над Везувием завились колечками, словно легкий папиросный дымок, как вдруг он подошел ко мне, улыбаясь во весь рот, гордо показал мне измятое, только что полученное письмо и попросил меня прочесть это письмо ему.

Я не сразу его понял. Я решил, что Джованни получил письмо на иностранном языке, немецком или французском, письмо от девушки – такой парень не мог не нравиться девушкам, – и хочет, чтобы я перевел ему на итальянский это нежное послание. Но письмо было написано по-итальянски. Так чего же он хочет? Чтобы я узнал, о чем ему пишут? Да нет же, возразил Джованни почти сердито, чтобы я прочел ему письмо, прочел вслух. И тут я все понял: этот красивый, умный, обладающий и врожденным тактом, и подлинной грацией юноша входил в те установленные статистикой семь или восемь процентов итальянской нации, которые не умеют читать. Он был неграмотный! Я не мог припомнить, чтобы мне когда-нибудь случалось беседовать с представителем этого вымирающего в Европе племени. Джованни был первый неграмотный европеец, который мне встретился, и я, вероятно, посмотрел на него с искренним удивлением – уже не как на друга или товарища, а как на музейный экспонат. Письмо я ему, разумеется, прочел, письмо от какой-то швеи, не то Марии, не то Каролины, где было написано то, что пишут девушки таким парням в любой стране мира на любом языке. Он пристально следил за движением моих губ, и я заметил, как он силится запомнить каждое слово. На лбу у него даже обозначились морщины – так исказило его лицо напряженное внимание, усилие все точно запомнить. Я два раза прочел письмо, медленно, внятно; он впитывал каждое слово, глаза у него засияли, а рот заалел, как расцветшая красная роза. Но тут подошел один из офицеров, и мой Джованни исчез.

Вот и все, вся история. Но, собственно, прозрение началось для меня позже. Я лежал в шезлонге и любовался южной ночью. Мое удивительное открытие не давало мне покоя. Я впервые встретил неграмотного, и не кого-нибудь, а европейца, и притом, на мой взгляд, весьма неглупого, с которым я разговаривал, как с равным, и меня чрезвычайно занимала, даже мучила мысль о том, как может отражаться мир в этом закрытом для письменности мозгу.

Я пытался представить себе, что это значит – не уметь читать, я пытался вообразить себя на месте этого человека. Вот он берет газету – и ничего в ней не понимает. Вот он берет книгу и взвешивает ее на руке – чуть полегче, чем кусок дерева или железа, четырехугольная, пестрая, ненужная вещь, – и снова откладывает ее, не зная, что с ней делать. Вот он останавливается перед книжным магазином – и все эти красивые, пестрые, желтые, зеленые, красные, белые прямоугольники с золотым тиснением на корешке для него

Без сомнения, есть книги, ключом к которым является жизнь их авторов, но я не думаю, что такая отмычка подойдет к каждому произведению. Большая часть литературы не имеет прямого отношения к жизни писателя. То, что в жизни интересно — любовь, голод, война, борьба, приключения и религия, — писатели переживают точно так же, как и миллионы других людей. Важно то, как они пишут. Есть много писателей — Кафка, например, — вещь, жизнь которых протекала вполне банально, но Кафка не писал банальных вещей. Вот почему неверно отождествлять автора с персонажами его книг. Он растворен в своих книгах, в их голосах и образах, он скрыт в них и сам толком не знает,

все равно что буафорские фрукты или запечатанные флаконы духов, не пропускающие запаха. Вот при нем называют священные имена Гёте, Данте, Шелли, а они ничего не говорят его сердцу, для него это пустой звук, бессмысленное сочетание слогов. Он не ведает, бедняга, сколько наслаждения внезапно дарит человеку одна-единственная строка, сверкнувшая, будто серебряный месяц из-за темных туч, он не ведает глубоких потрясений, когда в тебе начинает жить чужая, выдуманная судьба. Он замурован в самом себе, ибо не знает книги, он влачит тупое существование троглодита, и нельзя понять, как он, отторгнутый от мира, выносит эту жизнь и не задохнется от собственной скудости. Как можно жить, не зная ничего иного, кроме того, что случайно увидел глаз или услышало ухо, как можно дышать без дуновения мира, который струится из книг? Я все усерднее пытался представить себе положение не умеющего читать, отрезанного от духовного мира, я пытался искусственно воссоздать его образ жизни, как ученый по одной свае пытается реконструировать существование брахицефала или неандертальца. Но я не мог проникнуть в мозг такого человека, постичь склад мыслей европейца, который за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, как не может глухой постичь волшебную силу музыки по описаниям.

Так и не сумев проникнуть во внутренний мир неграмотного, я попытался облегчить себе задачу — вообразить без книг свою собственную жизнь. Для начала я попытался на какой-то срок исключить из своей жизни все, что я узнал посредством письменности, и прежде всего из книг. И с первых же шагов потерпел неудачу. Ибо то, что я привык считать как мое собственное «я», полностью распалось при первой же попытке изъять из него знания, опыт, дар проникновения в чужие чувства, чувство человеческой общности и собственного достоинства — словом, все то, что я приобрел благодаря книгам и образованию. За каждым предметом, за каждым событием тянулись воспоминания и наблюдения, почерпнутые из книг, каждое отдельное слово вызывало в памяти бесконечную цепь ассоциаций из прочитанного и выученного. Стоило мне, к примеру, вспомнить, что я еду в Алжир и Тунис, как вокруг слова «Алжир», даже помимо моей воли, с быстротой молнии, словно кристаллы, вырастали сотни ассоциаций: Карфаген, культ Ваала, Саламбо, строки из Тита Ливия, повествующие о сражении под Замой *, где встретились пунийцы и римляне, войска Сципиона и войска Ганнибала — и та же самая сцена в драматическом фрагменте Грильпарцера; сюда же врывалось многоцветное полотно Делакруа *, и флорберовское описание природы *, и то, что Сервантес был ранен именно при штурме Алжира войсками Карла V; и тысячи других подробностей как по волшебству оживали, едва лишь я произносил вслух или даже про себя слова «Алжир» и «Тунис»; два тысячелетия войн, история средних веков — несть числа картинам, всплывающим в памяти; все, что ни выучил, все, что ни прочел за свою жизнь, служило волшебному обогащению одного случайно всплывшего слова.

*как все произошло.
Корни интереса
к личности
писателя — в
жажде сенсаций,
не имеющей ничего
общего
с литературой.*

Генрих Бёлль

И я понял, что милость или дар мыслить широко и свободно, со множеством разветвлений, что этот великолепный, единственно верный способ видеть мир не с одной, а со многих сторон дается в удел лишь тому, кто сверх собственного опыта впитал опыт многих стран, народов и времен, собранный и хранимый книгами, и я ужаснулся тому, каким ограниченным должен казаться мир человеку, лишенному возможности читать. Но самой своей способностью все это продумать и так остро почувствовать, как убог бедный Джованни без высокой радости мироприятия, этим неповторимым даром потрясаться чужими, случайными судьбами — не обязан ли своей близости к книге? Ибо что делаем мы, читая, как не живем жизнью чужих людей, смотрим на мир их глазами, мыслим их мозгом? И одно это благодатное и одухотворенное мгновение наполнило меня горячей признательностью при мысли о неисчислимых мигах счастья, дарованных мне книгами; пример за примером всплывая из глубин памяти, они роились, словно звезды над моей головой, я вспоминал те случаи, которые поднимали мою жизнь над узостью неведения, учили меня истинным ценностям и посылали мне, маленькому мальчику, опыт и знания, во многом превосходившие мои тогда еще ничтожные физические силы. Именно поэтому — теперь я понял это — у ребенка сказочно ширилась душа, когда он читал жизнеописания Плутарха, описание приключений Мичмана Изи или подвигов Кожаного Чулка *, ибо с ними в городскую квартиру врвался мир необузданных страстей и вместе с тем уносил меня из этих четырех стен; книги впервые показали мне беспредельность нашего мира и блаженство погружения в него. Большую часть наших душевных движений, желание раздвинуть границы своего «я», лучшую часть нашего существа, всю эту священную жажду даровала нам соль книг, понуждающая нас снова и снова испить свежих впечатлений. Я вспоминал знаменательные решения, принятые благодаря книгам, встречи с давно умершими писателями, порою более для меня важные, чем встреча с женщиной или другом, ночи любви, проведенные с книгами, когда забываешь о сне ради высокого блаженства; и чем больше я думал, тем больше приходил к убеждению, что наш духовный мир складывается, как из миллионов монад, из отдельных впечатлений, коих наименьшую часть составляет лично увиденное и пережитое, а всем прочим — основной массой — мы обязаны книгам, прочитанному, воспринятому, изученному.

Чудесно было думать об этом. Снова припомнились забытые мгновения счастья, доставленные мне книгами; одно влекло за собой другое, и как при попытке сосчитать звезды на черном бархате неба все время, сбивая меня со счета, возникали новые звезды, так и при попытке заглянуть в свою внутреннюю сферу я понял, что это наше звездное небо тоже озарено бесчисленным множеством огней и что мы, сподобленные радостей духовных, обладаем второй вселенной, которая в сиянии вращается вокруг нас под звуки таинственной музыки. Никогда еще книги не были мне так близки, как в тот час, когда я не держал в руках ни одной, а только ду-

мал о них, но думал со всей признательностью прозревшей души. Благодаря ничтожному случаю – встрече с неграмотным человеком, с несчастным евнухом духа, созданным таким же, как мы, но из-за этого единственного изъяна лишенным способности вторгаться, любя и созидая, в высший из миров, – я почувствовал всю магию книг, которая ежечасно открывает глубины вселенной каждому, кто способен прочесть их.

Но тот, кто однажды познал цену написанного и напечатанного, цену духовного общения посредством слова во всей ее неизмеримой глубине – способствовала ли этому познанию одна книга или вся совокупность их, – тот улыбнется сострадательно, видя малодушие, охватившее сегодня многих, даже умных людей. Время книг миновало, теперь слово принадлежит технике, сокрушаются они; граммофон, кинематограф, радио как более искусные и удобные передатчики слова и мысли уже вытесняют книгу, и скоро ее культурно-историческая миссия отойдет в прошлое. Какой узкий взгляд, какая куца мысль! Ибо где и когда технике удалось совершить хоть одно чудо, которое превзошло или хотя бы сравнялось с чудом, явленным нам тысячу лет назад в книге? Химия не изобрела взрывчатого вещества, которое могло бы так потрясти весь мир; нет такой стали, такого железобетона, который превзошел бы долговечностью эту маленькую стопку покрытой печатными знаками бумаги. Ни одному источнику энергии не удалось еще создать такого света, который исходит порой от маленького томика, и никогда электрический ток не будет обладать такой силой, которой обладает электричество, заложенное в печатном слове. Не стареющая и несокрушимая, неподвластная времени, самая концентрированная сила в самой насыщенной и многообразной форме – вот что такое книга; так ей ли бояться техники? Разве не с помощью тех же книг техника совершенствуется и распространяется? Повсюду, не только в нашей личной жизни, книга есть альфа и омега всякого знания, начало начал каждой науки. И чем тесней ты связан с книгой, тем глубже открывается тебе жизнь, ибо благодаря ее чудесной помощи твой собственный взор сливается с внутренним взором бесчисленного множества людей, и, любя ее, ты созерцаешь и проникаешь в мир во сто крат полней и глубже.

1937

БЛАГОДАР- НОСТЬ КНИГАМ

Они здесь – ожидающие, молчаливые. Они не толпаются, не требуют, не напоминают. Будто погруженные в сон, безмолвно стоят они вдоль стены, но имя каждой смотрит на тебя, подобно отверстому оку. Когда ты пробегаешь по ним взглядом, касаешься руками, они не кричат тебе умоляюще вслед, не рвутся вперед. Они не просят. Они ждут, когда ты откроешься им сам, и лишь тогда они открываются тебе. Сначала тишина: вокруг нас, внутри нас. И наконец ты готов принять их – вечером, отринув заботы, днем, устав от людей, утром, очнувшись от сновидений. Под их музыку хо-

*Хотя я пишу
в одиночестве,
оснащенный только
стопой бумаги,
горсткой очищенных
карандашей
и пишущей
машинкой, я никогда
не чувствовал себя
одиноким, а всегда
связанным со своим
временем
и современниками.*

Генрих Бёль

чется пометать. Предвкушая блаженство, подходишь к шкафу, и сто глаз, сто имен молча и терпеливо встречают твой ищущий взгляд, как рабыня в серале взор своего повелителя – покорно, но втайне надеясь, что выбор падет на нее, что наслаждаться будут только ею. И когда твои пальцы, как бы подбирая на клавиатуре звуки трепещущей в тебе мелодии, останавливаются на одной из книг, она ласково приникает к тебе – это немое, белое создание, волшебная скрипка, таящая в себе все голоса неба. И вот ты раскрыл ее, читаешь строчку, стих... и разочарованно кладешь обратно: она не созвучна настроению. Движешься дальше, пока не приблизишься к нужной, желанной, и внезапно замираешь: твоё дыхание сливается с чужим, будто рядом с тобою любимая женщина. И когда ты подносишь к лампе эту счастливую избранницу, она словно озаряется внутренним светом. Колдовство свершилось, из нежного облака грез возникает фантазмагория, и твои чувства поглощает беспредельная даль.

Где-то слышится тиканье часов. Но не часами измеряется это ускользнувшее от самого себя время, здесь ему иная мера; вот книги, которые странствовали многие века, прежде чем наши губы произнесли их имя, вот – совсем юные, лишь вчера увидевшие свет, лишь вчера порожденные смятением и нуждой безусого отрока, но все они говорят на магическом языке, все заставляют сильнее вздыматься нашу грудь. Они волнуют, но они и успокаивают, они обольщают, но они и унимают боль доверившегося сердца. И незаметно для себя ты погружаешься в них, наступает покой и созерцание, тихое парение в их мелодии, мир по ту сторону мира. О вы, чистые мгновения, уносящие нас из дневной суеты, о вы, книги, самые верные, самые молчаливые спутники, как благодарить вас за постоянную готовность, за неизменно ободряющее и окрыляющее участие!

В мрачные дни душевного одиночества, в госпиталях и казармах, в тюрьмах и на одре мучений – повсюду вы, всегда на посту, дарили людям мечты, были целебной каплей покоя для их утомленных суетой и страданиями сердец! Кроткие магниты небес, вы всегда могли увлечь в свою возвышенную стихию погрязшую в повседневности душу и развеять любые тучи с ее небосклона.

Крупницы бесконечности, молча выстроившиеся вдоль стены, скромно стоите вы в нашем доме. Но едва лишь рука освободит вас, сердце прикоснется к вам, как вы отворяете нашу земную обитель, и ваше слово, как огненная колесница, возносит нас из тесноты будней в простор вечности.

*Дупло,
которое
прожигает
гениальная
книга в нашем
окружении,
очень удобно
для того,
чтобы
поместить
там свою
маленькую
свечу.*

[ЖАЖДА
КНИГ]

ИЗ
ДНЕВНИКОВ

Я попытаюсь постепенно составить список того, что во мне бесспорно, затем – вероятно, потом – возможно и т.д. Бесспорна во мне жажда книг. Нет, не владеть ими или читать их я жажду, а видеть их, убедиться перед витриной книготорговца, что они существуют. Если где-нибудь лежат несколько экземпляров одной книги, меня радует каждый из них. Жажда эта подобна неверно направленному чувству голода, она словно исходит из желудка. Книги, которыми я сам владею, радуют меня меньше, книги же моих сестер, напротив, меня радуют. Желание владеть ими несравненно слабее, оно почти отсутствует.

II ноября 1911

Если книга писем или воспоминаний, все равно чьих (на сей раз Карла Штауффер-Берна *), оставляет тебя спокойным, не захватывает – ведь для этого требуется искусство, и оно уже само осчастлиливает, а ты только поддаешься (если не оказывать сопротивления, это случается скоро), даешь собравшимся чужим людям увести тебя и породниться с тобой, – тогда нет ничего особенного в том, что, закрыв книгу, вернувшись к самому себе, к своей заново осознанной, заново встряхнутой, на мгновение издали рассмотренной собственной сущности, чувствуешь себя после этой вылазки и этого отдыха лучше, с более легкой головой. Лишь потом мы можем удивиться, что чужие жизненные перипетии, несмотря на их живость, описаны в книге застывшими, хотя по собственному опыту знаем, что нет на свете ничего более далекого от какого-либо переживания, например грусти, вызванной смертью друга, чем описание этого переживания. Но то, что годится для нас самих, непригодно для других. Если мы, например, не можем своими письмами выразить собственные чувства – разумеется, здесь есть расплывающееся в обе стороны множество градаций, – если даже при самом лучшем своем состоянии мы все время прибегаем к таким выражениям, как «неописуемо», «невыразимо», или после «так грустно» или «так прекрасно» должна сразу же следовать раздробляющая фраза с «что», то, словно в нагрузку, нам дана способность воспринимать чужие рассказы со спокойной точностью, которой, во всяком случае в такой мере, нам не хватает при писании собственных писем. Неведение, в котором мы пребываем относительно тех чувств, которые в зависимости от обстоятельств или придали силы лежащему перед нами письму, или скомкали его, – именно это неведе-

ние превращается в понимание, ибо мы вынуждены держаться этого письма, верить только тому, что там написано, считать, таким образом, что все в нем выражено в совершенстве, и в этом совершенном выражении по праву видеть открытую дорогу в глубины человечнейшего. <...>

9 декабря 1911

Дупло, которое прожигает гениальная книга в нашем окружении, очень удобно для того, чтобы поместить там свою маленькую свечу. Вот почему гениальное воодушевляет, всех воодушевляет, а не только побуждает к подражанию.

15 сентября 1912

*Чтение ни на
один день не
прерывалось...*

[ВСЕ, ЧТО
СОСТАВИЛО
МЕНЯ]

...Спустя несколько месяцев после того, как я пошел в школу, произошло нечто торжественное и волнующее, определившее всю мою дальнейшую жизнь. Отец принес мне книгу. Он увел меня одного в заднюю комнату, служившую для нас, детей, спальней, и объяснил ее мне. Это была «The arabian Nights» – «Тысяча и одна ночь», изданная для детей. На обложке была пестрая картинка, кажется, Аладдин с волшебной лампой. Отец говорил со мной подбадривающе и серьезно, сказал, что чтение ее доставляет большую радость. Одну историю он прочитал вслух и добавил: столь же прекрасны и другие истории в этой книге. Пусть я попробую их читать, а вечером рассказывать ему о прочитанном. Когда прочитаю эту книгу, он принесет мне другую. Повторять просьбу не пришлось – хотя я только что научился читать, я сразу взялся за чудесную книгу, и каждый вечер мне было что рассказать отцу. Он выполнял свое обещание – каждую законченную книгу тут же сменяла новая, чтение ни на один день не прерывалось.

То была серия для детей, все книги одинакового квадратного формата. Они отличались друг от друга лишь цветной картинкой на обложке. Даже шрифт во всех томах был один и тот же, казалось, что читаешь одну и ту же книгу. Что это была за серия! Подобной я никогда больше не видел. Я помню все названия. После «Тысячи и одной ночи» последовали гриммовские сказки, «Робинзон Крузо», «Путешествия Гулливера», «Tales from Shakespeare»*, «Дон Кихот», Данте, «Вильгельм Тель». Удивительно, как это удалось – переработать Данте для детей. В каждой книге было много цветных картинок, но я их не любил, истории были гораздо интереснее, сомневаюсь даже, узнал ли бы я сейчас эти картинки. Легко было бы показать, что все, что позже составило меня, содержалось в книгах, которые я ради отца читал на седьмом году своей жизни. Среди образов, с которыми я никогда уже потом не расставался, не хватало только Одиссея.

*Лучшими книгами
являются те,
читая которые
каждый полагает,
что мог бы
написать их сам.*

Блез Паскаль

О каждой книге, прочитав ее, я разговаривал с отцом. Иной раз я так возбуждался, что ему приходилось меня успокаивать. Но он никогда не говорил мне, как то обычно делают взрослые, что сказки – это неправда; за это я ему особенно благодарен, может быть, я и теперь считаю их правдой. Я понимал, что Робинзон Крузо совсем другой, чем моряк Синдбад, но мне не приходило в голову считать одну историю менее значительной, чем другая. Правда, дантовский ад вызвал у меня страшные сны. Услышав, как мать сказала отцу: «Джек, тебе не следовало давать ему эту книгу, это слишком рано для него», – я испугался, что он пере-

станет приносить мне книги, и научился держать в секрете свои сношения. Но отец не поддавался, и после Данте мы занялись «Вильгельмом Теллем». В разговоре о нем я впервые услышал слово «свобода». Не помню, что отец говорил тогда, помню только, он сказал что-то об Англии: мы потому сюда переехали, что здесь мы свободны. Я знал, что он очень любил Англию. Мать же была привязана к Вене. Он старался выучить как следует язык, и раз в неделю к нему приходила учительница. Я заметил, что английские фразы он произносил иначе, чем говорил на немецком языке, который был ему привычен с юности и на котором он чаще всего разговаривал с матерью. Я слышал, как отдельные фразы он иногда повторял по нескольку раз. Он произносил их медленно, словно любуясь, он наслаждался ими, повторяя снова и снова. С нами, детьми, он теперь говорил только по-английски; испанский, который до сих пор был для меня родным языком, отступил на задний план, и я слышал его лишь от других, главным образом от старых родственников.

Он хотел, чтобы о прочитанных книгах я рассказывал ему только по-английски. Думаю, благодаря такому увлеченному чтению я и достиг очень быстрых успехов. Он радовался, что я свободно рассказывал. Но то, что говорил он, имело особенное значение: каждую фразу он обдумывал, дабы избежать ошибок, и говорил так, словно читал вслух. Эти часы мне помнятся как нечто торжественное, совсем не похожее на его игры с нами в детской, когда он без конца придумывал все новые забавы.

Последняя книга, которую я получил от него, была о Наполеоне. Написанная с английской позиции, она изображала Наполеона страшным тираном, который хотел подчинить своей власти все страны, в особенности Англию. Когда я читал эту книгу, умер отец. С тех пор я испытываю к Наполеону неодолимую антипатию. Я начал отцу рассказывать о книге, но прочел я еще мало. Он дал мне ее вслед за «Вильгельмом Теллем», и после разговора о свободе это было для него небольшим экспериментом. Когда я вскоре очень возбужденно заговорил о Наполеоне, он сказал: «Погоди, пока слишком рано. Читай дальше. Потом все будет совсем иначе». Твердо помню, что тогда Наполеон еще не был императором. Может быть, он хотел испытать меня, может быть, хотел увидеть, устою ли я перед императорским величием. Я дочитал книгу уже после смерти отца, затем перечитывал ее, как и все книги, которые получил от него, бесчисленное количество раз. Я еще мало что знал о власти. Мое первое впечатление о ней порождено этой книгой, и всякий раз, услышав имя Наполеона, я связываю с ним внезапную смерть отца. Из всех жертв Наполеона самой большой и самой ужасной для меня был мой отец.

*Потрясающе
усиливается
воздействие
многих книг,
когда они
прочитываются
вслух.*

ОБРАЩЕНИЕ С КНИГАМИ

О ЧТЕНИИ

Вот уже почти пять веков печатная книга – один из своеобразнейших и могущественнейших факторов в культурной жизни Европы. Едва ли найдется другое, относительно молодое искусство, без которого для нас настолько не представляема современная жизнь, как книгопечатание. При этом Германия, как это часто бывало, играет трагикомическую двойную роль: подарив миру изобретение печатного искусства и одни из лучших и благороднейших оттисков, она, однако, чуть ли не сразу отказалась от последующих лавров и в печатном деле – как и в покупке красивых книг – уже около трех столетий далеко отстает от других стран, особенно Англии и Франции. Но в новейшее время в этой давно заброшенной у нас области ощущается прилив немалых новых сил, несомненно порожденный потребностями и нуждами народа. «Дом без книг» постепенно перестает быть правилом, и мы надеемся, что вскоре он будет все более редким исключением.

В Германии писали, печатали и читали, конечно, много во все времена, и, возможно, даже больше, чем за границей. По сравнению с другими странами, у нас лучше чем где бы то ни было организована книготорговля, и самая надежная библиография – немецкая; но забота о книге, радость от книжного собирательства и обладания красивой домашней библиотекой, отобранной личным в к у с о м, – вещь у нас еще далеко не всеобщая и не естественная, по крайней мере в неученых кругах. Но она неотъемлемая и важная деталь всякого культивированного образа жизни, и, вероятно, стоит немного поговорить об этом. Обращение с книгами, искусство чтения столь же достойны умной, радостной заботы и столь же необходимы, как и всякая другая отрасль искусства жизни.

Если книги не рекомендованы и не навязаны текущей модой, то неученый человек испытывает зачаштую перед ними такой же необоснованный страх, как и перед произведениями изобразительного искусства. Он чувствует, что «ничего в этом не смыслит», он не доверяет собственным суждениям и, чтобы не покупать и не читать никаких книг, пугливо обходит стороной все книжные лавки или – что бывает чаще – при случае тем неизбежнее попадает в сети назойливого книгоноши, оказываясь в один прекрасный день владельцем дорогостоящих, красиво позолоченных, роскошных томов, с которыми неизвестно что делать и которые вскоре при каждом взгляде на них начнут вызывать раздражение.

Вероятно, вряд ли найдется человек – если он только не

вырос среди книг, — не нуждающийся в известном воспитании, а при случае и в поучении. И здесь, как и во всем, главное — не знание, а желание, не готовое суждение, а восприимчивость, честность, непринужденность. С определенных высот жизни, достижимых для всякого, кто к ним стремится, границы между искусствами и областями знания стираются: нет исторических периодов и жанров, нет драм и пьес, — видны лишь произведения искусства. С этой точки зрения никто уже не воспользуется такими расхожими, сви-



детельствующими о лени фразами, как «я из принципа не читаю современных романов» или «я из принципа не хожу на пантомимы» и т. п. Каждый, независимо от того, разбирается он в искусствах или нет, будет смотреть тогда на вещи более непринужденно и — только руководствуясь тем, говорят ли и значат ли они для него нечто прекрасное, обогащают ли они его жизнь чувствами и мыслями, открывают ли новые источники силы, хорошего самочувствия, радости или размышлений. При чтении книги, равно как и при слуша-



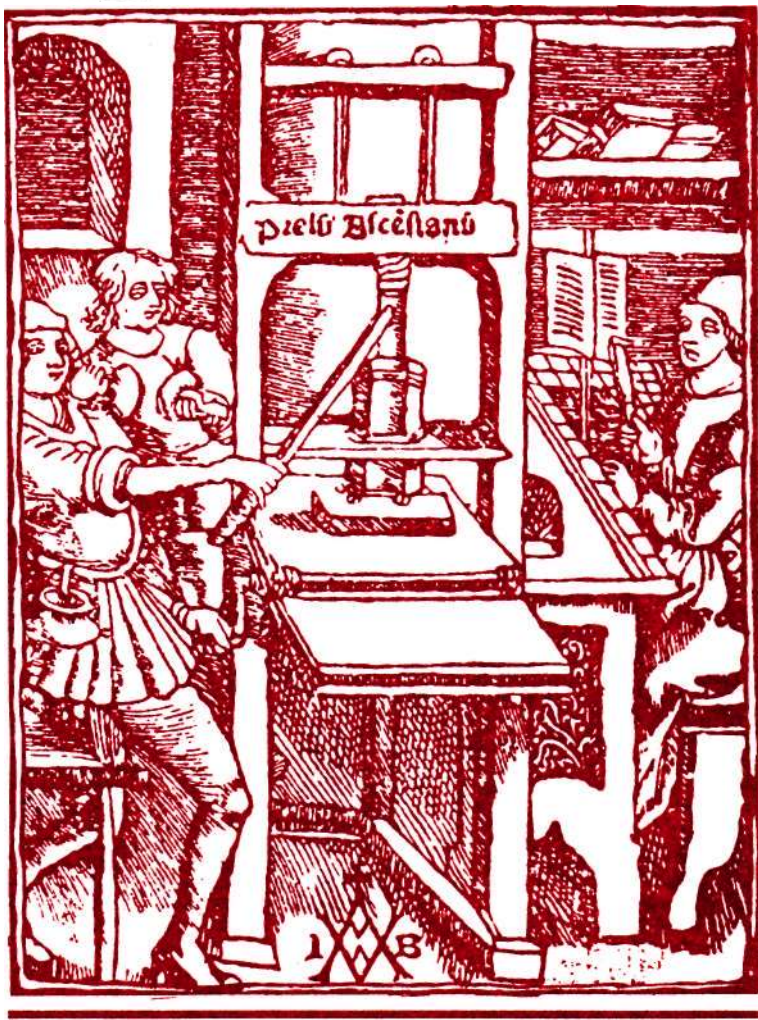
Маттас Эльзевир
(1564–1640).
Нидерланды.

Издательская марка
Эльзевиров.

Альдо Мануций Старший
(ок. 1450–1515).
Италия.

Издательская марка
Альдов.

«Печатня». Гравюра
1507 г.



ска книг, которые надо обязательно прочесть и без которых нет благодати и образования! Но для каждого отдельного человека существует значительное число книг, которые могут доставить ему удовлетворение и наслаждение. Эти книги следует подбирать исподволь, вступая с ними в длительные отношения, приобретая их одну за другой по мере воз-

можности в постоянную, внешнюю и внутреннюю собственность, что для каждого человека задача исключительно личная, пренебречь которой значит сильно сузить круг своего образования и своих наслаждений, а вместе с тем — и ценность своего бытия. Но как же прийти к этому? Как в горах книг, составляющих всемирную литературу, отыскать одного-двух или несколько дюжин авторов, которые особенно ценны и отрадны? Этот дежурный вопрос звучит обескураживающе и пугающе, и многие предпочитают сразу же сло-



*Джамбаттиста Бодони
(1740—1813). Италия*

*Книжная заставка
времен Екатерины II.*

*Московский печатный
двор. XVII в.*



*Н. И. Новиков
(1744—1818).*

Печать XIX в.



жить оружие и отказаться от части образования, которое, судя по всему, столь труднодоступно.



*И. Д. Сытин
(1851–1934).*

Но те же самые люди ежедневно находят время и силы для чтения одной или нескольких газет! И девяносто процентов газетных статей читают они не из интереса, не из потребности, не для удовольствия, а просто по старой дурной привычке — «надо же читать газеты!». Автор этих строк не читал в свои школьные годы ни одной газеты, за исключением нескольких номеров в дороге, и не стал от этого не только ни беднее, ни глупее, а сэкономил для лучшего многие сотни и тысячи часов. Любители газет не знают, что если взяться за дело планомерно, то по меньшей мере половины времени, затрачиваемого ими ежедневно на чтение, хватило бы, чтобы познакомиться с сокровищами жизни и истины, накопленными в книгах учеными и писателями.

Подобно тому как по учебнику ботаники ты немного узнал об особенно любимом дереве или цветке, ты вряд ли сумеешь опознать или выбрать по учебнику истории литературы или теоретической работе книги, которые станут для тебя любимыми. Но человек, приучившийся по возможности ежедневно осознавать истинную цель каждого своего поступка (а это основа всякого образования), вскоре и к чтению научится применять сущностные законы и различия, даже если он ориентируется поначалу только на газеты и журналы.

Заложенные в книгах мысли и характеры авторов всех времен не что-то мертвое, а живой, совершенно органичный мир. Очень даже возможно, что и без всяких литературных познаний, будучи лишь внимательным и достаточно тонко чувствующим читателем, человек самостоятельно найдет дорогу от своей ежедневной газеты к Гёте. С той же удивительной уверенностью, с какой отыскиваешь ты в толпе двух сотен знакомых несколько человек, годящихся тебе в друзья, откроешь ты и в пестрой газетной или журнальной мешанине тона и голоса, которые могут сказать тебе что-то существенное и которые, если последовать за ними, приведут затем и к другим отрядным именам и произведениям. Среди тысяч читателей «Ери Уля» многие безусловно обнаружили, что в этой книге наиболее существенно, и затем открыли для себя, что некоторые другие, более крупные писатели, Вильгельм Раабе например, изобразили это наиболее существенное еще чище и изящнее. Большинство знают о Раабе только то, что он несколько пространен и порою трудно читается. На самом же деле Раабе и вполнину не столь пространен и вполнину не столь трудно читается, как Френссен, только он, к сожалению, не моден. И так же обстоят дела со многими книгами, популярными сегодня, — у них у всех есть менее известные, но более ценные образцы. Их-то и нужно искать, чтобы вскоре обрести понимание высоких законов всякой литературы.

Я знаком с одним мелким ремесленником, у которого есть целая полка книг, и среди них произведения Раабе, Келлера, Мёрике и Уланда. Как пришел он к этим писателям, счастливым обладателем и частым читателем которых он ныне стал? Однажды в «Берлинер пайтунг», попавшей к нему в виде обертки, он случайно наткнулся на парочку стихотво-

рений и маленький очерк одного современного писателя. Слова писателя запомнились ему, и подобные вещи он начал читать с жадным и обостренным вниманием, и этот однажды пробудившийся интерес безо всякой помощи со стороны повел его дальше – к Уланду и Келлеру.

Это только один пример и, возможно, исключение. Он показывает, что к более высокому чтению можно прийти и от газет. Вообще же газета, конечно, один из опаснейших врагов книги, и не только потому, что за небольшую плату она



*Современный печатный
цех.*

якобы много дает, и не только потому, что чересчур много отнимает времени и сил; опасна она и тем, что своей безликой мешаниной портит вкус и способность к тонкому чтению у тысячи людей. Безвкусица, введенная в моду газетами и по-прежнему недостаточно критикуемая, современный моветон – также и чтение сочинений и романов «с продолжением».

Автора, которого ценишь, никогда не следует позорить таким чтением. Надо покупать его произведения в форме книги или по крайней мере дождаться, чтобы собрались все номера, разнесшие его сочинение на куски, и прочесть целое, не прерываясь.

Кому не безразлично, с какими людьми общаться, кто для своего окружения выбирает людей предпочтительно симпатичных, кому не все равно, как и где он живет, как оде-

важется, кто считает важным характер и стиль своих основных жизненных привязанностей, тот обязательно должен иметь и личное, дружелюбно-доверительное отношение к миру книг и выбирать чтение, следуя собственному независимому, индивидуальному вкусу и собственным потребностям. Здесь властвует еще слишком много несвободы и неразборчивости, иначе бы из двух равноценных книг одна не оставалась бы совершенно без внимания, как это случается ежегодно, а другая не продавалась бы сотнями тысяч экземпляров благодаря случайности моды.

Для ценности, какую может иметь для меня книга, прославленность и популярность ее не значат ровным счетом ничего. Замечательная книга Эмиля Штрауса «Дружище Хайн» знаменита и всем известна, а не менее прекрасный «Хозяин-ангел» того же автора навечно застрял на первом издании. То есть «Дружище Хайн» читается не потому, что Штраус значительный писатель, а потому, что именно эта его книга случайно стала известнее, чем другие. Но книги существуют не для того, чтобы за какое-то время быть прочитанными всеми, дать расхожую тему для беседы и кануть затем в Лету, подобно актуальному репортажу о спортивном событии или убийстве с ограблением, а для того, чтобы спокойно и серьезно наслаждаться ими, любить их. Лишь тогда обнаружат они свою внутреннюю красоту и силу.

Потрясающе усиливается воздействие многих книг, когда они прочитываются вслух. И это касается не обязательно только стихотворений, небольших рассказов, изящных коротких эссе и тому подобного. Попробуйте сделать это хотя бы с «Легендами» Готфрида Келлера, «Картинами из немецкого прошлого» Фрайтага, новеллами Шторма или с двумя лучшими современными собраниями маленьких историй – «Фантазиями реалиста» Линкойза и «Принцессой Востока» Пауля Эрнста. Более объемные произведения, большие романы, раздробленные при чтении вслух на слишком многие части, теряются и становятся утомительными. При хорошем чтении вслух подходящих для этого произведений учишься чрезвычайно многому: обостряется прежде всего чувство скрытого в прозе ритма, составляющего основу всякого личного стиля.

Только лишь разовое, обязательное чтение или чтение из любопытства никогда не приносит настоящей радости и глубокого наслаждения, давая в лучшем случае мимолетное возбужденное и быстро проходящее напряжение. Но если какая-нибудь книга при первом, возможно даже случайном знакомстве произвела на тебя достаточно глубокое впечатление, то некоторое время спустя не преминь прочесть ее еще раз! Удивительно, как при повторном чтении проступает ядро книги, как при уходе чисто поверхностного напряжения становятся очевидны внутренняя жизненная ценность, своеобразие красоты и силы изображения. И книгу, которую ты прочел с наслаждением дважды, нужно купить обязательно, даже если это будет недешево. Один из моих друзей никогда не покупает книг, не прочтенных им прежде с удовлетворением один или два раза, и у него целая стенка книг,

которые он почти все без исключения перечитывал многократно, полностью или частично. Новеллы флорентийца Саккетти, которые он особенно любит, были прочтены им более десяти раз. Я сам по нынешний день четыре раза прочел «Зеленого Генриха» Готфрида Келлера, семь раз «Сокровище» Мёрике, три раза «Дорожные тени» Юстинуса Кернера, шесть раз «Бездельника» Эйхендорфа, по четыре-пять раз большинство рассказов из турецкой «Книги попугая», и всякий раз, видя эти книги на полке, я радостно предвкушаю день, когда буду читать их вновь. Необходимо иметь собственный экземпляр каждой такой книги. Утверждая это, мы подходим к разговору о покупке книг. Последняя в наши дни перестала уже, к счастью, быть спортом чудачков и бесполезной роскошью: люди все больше сознают, что обладание книгами – это нечто отрадное и благородное, что иметь собственный экземпляр книги и брать его в руки когда заблагорассудится – наслаждение несравненно большее, чем взять ее где-то или у кого-то на несколько часов или дней. Однако ежедневно встречаются списки имущества по наследству, в которых серебряной посуды перечисляется на тысячу марок и на двадцать марок книг. Для состоятельного человека не иметь библиотеки должно быть позором точно таким же, как не иметь фарфора и ковров. В каждом богатом доме, по которому меня проводит владелец, я обычно спрашиваю: а где ваши книги? – и людям, у которых больше денег, чем у меня, я книг читать не даю. Тот же, кто живет на средства умеренные, будет поступать, вероятно, правильно, покупая только такие произведения, которые действительно рекомендованы ему близкими друзьями или которые он уже знает и ценит и о которых ему точно известно, что он возьмет их в руки не однажды. Для знакомства и первоначального чтения можно повсюду воспользоваться публичными библиотеками, и, кроме того, почти все новые книги выставлены в книжных магазинах. При умеренных потребностях, помимо прочего, рекомендуется поддерживать регулярную связь с каким-нибудь недюжинным книготорговцем. Немецкие ассортиментные книготорговцы, которых зачастую очень несправедливо ругают, своими советами, подборками, справками относительно неточно или неверно объявленных книг и сотнями других мелких услуг оказывают читательским кругам, а тем самым нашей духовной жизни содействие, воистину достойное признания.

Давать определенные советы, что читать и покупать каждому отдельному человеку, естественно, невозможно. В этом деле каждый должен следовать собственному разумению и вкусу. Нередко предпринимались попытки составить список тысячи или сотни «лучших» книг, что для частных библиотек, разумеется, не имеет никакого смысла. Еще раз следует подчеркнуть, что первыми добродетелями читателя должны быть свобода выбора и непредвзятость мнения. Часто слышишь и от очень умных людей, что чтение стихов – это убийство времени и годится разве что для подростков; большинство этих людей полагают, что читать следует только поучительные, научные книги. Но целые народы и эпохи

излагали свою сокровищницу поучения и знаний исключительно в стихах! Есть множество стихотворений, сказок и драм, в которых глубины, ценности и даже пользы для повседневной жизни содержится больше, чем в бесчисленных учебниках, и, с другой стороны, есть научные труды, чей стиль и способ преподнесения столь личны, свежи и полнокровны, что могут равняться с лучшей художественной литературой. Книги Данте и Гёте можно читать как философские произведения, а философские эссе Дидро как формально совершенные стихотворения.

Одинаково несостоятельны и неправильны как чрезмерный трепет перед академической ученостью, так и одностороннее превознесение чисто поэтических произведений. На наших глазах почти ежегодно один–два замечательных таланта покидают академии и кафедры, чтобы, облегченно вздохнув, посвятить себя свободной литературе с ее более обширным радиусом действия, и наоборот – как часто мы видим довольно способных писателей, которые с жарким рвением сосредоточиваются на чисто научной работе. Тот, у кого есть что сказать хорошего и кто способен облечь это хорошее в новую, прекрасную, своеобразную форму, должен благодарно приветствоваться нами независимо от того, пишет ли он при этом «Вильгельма Мейстера» или «Культуру итальянского Возрождения».

Странно наблюдать, как стыдливо и боязливо скрывают свой литературный вкус нередко даже довольно образованные люди: один из моих знакомых, который обычно высказывается довольно свободно, без обиняков, как-то в разговоре со мной лишь после длительных колебаний признался, что роман К. Ф. Майера, взятый у меня для прочтения, ему не по вкусу. Он боялся опозорить себя этим, ибо знал, что Майер – признанная знаменитость. Но при чтении совсем не важно несовпадение личных мнений с общепринятыми, важна лишь радость от умножения своих внутренних богатств еще одним новым, полюбившимся сокровищем! А другой знакомый как-то открылся мне, да так робко, будто винулся в преступлении, что для него нет чтения любимее, чем сочинения Жан Поля, которые считаются устаревшими. Но именно то, что, читая их, он испытывает сокровенную радость, пусть даже он в ней одинок, достаточное доказательство того, что Жан Поль не устарел и не умер, а по-прежнему живет и волнует.

Вся эта боязливость, это недоверие к собственному вкусу, этот безграничный страх перед суждением знатоков и специалистов – явления почти всегда плохие. Не существует сотни лучших книг или авторов! Нет вообще никакой абсолютно точной, неопровержимо верной критики! Подбитый ветром бездумный читатель, набредая на какую-нибудь книгу, бывает, восторженно хвалит ее, чтобы затем, при новом свидании с нею, отказаться понимать себя самого и стыдливо умолкнуть. Но тот, у кого с книгой отношения доверительные, кто перечитывает ее вновь и вновь, испытывая всякий раз новую радость и удовлетворение, может спокойно полагаться на собственное чувство и не портить себе радость ни-

какой критикой. Есть люди, которые всю жизнь с наслаждением читают сборники сказок, и есть другие, которые отбирают сказки даже у своих детей, держат их подальше от такого чтения. Прав всегда только тот, кто следует не принятым нормам и шаблонам, а собственному чувству и сердечному влечению. Поэтому я обращаюсь отнюдь не к тем, кто читает все подряд. Есть ненасытные, которые даже обрывка газеты не выпустят из рук, не прочтя его, которые читают как заведенная машина – неважно что, – будто воду наливают в сито. Этим обжорам советами не поможешь, их ошибка коренится не в манере чтения, а глубже – в самом их характере; они неполноценны и как люди. Полезными и приятными их не сделает никакая, даже самая утонченная методика чтения. Но достаточно много серьезных мужчин и женщин, которым в искусстве и литературе требуется помощь, которые, просто, но тщательно культивируя чтение, становятся жизнерадостнее и внутренне богаче. И неуклонно следуя своим внутренним потребностям, не заботясь о моде и сохраняя верность своим советчикам, они получают настоящее литературное образование быстрее и увереннее, чем слишком трепетно прислушиваясь ко всякой влиятельной критике. Тональность, которая им полюбилась в произведении молодого автора, ученика или подражателя, они будут с радостью обнаруживать у других, и, оттачивая свое чутье, прокладывая путь в направлении, где эта тональность звучит чище и полнее, они придут к самому мастеру. И тогда они, может быть, с удивлением обнаружат, что мастера знают немногие, в то время как его последователь и, возможно, незначительный подражатель благодаря случайному успеху читается всеми и вся. Кто собственными стараниями дошел до таких подлинных мастеров, как Г. Келлер, Мёрике, Шторм, Енс Петер Якобсен, Верхарн, Уолт Уитмен, тот владеет ими лучше, чем самый ученый знаток. Такие открытия на собственном пути не только укрепляют веру в личную способность суждения, но и сами по себе – восхитительнейшая и чистейшая радость, какую только можно пережить.

С чтением дело обстоит точно так же, как и со всяким другим наслаждением: оно всегда тем глубже и устойчивей, чем искренне и любвиобильнее мы ему предаемся. С книгами надо поступать, как со своими друзьями и любимцами, ценить каждую за своеобразие и не требовать от нее ничего чуждого этому своеобразию. Книги следует читать не когда попало, не в любое время, не слишком быстро каждую и не одну за другой, а лишь в часы, наиболее благоприятные для восприятия, – на досуге и в уюте. Любимые книги, язык которых звучит для нас особенно нежно и импонирующе, хорошо бы время от времени читать вслух.

Произведения иноязычных литератур надо бы, конечно, по возможности, читать на языке оригинала и пытаться сохранять это обыкновение, если оно не сопряжено с существенными потерями. Но при этом нельзя впадать в крайность и поступать только так. Иностранная литература, язык которой нам не привычен и затруднителен, в хороших переводах читается обычно лучше и с большей пользой, чем

в оригинале. Читать на языке оригинала Данте или даже Шекспира или Сервантеса могут немногие, и все же наслаждаются ими тысячи. Бесплодно и опасно лишь торопливое копание во многих литературах, жадная погоня за все новыми, небывалыми прелестями, которые ныне сулятся персидскими сказками, завтра скандинавскими сагами, послезавтра современным американским гротеском. Кто читает нетерпеливо, с пятого на десятое, пригубляя и то и это, стремясь постоянно только к самому пикантному, самому лакомому, самому отменному, вскоре утратит чувство стиля и красоты изображения. Читатели, производящие зачастую впечатление утонченно образованных знатоков искусства, почти все в конце концов опускаются до восприятия лишь фактуры или до неполноценных литературных «изысков». Так не лучше ли противоположность этой неустанной суеты и вечной погони, не лучше ли оставаться на длительное время с произведениями одного и того же писателя, одной и той же эпохи, одной и той же школы?! Владеешь настоящим только тем, что знаешь основательно. Кто читал только трех-четырех наших лучших авторов, но зато полностью и многократно, духовно богаче и образованней, чем тот, кто, гонимый зудом любопытства, проглотил кучу отрывков и фрагментов литератур всех времен и народов. Знать немного книг, но зато досконально — чтобы, лишь взяв их в руки, вновь оказаться во власти чувств и мыслей, пережитых за бесчисленные часы чтения этих книг, — благороднее и отраднее, чем засорять голову ворохом смутных воспоминаний о тысячах книжных заглавий и писательских имен.

И все же есть тип литературного образования, отношения на «ты» с самым лучшим, фундамент суждения, которые складываются из понимания лишь всей литературы как органического целого и доступны тем не менее каждому, кто захочет потрудиться. Прочитав историю всемирной литературы, этого, конечно, не достигнешь — поможет здесь только непосредственное знакомство с лучшими авторами былых времен, пусть даже в переводах и скурых антологиях. Не нужно знать много греков и римлян, но тем внимательней следует читать нескольких избранных. Для начала хватит тщательного прочтения хотя бы одного из гомеровских гимнов, хотя бы одного произведения Софокла. Точно так же надо бы знать небольшую выборку из Горация, римских элегиков и сатириков (для чего очень рекомендуется «Книга классических стихотворений» Байбеля) и несколько латинских писем и *речей*. Из литературы раннего средневековья следовало бы взять в первую очередь «Песнь о Нибелунгах» и «Кудруну», а затем — несколько собраний фаблю, саг, народной поэзии и одну или несколько хроник. Затем — Вольфрама фон Эшенбаха («Парсифаль»), Готфрида Страсбургского («Тристан»), Вальтера фон дер Фогельвайде! Старофранцузские сказания собрал и перевел А. фон Келлер. Данте, чья «Божественная комедия» действительно доступна лишь немногим, написал также не слишком трудную для чтения «Новую жизнь», рассказ о его отношениях с Беатриче, ри-

сующий более интимный образ этого поэта. Старых итальянских новеллистов, которые сами по себе изящны и развлекательны и важны как образец всего новеллистического искусства, в отличном подборе и переводе предлагает вниманию читателей Пауль Эрнст в своем издании «Староитальянские новеллисты».

Вокруг так называемых «классиков» процветает слишком много лицемерия и поверхностного культа. Но хорошо знать самых великих необходимо, прежде всего – Шекспира и Гёте. В последнее время стало глупой модной болезнью говорить с некоторым пренебрежением о Шиллере, и это нельзя обойти молчанием. Незаслуженно отнесен на задний план и Лессинг. О великих писателях не следует читать ничего или почти ничего, по крайней мере до тех пор, пока не узнаешь этих писателей из их же произведений. Чтением монографий и жизнеописаний легко испортить чудесное наслаждение самому вычитать характер великого человека из его произведений, самому составить представление о нем. И вслед за художественными произведениями нельзя пренебречь писательскими письмами, дневниками, беседами – например с Гёте! Если первоисточники близки и удободоступны, ни в коем случае нельзя допускать, чтобы вы их получали из вторых рук. Если читать биографии, то только самые лучшие, число плохих велико, и имя им легион. И тем самым мы вступаем в область «книг о жизни». В самом широком смысле под ними подразумеваются книги, в которых выдающийся, замечательный, достойный подражания человек высказывается об искусстве жизни и великих вечных вопросах бытия то в форме теоретического поучения, то повествуя о собственных переживаниях и делясь собственным мнением по данному предмету. К последнему жанру принадлежат, таким образом, все книги, содержащие письма, дневники, воспоминания незаурядных, хороших и умных людей. К этому жанру относится, вероятно, почти треть значительных произведений всех времен. Среди новейших образцов этого жанра следует, наверно, выделить семейные письма Бисмарка, «Былое» Рёскина, переписку Готфрида Келлера, подборку из Леонардо да Винчи, сделанную Херцфельдом, письма Ницше, переписку Роберта Браунинга и Элизабет Барретт. Кто уже начал поиски и продолжает их, откроет множество сокровищ.

Сюда же можно причислить научные и эссеистические произведения выдающихся писателей, интересность которых удваивается своеобразием личности, мировоззрения автора и при чтении которых познаешь не только сам предмет, но и в не меньшей мере также и значимость, ценностное своеобразие личности сочинителя. К произведениям такого рода относятся, например, «Культура итальянского Возрождения» Буркхардта, «Камни Венеции» и «Сезам и лилии» Рёскина, «Возрождение» Патера, «Герои, культ героев и героическое в истории» Карлейля, «Философия искусства» Тэна, «Psynché» Роде, «Основные течения» Брандеса.

И наконец, особые сокровища этой категории – истинно глубокие мастерские биографии, каких не очень много. Есть

несколько жизнеописаний, в которых изображаемый герой обрел конгениального изобразителя, в которых живое и сокровенно личное при обработке не только не теряет, но и выигрывает в весомости и воздействии тем, что автор, с глубоким пониманием и умом преподносящий материал повествования, подобно недюжинному ювелиру, помещает драгоценный камень, используя фон и оправу, в единственно правильное, ярчайшее и благороднейшее освещение. Чтобы привести несколько имен, назову такие произведения, как «Веласкес» Юсти, «Франциск Ассизский» Сабатье, «Дюрер» Вёльфлина, «Мысли о Гёте» Хена; сюда же относятся рассуждения Рикарды Хух в ее «Расцвете романтизма», а также Хеттнера в «Истории литературы восемнадцатого века».

Всегда существовали такие писатели, чья личность оказывалась сильнее и темпераментнее их стремления к стилизации и объективности, из-за чего их книги импонируют как личные обращения, беседы и исповеди. У этих сочинений, в художественном отношении порою отнюдь не безупречных, есть особая прелесть и ценность. Их авторы чаще всего натуры с нестандартным мышлением, со всевозможными закавыками: им не по нраву шлифовка ради высшей художественной объективности. Что-то от этой свежести есть у Вильгельма Раабе и Петера Розеггера, а также у Фрица Линхарда. Но более типичные примеры такого склада — Ф. Т. Фишер в своем грубовато смелом, беспощадно ироническом романе «Еще один» и Мультигули (голландец Э. Д. Деккер) в «Максе Хавелааре». Эти выдающиеся художественные произведения — в еще большей мере документы мощных, самобытных характеров, к которым не применимы никакие шаблоны.

«Книги о жизни», многие из которых расположились в стороне от общеизвестной литературы в ожидании, когда их отыщут, составят, безусловно, одну из ценнейших радостей и задач для образованных книголюбителей. И по наличию таких книг увереннее всего можно судить о характере библиотеки и ее владельца.

КНИГА

Собственно «книголюбительство» начинается лишь по другую сторону предыдущих рассмотрений и может быть названо деликатнейшим спортом. Оно предполагает расширенные познания и совершенно особые склонности. Большинство любителей и собирателей ограничиваются старанием составить наивозможно полную коллекцию книг определенных авторов или определенных точно разграниченных эпох и направлений, или собирают подряд все, что было написано на какую-то тему в течение одного столетия, и при этом причуд, смехотворного честолюбия и соперничества хоть отбавляй.

Особое любительство, например собирание старейших образцов книгопечатного искусства (примерно до 1500 года), а также изданий с виньетками и рисунками определенных художников или гравиров и ксилографов, книг мельчай-

*Читая первый раз
хорошую книгу, мы
испытываем то же
чувство, как при
приобретении нового
друга. Вновь
прочитать уже
читанную
книгу — значит
вновь увидеть
старого друга.*

Вольтер

ших форматов (с микроскопической печатью), старинных ценных оттисков. Другие собирают книги с рукописными посвящениями авторов и тому подобное. Человеку же, у которого нет особых склонностей к одной из таких отдельных областей и который не хочет оказаться дилетантом, лучше бы воздержаться от участия в этом спорте, доведенном всемирно известными собирателями и великими букинистами до сверхутонченного искусства.

Изысканное и не ограниченное собственно библиофилией любительство — собирание произведений любимых писателей в ранних и по возможности первых изданиях. Для действительно сверхутонченных книголюб-гурманов наслаждение, исполненное сокровеннейшего смысла, — читать и иметь любимую книгу в первом издании, в котором бумага, буквы и переплет не только излучают особое настроение, аромат времен, напоминая своим видом об эпохе возникновения литературного произведения, но и радуют мыслью о том, что эту книжечку держали в руках и боготворили целые поколения.

Очередная, особенно импонирующая прелесть — обладание старыми книгами, прежние владельцы которых известны и которые, унаследованные семьей нынешнего владельца или одной из родственных семей, возможно, несут на себе имена и пометки, сделанные в давние лета, у таких книг есть своя история и современному владельцу они рассказывают о традициях былой культуры. Владелец раннего издания Эйхендорфа или Гофмана или старого альманаха, купленного еще бабушкой, а затем читанного и любимого матерью, экземпляра, в котором рукой хорошо знакомого и уже скончавшегося человека помечены или заложены пожелтевшими бумажками любимые места, никогда не променяет его ни на одно, пусть даже ценнейшее современное издание.

Но довольно об этом. Библиофилия и книгособирательство не поддаются краткому изложению, они требуют специального очерка. Кого привлекает эта область, пусть возьмет отличную книгу Мюльбрехта «История книголюбительства». Однако теперь следует поговорить еще и о том, как мы обращаемся с нашими книгами, как нам за ними следует ухаживать.

Если из прикупания ценимых нами произведений ради того, чтобы владеть ими и постоянно держать около себя, постепенно складывается домашняя библиотека, большинство владельцев становятся вскоре рачительнее и избалованнее также и по отношению к внешнему виду своих книг. Для разового прочтения вполне годится любое издание. Но книги, к которым возвращаешься чаще и охотнее, чем к другим, хочется иметь по возможности все-таки в более красивых, привлекательных, а также более практичных и добротных изданиях. Поэтому следует пораздумать, в каком издании купить произведение, если оно существует в нескольких. Вслед за гарантией неиспорченного, то есть несокращенного текста, покупатель интересуется прежде всего читабельностью, четкостью и красотой печати. Но он должен убедиться также и в том, что бумага прочна! Последние десятилетия

в немецком книгопечатании часто безответственно используется плохая бумага — особенно в общедоступных изданиях классиков, — которая, едва попав из упаковки на свет, воздух и в руки, чуть ли не на глазах желтеет и портится. Со всем недавно наступило наконец-то улучшение. Если же нет хороших современных изданий давнишних авторов, то нужно обратиться к букинистам, чтобы приобрести хорошо сохранившиеся старые издания, которые зачастую намного лучше и по бумаге и по печати. Отдельных выдающихся писателей прошлого, к примеру Жан Поля, несмотря на предприимчивость наших издателей, в новых и добротных изданиях по-прежнему нет.

Затем надо обратить внимание на формат и переплет! Не годятся ни чванливые гигантские форматы, ни крошечные, игрушечные, миниатюрные книжечки. Есть также книги, почти нечитабельные и непригодные потому, что издатель, стремясь их продать как можно дешевле, напихал в один том слишком много листов. Особенно поэтическую литературу, которую хочется читать по возможности без затруднений, следует приобретать лишь в легких, негромоздких, без труда открывающихся изданиях. И при необходимости поступиться небольшими деньгами и сваленное издателем в один том переплести для удобства в два, три или большее количество томов. Приведу только один пример: к четырем толстым томам произведений Э. Т. А. Гофмана, изданным Гризбахом, в свое время долго я не мог подступить, пока не разделил их на двенадцать легких томиков.

Переплетенные книги, если речь не о совсем дешевых изданиях, без исключения следует покупать, если только у них не проволочная, а нитяная брошюровка. Проволочная брошюровка — один из злейших пороков современного фабричного переплета и должна отвергаться покупательской публикой еще категоричнее. Это грех многих издателей и нередко даже в самых дорогих книгах. Если издание сброшюровано проволокой или покупателю не по душе фактура переплета и цвет, он может отдать книгу в новый переплет, что удорожит ее лишь незначительно. Кто находит в своих книгах радость, заказывает обычно для них такой переплет, какой ему нравится. Он выделяет каждую книгу, делает ее узнаваемой, индивидуализирует, выказывает ей почет и любовь, заключая ее в новый, по возможности самый красивый, удобный и уникальный переплет по собственному замыслу и чертежу, лично подбирая цвет бумаги и материала. Он может заказать любое расположение заглавия, любые буквы для него. В этом заключается своеобразная прелесть, значительно умножающая радость от обладания книгой; собственным, хорошо продуманным, любовно выбранным переплетом владелец становится как бы соавтором каждого издания, выразительно отличающегося от всех прочих существующих в мире экземпляров данной книги. Такой способ выделять собственную книгу куда утонченней и приглядней, чем впечатывать в книгу свое имя или вклеивать свой знак (экслибрис). Собиратель, переплетающий все книги по собственному разумению, узнает свой экземпляр, если каким-то

образом его лишится, по переплету намного уверенней, чем по всем монограммам и экслибрисам.

Вслед за этим, собственно, и начинается забота владельца о своих книгах. Хочется, чтобы любимые книги были удобны, легкодоступны, но этого мало – хочется и оберегать их от порчи. Лучшим хранением книг было и есть хранение их на простых стеллажах вдоль стены с полками без стекла, защищенными от сильного солнечного света разве что легкими занавесями. Стеллажи или закрытые полки лучше всего делать так, чтобы внизу были прочные коробки определенной высоты и глубины, а над ними располагались подвижные полки для установки на любое расстояние. Кто имеет собственную комнату для книг или занятий, должен отказаться в ней от настенных украшений или, во всяком случае, принять как главное украшение ряд книжных корешков. Помещение должно быть как можно менее пыльным; враг книги – еще более опасный, чем пыль, – влажность, вызывающая гниение при нехватке воздуха. От пыли книги следует спасать, периодически слегка выколачивая и расставляя их на полках так тесно – но без втискивания, – чтобы они не раскрывались веером. Пользование книгами, естественно, подразумевает чистоту и опрятность; особенно следует остерегаться дурной привычки в паузах между чтением класть книги на стол раскрытыми страницами вниз. Не следует использовать в качестве закладок и толстые предметы (прессы, линейки, карандаши и прочее), а брать для этого только специальные книжные закладки из бумаги, сатина или шелка. Для драгоценных переплетов, которые особенно жалко, легко можно изготовить суперы из тонкого картона, по вкусу разнообразно украшая их цветной бумагой, материей, вышивкой, шелком.

Особую радость доставляет упорядочивание библиотеки, придумывание и сохранение определенного порядка. Можно разделить научную литературу и художественную, старую и новую, ввести подразделы по языкам и отраслям знания, а затем тщательно и выверенно расположить книги в каждом разделе. Делается это обычно по именам авторов в алфавитном порядке – метод наиболее простой и надежный. Куда утонченнее – расположение по внутренним принципам и взаимосвязям, по хронологии и истории, например, или согласно продуманному личному вкусу. Я знаю одну частную библиотеку из нескольких тысяч томов, не упорядоченную ни по алфавиту, ни по хронологии, в которой владелец установил свою сугубо личную иерархию, и, о каком бы произведении его ни спросили, он достает его немедленно – настолько органично все размежевано и настолько хорошо просматривает он свое внушительное собрание. Пусть пока скромна такая постепенно сложившаяся библиотека, пусть она заполняет лишь несколько стеллажей, но зато с каждым томом ее связана вереница драгоценных, милых сердцу воспоминаний со дня покупки и первого прочтения, и зато в каждом мало-мальски восприимчивом человеке день ото дня будет расти сокровенная радость обладания ею, и вскоре он не сможет уже понять, как это он раньше

существовал без собственного книжного собрания. Несмотря на то, что с чисто материальной точки зрения книга не более чем недорогой фабрично изготовленный поточный товар, она была, есть и будет фрагментом материи, облагороженной духом, маленьким чудом и святыней, заслуживающей в каждом хорошем доме почетного места, и она должна быть всегда наготове как тихий источник радости, приподнятости и удовлетворения желаний. Дом без книг беден, даже если его стены покрыты дорогими обоями и картинами, а пол устлан красивыми коврами. И только тот, кто сам знает книги, имеет их и любит, в состоянии оказать умную и действенную помощь своим подрастающим детям, только такой человек может руководить их чтением, предостеречь как от бульварщины, так и от преждевременной привередливости по отношению к лучшему и сопережить с юными душами постепенное открытие и саморазворачивание царства духа и красоты. Как чем-то новым, вдвойне замечательным насладится он «Фаустом», или «Зеленым Генрихом», или «Гамлетом», когда впервые даст их в руки своему сыну, впустив его в свою библиотеку как совладельца и самого дорогого гостя.

1907

ЧТЕНИЕ КНИГ И ОБЛАДАНИЕ КНИГАМИ

То, что всякий лист бумаги с печатным текстом — ценность, что все печатное результат духовного труда и заслуживает уважения, взгляд для нас устаревший. Лишь изредка где-нибудь на пустынном побережье или высоко в горах встречаются отдельные люди, чьей жизни еще не коснулось бумажное наводнение и для которых какой-нибудь календарь, какое-нибудь сочиненьице и даже газета — драгоценные, достойные сохранения предметы обладания. Мы привыкли почти задаром получать на дом кучу печатных изданий и смеемся над китайцами, для которых священна всякая бумага, покрытая письмом или печатью.

Однако глубокое уважение к книге у нас сохранилось. Только вот в самое последнее время книги начали распространять чуть ли не бесплатно, то тут, то там превращая их в бросовый товар. Хотя кажется, что радость от обладания книгами растет именно в Германии.

Но понимания того, что значит обладать книгой, конечно, еще очень не хватает. Бесчисленное множество людей боятся отдать за книги хотя бы десятую долю тех денег, которые и глазом не моргнув отдают за пиво и всяческую дребедень, а для других, людей более старомодного склада, книга — это святыня, которая в лучшей комнате пылится на плюшевой скатерти.

Каждый настоящий читатель, в сущности, одновременно и книголюб. Ибо кто способен воспринимать книгу сердцем и любит ее, старается по возможности и приобрести ее, чтобы перечитывать, иметь, знать, что она всегда поблизости и доступна. Книгу, конечно, можно просто у кого-то взять и вернуть, но прочитанное уходит в таких случаях почти одновременно с исчезновением книги из дома. Ведь есть чита-

тели, главным образом неработающие женщины, способные проглатывать по книге чуть ли не каждодневно, и библиотека — это именно то, что им нужно, ведь цель их не накопленные сокровища, не улада и обогащение жизни, а всего лишь удовлетворение прихоти. Эту разновидность читателей, которую некогда хорошо обрисовал Готфрид Келлер *, следует предоставить их собственному пороку.

Для хорошего читателя читать книгу — значит познавать характер и образ мышления чужого человека, пытаться понять его и по возможности подружиться с ним. Особенно при чтении поэтов знакомимся мы не только с неким кругом лиц и обстоятельств, а прежде всего с самим поэтом, с его образом жизни и видением, темпераментом, внутренним обликом, почерком, наконец, с его художественными средствами, ритмом мышления и языка. Только тот, кого книга к себе приковала, кто познакомился с ее автором и начал понимать его, у кого сложились с ним какие-то отношения, — только тот и начинает испытывать настоящее воздействие книги. И поэтому он не забудет и купит ее, чтобы, когда захочется, вновь и вновь перечитать и пережить ее. Кто покупает именно так, кто приобретает только те книги, дух и настрой которых взволновали его сердце, вскоре перестанет читать, глотая все подряд без разбора и цели, и со временем соберет вокруг себя любимые, ценные для него произведения, в которых он обретет радость и познание и которые при любых обстоятельствах будут для него ценнее бездумного, случайного чтения всего, что ни попадется под руку.

Не существует тысячи или сотни «лучших книг», но для каждого отдельного человека есть особый подбор того, что ему близко и понятно, что он любит и ценит. Потому-то хорошая библиотека и не может возникнуть по заказу: собирая книги, каждый должен следовать собственным потребностям и предпочтениям и не торопиться — как в выборе друзей. И тогда даже маленькое собрание станет целым миром. Безупречными читателями были всегда люди, чьи потребности ограничивались очень немногими книгами, и некоторые крестьянки, имевшие и знавшие только Библию, вычитывали из нее и черпали в ней знания, утешения и радости больше, чем избалованные богатейки из своих драгоценных библиотек.

Таинственная это вещь — воздействие книг. Всякий отец или воспитатель по опыту знает, что вроде бы своевременное вручение мальчику или юноше хорошей и умной книги оказывается потом все-таки не впрок. Дело в том, что, хотя совет и дружеская опека и способны помочь кое в чем, каждый человек, стар он или молод, должен отыскать в мире книг собственную дорогу. Некоторые чувствуют себя в литературе как дома уже сызмальства, а другим, чтобы узнать, как сладостно и чудесно читать, требуются многие годы. Можно начинать с Гомера и заканчивать Достоевским или наоборот, можно вырасти с писателями, а потом перейти к философам или наоборот — путей тут сотни. Но есть только один закон и один-единственный способ образоваться и духовно вырасти на книгах — уважать то, что читаешь, быть терпеливым в порыве понять, осторожным в суждениях и уметь слу-

*Я никогда не видел
разницы между
истинной
и развлекательной
литературой, то
есть при чтении
истинной
литературы
я самым
легкомысленным
образом
развлекался — или,
если выразиться
яснее в негативной
форме: я очень
редко скучал при
чтении истинной
литературы.*

Генрих Бёль

шать. А читающий лишь затем, чтобы убить время, сколько бы и чего, пусть даже самого лучшего, он ни читай, все равно все забудет, оставшись таким же бедным, как и прежде. Но тому, кто читает книги так же, как слушает своих друзей, они откроются и будут принадлежать. Прочитанное таким человеком не утечет сквозь пальцы и не утратится, станет его собственностью, чтобы радовать и утешать его так, как это могут только друзья.

1908

ЧТЕНИЕ В ОТПУСКЕ

В летний отпуск люди едут, естественно, не для того, чтобы читать книги. И все-таки есть много людей, которые могут спокойно почитать только в отпуске, а некоторых, не собиравшихся этого делать, вынуждает читать дождливая погода и другие обстоятельства. По моему опыту, отпуск — наилучший предлог для того, чтобы не читать ни строчки, и, однако, нет ничего прекраснее, чем, воспользовавшись случаем, изменить этому замечательному принципу с действительно хорошей книгой.

Господа, едущие на воды или в горы с детьми, женами и прислугой, обычно тщательно взвешивают, что им с собой взять. Практически не бывает, чтобы только в Остенде дама заметила, что забыла новое вечернее платье, ибо все необходимое тщательно продумывается — от кожаного чемодана до зубного порошка. Подбирают себе и общество и на то же самое место с двоюродным братом или другом едут охотнее, чем со смертельным врагом. Осмотрительно выбирают и гостиницу, а в ней — далеко не любую комнату, и быстренько разведывают, где можно попить самого хорошего кофе и самого холодного пльзенского.

Почет этим стараниям! Однако та же самая дама, на которой от шляпы до сапожек нет ничего не продуманного, которая столь осмотрительна в выборе спутников и не согласится на северную комнату, — та же самая дама переживает дождливые дни, зевая над плохими книгами, ибо она, естественно, не взяла с собой никаких книг и вынуждена читать то, что ей предлагает курортный книготорговец, в лихорадке сезонной работы руководствующийся отнюдь не воспитательными целями и к тому же не имеющий возможности возить с собой много книг. Он заинтересован в сбыте максимального количества неходовых книг. Так что банкир и гувернантка, судья и шофер покупают одни и те же мемуары какой-нибудь залетной принцессы, одни и те же уголовные истории и одни и те же казарменные анекдоты, потому что это «книги сезона». Люди, у которых дома стоит нечитаное полное собрание Гёте, никогда не берут из него в летнее путешествие ни одного тома, а каждый год вновь и вновь покупают книги сезона, за небольшими исключениями, в сущности, всегда одни и те же, разные у них только заглавия и обложки.

Как и перед Рождеством, для нас, рецензентов, это — время надежд, время, когда мы оттачиваем перья, чтобы

взяться за дело народного просвещения. Рассказом о нескольких хороших новых книгах попытаюсь сделать это и я, втайне надеясь отбить несколько клиентов у мемуаров принцессы и детективного романа. Но каждому, кто едет на летний отдых, я от всего сердца советую воспользоваться хорошим предложением и на сей раз не читать абсолютно ничего! Так как враги хороших книг и хорошего вкуса отнюдь не противники книг и не безграмотные люди, а просто книгоглотатели.

1910

О ЧТЕНИИ

Большинство людей не умеют читать, и большинство не знают толком, зачем они читают. Одни смотрят на чтение как на преимущественно трудный, но неизбежный путь к «образованию», и всякое чтение их только «образовывает». Для других же чтение – легкое удовольствие, способ убить время, и им, в сущности, совершенно безразлично, что читать, только бы не было скучно.

*Детская
книга – это весенний
солнечный луч,
который заставляет
пробуждаться
дремлющие силы
детской души
и вызывает рост
брошенных на эту
благодарную почву
семян.*

*Дмитрий
Мамин-Сибиряк*

Так, г-н Мюллер читает «Эгмонта» Гёте или воспоминания маркграфини Байрейтской *, надеясь с их помощью стать образованней и восполнить один из многочисленных пробелов в своих познаниях. Эти пробелы он воспринимает со страхом и постоянно помнит о них, что является уже симптомом: образование для него – нечто привходящее извне, нечто добываемое трудом, и потому всякое образование, как бы много он ни учился, останется в нем мертвым и бесплодным.

А г-н Майер читает «для развлечения», то есть со скуки. У него есть время, он рантье, и у него даже намного больше времени, чем он способен препровести собственными силами. Писатели, стало быть, должны ему помочь убить длинный день. Он читает Бальзака, как курит хорошую сигару, и он читает Ленау, как читает газету.

Но те же самые г-н Мюллер и г-н Майер, равно как их жены, сыновья и дочери, в других вещах далеко не так неразборчивы и несамостоятельны. Они покупают и продают государственные бумаги не без веских оснований; на собственном опыте они убедились, что тяжелая еда на ночь вредна для здоровья; и они не затрачивают физических сил больше, чем то крайне необходимо для обретения и поддержания здоровья. Некоторые из них занимаются даже спортом и имеют представление о таинстве этого странного времяпрепровождения, при котором умный человек может получить не только удовольствие, но и помолодеть, окрепнуть.

Так вот: как г-н Мюллер занимается гимнастикой или греблей, так же ему следует и читать. От часов, затраченных на чтение, он должен ожидать выгоды не меньшей, чем от часов, проведенных за работой, и ему не следует искушаться книгой, которая не обогатит его новыми знаниями, не сделает его на йоту здоровее, на день моложе. Об образовании ему следует заботиться столь же мало, как о приобретении звания профессора, и общения с бандитами и сутенерами из

романов ему следует стыдиться так же, как водиться с действительными подлецами. Но так просто читатель не думает, а рассматривает мир напечатанного либо как безусловно возвышенное, стоящее вне добра и зла, либо он презирает этот мир как нереальный, выдуманный фантазерами, в который можно погружаться лишь со скуки и из которого нечего вынести, кроме чувства нескольких относительно приятно проведенных часов.

Но несмотря на эту лжеоценку и умаление литературы, г-н Мюллер, как и г-н Майер, читает большей частью чрезмерно много. Делу, которое, в сущности, их совершенно не трогает, они уделяют внимания и времени больше, чем иному бизнесу. Следовательно, они смутно чувствуют, что в книгах все же имеется нечто не совсем малоценное. Только по отношению к ним они пассивны и несамостоятельны, что давно бы разорило их в бизнесе.

Читатель, ищущий отдыха и времяпрепровождения, и читатель, заботящийся о своем образовании, чувствуют в книгах некую освежающую и духовно возвышающую силу, которая им, однако, точно не известна и которую они не могут оценить. Поэтому они поступают подобно неумным больным, которые, зная, что в аптеке много хороших лекарств, стремятся испробовать в ней все средства, перебирая ящик за ящиком и склянку за склянкой. А надо бы, как в настоящей аптеке, найти в книжной лавке и в библиотеке каждому свое средство, чтобы каждый, не травясь и не пичкая себя сверх меры, мог черпать в нем силы и свежесть.

Нам, авторам, приятно, что так много читают, и, возможно, неумно со стороны автора говорить, что читают чрезмерно много. Но дело, которым занимаешься долго и которое повсеместно неверно истолковывается и употребляется во зло, приносит мало радости, и иметь десять хороших, благодарных читателей, несмотря на меньшую от них прибыль, лучше и радостней, чем тысячу равнодушных. Поэтому я и беру на себя смелость утверждать, что повсеместно читают слишком много, и многочтение это для литературы не честь, а урон. Книги пишутся не для того, чтобы несамостоятельных людей сделать еще более несамостоятельными, и тем не менее пользуются ими, чтобы нежизнеспособным людям поставлять по дешевке видимость и замену жизни. А ведь книги имеют ценность только тогда, когда ведут к жизни и служат ей, и каждый час чтения истрачен впустую, если он не вселил в читателя хоть капельку силы, молодости, свежести.

Чисто внешне чтение — это занятие, вынуждающее к сосредоточенности, и нет ничего более ложного, чем читать, чтобы «развеемся». Недушевным людям совершенно ни к чему развеваться, напротив — им следует быть сосредоточенными повсюду и, где бы они ни находились, чем бы ни занимались, о чем бы ни думали, всегда быть в гуще событий всеми силами своего существа. Так же и при чтении следует понимать, что каждая приличная книга — это прежде всего сосредоточение, стяжение в одну точку и интенсивное упрощение запутанных вещей. Такое упрощение и сосредоточение человеческих чувств — уже самое маленькое стихот-

ворение, и если при чтении во мне нет воли к тому, чтобы, напрягая внимание, соучаствовать и сопереживать, то я плохой читатель. Несправедливость, которую я тем самым причиняю стихотворению или роману, может меня не волновать. Но плохим чтением я причиняю несправедливость прежде всего самому себе. Трачу время на что-то, не имеющее ценности, употребляю силу зрения и внимание на вещи, для меня вовсе не важные, которые я уже заранее готов вскоре забыть, я утомляю свой мозг впечатлениями, для меня бесполезными, которые я неспособен переварить.

Часто говорят, что в таком неправильном чтении виноваты газеты. Я считаю это абсолютно неверным. Можно ежедневно читать газету или несколько газет и быть при этом сосредоточенным и радостно-энергичным, а в выборе и быстром комбинировании новостей можно даже обрести совершенное здоровое и ценное упражнение. И в то же время «Избирательное сродство» Гёте может прочитываться совершенно негодным способом и Майерами, стремящимися к образованию, и искателями развлечений.

Жизнь коротка, и по ту сторону ее никого не спросят о количестве одолженных книг. И поэтому неумно и вредно тратить время на чтение, не представляющее ценности. При этом я имею в виду не только плохие книги, а прежде всего качество самого чтения. От чтения, как от каждого шага и дыхания в жизни, следует чего-то ждать, отдавать силы, чтобы собирать урожай сил еще больших, терять себя, чтобы обретать себя вновь, еще более сознательного. Не имеет смысла знать историю литературы, если каждая прочитанная книга не стала для нас радостью или утешением, силой или душевным покоем. Бездумное, рассеянное чтение – то же, что прогулка по прекрасной местности с завязанными глазами. Читать мы должны не для того, чтобы забыть самих себя и нашу повседневную жизнь, а чтобы с еще более зрелым сознанием твердо удерживать кормило жизни. Мы должны подходить к книгам не как боязливые школяры к высокомерным учителям и не как бездельники к бутылке шнапса, а как скалолазы к Альпам, как бойцы к арсеналу; не как беглецы, спасающиеся от жизни, а как добрые люди приходят к друзьям и помощникам. И если бы все было и происходило так, то вряд ли бы читалась и десятая доля того, что читается ныне, а все мы были бы в десятки раз веселее и богаче. И если бы это привело к тому, что наши книги не раскупались бы, а мы бы, авторы, писали поэтому в десять раз меньше, то мир бы отнюдь не потерпел ущерба. Так как, естественно, с писанием книг дела обстоят не лучше, чем с их прочтением.

*Книга,
оказывающаяся
умнее читателя,
доставляет мало
удовольствия...*

НЕНАЧИ- ТАННЫЙ КНИГОЛЮБ

Я стоял со своим знакомым у его книжного шкафа. Когда он брался за какой-нибудь том, рука его двигалась робко, и он не всегда открывал взятую книгу; его обхождение с книгами было чрезвычайно экономным, ведь с ними – как с поцелуями: их надо беречь, чтобы они не стали слишком частыми, не омертвели, превратившись в привычку; всякое переживание требует большой дисциплины, большого терпения, отречения и строгости. Например, книга, которую перелистывают, чтобы развлечься или разогнать скуку, по сути дела, равнодушно и без той тяги, которая заставляет переносить изнурительное паломничество, – такая оскверненная книга отомстит за себя в полночные часы, когда мы схватимся за нее, как за последнюю опору в этом мире, тогда-то она и покинет нас в беде.

Он произнес: «Станным кажется мне этот общепринятый обычай – или, может быть, дурная привычка, согласно которым порядочный человек в юности должен прочесть столько книг, накопить столько знаний, сколько позволят ему силы, и вот в двадцать пять или тридцать лет образованный человек уже облазил все вершины европейской культуры. Так ведь? Потому что люди не терпят, чтобы еще какая-то область осталась нетронутой, не допустят, чтобы рядом с ними были неизведанные миры; они хотят знать не много, а все. Нам несносна неисчерпаемость! Почему я испытываю муки, когда стою перед своей библиотекой, готовый к чтению и все же не решающийся прочесть наконец «Божественную комедию» или «Заратустру», и когда меня в последний момент охватывает оцепенение и я так и не принимаюсь за чтение? Мы все же слишком алчны, и стремление к мнимой полноте знаний – попытка обмануть себя, укрыться от ужаса, который внушает неисчерпаемость, необозримость, как будто эта мнимая полнота может избавить мир от вызывающей дрожь безграничности и необъятности».

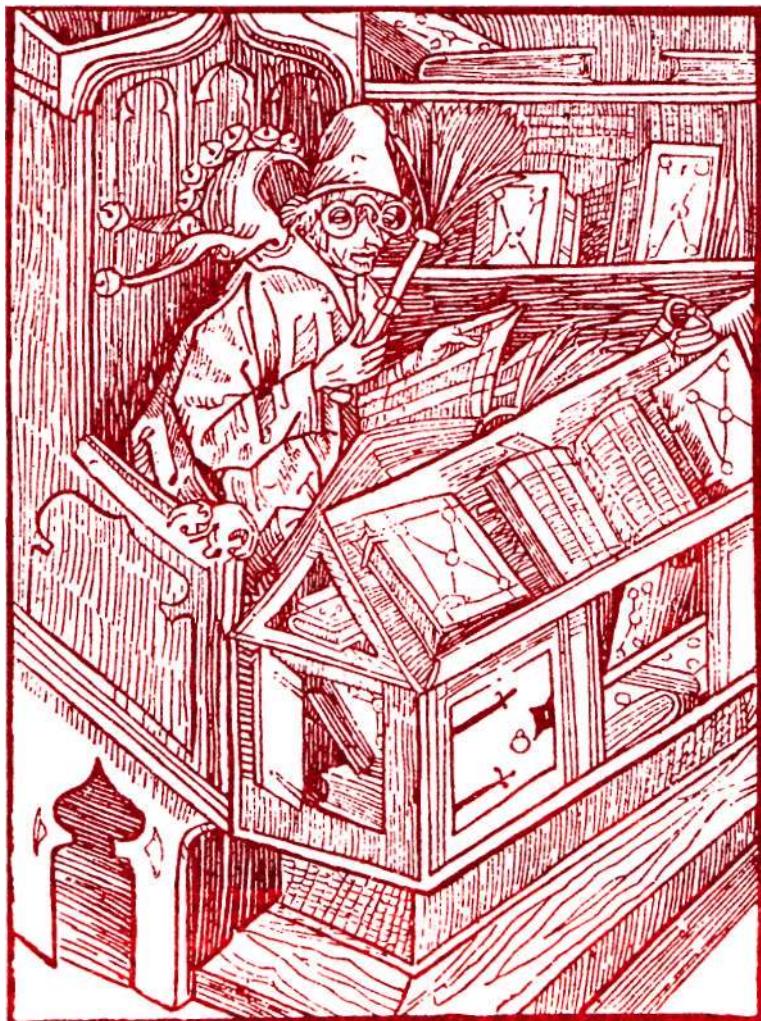
Стоя у окна и держа в руке знаменитую и еще не прочитанную книгу, он продолжал: «Вот какую историю я придумал. В давние времена в лесу жило племя, и возвышавшаяся на горизонте гряда гор была для него границей мира. Но вот однажды до него дошла весть о живущих за горами людях; одним юношей овладело любопытство, и он отправился в путь! Через несколько недель он дошел до цели, но и у того мира, в котором он оказался, не было предела; в отчаянии двигаясь дальше, через все новые горы, он раздвинул границы мира; вот он добрался до моря, наконец-то можно было вздохнуть – здесь был край света, здесь можно было утешиться тем, что человеческой жизни достаточно, чтобы изме-

рить мир. Я думаю, это была блаженная минута, но все же блаженство обернулось обманом, потому что за морями он открыл новые земли, новые моря; все глубже становился страх перед необъятностью, все более жгучим – стремление к знанию. Он уже жалел о том, что покинул свой дом, но, раз дело было начато, остановиться было уже невозможно, и, наконец, он понял, что это было грехопадение, что из-за алчного желания овладеть запретным плодом он был изгнан из рая; во всяком случае, он чувствовал себя отринутым, безжа-



*Рисунок из «Урлики».
Румыния.*

*С. Брайдт. «Корабль
дураков». Гравюра 1494 г.*



лотно гонимым своим собственным любопытством, пока мир не вырос до таких огромных размеров, что никакой человеческой жизни не хватило бы, чтобы одолеть его пешком или на корабле. И тогда его поездка на край света была продолжена мысленно. Так однажды он узнал, что земля – шар; снова можно было вздохнуть, снова мир стал замкну-

тым и ограниченным, снова появилась сладостная иллюзия, будто мы не блуждаем в безбрежном и необозримом пространстве. Ведь эта ограниченность, конечная и осязаемая, нужна человеку, он ищет ее, как жилище с четырьмя стенами, чтобы не видеть бездонной черноты и не обезуметь от страха. Но потом и этот шар, бывший до того утешительным центром мироздания, был брошен нашей жадной познания в безграничные просторы, во Вселенную, в неудобную даль, и планы стали громоздиться один на другой, один смелее



П. Федотов. «Завтрак аристократа».

другого, с головокружительной скоростью стали раздвигаться перспективы...»

Он помолчал, потом, улыбнувшись, сказал: «Вот ведь в чем вопрос: почему человек не теряет разум, когда все это осознает? Я понимаю людей, которые сейчас стремятся строить космические корабли, ведь это правнуки того несчастного юноши, который перешел через горы, чтобы обнаружить край света. Скажите: почему люди, после того как открытие Коперника сделало их бездомными, не повесились от отчаяния?»

Потом он сам себе ответил: «По-моему, есть только одна

465 причина, по которой моя история о любопытном и одержимом юноше не может считаться верной. Потому что на помощь ему пришло самоограничение, мудрое отречение, спастельное понимание того, что в одном атоме содержатся целые звездные миры, понимаете, потому что во всем есть все. Я поясню: какое тепло и утешение познает человек, находясь в чужих краях, совершенно одинокий, всеми покинутый, увидев, что вода здесь, как и везде, ровными волнами накачивается на камни, обдавая их брызгами? Возможно, в этом движении воды – будь то речка или что-то другое – и есть наш родной дом, и потому не так уж важно, в каких землях мы его познали. И, раз постигнув это, мы уже избавлены от необходимости скитаться всю жизнь, чтобы изведать нашу Землю...»

Затем последовало одно из его любимых отступлений, которое он закончил так: «В одной-единственной травинке заключен мир, он может быть познан в ней, и, как только мы поймем это, мы будем избавлены от алчного стремления сорвать каждый плод, до которого только можем дотянуться. Точно так же, по-моему, обстоит дело и с книгами: надо осознать неисчерпаемость, отражающуюся в них, и научиться ее переносить, с самого начала понять, что мы в действительности никогда не дойдем до предела, и не претендовать на покорение бездны. Мы так малы, силы наши так ограничены, что мы не должны распылять их. Возьмите-ка мраморный обломок, такой, чтобы его могла обхватить ваша рука, будьте терпеливы в общении с ним и будьте ненасытны в своем терпении: тогда вам не понадобится весь храм, чтобы ощутить и увидеть его величие и совершенство, ведь совершенство заключено и в обломке капители, а дух целого живет в каждой частице. Я думаю, нам следует сосредоточиться на соразмерном нам фрагменте необозримого мира.»

Такую страстную речь произнес в свое оправдание мой знакомый! Будьте же вы, читатели, его присяжными поверенными.

1935

ПРИ ЧТЕНИИ

Иной раз больше всего захватывают книги, вызывающие возражение, по меньшей мере желание дополнить их: нам приходят в голову сотни вещей, о которых автор даже не упоминает, хотя они все время перед глазами, и, может быть, вообще наслаждение, доставляемое чтением, состоит именно в том, что читатель прежде всего открывает для себя богатство собственных мыслей. По крайней мере он должен иметь право чувствовать, будто все это он и сам мог бы сказать. Вот только времени нам не хватает, или, как говорит скромник, не хватает только слов. Но и это еще невинная ошибка. Те сотни идей, которые не пришли в голову автору, – почему мне самому они пришли в голову лишь при чтении его? Тогда, когда мы загораемся возражением, мы еще, очевидно, воспринимающие. Мы сияем собственным цветением, но на чужой почве. Во всяком случае, мы счастливы. Книга же,

беспрерывно оказывающаяся умнее читателя, напротив, доставляет мало удовольствия и никогда не убеждает, никогда не обогащает, даже если она стократ богаче нас.

Допустим, она и совершенна, но она раздражает. Ей не хватает дара дарить. Она не нуждается в нас. Другие книги, одаривающие нас нашими собственными мыслями, по крайней мере более вежливы; возможно, они и наиболее действительны. Они ведут нас в лес, где тропинки убегают в кусты и ягодники, и, когда мы видим, что карманы наши набиты, мы вполне верим, будто сами нашли эти ягоды. А разве нет? Но действительность этих книг в том, что никакая мысль не может нас так серьезно убедить и столь живо захватить, как та, которая никем не высказана, которую мы считаем собственной только потому, что она не написана на бумаге.

Разумеется, есть еще и другие причины, почему совершенные книги, вызывающие у нас восхищение, не всегда становятся нашими любимыми. Возможно, все зависит от того, в чем мы в данный момент больше нуждаемся – в завершении или подступе, успокоении или толчке. Потребности различных людей различны и зависят как от возраста, так и от эпохи, последнее хорошо было бы исследовать. Во всяком случае, можно думать, что более позднее поколение, каким, вероятно, являемся мы, в особенности нуждается в эскизности, для того чтобы не застыть и не замереть в заимствованном совершенстве, которое не есть уже рождение нового. Тяга к эскизности, давно господствующая в нашей живописи, не впервые проявляется и в литературе, пристрастие к фрагменту, распад традиционных единств, болезненное или вызывающее подчеркивание несовершенного – все это было уже у романтизма, которому мы так чужды и так родственны. Совершенное: подразумевается не мастерство, а законченность формы. С такой точки зрения существует и мастерский эскиз, и ремесленническое совершенство, например ремесленнический сонет. У эскиза есть направление, но не конец; эскиз как выражение образа мира, который больше не замыкается или еще не замыкается; как боязнь формальной цельности, предусматривающей цельность духовную и могущей быть лишь заимствованием; как недоверие к той искусности, которая может помешать нашему времени когда-нибудь достигнуть собственного совершенства. <...>

Афористичность как выражение мышления, никогда не достигающего истинного и прочного результата, – оно всегда уходит в бесконечность и внешне приходит к концу лишь потому, что устает, что не хватает мыслительных сил, и из чистой меланхолии, вызванной этим, делают короткое замыкание; целое как фокус, чтобы избавиться от нерешимого, – ошеломляют себя на мгновение, чтобы в течение этого мгновения не задаваться вопросами, и, когда позже замечают, что в руке ничего нет, лишь звук хлопка и фокусник уже исчез, – остается разве только ошеломленность тем, что противоположность сказанному им, так ошеломившему нас, не менее убедительна; разумеется, есть и афоризмы, которые попросту неверны, если перевернуть их.

И еще.

Афоризм не дает опыта. Возможно, он исходит из опыта, который хотел бы претворить в обобщение; но читатель, не присутствовавший при опыте, воспринимает только это обобщение, объявляющее себя действенным, и, хотя теперь можно было бы считать, что обобщение касается каждого, тем не менее обнаруживается, что читатель, если он не хочет ограничиться простым щекотанием, переносит его в свою очередь на совершенно определенные случаи и лица – конечно же, неизвестные ему. При этом он, разумеется, наслаждается вот каким обстоятельством: чем в более общем плане воспринимать слово, тем с большей легкостью можно вертеть им во все стороны. Афоризм чаще всего пользуется нашим расположением. В пустую голову входит много знаний, читаю я у Карла Крауса, мастера афоризма, – и вот уже у меня в руках бич, я щелкаю им с мальчишеским удовольствием и дразню всех знакомых, чьи большие знания меня смущают. Кто может помешать мне? Во всяком случае, не афоризм, который сам не скажет, кого он имеет в виду; таким образом, мы наслаждаемся, собственно, слабостью афоризма, состоящей как раз в том, что он поставляет лишь результаты, но не опыт. Тот, кто занимается афоризмами, – если мы не знаем его жизни – дает нам не что иное, как верхушку цветка, которую обычно обрывают дети, без корешков, питающих бутон, без земли – яркие венчики, на миг ошеломив нас, быстро увядают, – и потому да здравствует повествование, которое подает нам и корни с целыми комьями земли на них, с обилием навоза и удобрений.

Повествовать: но как?

1946

*Книгу ничем не
заменить. Книга
открывает
фантазию.*

**ПОЧЕМУ
ДЕТЯМ
НУЖНЫ
КНИГИ**

Как ни странно, но сегодняшнему торжественному моменту своей жизни я обязана бродягам времен моего детства. Тем самым бродягам, которые стучались в нашу дверь по вечерам и спрашивали:

– Нельзя ли переночевать у вас в хлеву?

Мы, дети, сидели на кухне и смотрели на этих людей, вытаращив глаза. В бродягах нам мерещилось нечто сказочное. Мы были крестьянскими детьми и не могли понять, что на свете есть люди, у которых нет дома и которые странствуют по проселочным дорогам. Это было необычайно интересно и загадочно. Многие из бродяг были дружелюбны, разговорчивы и добры – точь-в-точь как Оскар из моей книги *. Им было что порассказать, и они мне очень нравились.

Когда я вспоминаю годы своего детства, мне кажется, что с тех пор минуло не менее ста лет: ведь мир так переменялся. Я умудрилась родиться как раз в конце того века, который называют «веком лошади». Появись я на свет десятью годами позднее, мне бы никогда не написать эту книгу. Иначе я бы ничего не узнала о той доисторической эпохе, когда на проселочных дорогах водились бродяги и люди ездили не в автомобилях, а в повозках, запряженных лошадьми. Хорошо было ребенку в «век лошади»! Во всяком случае, мое детство можно считать счастливым, и, когда я писала своего «Расмуса-бродягу», ощущение было такое, будто я вернулась в потерянный рай. Я вовсе не утверждаю, что этот мир был раем для бродяги Оскара или для сироты Расмуса. Он был раем для меня. Как чудесно вновь вернуться в рай, когда пишешь свою книгу, как чудесно снова стать ребенком!

Думаю, так должно быть со всеми, кто пишет для детей. Нужно самому стать ребенком. Нельзя сидеть и придумывать какие-то истории. Нужно окунуться в свое собственное детство и вспомнить, каков был тогда окружающий мир и его аромат, как тебя одевали и каким ты ощущал себя в своей одежде, над чем смеялся и отчего плакал.

– А вы смогли бы написать книгу для взрослых? – задают мне вопрос.

Спрашивают так, а сами думают: она уже написала столько детских книг, пора бы ей заняться чем-нибудь более стоящим. Нет, я не хочу писать для взрослых! Я хочу писать для таких читателей, которые способны творить чудеса. А чудеса творят дети, когда читают книги. Они вселяют жизнь в наши убогие мысли и слова и придают блеск нашим произведениям. Писатель не в силах сам создать все то таинственное, что вмещает книга. Ему помогают в этом читатели.

Но у «взрослого» писателя нет таких великолепных помощников, как у нас. Его читатели не творят чудес. Только ребенку свойственна фантазия, способная воздвигнуть сказочный замок.

Книге нужна детская фантазия, это так. Но еще больше нужна детской фантазии книга, помогающая жить и расти. Книгу ничем не заменить. Книга окрыляет фантазию. Современные дети смотрят кинофильмы, телевизор, слушают радио, читают иллюстрированные журналы — все это, допу-



Рисунок Ю. Иванова.

*Х. К. Андерсен. Силуэты,
вырезанные из бумаги.*



скаю, может быть забавно, но с фантазией ничего общего не имеет. Ребенок наедине с книгой, где-то в святая святых своей души, творит свои собственные образы, яркие, неизгладимые. Детская фантазия неисчерпаема, без нее человечество обеднело бы. Все великое, что когда-либо свершалось в мире, рождалось сперва в человеческом воображении. Каким будет мир завтра, зависит во многом от сегодняшних малышей, тех, кто как раз сейчас учится читать. И поэтому детям нужны книги.

ВЕНГРИЯ

ЛАЙОШ

1883–1954

НАДЬ

*Если лишит
читателя фрез,
он развалится,
он перестанет
быть.*

ПИСАТЕЛЬ,
КНИГА,
ЧИТАТЕЛЬ

Писатель – человек не одинокий. Своими произведениями он хочет что-то сообщить, а значит, думает, пусть даже ненамеренно, о редакторе, издателе, критике и читателе. И письма писателя тоже таковы, что обращены не только к адресату, и дневник свой он тоже пишет с оглядкой: не исключено, что его будут читать и другие. Созидательной стихией своего окружения является и сам писатель: на него влияют современники, события эпохи. Материал писателя – люди, которых он видит, слышит вокруг себя. Его взгляд на вещи, пусть даже индивидуальный, не независим от всеобщего мышления, словом: творчество писателя – продукт всегда коллективный.

Когда выходит роман, на нем печатают, что его автор – Икс. Однако полнее и правильнее было бы говорить, что авторы его и семья Икса, и его друзья, и его почитатели, и его недоброжелатели. А также: вся контора господина издателя Ипсилона, «Литературная газета», критики родственного журнала, владелец дома, где проживает Икс, комиссар полицейского участка, депутат, контролер трамвая, учитель, ученик и многие другие, и более всего – те дамы и господа, которые привыкли покупать книги. (В этот большой ансамбль не стоит, пожалуй, включать только нищих и поденщиков.)

Книга, которую пишет писатель, есть трудноопределимое нечто, но, что бы о ней ни говорилось, она прежде всего – товар. Ее продают и покупают за деньги. Правда, ее не сравнишь с хлебом или карманными часами, но вместе с тем она равна и тому и другому посредством условия, предваряющего ее бытие, – купи. Люди покупают то, что им необходимо, чем они пользуются в каких-то целях. Не покупают же ни для чего не нужную белену! Книга, о которой заранее известно, что она наверняка никому не понадобится, состояться не может, но бывают исключения: одну-другую такую книгу может издать частный благотворитель или благотворительное учреждение, а то и сам писатель, но товарного характера книга от этого не теряет.

Книга нужна читателю, покупает ее он. Он и определяет главным образом не только позицию издателя, не только литературную оценку, но в известной мере – и не обязательно через обратную связь – и самого писателя, потому что читатель, как я уже говорил, – скрытый соавтор. Одинаковое мышление многих читателей образует дух эпохи. Книгу, выходящую из духа эпохи, можно утвердить, лишь преодолевая препятствия, лишь ценою жертв, спотыканий и падений, продолжение ее вряд ли возможно, став ясным,

ПИСАТЕЛЬ,
КНИГА,
ЧИТАТЕЛЬ

471

послание ее разобьется о рифы социальной действительности.

Вся социальная действительность пронизана тем, что составляет дух и душу читателя, и писатель должен считаться с этой действительностью, так как он все равно не способен писать в белый свет, запершись в четырех стенах. Совокупность читателей – это поток, и если писатель, погружившись в него, будет вести себя пассивно, если отдастся на его волю, то у него будет и работа, и деньги, на которые он сможет



Фото В. Богданова.



жить, и имя; а тот, кто начнет грести против течения, быстро выдохнется, потому что в единственной надежде, что наступит момент, когда течение повернет, изменит свое направление, он почти всегда обманывается. Тот, кто плывет по течению, – писатель признанный; а какие существенные различия бывают между писателем и писателем – вопрос обширный и требует отдельного рассмотрения. Сейчас же я говорю о писателе вообще, о всяком, чьи сочинения публикуются, кого общественное мнение признает как писателя. Что до



Рисунок Л. Тишкова.

Фото В. Богданова.



меня, то я считаю писателем только настоящего писателя, но сказать, кто и что это, я затрудняюсь, знаю только, что, публикуются его произведения или нет, они, во всяком случае, существенно отличаются от произведений тех, кого сладким грузом влечет с собой течение.

Читателя я называю читателем, пользуясь лишь принятым словом, хотя правильнее было бы называть его покупателем книг. Потому что только покупатель засчитывается как читатель, потому что только его потребности становятся активным фактором в процессе, результат которого – книга.

Читатель до сих пор есть некто не разведанный, и уже пора немного узнать о нем. Ибо уже много говорилось о литературе, писателе, книгах, жанрах, воздействии произведений, а читателем пренебрегали. Потому-то я и указываю на важность читателя.

Сам я давно наблюдаю читателя и, поелику возможно, стараюсь разобраться в нем. Результатов у меня немного, и я сейчас поделюсь ими, но лишь тем малым, что я знаю или только подозреваю, так, кое-чем, и, конечно, только для почины. Подробный анализ читателя – дело других; это тяжелый труд, требующий большой беспристрастности, для чего нужно иметь определенные возможности и методы, к тому же аналитик приносит большую жертву, прочитывая все то, что читает читатель, ибо только таким путем возможно понять, почему к произведениям писателя читатель относится так или иначе, почему принимает или не принимает их. Заранее предупреждаю, что вкус читателя отличается от моего, что хорошая литература читателю не нужна: читатель любит отбраковку, общие места, шаблоны, глупости, невероятные и тем самым бесполезные истории, отход от действительности, обманы – даже в книгах на медицинские темы бездарные советы знахаря он ставит выше объективности добросовестного и умного автора; всякое откровение высоко парящего духа читателю чуждо, и я настолько несовместим с читателем, что мне бы не хотелось братья за профессиональное наблюдение над ним и подробное описание его натурального образа, ведь я бы не смог выполнить даже минимальной предварительной работы – прочесть все то, что читает читатель. Поэтому читателя я изучал до сих пор лишь в связи с книгами, которых я не знаю и никогда не узнаю. А следовательно, сказать о нем могу лишь столько, сколько я уяснил себе подобным образом.

Читатели, конечно, отличаются друг от друга: сколько читателей, сколько индивидуальностей, столько и отличий. Но чем-то они и схожи друг с другом, есть среди них по меньшей мере типы, понятия о которых относительно общезначимы. Перво-наперво скажу, что читатель – это обыватель или наоборот: обыватель – это читатель; все прочие – меньшинство, которым можно пренебречь. Слово «обыватель», правда, скомпрометировано, им много злоупотребляли, но, отсекая все призвуки, приобретенные им в социальных и политических коллизиях, мы будем понимать под ним просто слой, жизненный уровень которого до настоящего момента был на несколько порядков выше тех, кто живет

лишь собственным трудом; мы будем понимать под ним людей, которые могли и могут покупать книги. Так что само слово несущественно, я им пользуюсь как общепринятым, нового создать не могу, оно — реальность, которая не станет иной от поправки, что отличать нам следует не человека от человека, а прежние обстоятельства от новых, вследствие которых все мы — обыватели. А значит, с этого момента все, что я могу сказать, касается лишь одного: отношений между книгой и обывателем.

Итак: читатель! Мы с ним уже знакомы. Вот он — идет по улице — на сей раз молодая дама, а ей навстречу бедняк рабочий с огромным ящиком на спине, под тяжестью которого он скрючился в три погибели; еще немного, и они бы столкнулись, дама увернулась лишь в последний миг, с гневным негодованием смерив взглядом этого грузчика — почему он, мол, не уступил ей дорогу, да еще с огромным ящиком, под которым он, скрючившись в три погибели, исходит потом, не видит и не слышит, чуть не падает. А дама, верно, как раз спешит к книготорговцу за чем-нибудь «хорошим».

— О чем вот эта книжка? — спрашивает она. И вертит книгу в руках, недоверчиво глядя на обложку: Ярнефельт, «Жители Коивикко» *. Название ни о чем не говорит. Не сообщает, как, например, «Его превосходительство», или «Родственник влиятельного лица», или «Рай Пенни», что содержит нечто достойное прочтения. Не сообщает? Да нет же: сообщает, что и открывать-то ее не стоит. У этой дамы, как и у всякого читателя, на редкость острое чутье. По одной лишь фразе, по одному лишь слову она угадывает, нужна ей эта книга или нет. Вот и сейчас: Ярнефельт — подозрительное имя; она не думает, но чувствует в нем что-то северное. Жители Коивикко — жители какого-то местечка, а стало быть — население, то есть никому не интересные труженики, простые люди, значит, и бедняки тоже. Она просит другую книгу. Только чтоб не было в ней о бедности, нищете, страданиях, потому что об этом уже надоело до тошноты, до ненависти. Ей бы что-нибудь красивое — красивое и хорошее.

О красивом и хорошем говорится, например, в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Книжка, правда, о гражданской войне Севера против Юга в США, но зато в ней есть любовь * и персонажи — одни богачи; мисс Скарлетт, потом миссис, на первых ста страницах меняет платья раз двадцать, не меньше; платья у нее бесподобные, из тонких и дорогих материалов, и они подробно описаны, вместе с украшениями. Господа тоже все элегантные, настоящие мужчины и герои, которые, не занимаясь поиском причины желтой лихорадки, отважно сражаются за деньги, за имущество — авантюра на авантюре; второстепенные же персонажи — только слуги, и не какие-то наглецы, требующие зарплаты, да еще и выходного дня по воскресеньям, а нормальные рабы, негры. Они не только верны своим хозяевам, а любят их, ибо таких хозяев можно только любить. Это истинно волшебный мир: у каждого есть имение, кареты, лошади —

даже у женщин, — прекрасные лошади и слуги; не то, что у нас — система приходящих служанок. Денег там пруд пруди, материальное изобилие — закачаешься, как оно и должно быть. Развлечения — блеск, пиршества — одно объеденье, всего — с головой, никаких тебе карточек, хочешь — клади в кофе хоть полкило сахара. Идеальное общество у этого рабовладельческого Юга, куда красивее, чем у буржуазного Севера, даже сама писательница описывает его с любовью, тоскует по нему, она тоже считает, что патриархальность трогательна, радостна. Ну просто замечательная книжка. Неудивительно, что разошлись все двадцать пять тысяч тиража, куда больше, чем у других книг.

А вот — другой покупатель: господин приобретает книгу для своей матери, пожилой женщины. Джордж Сава, «Целительный нож» — называется книга. Именно ее хочет мама, потому что все очень хвалят. Среди читателей всегда идет негласное распространение книг. Потому-то маме и нравится этот «Целительный нож». Потому-то ее прочитывает и сын, и так как он тоже пописывает, а стало быть, завидует большому успеху (а где успех, там и деньги), то придирается к книге значительно сильнее, чем она того заслуживает, и тербит маму вопросом: ну что ей так нравится в книге? Мама пытается рассказать, что ей нравится (пытается, впрочем, неудачно): потому что в ней рассказывается о бедном юноше, сироте и почти нищем; он зарабатывает на жизнь тяжелым физическим трудом, но начинает учиться и благодаря способностям и усердию становится врачом, а потом знаменитым доцентом хирургии (раз доцент хирургии, значит, зарабатывает много денег). Сын удовлетворяется объяснением и задумывается. Я тоже просматриваю книгу. Бедный юноша действительно беден, и доцентом хирургии он действительно становится благодаря своим способностям и усердию, вот только сыном он приходится не сторожу на кукурузном поле, а бежавшему от большевиков русскому князю.

Перед нами другая госпожа, тоже пожилая, богатая, приятно читает романы. Книги составляет ей дочка. Дочка беспрерывно спорит с мамой, потому что никак не может определить мамины вкусы. Кое-какие книги ей нравятся, но большую часть она отвергает. И никак не выяснится, от чего зависит ее приятие или неприятие, мама, наверное, и сама того не знает. Спорят до тех пор, пока мама не брякает: мне нравятся только такие книги, в которых рассказывается о королях.

Молодая дама взялась за «Американскую трагедию» Драйзера. Прочитывает первый том и относит книгу в библиотеку. Продолжения не нужно, пусть дадут ей что-нибудь другое. Очень примитивный писатель этот Драйзер, решительно заявляет она.

На этом суждении надо бы чуть задержаться. Раньше, лет тридцать — пятьдесят назад, печатную букву еще уважали. (Правда, больше, чем следует.) Даже в споре о существовании двенадцатиной жабы как решающим аргументом били тем, что об этом писалось в газете! С тех пор читатель (теперь мне действительно надо писать «обыватель») сбро-

сил с себя иго духовных авторитетов. Теперь у него есть собственное мнение, которое он и высказывает без обиняков. Будто речь идет всего лишь о том, хорош или плох тот или другой арбуз. Ему и в голову не приходит, что о «Закате Европы» * ему следовало бы помолчать или признаться, что она для него zu hoch¹. Нет, он говорит, что «Закат Европы» – вещь плохая. Он и о Флобере говорит, что это слабый писатель. Да и «Дождь» Мозма – ерунда, ему подавай другое. А вот Режё Тёрёк, «Трудно ныне выйти за муж», – это то, что надо *. Слепое поклонение авторитетам сменилось беспечной критикой, истинно нелепым критиканством. Критиканством, которое не заслуживает свободы слова.

Один господин высоко вскарабкался по служебной лестнице, приобрел внушительное состояние (вот видите, в связи с состоянием у меня вырвался эпитет «внушительный», я же говорю, что все мы обыватели). Он элегантно одевается, у него красивые вещи и очки в золотой оправе. Все его дети закончили университет, и теперь ему чуть ли не по статусу положено быть образованным человеком. А это значит, что он читает хорошие книги. Он в курсе, что хорошо, он знаком с именами, названиями, оценками, то есть осведомлен достаточно. Читать Боззай, то есть бульварщину, – ниже его достоинства *. Он прилежно читает хорошие романы, и – ни один ему не нравится. Свои суждения он обосновывает, и внешне будто бы разумно. Справившись с новейшими книгами, он прочитал «Войну и мир». И она ему не понравилась. Претензия в том, что роман этот слишком длинен. Слишком много философствования и описаний. Философствование пусто, описания излишни и потому скучны. Не в бровь, а в глаз. После чего мы узнаем, что все большие романы слишком длинные. Что философствование и описания всегда лишние. «Госпожу Бовари», например, можно бы было написать и на двадцати страницах, то есть выясняется, что этот читатель заблуждается по существу: он думает, что роман – это сюжет, а все прочее – шлак. Что интересно только, кто на ком женится, что с этим человеком стало, как случилась какая-нибудь катастрофа и чем она закончилась. Этот читатель продолжает читать и дальше, и все с тем же недовольством, возможно, он так никогда и не поймет, что на самом деле ему годятся лишь приключенческие романы.

Мне бы что-нибудь полегче, сплошь и рядом заявляет читатель. Чего-нибудь такого, над чем не надо «думать», потому как «нервы и без того ни к черту». И все-таки вместо Миксата он читает белиберду, напичканную изощреннейшими убийствами. Все это – чтение легкое, от него нервы не страдают. Выходит, что читатель ошибается, ссылаясь на угнетенность и плохие нервы.

Роман Стейнбека «Гроздь гнева» – ой, это очень мрачная вещь, для современного читателя невыносимая! Я предпочитаю только любовные истории, говорит читательница, жизнь которой проходит без любви. Почти точным было бы, наверное, такое определение: роман – это нечто, где на шести страницах или более страницах обсуждается один только вопрос: женится он на ней или нет. Любовь интересует чита-

¹ *Здесь: слишком интеллектуально (нем.).*

*Среди тех миров,
что не подарены
человеку природой,
а сотворены из
материалов его
собственного духа,
мир книги —
величайший...
Без слова, без
письменности
и книги нет
истории, нет самого
понятия
человечества. И если
кто-либо вдруг
сделает попытку
заклочить
в ограниченное
пространство — в
одном доме или
одной
комнате — историю
человеческого духа,
чтобы овладеть ею,
то он сумеет
сделать это
единственно
посредством
какого-то подбора
книг.*

Герман Гессе

теля только как жеманство, изображение половой жизни его шокирует. Жизнь его естества держится на привязи воспитания и обстоятельств, и все, что эту жизнь пробуждает, вызывает в читателе нравственный протест. (Есть и другие читатели, и в этом отношении тоже, но они в меньшинстве.)

Похожий на слизняка чернявый молодой человек считает себя коммунистом. (Сын богатых родителей.) Он любит читать. И почти все книги его раздражают. Он отвергает и презирает всех писателей. Все произведения плохи, глупы и безнравственны. Наверняка сам хочет стать писателем. Эта фигура типична, но выпадает из среднего большинства: тип, противоположный обывателю. (Назовем его смело тоже обывателем.)

Однако достаточно перечислений, потому что продолжать их можно до бесконечности. Мои примеры — всего лишь выставочные образцы. Однако вижу, что до сих пор я только компрометировал читателя. А ведь я давно уже простил его и теперь испытываю к нему чуть ли не жалость. В защиту читателя можно бы выступить с большой, понастоящему адвокатской речью.

Примите, пожалуйста, во внимание, уважаемые господа судьи, происхождение читателя, его предшествующую жизнь и те условия, которые его окружают ныне. Да, когда-то читатель жил благополучно, был преисполнен надежд и, помимо того, что он желал для себя, верно, мечтал и о всеобщей человеческой истине. Он покупал книги и читал их. Читает он и сегодня, и больше, чем раньше. И он не виноват, что, будучи в основном добропорядочным заводчиком или торговцем, а то и просто известным домовладельцем, он не имел образования, но откуда ему было взять образование? В прошлом, при тогдашних условиях жизни, он добивался хороших заработков, денег и, возможно, приобретал даже состояние, ныне же он терпит материальный кризис. Его настоящее в руинах, а перспективы на будущее мрачные. Он полон тревоги и обоснованных страхов. Он пробовал даже уйти от действительности, мучительной для всех, даже для не-читателей. О красивой жизни читатель только мечтает, она является ему только в грезах, которые порождены приятными ощущениями от его прежней жизни. Отсюда понятно, что для него хороша лишь такая книга, в которой грезы его осуществляются, в которой он, пока читает, может жить так, как хотел бы жить в жизни. Если лишить читателя грез, он развалится, он перестанет быть. Можно простить и такому читателю, который пусть даже не наяву, но уж, во всяком случае, в мечтах, как какая-нибудь великосветская дама, читает, развалившись на диване, и через десять минут зовет прислугу, потрясая колокольчиком раз десять, и досадует по полчаса, что ей не подносят стакан воды, стоящий на столе в двух шагах. Этому читателю, даже если он, скажем, и еврей, не нужно изображение горькой действительности, как у Белы Жолта, он предпочитает «Семь тополей» Жиграи *. Замок, парк, эlegantность, благополучие, будто ничего не изменилось с 1913 года. О парк! Оживленно беседуют два господина, двое любителей бестселлеров. Один из

них говорит: я читаю только такие бестселлеры, в которых происходит убийство не реже каждой пятой страницы. Другой, согласно кивая, подхватывает, но знаете, какое убийство самое интересное? Только то, что случается в парке!

Образ читателя остается лишь начальным эскизом, но другого я и не хотел. Он получился несколько неприятным, почти безотрадным. Однако возможны некоторые поправки. Я сказал, например, что «читатели отличаются друг от друга: сколько читателей, сколько индивидуальностей, столько и отличий». Читатель непоследователен, бывают у него и срывы: иногда ему нравится и хорошая книга. Это исключительный случай, и из сравнительно немногих подобных исключений писатель существует материально и морально за счет тех, к которым уже не подходит название «читатель» в значении, мною употребленном.

*Книга —
оправдание
нашей жизни...*

ПИСЬМО О КНИГЕ

Сын мой!

Пишу тебе о книге... Видишь, я только начал — и уже зашнурлся. Поверь, нет ничего труднее, чем говорить с молодежью. Я понял это, еще когда был так же молод, как ты. Краска заливала мне щеки каждый раз, когда я читал «мудрые» поучения старших. Мне стыдно было видеть, с каким высокомерным великодушием они распахивают передо мной кладовые собранного на протяжении многих лет опыта. Рука моя отказывалась его брать. Но еще более мне было стыдно, когда, присев на корточки, сюсюкая, изображая на лице этакую мальчишескую улыбку, они называли меня приятелем, дружочком. В эти минуты я особенно остро чувствовал, какая пропасть нас разделяет. И думал: лучше я буду просто их уважать, чем ходить в обнимку, «как равный с равными».

Я сейчас очень стараюсь не совершить такой же ошибки. И не учить я тебя собираюсь, а лишь откровенно поведать о том, что такое для меня книга. Я не намерен петь ей дифирамбы. Ни тем более, встав в позу проповедника, объяснять, как она для тебя важна. Все это вряд ли имеет смысл. Если ты тянешься к книге, то я лишь повторил бы то, что ты прекрасно знаешь и без меня; если же ты чуждаешься ее, то никакие уговоры не убедят тебя проникнуться к ней доверием. Нельзя понудить человека любить книгу; она не предмет, не рыночный товар. Она — только футляр, вместилище, в котором заперто, содержится нечто. Это вот содержимое и надо побуждать любить; любить тот дух, те неощутимые колебания эфира, из которых возникает книга. Для этого мало нескольких минут. Мало и целой жизни.

Я со страхом оглядываюсь вокруг. Наш век — век новшеств, век открытий и изобретений. Книга же для открытия — стара, для изобретения — слишком проста, как кости предков. Ведь уже в древнем Вавилоне, за двадцать пять столетий до рождения Христова, существовали книги, записанные на глиняных табличках; в Ниневии, в VII веке до рождения Христа, были библиотеки *. Те книги, те библиотеки — подобия сегодняшних. Я хотел бы с гордостью показать всем эту славную родословную. Но книга, знаю, нынче не в моде, наше время поклоняется иным кумирам. Гутенберги нашей эпохи — это Маркони и Эдисон, Блерио и Линдберг. Современники наши предпочитают смотреть книгу на экране кино, слушать книгу из ратрубов репродукторов, которые доносят голос человека куда угодно. Наше время предпочитает одолевать мили и километры. Дальних расстояний не существует больше. Азия, Америка, Австралия

теперь одинаково близки к нам. На дирижабле, на аэроплане мы перепархиваем с континента на континент, автомобилями бороздим глобус. Не будем относиться ко всему этому с пренебрежением. Ведь мы, кажется, победили нашего древнейшего врага, пространство. Хмельное, зачарованное человечество стремится вперед – по земле, по водной глади, по воздуху – и знает, что предел все еще не достигнут, что аппараты, передающие образ и звук, еще могут совершенствоваться и совершенствоваться, средства передвижения



Рисунок Ковалика.

Швабский художник
(1470–1480 гг.).
Фрагмент картины
«Шесть апостолов».



способны мчаться быстрее, темп еще многократно может быть ускорен.

Когда-нибудь этому настанет конец. И человечество тогда оглянется в растерянности. И, углубившись в себя, задумается о цели, предназначении своего пути. И будет искать

ответ в заброшенной и огрубевшей, заросшей чертополохом, как поле, слишком долго лежавшее под паром, душе своей. И – не найдет ответа.

И тут ответ ему даст книга. Книга, которую человек презрел и зашвырнул. Книга, странный плод мечтателей, не нужная никому рухлядь; книга, такая тусклая рядом с «золотой действительностью». Книга, которая считалась умершей; книга, старый, дешевый хлам; книга, источник всякой жизни. Книга, которая измерила параллели и меридианы души человеческой, вторглась в глубины мозга, унося давние поколения в высочайшую высоту и в самую дальнюю даль. Книга, эта манна небесная, способная накормить толпы; пища, которой, чем больше ешь ее, тем больше становится; волшебный хлеб, дающий сытость голодным, богатство – нищим, силу – немощным; книга, благодаря которой любой может стать банкиром, крезом знаний, миллионером мысли. Книга, самая совершенная медицина, чудесный бальзам души, как называл ее египетский король Озиманд; «сад трав для занемогших душ», как писал один замечательный венгерский поэт. Книга, щедро раздающая себя, не скупясь, не таясь от алчущих ее. Книга, надежный ларец, куда достойнейшие из достойных прятали от тлена свои сокровища. Книга, которая в столетиях была то мрамором, то металлом, то папирусом, то корой, воском, доской, то пергаментом, то тканью, то бумагой, но, изменяясь, всегда сберегала внутреннюю, непостижимую свою суть. Книга, которая – и свиток, и оболочка, и жемчужина. Книга, что в древние и в средние века хранилась в сумраке монастырей как редкий, уникальный алмаз, с изобретением же книгопечатания стала такой обычной, что алмазы стали валяться на улице, словно галька, и духовное благосостояние выросло столь высоко, как будто рабочие стали носить бриллиантовые булавки, а у девушек-работниц в ушах засверкали бриллиантовые серьги. Книга, которая позволяет нам узнать своих предшественников, получить весть из прошлого, без которой мы остались бы сиротами, бродягами без роду и племени, для нас не существовало бы все то, что видели, знали жившие до нас. Книга, посредством которой мы общаемся с потомками, посылая в будущее весть о себе. Книга, которая дает возможность из Будапешта не только перелететь в Нью-Йорк или Йокогаму, но и совершить паломничество в XVIII век после рождения Христа и заглянуть в VIII век до рождения Христа так же легко, как открыть дверь в соседнюю комнату. Книга, которая дух сделала вездесущим, сплотила человечество в единую семью. Книга, которая не только покорила пространство, но и надела путы на еще более страшного нашего врага – время.

Нет чуда большего, чем книга. Ведь истинное чудо – это всегда самые простые вещи. Профессор Фрейд сказал однажды в дружеской компании: «Чудо, что можно говорить по телефону без проводов, но еще большее чудо, что можно разговаривать по телефону с проводами, и чудо совсем невероятное, что люди понимают друг друга всего лишь с помощью слов». Книга – такое же повседневное чудо. Мне хо-

чется взять в руки книгу, простую, как вода и воздух, и в то же время непостижимую, неисчерпаемую, великолепную, как все, в суть чего мы пытаемся проникнуть... Мне хочется поднять ее высоко над головой. Взгляни на ее форму; в закрытом виде она похожа на кирпич. Тысячелетия должны были пройти, пока она обрела эту форму. Когда-то она была плоской, твердой, как плита из камня, потом округлой, ее наматывали на палочку и меряли в длину, как кинолентку. Были книги длиной до двадцати метров*. Их клали рядами на полку. И только позже родилась идея, кажущаяся теперь такой простой: нарезать прямоугольные листы, сложить их пачкой, скрепить – и ставить книги вертикально. Еще Марциал дивился такому остроумному решению. Вот так же дома долгое время строились лишь в один этаж, и города, деревни расплзались в ширину – пока на свете было не так уж много людей; и только позже, когда людей становилось все больше, этаж начали ставить на этаж; книга тоже поднимается в высоту, стремится вверх лишь с тех пор, как стали умножаться мысли, чувства, с тех пор, как люди все больше начали ощущать необходимость строить из этих кирпичей башни и небоскребы духа, возводить дамбы и крепости против тлена. Почти у каждого человека за долгую жизнь может скопиться столько полезных наблюдений или печальных уроков, что он не может доверить их никому и ничему, кроме книги. Книга – оправдание нашей жизни, апелляция в высший суд. Она воздает справедливость безвинно пострадавшим, не понятым своими современниками. В книге – вневременное бытие богов и внегосударственное бытие дипломатов, в ней – обещание спасения и *salvus conductus*, в ней – пересадочный билет в грядущие столетия, в ней – надежда, что когда-нибудь немые буквы заговорят и дремлющие идеи воспрянут, оживут в новых, иных людях. Благодаря книге мы получаем право голоса в будущем, в то время, когда безжалостная природа лишит нас самого голоса, когда сам наш язык, наше тело исчезнут, обратятся в прах. Посредством книги могут говорить мертвые. Книга ломает бронзовые двери склепов. Книга есть вечность нашей бренной жизни. Она возглашает, что лучшая часть нашего существа избежит тлена, что полной смерти все же нет, что есть воскресение.

Эту реликвию, это оружие, это магическое средство я, сын мой, хотел бы вручить тебе в дорогу.

1929

*Культура
чтения — основа
образования.*

ВОРОТА В БЕСКО- НЕЧНОСТЬ

Итак, Маклюэн благополучно схоронил галактику Гутенберга * (думаю, несколько упрощая дело, я не искажу его суть), совершил погребальный обряд над возвращенной на букву, на книгопечатании культурой; сегодняшней ее день — агония, будущего у нее нет.

Когда, не так давно, Маклюэн помер, весть о его смерти, естественно, разнесли отпетые им печатные буквы; разнесли на весь цивилизованный мир, который, конечно, и знать бы не знал ни его теории смерти книгопечатания, ни прочих умных его рассуждений, ни того, что вообще живет на свете такой М а к л ю э н , — когда бы не было написанных им и напечатанных потомками Гутенберга книг.

Конечно, заманчиво было бы взять и вот так, с помощью дешевого остроумия, расправиться с весьма и весьма достойным вниманием предупреждением о надвигающемся кризисе читательской культуры. Ведь мы и сами не можем не замечать, что день ото дня захлебываемся в океане печатных букв. Невероятно велико количество того, что нужно прочесть; безнадежность охватывает даже при беглом взгляде на все это. Сотни газет, журналов, тысячи книг и всякого рода изданий. Если бы я захотел прилежно читать одну только прямо касающуюся моей профессии литературную прессу, я вынужден был бы сидеть над ней ежедневно с утра и до поздней ночи.

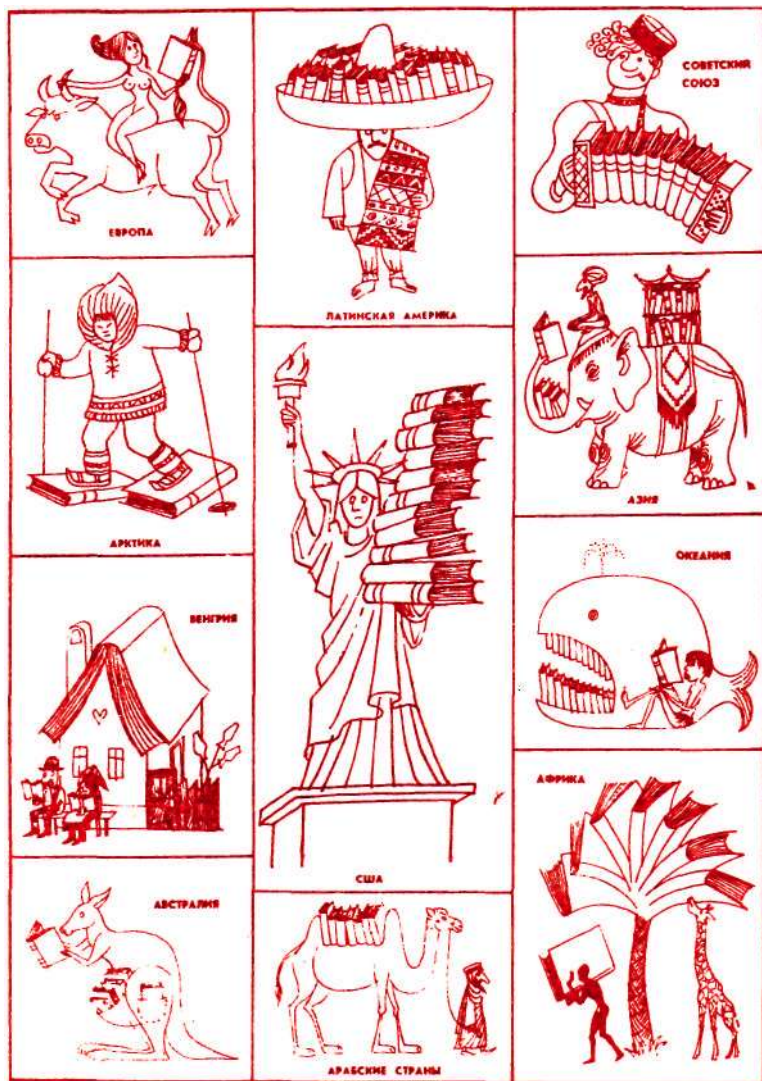
А сколько других — не литературных — журналов манит глаз на стендах киосков; я годами даже заглядывать в них себе не могу позволить. Сколько книг, которые я не открыл и, видимо, никогда уже не открою. За год у нас в стране выходит восемь тысяч книг; правда, на долю отечественной беллетристики из них приходится не так уж и много — меньше четырехсот, но все равно это больше, чем дней в году. И ведь писатель обязан знать не только отечественную беллетристику.

Из всего этого становится ясным еще вот что: если культура чтения в самом деле переживает кризис, то это кризис изобилия. Слабо верится, что люди сейчас читают меньше, чем двадцать, пятьдесят или сто лет назад. Но несомненно, что в соотношении и к более широкому горизонту, и к массе производимой печатной продукции — несоизмеримо меньше. Прежние школьники, главные пожиратели книг, сегодня охотней проводят свободное время перед телевизором, хотя все равно я не думаю, что — в суммарных масштабах общества в целом — они на чтение тратят времени меньше; ведь нынче куда больше самих школьников, и учатся они не четыре—шесть лет, как в былое время.

Но даже все это учитывая, нельзя не смотреть в глаза встающему перед нами вопросу: не сменит ли вскоре культуру читательскую культура зрительская, не вытеснит ли книгу кино, телевидение? Можно ли представить образование двадцать первого века без важной, даже ведущей роли книги, печатной буквы?

Нет, я такого себе не могу представить, и довольно уже давно.

Как-то, еще в середине шестидесятых годов, познако-



*Международный год книги
глазами венгерского
карикатуриста Тибора
Кайяла.*

мился я с результатами одного статистического обследования; речь шла об уголовниках. Мне бросилось в глаза, что очень многие из них любили – до заключения – ходить в кино. Это было их любимое развлечение и форма проведе-

ния времени; конечно, из тех форм, которые хоть какое-то отношение имели к культуре. Были среди них такие, кто, пристукнув жертву, прямым шел в кино и смотрел один фильм за другим – до трех фильмов к ряду, – а потом отправлялся на очередное «мокрое дело».

Тогда я задумался: возможно ли, чтобы в кино к ним не пристало ни капли культуры? Пусть хотя бы по тому принципу, по которому слепая курица когда-нибудь да попадет на зерно. Ладно, отнюдь не всякий фильм брызжет культурой; но коли ты прилежно ходишь в кино, так ненароком хотя бы должен наткнуться на действительно ценный, высокохудожественный фильм! Неужто они в такой мере к культуре невосприимчивы?

Заставило меня задуматься еще и вот что: читать уголовники не очень-то любили. Даже случайно не нашлось среди них никого, кто меж двумя грабежами с убийством читал бы роман Толстого или стихи Аттилы Йожефа.

Тогда и возникло у меня сильное подозрение, что чисто визуальное искусство едва ли способно быть фундаментом современной образованности, современной *социальной культуры*.

Конечно, причина этого не кино и не телевидение. Зайдите при случае на сеанс, где публика подобралась достаточно незрелая: какой бы фильм ни крутили, сколько Оскаров ни было бы на него навешано, каким бы художественным шедевром он ни являлся, эти зрители все равно громко чмокают, хохочут в самых трагических моментах и шумным восторгом – естественно – встречают драки.

Ведь язык фильма на самом деле – это ассоциации, связь представлений, связь мыслей. Язык этот таков, что каждый толкует и понимает его только сам для себя; каждый ассоциирует мысли на своем, достигнутом им на данный момент культурном, интеллектуальном уровне. (Представим себе: четырехлетний ребенок видит на экране телевизора, как на садовой скамейке в алых лучах заката, под пышной зеленью крон сидят юноша и девушка. Юноша вдруг обнимает девушку. «А дядя чуть не упал со скамейки и ухватился за тетю!» – комментирует увиденное четырехлетний зритель: для него это самая естественная ассоциация. Но и десять, двадцать, пятьдесят лет спустя, уже выросший, он эту сцену будет воспринимать на уровне своего умственного и культурного развития, будет на этом уровне понимать и толковать телепередачи и фильмы.)

По всему судя, культура чтения – основа образования; ни кино, ни театр, ни даже изобразительное искусство и музыка не могут обойтись без аудитории, вскормленной *материнским молоком* чтения, книги, литературы.

Весьма вероятно, не могут без нее обойтись и развивающиеся науки – пусть это даже будут науки естественные.

Верно, верно: миллионы людей видят по телевизору фильмы, спектакли – причем не только плохие, но и хорошие, – слышат стихи – пускай не все, у кого есть телевизор; все равно их во много раз, может быть, в тысячу раз больше, чем читавших прежде стихи. Каждый день телевидение раз-

носит по стране культуры больше, чем раньше ее приходилось на душу за год. Но я бы все-таки не рискнул утверждать, что от нас так и несет за версту этой пущенной на конвейер, действующей на миллионы культурой. Нет, нет, что-то, наверно, заметно; но чтоб результат был пропорционален тысячекратному росту числа потребителей культуры – об этом нет и речи.

Где-то что-то, увы, пропадает. Из литературы, искусства, которые заведомо, откровенно рассчитаны *на потребление, на развлечение*, неизбежно что-то теряется.

Не ту ли пропажу мы ощущаем в экранизациях художественной прозы, великолепных романов? Или это только меня охватывает подобное ощущение, когда, прочитав, скажем, «Войну и мир», я потом смотрю поставленный по роману фильм? А «Преступление и наказание», «Анна Каренина», «Мадам Бовари», «Тихий Дон», «Старик и море»?.. Да, у фильма тоже есть свой родной язык, на котором он может выразить больше всего; но есть такой язык и у прозы. И если произведение – особенно из самых лучших – написано на родном языке прозы, то на язык других искусств оно может быть переведено только в своего рода подстрочном, сыром переводе, и перевод этот никогда полноценным не будет.

Словом, за судьбу книги, печатной буквы, галактики Гутенберга я вовсе не опасуюсь. Чтение и впредь, на все обозримые времена, останется базой, скелетом, живительным источником всякой культуры, ибо чтение не поддается замене ни речью, ни образом. Слово смолкает, образ гаснет, буква же – остается.

Без книг даже представить себе нельзя ни учебы, ни походов за знаниями, ни совершенствования в профессии, ни вообще информации – этого, видимо, не будет никто оспаривать. Да, *но и в сфере мыслей и чувств человека свободный поиск, жажда информированности* – не менее, если не более элементарная потребность, и здесь тоже лишь книги способны открыть ворота в бесконечность; только книги, и ничто иное. Для того чтобы ориентироваться в недоступных нам эпохах, краях, среди незнакомых нам людей, для обогащения жизни, для чудесного *продления* ее лучшую возможность предоставляют нам лучшие книги.

ПОЛЬША

ЯРОСЛАВ

1894–1980

ИВАШКЕВИЧ

*Каждую книгу
я открываю
с таким
чувством, будто
начинаю путь
в неведомую
страну.*

О КНИГАХ
И
ЧИТАТЕЛЯХ

Не так давно я разговорился с одним из своих друзей-литераторов о книгах и о любви к чтению. Побеседовав, мы пришли к довольно пессимистическим выводам. Нам показалось, что любовь к чтению – старомодная привычка и что, собственно говоря, книга – это пережиток и судьба ее предрешена в грядущем атомно-кибернетическом веке.

Возможно, отчасти так оно и есть. Может, именно потому и возникают всякого рода сетования на то, что роман изжил себя, может, поэтому понизился интерес к настоящей полноценной прозе, может, по этой же причине ведутся лихорадочные поиски какой-то новой литературы, призванной более надежно завладеть вниманием читателей.

Несомненно, изящная словесность переживает определенный кризис. Но не стоит увлекаться пророчествами, паниковать никогда не стоит, а тем более по поводу книг. Недавно на одном очень представительном совещании говорилось о вреде телевидения. Что оно, мол, оглушает, плохо воздействует на детей и порождает нездоровый интерес, одним словом, деморализует молодежь. Но один весьма благоразумный человек по этому поводу заметил: прежде чем телевидение начнет нас деморализовывать, оно (при нашем недостаточном высоком культурном уровне) чрезвычайно расширит горизонты рядового поляка.

Точно так же и с книгой. Прежде чем она успеет превратиться в пережиток и на смену ей придут те загадочные «кикимобили», появление которых предсказывала в своих стихах Мария Павликовская *, – до тех пор культ книги и любовь к чтению сыграют еще большую роль в нашей духовной жизни.

Пока еще книга остается сокровищем для нашего рядового читателя, сокровищем настолько притягательным, что иногда он даже идет на преступление, присваивая ее себе.

В Ополе недавно состоялся единственный в своем роде судебный процесс. Из трех тысяч абонентов Публичной библиотеки восемьсот, несмотря на неоднократные напоминания, не вернули книги. Человек пятнадцать из них предстали перед судом. Все как один обвиняемые в свое оправдание говорили, что хотели иметь полюбившуюся книгу, и это желание было настолько сильным, что оно побудило их присвоить желанный предмет.

Итак, книга у нас – еще сокровище. И дай бог, чтобы она долгие годы им оставалась.

Я не хочу здесь говорить о роли книги в деле распространения культуры. Напротив, я хотел бы сказать о том, какую

ЯРОСЛАВ
ИВАШКЕВИЧ

488

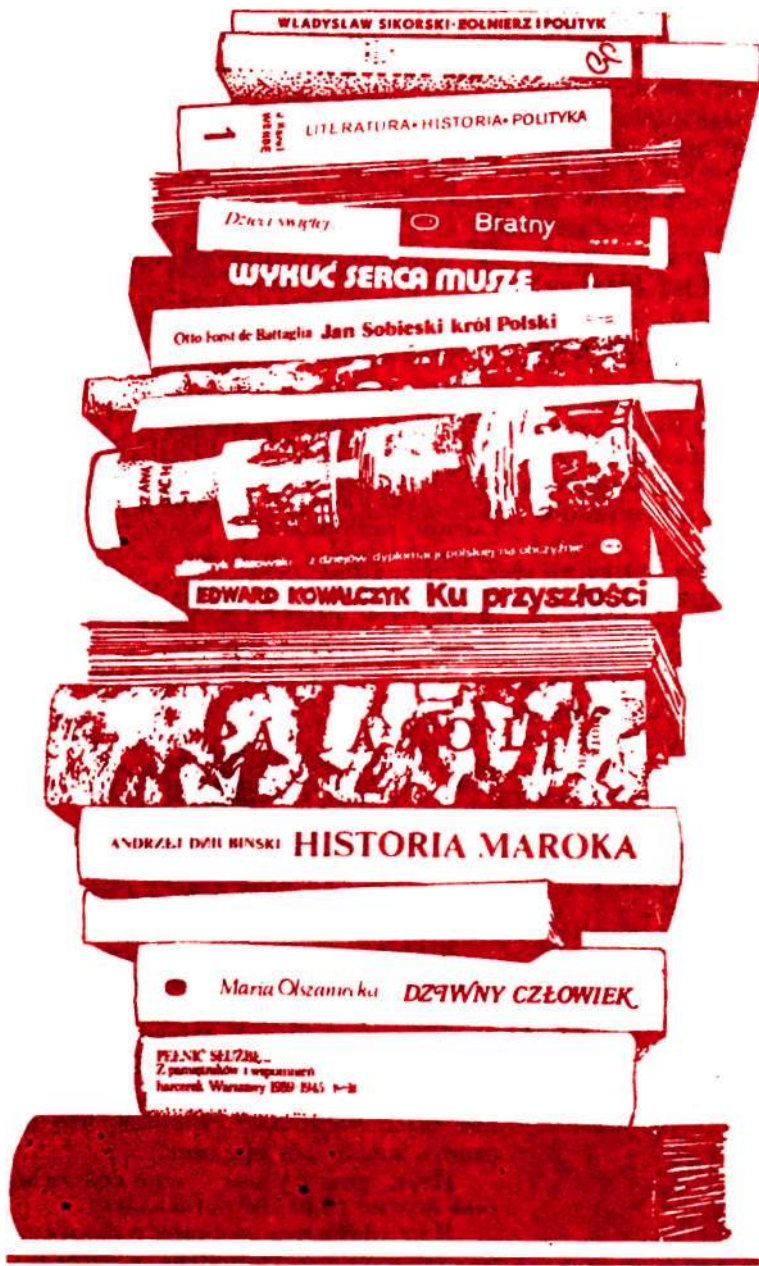
глубоко индивидуальную роль играет книга в жизни каждого из нас. А также в моей собственной судьбе.

Если говорить о чтении, то я самый заурядный читатель, и хотя не очень люблю романы (как повар не любит собственной стряпни), но вообще книги боготворю и не представляю себе, как я мог бы обойтись без них на необитаемом острове. Кто-нибудь, пожалуй, возразит мне: очень просто, сами принялись бы сочинять их. Но это заблуждение. Собственная книга — нечто совсем иное. Когда знаешь, как она



Рисунок В. Клемке.

Современные польские
книги.





создавалась, – хотя нередко успеваешь забыть, как родился тот или иной замысел, – то относишься к ней как к чему-то, что тебя обмануло и глубоко разочаровало.

Чтение – это привычка, нечто такое, что можно, пожалуй, сравнить с курением. Ведь чтение никогда не сулит непосредственной выгоды. Если же такую выгоду преследуют, это уже не бескорыстная любовь к чтению, а совсем иное. Чтение – единственный вид искусства для искусства, которое в наши дни можно оправдать.

В том, что такое книга для нашего читателя, я имел возможность убедиться во время моих ежедневных «встреч с избирателями». Так один из моих коллег-депутатов назвал мои поездки в электричке, которые занимают у меня два часа в день. Я действительно очень ценю эти поездки: Лесная Подкова – Варшава. Они позволяют мне довольно верно уловить настроение общества, знакомят с интересами, суждениями и повседневными заботами окружающих людей.

Примечательно, что большинство едущих на работу читают в дороге, однако на обратном пути читают меньше – сказывается усталость. Причем читают самые разнообразные книги, начиная от «Унесенных ветром» и кончая «Этикой» Спинозы. Вагон электрички напоминает по утрам читальню. Не обращая внимания на торговков, возвращающихся с рынка, и на истинное бедствие пригородных поездов – болтливых милановских кумушек, громогласно излагающих события собственной жизни и жизни своих близких, – мужчины, старые и молодые, солидные женщины и юные девушки – все без исключения читают.

Читают с увлечением, с раскрасневшимися щеками, с волнением. Признаюсь, на них просто приятно поглядеть!

Свои собственные книги в руках попугачиков я вижу нечасто. Когда же это случается, я испытываю смущение. Становится досадно, что люди читают вещи, создавая которые я порой забывал о тех, кто будет впоследствии перелистывать эти страницы. В такие минуты я ощущаю всю полноту своей писательской ответственности, и мне приходит в голову, что все-таки мы, литераторы, не осознаем до конца, какое бремя возлагаем на себя, отдавая книгу в руки читателя. Я не сомневаюсь, что каждый писатель творит для читателей, но как часто он при этом вкладывает в свою книгу сугубо личные переживания, затрагивает такие проблемы, которые понятны и интересны только ему, а читателю кажутся чуждыми и надуманными. Мы редко вспоминаем о том, что у книг своя судьба, что, пущенные писателем в обращение, они начинают жить самостоятельно, жизнью активной, продолжительной, исполненной той последовательности, какой иногда недостает ее автору. Чтение – своего рода страсть, которой подвержены и старики и молодые. Старикам книга скрашивает незадавшуюся жизнь (ведь старикам всегда кажется, будто их жизнь не удалась), дополняя ее тем, чем их обделила судьба. Молодым книга открывает нечто такое, чего они еще не знают и сами не пережили. И старый и молодой способны полностью слиться с читаемой книгой.

Как известно, первые детские впечатления – самые силь-

ные. Сегодня возле дома я видел, как пожилая женщина показывала малышу великолепного петуха, который копался в прошлогодней листве. Глаза у ребенка расширились от восхищения и восторга, когда он взирал на яркую большую птицу. По глазам мальчугана было заметно, что вид роющегося в земле петуха для него целое событие, знакомство с новым явлением восхитительного и чарующего мира, что этот образ запечатлится в его сознании на всю жизнь. Да и я сам по-другому взглянул на эту картину, на взъерошенный, волнующий ветром петушиный хвост, на алый блеск оперения на груди, на коралловый гребень. Я смотрел на птицу глазами ребенка.

И представил себе, какое впечатление произведет на этого мальчугана первая прочитанная им книга, как она врежется ему в память, раскроет перед ним неведомый, яркий мир, как некогда произошло со мною благодаря сказкам «Заколдованный Гучо» и «Мыши короля Попеля»*. И мне сделалось немного грустно оттого, что я уже не могу так воспринимать книги. Не могу, но стремлюсь к этому. Каждую книгу я стараюсь осмыслить как нечто новое, словно я все еще наивный ребенок. Каждую книгу я открываю с таким чувством, будто начинаю путь в неведомую страну.

Так и должно быть. К книге надо всегда относиться с энтузиазмом и восхищением, ведь и автор, создавая ее, был преисполнен энтузиазма и думал – или только обольщался мыслью, – что открывает новые перспективы, показывает окружающую жизнь в новом, неожиданном свете.

Да, чтение – это искусство. И как всем другим видам искусства, этому нельзя научиться! Это рождается в душе человека, как вдохновение. Любовь к чтению начинается рано.

Вот маленький человечек удобно устраивается на кушетке с изрядным запасом яблок (прежде это были «рожки» или свентоянские хлебцы) и вместе с фруктами начинает поглощать один том за другим. И нечто содержащееся в книгах, словно ароматный яблочный сок, струится в горло, и на секунду у него перехватывает дыхание. Обычно это бывает «Трилогия»* или один из романов Дюма. Когда читают «Трех мушкетеров», то забывают даже о яблоках. А при знакомстве с Шерлоком Холмсом к чувству восхищения прибавляется нервная дрожь, это не только свидетельство страха, но еще и первого, неосознанного упоения самой конструкцией вещи, ее формой, которая замыкается развязкой, как скобкой, как математическим знаком.

Потом наступает иная пора. Внезапно появляется «Антигона» (потому что очередь «Эдипа в Колоне» приходит с наступлением ясных осенних дней старости). «Антигона» – это почти откровение. В простых словах столько глубочайшего смысла, конфликт закона божественного и человеческого, конфликт, который временами кажется просто капризом. Рыдания девушки, которая отправляется на «каменное ложе» умирать! И тут открываются удивительные миры – неведомые и неожиданные: мужество и красота обыкновенного человеческого поступка, который определяет собою все.

Это уже преддверие самого восхитительного чтения –

чтения стихов. Стихи захватывают нас сначала своим содержанием, потом ритмом, позже мы обращаем внимание на рифму и уже в последнюю очередь на то, что составляет суть стиха: на порядок и сочетание слов, которые влияют друг на друга, как краски на палитре художника. Кто попал однажды в эту страну, тот погиб, он жаждет все новых красок, новых ослепляющих фейерверков и тихих шепотов. Начинаются поиски отдельных звуков, тонов, слогов и букв. Временами даже хочется, чтобы чужой стих *выглядел* так, как нам самим это нравится.

И, только поняв наконец тот волшебный мир, который открывает нам человеческая речь, облеченная в слова, фразы, страницы, начинаешь постигать, что такое книга. Только тогда понимаешь, что значат эти небольшие прямоугольники, состоящие из листков бумаги, заполненных печатными знаками, а на этих листках...

Постепенно читатель превращается в собирателя книг. В своей страсти он стремится сделаться обладателем того, что прочел. Ему уже недостаточно библиотеки или читальни. Он жаждет, уединившись в тишине своей комнаты (если такая тишина вообще возможна в нашем современном мире), установить контакт с прошедшим, настоящим и будущим.

У книги в наше время много соперников, и, быть может, поэтому она выходит из моды. Радио, телевидение, кино... львиную долю очарования похитили эти изобретения у книги! Но одного они не в состоянии отнять у нее – ее тишины и безмолвия. Безмолвие книги – это то, что действует на нас сильнее всего. Безмолвие – это чара, которую мы можем наполнить собственными эмоциями, собственным воображением. Кино, телевидение навязывают нам свой образ, не позволяя представить его по-иному. Книга же утверждает нашу индивидуальность, оберегает нашу личность от напора всего того грубого, крикливого, агрессивного, что имеется в современной культуре.

Книга пленяет меня отнюдь не своим внешним видом, я люблю книгу, потому что она вводит меня в мой собственный мир и открывает во мне самое, а не вне меня те богатства, о которых я сам не подозревал. Поэтому я окружаю таковой любовью *свою* библиотеку.

Скажи мне, какие книги стоят у тебя на полках, и я отвечу тебе, кто ты. Такой должна быть поговорка. Увы, тот, кто захотел бы судить обо мне по моей библиотеке, вынужден был бы порядком поломать себе голову, поскольку библиотека эта – следствие очень сложных процессов, результат жизни многих людей и очень разных поколений.

Она сохранилась почти полностью. Если, конечно, не принимать в расчет вандализма моих друзей, которые зачитывают, а иногда и попросту крадут книги. Не так давно с моего письменного стола пропал изящно переплетенный том, содержащий все довоенные фарсы, с дарственными надписями Лехоня, Тувима, Слонимского, Святопелка Карпинского и Януша Минкевича *. На полке, где хранятся старые издания, недостает моего любимого «Повара с хорошим нравом», изданного в Вильно в начале XIX столетия, кто-то

стянул у меня и одну из годовых подшивок «Скамандра», разбив тем самым единственный сохранившийся в моей библиотеке полный комплект этого издания.

Моя библиотека – итог коллекционирования нескольких семей. Самая дорогая реликвия здесь – десяток книг из библиотеки моего отца *, которые претерпели весьма удивительные метаморфозы. Они собирались отцом очень старательно и помечались им отнюдь не экслибрисом, а мало чем отличавшейся от канцелярской печаткой: «Из книг Болеслава Ивашкевича». Потом они покинули «новый» шкаф в нашей кальницкой квартире и странствовали вместе с моим братом, непрерывно менявшим службу, по самым отдаленным уголкам Украины. И наконец, уже во время войны, попали в Стависко. Это в большинстве своем тома великолепной левенталевской «Библиотеки шедевров европейской литературы», содержащие первые переводы Бальзака, Байрона, Гёте.

Я с нежностью поглядываю на эти книги. В них оживает все мое детство и вся жизнь моего отца, скромного служащего на сахарном заводе. Он с необычайной тщательностью выписывал книги, высылаемые «по заказу», долго размышляя, какие именно выбрать, а потом страшно радовался, когда долгожданная бандероль с книгами приходила из Варшавы. Книги тотчас же заносились в каталог, знакомые приходили поинтересоваться, что он получил. И записывались в очередь, чтобы их прочесть...

Но сначала их следовало переплести. Этим занимался переплетчик из соседнего Дашева, о котором я уже где-то писал. Он отличался тем, что был косой и носил совершенно невероятную фамилию Пшиянтель, которая в русском написании выглядит особенно странно. И я подумал об удивительной судьбе людей и вещей, когда побывал не так давно в этом самом Дашеве, видел маленький домишко, в котором некогда трудился наш знаменитый Пшиянтель, стоял коленопреклоненный на могиле отца, почившего в далекой украинской земле более полувека тому назад.

Помню (этот эпизод также навеян томами с печатью «Из книг Болеслава Ивашкевича»), как бедный Пшиянтель привез или принес отлично переплетенные толстые фолианты «Иллюстрированного Еженедельника» и с гордостью показывал надпись крупными буквами: «ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖИНЕДЕЛЬНИК». И довольному делом своих рук ремесленнику пришлось выслушать резкие упрёки моего отца. Однако тома эти, с неправильным заглавием, так и остались в отцовской библиотеке. Увы, они не сохранились до наших дней.

По вечерам в доме читались самые разнообразные романы, им обязаны были мы, дети, своими первыми литературными впечатлениями. И может быть, уже тогда под их влиянием родились и некоторые мои творческие замыслы.

Я не коллекционирую книги, но эти тома, стоит мне только взять их в руки, вызывают у меня волнение: это те самые экземпляры, которые я, будучи ребенком, извлекал из шкафа и читал, еще не очень хорошо понимая, о чем там идет речь,

*...Умеем ли мы,
так горячо
протестующие
против фашистского
надругательства над
книгой, — умеем ли
мы, способные так
хорошо говорить
о книгах и работать
над ними и изучать
и х, — умеем ли мы
ценить силу книги
так, как ценит ее
фашистская чернь,
швыряющая книги
в огонь? Сознаем ли
мы — пишущие
книги
и расстрогающие
их, составляющие их
отиси — полностью
и до конца значение
книги, сознаем ли
мы его не только на
словах, но всем
существом,
сознаем ли в той
же мере, что и те,
кто боится книг
настолько, что
сжигает их?
Арчибалд Мак-Лин*

но они так глубоко запали мне в душу, что я по сей день, даже в последних моих произведениях, нахожу фразы и стихотворные строки, прочитанные мною в детстве. Такое зерно, запавшее в сердце в раннем возрасте, формирует вкус на всю жизнь.

Эти первые встречи с книгой приохотили меня к чтению, и я до сих пор с жадностью поглощаю книги; в этом, очевидно, проявляется моя несовременность, а может быть, наивность.

Любая книга в моей библиотеке, не пострадавшая от времени и от моих друзей (о. мышах я уже не говорю!), была прочитана мной или могла быть прочитана. Что, разумеется, одно и то же, с той только разницей, что «воображаемое» чтение не отнимает так много времени! Если бы я в самом деле захотел прочесть все эти книги, мне не хватило бы целой жизни.

Впрочем, если бы кому-нибудь пришла в голову мысль определить характер моей библиотеки, то он скорее назвал бы ее библиотекой историка, а не литератора.

Самый большой интерес у меня всегда вызывала история. И хотя я написал только один исторический роман, но книги, собранные мною для изучения отдаленной эпохи Генриха Сандомирского *, могли бы составить небольшую библиотечку. Впрочем, я не ограничивался временем, в котором разворачивается действие романа «Красные щиты». В шкафах моего кабинета немало, к примеру, книг, относящихся к периоду Византии, древнего Востока, Чингисхана или же к истории Рима. Все это интересы совершенно особого свойства и не имеют ничего общего с моим литературным трудом. Например, сведения, какими я располагаю по истории Армении, никогда не использовались мною в рассказах или романах, как и содержание многих томов, которые остались моим личным достоянием.

Особая область моей библиотеки – поэтические сборники, занимающие отдельный шкаф. У меня есть томики стихов, которых уже никто не помнит. В большинстве своем они относятся к довоенному двадцатилетию, которое изобиловало самыми разнообразными поэтическими изданиями. Большинство фамилий авторов этих книг мало или совсем ничего не говорит нынешнему читателю. И не только рядовой читатель, но и кое-кто из молодых критиков раскрыл бы рот, если бы я, например, упомянул поэтические произведения Радослава Краевского или Анны Слончинской.

Признаться, я редко заглядываю в этот шкаф, однако стоит мне заглянуть туда, как меня подстерегают всякие неожиданности; какие-то преданные забвению томики внезапно открывают передо мной не свою проблематичную ценность, а как бы доносят до меня дуновение воспоминаний юности или зрелой поры, когда я читал эти стихи, знал самих авторов, спорил с ними и считал выход в свет этих, ныне абсолютно забытых, книжек неким событием в литературе. Этот жизненный пример может служить убедительным *me-*

¹ *mento mori* для некоторых современных поэтов, имя кото-

Помни о смерти (*лат.*). рым – легион. Искусство версификации ушло, конечно, да-

леко вперед, однако они так же мало способны выразить окружающий мир, как их ныне забытые предшественники.

Временами в таком шкафу нас ждут совершенно неожиданные встречи, сюрпризы, напоминания о давно забытых делах и о событиях, которые оживают при вспышке воспоминаний, меняющих былые оценки и вводящих нас в круг серьезных проблем. Так случилось, например, с томиком Яна Лехоня «Бабинская республика» *, который я минуту назад достал с пыльной библиотечной полки, разыскивая забытые книжечки Анны Слончинской. Со сборником этой писательницы, дочери известного варшавского ювелира, связаны забавные воспоминания об обедах в доме ее родителей, когда гости во фраках после изысканных блюд вынуждены были слушать, как молодая поэтесса, очаровательная, впрочем, особа, читает свои стихи. Стась Балинский во время этих декламаций предпочитал заниматься перестановкой мебели в соседнем будуаре...

А «Бабинская республика»? Что за великолепная вещьца, что за темперамент, какой юмор! Хотя ныне никому уже ничего не говорят фамилии политиков и деятелей, упомянутых в этих стихах, поблекли и намеки, содержащиеся в прозе, однако все еще забавляют остроумные шутки, покоряет виртуозная инструментовка стиха. Почему мы забыли о «Бабинской республике»? Чего ради пытаемся сделать из Лехоня четвертого поэта-пророка * – и не помним этих истинных жемчужин, этих легких, брызжущих остроумием стихов, в которых заключен весь варшавский юмор, юмор Каэтана Венгерского, и где очаровательный стиль Трембецкого нашел своего подражателя и продолжателя.

На книге дарственная надпись, характерная для Лехоня: «Дорогому Ярославу, восхищенный Колыбельной», влюбленный в Май". *Лешек. 6.II.20*».

О какой колыбельной идет здесь речь – неизвестно *, так как я написал их больше десятка. А «Май» – это стихотворение, которое я действительно читал ровно сорок лет тому назад в «Пикадоре», в незабываемом литературном кабаке или кафе, где и Лехонь читал свои презабавные вещицы из «Республики».

И когда я вижу перед собой начальные строки известного стихотворения «Пани Падеревская» *, посвященного профессору Стронскому (оказывается, мы не так далеко ушли от тех времен):

Впервые после королевы Боны
Встречаются у нас такие ж е н ы , –

мне сразу вспоминаются не только кафе «Под Пикадором» и его посетители, не только бесподобные художники, обшудавшие с таким остроумием последние выставки в «Захенте» *, что зал покатывался со смеху, но и то, что последовало за всем этим, продолжение этого. Ведь, как известно, привилегия старости состоит в том, что ей известно «продолжение». Мы дружно смеялись, когда Лешек читал этот пасквиль, но одновременно я вспоминаю другое: лет пятнадцать

спустя в салоне польского посольства в Париже Лешек подошел ко мне и сказал:

- Послушай, Валери хочет, чтобы Падеревский написал ему что-нибудь в альбом, а я не могу подойти к нему...
- Почему не можешь?
- Разве ты не помнишь? Ведь я написал «Пани Падеревскую»...

Такие воспоминания таит в себе почти каждый томик из моего «поэтического шкафа». Это, что называется, «живая библиотека», и такие книжные собрания я больше всего ценю не только в себе, но и в других. Ведь моя коллекция чудом уцелела во всех злоключениях. На нее пялили глаза немецкие жандармы («*Weg wird das alles lesen?*»¹ – как сказал один из эсэсовцев, навещавших меня в Стависко отнюдь не с дружественными намерениями), ее осматривали и те два советских воина, которые были первыми туристами, посетившими мой кабинет, «кабинет писателя».

Почти о каждой книге я мог бы что-то рассказать, почти любая из них так или иначе связана с давними воспоминаниями и сегодняшними волнениями, каждая, помимо своего собственного содержания, несет на себе отпечаток быстротекущего времени.

На ее полках – целые человеческие судьбы, обрывки чьих-то нашумевших биографий и скромная жизнь людей, таких, как мой отец.

Остановлюсь на музыкальном разделе.

Музыкальная часть моей библиотеки неожиданно выросла на второй год войны за счет книг Яна Эффенбергера-Сливинского. Это была только часть его книг, которые он оставил на хранение в Прушкове, уполномочив из-за границы свою хозяйку продать их. Посредницей в этой сделке была Мария Земинская. Привезли книги на двух подводах, и стоят они у меня на полках без особой пользы. Когда я прошу музыковедов заглянуть ко мне и поинтересоваться, что там имеется, они не спешат это делать. А ведь тут, в этих книгах, частица необыкновенной жизни, след, сохранившийся от незаурядного человека, человека, какого теперь уже не встретишь.

Ян Эффенбергер-Сливинский, или просто Ганс, как называли его в дружеском кругу, был всем понемногу: певцом, музыкантом, дилетантом, писателем, преподавателем военной академии (как бывший легионер, он имел высокое офицерское звание), но прежде всего – ярким представителем богемы, известным в Вене, Париже, Лондоне и Варшаве.

Сразу после войны он открыл в Париже маленький нотный магазинчик на рю дю Шерш-Миди. Я любил заглядывать туда во время моего первого пребывания во Франции. Там всегда можно было встретить музыкантов, познакомиться с только что изданными нотами группы «Шести»*, с произведениями Стравинского. Собственно говоря, концерты в редакции «Ревю мюзикаль», устраиваемые по вторникам, и посещения магазинчика Ганса ввели меня в музыкальный мир Парижа того времени.

¹ «Кто будет все это читать?» (нем.).

О Гансе я слышал еще в России от Кароля Шимановско-

го, который виделся с ним в Вене и считал его австрийцем по происхождению. Но, возвратившись на родину, к величайшему своему удивлению, Шимановский снова встретил Сливинского: как бывший легионер, тот трудился теперь на благо Польши. С тем же самым Гансом в 1921 году Кароль поехал в Лондон организовывать концерты польской музыки за границей.

Но с концертами ничего не получилось, как и с магазинчиком Ганса в Париже, как в конце концов ничего не получилось и из его неудачно сложившейся, но весьма романтической жизни.

Никогда не забуду встреч поэтов в Плавовицах у Людвика Морштына, когда до поздней ночи мы слушали песни Шуберта и Брамса в исполнении Сливинского. Он был необыкновенным исполнителем.

В бумагах, оставшихся после него и попавших ко мне, очень много программ его концертов в Люблине, Варшаве и в других городах. Однако мне кажется, он никогда не был эффектным эстрадным певцом. Красивый, но грузноватый и как бы несколько скованный, он не мог достаточно импозантно выглядеть на подмостках. Голосом он обладал несильным, но задушевым и проникновенным, прекрасно звучащим в небольшом помещении, когда Эффенбергер сам аккомпанировал себе на фортепиано и пел, вернее, напевал вполголоса великолепные, исполненные глубокой грусти (*Weltschmerz*) песни. Все, у кого неудачно сложилась жизнь, кто ценил поэзию романтической песни, слушали его, затаив дыхание.

Я счастлив, что тень этого незаурядного человека живет в моем доме в книгах и нотах его библиотеки, в песнях Хуго Вольфа и балладах Лёве, в его рукописях и переводах. Мне с ним хорошо.

Я так много рассказываю о своей библиотеке. Но, собственно, это разговор о писателях, с которыми я общаюсь, которые оказываются как бы «под рукой». Нам всем с ними хорошо. В них мы находим друзей, с которыми ведем долгие беседы, друзей, которые поддерживают нас в трудную минуту. Это не просто библиотека. Это сокровищница чувств и мыслей, из которой можно черпать на протяжении всей жизни.

И может, поэтому я больше всего люблю тех писателей, с которыми я был знаком. Я знаю, как разительно их книги отличаются от них самих и какими чаще всего обыкновенными людьми были авторы этих выдающихся книг. Дневники «пана Стефана»^{*} помогают мне увидеть юношу в пожилом человеке, общество которого я так любил. В «Письмах» Пшибышевского передо мной предстает человек, крайне утомленный и больной, такой, каким я видел его на склоне лет, во всем его человеческом естестве.

Но и в других книгах, авторов которых нам не доводилось знать лично, мы тоже находим «старых знакомых», с которыми охотно поговорили бы, и сожалеем, что наши жизненные пути никогда не скрестились. Одним словом, книга хороша тогда, когда она живая.

¹ Мировая скорбь (нем.).

Все это, как говорится, прекрасно, но как рождается книга? Разумеется, речь идет не о полиграфических процессах, не о бумаге, типографиях, переплетном деле, редактуре и корректуре – всего этого мы здесь касаться не будем. Я имею в виду сам процесс возникновения книги в сознании ее автора, или попросту: как пишется книга?

Тут не существует точно установленных правил. У каждого писателя к этому свое индивидуальное отношение, каждый по-своему готовится к работе, по-своему собирает материал и по-своему использует его. Один творит за письменным столом, другой – стоя перед пюпитром (как Рильке), третий хватается за свою тетрадку где придется, как, например, Джозеф Конрад, которого жена не раз заставляла в ванной с рукописью на коленях, с рукописью, из которой рождались шедевры...

Увы, в этих вещах каждый обречен довольствоваться собственным опытом и не может написать о том, как «создаются книги вообще», но лишь о том, как возникают его собственные. Так что я могу говорить только о своем личном опыте и собственных наблюдениях при работе над книгой.

Разумеется, многое зависит от того, какую книгу пишешь. Одно дело, когда пишешь прозаическое произведение, иное – драму. А уж сочинение стихов – в уме или на бумаге – процесс совершенно особый, и, мне кажется, у каждого поэта он протекает абсолютно по-разному. Впрочем, существуют многочисленные, хотя и не всегда исчерпывающие, но чрезвычайно любопытные признания самих поэтов на этот счет.

Если говорить обо мне, то мое поэтическое предрасположение совершенно иное, чем у большинства современных поэтов. Однако я думаю, что сам характер моей работы над стихами не очень отличается от работы других поэтов. Мне кажется неоспоримым тот факт, что поэтическое предрасположение существует, как существуют различные типы поэтов и писателей. Мне скажут, что решающую роль тут играет эпоха, события, влияние среды. Я не отрицаю огромной роли этих факторов. Но не менее важна и психика поэтической индивидуальности, которая – да будет позволено мне сказать – рождается уже с определенными интересами, определенным предрасположением, заложенным от природы. Быть может, это звучит еретически в наше время, однако некое поэтическое *предназначение* все-таки существует.

Например, такой гениальный бразильский поэт, как Кастру Алвис, умерший двадцати четырех лет от роду, с начала своего беспримерно раннего поэтического творчества посвятил музу делу освобождения негров, делу революции, хотя эпоха, в которую он жил, эпоха Второй империи в Европе, скорее располагала к созданию произведений в духе Бодлера или поэтов-парнасцев.

Как-то, выступая в Союзе писателей, я привел в качестве примера свое первое стихотворение, написанное в девятилетнем возрасте; не надо быть особенно проницательным критиком, чтобы заметить в нем те элементы, которые стали

характерными для всего моего последующего поэтического творчества, по крайней мере для первых стихотворных сборников.

Но дело, несомненно, не только в склонностях чисто литературных. Ведь стихи – не говоря уже о прозе – порождены жизнью, следовательно, они включают в себя не только чисто литературные, художественные детали, но также и приметы действительности, которые поэт маскирует как может, но которые тем не менее через поры и щели лезут наружу.

Конечно, иначе обстоит дело с прозой. Прозаическое произведение – это всегда итог жизненного опыта. Поэтому, когда жизненный опыт минимален, автор книги обращается к своей биографии, к сфере своих интимных чувств. Большинство книг начинающих авторов основано на личных переживаниях; первый роман всегда – в большей или меньшей степени – автобиографичен.

Разумеется, со временем опыт писателя совершенствуется, растет наблюдательность, способность накапливать факты, которая заключается не только в том, чтобы запечатлеть пережитое, но и в умении воспринимать все большее количество жизненных впечатлений.

Пруст полжизни накапливал те наблюдения, которые потом воспроизвел по памяти, укрывшись в полном одиночестве и занявшись ретроспективными поисками «утраченного времени». Несомненно, каждый выдающийся прозаик переживает примерно то же. Некоторые фиксируют свои наблюдения по горячим следам, иные полагаются на память. Но всегда, так или иначе, это борьба со все обезличивающим временем, стремление «спасти от забвения» те картины жизни, которые непрерывно поглощаются бурным и стремительным потоком времени.

Создание книги – это борьба, и поэтому творчество – процесс очень мучительный. У некоторых писателей муки творчества находят отражение в самой рукописи, в непрестанном исправлении ее, как, например, у Толстого или Жеромского. У других эти муки возникают задолго до того, как автор садится за стол, или же в ходе работы над словом. Примером такого рода может служить Флобер.

Причем каждый раз для писателя это также борьба с самим собой. Борьба со всяческими соблазнами, которые отвлекают его от намеченной цели, борьба с собственным малодушием, которое толкает на упрощение задачи, борьба за то, чтобы как можно яснее выразить заветную мысль, это, наконец, борьба за то, чтобы честно ответить на поставленный перед началом работы процесс.

Особенно часто читатели задают писателю один вопрос. Он не всегда ставится так прямолинейно, как в некоторых модных сейчас анкетах. Однако независимо от формы, в какой он задан, суть его сводится к следующему: зачем ты пишешь?

Следует сказать, что писатель и сам часто задает себе этот вопрос и порой затрудняется на него ответить.

Ответить на этот вопрос нелегко. Даже если писатель пребывает в тиши своего кабинета, на своем рабочем месте,

то есть в том естественном состоянии, каким является одиночество. Особенно трудно ответить на это искренне. И очень часто его ответ, который он порой скрывает от самого себя, звучит: не знаю.

Однако во всем этом есть нечто бесспорное. Каждая книга – результат борьбы со временем и с самой собой. Она – результат титанических усилий запечатлеть какую-то сторону действительности и одновременно – какую-то частицу своего собственного существования. Попытка писателя перебросить через бездну небытия частицу самого себя и своей эпохи. Жажда запечатлеть навеки быстротечное мгновение, сказав ему, как в «Фаусте» Гёте: «Verweile doch, du bist so schön!»¹ Почему же писатель стремится зафиксировать эти эфемерные вещи?

В такой же степени, как результат борьбы, книга – результат диалога. Книга – всегда беседа. Книга всегда пишется для читателя.

Есть авторы, которые опровергают это. Свое творчество они считают герметически замкнутым, чем-то таким, что напечатывается только самому себе, что заключено в их сердце и только им одним понятно. Другие утверждают, что книга – следствие подсознательной потребности человека творить, потребности зафиксировать внутренний монолог, который каждый из нас непрерывно произносит про себя.

Однако все это – отговорки, ошибочные суждения. Мне представляется, что ни один писатель не написал бы книги, если бы не думал об одном или многих читателях, для которых его творческие эмоции будут представлять интерес.

Книга позволяет ему обнажить перед людьми новый жизненный пласт, побудить их к действию, заставить задуматься или же доставить им чисто эстетическое наслаждение. Так или иначе, она должна оказать воздействие на читателей. По крайней мере каждый писатель так понимает свою роль.

Творчество – это как бы посягательство на власть. Читатель во время чтения находится во власти писателя. Книга – это оружие.

Одним словом, книга пишется всегда для кого-то. Подчас для одного, но чаще всего для многих настоящих или воображаемых читателей.

Книга и читатель – это пара, связанная между собой прочными, неразрывными узами, узами любви или ненависти. Невозможно представить себе книгу без читателя, точно так же как читателя – без книги.

За книгой стоит автор. Его творчество – это всегда послание к читателю.

Обычно мы пишем письма друзьям. Книга – это письмо автора к другу.

Подчас мы любим досаждать друзьям, бывают такие писатели, которые любят доставлять читателям неприятности. Но есть и такие, которые стремятся только усладить читателя. И чаще всего впадают в крайность.

Но лучше всего те писатели, которые привлекают читателя на свою сторону, вовлекают его в свое единоробство

¹ Остановись, мгновенье,
ты прекрасно! (нем.).

с миром, которые исподволь посвящают читателя в свое понимание исторических или психологических процессов. Те писатели, которые подчиняют читателя своей власти.

Есть разные писатели и разные книги. Эта истина не нова. Но у книги, пока она не исчезнет с лица земли, как предрекал мой приятель, пока необходимость в ней не отомрет в «дивном новом мире» *, всегда одна задача и одно назначение: обогащать читательское сознание, расширять его кругозор, приумножать его знания о жизни и об искусстве. И тем самым укреплять связь читателя с действительностью.

Поэтому мы должны радоваться, что живем в эпоху, когда книга воздействует на жизнь, когда литература расцветает, вызывая споры, и когда каждый год приносит нечто новое и удивительное в этой области. Мы благодарны писателям за то, что они пишут книги. Мы благодарны издателям и печатникам, выпускающим книги. Мы благодарны читателям, потому что это они создают вокруг книги атмосферу живой заинтересованности.

Современную нашу жизнь невозможно представить без книги, а что будет завтра – увидим!

*Положение
лежа —
излюбленная
поза читателей.*

КАК ЧИТАЮТ КНИГИ

Как известно, человек, читающий книгу, уносится мыслью в иные края и переживает судьбы иных людей, ну, например, судьбу Горнозаводчика или Человека, который смеется*; в результате он стремится избавиться от собственной телесности, которая приковывает его физически к его месту и его личной судьбе.

Это означает, что человек, который читает, усаживается или укладывается как можно удобней, чтобы его телесность ему не мешала и не отвлекала его. Потому случается, что внимательный читатель кладет ноги на стол, или подпирает подбородок ладонью, или позволяет себе неосознанно еще какое-нибудь недозволенно комфортабельное положение; короче говоря, он укладывает свое грешное и обременительное тело так, чтобы оно оставило его в покое и не заявляло о своих правах. Потому-то большинство людей и читает, например, в постели. И это не потому, что чтение — любимое занятие лежебок, а потому, что положение лежа — излюбленная поза читателей. Читатель в трамвае висит, держась за поручень, как спелая и сочная груша. Читатель в поезде проявляет тенденцию класть ноги на противоположное сиденье или на колени своим спутникам. У некоторых людей диван, кушетка, софа или шезлонг вызывает любовные ассоциации; во мне же эти предметы благосостояния рождают ассоциации читательские. Нация, потребляющая максимум ч т и в а, — англичане; поэтому они создали самые удобные кресла на земле. Английское производство романов находится в прямом отношении с промышленностью, производящей мягкую мебель. Я еще не встречал человека, который читал бы, держа в руке гантели или прыгая на одной ножке. Лишь при исключительно неблагоприятных условиях люди читают стоя. Человек в процессе чтения потребляет уйму равновесия и стабильности, поэтому его центр тяжести должен иметь весьма солидную точку опоры.

Конечно, есть разные взгляды на удобство. Мальчишкой я обожал читать лежа на животе под кроватью, когда дело касалось трудной и запретной литературы; а книжки приключенческие и про путешествия я лучше всего воспринимал, качаясь на суку прекрасного ясеня, с кроной, подобной джунглям. «Хижину дяди Тома» я читал под стропилами чердака, а «Трех мушкетеров» — верхом на заборе. Самое сильное читательское переживание связано у меня с сидением, согнувшись в три погибели, на верхней перекладине стремянки, но что это была за книга, уже не припомню. Сегодня я бы вряд ли отважился на такие вольные упражнения, да и круг чтения у меня с тех пор несколько усложнился, и

я уж не знаю, в какой позе следовало бы мне читать, ну, скажем, «Историю жирондистов» Ламартина или сочинения Фрейда.

Человек, который читает, ищет уединения; прежде всего, наверное, потому, что в эту минуту он безоружен перед лицом любого из своих ближних, а во-вторых, потому, что чтение есть действие в высшей мере антиобщественное. Если кто-нибудь рядом с вами погрузился в чтение книжки, то считайте, что его нет подле вас — он где-то в другом месте,



Рисунок Л. Литошенко.
1960.

Рисунки К. Чапека.



он никак не связан с вами — он общается с другими людьми. Читающий человек всегда как-то раздражает того, кто в данный момент не читает; тот, который читает, усмехается или хмурит брови, а вы не знаете почему; он так страшно чужд вам, что вы уже начинаете размышлять на тему, что бы такое сделать ему нехорошее за его оскорбительную недружелюбность. А посему ты, желающий предаться чтению, останься в строгом одиночестве: так будет безопаснее. Именно в силу этого люди с сильно развитым семейным инстинктом любят читать вслух: они смутно ощущают, что, читая про себя и только для себя, они выпали бы из круга семьи.

При всем уважении к литературе следует признать: книга, которую мы только что дочитали, вызывает в нас легкое чувство отвращения — как тарелка, с которой мы кончили есть. Мы убираем ее, чтобы она не мозолила нам глаза. Лишь очень безалаберные люди, вроде меня, бросают прочитанные книги там, где их захлопнули. Но ничем мы не доложим меньше, чем прочитанными газетами. Нет страшнее

оскорбления, чем сказать кому-нибудь, что он для нас все равно что прочитанная газета.

Исправный читатель разрезает книгу не спеша, ибо при этом он наслаждается; там прочтет два словечка, тут целую фразу и глотает слюнки, как гурман, предварительно оценивающий блюдо, которое ему подают. Когда же он разрезал книгу до конца, он совершает обряд усаживания: он располагается поудобней, вертится во все стороны, пробует положить голову так, а ноги эдак, пока наконец не обнаружит... да, вот так хорошо... Просто невероятно, до чего же некоторые люди перекручены, когда читают книжки.

1925

КУДА
ДЕВАЮТСЯ
КНИГИ

Иной человек, как говорится, ни к чему не может себя пристроить. Такие никчемные создания обычно поступают на службу куда-нибудь в библиотеку или редакцию. Тот факт, что они ищут себе заработок именно там, а не в правлении Живностенского банка * или Областном комитете, говорит о некоем тяготеющем над ними проклятии. Я тоже одно время принадлежал к таким никчемным созданиям и тоже поступил в одну библиотеку *.

Правда, карьера моя была весьма непродолжительна и малоуспешна: я выдержал там всего две недели. Однако могу все же засвидетельствовать, что обычное представление о жизни библиотекаря не соответствует действительности. По мнению публики, он весь день лазает вверх и вниз по лесенке, как ангелы в сновидении Иакова *, доставая с полок таинственные, чуть не колдовские фолианты, переплетенные в свиную кожу и полные знаний о добре и зле. На деле бывает немного иначе: библиотекарю с книгами вообще не приходится возиться – разве что измерит формат, проставит на каждой номер и как можно красивей перепишет на карточку титул. Например, на одной карточке:

Заоралец, Феликс Ян. О травяных вшах, а также о способе борьбы с ними, истреблении их и защите наших плодовых деревьев от всех вредителей, особенно в Младоболеславском округе. Стр. 17. Изд. автора, Млада Болеслав, 1872.

На другой:

Травяная вошь – см. О тр. в., а также о способе борьбы с ними и т. д.

На третьей:

Плодовые деревья – см. О травяных вшах и т. д.

На четвертой:

Млада Болеслав – см. О травяных вшах и т. д., особенно в Младоболеславском округе.

Затем все это вписывается в толстенные каталоги, после чего служитель унесет книгу и засунет ее на полку, где ее никто никогда не тронет. Все это необходимо для того, чтобы книга стояла на своем месте.

Так обстоит дело с книгами библиотечными. Книга, принадлежащая частному лицу, наоборот, отличается той особенностью, что никогда не стоит на своем месте. Раз в три го-

да меня охватывает неистовое желание привести свою библиотеку в порядок. Это делается так: нужно снять все книги с полки и навалить их на полу, чтобы рассортировать. Затем берешь из кучи какую-нибудь книгу, садишься куда попало и начинаешь ее читать. На другой день решаешь действовать методически: сперва разложить по кучкам – здесь естествознание, тут философия, там история и не знаю уж что еще, причем в сотый раз обнаруживаешь, что большая часть книг не относится ни к одной из этих куч; как бы то ни было, оказывается, что к вечеру ты все перемешал. На третий день пробуешь рассортировать как-нибудь по формату. А кончается тем, что берешь в охапку все подряд, как лежит, и впикиваешь на полки, после чего опять успокаиваешься на три года.

Что касается способа пополнения библиотеки, то он обычно таков. Увидев в книжном магазине какую-нибудь книжку и воскликнув: «Вот эту надо взять!» – торжественно несешь ее домой; там месяц оставляешь ее валяться на столе, чтобы была под рукой, потом чаще всего даешь кому-нибудь почитать или что-нибудь в этом роде – и книжка бесследно исчезает. Где-то она, конечно, есть; у меня целая огромная библиотека, которая где-то есть. Книга относится к тем удивительным предметам, которые обычно ведут какое-то полупризрачное существование: они «где-то есть». К этому же разряду вещей принадлежат: одна из двух перчаток, ключи, домашний молоток, воинский билет и вообще все нужные документы. Все это – вещи, которые невозможно найти, но которые, однако, «где-то есть». Если человек недосчитается сотенной бумажки, он не говорит, что она «где-то есть», а говорит, что потерял ее или что ее украли. Но, недосчитываясь, скажем, «Похождений Антонина Вондрейца», я с истинным фатализмом говорю, что они «где-то есть». Понятия не имею, где находится это книжное «где-то», представить себе не могу, куда деваются книги. Думаю, что, когда я попаду на небо (как предсказал мне г-н Гётц *), первой райской неожиданностью будут для меня все мои книги, которые теперь «где-то есть» и которые я найду там аккуратно расставленными и по содержанию, и по формату. Господи, какая это будет огромная библиотека! Представьте же себе, что было бы, если бы книжки не имели удивительного свойства мало-помалу затериваться! Сколько бы их развелось на белом свете! Держу пари, что они не поместились бы в наших квартирах, даже если использовать чердаки и подвалы. К счастью, книги наделены замечательной способностью постепенно исчезать и «быть где-то», не опасаясь, что мы их обнаружим.

Книги не выбрасывают и не сжигают в печке. Их исчезновение окружено тайной. Они «где-то есть».

1926

ЧТО
КОГДА
ЧИТАЕТСЯ

Нередко мы пристаем к своим ближним с трафаретным вопросом – назовите вашу любимую книгу. Как и большинство трафаретных вопросов, этот отличается удивительной

неточностью. Правильнее было бы спросить: какую книгу вы любите читать в той или иной жизненной ситуации? Не подлежит сомнению, что один и тот же человек в разные периоды жизни отдает предпочтение разным книгам: так, одна книга привлечет его в счастливую эпическую пору мальчишества, когда он раздумывает, то ли ему смастерить пращу, то ли приняться за роман Кервуда*; иная книга понадобится в годы отроческого пробуждения чувственности, но уже другая – если он по уши влюблен; и опять же совсем не та в течение всей остальной жизни, когда человек постепенно становится солидным и расчесывает гребнем сначала первые, а затем и последующие седины. Впрочем, все это старо как мир, и остается лишь удивляться почему, раз уж издаются книги для детей и подростков, никто до сих пор не додумался издавать книги с таким же точным указанием, что они адресованы молодым ослам или старым хрычам, разведенным дамам или брюзгливым холостякам. Но даже если не учитывать возрастной градации, все равно любая книга, даже самая лучшая, не универсальна. Например, Библия никак не подойдет для дорожного чтения. В приемной зубного врача едва ли кто-нибудь разложит томики стихов в расчете на то, что они помогут пациентам скоротать томительные минуты. К утреннему кофе берут не «Отверженных» Гюго, а скорее газету.

Вообще я бы сказал, что утро как-то не подходит для чтения. По утрам это занятие кажется пустой тратой времени. И только по мере того, как день клонится к вечеру, у людей начинает проявляться и постепенно возрастает тяга к чтению, чаще всего достигая апогея к ночи. Словом, читатель принадлежит к разряду ночных животных, и потому его эмблемой должна быть сова, а ни в коем случае не какая-нибудь там курица или утка (последние скорее подходили бы как символ читательской ненасытности). Только газеты предназначены для утреннего читателя, жующего слобную булочку или висящего на поручне в битком набитом трамвае; можно сказать, что газета – это парус, под которым человек всплывает в божий день. В отличие от газеты журнал принято читать после обеда, тогда как книга, подобно любви или кутежу, обычно откладывается на ночь.

Но все это значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд, если принять во внимание различные жизненные обстоятельства. Возьмем конкретный пример: ты порядком вымотался за день, и чтение для тебя вроде доброго куска мяса – тут уж не до деликатесов, просто хочется побогатырски набить утробу, как дровосеку после работы, и ты начинаешь поглощать какой-нибудь объемистый роман с основательно закрученным сюжетом, лучше всего уголовный, а нет уголовного – так приключенческий, предпочтительно с морской тематикой. В случае умеренной хандры, переутомления, равно как и под бременем забот, можно взяться за роман – экзотический, исторический или же утопический, – главным образом по той причине, что самому-то тебе нет никакого дела до всех этих далеких стран и эпох. Неожиданно заболев, мы жаждем чтения в высшей степени

возбуждающего и увлекательного, без сентиментальности, но непременно с благополучным концом; короче, здесь как нельзя более к месту детективный роман. Если же болезнь хроническая, откладывается даже детектив. Хочется чего-нибудь благодушного и положительного. Скорее всего нас удовлетворит Диккенс. Внимательный читатель, видимо, уже заметил, что Диккенс или Гоголь вообще способствуют улучшению аппетита. Мне еще не довелось испытать, какой книге отдаешь предпочтение на смертном одре; но меня заверяли, что в тюрьме, особенно когда твоя жизнь висит на волоске, невозможно по-настоящему переварить Достоевского и даже Ирасека, говорят, будто *in carcere et catenis*¹ самое большое удовольствие могут доставить «Граф Монте-Кристо», «Три мушкетера» или, к примеру, «Красное и черное» Стендаля.

По воскресным дням охотнее всего читают эссе, хотя бы потому, что они способствуют погружению в умеренную праздничную скуку; далее – произведения классические, знание которых обязательно для всякого образованного человека; вообще, читая в воскресенье, вы совершаете подвиг добродетели, тогда как в будни это представляется чем-то безздравственным, вроде обжорства. Самое подходящее чтение для дачи – старые календари или журналы «Наша охота» и «Гостеприимный хозяин», если вы найдете их в местном трактире; а если их не окажется, то на худой конец подойдет «Деревня». Осенью лучше всего читается Анатолий Франс, очевидно, в силу своей особой зрелости; зимой согреваешься любым чтивом, вплоть до пухлых психологических романов, от которых летом бежишь как от чумы. Толстые романы хороши в непогоду и метель: чем сильнее ненастье – тем толще роман. В постели как-то плохо идут стихи, постель – царство прозы; стихи же обычно читают, примостившись на самом краешке стула, словно птичка на ветке. На ходу можно проглядывать путеводитель, газету или последние главы увлекательного романа, а также памфлеты на злобу дня. У кого болит зуб, тот берется за романтику, которой пренебрег бы при насморке. Если же вы чего-то с нетерпением ожидаете (письма или визита), тут придется кстати короткие рассказы. Например, Чехов.

Есть еще, кроме того, превеликое множество книжек, по поводу которых затрудняешься сказать, когда и при каких особых обстоятельствах их вообще можно осилить; до сих пор не могу в этом разобраться.

1927

*И если ты
найдешь
к книгам
подход, они
скажут тебе
больше, чем
в них самих
есть.*

СРЕДИ
КНИГ

Вот они, стоят на полках рядком, разноязычные и разнородные, различных концепций и направленности, равнодушные друг к другу и безразличные к другим, одушевленным и неодушевленным существам и предметам в комнате, неподвижные и ничего не требующие и все же, обрати внимание, надменные и самоуверенные, как будто хотят сказать: «Что знаем, то и знаем, а кто знает больше?!» Но это лишь в том случае, когда окружение – живое и неживое – смотрит на них как на любые другие вещи, необходимые для заполнения пустого места на полках, без всякого почтения перед их содержимым. Но отнеситесь к их слову с глубочайшим уважением, соразмерным глубине мук, в каких были выстрадааны их творцами минуты вдохновения, тогда и они скажут о себе иначе: есть многое на свете между небом и землей, что и не снилось нашей мудрости *, как говорится в одной из них.

– Но я бы хотел, – скажешь ты, – такие книги, в которых зримо и вразумительно было бы изложено все, что есть, если не между небом и землей, то на небе или на земле, или, пожалуй, только на земле. Я хочу такие книжки, – объяснишь ты поподробнее свое желание, – из которых я мог бы узнать о мире, о людях и о жизни хотя бы столько, чтобы мне больше никогда не пришлось иметь дело ни с какой неожиданностью.

– И не ищи, – в один голос ответят тебе книги стихов, романов, да и научные тоже, – и не ищи, таких среди нас нет!

– Вот как! – скажешь ты иронически. – Тогда что толку в книгах и на что они мне? Зря, кажется, смеялись над тем человеком из пословицы, который глядит в книгу, да видит фигу, потому что только слава одна, что книга, а в ней кукиш да фигу.

Книги замолчат, не удостоив ответом. Нет, они не обидятся, не затаят жажду мщения, не скажут, что ты глуп, просто они замкнутся в себе, будут по-прежнему равнодушно подпирать друг дружку или без движения лежать на том месте, где ты их оставил, и ничего ты от них не добьешься, потому что зазнайке и гордецу они не могут ничего сказать. Им нужна скромность, умение слушать и желание понять то, что они сами знают и говорят. И если ты найдешь к ним подход, они скажут тебе больше, чем в них самих есть.

И не спорь, все равно бесполезно, они сильнее тебя в своем долготерпении. Подойди к ним так, как тебе советуют, они простят тебя великодушно и без малейшего упрека.

Ну вот, видишь, языки у них и развязались.

– У познания, дорогой друг, нет конечной остановки. И нет границы, за которой «ничего нет», ни красоты, ни радости, ни страдания. Процесс познания – это как дорога к горизонту земли. При хорошем зрении, при ясной погоде ты видишь линию горизонта. Ступай к ней. Ее нельзя коснуться рукой, нельзя присесть около нее отдохнуть, но если ты умеешь смотреть, то тебе откроется панорама все новых и новых краев и каждый раз новые миры. Таким образом, познание родит все новое и новое познание, а вовсе не то, что ты от нас требовал: точного и окончательного знания того, «что есть». Этот закон действителен как для познания невидимых чувств в душе человека и отношений между людьми, так и для постижения видимого дела рук человеческих.

– Некий Икар, о беспримерном героизме которого рассказывает одна из нас, очень давно, когда передвижение по воздуху было монополией одних только птиц небесных, решил подражать им и первый взлетел в небо силой своей человеческой изобретательности. Он преодолел невозможность, и ты знаешь сам, что его фантастический поступок был не завершением, а пусть и смелым, но все-таки скромным началом человеческих усилий по покорению воздушного пространства. Теперь посмотри хорошенько на полки! Наряду с поэтической фантазией об этом первом полете ты найдешь массу таких книг, которые технически обоснованно рассказывают о реально существующих перелетах через континенты, через океаны и через полюса.

– О лукавые к н и г и , – недоверчиво возражаешь ты , – вы ставите героизм Икара в пример, который может, а то и должен вдохновлять других. Разве это разумно? Не обрекаете ли вы тех, кто доверится вашей мудрости, на гибель? Не служит ли его поступок как раз предостережением и уроком в том смысле, что устремленность к высокой цели губительна для человека и что охота преодолеть невозможность и проявленная при этом изобретательность в известной мере является первым шагом к гибели? Вы превозносите его полет к солнцу, а, по-моему, вам следовало бы делать упор не столько на этом его подвиге, сколько на его роковом падении, чтобы другим неповадно было!

– Неплохо сказано, дружище , – хором отвечают все книги без исключения , – неплохо сказано, но мы своих рекомендаций менять не будем. Нет познания без жертв, как нет и любви без жертвенности. Нельзя раскрыть тайны Олимпа без риска разделить судьбу Прометея. На каждой из нас, образно говоря, запеклась кровь тех, кто нас создал.

Более того. Не только полет, который мы взяли как пример, стоил жизни своим пионерам, и не только великие революционные открытия испепелили жизнь тех, кто пролагал им дорогу. Создание литературных произведений, романов и поэзии тоже подвержено этой закономерности. Хорошо («но знай, что тут действует определенный закон») говорит об этом одна из нас от лица Готье *: «Страх, охватывающий родителей, когда у их сына обнаруживается злосчастный

*Книги — это
сокровищница мира,
наследственное
достояние поколений
и наций. Самые
древние и лучшие из
них по праву
занимают место на
полках каждой
хизины. Им
незачем отстаивать
свои права;
просвещая и питая
ум читателя, они
приобретают его
уважение. Их
авторы составляют
естественную
и беспорочную
аристократию
каждого общества
и властвуют над
человечеством
больше, чем короли
и императоры.*

Генри Дейвид Торо

поэтический дар, увы, совершенно обоснован, и напрасно биографы поэтов корят их отцов и матерей за неразумие и прозаизм. Они абсолютно правы. Какой печальной участи обрекает себя тот, кто вступит на тернистый путь, называемый "жизненный путь писателя!"»

С этого дня он должен считать себя отрезанным от остальных людей. Любое душевное движение станет для него предметом анализа. Сам того не желая, он раздваивается и за неимением другого объекта превращается в исследователя самого себя. Если ему требуется отпраздновать человека на тот свет, он простирается на черном мраморном полу и с помощью чуда, столь нередкого в литературе, вонзает нож в собственное сердце.

А какую жестокую борьбу он вынужден вести с Мыслью, этим непостижимым Протеем, который кем только ни прикидывается, лишь бы не даться в руки, и возвестит свое пророчество не раньше, чем его заставят предстать в своем истинном обличье. И когда, наконец, насмерть перепуганная, трепещущая Мысль победоносно прижата к стенке, нужно привести ее в чувство, приодеть слогом, соткать который стоит неимоверного труда, расцветить ей одеяние и уложить строгими или живописными мягкими складками. Эта долго длящаяся игра держит в постоянном напряжении нервы, воспаляет мозг и ведет к болезненной впечатлительности, а отсюда один шаг до неврозов с их капризной мнительностью, бессонницами и галлюцинациями, беспричинными страданиями, ненормальными причудами, странными извращениями, чувством необъяснимой брезгливости и омерзения, бешеной энергией и изнурительной тоской.

Этот француз, не преувеличивает. Обрати внимание, трагические судьбы создателей самых выдающихся из нас словно скрепляют печатью его слова.

— Скажите мне, драгоценнейшие книги, — придираешься ты напоследок, — не слишком ли вы дорого достаетесь, коли, как вы сами признались и даже хвастаете, за вас приходится платить самой высокой ценой — человеческой жизнью?

Книги благосклонно улыбнутся, они все-таки добрые и чуткие, в особенности те, создание которых потребовало наибольших жертв. И скажут тебе в заключение:

— Нет, милый мой! Наша жизнь, оплаченная жизнями наших творцов, достается не слишком дорого и без переплаты, потому что мы сами по себе — жизнь, и там, где хотят понимать нас и понимают, мы преобразуем жизнь и воссоздаем ее заново. А что может быть выше такой миссии? И какой цены она не стоит?

Нет сильной личности в истории человечества, которая не черпала бы могущества из книг.

НЕГАС-
НУЩИЙ
СВЕТ

Среди эпохальных открытий человечества, среди неожиданных чудес мира сияет благороднейший спутник человека – книга. О ней говорят как о хлебе, о воздухе, о мире. Ее развитие идет по пути народов и придает долговечность всему тому, что было выкристаллизовано столетиями, что было отсеяно через сито времени, что процедилось через усталость мудрых писателей, чтобы сохранить его для поколений. Сколько бессонных ночей мыслителей и поэтов кроются в неизвестности лет! Сколько запоздалых окон светится во мраке веков, сколько мудрых умов оставляют свои заветы будущим поколениям внуков! Сколько мудрости собрано в страницах книг! Бессмертный друг человека идет неуклонно рядом с ним – неподкупный и искренний, сильный и верный. Он удерживает руку похитителя, умиляет руку сурового, дарит зрак слепому, указывает правду целым народам и обществам, объединяет честномыслящих, вливает силу в сердца слабых, чтобы сделать их непобедимыми.

С помощью книги человек познает себя, потому что в ней собрана память народов. Благодаря бессонным ночам и мудрости двух славянских просветителей Кирилла и Мефодия память нашего народа стала крепкой, проявилась его мудрость, опыт его обрел бессмертие, уроки истории – золотой свет, озаряющий наш путь. Благодаря маленькой «историйке», составленной афонским монахом Паисием *, Болгария открыла себя, сбросила пятисотлетнюю чадру османской беспросветности и новыми глазами взглянула на мир и увидела свое место в этом мире.

Книга Софрония Врачанского *, в которой он поведал многострадальное житие свое, переходя из рук в руки, рассказывая об одной судьбе, раскрыла судьбу всего народа. Бунтарь по имени Раковский в одиночестве своих беспокойных дней написал поэму о Лесном путнике *, трубящем о свободе и собирающем доблестных юнаков для завоевания этой свободы. Слово, прозвучавшее в двадцати одном стихотворении * и поведшее двести юнаков, последовало за поэтом и воеводой Христо Ботевым и завоевало себе пьедестал, зовущийся Старой Планиной. Благодаря книге, созданной Марксом и Энгельсом, неведомый еще призрак стал бродить по Европе и пугать сторонников капитализма; благодаря силе вдохновенной революционной мысли буревестник революции, гений человечества Ленин потряс мир, перевернул вековые пласты царской России, разрушил тюрьмы самодержавия и роздал трудящимся заводы и землю, а себе оставил простой стол и бессонные ночи мыслителя. Вездесу-

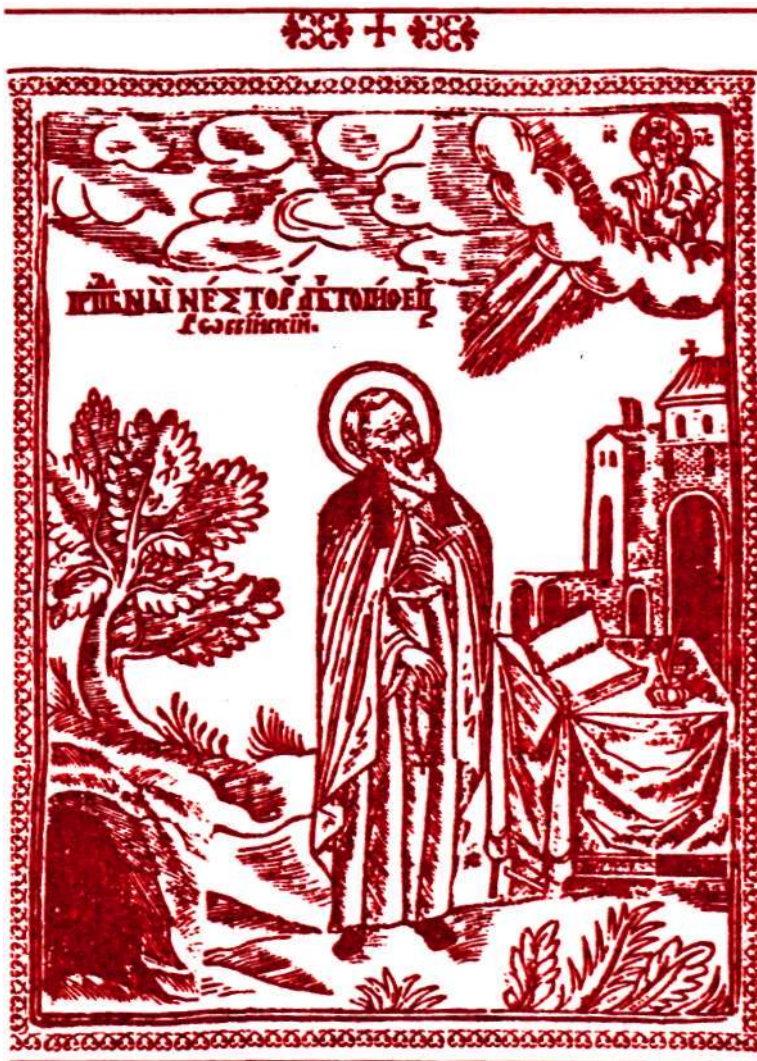
шая книга – оружие и ласка, песнь и удар, крик и улыбка – шествует по земле, создает сердечность между народами и великие истины. У многих из книг есть человеческие биографии; их, как великих ученых, сжигали на кострах, бросали в темные подземелья, уничтожали с надеждой, что погасят их свет. Как смелых борцов, обладающих дерзким умом, их держали за железными дверями или в тайной изоляции, чтобы они не заразили человечество своими свободолюбивыми идеями.



*Памятник Кириллу
и Мефодию в Праге.*

В давние времена один болгарин заявил:
– Голы народы без книг!

И этот клич прорвался сквозь вековую тьму, одолел далекие пространства, чтобы дойти до нас и засвидетельствовать эту бессмертную истину. Тот, кто не дружит с книгой, осуждает себя на вечную тьму и духовную бедность. «Всем хорошим во мне я обязан книгам», – сказал Максим Горький. А наш классик Иван Вазов утверждает в одном стихотворении: «Она слепому зрение дарит».



Нестор-летописец.

Нет сильной личности в истории человечества, которая не черпала бы могущества из книг.

О воспитательной силе книги не раз говорил герой Лейпцига Георгий Димитров, люди нередко находили в ней наде-

жную, верную опору на своем трудовом пути вперед и вверх. Она и есть та самая многоступенчатая ракета, ведущая нас к прогрессу, вселяющая в нас апрельскую веру, включившая в свои координаты наше развитие по пути к коммунистическому завтра. Ее горючее – мудрость эпохи, высокие поучения этой эпохи, достигнутые благодаря ее памяти. Прогрессивная, мудрая книга – верный помощник в нашей борьбе за благополучие человека, в ней сияет правда красной звезды и свет будущего коммунистического дня. И если мир – это хлеб народов, а хлеб – воздух, которым мы дышим, то книга – это все, вместе взятое, ибо она дает человеку право обладать долговечной памятью и познанием как воздуха, как хлеба, как мира, так и пути к высотам человеческих достижений и человеческого духа.

*Устами
писателя
говорит о себе
огромная
человеческая
правда.*

[ВИЖУ
СКЛОНЕННОЕ
ЛИЦО
ЧИТАТЕЛЯ...]

Я думаю, нет такого писателя, у которого никогда не возникал бы вопрос: как я буду выглядеть в глазах читателей через сто лет? Приходила и мне в голову подобная мысль, но она всегда касалась не сущности моих произведений, а лишь внешней формы, языка, стиля, орфографии. Ибо за все мною написанное мне нечего бояться, и я спокоен; есть у меня и неудачные, ошибочные и неуместные вещи, но нигде нет сознательных искажений и неискренности. А что касается внешней формы, то у меня порой возникают за нее страхи и сомнения. (Я говорю «порой», потому что, будь это постоянно, я не в состоянии был бы написать и двух предложений.) Случаются минуты, когда, взглянув на только что написанное мной слово или предложение, я вдруг вижу их напечатанными в каком-нибудь литературном журнале, но взятыми в кавычки, как в наше время ироническое потомство приводит отдельные слова или более крупные цитаты из Милована Видаковича и Симы Милутиновича. И вижу склоненное над моими словами лицо читателя 2038 года с насмешливым, хоть и незлобным выражением. И тогда мне хочется быстро стереть или зачеркнуть написанное, но, понимая, что это невозможно, я тоже склоняюсь над ним и начинаю смеяться вместе с этим читателем, тихо и добродушно; я смеюсь над собственным текстом, но одновременно и над тем, что было написано сто лет назад и будет написано через сто лет после него, я смеюсь вообще надо всем, что написано, над каждым словом и выражением, но также и над каждым читателем, над каждым мнением и, наконец, над каждой насмешкой или ухмылкой.

Пишите быстрее или медленнее, на одном дыхании или взвешивая каждое слово, пишите так, как диктует вам мысль и повелевает чувство, но не останавливайтесь без надобности, не прерывайте магию вдохновенного мгновения, которое, может быть, уже никогда не повторится. Пишите без жалкой осмотрительности и ложного стыда, с той простой искренностью, которая свойственна природе. Пишите и знайте, что из океана времени вам дарован один миг и в нем такая мысль, образ или слово, которые уже никогда ни у вас, ни у кого-либо другого не возникнут. Пишите свободно и не мудрствуя, как дышите. Но...

Но когда пройдет это мгновение, чистое, бесценное, быстролетное и необъяснимое, как минута оплодотворения, и когда вы окажетесь один на один со своей рукописью, занявшей теперь уже определенное место в нашем мире, в котором, несмотря на все волнения и беспорядки, все же господствует порядок и ответственность, тогда взгляните на нее

без слепой родительской любви — холодно и неумолимо строго, — не шадите ни ее, ни себя и не жалеете сил и времени. Опробуйте каждую фразу на прочность, навалитесь на каждое слово своей тяжестью, испытайте его «выносливость», ибо из этих хрупких слов и «легких» предложений должен быть построен мост, который надежно и незаметно перенесет читателя через пропасть бессмысленности в страну иной жизни и иной действительности, которую вам удалось создать для него и для всех людей. Проверьте свою фра-



*Деревянная скульптура
«Апостол Иоанн». 1430.
Эрст Бафлах
(1870–1938).
«Читатель».*

зу и глазом, и на слух, по несколько раз прополощите ее во рту, как это делают винокуры при покупке вина. Произнесите ее про себя еле слышно и во весь голос и пять, и десять раз (только не смейте считать!), повторяйте, находясь в разном расположении духа и в разное время суток. Думайте о ней, отходя ко сну и ночью, когда проснетесь, потеряв ее (разве можно использовать бессонницу для какого-либо более полезного и разумного занятия?). Задайте себе вопрос, употребили бы или нет ваши соплеменники именно эту фразу в подходящей ситуации и действительно ли признали бы ее своей. Произнесите ее от их имени и проверьте, насколько она точна и уместна, чего ей недостает или, наоборот, что в ней лишнее. Но, даже когда вы убедитесь, что все так, как надо, когда почувствуете удовлетворение от своей работы, не смейте почивать на лаврах; именно теперь не смейте успо-

каиваться, ибо в писательском ремесле нет ничего опаснее и призрачнее самодовольства. Самодовольство – плохой советчик и коварный вожак, который уже многих повел по ложному пути. Ни на минуту не забывайте, что ваше произведение должно поднять читателя, вызвать у него поток мыслей, что вы – писатель и собственное удовлетворение имее- те право черпать лишь в удовлетворении, испытанном от ва- шей работы читателем, или, еще лучше и точнее: о вашем личном удовлетворении вообще не идет речи. Не забывайте, что вы – глашатай истины, то есть действительности. Ваши- ми устами говорит о себе огромная человеческая правда. Вас избрала она, выделив из остальных людей тем (и только тем!), что вам доверена важная миссия – сообщить людям, го- ворящим на одном с вами языке, образ и смысл реальной жи- зни, которую сами они, без вас, может быть, никогда не смо- гли бы увидеть во всей ее совокупности и не смогли бы пол- ностью понять.

Если писатель, работая над произведением, вдруг отка- жется от тона повествования, позабудет о действии и начнет описывать своего героя абстрактными словами и одними словами попытается объяснить и обрисовать взгляды и наме- рения героя, не вытекающие из его поступков, это перестан- нет быть для писателя художественным творчеством и твор- ческим трудом, а для читателя обозначит конец художе- ственного восприятия и эстетического наслаждения. Нечто подобное произошло бы, если бы мы рассматривали создан- ный в естественную величину портрет, выбрав при этом наи- более удачное место и должное от него расстояние, и если бы, прежде чем мы, собравшись с мыслями и взвесивши на- ши впечатления, высказали свое суждение о нем, этот созер- цаемый нами портрет вдруг бы ожил, изменил позу, которую придал ему живописец, вышел бы из рамы, подошел к нам, и, взяв нас под руку, пустился бы в разглагольствования о красках, линиях, о технике и содержании произведения искусства, которое мы только что рассматривали и которое теперь, естественно, уже не видим.

Одним словом, случилось бы нечто неестественное и по сути своей противоречивое.

1947

БИБ- ЛИОТЕКА

Самый вид библиотеки имеет нечто по-человечески обла- гораживающее, успокаивающее и волнующее одновременно. Даже самая скромная полка с книгами вызывает у нас опре- деленное ощущение близости с живущими здесь людьми, книги на полке говорят нам, что с ними мы легче найдем точ- ки соприкосновения и темы общих интересов. Мы с большим доверием вступаем в такой дом и в контакт с теми, кто в нем живет. Я понимаю, что интеллектуальный рост, к сожале- нию, не всегда сопутствует моральному и что абсолютную ценность человека нельзя измерять количеством прочитан- ных книг, однако столь же бесспорно и то, что грубость

и нравственная заскорузлость гораздо чаще встречаются у людей, которые в споре с книгой и занимают враждебную позицию по отношению к культуре и усилиям людей в области культуры.

517

Любая поверхность стен, покрытая полками с книгами, означает освобожденную территорию в культурной жизни данной страны и данного народа, позицию, занятую в постоянной борьбе человека против мрака и невежества, она подобна тем земным пространствам, которые при разумном правлении засажены лесом или осушены и сделаны пригодными для обработки и использования во благо человека. Это светлые пространства и освоенные территории на карте вечной борьбы человека с варварством и невежеством. Разумеется, употребление книг не всегда одинаково, в квартирах и учреждениях встречаются библиотеки, служащие скорее для украшения интерьера, нежели для чтения. И все-таки даже такая домашняя или общественная библиотека лучше, чем никакая. Она показывает хотя бы, что такой человек или такое учреждение считают обладание книгой своим долгом перед собой и обществом, означает, что в таком обществе достигнут определенный культурный уровень, ниже которого никто не желает опускаться, пусть даже формально. А там, где существует уважение в книге и осознание необходимости библиотеки, рано или поздно разовьется и правильное их использование и рано или поздно появятся благотворные плоды этого использования.

*Книгоубийства
войдут в своды
уголовных
законодательств...*

КНИГО- УБИЙСТВА И КНИГО- УБИЙЦЫ

Существует выражение: и у книг есть своя судьба (*Habent sua fata libelli*). А поскольку под судьбой чаще всего разумеют не что иное, как смерть, выходит, что и книги смертны, что можно и их убивать, как убивают людей. Кто устоял бы перед таким соблазном и упустил возможность воспользоваться таким случаем! А потому книгу и в самом деле убивают так же, как людей, по разным причинам и различными способами. Из зависти, из ненависти и с целью отомстить, по расчету, по злобе, из уважения, привязанности и даже по любви.

Ведь каждый, кто на свете жил,
Любимых убивал,
Один – жестокостью, другой –
Отравою похвал¹.

В «Балладе Рэдингской тюрьмы» Уайльда, откуда взяты эти стихи, можно найти целый список причин и поводов для убийств. Кто убивает желчным взглядом, кто лестью, трус – поцелуем, а храбрым больше годится меч. Одни убивают в старости, другие – пока молоды, некоторые душат руками страсти, иные – золота ради. Педант предпочитает нож, ибо это действует мгновенно.

...Кто покупал, кто продавал,
Кто лгал, кто слезы лил,
Но ведь не каждый принял смерть
За то, что он любил².

И так далее. Оскара Уайльда, элегантного и манерного декадента конца прошлого столетия, очень занимали убийства. Изысканные герои его романов не гнушаются этим занятием, а Томас Гриффитс Уэйнрайт, друг Чарлза Лэма, поэт и живописец, художественный критик, коллекционер старины, «умеющий ценить красивое и не понимающий прекрасного», это интересная личность из блестящего эссе Уайльда «Перо, карандаш и яд», был к тому же и большим мастером убивать, одним из самых искусных отравителей всех времен*. Позднее и самому Уайльду представился случай пополнить свои познания и удовлетворить интересы в этой области деятельности на специальном двухгодичном курсе в известной Рэдингской тюрьме*, однако, несмотря на все это, он остался лишь простодушным дилетантом в сравнении с современными авторами детективов. Впрочем, в этом не только его вина. Тогда было другое время: он жил в самый мирный период истории, когда Европа почти сорок лет не

О. Уайльд. Избранные произведения, т. I. М., 1960, с. 380–381. Пер. Н. Воронель.

Там же, с. 381.

знала войн. С тех пор человечество сильно развило индустрию смерти, а возможно, список Уайльда, который кажется нам теперь столь бледным и скромным, стал таковым отчасти и потому, что Уайльд включил его в ткань стихотворения и в перечислении видов и способов убийств был скован трудностями рифмовки. Если бы он писал свободным современным стихом, наверняка и его список убийств был бы более полным и исчерпывающим, а – за неимением лучшего и более объемистого справочника – информация этого ден-



*Л. Крапах. «Сожжение
рукотиси Я. Гуса». 1530.*

ди, поэта и каторжника может служить отправной точкой. Таким образом мы вынуждены искать более полные современные образцы в этой убийственной материи.

Наше уголовное законодательство «с вводной статьей, примечаниями и регистром» посвящает убийству десяток страниц и около двадцати параграфов, но, очевидно, и оно не является достаточно полным. Среди преступных созданий человечества на первом месте стоит геноцид, массовое убийство людей, а затем идут военные преступления против гражданского населения, раненых, больных, военнопленных, в то время как среди обычных убийств различаются: убийство жестоким и коварным способом, убийство из корыстолюбия, убийство ради совершения или прикрытия другого преступного действия, убийство в отмщение или из иных низменных побуждений, предумышленное или непредумышленное убийство, убийство нечаянное, убийство в драке и вследствие превышения мер необходимой самозащиты, убийство в результате вовремя не оказанной помощи. И так далее, вплоть до весьма впечатляющих доказательств человеческого воображения и изощренности в изобретении методов убийств.



Всеми этими и еще многими другими, непременными способами могут быть убиты и книги. И хотя это занятие уже давно существует на практике, почти с тех времен, когда появились книги, кажется, что до сих пор не создана кодификация всех видов, подвидов и разновидностей книгоубийств, и потому настоящую работу можно считать пионерской и новаторской в юридическом смысле.

Если обратиться к Своду уголовных законодательств, то сразу, *per analogiam*¹, становится понятно, что геноциду, преступлению против человеческого рода, соответствует преступление против книги вообще, то есть массовое убийство книг.

Так повелось, что в конце некоторых периодов истории человечество, точнее, его наиболее значимая, стоящая у власти часть, начинает ненавидеть книгу, как школьники ненавидят учебники в конце учебного года. Пророки и некоторые другие вожди, которые по природе своего ремесла любят проповедовать и требуют, чтобы их слушали, не выносят, когда кто-то читает книгу, точно так же как и нам бывает неприятно, когда мы замечаем с трибуны, что в зале кто-то развернул газету. Халиф Омар сжег Александрийскую библиотеку*, всевозможные инквизиторы в средние века разжигали костры из книг по всей Европе, а всего лишь несколько десятилетий назад Гитлер устраивал в Германии аутодафе. Все они были книгоубийцами и массовыми истребителями книг, но, как это ни удивительно, как раз такое массовое уничтожение представляет меньшую опасность и менее смертоносно для книг, чем для людей. Книги обладают более сильной, стойкой душой, тысячами жизней и бесконечными возможностями для возрождения. Как можно собрать и сжечь разошедшиеся по свету экземпляры какой-нибудь книги, если достаточно сохранить только один, чтобы через несколько лет опять появились новые десятки тысяч.

Даже военные преступления не так опасны для книг, как для людей и народов. Интерес к книгам, на которые был наложен запрет и чтение которых преследовалось, со временем еще больше возрастал. Новое поколение стремилось прежде всего узнать, что же запрещалось читать их отцам, а уж потом бралось за то, что те советовали. Процессы над «Госпожой Бовари» или «Улиссом»* создали этим книгам большую популярность, нежели они могли бы иметь, а если какая-либо из запрещенных книг и в самом деле умирала, ее смерть являлась скорее результатом ее собственной слабости, чем гонений. Открытая, честная литературная борьба не может серьезно повредить книгам даже и в том случае, когда один из соперников столь силен и опасен, каким был Джонатан Свифт* в своем «Описании войны между древними и современными книгами в библиотеке Святого Джеймса». Он не особенно навредил Драйдену, которого изобразил в виде ядовитого паука, а остальные – их мы уже и не помним – были сражены не столько Свифтом, сколько собственными слабостями и течением времени.

¹ По аналогии (лат.).
Стало быть, одинаковые методы не всегда приводят к одинаковым последствиям, и, хотя книги убивают так же,

как и людей, способы убийства, по крайней мере когда речь идет о книгах, часто дают совершенно различные результаты. Например, для книг гораздо опаснее индивидуальные убийства, чем массовые, опаснее, когда их убивают тихо, одним махом, из слепой ненависти, жестокими способами. Гораздо важнее, чем в случаях обычных преступлений, чтобы книгоубийства совершались тайно, почти незаметно, а убийца оставался неизвестен. Ведь по сравнению с убитым человеком, которому уже нельзя ничем помочь, убитая открыто,



*Книжное аутодафе
в фашистской Германии.*

противозаконно книга может быть не только реабилитирована посмертно, но и возвращена к новой, лучшей и долгой жизни. Поэтому, для того чтобы уничтожить ее окончательно, важно ударить и умертвить ее неприметно, будто она умерла своей смертью, по своему желанию и от собственных болезней.

Вот почему в отличие от обычных убийств из всех книгоубийств самым опасным является как раз то, которое совершается посредством игнорирования. Когда книга выходит из печати, когда она еще слаба, чтобы самой позаботиться о себе, когда ее голос недостаточно силен, чтобы привлечь к себе внимание, в это время ей нужно попасть в витрины и на полки книжных магазинов, в газетные рубрики, и тогда она сможет заговорить, достичь рук читателя. Подобно любому по-

ворожденному, книга должна быть зарегистрирована и принята раньше, чем она сама окрепнет настолько, чтобы быть в состоянии своими силами завоевывать признание и популярность. Встав на ноги, переболев детскими болезнями, она получает надежную защиту, уверенность в себе, и никто уже больше не сможет причинить ей зла, если только своим вторжением не продлит ей жизнь, которая при нормальных обстоятельствах была бы короче.

Будет ли она жить лучше или хуже, на высшей или низшей ступени общественной лестницы в республике книг, долго или коротко, а может быть, вечно — все это зависит только от склада ее организма. Это обстоятельство известно и книгоубийцам, и они считаются с ним.

Вышедшую в свет книгу встречает совершенно мертвая тишина, которая для посвященных является самым верным знаком того, что книга будет задушена тихо, не успев издать предсмертного хрипа или стона, и что ей нет спасения. Все отрекаются от такой книги, даже ее друзья, книголюбы, даже серьезные, самостоятельные в своих суждениях критики, которым кажется, что лучше всего держаться подальше от этого трупа, которому все равно ничем не поможешь. И вот все молчат. И молчат даже газеты, которые в своем библиографическом разделе в три строчки петита не отмечают, что книга вышла, не выступают и рецензенты по радио, небольшие, маленькие и самые крошечные газеты и литературные журналы тоже молчат. Никак не реагируют и книжные магазины с их немymi полками и витринами, хранят молчание и сами издатели книги. В разреженной атмосфере она тщетно бьется и вырывается, как те горемыки у Андрича *, которых медленно душат на травницкой чаршии, затягивая веревки вокруг горла, да так, чтобы не совсем лишить их воздуха и не выбить почву из-под ног. Безжалостно обреченная, лишенная права позвать на помощь, книга постепенно угасает в глухой тишине, желтеет, блекнет и умирает, чтобы без погребения, без надгробного знака быть похороненной в книжных подвалах какого-нибудь склада, а через некоторое время отправиться в крематорий и обратиться в бумагу, из которой она и возникла. Ты — прах, в прах и обратись! Ни автор, ни сама книга ни по какому признаку не могут определить, что они когда-то появились, и в этом безмолвии, поглотившем книгу, спрашивают сами себя: а может быть, книги вовсе и не было? Кончено. Дело сделано.

Другой метод книгоубийства несколько сложнее. Он применяется по отношению к таким известным и уважаемым авторам и книгам, которые нельзя ликвидировать методом умолчания и удушения в разреженном воздухе. В таких случаях рекомендуется предварительно дискредитировать автора и его будущую книгу.

Достаточно пустить слух, состряпать небылицу, особенно в малой, неразвитой среде, чтобы очень скоро, с молниеносной, гагаринской скоростью она по нескольку раз облетела город. Такое случайное, остроумное, но ни к чему не обязывающее известие произнесут обычно где-нибудь в литера-

турном салоне, выпустят, потом откроют окно и дадут ему возможность вылететь на улицу. Перед войной о Мирославе Крлеже был распространен слух, что он, будучи военным корреспондентом, восхвалял одного австрийского генерала, что он обуржуазился и принялся строить дом. Таким образом предполагали заблаговременно расправиться с его антивоенными и социально заостренными книгами. Об одном нашем выдающемся литераторе еще недавно с презрением говорили, что он, как «пейзан», больше пас коров в Париже, чем сидел в кафе «Пигаль»; о другом и до сих пор упорно ходит молва, что он безграмотен и книги за него пишут другие, а о третьем – что он пишет только для того, чтобы отомстить своим врагам. И все в том же духе, но, когда после такой подготовки книга выходит из печати, на нее сразу накидывается свора компрачкосов * и вмиг так ее обрабатывает – не важно, хваля или ругая, – что ее физиономия искажается и обезображивается настолько, что даже автор не в силах ее узнать и вынужден в крайнем изумлении вопрошать себя: «Неужели я действительно так написал?» или «Неужели я именно это имел в виду?». О гуманной, полной любви к человеку книге могут сказать, что она мрачная, пессимистичная, античеловечная и ворчливая, о критически настроенной книге – что автора не интересуют общественные вопросы, что книга мелковата; о книге политической ориентации – что она чересчур фактографична и недостаточно художественна, при этом хотя и признают, что это книга, но отрицают, что она литературна. Правда, такого рода книгу нельзя задушить; у нее только вырывают язык, которым ей хотелось говорить, у нее обезображено, искажено лицо, с которым она хотела предстать перед читателями. Она поругана и зачеркнута, так что автору не остается ничего иного, кроме как самому отказаться от нее как от неудачного, неблагоприятного ребенка. И опять ее нет! С ней кончено! Она убита навсегда, будто ее и не существовало. Самому автору кажется, что он и не писал ее, а потому он и не любит, чтобы ему о ней напоминали.

Для менее значительных книг годятся менее изощренные методы. Различные рецензенты тотчас стараются выпотрошить в печати как хорошую книгу, так и книгу со скромными претензиями, назвав ее или слишком скучной, или слишком развлекательной, слишком мудрой или глупой, дешевой, дорогой, легковесной, глубокой, мелкой, слишком литературной или нелитературной. Дискредитированная книга борется за свое существование, убогая и смешная, как все разувверившиеся и неудовлетворенные, и, если в конце концов лет через десять ей удастся как-нибудь реабилитировать себя, заставить общественность признать, что она в свое время была не так уж и плоха, как о ней твердили, возможно, даже намного лучше, чем модные и популярные в то время книги, для нее все равно это будет уже бесполезно. За период остракизма ее десятилетняя жизнь уже прошла, ее смысл и цели устарели, ее способ выражения был превзойден, а вся она целиком напоминает ситуацию Иуна Габриеля Боркмана у Ибсена, которому почти в столетнем возрасте предло-

*Именно старость
дарует нам
огромную.
неотъемлемую
радость: книгу. И
в ней – небеса,
деревья, моря, все
радости и горести.
Но в чтении книг,
как и во всем,
лидирует молодежь.
Лишь в молодости
читают так, как
пьют вино, как
любят, как ныряют
в речку.
Ярослав Ивашкевич*

жили занять положение высокого государственного служащего.

Лестью, из дружелюбия и по любви, вниманием и уважением – книгу убивают и такими способами.

Молодому удачливому автору, который уже первой книгой привлек к себе интерес и читателей, и завистников, не так легко помешать при помощи замалчивания и клеветы. В таких случаях гораздо больше успеха добиваются восхвалением, лестью и обманом. В газетах появляются его фотографии, ему присуждают награды, его провозглашают надеждой мировой литературы, просят его выступить, берут интервью, включают в хрестоматии и школьные программы, он получает сразу несколько общественных должностей, и то, что оказалось не под силу открытому нападению и клеветнической сплетне, достигается путем, которым Иван Иванович – в известной сатире Хикмета * – подкупил ранее честного и скромного товарища Петрова. Если же молодой гений не слишком благороден, он чаще всего совсем перестает писать или перестает писать хорошо. Зачем стараться и трудиться, если ему теперь и так неплохо? В случае же, если он более шепетилен, автор и сам убоится своей славы. Ему кажется, что он теперь обязан создавать только нечто выдающееся, гениальное, достойное его, а коль скоро это не всегда легко и не всегда возможно, он отказывается от всего. Тогда его списывают и те, кто раньше хвалил, рассердившись, что он не оправдал возлагавшихся на него надежд, и, таким образом, из узкого круга человеческого интереса выпадает еще один участник состязания!

Книги пожилых авторов убивают чаще всего вниманием и уважением. С ними поступают аналогично тому, как поступили придворные с епископом Лесажа, который, будучи некогда лучшим в Испании оратором, после перенесенного удара одряхлел и ослаб умом. Никто не хочет ему об этом сказать, но и сам епископ, хотя и сомневается в своих духовных силах, не желает в это поверить. Его проповеди продолжают хвалить вслух, а за глаза молча усмеваются. Так же и упомянутого престарелого литератора, случись ему опубликовать несколько слабых текстов, не перестают хвалить и поддерживать в его заблуждениях и тем самым стимулируют продолжать его бесполезный труд.

Мы являемся свидетелями того, как нечто подобное делают и с известным, прославленным автором, который уже годами публикует все более слабые, бессодержательные книги, будто и его хватил удар. Его продолжают хвалить, ласкать и хлопочут вокруг него, словно он своенравное и несмышленое дитя, выдвигают его в академики и представляют к премиям, льстят, щекочут его самолюбие, чем подбадривают его и подстрекают продолжать идти этим ошибочным путем. А когда в один прекрасный день произойдет катастрофа, книгоубийцы, которых он так охотно и в таком огромном количестве собирал вокруг себя, чтобы они расчищали перед ним дорогу, расстилали ковры и, как птицы, живущие вокруг крокодилов и носорогов, очищали его от нечистот и червячков, – эти люди первыми отведают его тру-

па и тут же отправятся на новые книгоубийства и злодеяния.

Наконец, книги убивают и те люди, которые их истинно и слепо любят, подобно тому как матери своею чрезмерною любовью делают несчастными детей. Бесконечные упоминания, пересказы и анализирование отдельных книг в конце концов приедаются читателям и вызывают у них отвращение к книге, как к популярной песенке, которую без конца проигрывают или насвистывают, а книги разных подражателей и эпигонов создают моду, и, когда эта мода проходит, они влекут за собой в бездну и ту хорошую книгу, которая в известное время послужила для них образцом.

Оставим для другого случая, для других писателей дальнейшую разработку всех методов книгоубийства, теперь же ограничимся перечислением лишь важнейших из них. Таким образом, кроме уже описанного, существует еще и убийство из зависти, ревности, корыстолюбия, книгоубийство ради прикрытия иного литературного злодеяния, книгоубийство из слепого чувства мести и других низменных побуждений, преднамеренное книгоубийство и случайное, спровоцированное, в запале гнева, книгоубийство по неосторожности, плохой печатью и безвкусным оформлением, ошибками наборщиков, профессиональной небрежностью журналистов, близорукостью и ленью рецензентов, сопротивлением всему молодому, незнакомому, низкопоклонством перед авторитетами, слабостью судей и их продажностью.

Но кто же такие книгоубийцы и почему они занимаются этим ремеслом?

Здесь также следует определить различие между обычными убийцами и убийцами книг. В ремесле книгоубийцы, например, интеллектуальное начало гораздо опаснее непосредственного физического действия. Убийцы книг – не уголовники, патологические типы, тупые невежды, безграмотные люди, голодные и убогие, да и не «золотая молодежь», которая обычно столь обильно заполняет в газетах иных стран разделы, касающиеся преступлений. Простые люди уважают книгу так же, как верующие – облатку, а «золотая молодежь», снобы и «джинсовые мальчики» обычно ее даже не замечают. Литературные критики тоже не занимаются ремеслом убийц, хотя писатели склонны их в этом часто обвинять. Даже самые обиженные авторы знают, что критики – их собратья по труду. Они тоже пишут книги, их тоже критикуют, часто несправедливо, да и книги, ими написанные, подвержены убийству. Вообще критики и сами знают, что они живут за счет других книг, а потому уважают их и любят, как хороший пастух любит свое стадо. И хотя они, случается, прирежут иногда ту или иную книгу, как пастух овцу, делают они это на основе собственного выбора и суда, и следует учитывать, что и самый хороший судья может ошибиться и что в праве существует понятие так называемого «убийства в целях правосудия».

1
Бойся людей одной
книги! (лат.).

Нет, интеллектуальными убийцами книг чаще всего оказываются сами писатели или те, кто хотел бы ими стать. Люди одной книги (*Cave ab homine unius libri!* *), недалекие по-

луинтеллекты, которые, прочтя лишь одну книгу, решили, что постигли все премудрости и все тайны того и этого света, и потому возненавидели все остальные книги, которых они не прочли и которые им непонятны; пресыщенные интеллектуалы, которые прочли столько, что их воротит от книг, как гурмана от еды после слишком сытного обеда; завистливые авторы, подобно Сальери в трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери», расценивающие успех другого как свое поражение; бесплодные писаки, которые больше не в состоянии произвести на свет ни одной книги и оттого ждут не дождутся, когда и другие перестанут писать, и те, которые, сомневаясь в собственных книгах, находят все больше причин убивать чужие. Скученность, характеризующая современные отношения между людьми, заставляющие нас держаться друг с другом так, словно мы живем в тесной коммунальной квартире и нетерпеливо ждем, пока один из нас протянет ноги, чтобы можно было поскорее занять его место, как только его на скорую руку оплачат и похоронят, полностью относится и к книжной республике. В ней тоже стало тесно. В отдельных странах печатают до четырех тысяч романов ежегодно, то есть по десять в день, из чего следует, что тысячи должны быть сразу же уничтожены, чтобы за их счет несколько книг могло просуществовать хотя бы лет десять. И так же как на картине Жерико * жертвы кораблекрушения на «Медузе» борются за место на плоту, так и писатели борются за место под солнцем в литературных джунглях.

Повестью о крупнейших, известных на весь мир романах и романистах, Сомерсет Моэм цинично заметил, что писателям не стоит уповать на то, что будущие поколения лучше воспримут их, ибо «будущие поколения будут настолько безразличны, настолько заняты собой, что, если даже и захотят развлечься литературной продукцией прошлого, их заинтересует только то, что имело успех в свое время». В перенаселенном мире книг и литературы у нынешних писателей, стало быть, не остается и надежды на лучший мир, божью правду, райские кущи. Рай существует только для тех, кто хорошо живет на земле, и потому мы травимся, душим друг друга и всеми способами убиваем книги своих предполагаемых и вымышленных соперников.

Следует, правда, особо отметить, что ни сами писатели, ни те, кто хотел бы ими стать, непосредственно не занимаются этим делом, по крайней мере открыто. Судьи тоже не вешают осужденных сами. Облеченные своими почетными функциями, одетые в черные одежды, они торжественно заходят и величественно выносят приговоры, доверяя привести их в исполнение палачам, получающим деньги за свою работу. Эту роль палача в мире книг играют в основном наемные убийцы, некая разновидность средневековых наемных истязателей. Люди, которые так быстро меняют хозяев, мнения, убеждения, что ничто не успевает оставить на их лицах какое-либо выражение, по которому их можно было бы заметить и запомнить. Неудавшиеся студенты, продавшие свою душу дьяволу, не сдавшие и трех экзаменов, но тем не

менее сейчас в качестве уполномоченных убийц приводящие в трепет собственных профессоров. Вукадины Стевана Сремаца *, пришедшие из деревни в город и готовые служить любому и ездить верхом хоть на помеле, только бы выбиться, сделать карьеру, пусть даже на попроще убийств. Бывшие приказчики и чиновники-практиканты, с виду такие скромные и застенчивые, а на самом деле способные засунуть руку в чужой карман и ящик письменного стола, мелкие журналисты с утраченными иллюзиями, бальзаковские растиньки и рюбампре, брехтовские мелкие ворешки-карманники, черные банды убийц из произведений и продукты преступлений нашей литературы, прихлебатели в наших журналах и редакциях, скандалисты из литературных клубов, бывшие футболисты, которые – делая только то, чему их учили, единственное, что они знают и умеют, – пишут ногами, а книги пинают, как футбольные мячи, сегодняшние и завтрашние пациенты психиатрических больниц – весь этот деклассированный мир, толпящийся около литературных столов, готовый просить и смиренно тянуться рукой к стакану, а уже в следующий момент готовый столкнуть кого-нибудь со стула и, заняв чужое место, властно и бесцеремонно стучать кулаком по столу. Их хозяевам достаточно только ударить в ладоши и сказать, какую книгу и как нужно убивать: удушением, разрежением воздуха, мотыгой по голове, тупым ножом или ядом чрезмерных похвал. Книгоубийцы говорят «Есть!», кланяются и удаляются, а уже завтра книга убита в столбцах утренних газет.

Что эти люди вкладывают в свое дело и чем при этом рискуют?

У этих книгоубийц нет ни своего лица в литературе, ни имени, ни капитала, который можно потерять. Им абсолютно не мешает, что одну и ту же книгу они сегодня хвалят, а завтра хулят, что они на стороне то социально ангажированной литературы, то аполитичной, что они сменили десяток хозяев и полсотни мнений. Они придерживаются наплевательской философии «моя-хата-с-краю», и, если их кто-нибудь простодушно упрекает в непоследовательности мнений и позиций, эти люди цинично ответят, что они не памятники князю Михаилу и могут поворачиваться куда ветер дует. Их побаиваются даже собственные хозяева и, никогда не подставляя незащищенную спину, разговаривают, держа в одной руке бич, а в другой – деньги. Порядочные критики, которые любят книги и литературу, стыдятся их, а писатели, творцы, с презрением обходят их стороной. Их никто не пошлет на каторгу, как обычных преступников, их не ждет ни петля, ни электрический стул, а если кто-либо открыто назовет их книгоубийцами, это им не помешает и не оскорбит, ибо им самим известно, кто они такие, и даже хорошо, если это будут знать все, чтобы быть обеспеченными работой на самый крайний случай, если их шеф ненароком потерпит фиаско и они лишатся службы. А если им повезет, в один прекрасный день они усядутся за солидные литературные столы и, сами превратившись в шефов, теперь уже с помощью своей собственной армии наемных убийц, будут

продолжать заниматься тем же делом, только на более высоком уровне.

У нас были иллюзии, что мы, как говорится, и глазом моргнуть не успеем, как ликвидируем преступность. Мы ошиблись. Мы справедливо расплачиваемся за свои заблуждения, хотя нам очень тяжело смотреть, как из-за нас и наших иллюзий страдают наши собственные литературные дети, зарезанные, задушенные, отравленные.

Что же здесь можно предпринять? Ничего? Но все же, может быть, однажды книгоубийства войдут в своды уголовных законодательств, а книгоубийцы – в картотеки уголовников.

1971

Чтение — это нечто объединяющее зрение, слух, чутье и мышление.

ЧТЕНИЕ

Простирающейся перед вашим взором природой, какими бы ни были ее свет и тени, краски и трепет, глаз может насытиться.

Симфонию, какими бы ни были ее взлеты, падения и извивы, ее строй и ее философия, слушают час-полтора.

Перед картиной, какими бы ни были ее мазки и гладь, движение и композиция, можно простоять не так уж много времени.

Что же касается книги, настоящей книги, которая, подобно природе, симфонии и картине, вместе взятым, отражает в зеркале своих страниц человека, общество, природу со всеми ее светотенями, глубиной, трепетом, течением и контрастами, ее можно читать, не отрываясь, на протяжении многих часов. Чтение — это нечто объединяющее зрение, слух, чутье и мышление.

Если этого, наибольшего из всех возможных удовольствий, сегодня не испытывают, а во многих случаях и не могут испытать массы людей, причину тому надо искать не в людях, а в социальных условиях их жизни.

1935

ИНДИЯ **Р**АБИНДРАНАТ

1861–1941 **Т**АГОР

Мои скромные средства утекали лишь в одном направлении — в книжные лавки.

Я даже не курю. Но мной владеет одна всепоглощающая страсть — страсть к чтению, в сравнении с которой меркнут все страсти в мире. Моим девизом стали строки:

Он хочет жить, а не существовать.
И дома он не расстается с книгой.

ПЕРВЫЙ НОМЕР

Человек, у которого любовь к путешествиям намного превышает материальные возможности, с жадностью просматривает расписание поездов, так и я в юности, когда у меня не было денег, с упоением читал книжные каталоги. Мой дальний родственник, тесть моего брата, скупал без разбора все новинки и очень гордился тем, что и по сей день ни одна книга у него не пропала. Во всей Бенгалии, вероятно, не встретишь второго такого везучего человека. Ведь среди всего того, что постоянно переходит из одних рук в другие, как, например, деньги, жизнь, зонтик, утерянный каким-нибудь рассеянным, бенгальские книги занимают первое место.

Поэтому можно себе представить, что получить у этого счастливчика ключи от книжных шкафов было немислимо. В детстве я с братом ходил в гости к его тестю и чувствовал себя как нищий во дворце, когда подолгу со слезами на глазах рассматривал запертые на ключ книжные шкафы. Из-за своей неумной страсти к чтению я постоянно проваливался на экзаменах в школе.

Но это дало мне одно неоспоримое преимущество. Мне не пришлось ограничиться теми устаревшими знаниями, которые давал университет. Я плыл по безбрежному океану мудрости. Ко мне ходят различного рода бакалавры и магистры искусств, которые по сей день не могут выбраться из темниц викторианской эпохи. Подобно неподвижной Земле в птолемеевском мироздании, они будто навсегда пригвождены * к восемнадцатому-девятнадцатому векам. Поэтому не только нынешним студентам, но и сыновьям их и внукам суждено почтительно, как во время религиозной церемонии, двигаться по замкнутому кругу знаний *. Колесница их мысли, с трудом одолев Милля и Бентама, дотащилась до Карлейля и Рёскина и застряла в пути *. Студенты обязаны слушать только лекции преподавателей и не смеют даже помыслить о чем-нибудь другом.

Между тем та, чуждая нам литература, в зависимость от которой мы поставили свое духовное развитие и которую неустанно пережевываем, будто жвачку, не остается неизменной, она идет в ногу с жизнью своей страны. Я, разумеется, не мог жить чужой жизнью, но старался в своем духовном

развитии не отстать от нее. Я сам выучил французский, немецкий, итальянский языки, брался даже за русский. Я приобрел билет на экспресс современности, идущий со скоростью более шестидесяти миль в час. Поэтому я не вникал глубоко в учение Хаксли и Дарвина и не боялся судить о Геннисоне, и лишь врожденная скромность удерживала меня от погони за дешевой славой на страницах наших ежемесячных журналов. Я не стал рулевым в лодке, на борту которой начертаны имена Ибсена и Метерлинка*.



Рукопись Р. Тагора.

Картина Р. Тагора.

Мечта моя сбылась — я собрал вокруг себя тех, кто способен оценить меня. Я убедился, что и в Бенгалии есть люди, которые, участь в колледже, все же не остаются равнодушными при звуках вины Сарасвати*. Сначала ко мне приходили по одному, по два человека, а потом собралась целая группа.

Второй моей страстью были разговоры, или, выражаясь высоким стилем, дискуссии. Я внимательно следил за всеми диспутами на страницах периодических и непериодических изданий, всегда поражаясь тому, как могли они быть столь незрелыми и в то же время так устареть. Мне часто хотелось влить в эту затхлую атмосферу свободную мысль, но писать

было лень. Поэтому я радовался каждому, кто выслушивал мои сокровенные мысли.

Кружок мой рос. Я жил в тихом переулке в доме номер два, но мои друзья стали называть меня «неповторимым», а кружок мой – «Обществом неповторимых».

Познания членов моего кружка всегда оказывались кстати. Утром, например, один из них забежал с только что вышедшей в свет английской книгой, заложенной в каком-нибудь месте трамвайным билетом.

За разговорами мы не замечали, как шло время. Наступали сумерки, и появлялся другой член кружка с конспектами лекций колледжа. Он просиживал до глубокой ночи и даже не думал уходить. Я говорил до изнеможения. Однажды мне пришло в голову, что хороший художественный вкус способствует не только деятельности мозга, но и красноречию. В то же время я понял, что человек, жертвующий собой ради того, чтобы утолить жажду знаний других, ставит себя в незавидное положение. В мире существуют гигантские гончарные круги знаний и человеческой мысли, на них появляются открытия, которые, будто глиняные горшки, проходят обжиг временем: одни становятся прочнее, другие рассыпаются. В какой-то поэме я прочел, что Шива * прекрасно видел, когда Дурга * хмурила брови, но у Шивы было три глаза, а у меня только два, да и то ослабевшие от чрезмерного пристрастия к чтению. Приказывая жене состряпать угощение в самое неподходящее время, я не замечал, хмурила ли она брови. Но со временем она свыклась с тем, что в нашем доме неурочное бывает ко времени, а неприемлемое приемлемым. Часы для нас не существовали, а наше бедное хозяйство было открыто всем ветрам. Мои скромные средства утекли лишь в одном направлении – в книжные лавки. Жена, пожалуй, лучше меня объяснила бы, каким таинственным образом удавалось ей сводить концы с концами, потому что наше хозяйство, как голодный пес, питалось жалкими крохами со стола моей любимой и прожорливой собачки.

Таким, как я, людям совершенно необходимо рассуждать вслух о различных научных проблемах. Но не для того, чтобы самому делать научные открытия или помогать в этом другим, – нет, просто я мыслил вслух – это был мой способ усвоения нового. Будь я ученым или профессором, моя разговорчивость показалась бы утомительной. Тем, кто трудится в поте лица, не нужно заботиться о своем аппетите, бездельникам же приходится нагуливать аппетит. Прежде мое «Общество неповторимых» заменяла жена. Она часами тихоенько слушала, как шумно я усваиваю знания. Она носила сари только фабричной марки, и украшения ее не отличались ни чистотой золота, ни массивностью, зато в рассуждениях ее мужа, например о евгенике *, учении Менделя или математической логике, не было ни намека на фальшь. Мой кружок лишил жену возможности слушать мои ученые разговоры, но она почему-то ни разу не пожалела об этом.

Жену мою звали Онилой. Право, не знаю, что означает это имя, верно, и тесть мой этого не знал. Но оно ласкает

слух и, я думаю, исполнено смысла, и, что бы на этот счет ни говорили словари, мне кажется, жена моя была любимой дочерью своего отца, иначе он не дал бы ей такого имени. Когда скончалась мать Онилы, тесть мой выбрал для себя самый приятный способ окружить заботой полуторогадового Шороджа – вторично женился. Насколько моему тестю повезло в женитьбе, можно заключить хотя бы из того, что за два дня до своей смерти он сказал Ониле, держа ее за руку:

– Я ухожу, дорогая, ты единственный человек, кому я могу доверить Шороджа.

Не знаю точно, сколько тесть оставил своей второй жене и ее детям. Ониле же он тайно вручил семь с половиной тысяч рупий с таким наказом:

– Истрать эти деньги на образование Шороджа.

Поведение тестя немало удивило меня. Умный, практичный, он никогда не поступал необдуманно. Я же был уверен, что самым достойным человеком, которому следовало поручить воспитание Шороджа, был я сам. Просто уму было непостижимо, почему он выбрал для этой роли Онилу. Даже не будь он уверен в моей безукоризненной честности, ему и тогда следовало бы доверить мне эти деньги. Впрочем, он был всего лишь преуспевающим дельцом викторианского века и не мог в полной мере оценить меня.

Уязвленный этим до глубины души, я решил не заводить об этом разговора, думая, что Онила первая это сделает: ведь без моей помощи ей все равно не обойтись. Но Онила ни словом не обмолвилась, и мне показалось, что она просто робеет. И вот однажды я как бы невзначай спросил:

– Ты что-нибудь сделала для Шороджа?

– Наняла учителя, потом он ходит в школу, – ответила жена.

Я намекнул, что согласен сам заниматься с мальчиком. Как-то я пытался втолковать Ониле сущность некоторых новейших методов обучения. Онила выслушала молча. Тогда впервые у меня родилось подозрение, что жена меня не уважает. Колледжа я не кончал, и, вероятно, она считала, что я не имею ни права, ни опыта давать подобные советы. Оно и понятно. Разве могла она оценить должным образом мои взгляды на происхождение и эволюцию человека или распространение радиоволн?! Возможно даже, она считала, что ученик второго класса разбирается в этом лучше меня. Еще бы! Ведь в школе учителя таскают этих олухов за уши, стараясь вбить в их тупые головы какие-то знания.

В раздражении я повторял себе, что доказывать женщине собственное превосходство – значит отказаться от своего главного достоинства – способности научно мыслить.

Как правило, все действия семейной драмы идут за спущенным занавесом, но в конце пятого акта занавес вдруг поднимается. В те дни я был увлечен теориями Бергсона и интеллектуализмом Ибсена, обсуждал их с моими «неповторимыми» и считал, что светильник жертвенности еще не зажжется на алтаре жизни Онилы.

Однако сейчас, оглядываясь на прошлое, я отчетливо вижу, что бог – создатель, творец всего живого – целиком ов-

ладел душой и помыслами Онилы. Ей, старшей сестре, приходилось вести с мачехой упорную борьбу за маленького брата. Земля, которую держит на себе змей Васуки из пуран *, неподвижна.

Но мир страданий, которые тяжким бременем легли на плечи молодой женщины, вечно менялся под градом ударов. Одному лишь богу известны муки, терзавшие Онилу, вечно занятую хлопотами по дому. Во всяком случае, я ни о чем не догадывался. Я и не подозревал, сколько переживаний, отвергнутых усилий, униженной любви, тайного беспокойства живет рядом со мной под покровом молчания. Я считал, что главным в жизни Онилы стали банкеты в честь «неповторимых». Но сейчас я понял, что самым родным и близким человеком для Онилы был брат, из-за которого она столько выстрадала. Моей помощью пренебрегли, и я перестал интересоваться судьбой мальчика.

Тем временем в доме номер один по нашему переулку поселился жилец. Этот дом был построен известным калькутским ростовщиком Удхобом Боралом. Его сыновья и внуки не пожалели сил, чтобы спустить все его состояние. Род пришел в упадок. В живых остались только две вдовы, да и те никогда не жили в особняке, поскольку он был очень запущен. Изредка кто-нибудь снимал его для свадьбы или других празднеств. На этот раз в нем поселился помещик из Нороттомпура, раджа Шитаншумаули.

Кстати, я мог не заметить этого неожиданного вселения. Дело в том, что, подобно Карне *, родившемуся в доспехах, я появился на свет в кольчуге рассеянности, очень прочной и массивной, она служила мне надежной защитой от ругани, шума, сутолоки.

Нынешние богачи страшнее стихийных бедствий, потому что они противоестественны. У человека должно быть две руки, две ноги и одна голова. Если же число ног, рук и голов превосходит положенное, это уже не человек, а демон. Испокон веков демоны стараются выскочить из своих естественных пределов и ужасным шумом и бесцеремонностью доставляют беспокойство как брэнному, так и небесному миру. Не заметить их просто невозможно, хотя в этом нет особой необходимости. Они – болезнь земли, их побаивается сам Индра *.

Вскоре я понял, что Шитаншу не человек, а сущий демон. Я никогда не мог себе представить, что один человек может производить столько шума. Со своими экипажами, лошадьми и целой армией слуг он казался чудовищем о десяти головах и двадцати руках. И огонь, изрыгаемый этим чудовищем, спалил стену, отгораживающую мой научный рай от остального мира.

Первая моя встреча с Шитаншумаули произошла на углу переулка. Главное достоинство нашего переулка заключалось в том, что там мог безнаказанно прогуливаться даже такой, как я, рассеянный человек, который ничего не замечал вокруг. Я мог идти по переулку и рассуждать сам с собой о рассказах Мередита, о поэзии Браунинга или о стихах какого-нибудь современного бенгальского поэта, не опасаясь

попасть в катастрофу. Но в тот день я внезапно услышал за собой громкий окрик. Оглянулся и увидел пару огромных гнедых лошадей, запряженных в открытую двухместную коляску. Ее владелец сам правил, а кучер сидел рядом с ним. Бабу * изо всех сил дернул вожжи. Я отпрянул к табачной лавке и спасся просто чудом. Бабу был вне себя от гнева. Еще бы! Не мог же он, беспечно правивший своей колесницей, простить столь же беспечно пешехода!

Я уже пытался объяснить подобные явления. Пешеход — человек обыкновенный, у него всего две ноги. У того, кто правит парой лошадей, их по крайней мере восемь, и он уже демон. Он занимает чересчур много места, отсюда и простекают бедствия. Бог двуногого человека бессилен перед восьминогим чудом.

По законам природы я со временем должен был забыть и экипаж, и его владельца, потому что в нашем удивительном мире бывают вещи поинтересней, их и следует хранить в памяти. Но, увы, сосед производил гораздо больше шума, чем это полагается человеку обыкновенному. Так, о моем соседе, живущем в доме номер три, я при желании мог не вспоминать месяцами, но забыть хотя на миг о существовании соседа из дома номер один было немислимо!

По ночам его лошади, а их было около десятка, весьма немзыкально барабанили копытами по деревянному настилу конюшни, нарушая мой сон. По утрам же, когда его конюхи, а их тоже было около десяти, начинали скрести лошадей, мое доброе расположение духа бесследно улетучивалось. К тому же носильщики его паланкина были уроженцами Ориссы или Бходжпура, а привратники принадлежали к касте рыбаков Западной Бенгалии, и ни один из них не питал склонности к тихим и вежливым беседам. Таким образом, новый жилец, хоть и жил в доме совсем один, умудрялся производить шум бесчисленными способами.

Итак, новый сосед бесспорно был демоном. Он ни от чего не испытывал беспокойства, как сам Равана *, которого даже не тревожил храп его собственных двадцати носов. Но войдите в положение его соседа. Небесный рай прежде всего поражал красотой своих пропорций, а дьявол, нарушивший райский покой и благодать, — несоразмерностью. И вот этот дьявол, оседлав мешок с деньгами, атаковал жилище обыкновенного человека. Его лошади, можно сказать, наступают на пятки скромному пешеходу, а он, видите ли, приходит еще в ярость!

Однажды вечером никто из моих «неповторимых» не зашел ко мне, и я сидел, погрузившись в чтение книги о природе морских приливов и отливов. Вдруг что-то перелетело через ограду и стукнулось о переплет моего окна. То был меморандум моего соседа — теннисный мяч. Притяжение луны, биение пульса земли, самые древние системы стихосложения — все разом вылетело у меня из головы. Сосед не мог быть мне ничем полезен, и в то же время невозможно было не думать о нем. Через минуту примчался запыхавшийся старый Одждо, мой единственный слуга. Мне никогда не удавалось его дозваться, мой истощенный крик не оказывал на

него никакого действия. Он неизменно говорил, что работы много, а он один. А сейчас я стал свидетелем того, как он без излишних напоминаний схватил мяч и помчался в соседний дом. Оказалось, что за каждый доставленный мяч ему платили четыре пайсы *.

Вскоре я убедился в том, что разбит не только мой оконный переплет – нарушено душевное равновесие моих слуг. Меня не удивляло, что с каждым днем росло презрение Одждхо к моей ничтожной особе, но вот и председатель «Общества неповторимых» Канайлал стал тянуться к соседнему дому. И все же я был уверен в преданности Канайлала. Но вот однажды я увидел, как он, обогнав старого Одждхо, схватил мяч и со всех ног побежал к соседу. Я понял: он ищет повода для знакомства, и я усомнился в бескорыстной дружбе, которой нас учит веданта *. Да, одной амритой * такой сыт не будет!

Я пытался вышучивать первый номер, говорил, что под его богатыми одеждами скрывается духовная пустота, но это было так же безнадежно, как стремление тучи закрыть собой все небо. Однажды Канайлал заявил, что мой сосед совсем не пустой человек, он бакалавр искусств. Канайлал и сам был бакалавром, поэтому, чтоб не обидеть его, я промолчал.

Вдобавок ко всему первый номер обладал еще и музыкальными талантами. Он играл на корнете, эсрадже * и виолончели. Я не причисляю себя к знатокам музыки, которые презирают пение. Но мне кажется, что пение все же нельзя отнести к высокому искусству. Когда человеку не хватает слов, когда он нем, он прибегает к песне; когда человек не в состоянии мыслить, говорить разумно, он кричит. Доказательством тому служат люди, и поныне находящиеся на низшей ступени развития, – им доставляет удовольствие издавать всевозможные звуки. Но вот я стал замечать, что по крайней мере четверо из моих «неповторимых», стоит им услышать виолончель первого номера, уже не в состоянии сосредоточиться на новом разделе математической логики.

Как раз в то самое время, когда члены кружка стали тянуться к первому номеру, Онаила сказала мне:

– Какой у нас беспокойный сосед! Давай переедем в другое место.

Я был несказанно рад.

– Видите, как бесхитростны женщины! – сказал я своим коллегам. – Они не способны осмыслить того, что требует доказательства, но быстро понимают очевидное.

– Такое, например, как злой дух, появление души усопшего брахмана, величие праха от его ног, воздаяние за почитание супруга и тому подобное, – пошутил Канайлал.

– Да нет, – возразил я. – Вас ослепило великолепие первого номера, но Онаилу не обманули его пышные одеяния.

Жена несколько раз заводила разговоры о переезде. Я жаждал переехать, но было лень бродить по калькуттским переулкам в поисках нового дома. И вот в один прекрасный день я увидел, как Канайлал и Шобиш играют в теннис у первого номера.

Потом до меня дошли слухи, будто Джоти и Хорен посе-

*В первые же дни
революции какие-то
бесстыдники
выбросили на улицу
кучи грязных
брошюр,
отвертительных
рассказов на темы
«из придворной
жизни». [...] Я не стану
излагать
содержания этих
брошюр, оно
невероятно грязно,
глупо и распутно.
Но этой ядовитой
грязью питаются
юношество,
брошюрки имеют
хороший сбыт и на
Невском, и на
окраинах города.
С этой отравой
нужно бороться,
я не знаю — как
именно,
но — нужно
бороться, тем
более, что рядом
с этой пакостной
«литературой»
болезненных
и садических
измышлений на
книжном рынке
слишком мало
изданий,
требуемых
моментом.
Грязная
«литература»
особенно вредна,
особенно*

щают музыкальные вечера первого номера и снискали там всеобщее восхищение — один своей игрой на фисгармонии, другой — на барабане, а Орун — исполнением шуточных песен. Пять лет я знал этих людей, но не подозревал в них таких талантов. Я полагал, что основная страсть Оруна — сравнительное изучение религиозных систем. Где мне было догадаться, что он мастер петь шуточные песни!

Говоря откровенно, при всем моем презрении к первому номеру, в душе я завидовал ему. Не смешно ли? Я, который умел мыслить, выносить суждения, мгновенно схватывать суть явлений, решать сложнейшие проблемы, завидовал какому-то Шитаншумаули!

По утрам первый номер гарцевал на великолепном скакуне, с какой удивительной сноровкой управлялся он с поводьями! Я, вздыхая, глядел на него, воображая и себя на таком скакуне. К сожалению, я никогда не отличался ловкостью.

Я не любитель музыки, но не раз ловил себя на том, что украдкой подсматриваю в окно Шитаншу, когда он играет на эсрадже, и восхищаюсь его искусством. Инструмент в его руках казался женщиной, которая щедро дарит все свои сокровища возлюбленному. Вещи, дома, животные, люди легко подчинялись Шитаншу, подпадая под его власть и обаяние. И я не мог не признать это свойство Шитаншу редкостным даром. Ему ничего не нужно добиваться, все ему дается без труда, словно по мановению волшебной палочки.

Когда мои «неповторимые» один за другим стали поддаваться соблазнам первого номера, я понял, что единственное средство спасти их — это переехать в другой дом. И вот однажды утром явился маклер и сообщил, что в районе Боронагора и Кашипура есть подходящий для меня дом. Вопрос был решен, и я пошел сказать жене, чтобы она готовилась к переезду. Но я не нашел ее ни в кладовке, ни на кухне. Она сидела в спальне у окна, прильнув лбом к оконной решетке. Заметив меня, она встала.

— Завтра переезжаем на новую квартиру, — сообщил я.

— Давай подождем до пятнадцатого, — неожиданно попросила Она.

— Почему? — удивился я.

— Скоро будет известно, как Шородж сдал экзамены. Я очень волнуюсь, мне не до сборов.

Образование Шороджа было одним из многих вопросов, которые я никогда не обсуждал с женой. И так, неожиданно мне пришлось отложить переезд на несколько дней. За это время я узнал, что Шитаншу скоро уезжает путешествовать по Южной Индии, таким образом, тень, нависшая над вторым номером, сама собой исчезнет.

Но вдруг поднялся занавес, и начался пятый акт жизненной драмы. Накануне того памятного дня Она ушла к матеке и, вернувшись лишь на следующий день, заперлась у себя в комнате. Она знала, что вечером в честь полнолуния у меня соберутся «неповторимые» и надо приготовить угощение. Я постучал к ней, чтобы обо всем договориться. В ответ — ни звука.

*приличива именно
теперь, когда
в людях
возбуждены все
темные
инстинкты и еще
не изжиты
чувства
негодования,
обиды, — чувства,
возбуждающие
месть. Нам
следует помнить,
что мы
переживаем не
только
экономическую
разруху, но
и социальное
разложение, всегда
и неизбежно
возникающее на
почве
экономического
развала.*

Максим Горький

— Ону! — крикнул я тогда.

Спусти несколько минут Она отперла дверь.

— У тебя все готово для вечера? — спросил я.

Жена молча кивнула.

— Не забудь про пончики с рыбой и соус из чернослива, их любят все.

Выйдя из комнаты, я увидел Канайлала.

— Сегодня приходите пораньше, К а н а й л а , — сказал я ему.

Канай удивился:

— Неужели мы соберемся сегодня?

— А почему бы и нет! Все готово — от книги новых рассказов Максима Горького и критических замечаний Рассела на учение Бергсона * до пончиков с рыбой и соуса из чернослива.

Канай остолбенело смотрел на меня.

— Не надо сегодня, «неповторимый», — помолчав, проговорил он.

В конце концов я добился от него, в чем дело. Накануне вечером мой шурин покончил с собой. Шорудж провалился на экзаменах и, не снеся упрёков мачехи, повесился на своем чадоре *.

— Откуда ты узнал об этом? — спросил я Канайлала.

— Первый номер сообщил.

Опять он! А произошло это вот как. Узнав о несчастье, Она не стала дожидаться экипажа, а, взяв с собой Одждоху, вышла на улицу и по дороге в дом отца наняла извозчика. Ночью Шитаншумаули, узнав обо всем от Одждоху, тотчас же помчался за ней, потом съездил в полицию и, взяв на себя все хлопоты, связанные с кремацией тела, оставался с Онилей до самого конца.

Взволнованный, прошел я на женскую половину дома. Я предполагал, что жена заперлась у себя в комнате. Но на этот раз она готовила соус из чернослива на веранде перед кухней. По выражению лица Онилы я понял, что сегодня ночью рухнула вся ее жизнь.

— Почему ты мне ничего не сказала? — с укором спросил я ее.

Онила взглянула на меня и промолчала.

Я съезился от стыда, потому что, спроси она меня: «Что могло это изменить?» — я не знал бы, что ответить. Что бы ни случилось в семье, горе или счастье, я всегда терялся.

— Брось все, О н и л а , — сказал я, — никто не придет.

— Почему? — спросила она, глядя на грудку очищенного чернослива. — Я столько наготовила. Неужели все выбрасывать?

— Но мы не можем сегодня заниматься чем бы то ни было.

— А вы не занимайтесь. Будьте просто моими гостями.

Слова Онилы несколько успокоили меня. «Не так уж сильно она переживает, — подумал я. — Значит, возьми свое действие мои беседы с ней».

Жена моя не могла похвастать ни способностями, ни

образованностью, она далеко не все понимала, но в обаянии ей нельзя было отказать.

Вечером у нас собралось всего несколько человек. Канайдал не пришел. Не пришли все, кто играл в теннис у первого номера.

Я знал, что на рассвете Шитаншумаули уезжает и они приглашены к нему на прощальный ужин.

Никогда еще Онаила не подавала такого роскошного угощения. Будучи человеком расточительным, я все же не мог не отметить про себя, что денег была потрачена уйма.

Гости разошлись лишь в половине второго ночи. Утомленный, я отправился спать.

– Пойдем? – сказал я жене.

– Я прежде уберу посуду.

Проснулся я около восьми утра. Под очками, которые я накануне положил на маленький столик в спальне, лежал листок бумаги. На нем рукой Онаилы было написано: «Я ухожу. Не ищи меня. Это бесполезно».

Я ничего не мог понять. Тут же на столике стояла жестяная шкатулка. Я открыл ее. В ней были сложены все украшения жены вплоть до браслетов (не было лишь железного браслета и браслета из ракушек). Здесь же, в шкатулке, лежала связка ключей, завернутые в бумагу рупии и мелкая монета – все, что осталось от расходов за месяц. Там же я нашел блокнотик со списком посуды и вещей, счета прачки, бакалейщика и молочника – словом, все, кроме ее адреса.

Постепенно я понял, что Онаила ушла навсегда. Я обошел весь наш дом, потом дом тестя – Онаила исчезла. Я никогда не задумывался над тем, что должен делать человек в моем положении. Сердце у меня разрывалось от горя. Неожиданно взгляд мой остановился на соседнем доме с плотно закрытыми окнами и дверьми. У ворот, покуривая трубку, сидел старик. Страшное подозрение обожгло душу: в то время как я весь ушел в изучение новейшей логики, старое как мир человеческое вероломство расставило сети в моем доме. О подобных явлениях я в свое время читал у таких крупных писателей, как Флобер, Толстой, Тургенев, и с наслаждением тщательно исследовал их суть. Но мне и не снилось, что когда-нибудь такая банальность может случиться со мной.

Когда первое потрясение прошло, я попытался поверхностно, будто незрелый философ, разобраться в случившемся. Смеясь над собой, я вспомнил день нашей свадьбы. Я думал о том, сколько пропало напрасно надежд, усилий, чувств, сколько дней и ночей, лет прожил я слепым, совершенно не замечая, что жена моя – живое существо. А стоило мне прозреть, как все лопнуло, будто мыльный пузырь. Я так и не научился понимать то, что из века в век, преодолевая жизнь и смерть, остается неизменным.

Оказалось, что перед обрушившимся на меня горем бессильна всякая философия. Во мне пробудилась моя первобытная душа и, истомленная жаждой, заметалась, рыдая. Я мерила шагами крышу, долго бродил по веранде, по опу-

стевшему дому. Потом зашел в комнату, где так часто жена в одиночестве сидела у окна, и, словно обезумев, стал лихорадочно перебирать ее вещи. Дернул ящик у зеркала, перед которым Онаила причесывалась, и оттуда вывалилась небольшая пачка писем, перевязанных алой шелковой лентой. Письма были от первого номера.

В сердце вспыхнуло пламя, я хотел сейчас же сжечь их. Но, причиняя мне невыносимые страдания, эти письма в то же время манили к себе. Я умер бы на месте, если б не прочел их.

Я перечитывал письма раз пятьдесят. Первое письмо было склеено. Онаила, наверное, сначала разорвала его, а потом бережно наклеила на лист бумаги. Вот оно:

«Я не опечалюсь, если ты разорвешь это письмо, не прочитав. Мне просто нужно излить душу. Я смотрел на мир широко открытыми глазами и вот впервые, в свои тридцать два года, увидел то, что поистине достойно созерцания. С моих глаз спала пелена, словно ты прикоснулась к ним волшебной палочкой. Прозрев, я увидел тебя и понял, что ты, несравненная, самое совершенное создание тобой же созданного мира. Я уже получил то, что мне причитается, больше мне ничего не надо, хочу лишь, чтобы ты услышала мою хвалу тебе. Будь я поэтом, я не стал бы писать этого письма, а заставил бы весь мир громко повторять мои стихи, славящие тебя. Знаю, ты не ответишь, но пойми меня правильно. Не думай, что я мог бы причинить тебе страдания, и молча прими мое поклонение. Если мне достанется хоть капля твоего уважения, я буду счастлив. Я не стану называть тебе своего имени, оно известно тебе».

Ни в одном из пяти писем я не нашел и намека на то, что Онаила отвечала на них. Любой ее ответ прозвучал бы диссонансом, волшебная палочка потеряла бы свою силу, смолкли бы гимны.

Удивительно! Восемь лет я провел с Онаилой бок о бок и только сейчас, прочитав письма чужого человека, понял, каким она была сокровищем. Да, я действительно был слеп. Я получил Онаилу из рук жреца, но оказался не в состоянии заплатить всю цену сполна, чтобы получить ее из рук всевышнего. И потому, что для меня всегда важнее было мое «Общество неповторимых» и новейшие теории логики, я не замечал жены и не смог завоевать ее сердца. И если другой, посвятивший Онаиле свою жизнь, завладел ею, кому я пойду жаловаться?!

В последнем письме Шитаншу писал:

«Я ничего не знаю о твоей жизни, но вижу, что душа твоя страдает. Это для меня огромное испытание. Мои руки, руки мужчины, не хотят оставаться в бездействии. Они стремятся вырвать тебя из-под власти неба, спасти от пустоты твоей жизни. Но боюсь, что и горе твое принадлежит только тебе. А разделить его с тобой я не вправе. Жду до рассвета. Если за это время твое небесное послание разрешит мои сомнения — на все решусь! Ураган страсти гасит светильник на нашем пути. Но я обуздаю свое сердце и буду повторять: "Будь счастлива!"».

Видимо, все сомнения рассеялись, и пути этих людей сошлись. По сей день письма Шитаншумаули звучат как заклинания моей души.

Шло время, я больше не увлекался чтением. Сердцем моим владело одно мучительное желание – еще хоть раз увидеть Онилу, я ничего не мог поделать с собой. И вот я узнал, что Шитаншумаули живет в горах Майсура.

Я поехал туда, несколько раз видел Шитаншу, он прогуливался один. Онилы с ним не было. Может быть, он бросил ее, обесчестив? Не в силах оставаться в неведении, я пошел к нему. Нет нужды пересказывать весь наш разговор.

– Я получил от нее одно-единственное письмо, – сказал Шитаншу. – Вот оно.

Он вынул из кармана покрытую эмалью золотую коробочку для визитных карточек, достал листок бумаги и протянул мне. «Я ухожу. Не ищи меня. Это бесполезно».

Тот же почерк, те же слова, то же число и та же половинка голубого листка, вторая хранится у меня.

*Если вы любите
какую-нибудь
книгу, не давайте
ее читать
никому на свете.*

НА ИСПОВЕДИ

Писатель всегда рад познакомиться с кем-нибудь из своих читателей. Для него это вполне простительная слабость. Многие думают: «Бедняга, что с него взять. Это ведь его единственная награда за все труды. Пусть себе порадуется». И писатель радуется, когда незнакомый человек кивает при упоминании его фамилии. Однако тут же следует и расплата. «Да-да, как же, – говорит незнакомый читатель. – Вы такой-то. Я много о вас слышал». Писатель опытный и умный должен был бы этим ограничиться и поспешить подалеже от читателя, унося с собой лестное сознание, что его слово действительно известно и находит отклик в душах. Но он приступает к расспросам и получает ответы: «Вы ведь пишете об астрономии, правда? Я читаю все, что вы публикуете. Не пропустил ни строчки. Очень, очень интересно». И вы, который не в состоянии найти на небе Полярную звезду, убеждаетесь, что вас приняли за другого. И чувствуете себя жалким самозванцем на троне, – самозванцем, над которым нависла угроза разоблачения.

Есть такой тип читателя, который вызывает при встрече с вами величайшее воодушевление. Он так горячо, так радостно вас приветствует, что поневоле приходит в голову: вот он, наконец, ваш идеальный читатель. Всю жизнь вас не оставляла надежда встретить в один прекрасный день этого идеального читателя, человека, который своим добрым отношением докажет вам, что работа, которую вы делаете, важна, необходима, ценна для блага человечества. Но радость ваша минутна. На смену ей спешит разочарование. Вы еще надеетесь услышать, как он относится к вашему последнему опусу, а он вдруг заявляет: «Я очень горд знакомством с вами, только скажите мне, пожалуйста, что вы пишете?» Что может писатель ответить на такой вопрос? Вы недоуменно моргаете и говорите: «Да так, знаете ли, в основном прозу». А он кисло спрашивает: «Прозу? Какую прозу?» Вы оказываетесь припертым к стене. Познакомились, завели разговор, вот теперь и расплачивайтесь, деваться некуда. И вы в тоске, запинаясь, начинаете излагать свои взгляды на художественную литературу. Речь ваша сбивчива, и при этом вас не покидает ощущение, что вы в чем-то оправдываетесь, пытаетесь себя обелить. Но, к счастью, собеседник прерывает вас на полуслове: «Я вообще не читаю художественную литературу. С детства. Тем не менее я очень рад был с вами познакомиться, я так много о вас слышал и вообще люблю встречаться с писателями».

В следующий раз, когда вам доведется встретиться с читателем, вы избегаете какого бы то ни было упоминания о се-

рзной художественной литературе и на его вопрос о том, чем вы занимаетесь, отвечаете так: «Пишу очерки, пародии, шутки и юмористические комментарии к текущим событиям», — на что, однако, следует такая реплика вашего читателя: «А-а, да-да, помню, я, конечно, читал ваши миниатюры, они очень милы, но почему бы вам не попробовать силы в чем-то более значительном, например в романе? Право, это вам должно быть по плечу. За роман, говорят, можно получить кучу денег». И тогда вы, идя по пути наименьшего со-



*Экслибрис работы
Ф. Мазереля.*

*Ч. П. Слоу. Фото
В. Крохина.*



противления, говорите: «Спасибо за совет. Я непременно попытаю удачи».

По-инному досаждают нам читатели, который нас переоценивает. Скажем, вы написали несколько пустячков, созвучных его чувству юмора, или высмеяли что-то, над чем он сам любит потешаться. Его это привело в такой восторг, что отныне для него вы — писатель-юморист. А надо сказать, что более опасной славы на свете не существует. Встречаясь

с вами, он заранее настроился на то, что сейчас вдоволь посмеется. Он смотрит вам в рот, и стоит вам сказать, допустим: «Жара сегодня, а?» — как он тут же раздражается хохотом. Он уловил в ваших словах скрытый иронический смысл. По его глубокому убеждению, черты вашего лица, самое дыхание исполнены юмора. Для него вы — клоун в печати. Один такой субъект дошел до того, что сказал мне как-то самым покровительственным тоном: «Все развлекаете человечество? Похвально, похвально».

Есть еще читатель, который, как только ему говорят, что его собеседник — писатель, тут же спрашивает: «Какие книги вы написали? Назовите мне все ваши произведения». Вы принимаетесь перечислять заголовки книг, созданных вами за десятилетия писательской деятельности, и в ответ слышите: «Всего десять книг за столько лет? Разве вы не можете писать по пятьдесят книг в год? Я слышал, что покойный Эдгар Уоллес писал две книги в неделю *... Кстати, будьте добры, пришлите мне все ваши книги и счет, разумеется, приложите. Я нахожу, что мы должны поддерживать индийских авторов. И хочу, чтобы наши дети читали современные индийские книги». Вы обещаете выполнить его просьбу, хотя, наверно, могли бы оказать ему услугу, объяснив, что вы писатель, а не книготорговец или что ваши произведения едва ли можно отнести к детской литературе. Иногда такой человек высказывает особое пристрастие к цифрам и фактам. Он желает узнать, сколько вы получили за тот или иной сценарий, или почем вам платят за колонку в такой-то газете, или какой доход дают вам при реализации ваших книг. Вы могли бы, наверно, ответить, что такого рода данные касаются только вас и вашего налогового инспектора, но вместо этого вы из вежливости даете ему ответ, да еще как можно более точный. А он не скрывает разочарования, узнав, что ваши доходы исчисляются отнюдь не миллионами.

Вся беда в том, что писатель в отличие от других людей, имеющих дело с публикой, работает вслепую. Актер имеет возможность лично наблюдать реакцию зрителей на его игру, музыкант безошибочно чувствует, как отзывается зал на его выступление, живописец может прийти и послушать, что говорит публика на его выставке, один только писатель лишен возможности видеть лицо читателя и слышать его непосредственные замечания. И слава богу. Это, я полагаю, защитное приспособление природы. Ибо на поверку, как известно, всегда оказывается, что либо писатель на голову выше своих произведений, либо наоборот. Встреча писателя с читателем неизменно приносит разочарование, которого, право, лучше было бы избежать. Помню одного человека, который ушел страшно расстроенный, после того как посетил меня дома. Вопреки своим ожиданиям он увидел у меня на полках книги других авторов, а не полные собрания моих собственных сочинений в тисненых золотом переплетах. Моя речь не искрилась юмором. И главное, я вообще оказался совсем не похож на тот воображаемый портрет, который он давно себе нарисовал.

Время милосердно, потому что позволяет забыть те книги, о которых необходимо забыть, и оставляет нам те, с которыми необходимо жить. Кое-кто из этого факта делает себе рекламу, пугая нас тем, что его поймут только в отдаленном будущем; кое-кто из критиков высказывается о книгах осторожно, как дельфийский оракул, чтобы в любом случае будущее признало за ним хотя бы частичную правоту. Как бы то ни было, но одни суждения время подтверждает, а другие — опровергает; оно и впрямь милосердно к читателю, но зато немилосердно к большинству книг.

Владимир Минаев

Самые черные мысли мои предназначены тем, кто берет у меня читать книги. Я не в силах простить человека, не вернувшего взятую с моей полки книгу. И не колеблясь сообщил бы ему, что я о нем думаю, если бы только имел такую возможность, но, как правило, книжный пират не склонен поддерживать со мной прежних дружеских отношений; он пригибается и затаивается у себя за садовой изгородью, дожидаясь, пока я пройду мимо; а встречаясь со мной на улице лицом к лицу, сразу ускоряет шаги с видом человека, срочно бегущего разыскивать доктора. Дело идет о чьей-то жизни, и ему просто недосуг вести пустые разговоры о жалкой книжонке, позаимствованной им в минуту слабости. Это худший вид книжного пирата. Он убежден, что просто свалая дурака, когда надумал проштудировать ту или иную книгу, ведь у такого занятого человека, как он, нет даже времени прочесть утреннюю газету. Позднее из этого развивается отвращение и к книге, и к ее владельцу. Сначала он еще говорит: «Я пока не прочел вашей книги, но хотел бы прочесть, если можно». И тот, кто ему эту книгу дал, человек, естественно, щедрый, отвечает: «О да, пожалуйста, можете поддержать ее еще. Вы так давно уже ее держите, было бы бессмысленно отдавать ее теперь, так и не прочитав». При следующей встрече владельцу книги уже как-то неловко спрашивать, когда же она будет возвращена. Так проходит месяц, другой, третий, наступает Новый год, а там, глядишь, и еще один Новый год, и вдруг вы спохватываетесь, что провалил на вашей книжной полке все еще существует. И при очередной встрече вы начинаете разговор с вопроса:

— Где книга?

— Какая книга? — не понимает он.

Когда же вам удастся оживить его память, он только говорит:

— А-а, эта. Надо будет поискать.

Вам, естественно, такой тон не по вкусу, и вы не отступаетесь:

— Вот и поищите прямо сейчас.

— Э, нет, сейчас не могу. Я, понимаете ли, сейчас, как бы вам сказать, занят.

Какое-то внутреннее чувство начинает шептать вам, что свою книгу вы больше никогда не увидите. Род человеческий предстает перед вами в самом невыгодном свете. И у вас нет слов. Махнув рукой, вы уходите.

При следующей встрече этот бесстыжий субъект говорит вам, словно делает одолжение:

— Да, книгу-то вашу я не нашел. Меня не было в городе, ездил, знаете, по делам. Наверно, она у моего шурина. Вы знакомы с моим шурином?

— Нет, не знаком. Возьмите же ее у него.

— Обязательно, обязательно, — машинально отвечает он.

— Или, может быть, мне самому пойти к нему и попросить свою книгу? Где ваш шурин?

— Вот это я как раз и должен выяснить. Я знаю, что он уезжал за границу.

– Тогда напишите ему. Беру на себя почтовые расходы.
– Нет, ему писать бесполезно. Он никогда не отвечает на письма.

Вы чувствуете, что ваша книга вот-вот затеряется где-то в бесконечности. При следующей встрече... впрочем, следующей встречи не бывает: ваш знакомый приседает за своим забором и больше знать вас не хочет.

И тогда вы делаетесь человеконенавистником. Почему мы не имеем права пожаловаться в полицию по поводу пропажи книги? При более совершенном миропорядке должна быть предусмотрена такая возможность. На следующих выборах я отдам свой голос за ту партию, которая наряду с неграмотностью, нищетой и болезнями намерена ликвидировать убийственный обычай брать у знакомых книги. Сейчас я изучаю все партийные программы и манифесты в поисках такого пункта.

Все мы хотим иметь книги и одновременно делить с другими удовольствие от их прочтения. А это невозможно, в чем каждый убеждается на собственном плачевном опыте. Если вы любите какую-нибудь книгу, не давайте ее читать никому на свете. Это надо взять себе за правило. Одно из двух: либо вы имеете книгу, либо вы отдаете ее читать знакомым – невозможно насытить волков и сохранить в целости овец. Я знаю только одного человека, которому удается одновременно и то и другое. Он одалживает книги и при этом сохраняет свою библиотеку. Дома у него большая, тщательно подобранная библиотека, и он с готовностью дает знакомым читать из нее книги – при условии, что каждый, кто берет у него книгу, будь это даже его собственный брат или сват, расписывается в особом гроссбухе, принимая на себя обязательство возвратить ее к определенному числу. За каждый просроченный день он взимает штраф в шесть пайс, а в случае потери книги неумолимо требует возмещения пропажи. Если бы кто-нибудь сказал ему: «Ваша книга, вероятно, у моего шурина, а где он сейчас, я не знаю», – он бы спокойно ответил: «Ведь вы же не позволили бы своему шуруну унести у вас из дома стул, пальто или серебряную ложку? Откуда же такая непростительная безответственность, когда дело касается книги? Я не желаю слышать о вашем шурине. Меня интересует только моя книга. Она стоит девять рупий шесть ан плюс почтовые расходы. Немедленно закажите ее в магазине и велите прислать по такому-то адресу». Этого книголюба упрекают в грубости, нахальстве, мелочности и прочих грехах. Но его все это несколько не тревожит. Он может, когда ни пожелает, протянуть руку и снять у себя с полки любимую книгу.

Как писатель, я нахожусь в особенно трудном положении. Я держу у себя в шкафу, вернее, стараюсь держать, не только книги, написанные другими, но и те, которые написал я сам. Для автора это простительная слабость. Он хочет иметь у себя в библиотеке свои собственные книги не из одного только тщеславия. Они могут ему понадобиться, например, для работы при переиздании. Или же они дороги автору как память, скажем первый экземпляр, полученный от

издателя. При выходе книги издатель препровождает автору для подношений всего шесть экземпляров. Их пять я готов раздавать желающим и хочу только иметь возможность сохранить для себя шестой. Однако где он? Всякий раз, как мне для той или иной цели бывает нужна какая-нибудь из моих книг, я беру ее в библиотеке. Почему бы моим знакомым не поступать так же, вместо того чтобы без зазрения совести повторять: «Ну на что вам свои книги?»

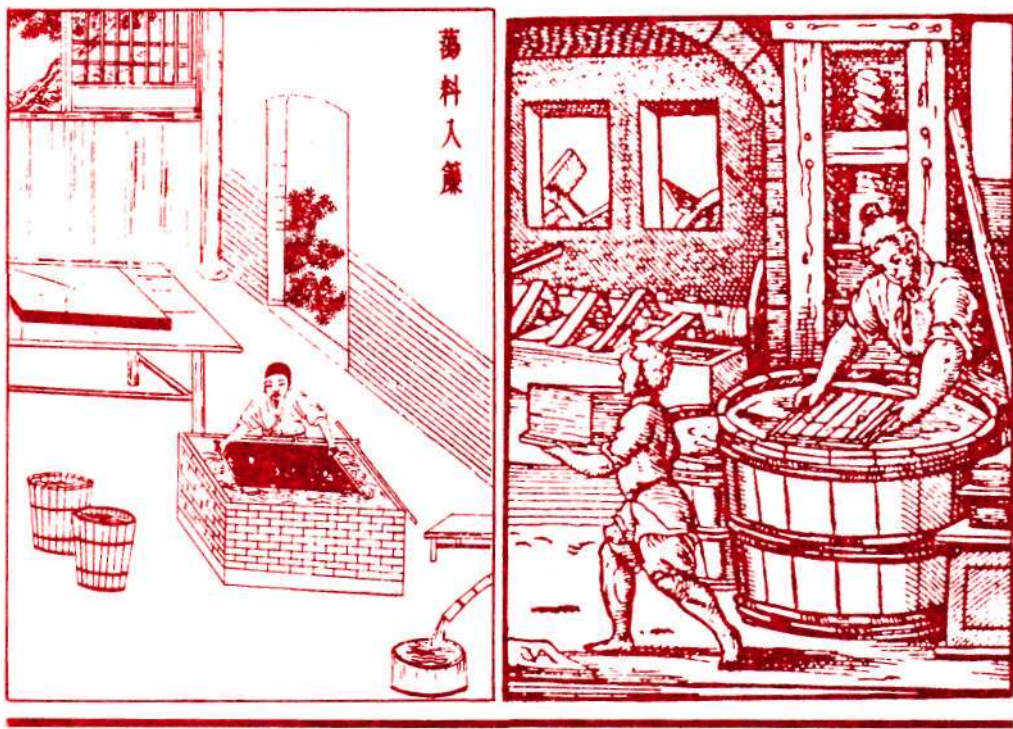
1960

КИТАЙ

Лу

1881—1936

Синь



Изготовление бумаги, изобретенной китайцами в I в. до н. э. Рисунок 1637 г.

Изготовление бумаги в Европе. Гравюра Д. Аннама. 1568.

Когда от содержания остается одно название, разочарование неизбежно.

**ЗАКУСКА
НА ХОДУ**

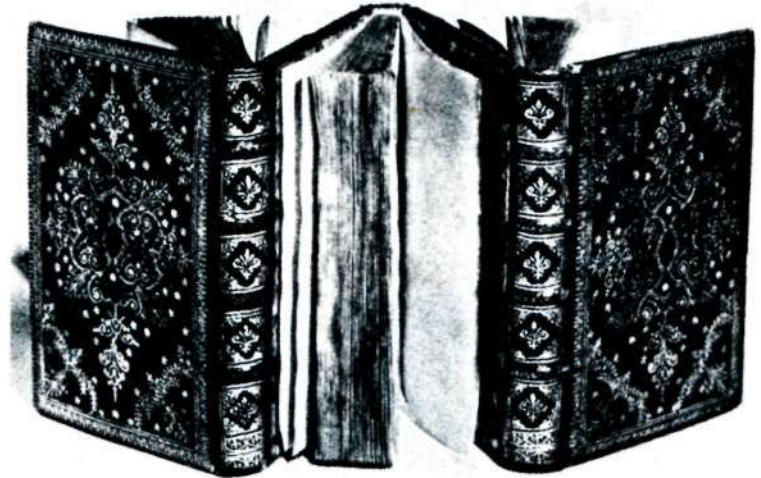
Выпуская много периодики и почти не уделяя внимания монографиям, наши издательства нагоняют тоску на любителей чтения. Большое число произведений малой формы и ничтожное количество крупной приводят в уныние. Человеческому любознательному не суждено выбраться из «обители скорби». Так обстоит дело с нашей печатью уже давно. И это стало еще более очевидно в свете немногих новшеств, введенных в последнее время.

Жители Шанхая — любители закуски на ходу. Прислушайтесь к выкрикам разносчиков за окном, какое разнообразие! Тут и печенье из засахаренных цветов корицы, сладкая каша из сердцевинки лотоса со свиным салом, пельмени с крабами в бульоне, а также глазированные бананы с кунжутными семечками, манго из стран южных морей, сладкие апельсины из Сиамы, лучшие арбузные семечки, фрукты на меду, оливки и т. д. и т. п. При хорошем пищеварении можно есть с утра до ночи, да и при плохом не повредит — все закуски в таких малых дозах, что их нечего и сравнивать с жирной рыбой либо со свиной. Говорят, что та-



*Водяные бумажные
знаки. XV–XVI вв.*

*Французский часослов
XVII в. (три книги
в одном переплете).*



кая пища полезна для здоровья, принимается между делом, а главное – очень вкусна.

Несколько лет назад издавалась такая полезная для здоровья закуска, называли ее то «Введением», то «Азбукой», то «Очерком». Тоненькая брошюрка стоила всего несколько гривенников, но, прочитав ее за полчаса, можно было постичь целую отрасль науки, всю литературу либо какой-нибудь иностранный язык.

Значит, пакетиком арбузных семечек, сваренных с пятью

ароматными приправами, можно насытиться на пять лет, расти и расцветать. Такие опыты проделываются годами, но безуспешно и приносят лишь разочарование. Когда от содержания остается одно название, разочарование неизбежно. Теперь, после неудачных опытов, уже очень немногие ищут эликсир бессмертия и секрет получения золота. Увлечение переходит на теплые источники и на игру в лотерею. Вот почему забота о полезном сменяется стремлением к вкусному. Даже под угрозой смерти житель Шанхая не откажется от своей привычки. Но закуска на ходу – это лишь закуска на ходу. Завели было еще один, отнюдь не новый вид мелкой прозы. С расцветом издательства старого Чжана появились «Обзоры записок о романе» – целый ящик закуски, но с закрытием этого предприятия от всей снеди осталась лишь горсточка. Количество книг еще уменьшилось. Откуда же в городе такая буря, такой шум? Оказывается, во всем виноваты надписи на красных новогодних фонарях у лавчонок, где рядом с древнейшим иероглифическим стилем «чжуань» бросается в глаза новый латинский алфавит.

Жители Шанхая по-прежнему питаются понемножку, но стали более чуткими, иначе они не подняли бы шума, хотя, возможно, у них ослабели нервы. И если это так, то будущее закуски на ходу внушает опасения.

**«ТОРГОВЛЕЙ
УТВЕРЖ-
ДЕННЫЕ»
МАСТЕРА
ЛИТЕРАТУРЫ**

Кончик кисти остер, им и приходится сверлить, чтобы проложить узенькую тропинку для слова, такую же узкую и тесную сейчас, как и дорога жизни (фраза в периодической печати была заменена на «больше никуда не пробиться». — Прим. автора). Остается только направить острие кисти против раздутых объявлений в литературных журналах.

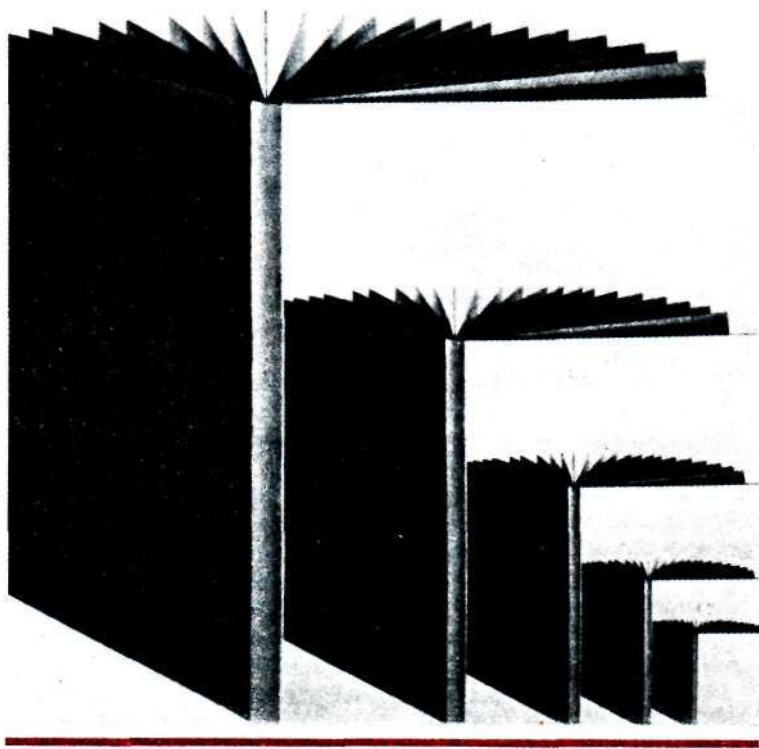
При взгляде на рекламу каждый писатель кажется признанным мастером, а китайская литература — ярким пламенем, озаряющим далекие пространства. Но ведь на нее толь-



Книга XX в.

ИСКУССТВО КНИГИ

'65/66



ко фыркают. Давно уже нет писателей, которые прятали в знаменитой горе произведение всей жизни * в ожидании, пока их отроет экспедиция археологов. Редко встречаются поэты, которые сами вырезали бы ксилографы своих стихотворений, брошюровали их в тоненькие тетрадки и дарили своим друзьям. Нынче все делается за гонорар. Неделю пишут, на другую помещают в газете. В одном месяце пускают в ход

ножницы и клей, в следующем выпускают книгу. Можно, пожалуй, покраснеть, когда говорят, что писатель на голодное брюхо думает лишь о служении обществу. Ведь даже благородный муж, который издевается над нуждающимся в гонораре, получит за свою статью деньги. К таким благородным, конечно, не относятся мастера литературы, обеспеченные окладом или приданым жены.

В общем, все основано на деньгах, и в Шанхае давно, уже не первый день, существуют самые разнообразные мастера

生患得聞知不墮地
獄及諸惡趣我等為
報如來大恩咸共守護
今廣流通尊重恭敬

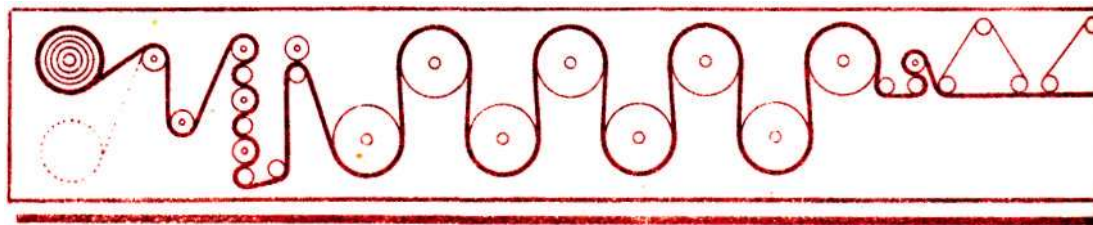
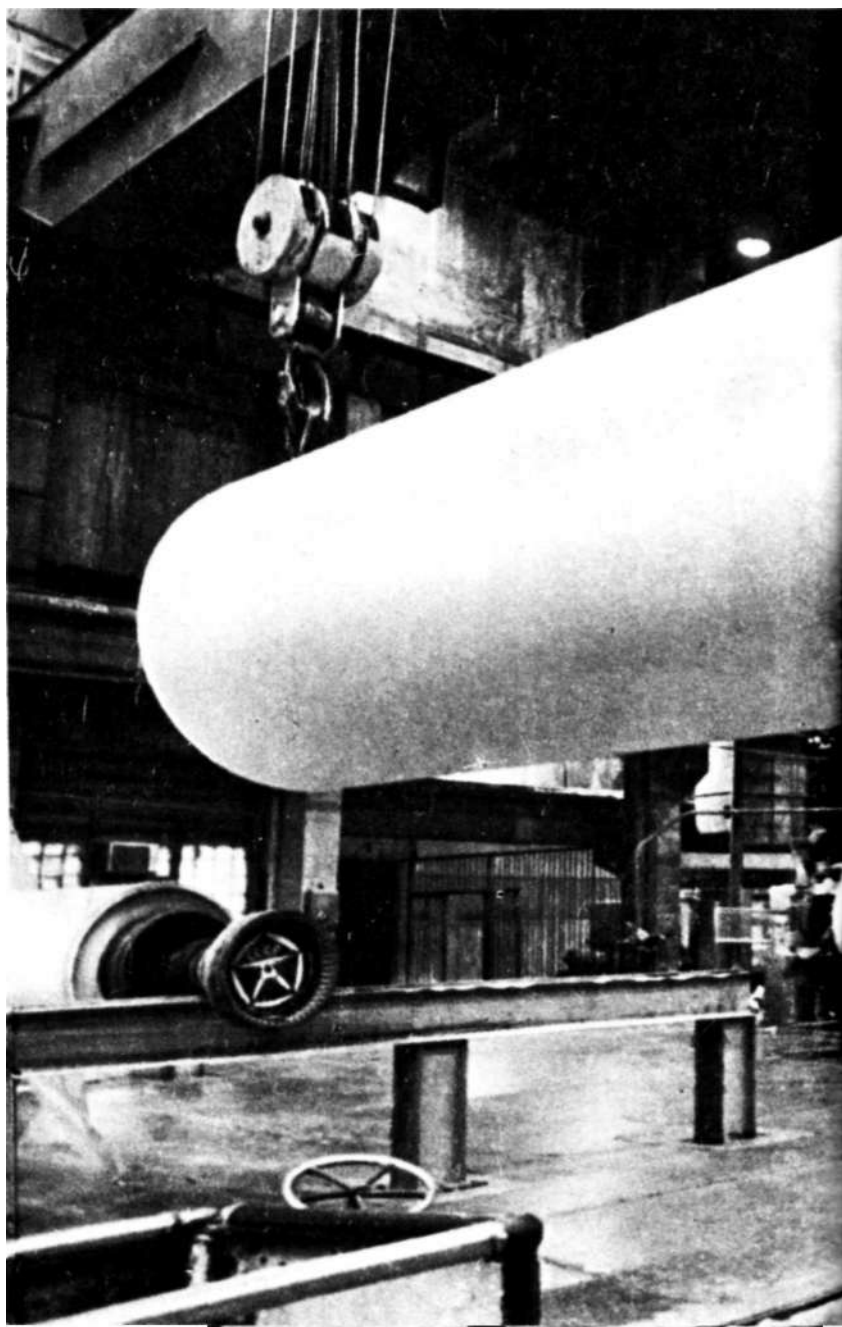
*Древнейший в мире
образец печатной
продукции с буддистскими
текстами (704—751).*

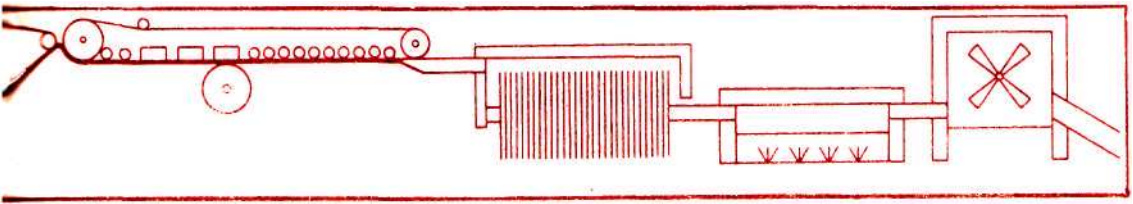
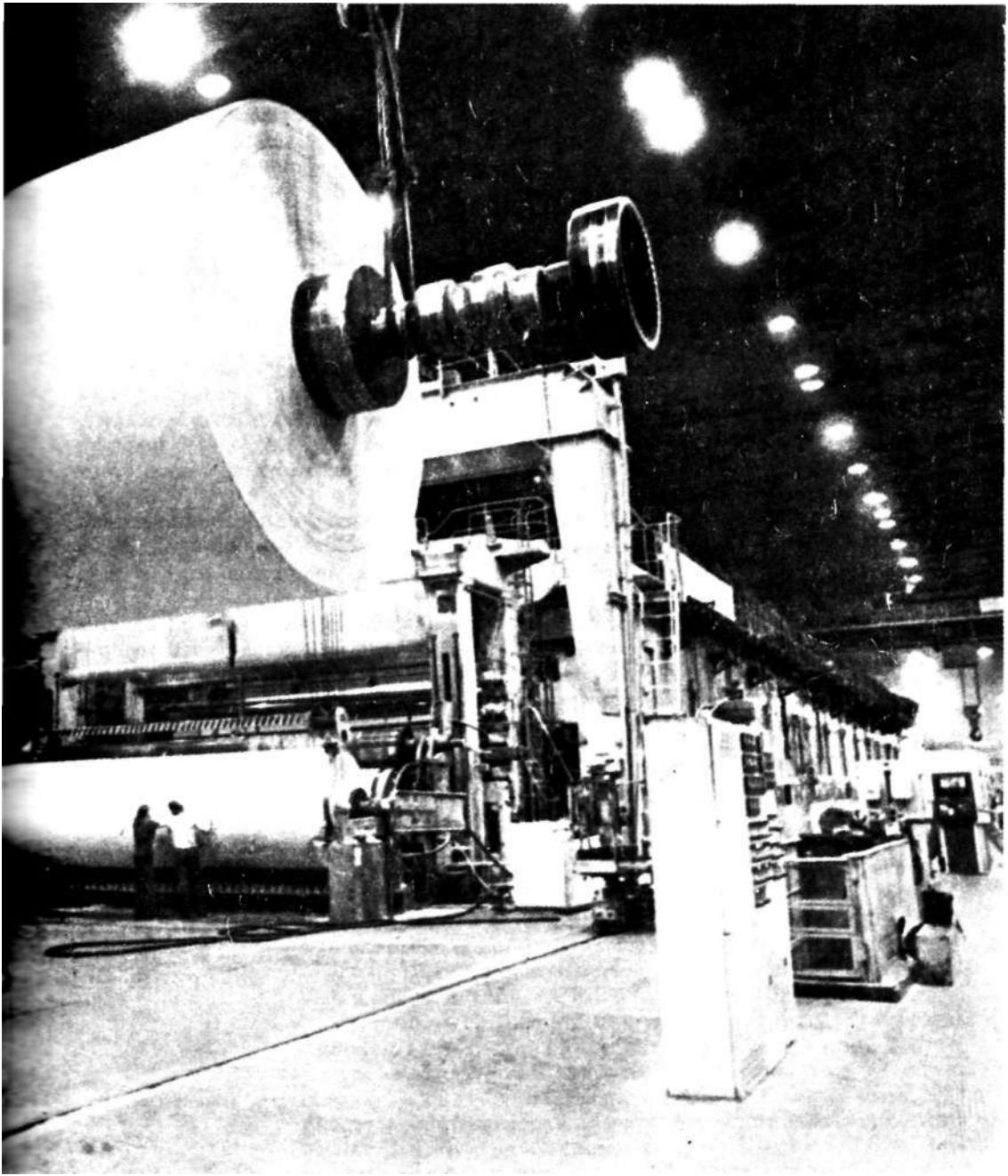
*Китайские ремесленники
за изготовлением
деревянных подвижных
литер. XI в.*



*Современный
целлюлозно-бумажный
комбинат.*

*Схема современного
процесса изготовления
бумаги.*





литературы, «утвержденные торговлей». Если в моду входит феодализм, объявление о выходе книги в свет гласит, что автор ее – мастер литературы феодализма. Во время революции писатель становится мастером революционной литературы, и, таким образом, пачка авторов возводится в ранг мастеров литературы. Новая серия книг новой фирмы – и новое объявление возвещает, что предшествующие произведения не представляют подлинно феодальной либо революционной литературы и только здесь товар лицом. Возводится в ранг мастеров литературы новая пачка авторов. Следующий по порядку торговый дом собирает такие объявления и издает их, как сборник материалов дискуссии; кто-то снабжает книгу критической статьей – и появляется еще один мастер литературы.

Имеется и другой метод. Собираются некие герои: несколько поэтов, прозаиков, один критик, – сговариваются между собой и учреждают некое общество, дают рекламу, развенчивают чужих, возвеличивают своих, а в результате возводят новую партию в ранг знаменитостей, также «торговлей утвержденных».

В общем, все основано на выручке, и впоследствии цена книг определяет подлинную стоимость таких мастеров, не скажу точно: скидка на двадцать процентов, а то и пять вэней за кипу.

Но бывают и исключения. Хотя лавочка закрывается и книги продаются по дешевке, это не означает, что литературная звезда закатилась – знаменитость пролезла наверх – в университет, в министерство, и трамплин ей больше не нужен.

ЯПОНИЯ

АКУТАГАВА

1892–1927

РЮНОСКЭ

*Мои сегодняшние
глаза — отнюдь
не мои
завтрашние...*

БУДУЩАЯ ЖИЗНЬ

Я не жду, что получу признание в будущие времена. Суждение публики постоянно бьет мимо цели.

О публике нашего времени и говорить нечего. История показала нам, насколько афиняне времен Перикла и флорентийцы времен Возрождения были далеки от идеала публики. Если такова сегодняшняя и вчерашняя публика, то легко предположить, каким будет суждение публики завтрашнего дня. Как ни жаль, но я не могу не сомневаться в том, сумеет ли она и через сотни лет отделить золото от песка.

Допустим, что существование идеальной публики возможно, но возможно ли в мире искусства существование абсолютной красоты? Мои сегодняшние глаза — это всего лишь сегодняшние глаза, отнюдь не мои завтрашние. И мои глаза — это глаза японца, а никак не глаза европейца. Почему же я должен верить в существование красоты, стоящей вне времени и места? Правда, пламя Дантова ада и теперь еще приводит в содрогание детей Востока. Но ведь между этим пламенем и нами, как туман, стелется Италия четырнадцатого века — разве не так?

Тем более я — простой литератор. Пусть и существует всеобщая красота, но прятать свои произведения на горе я не стану *. Ясно, что я не жду признания в будущие времена. Иногда я представляю себе, как через пятнадцать, двадцать, а тем более через сто лет даже о моем существовании уже никто не будет знать. В это время собрание моих сочинений, погребенное в пыли, в углу на полке у букиниста на Канда *, будет тщетно ждать читателя. А может быть, где-нибудь в библиотеке какой-нибудь отдельный томик станет пищей безжалостных книжных червей и будет лежать растрепанным и обгрызенным так, что и букв не разобрать. И однако...

Я думаю — и однако. Однако, может быть, кто-нибудь случайно заметит мои сочинения и прочтет какой-нибудь короткий рассказец или несколько строчек из него? И может быть, если уж говорить о сладкой надежде, может быть, этот рассказ или эти строчки навеют, пусть хоть ненадолго, неведомому мне будущему читателю прекрасный сон? Я не жду признания в будущие времена. Поэтому понимаю, насколько такие мечты противоречат моему убеждению.

И все-таки я представляю себе — представляю себе читателя, который в далекое время, через сотни лет, возьмет в руки собрание моих сочинений. И как в душе этого читателя туманно, словно мираж, предстанет мой образ...

Я понимаю, что умные люди будут смеяться над моей глупостью. Но смеяться я и сам умею, в этом я не уступаю никому. Однако, смеясь над собственной глупостью, я не могу

не жалеть себя за собственную душевную слабость, цепляющуюся за эту глупость. Не могу не жалеть вместе с собой и всех других душевно слабых людей...

1926

556

ЧИТАТЕЛИ
ПРОЗЫ

Насколько мне известно, нынешние читатели по большей части вычитывают из повестей сюжет. Затем иные вздыхают по описанной там жизни. Не стану отрицать, при этом душа



может впасть в самые неожиданные состояния.

Люди, с которыми я сейчас знаком, почти все стеснены в средствах, и живется им несладко, читают же они массовую литературу, где рассказывается о роскоши и изысканности. И нимало не интересуются книгами, где речь идет о жизни, похожей на их собственную.

Есть и третья группа, которая, в отличие от второй, ищет в книгах жизнь, близкую им самим.

Я не считаю, что все это дурно. Три эти умонастроения уживаются одновременно и во мне самом. Я люблю читать книги с захватывающим сюжетом. И, пожалуй, люблю повести, в которых описана иная, чем у меня, жизнь. Ну и, разумеется, люблю читать о том, что мне близко.

Однако, когда я берусь судить об этих произведениях, мои оценки перестают зависеть от моих настроений. И если я (как читатель) чем-то отличаюсь от рядового читателя, то, наверно, именно этим. Чем же определяются мои суждения? Пожалуй, не чем иным, как глубиной впечатления. При этом, надо думать, играет свою роль и занимательность интриги, и близость или удаленность повествования от моей собственной жизни. Но я верю, что есть еще нечто свыше всего этого.

Ту часть читателей, которую волнует это нечто, и именуют классом читателей. Или еще – классом литературной интеллигенции. Этот класс чрезвычайно узок. Наверно, даже уже, чем на Западе. Я не собираюсь сейчас разбираться – хорош этот факт или плох. Я его просто констатирую.

1927



«Женщина-книгоноша».
Японская гравюра
XVIII в.

*Самая лучшая
и драгоценная
книга — та,
которая по
прочтении не
оставляет меня
в прежнем
состоянии...*

Самая лучшая и драгоценная книга — та, которая по прочтении не оставляет меня в прежнем состоянии; книга, которая приводит в движение во мне новое благородное чувство, или новое великое стремление, или новую высокую мысль; книга, которая двигает меня с места или заставляет двигать находящихся кругом; книга, которая пробуждает меня от глубокого сна, или заставляет выскочить из грязи равнодушия, или ведет на дорогу, где я развяжу один из жизненных узлов. Но такая книга, несмотря на массу выпускаемых теперь «свободными» типографиями сказок и романов, стала похожей на ту достойную женщину, которую разыскивал владыка наш Сулейман.

ЗЕРНА
ДЛЯ
СЕЯТЕЛЕЙ

Грек Клеомброт бросился в море, прочитав книгу Платона о бессмертии души *. В этом удивительном поступке — великая похвала и автору и читателю одновременно. Если бы Платон не убедил Клеомброта своими доводами, тот не пожертвовал бы жизнью, чтобы доказать свою веру. Если бы Платон не был уверен в том, что пишет, то он не мог бы убедить Клеомброта. Такая книга, действительно, приводит читателя в движение, но слишком сильно — она сразу двигает его из этого мира. Значит, и пользы от нее немного. На наше счастье, эта книга не переведена на арабский язык. С другой стороны, хотя я и сомневаюсь в здравом уме Клеомброта, но несколько не сомневаюсь в его храбрости, которая заставила его поступить сообразно с тем, что он считал правильным...

Лучшее и прекраснейшее благодеяние — то, которое оказывают одновременно от сердца и от ума; во всем же остальном — ложь и притязательность. Дай мне какой-нибудь пищи, я ее съем, а спустя немного опять окажусь таким же, каким был до твоего благодеяния, — твои крохи ничего не изменили в моей душе. Но дай мне красивую, высокую мысль — и она растворится в сердце и мозгу, сольется с моей душой и перейдет от меня в наследство векам. Во всякой силе гуманной, то есть умственной и духовной, есть доля чистого, неподдельного добра. Если в тебе, брат мой, есть частица этой гуманной силы, то это добро будет исходить от тебя — хочешь ты или нет, и будет мне служить на пользу — хочу я или нет.



*Экслибрис Всесоюзного
общества книголюбов.*

*«Багдадские книголюбы».
Арабская миниатюра
XII в.*



ЕГИПЕТ

АББАС МАХМУД

1889–1964

АЛЬ-АККАД

*Когда я читаю,
то
придерживаюсь
правила
извлекать из
каждой
страницы
таящуюся в ней
мысль.*

ЧАСЫ,
ПРО-
ВЕДЕННЫЕ
СРЕДИ
КНИГ

Книги – словно люди. Есть среди них и солидный господин, и лукавый хитрец, и ослепительный красавец, и наивный простаки, и человек понятливый, но нередко ошибающийся. Встретишь среди них и отступника, и неуча, и благонаправленного, и распутника. Мир всех их вмещает. И библиотека будет полной лишь тогда, когда она будет полным подобием мира.

Наставники говорят тебе: «Читай то, что приносит тебе пользу». А я говорю: «Нет. Извлекай пользу из самого чтения, ибо как узнаешь ты, какую пользу принесет тебе книга, прежде чем ты прочтешь ее?»

Читатель, который читает лишь изысканные книги, подобен больному, который ест изысканные кушанья. Это указывает скорее на болезнь желудка, нежели на хороший вкус.

Знай, что есть книги тощие и толстые. Известно, что жирная еда вредна больному желудку и что нет такой тощей еды, чтобы здоровый желудок не извлек бы из нее питательное вещество, придающее живость и бодрость. Если ты болен желудком, то избегай жирного, так же как ты избегаешь постного. А если ты из тех, у кого желудок здоров, то знай, что тебе годится всякая еда.

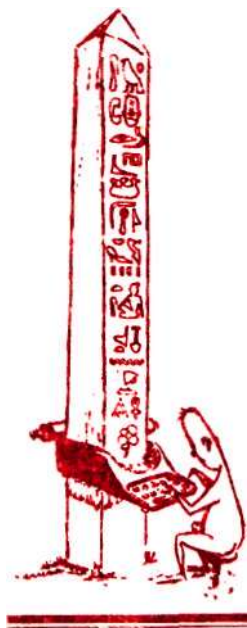
Если тебя утомил вид, который ты наблюдаешь сейчас, то потом ты уже не пожелаешь смотреть на него; а если утомил тебя голос, который ты сейчас слышишь, то на старости лет ты уже не захочешь слышать его. Не знаю, откуда у читателей привычка читать книгу один раз. Ведь книга содержит в себе больше таинственных символов и простора для обозрения окружающего, чем вид и голос. Если твой ум развит более, нежели чувства, то тебе лучше всего возвращаться к прочитанному – этим проверяется развитие твоей мысли. Кто понял, что прочесть книгу – вовсе не значит пробежать ее глазами и что разобраться в ней – вовсе не значит просто заучить наизусть ее страницы, тот, без сомнения, должен перечитывать книгу как можно чаще, потому что книга, которую прочел дважды, глубже и значительней двух книг, которые ты прочел один раз.

Знай также, что нет книги дороже и прекраснее, чем та, которую тебе не терпится тотчас же перечесть, и нет книги более пустой и ничтожной, чем та, что ты закрываешь с легким сердцем, чтобы более к ней не возвращаться. Быть может, тебе встретится пустая, но витиевато написанная книга, которая привлечет тебя своей замысловатостью, и ты примешься разглядывать ее со всех сторон в надежде добраться до ее глубин – а глубин-то у нее нет. А быть может, тебе встретится достойная, полезная книга, так что к концу ее ты

испытаешь чистую радость, и этого тебе довольно. Мы знаем людей, которые продолжают настойчиво тянуться к скупцу, хотя он им отказывает, и отворачиваются от щедрого благодетеля, когда он их одаряет. Но при чтении ты им не уподобляйся.

561

Когда я читаю, то придерживаюсь правила извлекать из каждой страницы таящуюся в ней мысль. Иногда я беру книгу, открываю ее наугад – если только она не из тех книг, какие следует читать целиком, от начала до конца, – и внима-



ние мое приковывает к себе какое-нибудь суждение или фраза, наводящие на размышления, тогда я погружаюсь в раздумье, откладывая книгу и в тот день уже не заглядываю в нее или же берусь за другую книгу. Таков мой обычай, которому я следую в отношении и самых дорогих, и самых пустых книг. Поначалу я не делаю между ними различия. Но неотрывно я буду читать лишь ту книгу, сюжет которой полностью захватит меня и мысль сочинителя не позволит мне ни на миг уединиться с иными мыслями.

Теперь ты знаешь, что я думаю о книгах, как я читаю.
Давай же читать!

Хорош был бы я, если бы вздумал читать новые книги.

ЧИТАЮЩАЯ ПУБЛИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ О КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ

– Желаете посмотреть книги? Пожалуйста, сэр! – сказал он. Потирая руки, с самым учтивым видом он направил на меня сквозь очки острый взгляд.

– Вон там, в углу налево, вы можете отыскать кое-что интересное, – продолжал он. – У нас имеется целая серия «Библиотеки универсальных знаний от Аристотеля до Артура Бальфура» – семнадцать центов за штуку. Или, может быть, вы желаете посмотреть «Пантеон почивших писателей» – по десять центов? Мистер Спэрроу! – крикнул он. – Покажите джентльмену наши новые издания классиков – десятицентовую серию.

Он подозвал продавца и забыл обо мне.

Иначе говоря, он понял, кто я. Совершенно незачем было мне покупать себе на Бродвее зеленую фетровую шляпу и спортивный галстук в горошек, каждая горошина величиной с пятицентовую монетку. Эти скромные украшения не могли скрыть души, таящейся за ними. Я был профессором, и он это знал или, вероятно, в силу профессиональной привычки, сумел определить это в одно мгновение.

Владелец крупнейшего в округе книжного магазина умеет различать клиентов. И он, конечно, знал, что я, профессор, не представляю для него особого интереса. Я заглянул в этот магазин так, как вообще профессора заглядывают в книжные магазины, точь-в-точь как оса заглядывает в открытую банку с вареньем. Он знал, что я пробуду здесь часа два, буду мешать всем и в конце концов куплю какое-нибудь дешевое издание: «Диалоги» Платона, или «Прозаические произведения» Джона Мильтона, или «Опыт о человеческом разуме» Локка, или еще какую-нибудь чепуху в этом роде.

Что же касается настоящего вкуса к литературе – способности оценить только что вышедший двухдолларовый роман в красочной весенней обложке с изображением на фронтиспise пары, танцующей т а н г о , – то его у меня не было, и он это прекрасно знал.

Ко мне он, конечно, относился с презрением. Однако в книжных магазинах, как известно, считается признаком хорошего тона, когда где-нибудь в углу торчит профессор и копается в старых книгах. Настоящим покупателям это нравится.

И потому даже такой современный делец, как мистер Селлер, скрепя сердце терпел мое присутствие где-то в закутке магазина. А я благодаря этому имел возможность наблюдать его методы обращения с настоящими покупателями – методы, должен сказать, настолько эффективные, что неда-

ром все издательства считают мистера Селлера столпом, на коем зиждется литература Америки.

Я вовсе не собирался, стоя в углу, подслушивать, словно шпион. Просто меня заинтересовал новый перевод книги Эпиктета «Нравственные рассуждения». Книга эта была издана очень изящно, хорошо переплетена и предлагалась покупателю всего за восемнадцать центов. И у меня возникло жгучее желание купить ее, но потом я счел более разумным сначала внимательно ее просмотреть.



Фото В. Стигмеева.

Не успел я пробежать первые три главы, как мое внимание было отвлечено разговором, происходившим за прилавком.

– Вы уверены, что это его последний роман? – спрашивала мистера Селлера какая-то модно одетая дама.

– О да, миссис Рэсселер! – отвечал хозяин. – Уверю вас, это его последний роман. Должен сказать вам, что мы получили эти книги только вчера.

И он указал на огромную кучу книг в ярких сине-белых обложках. Я разобрал издали название книги, напечатанное огромными золотыми буквами, – «Золотые мечты».

– О да! – повторил мистер Селлер. – Это последний роман Слеша. Он пользуется необыкновенным успехом.

– Прелестно, – улыбнулась дама. – А то, знаете, иногда попадаешь впросак. На прошлой неделе я купила у вас две книги, которые мне с виду очень понравились, но, придя домой, я обнаружила, что они были изданы целых полгода тому назад.

– Ах, боже мой, миссис Рэсселер, – сказал хозяин извиняющимся тоном. – Это печальное недоразумение. Позвольте прислать за ними, и мы с удовольствием их вам обменяем.

– Не беспокойтесь, – ответила дама. – Сама я, конечно, читать их не стала, я отдала горничной. Та даже и не заметит, что они изданы полгода назад.

– Конечно, конечно, – согласился мистер Селлер, любезно улыбаясь. – Но должен сказать вам, сударыня, – продолжал он, принимая тон модного книготорговца, – что



Фото В. Богданова.

Рисунок А. Филонова.

такие ошибки иногда бывают. Не далее как вчера у нас произошел весьма досадный случай. Один из наших старейших покупателей забежал купить несколько книг, чтобы взять их с собой в морское путешествие. Он выбирал их, видимо, просто по названиям, как это любят делать мужчины, и, прежде чем мы успели сообразить, что, собственно говоря, произошло, он унес две книги, вышедшие еще в прошлом году. Узнав об этом, мы дали ему на пароход телеграмму, но боюсь, было уже поздно.

– Ну, а эта вот? – спросила дама, лениво листая страницы. – Как она? Ничего? О чем тут?

– Чрезвычайно *сильная* вещь! – воскликнул мистер Селлер. – Можно сказать, шедевр! Критики утверждают, что это самая сильная книга сезона. Она имеет э-э... – Тут мистер Селлер сделал паузу, и его манера напомнила мне мою собственную манеру, когда мне приходится объяснять студентам то, чего я сам не знаю. – Сильная вещь, исключительно сильная. Самая сильная в этом месяце. Не удивительно, –

добавил он, переходя к более легкой для него теме, — что она имеет такой необыкновенный успех.

— А у вас, я вижу, большой запас этих книг, — сказала дама.

— О да! Но они будут быстро распроданы. Эта книга, знаете ли, несомненно вызовет сенсацию. Собственно говоря, в известных кругах даже поговаривают, что ее не следовало...

Конец фразы мистер Селлер произнес тихим, вкрадчивым голосом, и я ничего не мог расслышать.

— В самом деле? — воскликнула миссис Рэсселер. — В таком случае я ее беру. Нужно же знать, что это за книга, о которой так много говорят.

Она уже начала застегивать перчатки и поправлять свое боа, которым успела смахнуть на пол с прилавка пасхальные открытки, как вдруг что-то вспомнила:

— Ах, чуть было не забыла! Не будете ли вы так любезны отобрать что-нибудь для моего мужа и отослать на квартиру вместе с этой книгой? Он уезжает на отдых в Виргинию. Вы же знаете, какие книги любит мой муж, не так ли?

— Безусловно, сударыня! Мистер Рэсселер обычно читает произведения о... о... Мне кажется, он покупает книги главным образом на тему о...

— О путешествиях и тому подобное, — подсказала дама.

— Совершенно верно! Я думаю, у нас здесь найдется то, что должно понравиться мистеру Рэсселеру.

Владелец магазина указал на прилавок слева, где стоял целый ряд изящно изданных книг: «Семь недель в Сахаре» — семь долларов; «Шесть месяцев в фургоне» — шесть пятьдесят нетто; «Путешествие на быках» — два тома, четыре тридцать, скидка двадцать центов.

— Мне кажется, он уже читал все это, — сказала миссис Рэсселер. — Во всяком случае, у нас дома очень много книг, похожих на эти.

— Весьма возможно. Но вот еще — «Среди людоедов Корфу». Нет, эту, кажется, он недавно купил. «Среди...» э-э-э... Эту тоже, кажется, он недавно купил. Но вот эта ему, несомненно, очень понравится: «Среди обезьян Новой Гвинеи» — десять долларов.

Тут мистер Селлер положил руку на кипу новых книг — не меньшую, чем огромная груда романа «Золотые мечты».

— «Среди обезьян», — повторил он почти нежно.

— Какая дорогая! — заметила дама.

— Совершенно верно, очень дорогая, — с энтузиазмом подхватил мистер Селлер. — Видите ли, миссис Рэсселер, здесь ценятся иллюстрации — настоящие фотографии. — Он начал быстро перелистывать книгу. — Настоящие фотографии настоящих обезьян. А бумага! Обратите внимание на бумагу! Должен вам сказать, сударыня, что каждый экземпляр этой книги нам самим стоит девять долларов девятью центов. Мы на ней ничего не зарабатываем. Но мы торгуем ею ради удовольствия.

Каждому покупателю, видимо, желательно знать все подробности технической стороны дела и, несомненно, при-

ятно, что книгопродавец терпит убытки на книгах. Насколько я мог судить, это были две аксиомы коммерческих приемов мистера Селлера.

И поэтому вполне естественно, что миссис Расселер купила «Среди обезьян». Спустя минуту мистер Селлер уже давал инструкции продавцу записать адрес на Пятой авеню. Не переставая низко кланяться, он проводил даму до самых дверей.

Когда он вернулся к прилавку, его поведение резко изменилось.

– С этими обезьянами, – пробормотал он, обращаясь к продавцу, – как видно, придется повозиться.

Но у него не было времени для дальнейших рассуждений. В магазин вошла другая дама. По ее глубокому и весьма дорогому трауру и задумчивому выражению лица даже не такой наметанный глаз, как у мистера Селлера, мог бы уловить, что перед ним сентиментальная вдова.

– Что-нибудь новенькое из беллетристики, – повторил мистер Селлер. – Слушаю, сударыня. Вот очаровательная вещица – «Золотые мечты». – Он почти влюбленно произнес название книги. – Очень приятный роман, удивительно приятный. Если угодно знать, сударыня, критики утверждают, что это самое приятное произведение из всего, что вышло из-под пера мистера Слеша.

– А это действительно хорошая книга? – спросила дама.

Я начал убеждаться, что каждый покупатель задает подобный вопрос.

– Очаровательная! – воскликнул мистер Селлер. – Это роман, очень простой, приятный и удивительно очаровательный. В рецензиях так и говорится – самая очаровательная книга этого месяца. Моя жена читала ее вслух вот только вчера вечером. Слезы мешали ей читать...

– Надо полагать в таком случае, что это вполне невинная книга, не так ли? – спросила вдова. – Я хочу подарить ее своей дочурке.

– Совершенно невинная, сударыня! – подхватил мистер Селлер почти отеческим тоном. – Собственно говоря, книга написана в старом духе, как писали в доброе старое время. Совсем как... – здесь мистер Селлер остановился и с некоторым сомнением посмотрел на даму, – как Диккенс, Филдинг, Стерн и другие. Эти книги у нас покупает духовенство, сударыня.

Вдова купила «Золотые мечты», которые ей завернули в зеленую глянцевою бумагу, и вышла из магазина.

– Нет ли у вас чего-нибудь для легкого чтения во время летнего отдыха? – спросил следующий покупатель громким, бодрым голосом. У него был вид маклера, уезжающего в отпуск.

– Да, – сказал мистер Селлер, и лицо его расплылось в широчайшую улыбку. – Вот извольте: превосходная вещь – «Золотые мечты»! Самая веселенькая книга этого сезона! Удивительно смешная! Моя жена читала ее вслух вот только вчера вечером. Она просто давилась от смеха.

– Сколько стоит? Доллар? Полтора? Ладно, заверните!

На прилавке раздался звон монет, и покупатель вышел. Я начал постигать, где в книжном магазине место профессору, желающим купить Эпиктета и за восемнадцать центов и серию «Мировые классики» по двенадцать центов за выпуск.

– Слушаю, господин судья, – обратился мистер Селлер к следующему клиенту, внушительной, важной личности в шляпе с широчайшими полями. – Вам морские рассказы? Сию минуточку! Прекрасное чтение для тех, чей ум перегружен работой, как, к примеру сказать, у вас. Вот новинка – «Среди обезьян Новой Гвинеи». Раньше книга стоила десять долларов, теперь – четыре с половиной. Только одно издание обошлось нам в шесть восемьдесят. Уже почти все распродано. Благодарю вас, господин судья. Послать на квартиру? Слушаю! До свидания. Всего лучшего!

Покупатели приходили и уходили один за другим. Я заметил, что, хотя магазин был полон книг – их тут было по крайней мере тысяч десять, – мистер Селлер всем предлагал только две. Каждая женщина, входившая в магазин, уходила с «Золотыми мечтами», каждому мужчине вручался экземпляр «Обезьяны Новой Гвинеи». Одной покупательнице «Золотые мечты» предлагались как самая лучшая книга для летнего отдыха, другой – как самая лучшая книга *после* отдыха. Третья покупала ее для чтения в ненастную погоду, четвертая – как подходящее чтение в солнечный день. «Обезьяны» выдавались за рассказы о приключениях на море, на суше, в джунглях и в горах, а цена назначалась в соответствии с тем, как мистер Селлер определял покупательную способность клиента.

Наконец, после двух часов непрерывного потока покупателей, магазин ненадолго опустел.

– Уилфред, – сказал мистер Селлер, обращаясь к старшему продавцу, – я иду завтракать. Нажимайте вовсю на эти две книги. Еще денька два повозимся с ними, а потом снимем, к черту! По дороге забегу к издателям, Докему и Дискаунту. Устрою им скандал по поводу этих книг и посмотрю, как они там у меня попляшут.

Решив, что мне пора уходить, я подошел к мистру Селлеру с Эпиктетом в руке.

– Слушаю, сэр, – сказал он, опять принимая свой профессиональный тон. – Эпиктет. Очаровательная вещица. Восемнадцать центов... Благодарю вас. Быть может, вы подберете себе еще что-нибудь вон на той полке? У нас найдется еще несколько книг, которые могут вас заинтересовать. Там есть Аристотель в двух томах – прекрасная вещь, неудобочитаемо, но вам это может понравиться. Цицерон получен только вчера – штука замечательная, правда, переплет слегка попорчен сыростью. Макиавелли – исключительный труд, хотя книга довольно растрепанная, без переплета, но зато редкое, древнее издание, сэр, если вы знаток в этом деле.

– Нет, благодарю вас, – сказал я. – Затем, поддавшись непреодолимому любопытству, я спросил: – Вот эту книгу,

«Золотые мечты», вы, как видно, считаете замечательным произведением?

Мистер Селлер бросил на меня пронизательный взгляд. Он знал, что я не собираюсь покупать книгу, и, возможно, как иной раз бывает у простых смертных, ему захотелось пооткровенничать.

Он покачал головой.

– Никуда не годная книга, сэр! – сказал он. – Издатели навязали ее нам, и приходится делать все, что в наших силах. Как я понимаю, они с ней провалились и теперь обратились к нам за помощью. Они ее широко рекламируют и, быть может, кое-как протаскают. Трудно сказать, как это получится, но шансы есть. Мы не теряем надежды, что нам удастся натравить на книгу церковников. Тогда, конечно, дело будет в шляпе. Но если это не выгорит, то все пропало. Кажется, совершенно никудышная книга.

– Как? Разве вы не читали ее? – спросил я.

– Боже упаси! – воскликнул мистер Селлер. У него был вид владельца молочной фермы, которому предложили стакан его собственного молока. – Хорош был бы я, если бы вздумал читать новые книги. С меня хватит, что я успеваю следить за их появлением.

– Но те, кто купил у вас эту книгу, – продолжал я, совершенно озадаченный, – разве не будут разочарованы?

Мистер Селлер покачал головой.

– Нет, нет, ничуть, сэр, – сказал он. – Дело, видите ли, в том, что они ее читать не будут. Они никогда ничего не читают.

– Но ведь вашей жене, – настаивал я, – этот роман очень понравился.

Лицо мистера Селлера расплылось в улыбке.

– Я не женат, сэр, – сказал он.

США

ШЕРВУД

1876–1941

АНДЕРСОН

*Книги, не
прочитанные
и застоявшиеся
на полках, сами
бросаются
к любому, кто
выкажет
интерес к ним.*

[СТРАСТЬ
К ЧТЕНИЮ]

*Когда хунта
Пиночета сжигала
тысячи книг на
улицах Сантьяго,
она сжигала не
просто бумагу, не
просто романы или
стихи. На свой лад
она сжигала
читателей этих
книг и тех, кто их
написал.*

Хулио Кортасар

Кто, как я, не имел возможности провести свои юные годы в школе, тот неизбежно обращается к книгам и к людям, непосредственно его окружающим; только в них он может почерпнуть знание жизни, и к ним я и обратился. Какой жизнью жили люди в книгах! Чаще всего это были люди столь уважаемые, что их проблемы были совершенно чужды мне, или столь хитрые и тонкие злодеи, каким я и не мечтал когда-нибудь стать. Превратиться в Нерона, Джесси Джемса и Наполеона было очень соблазнительно, но как это сделать – я не знал. <...>

Кроме того, в книгах описывалась пышная жизнь большого света, жизнь при дворах, на поле брани, в лагерях и дворцах, в Америке Ньюпорта, Бостона и Нью-Йорка. Эта жизнь протекала где-то вдалеке от меня, но она явно больше всего занимала романистов. Сам я в то время и не думал, что когда-нибудь поближе узнаю эту жизнь, да боюсь, что она и не особенно привлекала меня.

Впрочем, я жадно читал все, что попадалось под руку: Вальтера Скотта, Гарриет Бичер-Стоу, Генри Филдинга, Шекспира, Жюль Верна, Бальзака, Библию, Стивена Крейна, грошовые романы, Купера, Стивенсона, наших сородичей – Марка Твена и Хоуэлса, а позднее Уитмена. Книжки – любые книги – всегда давали пищу моей фантазии, а я из тех, кто вечно живет фантазиями, и до сих пор скучная книга часто забавляет и занимает меня сильнее, чем блестящая и остроумная. Книжки, как и сама жизнь, имеют для меня смысл только как пища для моих собственных грез или как фон, на котором я могу создавать свои фантазии.

Книг у меня всегда было вдоволь; я уверен, что Америка – единственная в мире страна, где народ так сентиментально относится к книгам и просвещению. Не то чтобы мы читали книги или действительно заботились о просвещении. Нет. Мы всего-навсего приобретаем книги и посещаем колледжи, и я знал немало юношей, которые, не имея денег, упорно терпели лишения и кончали колледж, но весьма мало обращали внимания на то, чему в колледже учили. Факт окончания колледжа и получения диплома вполне удовлетворяет нас, и точно так же приобретение книг стало для большинства американских семей некоей моральной обязанностью. Мы приобретаем книги, ставим их на полку, а сами идем в кино, и книги, непрочитанные и застоявшиеся на полках, сами бросаются к любому, кто выкажет интерес к ним. Так было и в дни моей юности. Куда бы я ни приехал, всегда кто-то таскал мне книги или приглашал к себе и предлагал пользоваться его библиотекой, а, кроме того, придя в любой

дом, я мог преспокойно выбирать что хотел, даже если мне и не предлагали книг; тогда просто нужно было так переставить их на полке, чтобы не оставалось зияющих пустот. Иногда я это делал, но нечасто. Владельцев книг интересовало и тревожило только великое индустриальное будущее, ожидающее нас, американцев. <...>

Страсть к чтению овладела мною, и, когда у меня были хоть какие-нибудь деньги, я не работал, а часто месяцами только и делал, что читал все, что попадалось под руку.



Фото В. Богданова.

В каждом городе были публичные библиотеки, и я мог доставать книги, не тратя ни гроша.

Прошлое крепко завладело моим воображением, и я жадно проникал в глубь веков, читая о жизни великих людей древности: о римлянах и о покорении ими мира; о ранних христианах и их борьбе до появления великого Павла, пришедшего на выручку христианству *; о Цезарях, Карлах Великих и Наполеонах, исколесивших Европу вдоль и поперек во главе своих войск; о жестоких и могущественных Петрах и Иванах России; о великих, изысканных герцогах Италии – заговорщиках и убийцах, действующих по указке своих Макиавелли; о непревзойденных живописцах и ремесленниках средневековья; об английских и французских королях; о «круглоголовых» Кромвелях; об испанских монархах эпохи завоеваний и о кораблях, привозящих богатства с испанского Мэйна; о великом инквизиторе; о пришествии Эразма, хладнокровного ученого, чьи вопросы подготовили почву для Лютера, добросовестного в а р в а р а , – все, все раз-

вертывалось в книгах предо мной, американским юношей, стоявшим на пороге зрелости.

Это было роскошное пиршество. Мог ли я все это переварить? Я скопил немного денег и умел жить экономно. <...>

С такой суммой я мог не одну неделю провести в обществе книг, и, сняв комнатенку на грязной улице, я каждый день отправлялся в публичную библиотеку и брал новую книгу. Книгу, над созданием которой кто-то трудился годами, я нередко проглатывал за один день и отбрасывал. Ка-



Фото В. Богданова.

кая сумятица в голове! Временами реальная жизнь вовсе переставала существовать для меня. Реальность превращалась в подобие пара, в нечто лежащее вне меня. Тело служило мне домом, в котором я жил, и вокруг меня было много таких же домов, но в них я не жил. Быть может, я только старался сделать стены моего дома прочнее, покрыть его добротной крышей, прорубить окна, наладить свою жизнь в этом доме так, чтобы у меня оставалось время заглядывать через окна в другие дома? Этого я не знаю. Утверждать это о самом себе и своих целях – значит, мне думается, приписывать своей тогдашней жизни более разумное устремление, чем я мог бы с уверенностью найти в ней.

Я жил в маленьких комнатюшках, нередко в так называемой «преступной» части города, со всех сторон слыша

пьяную брань, плач ребятишек, причитания несчастной де-вушки, только что избитой своим сутенером, ссоры рабочих со своими же нами, — жил, ничего не видя и не слыша, не выпуская из рук книги.

В воображении я был в эту минуту с гениальным флорентийцем Леонардо да Винчи в тот день, когда он с низкого холма возле своего загородного дома в Италии изучал полет птиц или занимался математическими вычислениями, которые так любил. Или же сидел в карете рядом с ученым Эразмом, пересекающим Европу, направляясь от двора великого герцога или короля ко двору другого. Жизнь умерших людей становилась для меня реальнее, чем жизнь живых, окружавших меня.

Какой дурной американец вышел из меня, как я был чужд духу своего века! Порой я по целым неделям не прочитывал ни одной газеты — это упущение сочли бы чуть ли не преступлением, если б о нем узнали. Могла открыться новая железнодорожная линия, организоваться новый трест, или всю Америку могла потрясти какая-нибудь грандиозная сенсация — а я мог даже ничего не знать об этом. А между тем меня невольно влекло к безвестной, ничем не выдающейся части человечества. В Чикаго, где я тогда жил, я снимал комнату в громадном, кое-как построенном доме, с маленьким внутренним двориком. Здание было еще не старым — его построили всего несколько лет назад, во время Чикагской всемирной выставки, — но оно было уже полуразвалиной, грозящей обвалом, в полу коридора были большие щели, а в стенах — трещины. Здание стояло посреди маленького мощеного дворика и было разгорожено на отдельные холостяцкие комнаты и на квартирки из двух-трех комнат для семейных. Дом находился у конечного пункта нескольких трамвайных линий и одной из веток чикагской надземки и поэтому был заселен главным образом трамвайными кондукторами и шоферами с женами и детьми. Среди моих соседей было много молодых и женатых людей, но детей у них не было, да они и не собирались ими обзаводиться, надеясь избежать неприятных случайностей. Они уходили на работу и возвращались домой в самые разнообразные часы дня и ночи.

Денег у меня было немного, но я не огорчался этим. Комнатка была маленькая и стоила дешево, а жил я фруктами да пшеничными лепешками, гору которых можно было получить за десять центов в соседней закуской. Сидя без гроша, я утешал себя тем, что в любое время могу наняться куда-нибудь, где нужны рабочие. Я был молод и силен. «Не найду работы в городе, сяду ночью на товарный поезд, уеду в деревню и наймусь на какую-нибудь ферму», — думал я. Временами я испытывал угрызения совести по поводу того, что моя блестящая карьера промышленного магната, которую я скрепя сердце наметил для себя, еще не началась, но мне удавалось заглушить в себе голос совести. «У меня еще много времени впереди, — говорил я себе. — А в случае надобности можно приналечь и ускорить дело».

Пока же я часами пролеживал на узкой кровати в своей

*Книги творятся
в уединении, они дети
тишины. А дети
тишины не должны
иметь ничего общего
с детьми слова,
с мыслями,
рожденными из
желания осудить,
высказать свою
точку зрения, то
есть из неясной идеи.*

Марсель Пруст

комнате, уткнувшись в книгу, только что взятую в библиотеке, или прогуливался под сенью деревьев ближайшего сквера. Время переставало существовать для меня, и дни превращались в ночи, а ночи – в дни. Нередко я возвращался к себе в два часа ночи, стирал рубашку, белье и носки в тазике, в углу комнаты, развешивал все это у окна, выходящего во двор, а сам, голый, растянувшись на кровати, читал всю ночь напролет при свете газового рожка.

Чудесное время! Вот я шагаю рядом с завоевателем Юлием Цезарем по обширным владениям могущественной Римской империи. Что за жизнь, и как гордились мы с Юлием его победами, как часто обсуждали с ним деяния Цицерона, Помпея, Катона и других римлян. В самом деле, мы очень сдружились с Цезарем и нередко беседовали о низости некоторых римлян, особенно этого Цицерона. Он был презренной тварью, продажным писакой, говоря по чести, а таким никогда нельзя доверять. Сколько раз Цицерон беседовал с Цезарем и прикидывался его другом, но Юлий часто говаривал мне, что такие люди нос по ветру держат. «Писатели – величайшие в мире трусы, и самая моя большая слабость состоит в том, что я имею некоторую склонность к этому ремеслу. Стоит человеку захватить власть, и около чего сейчас же появятся писаки, готовые и даже жаждущие слагать ему гимны. Это самые шелудивые псы на свете», – горячо заканчивал он.

Итак, в воображении я дружил с Цезарем, и целыми днями мы шагали рядом, а вечера я проводил с ним и его приближенными в его палатке.

Шли дни и недели, я сидел у окна и смотрел на маленький мошениый дворик, куда выходило много других окон. Было лето, и все они были раскрыты. После целого дня грез наступил вечер, я вернулся к себе в комнату и, сняв пиджак, бросился на кровать. Когда стало темно, я не зажег света, а тихо лежал и слушал.

Теперь я покинул мир прошлого и вступил в настоящее, и со всех сторон до меня доносились голоса живых людей. Обитатели комнат, окружавших дворик, редко смеялись и пели; я не в первый раз в своей жизни жил так, как жил тогда, крошечным червячком в сердцевине яблока современной жизни, и всегда замечал, что все американцы, за исключением негров, редко смеются и поют дома или за работой.

Я лежал на кровати в темноте, закрыв глаза. И вот я снова в стане Цезаря, и мы находимся в Галлии. Великий полководец пишет за маленьким столиком, у входа в свою палатку, но вот к нему кто-то пришел. Я молча лежу на толстом теплом одеяле, разостланном на земле у его палатки.

Человек, пришедший к Цезарю, – строитель мостов, и он пришел обсудить с ним постройку моста, чтобы легионы могли перейти реку, у которой они сейчас расположились лагерем. Потребуется люди и лодки, а кроме того, нужно на рассвете выслать людей в соседний лес – срубить деревья и спустить их в реку.

Как спокойно и тихо вокруг! Палатка Цезаря стоит на

склоне холма, сам Цезарь с виду похож... Был такой фруктовщик-итальянец, державший лавчонку неподалеку от парка, куда я каждый день заходил посидеть, – высокий сухощавый человек с одним глазом и с проседью в черных волосах. Фруктовщик, наверное, потерял глаз в битве, потому что на щеке у него был большой шрам. Его-то я и превратил в Цезаря.

Внизу, на берегу реки, у подножия холма, на котором стояла палатка, раскинулся лагерь. Легионеры развели костры, и кое-кто купался в реке, но, выходя из воды, торопливо одевался, так как над головами у них стайками вились мелкие кусачие мушки. Я радовался, что палатка Цезаря была раскинута на холме, где дул легкий ветерок и не было кусачих мух и прочих насекомых. Внизу, в долине, ярко горели костры и отбрасывали желтые и красные блики света на смуглые тела и лица солдат.

Человек, который приходил к Цезарю, был ремесленником, и у него была изуродована рука. Два пальца на левой руке были точно обрублены топором. Он исчез в темноте, и Цезарь вошел в свою палатку.

Я лежал на кровати в своей комнате в Чикаго, не решаясь открыть глаза. Спал я или нет? Ссоры в квартирах, выходящих во дворик, затихли, но в некоторых окнах еще горел свет. Еще не все рабочие вернулись домой. Две женщины переговаривались через дворик. Трамвайные вожатые, шоферы, весь день медленно лавировавшие со своими машинами по запруженным улицам, успокаивая ворчливых пассажиров, ругаясь и выслушивая ругань возчиков и полисменов на перекрестках, уже спали. Что им снилось? Они пришли из гаражей и трамвайных парков, почитали газету, где, быть может, сообщалось о битве между английскими войсками и туземцами Тибета, прочли речь германского императора, требующего и для Германии места под солнцем, заглянули, проиграла или выиграла чикагская команда «Уайт сокс». Потом ругались с женами – сначала драка, потом объятия – и, наконец, сон.

Я вставал с постели и шел бродить по тихим улицам; дважды за то лето на меня нападали грабители и отбирали у меня по нескольку долларов. Вслед за Всемирной выставкой наступил застой в промышленности. Сколько миль прошагал я по ночным улицам американских городов! В Чикаго и других индустриальных городах длинные ряды домов – множество домов, и почти все уродливы и построены кое-как, вроде того здания, в котором я сам жил тогда. Я шел кварталами, где жили одни негры, и слышал смех в их домах. Потом начинались кварталы, населенные одними евреями, или итальянцами, или немцами, или поляками. Сколько в таких городах еще не слившихся национальностей! Все американские писатели, книги которых я читал, исходили из предположения, что типичный американец – это переселившийся в Америку англичанин, – англичанин, отбывший свой срок в каменистом чистилище Новой Англии и потом бежавший в обетованную землю, в этот рай – Средний Запад. Здесь всех ждало богатство и счастливое,

радостное существование. Разве не следили взоры всего мира за великим демократическим экспериментом, который они так отважно предприняли?

Я шел дальше, в фабричные районы, по длинным сонным улицам, мимо мрачных черных стен. Не бежали ли люди из тюрем Старого Света в еще более мрачные тюрьмы Нового? Страх объял меня, когда на пустынной темной улице ко мне подошел человек и приставил к лицу револьвер. Он требовал денег, я попытался отделаться шуткой, сказав, что у меня не хватает денег, чтобы оплатить выпивку на двоих, но что я добавлю к его капиталу все свои гроши, но он только зарычал мне в ответ и, взяв у меня несколько серебряных монет, поспешил прочь. Возможно, он даже не понял моих слов. Америка, страна, когда-то гордившаяся своим чувством юмора, со времен появления фабрик стала страной, где даже грабители смотрят на жизнь чересчур серьезно.

Наступали и проходили периоды вожделений. В том же доме жила женщина, еще очень молодая, — окончив школу в одном из городков Иллинойса, она вышла замуж за юношу из того же городка. Они переехали в Чикаго, чтобы пробить себе дорогу в жизни, и он, не найдя ничего лучшего, стал работать трамвайным вожатым. О, это, конечно, только временно. Он, как и я, был из тех, кто хочет добиться в жизни многого.

Его я не видел никогда, но она подныла просиживала у окна одной из двух комнат своей квартирки или бродила по парку. Вскоре мы стали обмениваться застенчивыми улыбками, но заговорить не решались. Подобно мне, она тоже читала книги, и это нас сближало. У меня вошло в привычку сидеть у своего окна с книгой, пока она, тоже с книгой, сидела у своего.

И тут возникала новая путаница. Страницы переставали жить. Этой женщины, что сидела там, всего в нескольких футах от меня, через маленький дворик, я не желал. В этом я был совершенно уверен. Она была женой другого. О чем она думала, что чувствовала? Лицо у нее было круглое и милостливое, а глаза голубые. Чего она хотела? Может быть, детей, думал я. Она хотела иметь свой домик, такой же, как у жителей ее родного городка, накопивших денег и игравших известную роль в жизни городка. Однажды она сидела на скамье парка, и я, проходя мимо, увидел заглавие книги, которую она читала. Это был один из модных романов, не помню заглавие и фамилию автора. Даже тогда, хотя я знал очень немного, я уже знал, что такие книги существовали и будут существовать всегда, — книги, которые расходятся в сотнях тысяч экземпляров и нередко провозглашаются величайшими произведениями искусства, а через год-два совершенно забываются.

В таких книгах нет чувства многообразия жизни, нет удивления перед ней. В них нет ощущения жизни. «Мертвые книги для людей, которые не дерзают жить», — презрительно думал я. Они делают попытки разрешить ту или иную жизненную проблему, но ставят ее так по-детски, что даже детское разрешение кажется читателю вполне вер-

ным и приемлемым. Какой-нибудь юноша приезжал в крупный американский центр из провинциального городка, и, хотя в душе он был честен и благороден, все же город на время отвлекал его от благородных целей. Он совершал какое-нибудь мелкое преступление, которое доставляло ужасные страдания и ему, и любимой девушке, но она стойко поддерживала его, и под конец, при ее помощи, он снова подтягивал себя, будто шнурки ботинок, и становился богатым фабрикантом, отечески относящимся к своим рабочим.

Возможно, что книга, которую она читала, выражала мечты школьницы, ее мечты, с которыми она вышла замуж и приехала в Чикаго. А сейчас мечтала ли она о том же? Я, поскольку я вообще реагировал на окружающую жизнь, уже вступил на новый путь, уже превращался понемногу в постоянного исповедника себя и других. Не для меня, говорил я себе, стандартные пилюли убеждений, маленькие, изящно сложенные пакетики чувств, которые научились изготавливать журнальные писаки. На современных пищевых фабриках продукты складывались в удобные, стандартных размеров пакеты, и я сильно подозревал, что за громкими ярлычками нередко скрывались опилки или что-нибудь в этом роде. Издатели явно научились изготавливать такие же изящные пакетики с опилками и наклеивать на них пестрые ярлычки.

О, благодатное презрение! Увидев книгу, которую читала эта женщина, зная, что она – жена другого и что никогда, ни в каком случае мы не могли бы приблизиться друг к другу, дать друг другу что-либо ценное, я наслаждался своим презрением около часа, а потом оно угасло. Я, как и раньше, сидел у окна и держал в руках раскрытую книгу, но был не в силах следить за мыслями и словами автора. Я сидел у своего окна, а она со своей книгой у своего...

1924

США

УИЛЬЯМ

1897–1962

ФОЛКНЕР

*На бесстрастной
печатной
странице навеки
запечатлено то,
что будет всегда
вызывать
в сердце человека
волнение...*

[УКРЕПИТЬ
ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЕ
СЕРДЦА]

У моего деда была библиотека: небольшое и довольно пестрое собрание книг, католических по духу; теперь я понимаю, что именно отсюда я почерпнул свое первоначальное образование. Собственно беллетристики там было немного, потому что дед любил лишь ясную и простую романтику Вальтера Скотта и Дюма. Были там и разрозненные тома других писателей, собранные, по всей видимости, наугад моей бабкой, так как на форзаце стояло ее имя и дата – восьмидесятые – девяностые годы прошлого века; то было время, когда даже в таких больших городах, как Мемфис в штате Теннесси, дамы обычно останавливали экипаж у магазина или лавки, к ним выходил клерк или сам хозяин и принимал заказ; время, когда покупали да и читали книги прежде всего женщины, называвшие потом своих детей Байронами, Клариссами, Сент-Эльмами и Лотарио * в честь романтических и трагических героев и героинь и их не менее романтических создателей.

Среди этих книг был один роман Сенкевича * – о временах короля Яна Собеского, когда поляки, практически лишённые поддержки, сдерживали турецкое нашествие на Центральную Европу. В этой книге, как и во всех книгах той поры, по крайней мере в тех, что принадлежали моему деду, было вступление, авторское предисловие. Обычно я не читал предисловий: всегда хотелось поскорее узнать о том, как борются и страдают люди. Но предисловие к этой книге я прочел, это было первое предисловие, которое я потрудился прочесть, сам теперь не знаю почему. И говорилось в нем примерно следующее: «Эта книга написана ценой большого труда, с тем чтобы укрепить человеческие сердца». И тогда я подумал: «До чего же удачно, хорошо сказано!» Вот и все. Я ведь не подумал: «Может, когда-нибудь я тоже напишу книгу, и какая жалость, что не я первый придумал эти слова, а то бы я поставил их на титульном листе своей книжки». В то время я и не думал о сочинении книг. Я не заглядывал в столь отдаленное будущее. Было это в 1915 или 1916 году, я уже видел аэроплан, голова моя была полна имен – Болл, Иммельман, Бельке, Гинеме, Бишоп, – и я терпеливо ждал, когда же стану взрослым, независимым или хоть как-нибудь попаду во Францию, получу награды и стану знаменит.

Потом это прошло. В 1923 году я написал книгу * и понял, что моя судьба и предназначение состоят в непрерывном сочинении книг, не для какой-нибудь скрытой или явной цели, а ради самого сочинительства; конечно, раз издатели считали, что мои книги стоят финансового риска, кто-нибудь станет их читать. Но и это было не столь уж ва-

*Читать книги
в юности — все
равно что глядеть
на луну через щелку.*

*Читать книги
в зрелости — все
равно что
смотреть на луну
посреди своего двора.*

*Читать книги
в старости — все
равно что
любоваться лунной
с высокой открытой
террасы. Потому
что глубина
проникновения
в прочитанное
соответственна
накопленному
жизненному опыту.*

Чжан Чао

жно по сравнению с одержимостью, необходимостью писать, хотя, безусловно, каждый писатель надеется, что читатель сочтет его произведения правдивыми, честными, может быть, даже трогательными. Потому что писатель пишет и тогда, когда заставляющий его писать демон считает, что писатель достоин и призван терпеть эти муки и все писательское существо: железы, кровь и плоть — сильно и активно, сердце и воображение остро воспринимают заблуждения, страсти и героизм людей, пишет и потом, когда кровь начинает остывать, активность падать, а сердце подсказывает: «Ты и сам не знаешь, зачем пишешь, и никогда не узнаешь»; пишет, потому что демон по-прежнему благосклонен к нему, хотя и стал строже и безжалостней; пишет, пока наконец не поймет: полузабытый прозаик давно ответил на его вопрос.

Укрепить человеческие сердца. И это относится ко всем нам — к тем, кто хочет быть художником, и к тем, кто пишет всего лишь для того, чтобы развлечь или шокировать, и к тем, кто бежит от себя, от собственных тайных страданий.

Есть писатели, которые не знают, что пишут ради этого. Другие знают, но не признают — из страха, как бы их не стали порицать и осуждать за сентиментальность, ибо современные люди по каким-то причинам стыдятся быть пойманными на сентиментальности; кое-кто, видимо, имеет довольно курьезное представление о том, где именно находится сердце, и путает его с более низменными органами, железами, функциями. Но все мы пишем ради одной этой цели.

Это не означает, однако, что мы стараемся изменить человека или сделать его лучше, хотя есть писатели, которые надеются на это или, может, даже прямо ставят перед собой подобную цель. Напротив, наша надежда и стремление возвысить дух в человеке в конечном итоге являет собой абсолютно эгоистическое и личное чувство. Писатель стремится укрепить человеческие сердца ради самого себя, ибо таким путем он говорит собственной смерти «нет». Он говорит смерти «нет», растрогав сердце читателя, взволновав все его существо настолько, что сама человеческая природа говорит смерти «нет», чувствуя, зная и веря: человека отличает от растения хотя бы то, что подобное волнение недоступно растениям, а это значит, что человек может и должен выстоять.

И поэтому тот, кто холодным и безликим печатным словом может вызвать подобное волнение, приобщается к бессмертию, которое сам породил. Придет время, и писателя не будет в живых, но это уже не будет иметь никакого значения, потому что на бесстрастной печатной странице навеки запечатлено то, что будет всегда вызывать в сердце человека, во всем существе его неподвластное времени волнение, хотя те, кто испытывает эти чувства, и будут уже на целые поколения отстоять от самого воздуха, каким когда-то дышал и в котором мучился художник; и писатель знает, что, если созданное им хоть раз оказало такое воздействие, оно будет жизнеспособно еще долго после того, как от него самого останется лишь мертвое и поблекшее имя.

У начинающего писателя все удовольствие приходится на его долю, а читатель не получает ничего.

МАЭСТРО ЗАДАЕТ ВОПРОСЫ

(ПИСЬМО
С БУРНОГО
МОРЯ)

Года полтора назад у дома в Ки-Уэст появился молодой человек и сказал, что добрался он сюда на попутных машинах из Миннесоты, чтобы задать вашему корреспонденту несколько вопросов о том, как научиться писать. Вернувшись в этот день с Кубы, собираясь через час провожать на вокзал друзей, а до того написать несколько писем, ваш корреспондент, одновременно и польщенный, и напуганный предстоящим допросом, предложил молодому человеку прийти на другой день. Это был высокий молодой человек, очень серьезного вида, с огромными ручищами и ножищами и жестким бобриком на голове.

Выяснилось, что всю свою жизнь он мечтал стать писателем. Выросши на ферме, он окончил школу, потом Миннесотский университет, работал газетчиком, плотником, батраком, поденщиком и, бродяжничая, дважды пересек всю Америку. Он хотел стать писателем и накопил неплохие сюжеты. Он рассказывал о них очень плохо, но видно было, что в них есть что развернуть, если взяться как следует. Он так серьезно относился к писательству, что можно было предположить: эта серьезность преодолет все препятствия. Он собственными руками построил хижину в Северной Дакоте, целый год прожил в ней совсем один и все время писал. Мне он не показал ничего из написанного там. Говорил, что очень плохо.

Я думал, может быть, это из скромности, пока он не показал мне свою вещь, напечатанную в одной из миннеаполиских газет. Написано это было ужасно. Но многие другие, подумав я, начинали не лучше, а этот юноша так необычайно серьезен, что позволяет надеяться; по-настоящему серьезное отношение к писательскому делу — одно из двух неперемных условий. Второе, к сожалению, — талант.

Кроме сочинительства, у молодого человека была и другая навязчивая идея. Ему непременно хотелось побывать в море. Короче говоря, мы взяли его ночным сторожем на катер. Теперь у него было где спать и — после двух-трех часов на уборку — достаточно времени для сочинительства. А чтобы удовлетворить его страсть к морю, мы обещали брать его в наши поездки на Кубу.

Он был отличный ночной сторож, одинаково рьяно работал и по катеру, и над своими рукописями, но в море это было сущее бедствие: медлительный, когда требовалось проворство, он словно бы наделен был четырьмя ногами вместо пары рук и пары ног, психовал, когда нужна была решимость, проявлял непреоборимую склонность к морской бо-

лезни и по-крестьянски неохотно слушался приказаний. Но он не отказывался от работы, даже тяжелой, и справлялся с ней, если его не торопить.

Мы звали его Маэстро, потому что он играл на скрипке, а потом сократили это в прозвище Майс. Свежий ветер так основательно выдувал из него остатки сообразительности, что ваш корреспондент как-то сказал ему: «Майс, вы наверняка станете чертовски хорошим писателем, потому что больше вы ни на что не способны».



Рисунок А. Папкова.

С другой стороны, сочинения его с каждым разом делались все лучше. Может быть, он и станет писателем. Но ваш корреспондент, порою бывающий не в духе, никогда больше не возьмет в команду катера начинающего писателя и не согласится больше целое лето плавать у берегов Кубы или у любых других берегов под аккомпанемент сплошных вопросов и ответов по технике писательского дела. Если найдутся еще среди начинающих писателей охотники поплавать на «Пилар», пусть это будут женщины, желательно красивые, и пусть захватят с собой побольше шампанского.

Ваш корреспондент относится к своему писательству – в отличие от этих ежемесячных корреспонденций – весьма серьезно: но разговаривать об этом он терпеть не может, кроме

*Книга дает нам
необходимые слова,
чтобы читать
и перечитывать их,
когда вы
хотите — в постели,
за столом или
растянувшись на
полу — и как вы
хотите — не спеша,
быстро, подряд или
по кусочкам. Но
главное — книга дает
нам слова,
к которым вы сами
подбираете картины,
возникающие
в вашем
воображении. Вы
знаете, как
выглядит
д'Артаньян и Дон
Кихот, это ваши
д'Артаньян и ваши
Дон Кихот.
Никогда не будет
придумано что-либо
подобное
книге — способное
дать вам как раз
столько, сколько
нужно, и никогда
слишком мало, дать
вам одному целую
вселенную.*

Айзек Азимов

как с очень немногими собеседниками. Вынужденный рассуждать о различных аспектах своего дела в продолжение ста десяти дней и все это время подавлять желание швырнуть в Маэстро бутылкой каждый раз, как он раскроет рот и произнесет слово «писатель», ваш корреспондент воспроизводит здесь в письменном виде некоторые из этих рассуждений.

Если они удержат кого-нибудь от сочинительства, значит, так и надо было. Если они кому-нибудь помогут, ваш корреспондент будет очень рад. Если же они вам покажутся скучными, то в номере достаточно картинок, чтобы развлечь вас.

В свое оправдание ваш корреспондент может заметить, что, если бы он сам в двадцать один год прочитал кое-какие из этих рассуждений, он бы считал, что пятидесяти центов они стоят.

Майс. Что значит хорошо или плохо в писательском деле?

Ваш корреспондент. Писать хорошо — значит писать правдиво. А правдивость рассказа будет зависеть от того, насколько автор знает жизнь и насколько добросовестно он работает, чтобы, даже когда он выдумывает, это было как на самом деле. Если же он не знает, как поступят и что подумают в данных обстоятельствах люди, то на какое-то время его может выручить случай или он вообще специализируется на выдумке. Но если он будет и дальше писать о том, чего не знает, то может получиться только фальшь. А несколько раз сфальшивив, он уже не сможет больше писать честно.

Майс. А как же воображение?

Ваш корреспондент. Никто не знает толком, что это такое, кроме того, что мы получаем его задаром. Может быть, оно заложено в наследственном опыте. Вполне вероятно. После честности это второе качество, необходимое писателю. Чем больше он узнает из опыта, тем правдивее будет его вымысел. А если он сможет вообразить достаточно правдиво, то люди поверят, что все, о чем рассказывает, действительно произошло и что он просто по-репортерски зафиксировал это.

Майс. Но чем же это будет отличаться от репортажа?

Ваш корреспондент. Будь это репортаж, никто бы его не запомнил. Когда вы описываете то, что случилось сегодня, синхронность заставляет читателя представить случившееся в своем воображении. Через месяц этот элемент времени исчезает, и ваш отчет будет плоским, и читатель ничего не вообразит и не запомнит. Но если вы будете не описывать, а изображать, можно сделать это объемно, прочно, целостно и жизненно. Тогда вы плохо ли, хорошо ли, но творите. Это создано, а не описано. А правдиво это в меру вашей способности изображать и в меру того знания, которое вы в это вложили. Вам это понятно?

Майс. Не все.

Ваш корреспондент (*раздраженно*). В таком случае давайте, черт возьми, поговорим о чем-нибудь другом.

Майс (*с презлым упорством*). Расскажите мне еще что-нибудь о писательской технике.

Ваш корреспондент. Вы это о чем? Карандаш или машинка? Об этом, что ли?

Майс. Да.

Ваш корреспондент. Так слушайте. У начинающего писателя все удовольствие приходится на его долю, а читатель не получает ничего. В этом случае можно пользоваться машинкой, так писать легче и удовольствия получаешь больше. Но когда научишься писать, видишь свою задачу в том, чтобы донести до читателя все: каждое ощущение, чувство, все виденное, слышанное, воспринятое. Для этого надо много работать над тем, что пишешь. Когда пишешь карандашом, то трижды можешь с разных точек проверить, получит ли читатель то, что ты хотел ему дать. Сначала – перечитывая написанное от руки, потом – считывая и правя текст после машинки и, наконец, читая корректуру. Так что карандаш дает вам добавочную треть шансов для улучшения текста. 0,333 – это неплохой процент попаданий в цель. И текст дольше остается текучим, что облегчает правку.

Майс. А сколько нужно писать в день?

Ваш корреспондент. Лучше всего останавливаться, пока дело идет хорошо и знаешь, что должно случиться дальше. Если изо дня в день поступать так, когда пишешь роман, то никогда не завязнешь. Вот самый ценный совет, который я могу дать вам по этому поводу.

Майс. Я его запомню.

Ваш корреспондент. Всегда останавливайтесь, пока еще пишется, и потом не думайте о работе и не тревожьтесь, пока снова не начнете писать на следующий день.

При этом условии вы подсознательно будете работать все время. Но если позволить себе думать и тревожиться, вы убьете эту возможность и ваш мозг будет утомлен еще до начала работы. Если уж начал роман, то сомневаться в том, что завтра работа пойдет, – такая же трусость, как уклонение от какого-нибудь неизбежного поступка. Надо продолжать. И тревожиться бессмысленно. Чтобы написать роман, надо понять это. Самое трудное в романе – это его кончить.

Майс. Но как же можно научиться не тревожиться?

Ваш корреспондент. Не думать о работе. Как только начнете думать об этом, сейчас же одергивайте себя. Думайте о чем-нибудь другом. Этому непременно надо научиться.

Майс. А сколько из уже написанного вы перечитываете, прежде чем писать дальше?

Ваш корреспондент. Лучше всего было бы каждый день перечитывать все с самого начала и попутно править, а потом уже идти дальше. Когда написано столько, что каждый день этого не сделаешь, перечитывайте последние две-три главы, а раз в неделю читайте все сначала. Так вы добьетесь цельности. И не забывайте останавливаться, пока еще пишется. Это сохранит движение и не позволит вам работать

через силу. Иначе вы скоро убедитесь, что на другой день вы выдохлись и продолжать работу не можете.

Майс. А если вы пишете рассказ?

Ваш корреспондент. Все равно, только рассказ иногда можно написать за один день.

Майс. А вы знаете наперед, что должно случиться в вашем рассказе?

Ваш корреспондент. Почти никогда. Я начинаю его, и случается то, что должно случиться по ходу его развития.

Майс. Это совсем не тот метод, которому нас учат в колледже.

Ваш корреспондент. Вот уж не знаю. Я не учился в колледже. А если какой-нибудь сукин сын может сам писать, на кой черт ему учить студентов?

Майс. Но вы-то меня учите.

Ваш корреспондент. С большого ума. А потом, мы на лодке, а не в колледже.

Майс. Какие книги следует прочесть писателю?

Ваш корреспондент. Ему следует прочесть все, чтобы знать, кого ему предстоит обскакать.

Майс. Но он же не сможет прочесть все.

Ваш корреспондент. Я не говорю о том, что он может. Я говорю о том, что он должен. А все прочесть, конечно, нельзя.

Майс. Но какие книги все-таки обязательны?

Ваш корреспондент. Ему следовало бы прочесть «Войну и мир» и «Анну Каренину» Толстого, «Мичмана Изидора», «Фрэнка Майлдмэя» и «Питера Симпла» капитана Марриета, «Госпожу Бовари» и «Воспитание чувств» Флобера, «Будденброков» Томаса Манна, «Дублинцев», «Портрет художника в юности» и «Улисса» Джойса, «Тома Джонса» и «Джозефа Эндрюса» Филдинга, «Красное и черное» и «Пармскую обитель» Стендаля, «Братьев Карамазовых» и еще любых два романа Достоевского, «Гекльберри Финна» Марка Твена, «Шлюпку» и «Голубой отель» Стивена Крейна, «Привет и прощание» Джорджа Мура, «Автобиографию» Йейтса, все лучшее из Мопассана, все лучшее из Киплинга, всего Тургенева, «О далеком и давнем» У. Г. Хадсона, рассказы Генри Джеймса, особенно «Мадам де Мов», «Поворот винта», «Женский портрет», «Американца»...

Майс. Я не могу записывать так быстро. Сколько их еще?

Ваш корреспондент. Остальных я назову вам в другой раз. Их еще примерно в три раза больше.

Майс. И писателю необходимо прочитать их всех?

Ваш корреспондент. Всех и еще многих. Иначе он не знает, кого ему надо обскакать.

Майс. Что вы понимаете под этим «обскакать»?

Ваш корреспондент. Слушайте. Какой толк писать о том, о чем уже было написано, если не надеешься написать лучше? В наше время писателю надо либо писать о том, о чем еще не писали, или обскакать писателей про-

шлого в их же области. И единственный способ понять, на что ты способен, — это соревнование с писателями прошлого. Большинство живых писателей просто не существует. Их слава создана критиками, которым всегда нужен очередной гений, писатель, им всецело понятный, хвалить которого можно безошибочно. Но когда эти дутые гении умирают, от них не остается ничего. Для серьезного автора единственными соперниками являются те писатели прошлого, которых он признает. Все равно как бегун, который пытается побить собственный рекорд, а не просто соревнуется со своими соперниками в данном забеге. Иначе никогда не узнаешь, на что ты в самом деле способен.

Майс. Но чтение всех этих превосходных писателей может обескуражить человека.

Ваш корреспондент. Ну что ж, значит, так ему и надо.

Майс. А что вы считаете лучшей начальной школой для писателя?

Ваш корреспондент. Несчастливое детство.

Майс. Как, по-вашему, Томас Манн великий писатель?

Ваш корреспондент. Он был бы великим писателем, если бы не написал ничего, кроме «Будденброков».

Майс. А какова может быть тренировка писателя?

Ваш корреспондент. Наблюдайте, что делается вокруг. Если мы сейчас нападём на рыбу, замечайте, что будет делать каждый из нас. Если вас радует зрелище того, как она выпрыгивает из воды, старайтесь проанализировать и понять, что же именно вызвало вашу радость. То ли, как леса пошла из воды, натянутая, словно скрипичная струна, так что на ней даже выступили капли. Или то, как сама рыба прыгнула. Запоминайте все звуки и кто что говорил. Старайтесь понять, что вызвало именно эти чувства, какие действия особенно вас взволновали. Потом запишите все это четко и ясно, чтобы читатель мог сам все увидеть и почувствовать то же, что и вы. Это начальное упражнение для пяти пальцев.

Майс. Понимаю.

Ваш корреспондент. Потом подойдите с другой стороны, попытайтесь представить себе, что творится в чужой голове. Например, если я на вас ору, старайтесь вообразить, что я при этом думаю, а не только как вы на это реагируете. Если Карлос бранит Хуана, попытайтесь стать на сторону и того и другого. Только не думайте, кто из них прав. Как человек вы представляете себе, что хорошо, что плохо. Как человек вы твердо знаете, кто прав, кто виноват. Вы бываете вынуждены принимать решения и осуществлять их. Как писатель вы не должны судить. Вы должны понять.

Майс. Ясно.

Ваш корреспондент. Так слушайте. Вслушивайтесь в разговоры. Не думайте о том, что вы сами собираетесь сказать. Большинство людей никогда не слушают. И не наблюдают. Войдя в комнату и тут же выйдя из нее, вы должны помнить все, что вы там увидели, и не только это. Если у вас

при этом возникло какое-то чувство, вы должны точно определить, что именно его вызвало. Упражняйтесь в этом. В городе, стоя у театра, смотрите, как по-разному выходит народ из такси и собственных машин. Да есть тысячи способов практиковаться. И всегда думайте о других.

Майс. Как вы считаете, буду я писателем?

Ваш корреспондент. Ну почему я знаю. Может быть, вам не хватит таланта. Или вы не сможете чувствовать за других. У вас есть материал для хороших рассказов, если вы сумеете написать их.

Майс. Но как?

Ваш корреспондент. Пишите. Поработайте лет пять, и, если тогда поймете, что ничего из вас не выходит, застрелиться всегда успеете.

Майс. Нет, я не застрелюсь.

Ваш корреспондент. Тогда приезжайте сюда, и я вас застрелю.

Майс. Спасибо.

Ваш корреспондент. Не стоит благодарности, Майс. Теперь, может быть, поговорим о чем-нибудь другом?

Майс. О чем же?

Ваш корреспондент. О чем угодно, Майс. О чем угодно, старина.

Майс. Хорошо. Но...

Ваш корреспондент. Никаких «но». Конеч. Ни слова о писательстве. На сегодня хватит. Точка. Лавочка заперта. Хозяин ушел домой.

Майс. Хорошо. Но завтра я спрошу вас еще кое о чем.

Ваш корреспондент. Воображаю, как вам приятно будет писать, когда вы точно узнаете, как это делается.

Майс. Что вы имеете в виду?

Ваш корреспондент. Ну как же. Приятно. Легко. Весело. Тяп-ляп – и готов шедевр старого мастера.

Майс. Но скажите...

Ваш корреспондент. Будет!

Майс. Хорошо. Но завтра...

Ваш корреспондент. Да. Ладно. Конечно. Но только завтра.

*Постоянно
помню о моем
читателе.*

ХУДОЖЕСТ-
ВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА —
НАШЕ САМОЕ
СОКРО-
ВЕННОЕ И
ДЕЙСТ-
ВЕННОЕ
СРЕДСТВО
ОБЩЕНИЯ

Художественная литература — наше самое сокровенное и действенное средство общения. Это поистине единственный способ обсудить друг с другом глубинные наши заботы: одиночество, любовь, тревогу, порывы, страх. Художественная литература к тому же свободна от коммерческих интересов — ведь писатель обращается к читателю независимо от того, получает он значительный гонорар или нет.

Одна из главных традиций литературы — ее бескомпромиссная серьезность. Возьмите книгу любого из моих коллег, и вы убедитесь, что у него есть нечто необходимое, нечто серьезное сказать вам. У нас нет другого уровня общения, равноценного художественной литературе.

Писательство принадлежит к тем редким вещам в жизни, какие невозможно делать в одиночку. Литература больше напоминает диалог, чем проповедь или лекцию. Когда я пишу, я более всего рассчитываю на интеллигентного читателя, которому по душе то, что я занес на бумагу.

Все это стало очевиднее для меня с возрастом. Я постоянно помню о моем читателе, я все время задаю себе вопрос: «Важно ли то, что я хочу сказать? Важно ли это людям, которые будут читать мои книги?» Писатель всегда спрашивает себя: «Интересно ли это?» Но я принципиально стремлюсь именно к необходимости написанного.

Читатели составляют единственный род публики, который нельзя определить с помощью компьютеров или опросов общественного мнения. Никто на свете не знает, что такое читатель! Я же заинтересован в читателе интеллигентном, начитанном, в каком бы уголке Земли он ни жил. Я хочу разделить с этим читателем трепет самой жизни и постижение условий человеческого существования.

Смерть литературы как средства общения предсказывалась еще в то время, когда только начинало распространяться радио. Телевидение, скорочтение, все виды ускоренный также воспринимались как конец чтения серьезных книг. А читающая публика все увеличивалась. С огромным энтузиазмом я думаю о перспективах написанного слова в обществе развивающейся электроники.

Тем не менее жанр рассказа сильно пострадал от исчезновения доброй дюжины журналов, печатавших короткую прозу. По моему мнению, их кончина связана с популярностью телевидения. Осталось лишь несколько таких журналов, но рассказ продолжает играть активную роль в нашей жизни. Хочется думать, что рано или поздно он восстановит свои утраченные позиции в журналах.

Пригород, место действия многих моих произведений,

отражает непоседливость и утрату корней у современных людей. Пригород не имеет традиций, его образ жизни еще надо изобретать. Людям нужно учиться жить друг с другом и созидать новое общество.

В пригородах очень много такого, что можно критиковать и улучшать, но так или иначе люди, там поселившиеся, внесли много самобытного в свой образ жизни.

Например, вам не очень понравится поселок из сорока пяти домиков, как две капли воды похожих друг на друга, но, когда вы приедете туда лет через восемь, они будут выглядеть по-разному. Одни участки будут засажены фруктовыми деревьями, другие – голы. Возможностей для выдумки необычайно много. Единообразие домов побеждается воображением их хозяев.

Ограниченность принадлежит к главным темам моего творчества, будь то ограниченность маленького городка в Новой Англии, ограниченность тюрьмы или наших собственных страстей. Я часто ощущаю границы своих интеллектуальных и физических возможностей. И все же я верю, что суть жизни на Земле состоит в открытии свобод, которыми читатель мог бы пользоваться, несмотря на ограниченность своего бытия.

*У нас на
телеэкране
можно прочесть
миллион таких
книжечек и даже
больше чем
миллион.*

**КАК
ОНИ
ВЕСЕЛО
ЖИЛИ**

Вечером Марджи записала это событие в свой дневник. На странице, где значилось «17 мая 2155 года», она вывела большими буквами:

«Сегодня Томми нашел настоящую книжку!»

Книжка эта была очень старая. О таких книгах Марджи когда-то рассказывал дедушка. Он вспоминал, что ему, когда он был еще совсем маленьким мальчиком, его собственный дедушка говорил про незапамятные времена, когда разные истории записывали на бумагу.

Марджи и Томми листали мятую желтую книгу. Это было очень весело. Буквы в ней стояли смирно, никуда не убежали, как, скажем, те, что скользили обычно по экранам телевизоров, а если перевернуть какую-нибудь страничку назад, то оказывалось, что напечатанные слова не исчезли отсюда и можно их перечитывать хоть сто раз.

– Глупо придумано, – сказал Томми. – Куда они девали такую книгу, когда прочтут, хотел бы я знать. Выбрасывали, наверно, и все. У нас на телеэкране можно прочесть миллион таких книжечек и даже больше чем миллион, и телевизоры-то уж никто не выбрасывает.

– Это точно, – сказала Марджи. Ей было одиннадцать лет, и она еще не успела прочесть так много телекнижечек, как Томми за свои тринадцать.

– А где ты ее откопал? – спросила она.

– Дома. – Томми, не отрываясь от книжки, указал пальцем через плечо. – На чердаке валялась.

– А о чем она?

– О школе.

– О шко-о-ле? – насмешливо протянула Марджи. – Нашли о чем писать! Я ее ненавижу.

Марджи всегда недолюбливала школу, но в последнее время сильнее, чем обычно. Ее механический учитель совсем взбесился, заставлял ее каждый день решать кучу тестов по географии, ставил Марджи плохие оценки, и чем дальше, тем хуже, и, наконец, дошло до того, что мама, всплеснув руками, вызвала районного инспектора.

Это был кругленький краснолицый человечек. Он приволок с собой целый ящик инструментов. Он ласково улыбнулся Марджи, подарил ей яблоко, а затем развинтил механического учителя. Марджи подумала, как будет здорово, если он потом не сумеет собрать его обратно. Но инспектор прекрасно все сумел, и через час машина была в полном порядке со всеми своими циферблатами, черная, уродливая, с большим телеэкраном. Сбоку имелась щель для ответов на вопросы и домашних заданий – к этой части учителя Мард-

жи питала особенную ненависть. Домашние задания Марджи приходилось писать специальным шифром, который ее заставили выучить еще в шесть лет, и механический учитель мгновенно выводил ей оценку.

Когда инспектор кончил возиться, он опять улыбнулся Марджи и погладил ее по головке, а маме сказал:

– Девочка ни в чем не виновата, миссис Джонс. Это все географический сектор. Он слишком ускорял программу. Я его перевел на средний десятилетний уровень. Впрочем,



*Экслибрис работы
Л. Бакста. 1906.*

*У. Сароян. Фото
В. Крохина.*



общее развитие вашей дочери вполне удовлетворительно. – И он погладил Марджи по головке еще раз.

Марджи была разочарована. Она-то надеялась, что инспектор унесет учителя с собой. Учителя Томми однажды уносили ремонтировать и чинили целый месяц, потому что исторический сектор совсем было вышел из строя.

И поэтому она сейчас спросила Томми:

– Ну, что они могли там хорошего написать о школе? Томми посмотрел на нее с некоторым презрением.

– Дурочка, здесь ведь написано о совсем другой школе. О старой школе, которая была много-много лет назад. *Столетия назад*, – добавил он, старательно выговаривая редкое слово.

Марджи обиделась.

– Ну, не знаю я, что в этой школе было особенного. –

Она заглянула в книжку через его плечо, прочла несколько строк и сказала:

– Ну вот, у них тоже были учителя.

– Ясное дело, были. Но совсем не такие, как у нас.

У них учителями были люди.

– Люди? Как могут люди быть учителями?

– Ну, такой человек рассказывал детям разные вещи, потом задавал им задания на дом и ставил оценки.

– Человек не может знать столько всего.

– Как это не может! Мой папа знает столько же, сколько мой учитель.

– Не может твой папа знать столько же, сколько учитель.

– А вот и может! Мой папа знает даже больше, спорим?

Марджи решила не продолжать эту дискуссию.

– И все равно, – сказала она, – не хотела бы я, чтоб у меня в доме сидел какой-то дядька и заставлял меня учиться.

Томми покатился со смеху.

– Ты ничего не понимаешь, Марджи. Учителя вовсе не жили у ребят дома. У них было специальное здание, и все дети ходили туда учиться.

– Как, и все учили одно и то же?

– Ну ясно, все дети одного возраста учили одно и то же.

– А вот моя мама говорит, что учитель должен быть запрограммирован в зависимости от индивидуальности каждого ребенка и что нужен особый подход.

– Ну, все равно, у них, значит, было по-другому. Если тебе не нравится, можешь не читать.

– Я не говорила, что мне не нравится, – поспешно ответила Марджи. Ей хотелось узнать как следует про эти странные школы.

Они еще не дочитали и до середины, когда мама Марджи позвала ее:

– Марджи! Заниматься!

Марджи умоляюще взглянула на нее.

– Мамочка, еще немножко!

– Нет, – сказала миссис Джонс. – И Томми, наверное, тоже пора.

Марджи спросила Томми:

– Можно мне после школы почитать с тобой еще немножко?

– Посмотрим, – безразлично ответил тот и удалился, насвистывая, зажав старую пыльную книгу под мышкой.

Марджи побрела в школьную комнату. Она находилась прямо рядом с ее спальней. Механический учитель был уже включен. Он включался в одно и то же время каждый день, кроме субботы и воскресенья. Мама часто повторяла, что маленькие девочки лучше усваивают материал, если занимаются регулярно.

Экран учителя зажегся и появилась надпись:

«Тема сегодняшнего занятия по арифметике – сложение

простых дробей. Приступим к проверке домашнего задания».

Марджи со вздохом сунула в щель машины исписанные листочки. Она размышляла о старых школах, которые были, когда дедушка ее дедушки был маленьким мальчиком. Туда собирались ребята со всей округи, они вбегали с криками и смехом на школьный двор, заполняли классные комнаты, а после уроков все вместе мчались домой. Они все учили одно и то же и могли помогать друг другу, и советовались, если что-нибудь было непонятно...

У них учителями были живые люди...

На экране механического учителя замелькали строчки: «При сложении дробей $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{3}$...»

Марджи думала о том, как повезло тем ребятам, что жили в старые времена. Она думала, как весело они жили...

*Библиотеки — это
память
человечества.*

ПРЕДВА- РИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Когда университет в Бельграно предложил мне прочесть пять лекций, я выбрал темы, которые со временем стали действительно очень близкими для меня. Первая тема — книга, предмет, без которого я не мыслю жизни и который для меня нечто столь же личное, как руки или глаза. Вторая — бессмертие, та угроза или надежда, о которой грезил столько поколений и которой посвящена большая часть поэзии. Третья тема — Сведенборг, провидец, написавший, что умершие избирают ад или небо по своей доброй воле. Четвертая — криминальные истории, хитроумная игрушка, доставшаяся нам в наследство от Эдгара Аллана По. Пятая тема — время, коренной, по-моему, вопрос метафизики.

Благодаря слушателям, оказавшим мне такой теплый прием, мои лекции имели неожиданный и наверняка незаслуженный успех.

Так же как и чтение, лекция — работа двусторонняя, и слушатели не менее важны, чем лектор.

В этой книге представлен мой вклад в те встречи. Надеюсь, читатели обогатят его, как обогатили слушатели.

ХЛБ.

Буэнос-Айрес, 3 марта 1979

КНИГА

Среди разных человеческих инструментов самый изумительный — книга. Остальные служат продолжением его тела. Микроскоп, телескоп — это продолжение его глаза; телефон — голоса; есть у нас затем плуг и меч — продолжение руки. Книга же — это нечто иное: книга служит продолжением памяти и воображения человека.

В «Цезаре и Клеопатре» Шоу говорится, что Александрийская библиотека стала памятью человечества. Так же и книга, только одновременно в ней есть еще кое-что сверх того: воображение. Ибо что такое наше прошлое, как не вереница снов? Какая может быть разница между припоминанием снов и воспоминанием о прошлом? Вот эту-то роль и выполняет книга.

Когда-то я собирался написать историю книги. Не с физической точки зрения. Меня интересует не физическая сторона книги (особенно книги библиофилов, которые обычно страдают преувеличениями), а те разнообразные оценки, которые получила книга. Меня опередил Шпенглер в своем «Закате Запада», где имеются прекрасные страницы, посвященные книге. Думаю, что, кроме отдельных моих соображений, я не расхожусь с тем, что сказал Шпенглер.

Что меня поражает — древние не знали нашего культа

книги; они видели в ней замену произнесенному слову. Поговорка, которую вечно приводят: «Verba volant, scripta manent», – не означает, что устное слово – недолговечно, она означает лишь, что слово написанное – это нечто неизменное и мертвое. Потому что в произнесенном слове что-то крылатое, легкое; «крылатое и священное», как сказал Платон. Все великие умы человечества – и это поразительный факт – были мастерами ораторского искусства.

Возьмем первый пример: Пифагор. Мы знаем, что Пифа-



*Рисунок из «Букваря»
Кариона Истомина.
XVIII в.*

*«Евангелист Лука».
Миниатюра сербского
животисца Радослава.
1429.*



1
Слова улетают,
написанное остается
(лат.).

гор сознательно ничего не писал. Не писал, так как не хотел связывать себя письменным словом. Вероятно, он чувствовал, что «писание убивает, а дух оживляет» – то, стало быть, что позднее появилось в Библии. Он должен был это чувствовать и не хотел связывать себя письменным словом, оттого и Аристотель нигде не упоминает о Пифагоре – только о пифагорейцах. Он сообщает, например, что пифагорейцы верили в вечное возвращение и проповедовали это учение, которое много позже откроет Ницше. Они проповедовали идею ци-



*Микеланджело. «Сивилла
Кульская». Фрагмент
фрески Сикстинской
капеллы.*

кличного времени, которую опроверг Блаженный Августин в своем сочинении «О граде Божием». Прибегнув к прекрасной метафоре, Блаженный Августин сказал, что крест Христа вывел нас из запутанного лабиринта стоиков. Касались идеи циклического времени Юм, Бланки... и многие другие.

Пифагор не писал сознательно — он хотел, чтобы его мысль пережила границы смерти телесной в разуме его учеников. Оттуда и идет (я не знаю греческого, попытаюсь сказать это на латыни) «Magister dixit» (Учитель сказал). Это не значит, что они были связаны тем, что сказал учитель; напротив — утверждает свободу развивать изначальную мысль учителя.

Мы не знаем, действительно ли он, Пифагор, первым выдвинул доктрину цикличности времени, знаем лишь, что

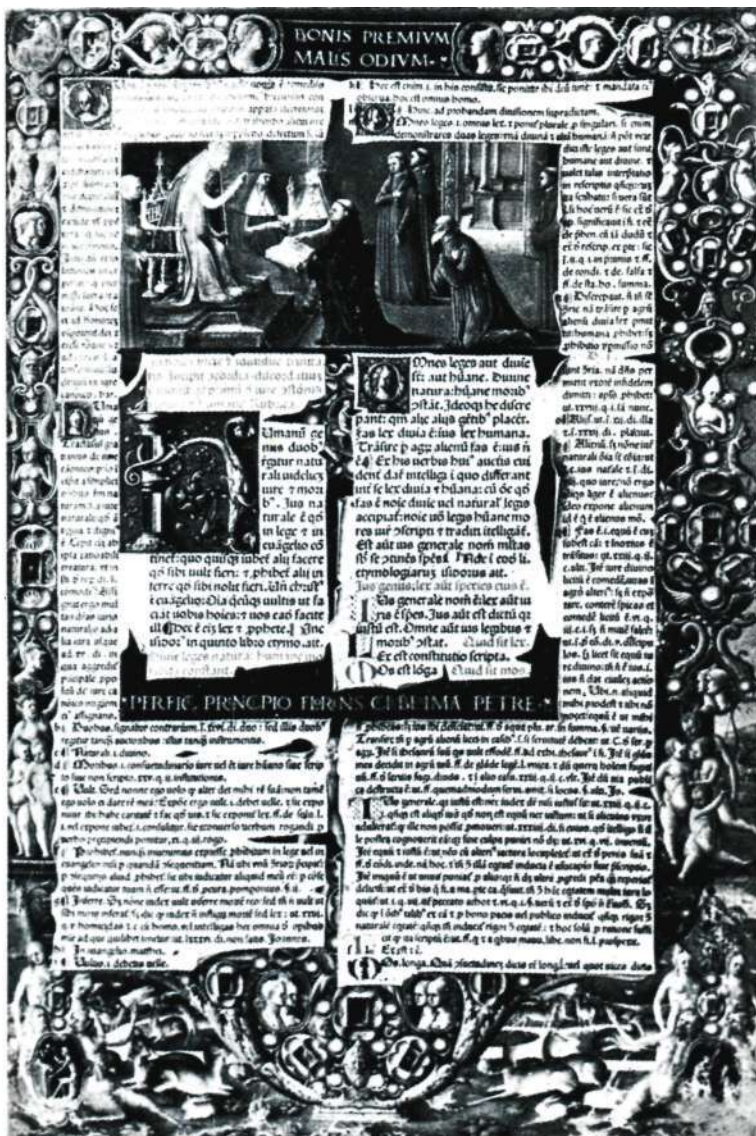


Фото В. Богданова. ее исповедовали его ученики. Телесно он умер, они же в результате своего рода переселения души — это понравилось

бы Пифагору – продолжали развивать его мысль и осмыслять его идею, а когда их упрекали, что они утверждают нечто новое, они прибегали к формуле: «учитель сказал» (*Magister dixit*).

Есть и другие примеры. Возьмем великий пример, когда Платон говорит, что книги подобны образам (возможно, он подразумевал изваяния или картины), которые кажутся живыми, но, когда их спросишь, ничего не отвечают. Для того, чтобы преодолеть эту немоту книг, он изобретает диалог с ними, то есть платоновский диалог. Платон, следовательно, приумножил свое существование, выступая в различных ипостасях: Сократа, Горгия и других. Мы можем также предположить, что после смерти Сократа Платон хотел утешиться мыслью, что тот по-прежнему жив. По любому поводу он говорил себе: что сказал бы об этом Сократ? В этом, с другой стороны, заключалось бессмертие Сократа, который не оставил никаких сочинений и тоже был мастером ораторского искусства.

О Христе мы знаем, что однажды он написал на песке несколько слов, которые, разумеется, стерлись. Как нам известно, после того он не написал ничего. Великолепно владел словом и Будда – сохранились его проповеди. Существует затем еще высказывание святого Ансельма: «Вложить книгу в руки невежды так же опасно, как вложить меч в руки ребенка». Вот как смотрели на книги. На всем Востоке бытует еще представление, что книга не обязана ничего прояснять нам – она обязана просто помогать нам открывать вещи. Хотя я и не знаю древнееврейского, я немного изучал каббалу и читал в английских и немецких стихотворных переложениях «Zohar» («Книгу великолепия») и «Sefer Yetziga» («Книгу творения»). Я знаю, что эти книги писались не затем, чтобы их понимали, а затем, чтобы их толковали; они побуждают читателя следить за мыслью. Классическая древность не питала к книге такого уважения, как мы, хотя известно, что под подушкой у Александра Македонского лежали «Илиада» и меч – два вида оружия. Гомера глубоко почитали, однако он не считался священным поэтом в том смысле, какой мы ныне вкладываем в это слово. «Илиада» и «Одиссея» не считались священными текстами – то были достойные книги, однако их можно было также и критиковать.

Платон мог изгнать поэтов из своей республики, не навлекая на себя подозрений в ереси. Из античных свидетельств против книг можно привести одно прелюбопытнейшее высказывание Сенеки. Среди его великолепных посланий к Луциллию * имеется одно, направленное против некоего весьма тщеславного человека, о котором сообщается, что он – обладатель библиотеки в сто томов; а у кого, вопрошает Сенека, есть время, чтобы прочесть сто томов? Ныне, напротив, ценятся большие собрания.

Во времена античности существовали представления, с трудом доступные нашему пониманию, не вяжущиеся с нашим культом книги. В книге древние всегда видят субститут устного слова; но затем с Востока приходит новое понятие,

совершенно чуждое всему античному миру: понятие священной книги. Возьмем два примера; обратимся сначала к более позднему – к мусульманам. Они считают, что Коран предшествует творению, предшествует арабскому языку, что он не создание бога, а один из его атрибутов – точно так же, как божье милосердие и справедливость. В Коране довольно туманно говорится о матери книги. Мать книги – это образ Корана, написанного на небесах. Приблизительно это соответствовало бы платоновскому архетипу Корана, и – как сказано об этом в Коране – она-то и есть та самая книга, что написана на небесах, что является атрибутом бога и предшествует сотворению мира. Так утверждают мусульманские доктора, мусульманские богословы.

Имеются и примеры, более близкие к нам, – Библия, еще конкретнее – Тора, или Пятикнижие *. Считается, что эти книги были продиктованы святым духом. Факт любопытный: книги разных авторов и эпох приписываются одному-единственному духу; но в самой Библии говорится, что дух веет где хочет. Древние иудеи намеревались соединить разные литературные произведения из разных эпох и создать из них единую книгу, название которой – Тора (по-гречески – Библия). Все эти книги приписываются одному автору – святому духу.

Однажды Бернарда Шоу спросили, верит ли он, что Библию написал святой дух. Он ответил: «Каждая книга, заслуживающая повторного прочтения, написана святым духом». Это значит, что книга должна быть шире замысла ее автора. Авторский замысел – человеческое дело, ничтожное и обманчивое, и в книге должно содержаться нечто помимо него. «Дон Кихот» больше чем сатира на рыцарские романы. Это абсолютный текст, в котором нет абсолютно ничего случайного.

Подумаем, что вытекает из этой мысли. Если я скажу, например:

Correnti acque, pure, cristalline,
alberi che vi rimarate in esse,
verde prato, di fresca ombra ricolmo, –

очевидно, что эти три строки составлены из одиннадцати слогов. Так захотел автор, это выражение его воли.

А что они по сравнению с произведением, написанным святым духом, по сравнению с понятием божества, которое снисходит к литературе и диктует книгу! В этой книге не может быть ничего случайного, все должно быть обусловлено, обусловлена каждая буква. Разумеется, например, что первые слова Библии – «Bereshit bara elohim» – начинаются с буквы «б», так как это соответствует слову «благословлять». Речь идет о книге, в которой нет ничего случайного, абсолютно ничего. Это приводит нас к каббале, к изучению текста, к священной книге, продиктованной божеством, что более или менее противоречит тому, как понимали это во

1 Бегущие кристально
чистые потоки,
деревья, отраженные
в них,
зеленый луг, погружен-
ный в прохладную тень.
(итал.)

времена античности. Музу греки представляли довольно туманно.

«Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...» — говорит Гомер в начале «Илиады». Здесь муза — воплощение вдохновения. Если ж, напротив, представить себе дух, то представится нечто более конкретное и сильное: бог, питающий склонность к литературе, бог, сочиняющий книгу. В книге этой нет ничего случайного: будь то количество букв, количество слогов в стихе или же то, что из букв мы можем составить игру слов или определить числовое значение букв. Все это уже принято в расчет.

Другое великое представление о книге — это, повторяю, истолкование ее как божественного творения. Такое понятие, возможно, ближе к нашему теперешнему ощущению, чем к представлению о книге, которого придерживались древние греки, то есть представлению о книге как о простой замене устного слова. Затем вера в священную книгу угасла, вытесненная другими верованиями. Таким, например, что дух каждой страны воплощается в каком-то одном произведении. Вспомним, что мусульмане нарекли израильтян «народом книги»; вспомним, что говорил Генрих Гейне о народе, родиной которого была книга: «Библия, евреи». Затем появляется у нас новое понятие: каждую страну должна представлять какая-то одна книга или, во всяком случае, один автор, отчего, возможно, и множество книг.

Любопытный факт — не думаю, чтобы кто-то до сих пор обратил на него внимание: страны выбрали таких писателей, которые не слишком на них похожи. Англии полагалось бы выбрать в качестве своего представителя доктора Джонсона; но нет, Англия выбрала Шекспира, а Шекспир — откровенно говоря — наименее английский из всех английских писателей. Характерная особенность Англии — «understatement»; это значит, что следует сказать чуть меньше того, чем говорят сами дела. Шекспир же имел обыкновенные нагромождать гиперболы и метафоры, и мы ничуть бы не удивились, окажись Шекспир, к примеру, итальянцем или евреем.

Еще один пример — Германия, великолепная страна, склонная к фанатизму, избирает, конечно же, человека терпимого, далекого от фанатизма, которого особенно не волнует понятие «родина», она выбирает Гёте. Германию представляет Гёте.

Во Франции выбор не пал на одного какого-то писателя, однако он склоняется к Виктору Гюго. Я, разумеется, глубоко восхищаюсь Гюго, но в нем, однако, нет ничего типично французского. Гюго во Франции — чужеземец; Гюго с его пышной декоративностью и разветвленными метафорами не типичен для Франции.

Еще более своеобразный пример являет собой Испания. Испанию могли бы представлять Лопе де Вега, Кальдерон, Кеведо. И тем не менее Испанию представляет Мигель де Сервантес. Сервантес был современником инквизиции, однако он терпим; это человек, не наделенный ни испанскими достоинствами, ни испанскими пороками.

Получается так, будто каждая страна считала, что ее должен представлять человек, отличный от нее, тот, кто в какой-то мере может стать своего рода лекарством, своего рода эликсиром, противостоящим против ее недугов. Мы в Аргентине могли бы выбрать «Факундо» Сармиенто, это наша книга, — но нет. При нашей истории завоеваний, нашей истории меча, мы выбрали своей книгой хронику дезертира — мы выбрали «Мартина Фьерро» *, которая как книга поистине заслуживает подобного отличия, или, быть может, нашу историю представляет дезертир покорения пампы? Тем не менее это так — совершенно так, как если бы каждая страна ощущала подобную потребность.

Очень многие писатели великолепно писали о книге. Я хочу обратиться к некоторым из них. Прежде всего сошлюсь на Монтеня, посвятившего книге одно из своих эссе *. Там есть одно незабываемое высказывание: «Я все делаю весело». Монтень подчеркивает, что понятие обязательного чтения — понятие ложное. Он говорит, что, когда ему попадает в книгу трудное место, он его пропускает, так как видит в чтении форму счастья.

Я помню, как много лет назад проводилась анкета на тему: что такое живопись? Спросили об этом у моей сестры Норы; она ответила, что живопись — это искусство давать радость с помощью формы и цвета. Я бы сказал, что литература — тоже форма радости. Если мы что-то читаем с трудом, это означает фиаско автора. Я считаю поэтому, что творчество такого писателя, как Джойс, по существу, — неудача, поскольку оно требует усилий.

Книга не должна требовать усилий, счастье не должно требовать усилий. Думаю, что Монтень прав. Далее он называет любимых авторов. Упоминает Вергилия, сообщая, что предпочитает «Георгики» «Энеиде» (я предпочитаю «Энеиду», но это к делу не относится). Монтень говорит о книгах со страстью, но замечает, что, хотя книги доставляют наслаждение, но это, без сомнения, тихая радость.

Ему возражает Эмерсон — это еще одно великое произведение о книгах. В своей лекции Эмерсон говорит, что библиотека — это своего рода волшебный кабинет. В кабинете том закодированы лучшие умы человечества, ожидающие нашего слова, чтобы выйти из своего безмолвия. Нужно открыть книги, и тогда они оживут. Он говорит, что мы можем рассчитывать на дружбу лучших людей, каких породило человечество, только мы их не ищем, предпочитая читать комментарии и критику, вместо того чтобы обращаться к тому, что говорят эти люди.

Двадцать лет назад я был профессором английской литературы на факультете философии и литературы в Университете Буэнос-Айреса. Я всегда говорил студентам, чтобы они не заводили себе большой библиографии, чтобы не читали критических работ, чтобы читали непосредственно книги, быть может, они не много поймут, но всегда получают удовольствие и услышат чей-то голос. Я бы сказал, что самое главное в авторе — это его интонация, самое главное в книге — голос автора, тот голос, который доходит до нас.

Я хочу, чтобы меня как частное лицо вычеркнули из истории, чтобы я не существовал для нее, не оставил бы в истории никакого следа, никакой памяти о себе, кроме опубликованных книг. Очень жалею, что тридцать лет назад я не мог еще предвидеть будущее; нужно было просто не подписывать свои вещи, как это делали елизаветинцы. Все мои помыслы и устремления направлены на то, чтоб итог и смысл моей жизни были выражены в одном предложении, которое будет одновременно и титафией, и некрологом: «Он писал книги, он умер».

Уильям Фолкнер

Я посвятил часть своей жизни литературе и убежден, что чтение – одна из форм счастья. Другой, меньшей формой счастья является поэтическое творчество или то, что мы называем творчеством и что соединяет в себе забвение и память о прочитанном.

Эмерсон единоклюбен с Монтенем в том, что необходимо читать исключительно то, что нам нравится, что книга должна быть формой счастья. Столь многим обязаны мы литературе. Я стремился чаще возвращаться к прочитанному, чем читать новое, считая, что перечитывать важнее, чем читать, хотя, чтобы перечитывать, нужно прежде всего прочесть. Я исповедую культ книги. Вероятно, я сообщаю об этом таким образом, что это может показаться патетичным; я хочу, чтобы это прозвучало признанием, обращенным к каждому из вас, не всем вместе, а каждому в отдельности, ибо «все» – это абстракция, тогда как каждый в отдельности – реальность. Я продолжаю играть роль зрячего человека – я по-прежнему покупаю книги, по-прежнему заполняю книгами свой дом. Как-то мне предложили купить «Энциклопедию» Брокгауза издания 1966 года. Я ощутил присутствие этой книги в моем доме, ощутил его как своего рода счастье. В ней насчитывалось свыше двадцати томов, напечатанных готическим шрифтом, которых я не мог прочесть, с картами и графиками, которых я не мог разглядеть, и все же книга находилась в доме. Я чувствовал дружеское притяжение книги. Думаю, что книга – одна из возможностей счастья, каким наделены люди.

Сейчас толкуют об упадке значения книги. Я считаю, что это невозможно. Кто-то спросит, какая разница между книгой и журналом или пластинкой. Разница в том, что журнал читают затем, чтобы забыть, пластинку тоже слушают для того, чтобы забыть; это что-то механическое и потому поверхностное. Книгу читают, чтобы запомнить.

Возможно, понятие священной книги – Библии, Корана, Вед (где тоже говорится, что Веды сотворили мир) – отошло в прошлое, однако книга еще обладает некоей святостью, и мы должны постараться, чтобы она ее не утратила. Жест, которым открывают книгу, заключает в себе возможность художественного явления. Что такое слова, нанесенные на страницы книги? Что такое эти мертвые знаки? Абсолютно ничто. Что такое книга, покуда ее не открыли? Это просто-напросто объемистый кирпич из бумаги и кожи, состоящий из отдельных страниц; но стоит нам погрузиться в чтение, как происходит нечто удивительное; я думаю, что всякий раз меняется содержание книги.

Гераклит сказал (я повторял это не раз), что никто не входит дважды в одну и ту же реку. Никто не входит дважды в одну и ту же реку, потому что вода течет, но самое страшное, что мы сами не менее текучи, чем река. Каждый раз, как мы читаем книгу, книга изменяется, слова приобретают иную коннотацию. К тому же книги имеют прошлое.

Я выступал против критики и теперь противоречу себе (но что за дело, ежели противоречу себе). Гамлет – это не вполне Гамлет, созданный Шекспиром в начале XVII века.

Гамлет – это Гамлет Кольриджа, Гёте, Брэдли. Гамлет возродился. То же самое происходит и с «Дон Кихотом». Нечто подобное – с Люгонесом и Мартинесом Эстрадой; «Мартин Фьерро» уже не такой, каким был. Читатели обогатили книгу.

602

Когда мы читаем какую-нибудь старую книгу, мы как бы прочитываем время, все то время, что прошло до нас с тех пор, когда она была написана. Вот почему необходимо поддерживать культ книги. В книге может быть множество фактических ошибок; мы можем не разделять взглядов автора, но, помимо того, в ней сокрыто нечто священное, нечто божественное. Мы подтверждаем это не благоговейным почтением, а жадной испытать счастье, обрести мудрость.

Именно это я и хотел поведать вам сегодня.

24 мая 1978

ПОЭЗИЯ

Ирландский пантеист Скотус Эригена сказал, что Священное писание заключает в себе бесчисленное множество значений, и сравнил его с переливающимся разными цветами оперением павлина. Несколько столетий спустя испанский каббалист сказал, что бог создал Писание для каждого из сынов израилевых и, стало быть, существует столько Библий, сколько читателей. Что вполне допустимо, если учесть, что он – и автор Библии, и творец судьбы каждого из ее читателей. Можно считать, что эти два суждения, одно – Скотуса Эригена относительно переливающегося оперения павлина, другое – испанского каббалиста относительно того, что число Библий равно числу читателей, являются примерами: первый – ирландского воображения, второй – восточного. Я же берусь утверждать, что они идентичны и справедливы не только в отношении Писания, но в отношении любой книги, которую стоит перечитывать.

Эмерсон говорил, что библиотека – это волшебный кабинет, в котором заперто множество заколдованных душ. Они пробуждаются по нашему зову; пока мы не откроем книгу, книга эта – в буквальном смысле слова геометрически – некий том, некий предмет среди других предметов. Когда же мы ее откроем, когда книга найдет своего читателя, это уже эстетический феномен. И тем не менее для одного и того же читателя одна и та же книга меняется уже потому, что меняемся мы, что мы сами (если воспользоваться одним из любимых моих изречений) – река Гераклита, сказавшего, что тот человек, который существует сегодня, – это не тот человек, что был вчера, и не тот, что будет завтра. Мы бесконечно меняемся, и можно утверждать, что при каждом чтении и перечитывании книги и при каждом воспоминании о таком перечитывании ее текст обновляется. Текст – тоже изменяющаяся река Гераклита.

Это может подвести нас к учению Кроче, не знаю только, более ли оно глубоко, чем о п а с н о, – к идее литературы как выражения, что ведет нас к другой доктрине Кроче, о которой обычно забывают: если литература есть выражение,

а литература состоит из слов, то язык – тоже явление эстетическое. Вот и еще одно, с чем следует согласиться: с концепцией языка как эстетического явления. Почти никто не объявляет себя последователем Кроче, и все без конца прибегают к его учению.

Мы говорим, что испанский язык благозвучен, что английский – язык изменчивых звуков, а латынь исполнена исключительного величия, к которому стремятся все языки, появившиеся позднее: мы применяем к языкам эстетические категории. Ошибочно считается, что язык связан с действительностью, с тем таинственным объектом, который мы называем действительностью. На самом деле язык есть нечто другое.

Представим себе нечто желтое, блестящее, изменчивое; этот предмет то стоит в небе в виде круга, то принимает форму дуги, то растет, то убывает. Некто – только мы никогда не узнаем его имени – наш пращур, наш общий пращур, дал этому предмету название «луна», различное и в разной мере удачное в разных языках. Я сказал бы, что греческое слово «Селена» выражает предельную совокупность для обозначения луны, что в английском слове «moon» заключено что-то медленное, нечто побуждающее голос к протяжности, которая подобает луне, которая подобна луне, поскольку оно почти круглое и начинается почти с той же буквы, которой кончается. В то же время слово «luna» – прекрасное слово, доставшееся нам из латыни, прекрасное слово, которое так же звучит и по-итальянски, состоит из двух слогов, из двух частей, чего вполне достаточно. В португальском – менее удачное «lua» и во французском – «lune», в котором есть нечто таинственное.

Поскольку мы говорим по-кастильски, обратимся к слову «luna». Нам кажется, что некто однажды придумал слово «луна». Несомненно, первое подобное творение не могло остаться незамеченным. Отчего же мы думаем о том человеке, который первым произнес слово «луна» с тем или иным звуком?

Мне неоднократно случалось приводить одну метафору (простите меня за монотонность, но моя память – память старая, ей уже за семьдесят), луна в этой метафоре – зеркало времени. В выражении «зеркало времени» заключено и непостоянство луны, и ее вечность. Такова противоречивость луны, которая почти прозрачна, почти ничто, но мера которой – вечность.

В немецком языке слово «луна» мужского рода. Поэтому Ницше мог сказать, что луна – чернец, с завистью взирающий на землю, или кот, Kateg, ступающий по ковру звезд. Даже грамматический род имеет значение в поэзии. Скажем «луна» или «зеркало времени», мы имеем дело с двумя эстетическими явлениями; дело в том лишь, что во втором случае это явление второго порядка, так как «зеркало времени» состоит из двух единиц, и «луна», быть может, даже выразительнее передает самый смысл слова, само понятие луны. Каждое слово есть поэтическое произведение.

Полагают, что проза гораздо ближе к действительности,

чем поэзия. По моему мнению, это ошибка. Существует представление, которое приписывают Орацио Кирого, будто для того, чтобы сказать, что с берега реки дует холодный ветер, нужно просто написать: *с берега реки дует холодный ветер*. Кирого, если именно он это сказал, словно бы позабыл, что эта конструкция весьма далека от действительности, какою является холодный ветер, что дует с берега реки. Что мы ощущаем? Мы чувствуем движение воздуха, которое называем ветром; чувствуем, что этот ветер дует с определенной стороны, с берега реки. И из всего этого мы создаем нечто столь же сложное, как стихотворение Гонгоры или фраза Джойса. Вернемся к предложению: «Ветер, что дует с берега реки». Мы имеем в нем подлежащее *ветер*, сказуемое *что дует*, обстоятельство места *с берега реки*. Все это очень далеко от действительности; действительность много проще. Эта выбранная Кирогой прозаическая по видимости фраза, умышленно прозаическая и общеупотребительная, есть фраза сложная, есть конструкция.

Возьмем знаменитые строки Кардуччи «зеленое безмолвие полей». Можно подумать, что сюда вкралась ошибка, что Кардуччи изменил положение эпитета, тогда как должен был написать «безмолвие зеленых полей», Проявил он хитрость или же следовал законам риторики, но он перекроил фразу и сказал о зеленом безмолвии полей. Обратимся к восприятию действительности. Что мы воспринимаем? Мы ощущаем одновременно несколько вещей. (Быть может, слово «вещь» чересчур вещественно.) Мы воспринимаем поле, огромную ширь полей, зелень и безмолвие. Уже тот факт, что имеется слово для обозначения безмолвия, есть явление эстетическое. Поскольку «безмолвие» относится к одушевленным предметам, существуют выражения «безмолвный человек», «безмолвный поход». Отнести «безмолвие» к обстоятельству, означающему, что в поле нет шума, уже само по себе действие эстетическое, которое в свое время безусловно отличалось смелостью. Когда Кардуччи говорит «зеленое безмолвие полей», он говорит нечто столь же близкое к окружающей его действительности или столь же далекое от нее, как если бы он сказал «безмолвие зеленых полей».

Возьмем другой знаменитый пример нарушения порядка слов – несравненный стих Вергилия: «Ibant obscūri solā sub nocte per umbram» – «Шли вслепую они под осенью ночи безлюдной, в царстве бесплотных теней...». Отбросим «в царстве бесплотных теней», которым заканчивается стих, и возьмем «шли вслепую [Эней и Сивилла] под сенью ночи безлюдной» (в латинском тексте «безлюдной» звучит гораздо сильнее, потому что оно стоит перед «sub»). Мы могли бы подумать, что порядок слов здесь нарушен, поскольку естественнее было бы сказать «шли в безлюдье под сенью слепой ночи». Без сомнения, стремясь передать этот образ, думая об Энее и Сивилле, мы убедились бы, что сказать «шли вслепую под сенью безлюдной ночи» так же близко к нашему образу, как и «шли в безлюдье под сенью слепой ночи».

Язык – явление эстетическое. Уверен, что в этом нет никаких сомнений, и одно из доказательств тому – то, что, изу-

чая какой-нибудь иностранный язык, когда нам приходится пристально вглядываться в слова, мы чувствуем, красивы они или нет. Изучая язык, человек рассматривает слова в лупу, это слово, думает он, безобразно, это – красиво, а это – тяжело. С родным языком, в котором мы не воспринимаем слово в отрыве от речи, такого не бывает.

Поэзия, говорит Кроче, есть выражение, если выразителен каждый стих, если каждая часть, из которых состоит стих, каждое слово в отдельности выразительны сами по себе. Вы скажете, что это нечто избитое, что это все знают. Но не знаю, знаем ли мы; уверен, что нам это кажется знакомым, поскольку это несомненно. Дело в том, что поэзия – это не книги в библиотеке, не книги из эмерсоновского волшебного кабинета.

Поэзия – это встреча читателя с книгой, это открытие книги. Есть иной художественный опыт, который тоже представляет собой весьма удивительный момент – момент, когда поэт задумывает свое произведение, когда произведение сочиняется или открывается. Как известно, слова «сочинять» и «открывать» в латыни – синонимы. Все это согласуется с учением Платона, который говорил: «сочинять» и «открывать» – значит вспоминать. Фрэнсис Бэкон добавляет, что если учить – значит запоминать, то пребывать в неведении – значит уметь забывать; все уже существует, только мы не способны увидеть.

Когда я что-то пишу, у меня возникает ощущение, будто это нечто, уже существовавшее ранее. Я исхожу из какой-то общей идеи, более или менее знаю начало и конец и потом открываю промежуточные звенья; но у меня нет ощущения, будто я сочиняю, у меня нет ощущения, что они зависят от моей воли, – все уже сложено. Все уже сложено, но скрыто, и мой долг поэта – в том, чтобы это открыть, обнаружить.

Брэдли сказал, что воздействие поэзии должно проявляться в ощущении, будто мы вспомнили что-то забытое, а не открыли нечто новое. Когда мы читаем прекрасное стихотворение, нам даже кажется, будто мы сами могли бы написать его, будто это стихотворение уже существовало в нас. Это подводит нас к платоновскому определению поэзии*: *вещь легкая, крылатая и священная*. Как определение оно уязвимо, поскольку такой легкой, крылатой и священной вещью могла бы быть и музыка (только ведь и поэзия – одна из форм музыки). Платон сделал больше для определения поэзии – он дал нам пример поэзии. Мы можем прийти к заключению, что поэзия – это эстетический опыт. Это уже чуть не революция в преподавании поэзии.

Я преподавал английскую литературу на факультете философии и литературы Университета Буэнос-Айреса. Когда студенты просили у меня библиографию, я им говорил: «Библиография не имеет значения, в конце концов Шекспир понятия не имел о шекспироведении». Джонсон не мог предвидеть книг, которые будут о нем написаны. «Почему вы не изучаете непосредственно сами тексты? Если эти тексты вам нравятся, хорошо; если не нравятся – бросьте их, сама идея обязательного чтения – идея абсурдная: с тем же успехом

можно говорить об обязательном счастье. Я полагаю, что поэзия есть нечто ощущаемое, и, если вы не чувствуете поэзии, если вы лишены чувства прекрасного, если рассказ не вызывает у вас желания узнать, что произошло дальше, автор писал не для вас. Не обращайтесь на него внимания – литература достаточно богата, чтобы предложить вам другого автора, достойного вашего внимания или недостойного сегодня вашего внимания, – вы прочтете его завтра».

Вот как я учил, исходя из концепции эстетического явления, которое не требует определения. Художественное явление есть нечто столь же очевидное, столь непосредственное, столь же трудно определяемое, как любовь, вкус плода, вода. Мы чувствуем поэзию так же, как чувствуем близость женщины или как ощущаем гору или залив. Если мы ощущаем ее непосредственно, для чего растворять ее в других словах, которые несомненно будут слабее наших чувств?

Есть люди, которые почти не чувствуют поэзии, – такие обычно посвящают себя преподаванию поэзии. Я считаю, что поэзию нужно чувствовать и что ее не нужно преподавать: я не учил своих студентов любить тот или иной текст – я учил их любить литературу, видеть в литературе форму счастья. [...]

Я считаю, что чувство красоты – это физическое ощущение, нечто такое, что мы ощущаем всем телом. Оно не является результатом осуждения, мы ее постигаем не согласно правилам – мы просто либо чувствуем красоту, либо нет.

В заключение я хочу привести старый стих, написанный поэтом, который в семнадцатом столетии взял себе действительно необычайно поэтическое имя – Ангелус Силезиус. Стих этот подведет итог всему тому, что я сказал сегодня, если не считать того, что я изложил это с помощью рассуждений или псевдорассуждений; чтобы вы могли его лучше понять, я прочту его сначала по-испански, а затем по-немецки:

La rosa sin porgue florece porgue florece

Die rose ist ohne warum; sie blühet weil sie blühet.

Неведомо розе, «зачем» – цветет, раз расцвела.

1980

ПАМЯТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

За всю свою жизнь я не встречал места чудеснее библиотеки моего отца. Там его голос открыл мне тайны поэзии, со мной заговорили карты и иллюстрации, которые в то время значили для меня гораздо больше, чем печатное слово. Там я открыл для себя братьев Гримм, Льюиса Кэрролла и поистине несметные сокровища «Тысячи и одной ночи». Из этих-то воспоминаний и родились потом строки:

...и представлял себе я рай
похожим на библиотеку.

Сенека в одном из писем Луцилию высмеивает человека, имеющего библиотеку в сто томов. Наверяд ли за всю мою долгую жизнь мне удалось прочитать сто книг, но просмотрел я их гораздо больше.

607

И прежде всего это были энциклопедии: от Плиния, Брокгауза, Исидора Севильского и Дидро до одиннадцатого издания «Британники» *. Их золотые корешки, поблескивающие в тихом сумраке библиотеки, так и стоят у меня перед глазами. Для любознательного человека, располагающего временем, нет литературы прекрасней.

Библиотеки – это память человечества *. Бесславная память, как сказал Шоу, но она поможет нам построить будущее, хоть немного похожее на наши мечты.

АРГЕНТИНА

ХУЛИО

1914–1984

КОРТАСАР

*На земле
доживает свой
век фаса писак,
обреченная на
вымирание...*

СВЕТОПРЕ- СТАВЛЕНИЕ

Поскольку писак писать не прекратят, то те немногие «читаки», что еще останутся на земле, переменят занятие и тоже подадутся в писак. И мир постепенно станет миром писак и чернильно-бумажных фабрик, дневных писак и ночных станков, чтобы успеть напечатать все, что они написали. Сначала книги хлынут из домов на улицы, и муниципалитеты решат ради расширения библиотек пожертвовать детскими площадками. Потом они отдадут на откуп писакам театры, роддома, бойни, закулочные, больницы. Бедняки станут использовать книги вместо кирпичей: будут скреплять их раствором, возводить книжные стены и жить в книжных хижинах.

И вот уже книги выходят за город и устремляются в поля, сминая на своем пути подсолнухи и пшеницу, и дорожному управлению чудом удается сохранить от оползней трассы, пролегающие между высоченными стенами из книг. Но порою то та, то другая стена все-таки обваливаются, и происходят чудовищные автомобильные катастрофы. А писак трудятся без передышки, ведь творчество нынче в почете, и печатная продукция, заполонив сушу, доходит до моря. Президент республики говорит по телефону с президентами республик и предлагает мудрый выход: сбросить в море излишки книг; его предложение незамедлительно выполняется на всех побережьях земного шара. Так, на глазах у сибирских борзописцев их творения сбрасываются в Северный Ледовитый океан, а на глазах у индонезийских соответственно в близлежащий. Это позволяет писакам увеличить валовый объем продукции, ведь на суше снова появляется свободное место! Они, правда, не задумываются о том, что у моря есть дно и что на нем постепенно начнут отлагаться плоды их вдохновения: сначала в виде клейкого месива, потом – более твердого напластования, а под конец – в виде крепкого, хоть и вязкого образования, которое каждый день вырастает на несколько метров и в итоге достигает поверхности воды. И вот многие воды затапливают многие земли, происходит перераспределение материков и океанов, и президентов некоторых республик смещают озера и полуострова, а перед президентами других – раскидываются бескрайние просторы для честолюбивых замыслов и проч. и проч. Но морская вода, с такой свирепостью вышедшая из берегов, испаряется быстрее, чем раньше, или же застывает в продукции, смешиваясь с ней и образуя клейкую массу; и в один прекрасный день капитаны дальнего плавания замечают, что их корабли замедлили ход с тридцати узлов до пятнадцати и машины задыхаются, а винты погнулись. В результате все ко-

рабли останавливаются в морях, увязнув в месиве, а писаки мира строчат день и ночь, объясняя сей феномен и бурно радуясь. Президенты и капитаны решают превратить корабли в острова и казино, где типично народные ансамбли усердно создают местный колорит и уют и все пляшут до самого рассвета. Новая продукция громоздится по берегам бывших морей, но смешать ее с основной массой невозможно, и в результате на берегах вырастают стены и горы макулатуры. Тут писаки смекают, что чернильно-бумажные фабрики скоро прогорят, и принимаются писать все более мелкими буквами, не оставляя на листе ни малейшего просвета. Когда кончаются чернила, они пишут карандашом и проч. и проч., а кончается бумага – используют доски, брусчатку и проч. и проч. Входит в обычай вписывать один текст в другой, чтобы занять просветы между строк, а кроме того, умельцы подтирают бритвой старые записи, дабы использовать бумагу еще раз. Работают они не торопясь, но их такое количество, что продукция уже окончательно отгородила сушу от бывших морей. На земле доживает свой век раса писаки, обреченная на вымирание, а в морях торчат острова и казино, а вернее, корабли дальнего плавания, на которых укрываются президенты республик, где устраиваются грандиозные банкеты и откуда остров шлет послание острову, президент – президенту, а капитан – капитану.

Почему вообще перечитывают того или иного автора? Только по одной причине: потому что он нравится.

ЧТЕНИЕ И ВЛИЯНИЯ

– Должен тебе сказать: книги, которые мне нравятся, нравятся мне не потому, что я считаю их лучшими, но в силу самых разных причин, далеко не всегда поддающихся объяснению.

– Ты всегда называешь «Эдипа-царя» Софокла.

– «Эдипа-царя», «Амадиса Галльского», а также «Ласарильо с Тормеса», «Дневник чумного года» Даниеля Дефо, «Первое кругосветное путешествие» Пигаффеты.

– А также «Гарзана у обезьян».

– Да, Берроуза.

– А каких авторов ты постоянно перечитываешь?

– Конрада, Сент-Экзюпери...

– Почему именно Конрада и Сент-Экзюпери?

– Почему вообще перечитывают того или иного автора? Только по одной причине: потому что он нравится. Говоря серьезно, и в Конраде, и в Сент-Экзюпери меня привлекает присущая им обоим манера не прямо смотреть на действительность, а так, что она выглядит поэтической даже тогда, когда могла бы казаться вульгарной.

– А Толстой?

– Честно говоря, я его не перечитываю, но продолжаю считать, что лучший из когда-либо написанных романов – «Война и мир».

– Странно, ни один из критиков никогда не обнаруживал в своем творчестве влияния названных тобой авторов.

– Дело в том, что я никогда не стараюсь быть на кого-то похожим. Что касается писателей, которые мне особенно нравятся, то я стремлюсь не подражать им, а как раз избегать их влияния.

– Тем не менее критикам всегда казалось, что на твоих произведениях лежит тень Фолкнера.

– Разумеется. Они так настаивали на влиянии Фолкнера, что одно время убедили меня самого. Это меня не особенно беспокоит, поскольку Фолкнер – один из важнейших романистов всех времен. И все же критики прослеживают влияния совершенно непостижимым для меня образом. Если говорить о Фолкнере, то аналогии имеют скорее географический, нежели собственно литературный характер. В этом я убедился, когда путешествовал по Югу Соединенных Штатов спустя уже много лет после того, как я написал свои первые романы. Пыльные жаркие деревни, люди, лишённые надежды, которые повстречались мне по дороге, – все это очень напоминало содержание моих первых рассказов. Вероятно, подобное сходство не случайно – деревня Араката-

ка, где я провел детство, в основном была построена руками рабочих американской компании «Юнайтед фрут».

– Вероятно, это далеко идущие аналогии. Можно говорить о родстве, преемственности между Полковником Сарторисом и Полковником Аурелиано Буэндиа, Макондо и округом Йокнапатофа. Женщины с железным характером, кое-какие прилагательные, отмеченные несомненным фабричным клеймом... Старательно избегая определяющего влияния Фолкнера, не совершаешь ли ты отцеубийства?



– Возможно. Именно поэтому я и сказал, что моей задачей было не подражать Фолкнеру, а покончить с ним. Его влияние мне осточертело.

– С Вирджинией Вулф дело обстоит совершенно наоборот. Никто, за исключением тебя самого, не отмечает ее влияния на твоё творчество. В чем же оно заключается?

– Я был бы совершенно другим писателем, если бы в двадцатилетнем возрасте не прочел этой фразы из «Миссис Дэллоуэй»: «Но определено – сама слава восседала в автомобиле, и слава за шторами следовала по Бонд-стрит, совсем рядышком с простыми людьми, которым в первый и последний раз в жизни привелось быть бок о бок с величеством Англии, символом государства, который смогут опознать любопытные археологи, роясь в наших развалинах и находя только кости, обручальные кольца вперемешку с прахом да золотые коронки на несчетных прогнивших зубах, там, где сейчас Лондон, утро, среда и толпа на Бонд-стрит». Я помню, как прочел эту фразу, изнемогая от жары

и москитов в тесном гостиничном номере. Это было в ту пору, когда я промышлял продажей медицинских энциклопедий и книг в колумбийском городе Гоахира.

– Почему она произвела на тебя такое сильное впечатление?

612

– Потому что полностью преобразила мое ощущение времени. Быть может, она мгновенно позволила мне увидеть весь процесс разрушения Макондо, его конечную участь. К тому же порою мне кажется, что в этой фразе заключен от-



даленный исток «Осени патриарха», книги о человеческой тайне власти, ее одиночестве и нищете.

– Однако список влияний можно продолжить. Кого мы пропустили?

– Софокла, Рембо, Кафку, испанскую поэзию золотого века, а также камерную музыку – от Шумана до Бартока.

– Не добавить ли немного Грина и каплю Хемингуэя? Я помню, в молодости ты читал их с большим увлечением. У тебя есть один рассказ, по твоим словам, самый лучший, который называется «Сиеста во вторник» и который многим обязан «Канарейке в подарок» Хемингуэя.

– Грэм Грин и Хемингуэй преподнесли мне уроки чисто технического характера. Это ценности, лежащие на поверхности, значение которых я всегда признавал. Но для меня реальным и важным является влияние такого автора, чтение которого волнует настолько глубоко, что способно изменить сложившиеся у тебя представления о мире и жизни.

– Возвращаясь к разговору о глубоких, точнее говоря,

*Слава Богу, что
есть книги.
Хотелось бы, чтобы
наш труд помог
и другим людям
писать стоящие
книги.*

Эрист Хемингуэй

скрытых влияниях... Что ты скажешь о поэзии? Наверняка в молодости ты мечтал стать поэтом, хотя никогда в этом не признаешься... И все же ты говорил, что твое воспитание, по существу, было поэтическим.

– Да, интерес к литературе во мне родился из интереса к поэзии. К плохой поэзии, иными словами, к тем популярным стихам, которые печатают в альманахах или выпускают отдельными книжками. Проходя литературу в школе, я вдруг обнаружил, что обожаю поэзию в той же мере, в какой ненавижу грамматику. Мне очень нравились испанские романтики: Нуньес де Арсе, Эспронседа.

– Где ты их прочел?

– В Сипакира. Как ты отлично знаешь, это и есть та самая глухая деревня, расположенная за тысячу километров от побережья, куда направился разыскивать Фернанду дель Карпио Аурелиано Второй. Там в лицее-интернате я начал свое литературное образование, с одной стороны, читая плохие стихи, с другой – марксистские книги, которыми меня тайно снабжал учитель истории. По воскресеньям, когда делать было нечего, чтобы не умереть с тоски, я шел в библиотеку. Вот так я и начал с плохой поэзии и лишь позднее открыл для себя хорошую – Рембо, Валери...

– Неруду...

– Разумеется, и Неруду, которого я считаю величайшим поэтом XX века. Даже когда он берется за самое сложное – стихи на политические или военные темы, он всегда остается настоящим поэтом. Как-то я уже говорил, что Неруда – своего рода царь Мидас: все, до чего он дотрагивается, превращается в поэзию.

– Когда ты стал интересоваться романами?

– Позже, когда учился в университете, на первом курсе юридического факультета (мне было тогда лет девятнадцать). Как-то я прочел «Превращение». Мы уже говорили о пережитом мной откровении. Помню первую фразу: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое». Я подумал: черт побери, ведь так рассказывала моя бабушка. Именно тогда я и начал проявлять интерес к роману. И тогда же решил прочесть все замечательные романы, которые были написаны с момента возникновения человечества.

– Все?

– Все, начиная с Библии, потрясающей книги, где происходят самые невероятные вещи. Я все бросил, даже карьеру юриста, и целиком отдался чтению романов. Читал романы и писал.

– В какой из твоих книг в наибольшей степени ощущается твое поэтическое воспитание?

– Скорее всего, в «Осени патриарха».

– Ты называешь ее поэмой в прозе.

– Дело в том, что я работал над этой книгой, как над поэмой в прозе. Ты заметил, там есть целые стихи Рубена Дарио? «Осень патриарха» полна намеков, рассчитанных на знатоков Рубена Дарио. До такой степени, что он сам –

один из ее героев. И там есть одно его стихотворение в прозе, процитированное небрежно:

«Твой белоснежный платок с алою анаграммой – знаю одно: не твое это имя, о мой владыка».

– Что ты читаешь, помимо стихов и романов?

614

– Книги, которые имеют не художественный, а документальный характер: воспоминания знаменитых людей, даже если они все выдумывают. Биографии, репортажи.

– Давай составим другой список. Помню, тебе очень нравилась биография Кордовца, написанная Домиником Лапьером и Ларри Коллинзом: «Или ты будешь носить по мне траур», «Шакал», даже «Папийон»*.

– Замечательная книга, хотя и не имеющая совершенно никаких литературных достоинств. Ее должен был бы переписать какой-нибудь хороший писатель, но так, чтобы содалось впечатление, что она написана новичком. <...>

ЧИЛИ

ПАБЛО

1904–1973

НЕРУДА

*Работа
поэта — дело
глубоко личное,
но делается оно
для людей.*

МОИ ПЕРВЫЕ КНИГИ

С яростью и отчаянием застенчивого человека я искал убежища в поэзии. В Сантьяго в ту пору появились новые литературные школы. На улице Марури, в доме № 513, я закончил свою первую книгу. Писал по два, три, четыре, по пять стихотворений в день. Под вечер, когда солнце садилось, с балкона открывалась такая картина, которую я не согласился бы пропустить ни за что на свете. Это был закат с его буйством красок, разметавшийся огромными веерами оранжевых и пурпурных лучей. Главная часть моей книги так и называлась: «Закат на Марури». Меня никто и никогда не спрашивал, что это за Марури. И наверное, мало кто знает, что Марури — это скромная улочка, на которой бывают потрясающие закаты.

В 1923 году я опубликовал эту мою первую книгу, «Собрание закатов». Чтобы оплатить публикацию, мне пришлось сражаться из последних сил и одерживать трудные победы. Была продана жалкая мебель. В залог отправились часы, подаренные мне отцом, часы, на которых он сам изобразил скрещенные флажки. За часами последовал черный костюм — одеяние поэта. Но издатель был ненасытен и под конец, когда книга уже была напечатана и даже переплетена, коварно заявил: «Нет. Вы не получите ни одного экземпляра, пока не заплатите мне все сполна». Критик Алоне щедро внес недостававшие песо, алчный издатель поглотил и их, а я вышел на улицу с книжками на плече, в рваных башмаках и без ума от радости.

Моя первая книга! Я всегда стоял на том, что в писательском деле нет ничего таинственного или магического, во всяком случае, ничего такого нет в работе поэта; работа поэта — дело глубоко личное, но делается оно для людей. Больше всего по своей природе поэзия похожа на хлеб, или на керамическое блюдо, или на древесину, любовно обработанную пусть даже неловкими руками. И все-таки, я думаю, ни один ремесленник не испытывает того пьянящего чувства, какое один раз в жизни испытывает поэт от того, что впервые создал своими руками нечто, заключающее в себе смутное биение его мечты. Этот миг никогда больше не повторится. Будут другие издания, гораздо красивее и тщательнее сделанные. И твои слова перельются в сосуды иных языков, подобно тому как поет и благоухает вино в краях, далеких от земли, где оно родилось. Но миг, когда выходит первая книга, еще пахнущая типографской краской и ласкающая прикосновением страниц, этот восхитительный и пьянящий миг, когда словно слышится шелест распахивающихся над головой крыльев и на покоренной вершине распускается цве-

т о к , — такой миг бывает только раз в жизни поэта.

Одно стихотворение — «Farewell»¹ — вышло из той детской книги и пошло своим путем; по сей день, где бы я ни оказался, обнаруживается, что многие знают его наизусть. Случалось, в самых неожиданных местах вдруг кто-то читал мне его на память или просил, чтобы я прочитал. Мне становилось не по себе, когда не успевали меня представить на каком-нибудь собрании, как тотчас находилась девица, которая принималась одержимо выкрикивать строки этого сти-



*Рисованный эскиз
изюмена Досифея. XV в.*



хотворения, а бывало, что и министры замирали передо мною по стойке «смирно» и нанизывали на меня, как на вертел, первую строфу.

¹ Прощай (англ.). Несколько лет спустя, в Испании, Федерико Гарсиа Лорка рассказал мне, что то же самое происходило с его стихот-

ворением «Неверная жена». Наивысшим проявлением дружбы со стороны Федерико было чтение им этого своего прекрасного и популярнейшего стихотворения. Такой застывший успех одной вещи вызывает у писателя нечто вроде аллергии. И это здоровое и даже биологически оправданное чувство. Читатель, навязывая нам свое отношение, норовит удержать поэта на одном определенном мгновении, в то время как творчество есть непрестанный круговорот, который в своем коловращении наращивает умелость и знания, хотя порою, быть может, за счет свежести и непосредственности.

ПОЭЗИЯ

...Сколько произведений искусства... Им не уместиться в нашем мире. Их надо вывешивать за окно... Сколько книг... сколько книжечек... Кто способен прочесть все это? Если бы они были съедобны... Раздразнить бы аппетит да сделать из них салат, приправить бы, поперчить... Дальше так нельзя... Мы уже сыты ими по горло... Мир тонет в их приливной воде... Реверди сказал мне однажды: «Я предупредил на почте, чтобы мне не посылали их домой. Нет сил раскрывать новые книги. Нет для них места... Они всюду, они карабкаются по стенам, так недолго и до беды – я боюсь, что они обрушатся мне на голову...» Все чилийцы знают нашего Хорхе Элиота... Пока Элиот не стал художником и режиссером, пока не начал писать блистательные критические статьи, он читал мои стихи... Мне это льстило... мало кто понимал их лучше. Но однажды он принялся читать мне свои стихи, и я как последний эгоист удрал от него, крича: «Не надо, не надо!..» Я заперся в ванной, но он, стоя под дверью, прочел все до конца... мне стало грустно... Присутствовавший при этом шотландский поэт Дональд Фрейзер сказал мне с укором: «Почему ты так обращаешься с Элиотом?..» Я ответил: «Мне страшно потерять моего читателя. Я его взлелеял. Ему знакома каждая морщинка моей поэзии. У него столько талантов... Он может рисовать... Может писать эссе... А я хотел удержать, сохранить в нем читателя, ухаживать за ним, как за редким растением... Ты понимаешь меня, Фрейзер...» Ведь, честно говоря, если все останется по-прежнему, поэты будут писать только для поэтов... Каждый поэт станет подсовывать в карман другому свои творения... свои стихи... или подложит их на тарелку соседа... Кеведо положил однажды стихи на прикрытое салфеткой блюдо короля... В этом есть свой смысл... Или в том, чтобы поэзия вышла на залитую солнцем площадь... Или в том, чтобы книги были истрепаны, замусолены пальцами человеческой толпы. Когда поэта печатают для поэта, я не чувствую никакого интереса, меня это не волнует, не зажигает, напротив, мне хочется затанцевать где-нибудь среди скал, у волн, подальше от издательств, от печатных страниц... Поэзия потеряла связь с далеким читателем... Надо восстановить ее... Надо идти в неведомое, сквозь мрак, и встретиться с сердцем мужчины, с широко раскрытыми глазами женщины, с незнакомыми прохожими, которым в закатный час или в звездную ночь бу-

дет необходимо хотя бы одно-единственное твое стихотворение... Эта встреча с непредвиденным стоит всех усилий, всего прочитанного, всего изученного... Надо затеряться среди тех, кого мы не знаем, чтобы они нашли частицу нас на улице, в песне, в листьях, которые тысячелетие за тысячелетием падают в том же лесу... чтобы люди со всей нежностью и верой подняли наше творение... лишь тогда мы – истинные поэты... И в том пребудет поэзия...

1974

АННА АХМАТОВА

ЧИТАТЕЛЬ

Не должен быть очень несчастным
И, главное, скрытным. О нет! –
Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

И рампа торчит под ногами,
Все мертво, пусто, светло,
Лайм-лайта холодное пламя
Его заклеило чело.

А каждый читатель как тайна,
Как в землю закопанный клад,
Пусть самый последний, случайный,
Всю жизнь промолчавший подряд.

Там все, что природа запрячет,
Когда ей угодно, от нас.
Там кто-то беспомощно плачет
В какой-то назначенный час.

И сколько там сумрака ночи,
И тени, и сколько прохлад,
Там те незнакомые очи
До света со мной говорят,

За что-то меня упекают
И в чем-то согласны со мной...
Так исповедь льется немая,
Беседы блаженнейший зной.

Наш век на земле быстротечен
И тесен назначенный круг,
А он неизменен и вечен –
Поэта неведомый друг.

КУБА

АЛЕХО

1904–1980

КАРПЕНТЬЕР

*Есть
читатели, для
которых
средства
массовой
информации ни
в коем случае не
могут заменить
размышлений
в одиночестве...*

**МЕЧТАНИЯ
ОДИНОКОГО
ЛЮБИТЕЛЯ
ЧТЕНИЯ**

Человек – неистощимо изобретательный, мятежный, постоянно стремящийся к созиданию и разрушению, всегда и во всем критичный, склонный все подвергать сомнению – с недавних пор начал задаваться вопросом: в достаточной ли степени справляется в наши дни книга с ролью инструмента для пропаганды культуры (но почему при этом не учитывают ее огромного распространения во всем мире?); не пора ли заменить книгу прямыми средствами информации, воздействие которых ощущается более непосредственно, средствами более совершенными, ибо они предполагают комплексное воздействие, объединяя слух и зрение, музыку, зримый образ и слово; средствами, способными откликаться на события и факты действительности и воссоздавать их с такой быстротой, которая недостижима для печатного слова, заключенного в томах и фолиантах?

Так появились эксцентричные теории, утверждающие, что в деле культуры кино, радио, пресса, телевидение сильнее книги, что они за час-полтора сообщают нам больше, чем книга, роман, эссе, которые требуют от автора шести-семи лет труда, а от нас – нескольких дней чтения и размышлений. И дни эти приходится выкраивать из немногих часов досуга, остающихся нам после обязательных забот о хлебе насущном. «Что ты на это скажешь, брат Жан?» – рассмеялся бы Панург *, швыряя своих знаменитых баранов в безбрежное море... гипотез. Но строгие критики ведут себя по-иному: они, обнаруживая поистине удивительное невежество, обрушиваются с нападками на увлечения нашего века, считая их каким-то особым новшеством, типичным проявлением дурных веяний эпохи, в которую нам довелось жить.

Для начала, чтобы постепенно подойти к более сложным проблемам, рассмотрим самое простое – сетования и анафемы, которые служители Ее святейшества культуры адресуют комиксам, так полюбившимся в последнее время нашим детям, да и нам, людям подчас весьма зрелого возраста.

Моду на комиксы осуждают потому, что молодое поколение, увлекаясь ими, якобы отходит от чтения. Но те, кто так полагает, видимо, забывают, что основной принцип комикса – последовательный рассказ о событиях с помощью зрительных образов, своего рода предшественник кинематографа, – можно увидеть еще в древних кодексах Мексики: в них изображенные в хронологической последовательности сцены повествовали о событиях конквисты и закате империи ацтеков. И что представляют собой великолепные гобелены из Байё, как не своеобразную хронику завоевания норманна-

ми Британских островов – хронику, воплощенную именно техникой комикса?

Замечательному швейцарскому юмористу Родольфу Тёпферу принадлежит заслуга создания в прошлом веке того комикса *, который мы знаем сегодня. По его пути пошел и французский писатель и художник Кристоф, создатель ныне уже классической «Семьи Фенуйяр» (1889–1893) и других произведений того же плана.

Когда я был ребенком, в годы, предшествовавшие первой



Фото В. Ахломова. мировой войне, в Париже выходило – и немалыми тиражами – несколько газет для детей: «Пти-Иллюстре», «Кри-Кри», «Энтрепид», «Эпатан» и др.; в этих газетах печатались незабываемые «Приключения Пьёда Никле» французского юмориста Фортона, которые со временем тоже стали классикой. Английские дети примерно в то же время с увлечением следили за проделками Бастера Брауна и его собаки (1902). Где-то около 1913 года американский юморист Бад Фишер создал своих неповторимых Матта и Джеффа, которые более сорока лет не сходили со страниц газет. А сколько было других таких же героев: Тарзан, Терри и пираты, Супермен, Волшебник Мандрейк и т. д. и т. п. , – все они вместе создали как бы новую мифологию, которая и до сих пор привлекает нас к газетным полосам...

И тем не менее, господа лорды-хранители храма Культуры, все это не помешало тому, что вновь и вновь появлялись



Рисунок Л. Матюшека.

издания и переводы произведений Толстого, Пиранделло, Марселя Пруста, Джеймса Джойса, Томаса Манна, Германа Броха (этот перечень знаменитых имен очень нетрудно продолжить и дальше, но я не хочу этого делать) – тех, кого средний читатель прошлого века назвал бы «трудными», если не просто «нечитабельными» авторами.

Научная фантастика? Этот литературный жанр существовал фактически всегда. Классическими его представителями являются Лукиан Самосатский или, скажем, средневековый создатель романа об Александре Македонском *, который заставлял своего героя опускаться на дно моря в стеклянной бочке; Ариосто с его «Неистовым Роландом», вплавь пересекающим океан; Сирано де Бержерак, описавший путешествие на Луну *; Свифт, неистовый Свифт; Герберт Уэллс, романы которого – «Первые люди на Луне», «Борьба миров», «Человек-невидимка», «Остров доктора Моро» – служили мне основной духовной пищей в тринадцать лет. Романы с продолжением? Примером подобных произведений могут служить уже куртуазные романы, и прежде всего «Амадис Галльский»; сюда же следует отнести произведения Ксавье де Монтепена, Эмиля Габорио, Эжена Сю (XIX век) и, наконец, вершина этого жанра, роман, отличавшийся замечательными литературными достоинствами и, – «Отверженные» Виктора Гюго. Это был «бестселлер» мировой литературы, которым до сих пор упивается огромная читательская аудитория, в частности в странах испанского языка; кубинские табачники, например, вручную крутящие знаменитые сигары, слушают во время работы всякие книги, но время от времени обязательно просят снова почитать им историю Жана Вальжана.

Романы с продолжением, в наши дни перебравшиеся на экраны телевизоров (многосерийные фильмы), не помешали ни созданию великой эпопеи Бальзака, ни поэтическим поискам позднего Виктора Гюго, ни медленному, но неуклонному распространению во всем мире поэзии Бодлера и Рембо...

После эры безраздельного господства в литературе Гюго, создателя «Эрнани», и до появления Толстого автором европейских «бестселлеров» стал Эмиль Золя; не следует забывать и о Диккенсе, к которому известность, впрочем, пришла несколько позже. И если вершин мастерства Золя достигает в «Нана», «Западне», «Жерминале», то начинал этот великий писатель с книг «Тереза Ракен» и «Марсельские тайны», немногим отличавшихся от худших образцов серийных фильмов, которые можно видеть сегодня на экранах телевидения во всем мире.

Кто же отобрал и обессмертил великое и подлинное в Эмиле Золя, отбросив тривиальное и незначительное? Читательская масса. Точно так же кинозрители забыли душевраздирающие фильмы-мелодрамы итальянских кинофирм «Чинес» и «Амброзио», в которых снимались Франческа Бертини, Густаво Серена, Итала Альмиранте Манчини, Эсперия и прочие «звезды» начала нашего века, но сохранили в памяти незабываемые фильмы Чаплина – его зрелые работы. У публики в конце концов вырабатывается здоровое

критическое чувство, которое хотя и не мешает ей ценить познавательные, развлекательные и другие достоинства массовых средств информации, но тем не менее во все большей мере обращает ее внимание к Книге — я умышленно пишу здесь слово «книга» с большой буквы.

Ибо Книга, несмотря на все ухищрения и насмешки тех, кого Рабле назвал бы «извлекателями квинтэссенции», продолжает жить, завоевывая с каждым днем все новые позиции; новых читателей и приверженцев. Свидетельством тому



Фото В. Стигнеева. служит факт, который говорит сам за себя и может убедить даже ребенка, в своем развитии не пошедшего дальше приключений Тарзана или Супермена: число издательств в мире растет поразительными темпами.

Издатели — это люди, жизнь которых целиком зависит от такого неблагоприятного и невыгодного занятия — выпуска книг. Невыгодного потому, что оно требует вложения средств, но отнюдь не обещает быстрой их отдачи: ведь финансировать приходится и книги неизвестных авторов, которые покроют расходы лишь через год-два, если вообще покроют.

Чтобы процветать, издатель должен организовать распространение своих изданий, позаботиться о рекламе, привлечь внимание скучающего прохожего названием романа, книги стихов или очерков. Все это связано с большими хлопотами, которые совершенно неведомы другим предприни-

*Не нужно строчить
иллюзий
относительно общего
числа
латиноамериканских
читателей. За
счастливым
исключением Кубы,
это незначительно по
сравнению
с огромными
массами населения,
полностью или
частично
неграмотного. Но
эта более чем
неутешительная
картина в последние
двадцать лет
меняется:
увеличивается,
и подчас очень резко,
количество
читателей,
пристально следящих
за произведениями
наших писателей.
Среди них уже давно
преобладают те,
кто в чтении ищет
не только
развлечения или
забвения... Когда они
читают книгу, они
составляют ее со
своей душой и
с окружающим
миром. Закрывая
книгу, такой
читатель
просьмается, как
Старый моряк
Колриджа,
«другим — умней.*

мателям, выбрасывающим на рынок товары первой необходимости. Ведь в каком-то смысле чтение – роскошь. Книги покупают на «лишние» деньги, оставшиеся после того, как приобретено, без чего не обойтись в повседневной жизни.

И все же окинем взглядом панораму издательского дела во всем мире. Не будем говорить здесь о Франции, Германии, Англии и других странах с давними традициями книгоиздания; но в Латинской Америке, например, в дни моего детства издательств было так мало, что их можно было пересчитать буквально по пальцам. Были, конечно, типографские, которые за определенную плату печатали (не более 2000 экземпляров) книгу какого-нибудь именитого профессора, известного по газетам поэта или эссеиста. И когда книга была напечатана, автор должен был сам распределять ее по книжным лавкам, где ее принимали сдержанно, а то и с явным неудовольствием: «Ну ладно, оставьте с десяток экземпляров... Но я вас предупреждаю...»

Как правило, в результате всех трудов и разочарований у автора на руках оставалась примерно тысяча нераспроданных экземпляров, которым суждено было покрываться пылью забвения, лежать в подвале или на чердаке его дома, и лишь в крайне редких случаях последующее поколение, охваченное любопытством к прошлому, открывало в бесславно окончившем свои дни авторе крупного мыслителя. Исключение в этом смысле составляет Рубен Дарио, пользовавшийся огромным успехом на Американском континенте, но вспомним, например, судьбу непревзойденного Сесара Вальехо – его так недооценивали, когда он еще был с нами!

Сейчас отношение читающей публики к книге изменилось во всем мире (однако я не говорю здесь о развивающихся странах, где вообще нельзя говорить о «читающей» публике по той простой причине, что огромное большинство людей не умеет ни читать, ни писать...).

Каждый человек выводит свои наблюдения, свои мысли о жизни из собственного опыта. Я вспоминаю поколение моего отца, моего деда, которые в свое время считались весьма образованными людьми. В чем заключалась их образованность? Во всем том, что помогало достойно, а порой и поистине талантливо применять свои профессиональные знания – мой дед был адвокатом, а отец – архитектором... Они были на уровне во всем, что было практически полезно, что давало им возможность совершенствовать профессиональное мастерство. Ну а что дальше? Да, они были образованными людьми, их считали очень образованными в кругу тех образованных людей, среди которых они вращались.

Но... в чем же заключалась их культура? Они хорошо знали гуманитарные науки, знали древнегреческих, латинских, средневековых классиков, писателей золотого века Испании, Франции, Англии, они знали немецких романтиков, литературу XIX века, современных им писателей. В беседах они вполне «интеллигентно» упоминали имена Бальзака, Флобера, Золя, Достоевского, Толстого, Ибсена, Гальдоса, Пио Барохи, Валье-Инклана, а также тех поэтов и драматургов, чьи имена канули в прошлое или небытие.

*грустней». Грустней — из-за
хорошо всем
известных
политических причин
и умней — так как
наша литература
с каждым разом
становится все более
способной помочь ему
осознать эти
причины
и противостоять
им.*

Хулио Кортасар

Они обладали кое-какими познаниями в философии, знали кое-что из истории — прежде всего по Мишле. Кроме того, они читали Дарвина, Геккеля, Лебона, Ренана, Тэна, Эмерсона, но это так, по настроению, без особого усердия, ибо в их представлении философия была уделом только философов, археология — уделом археологов, социология — социологов, естественные науки — делом ученых. Что же касается политики, то, как говорил мой дед, «политика — это просто ловкость рук, забава для плебеев». Не следует забывать, что мэтром этого поколения, весьма характерным для своей эпохи, был Анатолий Франс, эстет и блистательный дилетант в философии, политике и в любых прочих материях, создатель «житий святых», в которых он сам не верил.

А давайте сегодня заглянем на полки книжных магазинов Парижа, Лондона, Буэнос-Айреса, Мехико, Гаваны или любого другого города. И мы увидим, что беллетристика там соседствует с книгами о раскопках в Шумере, на острове Крит, в Мексике или Перу; все люди моего поколения читали Фрейда, Карла Юнга, Лакана (я не буду увеличивать список); они читали Маркса, Энгельса, Грамши; некоторые философские книги в последние годы стали подлинными бестселлерами; кибернетика, точные науки, исследования космоса (новые формы научной фантастики, но в то время, когда люди уже реально ступают по Луне) увлекают все поколение.

Все больше появляется серийных изданий, книги по искусству стали дешевле, широким спросом пользуются биографии композиторов, книги по истории музыки (все это в сопровождении музыкальных записей), труды по политическим наукам, по современной истории и социологии, книги о новейших открытиях, об изучении планет и т. д. и т. п.

Читательская аудитория день ото дня ширится, движимая жаждой познания, желанием все постигнуть, проникнуть в области, вчера еще ей неведомые. Не удивительно поэтому, что если в прошлом веке книги (за исключением, может быть, книг Гюго или Золя) выпускались тиражами примерно в 2000 экземпляров (с философией или социологией дело обстояло еще хуже), то сегодня тиражи в 20, 30, 50 и даже 100 тысяч экземпляров — обычное явление. И насколько мне известно, ни один издатель в Европе или в Латинской Америке за последние тридцать лет не обанкротился; значит, дело это актуальное и перспективное. Перспективное прежде всего потому, что есть читатели, — читатели, для которых средства массовой информации ни в коем случае не могут заменить размышлений в одиночестве, когда человек остается наедине с печатной страницей.

На это могут возразить, что существует проблема развивающихся стран, где огромные массы людей не в состоянии вывести свое собственное имя на клочке бумаги. Но это уже другая проблема — проблема необходимости интенсивного и массового образования, которое должно начинаться с того момента, как ребенок произносит свои первые слова.

И эту проблему нельзя разрешить одним только выпуском книг. Даже «Божественная комедия» бессильна там,

где нет горсти риса или ломтя хлеба; это-то и нужно решать сегодня же, без промедления, ибо такое положение – позор нашего времени. Об этом все хорошо знают, хотя кое-кто и делает вид, будто им ничего не известно. Обеспечение равенства в этом отношении – это вопрос не культуры и не чтения, а государственной системы. Если в развитых странах ощущается голод на книги – а это совершенно бесспорно, – то где-то рядом существует голод другого рода, при котором не приходится говорить о голоде книжном.

И перед лицом такого положения не нужно уподобляться той даме из романа Пруста, которая во время войны 1914–1918 годов больше всего заботилась о том, чтобы ее булочник каждое утро доставлял ей, несмотря на военное время, свежие булочки. Дама благоразумно съедала их до чтения утренней газеты – ведь газета могла принести печальные вести о положении союзнических войск на фронтах...

1972

ДЛЯ КУБИН-
СКОГО
ПИСАТЕЛЯ
ЗАКОН-
ЧИЛИСЬ
ВРЕМЕНА
ОДИНО-
ЧЕСТВА

Как-то вечером – дело было в тысяча девятьсот двадцать четвертом году – мы с Рубеном Мартинесом Вильеной возвращались с веселого сборища, на котором много говорилось об очевидном обновлении, наблюдающемся по окончании первой мировой войны во всех областях искусства – в литературе, в изобразительных искусствах, в музыке. Рубен, как все товарищи из нашей группы, восхищался смелостью новой живописи, новой поэзии, уже давно освободившихся от соблазнов модернизма в духе Дарио и его последователей, которые все еще были очень в моде в иных кругах латиноамериканских интеллектуалов. В утверждении тогдашнего так называемого авангардизма все мы усматривали весть о пришествии Новой Эры в области художественного выражения. Однако же, по моим наблюдениям, в тот вечер Рубена, казалось, мучил сложный внутренний монолог... Внутренний монолог, который внезапно вырвался наружу в тиреде, оказавшей на меня глубокое влияние.

– Новое искусство? – говорил он. – Новая поэзия? Новая живопись? Хорошо. Но... А может, лучше для начала поговорить о *Новом Человеке*? Куда девают они *Нового Человека*, когда утверждают эти новые ценности, которые станут действительно новыми лишь тогда, когда приведут к освобождению нового человека, обновленного *новым порядком вещей*?

Сознаюсь, что это категорическое и неопровержимое утверждение глубоко взволновало меня... И поскольку в ту пору много говорилось о проблеме «дегуманизации искусства», поставленной Ортегой-и-Гассетом *, я скоро заметил, что, впад, как не раз с ним случалось, в заблуждение, он неверно поставил проблему. Неумным и праздным был разговор о «дегуманизации искусства» в то время, как истинной проблемой, которую ставили исторические потрясения той поры, была проблема *гуманизации либо дегуманизации художника*.

Разумеется, эта последняя проблема могла быть решена немедленно: решение состояло в том, чтобы принять – с той

Для Латинской Америки такое занятие, как писать романы и читать их, с каждым днем все больше приобретает характер внелитературной деятельности, хотя наиболее удавшиеся наши произведения и не отражают прямо идеологическую или политическую платформу. Писать и читать становится способом существования, поскольку в диалектике

*отношений
читателя
и писателя,
которую я пытался
обрисовать,
читатель настолько
глубоко
воспринимает
полюбившуюся книгу
и настолько глубоко
переживает ее, что
произведение
становится частью
его личного
жизненного опыта.*

Хулио Кортасар

или иной долей ответственности и активности – политическую идеологию, стремящуюся к обновлению общества, и отбросить обветшалую систему понятий и ценностей буржуазного государства, под гнетом которого мы томимся в ту пору. Хулио Антонио Мелья уже тогда понял это именно так; вскоре его примеру последовал сам Рубен и наш Хуан Маринельо, который сегодня вечером находится среди нас и для которого, даже прибегнув ко всем возможным приемам импровизации, я не найду сейчас слов, чтобы отблагодарить за несравненное великодушие, проявленное им теперь, когда он, верный друг мой в течение пятидесяти лет, почел за благо охарактеризовать, оценить, превознести мой писательский труд на всем протяжении долгого пути, не раз сводившего нас на великих перекрестках культуры и политики современности... То, что происходило в те дни, о которых я сейчас вспоминаю, дни, когда такие люди, как Мелья, Рубен, Маринельо, уже исполняли роль превозвестников (и да простится мне, что я привожу лишь имена тех, кто оказывал на меня большое влияние, потому что мы были очень близки), то, что происходило в те дни, повторяю, имело первостепенное значение для будущего кубинской культуры, поскольку нам становилось ясно, что мы должны, не мешкая и не увликая, взять на себя *обязательство*... Переиначив порядок слов в известной поговорке, мы могли бы сказать тогда: «Скажи мне, кто ты... и я скажу, кто твои друзья».

Как вам известно, я покинул Кубу в тысяча девятьсот двадцать восьмом году, после тюремного заключения, побудившего меня думать – возможно, ошибочно, – что любые попытки политической деятельности с моей стороны будут пресечены в зародыше, поскольку полиция режима Мачадо была осведомлена обо всем, что я делал. И как же я удивился, когда по прибытии в Европу осознал, что дилемма: принять на себя *политические обязательства* или не принимать их, возникшая несколько лет назад перед интеллектуальными кругами Кубы, встала теперь со всей неотвратимостью перед европейской *интеллигенцией*, вызывая бесчисленные споры, расхождения, расколы. Здесь тоже нельзя было отступить в сторону. Нужно было сказать ДА или сказать НЕТ – хотя многие пытались увильнуть от конкретного ответа, прибегая к лживости «третьих решений» (решений двусмысленных, среднего или общего рода, если воспользоваться терминами грамматики...), каковые не выходили за рамки туманных салонных утопий... Затем... что же, и там, и тут вставала одна и та же проблема? Вначале я полагал, что так оно и есть: эпоха была верна себе, и история этой эпохи – нашей – предлагала нам лишь два пути. Путь реакции. Путь прогресса. И к тому же Латинская Америка и Европа для так называемых «интеллектуалов» уподоблялись друг другу благодаря тождественности тенденций, в силу чего приходилось действовать с помощью одних и тех же тактических приемов и пользоваться одинаковыми средствами распространения.

Я сказал – для так называемых интеллектуалов. И дабы

обозначение это, само по себе слишком смутное, стало немногим яснее, будучи сведено к моей профессиональной области, я скажу — *для писателя*. Для писателя Европы, которая, само собою разумеется, не была социалистической, и для писателя Латинской Америки, которая, как казалось, была от социализма весьма далека... И я придерживался этого убеждения, пока мне не попала на глаза анкета, помещенная в одной парижской газете * и побудившая меня основательно изменить взгляд на вещи. В этой анкете разным писателям задавался вопрос: «*Для кого вы пишете?*» Один отвечал: «Я хочу заинтересовать широкий круг читателей, а потому с максимальной возможной простотой пишу о простых вещах». И отвечал другой: «Мои книги расходятся; это доказывает, что читатель привыкает постепенно к трудному стилю». И отвечал третий: «Я создаю экспериментальную, новаторскую литературу, доступную пониманию пятисот-шестисот читателей; покамест мне этого довольно». Иными словами: писатель выбирал себе публику, работал на определенную публику. Так вот, я понял внезапно, что в Латинской Америке такая анкета была бы невозможна. По той причине, что на вопрос такого рода писатель мог бы дать один-единственный ответ: «Для кого я пишу? Да для тех, кто умеет читать!..»

Для тех, кто умеет читать, ибо в большинстве наших стран существовало пугающее множество неграмотных, которое следовало вычестить из общей численности населения. А из остатка следовало к тому же изъять внушительное количество тех, кто, будучи способен поставить подпись и даже прочесть с трудом газету, никогда не смог бы одолеть книгу, чтение которой требует куда больше усилий. А к ним следовало прибавить тех, кто, не будучи приобщен к книге, не будучи приучен, расположен, побуждаем к чтению, никогда не вошел бы в книжную лавку — а книги вдобавок были чрезвычайно дороги. И словно этого мало, в список следует включить представителей и представительниц буржуазии, всецело поглощенной своими забавами и развлечениями, а потому не уделяющей и минимального времени чтению, — буржуазии, которая у нас в стране, как хорошо известно, презирала культуру, помещая писателя на самой низшей ступени общественной лестницы.

Писатель наш — писатель Кубы и многих других стран континента — творил для крайне малочисленной кучки читателей, которые, умея читать — в буквальном и в широком смысле слова, — приобретали книги; а также для собратьев по роду занятий, иными словами, для людей, которые в России девятнадцатого века определялись словом «интеллигенция». Отсюда чудовищное ощущение того, что *никто не слушает*, что приходится писать для немногих друзей; этим ощущением проникнуты воспоминания, письма, статьи многих наших писателей дореволюционных времен... «Здесь ничего нельзя сделать... Нет среды... Нет публики... Интеллектуальное усилие бесполезно», — сотни раз читаешь в таких текстах, словно жалобный лейтмотив, стократ повторенный.

Наш писатель до тысяча девятьсот девятого года —

человек, который живет в одиночестве, в безнадежном одиночестве: он и его рукопись, которую придется издать за собственный счет или в лучшем случае – но как редкое исключение – которая будет издана за границей. А когда книга будет издана за границей, она разве что случайно вернется в родную страну, в ее книжные лавки.

Кубинские интеллигенты, которые, находясь на родине или за границей, услышали в один памятный день тысяча девятьсот пятьдесят третьего года весть о штурме Монкады, не могли, конечно, провидеть, какое влияние окажет это событие на их будущее... Они и не заметили, что в тот день зародилось зернышко полного преобразования кубинской жизни – то, что в ближайшем будущем по-новому повернет наши судьбы. Скоро должны были миновать времена ненужности, одиночества, безнадежного писательского одиночества. Скоро перед писателями должны были встать новые *задачи*, великие *задачи*, подобные тем, которые возникли внезапно перед воодушевленными творческим азартом русскими писателями после *тех* дней, что по праву зовутся ныне «десятью днями, которые потрясли мир» и которые должны были преобразить их в активных и полезных граждан нарождавшейся Страны Советов...

Но теперь поступь истории убыстрается. События набегают на события. Вот Сьерра-Маэстра. И вот победа революции. А вслед за победой – создание наших главных культурных организаций; поразительная кампания по борьбе с неграмотностью, которая не только научит читать огромное множество кубинцев, но приобщит их к книге, к чтению книги, к приобретению книги, ставшей для них доступной после долгого ожидания... Я не буду здесь пересказывать исторические события – события, всем хорошо известные, – поскольку все мы были свидетелями чудесного преобразования народа, в наши дни фигурирующего среди *тех* (и это признают уже многочисленные международные организации), у которых приходится наибольшее число книг на душу населения... Мне нет нужды напоминать, скольким все мы обязаны просветительской деятельности наших революционных органов власти, постоянному вниманию ко всем явлениям культуры, которое наблюдается со стороны Коммунистической партии Кубы, плодотворным идеологическим установкам, полученным от товарища Фиделя Кастро... Все мы знаем, сколько уже сделано. И все по праву гордимся сделанным.

И ныне я, романист, могу сказать: я чувствую, что меня окружают, читают, понимают тысячи и тысячи читателей, множество читателей – и это здесь, где никто не читал моих книг до победы нашей Революции. Для кубинского писателя времена ОДИНОЧЕСТВА остались позади. Для него начались времена СОЛИДАРНОСТИ.

СОЛИДАРНОСТИ, побуждающей нас творить в духе солидарности; выражать наше настоящее, нашу блистательную современную действительность, вписывающуюся в контекст континента, вся судьба которого тесными узами связана с судьбой нашей родины в силу исторических параллелей.

лей, в силу общности устремлений, перечислять которые здесь не время и не место.

Кубинская революция принесла нашим романистам бесконечное множество новых тем: здесь и обращение к прошлому, еще ожидающему своего литературного воплощения, и изучение настоящего, и взгляд в будущее – и в этом процессе мы не одиноки. А потому пусть наш молодой романист призыва тысяча девятьсот семьдесят четвертого года, выбирая сюжет для будущего романа, перечитает для руководства краткие строки, которые оставил нам наш Хосе Марти в своем удивительном письме от тысяча восемьсот семьдесят седьмого года – письме почти столетней давности, – адресованном журналисту из Центральной Америки Валеро Пухолю:

«Я говорю о том, о чем говорю всегда: об этом неведомом гиганте, об этих землях, по-детски лепечущих, о нашей сказочной Америке. Я родился на Кубе и буду ощущать, что я на Кубе, даже когда стопы мои коснутся не покоренных еще долин Арауко. Нас питает душа Боливара; мысль об Америке полнит меня восторгом... Я горд своей любовью к людям, своей страстной привязанностью ко всем этим землям, *подготовленным к общей судьбе равными и жестокими муками...* Много работать, возвеличить Америку, изучить ее силы и *открыть ей глаза*, отплатить народам за добро, которое они мне делают, – в этом состоит мое дело».

Дело, состоящее в том, чтобы открывать людям глаза. Так сказал Хосе Марти, определив красноречивым и решительным образом долг революционного романиста той поры... Так пусть же поставит перед собой такую задачу каждый революционный романист Кубы и Америки!.. Тем самым он заслужит высочайшую, непревзойденную награду – трудиться на благо своих сограждан и всех остальных людей, во имя СОЛИДАРНОСТИ.

*Если кто-нибудь
даст тебе сотню
фунтов за книги,
можешь побиться
об заклад, что
это ему выгодно,
но, если все бедные
и обездоленные
люди снимут
перед тобой шап-
ки за то, что ты
написал ее, — это
совсем другое
дело...*

[ПИСАТЬ КНИГИ НЕ ЗАБАВА]

*Кто-то сказал:
«Переводить —
лучший
способ читать».
Полагаю, что это
к тому же самая
трудная, самая
неблагодарная
и хуже всего
оплачиваемая
работа.
...Читая на чужом
тебе языке,
чувствуешь почти
естественное
желание перевести
прочитанное. Это
и неудивительно, ведь
одно из наибольших*

Всего два месяца оставалось до конца учебного года и моего последнего дня в школе. Мистер Симмонс, лавочник в Туралле, обещал платить мне пять шиллингов в неделю, если по окончании школы я возьмусь вести его книги. Но хотя мне приятно было думать, что я смогу зарабатывать деньги, я хотел найти такую работу, которая явилась бы для меня испытанием и потребовала бы особого напряжения сил и способностей, свойственных мне одному.

— Кем ты хочешь быть? — спросил меня отец.

— Я хочу писать книги.

— Что ж, дело хорошее, — сказал он. — Ты можешь этим заниматься, но как ты думаешь зарабатывать себе на жизнь?

— Люди же зарабатывают деньги книгами, — возразил я.

— Да, но только после многих и многих лет труда. И потом, надо для этого быть очень образованным. Питер Финли говорил мне, что написать книгу труднее всего на свете — он пробовал. Имей в виду, я за то, чтобы ты писал книги; не думай, что я не хочу этого, но сначала тебе надо учиться.

Он немного помолчал, а затем заговорил таким тоном, словно давно знал, что я когда-нибудь буду писателем.

— Когда ты станешь писателем, — сказал он, — будь таким, как Роберт Блэчфорд, человек, который написал «Невиновен»: это замечательная книга. Она была написана, чтобы помочь людям. Видишь ли, — продолжал он, — писать книгу ради денег не стоит. Лучше уж быть объездчиком лошадей. Когда объезжаешь лошадей, делаешь что-то хорошее из того, что могло бы стать плохим. Легко сделать из лошади никчемную, вредную тварь, но трудно придать ей, ну... характер, что ли, заставить ее помогать тебе, а не противиться. Когда я познакомился с Питером, он дал мне почитать книгу «Моя блестящая карьера». По его словам, эту книгу написала женщина; но она себя называет Майлс Франклин. Это лучшая книга из всех, что я прочитал. Эта писательница, Майлс Франклин, не боится брать барьер, не уклоняется в сторону*. Это настоящий человек, и сердце у нее есть... не знаю... писать книги не забава... Думаю, ты себе это дело неправильно представляешь. Тебе кажется, что ты будешь черт знает как хорошо и весело проводить время, когда станешь писать книги. Но... когда тебя хорошенько потряхнет разок-другой, ты, может быть, поймешь меня.

Мы сидели на верхней перекладине забора в загоне

*удовольствий от
чтения, как и от
музыки, —
возможность
поделиться
с друзьями.*

Габриель Гарсиа Маркес

и смотрели на жеребенка, которого он приучал к узде. Жеребенок грыз тяжелые удила. Рот у него был красный, воспаленный.

— У него слишком длинная спина, — вдруг сказал отец, затем продолжил наш разговор: — Если кто-нибудь даст тебе сотню фунтов за книгу, можешь побиться об заклад, что это ему выгодно, но, если все бедные и обездоленные люди снимут перед тобой шапки за то, что ты написал ее, — это совсем другое дело; это всего дороже. Но тебе прежде надо пожить среди народа. Ты полюбишь его. Это страна принадлежит нам, и мы сделаем ее раем. Люди здесь равны. Во всяком случае, желаю тебе удачи, — добавил он, — пиши книги. Но пока ты не встанешь на ноги, поработай у Симонса.

КОММЕНТАРИИ

Настоящий комментарий, не претендуя на полноту, ставит целью содействовать расширению читательского представления о многообразном историко-литературном, книговедческом и реальном материале, содержащемся в предлагаемой антологии.

Комментариям предпосланы библиографические справки о первой публикации текста и об источнике, по которому текст приводится в данном сборнике.

Содержащиеся в основных текстах сборника личные имена (помимо общеизвестных), названия научных, литературных и художественных произведений, периодических и серийных изданий, издательств кратко аннотируются в «Указателе имен и названий».

По возможности учтены примечания к предшествующим изданиям текстов. Составитель комментария выражает искреннюю признательность В. Е. Багно, А. А. Долинину, А. С. Науменко, Е. Г. Рабинович, А. П. Романову и И. Г. Русецкому за ценные уточнения, принятые во внимание при подготовке рукописи.

В. Г. КОРОЛЕНКО

Очерк, служащий дополнением к главе XXIX «Мой старший брат делается писателем» книги первой «Истории моего современника» (1906–1908). Впервые был опубликован как самостоятельное произведение в посвященном столетнему юбилею Диккенса номере бесплатного приложения к петербургской газете «Современное слово» (№ 1461) «Неделя "Современного слова"» (1912, № 199, 30 января, с. 1649–1652); датирован 23 января 1912 г.

Печ. по: Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Гослитиздат, 1954, т. 5, с. 364–372.

17 *...роман польского писателя Корженевского...* – Всплеск наибольшего интереса в России к творчеству одного из видных представителей польского критического реализма Юзефа Коженёвского (в прошлом веке было распространено написание Иосиф Коржениовский или Коржениевский) приходится на 50-е гг. XIX в. Именно тогда на русский язык усиленно переводились – вскоре после их появления – все его основные прозаические произведения (иные – неоднократно). В 1851–1852 гг. киевский книгоиздатель Иосиф Завадский предпринял издание «Галереи польских писателей», три выпуска которой (ч. 3–5) заняла повесть «Коллокация» (1847, совр. рус. п е р . – «Раздел», 1979) в переводе известного русского и украинского писателя и этнографа А. С. Афанасьева-Чужбинского (1816–1875). К лучшим романам Ю. Коженёвского относятся также «Спекулянт» (1846; рус. пер. – 1848 и 1859; совр. перевод – «Аферист», 1979) и «Родственники» (1857, рус. п е р . – 1858). Можно назвать также романы «Заслуженный учитель» (СПб.: Тип. Ю. Штауфа, 1857), «Гадеуш Безыменный» (вышел в приложении к журналу «Библиотека для чтения» в 1859 г.) и др.

Тайны разных дворов... – Подразумеваются, очевидно, переведенные на многие европейские языки и вызвавшие различные передел-

ки и подражания романы немецкого писателя Георга Борна (наст. имя – Георг Фюльборн, 1837–1902): «Тайны Мадридского двора. Историко-романический рассказ из новейших времен Испании» (СПб.: Изд. Н. С. Львова, 1869–1870, т. 1–2), «Евгения, или Тайны французского двора. Историко-романический рассказ из новейших событий во Франции» (М.: 1875), «Турецкий султан, или Тайны константинопольского двора» (Рига: Изд. А. Гауфа, 1877, ч. 1–4) и множество других изданий.

...кажется, уже тогда знаменитый Рокамболь... – Ставший разбойником бывший гарсон парижского кафе Рокамболь – герой серии многочисленных (около 30) авантюрно-«уголовных» романов французского писателя П. А. Понсона дю Террайля (1829–1871). Эти романы, изобилующие самыми невероятными головокружительными приключениями, пользовались огромным успехом, в том числе и у русских читателей: в дореволюционной России они переиздавались неоднократно как в полном, так и в сокращенном виде – «Похождения Рокамболя» (СПб.: Изд. Н. С. Львова, 1867), «Воскресший Рокамболь» (СПб.: Изд. Н. С. Львова, 1868, кн. 1–5), «Последнее слово о Рокамболе» (СПб.: Изд. Н. С. Львова, 1869) и др.

- 19 *«Кавалер de Maison Rouge»* – Имеется в виду роман А. Дюма («Le chevalier de la Maison Rouge», 1845); на русский язык переводился под названиями «Кавалер де Мезон Руж» (СПб.: Изд. А. Смирдина, 1855), «Кавалер Красного Замка» («Избранные романы» – приложение к петербургскому журналу «Северная Звезда» за 1878 г.); «За королеву!» (СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1904; 2-е и 3-е изд. – 1908); «Шевалье де Мезон Руж. Кавалер Красного Замка (Дюма А. Полн. собр. соч., Изд. П. П. Сойкина, 1913, т. 15, бесплатное приложение к журналу «Природа и люди»).

Однажды я принёс брату книгу, кажется сброшюрованную из журнала а... – Речь идет о романе Ч. Диккенса «Домби и сын» (1847–1848); впервые на русском языке он был опубликован одновременно в журналах «Современник» (1847, т. 1–3, № 1–5; 1848, т. 7, 8, 10; № 2, 3, 7, 8) и «Отечественные записки» (1847, т. 54–56, 59). Девять частей перевода Иринарха Введенского, печатавшегося в «Современнике» под названием «Торговый дом под фирмой "Домби и сын"», были выпущены в виде приложения к журналу.

М. ГОРЬКИЙ

Впервые опубликовано в переводе на французский язык как предисловие к книге П. Мортье «Всеобщая история иностранной литературы», вышедшей в Париже в издательстве «Кийе» в 1925 г. (*Mortier P. Histoire générale des littératures étrangères. Paris: Quillet, 1925, pp. 3–4*).

Печ. по: Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М.: Гослитиздат, 1941, с. 482–484.

- 25 *...мерть Камилла Фламариона, человека с изумительным воображением...* – Французский ученый К. Фламарион как автор множества научно-популярных сочинений по астрономии, привлекавших читателей доходчивостью содержания и мастерством изложения, пользовался широкой известностью. Среди трудов Фламариона особенно выделяются книги «О множественности обитаемых миров» (1864), «Звезды и чудеса неба» (1865), «Воздушные полеты» (1881), «Марс и условия его обитаемости» (1892), а также знаменитая «Популярная астрономия» (1880). В русском переводе выходила следующие работы Фламариона: «Миры действительные и воображаемые» (СПб.: 1896, серия «Полезная библиотека»), «Астро-

номия для дам. В двенадцати лекциях» (СПб.: Тип. П. Ф. Пантелеева, 1905), «Конец мира. Астрономический роман» (М.: Т-во И. Д. Сытина, 1908), «Беседа с марсианином. Философская сказка» («За 7 дней», 1911, № 21) и др.

Молчание пустыни? Оно... выражено... Бородиным в одном из его произведений. — По-видимому, речь идет о симфонической картине А. П. Бородина «В Средней Азии» (1880).

28

«Соки земли» Кнута Гамсуна поражают меня так, как поражают «Одиссея». — В монументальном эпическом романе К. Гамсуна «Соки земли» (1917, рус. п е р . — 1923), за который автору в 1920 г. была присуждена Нобелевская премия по литературе, воспеваются крестьянский образ жизни как единственно нравственный, а земледельческий труд в союзе с природой рассматривается как главный залог подлинного человеческого счастья. Горький неизменно высоко ценит творчество Гамсуна, называя его «огромной фигурой»: «В современной литературе я не вижу никого, равного ему по оригинальности творчества» (Горький М. Несобранные литературно-критические статьи, с. 322 — очерк «Кнут Гамсун», 1928).

И. А. БУНИН Впервые опубликовано в журнале «Иллюстрированная Россия» (Париж), 1925, № 15, 15 марта, под заглавием «На гумне».

Печ. по: Бунин И. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М.: Худож. лит-ра, 1966, т. 5, с. 179–180.

Н. К. РЕРИХ Печ. по: Рерих Н. К. Зажигайте сердца. М.: Молодая гвардия, 1975, с. 192–194.

Л. М. РЕМИЗОВ Глава из автобиографической книги А. М. Ремизова «Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти», писавшейся с 1933 по 1946 г. Отрывки из нее публиковались в «Новом журнале» (Нью-Йорк), 1951, № 25, 27; в том же году книга вышла отдельным изданием (Париж: ИМКА-Пресс, 1951).

Печ. по: Ремизов А. Избранное. М.: Худож. лит-ра, 1978, с. 494–99.

37 *...я не собираю книг... и в настоящем значении, по Осоргину...* — М. А. Осоргин (1878–1942) — до высылки за границу осенью 1922 г. председатель Московского союза писателей, организовал в 1918 г. на паях «Книжную лавку писателей» в Москве. Страстный библиофил и собиратель редких русских книг, Осоргин вел в парижской газете «Последние новости» раздел «Заметки старого книгоеда» и посвятил данной теме ряд собственных произведений — эссе «О библиомании» (1931), см.: Книжное обозрение, 1988, № 20, 13 мая, с. 14; рассказ «Беседа» (1938), см.: Книжное обозрение, 1988, № 46, 18 ноября, с. 10 и др.

...исповедую «Вопрошания Кирика», нашу древнюю русскую память и завет... — Подразумевается «Впрашание Кюриково неже въпроша Епископа Ноугородьского Нифонта и инех» (XII в.), входящее в состав многих старописьменных кормчих книг: представляет собой канонические вопросы и ответы, наподобие катехизиса, относительно различных сторон жизни с точки зрения религии.

38 *...агицковский Пушкин в синем переплете...* — Русскому литературному критику и мемуаристу П. В. Анненкову принадлежит заслуга подготовки первого научного издания произведений А. С. Пушкина: «Сочинения Пушкина, с приложением материалов для его био-

графин, портрета, снимков с его почерка и его рисунков» (СПб.: В Воен. тип., 1855, т. 1–6; 7-й, дополнительный том – 1857).

40 *Инfirmьерша* (от франц. infirmière) – сестра милосердия, сиделка.

...в домах с тесесфом... – т. е. в домах, где имеются радиоприемники (от франц. T. S. F. – télégraphie sans fil, беспроводный телеграф).

41 ...завитуцатого «книготисца» и иллюстратора... – По собственному признанию Ремизова, им владела «страсть изобразить мысль». Полагая рисунок и слово равноправными средствами художественного выражения («написанное и нарисованное, по существу, одно»), Ремизов нередко сам иллюстрировал свои книги и переписывал их стилизованным под средневековую буквенную вязь почерком. Ремизов годами вел «графические дневники», пытаясь запечатлеть сны; многие его письма представляют собой синтез рисунка с образцами старинного узорного начертания. Обращался писатель и к своеобразному жанру рукописных иллюстрированных альбомов. Так, незадолго до смерти А. А. Блока Ремизов, по его словам, «нарисовал много картинок, на каждую строчку "Двенадцати" по картинке» (А. Блок. Новые материалы и исследования. М.: Наука, 1981, с. 133 – Лит. наследство. Т. 92, кн. 2). Эти иллюстрации (всего 47) были изданы Ремизовым отдельной книжкой в 1931 г., в десятилетнюю годовщину смерти Блока, в единственном экземпляре и экспонировались на выставке русских писателей, устроенной журналом «Числа» в Париже. Всего в наследии Ремизова – четыреста тридцать альбомов, около трех тысяч рисунков (см.: Рисунки русских писателей конца XVII – начала XX в. М.: Сов. Россия, 1988).

42 ...есть такой инфрит из породы мафидов. – Инфриты (ифриты), мафиды – в мусульманской демонологии разновидность джиннов – злые духи, обладающие особой силой. Ср.: Рассказ про Ала ад-Дина и волшебный светильник («Тысяча и одна ночь»).

Б. К. ЗАЙЦЕВ Впервые опубликовано в газете «Русская мысль» (Париж) 1970, 2 апреля; в СССР – Огонек, 1987, № 51 (3152), с. 12–13.

Печ. по: Зайцев Б. К. Голубая звезда. Повести и рассказы. Из воспоминаний. М.: Моск. рабочий, 1989, с. 520–524.

44 ...лустъ Толстой пренебрежительно морщится... – Мнение Б. К. Зайцева ошибочно. На самом деле Л. Н. Толстой к Ч. Диккенсу в отличие от Шекспира, которому отказывал в праве быть признаваемым «даже самым посредственным сочинителем» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90-та т. М.: Гослитиздат, т. 35, 1950, с. 217 – «О Шекспире и о драме. Критический очерк» – 1904), относился с неизменным интересом и глубоким почитанием. Диккенса, наряду с Гюго, Толстой причислял к писателям, которые «переживут несколько поколений и будут оценены не одними соотечественниками» (Письмо Генриху Ильгенштейну от 21 ноября 1903 г. – Полн. собр. соч., т. 74, 1954, с. 236). В письме В. Г. Черткову от 22 февраля 1886 г. по поводу книг, предполагаемых для выпуска в свет издательством «Посредник», Толстой, заметив: «Диккенс все больше и больше занимает меня», выражал желание самому взяться за перевод романа «Наш общий друг» (Полн. собр. соч., т. 85, 1935, с. 324). Любимейшим произведением Диккенса для

Толстого оставался роман «Давид Копперфильд» (1849–1850, рус. пер. – 1851). Так, в списке прочитанных книг, оказавших на него влияние в возрасте от 14 до 20 лет, Толстой определяет впечатление от «Давида Копперфильда» как «огромное» (Письмо М. М. Ледерле от 25 октября 1891 г. – Полн. собр. соч., т. 66, 1953, с. 67). Исследователями отмечена неточность писателя – роман он мог читать только будучи старше 20 лет, однако показательны позднейшие высказывания Толстого по поводу этой книги. Например, Д. П. Маковицкий 28 октября 1905 г. записывает в дневнике слова Толстого: «Читаю Канта, пока не работаю, Герцена – полуютдых, Диккенса – отдых, я прочел его всего. Теперь в который раз «Копперфильда», сосу, как карамельку» (Маковицкий Д. П. У Толстого. 1904–1910. Яснополяские записки. М.: Наука, 1979, с. 442 – Лит. наследство. Том 90, кн. 1). По воспоминаниям С. Стахович, Толстой говорил: «Просейте мировую прозу – останется Диккенс, просейте Диккенса, останется "Давид Копперфильд"...» (Цит. по кн.: Катарский И. М. Диккенс в России. М.: Наука, 1966, с. 302). Итоговой оценкой творчества Ч. Диккенса писателем может служить его письмо от 21 января 1904 г. Джемсу Лею, представителю Диккенсовского общества: «Я думаю, что Чарльз Диккенс крупнейший писатель-романист 19 столетия и что его книги, проникнутые истинно христианским духом, принесли и будут продолжать приносить очень много добра человечеству» (Полн. собр. соч., т. 75, 1956, с. 24).

Капитана Немо («Таинственный остров») ждешь, как подарка, каждую субботу (приложение к «Задуманному слову» – какое название!) – Начиная с 1884 г. в еженедельных приложениях к журналу «Задуманное слово» («Новая серия, для детей старшего возраста от 9 до 14 лет») чуть ли не ежегодно публиковались новые романы Жюль Верна – приводим названия русских переводов: «Упрямый турок» (1884, № 1–52), «Тайна матроса Патрика» (1886, № 1–52), «Лотерейный билет» (1887, № 1–52), «Север и Юг» (1888, № 1–52), «Морской разбойник капитан Старкос» (1889, № 1–52), «Зеленый луч» (1890, № 1–41), «Подземный клад» (1892, № 1–47), «Во Францию» (1895, № 1–38), «Ледяной сфинкс» (1897, № 1–52) и др. Романа «Таинственный остров» среди них нет. Впервые на русском языке он появился в переводе Марко Вовчка (СПб.: Тип. А. Траншея, 1874, т. 1–3), издавался в пересказе редакцией журнала «Мирской вестник» (СПб.: 1879, т. 1–2) и составил третий том полного собрания сочинений Жюль Верна (СПб.–М.: Изд. М. О. Вольфа, 1891–1892).

- 45 *Ребенком держал в руках книжечку в переплете... на обложке надпись: «Дон Кихот». – Трудно сказать с уверенностью, о каком именно издании идет здесь речь. Первые русские переложения «Дон Кихота» – как правило, неполные и несовершенные – делались с французских переводов: «История о славном Ла-Манхском рыцаре Дон-Кихоте» И. А. Тейльса (1769), «Неслыханный чудодей, или Необычайные и удивительнейшие подвиги и приключения храброго и знаменитого рыцаря Дон Кихота» Н. А. Осипова (1791), «Дон Кихот Ла Манхский» В. А. Жуковского (1804–1806), «Дон Кихот Ла Манхский» С. С. де Шаплета (1831). Впервые к испанскому оригиналу обратился К. П. Масальский (1838), однако его перевод остался неоконченным. После выхода в 1866 г. перевода В. А. Карелина, выдержавшего вплоть до 1910 г. шесть изданий, в дореволюционную эпоху появилось еще шесть новых переводов – А. Г. Кольчугина (1895), Н. М. Тимофеева (1895), Л. А. Мурахиной (1899), М. Басанина (1903), под ред. Н. В. Тулунова (1904)*

и М. В. Ватсон (1907). Полный перевод романа был обещан подписчикам журнала «Нива» на 1917 г.

Помимо того, существовало большое число различных сокращенных изданий романа, предназначенных для детского чтения (с 1846 по 1899 г. их насчитывается до 20), как правило, щедро иллюстрированных. В частности, пользовался популярностью «Дон Кихот Ламанчский. Рассказ для детей» в переломе с французского А. Н. Греча (СПб.: Тип. Фишера, 1846), выходявший еще шесть раз – 1860, 1868, 1880 (СПб.: Изд. М. О. Вольфа, с 6 хромолитографированными картинками), 1889 (серия «Золотая библиотека», с 78 иллюстрациями Гюстава Доре), 1902, 1913. Не исключено, что имеется в виду издание: Дон Кихот. Сокр. перевод для юношества (СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1892), представляющее собой пересказ 28 глав романа (с 43 рисунками).

Новый полный перевод Г. Л. Лозинского (Л.–М.: Academia, 1929–1932, т. 1–2) вышел под редакцией Б. А. Кржевского и А. А. Смирнова, без указания имени переводчика. Перевод Н. М. Любимова «Хитроумный идалго Дон Кихот Ламанчский» (М.: Гослитиздат, 1951, т. 1–2), многократно переиздававшийся, справедливо отнесен к лучшим достижениям советской переводческой школы. Подробно история восприятия романа Сервантеса в России рассмотрена в кн.: Багно В. Дорогами «Дон Кихота». М.: Книга, 1988 («Судьбы книг»). Перевод М. В. Ватсон «Остроумно изобретательный идалго Дон-Кихот Ламанчский» (СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1907, т. 1–2) исследователь характеризует в ней следующим образом: «...такие безусловные достоинства, как прекрасное знание языка и уважение к авторской воле, при соприкосновении с гением, за которым переводчица пыталась верноподданнически следовать шаг за шагом, оборачивались тяжеловесным языком, безжизненным стилем... Вместе с тем перевод Ватсон в целом, по сравнению с предшествовавшими, был несомненным достижением, и по сей день он может быть весьма полезен как подстрочник – за редким исключением, достаточно надежный» (с. 315–316).

Л. Н. ТОЛСТОЙ

Впервые опубликовано в газете «Петроградская правда», 1923, 23 декабря, под названием «Литературные листки». Позднее под заглавием «О читателе» вошло в виде предисловия в книгу Ал. Толстого «Черная пятница. Рассказы 1923–1924 гг.» (Л.: Атеней, 1924, с. 5–11).

Печ. по: Толстой А. Н. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Худож. лит-ра, 1961, т. 10, с. 63–67.

- 51 *Но зато сколько сторов: в чьих руках должна быть литература – у ВАППа, у ЛЕФа, у попутчиков?* – Здесь имеется в виду принявшая широкий размах дискуссия 1923–1925 гг. о социальном назначении искусства в условиях новой исторической действительности. Первоначально полемика развернулась между журналами «На посту» (органом Всесоюзной Ассоциации Пролетарских Писателей – ВАПП) и «Красная новь» (редактор А. Воронский). «Напостовцы», обрушившись с резкими нападками на «клеветническое», по их мнению, творчество т. н. «попутчиков» (беспартийных советских писателей), к которым причислялся и А. Толстой, требовали передать монополию на руководство литературным процессом пролетарским литературным организациям. Воронский, выступая против отождествления искусства с «политграмотой», настаивал на необходимости эстетической оценки художественного произведения. Теоретики журнала «ЛЕФ» («Левый фронт»), издававшегося в Москве в 1923–1925 гг. под редакцией В. В. Маяковского, отри-

чая ценность культурного наследия прошлого, отстаивали узкорационалистическую концепцию т. н. «нового производственного искусства», провозглашали подлинно современными и актуальными для эпохи исключительно документальные, фактографические жанры. Итоги дискуссии были подведены в резолюции ЦК РКП (б) от 18 июля 1925 г. «О политике партии в области художественной литературы», в которой осуждалась «линия административного прижима и захвата литературы в свои руки путем наскоков» (слова М. В. Фрунзе) и выдвигался принцип свободного творческого состязания в области художественной формы. Однако уже очень скоро, в начале 30-х гг., на практике возобладал, как известно, жесткий командно-бюрократический контроль над сферой искусства, насильственно подчиняемого канонам нормативной эстетики «социалистического реализма», что – наряду с преследованием и прямым физическим устранением многих видных деятелей культуры – нанесло развитию советской литературы тяжелый урон.

Н. С. ГУМИЛЕВ

Печ. по: Гумилев Н. Письма о русской поэзии. Пг.: Центр. Коопер. Изд-во «Мысль», 1923, с. 53–60. Точное время написания статьи не установлено. По-видимому, она предназначалась для книги по теории поэзии, над которой Н. С. Гумилев работал в последние годы жизни.

53 *«...была звездная книга ясна... с ним говорила морская волна...»* – Цитата из стихотворения Е. А. Баратынского «На смерть Гёте» (1832).

55 *«...поэзия... подошла к запретной области в стиле Вордсворда, композиции Байрона...»* – Романтики Вордсворт и Байрон, занимая во многом противоположные идейно-эстетические позиции, внесли тем не менее существенный вклад в обновление средств художественного выражения, далеко вышедший за рамки английской поэзии начала прошлого века. Стихи Вордсворта, намеренно приближенные к строю повседневной речи, исполнены, по словам Пушкина, «глубоких чувств и поэтических мыслей, выраженных языком честного простолюдина» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: М.; Л. Изд-во АН СССР, 1949, т. II, с. 73, заметка <О поэтическом слоге>, 1828). Байрон, смело обращаясь к свободным композиционным построениям, обогатил поэзию новыми жанровыми формами (восточные поэмы, драмы-мистерии «Канн» и «Манфред», роман в стихах «Дон Жуан» и др.).

57 *«...любовь ангелов к каиниткам...»* – Согласно Библии, потомков Сифа (в ветхозаветной традиции – третьего сына Адама и Евы), с которыми, по некоторым толкованиям, отождествлялись ангелы – «сыновья Божии», соблазнили дочери Каина: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал» (Бытие, 6: 1–2).

«Если бы я был Беллами, я бы написал роман из жизни читателя грядущего.» – Подразумевается нашумевший социально-утопический роман американского писателя Э. Беллами «Через сто лет. 2000–1887» (1888). В России до революции 1905 г. он вышел в семи различных переводах – «В 2000 году» (1889), «Будущий век» (1891), «Через сто лет» (1891), «Золотой век» (1905) и др. – и пользовался широкой популярностью.

«...о читателях, подобных дантунической Джиокоде...» – Имеется в виду героиня драмы Г. Д'Аннунцио «Джиокода» (1899), неод-

нократно переводившейся на русский язык в начале века, в том числе Ю. Балтрушайтисом (1900), – идеальная натурщица, образец пластического совершенства, вместе с тем наделенная одухотворенным пониманием природы творчества, прекрасная вдохновительница художника в его беззаветном служении искусству.

А. С. БУХОВ Впервые опубликовано в журнале «Новый Сатирикон», 1916, № 26, 23 июня, с. 4–6.

Печ. по: Бухов Арк. Рассказы, памфлеты, пародии. М.: Моск. рабочий, 1972, с. 55–62.

Б. Л. ПАСТЕРНАК Впервые опубликовано в альманахе «Современник». М., 1922, № 1, с. 5–7.

Печ. по: Пастернак Б. Воздушные пути (Проза ранних лет). М.: Сов. писатель, 1982, с. 109–113.

Статья связана с книгой стихов Пастернака «Сестра моя жизнь» (1917) и написана как заглавная к его сборнику теоретических работ о природе искусства «Quinta essentia» («гуманистические этюды о человеке, искусстве, психологии и т.д.»), который поэт готовил к изданию в 1919 г. (беловой автограф статьи датирован «19.XII. 1918»). Автограф надписан: «Рюрику Ивневу, поэту, другу» – и озаглавлен «Квинтэссенция». В 1929 г. в ответ на просьбу ленинградского издательства «Начатки знаний», готовившего материалы для сборника «Венок книге» (оставшегося в корректуре), Б. Пастернак прислал именно эту статью. В письме к одному из составителей сборника, П. Витязеву (Ф. И. Седенко), поэт писал: «Препровождаю Вам мои мысли на интересующую Вас тему в том виде, как они были однажды напечатаны (в 1922 г.), потому что лучше и по-иному мне этого не сказать, а от взглядов, тут высказанных, я не откажусь. И одна у меня забота. Не сомневаюсь, что отводить мне полторы страницы будет для Вас обременительно, да и в этом было бы много неудобства для меня, потому что имело бы вид претензии, а притязательность не в моих правилах. Но, с другой стороны, никакое дальнейшее сокращение четырех первых пунктов «Положений», прямо посвященных Вашей теме, – недопустимо. А то из этих утверждений, пусть и афористически изложенных, но во всей живости понятых, получилась бы афористика самодовлеющая, тешащаяся именно самим недоговариваемым и поджиманьем губ, то есть тот жанр, который я считаю всех вреднее...» – Цит. по кн.: Вечные спутники. М.: Книга, 1983, с. 217–218.

65 *...искусство... губка...* – Ср. стихотворение Б. Пастернака «Весна. I» (1914): «Поэзия! Греческой губкой в присосках/ Будь ты...» (ст. 9–10).

67 *...тихая жалоба пяти Маринных строф вздулась жутким гуденьем пяти трагических актов.* – Драматическую трилогию о Марии Стюарт Суинберна составляют три стихотворные трагедии – «Шателляр» (1865), «Босуэл» (1874) и «Мария Стюарт» (1881), в пике ханжеской викторианской морали воспевающие безудержно-страстные увлечения шотландской королевы. Первая часть трилогии посвящена любви к Марии французского поэта Пьера де Боскозеля де Шателляра (1540–1564), казненного в ходе политической интриги.

...елажужская вьюга знает по-шотландски... – Пастернак перевел «Шателляра» осенью 1916 г., находясь в Прикамье (Тихие Горы Елабужского уезда), однако рукопись перевода была потеряна в типографии.

М. А. БУЛГАКОВ Фельетон «Сколько Брокгауза может вынести организм» (из цикла «Самоветный быт») впервые был опубликован в газете «Накануне» (Берлин), 1923, 15 июля. Вошел в сборник М. Булгакова «Рассказы» (Юмористическая иллюстрированная библиотека журнала «Смехач». Л., 1926, № 15, с. 48–50).

Фельетон «Новый способ распространения книги» впервые был опубликован в газете «Гудок», 1924, 21 октября.

Оба фельетона написаны по материалам писем рабкоров и имеют под собой реальную основу.

Печ. по: Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5-ти т. М., Худож. лит-ра, 1989, т. 2, с. 317-318, 486-487.

69 *Брокгауз.* – Речь идет о прославленной русской универсальной энциклопедии «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (СПб.: Акционерное изд-во Ф. А. Брокгауз – И. А. Ефрон, 1890–1907; 82 основных и 4 дополнит. тома), и поныне сохраняющей большую историко-культурную ценность. В 1911–1916 гг. предпринималось издание «Нового энциклопедического словаря» (вышло 29 томов из намеченных 48).

70 *...соорудите мне еще «Всемирную историю»...* – В дореволюционной России в начале века в связи с общим оживлением книгоиздательской деятельности выпускались разнообразные исторические труды, рассчитанные как на специалистов, так и на читателей с недостаточно высоким уровнем подготовки. Вероятнее всего, здесь имеется в виду «История человечества. Всемирная история» (Под общей ред. д-ра Ганса Гельмгольца. СПб.: Просвещение, 1902–1910, т. 1–9) – полный перевод с немецкого «с значительными дополнениями для России избранных русских ученых». Кроме того, существовали следующие фундаментальные издания: «Всеобщая история с IV в. до наших дней» Э. Лависса и А. Рамбо (М.: Изд. К. Т. Солдатенкова, 1897–1903, т. 1–8); «Всеобщая история» Виктора Дюрюи (СПб.: 1904, т. 1–3); «Всеобщая история» Оскара Иегера (СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1904, т. 1–4); «Всемирная история с древнейших времен до начала двадцатого столетия» Артура Шиллера (СПб.: Вестник знания, 1906–1907, рус. изд. доп. многочисленными рис. картами, хромофотографиями, цветными гравированными и др. таблицами); «Всемирная история» (СПб.: Изд. Брокгауза–Ефрона, 1910–1911, т. 1–3) и др.

...могу предложить сочинения Пушкина... – После Октябрьской революции произведения А. С. Пушкина были «монополизированы Российской Советской республикой сроком на 5 лет – до 31 декабря 1922 г.». Здесь, возможно, имеются в виду книги Пушкина, выпускавшиеся в 1919 г. Литературно-издательским отделом Народного Комиссариата по Просвещению в Петрограде в серии «Народная библиотека».

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ Впервые опубликовано в журнале «Россия», 1924, № 3 (12), с. 187–190.

Печ. по: Мандельштам О. Слово и культура (Статьи). М.: Сов. писатель, 1987, с. 44–47.

И. Г. ЭРЕНБУРГ Печатается по тексту первой публикации: Литературная газета, 1967, № 51, 20 декабря, с. 11.

В. Б. ШКЛОВСКИЙ Впервые опубликовано в журнале «В мире книг», 1973, № 1, с. 85–88.

Печ. по: Вечные спутники (Советские писатели о книгах, чтении, библиофильстве). М.: Книга, 1983, с. 27–34.

83 *Получив письмо из Африки от молодого Ганди... Толстой... ответил целой программой...* – Мохандас Ганди, с 1893 по 1914 г. живший в Южной Африке (Трансвааль), создал на земле своего друга архитектора Г. Калленбаха «Толстовскую ферму», которая объединила сотни семей индийцев, отказавшихся подчиняться распоряжениям английской администрации; члены ее под руководством Ганди занимались сельскохозяйственным трудом. 15 августа 1910 г. Ганди направил Л. Н. Толстому письмо из Йоганнесбурга вместе с номером основанного им в 1899 г. в г. Натале журнала «Индиэн опиниэн». В ответном письме от 7 (20) сентября 1910 г. Толстой, подробно излагая свои идеи «признания закона любви и отрицания всякого насилия» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч., т. 81, 1956, с. 139), приветствует деятельность Ганди, призывавшего к пассивному сопротивлению властям, как «дело самое центральное, самое важное из всех дел, какие делаются теперь в мире и участие в котором неизбежно примут не только народы христианского, но всякого мира» (там же).

84 *Он... заметил появление Гейне.* – В письме секретарю шведско-норвежского посольства в России Г. Нордину (предположительно май–июнь 1835 г.) А. С. Пушкин просил достать ему запрещенную в России книгу Г. Гейне «О Германии», вышедшую в Париже в двух томах в 1835 г. на французском языке.

Спорил с Гюго. – В письме Е. М. Хитрово от 19–24 мая 1830 г. Пушкин замечает, что «Гюго и Сент-Бёв бесспорно единственные французские поэты нашего времени» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., 1941, т. 14, с. 93–94, оригинал по-французски), однако в письме М. П. Погодину (первая половина сентября 1832 г.) указывает, что «V. Hugo не имеет жизни, то есть истины» (Полн. собр. соч., 1948, т. 15, с. 29). Крайне резко отзывался Пушкин и о драматургии Гюго, в особенности о его трагедии «Кромвель» (1827), подвергнутой им суровому разбору в статье «О Мильтоне и Шатобриановом переводе "Потерянного рая"» («Современник», 1837, № 1), называя эту драму «одним из самых нелепых произведений человека, впрочем одаренного талантом» (Полн. собр. соч., 1949, т. 12, с. 138).

За день до дуэли Пушкин разговаривал с Козловским о теории вероятности... – Факты изложены здесь не совсем точно. Тотчас после знакомства с князем П. Б. Козловским в декабре 1835 г. Пушкин, высоко оценивший энциклопедическую образованность Козловского, привлек его к сотрудничеству в своем журнале «Современник», в первом томе которого была напечатана статья Козловского «Разбор Парижского математического ежегодника на 1836 год». После выхода третьего тома «Современника» (цензурное разрешение – 28 сентября 1836 г.) со статьей Козловского «О надежде», посвященной теории вероятности, Пушкин 19 октября 1836 г. писал П. Я. Чаадаеву: «Козловский стал бы моим провидением, если бы захотел раз навсегда сделаться литератором» (Полн. собр. соч., 1949, т. 16, с. 173, 393, – оригинал по-французски). Заказанная Пушкиным статья «Краткое начертание теории паровых машин» была опубликована в седьмом томе «Современника», уже после смерти поэта. В канун дуэли 26 января 1837 г. на балу у графини М. Г. Разумовской Пушкин просил П. А. Вяземского письменно

напомнить П. Б. Козловскому об обещанной статье (см.: Современник, 1837, т. 7, с. 52).

- 88 *Я писал книгу о старинных мастерах...* – Имеется в виду книга В. Б. Шкловского «О мастерах старинных» (М.–Л.: Детгиз, 1951; М.: Сов. писатель, 1953).

И. Э. БАБЕЛЬ Впервые опубликовано в «еженедельнике нового типа» – «Журнале журналов». Пг., 1916, № 48, с. 11–12, под псевдонимом «Баб-Эль» в цикле «Мои листки».

Печ. по: Бабель И. Пробуждение. Тбилиси: Мерани, 1989, с. 288–290.

- 90 *Вечерняя Биржевка* – Имеется в виду вечерний выпуск одной из крупнейших столичных газет дореволюционной России «Биржевые ведомости» (СПб.–Пг.; 1880–1917).

«Русский инвалид» – В 1916 г. – орган Генерального штаба, широко освещавший события первой мировой войны.

В. Г. ЛИДИН Фрагменты из книги В. Г. Лидина «Друзья мои – книги», впервые опубликованной издательством «Искусство» в 1962 г.

Печ. по: Лидин В. Друзья мои – книги. Рассказы книголюбца. М.: Современник, 1976, с. 3–4; 18–22; 372–374; 375–376.

...существуют специальные справочники,украшенные именами В. Сопикова, Г. Геннади, И. Остроглазова... – Имеются в виду следующие капитальные труды русских библиографов прошлого века: «Опыт российской библиографии» (1813–1821, ч. 1–5) В. С. Сопикова, содержащий данные более чем о 13 000 произведений печати, изданных на русском и старославянском языках, – первая попытка создания полного репертуара русской книги; «Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и Список русских книг с 1725 по 1825» (1876–1907, т. 1–3, т. 4 остался в рукописи), «Русские книжные редкости» (1872), «Список русских книг, печатанных вне России» (1875) и др. работы Г. Н. Геннади; «Книжные редкости» (1891–1892) и «История одной редкой книги» И. М. Остроглазова.

- 94 *...первая книжка стихов и самого Кольцова...* – Речь идет о первом и единственном прижизненном издании стихотворений А. В. Кольцова, включавшем в себя 18 стихотворений; он был издан Н. Станкевичем и В. Белинским на средства, собранные по подписке (М.: Тип. Н. Степанова, 1835). Белинский откликнулся на это событие статьей «Стихотворения Кольцова» (1835).

- 96 *...второе издание стихотворений Кольцова...* – Имеется в виду книга «Стихотворения Кольцова. С портретом автора, его факсимиле и статьей о его жизни и сочинениях, писанною В. Белинским» (Изд. Н. Некрасова и Н. Прокоповича. СПб.: Тип. Военно-уч. завед., 1846).

...редкие брошюрки о друге Кольцова А. Серебрянском... – Здесь, очевидно, подразумевается посвященный воронежскому семинаристу и поэту А. П. Серебрянскому, автору известной песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни...», очерк Е. П. Сталинского «Кольцов и Серебрянский» (Воронеж: Тип. Губерн. правл., 1868).

Полное собрание сочинений Кольцова – Имеется в виду издание под редакцией и с примечаниями А. И. Ляшенко (СПб.: Изд. Разряда

изящной словесности Имп. Акад. наук, 1909 – Академич. библиотечка русских писателей. Вып. 1).

...томик малой серии «Библиотеки поэта» – Избранные произведения Кольцова выходили в трех изданиях малой серии «Библиотеки поэта»: в 1937 г. – под редакцией А. В. Десницкого, в 1948 и 1953 г г. – под ред. Л. А. Плоткина.

- 97 *Первая книжка стихов Аполлона Григорьева...* – «Стихотворения Аполлона Григорьева» (СПб.: Тип. К. Крайя, 1846) – малоформатное издание.

...маленькую книжечку стихотворений М. Лермонтова... – «Стихотворения М. Лермонтова» (СПб.: Тип. И. Глазунова и К., 1840) – первое и единственное прижизненное издание стихотворений поэта, в которое выскательный автор включил лишь 26 стихотворений и 2 поэмы («Песню про царя Ивана Васильевича...» и «Мцыри»).

...прижизненные издания А. Полежаева... – Имеются в виду книги поэта: «Калыян. Стихотворения А. Полежаева» (М.: Тип. Лазаревск. ин-та вост. яз., 1833); «Эрпели и Чир Юрт. Две поэмы А. Полежаева» (М.: Тип. Лазаревск. ин-та вост. яз., 1832).

...томик стихотворений Дениса Давыдова... – «Стихотворения Дениса Давыдова» (М.: Тип. Авг. Семена, 1832) – первое и единственное прижизненное издание стихотворений Д. Давыдова.

...к тому же стихов А. Дельвига... – «Стихотворения барона Дельвига» (СПб.: Тип. Департ. нар. просвещения, 1829) – первое и единственное прижизненное издание стихотворений Дельвига.

- 98 *...лет мемориальной доски на доме, где помещалась книжная лавка А. Ф. Смирдина...* – После приобретения в 1825 г. книжного магазина и типографии петербургского издателя Б. А. Плавильщикова А. Ф. Смирдин значительно расширил книготорговую деятельность и в 1831 г. открыл книжную лавку на Невском проспекте, в доме 22. Этот магазин стал своеобразным литературным салоном, где встречались многие известные тогда писатели. А. С. Пушкин, В. А. Жуковский, И. А. Крылов, П. А. Вяземский, Н. И. Гнедич и др., присутствовавшие на торжественном обеде 19 февраля 1832 г., приняли участие в двухтомном альманахе «Новоселье», изданном Смирдиным в 1833–1834 гг. по случаю переезда на Невский проспект.

- 99 *...вышел том его избранных рассказов...* – Речь идет о книге: А. Платонов. Избранные рассказы. М.: Сов. писатель, 1958.

Эрнест Хемингуэй назвал имя Платонова среди имен тех писателей, у которых он научился писать... – Высокая оценка Хемингуэем писательского мастерства Андрея Платонова опирается, по-видимому, на впечатление от прочитанного им в английском переводе рассказа Платонова «Третий сын» (1936), который спустя год после опубликования на родине автора вошел в изданный О'Брайеном сборник лучших американских рассказов за 1937 г. – и тогда же в т. н. «Свиток почета», антологию шедевров американской прозы.

...перифраз названий книг Цвейга... – Подразумеваются сборники новелл Стефана Цвейга «Смятение чувств» (1927) и «Жгучая тайна» (1933).

100 *«Вогульские сказки»* – Имеется в виду сборник фольклора народа манси (вогулов), вышедший под редакцией и с предисловием В. Г. Богораза-Тана (Л.: Гослитиздат, 1935).

...в книжном хранилище Юдина в Красноярске... – Красноярский промышленник, библиофил и просветитель Г. В. Юдин (1840–1912) владел одной из крупнейших во всей России частных библиотек, насчитывавшей к началу века свыше 80000 томов (среди них – редкие книги по истории Сибири и «Русской Америки», полные комплекты русских журналов XVIII–XIX вв. и несколько сот тысяч рукописей XIII–XIX вв.). Весной 1897 г. В. И. Ленин, находясь в ссылке, в течение двух месяцев работал в библиотеке Юдина, которую назвал «замечательным собранием» (Полн. собр. соч., 5-е изд., т. 55, с. 24), над книгой «Развитие капитализма в России» (1899). Г. В. Юдин, стремясь к сохранению своей богатейшей коллекции в нераспыленном виде, предложил приобрести ее полностью Императорской Публичной библиотеке в Петербурге, но, получив отказ, вынужден был в 1907 г. продать ее библиотеке Конгресса в Вашингтоне, где она, согласно выдвинутому владельцем условию, сохраняется как «собрание Юдина», составляя ядро Славянского отдела.

М. М. ЗОШЕНКО Впервые опубликовано в журнале «Желонка» (Баку), 1924, № 9, с. 135.

Печ. по: Книжные страсти (Сатирические произведения русских и советских писателей о книгах и книжниках). М.: Книга, 1987, с. 212–214.

...день всеароссийской печати 4 мая... – Так в авторском тексте.

«Вселенная и человечество» – Под таким названием в дореволюционной России было выпущено несколько изданий: «Вселенная и человечество. История исследования природы и приложения ее сил на службу человечеству. Под общей ред. Ганса Крэмера» (СПб.: Просвещение, 1900–1910, т. 1–5); «Вселенная и человечество» (Чудеса природы и произведений человека. В 12 кн. Под общей ред. Ф. С. Груздева. СПб.: Изд. П. Сойкина, 1905 – бесплатное приложение к журналу «Природа и люди»); «Вселенная и человечество. Природа и ее силы на службе у человека. Под общей ред. Ганса Крэмера» (СПб., 1911, т. 1–3 – бесплатное приложение к журналу «Весь мир») и др. О широкой популярности подобных книг свидетельствует и такой любопытный факт: подписчикам юмористического журнала «Новый Сатирикон» на 1917 год в качестве первой премии было обещано «солидное, фундаментальное издание» – «один большой том «Вселенная и человечество», подготовленный «при участии и под редакцией маститых сатириков».

И. А. ИЛЬФ Печ. по: Ильф И. и Петров Е. Собр. соч.: В 5-ти т. М.: Гослитиздат, 1961, т. 5, с. 121–124.

М. Е. КОЛЬЦОВ Входит в цикл фельетонов М. Кольцова «Иван Владимович – человек на уровне», впервые публиковавшийся в периодической печати в 1933 г.

Печ. по: Кольцов М. Е. Избр. произведения: В 3-х т. М.: Гослитиздат, 1957, т. 1, с. 478–480.

109 *Эркаи* – РКИ (Рабоче-Крестьянская Инспекция, Рабкрин) – наркомат, орган государственного контроля в 1920–1934 гг.

110 *Издания «Академии»* – Имеются в виду книги, выпускавшиеся издательством «Academia», – преимущественно русская и иностранная художественная литература, труды по литературоведению, искусствоведению, эстетике и поэтике. Издания сопровождались тщательно выверенным научно-справочным аппаратом и по праву славились высокой культурой полиграфического исполнения.

«Золотой козел Апулея» – Подразумевается роман древнеримского писателя Апулея «Метаморфозы в XI книгах», известный также под названием «Золотой осел».

Л. М. ЛЕОНОВ Впервые опубликовано в журнале «Советская книжная торговля», 1960, № 3, с 7, под названием «Верный, бескорыстный и наиболее сведущий друг».

Печ. по: Леонов Л. М. Собр. соч.: В 10-ти т. М.: Худож. лит., 1984, т. 10, с. 402–403.

В. В. НАБОКОВ Рассказ «Пассажир» впервые опубликован в газете «Руль» (Берлин), 1927, 6 марта; вошел в сборник рассказов и стихов В. Набокова «Возвращение Чорба» (Берлин: Изд-во «Слово», 1930).

Печ. по репринтному воспроизведению, осуществленному американским издательством «Ардис»: Набоков В. Возвращение Чорба. Анн Арбор, 1976, с. 139–146 (В. Набоков. Собрание рассказов и повестей. Том I).

Эссе «Хорошие читатели и хорошие писатели» впервые опубликовано в кн.: Vladimir Nabokov. Lectures on literature. N. Y., 1980.

Печ. по: «Книжное обозрение», 1989, № 3, 20 января, с. 10.

114 *...ad usum delphini (лат.)* – Для наследника престола (дофина). Ироническое выражение, употребляемое по отношению к текстам, подвергшимся педагогической или нравственной цензуре. Первоначально – помета на изданиях римских классиков Боссюэ и Гюэ, предназначенных для чтения несовершеннолетнего сына французского короля Людовика XIV (годы правления 1643–1715). Предосудительные с точки зрения морали пассажи в них изменялись или перерабатывались под наблюдением воспитателя дофина герцога Монтозье (1610–1690).

В. Т. ШАЛАМОВ Фрагмент воспоминаний В. Шаламова, написанный приблизительно в конце 1950 – начале 1960 годов.

Печатается по тексту первой (посмертной) публикации: Книжное обозрение, 1988, № 47, 25 ноября, с. 8–10.

124 *...состояла из двух книг: «Ай-ду-ду!» и «Азбуки» Толстого.* Имеется в виду популярная книга для детей: «Ай-ду-ду! Русские народные сказки, песенки, прибаутки, побасенки. С рис. Милютин» (М.: Изд. Мамонтова, 1892). «Новая азбука» Л. Н. Толстого вышла в 1910 г. 28-м изданием (М.: Т-во И. Н. Кушнерев и К°).

...полное собрание сочинений Александра Дюма; полное собрание сочинений Фенимора Купера! – Полное собрание сочинений А. Дюма в 24 томах (84 книгах) вышло в Санкт-Петербурге в издательстве П. П. Сойкина в 1913 г. (Бесплатное приложение к журналу «Природа и люди», 1912–1913). «Сочинения» Ф. Купера в 25-ти томах вышло в Санкт-Петербурге в издательстве М. О. Вольфа в 1865–1879 гг. (2-е и 3-е изд. – 1879–1880, вышло 7 томов); 12-томное собрание сочинений Ф. Купера выдержало три издания (СПб.: Изд. П. П. Сойкина, 1898, 2-е и 3-е изд. – 1901; 3-е и 4-е изд. – 1913).

125 ...я прочел статью какого-то критика о «Зеленых холмах Африки» Хемингуэя. — Главы из книги Э. Хемингуэя «Зеленые холмы Африки» публиковались в переводе Н. Волжиной в журнале «Иностранная литература» (1959, № 7, с. 164–180) — составление, редакция и комментарий И. Кашкина. В том же году книга вышла в сокращенном переводе В. Хинкиса (М.: Географгиз, 1959) с послесловием доктора биологических наук В. Г. Гептнера. Конконас упоминается И. Кашкиным, однако никаких оценочных суждений критик в данном случае не выносит.

126 ...овладел я... Кеттеровскими таблицами... — Имеются в виду составленные в конце прошлого века американским библиотековедом Чарлзом Эмми Кеттером (1837–1903) т. н. «авторские таблицы» — алфавитные перечни начальных буквосочетаний наиболее распространенных в данном языке фамилий (или первых слов заглавий произведений), расположенные столбцами и пронумерованные.

...тридцать шесть томов Лескова в издании Маркса... — Речь идет о «Полном собрании сочинений» Н. С. Лескова, вышедшем как приложение к журналу «Нива» в Санкт-Петербургском издательстве А. Ф. Маркса и выдержавшем три издания (1889–1896, тт. 1–12; Изд. 2-е — 1897, тт. 1–12; изд. 3-е — 1902–1903, тт. 1–36).

...издания вроде эренбургского «Рвача» или «Нового мира» с пильняковской «Повестью непогашенной луны»... — Роман И. Г. Эренбурга «Рвач», посвященный описанию русской действительности периода нэпа, впервые издан в июне 1925 г. в Париже; вышел в 1927 г. в московском издательстве «Светоч». Публикацию «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка («Новый мир»), 1926, № 5), вызвавшую резкое недовольство официальных кругов, редколлегия признала «явной и грубой ошибкой» («Новый мир», 1926, № 6, с. 184); часть тиража журнала была конфискована у подписчиков.

...журнал «Россия», «Новая Россия» с неоконченным романом Булгакова «Белая гвардия»... — Две первые части романа М. А. Булгакова «Белая гвардия» были напечатаны в московском журнале «сменовеховского» направления «Россия» (кн. 4 и 5). В связи с закрытием журнала публикация романа остановилась, однако в 1927 г. в Риге появилось отдельное издание романа с окончанием, дописанным за автора неизвестным лицом. Полностью роман вышел в 1929 г. в издательстве «Конкорд» в Париже под названием «Дни Турбиных». В январе–мае 1926 г. бывший редактор «России» И. Г. Лежнев издавал журнал под названием «Новая Россия», на обложке которого среди авторов значился и Булгаков.

...редактор «Юности»... — В. П. Катаев был первым главным редактором журнала «Юность» (с июня 1955 по январь 1962 г.).

127 «Записки Казановы»... — По-видимому, речь идет о книге, основанной на записках Казановы; «Казанова. Мемуары» (СПб.: Изд. книгопродавца В. И. Губинского, 1887; 2-е изд. под названием «Приключения Казановы» — 1902, под ред. В. В. Чуйко).

«Воспоминания Массона», голландского посла при дворе Екатерины Второй... — Имеется в виду книга Шарля Франсуа Филибера Массона (1762–1807) «Секретные записки о России и в частности о конце царствования Екатерины II и правлении Павла I» (М.: И. И. Казаков, 1918).

...в великолетнем английском четверостишии, переведенном Маршаком... — Имеется в виду выполненный С. Я. Маршаком (1946)

перевод анонимной английской эпиграммы «О времени», восходящей к афоризму Вольтера:

Мы говорим, что убиваем время.
Пустое хвастовство! Приходит час –
И время расправляется со всеми,
Всех убивает нас.

130 *...томик Хемингуэя с «Пятой колонной»...* – Имеется в виду книга Э. Хемингуэя «Пятая колонна и первые тридцать рассказов. Пер. под ред. И. А. Кашкина» (М.: Гослитиздат, 1939).

131 *...прочел я Писарева ... великого популяризатора знаний...* – Д. И. Писарев выступал активным популяризатором достижений естественнонаучной и исторической мысли: см. его работы «Прогресс в мире животных и растений» (1864) – изложение учения Ч. Дарвина о происхождении видов; «Очерки по истории труда» (1863) – обзор истории человеческого общества; цикл очерков по истории Западной Европы – «Исторические эскизы» (1864), «Историческое развитие европейской мысли» (1864), «Перелом в умственной жизни средневековой Европы» (1865), «Очерки из истории европейских народов» (1868) и др.

133 *...прижизненное четырехтомное издание Державина...* – Первые четыре части задуманного, но не осуществленного Г. Р. Державиным многотомного собрания своих сочинений появились в 1808 г. (СПб.: В типографии Шнора).

135 *...роман В. Ропшина «То, чего не было»...* – В. Ропшин – псевдоним Б. В. Савинкова (1879–1925), русского писателя и одного из лидеров партии эсеров. Как прозаик дебютировал в 1909 г. повестью «Конь бледный». Роман «То, чего не было» (1914) построен на материале революции 1905–1907 гг.

С. П. ЗАЛЫГИН Печатается по тексту первой публикации: Литературная газета, 1988, № 7, 17 февраля, с. 6.

145 *«Вспомнил я своих товарищей... и стоять на вахте, и пахать»* – Цитируется «Рассказ неизвестного человека» (1893) А. П. Чехова.

В. П. АСТАФЬЕВ Впервые: Московский литератор, 1979, 21 сентября. Позже вошло в кн.: Астафьев В. Всему свой час. М.: Мол. гвардия, 1985, с. 182–185. Печатается по тексту первой публикации.

149 *«Женщина плачет... смещение счастья и горя»* – Цитата из стихотворения Романа Солнцева «Женщина плачет в вагонном окне...» (1976).

Ю. В. БОНДАРЕВ Впервые в кн.: Бондарев Ю. В. Мгновения. М.: Мол. гвардия, 1977, с. 333–336. Входит в цикл миниатюр «Мгновения». Печ. по: Бондарев Ю. В. Собр. соч.: В 6-ти т. М.: Худож. лит-ра, 1986, т. 5, с. 614–617.

Ю. В. ТРИФОНОВ Впервые: Литературная газета, 1976, № 46, 10 ноября, с. 6 (беседа с корреспондентом газеты С. Селивановой). Печ. по: Трифонов Ю. Как слово наше отзовется... М.: Сов. Россия, 1985, с. 272–280.

154 *...библиографический словарь «Деятели революционного движения в Рос-*

сии» – Имеется в виду издание: Деятели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь от предшественников декабристов до падения царизма. М.: Всесоюзное Общество Политических каторжан и ссыльнопереселенцев. Т. 1–5. М., 1927–1933 (факсимильное издание – Лейпциг, 1974).

159 *...даже в Литинститут поступал со стихами...* – Ю. Трифонов действительно поступал в Литературный институт им. А. М. Горького в 1944 г. на отделение поэзии, но был принят на отделение прозы. В архиве писателя хранятся рукописи около ста стихотворений, которые он не публиковал. См.: Трифонов Ю. Воспоминание о муках немоты («Дружба народов», 1979, № 10. с. 186).

Ч. Т. АЙТМАТОВ Впервые: Альманах библиофила. Вып. 6. М.: Книга, 1979, с. 7–17. Печатается по этому изданию с сокращениями.

**НОДАР
ДУМБАДЗЕ** Печатается с сокращениями по тексту первой публикации: Советская культура, 1983, № 124, 15 октября, с. 4.

Е. А. ЕВТУШЕНКО Впервые опубликовано в виде авторского предисловия в кн.: Евтушенко Е. Избранные произведения. В 2-х т. М.: Худож. лит-ра, 1975, т. I, с. 5–13.

Печ. по: Евтушенко Е. Талант есть чудо неслучайное. М.: Сов. писатель, 1980, с. 7–16.

168 *«Горе вам, матери Одера, Эльбы и Рейна...»* – Неточно приведенная строка из стихотворения А. Суркова «В смертном ознобе под ветром трепещет осина...» (1941). У автора: «Горе вам, матери с Одера, Рейна и Эльбы!» (ст. 23).

«Не зря мы дружбу берегли...» – Строка из стихотворения С. Гудзенко «Баллада о дружбе» (1942–1943).

«Гостиньаль. Все в белом. Стены пахнут сыроватым мелом» – Начальные строки стихотворения М. Луконина «Мои друзья» (1947).

«Мальчик жил на окраине города Колтино» – Начальная строка стихотворения А. Межирова «Стихи о мальчике» (1945).

«Ребята, передайте Поле... пели соловьи» – Неточная цитата из стихотворения М. Дудина «Соловьи» (1942).

171 *«Ведь та, которую я знал, не существует...»* – Строка из стихотворения В. Луговского «Та, которую я знал» (1956).

«Удивительно мощное эхо, – очевидно, такая эпоха!» – Цитата из стихотворения Л. Мартынова «Эхо» (1955).

**Б. А.
АХМАДУЛИНА** Впервые: Литературная газета, 1976, № 1, 1 января, с. 5.
Печ. по: Ахмадулина Б. Сны о Грузии. Тбилиси: Мерани, 1977, с. 522–524.

А. Г. БИТОВ Впервые опубликовано в журнале «Литературное обозрение», 1977, № 10, с. 96–97 (ответы на анкету «Наедине со всеми»).

Печ. по: Битов А. Статьи из романа. М.: Сов. писатель, 1986, с. 6–10 (раздел «Соединительный союз»).

- 181 *...читал он... ту самую мою первую детскую книжку...* – Первая книга А. Битова – сборник рассказов «Большой шар» (М. – Л.: Сов. писатель, 1963).

Л. ФРАНС

Впервые опубликовано в газете «Ле Тан» (Париж), 1888, 4 марта. Вошло во вторую серию очерков А. Франса «Литературная жизнь», выпущенной в свет в Париже издательством «Кальман-Леви» в 1890 г.

Печ. по: Лучезарный Феникс. Зарубежные писатели о книге, чтении и библиофильстве. М.: Книга, 1979, с. 7–14.

- 182 *Мне вспомнились два старичка священника...* – Речь идет о двух близких знакомых Франса – канонике собора Парижской богоматери Треву и аббате Ле Блатье, изображенных также в рассказе «Господин Деба» (1896).

«Беги лесов, их тишины глубокой!» – Строка из стихотворной новеллы Жана Лафонтена «Колокольчик» (1685).

- 185 *...переплеты, изготовленные для... Каневари...* – В Италии второй половины XVI в. пользовались особой славой изготовленные специально для известного в те времена библиофила – врача римского папы Урбана VIII Деметрио Каневари изысканные переплеты с изображением Аполлона на колеснице.

- 186 *Они были довольны, когда им удавалось отыскать... «Шедевр неведомого человека»... Кристома Матаназиуса.* – Здесь, по-видимому, имеется в виду сатирический памфлет против иезуитов, анонимно изданный Никола Жуэном (1684–1757), – «Песнь неизвестного, недавно открытая и обнародованная с пояснениями доктора Кристома Матаназиуса, или Правдивая и примечательная история, случившаяся с одним преподобным отцом из «Общества Иисуса», – представляющий собой пародию на распространенную песню «Шедевр незнакомца», в которой говорилось о незадачливом священнике, пытавшемся соблазнить на исповеди очаровательную девицу, которая оказалась переодетым мальчиком.

...книга эта янсенистская... – Янсенизм – религиозно-философское реформаторское течение в католицизме (основано голландским богословом Корнелием Янсением в середине XVII в.), направленное против иезуитов, церковной иерархии и клерикализма; осуждено папством.

...экземпляр эльзевировского издания «Подражания Христу»... – Сочинение «О подражании Христу» традиционно приписывается немецкому монаху и религиозному мыслителю XV в. Фоме Кемпийскому. В рецензии на книгу итальянского писателя-карбонария Сильвио Пеллико (1789–1854), опубликованной в третьем томе «Современника» (1836), А. С. Пушкин писал: «...неизвестный творец книги «О подражании Иисусу Христу», Фенелон и Сильвио Пеллико в высшей степени принадлежат к сим избранным, которых Ангел Господний приветствовал именем *человеков благоволения*» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч., 1949, т. 12, с. 99).

Эльзевиры – семья и фирма знаменитых нидерландских типографов и издателей (1581–1712), на протяжении всего XVII в. несомненный лидер европейского книжного дела. Эльзевиры напечатали более 2200 книг и около 3000 университетских диссертаций – сочинения крупнейших ученых и произведения виднейших писателей того времени на различных языках. Важные новшества Эльзевиров – уменьшение формата книг, удобочитаемость оригинально-

го шрифта, увеличение тиражей. Эльзевирами называют и выпущенные фирмой книги, высоко ценимые знатоками.

Книга Ангела – Имеется в виду книга, которую пророк видит «написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями» (Откровение Иоанна Богослова, 5:1).

- 187 *Альдовский курсив* – Альдами (или альдинами) именуется книги, напечатанные в Венеции типографом, издателем и ученым-эллинистом Альдом Пиет Мануцием Старшим (1449–1515), выпустившим начиная с 1494 г. 153 издания, и его сыном Паоло (1512–1574) и внуком Альдом Пиет Младшим (1547–1597), выпустившими с 1515 по 1597 г. 1105 изданий, – всего 780 авторов. Книги Альдов (большое число первых изданий греческих и римских классиков, произведения Данте, Петрарки, и др.) сыграли важную роль в распространении идеологии гуманизма. Альды отличаются высокой точностью текста и изяществом оформления (переплет из кожи, тисненной золотом). Вместо громоздких фолиантов стали выпускаться книги небольшим серийным форматом *in octavo* (в 1/8 долю листа). Печатались они впервые емким курсивом, красивым и плотным шрифтом, созданным Франческо да Болонья. Издательская марка Альдов – дельфин, обвивающий якорь.

...лестница Латюда... – 25 февраля 1756 г. авантюрист Жан-Анри Латюд, заключенный в 1749 г. в Бастилию за интриги против фаворитки Людовика XV маркизы де Помпадур, бежал из тюрьмы при помощи самодельной деревянной лестницы и веревки с узлами; вскоре был пойман.

- 188 *Инкунабулы* (лат. *incipubula* – колыбель, начало, основа) – западноевропейские первопечатные книги, изданные до 1500 г.

Ксилография – обрезаемая гравюра, отпечатанная ручным способом с деревянных досок, на которых вырезано изображение (формы выдерживают до 15000 оттисков). Наиболее ранний способ механического размножения книг: ксилография возникла в буддийских монастырях Китая уже в VIII в. (см. коммент. к с. 551). В Европе ксилографическая печать получила широкое распространение в середине XIV в., куда ее завезли арабы вместе с игральными картами.

«Гирлянда Жюли»... – Жена герцога де Монтозье – Жюли-Люсин д'Анженн, дочь маркизы Катрин де Рамбулье, хозяйки парижского литературного салона (1607–1671), славилась умом и красотой. На каждой странице подаренного ей в 1638 г. мужем альбома под названием «Гирлянда Жюли» лучшими художниками был нарисован цветок, а под ним известнейшими поэтами того времени – посетителями салона (среди них был и Корнель), собственноручно написан мадригал; впервые появился в печати в 1784 г.

...вы можете довольствоваться великолетной книгой, в которой Жюль Ле Пти весьма подробно их описывает... – Здесь Франс дает высокую оценку библиографическому описанию старинных французских книг, содержащему около 300 факсимильных воспроизведений титульных листов: «*Bibliographie des principales éditions originales d'écrivains français du XV-e au XVIII-e siècle*, par Jules Le Petit» (Paris; Quantin, 1888).

П. КЛОДЕЛЬ Доклад на книжной выставке во Флоренции в 1925 году; впервые опубликован в кн.: Claudel P. *Réflexions sur la poésie*. P., Gallimard, 1963, p. 101–128.

Перевод сделан по данному изданию с сокращениями, печ. по: Человек читающий. М.: Прогресс, 1983, с. 152–163.

190 *Заглядывая в рассыпающийся том моей жизни, жизни путешественника...* – Клодель долгое время являлся дипломатическим представителем Франции во многих государствах мира: Нью-Йорк (1893–1894), Китай (1895–1909, с перерывами), Прага (1910), Гамбург (1913–1915), Рим (1915), Рио-де-Жанейро (1916–1919), Копенгаген (1920) и др. С 1921 по 1925 г. он был французским послом в Японии, где стал свидетелем разрушительного токийского землетрясения 1923 г.

Вслед за столькими паломниками, первым из которых был древний Эней... – Версия мифа, согласно которой троянский герой Эней, бежавший из разоренной греками Трои, после долгих странствий прибыл в Италию и основал Рим, легла в основу эпической поэмы Вергилия «Энеида» (I в. до н.э.).

Италия... трепетала от строк поэта, звавших на бой... – В первой мировой войне Италия 23 мая 1915 г. выступила на стороне Антанты и по послевоенным договорам получила Южный Тироль, а также большую часть Истрии и др. Наиболее известными националистически настроенными поэтами, активно ратовавшими за участие Италии в военных действиях и превращение ее в мощную империалистическую державу, были Г. Д'Аннунцио, сам командовавший звеном самолетов-бомбардировщиков, и основатель футуризма Ф. Т. Маринетти, отправившийся на фронт добровольцем.

194 *...золотые буквы унциального шрифта...* – Унциальное письмо (унциал) – особая разновидность почерка средневековых латинских рукописей, для которой характерно крупное ровное начертание букв без острых углов и ломаных линий.

198 *...строфы коммоса...* – Коммос (*греч.* «удары») – обычно в грудь как выражение скорби) – в древней аттической комедии совместная лирическая партия актера и хора.

...в «Цветах зла»... членение на части кажется только необходимым следствием расположения зрками и законов перспективы... – Бодлер, настаивавший на том, что его «книгу надо судить в ее целостности и тогда из нее вытекает жестокий нравственный урок», стремился к предельной композиционной стройности своего знаменитого сборника стихотворений.

М. ПРУСТ Заметка «Власть романиста», датированная 1895–1900 гг., впервые опубликована в сборнике литературно-критических работ М. Пруста «Против Сент-Бёва...», вышедшем в свет в издательстве «Галлимар» (Париж, 1954), под заглавием «Поэт и романист», р. 344–345.

На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по изданию: Proust M. *Contre Sainte-Beuve...* Paris: Gallimard, 1971, р. 413–414.

Заметка «Истинная красота», написанная в конце 90-х гг. прошлого века, впервые была опубликована в том же сборнике.

Печ. по: Писатели Франции о литературе. М.: Прогресс, 1978, с. 70.

Ж. ДЮАМЕЛЬ Отрывок из книги Ж. Дюамеля «Этюд о романе», впервые опубликованной в Париже в 1925 г.

Печ. по: Писатели Франции о литературе. М.: Прогресс, 1978, с. 92–94.

Ф. МОРИАК Впервые опубликовано в еженедельнике «Фигаро литерер» (Париж), 1956, 14 января.

Печ. по: Мориак Ф. Не покоряться ночи... (Художественная публицистика). М.: Прогресс, 1986, с. 386–388.

208 *...что я думаю о «кризисе романа»...* – Подразумевается предпринятый во Франции в 1950–1960 гг. апологетами т.н. «нового романа» (Н. Саррот, А. Роб-Грийе, М. Бютор, К. Мориак и др.) пересмотр традиционных принципов построения художественной прозы. К утверждениям о необратимом отмирании классических повествовательных форм Мориак в целом относился достаточно скептически, однако проявлял сочувственный интерес к новаторским поискам представителей молодого поколения романистов. Теоретические воззрения Мориака на искусство романа подробно изложены им в работах «Роман» (1928), «Романист и его персонажи» (1933) и др.

...если верить некоторым моим собратьям по перу... мои романы – вовсе не романы.. – Еще в 1939 г. Ж. П. Сартр в статье «Франсуа Мориак и свобода» обрушился с резкой критикой на стилевые приемы Мориака в романе «Конец ночи» (1935), отказывая писателю в таланте художника: «Если правда, что роман вещь, подобно картине, подобно архитектурной конструкции, если правда, что для романа нужны свободные сознания в дрящемся времени, как для картины – краски и масло, то «Конец ночи» не роман, а самое большее совокупность знаков и намерений. Мориак не романист... Бог не художник. Мориак – тоже» («Вопросы литературы», 1986, № 9, с. 189, пер. Л. Зониной).

«...литература эпохи Империи... открывают вам человеческое сердце» . – Цитата из романа О. де Бальзака «Провинциальная муза» (1843). (Бальзак О. Собр. соч.: В 24-х т. М.: Правда, 1960, т. 7, с. 531–532, пер. Л. Слонимской.)

209 *Роман – это не «таблицы по анатомии морали»...* – В предисловии к своей ранней книге «Очерки современной психологии» (1883–1885), выдержанной в духе позитивизма, П. Бурже утверждал, что великие романисты дают «иллюстрации по анатомии морали».

А. МОРУА Фрагмент из книги А. Моруа «Письма незнакомке», впервые опубликованной издательством «Фейар» (Париж) в 1956 г.

Печ. по: Моруа А. Надежды и воспоминания (Художественная публицистика). М.: Прогресс, 1983, с. 222–224.

Статья «Книга – открытая дверь к другим народам» печатается с сокращениями по тексту первой публикации в журнале «Курьер ЮНЕСКО», 1961, № 5, с. 5–13.

Мой учитель Ален... – Французский литературный критик и философ Ален (наст. имя – Эмиль Огюст Шартье, 1868–1951) оказал на духовное становление Моруа огромное влияние. Ален долгое время преподавал в различных учебных заведениях, где одним из его студентов был и Моруа. В круг интересов Алена входили проблемы, связанные с основополагающими гуманитарными дис-

циплинами – от религиозной этики до политической экономии; перу Алена принадлежит также ряд биографических книг – «Стендаль» (1935), «С Бальзаком» (1937), «Читая Диккенса» (1941) и др.

...его беседы с Лас Казом... – Граф де Лас Каз сопровождал Наполеона в его изгнание на остров Святой Елены в 1815 г., где провел 18 месяцев, и впоследствии опубликовал книгу воспоминаний «Мемориал острова Святой Елены» (1823), в которой подробно описывается жизнь Наполеона в ссылке и приводятся его высказывания.

213 *...Шарль Дю Бо натолкнул меня на «Дважды потерянную Эвридику»* – Имеется в виду собрание литературно-критических работ Ш. Дю Бо «Приближения» (1922–1937, т. 1–7), посвященное творчеству французских авторов.

Морис Баринг... приобщил меня к Чехову, к Гоголю. – Английский писатель и литературовед Морис Баринг (1874–1945), много лет проведший в Маньчжурии и России, переводил русских поэтов и выпустил несколько трудов, посвященных русской литературе, – «Основные вехи русской литературы» (1910), «Очерк русской литературы» (1915) и др.

214 *Монтень говорил... любовь, дружба и чтение книг.* – Имеется в виду глава III книги третьей «Опытов» Монтеня – «О трех видах общения».

Ж. КОКТО Фрагмент «Чего хочет читатель» взят из эссе «О себе», которое вошло в книгу Ж. Кокто «Бремя бытия», впервые опубликованную в Париже в 1947 г.

Печ. по: Кокто Ж. Портреты-воспоминания. Эссе. М.: Известия, 1985, с. 16–17. (Библиотека «Иностранной литературы»).

Рокамболь см. коммент. к с. 17.

Лекок – персонаж романа французского писателя Эмиля Габорио (1832–1873) «Господин Лекок» (1869), полицейский-детектив.

Фавтомас криминальный герой серии из 32 детективных романов, написанных М. Алленом и П. Сувестром в 1911–1913 гг.

Шери-Биби – персонаж ряда романов авантюрного жанра французского писателя Гастона Леру (1868–1927).

А. ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ Впервые опубликовано в журнале «Харперс Базар» (Лондон), 1941, апрель.

Печ. по: Сент-Экзюпери А. де. Военные записки. 1939–1944 (Художественная публицистика). М.: Прогресс, 1986, с. 93–95.

Ж. СИМЕНОН Фрагмент из книги Ж. Сименона «Следы шагов» (серия «Я диктую»), впервые опубликованной в 1975 г. парижским издательством «Пресс де ля Сите».

Печ. по: Человек читающий. М.: Прогресс, 1983, с. 192–194.

Ж. П. САРТР Отрывок из автобиографической книги Ж. П. Сартра «Слова», впервые вышедшей в свет в Париже в издательстве «Галлимар» в 1964 г.

Печ. по: Сартр Ж. П. Слова. М.: Прогресс, 1966, с. 43–49.

233 *Кабинет деда был заставлен книгами...* – Дед Сартра по материнской линии Шарль Швейцер – ученый-филолог и литературовед, немец по происхождению, брат Альберта Швейцера, основал Институт живых языков в Париже. Шарлю Швейцеру принадлежит исследование жизни и творчества немецкого поэта XVI в. Ганса Сакса и ряд учебников и хрестоматий (в соавторстве с Эмилем Симонно), посвященных разработке т.н. «прямого метода» изучения языков.

...словно ряды менгиров... – Менгир (или пейлован) – один из видов доисторических кельтских памятников, четырехгранный каменный столб, нередко имеющий надписи.

238 *...большой энциклопедический словарь Ларусса заменял мне все...* – Имеется в виду «Большой универсальный словарь XIX века» в 17 томах (1866–1890), выпущенный издательством Ларусс в Париже, которое было основано видным лексикографом Пьером Ларуссом (совместно с О. Буайе) в 1852 г., впоследствии многократно переиздавался и положил начало изданию серии «малых Ларуссов», словарей по различным отраслям знания.

Ж. КЕЙРОЛЬ Отрывок из книги Ж. Кейроля «Чтение», впервые вышедшей в свет в Париже в издательстве «Сёй» в 1973 г.

Печ. по: Писатели Франции о литературе. М.: Прогресс, 1978, с. 412–417.

242 *...когда я прочел в тюрьме...* – В годы фашистской оккупации Франции Кейроль участвовал в движении Сопротивления; в 1942 г. был арестован гестапо и провел два года в концлагере Маутхаузен.

П. ГАМАРРА Статья «Умеете ли вы читать?» впервые была опубликована в 1961 г.; впоследствии вошла в сборник П. Гамарра «Широкий круг чтения» (Париж, 1980).

Печ. по: Гамарра П. Читая и перечитывая. М.: Радуга, 1985, с. 13–16.

Ответы на вопросы анкеты «Настоящее и будущее литературы» печатаются по тексту первой публикации в журнале «Иностранная литература», 1971, № 1, с. 217–218.

М. БЮТОР Впервые опубликовано в сборнике статей «Репертуар IV» (Париж, 1974), перевод выполнен по этому изданию, на русском языке публикуется впервые.

Л. ПИРАНДЕЛЛО Новелла, написанная в 1909 г., вошла в 5-й том «Новелл на год» Л. Пиранделло, носящий название «Муха» (1923).

Печ. по: Пиранделло Л. Избранные произведения. В 2-х т. Л.: Худож. лит-ра, 1983, т. 2, с. 21–29.

271 *Тронхеймский собор* – готический собор, возведенный в 1140–1320 гг. в Тронхейме – древней столице норвежского государства; перестроен на рубеже XIX–XX вв.

А. МОРАВИА Статья печатается по тексту первой публикации в журнале «Курьер ЮНЕСКО», 1972, № 1, с. 23 и 34.

И. КАЛЬВИНО Ответ на анкету Дж. К. Ферретти «Для кого пишется роман? Для кого пишется стихотворение?». Впервые опубликовано в еженедельнике «Ринашита» (№ 46 от 24 ноября 1967 г.).

Перевод выполнен по изданию: Calvino I. Una pietra sopra (Discorsi di letteratura e società). Torino, Giulio Einaudi Editore, 1980, p. 159–163.

На русском языке публикуется впервые.

Л. МАЛЕРБА Перевод выполнен по тексту первой публикации: «Ла Република» (Рим), 1983, 2 апреля, с. 18.

На русском языке публикуется впервые.

У. ЭКО Перевод выполнен по тексту первой публикации в кн.: Letteratura tra consumo e ricerca a cura di Luigi Russo. Società editrice il Mulino, 1984, pp. 97–113.

На русском языке публикуется впервые.

286 *Для Мандзони было экспериментальным описать историю, происходящую в семнадцатом веке... в самый разгар горделивых порывов Рисорджименто... – Исторический роман А. Мандзони «Обрученные» (1825–1827), изображающий жизнь крестьян Ломбардии в эпоху испанского владычества, создавался в период подъема национально-освободительного движения итальянского народа, борьбы за независимость и объединение раздробленной страны (1815–1870): Рисорджименто (итал. Risorgimento, букв. – возрождение).*

Для Рабле экспериментальным было насмешливо играть с наследием сорбонистствующей и сорбонизирующей культуры... – Каждая книга романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532–1552) подвергалась запрещению со стороны Сорбонны, в связи с чем автору не раз приходилось покидать пределы Франции. Немало места в романе отведено пародированию лженауки и саркастическому осмеянию догматизма и схоластики университетской науки того времени (подробнее см. ставшую классической монографию М. М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Возрождения», 1965).

Марлоу – персонаж романа Джозефа Конрада «Лорд Джим» (1900).

...игры в точки зрения, воплощенные в произведениях (и теоретизированные) Генри Джеймсом. – Один из зачинателей реалистической психологической прозы, Г. Джеймс в своих критических работах развил оригинальную теорию романа как синтетического жанра – «Французские поэты и романисты» (1878), «Искусство прозы» (1884), составленная посмертно из авторских предисловий к романам книга «Мастерство романа» (1934) и др. Особое значение имели его новаторские суждения о принципах повествовательной техники (проблема «точки зрения», «центрального сознания», функция рассказчика и т.д.).

288 *«Группа 63» – Представители итальянского неоавангардизма (поэты Эдоардо Сангвинетти, Альфредо Джулиани, Нанни Балестрини, Антонио Порта, критики Ренато Барилли, Анджело Гульельми и др.) образовали «Группу 63», названную так по году создания, которая объединила 34 писателя и 9 критиков. Движение, просуществовавшее до начала 1970-х гг., ставило задачей не только разрушить традиционно «изжитые» художественные формы, но и реализовать собственную эстетическую программу на практике – в конкретных «экспериментальных» произведениях.*

290 *...провести разграничение между стремлением к наслаждению от высказывания-результата и от акта высказывания... – Подробное разъясне-*

ние терминов «высказывание», «дискурс» и т. п. см. в кн.: «Семiotика. Объяснительный словарь терминов языка» Альгирдаса Ж. Греймаса и Жозефа Курте в кн.: Семiotика. М.: Радуга, 1983, с. 483–550.

...как отмечает Ливис в своей книге о читателях англосаксонской прозы. — Имеется в виду книга Квини Дороти Ливис (1906–1981) «Литература и читающая публика» (1932, 1965).

294 *Лоренцо Стеккетти преподносил своему читателю «проклятущего» поэта...* — Под вымышленным именем Лоренцо Стеккетти болонский библиотекарь Олиндо Гуэррини (1845–1916) выпустил сборник «Postuma» («Посмертные стихи»), приписав его своему мнимому кузену, якобы рано умершему от чахотки. Созданный в книге образ поэта, расходящийся с традиционными представлениями, обращение — в противовес господствовавшей тогда традиции — к обыкновенным жизненным обстоятельствам и эмоциям способствовали громадному успеху сборника, хотя мистификация была вскоре разоблачена. В целом поэзия Гуэррини, ставшего провозвестником и одним из виднейших представителей веризма, заняла едва ли не ведущее место в итальянской лирике конца XIX в. Еще одна мистификация О. Гуэррини — сборник «Стихотворения Арджин Зболенфи» (1897), написанный от лица экзальтированной молодой мешанки, захваченной эротическими помыслами.

296 «Касабланка» (1943) — получивший широкое признание фильм американского режиссера Майкла Кертиса (1888–1962).

297 ...как Барт сумел написать о «Сараззине»... — Имеется в виду работа французского литературоведа, представителя т. н. «новой критики» Р. Барта «S/Z» (1970) — о новелле Бальзака «Сараззин» (1830).

«Искатели потерянного ковчега» (1981) — фильм американского режиссера Стивена Спилберга (р. 1947).

«Баланы» (1970) — фильм американского режиссера Вуди Аллена (р. 1935).

298 «Инопланетянин» («ET», 1982) — фильм, поставленный С. Спилбергом.

«Империя наносит ответный удар» (1980) — фильм американского режиссера Джорджа Лукаса (р. 1944).

...оба чудовища сделаны Рамбальди... — Карло Рамбальди (р. 1925) — американский мультипликатор, итальянец по происхождению, изобретатель виртуозных механических эффектов, создатель Кинг Конга, Белого Буйвола и ET (The Extra Terrestrial) — героя фильма С. Спилберга «Инопланетянин».

299 Гэг — визуальный комический эффект, кинематографический трюк.

М. ДЕ УНАМУНО

Эссе написано в 1910 г.; впервые опубликовано в августовском приложении к журналу «Эль Импарсиаль» (Мадрид) в 1912 г.; вошло в сборник литературно-критических работ Унамуно «Заботы и размышления».

Печ. по: Твоей разумной силе слава! М.: Книга, 1988, с. 136–140.

- 304 *...великий ученый дон Фульхенсио...* – Имеется в виду главный персонаж философского романа Унамуно «Любовь и педагогика» (1902) – по определению самого автора, «гротескный философ, который на каждом шагу отпускает гротескные афоризмы».
- 305 *...в книге одного англичанина по имени Shadworth H. Hodgson...* – Речь идет, по-видимому, о философской книге английского философа Шедворта Холвея Ходжсона «Время и пространство. Метафизические эссе» (1865).
- 306 *...процитированная же мною фраза...* – В первом томе фундаментального труда Марселино Менендеса-и-Пелайо (1856–1912) «Происхождение романа» (1905), посвященном испанской прозе средних веков и Возрождения, на указанной Унамуно странице (495) имеется сноска к цитатам из пасторального романа «Счастье любви, в десяти частях, составленных Антонио де Лофрассо, солдатом, сарацином, родом из города Алгера...». Приведенная Унамуно цитата точна. Роман вышел в Барселоне в 1573 г., пользовался в свое время большим успехом. Среди прочих книг находился в библиотеке Дон Кихота. Священник, осматривавший вместе с цирюльником книжное собрание идальго, дает «сочинению сардинского поэта» самую высокую оценку: «...никто еще не сочинял столь занятной и столь нелепой книги; это единственное в своем роде сочинение, лучшее из всех ему подобных, когда-либо появлявшихся на свет Божий, и кто ее не читал, тот еще не читал ничего увлекательного» (Сервантес Мигель де. Собр. соч.: В 4-х т. М.: Правда, 1961, т. I, с. 97, пер. Н. М. Любимова).
- Х. ОРТЕГА-И-ГАССЕТ** – Фрагменты из речи «Миссия библиотекаря», произнесенной Х. Ортегой-и-Гассетом на французском языке 20 мая 1935 г. на открытии Всемирного конгресса библиотекарей в Париже.
Впервые опубликовано в журнале «Ревиста де Оксиденте», май 1935 г.
Перевод выполнен по изданию: Ortega y Gasset J. Misión del bibliotecario (y otros ensayos afines). Madrid, Editorial «Revista de Occidente», 1962, p. 49–80.
На русском языке публикуется впервые.
- 310 *Страшное и радикальное по своим последствиям приключение западного общества!* – Термин «приключение» (как выпадение из привычного, обыденного потока действительности) широко используется в трудах известного немецкого философа и социолога Георга Зиммеля (1858–1918), представителя т.н. «философии жизни» (см.: Ионин Л. Г. Георг Зиммель – социолог. М.: Наука, 1981, с. 110).
- 315 *...считалось необходимым прибегать к ауспициям...* – Ауспиции – в Древнем Риме гадания по наблюдениям за полетом и криком птиц, за небесными явлениями и т. д. Воля богов толковалась при этом авгурами – коллегией жрецов.
Инаугурация – торжественное введение в должность.
- 316 *...начинает расти скорость прогресса, достигая в наши дни величин, которые кажутся головокружительными...* – По приблизительным данным, в XVIII в. вышло в свет около 1,6 млн. книжных изданий, в XIX в. – 6,1 млн.; в XX в. – уже около 50 млн. Ежегодно во всем мире выпускается более 700 000 различных книжных названий.
- 318 *В Германии читают книгу господина Юнгера...* – Возможно, имеется

в виду книга Э. Юнгера «Язык и строение тела» (1947), в которой на материале ряда европейских литератур прослеживается связь языка с анатомией человека. Основная тема послевоенных произведений писателя, среди которых особую известностьнискали его публицистические выступления, дневники и эссе, — кризис гуманизма в эпоху развитой технической цивилизации.

- 323 ...Платон сделал попытку ответить на этот вопрос в диалоге «Федр», где он открывает и ведет дело о книге. — В философском диалоге Платона «Федр», в заключительной части которого (274с — 276е) на основе учения о душе излагается теория красноречия, устами Сократа, повествующего об изобретении письменности египетским богом Тевтом (Тотом), постулируется подчиненное значение записанной речи по сравнению с живым собеседованием: «Всякое сочинение, однажды записанное, находится в обращении везде — и у людей понимающих, и, равным образом, у тех, кому вовсе не подобает его читать, и оно не знает, с кем оно должно говорить, а с кем нет. Если им пренебрегают или несправедливо его ругают, оно нуждается в помощи своего отца, само же не способно ни защититься, ни себе помочь» (Платон. Соч.: В 3-х т. М.: Мысль, 1970, т. 2, с. 217—218, пер. А. К. Егунова). Ср. эссе Х. Л. Борхеса «О культе книг» (Борхес Х. Л. Проза разных лет. М.: Радуга, 1984, с. 219—222).

О гении (или демоне), который сопровождает выбравшего его себе человека всю жизнь от рождения до смерти, говорится в диалогах Платона «Федон» (107е) и «Государство» (кн. X, 617е).

АСОРИН Эссе Асорина «Мои библиофильские порывы» — это 17-я глава его книги «Исповедь захудалого философа» (*Las confesiones de un requetibio filósofo*), впервые опубликованной в 1904 г.

Перевод сделан по книге того же названия: Espasa-Calpe. Madrid, 1976, p. 95—98.

Эссе Асорина: «Как нужно читать» (1944), «Чтение» (1946) и «Букинистические лавки» (1946) вошли в посмертно опубликованный сборник литературно-критических работ Асорина «Художник и стиль», вышедший в Мадриде в 1969 г.

Эссе «Как нужно читать» печ. по: Твоей разумной силе слава! М.: Книга, 1988, с. 157—159.

Перевод эссе «Чтение» и «Букинистические лавки» выполнен по изданию: Azorín. El artista y el estilo. Madrid: Aguilar, 1969. Публикуется впервые.

- 326 ...автор «Смерти волка» Альфред де Виньи, баллотировавшийся в Академию... — А. де Виньи был избран членом Французской академии в 1845 г. Содержание его философско-символической поэмы «Смерть волка» (1838, опублик. 1843), вошедшей в его посмертный поэтический сборник «Судьбы» (1864), составляет романтическое прославление героического стоицизма гонимой и одинокой, но несломленной сильной личности.

Х. М. САЛАВЕРРИА Впервые опубликовано в сборнике эссе Х. М. Салаверриа «Литературная близость», вышедшем в Мадриде в 1919 г.

Печ. по: Твоей разумной силе слава! М.: Книга, 1988, с. 154—156.

Р. ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА Эссе «Книжная свалка» — из книги «Другие фантазмагии». Перевод сделан по кн.: Gomez de la Serna, R. Los muertos y las muertas. Espasa-Calpe. Madrid, 1961, p. 196—197. На русском языке публикуется впервые.

Грегории печатались, начиная с 1910 г., в самых разных журналах Испании, кроме того, автор регулярно издавал их сборниками, менял состав.

Печ. по: Гомес де ла Серна, Р. Избранное. М.: Худож. лит-ра, 1983, с. 294–341.

ДЖ. КОНРАД Перевод выполнен по кн.: Joseph Conrad on Fiction. University of Nebraska. Lincoln, 1964, p. 76–82.

Печ. по: Человек читающий. М.: Прогресс, 1983, с. 226–232.

344 *Он написал два самых своих больших романа... в духе бесстрашной крепкощечности...* – Имеются в виду, очевидно, наиболее известные романы Стендаля – «Красное и черное» (1831) и «Пармская обитель» (1839).

А. КОНАН ДОЙЛ Фрагменты книги А. Конан Дойла «За волшебной дверью. Эссе о книгах», впервые опубликованной в Лондоне издательством «Смит, Элдер и К°» в 1907 г.

Печ. по: Корабли мысли (Английские и французские писатели о книге, чтении, библиофилах. Рассказы, памфлеты, эссе). Изд. 2-е, доп. М.: Книга, 1986, с. 188–191.

348 *Четыре тома гордоновского Тацита...* – Длительное время считавшийся наиболее авторитетным перевод сочинений Тацита, выполненный Томасом Гордоном, впервые вышел в 1728 г. Второе, исправленное издание в 4-х томах появилось в 1737 г. и неоднократно переиздавалось.

«История» Кларендона – Имеется в виду исторический труд английского государственного деятеля и ученого лорда Кларендона «Истинное историческое повествование о смутах и гражданских войнах в Англии» (опубл. 1702–1704).

«Жиль Блаз» – имеется в виду роман Алена Рене Лесажа «История Жиль Блаза из Сантьяны» (1715–1735) в известнейшем английском переводе Тобайаса Смоллетта (1721–1771), впервые вышедший в 1749 г. и переиздававшийся множество раз.

«Жизнь Бэкона» – Жизнеописанию Бэкона посвящено несколько трудов ученых прошлого века: Дж. Л. Крэйка (1846), У. Хепворта Диксона (1861), Дж. Спеддинга (1861), Т. Фаулера (1881), Р. У. Чёрча (1884), П. Вудворда (1902) и др.

...и шестью томами «Истории» Гиббона в руках... – Имеется в виду широко известный труд Э. Гиббона «История упадка и разрушения Римской империи» (1766–1788, т. 1–6) – история Рима и Византии с конца II в. до падения Константинополя в 1453 г.

Г. ДЖ. УЭЛЛС Глава из книги Г. Уэллса «Очерк всемирной истории», впервые опубликованной в Лондоне издательством «Макмиллан» в 1920 г. На русском языке публикуется впервые.

350 *...именно благодаря бумаге стало возможным возрождение Египта...* – Ранее, на основании свидетельства китайского историка Фань Е, считалось, что бумага была изобретена и преподнесена императору в 105 г. в Китае Цай Лунем. Однако находка шведского археолога Фольке Бергмана, обнаружившего при раскопках фрагмент рукописи, позволяет отнести изобретение бумаги к более ранней эпохе. С 751 г. бумага стала изготавливаться на Ближнем Востоке, а в XI–XII вв. через арабов, завоевавших Испанию, стала распро-

страняться в Европе. Первая бумажная мельница на Европейском континенте начала работать в испанском городе Касатива ок. 1150 г. В России впервые начали делать бумагу примерно в середине XVI в. на мельнице в селе Канино, близ Москвы.

У. С. МОЭМ Фрагменты из автобиографической книги Моэма «Подводя итоги», впервые опубликованной лондонским издательством Уильяма Хайнеманна в 1938 г.

Печ. по: Моэм У. С. Подводя итоги. М.: Изд-во иностранной литературы, 1957, с. 73–79. (главки XXV–XXVII).

Г. К. ЧЕСТЕРТОН Оба эссе вошли в сборник Г. К. Честертона «Защитник», впервые вышедший в свет в Лондоне в издательстве Р. Бримли Джонсона в 1901 г.

Эссе «В защиту детективной литературы» печатается по кн.: Человек читающий. М.: Прогресс, 1983, с. 245–247; эссе «В защиту "дешевого чтения"» по кн.: Честертон Г. К. Писатель в газете (Художественная публицистика). М.: Прогресс, 1984, с. 35–39.

363 *...мальчик, который восхищается Локсли в «Айвенго»...* – Под именем Локсли в романе В. Скотта «Айвенго» (1820) выведен легендарный герой английских народных баллад Робин Гуд – благородный разбойник, защитник бедняков и поборник справедливости.

В. ВУЛФ Эссе «Часы, проведенные в библиотеке» впервые было опубликовано в еженедельном литературном приложении к лондонской газете «Таймс» – «Таймс литерари сапплмент», 1916, 30 ноября.

Перевод выполнен по изданию: Granite and Rainbow. Brace World, Inc., 1958. На русском языке публикуется впервые.

Р. ОЛДИНГТОН Статья вошла в сборник Р. Олдингтона «Литературные очерки и рецензии», впервые опубликованный в Лондоне издательством «Дж. Аллен энд Ануин» в 1924 г.

Печ. по: Писатели Англии о литературе. XIX–XX вв. (Сб. статей). М.: Прогресс, 1981, с. 332–338.

372 *Или «языку них связан властью»?* – Очевидная цитата из 66-го сонета У. Шекспира «And art made tongue-tied by authority». В переводе С. Маршака: «И вдохновения зажатый рот».

374 *...мистикт, помещавший большинству английских поэтов нашей тохи прижаться вслед за Маринетти восхвалять автомобили или впадать в истерику по поводу аэропланов...* – Идеино-эстетические установки футуризма – авангардистского художественного течения 1910–1920 гг., зародившегося в И т а л и и, – наиболее полно изложены в статьях вождя и главного теоретика футуризма Ф. Т. Маринетти: «Убьем лунный свет!» (1911), «Технический манифест футуристической литературы» (1912), «Геометрическое и механическое великоление и числовое сознание» (1914) и др. Характерны «урбанистические» названия поэтических сборников итальянских поэтов-футуристов: «Электрические стихи» К. Говони, «Аэропланы» П. Буцци, «Песнь моторов» Л. Фольгоре и др. В Англии идеи футуризма не нашли сколько-нибудь заметного отклика и почти не проявили себя в поэзии.

376 *...не следует читать мистера Бландена, поскольку ты еще не знаком с Клэром и Блумфилдом.* – В раннем поэтическом творчестве Э. Бландена (1896–1974) – до первой мировой войны –

преобладали идиллически-пасторальные мотивы, сближавшие его с поэтами-георгианцами, эстетические принципы которых восходили к традициям Вордсворта. К учителям «георгианцев» наряду с Вордсвортом можно отнести также Джона Клэра и Роберта Блумфилда – английских поэтов начала XIX в., посвятивших себя пейзажной лирике, изображению сельской жизни и крестьянского труда. Бландену принадлежит и литературоведческий труд «Природа в английской литературе» (1929) – о роли пейзажа в поэзии английских романтиков.

О. ХАКСЛИ Впервые опубликовано в первом сборнике новелл О. Хаксли «Лимб», вышедшем в Лондоне в издательстве «Чатто энд Уиндус» в 1920 г.

Печ. по: Хаксли О. Желтый Кром. Рассказы. М.: Худож. лит-ра, 1987, с. 258–263.

380 *Мое воображение легко разлагает символы: во мне есть что-то от Куорлза.* – Наиболее известное произведение английского поэта Ф. Куорлза (1592–1644) «Эмблемы» (1635) представляет собой ряд парафраз из Писания, снабженных отрывками из трудов «отцов церкви» и заключительным четверостишием. Каждая «эмблема», изложенная витиеватым и тяжеловесным языком, проиллюстрирована Уильямом Маршаллом и другими художниками не менее причудливым образом. «Эмблемы» пользовались в свое время большой популярностью, однако эстетическая их ценность, с точки зрения специалистов, невелика.

«Роберт-Дьявол» (1830, пост. 1831) – романтико-фантастическая опера французского композитора Джакомо Мейербера (1791–1864), законодателя европейской оперной сцены середины прошлого века.

Это один из первых «бродвудов»,... георгианский тохи... – Фирма по изготовлению роялей «Джон Бродвуд и сыновья» была основана в 1728 г. Под «георгианской эпохой» (сер. XVIII – 30-е гг. XIX в.) подразумевают время правления английских королей: Георга I (1714–1727), Георга II (1727–1760), Георга III (1760–1820) и Георга IV (1820–1830).

383 *...течальную судьбу людей, рожденных под знаком одного закона, но обязанных жить по другому...* – Цитата из трагедии английского поэта Фюлка Гревилла (1554–1628) «Мустафа» (1609).

Г. ГРИН Перевод выполнен по изданию: Greene, G. Collected Essays. L.: The Bodley Head, 1969, p. 13–19.

Печ. по: Грин Г. Путешествия без карты. (Художественная публицистика). М.: Прогресс, 1989, с. 21–25.

384 *Сыщик Диксон Бретт* – персонаж детективных романов и повестей английского прозаика Стенлейна Кинга.

387 *«Я дольше жил... злейшей кары»* – Цитата из поэмы Э. Спенсера «Королева фей» (1590–1596), песнь IX, строфа LXIII.

Г. МАНН Впервые опубликовано в сборнике эссе Г. Манна «Власть и человек», вышедшем в издательстве Курта Вольфа (Мюнхен–Лейпциг) в 1919 г.

Печ. по: Манн Г. Соч.: В 8-ми т. М.: Гослитиздат, 1958, т. 8, с. 301–303.

392 *Король Испании, вероятно, ошибся, и студент... читал не «Дон Кихота»...* – Имеется в виду известный рассказ о том, как испанский король Филипп III (годы правления 1598–1621), увидев однажды с балкона своего дворца студента, который читал на ходу какую-то книгу и безудержно смеялся, высказал догадку (оказавшуюся справедливой), что студент либо сошел с ума, либо читает «Дон Кихота».

...война, из-за которой Сервантес стал калекой и даже попал в рабство... – Будучи солдатом испанской армии, Сервантес отличился в морской битве европейского флота с турками при Лепанто 7 октября 1571 г., где был ранен в грудь и левую руку, оставшуюся парализованной – по его собственным словам – «к вящей славе правой». На обратном пути Сервантес был захвачен пиратами и продан в рабство алжирскому паше; после четырех неудачных попыток бегства был выкуплен миссионерами только в 1580 г.

В. БЕНЬЯМИН Впервые опубликовано в еженедельнике «Ди литерарише вельт» (Берлин), 1931, № 29, 17 июля, и № 30, 24 июля.
Печ. по: Человек читающий. М.: Прогресс, 1983, с. 78–90.

396 *...бедный учительшика Вуц Жана Поля...* – Имеется в виду герой новеллы немецкого писателя Жана Поля «Жизнь премного довольно-го учительшики Мария Вуца из Ауэнталя» (1793).

398 *...гравюры на металле в этой книге начертаны величайшим французским графиком...* – «Шагреновая кожа» Бальзака выходила в 1835 г. в парижском издательстве «Конар» с иллюстрациями Шарля Дюара (гравюры на дереве Пьера Гюсмана).

399 *...переплеты с пандектами...* – Пандекты – свод сочинений древнеримских юристов по вопросам права, опубликованный в 533 г. по велению императора Юстиниана и имевший силу закона.

И. Р. БЕХЕР Фрагменты из книги И. Р. Бехера «Поэтический принцип», впервые вышедшей в берлинском издательстве «Ауфбау» в 1957 г.
Печ. по: Бехер И. Р. О литературе и искусстве. Изд. 2-е. М.: Худож. лит-ра, 1981, с. 317–319.

Б. БРЕХТ Печ. по: Брехт Б. О литературе. М.: Худож. лит-ра, 1977, с. 126–127, 307–308

404 *...в небольшой пьесе, о которой мы говорим...* – Речь идет о драме Брехта «Винтовки Тересы Каррар» (1937), посвященной событиям гражданской войны в Испании. С мая 1933 по апрель 1939 г. Брехт жил в Дании: Копенгаген расположен у пролива Эресунн (Зунд).

К. ВОЛЬФ Фрагмент из книги К. Вольф «Уроки чтения и письма», впервые опубликованной в Берлине издательством «Ауфбау» в 1968 г.
Печ. по: Вольф К. Избранное. М.: Худож. лит-ра, 1979, с. 523–527.

407 *...вместе с Роговым Зигфридом выйти на бой с драконом...* – Зигфрид (Сигурд) – герой германо-скандинавского эпоса, воспетый в «Старшей Эдде» и «Младшей Эдде», «Песни о нибелунгах» и скандинавских средневековых балладах. «Песнь о роговом Зейфриде» – образец средневерхненемецкой эпической поэзии.

«Это Рюбецаль, дух Исполитовых гор!» – Рюбецаль – в германской

мифологии горный дух, воплощение горной непогоды и обвалов, являвшийся путникам в образе серого монаха.

Эйленшиггел – Тиль Уленшиггел (или Эйленшиггел), по преданию живший в Германии в XIV в. жизнерадостный бродяга и подмастерье – легендарная собирательная фигура немецкого фольклора (подобие Ходжи Насреддина). Книга шванков (занимательных историй и анекдотов) о нем впервые была напечатана в 1500 г. в Любеке (издание не сохранилось); восходит она к еще более раннему тексту (1478–и, возможно, 1450). Первое дошедшее до нас издание «Уленшиггеля» было напечатано на верхненемецком языке в Страсбурге в 1515 г.

Шильдбюргеры – герои «Немецкой народной книги о шильдбюргерах, или О том, как жители города Шильды от великого ума глупостью спасались» (1598).

...прекрасная Магелона... – Имеется в виду героиня народной немецкой книги «Прекрасная Магелона», сохранившейся в рукописи 1527 г. (первое печатное издание – 1535); восходит к французскому рукописному источнику XV в. Автор немецкого текста – Фейт Варбек (до 1490–1534).

Священный ясень Изгразил... – В скандинавской мифологии – мировое дерево, соединяющее землю с небом и подземным миром, древо жизни и судьбы.

- 411 *Зеленый Генрих* – прозвище героя романа классика швейцарской литературы Готфрида Келлера «Зеленый Генрих» (1855, вторая редакция 1879–1880).

Г. БЁЛЛЬ

Рассказ впервые был опубликован в сборнике новелл Г. Бёлля «Нежданные гости», вышедшем в свет в издательстве «Ди Архе» (Цюрих) в 1956 г.

Печ. по: Бёлль Г. Город привычных лиц. М.: Молодая гвардия, 1964 с. 154–161.

Р. МУЗИЛЬ

Впервые опубликовано в еженедельнике «Ди литерарише вельт» (Берлин), 1926, 15, 22 и 29 октября.

Печ. по: Твоей разумной силе слава! (Европейские писатели о книге, чтении, библиофильстве). М.: Книга, 1988, с. 192–201.

- 417 *Вставляют в голову нюрнбергскую воронку...* – Шутливое описание дидактического процесса, пригодного для обучения самых непонятливых; выражение восходит к названию учебника – поэтического самоучителя немецкого поэта эпохи барокко Георга Филиппа Харсдёрфера (1607–1658), представителя нюрнбергской поэтической школы, «Поэтическая воронка для вливания немецкого стихотворческого и рифмотворческого искусства всего за 6 часов, в 3-х частях» (Нюрнберг, 1647–1653).

...Джек Лондон... не гнушается идти на выучку к покойному капитану Марриту... – В творчестве Джека Лондона существенное место занимает маринистика, связанная с романтикой странствий и противостояния сильной личности грозным силам природы, – романы «Морской волк» (1904), «Бунт на "Эльсиноре"» (1914), повесть «Путешествие на "Ослепительном"» (1902), сборник «Рассказы южных морей» (1911), описание кругосветного плавания «Путешествие на "Снарке"» (1911) и др. Наряду с воздействием творчества Г. Мелвилла, Р. Л. Стивенсона, Дж. Конрада и Р. Киплинга несом-

ненное влияние на Джека Лондона оказали и многочисленные приключенческие романы английского писателя Фредерика Марриета (1792–1848), служившего офицером военно-морского флота и запечатлевшего в своих произведениях подробные картины морских сражений и сцены корабельного быта. Романы Марриета пользовались большой популярностью, неоднократно переводились и в России.

- 420 *Ничтожная группа вокруг Георге, коалиция вокруг Блюера, школа вокруг Клагеса...* – В 1890-е гг. немецкий поэт-символист Стефан Георге возглавлял кружок литераторов (среди них был и Людвиг Клагес), которые сотрудничали в основанном им в 1899 г. журнале «Листки об искусстве». Творчество Георге оказало значительное воздействие на умонастроения немецкой интеллигенции первой трети XX в. Труды Клагеса – теоретика особой разновидности т. н. «философии жизни» (трактат «Дух как противник души», 1929–1932), получившего широкую известность также благодаря своим трудам в области характерологии и графологии, – пользовались признанием начиная с 1920-х гг. Глашатай т. н. «туристического движения» Ганс Блюер, вслед за Ницше проповедовавший культ сверхчеловека, ратовал за выступление юношества против «сковывающего влияния одряхлевшей культуры»; в 20-е гг. его взгляды находили поддержку среди националистически настроенной молодежи.

Эубиотика – учение о телесно, духовно и социально здоровой жизни.

- 423 *...на одном дыхании выпаиваются, например, такие имена, как Гамсун и Гангхофер.* – Данное сближение имен призвано выявить принципиальное различие между двумя писателями: творчество классика мировой литературы Кнута Гамсуна – мастера психологической прозы, обращенной к тонкому изображению сложной жизни человеческих чувств, противника индустриального прогресса, апологета патриархального сельского уклада, подчиненного могучему круговороту природы, – явно несопоставимо по значению с издававшимися миллионными тиражами, упрощенными и поверхностными произведениями немецкого беллетриста Людвиг Гангхофера – представителя т. н. «областнической» литературы, – изображавшими идеализированную крестьянскую среду с точки зрения сентиментального национализма и рассчитанными на весьма невзыскательный читательский вкус.

...ме считается же, что долог был путь от значимости Геббеля до значимости Вильденбруха! – Фридрих Геббель – признанный классик немецкой литературы, крупнейший немецкий трагик середины прошлого века, достойный продолжатель традиций Гёте и Шиллера, убежденный гуманист – в своих драмах, нередко написанных на исторические сюжеты, стремился к выражению через индивидуальные образы и конкретные ситуации всеобщих закономерностей бытия. Во многих отношениях идейно противоположно наследию Геббеля драматургическое творчество Эрнста фон Вильденбруха (1845–1909) – превознесенного национал-шовинистической пропагандой малоодаренного эпитгона, прославлявшего юнкерско-милитаристскую Пруссию и династию Гогенцоллернов, с которой состоял в отдаленном родстве.

- 425 *...наша тоха унаследовала страх перед эстетическим тройным правилом...* – По мнению Музиля, в отличие от канонической «правиль-

ности» искусства эпохи классицизма, подвергнутой переоценке еще романтиками, искусство новейшего времени характеризуется тягой к дисгармоничности, нарушению симметрии, смещению пропорций и т. п. Тройное правило – правило для решения арифметических задач, в которых величины связаны прямой и обратной зависимостью; с его помощью отыскивается величина, которая относится ко второй величине так же, как третья относится к четвертой. Под «эстетическим тройным правилом» Музиль понимает т. н. «золотое сечение» (термин введен Леонардо да Винчи) – гармоническое деление, принципы которого с древнейших времен широко использовались в архитектуре, живописи и скульптуре для создания правильных композиций.

С. ЦВЕЙГ Оба эссе вошли в раздел «Встречи с книгами» сборника С. Цвейга «Встречи с людьми, книгами, городами», впервые опубликованного издательством Герберта Райхнера в Вене в 1937 г. Эссе «Книга как врата в мир» служит введением в раздел «Встречи с книгами».

Печ. по: Цвейг С. Собр. соч.: В 7-ми т. М.: Правда, 1963, т. 7, с. 330–338; 347–348.

431 *...сфроки из Тита Ливия, повествующего о сражении под Замой...* – Римский историограф Тит Ливий посвятил подробнейшему описанию второй войны Рима с Карфагеном (т. н. Второй пунической войны 218–201 гг. до н. э.), завершившейся поражением карфагенян, целых десять книг своего огромного труда «История от основания Рима». В сражении под Замой (120 км юго-западнее Карфагена, соврем. Эль-Кеф) 19 октября 202 г. до н. э. римская армия Публия Корнелия Сципиона разбила армию Ганнибала, что решило исход войны в пользу Рима.

...многоцветное полотно Делакруа... – Имеется в виду картина Э. Делакруа «Алжирские женщины» (1833–1834), написанная художником после поездки в Северную Африку.

...флореровское описание природы... – Речь идет о романе Г. Флобера «Саламбо» (1862).

432 *...описание приключений Мичмана Иззи или подвигов Кожаного Чулка...* – Подразумеваются всемирно известные герои романа Ф. Маррета «Мичман Иззи» (1836) и пенталогии Дж. Ф. Купера – «Зверобой, или Первая тропа войны» (1841), «Последний из могикан» (1826), «Следопыт, или Озеро-море» (1840), «Пионеры, или Истоки Сусквеганны» (1823) и «Прерия» (1827).

Ф. КАФКА Впервые дневниковые записи Ф. Кафки 1910–1923 гг. были опубликованы в составе тома «Дневники и письма» собрания сочинений писателя, выпущенного издательством «Шокен» в 1935–1936 гг. (Берлин–Прага, т. 1–6); полностью – в издательстве С. Фишера (Франкфурт-на-Майне) в 1951 г.

Печ. по: Кафка Ф. Из дневников. Письмо отцу. М.: Известия, 1988, с. 38, 45, 80 (Библиотека «Иностранной литературы»).

435 *...книга писем или воспоминаний, все равно чьих (на сей раз Карла Штауффер-Берна)...* – Речь идет о посмертно изданном томе переписки рано умершего немецкого художника, впервые выпущенном в 1892 г. «К. Штауффер-Берн: его жизнь, письма, стихи» (составитель и редактор – О. Брам); девятое издание вышло в Берлине в 1911 г., десятое – там же в 1912 г.

Э. КАНЕТТИ Перевод выполнен по: *Die gerettete Zunge*. München–Wien, Karl Hanser Verlag, 1981.

Текст печатается по: Альманах библиофила. Вып. 17. М.: Книга, 1985 с. 251–253.

437 *«Tales from Shakespeare»* – «Рассказы из Шекспира» (1807, г. 1–2), написанные «лондонским романтиком» Чарлзом Лэмом в сотрудничестве со своей сестрой Мэри Энн Лэм (1764–1847) и представляющие собой пересказы для детей шекспировских пьес, приобрели широкую известность во многих странах.

Г. ГЕССЕ Впервые опубликовано: «Обращение с книгами» – «Нойе цюрхер цайтунг», 30 декабря 1907 г.; «Чтение книг и обладание книгами» – «Рекламс универсум». Лейпциг, 1908; «Чтение в отпуске» – журнал «Март» (Мюнхен), 15 июля 1910; «О чтении» – под названием «Чтение книг» в газете «Нойес винер тагблат», 16 июля 1911 г.

Переводы выполнены по кн.: Hermann Hesse. *Die Welt der Bücher*. Frankfurt am Main. Zuhkamp Verlag, 1977, S. 29–47; 54–56; 82–83; 84–87. На русском языке публикуется впервые.

456 *...разновидность читателей, которую некогда хорошо обрисовал Готфрид Келлер...* – Имеется в виду герой сатирической новеллы Г. Келлера «Любовные письма» из сборника «Люди из Зельдвилы» (1856–1874) Вигги Штёртлер: стремясь стать писателем, Вигги записался во все библиотеки, во все читательские кружки и не пропустил ни одной новинки, однако полученное таким способом образование отнюдь не привело к обретению духовной самостоятельности.

459 *...воспоминания маркграфини Байрейтской...* – Написанные по-французски двухтомные мемуары Вильгельмины Байрейтской увидели свет только в 1810 г. в Брауншвейге и до конца века переиздавались десять раз. Книга представляет значительный интерес не только как важный исторический документ, но и как талантливое свидетельство духовного богатства незаурядной личности, страстно выступавшей против тупой ограниченности и произвола, присущих правлению ее отца – короля Пруссии Фридриха Вильгельма I, который получил прозвище «фельдфебель на троне».

М. ФРИШ Эссе «Неначитанный книголюб» впервые опубликовано: «Нойе цюрхер цайтунг», 24 марта 1935 г.

Перевод выполнен по изданию: Frisch M. *Die sammelte Werke*. Frankfurt am Main, Zuhkamp Verlag, 1976, Bd. I, S. 80–83.

На русском языке публикуется впервые.

Фрагмент дневников М. Фриша 1946–1947 гг. «При чтении», впервые опубликованных в 1947 г. под названием «Дневник с Марион», позднее вошел в «Дневник 1946–1949», выпущенный во Франкфурте-на-Майне издательство Петера Зуркампа в 1950 г.

Печ. по: Фриш М. Листки из вещевого мешка (Художественная публицистика). М.: Прогресс, 1987, с. 136–138.

А. ЛИНДГРЕН Речь, произнесенная при вручении международной Золотой медали Ханса Кристиана Андерсена; впервые опубликована в журнале «Сколбиблиотекет» (Стокгольм), 1958, № 3, с. 104–106.

Печ. по: Писатели Скандинавии о литературе. М.: Радуга, 1982, с. 370–371.

- 468 ...точь-в-точь как Оскар из моей книги. – Имеется в виду повесть А. Линдгрена «Расмус-бродяга» (1956).

Л. НАДЬ

- Впервые опубликовано в журнале «Нюгат», 1941, № 6.
Перевод выполнен по кн.: Nagy L. Válogatott művei. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973, 1379–1388°.
На русском языке публикуется впервые.

- 474 Ярнефельт, «Жители Коивикко». – Роман А. Ярнефельта «Жители Коивикко» (1925, венгерск. п е р . – 1940), сыгравший важную роль в становлении реалистических тенденций в финской литературе, правдиво изображает социальные условия жизни крестьянства.

Книжка, правда, о Гражданской войне Севера против Юга в США, но зато в ней есть любовь... – Ставший бестселлером единственный роман американской писательницы М. Митчелл «Унесенные ветром» (1936) выдержал в США около 80 изданий, переведен почти на 30 языков (на русский – только в 1982 г.), был очень популярен и в Венгрии (венгерский перевод появился в 1937 г.).

- 476 «Дождь» Моэма – срунда... А вот Релжё Тёрёк, «Трудно ныне выйти замуж» – это то, что надо. – Один из лучших рассказов С. Моэма, отмеченный тонким психологизмом, контрастно сопоставлен здесь с весьма поверхностным юмористическим романом чрезвычайно плодовитого и очень популярного в 30-е гг. венгерского писателя Р. Тёрёка (1895–1966).

Читать Боззай, то есть бульварщину, – ниже его достоинства. – Чисто развлекательные по содержанию, насыщенные эротикой, романы Маргит Боззай (1893–1942) пользовались в Венгрии перед второй мировой войной широкой известностью; особый успех снискали вышедшие в 1941 г. романы писательницы «Свидание в Вене» и «Конец урока».

- 477 Этому читателю... не нужно изображение... как у Бела Жолта, он предпочитает «Семь топей» Жиграй. – Известный венгерский публицист и прозаик Бела Жолт (1895–1949), радикальный либерал по убеждениям, выступал с резкой критикой антинародной и антисемитской политики фашистского режима Хорти, за что был унган в штрафную роту и затем брошен в концлагерь. Реалистические романы Жолта, достоверно изображающие нравы еврейской обывательской среды, из которой вышел сам писатель, пронизаны трагическим мироощущением и беспощадным сарказмом. Романы и рассказы Юлианны Жиграй (р. 1908) посвящены жизни представителей привилегированных сословий; ее персонажи – выходцы из низших слоев общества – добиваются успеха и благосостояния в результате счастливого стечения обстоятельств, нередко благодаря удачной женитьбе, ведущей «наверх».

Д. КОСТОЛАНИ

- Впервые опубликовано в журнале «Литература», 1929, № 6.
Перевод выполнен по изданию: Kosztolányi Dezső. Nyelv és lélek. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1971, 377–380.0.
На русском языке публикуется впервые.

- 479 *Ведь уже в древнем Вавилоне... существовали книги, записанные на глиняных табличках... в Ниневии... были библиотеки.* – Шумеро-вавилонскую культуру ученые справедливо называют цивилизацией письменности, поскольку количество сохранившихся письменных памятников (сотни тысяч глиняных табличек) – это в основном хозяйственные, административные и юридические до-

...Лехоня, Тувима, Слонимского, Святопелка Карпинского и Януша Мицкевича. – Перечисленные поэты, наряду с Ивашкевичем, входили в группу «Скамандр» (существовала с 1918 г. до конца 30-х гг.). Одноименный журнал издавался в Варшаве в 1920–1928 и 1935–1939 гг.

492 *...из библиотеки моего отца...* – Отец писателя Болеслав Ивашкевич за участие в национально-освободительном восстании 1863 г. был исключен из Киевского университета без права завершения образования. Работал домашним учителем, затем бухгалтером на сахарном заводе в деревне Кальнике на Украине, где и родился Я. Ивашкевич.

493 *...для изучения отдаленной тохи Генриха Сандомирского...* – Генрих Сандомирский – герой исторического романа Я. Ивашкевича «Красные щиты» (1934).

494 *«Бабилская республика»* – Сборник сатирических стихотворений (1920) Я. Лехоня назван по имени литературного кружка, собиравшегося в Бабине под Люблином в 1600–1670 гг. Его участники пародировали государственное устройство Речи Посполитой – и в частности моральное и интеллектуальное несоответствие официальных лиц занимаемым постам.

...сделать из Лехоня четвертого поэта-пророка... – Поэтами-пророками в Польше называют Адама Мицкевича, Юлиуша Словацкого и Зыгмунта Красиньского (1812–1859).

...о какой колыбельной идет здесь речь – неизвестно... – Имеется в виду, очевидно, стихотворение Ивашкевича «Колыбельная» из одноименного цикла, вошедшего в сборник «Книга дня и книга ночи» (1929).

«Пани Падеревская» – Стихотворение Лехоня представляло собой шаржированный портрет жены Игнация Падеревского – известного пианиста и композитора, который в январе–ноябре 1919 г. занимал пост премьер-министра и министра иностранных дел Польши.

«Захента» – товарищество поощрения изящных искусств; ныне здание варшавского выставочного зала.

495 *...познакомиться с только что изданными нотами группы «Шести»...* – Название «Шестерка» («Les Six») получила в 1920 г. группа французских композиторов-новаторов (Л. Дюрей, Д. Мийо, А. Онеггер, Ж. Орик, Ф. Пуленк и Ж. Тайфер) – по аналогии с русской «пятеркой», как называли во Франции «Могучую кучку».

496 *Дневники «пана Стефана»* – Имеются в виду юношеские дневники Стефана Жеромского, изданные в Варшаве в 1953–1956 гг.

499 *...в «дивном новом мире»...* – Цитата из драмы Шекспира «Буря» (1612), акт V, сц. I (слова Миранды), взятая О. Хаксли в качестве названия для своего романа.

К. ЧАПЕК Печ. по: Чапек К. Собр. соч.: В 7-ми т. М.: Худож. лит-ра, 1977, т. 6, с. 449–452; 453–456; 456–459.

501 *...судьбу Гортозаводчика или Человека, который смеется...* – Ироническое сопоставление героев популярного в мещанской сре-

кументы – превышает дошедшие до нас памятники вещественные. Письменность была изобретена в Двуречье в конце IV – начале III тыс. до н.э. Первые литературные тексты на шумерском языке (известно более 150) относятся к началу III тыс. до н.э., основные литературные памятники на аккадском языке созданы в конце II тыс. до н.э. Значительная часть вавилонских текстов дошла до нас через библиотеку ассирийского царя Ашшурбанапала (VII в. до н.э.) в Ниневии, по преимуществу во фрагментарном виде: во время пожара во дворце полки с глиняными табличками (их насчитывалось до 22 000) рухнули с большой высоты, и плитки разбились на мелкие кусочки.

- 482 *Были книги длиной до двадцати метров.* – Самый длинный из дошедших до нас папирусных свитков (т. н. «папирус Гарриса» – по имени первого владельца) был найден в 1855 г. при раскопках Фив в Египте. Датруется он 1200 г. до н.э., размеры его составляют 42,5 x 405 см. По некоторым сведениям, свиток с записью «Илиады» Гомера имел длину ок. 150 м.

Д. ФЕКЕТЕ Впервые опубликовано в сборнике «Sarkcsillag». Budapest, «Magvető», 1983, 201–204.0.

Перевод выполнен по этому изданию; на русском языке публикуется впервые.

- 483 *...Маклюэн благополучно схоронил галактику Гутенберга...* – Согласно теории канадского социолога Маршалла Маклюэна, изложенной им в книгах «Гутенбергова галактика» (1962), «Механическая невеста» (1961) и др., смена исторических эпох определяется развитием средств коммуникации. Появление в наше время качественно новых средств информации и связи, являющихся «технологическим продолжением» органов человеческих чувств, в корне меняет, по Маклюэну, не только восприятие мира, но и общественную организацию. Если в эпоху «племенного человека» главенствовал слух и преобладающее влияние имела устная речь, а господство изобретенного в XV в. И. Гутенбергом печатного станка в «эпоху типографского и индустриального человека» привело к торжеству визуально-одностороннего восприятия, то нынешняя «электронная» (или «электрическая») эпоха упраздняет пространство и время и обеспечивает сознанию целостную вовлеченность в общепланетарную жизнь человечества.

Я. ИВАШКЕВИЧ Впервые эссе Я. Ивашкевича «Разговор о книгах и читателях» вышло отдельным изданием в Варшаве в 1959 г.

Печ. по: Ивашкевич Я. Собр. соч. в 8-ми т. Т. VIII. М.: Худож. лит.-ра, 1980, с. 145–161.

- 487 *...те загадочные «кикимобили», появление которых предсказывала в своих стихах Мария Павликовская...* – Неологизм «кикимобили» встречается в стихотворении М. Павликовской-Ясножевской «Бабушка» из сборника «Веер» (1927).

- 490 *«Мыши короля Попеля»* – Легенда о гнезненском короле Попеле повествует о том, как он был изгнан народом и съеден мышами.

«Трилогия» – Имеется в виду центральное произведение Генрика Сенкевича – историческая трилогия, состоящая из романов «Огнем и мечом» (1883–1884), «Потоп» (1884–1886) и «Пан Володыёвский» (1887–1888), выдержанная в духе патриотического прославления вооруженной борьбы польского рыцарства с чужеземным нашествием.

де романа Жоржа Онэ «Горнозаводчик» (1882) из серии «Битвы жизни», в котором описывается счастливый брак между высокомерной аристократкой и владельцем металлургического завода, и романтически-трагедийного романа В. Гюго «Человек, который смеется» (1869).

- 503 *Животенский банк* (Ремесленный банк) – крупнейший чешский банк, основанный в 1868 г.

Я... поступил в одну библиотеку. – В октябре 1917 г. Чапек исполнял обязанности практиканта (без жалованья) в библиотеке Чешского Королевского музея.

...как ангелы в свидении Иакова... – Библейский патриарх Иаков «увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба: и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней» (Бытие, 28:12).

...как предсказал мне г-н Гётц... – Чешский литературный и театральный критик Франтишек Гётц (1894–1974) неоднократно выступал с рецензиями на произведения братьев Чапек.

- 505 *...то ли приняться за роман Кервуда...* – Перу американского писателя Дж. О. Кервуда (1879–1927) принадлежит множество бестселлеров – приключенческих романов и рассказов о животных. Творчество Кервуда, близкое по тематике творчеству Джека Лондона, пользовалось в странах Европы огромной популярностью: в русском переводе только в 1925–1927 гг. вышло сорок два издания его романов, действие которых происходит преимущественно в Канаде.

Л. НОВОМЕСКИЙ Впервые опубликовано в журнале «Творба» (Прага, 1941, № 8).

Печ. по: Новомеский Л. Время и безвремяе (Художественная публицистика). М.: Прогресс, 1985, с. 176–179.

- 507 *...есть многое на свете между небом и землей, что и не снилось нашей мудрости...* – Перифраз слов Гамлета:

И в небе и в земле сокрыто больше,
Чем снится нашей мудрости, Гораций

(Шекспир. Гамлет, принц Датский,
акт II, сц. 5
пер. М. Лозинского).

- 508 *...говорит об этом одна из нас от лица Готье...* – Речь идет о написанном Т. Готье биографическом очерке жизни и творчества Шарля Бодлера, предпосланном в качестве предисловия посмертному полному собранию сочинений Бодлера в 7-ми томах (Париж, 1868–1870).

С Х КАРАСЛАВОВ Впервые издано буклетом – София, 1984. Печатается по этому изданию.

- 510 *Благодаря маленькой «историйке», составленной афонским монахом Паисием...* – Имеется в виду единственный труд Паисия Хилендарского «История славеноболгарская» (оконч. в 1762, переработанная редакция опубл. в Будапеште в 1844), сыгравшая значительную

роль в формировании национального болгарского самосознания и распространении национально-освободительных идей.

Книга Софрония Врачанского – Речь идет о главном произведении Софрония Врачанского – автобиографии «Житие и страдания грешного Софрония» (1805, опублик. в 1861), изображающей тяжкие страдания болгарского народа под турецким игом.

Буятарь по имени Раковский... написал поэму о Лесном путнике. – Имеется в виду поэма Г. Раковского «Лесной путник» (1857) – первая революционная поэма в болгарской литературе, воспевающая борьбу поработенного народа против турецких завоевателей.

Слово, прозвучавшее в двадцати одном стихотворении... – Поэтическое наследие Христо Ботева состоит из немногим более 20 стихотворений, разнообразных в идейном и жанровом отношении и оказавших большое влияние на развитие болгарской поэзии в целом.

И. АНДРИЧ Фрагмент «Заметок для писателя», впервые опубликованных в журнале «Младост» (Белград), 1947, № 7–8.

Печ. по: Человек читающий. М.: Прогресс, 1983, с. 365–367.

Эссе «Библиотека» впервые опубликовано в газете «Книжне новине» (Белград), 1954, 14 января.

Печ. по: Андрич И. ...Человеку и человечеству. М.: Радуга, 1985, с. 168–169.

Э. КОШ Перевод выполнен по изданию: Эрих Кош. Зашто да не? Чланци и памфлета. Београд: Полит, 1971, с. 82–95.

Впервые опубликовано в газете «Книжне новине» (Белград), 1962, 29 июня и 13 июля.

Печ. по кн.: Действительность: Искусство. Традиции. Литературно-художественная критика в СФРЮ. М.: Прогресс, 1980,

518 *...Томас Гриффитс Уэйлрайт... был к тому же и... одним из самых искусных отравителей всех времен.* – Человек многосторонних дарований, Т. Г. Уэйлрайт (1794–1852) – эстетствующий аристократ, искал себя в различных областях искусства, редко поднимаясь, впрочем, выше дилетантского уровня. Ряд преступлений, раскрытых далеко не сразу, он совершил, преследуя имущественные интересы. Отравление мышьяком своей близкой родственницы Элен Аберкромби он оправдывал на суде тем, что у нее были якобы слишком толстые лодыжки. Помимо эссе Уайльда, Уэйлрайт описан также в произведениях Ч. Диккенса («Загнанный») и Э. Бульвер-Литтона («Лукреция»).

Позднее и самому Уайльду представился случай... на специальном двухгодичном курсе в известной Рэдингской тюрьме – Уайльд возбудил в 1895 г. дело против маркиза Куинсбери, отца своего близкого друга лорда Альфреда Дугласа (1870–1945), по обвинению в оскорблении личности; Куинсбери предъявил встречный иск, и судебный процесс закончился поражением Уайльда. В расцвете блестящей писательской карьеры Уайльд был по обвинению в безнравственности осужден на два года каторжных работ; по выходе из Рэдингской тюрьмы провел остаток жизни в Париже.

520 *Халиф Омар слезг Александрийскую библиотеку...* – Александрийская библиотека являлась крупнейшим в древности собранием рукописных книг (от 100 000 до 700 000 томов-свитков), сре-

доточием античной научной мысли. Существовала при знаменитом Мусейоне (Музее) в Александрии, созданном родоначальником династии египетских царей Птолемеем I Сотером (Спасителем) в начале III в. до н.э. Признанный основатель библиотеки – Птолемей II Филадельф (286–247 до н.э.), покровительствовал науки и искусствам. Задавшись целью собрать все книги, написанные на греческом языке, и выработать канонический текст путем сверки многочисленных разночтений, а также перевести на греческий произведения восточных литератур, Птолемей привлек к работе над рукописями, требовавшей кропотливых филологических изысканий, виднейших ученых-писателей того времени. Сохранились остатки составленного хранителем библиотеки, известным поэтом Каллимахом (310–240 до н.э.) – «отцом библиографии» – каталога «Таблицы тех, кто прославился во всех областях знания», в 120 книгах. Пожар 47 до н.э. нанес библиотеке тяжелый ущерб, частично восполненный тем, что Антоний преподнес в дар Клеопатре Пергамскую библиотеку. После превращения Египта в римскую провинцию значение библиотеки стало неуклонно падать, а гибель античного мира привела к ее постепенному уничтожению. В 273 г. библиотека сильно пострадала при подавлении народного восстания, значительная ее часть была уничтожена при разгроме толпой христиан-фанатиков храма Сераписа в 391 г. В VII–VIII вв. нашествие арабов положило конец самому существованию библиотеки. Согласно рассказу сирийского писателя и ученого Абу-ль-Фараджа (1226–1286), не подтвержденному историческими свидетельствами, ее судьбу решили слова халифа Омара: «Если все захваченные в городе книги заключают в себе те же доктрины, которые изложены в Коране, то они излишни. Если же они содержат доктрины, не согласные с Кораном, то они вредны и подлежат огню».

Процессы над «Госпожой Бовари» или «Улиссом»... – 29 января 1857 г. Г. Флобер, Лоран Пиша – редактор журнала «Ревю де Пари», в котором публиковался роман «Госпожа Бовари», и типограф Пилле предстали перед судом по обвинению в «оскорблении общественной морали, религии и добрых нравов». Защитником выступил руанский адвокат и политический деятель Антуан-Мари-Жюль Сенар, который, по словам Флобера, «все время подчеркивал мой талант и называл мою книгу шедевром, прочитав почти треть ее». Спустя неделю суд вынес оправдательный приговор, однако искусство Флобера подверглось в нем суровому порицанию.

Роман Джойса «Улисс» был издан в Париже в 1922 г. влиятельной меценаткой Сильвией Бич ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Книга, сразу получившая мировую известность, тем не менее была запрещена в Англии и США как «порнографическая» и впервые вышла в этих странах без купюр только в начале 60-х гг.

...когда один из соперников столь силен и опасен, каким был Джонатан Свифт... – Поводом для написания Дж. Свифтом памфлета «Полное и правдивое известие о разразившейся в прошлую пятницу битве древних и новых книг в Сент-Джеймской библиотеке» (июнь 1697 – март 1698, опубликовано в 1704) послужила ошибка сэра У. Темпла (Свифт состоял у него на службе секретарем), принявшего подделку за подлинный античный текст. В развернувшейся после появления «Опыта о поэзии» У. Темпла полемике о сравнительных достоинствах древних и новых произведений Свифт решительно отстаивал приоритет классиков. Противником У. Темпла в сатире

Свифта выведен английский филолог и богослов, знаток античности Ричард Бенгли (1662–1742), занимавший в то время должность королевского библиотекаря. Образ паука, берущего материал для постройки тенет из собственных внутренностей, противопоставлен образу пчелы, собирающей нектар с садовых и полевых цветов, и представляет собой в «Битве книг» аллегория современных авторов.

522 *...как те горемыки у Андрича...* – Имеется в виду исторический роман Иво Андрича «Травницкая хроника» (1945).

523 *Комтрачкосы* – в странах Западной Европы VIII–XVII вв. – преступные сообщества, занимавшиеся похищением и куплей-продажей детей, которых уродовали физически и перепродавали в корыстных целях.

524 *...в известной сатире Хикмета...* – Речь идет о сатирической пьесе Назыма Хикмета «А был ли Иван Иванович?» (1956).

525 *Саве аб хомине униус libri!* – Выражение «человек одной книги» восходит к трактату римского ритора Квинтилиана (ок. 35 – ок. 96) «Об образовании оратора».

526 *...на картине Жерико...* – Имеется в виду картина французского художника-романтика Теодора Жерико (1791–1824) «Плот Медузы» (1819).

Вукадины Стевана Сремаца... – Герой сатирического романа сербского писателя Стевана Сремаца «Вукадин» (1896–1897, русск. пер. 1961) – мелкий чиновник, беспринципный выскочка, стремящийся любыми средствами сделать себе карьеру, олицетворение духовного и морального ничтожества.

НАЗЫМ ХИКМЕТ

Одна из 200 прозаических миниатюр, написанных Назымом Хикметом в 1935–1936 г. для газеты «Актам» (публиковались под псевдонимом Орхан Селим). Позднее объединены в сборнике «Собака лает – караван идет», изданном в Стамбуле в 1965 г.

Печ. по: Назым Хикмет. Собака лает – караван идет (Миниатюры). М.: Наука, 1979, с. 74–75.

Р. ТАГОР

Рассказ «Первый номер» впервые был опубликован в журнале «Шобудж потро» в июне–июле 1917 г.

Печ. по: Тагор Р. Собр. соч.: В 12-ти т. М.: Худож. лит-ра, 1965, т. 10, с. 283–298.

530 *Подобно неподвижной Земле в птолемеевском мироздании, они будто навсегда пригвождены...* – Древнегреческий астроном Клавдий Птолемей, создатель т. н. геоцентрической системы мира, разработал математическую теорию движения небесных светил вокруг неподвижной Земли.

...суждено почитательно, как во время религиозной церемонии, двигаться по замкнутому кругу знаний. – В Индии во время религиозного праздника колесницу с изваянием бога провозят по улицам, расположенным вокруг храма.

Колесница их мысли, с трудом одолев Милля и Бентама, дотащилась до Карлейля и Рёскина и застряла в пути. – В ходе развития европейской философской мысли теория утилитаризма, выдвинутая И. Бента-

мом и развитая его последователем Дж. С. Миллем, подвергалась критике с позиций романтического спиритуализма (Т. Карлейль) и идеализирующего средневековое прошлое эстетизма (Дж. Рёскин).

- 531 *Я не стал рулевым в лодке, на борту которой начертаны имена Ибсена и Метерлинка.* – Имеется в виду широкое преобразование театра на рубеже XIX–XX вв., опиравшееся на новаторские тенденции в драматургии двух виднейших реформаторов сценического искусства того времени.

...три звука вины Сарасвати. – Сарасвати – в индуистской мифологии священная река и ее богиня (возможно, сакральное название Инда), покровительница науки и искусств, богиня священной речи, создавшая санскрит. Ее атрибуты – вина, индийский шипковый инструмент (подобие лютни), и книга.

- 532 *Шива* – в индуистской мифологии один из верховных богов, входящий вместе с Брахмой и Вишну в т. н. «божественную триаду».

Дурга – имя супруги Шивы в одной из ее грозных ипостасей.

Евгеника – теория о наследственном здоровье человека и способах его улучшения; впервые выдвинута Ф. Гальтоном в 1869 г.

- 533 *...змея Васуки из пуран...* – В древнеиндийской мифологии Васуки – тысячеголовый космический змей, царь нагов (змеечеловеков), иногда отождествляемый с Шешей, Такшакой; поддерживает землю и служит высшему божеству – Вишну. Пураны (*букв.* «древние сказания») – религиозно-космогонические поэмы нач. I – сер. II тыс. до н. э.

- 534 *Карна* – герой древнеиндийского эпоса «Махабхарата», сын бога солнца Сурьи. По преданию, родился с панцирем на теле и волшебными серьгами, придававшими ему неуязвимость.

Индра – верховное божество пантеона индуистской мифологии, бог грома и молнии, олицетворяющий воинскую доблесть.

Бабу – господин, употребляется также как почтительная приставка к имени.

- 535 *Равана* («ревуший») – в индуистской мифологии предводитель ракшасов (злых демонов), наделенный чертами дракона («Рамаяна»).

Пайса – разменная монета в Индии, одна сотая рупии.

Веданта – *букв.* «конец вед», от слова «Веды» (*санскр. букв.* «знание») – древняя философская система (одна из шести), изложенная в религиозно-философских трактатах – упанишадах и араньяках.

- 536 *Амрита* – в индийской мифологии божественный напиток бессмертия – нектар, подобие греческой амброзии, добываемый посредством пахтанья океана.

Эрадж – индийский музыкальный инструмент.

- 538 *...критические замечания Рассела на учение Берсона...* –

Р. К. НАРАЙАН По-видимому, речь идет о статье Бертрана Рассела «Бергсон», опубликованной в журнале «Монист» в 1912 г. (позднее вошла в монографию Б. Рассела «История западной философии», 1945, сокращ. русск. пер. 1957). Рассматривая философию Бергсона как вариант субъективного идеализма, Рассел подверг особенно резкой критике теорию «образов» Бергсона, изложенную им в книге «Материя и память», порицая автора за смешение акта познания с познаваемым объектом.

Чадор – повязка, шарф.

Два эссе из сборника Р. К. Нарайана «В следующее воскресенье» (1960).

Печ. по: Нарайан Р. К. Избранное. М.: Прогресс, 1981, с. 300–302; 321–323 (Мастера художественной прозы).

544 *...покойный Эдгар Уоллес писал две книги в неделю...* – Перу Э. Уоллеса (1875–1932) – одного из видных представителей детективного и приключенческого жанра в английской литературе, принадлежит более 150 романов, около 300 рассказов, целый ряд пьес и киносценариев.

ЛУ СИНЬ Эссе «Закуска на ходу» вошло в сборник писателя «В узорчатой кайме» (1933); эссе «Торговлей утвержденные» мастера литературы вошло в сборник Лу Синя «О погоде болтать разрешается» (1934).

Печ. по: Лу Синь. Собр. соч.: В 4-х т. М.: Гослитиздат, 1955, т. 2, с. 229–230; 262–263.

551 *Давно уже нет писателей, которые прятали в знаменитой горе произведения всей жизни...* – В «Ответе Жэнь Шао цину» древнекитайский историк Сыма Цянь (ок. 145 или 135 – ок. 86 до н.э.) упоминает о том, что, закончив книгу, «сохранил ее в горе известной нашей» («Китайская классическая проза в переводах академика В. М. Алексеева». М.: Изд-во АН СССР, 1959, с. 96). Неизвестно, какая гора имеется здесь в виду: по предположению французского синолог Шаванна, подразумевается один из дворцовых архивов. Ср. также эссе китайского писателя Су Ши (1036–1101) «О том, как хранятся книги в горном скиту ученого Ли» (в кн.: Зеркало мира. М.: Книга, 1984, с. 18–20).

Любопытна в этой связи история, связанная с сенсационным открытием в 1900 г. одной из древнейших в мире библиотек в окрестностях города Дуньхуан (провинция Ганьсу на северо-западе Китая), где в 353–366 гг. буддийские монахи основали подземный монастырь, вырубив в скале около 480 пещер. Случайно было обнаружено замурованное еще в XI в. хранилище старинных рукописей (ок. 20 000) различного содержания и на многих языках, а также первопечатные книги – в частности, «Цзинь ган дзин» – буддийская сутра, переведенная на китайский язык, отпечатанная 11 мая 868 г. мастером Ван Цзе. Долгое время эта т. н. «Алмазная Сутра» (индийское религиозное сочинение) считалась древнейшим памятником ксилографической печати (ср. коммент. к с. 188), однако в октябре 1966 г. в Японии была найдена полоска бумаги размером 6 х 46 см, на которой между 764 и 770 гг. было отпечатано культовое заклинание.

**АКУТАГАВА
РЮНОСКЭ** Эссе «Будущая жизнь» входит в заметки «Тёкодо», впервые опубликованные в периодической печати в 1924–1926 гг.

Эссе «Читатели прозы» впервые опубликовано в марте 1927 г. Печ. по: Зеркало мира. М.: Книга, 1984, с. 159–160; 161.

555 *...прятать свои произведения на горе я не стану...* – См. коммент. к с. 551.

Кагда – один из районов Токио, где расположены книжные магазины.

А. АР-РЕЙХАНИ

Фрагмент из цикла коротких эссе, созданного в 1910 г.; вошел впоследствии в первый том собрания этико-философских произведений автора – «ар-Рейханийат» (1922–1923, т. 1–4)

Печ. по: Зеркало мира. М.: Книга, 1984, с. 40–41.

558 *Грек Клеомброт бросился в море... о бессмертии души.* – Имеется в виду диалог Платона о бессмертии души – «Федон» (80–70-е гг. IV в. до н. э.). В числе учеников Сократа, отсутствовавших у смертного одра философа, упоминается и некий Клеомброт из Амбракии (59с). Согласно легенде, по прочтении «Федона» Клеомброт бросился в море, дабы немедленно удостовериться в справедливости изложенного в диалоге учения. Ср. эпиграмму греческого поэта Каллимаха (ок. 310–ок. 240 до н.э.) в переводе Л. Блуменау:

Солнцу сказавши «прости», Клеомброт-амбракиец внезапно
Кинулся вниз со стены прямо в Аид. Он не знал
Горя такого, что смерти желать бы его заставляло:
Только Платона прочел он диалог о душе

(Палатинская Антология, VII, 471).

А. М. АЛЬ-АККАД

Эссе написано в 1914 г.; отдельные главы печатались в египетской периодике. Позднее вошло в книгу аль-Аккада «Главы» («Аль-Фусуль. Сборник литературных и общественно-политических статей, отрывки и заметки»), опубликованную в Каире в 1922 г.

Печ. по: Зеркало мира. М.: Книга, 1984, с. 45–46.

С. ЛИКОК

Рассказ вошел в сборник новелл С. Б. Ликока «Лунные лучики от большого лунатизма», выпущенного издательством «Джон Лейн» в 1916 г. (Лондон – Нью-Йорк).

Печ. по: Ликок С. Юмористические рассказы. М.–Л.: Гослитиздат, 1962, с. 456–466.

...мовый перевод книги Эпиктета «Нравственные рассуждения»... – Философские проповеди Эпиктета, излагавшего свои взгляды, подобно Сократу, в беседах и уличных спорах, сохранились в записи его ученика Флавия Аррнана.

Ш. АНДЕРСОН

Отрывки из книги Ш. Андерсона «История рассказчика», впервые опубликованной в Нью-Йорке издательством «Джонатан Кэйп» в 1924 г.

Печ. по: Андерсон Ш. История рассказчика (Повесть американского писателя о его странствиях в мире его собственной фантазии и в мире фактов, иллюстрированная многочисленными эпизодами и замечаниями о других писателях и рассказанная во многих записях, в четырех книгах и эпилоге). М.: Гослитиздат, 1935, с. 105; 107–108; 153–156; 157–161.

571 *...до появления великого Павла, пришедшего на выручку христианству...* – Гонитель первых христиан Павел (до своего чудесного обращения на пути в Дамаск, куда он направлялся искоренять христианство, именовавшийся Савлом) не входил в число двенадцати апостолов – учеников Иисуса Христа, однако почитается как величайший проповедник-миссионер и автор 14 посланий, включенных в Новый завет.

У. ФОЛКНЕР Впервые опубликовано как предисловие к книге «The Faulkner Reader, вышедшей в издательстве «Рэндом Хаус» (Нью-Йорк) в 1954 г. (датировано: Нью-Йорк, ноябрь 1953 г.). В статье развиты некоторые мысли, высказанные в Нобелевской речи (1950) писателя.

Печ. по: Фолкнер У. Статьи, речи, интервью, письма. М.: Радуга, 1985, с. 49–51.

578 *...называвшие потом своих детей... Клариссами, Сент-Эльмами и Лотарио...* – Кларисса – героиня романа английского писателя Сэмюэла Ричардсона «Кларисса, или История юной леди» (1747–1748). Сент-Эльмо – герой популярного сентиментального романа «Сент-Эльмо» (1867) американской писательницы-моралистки Огасты Джейн Иванс (1835–1909). Лотарио – герой одноименного романа (1870) английского писателя Бенджамина Дизраэли (1804–1881).

...одни роман Сенкевича... – Имеется в виду исторический роман Г. Сенкевича «Пан Володыёвский» (1887–1888) о борьбе с турецким нашествием 1672–1673 гг., заключающий знаменитую «Трилогию». Английский перевод романа вышел в 1893 г. Под названием «Пан Майкл» и неоднократно переиздавался. Цитированные Фолкнером слова завершают роман: «На том кончается наша трилогия; создавалась она не один год и в трудах немалых – для укрепления сердец» (Сенкевич Г. Собр. соч.: В 9-ти т. М.: Худож. лит-ра, 1984, т. 5, с. 412, пер. С. Тонконоговой).

В 1923 году я написал книгу... – Первая книга Фолкнера «Мраморный фавн» (сборник, состоявший из 19 пасторальных стихотворений) вышла в свет 15 декабря 1924 г. и была переиздана только после смерти автора в 1965 г.

Э. ХЕМИНГУЭЙ Впервые опубликовано в журнале «Эсквайр», 1935, октябрь.
Печ. по: Хемингуэй Э. Собр. соч. в 4-х т. Т. I. М.: Худож. лит-ра, 1968, с. 469–477.

ДЖ. ЧИВЕР Впервые опубликовано в журнале «Ю. С. нью энд уорлд рипорт», 1979, 21 мая.

Печ. по: Писатели США о литературе. М.: Прогресс, 1982, т. 2, с. 399–400.

А. АЗИМОВ Печ. по: Лучезарный Феникс. М.: Книга, 1979, с. 83–86.

Х. Л. БОРХЕС Эссе «Книга» впервые опубликовано в кн.: Borges, oral. Emé Editores / Ediforrial de Belgrano. Buenos Aires, 1979, pp. 13–24. Перевод выполнен по этому изданию. На русском языке публикуется впервые.

Эссе «Поэзия» впервые опубликовано в кн.: Borges G. L. Siete Noches. Mexico: Fondo de Cultura Economica, 1980, pp. 101–121. Перевод выполнен по этому изданию. На русском языке публикуется впервые.

593 *...Александрйская библиотека стала памятью человечества.* – Во II действии «исторической пьесы Б. Шоу «Цезарь и Клеопатра»

- (1898) Цезарь, невозмутимо парируя отчаянный возглас ученого Теодота: «Но ведь это горит память человечества!» отказывается «пощадить несколько... овечьих кож, испаранных знаками заблуждений!» (Шоу Б. Полн. собр. пьес: В 6-ти т. Л.: Искусство, 1979, т. 2, с. 167, пер. М. Богословской и С. Боброва).
- 597 *Среди его великолетных посланий к Луциллию...* – В письме II Сенеки к Луциллию говорится: «Во множестве книги лишь рассеивают нас. Поэтому, если не можешь прочесть все, что имеешь, имей столько, сколько прочтешь, – и довольно» (Сенека Луций Анней. Нравственные письма к Луциллию. М.: Наука, 1977, с. 6, пер. С. Ошеров – «Лит. памятники»).
- 598 *Тора, или Пятикнижие* – первые пять книг Ветхого Завета, составляющие его основную часть: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие (IX–VII вв. до н.э.).
- 599 *Мы в Аргентине могли бы выбрать «Факундо» Сармиенто, это наша книга – но нет... мы выбрали «Мартина Фьерро»...* – «Факундо» (1850) – художественно-философское, социологическое эссе, воссоздающее жизнь обитателей аргентинской пампы и личность одного из правителей страны – Факундо Кироги. Эпическая поэма Хосе Эриандеса «Мартин Фьерро» (1872–1879, ч. 1–2) считается вершиной литературы Аргентины XIX в. Ее герой – вольный пастух-гаучо – стал своеобразным национальным мифом, олицетворением народного духа. Борхес посвятил поэме книгу (1953) и ряд эссе, а также написал о гибели Мартина Фьерро несколько рассказов и стихотворений.
- 600 *Прежде всего сошлось на Монтеня, посвятившего книге одно из своих эссе.* – Имеется в виду глава X «О книгах» книги второй «Опытов» Монтеня.
- 605 *Это подводит нас к платоновскому определению поэзии...* – Вопрос об искусстве и его воспитательном воздействии на общество наиболее подробно рассмотрен Платоном в философском диалоге «Государство» (книга десятая).

И прежде всего это были энциклопедии: от Плиния, Брокгауза, Исидора Севильского и Дидро до одиннадцатого издания «Британики». – Здесь перечислен ряд фундаментальных трудов энциклопедического характера различных времен и народов, сыгравших значительную роль в систематизации достижений человеческой мысли. Римский ученый Плиний Старший (23 или 24–79), погибший при извержении Везувия, – автор «Естественной истории в 37 книгах» (завершена в 77 г.), пространной энциклопедической компиляции сведений о природе, служившей в средневековье важнейшим источником естественнонаучных знаний. «Брокгауз» – наименование немецкой универсальной энциклопедии, впервые выпущенной издательской фирмой Ф. А. Брокгауза в 1808 г.; в прошлом веке она выдержала четырнадцать изданий; ее 15-е издание в 21 томе вышло в Лейпциге (1928–1937), а 16-е издание в 12 томах – в Висбадене (ФРГ) в 1953–1958 гг. Испанскому церковному деятелю и энциклопедисту Исидору Севильскому (ок. 560–636) принадлежит заслуга создания огромной толковой энциклопедии «Этимологии, или Начала» (завершена в 623), которая представляет собой систематический свод средневековой науки о природе и человеке, охватывающий всю сумму знаний эпохи. Дени Дидро (совместно

с Ж. Л. Д'Аламбером) возглавил издание знаменитой «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, художеств и ремесел...» – впечатляющего памятника передовой мысли эпохи Просвещения; вышла в Париже в 28 томах между 1751 и 1772 гг. с прибавлением дополнительных 4 томов (Амстердам, 1776–1777) и указателя в 2 томах (Париж, 1780). «Британника» («Британская Энциклопедия») – прославленная универсальная энциклопедия, пользующаяся во всем мире заслуженным авторитетом. Основана в 1768 г. в Эдинбурге (вышла в 3 томах в 1768–1771 гг.), издавалась в Лондоне, с начала 1940-х гг. выпускается компанией «Британская энциклопедия» в Чикаго; в подготовке материалов принимает участие ряд ведущих университетов Великобритании, США и Канады. В 1974 г. вышла в 30 томах. Одиннадцатое издание «Британники» было выпущено в 1910 г.

- 606 *Библиотеки – это память человечества.* – Сам Борхес с 1955 по 1973 г. возглавлял Национальную библиотеку Аргентины в Буэнос-Айресе. Статья Дж. Апдайка о Борхесе (1965) называется «Писатель-библиотекарь». Ср. высказывание американского писателя Дж. Барта о Борхесе: «Точка зрения библиотекаря!.. Рассказы Борхеса не только постраничные примечания к воображаемому тексту, но вообще постскрипtum ко всему корпусу литературы!» (Цит. по: Борхес Х. Л. Проза разных лет. М.: Радуга, 1984, с. 13).

X. КОРТАСАР Впервые опубликовано в кн.: Cortázar J. *Historias de cronopios y famas*. Buenos-Aires, Minotauro, 1962.

Перевод выполнен по одноименному изданию 1979 г. На русском языке публикуется впервые.

**Г. ГАРСИА
МАРКЕС** Фрагменты из книги Г. Гарсиа Маркеса «Запах гуайавы», впервые опубликованной издательством «Ла Овеха Негра» (Богота) в 1982 г.

Перевод выполнен по названному изданию: Garcia Marquez, G. *El olor de la guayaba*. Bogota: La Oveja Negra, 1982. На русском языке публикуется впервые.

- 614 *...тебе очень нравилась биография Кордовца... «Шакал», даже «Патийон»...* – Речь идет о бестселлерах конца 1960–1970-х годов. Книга Д. Лапьера и Л. Коллинза «...Или ты будешь носить по мне траур» (1968), имеющая подзаголовок «История Кордовца и новой Испании, которую он олицетворяет», представляет собой беллетризованную биографию знаменитого матадора Мануэля Бенитеса (р. 1935), выходяца из беднейшей крестьянской семьи, после долгих лет упорной борьбы за признание ставшего миллионером и национальным идолом. Роман Фредерика Форсайта «День Шакала», повествующий о подготовке оасовцами летом 1963 г. покушения на генерала де Голля, вышел в Лондоне в издательстве «Викинг-Пресс» в 1971 г. «Патийон» – вернее, «Мотылек» (от франц. «papillon» – бабочка) – уголовная кличка уроженца Венесуэлы Анри Шаррьера (р. 1906), приговоренного к каторжным работам и поведавшего о своем сенсационном побеге в автобиографии, литературную запись которой осуществил Жан-Пьер Кастельно (Париж: Робер Лаффон, 1969). Получил широкую известность и фильм по книге А. Шаррьера «Мотылек», поставленный американским режиссером Франклином Шефнером в 1973 г.

П. НЕРУДА Фрагменты автобиографической книги Пабло Неруды «Признаюсь: я жил», впервые опубликованной аргентинским издательством «Лосада» в Буэнос-Айресе в 1974 г., после смерти автора.

Печ. по: Неруда П. Признаюсь: я жил. Воспоминания. М.: Политиздат, 1978, с. 92–93; 337–338.

А. КАРПЕНТЬЕР

Эссе «Мечтания одинокого любителя чтения» печатается по тексту первой публикации в журнале «Курьер ЮНЕСКО», 1972, № 1, с. 22–24.

Ответное слово А. Карпентьера на чествовании писателя по случаю его 70-летнего юбилея, отмечавшегося 26 декабря 1974 г., впервые было опубликовано в кубинской газете «Гранма» (Гавана, 28 декабря 1974 г.).

Печ. по: Карпентьер А. Мы искали и нашли себя (Художественная публицистика). М.: Прогресс, 1984, с. 153–157.

619 *«Что ты на это скажешь, брат Жан?» – рассмеялся бы Панург... –* Подразумевается эпизод из главы VIII «О том, как Панург утопил в море куща и баранов» четвертой книги (1548) романа Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».

620 *Замечательному швейцарскому юмористу Родольфу Тёпферу принадлежит заслуга создания в прошлом веке... комикса...* – Швейцарский писатель, график и теоретик искусства Родольф Тёпфер (1799–1846), по оригинальности художнического дарования не уступающий таким мастерам, как У. Хогарт, О. Домье, В. Буш, по праву считается одним из основоположников жанра современной карикатуры и иллюстративной графики, «отцом» пользующихся широкой популярностью рисованных комических серий (комиксов). Первая серия путевых альбомов Тёпфера, содержавших рисунки с подписями и , – «Путешествие зигзагами» – получила одобрение Гёте, который дал самую восторженную оценку и последующим работам Тёпфера – в особенности серии комических рисунков о докторе Фаустусе (см.: «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» И. П. Эккермана, записи от 4 января 1831 г. и 5 января 1832 г.). Незадолго до смерти Гёте Тёпфер, писавший на французском языке, послал в Веймар и экземпляр своей прославленной автобиографической новеллы «Библиотека моего дяди» (1832) с собственными иллюстрациями.

621 *...создатель романа об Александре Македонском...* – Речь идет об «Александррии», повести о жизни и подвигах Александра Македонского, созданной во II–III вв. до н. э. на греческом языке и послужившей источником для средневековых поэм и рыцарских романов, многочисленных пересказов и перделок.

Сирано де Бержерак, описавший путешествие на Луну... – Имеется в виду утопия-памфлет Сирано де Бержерака «Иной свет, или Государства и империи луны» (опубл. посмертно, 1656).

625 *...много говорилось о проблеме «дегуманизации искусства», поставленной Ортегой-и-Гассетом...* – Книга Х. Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства и мысли о романе» (1925), вызвавшая оживленную полемику, послужила одним из теоретических обоснований модернистских тенденций в художественном творчестве. По мнению Ортеги-и-Гассета, искусство должно абстрагироваться от повседневности, лишиться «заинтересованности» и обращаться к немногим избранным, наделенным эстетической утонченностью.

626 *...в одной парижской газете...* – Имеется в виду печатный орган Ассоциации революционных писателей и художников Франции «Коммюн» (Париж, 1933–1939).

А. МАРШАЛЛ Отрывок из 33-й главы автобиографической повести А. Маршалла «Я умею прыгать через лужи», впервые опубликованной в Лондоне издательством «Секер энд Варбург» в 1956 г.

Печ. по: Маршалл А. Я умею прыгать через лужи. Легенды. Рассказы. М.: Прогресс, 1977, с. 226–227 (Мастера современной прозы).

629 *Эта писательница, Майлс Франклин, не боится брать барьер, не уклоняется в сторону.* – Майлс Стелла Франклин (1879–1954), одна из виднейших представительниц австралийской реалистической прозы, принимала активное участие в феминистском движении. Идеал раскрепощенной, свободной от предрассудков женщины, смело отстаивающей свои права в борьбе с социальной рутинной, нашел воплощение в образах героинь многих романов писательницы.

АННОТИРОВАННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ

- Августин* Аврелий (*инициумный Блаженный*; 354–430), средневековый христианский теолог и писатель – 186, 352
– «Исповедь» (ок. 400), автобиография – 352, 595
– «О граде Божием» (ок. 426), трактат – 595
- Аддисон* Джозеф (1672–1719), английский поэт, драматург, эссеист, политический деятель – 348
- «*Адольф*» – см. *Констан* Б.
- Айзмов* Айзек (р. 1920), американский писатель-фантаст, ученый, историк литературы, публицист – 589–592
– «Как они весело жили», рассказ – 589–592
- Айтматов* Чингиз Торекулович (р. 1928), советский писатель, публицист, общественный деятель – 161–163
– «Книги, открывавшие нас» (1979), интервью – 161–163
«*Академия*» – см. «*Academia*».
- аль-Аккад* Аббас Махмуд (1889–1964), арабский писатель, публицист, литературовед, общественный деятель (Египет) – 560–562
– «Часы, проведенные среди книг» (1914), эссе – 560–562
- Аксаков* Сергей Тимофеевич (1791–1859), русский писатель – 37
- Акутагава* *Рюноске* (1892–1927), японский писатель – 555–556
– «Будущая жизнь» (Из заметок «Тёкодо», 1926) – 555
– «Читатели прозы» (1927), эссе – 556
- Анданов* (*псевд.*; *наст. фам.* – *Ландау*) Марк Александрович (1889–1957), русский писатель – 42
- Александр Македонский* (356–323 до н. э.) – 597, 621
- Ален* (*псевд.*; *наст. имя* – Эмиль Огюст *Шартье*; 1868–1951), французский литературный критик, философ, публицист, педагог – 212
- Алигер* Маргарита Иосифовна (р. 1915), русская советская поэтесса, переводчица – 168
– «Зоя» (1942), поэма – 168
- Аллен* Вуди (*псевд.*; *наст. имя* – Аллен Стюарт *Кёнигсберг*; р. 1935), американский кинорежиссер, актер – 297
- Аллен* Марсель (1885–1969), французский писатель – 296
– «Фантомас» (1911–1913), серия из 32 детективно-приключенческих романов (в соавторстве с П. *Сувестром*) – 296
- Алонс* (*псевд.*; *наст. имя* – Эрнан Диас *Аррета*; р. 1891), чилийский литературный критик – 615
- Альфред Великий* (ок. 849 – ок. 900), король англосаксонского королевства Уэссекс с 871 г.; автор летописного труда по истории Древней Англии, переводчик латинских авторов – 360
- «*Амадис Галльский*» (опубл. 1508), испанский рыцарский роман – 610, 621
- Андерсен* Ханс Кристиан (1805–1875) – 227
- Андерсон* Шервуд (1876–1941), американский писатель – 570–577
– «Страсть к чтению», отрывок из автобиографической книги «История рассказчика» (1924) – 570–577
- Андреев* Леонид Николаевич (1871–1919), русский писатель, драматург – 39, 51, 133
– «Вор», рассказ – 39
- Андрич* Иво (1892–1975), сербский писатель (Югославия), лауреат Нобелевской премии по литературе (1961) – 514–517, 522
– «Библиотека» (1954), эссе – 516–517
– «Вижу склоненное лицо читателя...», отрывок из книги «Заметки писателя» (1947) – 514–516
- «*Анна Каренина*» – см. *Толстой* Л. Н.
- Ансельм* Кентерберийский (1033–1109), средневековый теолог, представитель схоластики, с 1093 г. – архиепископ Кентерберийский – 598
- «*Антигона*» – см. *Софокл*.
- Антокольский* Павел Григорьевич (1896–1978), русский советский поэт, переводчик – 168
- «*Антоний и Клеопатра*» – см. *Шекспир* У.

- Антонов-Овсеенко* Владимир Александрович (1883–1939), советский государственный и партийный деятель – 154
- Аполлинер* Гийом (*псевд.; наст. имя* – Гийом Альбер Владимир Александр Аполлинерий *Костровицкий*; 1880–1918), французский поэт – 374
- Аптекман* Осип Васильевич (1849–1926), русский революционер-народник, член «Земли и воли», один из основателей «Черного передела» – 154
- Апулей* (ок. 124 – ок. 180), древнеримский писатель – 110
- Арагон* Луи (1897–1982), французский поэт, прозаик, критик, общественный деятель:
– «Орельен» (1944), роман – 249
- Ариосто* Лудовико (1474–1533), итальянский поэт – 198, 621
– «Неистовый Роланд» (1516, 1532), поэма – 621
- Аристотель* (384–322 до н.э.) – 86, 212, 563, 568, 595
- Аристофан* (ок. 445 – ок. 385 до н.э.), древнегреческий драматург, «отец комедии» – 238
- Арю* Антуан (1612–1694), французский богослов-янсенист, противник иезуитов – 187
- Арнольд* Мэтью (1822–1888), английский поэт и критик – 374, 376
- Асеев* Николай Николаевич (1889–1963), русский советский поэт – 73, 168
- Асорин* (*псевд.; наст. имя* – Хосе *Мартинес Русс*; 1874–1967), испанский писатель, литературовед, критик – 326–332
– «Букинистические лавки» (1944), эссе – 330–332
– «Как нужно читать» (1944), эссе – 326–328
– «Мои библиофильские порывы» (1904), эссе – 326
– «Чтение» (1946), эссе – 328–330
- Астафьев* Виктор Петрович (р. 1924), русский советский писатель, публицист – 148–149
– «Чувство звука и слова» (1979), статья – 148–149
- Ауэзов* Мухтар Омарханович (1897–1961), казахский советский писатель – 161
- Ахмадулина* Белла Ахатовна (р. 1937), русская советская поэтесса, переводчица – 171, 174–176
– «Слово, равное поступку» (1976), эссе – 174–176
- Ахматова* (*псевд.; наст. фам.* – *Горенко*) Анна Андреевна (1889–1966), русская советская поэтесса – 73, 170
- А. Е.* – см. *Рассел* Дж.
- Бабель* Исаак Эммануилович (1894–1940), русский советский писатель – 89–91, 157, 158
– «Публичная библиотека» (1916), очерк – 89–91
- Багряцкий* (*псевд.; наст. фам.* – *Дюбин*) Эдуард Георгиевич (1895–1934), русский советский поэт – 167, 169
- Байрон* Джордж Гордон Ноэл (1788–1824) – 55, 363, 492, 578
– «Корсар» (1814), поэма – 363
- Балинский* Станислав (р. 1899), польский поэт, прозаик – 494
- Балластайн* Роберт Майкл (1825–1894), шотландский писатель – 384
– «Коралловый остров» (1858), приключенческий роман – 384
- Бальзак* Оноре де (1799–1850) – 80, 135, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 217, 227, 249, 292, 297, 343, 361, 398, 459, 492, 570, 621, 623
– «Отец Горнио» (1334–1835), роман – 227
– «Провинциальная муза» (1843), роман – 208
– «Сараззин» (1830), новелла – 296
– «Шагреновая кожа» (1830–1831), повесть – 398
- Бальфур* Артур (1848–1930), английский государственный деятель и дипломат, один из лидеров партии консерваторов, в 1902–1905 г. г. – премьер-министр Великобритании – 563
- Батвиль* Теодор де (1823–1891), французский писатель, поэт, теоретик «искусства для искусства» – 55
- Батки* Серафим (ум. ок. 1622), итальянский монах-доминиканец, предупредивший французского короля Генриха IV о готовящемся покушении – 69
- Баткс* Эдуард (1796–1851), синдик вольного ганзейского города Гамбурга – 69
- Батна* Абуль-Аббас-Ахмед-ибн-Могаммед-Отман-ибн-аля (XII в.), арабский математик – 69
– «Талькис-амаль-аль-хисаб», ученый трактат – 69
- Баттыш-Камениский* Дмитрий Николаевич (1788–1850), русский и украинский историк, археограф – 69
- Баньякавалло* (*наст. имя* – *Бафтоламео Раметти*; 1484–1542), ита-

- льянский живописец, ученик Рафаэля – 69
- Барановский* Болеслав (1844–?), польский педагог, писатель – 69
- Барановский* Владимир Степанович (1846–1879), русский изобретатель – 69
- Барановский* Войцех (ок. 1550 – ок. 1620), польский политический и церковный деятель – 69
- Барановский* Игнатий (1833–?), польский врач-клиницист – 69
- Барановский* Мечислав, польский педагог, писатель – 69
- Барановский* Петр-Богуслав (XVII в.), польский маршал, поднявший бунт против коронного гетмана после смерти Яна Собеского – 69
- Барановский* Степан Иванович (1817–1890), русский ученый, педагог, популяризатор науки, изобретатель, общественный деятель – 69
- Барановский* Ян (1800–1879), польский астроном, директор Варшавской обсерватории – 69
- Барановский* Ян Иосиф (1806–1888), польский ученый, инженер, изобретатель – 69
- Баратынский* Евгений Абрамович (1800–1844), русский поэт – 97, 169
- «Наложница» (позднее название – «Цыганка», 1831), поэма – 97
- Барилли* Ренато (р. 1935), итальянский критик и публицист, один из теоретиков «Группы 63» – 297, 299
- Баринг* Морис (1874–1945), английский поэт, прозаик, критик, переводчик русской литературы – 213
- Барлас* Владимир Яковлевич (1920–1982), русский советский литературный критик – 170
- Бароха-и-Несит* Пио (1872–1956), испанский писатель – 623
- Барретт* – см. *Браунинг* Э. Б.
- Барн* Ролан (1915–1980), французский литературовед–структуралист, представитель «новой критики» – 296
- Барток* Бела (1881–1945), венгерский композитор, пианист – 612
- Батищев* Яков, русский изобретатель начала XVIII в. – 88
- Бахофен* Иоган Якоб (1815–1887), немецкий ученый, философ, историк культуры – 397
- «Сага о Танакиле» (1870) – 397
- Бегичев* Дмитрий Никитич (1788–1855), русский писатель, театрал, участник Отечественной войны 1812 года, в 1830–1836 гг. воронежский губернатор – 85, 86
- «Семейство Холмских» (1832), роман – 86
- Бекингам* Джордж Вильерс, герцог (1628–1687), английский литератор – 348
- Белинский* Виссарион Григорьевич (1811–1848) – 94, 95, 96, 100
- Беллами* Эдуард (1850–1898), американский писатель, журналист, общественный деятель – 57
- Бёлль* Генрих (1917–1985), немецкий писатель (ФРГ), публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1972) – 413–416
- «Бессмертная Теодора» (1956), рассказ – 413–416
- Белый* Андрей (*тсевд.; наст. имя и фам.* – Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934), русский поэт, писатель, критик, стиховед, теоретик символизма – 38
- «Серебряный голубь» (1990), роман – 38
- Бельке* Освальд, немецкий авиатехник времен первой мировой войны, погиб вместе с М. Иммельманом в 1916 г. – 578
- Бенгам* Иеремия (1748–1832), английский философ, социолог, юрист, родоначальник философии утилитаризма – 530
- Беньямин* Вальтер (1892–1940), немецкий писатель, литературный критик, социолог, публицист – 393–400
- «Я распечатываю свою библиотеку (Речь собирателя книг)» (1931), эссе – 393–400
- Бергер* Карл (1743–?), чешский католический священник, учитель школы глухонемых – 69
- Бергсон* Анри (1859–1941), французский философ, представитель интуитивизма и «философии жизни», лауреат Нобелевской премии по литературе (1927) – 533, 538
- Берия* Лаврентий Павлович (1899–1953) – 127
- Бернарден де Сен-Пьер* Жак Анри (1737–1814), французский писатель;
- «Поль и Виргиния» (1787), роман – 188
- Бёрнс* Роберт (1759–1796), шотландский поэт – 168
- Берроуз* Эдгар Райс (1875–1950), американский писатель, автор приключенческих романов – 610
- «Тарзан у обезьян», роман – 610
- «*Бертельсманн*», ныне крупный концерн в ФРГ (фирма основана в 1835 г.), включающий в себя 11 специализированных издательств – 160

- Бертини* Франческа, итальянская киноактриса – 621
- Бестужев-Марлинский* (наст. фам. – *Бестужев*, псевд.: – *Марлинский*) Александр Александрович (1797–1837), русский поэт, прозаик, критик, участник декабристского движения – 86
- Бетховен* Людвиг ван (1770–1827) – 262
- Бехер* Иоганнес Роберт (1891–1958), немецкий поэт, прозаик, критик, драматург, общественный и государственный деятель ГДР – 401–403, 405–406
- Германия, печаль моя» (1948), стихотв. – 405–406
- (Чего хотим мы при чтении какой-нибудь книги?), отрывок из сборника литературно-критических работ «Поэтический принцип» (1957) – 401–403
- «Библиотека поэта», серия книг, включающая стихотворные произведения и переводы русских поэтов XVIII–XX вв., крупнейших поэтов народов СССР, памятники устного народного творчества; основана М. Горьким в 1931 г.; выходит в издательстве «Советский писатель» – 97
- «Библиотека шедевров европейской литературы», серия переводных книг; издавалась в Варшаве в 1890-е гг. Ф. С. Левенталем – 492
- Библия* – 293, 457, 505, 570, 595, 598, 599, 601, 602, 613
- Бильрот* Теодор (1829–1894), немецкий хирург – 419
- Бисмарк* Отто фон Шёнхаузен (1815–1898), князь, немецкий государственный и политический деятель, первый рейхсканцлер германской империи (1871–1890) – 188, 451
- Битов* Андрей Георгиевич (р. 1937), русский советский писатель – 177–181
- «Писатель и читатель» (1977), эссе – 177–181
- «Уроки Арменин» (1967–1968), книга путевых очерков – 179
- Бичер-Стоу* Гарриет (1811–1896), американская писательница – 570
- «Хижина дяди Тома» (1852), роман – 501
- Бишоп* Уильям Эверли (1894–1956), канадский военный летчик, участник первой мировой войны – 578
- Блайден* Эдмунд Чарлз (1896–1974), английский поэт, очеркист, литературовед – 376
- Блакки* Луи Огюст (1805–1881), французский коммунист-утопист, революционер – 595
- Блерио* Луи (1872–1936), французский авиаконструктор и летчик, один из пионеров авиации – 479
- Блок* Александр Александрович (1880–1921) – 86, 97, 133, 159
- Блумфильд* Роберт (1767–1823), английский поэт – 377
- Блэчфорд* Роберт, австралийский писатель-романист – 629
- «Невиновен, или В защиту горемыки», роман – 629
- Блюер* Ганс (1888–1955), немецкий писатель, философ – 420
- Блом* Леон (1872–1950), лидер и теоретик Французской социалистической партии, в 1936–1938 гг. глава правительства Народного фронта – 128
- Бобров* Семен Сергеевич (ок. 1763–1810), русский поэт – 85
- Бодлер* Шарль (1821–1867), французский поэт – 25, 54, 87, 227, 228, 497, 621
- «Цветы зла» (1857), сборник стихотворений 198
- «Божественная комедия» – см. *Данте Алигьери*.
- Боззай* Маргит (1893–1942), венгерская писательница и поэтесса – 476
- Боккаччо* Джованни (1313–1375) – 110, 296
- Боливар* Симон (1783–1830), руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке – 628
- Болл* Альберт (1896–1917), английский авиатор времен первой мировой войны, погиб в воздушном бою – 578
- Бонапарт* – см. *Наполеон I Бонапарт*
- Бондарев* Юрий Васильевич (р. 1924), русский советский писатель – 150–153
- «Книга» (1977), эссе – 150–153
- Бородин* Александр Порфирьевич (1833–1887), русский композитор и ученый-химик – 27
- Борромини* Франческо (1599–1667), итальянский архитектор – 194
- Борхес* Хорхе Луис (1899–1986), аргентинский писатель, поэт, критик, историк литературы – 593–606
- «Книга» (1978), лекция – 593–602
- «Память человечества» (1985), эссе – 606
- «Поэзия» (1980), эссе – 602–606
- «Предварительные замечания» (1979), предисловие к курсу лекций – 593
- Ботев* Христо (1849–1876), болгарский революционный деятель, публицист – 510
- Боулз* Марджори (псевд.; наст. имя

- и фам.* — Габриэлла Маргарет *Кампбелл*; 1886–1952), английская писательница, автор множества приключенческих произведений — 387–388
- «Миланская гадюка» 1906, роман — 387–388
- Брагин* Сергей Георгиевич, директор дома-музея А. П. Чехова в Ялте в 1950–1960-е гг. — 143–144
- Брамс* Иоганнес (1833–1897), немецкий композитор, пианист и дирижер — 496
- Брандес* Георг (1842–1927), датский литературный критик — 451
- «Основные течения в европейской литературе XIX века» (1872–1890, т. 1–6), курс лекций — 451
- Брайс* Томас (1605–1682), английский писатель — 366, 369
- «Захоронение урны» (1658), трактат — 369
- Браунинг* Роберт (1812–1889), английский поэт — 451, 534
- Браунинг (урожд. Моултон)* Элизабет Барретт (1806–1861), английская поэтесса, жена Р. *Браунинга* — 451
- Брекетон* Фредерик Седлейр (1872–1957), английский писатель, автор документальных и исторических повествований о боевых действиях английской армии — 384
- Брехт* Бертольт (1898–1956), немецкий поэт, драматург, реформатор театра — 404–406
- «Искусство или политика?» (1938), открытое письмо — 404
- «Как надо читать стихи» (1952), речь — 404–406
- Брокгауз* Фридрих Арнолд (1772–1823), немецкий книгоиздатель, основатель фирмы Ф. А. Брокгауз в 1805 г. в Амстердаме (позднее Альтенбург и Лейпциг) — 69, 159, 601, 606
- Брох* Герман (1886–1951), австрийский писатель — 621
- Бродли* Эндрю Сесил (1851–1935), английский историк литературы, шекспировед — 601, 605
- Брюсов* Валерий Яковлевич (1873–1924), русский советский поэт, критик, переводчик, стиховед — 97
- Бубенинов* Михаил Семенович (1909–1983), русский советский писатель — 132
- «Белая береза» (кн. 1 — 1947; кн. 2 — 1952), роман — 132
- Будда (санскр.* «просветленный»), имя, данное основателю буддизма Сиддхартхе Гаутаме (623–544 до н. в.) — 597
- Булгаков* Михаил Афанасьевич (1891–1940), русский советский писатель, драматург — 69–72, 126
- «Белая гвардия» (1925), роман — 126, 127
- «Новый способ распространения книги» (1924), фельетон — 70–72
- «Сколько Брокгауза может вынести организм» (1923), фельетон — 69–79
- Букин* Иван Алексеевич (1870–1953), русский поэт, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1933) — 30–31, 51, 143, 157
- «Книга» (1925), рассказ — 30–31
- Бурже* Поль Шарль Жозеф (1852–1935), французский писатель, автор психологических романов и литературно-критических очерков — 209
- Буркхардт* Якоб (1818–1897), швейцарский историк и философ культуры — 451
- «Культура итальянского Возрождения» (1860), монография — 448, 451
- Бухов* Аркадий Сергеевич (1889–1937), русский советский писатель-юморист — 59–64
- «Книга» (1916), эссе — 59–64
- Бушор* Морис (1855–1929), французский поэт, прозаик — 236, 237
- «Сказки» (1904, 1911–1912) — 236
- «*Былое*», сборник (Лондон–Париж, 1900–1904, 1908–1913; 15 номеров) и журнал (Петербург–Ленинград, 1906–1907, 1917–1926, 57 номеров), публиковавший документы и материалы по истории революционного движения — 154
- Бэкон* Фрэнсис (1561–1626), английский философ, писатель — 605
- Бютор* Мишель Мари Франсуа (р. 1926), французский писатель, представитель «нового романа» — 253–263
- «К вопросу о современной книге» (1974), эссе — 253–263
- Вазов* Иван (1850–1921), болгарский писатель — 512
- Валери* Поль (1871–1945), французский поэт — 212, 613
- Валье-Инкалан* Рамон Мария дель (1869–1936), испанский писатель — 623
- Вальехо* Сесар (1892–1938), перуанский поэт, прозаик — 622
- Вальтер фон дер Фогельвейде* (ок. 1170 — ок. 1230), немецко-австрийский поэт-миннезингер — 450

- Ван Дейк* Антонио (1599–1641), фламандский живописец – 238
- Вашиенки* Константин Яковлевич (р. 1925), русский советский поэт – 169
- «Мальчишка» (1951), стихотв. – 169
- Васильев* Павел Николаевич (1910–1937), русский советский поэт – 168
- Васко да Гама* (1469–1524), португальский мореплаватель – 238
- Ватсон* Марья Валентиновна (урожд. *Де Роберти де Кастро де ла Серда*; 1848–1932), русская поэтесса, переводчица, историк литературы – 46
- Вега Карто* Лопе Феликс де (1562–1635), испанский поэт, прозаик, драматург – 330, 599
- Веды* (*санскр.* «веда», *букв.* – «знание»), древнейшие памятники индийской словесности (конец II – начало I тыс. до н. э.) – 601
- Вейман* Стенли Джон (1855–1928), английский писатель – 384, 386
- «История Фрэнсиса Кладда» (1891), приключенческий роман – 386
- Вёльфлин* Генрих (1864–1945), швейцарский историк искусства – 452
- «Дюрер» (1910), монография – 452
- Венгерский* Томаш Каetan (1755–1787), польский поэт – 494
- Вергилий* Публий Марон (70–19 до н. э.), римский поэт – 161, 600, 604
- «Георгики» («Поэма о земледелии», 36–29 до н.э.) – 600
- «Энеида» (I в. до н. э.), эпическая поэма – 600
- Верлен* Поль (1844–1896), французский поэт-символист – 87
- Верн* Жюль (1828–1905), французский писатель-фантаст – 44, 86, 227, 252, 570
- «Таинственный остров» (1875), роман – 44
- «Черная Индия» (1877), роман – 227
- Верхарн* Эмиль (1855–1916), бельгийский поэт, драматург, критик – 87, 449
- Вестерман* Перси Фрэнсис (1876–1960), английский писатель, автор многочисленных произведений приключенческого жанра – 384
- «*Весы*» (М.: Изд-во «Скорпион», 1904–1909), русский литературный и критико-библиографический ежемесячный журнал (редактор-издатель С. А. Поляков) – 74
- Видакович* Милован (1780–1841), сербский писатель – 514
- «*Вильгельм Мейстер*» – см. *Гёте* И. В. «Годы учения Вильгельма Мейстера».
- «*Вильгельм Телль*» – см. *Шиллер* Ф.
- Вильгельмина Байрейтская* Фридерика София (1709–1758), маркграфиня, старшая дочь короля Пруссии Фридриха Вильгельма I – 459
- Вильденбрух* Эрнст фон (1845–1909), немецкий драматург, новеллист и поэт – 423
- Винокуров* Евгений Михайлович (р. 1925), русский советский поэт, переводчик – 169
- «Гамлет» (1950), стихов. – 169
- Виньи* Альфред Виктор де (1797–1863), граф, французский поэт, прозаик, драматург – 326
- «Смерть волка» (1838, опубл. 1843), поэма – 326
- Волгенинский* Андрей Андреевич (р. 1933), русский советский поэт – 171
- «*Возрождение*» – см. *Пейтер* У.
- «*Очерки по истории Ренессанса*».
- «*Война и мир*» – см. *Толстой* Л. Н.
- Войнич* Этель Лилиан (1864–1960), английская писательница – 125, 135
- «Овод» (1897), роман – 79, 125, 135
- Вольтер* (*наст. имя* – Франсуа Мари Ару; 1694–1778) – 367, 391
- Вольф* Криста (р. 1929), немецкая писательница, критик (ГДР) – 407–412
- «*Tabula gasa*», глава из сборника литературно-критических работ «Уроки чтения и письма» (1968) – 407–412
- Вольф* Хуго (1860–1903), австрийский композитор и музыкальный критик – 496
- Вольфрам фон Эшенбах* (ок. 1170–1220), немецкий поэт-миннезингер – 450
- «*Парсифаль*» (1198–1210, опубл. 1783), стихотворный рыцарский роман – 450
- «*Воля к власти*» – см. *Ницше* Ф.
- Вордсворт* (Вордсворд) Уильям (1770–1850), английский поэт-романтик – 55, 363, 376
- «*Могила Роб Роя*», стихотв. – 363
- «*Воспитание чувств*» – см. *Флобер* Г.
- Вулф* (урожд. *Стивенс*) Аделина Вирджиния (1882–1941), английская писательница, критик, эссеист – 292, 355, 365–369, 611
- «*Миссис Дэллоуэй*» (1925), роман – 611
- «*Часы, проведенные в библиотеке*» – 611

- теке» (1916), эссе – 365–369
Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954), советский юрист и дипломат – 128
Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), князь, русский поэт, критик – 85
- Габорио* Эмиль (1832–1873), французский писатель – 621
Гальдос – см. *Перес Гальдос* Б.
Гамарра Пьер (р. 1919), французский писатель – 246–252
 – «Настоящее и будущее литературы» (1971), ответы на анкету – 251–252
 – «Умеете ли вы читать?» (1961), статья – 246–250
Гамель Иосиф Христианович (1788–1861), русский ученый – 88
 – «Описание Тульского оружейного завода в историческом и техническом отношении» (1826) – 88
 «Гамлет» – см. *Шекспир* У.
Гамсун (*исвэд; наст. фам. Петерсен*) Кнут (1859–1952), норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1920) – 28, 133, 423
 – «Соки земли» (1917), роман – 28
Ганабин Иван Васильевич (ум. 1954), русский советский поэт – 169
Гансхофер Людвиг (1855–1920), немецкий писатель – 423
Ганди Мохандас Карамчанд (1869–1948), индийский философ, общественный и политический деятель – 83
Гангубал (247 или 246–183 до н.э.), карфагенский полководец – 431
Гарсия Лорка Федерико (1898–1936), испанский поэт, драматург – 215, 616–617
 – «Неверная жена» (1928), стихотв. – 616–617
Гарсия Маркес Габриель (р. 1928), колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982) – 610–614
 – «Осень патриарха» (1975), роман – 612, 613
 – «Снеста во вторник», рассказ – 612
 – «Чтение и влияния», глава из книги «Запах гуайавы» (1982) – 610–614
Гауптман Герхарт (1862–1946), немецкий писатель, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1912) – 90
Геббель Кристиан Фридрих (1813–1863), немецкий поэт и драматург – 423
- Гегель* Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) – 212, 400
Гейне Генрих (1797–1856) – 84, 599
Геккель Эрнст (1834–1919), немецкий биолог-эволюционист – 623
 «Генерал *Доватор*» – см. *Федоров* П. И.
Геннади Григорий Николаевич (1826–1880), русский библиограф – 92
Генрих II (1519–1559), французский король (1547–1559) – 188
Генрих III (1551–1589), французский король (1574–1589) – 188
Генрих Сандомирский, князь Сандомирский, один из сыновей польского короля Болеслава III Кривоустого (1085–1138) – 493
Георг V (1865–1936), английский король (1910–1936) – 372
Георге Стефан (1868–1933), немецкий поэт, представитель символизма – 420
Гераклит Эфесский (конец VI – начало V в. до н.э.), древнегреческий философ – 601, 602
Гессе Генрих (1877–1962), немецкий писатель, поэт, критик, публицист, эссеист; с 1912 г. жил в Швейцарии; лауреат Нобелевской премии по литературе (1946) – 439–461
 – «Обращение с книгами» (1907), эссе – 439–456
 – «О чтении» (1911), эссе – 458–461
 – «Чтение в отпуске» (1910), эссе – 457–458
 – «Чтение книг и обладание книгами» (1908), эссе – 456–457
Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) – 45, 215, 352, 431, 444, 448, 451, 458, 459, 492, 499, 599, 601
 – «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1793–1796), роман – 448
 – «Избирательное сродство» (1809), роман – 460
 – «Фауст» (1808–1832), трагедия – 327, 352, 456, 499
 – «Эгмонт» (1788), драма – 459
Гётц Франтишек (1894–1974), чешский литературный и театральный критик – 504
Гиббон Эдуард (1737–1794), английский историк – 348
 – «История упадка и разрушения Римской империи» (1776–1788) – 348
Гилсон Чарлз Джеймс Луис (1878–1943), английский морской офицер, автор историко-приключенческих романов – 384
Гинеме Жорж (1894–1917), французский авиатор времен первой

- мировой войны, погиб в воздушном бою – 578
- Гитлер* (наст. фам. – Шикльгрубер) Адольф (1889–1945) – 128, 520
- Глазков* Николай Иванович (1919–1979), русский советский поэт – 170
- Глинка* Михаил Иванович (1804–1857) – 98
- Гоголь* Николай Васильевич (1809–1852) – 37, 38, 39, 85, 87, 89, 98, 213, 506
- «Вий», повесть из цикла «Миргород» (1835) – 40
- «Мертвые души» (1842, I-й т.), роман-поэма – 40, 98
- «Миргород» (1835), цикл повестей – 38
- «Голос мигушнего» (М., 1912–1913, 65 номеров), журнал истории и истории литературы – 154
- Голсуорси* Джон (1867–1933), английский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1932):
- «Сага о Форсайтах» (1922), трилогия – 355
- Гомер* (XII–VII в. до н.э.) – 56, 57, 151, 161, 212, 333, 373, 457, 597, 598
- «Илиада» (IX–VIII в. до н.э.), эпическая поэма – 333, 358, 597, 598
- «Одиссея» (VIII–VII в. до н.э.), эпическая поэма – 28, 151, 597
- Гомес де ла Серна* Рамон (1891–1963), испанский писатель, публицист – 336–339
- «Грегерин» – 337–339
- «Книжная свалка», эссе – 336–337
- Гонгора-и-Арготе* Луис де (1561–1627), испанский поэт – 603
- Гончаров* Иван Александрович (1812–1891), русский писатель – 84
- Гораций* Флакк Квинт (65–8 до н.э.), римский поэт – 212, 450
- Горбунов* Иван Федорович (1831–1896), русский писатель и актер, мастер устного рассказа – 38
- Горгий* (ок. 483 – ок. 375 до н.э.), древнегреческий философ-софист – 597
- Гордон* Томас (ум. 1750), английский литератор, переводчик *Тацита* – 348
- Горький* Максим (псевд.; наст. имя и фам. – Алексей Максимович Пешков; 1868–1936) – 25–29, 38, 82, 86, 97, 99, 100, 101, 143, 166, 512, 538
- «Мать» (1906), роман – 249
- «О книге» (1925), предисловие – 25–29
- «Отшельник» (1923), рассказ – 99
- «Рассказы 1922–1924 годов» (1924), книга рассказов – 99
- «Фома Гордеев» (1899), роман – 38
- «Госпожа Бовари» – см. *Флобер* Г.
- «Гостеприимный хозяин» – см. «Гостимил».
- «Гостимил» ("Hostimil" – «Гостеприимный хозяин»), чешский журнал для владельцев гостиниц и трактиров – 506
- Готфрид* Натаниэл (1804–1864), американский писатель-романист – 216
- Готфрид Страсбургский* (конец XII в. – ок. 1220), немецкий эпический поэт – 450
- «Тристан и Изольда» (1207–1210), незаконченный стихотворный рыцарский роман – 450
- Готье* Теофиль (1811–1872), французский писатель, поэт, критик – 508
- Гофман* Эрнст Теодор Амадей (1776–1822), немецкий писатель, художник, композитор – 453, 454
- Грамини* Антонио (1891–1937), итальянский публицист, теоретик марксизма, деятель итальянского и международного коммунистического движения – 623
- Гранада* Луис де (1504–1588), испанский поэт – 332
- Грасиан-и-Моралес* Бальтасар (1601–1658), испанский писатель и философ-моралист – 329
- «Граф Монтэ-Кристо» – см. *Дюма* А.
- «Графиня де Монсоро» – см. *Дюма* А.
- Григорьев* Аполлон Александрович (1822–1864), русский поэт, критик – 97
- Гризбах* Эдуард (1845–1906), немецкий поэт, историк литературы, переводчик, библиограф – 454
- Грильпарцер* Франц (1791–1872), австрийский писатель, драматург – 431
- Гримм* Альберт Людвиг (1786–1872), немецкий писатель – 397
- «Книга сказок Лины. Рождественский подарок» (1816) – 397
- Гримм*, братья: *Якоб* (1785–1863) и *Вильгельм* (1786–1859), немецкие ученые-филологи, собиратели фольклора – 437, 606
- Грин* Александр (псевд.; наст. фам. – Александр Степанович *Гриневский*; 1880–1932), русский советский писатель – 133
- «Бегущая по волнам» (1928), повесть – 132–133
- Грин* Грэм (р. 1904), английский пи-

- сатель, публицист – 384–389
612
– «Потерянное детство» (1947),
эссе – 384–389
- Гриффит* Дейвид Уорк (1875–
1948), американский кинорежис-
сер – 297
- Гролье де Сервье Жан* (1479–1565),
французский библиофил – 182
- Гудзенко Семен Петрович* (1922–
1953), русский советский поэт –
168
– «Не зря мы дружбу берегли...»,
стихотв. – 168
«Гудрун» – см. «Кудруна».
- Гумилев Николай Степанович*
(1886–1921), русский поэт,
критик – 53–58, 73
– «Читатель» (опубл. 1923),
статья – 53–58
- Гунтеберг Иоганн* (ок. 1399–1468),
немецкий изобретатель печатного
станка, основоположник книгопе-
чатания – 255, 350, 479, 483
- Гуззрими Олиндо* (1845–1916), ита-
льянский поэт, критик, пред-
ставитель веризма – 294–295
– «Первое мая 1895 года» (1897),
стихотв. – 295
– "Postuma" («Посмертные сти-
хи» – под именем Лоренцо *Стек-
кетти*; 1877), книга стихов – 294
– «Стихотворения Арджии Збо-
ленфи» (1897), книга стихов –
295
- Гюго Виктор Мари* (1802–1805),
французский писатель, поэт, дра-
матург, публицист – 84, 129, 212,
249, 505, 599, 621, 624
– «Отверженные» (1862), ро-
ман – 249, 505, 621
– «Собор Парижской Богомате-
ри» (1831), роман – 129
– «Эрнани» (1830), драма – 621
- Да Верона Гвидо* (псевд.; наст. имя –
Гвидо Верона; 1881–1939), ита-
льянский писатель – 295
«*Давид Коттерфильд*» – см. *Диккенс Ч.*
- Давыдов Денис Васильевич* (1784–
1839), русский поэт и военный
писатель, партизан Отечествен-
ной войны 1812 года – 97
- Д'Аламбер Жан Лерон* (1717–
1783), французский математик,
механик и философ-просветитель,
один из редакторов «Энциклопе-
дии» – 205
- Д'Аннуцио Габриеле* (1863–1938),
итальянский поэт, прозаик, дра-
матург, политический деятель –
57, 364
- Датте Алигьери* (1265–1321), – 45,
56, 161, 215, 372, 373, 431, 437,
448, 449, 450
– «Божественная комедия» (1307–
1321), поэма – 395, 450, 462, 624
– «Новая жизнь» (1292) – 450
- Дарвин Чарлз Роберт* (1809–1882),
английский естествоиспытатель
– 531, 623
– «Происхождение видов путем
естественного отбора» (1859) –
395
- Дарио Рубен* (псевд.; наст. имя –
Феликс Рубен Гарсиа *Сармьенто*;
1867–1916), никарагуанский
поэт – 613, 622, 625
- Дарви Чарлз Монтегю* (1843–
1926), английский путешествен-
ник, литератор – 376
- Декарт Рене* (1596–1650), фран-
цузский философ, математик, фи-
зик, филолог – 212, 228
- Делакруа Эжен* (1798–1863), фран-
цузский живописец и график –
57, 431
- Дельвиг Антон Александрович*
(1798–1831), барон, русский поэт,
издатель альманахов – 85, 97, 98
– «Не осенний мелкий дождик-
чек...» (1829), стихотв. – 98
– «Русская песня» (Соловей, мой
соловей..., 1825), стихотв. – 98
«*Дереветя*» ("Wenkow"; Прага,
1906–1945), чешская газета, ор-
ган аграрной партии – 506
- Державин Гаврила Романович*
(1743–1816), русский поэт –
133
- Дефо Даниэль* (ок. 1660–1731), ан-
глийский писатель, публицист –
610
– «Дневник чумного года» (1722),
исторический очерк – 610
– «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо...»
(1719), роман – 293, 294, 437
- Джалиль* (Джалилов) Муса Муста-
фович (1906–1944), татарский
советский поэт – 101
- Джеймс Генри* (1843–1916), амери-
канский писатель, критик, теоре-
тик романа – 286, 343, 367, 584
– «Американец» (1877), роман –
584
– «Женский портрет» (1881), ро-
ман – 584
– «Мадам де Мов» (1874), повесть
– 584
– «Поворот винта» (1898), рас-
сказ – 584
- Джером Джером Клапка* (1859–
1927), английский писатель – 63
- Джойс Джеймс* (1882–1941), ир-
ландский поэт, писатель, один из
родоначальников модернизма –
209, 284, 286, 289, 290, 584, 600,
603, 621
– «Дублинцы» (1914), сборник
рассказов – 584
– «Портрет художника в юности»
(1916), роман – 584

- Улисс» (1922), роман — 84, 520, 584
- Джонсон* Сэмюэл (1709–1784), английский поэт, критик, эссеист, лексикограф, шекспировед — 375, 376, 599, 605
- Дидро Дени* (1713–1784), французский писатель, философ-просветитель, один из редакторов «Энциклопедии» — 448, 606
- Диккенс Чарльз* (1812–1870) — 17–24, 43, 44, 63, 123, 215, 217, 506, 567, 621
- «Давид Кошперфильд» (1850), роман — 215
- «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1837), роман — 107
- «Холодный дом» (1853), роман — 119
- Димитров* Георгий Михайлович (1882–1949), деятель болгарского и международного коммунистического движения, публицист — 512
- Диоген* Синопский (ок. 400 — ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ-киник — 188
- Дойл* Артур Конан (1859–1930), английский писатель — 347–349
- «За волшебной дверью» (1907), отрывок из книги эссе — 347–349
- «*Доминик*» — см. *Фромантен* Э.
- «*Дон Кихот*» — см. *Сервантес* М.
- «Хитроумный идальго Дон Кихот...».
- Дойн* Джон (1572–1631), английский поэт, родоначальник т. н. «метафизической школы» — 372
- Доре* Гюстав (1832–1883), французский график, книжный иллюстратор — 391
- Досталь* Андрей Евгеньевич (1925–1972), русский советский поэт — 169–170
- Достоевский* Федор Михайлович (1821–1881) — 25, 37, 45, 125, 133, 156, 160, 162, 227, 457, 506, 584, 623
- «Бедные люди» (1846), повесть — 45
- «Бесы» (1871–1872), роман — 45, 133
- «Братья Карамазовы» (1879–1880), роман — 45, 584
- «Дневник писателя» (1873–1877, 1880–1881) — 133
- «Идиот» (1868), роман — 45
- «Униженные и оскорбленные» (1861), роман — 45
- Драйден* Джон (1631–1700), английский поэт, драматург, представитель классицизма — 520
- Драйзер* Теодор (1871–1945), американский писатель, публицист — 475
- «Американская трагедия» (1925), роман — 475
- Дубль* Жозеф Лун Леопольд (1812–1881), французский библиофил и коллекционер — 182
- Дудин* Михаил Александрович (р. 1916), русский советский поэт, переводчик, публицист — 168
- Думбадзе* Нодар Владимирович (1928–1984), грузинский советский писатель — 164–165
- «Эту книгу я готов читать бесконечно» (1983), эссе — 164–165
- Дюамель* Жорж (1884–1966), французский поэт, прозаик, публицист — 205–207
- «[Доставить читателю удовольствие]», отрывок из книги «Этюд о романе» (1925) — 205–207
- Дю Бо* Шарль (1882–1939), французский литературный критик, эссеист — 213
- Дюма* Александр (Дюма-отец; 1802–1870), французский писатель — 17, 124, 125, 296, 343, 490, 578
- «Граф Монте-Кристо» (1845–1846), роман — 506
- «Графиня де Монсоро» (1846), роман — 296
- «Королева Марго» (1845), роман — 125
- «Три мушкетера» (1844), роман — 490, 501, 506
- «Шевалье де Мезон Руж» (1845), роман — 19
- Дюрер* Альбрехт (1471–1528), немецкий живописец и график — 82, 83, 238
- Евангелие* (Новый Завет) — 28
- Еврипид* (ок. 480–406 до н. э.), древнегреческий драматург — 367
- Евтушенко* Евгений Александрович (р. 1932), русский советский поэт, прозаик, сценарист, переводчик, публицист — 166–173
- «Братская ГЭС» (1964), поэма — 172
- «Вагон» (1952), стихотв. — 170
- «Воспитание поэзией» (1975), статья — 166–173
- «Граждане, послушайте меня...» (1963), стихотв. — 166
- «Перед встречей» (1952), стихотв. — 170
- Егоров* Александр Ильич (1883–1939), советский военачальник — 154
- «Разгром Деникина. 1919» (1931), монография — 154
- Екатерина II* (1729–1796), русская императрица (1762–1796), писательница, драматург, издательница журналов — 127
- Елизавета I* Тюдор (1533–1603), английская королева (1558–1603) — 372
- Елизавета* (Ульянова) Анна Ильи-

нична (1864–1935), советский партийный деятель, публицист, сестра В. И. Ленина – 100

Есенин Сергей Александрович (1895–1925), русский советский поэт – 87, 168

Ефрон Илья Абрамович (1847–1917), русский издатель, один из основателей (в 1890 г.) фирмы «Брокгауз-Ефрон» – 159

Жан Поль (*псевд.; наст. имя* – Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 1763–1825), немецкий писатель – 396, 448, 453

Жарри Альфред (1873–1907), французский писатель – 188
«*Железный поток*» – см. *Себрафимович* А. С.

Желябов Андрей Иванович (1851–1881), русский революционер-народник, один из создателей и руководителей «Народной воли» – 154

Жерико Теодор (1791–1824), французский живописец и график – 526

«*Жерминаль*» – см. *Золя* Э.

Жеромский Стефан (1864–1925), польский писатель – 498

«*Живые мощи*» – см. *Тургенев* И. С.
Жиграи Юлианна (р. 1908), венгерская писательница и журналистка – 477

– «*Семь тополей*» (1939), роман – 477

«*Жиль замечательных людей*» (ЖЗЛ), серия научно-художественных биографий общественных и революционных деятелей военных, ученых, деятелей литературы и искусства; издается по инициативе М. Горького с 1933 г.; выходит в издательстве «Молодая гвардия» – 101

«*Жиль Блаз*» – см. *Лесаля* А. Р., «*История Жиль Блаза...*».

Жироуду Жан (1882–1944), французский писатель – 227

– «*Симон патетический*» (1918–1926), роман – 227

– «*Школа равнодушных*» (1911), сборник рассказов – 227

Жихарев Степан Петрович (1788–1860), русский драматург, литератор, переводчик, мемуарист – 133

Жолт Беда (1895–1949), венгерский журналист, публицист, прозаик, поэт – 477

Жубер Жозеф (1754–1824), французский писатель-моралист, критик – 213

Жули Никола (1684–1757), французский сатирик, автор стихо-

творных памфлетов, обличитель иезуитов – 186

– «*Песнь неизвестного...*», стихотворный памфлет (под именем ученого комментатора Кривоостома Матаназиуса) – 186

Заболоцкий Николай Алексеевич (1903–1958), русский советский поэт, переводчик – 171

– «*Некрасивая девочка*» (1955), стихотв. – 171

«*Задумчивое слово*» (СПб.-Пг., 1877–1918), русский еженедельный литературно-художественный и научно-популярный иллюстрированный журнал; с 1884 г. выходил в 2-х отделах: для детей младшего возраста (от 5 до 9 лет) и для детей старшего возраста (от 9 до 14 лет); издатель – А. М. Вольф, позднее – М. О. Вольф; редактор – С. М. Макарова, в 1885–1905 гг. – Н. Вессель – 44

Зайцев Борис Константинович (1881–1972), русский писатель, драматург, эссеист, мемуарист, переводчик – 43–47

– «*Похвала книге*» (1970), эссе – 43–47

«*Заколдованный Гучо*» – см. *Урбановская* З.

Зальгин Сергей Павлович (р. 1913), русский советский писатель, публицист – 136–146

– «*Чехов в наши дни*» (1988), рассказ – 136–146

«*Записки Казановы*» – см. *Казанова* Дж. Дж. «*История моей жизни*».

«*Записки Пиквикского клуба*» – см. *Диккенс* Ч., «*Посмертные записки Пиквикского клуба*».

«*Заратустра*» – см. *Ницше* Ф., «*Так говорил Заратустра*».

«*Захоронение урны*» – см. *Браун* Т.

«*Зеленый Гефтих*» – см. *Келлер* Г.

«*ЗИФ*» («*Земля и фабрика*»; М.-Пг.-Л.; 1922–1930), советское государственное акционерное издательское общество; выпускало в основном оригинальную и переводную беллетристику и литературно-критические издания – 131

Золя Эмиль (1840–1902), французский писатель, публицист – 135, 249, 621, 623, 624

– «*Жерминаль*» (1885), роман – 249, 621

– «*Западня*» (1877), роман – 621

– «*Марсельские тайны*» (1867), роман – 621

– «*Нана*» (1880), роман – 621

- король с 768, с 800 император, из династии Каролингов – 571
- Карл V Мудрый* (1338–1380), французский король (1364–1380) – 431
- Карлейль* Томас (1795–1881), английский публицист, историк, философ – 348, 367, 451, 530
- «Герои, культ героев и героическое в истории» (1841), монография – 451
- Картезиус* Алехо (1904–1980), кубинский поэт, прозаик, музыковед, публицист – 619–628
- «Для кубинского писателя закончились времена одиночества» (1974), речь – 624–628
- «Мечтания одинокого любителя чтения» (1972), эссе – 619–624
- Карпинский* Святополк (1909–1940), польский поэт, сатирик – 491
- Кастро Рус* Фидель (р. 1926), кубинский государственный и политический деятель – 628
- Кастру* Алвис Антониу (1847–1871), бразильский поэт – 497
- Катаев* Валентин Петрович (1897–1986), русский советский писатель, драматург – 126
- Катон Старший* (234–149 до н.э.), римский писатель – 574
- «*Каторга и ссылка*» (М.: 1921–1935; 116 номеров), научно-исторический журнал Общества бывших политкаторжан и ссыльнопереселенцев; публиковал материалы по истории революционного движения в России – 154
- Кафиров* Алексей Витальевич (р. 1924), русский советский поэт, переводчик – 169
- Кафка* Франц (1883–1924), австрийский писатель – 209, 435–436, 612
- «Дневники. 1910–1923» (опубл. полностью 1951), фрагменты – 435–436
- «Превращение» (1916), новелла – 613
- Кеведо-и-Вильегас* Франсиско (1580–1645), испанский поэт и прозаик – 599, 617
- Кейн* Холл (1853–1931), английский писатель – 362
- Кейфоль* Жан (р. 1910), французский писатель – 240–245
- «Чтение» (1973), эссе – 240–245
- Келлер* Адельберт фон (1812–1883), немецкий ученый-филолог, медиевист – 450
- Келлер* Готфрид (1819–1890), швейцарский писатель – 444, 445, 446, 447, 449, 451, 456
- «Зеленый Генрих» (1855, вторая редакция 1879–1880), роман – 447, 456
- «Семь легенд» (1872), сборник новелл – 446
- Кервуд* Джеймс Оливер (1879–1927), американский писатель – 505
- Керн* (урожд. *Полторацкая*) Анна Петровна (1800–1879), русская дворянка, адресат стихотв. А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» (1825) – 96
- Кернер* Юстинус (1786–1862), немецкий поэт, прозаик – 447
- «Дорожные тени», стихотв. – 447
- Кёстлер* Артур (1905–1983), английский писатель, психолог; – «Слепящая тьма» (1940), роман – 291
- Киплинг* Джозеф Редьярд (1865–1936), английский поэт, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1907) – 168, 169, 207, 212, 584
- Кирик* Новгородец (р. 1108–?), древнерусский писатель, диакон и домостик (уставщик) Новгородского Антониева монастыря, автор математического трактата и канонических вопросов – 137
- Кирилл* (в миру Константин Философ; 827–869), славянский просветитель, монах; вместе со своим братом *Меродием* считается создателем славянской азбуки – кириллицы, лучшей в основу русского алфавита – 510
- Кирого* Орацио (1878–1937), уругвайский писатель – 603, 604
- Кирсанов* Семен Исаакович (1906–1972), русский советский поэт – 168, 170
- Китс* Джон (1795–1821), английский поэт-романтик – 376
- Клагес* Людвиг (1872–1956), немецкий философ и психолог, поэт, эссеист; представитель иррационализма – 420
- Кларендон* Эдуард Хайд, граф (1609–1674), английский правовед, мемуарист, историк и государственный деятель, лорд-канцлер Англии в 1660–1667 гг. – 348
- «Истинное историческое повествование о смуте и Гражданских войнах в Англии» (опубл. 1702–1704) – 348
- Клеомброт* (V–IV в. до н.э.), ученик *Сократа* – 558
- Клодель* Поль Луи Шарль (1868–1955), французский писатель, драматург – 190–200, 212, 376
- «Философия книги» (1925), речь – 190–200
- Клэр* Джон (1793–1864), английский поэт – 377
- «*Книга великолетия*» («Зогар»), осно-

- вополагающий памятник каббалы (средневекового религиозно-мистического течения в иудаизме); написана в конце XIII в. в Кастилии на арамейском языке – 597
- «*Книга попугая*» – см. «*Тутти-наме*».
- «*Книга творения*» («Сефер йешира»), религиозно-мистический трактат, содержащий учение каббалы о 32 элементах мироздания; создан между III и VIII в в . – 597
- Коженёвский (Корженёвский) Юзеф (1797–1863), польский прозаик и драматург – 17
- Козловский Петр Борисович (1783–1840), князь, русский дипломат, литератор – 84
- Кокто Жан (1889–1963), французский писатель, поэт, художник, театральный деятель, кинорежиссер и сценарист – 225–226
- «Чтого хочет читатель», фрагмент из книги эссе «Бремя бытия» (1947) – 225–226
- Коллиз Ларри (р. 1929), американский журналист, прозаик – 614
- «...Или ты будешь носить по мне траур» (1967; в соавторстве с Д. Латьефом), беллетризованная биография – 614
- Кольридж Сэмюэл Тейлор (1772–1834), английский поэт-романтик, критик, теоретик искусства – 55, 601
- Кольцов Алексей Васильевич (1809–1842), русский поэт – 93, 94, 95, 96
- Кольцов (псевд.; наст. фам. – Фридлянд) Михаил Ефимович (1898–1940), русский советский писатель, журналист, очеркист – 109–110
- «Иван Вадимович любит литературу» (1933), фельетон – 109–110
- «Кому» – см. Мильтон Дж.
- Кони Анатолий Федорович (1844–1927), русский юрист, писатель, общественный деятель – 133
- Конрад Джозеф (псевд.; наст. имя – Юзеф Теодор Конрад Коженёвский; 1857–1924), английский писатель – 286, 340–346, 497, 610
- «Книги» (1905), эссе – 340–346
- Констан Бенжамен (1767–1830), французский политический деятель, писатель, публицист:
- «Адольф» (1816), роман – 210
- Копт Огюст (1798–1857), французский философ, один из основоположников позитивизма – 212, 315
- Коперник Николай (1473–1543), польский астроном, создатель гелиоцентрической системы мира – 78, 101, 464
- «Копи царя Соломона» – см. Хагард Г. Р.
- Коран (араб. «кур'ан», букв. – «чтение»), главная священная книга мусульман – 598, 601
- Корженёвский – см. Коженёвский Ю.
- Корнель Пьер (1606–1684), французский драматург, представитель классицизма – 251
- «Сид» (1637), трагедия – 189
- Корнилов Борис Петрович (1907–1938), русский советский поэт – 168
- Короленко Владимир Галактионович (1853–1921), русский писатель, публицист, общественный деятель – 17–24
- «Мое первое знакомство с Диккенсом» (1912), глава из книги мемуаров «История моего современника» (1906–1921) – 17–24
- Кортасар Хулио (1914–1984), аргентинский писатель – 603–609
- «Светопреставление» (1962), рассказ – 608–609
- Костер Лауренс Янсзон (ок. 1405–1484), причетник в Гарлеме (Голландия), один из основоположников книгопечатания в Европе – 350
- Костолани Дежё (1885–1936), венгерский писатель – 479–482
- «Письмо о книге» (1929), эссе – 479–482
- Кох Эрих (р. 1913), сербский писатель (Югославия) – 518–528
- «Книгоубийства и книгоубийцы» (1971), эссе – 518–528
- Краевский Радослав, польский поэт – 493
- «Красное и черное» – см. Стендаль.
- «Красный архив» (М., 1922–1941, 106 томов), научный журнал архивных фондов РСФСР и СССР – 154
- Краус Карл (1874–1936), австрийский писатель, публицист, философ – 467
- Крейн Стивен (1871–1900), американский писатель – 570, 584
- «Голубой отель» (1898), рассказ – 584
- «Шлюпка» (1897), рассказ – 584
- Кристи Агата (1891–1976), английская писательница, классик детективного жанра – 290
- «С девяти до десяти», роман – 290
- «Убийство Роджера Экройда» (1926), роман – 290
- Кристоф (псевд.; наст. имя – Жорж Коломб; 1856–1945), французский писатель и художник – 620
- «Семья Фенуйяр» (1889–1893), роман – 620
- «Критика чистого разума» – см. Кант И.

- Крлежа* Мирослав (1893–1982), хорватский писатель, поэт, драматург, публицист (Югославия) – 522
- Кромвель* Оливер (1599–1658), английский государственный и политический деятель, лорд-протектор Англии (1653–1658) – 571
- Крототкич* Петр Алексеевич (1842–1921), князь, русский революционер, теоретик анархизма, автор «Записок революционера» – 133
- Кроче* Бенедетто (1866–1952), итальянский философ, историк, литературовед, критик, публицист, политический деятель – 602, 604
- Крупская* Надежда Константиновна (1869–1939) – 100
- «*Кудруна*» («Гудрун»; 1230–1240), немецкая средневековая героическая поэма – 450
- Кужли* Григорий Александрович (1877–1907), русский революционер; основал в Женеве библиотеку по истории русского революционного движения – 100
- «*Культура итальянского Возрождения*» – см. *Буркхардт* Я.
- Куорлз* Френсис (1592–1644), английский поэт – 380
- Кутер* Джеймс Фенимор (1789–1851), американский писатель – 17, 124, 570
- Курбе* Огюстен, французский книгопродавец – 189
- Курчатов* Игорь Васильевич (1903–1960), советский физик, руководитель работ по атомной науке и технике – 101
- Кэстон* Уильям (1421–1491), английский первопечатник – 350
- Кэрролл* Льюис (псевд.; наст. имя – Чарлз Лутвидж *Доджсон*; 1832–1898), английский математик, писатель, священник – 606
- Кюхельбекер* Вильгельм Карлович (1797–1846), русский поэт, драматург, переводчик, литературный критик, участник декабристского движения – 85
- Лажечников* Иван Иванович (1792–1869), русский писатель, один из основоположников русского исторического романа – 97, 98
- «Первые опыты в стихах и прозе» (1817), сборник – 97
- Лакан* Жак (1901–1981), французский теоретик и практик т.н. «структурного психоанализа», основатель «парижской школы фрейдизма» – 623
- Лактаций* (ок. 250 – ок. 325), римский ритор – 187
- Ламартин* Альфонс Мари Луи де (1790–1869), французский поэт-романтик, публицист, общественный деятель – 502
- «История жирондистов» (1847), исторический труд – 502
- Лансон* Гюстав (1857–1934), французский литературовед – 352
- «История французской литературы» (1894), монография – 352
- Ланефур* Жан Франсуа (1741–1788?), французский мореплаватель – 238
- Ланьер* Доминик (р. 1931), французский писатель, журналист – 614
- «...Или ты будешь носить по мне траур» (1968, в соавторстве с Л. *Каллизом*), беллетризованная биография – 614
- Лафрус* Пьер (1817–1875), французский педагог и лексикограф – 238
- «*Ласарильо с Тормеса*» (полн. н а з в. – «Жизнь Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения»), испанская повесть, анонимно изд. в 1554 г. – 610
- Лас Каз* Эммануэль Огюстен Дьёдоне, граф де (1766–1842), французский историк, литератор – 212
- Латод* Жан-Анри (1725–1805), французский авантюрист, автор мемуаров – 187
- Лафонтен* Жан де (1621–1695), французский поэт-баснописец, прозаик – 188
- «Басни» (1694) – 188
- Леблан* Морис (1864–1941), французский писатель, автор серии детективных романов о «вореджентльмене» Арсене Люпене – 226, 296
- Лебон* Гюстав (1841–1931), французский социальный психолог, антрополог и археолог – 623
- Левитан* Исаак Ильич (1860–1900), русский живописец-пейзажист – 143
- «*Легенды*» – см. *Келлер* Г., «Семь легенд».
- Леконт де Лиль* Шарль (1818–1894), французский поэт – 202, 227
- Ленгау* Николаус (псевд.; наст. имя – Франс Нимбиш Эдлер фон *Штреленгау*; 1802–1850), австрийский поэт-романтик – 459
- Ленин* (Ульянов) Владимир Ильич (1870–1924) – 82, 88, 100, 251, 510
- «*Ленин*» – см. *Маяковский* В. В., «Владимир Ильич Ленин».
- Леонардо да Винчи* (1452–1519) – 101, 451, 573
- Леонов* Леонид Максимович (р. 1899), русский советский писатель, публицист – III–113

- «Бескорыстный и сведущий друг» (1964), эссе – III–III
- Ле Пти* Жюль, французский библиограф – 188–189
- Лермонтов* Михаил Юрьевич (1814–1841) – 58, 70, 97, 98, 167
- «Ангел» (1831), стихотв. – 58
- «Герой нашего времени» (1840), роман – 98
- Леру* Гастон (1868–1927), французский писатель, автор детективных романов – 226
- Лесаж* Анри Рене (1668–1747), французский писатель, драматург – 524
- «История Жиль Блаза из Сантьяны» (1715–1735), роман – 348
- Лесков* Николай Семенович (1831–1895), русский писатель – 126
- Лессинг* Готхольд Эфраим (1729–1781), немецкий писатель, просветитель – 451
- Лехоць* Ян (*псевд.; наст. имя* – Лешек *Серафимович*; 1899–1956), польский поэт – 491, 494
- «Бабинская республика» (1920), сборник стихов – 494
- «Пани Падеревская», стихотв. из сборника «Бабинская республика» (1920) – 494
- Ливий* Тит (59–17 до н.э.), римский историк – 431
- Ливис* Квини Дороти (1906–1981), английский критик, литературовед – 292
- Лидин* Владимир Германович (1894–1979), русский советский писатель – 92–101
- «Друзья мои – книги, Рассказы книголюба» (1962), отрывки из книги – 92–101
- Лизер*, немецкий художник-иллюстратор XIX в. – 397
- Ликок* Стивен Батлер (1869–1944), канадский писатель-юморист, публицист – 563–569
- «Читающая публика. Исследование о книжном магазине» (1916), рассказ – 563–569
- Линдберг* Чарлз (1904–1974), американский авиатор – 479
- Линдгрен* Астрид Анна Эмilia (р. 1907), шведская писательница – 468–469
- «Почему детям нужны книги» (1958), речь – 468–469
- «Расмус-бродяга» (1956), повесть – 468
- Линхард* Фритц (1865–1929), немецкий писатель – 452
- Лист* Ференц (1811–1886), венгерский композитор, пианист, дирижер – 419
- Лобачевский* Николай Иванович (1792–1856), русский математик – 85
- Локк* Джон (1632–1704), английский философ, психолог, педагог – 563
- «Опыт о человеческом разуме» (1690), философское сочинение – 563
- Ломоносов* Михаил Васильевич (1711–1765) – 41, 54, 97, 101
- Лондон* Джек (1876–1916), американский писатель, журналист, общественный деятель – 417
- Лопатин* Герман Александрович (1845–1918), русский революционный деятель, поэт, публицист, первый переводчик «Капитала» К. Маркса на русский язык – 154
- Лоуренс* Дейвид Герберт (1885–1930), английский поэт, прозаик, публицист, художник – 355
- Лопфрассо* Антонио де (1530–1590), испанский писатель – 306
- «Счастье любви, в десяти частях...» (1573), роман – 306
- Луговской* Владимир Александрович (1901–1957), русский советский поэт, переводчик – 171
- Лукас* Джордж (р. 1944), американский кинорежиссер – 299
- Лукиан* Самосатский (ок. 117 – ок. 190), древнегреческий писатель-сатирик – 284, 621
- Лукошин* Михаил Кузьмич (1918–1976), русский советский поэт – 168
- Лумумба* Патрис Эмери (1925–1961), африканский политический и государственный деятель, первый премьер-министр независимой Республики Конго (ныне Республика Заир) – 101
- Лу Силь* (*псевд.; наст. имя* – Чжоу Шу-жэнь; 1881–1936), китайский писатель, публицист, литературный критик – 548–554
- «Закуска на ходу» (1933), эссе – 548–549
- «Торговлей утвержденные» мастера литературы» (1933), эссе – 550–554
- Львов* Михаил Давыдович (1917–1988), русский советский поэт – 168
- «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться...» (1943), стихотв. – 168
- Лэм* Чарлз (1775–1834), английский писатель-эссеист, «лондонский романтик» – 518
- «Рассказы из Шекспира» (1807, т. 1–2, в соавторстве с М. Лэм) – 437, 518
- Любимов* Николай Михайлович (р. 1912), русский советский переводчик западноевропейской классической прозы и драматургии – 46

- Люгонес* Леопольдо (1874–1938), аргентинский поэт, прозаик, публицист, директор Национальной библиотеки в Буэнос-Айресе – 601
- Людовик XV* (1770–1774), французский король (1715–1774) – 189
- «*Люсидас*» – см. *Мильтон Дж.*, «Лисидас».
- Лютер* Мартин (1483–1546), глава Реформации в Германии, теолог, писатель, переводчик Библии на немецкий язык – 571
- Магеллан* Фернан (ок. 1480–1521), испанский мореплаватель – 238
- «*Мадам Бовари*» – см. *Флобер Г.*, «Госпожа Бовари».
- Мазарини* Джулио (1602–1661), французский политический деятель, кардинал (с 1641), первый министр Франции (с 1643) – 185
- Майер* (Мейер) Конрад Фердинанд (1825–1898), швейцарский писатель – 448
- Макиавелли* Никколо (1469–1527), итальянский политический мыслитель, писатель – 568, 571
- Маклюэн* Херберт Маршалл (1911–1980), канадский философ и социолог, публицист – 483
- Маколей* Томас Баббингтон (1800–1859), английский историк, публицист, политический деятель – 315
- Малерба* Лунджи (р. 1929), итальянский писатель, сценарист, публицист – 282–285
- «Призрак по имени Нечитатель» (1983), эссе – 282–285
- Малларме* Стефан (1842–1898), французский поэт-символист – 55, 195, 198, 227, 255
- «Удача никогда не упразднит случая» (1897), поэма – 195, 198
- Мало* Гектор (1830–1907), французский писатель – 237
- «Без семьи» (1878), роман – 237
- Мальшики* Александр Георгиевич (1892–1938), русский советский писатель – 100
- «Люди из захолустья» (1937–1938), роман – 100
- «Севастополь» (1931), повесть – 100
- «*Манас*», эпос казахского народа (свыше 500 000 строк); первые записи – 1856 г. – 161
- Мандельштам* Осип Эмилевич (1891–1938), русский советский поэт, прозаик, переводчик, критик – 73–77, 170
- «Выпад» (1924), эссе – 73–77
- Мандзони* Алессандро (1785–1873), итальянский писатель – 286, 292
- «Обрученные» (1825–1827), исторический роман – 291, 292, 294
- Мани* Генрих (1871–1950), немецкий писатель, публицист, критик – 129, 390–392
- «Книги и дела» (1918), эссе – 390–392
- «Юность короля Генриха Четвертого» (1935), роман – 129
- Мани* Томас (1875–1955), немецкий писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1929) – 226, 584, 585, 621
- «Будденброки» (1901), роман – 584, 585
- «Волшебная гора» (1924), роман – 226
- «*Мансфилд Парк*» – см. *Остин Дж.*
- Манцони* Пьеро (1934–1963), итальянский художник – 289
- Манчини* Итала Амранте, итальянская киноактриса – 621
- Мао Цзэду* (1893–1976) – 274
- Маринелло* Хуан (1898–1977), кубинский публицист и литературовед, общественный деятель – 625
- Маринетти* Филиппо Томмазо (1876–1944), итальянский поэт, прозаик, основоположник и теоретик футуризма – 289, 374
- «Битва при Адрианополе» – 289
- Мариус*, французский художник-график – 188
- Мария Стюарт* (1542–1587), шотландская королева с 1542, фактически с 1561 по 1567 г. – 67
- Маркграфиня Байрейтская* – см. *Вильгельмина Байрейтская*.
- Маркони* Гульельмо (1874–1937), итальянский инженер, изобретатель радио – 479
- Маркс* Адольф Федорович (1838–1904), русский издатель – 126
- Маркс Карл* (1818–1883) – 86, 292, 293, 510, 623
- «Капитал» (1867, т. 1) – 280
- Марлинский* – см. *Бестужев-Марлинский А. А.*
- Маррнет* Фредерик (1792–1848), английский писатель-маринист – 417, 584
- «Мичман Иззи» (1836), роман – 584
- «Морской офицер, или Сцены и приключения из жизни Фрэнка Майлдмэя» (1829), роман – 584
- «Питер Симпл» (1834), роман – 584
- Мартеи дю Гар* Роже (1881–1958), французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1937):
- «Семья Тибо» (1922–1940), роман-эпопея – 249
- Марти* Хосе Хулиан (1853–1895),

- кубинский писатель, журналист, политический деятель – 628
 «*Мартини Фьерро*» – см. *Эриандес* Х.
Мартинес Вильена Рубен (1899–1934), кубинский публицист, поэт, деятель коммунистической партии – 624
Мартинес Эстрада Эсекиель (1895–1964), аргентинский писатель, литературовед – 601
Мартынов Леонид Николаевич (1905–1980), русский советский поэт, переводчик – 170, 171
Марциал Марк Валерий (ок. 40 – ок. 104), римский поэт-сатирик – 482
Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964), русский советский поэт, переводчик, критик – 127
Маршалл Алан (1902–1984), австралийский писатель – 629–630
 – «Писать книги не забава!», отрывок из автобиографической книги «Я умею прыгать через лужи» (1956) – 629–630
Массон Шарль Франсуа Филлибер (1762–1807), французский дипломат – 127
Матанализус Кризостом – см. *Жул* Н.
Матвеева Новелла Николаевна (р. 1934), русская советская поэтесса – 171
 «*Мать*» – см. *Горький* М.
Мачадо Моралес Херардо (1871–1939), президент Кубы (1925–1933) – 626
Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) – 73, 79, 86, 87, 109, 110, 127, 132, 168
 – «Владимир Ильич Ленин» (1925), поэма – 127
 – «Сергею Есенину» (1926), стихотв. – 168
Мелжиров Александр Петрович (р. 1923), русский советский поэт – 168
Мелвилл Герман (1819–1891), американский писатель, поэт – 215
Мельников Павел Иванович (наст. имя; псевд. – Андрей Печерский; 1818–1883), русский писатель – 37
 – «В лесах» (1871–1874), роман – 38
 – «На горах» (1875–1881), роман – 38
 «*Мельница на Флоссе*» – см. *Элиот* Дж.
Мелья Хулио Антонио (1903–1929), деятель коммунистического движения Латинской Америки, один из основателей коммунистической партии Кубы – 625
Менделеев Дмитрий Иванович (1834–1907) – 125
Мендель Грегор Иоганн (1822–1884), австрийский естествоиспытатель, основоположник учения о наследственности – 532
Менендес-и-Пелайо Мерселино (1856–1912), испанский ученый, историк культуры и литературы – 306
 – «Происхождение романа» (1905–1915, т. 1–4), монография – 306
Меридит Джордж (1828–1909), английский писатель, романист, поэт – 367, 534
 – «Эгонист» (1879), роман – 362
Мёрrike Эдуард Фридрих (1804–1875), немецкий поэт, прозаик – 444, 449
 – «Сокровище», стихотв. – 444
 «*Мертвые души*» – см. *Гоголь* Н. В.
Метерлих Морис (1862–1949), бельгийский драматург, поэт, прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1911) – 51, 133, 531
Мефодий (ок. 815–885), славянский просветитель, проповедник христианства, брат *Кирилла* – 510
 «*Миддлмарч*» – см. *Элиот* Дж.
Миксат Кальман (1847–1910), венгерский писатель – 476
Милль Джон Стюарт (1806–1873), английский философ, экономист и общественный деятель, основатель английского позитивизма – 530
Милутинович Сима Сарайлия (1791–1847), сербский писатель, поэт, деятель культуры – 514
Мильтон Джон (1608–1674) – 369, 563
 – «Комус» (1634), либретто для маски – 369
 – «Лисидас» (1638), элегия – 369
Милкевич Януш (1914–1981), польский поэт, сатирик – 491
Митчелл Маргарет (1900–1949), американская писательница – 474
 – «Унесенные ветром» (1936), роман – 474, 489
Михаил III Обренович (1823–1868), князь Сербии (1839–1842 и 1860–1868) – 527
Мичурин Иван Владимирович (1855–1935), русский советский биолог и селекционер – 101
Мишле Жюль (1798–1874), французский историк – 623
 «*Молодая гвардия*», издательство ЦК ВЛКСМ, основано в 1922 г. в Москве – 169
Молотов (наст. ф. а. м. – *Скрябин*) Вячеслав Михайлович (1890–1986) – 128
Мольер (наст. имя – Жан Батист *Поклен*; 1622–1673) – 188, 251
Маммзен Теодор (1817–1903), не-

- мецкий историк, политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1902) – 352
- «История Рима» (1854–1856, т. 1–3; 1885, т. 5) – 352
- «Мондадори», итальянское издательство – 296
- Монтале* Эудженно (1896–1981), итальянский поэт, литературовед и критик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1975) – 289
- Монтень* Мишель де (1533–1592), французский философ и писатель – 214, 250, 259, 260, 600
- Монтеней* Ксавье де (1826–1902), французский писатель и журналист, автор мелодрам и романов-фельетонов – 296, 621
- Мопассан* Ги де (1850–1893), французский писатель – 135, 238, 249, 584
- «Монт-Ориоль» (1886), роман – 135
- Моравиа* Альберто (*псевд.*; *наст. фам.* – *Пиккерле*; р. 1907), итальянский писатель – 272–275
- «Зримый образ и печатное слово» (1972), статья – 272–275
- Мориак* Франсуа (1885–1970), французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1952) – 208–211
- «Романы, которым суждена долгая жизнь» (1956), эссе – 208–211
- Мориц*, Юнна Петровна (р. 1937), русская советская поэтесса – 171
- Морозов* Николай Александрович (1854–1946), русский революционер-народник, ученый, писатель – 127, 154
- Моруа* Андре (*псевд.*; *наст. имя* – *Эмиль Герцог*; 1885–1967), французский писатель, критик, автор романов-биографий – 212–223
- «Книга – открытая дверь другим народам» (1961), статья – 214–223
- «О выборе книг», фрагмент из книги эссе «Письма незнакомке» (1956), – 212–213
- Морштыги* Людвик Иероним (1886–1966), польский драматург, поэт, прозаик, переводчик – 496
- Молл* Уильям Сомерсет (1874–1965), английский писатель, эссеист – 352–357, 476, 526
- «Дождь» (1921), рассказ – 476
- «Подводя итоги» (1938), отрывок из автобиографической книги – 352–357
- Музиль* Роберт (1880–1942), австрийский писатель – 417–426
- «Книги и литература» (1926), эссе – 417–426
- Мультатули* (*псевд.*; *от латин.* «multa tūli» – «я много перенес»; *наст. имя* – Эдуард Дауэс *Деккер*; 1820–1887), голландский писатель, публицист, критик – 452
- «Макс Хавелаар, или Кофейные аукционы Нидерландского торгового общества» (1859), роман – 452
- Мур* (Мор) Генри (1614–1687), английский теолог, историк религии, философ, поэт, эссеист – 355
- Мур* Джордж (1852–1933), английский писатель – 362, 584
- «Привет и прощание» (1911–1914), автобиографическая трилогия – 584
- «*Мыши короля Потеля*», польская народная сказка-легенда – 490
- Мэлсфилд* Кэтрин (*псевд.*; *наст. имя* – Кэтлин *Бичем*; 1888–1923), английская писательница – 99
- Мюльбрехт* Отто (1838–1906), немецкий издатель-книгопродавец, библиограф – 453
- «Страсть к книгам (библиофилия, библиомания) в конце XIX в.» (1896), монография – 453
- Набоков* Владимир Владимирович (1899–1977), русский и американский писатель, поэт, драматург, переводчик, литературовед, критик, педагог – 114–123
- «Пассажиры» (1927), рассказ – 114–118
- «Хорошие читатели и хорошие писатели» (опубл. 1980), эссе – 118–123
- Надь* Лайош (1883–1954), венгерский писатель – 470–478
- «Писатель, книга, читатель» (1941), эссе – 470–478
- «*На Западном фронте без перемен*» – см. *Ремарк* Э. М.
- Назым Хикмет Рат* (1902–1963), турецкий поэт, прозаик, драматург, общественный деятель – 524, 529
- «Чтение» (1935), миниатюра – 529
- Наполеон I Бонапарт* (1769–1821) – 202, 212, 391, 438, 570, 571
- Нарайан* Разинпурам Кришнасвами (р. 1906), индийский писатель, публицист – 542–547
- «На исповеди» (1960), эссе – 542–544
- «О книгах» (1960), эссе – 545–547
- «*Наша охота*» («Наше мысливость», Пельгржимов), чешский журнал для охотников, выходил в каче-

- стве приложения к «Еженедельнику» Чешско-Моравской возвышенности» – 506
- Некрасов* Виктор Платонович (1911–1987), русский советский писатель – 130
- «Посвящается Хемингуэю» (1959), рассказ – 130
- Некрасов* Николай Алексеевич (1821–1878) – 96, 97
- «Мечты и звуки» (1840), сборник стихов – 97
- Нефваль* Жерар де (*псевд.; наст. имя* – Жерар Лаброни; 1808–1855), французский поэт, прозаик, критик, переводчик «Фауста» Гёте – 244
- Непон* (37–68), римский император (54–68) – 570
- Неурда* Пабло (*псевд.; наст. имя* – Нефтали Рикардо Рейес Басуальто; 1904–1973), чилийский поэт, публицист, общественный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1971) – 613, 615–618
- «Мои первые книги», отрывок из автобиографической книги «Признаюсь: я жил» (1974) – 615–617
- «Поэзия», отрывок из автобиографической книги «Признаюсь: я жил» (1974) – 617–618
- «Собрание закатов» (1923), книга стихов – 615
- «Farewell» (1923), стихотв. – 616
- «*Нива*» (СПб.–Пг., 1870–1918), еженедельный иллюстрированный журнал; «Ежемесячные литературные приложения к журналу «Нива» выходили в 1894–1916 гг. – 92
- Николай I* (Николай Павлович Романов; 1796–1855), российский император (1825–1855) – 82, 97
- Николай Кузанский* (Николай Кребс; 1401–1464), философ, теолог; ученый, церковно-политический деятель – 317
- Ницше* Фридрих (1844–1900), немецкий философ, писатель, поэт – 451, 595, 603
- «Воля к власти» (1889–1901), философское сочинение – 391
- «Так говорил Заратустра» (1883–1884), философское сочинение – 462
- «*Новая Россия*» – см. «*Россия*».
- Новомеский* Лацо (*наст. имя* – Ладислав Михал; 1904–1976), словацкий поэт, публицист – 507–509
- «Среди книг» (1941), эссе – 507–509
- «*Новый мир*», русский советский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал, орган СП СССР; выходит в Москве с 1925 г., с 1986 г. – главный редактор С. П. Залыгин – 126
- Нуñez де Арсе* Гаспар (1832–1903), испанский поэт и драматург – 613
- Нуртеев* Абдижамил (р. 1924), казахский советский писатель – 87
- «*Обрученные*» – см. *Мандони* А.
- «*Овод*» – см. *Войнич* Э.Л.
- «*О дивный новый мир*» – см. *Хаксли* О.
- «*Одиссея*» – см. *Гомер*.
- Окуджава* Булат Шалвович (р. 1924), русский советский поэт, прозаик – 171
- Олдингтон* Ричард (1892–1962), английский поэт, прозаик, критик, переводчик – 370–377
- «Поэт и его эпоха» (1924), эссе – 370–377
- Олеша* Юрий Карлович (1899–1960), русский советский писатель – 158
- Омар I* (ок.591 или 581–644), второй халиф (634–644) в Арабском халифате – 520
- «*Орлеан*» – см. *Арагон* Л.
- Ортега-и-Гассет* Хосе (1883–1955), испанский философ, теоретик искусства – 307–325, 625
- «Миссия библиотекаря» (1935), речь – 307–325
- Оруэлл* Джордж (*псевд.; наст. имя* – Эрик Блэр; 1903–1950), английский писатель – 291
- «Скотный двор» (1945), роман – 286
- «1984» (1949), роман-антиутопия – 291
- Осоргин* (*псевд.; наст. фам.* – Ильин) Михаил Андреевич (1878–1942), русский писатель – 37
- Остин Джейн* (1775–1817), английская писательница – 119
- «Мансфилд Парк» (1814), роман – 122, 123
- Остроглазов* Иван Михайлович (1838–1892), русский юрист, библиофил и библиограф – 92
- Павликовская-Ясножеская* Мария (1894–1945), польская поэтесса – 487
- Павлов* Иван Петрович (1849–1936) – 101
- Павловский* Евгений Никанорович (1884–1965), советский ученый-паразитолог – 101
- Падеревский* Игнатий Ян (1860–1941), польский пианист, компо-

- зитор, политический деятель – 494
- Пазолини* Пьер Паоло (1922–1975), итальянский поэт, кинорежиссер, сценарист – 295
- Паисий Хилендарский* (1722–1798), идеолог болгарского национально-освободительного движения XVIII века, историк, монах – 510
- Палладио* (наст. фам. – *ди Пьетро*) Андреа (1508–1580), итальянский архитектор, представитель позднего Возрождения – 194
- «*Патийон*» – см. *Шаррьер* А.
- «*Пармская обитель*» – см. *Стендаль*.
- Паскаль* Блез (1623–1662), французский религиозный философ, писатель, математик и физик:
- «*Письма к провинциалу*» (1657), религиозно-философское сочинение – 188, 208, 228
- Пастернак* Борис Леонидович (1890–1960), русский советский поэт, прозаик, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе (1958) – 65–68, 73, 159, 169, 170
- «Несколько положений» (1919, 1922), эссе – 65–68
- Патер* – см. *Плэйтер* У.
- Паустовский* Константин Георгиевич (1892–1968), русский советский писатель – 159
- «*Кара-Бугаз*» (1932), повесть – 159
- Пеллерен* Жан-Виктор (р. 1899), французский драматург – 374
- Пембертон* Макс (р. 1863), английский писатель – 363
- «*Железный пират*» (1893, приключенческий роман) – 363
- Первотцев* Аркадий Алексеевич (1905–1981), русский советский писатель – 132
- Перес Гальдос* Бенито (1843–1920), испанский писатель – 623
- Перикл* (ок. 490–429 до н. в.), афинский государственный деятель, полководец – 555
- «*Песнь о либелугах*» (XII в.), памятник немецкого героического эпоса – 450
- Петр I* Великий (1672–1725) – 84
- Петрарка* Франческо (1304–1374) – 373
- Печерский* Андрей – см. *Мельников* П. И.
- Пигафетта* Антонио Франческо (ок. 1491 – после 1534), итальянский мореплаватель – 610
- «*Первое кругосветное путешествие*», описание экспедиции Ф. Магеллана (1519–1521) – 610
- Пильняк* (псевд.: наст. фам. – *Возга*) Борис Андреевич (1894–1938), русский советский писатель – 126
- «*Повесть непогашенной луны*» (1926), повесть – 126
- Пиндар* (ок. 518–442 или 438 до н. э.) древнегреческий поэт – 328
- Пиранделло* Луиджи (1867–1936), итальянский писатель, поэт, драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе (1934) – 264–271, 621
- «*Бумажный мир*» (1909), рассказ – 264–271
- Пирогов* Николай Иванович (1810–1881), русский хирург, общественный деятель – 125
- Писарев* Дмитрий Иванович (1840–1868), русский литературный критик и публицист – 131
- Писемский* Алексей Феофилактович (1821–1881), русский писатель – 37, 38
- «*Леший*» (1853), рассказ – 38
 - «*Питершик*» (1852), рассказ – 38
- «*Письма к провинциалу*» – см. *Паскаль* Б.
- Пифагор* Самосский (VI в. до н. э.), древнегреческий мыслитель, религиозный и политический деятель, математик – 595, 596
- Платон* (427–347 до н. э.) – 212, 323, 387, 558, 563, 594, 597, 605
- «*Федр*» (70–60-е гг. VI в. до н. э.), философский диалог – 323
- Платонов* Андрей Платонович (1899–1951), русский советский писатель – 99, 157, 158
- «*Третий сын*» (1936), рассказ – 158
- Плещеев* Алексей Николаевич (1825–1893), русский поэт – 97
- Плиний* Старший (23 или 24–79), римский писатель, ученый – 606
- «*Плуг*», украинская литературная организация – Всеукраинский союз крестьянских писателей, основан в Харькове в 1922 г., ликвидирован в 1932 г. – 70
- Плуцарх* (ок. 45 – ок. 127), древнегреческий писатель и мыслитель, историк – 432
- По* Эдгар Аллан (1809–1849), американский писатель, поэт, критик – 593
- Погорельский* Антоний (псевд.; наст. имя – Алексей Алексеевич *Перовский*; 1787–1836), русский писатель – 86
- Поджали* Ренато (1907–1963), итальянский литературовед, критик – 288
- «*Теория искусства авангардизма*», монография – 288
- «*Подражание Христу*» – см. *Фома Кемпийский*.

- Полемсаев* Александр Иванович (1804–1838), русский поэт – 97
– «Кальян» (1833), сборник стихов – 97
– «Чир-Юрт» (1832), поэма – 97
– «Эрпели» (1830), поэма – 97
Полонский Яков Петрович (1819–1898), русский поэт, прозаик – 97
«*Полю и Виргиния*» – см. *Бернарден де Сен-Пьер* Ж. А.
Пампей Великий Гней (106–48 до н.э.), римский полководец – 574
Поп Александр (1688–1744), английский поэт, теоретик классицизма – 366
«*Похождения Антонина Вондрейца*» – см. *Чапек-Ход* К. М., «Антонин-Вондрейц».
«*Правительственный вестник*» (СПб. – Пг., 1869–1917), ежедневная официальная газета российского Министерства внутренних дел (с марта 1917 г. – «Вестник Временного правительства») – 90
«*Превращения*» – см. *Кафка* Ф.
Прибыльова-Корба (урожд. *Мейнгард*) Анна Павловна (1849–1939), русская революционерка-народница – 154
«*Происхождение видов*» – см. *Дарвин* Ч.
Прокотович Николай Яковлевич (1810–1875), русский поэт – 96
Пруст Марсель (1871–1922), французский писатель – 202–204, 209, 210, 212, 213, 216, 292, 293, 498, 621, 624
– «Власть романиста» (1895–1900), эссе – 202
– «О стиле Флобера» (1919), эссе – 256
– «О чтении» (1890-е годы) эссе – 202–204
Прянишников Дмитрий Николаевич (1865–1948), советский ученый, основатель научной школы агрохимии – 101
Птолемеи, царская династия в эллинистическом Египте в 305–30 до н.э. – 355
Пуатье Диана де, герцогиня Валентина (1499–1566), фаворитка французского короля *Генриха II* – 188
Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742–1775) – 85
«*Путешествия Гулливера*» – см. *Свифт* Дж.
Пухоль Валеро, латиноамериканский журналист – 628
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) – 27, 38, 39, 48, 70, 76–77, 81, 83, 84, 85, 86, 97, 98, 101, 135, 159, 163, 166, 167, 171, 175, 176, 525
– «История Пугачева» (1833), исторический труд – 85
– «Капитанская дочка» (1836), повесть – 39
– «Моцарт и Сальери» (1830, опубл. 1831), «маленькая трагедия» – 525–526
– «Повести Белкина» (1830, опубл. 1831), цикл повестей – 98
– «Я помню чудное мгновенье...» (1825), стихотв. – 98
Пушбышевский Станислав (1868–1927), польский писатель – 496
– «Письма» (опубл.; 1937–1938, т. 1–2; 1954, т. 3) – 496
Пэйтер Уолтер (1839–1894), английский писатель, критик; историк искусства:
– «Очерки по истории Ренессанса» (1873, рус. пер. под названием «Ренессанс», 1912) – 451
Раабе Вильгельм (1831–1910), немецкий писатель – 444, 452
Рабле Франсуа (1494–1553) – 238, 250, 255, 259, 286, 622
Раковский Георги (1821–1867), болгарский революционер, писатель – 510
Рамбальди Карло (р.1925), американский мультипликатор, по происхождению итальянец – 298, 299
Расин Жан (1639–1699), французский поэт и драматург, представитель классицизма – 188, 331
Распутин Валентин Григорьевич (р.1937), русский советский писатель – 160
Рассел Бертран (1872–1970), английский философ, логик, математик, общественный деятель; лауреат Нобелевской премии по литературе (1950) – 538
Рассел Джордж (*наст. имя; псевд.* – *А. Е.*; 1867–1935), английский поэт – 389
– «Жерминаль», стихотв. – 389
Ревёрди Пьер (1899–1960), французский поэт – 617
«*Ревю музыкаль*», журнал, посвященный новинкам музыкального искусства; выходит в Париже с 1920 г. (основан А. Прюньером, Р. Бернаром и др.) – 495
ар-Рейхани Амин ибн Фарис (1876–1940), арабский прозаик, поэт, публицист, литературовед (Ливан) – 558
– «Зерна для сеятелей» (1910), эссе – 558
Ремарк Эрих Мария (1898–1970), немецкий писатель:
– «На Западном фронте без перемен» (1929), роман – 411
Рембо Артюр (1854–1891), французский поэт – 54, 612, 613, 621

- Рембрандт* Харменс ван Рейн (1606–1669) – 192, 238, 262, 328, 329
- Ремизов* Алексей Михайлович (1877–1957), русский писатель – 37–42
- «Книга», глава из книги воспоминаний «Подстриженными глазами» (1951) – 37–42
- «Посолонь» (1907), книга рассказов – 37
- «Убийца», рассказ – 37
- Ренан* Жозеф Эрнест (1823–1892), французский писатель – 623
- Репих* Николай Константинович (1874–1947), русский живописец и театральный художник, археолог, писатель, публицист, общественный деятель – 32–36
- «Любите книгу» (1931), статья – 32–36
- Рёскин* Джон (1819–1900), английский писатель, теоретик искусства – 28, 213, 367, 451, 530
- «Былое» (1886–1900), книга мемуаров (неоконч.) – 451
- «Камни Венеции» (1851–1853) – 451
- «Сезам и лилии» (1865, расшир. изд. 1871) – 451
- Рец* Жан Франсуа Поль де Гонди (1613–1679), французский писатель, кардинал, политический деятель – 212
- Рибальта* Франсиско (1565–1628), испанский художник – 328
- Рильке* Райнер Мария (1875–1926), австрийский поэт, прозаик – 228, 497
- «Записки Мальте Лауридса Бригге» (1910), повесть – 228
- «*Ринашиста*» ("Rinascita" – «Возрождение», еженедельный журнал, политический и теоретический орган Итальянской коммунистической партии, основан в 1944 г. – 279
- Риттер* Иоганн Вильгельм (1776–1810), немецкий физик – 399
- «Фрагменты из наследия молодого физика» (1810) – 399
- Ричардсон* Сэмюэл (1689–1761), английский писатель – 355
- Роббинс* Хэрролд (р. 1916), американский писатель – 295
- Роб-Грийе* Ален (р. 1922), французский писатель, один из основоположников «нового романа» – 290
- «*Робинзон Крузо*» – см. *Дефо* Д., «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо...».
- Робе* Эрвин (1845–1898), немецкий филолог, исследователь античности – 451
- «Психея. Культ души и вера в бессмертие у греков» (1894), монография – 451
- Рождественский* Роберт Иванович (р. 1932), русский советский поэт – 170
- Розеггер* (*псевд.; наст. фам.* – *Кеттенфейер*; 1843–1918), австрийский писатель – 452
- Роллан* Ромен (1866–1944), французский писатель, публицист, общественный деятель, ученый-музыковед; лауреат Нобелевской премии по литературе (1915) – 28, 212
- «Жан Кристоф» (1904–1913), роман-эпопея – 28
- «*Роман о Розе*», поэма, памятник французской средневековой литературы (XIII в.) – 188
- Ронсар* Пьер де (1524–1585), французский поэт, глава «Плеяды» – 54
- Ротшиль* В. – см. *Савицков* Б. В.
- «*Россия*» (М., 1922–1925, в январе-мае 1926 г. – «Новая Россия»), литературно-художественный журнал «сменовеховского» направления (издатель – И. Г. Лежнев) – 126
- Ростан* Эдмон (1868–1918), французский поэт и драматург – 133
- Руайе-Коллар* Пьер Поль (1763–1845), французский философ, политический деятель, член Французской Академии – 327
- Рубенс* Питер Пауэл (1577–1640) – 238
- «*Русский инвалид*» (СПб.–Пг., 1813–1917), русская военная газета, с 1869 г. – орган Военного министерства – 90
- Руссо* Жан Жак (1712–1778) – 189, 212, 250
- «Исповедь» (1766–1769, опубл. 1782–1789), книга-автобиография – 250
- «Юлия, или Новая Элоиза» (1761), роман в письмах – 189
- Саватье* Робер (р. 1923), французский поэт, романист и литературный критик – 451–452
- «Франциск Ассизский», биография – 451
- Сава* Джордж (*псев.; наст. имя* – Джордж Алексис *Банкофф*; р. 1903), английский писатель – 475
- «Целительный нож», роман – 475
- Савицков* (*наст. фам.; псевд.* – В. *Ротшиль*) Борис Викторович (1879–1925), русский революционер, один из лидеров партии эсеров, писатель – 135
- «То, чего не было» (1914), роман – 135

- Савонарола* Джироламо (1452–1498), доминиканский монах, обличитель папства, апологет аскетизма – 202
- «*Сага о Форсайтах*» – см. *Голсуорси* Дж.
- Саккетти* Франко (ок. 1330–1400), итальянский писатель – 446
- Салаверриа* Хосе Мариа (1873–1940), испанский писатель, критик – 333–335
- «Трагедия в библиотеке» (1919), эссе – 333–335
- Салтыков-Щедрин* Михаил Евграфович (1826–1889) – 37
- Сальвини* Витторио, итальянский писатель – 282
- Самойлов* (псевд.; наст. фам. – *Кауфман*) Давид Самуилович (р. 1920), русский советский поэт, переводчик – 171
- «Чайная», стихотв. – 171
- Санд* Жорж (псевд.; наст. имя – Аврора Дюпен; 1804–1876), французская писательница – 212, 213
- Сантаяна* Джорж (1863–1952), американский философ, один из главных представителей критического реализма – 217
- Сармиенто* Доминго Фаустино (1811–1888), аргентинский писатель, педагог и политический деятель – 599
- «Факундо» (1850), книга эссе – 599
- «*Сараззин*» – см. *Бальзах* О. де.
- Сафр* Жан Поль (1905–1980), французский писатель, публицист, философ, лауреат Нобелевской премии по литературе (1964) – 233–249
- «Читать», отрывок из автобиографической книги «Слова» (1964) – 233–249
- Сведенборг* Эмануэль (1688–1772), шведский ученый, философ, теософ-мистик – 593
- Светлов* Михаил Аркадьевич (1903–1964), русский советский поэт – 171
- Свифт* Джонатан (1667–1745), английский писатель-сатирик – 348, 356, 520, 621
- «Описание войны между древними и современными книгами в библиотеке св. Джеймса» (1697–1698, опублик. 1704) – 520
- «Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера...» (1726), роман – 356
- «Сказка о бочке» (1697), памфлет – 348
- Сельвинский* Илья (Карл) Львович (1899–1968), русский советский поэт – 166
- «*Семья Тибо*» – см. *Мартен* дю Гар Р.
- Сенека* Луций Анней (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.), римский политический деятель, философ и писатель – 597, 606
- Сенкевич* Генрик (1846–1916), польский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1905) – 158–159, 578
- «В пустыне и пуше» (1910–1911), повесть – 159
- «Камо грядеши» (1894–1896), роман – 158
- «Крестоносцы» (1897–1900), роман – 158
- «Огнем и мечом» (1883–1884), роман – 158
- «Пан Володыёвский» (1887–1888), роман – 158
- Сен-Симон* Клод Анри де Рувруа (1760–1825), граф, французский мыслитель, социалист-утопист – 212, 216, 315
- Сент-Экзюпери* Антуан де (1900–1944), французский писатель – 227–229, 610
- «Воспоминания о некоторых книгах» (1941), эссе – 227–229
- «Ночной полет» (1931), роман – 227
- «Планета людей» (1939), роман – 229
- Серафимович* (псевд.; наст. фам. – *Потов*) Александр Серафимович (1863–1949), русский советский писатель:
- «Железный поток» (1924), роман – 110
- Сервантес де Сааведра* Мигель (1547–1616) – 46, 215, 250, 328, 333, 391–392, 431
- «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605, т. I; 1615, – Т. 2), роман – 45–47, 327, 391–392, 437, 449, 598, 599, 601
- Серебрянский* Андрей Порфирьевич (1809–1838), русский поэт, земляк и друг А. В. Кольцова – 36
- Серена* Густаво, итальянский киноактер – 621
- Сеченов* Иван Михайлович (1829–1905), русский ученый-физиолог – 101
- «*Сид*» – см. *Кортель* П.
- Силезус* Ангелус (т.е. «Силезский вестник» – прозвище; наст. имя – Иоганн *Шефлер*; 1624–1677), немецкий поэт, врач – 606
- Сименон* Жорж (1903–1989), французский писатель – 230–232
- «[Обучать искусству чтения]», отрывок из второй части книги мемуаров «Я диктую» – 230–232
- Симолин*, барон фон, мюнхенский библиофил – 398

- Симонов* Константин (Кирилл) Михайлович (1915–1979), русский советский поэт, прозаик, публицист – 168
- «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» (1941), стихотв. – 168
- «*Скамандр*» (Варшава, 1920–1928, 1935–1939), ежемесячный литературный журнал, редакторы-издатели – В. Завистовский, М. Грыдзевский; выходил нерегулярно – 431
- «*Скотный двор*» – см. *Оруэлл* Дж.
- Скотт* Вальтер, сэр (1771–1832) – 363, 570, 578
- «Айвенго» (1820), роман – 363
- «Дева озера» (1810), поэма – 363
- «Роб Рой» (1818), роман – 363
- «*Слепящая тьма*» – см. *Кёстлер* А.
- Сливинский* – см. *Эрфрейбергер-Сливинский* Я.
- Слонимский* Антони (1895–1976), польский поэт, прозаик – 491
- Слончинская* Анна, польская поэтесса – 493, 494
- Слуцкий* Борис Абрамович (1919–1986), русский советский поэт – 170
- «Давайте после драки помашем кулаками...», стихотв. – 171
- «Кёльнская яма», стихотв. – 171
- «Лошади в океане», стихотв. – 171
- Смеляков* Ярослав Васильевич (1913–1972), русский советский поэт – 171
- «Строгая любовь» (1956), поэма – 171
- Смирдин* Александр Филиппович (1795–1857), русский книгопродавец, издатель и библиограф – 98
- Смирнов-Сокольский* Николай Павлович (1898–1962), советский библиограф, библиофил, историк книги, артист эстрады – 92
- «Рассказы о книгах» (1959) – 92
- Собеский* Ян (1629–1696), король (под именем Ян III) Речи Посполитой (1674–1696), польский полководец; разгромил в сражении у Хотина (1673) турецкую армию – 578
- «*Советский спорт*», ежедневная газета, орган Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР и ВЦСПС; издается в Москве с 1924 г. (первоначальное название – «Красный спорт», в 1928–1932 гг. не выходила; с 1946 г. – «Советский спорт») – 170
- «*Современник*» (СПб., 1836–1866), русский литературный и общественно-политический журнал, основан А. С. Пушкиным; с 1847 г. редакторы-издатели Н. А. Некрасов и И. И. Панаев – 97
- Соколов* Владимир Николаевич (р. 1928), русский советский поэт – 170
- Сократ* (470/469–399 до н.э.) – 597
- Сологуб* (псевд.; наст. фам. – *Тетершиков*) Федор Кузьмич (1863–1927), русский поэт, прозаик – 73
- Солоухин* Владимир Алексеевич (р. 1924), русский советский поэт, прозаик, переводчик – 169
- Сотиков* Василий Степанович (1765–1818), русский книговед, один из основоположников русской библиографии – 92
- Софокл* (ок. 496–406 до н.э.), древнегреческий драматург – 450, 610, 612
- «Антигона» (ок. 441), трагедия – 490
- «Эдип в Колоне» (пост. 401 до н.э.), трагедия – 490
- «Эдип-царь» (ок. 425), трагедия – 610
- Софроний Врачанский* (церк. имя; наст. имя – *Стойко Владислав*, 1739–1813), болгарский писатель, деятель болгарского национального возрождения народного просвещения – 510
- Спартак* (?–71 до н.э.), вождь крупнейшего восстания рабов в Италии – 150
- Спенсер* Эдмунд (ок. 1552–1599), английский поэт – 387
- Спилберг* Стивен (р. 1947), американский кинорежиссер – 298, 299
- Спиноза* Бенедикт (Барух) (1632–1677), нидерландский философ – 212, 395, 489
- «Этика» (1677), трактат – 395, 489
- Сремац* Стеван (1855–1906), сербский писатель – 526
- Сташкевич* Николай Владимирович (1813–1840), русский поэт, глава философского кружка – 95, 96
- Стейнбек* Джон Эрнст (1902–1968), американский писатель, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1962) – 476
- «Гроздь гнева» (1939), роман – 476
- Стеккелти* Лоренцо – см. *Гуэррени* О.
- Стегаль* (псевд.; наст. имя – *Апри Мари Бейль*, 1783–1842), французский писатель – 79, 80, 125, 212, 243, 249, 251, 344, 506, 584
- «Красное и черное» (1831), роман – 242, 506, 584

- «Пармская обитель» (1839), роман – 215, 251, 584
- Стефн* Лоренс (1713–1768), английский писатель – 85, 300, 567
- «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1760–1767), роман – 292, 300
- Стивенсон* Роберт Льюис (1850–1894), английский писатель, поэт, публицист, критик – 359, 363, 570
- «Маркхейм» (1885), «мелодраматический фарс в 3-х актах» – 363
- Стравиинский* Игорь Федорович (1882–1971), русский композитор, дирижер – 166, 495
- «*Строитель Солыес*» – см. *Ибсен* Г.
- Сувестр* Пьер (1874–1914), французский писатель – 296
- «Фантомас» (1911–1913), серия из 32 детективных романов (в соавторстве с М. Алленом) – 296
- Свифт* Алджернон Чарлз (1837–1909), английский поэт, драматург, критик – 67
- «Шателляр» (1865), первая часть драматической трилогии о *Марии Стюарт* – 67
- Сумароков* Александр Петрович (1717–1777), русский поэт, драматург – 86
- Сурков* Алексей Александрович (1899–1983), русский советский поэт, общественный деятель – 168
- Сухачев* Василий, русский поэт – 93
- «Листки из записной книжки Василия Сухачева» (1830) – 93
- Сципион Африканский Старший* (ок. 235 – ок. 183 до н.э.), римский полководец, разгромил войска *Ганнибала* при *Заме* (202) – 431
- Сю Эжен* (псевд., наст. имя – *Мари Жозеф*; 1804–1857), французский писатель – 17, 621
- Тагор* Рабиндранат (1861–1941), индийский поэт, прозаик, общественный деятель; лауреат Нобелевской премии по литературе (1913) – 530–541
- «Первый номер» (1917), рассказ – 530–541
- «*Таймс*» ("The Times"), ежедневная газета, издается в Лондоне; основана в 1785 г. – 291
- Тарасов* Николай Александрович, русский советский поэт, журналист – 170
- Тарле* Евгений Викторович (1875–1955), русский ученый-историк – 100, 247
- «Наполеон» (1936), монография – 100, 247
- Тассо* Торквато (1544–1595), итальянский поэт – 198
- Тацит* Публий Корнелий (ок. 55 – ок. 120), римский историк – 212, 348
- Твардовский* Александр Трифонович (1910–1971), русский советский поэт, общественный деятель – 169, 170, 171
- «За далью – даль» (1950–1960), поэма – 171
- Твен* Марк (псевд., наст. имя – *Сэмюэл Ленгхорн Клеменс*; 1835–1910), американский писатель, публицист – 63, 216, 570, 584
- «Приключения Гекльберри Финна» (1884), роман – 584
- Теккерей* Уильям Мейкпис (1811–1863), английский писатель, публицист, критик, художник
- «Ярмарка пшеславия» (1847–1848), роман – 356
- Темпл* Уильям, сэр (1628–1699), английский государственный деятель, дипломат, литератор, знаток и любитель античности – 348
- Теннисон* Альфред (1809–1892), английский поэт – 367, 531
- Тёнпфер* Родольф (1799–1846), швейцарский писатель и художник-карикатурист – 620
- Тёрёк* Реже (1895–1966), венгерский писатель – 476
- «Трудно выйти замуж» (1938), роман – 476
- Тереций* Публий Афер (ок. 195 – 159 до н.э.), римский комедиограф – 238
- Тёрнер* Уильям (1775–1851), английский живописец и график – 28
- Тибоде* Альбер (1874–1936), французский историк литературы, критик – 256
- «*Тихий Дон*» – см. *Шолохов* М. А.
- Тихонов* Николай Семенович (1896–1979), русский советский поэт, общественный деятель – 168
- Токвиль* Алексис (1805–1859), французский историк, социолог и политический деятель – 315
- Толстой* Алексей Николаевич (1883–1945), русский советский писатель – 48–52, 151, 158
- «О читателе» (1924), статья – 48–52
- «Хождение по мукам» (1922–1941), роман-трилогия – 151
- Толстой* Лев Николаевич (1828–1910) – 44, 45, 50, 51, 79, 81, 83, 85, 86, 98, 125, 143, 151, 152, 158, 160, 161, 163, 215, 247, 251, 485, 498, 539, 584, 610, 621, 623
- «Азбука» (1871–1872), книга

- для детского чтения – 124
- «Анна Каренина» (1873–1877), роман – 78, 356, 486, 584
- «Война и мир» (1863–1869), роман – 86, 98, 151, 210, 215, 216, 248, 476, 486, 584, 610
- Тредиаковский* Василий Кириллович (1703–1769), русский поэт, переводчик, ученый-филолог – 97
- Трембецкий* Станислав (1739–1812), польский поэт – 494
- «*Три мушкетера*» – см. *Дюма А.*
- «*Тристам Шенди*» – см. *Стефн Л.*, «Жизнь и мнения Тристама Шенди, джентльмена».
- Трифонов* Юрий Валентинович (1925–1981), русский советский писатель – 154–160
- «Другая жизнь» (1973), повесть – 154
- «Книги, которые выбирают нас» (1976), интервью – 154–160
- «Нетерпение» (1975), роман – 154
- «Студенты» (1950), роман – 159
- «Утоление жажды» (1963), роман – 159
- Тувим* Юлиан (1894–1953), польский поэт, переводчик – 491
- Туманский* Василий Иванович (1800–1860), русский поэт – 85
- Тургенев* Иван Сергеевич (1818–1883) – 37, 44, 80, 98, 100, 539, 584
- «Дворянское гнездо» (1859), роман – 45
- «Живые мощи» (1874), рассказ – 41
- «Записки охотника» (1847–1852), цикл рассказов и очерков – 98
- «Первая любовь» (1860), повесть – 44
- «*Тути-наме*» («Книга попугая»); персидско-таджикский литературный памятник; поучительно-сказочная книга в прозе, написанная Зиа-ад-дином Нахшаби в 1330 г. в Индии – 447
- «*Тысяча и одна ночь*» (окончат. редакция – XV–XVI вв.), собрание арабских народных сказок – 437, 606
- Тьер* Адольф (1797–1877), французский государственный деятель, историк – 186
- Тли* Ипполит (1828–1893), французский историк литературы, философ, родоначальник культурно-исторической школы – 451
- 623
- «Философия искусства» (1865), монография – 451
- Тютчев* Федор Иванович (1803–1873) – 79, 97, 156, 159, 169, 173
- Уайльд* Оскар (1854–1900), английский писатель, поэт, критик – 518, 519
- «Баллада Редингской тюрьмы» (1898), поэма – 518
- «Перо, карандаш и яд», эссе – 518
- Уистлер* Джеймс Эббот Макнейл (1834–1903), американский живописец, близкий к французским импрессионистам – 28
- Уитмен* Уолт (1819–1892), американский поэт – 449, 570
- Уланд* Людвиг (1787–1862), немецкий поэт-романтик, историк литературы – 444, 445
- Уламуньо* Мигель де (1864–1936), испанский писатель, поэт, драматург, философ – 302–306
- «Как следует составлять библиотеку» (1912), эссе – 302–306
- «Любовь и педагогика» (1902), философский роман – 304
- «*Унесенные ветром*» – см. *Митчелл М.*
- Уоллес* Эдгар Ричард Горацио (1875–1932), английский писатель – 544
- Урбановская* З. (1849–1939), польская писательница:
- «Заколдованный Гучо» (1884), повесть для детей – 490
- Уртадо де Мендоса* Диего (1503–1575), испанский поэт, дипломат – 328
- Уэйлрайт* Томас Гриффитс (1794–1852), английский поэт и живописец, критик – 518
- Уэллс* Герберт Джордж (1866–1946), английский писатель – 350–351, 621
- «Борьба миров» (1898), роман – 621
- «Остров доктора Моро» (1896), роман – 621
- «Первые люди на Луне» (1901), роман – 621
- «Роль книгопечатания в развитии сознания», отрывок из книги «Очерк всемирной истории» (1920) – 350–351
- «Человек-невидимка» (1897), роман – 621
- Фадеев* Александр Александрович (1901–1956), русский советский писатель, общественный деятель – 109
- «*Фауст*» – см. *Гёте И. В.*
- Феваль* Поль (1817–1887), французский писатель – 226
- Федоров* Павел Ильич (1905–1983), русский советский писатель: – «Генерал Доватор» (1950), роман – 135

- Фекете* Дюла (р.1922), венгерский писатель, публицист – 483–486 – «Ворота в бесконечность» (1983), эссе – 483–486
- Фенелон* Франсуа (1651–1715), французский писатель, религиозный деятель – 182
- Ферретти* Джан Карло (р. 1930), итальянский литературовед, критик – 282
- Фет* (Шеншин) Афанасий Афанасьевич (1820–1892), русский поэт – 97
– «Лирический пантеон» (1840), сборник стихов – 97
- Фигнер* Вера Николаевна (1852–1942), русская революционерка, писательница – 127, 133, 154
- Филатов* Лев Иванович, русский советский журналист, автор произведений о спорте – 170
- Филдинг* Генри (1707–1754), английский писатель, публицист – 567, 570, 584
– «Джозеф Эндрюс» (1742), роман – 584
– «История Тома Джонса, найденыша» (1749), роман – 584
- Фишер* Бад, американский писатель-юморист – 620
- Фишер* Фридрих Теодор (1807–1887), немецкий писатель и литературный критик – 452
– «Еще один», роман – 452
- Фламарион* Камилл (1842–1925), французский астроном, автор известных научно-популярных книг – 25
- Флобер* Гюстав (1821–1880), французский писатель – 27, 28, 48, 54, 100, 118, 172, 202, 431, 476, 498, 584, 623
– «Воспитание чувств» (1869), роман – 210, 584
– «Госпожа Бовари. Провинциальные нравы» (1857), роман – 119, 210, 249, 476, 486, 520, 539, 584
– «Простое сердце» (1877), повесть – 100
- Фолкнер* Уильям (1897–1962), американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1949) – 161, 578–579, 610, 611
– «Укрепить человеческие сердца» (1953), предисловие – 578–579
- Фоллет* Кеннет Мартин (*псевд., наст. имя* – Саймонд *Майлз*; р.1949), американский писатель – 295
- Фома Кемпийский* (1379 или 1380–1471), немецкий монах, религиозный мыслитель – 186
– «Подражание Христу», религиозное сочинение – 186
- Фонтане* Теодор (1819–1898), немецкий писатель – 411
- Фонтенель* Бернар де Бовье де (1657–1757), французский писатель – 238
- Фор* Поль (1872–1960), французский поэт, драматург – 55
- Форсайт* Фредерик (р.1938), английский писатель, автор остро сюжетных бестселлеров:
– «День Шакала» (1971), роман – 614
- Форстер* Эдуард Морган (1879–1970), английский писатель – 355, 384
- Франклин* Майлс Стелла (1879–1954), австралийская писательница – 629
- Фраис* Анатоль (*псевд., наст. имя* – Анатоль Франсуа *Тибо*; 1844–1924), французский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1921) – 182–189, 393, 396, 506, 623
– «Любовь к книгам» (1888), эссе – 182–189
- Фрейд* Зигмунд (1856–1939), австрийский врач-психиатр и психолог, основатель психоанализа – 372, 481, 502, 623
- Фрейзер* Дональд, шотландский поэт – 617
- Фрейтаг* (Фрайтаг) Густав (1816–1895), немецкий писатель – 446
– «Картины из немецкого прошлого» (1859) – 446
- Фреиссен* Густав (1863–1945), немецкий ученый, писатель, публицист – 444
- Фриш* Макс (р.1911), швейцарский писатель, драматург – 462–467
– «Неначитанный книголюб» (1935), эссе – 462–465
– «При чтении» (1946), фрагмент из дневника – 465–467
- Фроленко* Михаил Федорович (1848–1938), русский революционер – 154
- Фромантен* Эжен (1820–1876), французский писатель и художник:
– «Доминик» (1862), роман – 210
– «Футбол-хоккей», еженедельное приложение к газете «Советский спорт»; выходит в Москве с 1960 г. – 170
- Фуцик* Юлиус (1903–1943), чешский писатель, критик, журналист, революционный деятель – 100, 101
– «Репортаж с петлей на шее» (опубл. 1945), документальная книга – 100
- Хаггард* Генри Райдер (1856–1925), английский писатель, публи-

- цист – 384
– «Копи царя Соломона» (1885), роман – 386, 389
Хаджи-Мурат (конец 1790-х г.г. – 1852), участник освободительной борьбы кавказских горцев – 82
Хадсон Уильям Генри (1841–1922), английский писатель и орнитолог – 584
– «О далеком и давнем» (1918), автобиографическая книга – 584
Хаксли Олдос (1894–1963), английский писатель, публицист, критик – 224, 378–383
– «Книжная лавка» (1920), рассказ – 378–383
– «О дивный новый мир» (1932), роман – 291, 499
Хаксли (Гексли) Томас Генри (1825–1895), английский биолог, соратник Ч. Дарвина – 531
Харди Томас (1840–1928), английский писатель-романист, поэт – 367, 376
– «Династы» (1903–1908), эпическая поэма – 376
Хвостов Дмитрий Иванович (1757–1835), граф, русский поэт – 85
Хейердал Тур (р.1914), норвежский писатель, путешественник, ученый – 101
– «Аку-Аку» (1957), книга путевых очерков – 101
– «Путешествие на Кон-Тики» (1949), книга путевых очерков – 101
Хемингуэй Эрнест Миллер (1899–1961), американский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1954) – 99, 130, 161, 486, 580–586, 612
– «Зеленые холмы Африки» (1935), книга путевых очерков – 125
– «Канарейка в подарок» (1927), рассказ – 612
– «Маэстро задает вопросы» (1935), статья – 580–586
– «Пятая колонна» (1938), пьеса – 130
Хеттнер Герман (1821–1882), немецкий историк литературы, искусствовед – 452
– «История литературы XVIII-го века» (1856–1870, т. 1–6) – 452
«*Химина дяди Тома*» – см. *Бичер-Стоу* Г.
Хикмет – см. *Назым Хикмет Рап.*
Хифи Эмиль, немецкий библиофил, книгопродавец – 398
Хлебников Велимир (Виктор) Владимирович (1885–1922), русский поэт – 73, 86
Ходасевич Владислав Фелицианович (1886–1939), русский поэт, критик – 73
Ходжсон Шедворт Холвей (1832–1912), английский философ – 305
«*Холодный дом*» – см. *Диккенс* Ч.
Хоуп Энтони (*псевд., наст. имя* – сэр Энтони Хоуп *Хоккинс*; 1863–1933), английский юрист, писатель, автор исторических романов – 386
– «Софья Кравонская» (1906), роман – 386
Хоулс Уильям Дин (1837–1920), американский критик, писатель – 570
Хух Рикарда (1864–1947), немецкая писательница, литературовед – 452
– «Расцвет романтизма» (1899–1902), монография – 452
Хэршел (Гершель) Джон Фредерик Уильям (1792–1871), английский философ, астроном, критик, эссеист – 217
Цвейг Стефан (1881–1942), австрийский писатель, публицист, эссеист – 99–100, 135, 427–434
– «Благодарность книгам», фрагмент из книги эссе «Встречи с людьми, книгами, городами» (1937) – 427–432
– «Книга как врата в мир», фрагмент из книги эссе «Встречи с людьми, книгами, городами» (1937) – 432–434
– «Лепорелла» (1929), рассказ – 100
Цветаева Марина Ивановна (1892–1941), русская поэтесса, прозаик, драматург, переводчик – 159, 170
«*Цветы зла*» – см. *Бодлер* Ш.
Цезарь Гай Юлий (102 или 100–44 до н.э.) – 571, 574
Циолковский Константин Эдуардович (1857–1935), русский советский ученый и изобретатель, основоположник современной космонавтики – 101
Цицерон Марк Туллий (106–43 до н.э.) – 568, 574
Чапек Карел (1890–1938), чешский писатель, драматург, публицист – 501–506
– «Как читают книги» (1926), эссе – 503–504
– «Куда деваются книги» (1926), эссе – 503–504
– «Что когда читается» (1927), эссе – 504–506
Чапек-Ход Карел Матей (1860–1927), чешский писатель:
– «Антонин Вондрейц» (1917–1918), роман – 504

- Чаплин* Чарлз Спенсер (1889–1977), американский актер, сценарист, режиссер – 621
- Чапыгин* Сергей Алексеевич (1869–1942), советский ученый, один из основоположников аэродинамики – 101
- Чернышевский* Николай Гаврилович (1828–1889) – 127
- «Что делать?» (1863), роман – 127
- Черчилль* Чарлз (1731–1764), английский поэт-сатирик – 348
- Честертон* Гилберт (Джилберт) Кит (1874–1936), английский писатель, поэт, публицист, критик – 358–364
- «В защиту детективной литературы» (1901), эссе – 358–361
- «В защиту «дешевого чтения» (1901), эссе – 361–364
- Чехов* Антон Павлович (1860–1904) – 51, 80, 98, 99, 100, 136–146, 157, 158, 160, 213, 216, 249, 251, 506
- Чехова* Мария Павловна (1863–1957), русский советский мемуарист, текстолог, сестра А. П. Чехова и его помощница; директор дома-музея А. П. Чехова в Ялте (1921–1957) – 143
- Чивер* Джон (1912–1982), американский писатель – 587–588
- «Художественная литература – наше самое сокровенное и действенное средство общения» (1979), статья – 587–588
- Чингисхан* (ок. 1156–1227), основатель и великий хан Монгольской империи (с 1206 г.) – 493
- «Шакал» – см. *Форсайт* Ф., «День Шакала».
- Шаламов* Варлам Тихонович (1907–1982), русский советский писатель, поэт, переводчик – 124–135
- «Слишком книжное» (ок. 1960), отрывок из книги воспоминаний – 124–135
- Шамиль* (1799–1871), 3-й имам Дагестана и Чечни (1834–1859) – 82
- Шаррьер* Анри (р. 1906), французский автор описания собственно уголовного прошлого:
- «Папийон» («Мотылек», 1969; лит. запись Ж.-П. Кастельно), автобиографическая книга – 614
- Шатобриан* Франсуа-Рене де (1768–1848), французский писатель-романтик, политический деятель – 213, 318
- «Загробные записки» (опубл. 1848–1850), книга мемуаров – 318
- Швейцер* Шарль, французский языковед, лексикограф, автор учебных пособий, историк литературы – 233–236
- Шевченко* Тарас Григорьевич (1814–1861) – 98, 168
- «Кобзарь» (1860), книга стихов – 98
- Шекспир* Уильям (1564–1616) – 56, 84, 101, 347, 352, 356, 368, 369, 372, 401, 449, 451, 570, 599, 601, 605
- «Антоний и Клеопатра» (1607, опубл. 1623), трагедия – 369
- «Гамлет, принц Датский» (1601, опубл. 1603), трагедия – 327, 328, 456
- «Король Генрих IV» (1597, ч. I; 1598, ч. II), историческая хроника – 356
- Шеллер* (наст. фам., псевд. – *Михайлов*) Александр Константинович (1838–1900), русский писатель – 92
- Шелли* Перси Биш (1792–1822), английский поэт-романтик – 431
- Шеффер* Вадим Сергеевич (р. 1915), русский советский поэт, прозаик – 169
- «Пригород» (1946), сборник стихов – 169
- Шиллер* Фридрих (1759–1805) – 451
- «Вильгельм Тель» (1804), драма – 437, 438
- Шимановский* Кароль (1882–1937), польский композитор, пианист – 495
- «Шиповник» (СПб.-Пг., 1906–1918), русское книжное издательство, основано З. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом; выпускало произведения отечественных и зарубежных писателей, книги по философии, искусству, театру; литературно-художественные альманахи «Шиповника» (1907–1917, кн. 1–26) тяготели к модернизму – 74
- Шкловский* Виктор Борисович (1893–1984), русский советский писатель, литературовед, критик, теоретик литературы – 81–88
- «В дороге зовущие» (1973), статья – 81–88
- Шолохов* Михаил Александрович (1905–1984), русский советский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1965) – 109, 151, 161
- «Тихий Дон» (1928–1940, т. 1–4), роман-эпопея – 109, 151, 486
- Шольц*, Вильгельм (Василий) Богданович, фон (1798–1860), русский врач; первый из медиков, осматривавший раненого А. С. Пушкина – 101

- Шопенгауэр* Артур (1788–1860), немецкий философ – 329
- Шоу* Джордж Бернард (1856–1950), английский драматург, писатель, публицист, музыкальный и театральный критик, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1925) – 593, 598, 606
- «Цезарь и Клеопатра» (1898), драма – 593
- Шлегель* Освальд (1880–1936), немецкий философ, представитель т. н. «философии жизни», историк и публицист – 593
- «Закат Запада» (1921–1923, т. I–2), историко-философское сочинение – 593
- Штауффер-Берн* Карл (1857–1891), немецкий художник – 435
- Шторм* Теодор (1817–1888), немецкий поэт, прозаик – 411, 446, 449
- Штраус* Эмиль (р. 1866), немецкий писатель – 446
- «Дружине Хайн» (1902), роман – 446
- «Хозяин-ангел» (1901), повесть – 446
- Шуберт* Франц (1797–1828) – 436
- Шукшин* Василий Макарович (1929–1974), русский советский писатель, сценарист, кинорежиссер, актер – 144
- Шуман* Роберт (1810–1856) – 512
- «Эгоист» – см. *Меридит* Дж.
- «Эдит в Колозе» – см. *Софокл.*
- Эдисон* Томас Алва (1847–1931), американский изобретатель – 479
- Эйлинштейн* Альберт (1879–1955) – 370
- Эйслер* Ханс (1898–1962), немецкий композитор, педагог, общественный деятель (ГДР) – 405, 406
- Эйхендорф* Йозеф фон (1788–1857), барон, немецкий поэт-романтик, прозаик – 447, 453
- «Из жизни одного бездельника» (1826), новелла – 447
- Экклезиаст* («Проповедующий в собрании»), памятник древнееврейской афористической литературы (IV–III вв. до н.э.) – 157
- Эко* Умберто (р. 1932), итальянский ученый, филолог, критик, литературовед, писатель – 282, 286–301
- «Потребление, поиск и образцовый читатель» (1984), статья – 286–301
- Элиот* Джордж (*псевд., наст. имя* – Мэри Энн *Эванс*; 1819–1880), английская писательница:
- «Мельница на Флоссе» (1860), роман – 210
- «Миддлмарч» (1871–1872), роман – 210
- Элиот* Хорхе, чилийский художник, режиссер – 617
- Эллис* Генри Хэвлок (1859–1939), английский психолог и эссеист – 372
- Эльзевир*, семья нидерландских издателей и типографов (XVI–XVII вв.) – 186
- Эмерсон* Ралф Уолдо (1803–1882), американский философ, писатель – 600, 602, 623
- Энгельс* Фридрих (1820–1895) – 292, 510, 623
- Эпиктет* (ок. 50 – ок. 138), древнегреческий философ-стоик – 564, 567, 568
- Эразм Роттердамский* Дезидерий (1469–1536), гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель и богослов – 571, 573
- Эредиа* Жозе Мария де (1842–1905), французский поэт – 227
- Эренбург* Илья Григорьевич (1891–1967), русский советский поэт, прозаик, публицист, общественный деятель – 78–80, 126
- «Доверенное лицо читателя» (1967), статья – 78–80
- «Падение Парижа» (1941), роман – 129
- «Рвач» (1925), роман – 126
- Эригена Скотус* – см. *Иоанн Скотус Эриугена.*
- Эриандес* Хосе (1834–1886), аргентинский поэт, журналист, политический деятель:
- «Мартин Фьерро» (1872, ч. I; 1879, ч. II – под названием «Возвращение Мартина Фьерро», 1879), роман-поэма – 599, 601
- Эрст* Пауль (1866–1933), немецкий писатель и переводчик – 446, 450
- «Принцесса Востока» (1903), сборник новелл – 446
- «Старонтальянские новеллы» (1902), перевод сборника новелл – 450
- Эсперия* (*псевд., наст. имя* – Ольга *Мамбелли*, по мужу – *Незрона*; р. 1885), итальянская киноактриса – 621
- Эспроседа-и-о-Дельгадо* Хосе (1808–1842), испанский поэт прозаик – 613
- Эфенбергер-Сливинский* Ян (Ганс), польский музыкант, певец, пианист, писатель – 495, 496
- Юдин* Геннадий Васильевич (1840–1912), русский промышленник, библиофил – 100

- Юм* Дэвид (1711–1776), английский философ, историк, экономист – 595
- Юнг* Карл Густав (1875–1961), швейцарский психолог и философ, основатель «аналитической психологии» – 623
- Юнгер* Эрнст (1895–1979), немецкий писатель, эссеист – 318
- «*Юность*», русский советский ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический иллюстрированный журнал, орган СП СССР, издается в Москве с июня 1955 г.; с 1981 г. главный редактор – А. Г. Дементьев – 126
- Юсти* Карл (1832–1912), немецкий искусствовед – 451
- «*Диего Веласкес и его столетие*» (1882, т. 1–2), монография – 451
- Якобсен* Энс Петер (1847–1885), датский писатель – 449
- «*Ярмарка тцеславия*» – см. *Теккерей* У. М.
- Ярифельт* Арвид (наст. имя; псевд. – Хилья Кахила; 1861–1932), финский писатель – 474
- «*Жители Коивикко*» (1925), роман – 474
- «*Academia*» (Пг.-Л., М.; 1922–1938), русское советское издательство, основанное как частное предприятие; было преобразовано в издательство при Государственном институте истории искусств в Ленинграде, впоследствии слилось с Гослитиздатом – 110, 131
- «*Chastelard*» – см. *Сувибетти* А. Ч., «Шателляр».
- Hodgson Shadworth* Н. – см. *Ходжсон* III. X.
- «*Tales from Shakespeare*» – см. *Лэм* Ч., «Рассказы из Шекспира».

СОДЕРЖАНИЕ

5	Человек пишущий и человек читающий. <i>С. Бэлза</i>	124	В. ШАЛАМОВ. Слишком книжное
17	В. КОРОЛЕНКО. Моё первое знакомство с Диккенсом	136	С. ЗАЛЫГИН. Чехов в наши дни
25	М. ГОРЬКИЙ. О книге	148	В. АСТАФЬЕВ. Чувство звука и слова
30	И. БУНИН. Книга	150	Ю. БОНДАРЕВ. Книга
32	Н. РЕРИХ. Любите книгу	154	Ю. ТРИФОНОВ. Книги, которые выбирают нас
37	А. РЕМИЗОВ. Книга	161	Ч. АЙТМАТОВ. Книги, открывающие нас
43	Б. ЗАЙЦЕВ. Похвала книге	164	Н. ДУМБАДЗЕ. Эту книгу я готов читать бесконечно
48	А. ТОЛСТОЙ. О читателе	166	Е. ЕВТУШЕНКО. Воспитание поэзией
53	Н. ГУМИЛЕВ. Читатель	174	Б. АХМАДУЛИНА. Слово, равное поступку
59	А. БУХОВ. Книжки	177	А. БИТОВ. Писатель и читатель
65	Б. ПАСТЕРНАК. Несколько положений		
69	М. БУЛГАКОВ. Сколько Брокгауза может вынести организм?	182	А. ФРАНС. Любовь к книгам. <i>Перевод Е. Любимовой</i>
70	Новый способ распространения книги	190	П. КЛОДЕЛЬ. Философия книги. <i>Перевод О. Грилиберг</i>
73	О. МАНДЕЛЬШТАМ. Выпад	202	* М. ПРУСТ. Власть романиста. <i>Перевод Т. Чугуновой</i>
78	И. ЭРЕНБУРГ. Доверенное лицо читателя	202	Истинная красота. <i>Перевод Л. Зотиндой</i>
81	В. ШКЛОВСКИЙ. В дорогу зовущие	205	Ж. ДЮАМЕЛЬ. [Доставить читателю удовольствие]. <i>Перевод И. Кузнецовой</i>
89	И. БАБЕЛЬ. Публичная библиотека	208	Ф. Мориак. Романы, которым суждена долгая жизнь. <i>Перевод В. Мильчиндой</i>
92	В. ЛИДИН. Друзья мои — книги	212	А. МОРУА. О выборе книг. <i>Перевод Я. Лесюка</i>
103	М. ЗОЩЕНКО. Праздник книги	214	Книга — открытая дверь к другим народам
106	И. ИЛЬФ. Благообразный вор	225	Ж. КОКТО. [Чего хочет читатель?]. <i>Перевод В. Кадышцева и Н. Мавлевич</i>
109	М. КОЛЬЦОВ. Иван Вадимович любит литературу		
111	Л. ЛЕОНОВ. Бескорыстный и сведущий друг		
114	В. НАБОКОВ. Пассажир		
118	Хорошие читатели и хорошие писатели		

- 227 А. де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ. Воспоминания о некоторых книгах. *Перевод Е. Баевской*
- 230 Ж. СИМЕНОН. [Обучать искусству чтения]. *Перевод Э. Шрайбер*
- 233 Ж. П. САРТР. Читать. *Перевод Ю. Яхонтовой*
- 240 Ж. КЕЙРОЛЬ. Чтение и персонаж. *Перевод Н. Ржевской*
- 246 П. ГАМАРРА. Умеете ли вы читать? *Перевод Л. Завьяловой*
- 250 Настоящее и будущее литературы
- 253 М. БЮТОР. К вопросу о современной книге. *Перевод О. Гримберг и В. Мильчиной*
- 264 Л. ПИРАНДЕЛЛО. Бумажный мир. *Перевод А. Косс*
- 272 А. МОРАВИА. Зримый образ и печатное слово
- 276 * И. КАЛЬВИНО. Для кого пишутся книги? *Перевод Г. Киселева*
- 282 * Л. МАЛЕРБА. Призрак по имени не-читатель. *Перевод Г. Киселева*
- 286 * У. ЭКО. Потребление, поиск и образцовый читатель. *Перевод Г. Киселева*
- 302 М. ДЕ УНАМУНО. Как следует составлять библиотеку. *Перевод Н. Малиновской*
- 307 * Х. ОРТЕГА-И-ГАССЕТ. Миссия библиотекаря. *Перевод А. Матвеева*
- 326 * АСОРИН. Мои библиофильские порывы. *Перевод А. Шлейфер*
- 22 Как нужно читать. *Перевод А. Шлейфер*
- 328 * Чтение. *Перевод А. Шлейфер*
- 330 * Букинистические лавки. *Перевод А. Шлейфер*
- 333 * Х. МАРИА САЛАВЕРРИА. Трагедия в библиотеке. *Перевод А. Шлейфер*
- 336 * Р. ГОМЕС ДЕ ЛА СЕРНА. Книжная свалка *Перевод Н. Малиновской*
- 337 Грегери. *Перевод Н. Малиновской*
- 378 О. ХАКСЛИ. Книжная лавка. *Перевод Л. Паршина*
- 340 Д. КОНРАД. Книги. *Перевод В. Бонар*
- 347 А. КОНАН ДОЙЛ. За волшебной дверью. *Перевод В. Кушпа*
- 350 * Г. УЭЛЛИС. Роль книгопечатания в развитии сознания. *Перевод Ф. Уртова*
- 352 С. МОЭМ. Подводя итоги. *Перевод М. Лорие*
- 358 Г. К. ЧЕСТЕРТОН. В защиту детективной литературы. *Перевод Н. Трубуберг*
- 361 В защиту «дешевого чтения». *Перевод А. Ливерганта*
- 365 * В. ВУЛФ. Часы, проведенные в библиотеке. *Перевод И. Роскиной*
- 370 Р. ОЛДИНГТОН. Поэт и его эпоха. *Перевод И. Гуровой*
- 384 Г. ГРИН. Потерянное детство. *Перевод А. Бураковской*
- 390 Г. МАНН. Книги и дела. *Перевод М. Веригиной*
- 393 В. БЕНЬЯМИН. Я распаковываю свою библиотеку. *Перевод Н. Тишковой*
- 401 И. БЕХЕР. [Чего хотим мы при чтении какой-нибудь книги]. *Перевод Е. Кацевой*
- 404 Б. БРЕХТ. Искусство или политика? *Перевод Е. Кацевой*
- 404 Как надо читать стихи *Перевод Е. Кацевой*
- 407 К. ВОЛЬФ. *Tabula gasa*. *Перевод Г. Бергельсона*
- 413 Г. БЁЛЛЬ. Бессмертная Теодора. *Перевод Л. Лукиной*
- 417 Р. МУЗИЛЬ. Книги и литература *Перевод А. Науменко*
- 427 С. ЦВЕЙГ. Книга как врата в мир. *Перевод С. Фридлянд*
- 433 Благодарность книгам. *Перевод Н. Букина*
- 435 Ф. КАФКА. [Жажда книг]. *Перевод Е. Кацевой*
- 437 Э. КАНЕТТИ. [Всё, что составило меня.] *Перевод Е. Кацевой*
- 439 * Г. ГЕССЕ. Обращение с книгами. *Перевод А. Науменко*
- 456 * Чтение книг и обладание книгами. *Перевод А. Науменко*
- 458 * Чтение в отпуске. *Перевод А. Науменко*
- 459 * О чтении. *Перевод А. Науменко*

- 462 * М. ФРИШ. Неначитанный книголюб
465 При чтении. *Перевод Е. Кацевой*
- 468 А. ЛИНДГРЕН. Почему детям нужны книги. *Перевод Л. Брауде*
- 470 * Л. НАДЬ. Писатель, книга, читатель. *Перевод А. Науменко*
- 479 * Д. КОСТОЛАНИ. Письмо о книге. *Перевод Ю. Гусева*
- 483 * Д. ФЕКЕТЕ. Ворота в бесконечность. *Перевод Ю. Гусева*
- 487 Я. ИВАШКЕВИЧ. О книгах и читателях. *Перевод С. Ларина*
- 501 К. ЧАПЕК. Как читают книги. *Перевод Н. Беллевой*
- 503 Куда деваются книги. *Перевод Д. Горбова*
- 504 Что когда читается. *Перевод О. Малевича*
- 507 Л. НОВОМЕСКИЙ. Среди книг. *Перевод И. Богдановой*
- 510 * С. Х. КАРАСЛАВОВ. Негаснущий свет.
- 514 И. АНДРИЧ. [Вижу склоненное лицо читателя...] *Перевод Т. Поповой*
- 516 Библиотека. *Перевод А. Романенко*
- 518 Э. КОШ. Книгоубийства и книгоубийцы. *Перевод Т. Поповой*
- 529 Н. ХИКМЕТ. Чтение. *Перевод Л. Старостова*
- 530 Р. ТАГОР. Первый номер. *Перевод И. Говстых*
- 542 Р. К. НАРАЙАН. На исповеди. *Перевод И. Бернштейн*
- 545 О книгах. *Перевод И. Бернштейн*
- 548 ЛУ СИНЬ. Закуска на ходу. *Перевод Л. Позднеевой*
- 550 «Торговлей утвержденные» мастера литературы. *Перевод Л. Позднеевой*
- 555 А. РЮНОСКЭ. Будущая жизнь. *Перевод Н. Фельдман*
- 556 Читатели прозы. *Перевод Л. Ермаковой*
- 558 А. АР-РЕЙХАНИ. Зерна для сеятелей. *Перевод И. Крачковского*
- 560 А. М. АЛЬ-АККАД. Часы, проведенные среди книг. *Перевод В. Маркова*
- 563 С. ЛИКОК. Читающая публика. *Перевод П. Охрименко*
- 570 Ш. АНДЕРСОН. [Страсть к чтению]. *Перевод Е. Романовой*
- 578 У. ФОЛКНЕР. [Укрепить человеческие сердца]. *Перевод Ю. Палиевской*
- 580 Э. ХЕМИНГУЭЙ. Маэстро задает вопросы. *Перевод И. Кашкина*
- 587 Д. ЧИВЕР. Художественная литература – наше самое сокровенное и действенное средство общения. *Перевод П. Балдицына*
- 589 А. АЗИМОВ. Как они весело жили. *Перевод Е. Костюкович*
- 593 * Х. Л. БОРХЕС. Предварительные замечания. *Перевод М. Корнеевой*
- 593 * Книга. *Перевод М. Корнеевой*
- 602 * Поэзия. *Перевод М. Корнеевой*
- 606 * Память человечества.
- 608 * Х. КОРТАСАР. Светопреставление. *Перевод Т. Шишовой*
- 610 * Г. ГАРСИА МАРКЕС. Чтение и влияния. *Перевод А. Матвеева*
- 615 П. НЕРУДА. Мои первые книги. *Перевод Л. Сияльской*
- 617 Поэзия. *Перевод Э. Бразилской*
- 619 А. КАРПЕНТЬЕР. Мечтания одинокого любителя чтения

СОДЕРЖАНИЕ

717

- 625 Для кубинского писателя закончились времена одиночества. *Перевод А. Косс*
- 630 А. МАРШАЛЛ. [Писать книги не забава]. *Перевод*
- 632 *О. Кругерской и В. Рубина*
- 632 Комментарии. *С. Сухарев*
- 682 Аннотированный указатель имен и названий. *С. Сухарев*

Человек читающий. Homo legens. Писатели XX в. о роли книги в жизни человека и общества. Сост. С. И. Бэлза. Издание второе, с изменениями и дополнениями.— М.: Прогресс, 1990.— 720 с., ил.

«Чтение должно не развлекать, но, напротив, заставлять нас думать, не утешать нас сладкими речами, но помогать нам бороться за высокие и благородные идеалы», — считает один из авторов сборника Герман Гессе. Среди излюбленных занятий человечества — чтение: о нем, о формировании духовного и нравственного облика человека, о предназначении художника в современном мире размышляют виднейшие отечественные и зарубежные писатели XX века.

Адресовано широкому кругу читателей, книголюбам.

Ч 4703000000-278 87-90
006(01)-90

ББК 76.11

ЧЕЛОВЕК
ЧИТАЮЩИЙ

Составитель
СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ БЭЛЗА

Редактор Т. В. ЧУГУНОВА
Художник В. А. КОРОЛЬКОВ
Художественный редактор В. А. ПУЗАНКОВ
Технический редактор Е. В. ЛЕВИНА
Корректоры В. В. ЕВТЮХИНА, Г. А. ЛОКШИНА

ИБ № 17221

Сдано в набор 22.02.89. Подписано в печать 12.03.90. Формат
70 X 100 / 16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура баскервиль. Печать
офсетная. Условн. печ. л. 58,05. Усл. кр.-отг. 117,64. Уч.-изд. л. 51,70.
Тираж 25000 экз. Заказ № 286. Цена 6 р. 50 к. Изд. № 44945.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прогресс"
Государственного комитета СССР по печати.
119847, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17.

Можайский полиграфкомбинат В/О «Совэкспорткнига»
Государственного комитета СССР по печати. 143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Отзывы в книге просим направлять по адресу:

Москва, 119847,
Зубовский бульвар, 17,
издательство «Прогресс».

ЧЕЛОВЕК ЧИТАЮЩИЙ

*С книгами у нас обстоит
дело так же как и
с людьми. Хотя мы со*

*многими
знакомим-
ся, но лишь
некоторых
избираем
себе в друзья,
в сердечные
спутники
жизни.*

*Людвиг
Фейербах*



*Когда я вижу
вокруг себя,
как люди, не
зная куда де-
вать свое сво-
бодное время,
изыскивают
самые жал-
кие занятия
и развлечения,*

*я разыскиваю книгу и говорю
внутренне: этого одного до-
вольно на целую жизнь.*

Федор Достоевский

НОМО
LEGENS